

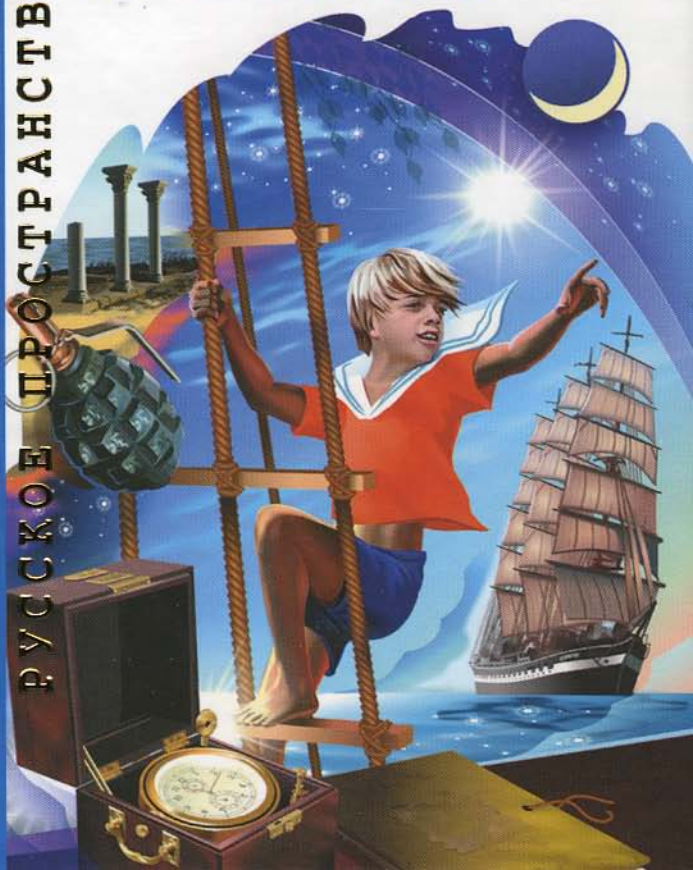
Владислав

КРАПИВИН

ОСТРОВА
И КАПИТАНЫ

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ:

РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО



ЭКСМО

Владислав
КРАПІВИН

Владислав
КРАПИВИН

ЛЕТЧИК ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ
ДЫРЧАТАЯ ЛУНА
ЛУЖАЙКИ, ГДЕ ПЛЯШУТ СКВОРЕЧНИКИ
ПОРТФЕЛЬ КАПИТАНА РУМБА
ГОЛУБЯТНЯ НА ЖЕЛТОЙ ПОЛЯНЕ
В НОЧЬ БОЛЬШОГО ПРИЛИВА
СКАЗКИ О РЫБАКАХ И РЫБКАХ
СИНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ
ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ОСАДА...
ЗВЕЗДЫ ПОД ДОЖДЕМ
МУШКЕТЕР И ФЕЯ
ОРАНЖЕВЫЙ ПОРТРЕТ С КРАПИНКАМИ
СТРАЖА ЛОПУХАСТЫХ ОСТРОВОВ
РЫЖЕЕ ЗНАМЯ УПРЯМСТВА
ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ: РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ: РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Владислав
КРАПИВИН

**ОСТРОВА
И КАПИТАНЫ**

Москва

ЭКСМО

2007

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
К 78

Оформление серии художника *А. Саукова*

Серия основана в 2005 году

Крапивин В. П.
К 78 **Острова и капитаны: Роман-трилогия.** — М.: Изд-во
Эксмо, 2007. — 704 с. — (Отцы-основатели: Русское
пространство).

ISBN 978-5-699-15613-9

Крепким морским узлом связаны в трилогии «Острова и капитаны» события героической истории русского флота и жизни современных ребят. Первая российская кругосветная экспедиция Крузенштерна и Лисянского, Севастопольская оборона 1854—1855 годов, Вторая мировая война и наши дни... Сквозь суровые жизненные шторма юные капитаны бесстрашно ведут корабли судьб, пытаясь отыскать свой Остров...

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Крапивин В. П., 2006
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2007

ISBN 978-5-699-15613-9

Книга первая

ХРОНОМЕТР

Остров Святой Елены

Пролог. МЫШОНОК

Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стояла небывалых размеров модель учебного фрегата, двойным ударом, слышным на всех трех этажах, отметил начало первой перемены. Распахивались двери. Солидные гардемарины-выпускники выходили не спеша. Строго поглядывали на кадет, которые по малолетству не обрели еще сдержанности и неслись куда-то с криками и хохотом...

Контр-адмирал неторопливо шагал среди привычного шума и суеты. Впрочем, вблизи от него суета сменялась почтительной тишиной. Гардемарины шелкали каблуками и вытягивались, роняя с гвардейским изяществом в поклоне головы. Вставали в струнку и младшие кадеты. Неукоснительно соблюдалась высочайшая инструкция, которую государь Николай Павлович изволил начертать в марте прошлого года после посещения Морского кадетского корпуса: «...непрененно их (то есть воспитанников) выправить и дать им бодрую осанку и молодецкий взгляд».

Осанка была бодрая. Взгляды и вправду могли показаться молодецкими. Но не было в этих взглядах любезной императору бездумной стеклянности и единой только готовности к молниеносному повиновению. Были веселые искры, иногда озорство мелькало. Живыми, хорошими глазами смотрели мальчики на Ивана Федоровича, который до недавнего времени был помощником директора корпуса, а месяц назад заступил на главную должность.

Крузенштерн знал почти каждого. Как зовут, какие успехи в учении, издалека ли приехал в корпус и кто родители. Только у самых маленьких, появившихся недавно, путал еще имена.

Мальши отдельной стайкой шумели и резвились в середине широкого коридора. Это были воспитанники резервной роты, образованной в прошлом году еще прежним директором, Рожновым. Мальчики десяти-двенадцати лет. Те, что веселы и бойки в своем кругу, но плачут по ночам, вспоминая о родном доме.

Крузенштерн обошел их сторонкой, чтобы не встревожить начальственным появлением.

Он был в десятке шагов от малолеток, и тогда неясное беспокойство остановило его. Что? И память подсказала: несколько

секунд назад привычно цепкий взгляд подсознательно отметил чуть в стороне от шумных кадетиков шуплую, поникшую фигурку.

Крузенштерн вернулся (мальчишки притихли и выжидательно встали прямо), отыскал глазами того, стоявшего отдельно, встретился с ним взглядом. Сказал мягко:

— Подойдите ко мне, голубчик.

Мальчик сделал несколько по-уставному твердых шагов, встал навытяжку. Ростом чуть выше адмиральского пояса. Курносый, с лопухастыми ушами, с рыжеватой короткой стрижкой и бледными редкими веснушками. С тонкой шеей, для которой велик высокий круглый воротник однобортного узкого мундирчика (их недавно ввели вместо двубортных — неуклюжих и старомодных). Поднял, как положено, острый подбородок, но в лицо директору не посмотрел. Серыми глазами, испуганными и горькими, уперся в пуговицу на груди адмирала. Представился по форме, но без положенной бойкости:

— Резервной роты вверенного вам корпуса кадет Алабышев, ваше превосходительство. — И опустил голову.

Крузенштерн двумя пальцами приподнял его подбородок.

— А как зовут кадета Алабышева?

— Егор... ваше превосходительство. — И глаза намокли.

— Ну а что же случилось с Егором? Пойдем-ка побеседуем...

Он ладонью прихватил Егора Алабышева за спину, ощутив под сукном острые мальчишечьи лопатки. Отвел к нише узкого глубокого окна. В стеклах отражались желтые масляные лампы. За отражениями мутно серело позднее ноябрьское утро. Нева еще не встала, но о близкой зиме напоминал снег, густо летевший вдоль набережной. Сквозь косые линии снега проступали мачты и такелаж учебного брига «Князь Пожарский», что стоял против корпуса.

Резервной роты кадет Алабышев за окно не смотрел. И на адмирала не смотрел. Голова опять висела ниже плеч.

— Наверно, неуспехи в учении? — спросил Крузенштерн. — Сие поправимо, не надо только отчаиваться. Моряку должно иметь старание и твердость.

Егор всхлипнул и еле заметнo качнул головой.

— Тогда знаю, — сказал Иван Федорович ласковее преждего. — Из дому долго не было писем, да? Но и в этом нет великой беды. Так бывает у каждого, а потом письма приходят целой пачкою. Вы уж мне поверьте... Или не в письмах дело? В чем же?

Егор всхлипнул опять, крупная дрожь потрянула его.

— Командир роты... господин капитан-лейтенант Фогт... приказал...

— Что же приказал господин капитан-лейтенант?

— После классов... явиться в экзекуторскую.

— Что? — нервно сказал Крузенштерн. И подумал, представившись хлышеватого, с желтым костистым лицом и залысинами Фогта: «Ах ты, с-сукин сын! Я же предупреждал...»

Но кадета Алабышева спросил с ноткой строгости:

— В чем же вы сумели так провиниться?

— В том случае... когда в кивер дежурному офицеру... мышонка.

Крузенштерн, сдержав улыбку, сказал с удивлением:

— Пойдите. Я знаю об этой прискорбной шалости, но виновники сами признались и раскаялись. При чем же здесь вы?

— Я тоже был там... немного после... И меня заметили.

— И решили, что виноваты в сем недостойном поступке вы?

Егор опять вздрогнул плечами и кивнул.

— Но за что же вас хотят наказать сейчас, когда виновные известны?

— За слушание... — прошептал Егор.

— Не понимаю.

— Когда они еще не признались, господин Фогт... приказывал, чтобы я их назвал, если сам не виноват... Он говорил: «Раз вы были там же, должны их знать...»

— А вы знали?

Егор еще ниже нагнул голову.

Крузенштерн понимал отчаянное положение маленького кадета. Новички с первых дней постигали законы корпусного товарищества. Выдать виновника начальству считалось предательством, жизнь ябедника превращалась в каторгу. К тому прибавлялись и угрызения собственной совести: «Я — нарушитель чести...»

— Господин Фогт говорит... раз я не назвал виновных, значит, не выполнил приказа... и нынче меня накажет...

«Нашел чем пугать ребенка, хлыщ», — подумал Крузенштерн. Он по себе помнил то жуткое чувство, смесь тоскливого стыда и ужаса, когда звучит такой приговор. И тягостную безнадежность, обморочное замирание перед низкой, плотно сколоченной дверью, за которой *это* должно случиться. Почему-то такие двери выглядели одинаково и здесь, и в бытность корпуса в Кронштадте, когда самого Крузенштерна только зачислили в кадеты...

Слава Богу, он своим приказом накрепко закрыл эту дверь, отменивши в корпусе подобные наказания. Сделал это, несмотря на недовольство в Морском министерстве и на скептическое замечание государя.

Но мальчик-то о приказе не знает и сейчас в отчаянье.

— Егор... — негромко сказал Крузенштерн. Тот быстро поднял остренькое лицо. В глазах — и боязнь, и надежда. Бедняга... — Я поговорю с вашим командиром. Уверен, что, проявив-

ши вначале строгость, он будет теперь снисходителен... Но скажите мне: а что вы все-таки делали в дежурной комнате?

Голова кадета Алабышева опять упала. И даже при неярком свете ламп стало видно, как наливаются краской его оттопыренные уши.

— Ну же, Егор, — добродушно поторопил Иван Федорович. — Давай без утайки. Ежели ты в чем-то и виноват, то на сей раз это останется между нами.

— У мышонка лапки были связаны... Жалко стало, я хотел отпустить... Чтобы никто не знал...

Колокол гулко просигнализировал о конце перемены.

— Ступай в класс, Егор. Я поговорю с командиром роты.

«Надо и в самом деле поговорить решительно, — думал он, поднимаясь на третий этаж, в рабочий свой кабинет. — Наказать кадета самовольно никакой офицер теперь, конечно, не смеет, но держать воспитанников в ежедневном страхе такие фогты еще не отучились...» Где Рожнов откопал эту сухую бестолочь? Разве *такой* командир нужен малолеткам, кои лишь недавно взяты из дому и с трудом живут без родительской ласки?.. Нужны такие, как Сергей Александрович Шихматов, капитан второго ранга гвардейского экипажа, поэт, ученый, действительный член Российской Академии, а главное — добрейший человек, отлично знающий детскую душу. Он и был до недавнего времени командиром резервной роты, мальчишки почитали его за отца родного. Но месяц назад по важной причине личного свойства ушел князь Сергей Александрович в отставку и со слезами распростился со своими питомцами. Нового командира для малышей сразу не нашлось. Крузенштерн обратился тогда за советом к прежнему директору, Рожнову, и тот предложил: «Можно поставить пока Фогта. Аккуратист... А далее уж сами посмотрите...» Ох, смотреть надо было сразу, да в первые недели заведования корпусом столько навалилось на адмирала хлопот...

В кабинете уютно несло теплом от сине-белых изразцов голландской печи. Шторы были задернуты. Крузенштерн не любил пасмурного осеннего света, хотя врачи говорили, что именно такой свет более всего полезен для больных глаз. Нет, пусть уж лучше свечи.

Свечи в канделябре с обручем-абажуром из матового стекла горели мягко, но ярко. Отблески лежали на модели «Надежды», на медных кольцах глобуса в углу кабинета.

Матрос Григорий Конобеев выгребал золу из протопленного с вечера мраморного камина с толстошекими амурами наверху (тепла хватало и от печи, но Иван Федорович, работая по вечерам, любил, чтобы в камине был огонь). Конечно, приборку сле-

довало кончить до прихода адмирала. Однако Крузенштерн не сделал упрека. Григорий был не просто служитель, а старый товарищ по давнему плаванию вокруг света. Сумрачно-добродушный, преданный «нашему капитану» ворчун, ныне причисленный к корпусу.

— Здравствуй, Матвейч.

Григорий неторопливо выпрямился.

— Доброго здоровья, Иван Федорович... Вот опять бумаги пораньше с утра дежурный офицер принес... Говорит, что от господина капитан-лейтенанта Коцебу... Надо же, какой известный теперь Отто Евстафьевич сделались. А на «Надежде»-то совсем мальчонка был вроде наших нынешних...

— Такой и был, Матвейч. Тоже кадет, только сухопутный. Отец упросил взять в плавание, — поддакнул Крузенштерн старому матросу, хотя беседовать не хотелось.

— Сухопутный, а каким лихим капитаном стал. Вот оно как поворачивается...

Бумаги оказались корректурой новой книги Коцебу — «Путешествие вокруг света, совершенное по повелению государя императора Александра Первого на военном шлюпе «Предприятие» в 1823, 24, 25 и 26 годах».

К этой книге Крузенштерн прямого отношения не имел, послесловия, как к первому плаванию Коцебу, не писал, но к подготовке сей экспедиции приложил немало сил. Потому и прислал благодарный Отто своему старому командиру пробные оттиски отчета о путешествии.

Крузенштерн притянул к себе полосы серой бумаги, радуясь крупным буквам и отчетливой печати.

...Коцебу рассказывал о путешествии сжато, не в пример первой своей книге о плавании на «Рюрик», в которой хватало живых описаний и красот. К тому же многое Иван Федорович знал уже из рассказов Отто, из рапорта его Морскому штабу. Поэтому не стал он читать подряд, а отыскал (с некоторым стеснением в душе и даже робостью) страницу, где были слова:

«После весьма быстрого одиннадцатидневного плавания от мыса Доброй Надежды мы 29 марта пришли к острову Св. Елены...»

Об острове Отто писал пространно. Более всего — о поездке в те места, где жил в ссылке знаменитый недруг России Наполеон и где была потом его могила.

А о другой могиле, русской, не было ни слова...

Трудно поверить, что моряки не побывали на кладбище, где двадцать лет назад похоронен был их земляк и товарищ. Видимо, Коцебу решил, что рассказ об этом не нужен читателям. Или, всего скорее, не захотел беречь память ему, Крузенштерну...

Но разве от этого уйдешь? Разве забудешь?

Крузенштерн читал:

«Путешественник, приближаясь к острову Св. Елены, видит со всех сторон одни черные, высокие, остроконечные скалы, рождающие в душе его самое мрачное и унылое понятие о сем острове, но, находясь на возвышении, видит, что природа сокрыла в безобразной и страшной оболочке очаровательные прелести...»

...Моряки «Надежды» в мае 1806 года увидели этот остров таким же. Сначала — грозное и печальное впечатление, а позже — удивление перед тихой красотой и чувство долгожданного отдыха. Первые три дня, пока не случилось беды, всем казалось, что попали в самый счастливый и уютный уголок Земли. Одно огорчало капитана: в гавани острова не оказалось «Невы», с которой расстались в тумане вблизи меридиана мыса Доброй Надежды.

Тогда еще не знали, что Лисянский, вопреки уговору, принял решение не заходить к острову Святой Елены, а идти прямо в Европу. Подбивало желание совершить небывало длинное и скорое плавание от Китая до Англии без захода в промежуточные порты. Что же, Юрий Федорович с блеском исполнил сей подвиг, изумивший всех, кто понимал в морском искусстве. И «Нева» пришла в Кронштадт на две недели ранее «Надежды»...

Кто-то пустил потом слухи, что случай этот испортил дружбу двух капитанов. Неправда это!

Да, жизнь как-то развела Крузенштерна и Лисянского, реже стали встречи, короче письма. Но не было между ними вражды и зависти. И ссоры не было ни разу... В тот день, при первой встрече в Кронштадте, когда остались в каюте одни и Лисянский откупоривал бутылку привезенной из Кантона мадеры, Крузенштерн только и сказал:

— Мальчишка ты все-таки, Юрий...

Тот и в самом деле похож был на мальчишку. Курчавый, румяный. Пушистые бакенбарды казались приклеенными к детскому пухлогубому лицу. И глазами стрельнул по-мальчишечьи. Проговорил и виновато, и дурашливо, как в бытность еще малым кадетиком:

— Сердишься? Прости, я больше не буду...

— Нет, ну в самом деле, о чем ты думал? А если бы напоролсь поодиночке на французских каперов? Война же.

— Ну и напоролись бы. Пушки зачем?

— Но это же тебе не с колюжами на Ситке воевать! Что наши пушки против большого фрегата? У меня их всего двенадцать, несколько оставил на Камчатке по просьбе Кошелева...

Лисянский ответил весело, пряча виноватость:

— Брось! Ты в стольких баталиях порохом прокопчен. Неужели сдался бы какому-то каперу?!

— Не сдался бы, но и гибнуть в конце пути радость невелика.

Да и с тобой могло быть то же. Тем более понесло тебя Английским каналом, чуть не в зубы неприятелю.

Юрий тряхнул кудрями. Крузенштерн сказал с досадой:

— Лихой ты капитан, Юра, но твоей лихости еще бы здравого ума поболее...

Лисянский вздохнул. Ответил уже без улыбки:

— Люди домой рвались. Вот и решил я — прямо в Европу. Тебе остров Святой Елены интересен, а мне что? Я его в свое время вдоль и поперек исходил. Чего я там не видел?

«Могила Головачева ты там не видел», — сумрачно подумал Крузенштерн. Но о том не сказал.

А хотелось сказать. Потому что сверлила мысль: приди «Нева» на Святую Елену, и, может быть, не случилось бы несчастья. Конечно, прямой связи здесь не было. Мог и тогда лейтенант Головачев совершить свой непоправимый поступок. Но, возможно, что-то и помешало бы. Всякое, даже малое, изменение в обстановке иногда поворачивает события по-другому. Кто знает, может быть, присутствие «Невы» у острова построило бы в другом порядке цепь тогдашних дел, встреч, разговоров. И могло случиться, что Головачев не оказался бы в то утро один в каюте...

...Крузенштерн отодвинул бумаги, прикрыл глаза. Нет, Лисянский не мог предвидеть несчастья, ни в чем он не виноват. Если уж искать виноватых, то смотреть надо в самое начало. Не окажись в экспедиции Резанова, не случилось бы многих бед. Но сейчас что ему делить с Резановым и кто их рассудит? Ранняя несчастная смерть Николая Петровича в Сибири, а перед тем достойная чувствительных романов любовь его к калифорнийской красавице окружили имя Резанова ореолом...

В нынешние дни о Резанове один Василий Михайлович Головин решил отозваться неллицеприятно. Вот как написал: «Он был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имевший голову более созидать воздушные замки, чем обдумывать и исполнять основательные предначертания... Мы увидим, что он наделал компании множество вреда...»

Если бы одной компании!

Действительно, создавать фантазии Николай Петрович умел. Иногда — самые нелепые. Это надо же придумать: «На «Надежде» бунт против государя императора!»

Впрочем, следует оставаться справедливым: был Резанов по своему честен и достаточно смел. Временами... Но порою удивлял всех пустыми страхами и комедиантством.

Однако хватит о нем. Головин сказал — и того достаточно. Головин вообще самый прямой в суждениях и смелый среди знаменитых нынче русских капитанов (недаром были разговоры о связях его с теми, кто вышел на Сенатскую площадь). Смелее всех, с документами на руках, доказал, как бесчестуют на

Кадьяке и других островах приказчики Российско-Американской компании. Специально для того ходил на Кадьяк на шлюпе «Камчатка». Проверил досконально и подтвердил сведения Лисянского о жестокостях и алчности компанейских купцов и начальников. Но тому же Лисянскому всыпал в журнале «Сын отечества», а потом и в книге своей за неверно составленную карту Чиниатского залива. Из-за неточности едва не сел шлюп «Камчатка» у Кадьяка на рифы, что могло кончиться полной гибелью. И напрасно писал любезный Юрий Федорович гневную ответную статью. Уж коли виноват, нечего спорить. За храбрость, за мореходное умение и открытия тебе честь, но легкомыслие и ошибки в морском деле могут принести беды немалые.

Мысли замкнули круг и от Лисянского снова пришли к острову Святой Елены. Крузенштерн потрянул головой и встал за отписки с начала. Надо было все же прочитать их по порядку.

Колокол между тем уже не раз отмечал перемены...

В четыре часа пополудни Иван Федорович из квартиры, что находилась в первом этаже корпуса, снова прошел в кабинет. Мысли были теперь не те, что с утра. Множество планов требовало от нового директора и множества забот. Нужны новые науки и новые профессора. Нужны классы, где лучшие морские офицеры могли бы продолжать обучение... Летняя практика на учебном корабле должна проводиться для гардемаринов ежегодно... Для матросских детей необходима школа. И пора взяться за постройку дома для семейных матросов, что служат при корпусе. А то живут в подвалах с женами и детьми, и даже с внуками, как Матвейч...

Григорий, словно откликнувшись на мысли, опять появился в кабинете. Шаркая ногами, направился к окну, раздернул шторы. Сказал очень хмуро:

— Свечи-то уж можно погасить.

— Погаси, — согласился Иван Федорович. За окном пробилось в облачную щель неожиданное солнце.

Григорий сердито дунул вверх абажура. Стало темнее, но солнечные полосы резко и весело загорелись на стеклах книжных шкафов. Григорий открыл дверцы, начал протирать корешки. Приблизиться в книгах разрешалось ему одному.

— Ты что не в духе? — усмехнулся ему в спину Крузенштерн. — Жена небось опять пилила? Или внук не слушает?

— Чего ему не слушать? Я с детишками всегда слова найду, без всякого озверения. Не то что некоторые...

— Да что случилось-то, Матвейч?

— А то, что, конечно, воля ваша, только не дело это, ваше превосходительство...

«Ваше превосходительство» вместо привычного «Иван Федорович» пуше многих слов сказало, как рассержен старый матрос.

— Да объясни ты толком! Какое «не дело»?

— А такое... Сами говорили, что не будет больше этого. А теперь мальчонку исхлестали, будто загульного матроса.

— Какого... мальчонку? — От догадки нервным ознобом свело на щеках кожу.

— Будто не знаете... Самого малого из них, Егорку Алабышева. Которого Мышонком кличут... И хотя было бы за что, а то ведь...

«Господи, — подумал Крузенштерн, — это же я виноват! — Он всей душой ощутил отчаянье и боль этого Егорки. Его ужас и слезы. Особенно после того, как Мышонок поверил в спасение! — Это я виноват! Не сказал Фогту вовремя!.. Но как я мог подумать, что этот мерзавец осмелится?..»

Григорий, встревожившись долгим молчанием адмирала, оглянулся. Увидел его лицо.

— Да неужто не знали?.. Иван Федорович, простите дурака, Христа ради...

Крузенштерн через силу сказал:

— Матвейч... Пригласи дежурного офицера, голубчик.

Григорий торопливо зашаркал к двери. Крузенштерн сидел, стискивая горячими пальцами щеки.

Бравый мичман возник на пороге.

— Ваше превосходительство! Дежурный офицер вверенного вам корпуса мичман Васнецов по вашему...

Крузенштерн движением ладони остановил его. Помолчал несколько секунд, стараясь унять гнев. И все же не сдержался:

— *Бывшего* командира резервной роты Фогта ко мне...

Удивление мелькнуло на лице мичмана и, кажется, удовольствия: видимо, сей офицер не жаловал Фогта. Он шелкнул каблуками. Григорий, оказавшись в дверях, посторонился.

— Матвейч, — мягко сказал Крузенштерн, — ты пока ступай. Я тут разберусь... Дверь не закрывай. — Ему не хотелось откликаться на стук.

Фогт шагнул в кабинет.

— Честь имею явиться по приказу вашего превосходительства. Вверенного вам корпуса резервной роты командир капитан-лейтенант Фогт.

Согнувшись над столом и глядя исподлобья, Крузенштерн глухо сказал:

— Как смели вы, сударь, нарушить мое распоряжение...

От этого презрительно-штатского, хлесткого, как пощечина, «сударь» Фогт дернул щекой и веком. И, помолчав на секунду более, чем дозволено приличием и дисциплиною, произнес:

— Покорнейше прошу ваше превосходительство указать, какое распоряжение я нарушил.

— Следует ли думать, что вам не известен мой приказ воздерживаться от наказаний, подобных тому, какое вы применили к кадету Алабышеву? А если уж возникает прискорбная необходимость, то делать сие только с моего личного разрешения...

— Я считал, ваше превосходительство, что приказ касается запутанных и сложных случаев. Сей же случай был так прост, что я полагал ненужным беспокоить ваше превосходительство. Вина кадета Алабышева была очевидна.

«И вины-то никакой не было, — подумал Крузенштерн. — Да и в этом ли дело?» Но говорить с подлецом о человеческих чувствах, о сострадании — все равно что рассуждать с нукагивским королем Тапегой про Бугерово сочинение о навигации. Бить надо было тем, что ему, Фогту, доступно: параграфами.

— Как вы сказали? — переспросил Крузенштерн. — Вы *полагали*?

Холодное, невидимое собеседнику бешенство вдруг поднялось в нем — со звоном в ушах, с ненавистью, но и с ясностью в мыслях. То, что испытывал он порою, когда сталкивался с тупостью, самодовольством и жестокостью. То, что испытал впервые, неожиданно, в тот давний день на шканцах, у Нукагивы. Тогда в словах Резанова прозвучала нагло-снисходительная интонация, которая только что еле заметно скользнула у Фогта.

Впрочем, сейчас Крузенштерн удержался от вспышки.

— Вы *полагали*... — тяжело повторил он. — А ведомо ли вам, что полагать и принимать свои решения офицеру Российской империи можно тогда, когда он в самостоятельном плавании, в бою или иных обстоятельствах, где требуется его личная ответственность? Находясь же в ежедневной службе под началом старших командиров, он первейшей своей обязанностью имеет выполнение инструкций и приказов, ему отданных.

Фогт опять дернул щекой и сказал, не теряя почтительного достоинства:

— Я учту замечания вашего превосходительства.

Крузенштерн откинулся на стуле. Сжал и расслабил лежавшие на столе кулаки.

— Замечания? Учитывать их вам уже нет надобности, вы более не наставник в корпусе. Но это еще не наказание, а лишь необходимая мера оградить воспитанников от вашего пагубного влияния. Поступок же ваш столь чудовищен, что я не решаюсь дать ему полную оценку и в рапорте Морскому штабу попрошу сделать это высших начальников... Пока же отправляйтесь под домашний арест и ждите решения. Если вам сочтут возможным сохранить офицерское звание, штаб, наверное, подыщет для вас место на корабле.

— Слушаюсь, — отрешенно отозвался Фогт. И добавил неожиданно: — Я и сам имел намерение проситься в эскадру.

— Отменно! — вырвалось у адмирала. — По крайней мере, ваша любовь к употреблению линьков и розог будет там не столь опасна. Взрослые матросы переносят зверства легче детей.

Фогт заговорил опять. То ли было ему уже все равно, то ли он не боялся быть дерзким, имея сильных заступников.

— Смее уверить ваше превосходительство, что в отношении матросов я всегда строго придерживался правил, установленных для русских военных кораблей.

Крузенштерн посмотрел ему в лицо. Они понимали друг друга. Ох как ненавидели и понимали!

— Я вижу ваш намек, господин капитан-лейтенант, — проговорил Крузенштерн, слегка расслабляясь. — Вам угодно сказать, что «Надежда», которой я в свое время командовал, была скорее купеческим, нежели военным кораблем. Но замечу, что на любом судне главная задача командира — не строгость ради строгости, а всемерное попечение об экипаже. Это правило дало мне возможность вернуться из плавания, не потеряв ни одного человека.

Опять дрогнула щека у Фогта, и он переглотнул. Словно загнал в себя чуть не вырвавшиеся слова.

— Говорите, если что-то хотели, — усмехнулся Крузенштерн. — Лишняя ваша мелкая дерзость не усугубит главной вины, не бойтесь.

— Я не хотел сказать ничего дерзкого. Замечу только, что Андрей Трофимович Головачев хорошо знаком с нашей семьей. И он помнит судьбу несчастного своего брата...

«От этого и правда никуда не уйдешь», — подумал Крузенштерн. Помолчав, он медленно встал.

— Ну что же, — сказал он, глядя Фогту поверх головы. — Желая задеть меня, вы добились своего и тронули больное место... Однако, говоря о благополучном возвращении, я имел в виду матросов. Лейтенант же Головачев — блестящий моряк и офицер — стал жертвой тяжких обстоятельств, душевного недуга и собственных острых понятий о чести... — «О которых ты, сукин сын, понятия не имеешь», — добавил он мысленно. И продолжал: — Совесть наша друг перед другом чиста. А если есть чья-то вина, то теперь нас рассудит только Всевышний... Ступайте...

Когда Фогт вышел, Крузенштерн постоял у окна, машинально ощупывая глазами такелаж и рангоут брига. Отметил досадный перекося фор-брам-рея и провисание грот-стень-штага. Ждал, что воспоминания об острове Святой Елены опять неумолимо и тоскливо лягут на душу. Но нет, не случилось. Потому что другая тяжесть — стыд и вина перед маленьким Егором Ала-

бышевым — была сильнее других чувств. Иван Федорович тяжело прошел к порогу.

Григорий маячил неподалеку от двери.

— Матвейч, иди сюда... Что мальчик? Они его... сильно?

— Может, и не так уж сильно по первости. Да обидно же... Съежился в спальне, все еще плачет.

— Приведи... если он может.

Следовало бы пойти самому, но не смог себя заставить: как будут смотреть кадеты на директора, который обещал защиту и предал!

Он сел в кресло — не к столу, а у камина.

Минут через пять вошел Григорий, ведя осторожно за плечи Егора. Тот глядел в пол.

— Подойди ко мне, — тихо сказал Крузенштерн.

Алабышев подошел, сбивчиво ступая по ковру. Встал в двух шагах от кресла. На опущенном лице разглядел Крузенштерн разводы от слез, на ресницах — капли. Он привстал, взял мальчика за локоть, притянул ближе. Локоть затвердел; твердость эта от злого недоверия и обиды.

И тогда Иван Федорович сказал то, что ни в коем случае не должен говорить командир подчиненному, и уж тем более адмирал крохотному кадету:

— Егорушка, ты прости меня. Я же не знал...

Егор взметнул ресницы — так, что слетели с них брызги.

— Я помыслить не мог, — вполголоса говорил Крузенштерн, — что он посмеет так... без моего ведома... Думал — пугает...

Егор шепотом спросил:

— Значит, вы не разрешали?

— Да что ты! Как же я мог?

Егор всхлипнул, но уже как-то размягченно. Сам придвинулся еще на полшага. Лицо его было на одном уровне с адмиральским эполетом. Крузенштерн взял в ладони его маленькие холодные пальцы.

— Я ведь знаю, как это горько... Наверно, сперва хотелось уйти куда глаза глядят, корпус бросить навеки... Так ведь?

Егор кивнул. Но вдруг сказал без жалобы, тихо, но жестко:

— Но теперь не хочу. Я стану офицером.

Крузенштерн печально улыбнулся:

— И думаешь: только получу офицерский чин — и тут же вызову этого Фогта на дуэль...

Егор опять вскинул ресницы, но сразу набычился:

— Да. Вызову.

— Ну, что же, вызови, коли будет охота... Но кажется мне, ты к тому времени поймешь: не стоит он того... — Крузенштерн опять говорил то, чего говорить не следовало по законам дисциплины.

планы. Зато ладонь Егорушки теплеет. — К тому же сей Фогт и без этого наказан уже порядочно. И к роте более не вернется.

Егор шмыгнул носом. Так же, как после долгих слез, успокаиваясь, шмыгают все дети. «Слава Богу», — подумал Крузенштерн и сказал:

— На дуэлях люди головою рискуют, а это ни к чему. Если уж отдавать жизнь, так за большое дело, за отечество. За людей, которых защищаешь. Обещай это. Хорошо?

Егор посопел опять и ответил шепотом:

— Хорошо...

— Молодец... Тебе худо пришлось нынче, но уж коли так случилось, запомни это не ради одной обиды. Станешь капитаном, будешь командовать многими людьми. Капитан в море — он один царь и Бог над всеми, кто на корабле. Не чини тогда людям жестокостей, помни, как горька несправедливость и боль... И на меня не сердись, ладно?

Егор смотрел теперь прямо:

— Я не сержусь, ваше превосходительство. Честное слово.

— Не надо «превосходительства». Мы ведь не по службе тут беседуем. Иван Федорович я... Сколько тебе лет-то, Егор?

— Десять с половиною, ва... Иван Федорович.

— Годы быстро бегут... Ох как быстро, Егор. Будет когда-нибудь у тебя свой корабль, пойдешь вокруг света. И забудешь, как звали тебя Мышонком... — И встретился адмирал: — А почему так зовут? Уж не обижают ли товарищи?

«Если и обижают, не скажет», — подумал он.

Но Егор Алабышев улыбнулся по-хорошему. И сказал смущенно, однако без досады:

— Это не для обиды так прозвали. Когда все балуются или гуляют, я с книжкой люблю сидеть. Ребята говорят: «Шуршишь, как мышонка в углу...» А потом просят рассказать, что читаю...

— Про что же читаешь? — улыбнулся и Крузенштерн.

— Про плавания... Вашу книгу тоже читал, «Путешествие вокруг света»...

— Да? А еще про что?

— Еще Василия Михалыча Головнина «В плену у японцев»...

И Юрия Федоровича Лисянского, который плавал вместе с вами...

— Лисянский плавал более один, чем со мною, у него особые заслуги... Значит, мечтаешь о море?

— Так точно, в... Иван Федорович. Я очень плавать хочу... Мы этим летом у нас в деревне корабль из плота сделали на пруду. И парус был... Я чуть не потонул один раз...

— А вот тонуть-то не смей, — засмеялся Крузенштерн, вспомнив детские игры в именин под Ревелем. — Тебе плавать и

плавать, целую жизнь. Может быть, героем станешь, как многие наши офицеры в недавнем бою под Наварином... Слышал ли?

— Конечно! Михаил Петрович Лазарев на «Азове» разом с пятью кораблями дрался и все потопил!.. А перед тем он два раза ходил вокруг света и с капитаном Беллингаузеном новые земли открыл в Южном море... Говорят, про их плавание тоже есть книга. Я слышал, но не читал...

— Нет еще, не напечатали пока. Но немало есть других сочинений о разных открытиях, что сделали русские капитаны. ...Я скажу новому командиру роты, что завтра ты свободен от классов. Пойдешь в библиотеку, возьмешь какие хочешь книги и читай на здоровье.

— Младших туда в будние дни не пускают, только по воскресеньям.

— Я распоряджусь... А ты за это дай мне одно обещанье. Дашь? Не бойся, оно легкое...

Глаза Егора совсем уже высохли. Он глянул с хитринкой:

— А про что обещанье, Иван Федорович?

— Как станешь знаменитым мореходцем, откроешь новые острова да напишешь про них свою книгу, не забудь прислать в подарок мне, старику... Коли буду жив... Обещаешь?

Офицер Российского флота Егор Алабышев не написал своей книги. У него была иная судьба. Но Крузенштерн он помнил всю жизнь. До последнего дня, до последней вспышки...

Первая часть МЕДНЫЙ СТУК ЧАСОВ

НОВОГОДНИЕ СУРПРИЗЫ

Месяц звонкий и рогатый
С неба звезды сгреб лопатой.
Новый год, Новый год,
Нынче все наоборот!

Эти стихи 29 декабря сорок седьмого года сочинил ученик четвертого класса «Б» новотуринской начальной школы номер десять Толик Нечаев. Они сами придумались, когда Толик волок с базара елку.

С елкой Толику несказанно повезло. Хотя и не сразу.

Часа два Толик топтался на городском рынке, в огороженном квадрате, который назывался «Елочный базар». Елок хватало, но тоска брала, когда он смотрел на однобокие уродины с редкими ветками. Правда, можно было купить два таких «инвалида» и связать вместе, но душа Толика восставала против подделки. Елка должна быть без всяких обманов и хитрости, одна и настоящая! Какая елка — такой и праздник получится.

Среди покупателей возник было неуверенный слух, что, может быть, еще привезут елки, прямо из лесничества. Но продавщица — тетка в могучем тулупе — развеяла надежду:

— Ишшо чё! Вечер на дворе. Берите эти, завтра и таких не будет.

Толик понимал, что это, скорее всего, правда. Вот балда-то! Надо было раньше покупать. Все тянул, хотел, чтобы свежая была... А может, завтра все-таки привезут?

Толик продрог, в варежках коченели кончики пальцев. Так ничего и не выбрав, побрел Толик с рынка. И уже за воротами увидел красавицу ель.

Она была темная, голубоватая, с чешуйчатыми шишками в тени разлапистых веток. Ее наверняка только что привезли из леса: в хвое светился снежок. Поблескивали сосульки. От оранжевого, очень яркого заката в сосульках дрожали огоньки. Караулил елку низенький краснолицый мужичок в рыжем полушубке. Он притопывал и нерешительно поглядывал на редких прохожих: то ли кого-то ждал, то ли побаивался. Может, милиции?

Толик задрал голову и спросил жалобно и восхищенно:

— Продается?

Мужичок глянул сумрачно и рубанул:

— Тридцать рублей.

Катись, мол, не для тебя товар.

Толика и правда отшатнуло. С точки зрения здравомыслящего человека цена была непомерная.

За эти деньги можно не меньше десяти раз сходить в кино. Можно купить похожий на фотоаппарат фильмоскоп и к нему еще (если добавить сорок копеек) цветную ленту. Например, «Халифа-аиста» или «Оборону Севастополя». А лучше всего — автомат! Ствол и диск у него деревянные, зато приклад от настоящего ППШ. Видно, после войны автоматы в больших количествах стали уже не нужны и оставшиеся на заводах заготовки пустили на игрушки. Такой почти настоящий ППШ с трещоткой стоил как раз тридцатку. Толик не раз думал об этом, когда пересчитывал свои сбережения. Но он не поддался никаким соблазнам. Главное — елка и все волшебные новогодние радости...

Делать сбережения было нелегко. На пирожках в школьном буфете и на кино много не сэкономишь. У мамы тоже лишний рубль не выпросишь. Не потому, что маме жалко, а потому, что зарплата у машинисток — «кот наплакал»... А еще эта реформа две недели назад! Конечно, здорово, что отменили хлебные карточки, теперь можно есть досыта. И новые деньги — красивые такие, просто удовольствие их разглядывать. Да только меняют-то их на старые один рубль за десять. Толик чуть не заревел, когда узнал про такое. С осени копил, старался, а теперь что?.. Но скоро стало известно, что мелочь обменивать не надо: медяки и «серебрушки» останутся прежними. И Толик обрадованно потряс жестяной копилкой.

В общем, так или иначе, а расплатиться с мужичком в рыжем полушубке Толик мог. Но все-таки он жалобно сказал:

— А может, двадцать пять, а?

Мужичок глянул с интересом. Но ответил непреклонно:

— Я ее по заказу с участка ташил, одному артисту драматическому в театре. А он говорит теперь: не надо. А я зря надрылся, да? Тридцать.

Толик сдернул варежки, подышал на пальцы, расстегнул пальтишко. В пришитом к подкладке кармане лежали его капиталы...

Мужичок пересчитал новые рубли и трешки и стремительно подобрел:

— Вот и ладненько!.. А как потащишь-то?

— Я близко живу, — торопливо соврал Толик. Он испугался, что мужичок передумает.

— Ну, держи... За середину берись, чтоб ловчее нести...

Мужичок навалил ель на Толика, и тот оказался в хвойной чаще. Праздничный запах снежного новогоднего леса вскружил ему голову. Но тяжесть оказалась вовсе не праздничной. Толик пискнул и поволок покупку по Рыночному переулку. Со стороны казалось, наверно, что упавшая набок большущая елка сама семенит куда-то на слабых ножках в подшитых валенках.

Так он добрался до улицы Коммунаров — центральной «магистральной» Новотуринска. Уложил елку на обочину, выбрался из под веток и понял, что силы свои немислимо переоценил.

Изредка проезжали автобусы. Но разве залезешь туда с такой громадиной? Даже в открытый, переделанный из полуторки автобус Толика с этим деревом не пустят...

Но правду говорят, что под Новый год случаются чудеса. Неторопливая лошадка протащила мимо Толика розвальни. В них сидел на соломе старый небритый дядька (последний свет заката искрился на его седой шетине). Толика словно толкнуло:

— Дяденька, подвезите меня с елкой! А то я помру, не дотащу! — Он сказал это и весело, и жалостно. Сам удивился своей смелости и не ждал, что «дяденька» ответится.

— Тпру... — сказал дядька. Оглянулся: — А тебе куда?

— На Запольную! — заволновался Толик. — Это по улице Красина, а потом за Земляной мост...

— Это же в Заовражке! А я в Рыбкооп, на базу.

— Ну, хоть до моста! А там уж я дотащу!

— Вали свою древесину. Вот сюда, ближе втаскивай... Садись... Но-о, голубушка, чтоб тебя черти съели!..

Сразу стало все прекрасно. Даже пальцы в варежках перестали мерзнуть. Замечательная заиндевелая лошадка повезла елку и Толика мимо замечательных, уже освещенных витрин с нарисованными снежинками и цифрами «1948», мимо кинотеатра «Победа» с афишей нового замечательного фильма «Первая перчатка», замечательную песенку из которого пели все мальчишки: «При каждой неудаче давать умеет сдачи, иначе вам удачи не видать!» (Толик, правда, не всегда умел давать сдачи, но песенка ему нравилась.)

Замечательный небритый возчик спросил про елку:

— Куды же ты ее такую волокешь? В школу, что ль?

— Не-е! Домой, — гордо сказал Толик.

— Домо-ой? Дак не влезет же.

— У нас потолок высокий. Нам осенью новую комнату дали, большую... Там раньше эвакуированные жили, целых шесть человек!

— А вас, выходит, меньше? — поинтересовался словоохотливый возчик. И благодарный Толик объяснил:

— Мама да я... Еще сестра, но она сейчас в Среднекамске, в институте учится. На инженера-химика.

— Сестра — это хорошо, — вздохнул дядька и закашлялся. — У моих сынков тоже сестра была... Вот ведь дело какое вышло: два сына ушли на войну и дочка. Парни-то оба вернулись, а сестренку ихнюю убило. В сорок пятом уже, в Германии. Фельдшер она была...

Толик вежливо молчал. Что тут скажешь?

— А ты, выходит, за мужика в доме? Отец-то небось тоже погиб?

— Под Севастополем...

— Помнишь батю-то?

— Маленько, — признался Толик. В армию отца призвали еще до войны, в тридцать девятом, когда Толику не было двух лет. С тех пор отец появлялся дома два-три раза на очень короткие деньки. И Толику запомнились лишь новые коричневые ремни, запах табака и одеколona и звездочка политрука на суконном рукаве гимнастерки...

Дальше ехали молча. Мимо четырехэтажного горсовета, мимо решетки городского сада, мимо старой церкви, где была контора Заготзерно. Потом свернули на улицу Красина... Грустная минутка ушла, и опять вернулось новогоднее настроение.

Закат светился над заснеженными крышами. Жестяные дымоходы печных труб чернели, будто кружевные теремки. Поверх заката ехал в ту же сторону, что и Толик, месяц с лихо задраным подбородком. Замечательный новогодний месяц.

«Скырлы-скырлы, скырлы-скырлы», — поскрипывали полозья. Как липовая нога в сказке про медведя. Но сейчас была другая сказка — добрая. И под равномерный скрип в голове у Толика замаршировали веселые слова:

Месяц звонкий и рогатый...

Месяц звонкий и рогатый...

Рогатый — понятно почему. А звонкий... Потому что он серебристый и полупрозрачный, как из льдинки. Щелкни ногтем — и зазвенит...

Скоро пришлось попрощаться с добрым дядькой и тащить елку по Земляному мосту. Толик волок ее, ухватив под мышку комель; елке это было не на пользу, верхушка тащилась по снегу, но что поделаешь? С крутых склонов съезжали в лог на санках и лыжах оружие от восторга мальчишки. Закат быстро догорал над невысокими домами и деревьями Заовражка. Месяц стал ярче. Но звезд по-прежнему не было. Может, месяц решил подурачиться и соскоблил их с неба острым подбородком? Как лопатой!

Месяц звонкий и рогатый
С неба звезды сгреб лопатой!
Новый год, Новый год,
Нынче все наоборот!

Толик прошептал это, сопя от усталости и веселой натуги. Почему «все наоборот», он и сам не знал. Так получилось.

А может, и правда наоборот? Не так, как обычно.

Ведь дядька не хлестнул кобылу и не проехал мимо, а взял да и подвез Толика.

И по календарю сегодня понедельник, а у ребят — выходной. В школе решили позаниматься в воскресенье, чтобы потом сразу — каникулы. Но и в воскресенье не учились. Вера Николаевна раздала табели и всех отпустила после первого урока. Ура!

По арифметике у Толика выходил явный тройка, но Вера Николаевна поставила четверку. Сказала: «Ладно уж, гуляй, добрый молодец, без печали». Вот какой веселый «наоборот»!

Только скорей бы добраться до дома...

Толик втащил елку во двор, когда совсем стемнело. Окна их с мамой комнаты на втором этаже светились. Значит, мама уже пришла с работы. Так рано! Тоже хороший «наоборот»!

Но мама встретила Толика неласково:

— Я уже искать собралась! Где тебя носило?

— Елку тащил! Пойдем, покажу! Ну, пойдем, увидишь какая!

Мама покачала головой, накинула платок и ватник...

Вместе с мамой вышел Султан. Он радостно уставился на елку и заколотил Толика хвостом по валенкам.

— Ой, — сказала мама. — Толька, ты спятил... А как мы эту громадину в сарай затолкаем?

— Вот я и сам думаю...

— Если здесь оставить, могут стащить.

— Ага... Мама! А давай прямо сейчас ее украсим! А? Ну, ведь уже почти праздник! Даже в школе сегодня утренник был, и на площади елка!

— Не выдумывай...

— Ну почему «не выдумывай»?

— До послезавтра она осыпаться начнет.

— Да что ты! Она же только из лесу!.. Согласна? Ура!

Он облапил маму и чуть не уронил в сугроб...

— Дурень сумасшедший, — сказала мама.

Старая подставка из брусков крест-накрест оказалась мала. Пришлось ставить елку в кадучку, укреплять в ней ствол поленьями. Верхушка царапала потолок. Чтобы прицепить к ней серебряную самодельную звезду, Толик поставил на стол тумбочку, на тумбочку табурет. Султан неодобрительно смотрел на эти упражнения, фыркал и поматывал остроухой головой. Он только что обнюхал елку и уколол нос.

Игрушек для такой великанши оказалось маловато.

— Ничего, — сказала мама. — Еще ваты накидаем, будто снежок... Да и незачем такую красавицу чересчур игрушками увешивать, она и так хороша.

Но все же мама хитро посмотрела на Толика и достала из сундука несколько разноцветных шаров с картинками. Вот это сюрприз! Толик заорал «ура» и радостно упал с верхотуры на Султана, который обиженно, по-щенячьи, твякнул и ушел к двери.

Пришла соседка Эльза Георгиевна. Изумилась:

— Куда же вам такая громадная, двоим-то?

— Почему двоим? Варя приедет, к ней ребята придут, бывшие одноклассники, — весело возразила мама. — И еще гости всякие... Наверно, и вы не откажетесь нас посетить?

— Ох, не знаю. Ко мне должна прийти сестра Вадима Валентиновича с мужем, это традиция... Вадим Валентинович так любил Новый год и елку, просто как ребенок. Сам игрушки делал, особенно солдатиков... — Эльза Георгиевна вдруг поджала губу, кивнула и вышла. Она была ничего, не вредная соседка, но старомодная и со странностями. Одинокая и бездетная...

— А Дмитрий Иванович придет? — спросил Толик.

— Н-не знаю. Едва ли. Он встречает Новый год со своими сотрудниками, в Рыбкоопе. У него там друзья.

— А ты? — ревниво сказал Толик.

— Что я?

— Разве не «друзья»?

Мама и Дмитрий Иванович познакомились в сорок шестом году, они вместе работали в комиссии на избирательном участке. Потом Дмитрий Иванович к ним часто заходил в гости. Про войну Толику рассказывал, научил вертушки с флюгерами делать, чтобы на крыше прибивать. Осенью помог им с мамой переехать в новую комнату. В кино маму приглашал, в цирк. А недавно они опять дежурили в одном агитпункте, потому что были выборы в местные Советы, и Дмитрий Иванович всегда маму провожал...

В общем, не было здесь для Толика никакой тайны.

Он снова забрался на стол, на тумбочку, на табурет и сказал:

— Поженились бы вы, да и дело с концом.

— Анатолий!

— Ну чего «Анатолий»? Я же понимаю...

— Ты вот спустись, я покажу, где у тебя понимание.

Толик хихикнул на безопасной высоте и сказал деловито:

— Я серьезно говорю. Не маленький.

Мама села на кровать, помолчала.

— Раз не маленький, должен понимать, как все это сложно...

— Чего сложного-то... — буркнул Толик. Но уже не для мамы, а себе под нос.

Когда кончили украшать елку, был уже девятый час. Толик подул на исколотые хвоей руки и украдкой глянул на маму. Сказал осторожно и явно подхалимским голосом:

— Ма-а...

— Не выдумывай!

— Ну, мам...

— Я так и знала! Сперва одно, потом другое...

— Только попробуем. Самую чуточку...

— Ты жулик, — сказала мама.

Толик радостно затанцевал:

— Всего на полминутки!

— Мелкий авантюрист и вымогатель...

Мама достала пачку свечек и связку подсвечников-зажимов.

— На самые маленькие полминутки, — повторил Толик.

— В густоту не ставь, пожар устроим.

Толик укрепил свечки на хвойных лапах подальше от бумажных игрушек. А одну — у самой верхушки, чтобы звезда сверкала.

— Мама, давай зажигать! Я здесь, а ты внизу!

— Подожди... — как-то странно сказала мама. — Спустись.

Толик встревожился и послушно прыгнул на пол.

Мама задумчиво пригладила ему коротенькую прическу «полубокс».

— Если уж зажигать, значит — праздник. Умойся и причешись.

Толик заволновался, послушно и старательно вымыл на кухне, под звякающим умывальником, руки, лицо и шею. Ледяной водой, взятой в сенях из кадки! Мама включила электрочайник. Потом дала маме Толику белую рубашку и черный праздничный костюм, который знакомая портниха тетя Римма сшила из маминой вельветовой юбки. Такие костюмы из вельвета были у многих мальчишек, но Толику они не нравились: куртки висели, как мешки, а застегнутые под коленками штаны раздувались, будто аэростаты. Любопытно делался похожим на куль с куриными ножками. А костюм для Толика получился ладный, без лишней полноты и складок. Наверно, потому, что материи в юбке было в обрез. Даже на рукава не хватило, вместо куртки вышел жилетик. Ну и ладно, так даже лучше, белую рубашку заметнее.

А военные пуговицы горят, как золотые!

В глубине души Толик считал, что в этом наряде он похож на Пятнадцатилетнего капитана или Роберта Гранта.

Из-под кровати Толик вытащил свои легонькие летние сандалии. Свежий воротник ласкал шею. Лицо празднично горело от недавнего умывания. Перед зеркалом Толик продрал гребешком кучую челку. Привычно вздохнул по поводу немужествен-

ного курносого отражения, но сейчас и оно настроения не испортило.

Мама за шевелящейся занавеской тоже надевала что-то праздничное. Толик замечал, что в последнее время мама стала его стесняться: всегда одевается за шторкой или в темноте. Толик деликатно отвернулся от занавески. А когда глянул снова, мама уже стояла на свету в зеленом своем платье со стеклянными «искорками» на груди. Молодая, почти как Варя...

Мама оглядела Толика и сказала:

— Теперь — зажигаем.

Толик схватил коробок и опять полез к потолку...

Потом они с мамой отошли в дальний угол. Елка с потрескивающими огоньками была как целая лесная страна. В ее чаще мерцали неизвестные сказки. Может быть, затерянные и забытые города, живущие неведомой жизнью.

Как неоткрытые острова в океане.

И над ними сверкала сделанная Толиком звезда.

Жаль, что у сказок такое короткое время.

Мама вздохнула и сказала, что свечки надо поберечь. Но волшебство не исчезло совсем. Запах елки теперь смешивался с запахом погасших свечек. А ведь именно при погасших свечах в замках и подземельях происходили удивительные истории...

Мама принесла булькающий чайник, поставила на стол блюдце с карамелью «кофейная подушечка», тарелку с печеньем.

— Приедет Варя, придут ее друзья, Новый год будет шумный. А сейчас давай делаем тихий праздничный вечерок.

И они стали пить чай у елки. Елка занимала чуть ли не полкомнаты, она была здесь хозяйка, а Толик и мама — у нее в гостях. Ради таких чудесных минут и старался Толик: деньги экономил, игрушки клеил, елку ташил. Теперь все было замечательно... Только... что-то грустные глаза у мамы. И улыбается она слишком уж задумчиво. Вообще-то ничего особенного, в такие вечера грусть иногда подбирается сама собой. Но все полезно в меру. И чтобы сделать маму повеселее, Толик сказал:

— Раз уж получается сегодня праздник, тогда знаешь что? Я тебе подарю подарок, который к Новому году сделал. Ты не бойся, это не весь подарок, потом еще будет.

И он вытащил из тайника, со шкафа, склеенное «Лукоморье».

Это была словно маленькая театральная сцена. Размером с тетрадку. На ней — дуб с золотой цепочкой, черный лохматый кот ростом с полспички, Баба Яга в ступе из наперстка, а в ветвях — русалка с хвостом из фольги. Из-под белых гребешков на волнах торчали шлемы и копья Черноморова войска (правда, не

тридцать три, а поменьше). Подвешенный на нитке к облаку бородастый колдун ташил богатыря с длинным мечом из иголки.

Небо над Лукоморьем было из тонкой зеленой бумаги. Прорезанный в ней месяц Толик заклеил ярко-желтой бумажкой — совсем прозрачной. Посмотришь на просвет — небо таинственно светится, месяц горит, силуэты на сцене будто оживают...

Мама и в самом деле повеселела. Хвалила Толика и долго разглядывала сказочный театр. Потом сказала:

— Я тебе тоже сделаю подарок. Тоже предварительный...

И дала маме Толику синюю книжку с быстрым кораблем на твердой корочке. «Русские кругосветные мореплаватели».

— Ух ты-ы... — сказал Толик. Съехал со стула на пол, под елку, и там открыл первую страницу. — Mam, вот спасибо... — Он торопливо пролистал предисловие (известно, что предисловия читать необязательно). — «Крузенштерн и Лисянский, первая экспедиция на Восток»... Мама, они кто? Капитаны?

— Читай, читай, сам узнаешь, — сказала мама. — Кто у нас моряк-путешественник? Ты или я?

И Толик читал под елкой, пока мама не погнала его в постель. Потом еще читал — под одеялом, с фонариком (вернее, с батареей, к которой были примотаны самодельный жестяной рефлектор и лампочка). Мама наконец сказала сквозь сон:

— Толька, совесть у тебя есть? Я тебя завтра не подниму.

— Ну и что? Каникулы же.

— Мало ли что каникулы! С утра пойдешь на рынок...

КУРГАНОВ

Уходя на работу, мама растолкала Толика.

— На столе деньги и список: что надо купить.

Толик не стал нежиться в постели. В каникулы для этого почему-то нет настроения. Он выпустил гулять Султана, разогрел на завтрак жареную картошку, полюбовался елкой и отправился за покупками. Ключ оставил в коридоре под половиком. Султана, который шастал по двору, сказал:

— Далеко не бегай. Может быть, Варя появится, а дома никого...

На рынке он купил круг замороженного молока, в овощном подвальчике — квашеную капусту и свеклу для винегрета, в продуктовом магазине на углу — пол-литра подсолнечного масла и душистую буханку хлеба, который теперь без карточек и почти без очереди. А на свои собственные три рубля (которые остались

от елки) еще один шарик: ярко-алый, с картинкой «Конек-Горбун».

Вари дома не оказалось. Да и смешно было надеяться, что ее отпустят из института в учебный день. Зато раньше срока пришла на обед мама. Сказала, что в редакции капризничает машинка и материалы в новогодний номер придется печатать дома.

Она застучала на своем ужасно старом, но еще крепком «Ундервуде». Толик опять уселся читать про Крузенштерна и Лисянского. Рядом приткнулся нагулявшийся и пообедавший Султан. Он тихо сопел и в полудреме постукивал хвостом о половицы.

Толик читал быстро. Он вообще был «книгоглотатель», а если про море и про путешествия — он мчался по страницам, как лихой кавалерист. Но мчался — это не значит, что был невнимательным. Он не пропускал даже тех страниц, которые написаны скучновато, словно в учебнике.

Читать — это вообще самое лучшее занятие. А если вот так, под елкой, и когда мама уютно стучит на машинке, и когда за стеной Эльза Георгиевна что-то красиво, ненавязчиво наигрывает на пианино, и когда не колет мысль об уроках — тогда вообще счастье.

И плывут, плывут корабли «Надежда» и «Нева» к Нукагиве и Камчатке, к Русской Америке и Японии, к Китаю и острову Святой Елены...

В Кронштадт «Нева» и «Надежда» вернулись, когда за окнами стемнело, мама перестала печатать, а Султан опять отпросился на улицу. Толик потянулся так, что заскрипели позвонки.

— Вот книжечка! Мама, ты молодчина, что догадалась купить такую.

Мама, укладывая в портфель бумаги, объяснила:

— Здесь интересное совпадение. Недавно я печатала старые документы одному человеку, по заказу. Как раз насчет этих морских путешественников. Печатаю и думаю: «Вот бы книжку про них достать! А то ума не приложу, что ненаглядному сыну подарить на Новый год. Потом иду мимо «Когиза», и нате — стоят на витрине «Русские мореплаватели». Как в сказке.

— Новогодние чудеса... А что за документы ты печатала?

— Да брошюра старая, инструкции всякие.

— А что за человек? Профессор?

— Господи, откуда у нас в Новотуринске профессора? Так... человек. Заходит иногда в редакцию, заметки пишет... Эту брошюру он в библиотеке отыскал, в архивном фонде, и попросил меня кое-что перепечатать. Видимо, интересуется географией... Ой, Толик, сделай сегодня еще одно доброе дело!

— Опять в магазин, — сказал Толик. — Или свеклу чистить?

— Ничего не чистить. Отвези этому человеку готовую работу. Она дома у меня, а он заходил сегодня в редакцию, спрашивал. Неудобно так... Отвезешь? Он на Ямской живет.

— У-у...

— Ну что «у-у»? Мне на работу надо, и там я застряну, если машинку починили. А тебе прокатиться — одно удовольствие.

Мама угадала. Толик протянул «у-у» для порядка. Читать он устал, сидеть дома одному — радости мало, а прокатиться по вечерним предновогодним улицам в самом деле неплохо.

Мама дала ему плоскую папку.

— Покажи, что за брошюра, — попросил Толик. — Интересно все-таки, морская ведь.

В папке лежала серая тонкая книжца с узором из листьев и маленьких глобусов. Длинное название было оттиснуто старинными буквами:

СОБРАНИЕ ИНСТРУКЦІЙ,

данныхъ въ разное время

командирамъ

РУССКИХЪ СУДОВЪ

при отправленіи въ дальніе плаванія

И ниже:

Санкт-Петербургъ

1853

Толик полистал. Мелькнуло знакомое имя Крузенштерна. Но мама торопила:

— Вот адрес. Вход отдельный, со двора, собаки там нет. Человека этого зовут Арсений Викторович. Он такой, немного хмурый и нелюдимый, но ты не бойся.

— А чего бояться-то? Отдам папку, вот и все.

— Ну... не совсем все. Скажи, что я просила, что, если он может... пусть сразу расплатится за работу. Нам бы деньги к празднику очень пригодились.

Толик поморщился.

— На кино-то небось запросишь, — напомнила мама.

Мама ушла. Толик оделся, выволок из-за вешалки лыжи, снял с гвоздя самодельную сбрую. На крыльце свистнул Султана. Тот вылетел из темноты.

— Хватит без толку носиться, запрягайся.

Султан не спорил.

Они выбрались со двора на укатанную дорогу.

— Ну, вперед! — велел Толик. — Давай!.. Вперед, Султан! Кошка! Где у нас кошка?

Султан радостно взвизгнул и рванул Толика.

Это была игра. Еще давно, когда пес был почти щенком, юный хозяин так приучал его мчаться и тащить лыжника. Приходилось выслеживать впереди кошку, чтобы Султан охотнее набирал скорость. А теперь никакой кошки не было, Султан это прекрасно понимал. Да и на кой шут она сдалась? Если догонишь, что дальше? Не душить же ее, в самом деле. Да и по морде можно заработать когтистой лапой (случалось такое в прежние времена). А бежать и без всякой причины весело. Везти легонького хозяина — это не работа, а шуточки.

Толику тоже было весело. Лыжи слушались отлично, тугие запяточные ремни плотно держали их на валенках. Папка — за пазухой, ремень от упряжки — в левой руке, а правая откинута, как у канатоходца, — чтобы сохранять равновесие...

А по сторонам бегут назад желтые уютные окошки. И старый знакомый — новогодний месяц — летит за Толиком.

Пересекли большую улицу Луначарского — с двухэтажными домами, фонарями, магазинами и машинами. И опять вокруг сугробы, палисадники да месяц над заборами... И вот уже Ямская. Раньше редко приходилось бывать здесь: в этих краях — ни друзей, ни знакомых. Вроде бы не так уж далеко от Запольной, а все здесь непривычное. Кирпичная часовенка на углу, сад за глухим забором, чужая трехэтажная школа... Даже месяц стал какой-то не такой и притворялся, что незнаком с Толиком.

Ну, ничего, они с Султаном нигде не пропадут.

— А ну, Султан, где здесь кошка?!

Дом номер четырнадцать оказался большой, двухэтажный, с узорчатыми наличниками на высоких окнах второго этажа. А низ — кирпичный. Наверно, раньше жил в доме купец или фабрикант. Калитка открылась мягко, без капризов. Во дворе, у первого крыльца, Толик воткнул в сугроб лыжи.

— Султан, сидеть. Зря не гавкай, лыжи никому не давай.

Султан недовольно двинул ушами: и так знаю. Толик постучал в обитую войлоком дверь. Постучал уверенно: на фанерном почтовом ящике белела при свете месяца надпись:

КУРГАНОВ А. В.

Хозяин отпер дверь, не спрашивая, кто и зачем. Встал на пороге, касаясь головой верхнего карниза. В сенях, за спиной у него, горела яркая лампочка.

— Что угодно? — глуховато спросил Курганов.

— От Людмилы Трофимовны... — Толик протянул папку.

— О! — Голос Курганова стал яснее и добрее. — Это удивительно и прекрасно. — Он взял папку. — Заходите, прошу вас.

Толик подумал, что заходить вроде бы ни к чему. Но вспомнил про деньги.

Они прошли через длинные морозные сени. Толик видел Курганова со спины. Тот был очень высокий, сутулый. В накиннутом ватнике, в старых галифе, в громадных растоптанных валенках на тонких ногах. По дороге он зацепил коромысло на стене, оно с грохотом сорвалось с гвоздя. Толик бросился поднимать, но Курганов, не взглянув, сказал:

— Плюньте.

Они оказались в большой комнате — тоже с яркой голой лампочкой. И первое, что увидел Толик, — это громадная синяя карта. Со всеми частями света. Она занимала полстены. Под ней угадывалась высокая, видимо, заколоченная дверь.

— Проходите, — говорил Курганов, — раздевайтесь, вот вешалка... Ах, как прекрасно, что Людмила Трофимовна прислала... Но зачем такое беспокойство? Я бы сам завтра... Вы ее сын?

— Сын, — кивнул Толик. Ему впервые говорили «вы», но он не удивлялся. Он знал, что люди, воспитанные по-старинному, всегда очень вежливы. Даже с детьми. Видимо, и Курганов такой. Может, и в самом деле ученый-географ? Специально поселился вдали от столицы, чтобы работать в тишине...

Правда, обстановка в комнате была явно не профессорская. Стол, покрытый газетами, разноместные стулья. Железная кровать. Книг много, но полки самодельные, некрашенные. Лишь камин богатый: большой, узорчатый — кружевное чугунное литье. Толик видел такой всего один раз — у мамы на работе, в кабинете редактора. Потому что редакция находилась в старинном доме бывшей заводской конторы буржуя Крутиса.

Здесь камин, конечно, тоже остался от прежних хозяев. Наверно, раньше в этой комнате был чей-то домашний кабинет, а потом его отгородили и сделали отдельный вход с улицы...

Толик, озираясь, машинально отстегнул пуговицы. Курганов забрал у него кушее, похожее на курточку пальто и шапку.

— Проходите, погрейтесь с дороги. Я сейчас чайку...

— Да нет, спасибо...

— Это вам спасибо, так вовремя привезли. Да проходите же!

Толик начал стаскивать валенки.

— Зачем? Не надо! — всполошился Курганов.

— Я шкуру затопчу.

На полу раскинулась бурая медвежья шкура с кривыми когтями на растопыренных лапах.

— Ну и топчите, я сам ее топчу! Это вовсе не предмет роскоши, а так... случайный подарок одного приятеля.

Но Толик уже стянул валенки.

— Тогда я их к печке... — решил Курганов.

Толик подумал, что Арсений Викторович вовсе не хмурый и не молчаливый. Скорей наоборот. Суетится чего-то с мальчишкой, как с важным человеком... «А может, просто стесняется? —

мелькнула у Толика догадка. — Может, не знает, как разговаривать с детьми? Может, своих никогда не было...»

Курганов, без сомнения, жил один. Единственная кровать — старая и узкая, вроде солдатской койки. Посуда стоит на тех же полках, что и книги. Вешалка почти пустая, а шкафа для одежды вообще нет. Холостяк. Вроде Дмитрия Ивановича, у которого Толик был несколько раз.

Идти в чулках по упругому медвежьему меху было очень приятно. Толик прошел не торопясь. Присел на скрипнувший стул. Курганов поставил на подоконник плитку, на плитку чайник. Толик думал: не пора ли сказать о деньгах?

Курганов, хотя и был разговорчив, добродушным не казался. Стоило ему замолчать, и лицо делалось невеселым. Это было некрасивое лицо с повисшим над толстыми губами носом. Один угол рта опускался ниже другого. Голубые глазки сидели близко от переносицы и смотрели из-под щетинистых бровей с настоженной виноватостью. Сквозь жидкие бесцветные волосы просвечивала лысина. И все же Курганов был не таким старым, как сперва Толику показалось. Сутулился, но двигался быстро. Он снял ватник, остался в обвисшем черном свитере и сделался еще более тощим и высоким. Длинные руки с большими ладонями торчали из рукавов...

Толик встретился глазами с Кургановым и смутился, что так разглядывает его. Стал смотреть на карту. Она была гораздо больше школьной. Все материки покрывал одинаковый серый цвет, а по морям и океанам растекалась голубая краска разных оттенков — от белесоватой до густо-васильковой.

«Наверно, морская карта», — подумал Толик. Хотел уже спросить о ней Курганова, но заметил картинку — рисунок в деревянной рамке под стеклом. Он висел на карте, левее западных берегов Африки. Толик различил на картинке переплетение корабельных снастей и осторожно подошел.

Рисунок был сделан карандашом на желтоватой ворсистой бумаге. На палубе, у фальшборта, в окружении хохочущих матросов сидел на бочке бородатый дядька в короне и с вилами. Он тоже хохотал или что-то весело кричал. В левой руке его была объемистая кружка. Поодаль стояла группа офицеров в треуголках. Сквозь частые ванты и бакштаги невдалеке был виден еще один корабль. Он шел под полными парусами, с небольшим креном.

Курганов остановился сзади. Толик оглянулся:

— Это встреча с Нептуном, да? Переход через экватор?

— Совершенно правильно. Русские корабли «Надежда» и «Нева» двадцать шестого ноября тысяча восемьсот третьего года.

— На которых Крузенштерн и Лисянский?

— Да, да... Значит, слышал о них?

— Ага! Я про них только сегодня читал.

— Прекрасно! А что именно? Чья книга?

— Моя. Мама подарила.

— Прекрасно, — опять сказал Курганов серьезно. — Но я, собственно, имел в виду, кто автор...

— Ой, — смутился Толик. — Это — кто написал? Я не помню.

— Ну, ничего, — смутился и Курганов.

— Кажется... Новиков.

— Любопытно... А может быть, Нозиков?

— Может быть, — виновато сказал Толик.

— Ну что же. Нозиков так Нозиков, — с непонятной ноткой проговорил Курганов. — Для начала можно и его.

— Вы его тоже читали, да?

— Д-да... По правде говоря, он не пишет ничего нового.

У меня еще в детстве была книга об арктических и кругосветных мореплавателях России, в том числе и о Крузенштерне. Некой писательницы Лялиной, весьма популярной в те года. Так вот, у Нозикова кое-где прямо слово в слово списано...

Толик с первого класса знал, что списывать нехорошо. И ему стало неловко за Нозикова. И обидно за книжку — мамин подарок. Толик сказал насупленно:

— Может, он просто похоже написал. Потому что про одно и то же.

— Да? Ну, может быть, — излишне покладисто проговорил Курганов. — Беда не в этом... И Лялина, и Нозиков описывают экспедицию очень гладко. И не касаются подробностей.

Толик нерешительно возразил:

— Почему? Там есть подробности.

— В событиях кое-что есть. А про людей мало... Например, что мы знаем про этого матроса? — Курганов ногтем ткнул в Нептуна. — Ни Лялина, ни Нозиков о нем даже не вспоминают. А любопытный был человек! Веселый, остроумный. Грамотный. А это редкость среди тогдашних матросов... Правда, и грехи у него были, мог загулять на берегу... В общем, характер... Кстати, мой однофамилец. Я в детстве вообразил даже, что это мой предок...

Толик живо вскинул на Курганова глаза:

— А может, правда?

— Едва ли... Но с него начался мой интерес к этому плаванью.

— А где вы про него прочитали? Про Курганова.

— У самого Крузенштерна, в его книге про путешествие. Очень старая книга, напечатана сто сорок лет назад. Три тома... Я выменял их у своего товарища на пять романов Майн Рида... Вот тогда и прочитал про матроса Курганова... Кстати, непонят-

но, как его звали. В списке экипажа у Курганова имя Иван и звание квартирмейстер, то есть унтер-офицер...

— Вроде нынешнего старшины?

— Вроде... А в книге Крузенштерн пишет «матрос Павел Курганов»... Думаю, он ошибся. Список — вещь точная, документ...

— Я сразу понял, что вы про них все изучаете. Еще когда мама сказала про инструкции... Вы ученый, да?

Курганов засмеялся. Он странно смеялся. Вперемешку с мелким кашлем. Лицо измялось, рот искривился: один угол поднялся в широкой улыбке, а второй оказался опущенным. Толику это показалось неприятным — будто Курганов насмехается над собой и над ним. Но тут же он понял, в чем дело: правый угол рта у Курганова соединялся с коротеньким коричневым шрамом, косо идущим вниз. Толик моментально вспомнил одну книжку, ее пересказывала ему мама — «Человек, который смеется». Там бродячие циркачи украли мальчишку, сделали ему операцию на лице, и он всю жизнь ходил с уродливой улыбкой. А здесь — наоборот: из-за шрама казалось, что правый край у рта уныло опущен.

А смеялся Курганов по-доброму, без насмешки. Голубые глазки его стали веселыми и симпатичными.

— Тебя как зовут-то? — Незаметно для себя и для Толика он перешел на «ты».

— Толик... А почему вы смеетесь?

— Извини... Просто меня первый раз в жизни приняли за ученого. За кого меня только не принимали! За кладбищенского сторожа, за ревизора, за клоуна... Даже за шпиона. А за ученого — ты первый... Нет, брат, до ученого мне как до Луны. У меня и образования-то — одна гимназия, да и то ускоренный выпуск. На войну торопился...

— На войну? — переспросил Толик, пытаясь сообразить: какие же это были годы?

— Да. Пошел вольноопределяющимся, потом в прапорщики произвели...

— Как... в прапорщики? — сказал Толик изумленно и опасно. Потому что у красных никаких прапорщиков не было.

Курганов опять улыбнулся:

— Это не Гражданская война, а с Германией, в четырнадцатом году... Мальчишки мы тогда были. Полегло нашего брата прапорщиков, бывших гимназеров и студентов... На подвиги очертя голову... А меня в пятнадцатом году так трахнуло, что очнулся только через месяц в лазарете. И сказали, что воевать больше не гожусь... Ну, вот и чайник закипел. Садись к столу, погреемся. Ты вон в какую даль топал по морозу.

Чай пили с колотым сахаром и твердыми до деревянности пряниками. Толик — из стакана с подстаканником, Курганов — из фаянсовой кружки с отбитой ручкой. Было тихо, даже слышном тихо, и в этой тишине слышался отчетливый медный стук часового механизма. Толик искал часы глазами и не увидел. Потом опять глянул на Курганова, встретился с ним взглядом и смутился. Молчать было неловко. Толик спросил, продираясь сквозь смущенье, как через колючки:

— Арсений Викторович, а почему вы тогда решили, что он ваш дедушка... ну или прадедушка... Этот матрос. Только из-за фамилии?

— Конечно! — Курганов, видимо, обрадовался разговору. — И потому еще, что мне очень этого хотелось... Но оказалось, что никаких моряков у нас в роду не было. Или сухопутные военные, или инженеры, математики... Кстати, если уж искать предков, то разумнее было бы считать таковым другого Курганова. Знаменитого профессора Морского шляхетного корпуса, у которого учился Крузенштерн... Но и это, конечно, пустое. Мой отец сказал однажды: «Не выдумывай. Мало ли Кургановых на Руси...» Сам он был инженером на литейном заводе, а из меня почему-то решил сделать адвоката, отдал в гимназию, а не в реальное училище... Увы, не вышел из меня адвокат.

«А кто вышел?» — чуть не спросил Толик, но не решился.

Однако Курганов понял.

— После ранения поступил в университет, бросил... Время было такое, не до учебы. В девятнадцатом взяли в Красную Армию, но воевать не послали, дохлый я был. Направили в военную типографию... А потом так и стал работать в типографиях. Можно сказать, специалистом сделался, хотя и без диплома.

— Значит, сейчас вы тоже в типографии работаете? — обрадовался Толик. — В газете, где мама?

— Сейчас вот как раз нет... Конторский служащий я, в райпотребсоюзе... Вообще-то мне приходилось не только типографскими делами заниматься. Всякими. И бывать пришлось в разных местах...

«А на фронте?» — чуть не спросил Толик. Он имел в виду последнюю войну, с фашистами. В его понимании все настоящие мужчины должны были участвовать в этой войне.

И опять Курганов понял его без вопроса.

— Перед войной я в Ленинграде жил. Когда финская началась, меня опять призвали. Вернулся уже с лейтенантскими кубиками. А больше воевать не пришлось...

— Признали негодным? — понимающе сказал Толик.

Курганов чуть усмехнулся:

— Признали... Послали работать на Север.

— С экспедицией, да?

— Можно сказать, что с экспедицией... А Ивана Курганова я все-таки считаю немного родственником. Потому что как увидел в старой книге эту фамилию, так и увлекся. Правда, про него самого я узнал немного, но плаванием этим всю жизнь интересуюсь. Пытаюсь кое в чем разобраться. Так, для себя...

— А разве там есть что-то неизученное? Ведь они не так уж давно плавали. Ну, не в древности же...

— Как тебе сказать... Особых тайн нет, и написано про это путешествие много. Но неясностей хватает... В характерах неясностей, в человеческих отношениях. Разные там были люди и разные события. Вот про это бы написать...

Толик поставил стакан. От неожиданной догадки он забыл про смущение. Спросил звонко:

— Значит, вы книгу пишете, да?

Курганов хлебнул, закашлялся, тоже поставил кружку. Коротко засмеялся, оборвал смех и сказал:

— Ну, что скрывать, раз ты догадался...

ШТОРМ В СКАГЕРРАКЕ

Толик смотрел на Курганова, приоткрыв рот. Первый раз в жизни он видел писателя. Ну, пускай не знаменитого, но все равно *писателя*. Человека, который *сам* пишет книгу. Потом он тряхнул головой, рот захлопнул и уткнулся в стакан. Глянул исподлобья и сказал с почтением и сочувствием:

— Это, наверно, ужасно трудно.

— Ужасно трудно, — очень серьезно, даже печально согласился Курганов. — Сколько раз уже хотел все изодрать в клочки.

— Зачем? Не надо! — испугался Толик.

— Порой кажется, что все так отвратительно написано. Беспомощно... И посоветоваться не с кем. За три года ты первый человек, с кем я про Крузенштерна заговорил. Я и разболтался-то потому, что... как бы сказать... почувал общий интерес.

— Я люблю про море и про путешествия, — тихо сказал Толик.

— Вот и я люблю. И про путешествия, и про моряков... Удивительные они люди. Сам я тоже в детстве о морской службе мечтал, да не вышло.

Толик подумал.

— Арсений Викторович, знаете что? Если человек про моряков книжку пишет, он ведь и сам тоже как моряк.

Голубые глазки Курганова снова добродушно засветились.

— Да? Может быть... Но это, наверно, если хорошо пишет.

— А вы... много уже написали?

— Ну... повесть эта довольно большая получается. Но я ее

уже почти кончаю. Сейчас кое-что переделываю, дополняю... Я ведь, Толик, давно с ней вожусь. И когда на Дальнем Востоке был, и там, под Выборгом. И в... на Севере когда работал... Тебе налить еще?

— Ага... то есть пожалуйста.

— Только вот пряники очень уж каменные.

— Ничего, я такие даже больше люблю. У меня зубы крепкие.

— А я свои почти все угробил за последние годы... — усмехнулся Курганов. И вдруг сказал другим голосом: — Толик...

Толик вопросительно вскинул глаза.

Курганов смотрел из-за кружки нерешительно и виновато.

— А если я попрошу тебя об одной услуге... А?

— Ладно... — неуверенно отозвался Толик. — О какой?

— Может быть, послушаешь у меня несколько страниц? Раз уж так получилось... Раз уж мы встретились так удачно. А?

— Конечно! — обрадовался Толик. По правде говоря, он это немного ждал. Вернее, не ждал, а думал: «Вот хорошо бы...»

Будет еще одно новогоднее чудо! Он сидит у старинного камина (пускай и не горящего), а писатель читает ему свою книгу. Да еще о Крузенштерне! Час назад про такое Толик и мечтать не мог. Нет, в самом деле, последнее время полно сюрпризов...

Курганов сбивчиво объяснил:

— Ты не удивляйся, что я тебе... Я никому в жизни еще не читал, а ты... Тебя будто сама судьба послала... — Он нервно усмехнулся.

Толик хотел пошутить, что послала не судьба, а мама, но постеснялся и сказал:

— Ладно. Только...

— Что? Дома ждут? — огорченно спросил Курганов

— Нет, мама еще, наверно, на работе. Султан ждет на дворе, я на нем приехал.

— Ездовой пес?! — обрадовался Курганов. — Давай его сюда.

...Султан был воспитанной собакой. Войдя в комнату, он шевельнул хвостом, будто сказал «здрсте». Курганов сел перед ним на корточках.

— Ух, какие мы красавцы... Прекрасное сочетание, помесь овчарки и лайки. И еще кое-чего понемножку, для гарнира. Медали за чистоту кровей нам не дадут, ну и не надо, зато мы сильные и умные... — Он бесстрашно взял голову Султана в большие свои ладони, потрепал по ушам, погладил загривок. А Султан... Толика даже ревность кольнула: стоит, бродяга, и хвостом машет, будто перед ним старый друг.

Курганов оглянулся на Толика.

— Мне с собаками много пришлось дела иметь, не удивляйся. Они своего сразу чувят... Откуда у тебя такой хороший?

— Сам нашелся, два года назад. Он совсем шенок был, худой,

и лапа в крови. На нашу улицу прибежал, а я его домой привел. Мама сперва говорит: «Вот еще! Самим нечего есть, вот выставлю обоих из дома...» Потом лапу ему забинтовала...

— Умница, — опять сказал Курганов Султану, еще раз погладил его и распрямился — голова под потолок. Робко спросил: — Ну, что, Толик, начнем?

Толик заволновался и кивнул. Сел у холодного и чистого внутри камина. Султан прилег рядом. Курганов достал с полки желтую картонную папку.

— А камин у вас действует? — спросил Толик.

— Что?.. Да, конечно. Но тепла от него маловато, я печку топлю. Но можно и камин, возни только много... Разжечь?

— Да нет, я же так просто спросил...

Оглядываясь на Толика, Курганов сел к столу, раскинул папку. Странно замер над бумагами. Стало опять очень тихо, и снова Толик услышал медный стук часов. Зашарил глазами по комнате. Но в это время Курганов шумно вздохнул и сказал:

— Я сперва самое начало прочту, ладно?

Толик опять кивнул. Курганов надел очки, нагнулся над листом и глуховато заговорил:

— «Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стоял учебный фрегат, двойным ударом, слышимым на трех этажах, отметил начало первой перемены...»

Пока Курганов читал, Толик пошевелился всего два раза. Первый — когда осторожно пересел поудобнее: устроился на стуле верхом, щекой лег на спинку. Второй — когда ногой толкнул Султана: тот, забыв о приличии, стал шумно чесаться. Чтобы не сопеть, дышал Толик, приоткрыв рот. От этого обсыхали губы, он водил по ним языком...

— Ну вот... — сказал Курганов и положил на папку вылезшие из обшлагов ладони. — Ну... как? Не понравилось, да?

Толик опять облизал губы.

— Понравилось. Только...

— Что? Ты не стесняйся, критикуй! — вскинулся Курганов.

— Да нет, все хорошо. Только жалко этого... Алабышева.

— Да? — обрадовался Курганов.

— Да, — вздохнул Толик.

— Но это же хорошо, что тебе его жаль! Значит... я как-то сумел это... передать. Показать...

— Сумели, конечно! А Фогту потом что было? Его правда выгнали из корпуса?

— Разумеется! Но не в нем дело. Он тут не главный герой, про него больше и не упоминается... А какие еще замечания?

— Никаких! Только... там немного одно место непонятно. Что случилось с лейтенантом Головановым?

— С Головачевым... Это, брат ты мой, самая печальная история. Я про него много пишу. Я ведь тебе только пролог прочитал, а дальше будет про само путешествие.

— Это хорошо. А то я все думал: когда про «Надежду» и «Неву» начнется?

— Будет, будет и про это. Прямо со следующего листа... Можно, я тебе еще пару страниц прочитаю? Это про шторм, в который корабли попали в самом начале плавания.

— Ага! — Толик опять положил подбородок на спинку стула. Шторм — это приключение, это интереснее всего.

«Мрак был не черный, а мутно-зеленый — так, по крайней мере, казалось капитану. Он ревел, этот мрак, выл, свистел картечью морских и дождевых брызг и громоздился всюду исполинскими глыбами воды. Штормовые стаксели почти не давали кораблю скорости. Неуклюже, то носом, то бортом, валился он со склона волны, и казалось, что не будет конца этому падению. Достигнув подножия водяной горы, махина скрипучего парусника силою инерции все еще стремилась в глубину, черпала воду фальшбортом, набирала ее щелями разошедшей обшивки, утыкалась бушпритом в накатившийся гребень. В это время упругая сила моря выталкивала корабельный корпус из водяной толщи, новая волна задирала «Надежде» нос, а очередной нажим бешеного норд-веста уваливал корабль под ветер и кренил до такой степени, что левый конец гота-рея вспарывал воду.

Свист воздуха в такелаже — тоскливый и более высокий, чем голос самого шторма, — надрывал душу.

Крузенштерн и второй лейтенант «Надежды», двадцатитрехлетний Петр Головачев, стояли у наветренного ограждения юта... Хотя едва ли можно сказать «стояли» о людях, которые мечутся вместе с растерзанным парусником среди стремительно вырастающих водяных холмов, скользят сапогами по мокрой палубе и то цепляются за планшир, то с маху ударяются спиной об упругий штормовой леер. И слепнут от хлестких ключев пены.

Впрочем, какая разница, слепнут или нет. Все равно мрак...

Нет, какие-то остатки света все же были заметны в кипящей смеси воды и ветра. То ли пробивался в случайный разрыв облаков луч звезды, то ли сами по себе пенные гребни давали сумрачное свечение. Ревущая темнота была испятнана, исчерчена смутными узорами этой пены.

«Надежда» опять стремительно пошла вниз, а впереди и справа Крузенштерн угадал громадную волну с двумя пятнами пены у гребня. Они мерцали, как белесые глаза.

«А и правда — чудовище», — мелькнула мысль. Раньше Крузенштерн усмехался, когда встречал у романтиков сравнения волн с живыми страшилищами. Он бывал во многих штормах и знал, что волны — это волны и ничто другое. Сейчас же сравнение пришло само собой. И Крузенштерн понял, что это — страх.

«Надежда» снова легла на борт, и пошли секунды ожидания: встанет ли? Со стонами начала «Надежда» выпрямляться.

«Господи, никогда не было такого...»

Не помнил он подобного шторма, хотя обошел на разных кораблях полсвета. Ни у берегов Вест-Индии, ни в Бенгальском заливе, где крейсировал с англичанами на их фрегате, ни в китайских водах, известных своими тайфунами, не приводилось встречаться со столь неудержимой силой стихии...

Палуба опять покатила в глубину, шквал ударил в правый борт, оторвал от планшира Головачева, толкнул к бизань-мачте. Но через несколько секунд лейтенант снова оказался рядом.

«А ведь ему не в пример страшнее, чем мне, — подумал Крузенштерн. — Мальчишка... Хотя какой же мальчишка? Успел уже поплавать, побывать в кампаниях... Да и сам ты в двадцать три года считал ли себя мальчишкой? В скольких сражениях со шведами обстрелян был, в Англию попал на учебу в числе лучших офицеров... Да, но сейчас иногда вдруг чувствуешь себя ребенком. При расставании в Кронштадте сдавило горло слезами, как в детские годы, когда увозили из Ревеля в корпус...»

Сорвало кожаный капюшон, Крузенштерн опять натянул его.

«...А Головачев? Что я про него знаю? Единственный, с кем не был знаком до плавания. Посоветовали, сказали: искусный и храбрый офицер... А и в самом деле, держится молодцом...»

— Петр Трофимыч, как на руле?! — крикнул Крузенштерн и подавился дождем.

У штурвала были различимы фигуры в штормовых накидках.

— На руле! Держитесь там?! — перекричал шторм лейтенант.

— Так точ... ваш-бла-родь! Держ... — долетело до него.

— Кто рулевые?! — отворачиваясь от ветра, крикнул Крузенштерн.

— Иван Курганов и... Григорьев... ваш-сок-бла-родь...

— Круче к ветру держите, ребята! Все время круче к ветру!

— Так точ... Держим, ваш... родь...

— Крепко привязаны?!

— Так точ...

Опять чудовищный этот крен со стоном рангоута и мучительным скрипом обшивки. Встанем ли? «Ну, вставай, «Надежда», вставай, голубушка... Да выпрямляйся же, черт тебя разнеси!»

Это надо же, как взбесились волны! И не где-нибудь в открытом океане, а в проливе, в Скагерраке, хоженном туда-сюда не

единожды... В том-то и беда, что в проливе. Кто знает, где теперь берег? Стоит задеть камни — и пиши пропало. До чего же обидно — в самом начале плавания...

— Круче к ветру!

Да что могут сделать рулевые, когда хода у корабля нет, а вся ярость шторма лишь на то и нацелена, чтобы поставить «Надежду» бортом к ветру, к волне...

Какая-то фигура, цепляясь за леера, взобралась на ют.

— Кто?! — гаркнул Крузенштерн.

— Это граф Толстой! — отозвался Головачев.

Подпоручик гвардии Федор Толстой оказался рядом.

— Что вам здесь надо?! — Крузенштерну было не до любезностей.

— Наблюдаю разгул стихий, — отплевываясь, изъяснился подпоручик. — Любопытствую и удивляюсь себе, ибо ощутил в душе чувство, доселе неведомое. А именно — боязнь гибели. До сей поры был уверен, что в части страха обделен природою...

«Правда ли боится? — подумал Крузенштерн. — Или ваяет дурака, а настоящей опасности не понимает?»

— Идите философствовать в каюту, граф! Здесь не место!

— Отчего же, капитан?!

— Оттого, что смеет в... — Крузенштерн не сдержал досады и назвал место, куда смеет бесполового сухопутного подпоручика. Тот захохотал, кашляя от дождя и ветра. Неожиданно засмеялся и Головачев. И тут опять бортом поехали в тартарары, а сверху рухнул многопудовый пенный гребень.

Когда «Надежда» очередной раз выпрямилась и вскарабкалась на волну, Толстой выкрикнул:

— Кому суждено погибнуть от пули, тот не потонет!

— А вы знаете точно, что вам уготована такая судьба? — сквозь штормовой рев спросил Головачев.

— На войне ли, от противника ли у барьера, но знаю точно — от пули помру! На крайний случай — сам из пистолета в лоб! Не в постели же кончат дни свои офицеру гвардии!

— Завидна столь твердая определенность! — цепляясь за планшир, насмешливо крикнул Головачев.

— Кто же мешает и вам...

— На руле! Два шлага влево, чтобы ход взяли! А как волна встанет, снова круто к ветру! — скомандовал Крузенштерн. — Так!.. Все, братцы, на ветер! Прямо руль!

— Разве же эта посудица слушает еще руля? — искренне удивился Толстой.

— Сие не посудица, а корабль Российского флота! — неожиданно взъярился Головачев. — И правда, шли бы в каюту, граф! А то и пуля не понадобится!

— А в каюте что? Та же вода! Хлещет во все щели!

«Коли выберемся благополучно и дойдем до Англии, сколько дней лишних потратим на новую конопатку», — подумал Крузенштерн. И впервые выругал в душе милого Юрочку Лисянского за то, что не сумел он за границей купить корабли поновее.

Кстати, где он сейчас, Лисянский? «Нева» исчезла за дождем и волнами при первых же шквалах, и теперь лишь гадать можно о ее судьбе... Ну, да если мы пока держимся, Бог даст, и она выстоит. Не случилось бы только самого худого: вдруг вырастет над волною силуэт корабля, кинется навстречу...

Экие мысли в голову лезут! Лисянский не новичок, не повернет судно по ветру. А все-таки...

— На руле! Смотреть вперед сколько можно!..

— Есть, ваш... родь! Сколько можно, смотрим!..

Это Курганов. Отличный матрос, хотя, по мнению некоторых, языкаст не в меру. Вот и сейчас проскочила насмешка: смотрим, мол, приказ выполняем, да только чего тут рассмотришь-то?

Ну и ладно. Ежели есть в человеке еще сила для насмешек, значит, держится человек...

Толстой крикнул опять:

— Здесь хотя бы на воле, а в каюте совсем тошно! Страхи спутников моих и стенания, кои слышатся там, усугубляют душевное расстройство!..

— По-моему, для борьбы с душевным расстройством вы излишне долго беседовали с бутылкою, — догадался Крузенштерн. — Только, ради Бога, без обид, граф! Драться с вами на дуэли я все равно не имею возможности!

...Сумрак стал жиже, появились первые признаки пасмурного рассвета. На ют поднялись Ратманов и Ромберг.

— Иван Федорович, обшивка местами расходится, в трюме может случиться течь, — сказал Ратманов.

— Все может быть, если скоро ветер не ослабнет.

— Идите отдохните, Иван Федорович. И вы, Петр Трофимович. Мы заступаем.

Крузенштерн спустился в каюту. Под бимсом — выгнутой потолочной балкой — мотался масляный фонарь. Воды было по щиколотку, она ходила от стенки к стенке. Фонарь раскидывал по ней желтые зигзаги. Плавала разбухшая книга.

Постель промокла. Крузенштерн повалился на койку, не снимая плаща. Качка сразу сделалась мягче, взяла его в большие темные ладони, вой ветра и плеск за бортами приутихли... И казалось, прошла минута, но, когда вестовой растолкал капитана, за стеклами свистело уже серое утро.

— Ваше высочество, их благородие Макар Иваныч просят вас наверх.

Качало так же. Свет давал теперь возможность видеть взбе-

сившееся море. Дождя почти не стало, и, когда корабль подымало на гребень, был виден взлохмаченный горизонт.

— Иван Федорович! — крикнул Ратманов. — Не убрать ли стакселя? Они не столько дают нам движение вперед, сколько способствуют дрейфу! Слева вот-вот покажется берег.

— Подождем еще, Макар Иванович! Без стакселей мы совсем будем неуправляемы!

Но в четыре часа пополудни, когда слева открылся берег Ютландии, Крузенштерн приказал убрать штормовые стакселя и намертво закрепить руль. Шторм перестал двигать корабль к опасной суше, но зато «Надежда» совсем потеряла способность к маневру. К счастью, буря стала стихать.

К ночи ветер стал ровнее. Но дул он по-прежнему между вестом и вест-норд-вестом и не давал выйти из Скагеррака, хотя снова поставили стакселя, а также бизань и фор-марсель.

Лишь через сутки неустанной лавировки моряки увидели Дернеус — южный мыс Норвегии. К вечеру ветер стал тише, и тогда через северную половину потемневшего неба перекинулась дуга полярного сияния. Под нею, словно опоры великанского моста, поднялись облачные темные столбы.

Корабль все еще кидало на неустойчивой после шторма зыби. Матросы замороженно и со страхом смотрели на светлую арку небесного моста. Вздыхали:

— Не к добру...

Не терявший веселости Иван Курганов пробовал пошутить:

— Этим мостиком, братцы, прямехонько в царствие небесное...

Шутку на сей раз приняли без одобрения.

Офицеры и ученые тоже считали, что необычное явление может быть предвестником нового шторма. Но, к счастью, дурные предположения не оправдались. Двадцатого сентября дул сильный, но попутный ветер, затем, когда вышли на Доггер-банку, наступил короткий штиль. Матросы приволили корабль в порядок. Несколько человек, зная рыбную славу здешнего места, закинули сеть, но без успеха. Крузенштерн с учеными испытывал новый прибор — Гельсову машину — для определения разницы температуры воды на поверхности и в глубине.

Пассажиры приходили в себя. Появился наконец за обеденным столом бледный и молчаливый Резанов. Он смотрел с укором, словно в недавнем шторме виноват был капитан «Надежды».

Несколько раз Крузенштерн с тревогой и досадой навещал в гардемаринской каюте кадета морского корпуса Бистрема, своего племянника. Измученный непрерывной морской болезнью, племянник не помылся уже ни о плавании, ни о флотской службе вообще. К счастью, повстречался английский фрегат «Виргиния». Командиром его оказался капитан Бересдорф, зна-

комый Крузенштерну по службе в английском флоте. Он взялся доставить кадета Бистрема в Лондон, чтобы тот мог вернуться в Россию. Отправились в Лондон на «Виргинии» также астроном Горнер, чтобы купить недостающие инструменты, и его превосходительство камергер Резанов с майором Фридрицием — для обозрения английской столицы. Вернуться на борт «Надежды» обещали в Фальмуте, где корабль должен был чиниться после шторма.

27 сентября «Надежда» благополучно пришла в Фальмут, где и встретила с «Невою».

Погода сделалась хорошая, но люди еще жили воспоминаниями шторма. Кое-кто из пассажиров говорил между собою:

— Если такое было у берегов Европы, что нас ждет в океане?

Фальмут был последним портом перед выходом в открытый океан. Все писали письма, чтобы с попутными кораблями отправить домой. Ученые делали записи в журналах наблюдений.

Писал свой «Журнал путешествия россиян вокруг света» и главный комиссионер Российско-Американской компании, верный помощник Резанова купец Федор Шемелин.

Шемелин определили на жительство в констапельскую — глубокую кормовую каюту, где хранилось артиллерийское имущество. Свет сюда не проникал, днем и ночью приходилось жечь свечу в фонаре, да и та горела слабо в спертом воздухе.

При желтом дрожании огня Шемелин описывал шторм. Сообщал будущим читателям, что люди, оказавшись в той буре, вели себя по-разному: одни проявили неустрашимость, другие — малодушие. «Последних боязнь, — писал Федор Иванович, — простиралась до того, что с каждым наклоном судна набок представлялось им, что они погружаются уже на дно морское. Каждый удар волны об корабль считали они последним разрушением оно и прощались со светом. Те, которые являли себя храбрее на берегу, показали себя на море всех трусливее и малодушнее».

О ком именно идет речь, в «Журнале», напечатанном в 1816 году, не сказано. И мы не станем строить догадок, дело прошлое. Но стоит запомнить мысль Шемелина, что настоящая смелость проявляется именно в суровые часы, а пустая важность и надутая храбрость при виде опасности слетают с человека шелохоу.

Впрочем, ни один офицер, ни один матрос робости во время шторма не проявили, каждый службу свою нес честно и умело...»

Курганов закрыл папку и опять глянул на Толика: вопросительно и виновато.

— Здорово, — сказал Толик. — Даже страшно, когда про

крен: встанет ли?.. Вот интересно: знаешь, что ничего с ними не случится, а все равно страшно. Будто сам на палубе... — Толик пошевелил плечами. — Будто даже брызги за шиворот...

— Да? — Курганов стремительно встал, шагнул к Толику, взял его большущими ладонями за плечи (Султан стрелками поставил уши и напряжился). — Ох, спасибо тебе... Прямо бальзам на мою грешную душу.

Толик глянул в высоту — в счастливое (и даже немного красивое) лицо Курганова.

— Арсений Викторович, а какая это будет книга? Детская или взрослая?

— Что?.. — Курганов опустил руки. — Я как-то не задумывался. Хочется, чтобы всем интересно было.

— Так, наверно, и будет, — успокоил Толик.

Опять наступило молчание. И, услышав снова медный стук шестеренок, Толик спохватился:

— Ой, а который час?

Курганов поднял на животе обвисший свитер, вытянул из кармашка у пояса большие часы на цепочке.

— Почти девять...

— Мама, наверно, скоро придет домой...

— Бессовестный я человек, задержал тебя.

— Да все в порядке, мы за пять минут домчимся!.. Ой... — Толик засопел и неловко затоптался. — Арсений Викторович, мама просила... если вы, конечно, можете... Может, у вас есть сегодня деньги за перепечатку?

Курганов хлопнул себя по лысому лбу.

— Ну, растяпа я! Ну, субъект! Сейчас, сейчас. Конечно...

Из кармана галифе он извлек потрепанный бумажник.

— Вот, пожалуйста... Ах ты, неприятность какая, десяти рублей не хватает. Как неудобно...

Он сделался виноватый, ну прямо как первоклассник перед завучем. Толик решительно сказал:

— Арсений Викторович, если у вас последние, то не надо.

— Ну что ты, что ты! Я завтра утром получу! И сразу эти десять рублей занесу. Я знаю, где вы живете, однажды заходил. Ты извинись за меня перед Людмилой Трофимовной...

— Да пустяки, — сказал Толик.

— Нет-нет, я завтра же... А эти деньги спрячь, не вытряхни по дороге.

— Не вытряхну. — Толик расстегнул курточку. Это была тесная, еще со второго класса, курточка с потайным карманом — его пришла мама для денег и хлебных карточек, когда Толику приходилось стоять в очередях.

У ГОРЯЩЕГО КАМИНА

Толик проснулся так поздно, что на замороженных окнах уже сияли солнечные искры. Потрескивала печка. Стучала машинка: значит, мама в редакцию не пошла, работает дома.

Не оглядываясь, мама сказала:

— Не вздумай читать в постели. Брысь одеваться.

— Есть, товарищ капитан! — Толик кувыркнулся из-под одеяла на половику и сел по-турецки, любуясь елкой...

В эту минуту краснощекая тетка в полушубке принесла телеграмму. И хорошее утро испортилось. Варя сообщила, что придет лишь первого числа, потому что перед самым Новым годом у нее зачет. И, конечно, что она «поздравляет и целует».

— Целует она, — сумрачно сказал Толик. — Лучше бы зачеты сдавала пораньше...

У мамы тоже упало настроение. Она добавила, что дело, скорее всего, не в зачете. Просто распрекрасной Варваре хочется встретить Новый год в компании однокурсников.

— Конечно, — поддержал Толик. — Там у нее кавалеры со всех сторон. Выбирай какого хочешь жениха.

— Анатолий...

— А чего? Вот подожди, сама увидишь...

Мама взяла себя в руки и сообщила Толику, что он говорит глупости. У Вари действительно важный зачет, это надо понимать. Завтра она придет, и все будет хорошо и весело. А сегодня, что поделаешь, посидят в новогоднюю ночь вдвоем. Немножко пошучать — это тоже полезно.

Толик осторожно спросил:

— А может быть, Дмитрий Иванович все-таки придет?

— Что ему у нас делать? Я же говорила: он встречает Новый год со знакомыми на работе. У них большая компания.

Толику стало обидно за маму.

— Между прочим, мог бы и тебя пригласить.

— Между прочим, он приглашал...

— Ну и... что? — упавшим голосом спросил Толик.

Мама хлопнула его по носу свернутой телеграммой.

— Дурень. Куда же я из дома? Тем более мы думали, что Варя придет.

— Но теперь-то знаешь, что не придет, — пробормотал Толик. Он ужасно не хотел, чтобы мама уходила, но совесть требовала поступать так, чтобы маме было лучше.

— А тебя-то я куда дену?

— Я что, грудной? Посижу у елки, книжку читаю. По радио концерт будет интересный... К Эльзе Георгиевне схожу...

— Очень ты там нужен...

— А потом спать лягу, — сдерживая скорбь, сказал Толик.

— Нет уж, мне там все равно праздника не будет, я изведусь: как ты один? Небось еще елку запалишь...

Толик прикинул: достаточно ли он поугуваривал маму? Совесть подсказывала, что надо бы продолжить разговор, а здравый смысл предупреждал: так можно и палку перегнуть — мама, чего доброго, возьмет да и поддастся уговорам.

Она посмотрела на Толика и засмеялась:

— Твои терзания у тебя на физиономии напечатаны крупными буквами. Не бойся, никуда я не пойду...

Толик засопел от стыда и облегчения и хотел пробурчать что-нибудь возмущенно-оправдательное. И в этот момент, к счастью, пришел Курганов.

Мама встретила его в коридоре и привела в комнату. Сейчас Курганов показался Толику еще более высоким и худым, чем вчера. Он был в старом, очень длинном демисезонном пальто, из-под которого торчали растоптанные валенки. меховая шапка тоже была старая, потертая до лысой кожи. Шею обматывал в несколько витков красный порванный шарф.

Покашливая, Арсений Викторович объяснил, что вот такая вчера получилась досада и он очень просит извинить, что не смог расплатиться сразу. А сейчас вот, пожалуйста...

Мама сказала, что не стоило волноваться из-за пустяка. Но все равно она рада, что Арсений Викторович зашел. Пусть он раздевается, сейчас они будут пить чай... Ох, только, пожалуйста, никаких отговорок. Раз уж пришли, будьте добры подчиняться хозяйке. Пусть Толик отнесет на вешалку пальто Арсения Викторовича...

Когда Толик вернулся в комнату, Арсений Викторович сидел у стола и трепал по ушам Султана. Мама весело звякала чашками и блюдами.

Курганов неловко повозился на стуле, поводил голубыми своими глазками по елке — от пола до макушки — и сказал стеснительно:

— Да, елка у вас... Хоть во дворец такую...

— Толик постарался. Как он, бедный, ее только дотащил...

— Очень просто дотащил, — бодро сказал Толик.

Курганов на секунду прикрыл глаза, улыбнулся уголком рта.

— Запах. Детство вспоминается. Всегда, если елкой пахнет, детство вспоминается.

— Это, наверно, хорошо... — заметила мама.

— Это хорошо, — серьезно отозвался Курганов. — Без этого нельзя. — Он опять нагнулся и стал гладить Султана.

— А у вас будет елка? — спросил Толик. Мама взглянула на него укоризненно. Однако Курганов не удивился вопросу.

— Где уж мне с елкой возиться. У меня и украшений нет... Правда, две веточки поставил в графин, для запаха. Чтобы пове-

селее было, когда Новый год наступит... Да еще камин, пожалуй, затоплю для настроения. Толик вчера видел, какой у меня камин. Памятник эпохи...

— Как в сказке, — сказал Толик.

— Вы что же, в одиночестве Новый год встречаете? — с вежливым сочувствием спросила мама.

— А мне не привыкать... Думал было съездить к дочери в Ленинград, да отпуск не дают. Она ко мне тоже не может, обстоятельства всякие...

— Я и не знала, что у вас дочь...

— Да. Взрослая... Жена умерла в эвакуации, а дочь вернулась в Ленинград, замужем теперь.

«А вы почему не в Ленинграде живете?» — чуть не соскочило с языка у Толика, но мама вовремя посмотрела на него. Да он и сам сообразил: мало ли какие бывают причины, нечего соваться. Но уже вырвались слова: «А вы...» И, чтобы как-то закончить фразу, Толик бухнул:

— А вы... приходите к нам Новый год встречать.

Толик тут же испуганно взглянул на маму. Она, кажется, потерялась, но почти сразу сказала:

— А в самом деле... Арсений Викторович, это мысль! Мы с Толиком вдвоем остались, тоже скучать собираемся. Дочь не приехала, застряла в институте... Посидим, свечки зажжем на елке, будет очень уютно...

Курганов помолчал и ответил, не поднимая головы:

— Спасибо вам громадное... Только, знаете, я уж лучше дома. Неподходящий я для праздничных компаний человек, привык все больше сам с собой.

— Ну как же так! — Мама, кажется, искренне огорчилась. — В праздник можно посидеть и... как говорится, в кругу.

— Можно, конечно... — Курганов опять повозился на скрипнувшем стуле, осторожно придвинул к себе блюдо с чашкой. — Можно... Да только кругу от такого гостя, как я, всегда одно уныние. Знаете, Людмила Трофимовна, за всю жизнь не научился поддерживать застольные беседы. Очень бывает неудобно... — Он полушутливо развел большущими ладонями, зацепил на краю стола сахарницу, сконфузился и заболтал в чае ложечкой.

— Жаль, — вздохнула мама. — Жаль, что вы не поддаетесь уговорам.

Толик чувствовал себя виноватым за весь этот нескладный разговор. Чтобы загладить перед мамой оплошность, он сказал:

— Я маму уговаривал идти встречать Новый год со знакомыми, а она боится меня оставить. Будто мне три года.

— Да не боюсь я, — серьезно возразила мама. — Просто нехорошо это: собственного сына бросать в праздник...

Курганов задержал у губ чашку, глянул на маму, на Толика. Прихлебнул. Потом торопливо допил чай и заговорил, неловко усмехаясь:

— Вы уж не обижайтесь, Людмила Трофимовна, человек я для застольных бесед в самом деле неприспособленный. А вот с Толиком вчера разговорились. Общая тема нашлась...

— Мы о Крузенштерне... — ввернул Толик.

— Да, это у меня давнее... Я вот подумал... Чтобы никто не скучал в праздник... Вы только не сочтите мое предложение за странность. Если, конечно, Толик согласится... Вы бы пошли в гости, а Толик ко мне. Чтобы вы не волновались, а Толик один не грустил. Мы бы с ним продолжили вчерашнюю беседу...

— Ой... ура, — шепотом сказал Толик.

Удивительно, что мама согласилась. Причем гораздо скорее, чем ожидал Толик. Много времени спустя, когда Толик вспоминал эти дни, он сообразил, что маме очень надо было в ту ночь оказаться там, в гостях. Где Дмитрий Иванович. Что-то складывалось (или, наоборот, не складывалось) у нее в отношениях с этим человеком. Но в то утро Толик подумал об этом лишь мельком и без тревоги. Для беспокойства не было причин: Дмитрий Иванович такой хороший человек...

И Арсений Викторович хороший: как он все придумал!

Конечно, мама сначала сказала, что это неудобно. Чего ради Арсений Викторович должен брать на себя такие заботы.

А он, смущенно кашляя, возразил, что забот никаких. И что он зовет Толика «главным образом из чисто корыстных соображений». Толик такой внимательный слушатель, а ему, Арсению Викторовичу, очень хочется почитать кое-что из своей рукописи. Так что это, наоборот, Людмила Трофимовна и Толик сделают ему одолжение... И пусть Людмила Трофимовна не волнуется, у него прекрасная кровать, Толику на ней будет удобно. А сам Арсений Викторович уляжется на стульях, ему не привыкать.

— Ну уж это ни в коем случае, — сказала мама. — На стульях прекрасно устроится Толик.

Толик и подумать не мог, что подкатят эти слезы...

Сначала все было замечательно.

Комната Курганова оказалась прибрана, в ней пахло елкой. Ветки в графине были не просто ветки, а густые лапы, и на них даже блестели три зеркальных шарика. У каминной лежали березовые дрова. Арсений Викторович обрадовался Толику, помог раздеться, удивился и смутился, что мама дала ему с собой большой

кулек замороженных пельменей, и пошел ставить для них на плитке воду (когда-то закипит!).

Султан по-хозяйски растянулся на шкуре.

Толик сел у стола с еловыми ветками.

Наступила какая-то непонятная минута. Опять стучали невидимые часы. У Курганова «не контактила» плитка, и он смущенно чертыхался вполголоса. Свежие хвойные лапы пахли очень сильно, и Толик вспомнил *свою* елку. И подумалось: «А почему все *так?*» Он здесь, в чужом, почти незнакомом доме, а елка, с которой он столько мучился и радовался, стоит, никому не нужная, в пустой темной комнате... А мама... она где-то с другими людьми... Нелепость какая-то! Почему они с мамой в этот праздник не дома?

Конечно, сам хотел. Обрадовался, когда Арсений Викторович предложил. Ждал с нетерпением вечера. Весело попрощался с мамой, бодро примчался на лыжах сюда... И вот...

Хорошо, что хоть Султашка рядом.

Толик присел возле Султана на корточки, начал гладить его, крупным глотком загнал внутрь слезы.

— Все! — сказал Курганов. — Включилась, окаянная... Толик...

Ответить бы что-нибудь, но в горле будто пробка деревянная.

Курганов подошел, постоял над Толиком. Опустился рядом.

— Взгрустнулось, что ли? — тихо спросил он. — Это бывает, не стесняйся... Я помню, было мне тоже лет одиннадцать, и на рождественские каникулы приехал я на дачу к товарищу. Под Лугу... Все елку наряжают, радуются, а мне вдруг дом вспомнился... Убежал я на кухню, спрятался в углу... А ты не грусти, Толик, ночь-то проскочит незаметно. Завтра прибежишь домой, все будет в порядке... А?

Стыд — хороший тормоз для слез. У Толика затеплели уши, а пробка в горле почти растворилась. Он опять глотнул.

Курганов положил ему руку на плечо.

— Это ведь само по себе праздник, что дом твой рядом и что завтра ты в нем обязательно окажешься. И елка там, и родные люди... Мне приходилось Новый год встречать, когда до дома тыщи верст и неизвестно, когда попадешь в него. И люди кругом... такие, что лучше бы никого. Вот это тоска... Крузенштерн тогда только и спасал.

Толик посопел и спросил сипловато:

— Вы сегодня про него почитаете?

— Договорились же! Про него и про других... А сперва кое о чем расскажу, чтобы тебе все понятно было...

— А камин разожжем?

— В первую очередь!

Камин разгорелся быстро. Дрова застреляли, пламя рванулось к дымоходу, высветило чугунное нутро.

— Ну вот, а теперь сядем, — сказал Курганов.

Толик поставил стул боком к огню, сел верхом, как в прошлый раз. Султан примостился у ног.

— А я так, на дровишках. Мне это привычнее... — Арсений Викторович устроился на поленьях напротив Толика, по-мальчишечьи обнял колени. Помолчал. Свет падал на его лицо сбоку, яркие зайчики дрожали на залысинах. Глаза в тени глубоких впадин казались теперь большими и почти черными.

Толик с вежливым нетерпением качнул ногой. Курганов потер большим пальцем рубчик на уголке рта и попросил:

— Если я очень разговорюсь, ты меня останавливай. А то я могу на эту тему до бесконечности... Значит, о Российско-Американской компании ты уже читал?

— Ага... В той книжке. Но там немного.

— Много и не надо, главное, чтобы ясно было, с чего началось... Основал эту компанию Григорий Иванович Шелехов с товарищами, давно еще, в восьмьдесят первом году позапрошлого века. Человек он был энергичный, умный. И мореплаватель, и торговец, и промысловик. Добывали русские люди пушнину на побережье Аляски, на Алеутских островах, а главным образом на большом острове Кадьяке. Там и главное поселение было. Возили добычу через океан, в Петропавловск на Камчатке, а оттуда в Китай, на продажу.

Трудное это было дело, опытных моряков не хватало, суда тамощней постройки были неважные, гибло их немало... Да и вообще промышленным людям жилось там не сладко. Все товары и продукты, всякую мелочь приходилось через всю глухую Сибирь везти на лошадях до Охотска, а оттуда уж морем на Камчатку и в Американские поселения.

Толик кивнул. Все это он уже знал.

— А Крузенштерн решил доказать, что на кораблях прямо из России, через океаны, легче, да?

— Именно... Он ведь был к тому времени опытный мореплаватель, хотя исполнилось ему едва тридцать лет. Успел он отличиться во многих сражениях, потом служил у англичан: был, понашему выражаясь, на длительной практике за границей... Там тоже пришлось повоевать, с французами. Побывал он в Америке, в Африке, в Индии, а потом добрался до Китая. Все ему было интересно: как люди живут в дальних странах, какие у других народов корабли и моряки, как торговля идет. И все время он думал: почему же русские суда в большие плавания не ходят? Разве наши матросы и капитаны хуже других? И почему в России должны люди втридорога платить за товары, которые приво-

зят иностранцы? Разве не можем сами мы вести морскую торговлю?

...И вот, когда Крузенштерн возвращался из Китая в Европу на корабле «Бомбей Кастль» (а было это в тысяча семьсот девяносто девятом году), составил он свой проект кругосветного плавания. Первая часть была о торговле. О том, что российские корабли могут везти нужные товары на русские промыслы в Тихом океане, забирать там пушнину, выгодно продавать ее в китайском городе Кантоне, а там нагружаться товарами, которые нужны в России и Европе. Такие же товары можно было закупать по пути через Индийский океан: в Батавии, в Калькутте...

Но это еще не весь проект. Мне кажется, Крузенштерн считал торговые дела не самыми главными. Просто этой важной причиной он старался убедить начальство в пользу кругосветного плавания. О таком плавании Крузенштерн мечтал с детства. Он ведь был, как говорится, моряк до мозга костей. Человек, самой природой предназначенный для путешествий, для открытий, для изучения всяких морских тайн, а их тогда было видимо-невидимо еще... Можно сказать, вся наша Земля тайнами дышала...

И вот писал Крузенштерн, что русский флот должен стать таким же славным и знаменитым в искусстве дальних плаваний, как самый лучший тогда — английский. И что не должны российские моряки уступать иноземцам в географических открытиях...

Ну, как ты помнишь, сперва этот проект не одобрили. Или просто-напросто затеряли среди канцелярских бумаг.

Крузенштерн разозлился на царских бюрократов и ушел в долгий отпуск, уехал в свою деревню под Таллин (тогда он назывался Ревель). Подумывал уже совсем уйти из флота...

— Как это? А говорите — «моряк до мозга костей».

— Да, он и был таким. Я ведь сказал уже, сколько он морей и стран повидал к тридцати годам... Но тут он решил: раз дальше не получается, нечего зря морской мундир носить. После всего, что было, не плавать же в Маркизовой луже (так Финский залив прозвали). Вот и подумал: займусь хозяйством или буду учителем географии в той школе, где когда-то сам учился...

Надо сказать, что ребяташек Иван Федорович любил и, видимо, к учительскому делу чувствовал какую-то тягу. Недаром стал потом заведовать Морским корпусом...

Но это потом, спустя много лет. А пока жил он в глуши, и вдруг примчался к нему фельдъегерь: «Вас вызывает адмирал Мордвинов, новый морской министр...»

Прибыл Крузенштерн к министру и слышит: «Господин капитан-лейтенант, ваш проект наконец рассмотрен и принят. Готовьтесь стать во главе экспедиции».

— Вот обрадовался-то! — воскликнул Толик.

— А вот и несколько... — вздохнул Курганов.

— Почему?

— Потому что все хорошо в свое время... У Нозикова про это, кажется, не написано... Крузенштерн тогда только женился, жена ребенка ждала... Легко ли уезжать в такую пору?

— Но все равно... Он же моряк, — тихо сказал Толик.

— Да. Но ты пойми его... Ты вот на одну ночь из дома ушел, да и то загрустил. А ему-то на три года... А ведь тогда плавания были не те, что сейчас. В наше время где бы ни был корабль, он по радио может связаться с родным портом. А тогда что... Письма шли иногда по полгода, со случайными кораблями или по суше через половину земного шара. Плынешь и думаешь: «А как дома? Нет ли беды какой? Живы ли?..» Знаешь, Толик, не бывает хуже пытки, когда ты далеко от родных, а писем нет и нет.

Толику почему-то стало неловко, и он проговорил поскорее:

— Но ведь Крузенштерн согласился.

— Да, потому что Мордвинов сказал: иначе не будет плавания совсем. Разве мог Крузенштерн это допустить? Ну и... правильно ты говоришь, он был моряк. Как представились ему снова паруса и океан, оказалось, что это сильнее.

Но еще год ушел на подготовку экспедиции. И только седьмого августа тысяча восемьсот третьего года «Надежда» и «Нева» покинули Кронштадтскую гавань...

— Седьмого августа — это по старому стилю? — с пониманием спросил Толик,

— Да нет, по новому... Крузенштерн при описании путешествия использовал в датах стиль, принятый в Европе. Так называемый «грегорианский». То есть тот, который у нас ввели только после революции... В девятнадцатом веке наши числа отставали от европейских на двенадцать суток. Крузенштерн делал астрономические вычисления по английским и французским таблицам и не хотел путаницы...

— Вот и хорошо! Сейчас не надо делать поправки, когда его читаешь, да?

— Да... Скоро корабли пришли в Копенгаген, потом направились в Англию. Какой шторм прихватил корабли в Скагерраке, я тебе вчера читал.

— Да. И про то, как в Фальмут пришли.

— А после Фальмута вышли наши моряки в открытый океан... Потом была стоянка у острова Тенериф. Я про нее лишь мельком упоминаю, об этом и так много написано. А вот про то, как наши корабли перешли экватор, я целую главу сочинил... Может, я почитаю теперь, а? Послушаешь?

ЭКВАТОР

«День двадцать шестого ноября по новому стилю начался ясно, без большой на сей раз жары и при ровном ветре от румбов между зюйдом и зюйд-остом. Обрасопив реи на левый галс, «Надежда» шла, держась к юго-западу. На полмили впереди, высвеченная невысоким еще солнцем, тем же курсом и с той же, около четырех узлов, скоростью скользила «Нева».

Было рассчитано, что в начале одиннадцатого корабли перейдут экватор — равноденственную черту земного шара, которую не пересекало еще ни одно российское судно.

В ожидании знаменательного момента офицеры в парадных мундирах и ученые в праздничном платье вышли на шканцы и стояли группами. Не было пока лишь Резанова. Крузенштерн, астроном Горнер и штурман Филипп Каменшиков, стоя у левого фальшборта, брали высоту солнца. Оно белыми вспышками зажигалось на серебряных лимбах дорогих английских секстанов.

— Охота же десятый раз пересчитывать, — проворчал, глядя на них, лейтенант Ратманов. — И так все ясно по счислению...

Мичман Фаддей Беллинсгаузен сказал со строгой ноткой:

— Течения здешние мешают правильному счислению, а Иван Федорович хочет торжественную минуту определить со всевозможной точностью.

— Минута, она, конечно, торжественная, — не оставил прежнего тона Ратманов, — да уж скорее бы, а то при таком параде и свариться недолго. — Он пальцем оттянул край стоячего под самые уши, расшитого якорями воротника. — Слава Богу еще, что нет вчерашней жары...

— Однако и прохлады особой нет. — Лейтенант Ромберг тоже тронул воротник. — Обратите внимание, господа, какое теплое у ветра касание. — Он поднял над плечом ладонь.

Беллинсгаузен засмеялся:

— Право же, мы сегодня как дамы в Санкт-Петербургском салоне: всю разговорились о погоде.

— В море погода — не для светской беседы тема, а наиважнейший предмет, — возразил слегка запальчиво Отто Коцебу, который с братом Морицем был в компании офицеров. И смешался, покраснел под насмешливо-добродушным взглядом Ратманова.

— Уж коли сухопутные кадеты начали понимать морские истины, то и впрямь, значит, наше плавание несет великую пользу, — пряча усмешку, сказал Макар Иванович. — А вот когда окрестят наши матросы господ Коцебу по всем Нептуновым правилам, тогда и совсем моряками станете... — Он кивнул на матросов, которые между грот-мачтами наливали ведрами морскую воду в сооруженную из парусинового тента купальню.

Вода в купальне тяжело колыхалась, распирая брезентовые борта самодельного бассейна. Корабль мягко приподнимали пологие волны. Люди, уже привыкшие к плаванию, не замечали их и лишь иногда, если палуба особенно быстро уходила вниз, покачнувшись, искали опоры.

Так покачнулся и взялся за косяк в двери каюты действительный камергер и чрезвычайный посланник его императорского величества Николай Петрович Резанов.

Ласково пошутившись на солнце, Резанов подошел к другой группе, составляли которую люди его свиты: майор Фридриций, надворный советник Фосс, доктор Бринкин, живописец из Академии художеств Курляндцев и главный приказчик Шемелин, который, впрочем, держался в стороне. Здесь же был и гвардейский подпоручик Федор Толстой. Он до недавнего времени больше льнул к дружной компании морских офицеров, но после шумной ссоры с лейтенантом Левенштерном, за которого вступились и другие, вот уже несколько дней не подходил к ним.

По дороге Резанов учтиво кивнул офицерам, которые, шелкнув каблуками, наклонили головы. Когда же отошел он, Ратманов сказал с досадливым зевком:

— Шелковая кукла.

Было в Резанове, невысоком и шуплом, что-то от кавалера екатерининских времен — недавних, но уже отошедших в прошлое. Паричок с буклями над ушами, камергерский мундир, похожий на камзол, шелковые чулки, маленькая придворная шпага со старинной, в хитрых завитках рукоятью. И некоторая плавность и приторность в разговорах, раздражавшая флотских офицеров, воспитанных в суровых правилах Морского корпуса. Салонная манера эта не оставляла Николая Петровича даже во время споров.

Впрочем, споры пока не выходили за рамки светских приличий, хотя начались они давно, еще в Кронштадте. Тогда Крузенштерн взялся за голову, узнав, сколько помешаний требуется свите посланника и сколько посольского и компанейского груза сверх расчета надобно уместить в трюмах. О чем думали раньше в дирекции компании, в министерстве и при дворе?

Крупная размолвка случилась и в Копенгагене, когда заново перегружали корабль. Резанов хотя и ласковым голосом, но с полным ощущением власти попытался излагать свои требования.

— Ваше превосходительство, — ответил тогда Крузенштерн. — Взятая нами гамбургская солонина, как сообщает мне в письме тамошний консул, приготовлена прескверно. Выгрузить бочки и пересолить ее — единственное средство. В противном случае неминуема цинга, и одному Богу ведомо, сколько наших служителей недосчитаемся мы тогда в долгом нашем пла-

вании. Достаточно нам прискорбного случая на «Неве», когда по недосмотру корабль лишился прекрасного матроса...

Резанов развел руками и поднял к потолку каюты глаза, давая понять, что на все воля Божия.

Крузенштерн сухо продолжал:

— Как командир, я считаю своим долгом неизменную заботу о матросах, с тем чтобы каждый из них вернулся в отечество живым и здоровым.

Резанов сказал:

— Мы все, выполняя высочайшую волю, отправились в сие опасное предприятие и не можем теперь знать, вернемся ли. Во славу государя императора и России мы обратили себя на риск равно с рядовыми служителями. Я же замечаю, господин капитан, что о матросах печетесь вы не в пример больше, чем о других участниках экспедиции.

— Это потому, что матросы судьбою и званием своим поставлены в полное нам подчинение. Можем ли мы пользоваться недостатком их прав и забывать о тех, о ком заботиться — наша первая задача?

— Первая задача наша, — напомнил Резанов, — неукоснительное исполнение всех миссий, определенных волею его императорского величества.

— Миссии эти завершить успешно без матросов мы не в состоянии. От них зависит исход экспедиции, — отрезал Крузенштерн. И не сдержал раздражения: — Одно дело ваш повар, коего тяжело больным сочли вы нужным взять в плавание и чья неминучая кончина ляжет только на вашу совесть. Другое дело — матросы, за которых отвечаю я, равно как и за корабли, мне доверенные. Посему, ваше превосходительство, во всех делах, связанных с плаванием, считаю себя единственным командиром...

Первый лейтенант «Надежды», испытанный моряк и кавалер боевого ордена Ратманов, поддерживал капитана во всех спорах. Он бывал даже круче Крузенштерна, таков уж характер Макара Ивановича. И от других офицеров Ратманов суждений своих не скрывал. Вот и сейчас, на шканцах, продолжил он разговор:

— Да и не в том беда, что кукла он, а в том, что при пудренных своих мозгах лезет в морские дела. Здесь не императорский двор и не компанейские торга...

Лейтенант Головачев до того времени в разговоре не участвовал. Стоя у планшера, смотрел, как серебристыми веретенцами прокалывают воздух летучие рыбы. Сейчас он обернулся:

— Право же, Макар Иванович, непонятно, отчего вы так невзлюбили Николая Петровича. Мысли его не всегда совпадают с нашими, да не значит же это, что он дурной человек.

— Для своих друзей придворных, может, он и хорош.

— Да не столь уж он и придворный, и звание камергерское

получил недавно. Николай Петрович просвещенный человек, недаром же служил в секретарях у знаменитого нашего стихотворца Державина. Говорят, что был знаком и с Радищевым, который чуть не лишился головы за свою книгу о непосильном рабстве крестьян...

— Знаком-то знаком, да только где сейчас Радищев, а где Резанов. Радищева камергером не жаловали...

— Ну и Николай Петрович камергерство свое не в петербургских палатах проживает, — слегка раскрасневшись, возразил Головачев. — С нами идет вокруг света. А каково ему? Жену похоронил недавно, тоскует. И о детях оставленных тревожится.

Ратманов, однако, не сдался:

— О жене, коли ее нет уже, не все ли равно где тосковать? — грубовато усмехнулся он. — Что на берегу, что в океане... А о детях обещана ему государем великая забота...

— Капитану нашему тоже несладко, — вмешался мичман Беллинсгаузен. — От молодой жены ушел в море, от сына, который только что родился. Легко ли? Небось ночей не спит...

— Да полно, господа, — сказал лейтенант Ромберг. — Что бы ни случилось, государь не оставит наших близких.

— Это уж точно, — усмехнулся Ратманов. — За государем мы как за каменной стеной...

Все неловко замолчали: слова были вроде и правильные, а вот усмешка Макара Ивановича...

— А что это, господа, мы о всяческой суете беседуем! — излишне громко воскликнул Беллинсгаузен. И добавил уже искренне: — О том ли надо думать, когда близится такая минута! Ведь экватор же! Мыслимо ли?

— А и в самом деле, черт подери! — весело согласился Ратманов. — Сколько ни плавал в жизни, а не чаял быть при таком деле. Российские корабли первый раз вступают в другое полушарие Земли! А?

— Да скоро ли уж? — нетерпеливо сказал Отто Коцебу.

В то же время шла беседа и в группе, где стоял Резанов. Глядя на матросов, что возились с парусиновым бассейном, майор Фридриций сказал, пряча под шуткой опасение:

— Как бы капитан наш не распорядился учинить Нептуново крещение всем без различия званий. Право, господа, экватор — великое достижение, но стоит ли он насморка?

— Полагаю, господин Крузенштерн пощадит нас, — в тон майору ответил Николай Петрович, — и ограничится лишь малой церемонией. Но совсем противиться обычаю нам сегодня не пристало... По правде же говоря, обычай сей мне кажется ненужным. Подобные игрища устраиваются обычно на кораблях иных наций. Надобно ли россиянам перенимать то, что чуждо русской вере и духу? Господин же Крузенштерн столь долго слу-

жил в английском флоте, что готов и у нас завести иноземные порядки.

— Однако же английских служителей на корабле не взял ни одной души, — вставил Толстой. — Адмирал Ханыков ему за то чуть шею не перегрыз, капитан же уперся: лучше русских матросов на свете нету.

— Странно, граф, что вы так заступаетесь за капитана, — кисло усмехнулся надворный советник Фосс — белобрысый молодой человек со скучным лицом. — Господин Крузенштерн вас, кажется, не жалует.

— Да и я его не очень-то жалуя! Зато жалуя матушку-правду, — весело разъярил Толстой. — И матросов наших люблю за лихость. И крещение Нептуново с ними приму нынче непременно... Это подумать только, господа! Купание на экваторе! Будет что рассказать в Петербурге. Дамы станут квохтать, как курицы...

— У вас, граф, одна забота: горячительные напитки да женский пол, — вздохнул пожилой доктор Бринкин. — Никто уже не чаёт услышать от вас иное.

— Я умею обращаться и с мужским полом! — немедленно звинтился Толстой. — Для этого потребно немного: десять шагов на палубе и два пистолета!.. Да куда вам! Пистолет — не клистирная трубка...

— А дуэль — не средство решать споры, — заметил Фосс.

— Это почему же, господин надворный советник?

— Да потому, что никто не выигрывает. Одного увозят на кладбище или в лазарет, а другого сажают в крепость... Закон, как вам известно, запрещает поединки.

— Я слабо знаком с законами, — усмехнулся граф. — В квартальных приставах не служил.

Доктор Бринкин развел руками:

— Я не понимаю, господин поручик: что вам за радость каждого зацепить обидным словом?

— Граф не сказал ничего обидного, — с ленивым спокойствием возразил Федор Фосс. — Я действительно был одно время квартальным приставом в столице. В конце концов, не всем же состоять в гвардии, кто-то должен и делом заниматься.

— Вы хотите сказать, что гвардейцы — бездельники? — сощурился Толстой.

Не меня выражения лица и тона, Фосс разъяснил:

— Я хочу сказать иное. Когда кто-нибудь меня все же заставит нарушить закон, я сумею показать, что квартальные приставы стреляют не хуже гвардейских подпоручиков...

Граф подался вперед — с единственной, конечно, целью потребовать, чтобы Фосс показал это в самое ближайшее время.

Но Резанов возвысил голос:

— Господа! Оставьте! Возможны ли такие разговоры в славную минуту!.. Смотрите, «Нева» повернула, идет нам навстречу.

«Нева» и вправду шла теперь правым галсом, на сближение. Матросы стояли на реях и вантах.

По шканцам крупными шагами прошел Крузенштерн, поднялся на ют. Громко сказал оттуда:

— Барон, скомандуйте и нашим: на ванты и реи. Пора!

Не успел Беллинсгаузен, который был на вахте, отдать команду, как с криками «ура» матросы уже бросились вверх по мачтам. Офицеры выстроились в шеренгу. Рядом встали ученые, Фосс, Бринкин, Курляндцев. С краю пристроился Шемелин. Резанов поднялся на ют к Крузенштерну.

В шуме и плеске разрезаемой воды «Нева» пронеслась в полубагельтове от «Надежды».

— Мы в Южном полушарии! Слава флоту Российскому! — громко сказал в рупор Лисянский.

«Ура» на обоих кораблях грянуло с новой силой. Офицеры вскинули пальцы к треуголкам...

Через минуту «Нева» сделала поворот и пошла в кильватер за «Надеждой». Матросы быстро опускались с мачт и выстраивались вдоль бортов, впереди орудийных станков. Крузенштерну и Резанову на ют принесли кресла. Посланник сел, а капитан с полушутливой важностью объявил:

— Господа! Из всех нас мне одному пришлось в свое время перейти экватор, было это в дни моей службы у англичан. Я не к тому говорю, чтобы похвастаться преимуществом, а к тому лишь, чтобы объяснить: некому, кроме меня, подвергнуть господ офицеров, ученых и служащих Компании обряду морского крещения согласно древнему обычаю мореходцев всех наций...

Плотницкий десятник Тарас Гледианов поднес капитану медный тазик с морской водой. Крузенштерн продолжал:

— Я надеюсь, что в этот радостный день его превосходительство Николай Петрович первый окажет капитану честь, подошедши под церемонию...

Принужденно улыбаясь, Резанов поднялся и наклонил голову. Крузенштерн опустил в тазик руку и с пальца уронил на паричок Резанова сверкнувшую каплю.

— Поздравляю вас, ваше превосходительство, со вступлением в Южное полушарие. Дело сие для россиян воистину славное.

— В этом заслуга нашего обожаемого монарха. Виват Александр! — громко сказал Резанов.

— Виват! — подхватили офицеры.

Матросы то ли спутали это со словом «обливай», то ли была дана им особая команда, но тотчас строй распался. Взлетели широкие струи воды из парусиновых ведер. С шумом и хохотом пожилые матросы хватили тех, кто помоложе и полегче, и, раска-

чав, кидали в парусиновую купальню. Да и сами с удалыми криками прыгали следом. Сухим из матросов остался лишь рулевой, что стоял у штурвала с нактоузом.

На уте между тем тоже продолжалось морское крещение. С офицерами Крузенштерн не церемонился, как с Резановым, и на каждого вылил по пригоршне. Поднялся на ют подпоручик Толстой, с него текло.

— Однако, граф, вы преуспели в своих планах, — заметил Фридриций.

— Черти, — отфыркивался подпоручик. — Даже не дали сапоги снять. Воистину — усерден русский человек, только попроси...

Взбежал на ют сержант артиллерии Алексей Раевский, что-то шепнул капитану, тот кивнул. Раевский ударил в колокол. Все притихли на корабле. Сержант возгласил:

— Его величество Нептун, государь всех морей и океанов, пожаловал для встречи российских мореплавателей!

С бака по правому шкафуту на шканцы двигалась процессия. Впереди с уморительно-важным видом шествовал квартирмейстер Иван Курганов, завернутый в куски рваной парусины и украшенный бородою из расплетенного сизальского троса. Стукал о палубу древком трезубца, сооруженного из багра и длинных ножей. Следом приплясывала свита — с полдюжины морских чертей, — тоже в лохмотьях, с мочальными хвостами и перемазанными сажей лицами. Слева Нептуну выкатили пустую бочку — трон.

Нептун уселся и грохнул трезубцем крепче прежнего.

Крузенштерн, сохраняя невозмутимый вид, спустился на шканцы и встал перед владыкой морей. Тот пошевелил пальцами босых ног и хрипловато возгласил:

— Сижу я это в своем подводном дворце, в окружении русалок, то есть моих дам придворных, а также всяких генералов и камергеров морских, а мне, значит, докладывают: «Ваше океанское величество, два каких-то корабля едут поверху прямо через линию, экватором называемую. Так что не порядок, ваше величество...» Глянул я — и вправду едут, а флаг на их, какого до сей поры видеть нам не приводилось. Дозвольте узнать, что за корабли, из какой державы и по какому делу экватор пересечь изволили без моего царского дозволения?

Крузенштерн, стоя навтыяжку, произнес размеренно:

— Корабли государства Российского «Надежда» и «Нева», а идем вокруг света по делам торговым и науки касающимся. На «Неве» командиром капитан-лейтенант Юрий Лисянский, я же командир «Надежды» и начальник экспедиции Иван Крузенштерн.

Нептун солидно покивал:

— Слышали мы о капитане Крузенштерне. И о Российской державе слышали, славная держава, хотя и далеко отсюда... Гневен я сперва был, что плывете без спроса, ну да русским мореходам чинить препятствий не буду...

Морские черти по бокам от Нептуна обеспокоенно запританцовывали, один даже толкнул его величество локтем:

— Про выкуп скажи...

Нептун гневно взметнул бороду:

— Цыц, захребетники! Вам, дармоедам придворным, лишь бы выгоду свою соблюсти! Их высокоблагородие капитан Крузенштерн сами знают обычаи морские и насчет выкупа без вас, бездельников, помнят...

Крузенштерн засмеялся:

— Обычай русским мореходам известен. Посему от имени российского государя императора и по распоряжению его превосходительства чрезвычайного посланника жалую вашему морскому величеству и свите вашей, а равно и каждому служителю корабля «Надежда» по гишпанскому серебряному пиастру... Ну а для веселья в честь праздника приказчик наш Федор Иванович распорядится выдать что положено...

Мокрая толпа, обступившая Нептуна и Крузенштерна, одобрительно загудела.

— Покорнейше благ... кхм... От нашего подводного величества вашему высокоблагородию наше царское спасибо, — возвестил Нептун. — Плывите в Южное море беспрепятственно. Мы же в благодарность за уважение ваше стараться будем, чтобы ветров супротивных, бурь и шквалов на вашем пути не было... Ну а ежели где и случится погода неблагоприятная, не обесудьте. Держава моя огромная, а в большом государстве, сами знаете, за всем не усмотришь. В одном конце только наведешь порядок, а в другом, глядишь, эти черти опять хвостами воду баламутят... — Нептун окинул свиту суровым взглядом и опять обратился к Крузенштерну: — А теперь, ваше благородие, дозвольтя откланяться. Дела ждут державные. Счастливого пути.

Крузенштерн поднял пальцы к треуголке. Свита подхватила Нептуна вместе с бочкой-троном...

Когда шли в кают-компанию, майор Фридриций с усмешкой заметил:

— Однако, господа, какой лицедей этот Курганов, а? С такими талантами хоть на столичную сцену.

— Дар импровизации и живость языка отменные, — серьезно отозвался живописец Курляндцев.

— Живость языка эта, — мягко вошел в беседу Резанов, — порождает сомнение: по причине ли простодушия высказался

сей матрос о беспорядках в великой державе? И что значат слова его о придворных бездельниках...

— Умные люди замечали не единожды, — хладнокровно заговорил надворный советник Фосс, — что смелость языка возрастает по мере удаления от столицы. А тем паче от границ государства Российского...

Крузенштерн, шедший впереди, оглянулся.

— Да полно, господа, — добродушно сказал он. — Разумно ли искать в словах матроса намеки на державную политику?

В кают-компанию все было готово для праздничного обеда.

— В честь такого дня не грех устроить краткое отдохновение от трудов праведных, — провозгласил граф Толстой. Он уже переделся после купания, но гладко зачесанные волосы его были еще мокрыми. Граф раньше всех оказался в кают-компании. Теперь стоял он, прислонясь к основанию бизань-мачты, что могучим столбом торчала посреди низкого помещения. И оглядывал стол.

Во время плавания граф не раз воевал с приказчиком Шемелиным, стараясь правдами и неправдами добыть из корабельных запасов лишнюю бутылку, и всячески ругал «купца» за «несусветную скаредность». Нынче же, однако, Толстой остался доволен:

— Смотрите, наш Федор Иванович расстарался. Простим ему прежнее непонимание томящихся душ наших...

Оглаживая бороду, Шемелин ответил:

— Мне, ваше сиятельство, прощения не надобно. Я свою службу знаю и потому соблюдаю ее неукоснительно. А ежели вам выдавать, что требуете, по первой просьбе, так вскоре в трюмах ни единой бутылки не отыщется.

Толстой проговорил вроде бы добродушно:

— Иными словами, утверждаете вы, господин Шемелин, что я пьяница. Ведомо ли вам, сударь, как отвечают за такие слова, сказанные благородному человеку?

Лейтенант Ромберг весело сказал:

— Я заметил, граф, что в эти дни вы который раз уже заводите разговор о поединках. Помилосердствуйте. Так еще до кап-Горна не останется на корабле живой души, и превратимся мы в корабль призраков, подобно знаменитому «Летучему Голландцу»...

Шемелин же невозмутимо возразил Толстому:

— Вы, ваше сиятельство, граф, а я купец, мужицкая кровь. Вам со мной на дуэлях драться не пристойно.

— Так я и по-простому могу! — бойко воскликнул Толстой. Была это все еще шутка, но глаза его уже загорелись нехорошим светом. — На кулаках тоже приходилось.

— И сие не советуя, — серьезно отозвался Шемелин. —

Я родом из Тобольска, а у нас в Сибири мужички в кости покрепче ваших костромских...

— Так ли? — сощурился Толстой.

Крузенштерн взглядом остановил графа и встал:

— Господа. В сей радостный день, когда наши корабли пронесли российский флаг над равноденственной чертою, вспомним с благодарностью наше отечество и всех, кто способствовал столь славному началу нашей экспедиции... Сержант, пора.

Алексей Раевский ведал корабельной артиллерией. Один из сыновей славной фамилии, он не был еще офицером, но ожидал производства по возвращении из плавания, а то и по приходе на Камчатку. В офицерском кругу он был принят за своего. Сейчас Раевский поднялся и, не выпуская бокала, встал в дверях, упершись плечом в косяк. Отсюда видел он и сидевших в кают-компании, и матросов, которые под командой бомбардиров Жегалина и Карпова приготовили уже орудия к стрельбе.

За столом все встали. Крузенштерн поднял бокал и кивнул Раевскому. Тот махнул платком. Орудия разом рывкнули, откатились и выбросили тугой белый дым. Матросы накатили их и взяли за баники. Через минуту грянул новый залп. И еще! И еще...

Одиннадцать ударов русского салюта впервые разнеслись над водами Южного полушария...»

МЕДНЫЙ СТУК ЧАСОВ

— Ну вот... — сказал Курганов. — Коряво, конечно, написано, надо еще работать... Верно ведь?

Несколько раз он во время чтения заходил долгом сухим кашлем. «Бронхит проклятый обострился. Я уж и курить бросил, а толку никакого», — говорил Курганов, вытирал глаза, осторожно дышал с полминуты, словно проверял легкие, и читал дальше...

И теперь он смотрел на Толика с вопросом.

— Арсений Викторович, — сказал Толик честно и даже немного жалобно. — Я не знаю, что говорить, но мне очень понравилось. И нисколько не коряво, а, наоборот, замечательно...

— Ну спасибо. Добрый ты человек, Толик. — Курганов перелотнул, подавляя подступивший опять кашель.

Толик подумал: «Что же еще сказать, чтобы он поверил?» И... вскочил!

— Ой!.. — Он кинулся к плитке. — Вода-то выкипела!

...Скоро новая порция воды забулькала в кастрюле. Стол был застелен чистыми газетами. Курганов поставил на него тарелку с горкой разноцветной карамели (в бумажках и без), коробку печенья, открыл консервы «Лосось». Потом появились тарелки с

солеными огурчиками и капустой. Из-под стола вытащил Курганов трехлитровую банку с прозрачно-красной жидкостью. В ней плавали раздавленные ягоды.

— Это я клюквенный напиток соорудил. За неимением шампанского... которое ты, впрочем, все равно не пьешь, верно?

— Я один раз, когда гости были, попробовал из чьей-то рюмки... — Толик дурашливо поморщился. — Мама увидела, ох и показала мне шампанское... Даже по шее попало.

— Горький жизненный опыт всегда постигается собственной шеей... Подбрось-ка, Толик, в камин дровишек, а то прозеваем огонь, как прозевали воду...

— Новый год не прозевать бы. Наверно, уже скоро двенадцать.

— Что ты! — Курганов ловко выдернул часы на цепочке. — Без трех одиннадцать. Все еще успеет. И пельмени сварятся...

Толик с сомнением посмотрел на крупные часы с треснувшим стеклом.

— А они точно идут? — Он считал, что Новый год полагается встречать из секунды в секунду.

— Эти-то? Они нужны мне только для поправки. На двенадцать секунд у них точности хватит...

Толик непонимающе молчал. Курганов объяснил с важной хитрецей:

— Новый год мы встретим с астрономической точностью. Не хуже, чем кругосветные путешественники на корабле.

Он снял с полки стоявший среди покосившихся книг ящичек орехового цвета, с медными ручками и кнопками. Мягко поставил на край стола. Лампа бросила горячий блик на стеклянную крышку. Толик вытянул шею.

Курганов открыл шкатулку — верхняя часть ее плавно откинулась назад на латунных полосках.

Медное тиканье (которое Толик уже не замечал, потому что привык) с новой громкостью заполнило комнату.

Часы были похожи на будильник — размером, римскими цифрами, желтыми стрелками. Но будильники всегда стоят, а этот лежал в ящичке. Точнее, был подвешен горизонтально внутри медного кольца с зубчатыми колесиками. Ободок вокруг стекла тоже был медный и в мелких зубчиках.

«Динь-так, динь-так, динь-так...»

— А я-то все думал: где это тикает? — сказал Толик.

— Корабельный хронометр, — сказал Курганов.

— Я догадался... — Толик шевельнул рукой — хотел поглядеть коробку и не посмел.

— Да возьми, возьми, — разрешил Арсений Викторович. — Можешь подержать... Вот так, за ручки... Покачай тихонько...

Видишь, несмотря на качку, он остался горизонтальным. Карданный подвес. Это очень важно для точного хода...

Ящичек был тяжелый, откинута крышка перекосила его в руках у Толика, но часы и в самом деле остались висеть ровно. Горизонтально. Бодрое их «динь-так» словно говорило: «Смотри, ничего страшного». Толик слегка покачал шкатулку и протянул Арсению Викторовичу. Тот плавно опустил ее на стол.

— Главное, оберегать хронометр от резких толчков. И заводить надо в одно время. Я в восемь утра завожу...

Ключик с головкой в виде медного диска торчал в гнезде, в углу шкатулки.

— Жалко, что утром... — сказал Толик.

— Почему? Посмотреть хочется?

— Ага.

— Ну, смотри... — Курганов плавно перевернул хронометр в кольцо. Стал виден медный корпус с круглым, как у консервной банки, доньшком. Курганов ткнул ключиком в неглубокую ямку, надавил в сторону. Доньшко повернулось на оси, ключ ушел в гнездо.

— Крути, — разрешил Курганов. — Немного только, один оборот... Нет-нет, в другую сторону, против часовой.

Ключ повернулся легко, с бархатным шорохом. Так приятно было поворачивать его. Жаль, что нельзя больше...

— А точность не сбилась, оттого что не вовремя завели?

— Ничего страшного... Тем более все равно сейчас я буду делать поправку. Новогодняя ночь — самое время для этого... Он у меня за два месяца на двенадцать секунд убежал...

— Всего-то? — изумился Толик.

— Это же хронометр, не ходики...

Курганов выложил на стол карманные часы. Пошевелил над хронометром пальцами и строго сказал:

— А теперь приступим.

Он свинтил и отложил стекло. Втиснул в ящичек, под корпус, ладонь, снова перевернул в кольцо хронометр, и... механизм скользнул из медного котелка в руку.

Курганов достал его, повернул к свету, держа в растопыренных пальцах. Незащищенное сердце хронометра доверчиво тикало, шевелило колесиками, искрилось желтыми звездочками. Толик не дыша придвинулся ближе. На широком валике он разглядел тончайшую стальную цепочку. Она была похожа на цепь от крошечного велосипедика. А выше всех валиков и шестеренок моталось туда-сюда на оси с чуткой синеватой пружинкой медное кольцо.

— Горизонтальный балансир, — слегка торжественно объяснил Курганов. — Изобретение умнейших мастеров восемнадцатого века. Именно он дает часам такую точность... Видишь гру-

зики на кольце? Среди них есть два с прорезями. Это регуляторы хода. Чтобы изменить ход на секунду в час, надо повернуть их на девяносто градусов. А чтобы на секунду в сутки — это совсем ювелирная работа. Вообще-то ею специальные мастера занимаются, но где их здесь возьмешь?

— Будете сами поворачивать? — испуганно спросил Толик.

— Сейчас не буду. Я его в свое время долго регулировал, а теперь надо только задержать на двенадцать секунд. Тогда пойдет он у нас сегодня из точки в точку... Ну-ка... — Арсений Викторович согнулся над столом, приглядываясь к карманным часам. — Раз... — Он придержал пальцем балансир. Маленькие часы тикали еле слышно и беспомощно, понимали свою маловажность перед хронометром. Толик следил за волоском секундной стрелки. Она проскочила двенадцать черточек, и тогда снова раздалось медное «динь-так».

Курганов с удовольствием распрямылся. Ловко уложил стучащий механизм в котелок, навинтил стекло.

— Не убирайте, — попросил Толик. — Пускай здесь тикает.

— Конечно. Даже закрывать не буду... Тащи-ка, Толик, пельмени.

Толик выскочил в сени и вернулся с кульком смерзшихся пельменей — в тепло, где потрескивал камин и звонко шелкали в корабельном хронометре веселые медные секунды.

— Можно радио включить? Интересно, совпадают куранты с хронометром или нет...

— Да не работает радио, будь оно неладно... Иногда включится само собой, а потом заглохнет и молчит, сколько по нему ни колоти... Где-то контакт барахлит.

Толик подошел к репродуктору, висевшему у края большой карты. Шелкнул по тугой черной бумаге.

— ...прошедшего года, — отчетливо сказал улыбчивый женский голос. — Это был славный год — год тридцатилетия Великой Октябрьской социалистической революции, год восьмисотлетия Москвы. Год новых успехов в восстановлении и развитии народного хозяйства. Советские люди не только залечивали раны, нанесенные нашей Родине фашистскими варварами, но и шагали к новым рубежам. На заводах, стройках и полях страны...

Курганов послушал и развел руками, уронив в кастрюлю смерзшийся ком пельменей.

— Ну, Толик, ты в самом деле... Ты — человек, приносящий удачу! Есть такие люди.

Толик обрадованно сопел. Радио говорило:

— ...встречают хорошими песнями. С заявкой обратились к нам и моряки крейсера «Молотов», на котором в этом году побывал в гостях товарищ Сталин. Матросы, старшины и офицеры прославленного корабля просят передать кантату о...

Толик спросил:

— А сейчас на кораблях такие же хронометры?

— Разумеется. Он же у меня современный. То есть не совсем современный, довоенный, но еще вполне... Английская фирма «Кук», очень известная.

— А-а... — Толик был слегка разочарован. Он думал, что хронометр старинный, с парусного корабля.

Шевелилась даже мысль: «Уж не с «Надежды» ли?»

— Впрочем, разницы никакой нет, — сказал Курганов. — Таковыми же они были и сто лет назад. И сто пятьдесят... Эта вещь придумана раз и навсегда. На века... Сейчас, конечно, точность проверять легче, радисты ловят сигналы точного времени в эфире. А представляешь, как важен был хронометр в прошлом веке? Без него никуда. Не вычислишь место судна в океане. И остров, который открыли, не нанесешь точно на карту...

— А этот хронометр... он с какого корабля?

— Даже не знаю. Он стоял у моего соседа, капитана Константина Афанасьевича Лукьянова. Старый был капитан, в свое время еще на чайных клиперах ходил матросом... После революции он в морском техникуме преподавал. Мы были, можно сказать, друзьями, хотя я ему в сыновья годился. Книг у него о кругосветных путешествиях и вообще о флоте была уйма... Умер старик в блокаду. Книжки его соседи пустили на растопку. Как и мои, кстати. Что поделаешь, людям надо было выжить любой ценой... Все пошло в печку — и Крузенштерн, и Лисянский, и Головин. И старые лощи... Редкие издания были, начало того века... Одно меня выручило — записи, которые я по этим книгам делал на Севере. То есть уже не по книгам, а по памяти. Память у меня до недавнего времени была крепчайшая, целые страницы наизусть помнил... А то как бы я теперь писал?

Толик сел на шкуру недалеко от камина и смотрел, как догорают поленья... Пусть горят. Дрова на то и есть на свете. А вот когда книги в огне — это значит, у людей горе...

— Хорошо, что хоть хронометр не пропал, — сумрачно сказал Толик. — Могли и его в печку затолкать. Коробка-то деревянная.

— Слава Богу, уцелел... Я в сорок шестом году приезжал в Ленинград, нашел его... А подарил мне его Константин Афанасьевич еще в тридцать восьмом году. Двадцать первого марта... Знаешь, что это за число?

— Нет... А! Весенние каникулы начинаются!

— Событие, безусловно, важное... Но, помимо всего, это весеннее равноденствие, день прибывает и становится равен ночи.

— Ой, правильно. Я забыл...

— Ничего... И, между прочим, это еще мой день рождения. В тот год мне стукнуло сорок лет...

«Значит, нынешней весной будет пятьдесят», — сообразил Толик.

— Будет пятьдесят, — словно откликнулся Курганов. И надолго замолчал. Присел рядом с Толиком. Султан проснулся и сунулся между ними. Так они сидели и смотрели на огонь.

А хронометр отмерял последние минуты сорок седьмого года.

За две минуты до Нового года местное радио включило Красную площадь. В бумажном круге репродуктора задышал далекий громадный город, стали слышны гудки автомобилей, чьи-то шаги, даже голоса...

Секундная стрелка хронометра бежала по последнему кругу этого года. И, едва она прыгнула на верхнее деление, репродуктор тряхнуло упругим и переливчатым звоном курантов.

«Точно!» — радостно подумал Толик.

Десять часов по московскому времени, двенадцать по местному. То есть двадцать четыре... И вот уже «динь-так, динь-так» — две секунды сорок восьмого года...

— С Новым годом, Толик.

— Ой... С Новым годом, Арсений Викторович!

Свет был выключен, у графина с словыми лапами горели две свечи. В камине ярко занялось хрустящее полено. Толик держал фаянсовую кружку с клюквенным морсом, Курганов — стакан. Незадолго до этого он, смущаясь и кашляя, налил туда из булькающей четвертинки.

— Я уж так... Ты меня прости, человек я пожилой, с предрасудками. Курить вот бросил, а это... И обычай все-таки, Новый год. Я чуть-чуть.

Толик тоже смутился и глупо сказал:

— Да что вы, не стесняйтесь. Пожалуйста...

Теперь они сдвинули краями кружку и стакан. Курганов задержал руку, не пил. Толик подумал, что он стесняется, и уткнулся в кружку. Но Курганов вдруг сказал:

— Толик... Подожди. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты был счастлив. Всю жизнь. И спасибо тебе.

— За что? — растерялся Толик.

— За то, что ты пришел. Вчера и сегодня... Знаешь, мне кажется, что ты приносишь людям удачу. Правда. Мне, по крайней мере, принес... Но не в этом дело. Просто спасибо за то, что ты есть. И пусть тебе будет хорошо...

«И маме, — подумал Толик. — И Варе. И всем хорошим людям... И Султану...»

— И всем, кого ты любишь, — улыбнулся Курганов.

— И вам... тоже пусть будет хорошо. И главное, чтобы книжку напечатали скорее!

— Вот за это спасибо тысячу раз!

Пельмени Толик любил больше всяких других угощений. К тому же заедать их огурчиками и капустой, запивать клюквенным морсом оказалось просто восхитительно.

Через полчаса Толик осоловел. Освещенная красными углями комната виделась через мутноватую пленку полудремы. Хронометр тикал вкрадчиво, словно бормотал что-то.

— Я смотрю, ты носом клюешь, — сказал Арсений Викторович. — Ложись-ка на кровать.

— Нет, я на стульях, — заупрямился Толик. — Мама же говорила...

— На стульях — это потом. А пока просто отдохни...

Ситцевая плоская подушка пахла табаком — видимо, Курганов бросил курить не так давно. Кровать была жесткая — наверно, с досками под матрасом. Но лежать все равно было хорошо. Так хорошо, что было бы обидно заснуть и уже не чувствовать этого удовольствия. И сон, который обычно наваливается на лежачего, милостиво отпустил Толика.

С прикрытыми глазами, но с ясной головой Толик полежал минут пять. Сквозь опущенные ресницы он видел, как Арсений Викторович, оглянувшись, быстро налил в стакан из четвертинки и сделал крупный глоток. Потом Курганов часто подышал, словно сдерживая подступивший кашель, пошевелил в камине угли, погладил Султана и сел в ногах у Толика.

Толик открыл глаза:

— Арсений Викторович, а откуда вы все это знаете?

— Что?

— Ну, как тогда было, при Крузенштерне. Кто что говорил, кто что делал... Неужели все это в старых книгах написано?

— Нет, конечно... Если бы все было написано, зачем еще одну книжку сочинять?

— Значит, самому догадываться пришлось?

— Что?.. Да! — Курганов оживленно завозился и сел прямо. — Ты правильно сказал. Догадываться... Видишь ли, без фантазии даже самый строгий исторический роман не бывает. А я ведь не историческую книгу пишу, упаси Господи. На такое я никогда и не решился бы... Про плавание Крузенштерна и про его открытия и так много написано. А мне хотелось разобраться в некоторых случаях. В частности, так сказать... У меня и повесть-то называется «Острова в океане». Как бы рассказы про несколько островов.

— Но там не только про острова, — осторожно заметил Толик. — Там и про Скагеррак, и про экватор...

— Я не совсем в том смысле... Острова — это как бы люди. В океане жизни... Наверно, я чересчур непонятно выражаюсь?

— Все понятно...

Камин почти прогорел, свечи едва освещали стол и еловые ветки в графине. Радио снова отключилось. Было тихо и уютно. Толику казалось, что он в этой комнате давным-давно и Курганова знает много лет. Толик сказал совсем по-домашнему и даже слегка разнеженно:

— Арсений Викторович, давайте поставим хронометр поближе. Он так хорошо тикает... будто живой.

— Прекрасная мысль. — Курганов перенес хронометр на табурет, к изголовью кровати. — Я, признаться, тоже люблю, когда он рядом. Особенно если работаю... Он шелкает, я пишу. Иногда в хорошие минуты хочется погладить его, как котенка. Но он нежностей не любит, все-таки морской инструмент, характер строгий. Уважает порядок и точность... Недавно он на меня обиделся...

— Как? — засмеялся Толик.

— Я забыл его завести. На целые сутки опоздал.

— И он остановился?

— К счастью, нет. Завод-то у него рассчитан почти на двое с половиной суток. Видишь, циферблатик сверху? Стрелка показывает, сколько часов прошло с того момента, как завели. Самое большое число — пятьдесят шесть... Правда, у меня он столько не тянет, пружина ослабла. Но двое суток идет...

— А зачем же тогда каждые сутки заводить?

— Для равномерного натяжения пружины, от него точность хода зависит... Закон такой — морские часы следует заводить вовремя. А уж останавливаться они тем более не должны. Ни в коем случае. Пока жив на корабле хоть один человек... Ты это запомни, Толик.

— Запомню... — Толику странной показалась неожиданная строгость в голосе Курганова. — А как он на вас обиделся? Отставать стал, да?

— Нет. Но тикал обиженно... Впрочем, я это, конечно, сам придумал. Потому что кажется иногда, будто и правда он живой... У стариков бывают причуды.

— Никакая это не причуда, — возразил Толик. — И никакой вы не старик.

— Ну-ну...

— Любимые вещи у каждого человека есть.

— Ты прав, как всегда... Но для меня хронометр — исключение. Вообще-то я к вещам спокойно отношусь. Сам видишь, живу не роскошно... Да оно и к лучшему.

Толику показалось, что Курганов стал говорить иначе. Будто настроение у него испортилось. Может, оттого, что глотнул лишнего? Но он же ничуть не пьяный.

Курганов принял, наверно, молчание Толика за вопрос. И хмуро объяснил:

— Чем больше вещей, тем жить хлопотнее... И тем обиднее с ними расставаться.

— А зачем расставаться-то? — Разговор Толику нравился все меньше.

— Так... Когда-то приходится. С собой не унесешь.

— Куда?

Курганов молчал.

«Я понял, — хотел сердито сказать Толик. — Но зачем вы про это? В такую хорошую ночь...» Однако в этот момент Курганов коротко вздохнул и опять надолго закашлялся. А потом сказал слабым, но уже повеселевшим, прежним голосом:

— Прости ты меня. Что меня потянуло на дурацкие разговоры? Обещал рассказы о морях-океанах, а ударился в гнилую философию... Тебе о таких вещах думать рано.

— А о морях-океанах еще спросить можно? — оживился Толик.

— Разумеется! Это самая подходящая беседа, если спать не хочется.

— Не хочется... После экватора Крузенштерн и Лисянский пошли в Бразилию?

— Да. К острову Святой Екатерины. Там они застряли на несколько недель из-за нового ремонта. У «Невы» в мачтах гниль обнаружилась... Ты ведь помнишь, что Лисянский покупал эти корабли в Англии, специально туда ездил?

— Помню... Неужели в России своих кораблей не было?

— Годных для такого плавания тогда не было. Представляешь, до чего довели русский флот доблестные царские адмиралы?

— Но и английские корабли оказались не очень-то...

— Да, с ними хватало хлопот... Но не это было самой большой неприятностью.

— А что?

— Причины всех бед обычно в самих людях...

— А у Нозикова ничего про это не написано.

— Про это пишу вообще неохотно. Особенно в детских книжках. Ссора Резанова с моряками не украсила экспедицию...

— Значит, во всем Резанов виноват, да?

— Ну, Толик... Дело это давнее, кто может сказать точно? Особенно вот так: «Во всем виноват». Это все равно что приговор произнести...

— Но вы же пишете.

— Я потому и пишу целую повесть, что не могу сказать двумя

словами, кто виноват. Да и в повести не могу. Книжка — это ведь не суд. Я пытаюсь представить, как это было... Как мне кажется... Другие писали по-иному. В конце прошлого века было много споров, кто прав: Крузенштерн или Резанов? Статьи печатались в журналах... Многие ученые были за Резанова...

— Но вы-то за Крузенштерна, правда?

Курганов улыбнулся:

— Вспоминаю себя в детстве. Тоже любил определенность: где враги, а где наши... Да, я считаю, что не надо было Резанову лезть в начальники экспедиции.

— А почему он лез?

— Тут и дирекция компании, и Морское министерство во многом виновато. И царь. Сперва полным командиром над экспедицией утвердили Крузенштерна. Вручили инструкцию. А потом ему в спутники дали Резанова — назначили посланником в Японию и главным начальником и ревизором всех владений Российско-Американской компании. Резанов-то был один из самых крупных ее акционеров. И у него тоже оказалась инструкция с командирскими полномочиями.

— А кто это такие? Ак... кци...

— Владельцы ценных бумаг. Акция — это... ну, вроде облигации, что ли. Сколько было у компании капиталов, на такую сумму и акции были выпущены. Чем больше их у человека, тем больше у него власти в компании и прибылей от нее... А Резанов женился на дочери Шелехова, который эту компанию основал. Помнишь?

— Помню... Значит, он больше всего о выгоде думал?

— Думал, конечно... Однако не так все просто. У Резанова был характер сложный, непостоянный. Часто он поддавался настроению. Мог из-за раздражения, из-за высокомерия и про выгоду забыть... Мог и вообразить себе Бог знает что, и сам верил выдумкам. С одной стороны, вроде бы неглупый человек был и за дело болел. А с другой... В общем, я считаю, что капитан Головин правильно писал о нем...

— Арсений Викторович! А нельзя, что ли, было, чтобы Крузенштерн командовал морскими делами и научными, а Резанов торговыми и этими еще... посольскими?

— Ты разумно рассуждаешь... Может быть, так же рассуждало начальство и сам царь, когда выдавали инструкции. Мы, мол, никого не обидим, а в пути они сами договорятся.

— Не договорились?

— Нет. Крузенштерн — он тоже ведь был характер непростой. Ну и пошли стычки. Из Бразилии Резанов уже писал царю жалобы на Крузенштерна...

После стоянки у острова Святой Екатерины опять началось плавание в океане. Обошли мыс Горн. Моряки были заняты вах-

тами, корабельными делами, вместе с учеными ставили разные опыты: океан-то был почти не изучен... А для посланника и его спутников постоянных занятий не находилось.

Маялся от безделья и граф Толстой. Был он приписан к свите посланника, но с его превосходительством скоро поссорился. Готов был поддержать всякий спор офицеров с Резановым. Однако моряки не любили посланника за его вельможные вмешательства в корабельную жизнь, а граф ссорился из-за вздорности натуры...

Я к тому про графа вспомнил, что не обошлась без него и ссора, когда стояли у острова Нукагивы. В Тихом океане...

ПОЛОСНОЕ ЖЕЛЕЗО

— Когда пишут про стоянку «Надежды» и «Невы» у Нукагивы, чаще всего увлекаются описанием тропической природы, жизни туземцев, разными приключениями. Обязательно рассказывают про англичанина Робертса и француза Кабри, которые неведомыми путями попали на остров, прижились там, обзавелись семьями, но между собой все время враждовали...

— Да! — оживился Толик. — Француза потом случайно увезли на «Надежде»...

— Скорее всего, он сам постарался таким образом исчезнуть с острова, боялся Робертса. Но Бог с ним... Ты, конечно, читал, как моряки путешествовали по острову, как потом чуть не поссорились с туземцами, как были в гостях у короля Тапеги. Ученые собрали на Нукагиве богатейший материал о жизни островитян, про это есть даже в книжке Нозикова... Но почти никто не пишет, что именно там произошли события, которые чуть не погубили экспедицию...

— А вы про это написали, да?

— Да... То есть не совсем. Только черновик. Это как раз то, что у меня еще не до конца сделано. Запутанные события, и рассказывают о них по-разному...

— Кто рассказывает? — Толик приподнялся на подушке.

— Прежде всего Шемелин... В его «Журнал путешествия россиян вокруг света», который был напечатан, этот рассказ не вошел. Видимо, из цензурных соображений. Но я до войны видел в Ленинграде рукописный дневник Шемелина.

— Где? У того капитана?

— Нет, что ты... В Публичной библиотеке, в отделе рукописей... В дневнике про случай на шканцах «Надежды» написано подробно. И, конечно, Шемелин во всем обвиняет Крузенштерна и других офицеров. Надо сказать, убедительно пишет, он был

умный человек... Беда только, что Крузенштерн он терпеть не мог, а к Резанову привязан был всей душой.

— Но, может, он и не виноват, — задумчиво сказал Толик. — Если привязан...

— Кто же говорит, что виноват?.. Просто когда историки разбирают этот случай, они все время ссылаются на Шемелина... Но есть еще один дневник, небольшая тетрадь с неразборчивым почерком. Ее писал Макар Иванович Ратманов.

— Вы ее тоже читали?

— Да... Я тогда старался все, что можно, об этом плавании разыскать... Ратманов пишет совсем иначе.

— А вы кому верите? Ратманову, да?

— Я, Толик, обоим верю, не удивляйся. Они, по-моему, добавляют друг друга. Каждый со своей стороны... Но Ратманов полностью прав в одном: капитан на корабле — полный командир и требует уважения. Резанов же, видимо, считал, что «его превосходительство» всегда выше «его высокоблагородия».

— А еще у него инструкция была, да?

— Из-за нее-то и вышел тот отчаянный спор...

Курганов замолчал, и Толик испугался, что он скажет: «Ну, хватит на сегодня». И попросил жалобно:

— Может быть, вы прочитаете, что там было? Спать все равно не хочется...

— Я же говорю, еще не дописал. Если хочешь, я так расскажу, без черновика... Но близко к тому, как пишу...

— Когда пришли к Нукагиве (сперва «Надежда», а через несколько дней «Нева»), первая задача была запастись свежими продуктами. И Крузенштерн отдал приказ, чтобы ни один человек на корабле ничего у жителей острова для себя не выменивал. Соблазны-то были великие: каждому хотелось привезти домой заморские диковинки — раковины, кораллы, туземную утварь... Представляешь, что началось бы, если каждый кинулся бы торговать с нукагивцами сам по себе, когда еще не получена провизия? Островитяне моментально взвинтили бы цены, никакого железа не хватило бы для уплаты за кокосы и овощи.

— Железа?

— Ну да... Моряки расплачивались с ними обломками обручей.

Толик растерянно заморгал:

— Это же обман...

— Ну, почему обман? Чем еще было платить? Ассигнациями с портретом Екатерины? Зачем они островитянам? Медными монетами? А они там для чего? На шею носить?.. А железо нукагивцам было необходимо для ножей, для копий... За ценные

вещи моряки платили, конечно, другими товарами: топорами, сукном... Ты что морщишься, Толик? Лежать жестко? Или болит что-то?

— Я?.. Ой, нет, что вы! Все в порядке.

Толик и правда морщился, сам того не замечая. Потому что при словах про обломки обручей вспомнилась ему старая боль. Весной Толик с ребятами гонял мяч на пустыре за школой, и ржавый обруч от бочонка попал под ботинок — встал торчком и сквозь штанину и чулок врубился зазубренным краем под колено... С тех пор, когда слышал Толик о полосках железа и обручах, у него кривилось лицо. А под коленом теперь — коричневый рубчик. Он всегда начинает болеть, если у Толика неприятности или какие-то переживания.

— Это я так... Ногу отлежал. Уже прошло.

— Ну, слушай дальше. Приказу Крузенштерн все подчинился. И Резанов был вынужден подчиниться, но оскорбился: опять капитан командует посланником и камергером...

Через два дня Крузенштерн отменил приказ, однако пришлось смотреть, чтобы товары не разбазаривали. А Шемелин в это время все горевал, что коллекция Резанова (он ее для Петербургской кунсткамеры собирал) пополняется медленней, чем у Крузенштерна. И чтобы запастись трофеями получше и побольше, пустил в обмен очень ценный товар — топоры. Крузенштерн этому воспривился. И вот утром 13 мая такая сцена.

Крузенштерн и Резанов встретились на шканцах. Шканцы — это палуба между грот-мачтой и бизань-мачтой, место, где собираются офицеры. Крузенштерн обратился к посланнику сухо, но вежливо:

— Ваше превосходительство. Все кораллы, что выменяли наши люди у нукагивцев, я приказал закупорить в бочку. В вашей воле взять себе сколько угодно и когда всего удобнее.

Резанов поморщился и заговорил в ответ («начал делать реприманты», как пишет Ратманов):

— Кораллы суть пустяки, сударь. Огорчительно мне иное. А именно то, что вы опять создаете преграды моему приказчику, не давая вести обмен с дикарями. Сие относится не к одной моей личной обиде. Разве не ведомо вам, что собрание редкостей для императорской кунсткамеры, о которой я попечение имею, есть следствие воли государя?..

— Все плавание, ваше превосходительство, ведется с ведома и по воле государя, — возразил Крузенштерн. — Во время путешествия мой долг заботиться не только о покупке редкостей для музеума, но и о всем прочем. О здоровой пище для служителей в том числе. Что будет, если мы легкомысленно потратим обменные товары?..

— Забота о товарах лежит не на вас, а на служащих Компании и на мне как начальнике экспедиции.

— На моих плечах лежит попечение о людях... ваше превосходительство. Что же касается вашей должности, то еще в Бразилии получили вы мое письменное уведомление, что считать вас своим начальником я не могу...

Резанов не вспыхнул, хотя этого можно было ожидать. Он сказал с ноткой ленивого превосходства:

— Что касается собственно меня, то я ставлю себя выше всех огорчений, которыми осыпают меня ежедневно. Ваши слова и поступки я почитаю не иначе как за мелочи, недостойные моего внимания. Ранее полагал я, что имею дело с воспитанным человеком и разумным офицером, вам же угодно ребячиться.

На шканцах наступила тишина.

Ни тогда, ни потом Резанов так и не понял до конца, что же произошло. Сила морских уставов и обычаев была ему неведома.

— Я не ослышался? — тихо переспросил Крузенштерн. — Что вы сказали?

— Я сказал: полно ребячиться.

Негромко, но наливаясь гневом, Крузенштерн произнес:

— Господин чрезвычайный посланник. Вы находитесь на шканцах военного корабля, место сие почитается священным. Любое оскорбление, нанесенное капитану на корабле, вообще есть тяжкое преступление. Если же начальник оскорблен на шканцах, это карается втрое...

— Но вы забываете, что начальник здесь — я, господин капитан-лейтенант.

— Черт знает что! Это нестерпимо! — не сдержался Крузенштерн. — Кончится тем, что я засажу вас под арест, как неких лиц из вашей свиты за чинимые ими беспорядки и пьянство!

— Вы ответите перед государем императором!

— Посмотрим, кто ответит! — Крузенштерн резко обернулся: — Спустить шлюпку, я еду на «Неву»!

...Через полчаса он вернулся с Лисянским. Офицеры опять собрались на шканцах.

— Господа, я не начальник ваш более, — сумрачно начал Крузенштерн. — Господин Резанов утверждает, что...

Его слова заглушили негодующие голоса. Больше всех шумел граф Толстой:

— Это что же! Если господин Резанов общий наш начальник, выходит, я теперь вновь у него в подчинении?

— Да поди ты к черту, граф, со своей персоной! — в сердцах промолвил Ратманов. — В тебе ли вопрос? Тут дело государственное... Господа, пусть Резанов покажет наконец инструкцию, о которой столько говорит!

Граф вспыхнул, стал искать на боку рукоять шпаги. Но тут же понял — теперь не до личной ссоры.

Решено было пригласить Резанова из каюты: пусть предъявит документ. Ходили за ним трижды. Даже Толстой ходил. Шемелин потом записал в «Журнале»:

«Когда ни с чем вернулся граф, послан был лейтенант Ромберг, но Начальник не хотел предстать на совет нечестивых и подвергнуть себя суду их, а паче не дать в поругание и обнаружить высочайших повелений, в которых многие есть секретные пункты...»

— Самозванец! — крикнул на весь корабль Ратманов.

В конце концов Резанов был вынужден выйти. Он появился на шканцах с бумагами в руке. Был бледен, но вид имел гордый.

— Вам, господа, надлежало бы снять шляпы из уважения к документу, пункты из которого я оглашу.

— Снимите шляпы, господа офицеры, — сказал Крузенштерн, — и оставим без внимания то, что господину посланнику, если речь идет об уважении, тоже следовало бы иметь приличный вид.

Резанов стоял перед моряками в домашней фуфайке, в мятых панталонах, без чулок, в туфлях на босу ногу. На замечание капитана он не ответил. Поднял к глазам листы.

— Поддаваясь непомерным требованиям вашим, я прочту некоторые параграфы. Те, что имеют касательство к начальствованию, — глухо проговорил он.

И зачитал строки, из которых следовало, что начальник над всей экспедицией действительно он, Резанов.

— Немыслимо, — сказал мичман Беллинсгаузен.

— Откуда эта инструкция? Кто ее подписал?! — буквально взревел Ратманов. — Почему мы ничего не знали?!

— Господин Крузенштерн знал, — ответил Резанов.

— Я не знал сих пунктов в точности! Почему вы своевременно не объявили их всем офицерам, как того требуют правила? Почему держали этот документ в секрете?

— Ни один из нас не пошел бы в плавание на таких условиях! — воскликнул Ромберг. — Мы не желаем знать начальника, кроме Крузенштерна!

— Желания вашего не спрашивают! Ваше дело — повиноваться высочайшей воле! — Резанов судорожно свернул листы.

— Высочайшей?! — по-мальчишески воскликнул Лисянский. — А не сами ли вы сочинили сей документ?

— Вы с ума сошли, капитан!

— Настоящая это инструкция или нет, вы все равно обманщик, — отрубил Ратманов. Он был зол более всех. — Вы обманули министров, когда выпросили у них такие полномочия. А они обманули царя, сунув ему бумагу на подпись!

— Речи подобные слышать выше моих сил! — Резанов отступил в кают-компанию, там слышно было, как захлопнулась дверь его каюты.

Сгоряча офицерами решено было, что, прибывши в Камчатку, станут требовать у государя одной милости: чтобы он приказал возвратить их в Петербург берегом. Ни капитан, ни его офицеры служить под начальством господина Резанова не могут, потому что характер его им теперь известен, да и оскорбление, нанесенное капитану, прощено быть не может...

— Пролез в начальники лисою! — негодовал Ратманов. — Заколотить его в каюту и никуда не выпускать до Камчатки!

Лишь лейтенант Головачев не разделял общего возмущения.

— Николая Петровича тоже можно понять, господа. Каково теперь его положение?

— Я не понимаю вас, господин Головачев, — с досадой отозвался Крузенштерн. — Вчера вы возмущались, что помощник Резанова, купец Шемелин, легкомысленно пускает в обмен топоры. Сами донесли мне о том, будучи на вахте. Из-за того и спор сегодняшней начат. А сейчас защищаете господина посланника...

— Я не о топорах, а о человеке, — тихо возразил Головачев. — Я защищаю Николая Петровича, потому что каждому из нас христианский долг велит быть терпимыми к ближнему...

— Ну вот, уже проповеди! — хохотнул Ратманов. — А мы-то радовались, что на корабле нет попа...

— Это не проповедь, Макар Иванович. Просто мне жаль господина Резанова. Даже посольские кавалеры его избегают...

— Видят, что виноват, — огрызнулся Толстой.

— Кто виноват, судить будут после...

— А вы хотите остаться в стороне? — запальчиво спросил Лисянский.

— Господа! — повысил голос Крузенштерн. — Не хватало еще нам поссориться в такой момент...

Ратманов сердито нахлобучил треуголку и ушел в каюту.

После обеда, когда страсти поулеглись и жизнь, казалось, входит в привычную колею, в каюту Ратманова шагнул подпоручик гвардии Толстой. Он был в парадном мундире и при шпаге.

— Господин лейтенант! Сегодня утром на шканцах вы сказали мне слова, которые не могут быть терпимы благородным человеком! Угодно вам выбрать оружие?

— Что такое? — Ратманов сел на койке.

— Не притворяйтесь, что вы забыли утреннюю вашу грубость. Хотите увильнуть?

— Вы с ума сошли, граф, — утомленно сказал Макар Иванович. — Вас мне еще не хватало... Я первый лейтенант корабля, и служба не позволяет мне драться здесь на дуэли.

— А по-моему, вы просто трус!

Макар Иванович вздохнул и встал...

Через минуту вылетела на палубу шляпа с позументом, затем шпага в ножнах, а следом — хозяин шпаги и шляпы граф Федор Толстой с крепким синяком под глазом...

Случай этот позабавил многих и несколько дней служил темой для разговоров и ехидных шуток в кают-компании и на баке, где собирались матросы. Шемелин, сидя у себя в констапельской, не без юмора записывал в «Журнал», что подобный способ выяснять отношения гораздо лучше пистолетов и шпаг. Чем бы ни кончился такой поединок, оба противника останутся живы и могут далее служить на пользу государю и отечеству... Не правда ли, здравая мысль, Толик?

— Ага... А что с Резановым?

— Резанов с той поры заперся в каюте... Давай-ка я тебе лучше прочитаю, что об этом пишет Шемелин. Он про состояние Резанова очень выразительно рассказывает...

Арсений Викторович поднялся, взял со стеллажа папку, поднес к догорающим свечкам, безошибочно отыскал нужный лист. Стал читать, согнувшись над столом:

— «Обстоятельства, случившиеся в заливе *Taiuo-Goe*¹ (о которых да позволено будет мне умолчать), к тому жаркий климат и грубая пища довели его до того, что дух его лишился всей бодрости, после того воображались ему одни только ужасы смерти и ежеминутные о том опасения (хотя не было к тому никаких причин). Он при малейшем шуме, стуке, на шканцах или в капитанской каюте происшедших, изменялся в лице, трепетал и трясся; биение сердца было беспрерывное. Он долгое время не мог приняться за перо трясушимися руками что-либо изображать на бумаге; здоровье его в продолжение пути до Сандвичевых островов сколько за неимением свежей пищи, а больше от возмущения душевного и беспокойств разного рода, так изнурилось и изнемогло, что мы опасались лишиться его навеки».

Курганов захлопнул папку (отчего огонек свеч заметались и едва не погасли).

— Вот так и плыл Резанов и до Сандвичевых островов, и дальше, до самой Камчатки...

Толик почувствовал, что ему жаль Резанова. Но и досадно стало.

— А чего он так трясся-то? Даже Шемелин пишет, что причины не было...

— Мне кажется, Резанов испугался не Крузенштерна, а своей

¹ Туземное название бухты Анна-Мария у Нукагивы, где стояли «Надежда» и «Нева». Шемелин называет ее также Тоюогай и Таюо-Гое.

беспомощности. Такой вельможа, такой чин — и вдруг на корабле оказался без власти. Это его потрясло и сломило. Даже те, кто числился в его свите, избегали посланника. Да еще любимый повар его умер от чахотки, когда шли у Сандвичевых островов... В общем, несладко было Николаю Петровичу Резанову.

Зато на Камчатке он отвел душу.

Едва ступив на берег в Петропавловске, Резанов объявил коменданту: «На корабле «Надежда» бунт против государя императора!»

— Ничего себе! — сказал Толик.

— Да... И отправил в Нижнекамчатск гонца за губернатором Кошелевым и ротой солдат для усмирения мятежного капитана...

Крузенштерн в своем «Путешествии вокруг света» ничего не пишет о ссоре с Резановым. Для него главное — плавание и открытия. И все же про этот эпизод в Петропавловске он сделал язвительное примечание: «Кому образ езды в Камчатке извещен, тот ясно представить себе может, каких трудностей долженствовал стоить поспешный переезд 60 солдат из Нижнекамчатска в Петропавловск, отстоящий на 700 верст».

Резанов объявил Крузенштерна отрешенным от капитанской должности, поселился в доме коменданта и стал ждать губернатора, чтобы учинить судебное разбирательство.

Крузенштерн делал вид, что его это не касается. Занимался подготовкой «Надежды» к пути в Японию (хотя Резанов отказывался плыть дальше), ремонтом и разгрузкой... И удивлялся беспорядкам и бедности в хозяйстве знаменитой Российско-Американской компании, о богатстве которой в Петербурге ходили легенды. Приказчики воровали. Рядовые промышленники болели цингой, бедствовали и спивались. Людей не хватало. Некому было даже доставить из трюма на склады грузы. Основные товары в конце концов выгрузили, но полосное железо, что лежало в самой глубине, на месте балласта, осталось на корабле.

— Какое железо? Это обломки обручей, что ли? — Толик опять поморщился.

— Нет. Полосы ковкого железа, из которого в кузницах делают разные предметы — для кораблей, для мастерских... Там, в дальнем краю, оно было очень нужно. Однако выгружать оказалось некому. Матросы занимались работами на корабле, на берегу людей не хватало.

— Так и привезли железо обратно в Кронштадт?

— Нет, но выгрузили гораздо позже, при третьем заходе на Камчатку. А сперва свозили в Японию и к Сахалину...

Я знаешь почему про это железо говорю? У меня в голове все время вертится сравнение: как железо лежало в трюме, так на душе у Крузенштерна лежала тяжесть. Чем это кончилось? Он собрал все свое мужество и нес свою службу, словно ничего не слу-

чалось. С невозмутимым видом расхаживал по палубе, следил за работами, давал поручения офицерам, находил время пошутить с матросами. А ночью писал в большой тетради из грубой синей бумаги скрипучим пером из гусяного крыла свои наблюдения о жизни нукагивцев, о плавании к островам Сандвичевым и о том, как в непрерывных туманах, выполняя поручение министра коммерции графа Румянцева, искал он остров Огива-потто, которого не было на свете... Ни перед кем ни разу не выдал он тревоги. Но он же понимал: обвинение в бунте может стоить не только должности и чина, но и головы...

Наконец прибыл генерал-майор Кошелев с солдатами. Начались разборы. При губернаторе снова Резанов назвал Крузенштерна бунтовщиком. Тот с холодным спокойствием выложил на стол шпагу:

— Отправьте меня в Петербург. Плыть с вами, ваше превосходительство, дальше не считаю возможным.

— Это я не считаю!

— Тем более...

Неделю шло разбирательство. Ух как бушевал Резанов! Снова слышались слова: мятеж, бунт, каторга. Моряки понимали, что это не пустые угрозы. Сейчас на стороне Резанова была сила, была власть.

Все было... кроме корабля.

Посланник мог лишить Крузенштерна командирской должности (и не раз объявлял об этом), мог устроить суд, мог, наверно, и в кандалы заковать строптивного капитана. Но заставить его вести корабль не мог, если тот не захочет. А плыть-то было надо. Не выполнить волю императора и отказаться от посольской миссии его превосходительство не смел.

И Крузенштерн понимал, что надо плыть. Не ради посольских дел, не ради торговых планов. Для новых открытий, для науки. Для славы России и ее флота. Чтобы никто не сказал потом, что русские так и не сумели обойти вокруг света...

Понимал это и генерал-майор Кошелев.

Положение у губернатора оказалось трудное. Как представитель власти, он обязан был поддерживать посланника, царского вельможу с полномочиями. А по-человечески он сочувствовал Крузенштерну. Целых семь дней он с утра до вечера вел разговоры, стараясь помирить Резанова и офицеров «Надежды». Наконец примирение состоялось.

Резанову дали несколько солдат для личной охраны и большего почета. Кавалерами посольства были зачислены капитан местного гарнизона Федоров и брат губернатора поручик Кошелев. Живописец Курляндцев и доктор Бринкин, утомленные плаванием, отправились через Сибирь домой. Отбыл в Петер-

бург и Федор Толстой. И Крузенштерн, и Резанов одинаково рады были избавиться от скандального графа.

Окончание тяжких споров отпраздновали обедом на борту «Надежды» и салютом из пушек.

Дольше всех непримиримым оставался Ратманов. Требовал отправить его в Петербург, видеть не мог Резанова. Но уступил уговорам Крузенштерна, с которым они были «в совершенном дружестве». Тут, кстати, пришел приказ о производстве Ратманова в капитан-лейтенанты.

Вскоре «Надежда» отправилась с посольством в Японию...

— А «Нева»?

— Да «Невы» и не было в Петропавловске! Она же еще от Сандвичевых островов ушла своим маршрутом на Кадьяк!

— Ох, правильно. Я и забыл...

— Заговорил я тебя, Толик. Ты уже спишь...

— Нет... А с лейтенантом Головачевым-то что было? Почему он застрелился?

— Это еще долгий разговор... Тут опять многое связано с Резановым. Ты ведь читал у Нозикова о посольстве в Японию? Успеха там Резанов никакого не добился. Японцы жили замкнуто, вели торговлю только с голландцами и корабли других наций видеть у себя не хотели. Тогда Резанов... Э, да ты, кажется, спишь?

«Нисколько, — не то прошептал, не то подумал Толик. — Вы, пожалуйста, рассказывайте...»

Курганов что-то сказал еще, потом стало очень тихо. Только стучал в этой тишине хронометр. Будто на звонкое полосное железо роняли медные гвоздики.

ЗАВЕСТИ ЧАСЫ!

Утром, когда Толик с Султаном примчались домой, оказалось, что Варя тут как тут. Она прямо с новогоднего вечера в институте отправилась на вокзал, удачно купила билет на проходящий поезд Москва—Владивосток и в семь часов была уже дома.

Варя затормошила Толика, расцеловала его, расхвалила елку, а Султан прыгал вокруг и пытался взвалить передние лапы Варе на плечи. На елке вертелись и позванивали шары...

Вечером пришли гости — Варинны бывшие одноклассники, мамина подруга тетя Римма. И Дмитрий Иванович пришел. Принес Толику в подарок книжку «800 лет Москвы»... Мама послала Толика к Эльзе Георгиевне, чтобы пригласить и ее.

В комнате Эльзы Георгиевны стояла мебель с завитушками и черное пианино с медными подсвечниками. А на коричневых

обоях всюду белели наклеенные бумажные солдатики. Всякие. И старых времен — в ботфортах и треуголках, и красноармейцы в буденовках, и заграничные какие-то — в касках непривычной формы. Были и гладильницы (как Спартак на коробке с карандашами), и севастопольские матросы прошлого века, и крестоносцы (как в фильме «Александр Невский»). Когда Толик с мамой переехали в этот дом и зашли к Эльзе Георгиевне познакомиться, Толик просто глаза вытарасил. Мама тоже с интересом смотрела на солдатиков. А Эльза Георгиевна сказала непонятно:

— Пусть. Мне уже ничего не страшно...

Сейчас Эльза Георгиевна поотказывалась от приглашения, а потом пришла. Патефон сипловато играл «Рио-Риту». Варинны друзья танцевали, цепляя плечами елочные ветви. Эльза Георгиевна с Дмитрием Ивановичем и тетей Риммой чокнулась рюмочкой ликера, поулыбалась, потом поднялась и стала разглядывать елку.

— Красавица, — сказала она. — Ах, какая красавица... (Будто и не удивлялась недавно, зачем такая.) Вадим Валентинович тоже любил елки. Как ребенок. И всегда делал сам игрушки, особенно солдатиков... Странное увлечение, да? Характер был — мухи не обидит, а увлекался солдатиками... — Она вдруг коротко, со всхлипом рассмеялась: — Ну скажите, кому мог помешать тихий бухгалтер со своими бумажными солдатиками?

Дмитрий Иванович встал и что-то негромко стал ей говорить. Толик смотрел с беспокойством: Эльза Георгиевна могла расплакаться... Но к нему подскочила Галя — Варина подруга:

— Толик! Пошли танцевать! Тоже мне, кавалер, стоит и глазами хлопает! — И завертела его по комнате.

...На следующий день Варя умчалась в свой Среднекамск. А каникулы покатались, как и полагалось каникулам, — беззаботно и до обидного быстро. Днем Толик убежал на городскую площадь, где стояла елка, вертелась под музыку карусель, а на ледяных горах мальчишки катались на фанерках и устраивали игру в «пятьсот веселых». Или с ребятами из своего класса, с Васькой Шумовым и еще с кем-нибудь катался со склонов Земляного моста в логу. Особенно хорошо было кататься при луне. Луна стала уже почти круглая, и снег сверкал под ней голубыми огоньками, а ели и крыши сказочно чернели на зеленом небе...

Один раз Толик зашел к Арсению Викторовичу. Тот сидел за столом и писал. Толику он обрадовался:

— Молодец, что пришел! А я вот тут... Решил немного про детство Ивана Федоровича написать. Как он на «Надежде» вспоминает свои игры с братьями. У него много братьев было...

Толик почувствовал: хотя и рад ему Арсений Викторович, а хочет поскорее остаться один. Видно, не терпится ему опять

сесть за рукопись... Но, торопливо прощаясь, Толик все же не удержался от короткого разговора:

— Арсений Викторович, вот эта карта у вас — она морская?

— Вполне... Это меркаторская карта мира. Был такой ученый — Герард Меркатор, он придумал эту картографическую проекцию, когда параллели и меридианы пересекаются под прямым углом. Очень удобно для штурманского дела... Я, наверно, непонятно объясняю?

— Понятно, — соврал Толик. — Она с корабля?

— Едва ли. На судах карты поменьше, а такие висят в паровых конторах, в кабинетах адмиралов... Я ее добыл случайно в Ленинграде у родственников давнего знакомого. Она была спрятана в старый диван, и ее чудом не сожгли... До войны у меня была такая же, я на ней проложил весь путь Крузенштерна...

— Здесь тоже он начерчен, — заметил Толик.

— Да, только более схематично. Я его по памяти прокладывал... А на той было все точнейшим образом. У Крузенштерна в третьем томе «Путешествия» есть таблицы с ежедневными координатами «Надежды», вот я по ним... Впрочем, это не так уж важно. Главное — основные пункты. Порты, острова...

Толик нашел глазами Нукагиву, потом остров Святой Елены. И подумал, что до сих пор не знает подробностей о лейтенанте Головачеве. Но не время было спрашивать...

По вечерам Толик с гудящими от дневной беготни ногами и с ощущением сладкой беззаботности устраивался с книжкой под елкой. Елка все еще стояла свежая, не осыпалась. Читал Толик второй раз «Русских кругосветных мореплавателей» (хотя Арсений Викторович и ругал автора Нозикова, но все равно было интересно), читал «800 лет Москвы». А еще — толстую потрепанную книжку, где были разные повести и рассказы: про поиски корабля «Черный принц», про разные смешные случаи, про веселые ребятишки Миньку и Лелю. Правда, мама разрешала эту книгу читать, только если нет посторонних. Потому что о писателе Зошенко было сказано недавно, что он вредный и ошибочный.

Конечно, ничего вредного в веселых рассказах не было, это мог увидеть любой, кто умел читать. Скорее всего, писатель просто поругался с начальством, как прошлым летом поругалась мама с ответственным секретарем газеты, и тот пообещал «написать куда следует». Хорошо, что вмешался главный редактор. А у писателя, видимо, не нашлось такого редактора...

У мамы, кажется, и сейчас, в январе, что-то не ладилось на работе. А может быть, в отношениях с Дмитрием Ивановичем. Иногда она приходила домой расстроенная и сердитая. Так случилось и в тот день, когда Толик получил обидную, дурацкую двойку.

Давно уже кончились каникулы, и шла «решающая» третья четверть. На уроке истории Васька Шумов спросил Толика, пойдет ли тот сегодня в лог кататься на лыжах. Толик сказал, что у лыжи порвался ремень. Васька сказал: «Долго починить, что ли?..»

А Вера Николаевна (у которой, видно, тоже было сегодня неважное настроение) скрестила могучие руки и спросила:

— Нечаев и Шумов! О чем я сейчас говорила?

Ваське откуда знать? Встал и глазами хлопает.

— Как богатые казаки предали Пугачева... — прошептал Толик.

— Нечего подсказывать! — грозно заявила Вера Николаевна. — Умник какой! Сперва отвлекает соседа по парте, а потом еще подсказывает! Давайте оба дневники!

Это было так несправедливо, что хоть волком вой. Но не реветь же при целом классе. Васька и Толик понесли к столу тощие самодельные дневники (настоящих ни у кого в Новотуринске не было, они, говорят, только в больших городах выдавались школьникам).

— Балда, — шепотом сказал Толик Шумову. — Из-за твоих дурацких разговоров...

Васька даже не огрызнулся, только сопел.

Толик не скрывал от мамы своих двоек (в общем-то, довольно редких). А про эту тем более молчать не собирался. Наоборот, он вправе был рассчитывать даже на мамино сочувствие. В самом деле, за что двойка? Если бы он урока не знал...

Но мама сообщила Толику, что он балбес, разгильдяй и двоечник. Нормальные ученики не треплют языком на уроках, а слушают учительницу. И будет неудивительно, если Толик схватит по истории двойку за четверть, а потом за год и его не допустят к выпускным экзаменам в начальной школе.

Это была уже совсем чушь непролазная, но ведь маме так не скажешь. И все же Толик не удержался:

— Я не виноват... — начал он и от обиды чуть не брякнул: «...что ты опять с Дмитрием Ивановичем поссорилась». Но, к счастью, удержался. Сказал только: — ...если у тебя какие-то неприятности.

Мама сообщила, что главная ее неприятность — это сын, который растет бестолочью и таскает из школы двойки.

— Не двойки, а двойку! Да и то ни за что!

Мама оделась и ушла, крепко стукнув дверь. То ли в редакцию на сверхурочную работу, то ли по другим делам. Толик не любил, когда мама уходила вот так, не сказав, куда и надолго ли. И страдал целый вечер. А она вернулась поздно. Толик обрадовался, но тут же вспомнил все обиды и молча улегся спать.

Так и случилось, что о важном и тревожном событии узнал он лишь утром.

Когда Толик торопливо глотал жареную картошку, мама сказала:

— Арсения Викторовича положили в больницу, очень обострился бронхит. Он вчера звонил мне оттуда... Просил тебя зайти к нему домой, завести часы, чтобы не остановились. Сказал, что ключ от комнаты под крыльцом, под нижней ступенькой...

Толик уронил вилку.

— А когда положили?

— Еще позавчера. А вчера в обед он позвонил.

— Что же ты вчера не сказала! — взвыл Толик.

— Вчера? Ты мне такой сюрпризик принес...

— Да при чем тут сюрпризик! Часы-то остановятся!

— Ну и что? Заведешь, и опять пойдут...

Тратить время на объяснения не имело смысла. Все решали минуты...

Толик не был примерным учеником. Но и прогуливать уроки ему еще не приходилось. Это вам не двойка, легкой нахлобучкой тут не кончится. И, конечно, решил на такое дело он не без терзаний. Но терзания эти не были слишком велики, и — самое главное — испытывал их Толик на бегу, когда по темным еще улицам мчался не к школе, а к дому Курганова. Потому что сильнее всех мыслей была мысль о хронометре. Лишь бы успеть!

Что он скажет Арсению Викторовичу, если хронометр остановится? Мама виновата?

Не важно, кто виноват, если часы встали. Они не должны стоять, это морской закон.

Это не только Курганова часы, они еще и Толика... немного... Под их живое стучанье он уходил в плавание с Крузенштерном. И если Толик не успеет, он... Будто он не сумел кого-то спасти!

Ключ Толик отыскал сразу. Снял всячий замок, проскочил сени (сшиб при этом коромысло), влетел в комнату.

И сразу понял, что опоздал. Сумрак покинутого хозяином жилища заполняла глухая тишина.

Толик нащупал выключатель. Коричневый ящик со стеклянной крышкой стоял посреди стола. Толик, все еще на что-то надеясь, поднял крышку...

Хронометр остановился совсем недавно, в те минуты, когда Толик выскочил из дома и спешил сюда. Стрелки показывали восемь часов семь минут. И двадцать три секунды... Маленькая стрелка на счетчике завода дошла до числа сорок восемь. Больше двух суток пружина не тянула...

Толик с минуту потерянно смотрел на белый циферблат с

римскими цифрами и маркой английской фирмы — слово «СООКЕ» в круге с большой буквой С.

Из-под деревянного футляра выглядывал уголок бумаги. Это была записка.

«Толик!

Довел меня мой бронхит до больницы. Обо мне-то позаботятся, а о хронометре позаботиться некому. Очень тебя прошу, будь его хозяином, пока я не вернусь, возьми его домой, заводи каждое утро в восемь. Мне кажется, я даже поправлюсь скорее, если буду знать, что он тикает исправно.

Большая просьба: уложи хронометр в сумку (она под столом) и носи плавно. Не ставь на стопор, пусть будет как на корабле во время движения...

Я на тебя надеюсь, Толик. Спасибо тебе заранее.

А. Курганов».

Он надеется... Что делать?

Завести хронометр снова — дело нехитрое. Но как поставить точное до секунд время?

В девять часов будет по радио сигнал точности. Можно отвинтить стекло, установить стрелки на девять и при сигнале резко крутнуть футляр за ручки. Арсений Викторович говорил, что именно так пускают заведенные хронометры... Да, но секундная-то стрелка не вверху, не в начале круга. А руками эту стрелку не переведешь, она — чуткая и тонкая — намертво связана с механизмом. Можно лишь дожидаться, когда она дойдет до ноля, и остановить, задержав балансир. Но для этого надо вынимать механизм. Живой, хрупкий, точнейший... Толик на такое никогда не решится. Он видел только раз, как это делает Арсений Викторович, а чтобы самому — страшно и подумать!

Но как же быть-то?!

Толик не верил в приметы. Он считал глупостью, когда люди суют палец в чернильницу-непроливашку, чтобы не получить двойку за контрольную. Не боялся запинаться левой ногой, проходить под косыми подпорками телеграфных столбов и вовсе не считал, что белая бабочка-капустница приносит беду. Даже к черным кошкам относился без опаски... Правда, летом, если накатывала грозозная туча, Толик сцеплял пальцы в замочек и шептал: «Я не твой, я не твой, обойди стороной...» Но это потому, что с грозами не шутят. В позапрошлом году на углу Запольной и Казанской молния в шапки разнесла столетний тополь. Толик с мамой под зонтиком бежали к дому, а тут как шархнуло!..

Да, в приметы он почти не верил, но сейчас казалось, что за-

мерший хронометр предвещает беду своему хозяину. И чем дольше он стоит, тем хуже Арсению Викторовичу...

Толик беспомощно глянул по сторонам. С рисунка на карте на него смотрел — совсем не весело, укоризненно — бородатый Нептун. Надо было что-то решать.

Толик подумал, что выход один: пусть Арсений Викторович сам заведет и пустит хронометр.

Больницу Толик искал больше двух часов. Он знал, что она где-то на краю города, за фабрикой «Красный обувщик». Но оказалось, что там инфекционная больница, а больные бронхитом лежат в другой, у стадиона. Толик поехал туда — на тряском зеленом автобусе, который нырял в рытвинах не хуже парусника на волнах (хорошо, что хронометр в кардановом подвесе). Потом Толик долго ходил вдоль серого больничного забора и наконец нашел калитку с табличкой «Приемный покой».

Отчаяние прибавило Толику храбрости, и в домике приемного покоя он толково изложил свою просьбу ворчливой тетеньке в пятнистом халате — не то санитарке, не то уборщице. Надо, мол, узнать, в какой палате лежит Арсений Викторович Курганов, и надо повидать этого Арсения Викторовича по дозарезу важному делу.

Фамилию Курганова тетенька в списке нашла. Но пустить Толика отказалась. Не полагается, мол.

— Но почему не полагается? Это же не заразная больница!

— Ишь ты, «не заразная»! Мало ли что! Детей вообще пускать не велено — это раз! К тем, кто недавно поступил, совсем никогда так быстро не пускают — это два! И часы неприемные!

Толик уронил слезу. Санитарка смягчилась. Как раз вышел из внутренней двери и стал копаться в списках усатый мужчина в пальто, из-под которого выглядывал белый халат.

— Игорь Семенович, тут вот мальчонка просится к больному в третью палату, дело, говорит, первой важности...

Но мужчина, не отрываясь от бумаг, хмуро сказал:

— Какая третья палата... Сегодня по всему корпусу объявляем карантин. — Выдернул листок и ушел.

— Вот! — сказала тетка. — Хоть плачь, хоть не плачь. Карантин — дело категорическое.

И Толик, хлюпая носом, ушел. Он решил было на отчаянный шаг: отыскать в заборе щель, потом найти корпус с третьей палатой. Может, проскочит. А поймают — не убьют же... И не страх остановил Толика, а неожиданная мысль: Курганову нельзя знать, что хронометр остановился!

Толик — дурак! Надо было сразу сообразить: Арсений Викторович расстроится! Для него непрерывный ход хронометра —

это своя важная примета. Не зря же звонил маме, просил Толика... Ему и так несладко, а когда он узнает о хронометре, совсем разболеется. А вдруг и... ну, всякое же бывает...

Была оттепель, серый снег оседал у заборов, горланили в больничных тополях вороны. Толик побрел к дому пешком, потому что мелочи на автобус уже не было. Мимо стадиона, мимо рынка, потом по длинному проспекту Коммунаров... Недалеко от почты он увидел синюю вывеску «Часовая мастерская».

И опять отчаяние добавило ему смелости...

В мастерской было тихо, но тишина эта состояла из разного тиканья десятков часов. Они висели на стенах и лежали на прилавке — за стеклянкой перегородкой с окошком. Там же, за стеклом, Толик увидел пожилого лысого мужчину с мясистым носом. В глазу мужчины торчала короткая серебристая трубка — он разглядывал через нее часики.

Толик сказал «здрате», мастер уронил трубку в ладонь и крутнулся на стуле (видно, стул был вертящийся).

— Вам что, молодой человек?

— Скажите, пожалуйста, вы не могли бы завести и пустить хронометр? Только точно, до секунды...

— Хронометр?

— Ага. Морской... Он остановился.

— Лю-бо-пытно... — Мастер вытянул худую шею. — Разрешите-ка посмотреть...

Толик, задержав дыхание, вынул ящичек из сумки. Двинул его в окошко по скользкому стеклу прилавка.

— Он исправный, только его не успели завести...

— Так-с, так-с, так-с... — произнес мастер, словно подражая крупным часам. И умело откинул крышку. — Лю-бо-пытно... В самом деле. Откуда у тебя столь интересный прибор?

— Это моего знакомого. Его в больницу положили, а он просил меня завести, а я не успел.

— Непростительная небрежность.

— Я не виноват, я поздно узнал...

— Что узнал? — Мастер быстро глянул на Толика.

— Ну... что он просил...

— Странно... Ладно. — Мастер придвинул к себе стопку бумажек и карандаш. — Фамилия?

— Чья? Арсения Викторовича?

— Твоя.

— Зачем? — удивился Толик. И встревожился.

— Должен же я заполнить квитанцию.

— А... что, надо деньги платить? — растерялся Толик.

— Не в деньгах дело. Просто мне надо оформить заказ.

— Тут же только стрелки поставить да завести...

— Это неважно. У нас, молодой человек, порядок. Я — не частная лавочка.

— Нечаев моя фамилия, — сказал Толик. — Анатолий... Адрес надо? Запольная, одиннадцать.

— Угу... Школа и класс?

— Это, что ли, тоже для квитанции?

— Тоже.

— Пожалуйста... Десятая, начальная. Четвертый «А».

— Прекрасно... Вечерком зайди.

— Почему вечерком? Тут же пустяк...

— У меня заказы. Не могу я заниматься твоими часами без очереди. К шести приходи. Лучше, если с хозяином хронометра.

— Он же в больнице!

— Тогда с мамой или папой.

— Зачем?

— Ну, подумайте, молодой человек, — ласково произнес мастер и уставился на Толика похожими на коричневых жучков глазами. — Вы приносите мне уникальную вещь. Рассказываете довольно-таки путаную историю...

— Вы что, думаете, я украл? — тонким до звона голосом спросил Толик.

— Я ничего не думаю. Придешь вечером с кем-нибудь из взрослых — все будет ясно...

— Тогда... тогда квитанцию-то дайте! Что хронометр у вас...

— Квитанции мы детям не даем. Вот придут мама или папа...

— А зачем тогда писали? — обмирая, спросил Толик. Он понял, что попал в новую беду. В самую большую сегодня.

— Писал, потому что писал... Да свиданья, молодой человек. По-моему, вам в этот час надо быть на уроках...

— Подождите... — Мысли Толика застучали отчетливо, как шестеренки. — А вдруг мама к вам без меня придет? Я... я со второй смены учусь. А мама вас не знает. Напишите хоть вашу фамилию.

Не нужна ему фамилия мастера. Надо только, чтобы часовщик хоть на две секунды отвлекся. Вот так: он пожимает плечами («Фамилию? Пожалуйста»), берет карандаш, наклоняет голову...

Толик стремительно сунул в окошко руки, захлопнул крышку футляра, быстро — очень быстро, но плавно, без рывка — потянул к себе хронометр. Мастер вздрогнул, рука его шлепнула по тому месту, где только что стоял ящик. Поздно!

Толик ухватил футляр за ручки и спиной толкнул дверь. Услышал за собой крик. Побежал.

Он очень торопился, но даже в этом отчаянном беге помнил, что нельзя делать резких толчков. И старался, чтобы хронометр словно летел перед ним по ровной линии... Брезентовая полевая

сумка с учебниками прыгала на боку. Валенки стали тяжелыми, будто сыростью набухли. Несколько раз показалось Толику опять, что сзади кричат, даже милицейский свисток почудился. Но это уже явно с перепугу...

Отдышался он только дома. Сел на кровать, поставил хронометр перед собой на полочку. Стал думать с горьким удивлением: что получилось? Почему несчастья цепляются одно за другое?

Может, не стоило бежать?.. Ага, а если бы часовщик вечером сказал: «Какой хронометр? Я этого мальчика первый раз вижу. Квитанция есть?» Не бывает, что ли, жуликов среди часовых мастеров? Эльза Георгиевна рассказывала, как ей до войны подменили золотой корпус часиков позолоченным...

Впрочем, какой смысл гадать, что «было бы»? Хронометр — вот он. И что делать дальше?

Стучали ходики. Неточные, домашние. Но, так или иначе, они показывали половину второго, и это было почти правильно, если не придирается к одной-двум минутам. Странно, что мама еще не пришла на обед... Дребезжаше играло бодрую музыку радио. Через полчаса, в двенадцать по московскому, в два по местному, будет опять проверка времени.

Решайся, Толик...

Казалось, что если хронометр заработает, все неприятности — и вчерашняя двойка, и сегодняшней прогул, и то, что за этот прогул будет потом, — сделаются мелкими, неважными. И болезнь Арсения Викторовича окажется неопасной. И повесть «Острова в океане» будет дописана... И все будет правильно, справедливо.

Толик поставил хронометр на стол. Открыл футляр. Повернул влево стекло в медном зубчатом ободке. Ободок пошел по резьбе мягко, легко, это прибавило Толику смелости.

Он свинтил до конца и отложил стекло.

Теперь надо было сделать то, что казалось самым опасным.

Толик положил растопыренные пальцы левой руки на края циферблата. Сердце застучало так, словно где-то в пищевод запрыгал тугой резиновый мячик. Толик переглотнул. Он понимал, что, если что-то надломит, сорвет, нарушит в тонком органе точнейшего прибора, не будет прощения. Ни от Арсения Викторовича, ни от мамы, ни от себя. Ни от всего белого света.

Но отступить он уже не мог. Медленно-медленно стал поворачивать котелок хронометра в кольцо. Дальше, дальше... Ну, скоро ли? Ой... Механизм тяжело выскользнул из котелка и осел у Толика в пальцах. Секундная стрелка на миг щекочуще коснулась ладони.

Нельзя, чтобы касалась, она такая чуткая, беззащитная.

Вот оно, сердце хронометра. Медные колесики и валики с цепочкой. Вот он — горизонтальный балансир. Оказывается, это не кольцо, а два полукольца.

Толик, стискивая пальцы на краях циферблата, опять повернул механизм стрелками вверх. Задержав дыхание, ногтем толкнул грузик балансира.

«Динь-так, динь-так...» — радостно ожил хронометр. Секундная стрелка побежала по своему кругу. Но через несколько мгновений опять замерла — не было завода...

Толик качнул балансир еще. Еще... Вот уже стрелка рядом с числом шестьдесят. Не проскочила бы! Стоп... — Толик придержал медный цилиндрок. Точно!

Теперь положить механизм обратно в котелок (от него пахнет медью, как от старой артиллерийской гильзы, которую Толик выменял у Васьки Шумова на трубку от противогаса). Опускать надо легко, чтобы механизм не вырвался, не стукнул о край... Ой, что-то все же стукнуло! Это контрольный шпенек вошел в прорезь на кромке котелка, это ничего...

Теперь — перевести большие стрелки. С ними просто, почти как на ходиках. Главное, чтобы минутная оказалась строго на верхней черте. Вот так. Два часа...

Толик навинтил стекло.

До пуска оставалось еще одно дело — завести пружину. Но это уже легче, Толик это умел. Надо лишь стараться, чтобы хронометр не затикал сам собой, раньше сигнала! Тогда начинай все снова.

Не затикал...

Толик поставил карданное кольцо на стопор и стал ждать.

Как всегда в таких случаях, минуты тянулись, будто разжеванная ириска. И, конечно, Толик извелся: то шагал из угла в угол, то на ходики смотрел, то пробовал читать новую «Пионерскую правду». То садился, то вставал... Можно было бы разогреть суп и пообедать, но про это и думать не хотелось... Думалось про сегодняшние приключения. Вспомнилось и то, что сумка от хронометра осталась в мастерской... Ну и пусть. Она старая, пованная, Арсений Викторович не рассердится.

Лишь бы хронометр пошел...

Наконец радио сказала деловитым женским голосом:

— После проверки времени слушайте последние известия. А сейчас, товарищи, проверьте часы. Третий, короткий, сигнал дается в двенадцать часов по московскому времени...

И «шелк-шелк, шелк-шелк» — застучали в репродукторе самые точные часы страны. Когда Толик их слышал, ему представлялась мощная площадь, строй солдат, а вдоль строя идет отдавать рапорт офицер с саблей наголо. Сухо бьют о камень подош-

вы блестящих сапог. Солнце дрожит на кончике клинка. И так — целая минута. Потом офицер останавливается...

— Вот он, голубчик! Полюбуйтесь, Вера Николаевна!

Что это? Он и не слышал, как мама вошла! Слышал только щелканье и, сжавши медные ручки фуляра, готовился толкнуть хронометр. Но...

— Вот он!.. Где ты был?!

И Вера Николаевна здесь. Она-то зачем?.. Нет, это потом. Все потом!

— Ну подождите пять секунд! — Он сказал это так отчаянно, что мама и Вера Николаевна замерли.

...Офицер остановился перед генералом. Метнулась сабля — в три приема: вверх, в сторону, вниз! Тонко поет рассекаемый воздух: «Пиу... пиу... пинь!»

Раз! — Толик резко повернул ящик. И обмер: стрелка стояла... Но она стояла лишь очень краткий миг. Просто этот миг показался Толику нестерпимо долгим. И вот: «Динь-так, динь-так...»

Толик обернулся: теперь с ним делайте, что хотите.

ПОРТРЕТ

В одну минуту узнал Толик, что человек он конченный. Мало того, что хватает двойки и сбегает с уроков, так еще впутался в какую-то скандальную историю с часами! Надо же — в школу звонят из мастерской! Ученик — воришка. Бедная Вера Николаевна! Она бросает все дела и мчится к прогульщику Нечаеву! И встречает маму, которая и не ведает о похождениях милого сына. Мама думала, что он уже взрослый. Что ему можно доверять...

Толик был не из тех людей, которые упираются в пол глазами и каменно молчат, когда на голову сыплются упреки. А если упреки несправедливые — тем более!

Это он-то воришка? Мастер сам хотел зажить часы Арсения Викторовича, жулик несчастный!.. Ну и что же, что взрослый? Не бывает, что ли, взрослых жуликов? Обидно стало, что не сумел присвоить хронометр, вот и наябедничал в школу!..

Кто прогульщик? Прогульщики те, кто вместо уроков в кино ходят или на каток! А он больницу искал... А что было делать, если часы встали? Он, что ли, виноват? А кто ему не сказал вовремя про звонок Арсения Викторовича, молчал целые сутки?.. Конечно, как правду скажешь, так сразу «не смей грубить»... Ну и что же, что двойка? Хронометр-то при чем? Да и двойка-то ни за что! Если всем двойки ставить, кто к соседу повернется и два слова скажет, тогда сплошь второгодники будут... Конечно, сразу «нахал»... Ну и пожалуйста, хоть поленом... Ох уж, никогда не

лупила! А летом кто его огрел по шее пучком моркови?.. Ага, «шутя»! Ничего себе шуточки...

Что «после школы»? Должен был отсидеть уроки, а потом идти к Арсению Викторовичу? Ну почему никто не хочет понять: надо было успеть, пока хронометр не остановился!

— Ну а потом-то! — Мама возмущенно и беспомощно всплеснула руками. — Когда ты увидел, что он *все равно остано-*вился, почему нельзя было пойти на уроки?

— Но когда *это* случилось, я думал, что ли, об уроках? — в сердцах сказал Толик.

— Вот! — Мама устремила в него палец и повернулась к Вере Николаевне. — С этого и начинается, верно? Сначала человек не думает об уроках и хватается двойки, потом болтается по городу, попадает в дурацкие истории. А там, глядишь, и в милицию. И до колонии недалеко...

— Тпру... — вдруг сказала Вера Николаевна. Словно лошадь останавливала. Во время перепалки мамы с Толиком она сидела на стуле, куталась в шаль и молчала — грузная, с большим морщинистым лицом и крупными руками в синих жилках. И вот: — Тпру... — Так она обычно в классе утихомиривала расшумевшихся своих питомцев. — Давайте-ка, Людмила Трофимовна, передохнем... Чего-то не туда мы поехали, за пять минут человека до колонии довели... А ты перестань реветь, мужик ведь...

Мама удивленно притихла. Толик быстро вытер глаза.

— Давайте-ка разматывать обратно, — решила Вера Николаевна. — Значит, что? Часовщик этот... Ну, с ним ясно, есть такие шибко бдительные... Теперь уроки... Ну, бывает иногда в жизни и такое. Если неожиданное срочное дело, куда денешься-то? Это, как военные люди говорят, «непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства». Муж у меня так говорил... А обстоятельства-ва-то, я смотрю, получились из-за двойки...

— Не болтал бы на уроке — не было бы двойки, — без прежней уверенности сказала мама.

— Вот и я говорю... Да только где лекарство, чтоб они не болтали-то? — Она усмехнулась. — Может, правда связкой моркови по шее?.. Анатолий, запиши задания на завтра, а то настоящих двоек нахватаешь... Любитель приключений...

Толик суетливо выдернул из сумки дневник и ручку. Схватил с подоконника непроливашку.

— Пиши, — сказала Вера Николаевна. — Или лучше дай сюда, я сама. Знаю, как ты копаешься со своим почерком...

Она записала номера упражнений и задачек, потом вздохнула и крест-накрест перечеркнула вчерашнюю двойку.

Мама быстро взглянула на Толика. Он вместо радости испытал мучительную неловкость. Отвернулся и смотрел в угол. Вера Николаевна грустно поднялась со стула.

— Людмила Трофимовна, пойдемте на кухню, что ли... Пускай он уроки учит, а нам надо еще насчет родительского собрания поговорить...

Толик остался один. Сел. Вот и все, распутался несчастливый узел. Так и должно было случиться — потому что хронометр идет, как прежде... Одно только скребет душу: стыдно перед Верой Николаевной за недавние слезы. Но и это не так уж страшно. Главное, что хронометр — «динь-так, динь-так...».

Толик погладил медную ручку футляра. Она была теплая. Тонкая изогнутая ручка — будто на старинном сундучке. Видно, правду говорил Арсений Викторович, что в прошлом веке хронометры были такие же... В те удивительные времена, когда еще оставались в океанах неоткрытые острова. Когда еще... как это сказал Курганов? Хорошие такие слова, будто стихи: «Когда Земля еще вся тайнами дышала...» Сразу видно, что он писатель.

Когда Земля еще вся тайнами дышала...

И было много неизведанной земли...

Два наших корабля... вокруг земного шара...

Бесстрашно пошли...

Нет, не так... «Сквозь бури и шторма на поиски пошли». На поиски чего?

Далеких островов вдали вздымались скалы,

И тайною была морская глубина...

Ух ты, как здорово получается! Ну-ка, сначала...

...Вера Николаевна, уходя, не заглянула в комнату, не стала прощаться с Толиком. Видимо, понимала, что ему стыдно за слезы. И Толик был ей благодарен. Но мысли о Вере Николаевне скользнули и пропали. Потому что под уверенно-ласковой тиканье выстраивались в строчки слова.

«Два русских корабля вокруг земного шара...»

Толик вспомнил, как однажды держал земной шар в руках. Вера Николаевна попросила принести из учительской в класс глобус. Толик одной рукой сжимал подставку, а другой обнимал все материк и океаны. Шар был теплый, и казалось, что он слегка пульсирует. Словно отзывается на толчки Толькиного сердца...

Вошла мама. Постояла рядом.

— Хватит уж дуться, прогульщик...

Толик сказал, положив на стол локти, а на локти голову:

— Ма-а... Я хочу глобус.

— Да? Очень хорошо.

— Правда? — Толик подскочил на стуле.

— Конечно. А то захотел бы ты, например, паровоз... или луну с неба. Или, скажем, египетскую пирамиду...

— При чем здесь пирамида? — сразу обиделся Толик.

— А глобус? Где его взять-то?

— Может, на толкучке... Там всякие вещи попадают.

— Ну... если когда увижу, спрошу, сколько стоит... А что вдруг у тебя за фантазия? Ни с того ни с сего...

— Я давно хотел. Просто как-то забывал сказать... Это ведь не игрушка, а для пользы. Учебное пособие.

Мама села за стол напротив Толика.

— Какой ты вдруг прилежный стал... Я напишу Вале, в Среднекамске есть, кажется, магазин учебных пособий. Только не знаю, продают ли там что-то простым покупателям. Скорее всего, он для школ.

— Пусть она попросит как следует!

— А можно с Дмитрием Ивановичем поговорить. У него в Москве есть знакомые. Там, наверно, легче купить...

— Ага, поговори... — Толик опять лег щекой на локоть. — Ма-а... А ты с ним, значит, помирилась, да?

— Анатолий! Сколько раз говорила: не суйся не в свои дела!.. А то будет не глобус, а выволочка.

— Глобус лучше, — мечтательно сказал Толик. И прикрыл глаза. И увидел почти что наяву шар с коричнево-зелеными материками, с голубыми океанами. С четкой синей линией экватора... — Мама, а почему экватор называют равноденственной чертой?

— Ох, не знаю... не помню.

— А еще большая, — поддел Толик.

— Ну и что? Это ты сейчас географию учишь, а не я.

— Мы про такое еще не проходили... Это как-то с солнцем связано... Мама, а ты знаешь, что у Арсения Викторовича день рождения в равноденствие?

— «День-день-день», — сказала мама. — Я смотрю, ты совсем не собираешься садиться за уроки.

— Собираюсь... А как ты думаешь, его выпишут к двадцать первому марта?

— Я надеюсь. Полтора месяца впереди.

— Я ему подарок сделаю...

На следующий день после школы Толик забежал к маме в редакцию и там у маминой знакомой Веры Максимовны попросил лист плотной желтоватой бумаги (из нее делали конверты).

Дома Толик в книжке Нозикова расчертил мелкими клетками портрет Крузенштерна. Лист он разметил крупными квадра-

тами и перенес портрет по клеткам на бумагу. Похоже получилось! Толику даже показалось, что на большом портрете Иван Федорович стал как-то симпатичнее, мужественнее.

Разумеется, это были только основные контуры. Надо нанести тени, тронуть лицо разными карандашами. Конечно, не размазывать, а лишь чуть-чуть добавить цвета...

Интересно, какие были у Крузенштерна глаза? Наверно, голубые, как у Толика. Он ведь тоже был белобрысый. То есть белокурый...

Толик не торопился. Несколько вечеров сидел над бумагой. Конечно, хотелось кончить поскорее, но он боялся испортить портрет. Надо было рисовать очень осторожно. Лицо человеческое — штука капризная: чуть не так проведешь черту, и все сходство куда-то пропадает... Толик сопел над листом, водил по нему то карандашом, то резинкой, и казалось ему иногда, что зря все это он затеял. Арсений Викторович сам вон как рисует! Посмотрит на Толькино «произведение искусства», вежливо похвалит, а про себя подумает: «Ну и уродину он нарисовал!»

Наверно, и правда ничего не получается. Ничуть не похоже на то, что в книжке...

Но... нет, все-таки похоже. Смотрит с бумаги строго и смело обветренный голубоглазый моряк. Флота капитан-лейтенант Крузенштерн...

Мама растрепала Толику чубчик.

— До чего талантливое у меня дитя, просто ужас. И поэт, и художник...

«Поэт!» Мама вспомнила, видимо, стихи про новогодний месяц. Новые строчки, про корабли, она еще не знала.

Никакой он не поэт и не художник. Стихи придумались сами собой, а за портрет он взялся, чтобы сделать подарок, только и всего. А в будущем он такими делами и не думает заниматься. Кем Толик собирается стать, известно давно. Еще с первого класса, когда он намалевал на руке чернилами громадный якорь и был за то поставлен Верой Николаевной у доски...

Итак, портрет был почти готов. Потому что лицо — это самое главное. Оставалось раскрасить мундир и нарисовать на заднем плане облака и паруса. Толик решил, что эполетами, орденами и корабельной оснасткой займется завтра.

Но... на следующий день мама получила зарплату, дала три рубля, и Толик помчался смотреть старую, но самую лучшую на свете комедию «Веселые ребята». Музыкальную, с песнями.

Черная стрелка проходит циферблат.

Быстро, как белка, колесики стучат...

Словно про хронометр песенка...

Бегут-бегут, бегут-бегут —
И месяц пролетел...

И в самом деле пролетел месяц! Незаметно. Каждый день какие-то дела находились. То катанье на лыжах, то уроков целая куча, то книжка «Таинственный остров» (такая, что не оторвешься, толстенная, а Шумов дал ее всего на пять дней).

И вот уже — капель с крыши и похожие на вату облака, и смотришь — восьмой час вечера, а на дворе светло.

И Восьмое марта на носу...

Толик за три рубля пятьдесят копеек купил в киоске на углу Первомайской пластмассовый гребень с гранеными камушками-стекляшками. Будет маме подарок.

Домой Толик прибежал веселый и голодный. Был уже четвертый час, потому что в школе долго репетировали номера для праздничного утренника. Мама, конечно, давно ушла с переры-ва на работу, в комнате было тихо.

Совсем тихо.

Потому что... не тикал хронометр.

Он же не мог остановиться! Толик заводил его каждое утро, в восемь ровно, ни разу не забыл, не опоздал. И хронометр шел точно, только за каждые пять суток набирал лишнюю секунду.

И стучал уверенно, звонко, весело.

А теперь что с ним? Он... его просто не было!

На средней полке этажерки, где всегда стоял хронометр, лежала записка. Мамина.

«Толик! Приходил Арсений Викторович, его наконец выписали. Он взял часы и ключ. Жалел, что не застал тебя, просил зайти. Где тебя носит? Пообедай и садись за уроки. Суп в кухне на подоконнике, картошка на сковородке...»

Толик сел на кровать, не сняв пальто и отсыревших валенок. Грустно стало. И даже обидно.

Привык он к хронометру.словно к живому, привык. По утрам он вскакивал, радовался медному «динь-так», и настроение становилось таким же звонким... Приходил из школы, и снова: «Динь-так, динь-так, здравствуй...»

Жил хронометр на этажерке, но когда Толик готовил уроки, ставил его перед собой. А если читал, лежа пузом на кровати, хронометр устраивал на подоконнике, поближе к изголовью. И звонкий рогатый месяц заглядывал в окошко и прислушивался к тиканью с интересом и легкой завистью...

Конечно, Толику и в голову не приходило, что хронометр останется у него навсегда. И хорошо, что Арсений Викторович выписался. Но... как-то все не так получилось. Неправильно. Толик думал, что он отнесет хронометр Курганову сам и Арсений Викторович удивится и обрадуется, как четко и точно работает

механизм. И, может быть, они опять разожгут камин, и Арсений Викторович спросит: «А что, если я тебе, Толик, почитаю несколько страничек, а? Я там, в больнице, кое-что написал еще...»

Потому что он и в самом деле работал в больнице. Мама говорила. Она несколько раз беседовала с Арсением Викторовичем по телефону, а однажды отнесла ему передачу: пирожки с капустой, которые сама настряпала.

Каждый раз Курганов передавал Толику приветы и говорил, что очень благодарен ему. «За хронометр и вообще...»

А теперь что?

«А теперь ничего, — подумал Толик, посидев минут пятнадцать и рассердившись на себя. — Ничего особенного. Нытик ты, Толька. Он же не виноват, что не застал тебя дома. Он же просил зайти. Что ты раскис, как манная каша?»

Когда обругаешь себя и словно встряхнешь за шиворот, делается легче. И Толик решил, что все еще будет хорошо. Придет он к Арсению Викторовичу, и будут у них интересные разговоры, и новые страницы повести, и чай с крепкими, как дерево, пряниками. И то, что не назовешь словами, — ощущение, словно ты в каюте и поскрипывает корабельная обшивка, а сверху, невидимые сквозь палубу, но настоящие, тугие, покачивают тяжелый рангоут многоярусные паруса (и надо снять со стопора хронометр, чтобы при качке оставался горизонтальным).

И, может быть, Толик в хорошую минуту признается Арсению Викторовичу, как сам пустил хронометр. Теперь можно признаться: ведь все он сделал безошибочно.

Но в тот день Толик не пошел к Арсению Викторовичу. Неудобно. Человек только что из больницы, и тут нате вам — гость...

А на завтра была опять репетиция.

А послезавтра — Восьмое марта.

Затем Толик подумал, что лучше отложить визит до воскресенья. Но в воскресенье началось такое таяние снега, что в валенках на улице не сунешься, а у ботинка оказалась оторвана подошва, и мама (отругав Толика за то, что не сказал об этом раньше) пошла на рынок, где в будках сидели «срочные» сапожники.

А потом оказалось, что до весенних каникул — всего неделя. И на этой неделе чуть не каждый день контрольные за третью четверть — «предварительные» и «основные».

И среди всех этих многотрудных дел понял Толик: самый подходящий день, чтобы идти к Курганову, — двадцать первое марта. И почти каникулы уже, и день рождения Арсения Викторовича, и воскресенье — значит, он дома будет.

Но сначала надо было дорисовать портрет, и Толик просидел над ним еще два вечера.

Портрет получился размером со страницу «Пионерской правды». В самый раз, чтобы повесить над камином (если, ко-

нечно, Арсению Викторовичу понравится). В правом нижнем углу Толик написал стихи. Он решился на это не сразу. Даже маме он свои стихи показывал, продираясь сквозь смущение, как сквозь колючую проволоку. А тут тем более... И все же он написал. Не пропадать же стихам, которые так подходили для портрета!

Краснея и сопя, закрывая животом портрет от мамы, Толик черным карандашом, старательными печатными буквами выводил:

Когда Земля еще вся тайнами дышала
И было много неизведанной земли,
Два русских корабля вокруг земного шара
Сквозь бури и шторма на поиски пошли.

Далеких островов вдали вздымались скалы,
И тайною была морская глубина,
И Крузенштерн стоял отважно у штурвала,
И билась о корабль могучая волна...

Вообще-то Крузенштерн у штурвала, конечно, не стоял, это дело матросов. Капитаны подают команды с мостика. Но ведь можно понимать «штурвал» в переносном смысле...

И буду я всегда завидовать, наверно,
Тем морякам, которые ушли в далекий путь.
На карте начерчу дорогу Крузенштерна
И, может, поплыву по ней когда-нибудь...

— Да не сопи ты и не прячь, я не смотрю, — сказала мама.

Толик пробормотал:

— Я допишу и покажу...

И показал, конечно, хотя в глазах шипало от стыда.

Мама похвалила. Даже обняла Толика. И лишь одно замечание сделала: «неизведанный» пишется с двумя «н». Да еще велела после слова «скалы» поставить запятую.

На следующее утро дала мама Толику белую рубашку, натянул он свой парадный вельветовый костюм и отправился к Арсению Викторовичу. Было солнечно и тепло, сразу видно — весеннее равноденствие. Толик расстегнул пальто и хлопал по мелким лужам ботинками в новых калошах. В таком радужном настроении он и пришел на Ямскую.

Дверь на крыльце у Курганова была приоткрыта, и Толик вошел в сени без стука. Снял калоши. Поколотил во внутреннюю дверь, обитую рваной клеенкой. Услышал, как отозвался Курганов:

— Входите!

Арсений Викторович сидел за столом. Заулыбался, встал. Покачнулся. На столе увидел Толик пустую четвертинку, тарелку с винегретом, пельменьницу с окурками. Пахло табачным дымом, копченой селедкой, кислой капустой.

— Толик, дорогой... — Курганов зажмурился, постоял так, потер сморщенный лоб. — Я вот тут... видишь, один немножко...

Он засуетился, убрал четвертинку под стол, подскочил к кровати, натянул одеяло на небубранную постель. Сел...

— Я вот, понимаешь... думаю, дай отмечу юбилей сам с собой... гостей-то нет... Не знал, что ты придешь...

«Неужели он всю ночь так сидел?» — ахнул про себя Толик. И сказал насупленно:

— Зря вы курить начали. Вам же вредно.

— А! — будто обрадовался Курганов. — В пятьдесят лет ничего не вредно... — Он опять покачнулся, будто хотел лечь и раздумал. — А ты... ты раздевайся...

Но Толик понимал, что раздеваться ни к чему. Он нерешительно переступил на шкуре ботинками.

— Я вам принес... вот...

И запоздало подумал: а стоит ли сейчас отдавать портрет?

— Ну-ка... Ну-ка... — Курганов быстро и почти трезво встал. Взял свернутую в трубку бумагу. Шагнул к непокрашенному столу, развернул на нем лист. Толик вздрогнул — угол портрета едва не попал в лужицу винегретного сока.

— Ого... — сказал Курганов. — Да... Весьма... Иван Федорович весь как есть, очень соответствует...

Ладонь его сорвалась со стола, упругая бумага снова скрутилась, упала на шкуру. Толик быстро нагнулся, чтобы поднять. Курганов сел на корточки. Они чуть не стукнулись лбами.

— Ох... извини, — сказал Курганов. — Видишь ли... Ужасно глупо... — От него пахло крепкой смесью водки и табака. — Ты разделся бы, а? Я чайку...

— Нет, я пойду. У меня билет в кино, — беспомощно соврал Толик, поднимаясь. — Я на минутку зашел. Я в другой раз...

— Да! — снова обрадовался Курганов. — Правильно. В другой раз — это обязательно. Я тут кое-что еще написал... Ты на меня не обижайся, ты приходи...

Толик не обиделся. Но было очень грустно. Толик бред домой, и теплый день его не радовал. Было жаль Курганова. Было жаль портрет. Сколько труда потрачено, а теперь что? Арсений Викторович почти и не взглянул. Чего доброго, сметет на портрет селедочные головы и отправит на помойку...

Но главное не это. Главное — ощущение потери. Словно с размаху закрыли перед Толиком дверь. И остались за дверью корабль и острова, синяя морская карта и загадки океана, горящий камин и живой неутомимый хронометр. Остались Крузенштерн

и Ратманов, Лисянский и Беллингаузен. И матрос Курганов. И лейтенант Головачев со своей горькой и непонятной судьбой... Резанов и Шемелин... Люди, к которым Толик привык. Одних он любил, других нет, но помнил про всех. А теперь они скрылись за старой, обитой рваной клеенкой дверью. Навсегда...

«Ну почему навсегда? — попытался утешить себя Толик, когда прошел несколько кварталов. Все-таки был первый день каникул, весна, и погружаться в уныние с головой не хотелось. — Может быть, все еще наладится. Не всегда же Арсений Викторovich такой...»

Может быть, правда наладится? Ведь Курганов сказал: «Заходи...»

Вторая часть

РОБИНГУДЫ

ПЛЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК ЛИПКИН

«Заходи», — сказал на прощанье Курганов. Но Толик не заходил больше. То есть он зашел один раз, в конце весенних каникул, но Курганова не оказалось дома, и Толик вместе с досадой испытал и неожиданное облегчение... А потом начался апрель. В апреле дни хотя и длиннее, чем зимой, но бегут стремительно.

После каникул с Толиком подружились одноклассники Юрка Сотин и Стасик Новицкий по прозвищу Назарьян (потому что был похож на худого горбоносого борца Назарьяна, который прошлым летом выступал в приезде цирка). Раньше они на Толика внимания не обращали, а тут вдруг встретили в кино и говорят: «Айда играть с нами». И пошли они во двор к Сотину, напилили там из березовых жердей коротких чурок и до вечера резались в городки. Игра шла замечательно, потому что двор был мощенный каменными плитами, просохший уже и чистый.

И на следующий день они играли, и потом еще и еще. И сосед Толика по парте Васька Шумов тоже пристроился к их компании.

А потом Толик по пути из школы промочил в луже ноги и несколько дней сидел дома с хрипами в горле. Когда же он снова пришел в школу, оказалось, что для него и для мамы есть важная работа. Вера Николаевна дала тонкую книжицу с билетами для экзаменов и попросила перепечатать их для всех учеников четвертого «А». Мама печатала, а Толик помогал — перекладывал листы шелестящей тонкой копиркой.

Скоро билеты были готовы, и тут уж стало ясно: пора готовиться к экзаменам. Месяц остался! Ну, в конце апреля Толик готовился еще так себе, а после Первомайских праздников взялся всерьез. Потому что первые в жизни экзамены — это всегда страшновато. Правда, арифметики Толик почти не боялся, зато правила по русскому его очень беспокоили. Никак он их не мог запомнить. Непонятно было, зачем вообще эти правила, если диктанты он и без них пишет, почти не делая ошибок.

Конечно, не сидел Толик за учебниками до потери сознания. И в городки случалось играть, и к дружинному сбору «День Победы» надо было стихи выучить, и ежедневные уроки приходи-

лось готовить, а то нахватаешь двоек, и не допустят ни к каким экзаменам...

А в середине мая случилась беда: у мамы начались боли в желудке, и врач велел ей лечь в больницу. Мама успокоила Толика, что это на недельку, на обследование, но он еле удержался от слез (а по правде говоря, не совсем удержался).

Мама отправилась в больницу, попросив Эльзу Георгиевну присматривать за Толиком, а на другой день примчалась из Среднекамска вызванная телеграммой Варя. Она Толика тоже успокоила, что с мамой ничего страшного, и принялась строго следить, чтобы он не бегал к Сотину и Назарьяну, а «готовился к сессии как следует». Они даже поссорились с Варей два раза...

Через неделю мама и правда вернулась — похуевшая, но здоровая. А Варя жила дома еще три дня. Они с мамой часто сидели рядышком и о чем-то шептались, как подружки. А когда Толик оказывался близко от них, разом говорили:

— Иди готовься к экзаменам!

Среди этих дел и событий так и не собрался Толик навестить Арсения Викторовича. Если бы дом Курганова стоял по дороге в школу или просто поближе к Запольной улице, Толик бы, конечно, не раз забежал. А шагать специально на Ямскую... Ну, правда же не было времени!

Двадцать второго мая, в теплой от уюта рубашке с отглаженным сатиновым галстуком, в своем вельветовом костюме и начищенных ботинках, пошел Толик на первый в жизни выпускной экзамен — писать диктант. Он нес перед собой большущий букет черемухи. С той поры запах черемухи всегда стал казаться Толику празднично-тревожным, связанным со словом «экзамены»...

За диктант Толик получил четверку (в слове «каникулы» пропустил букву «а», обидно так!), за устный русский тоже поставили четыре: немного запутался в суффиксах. Зато по обеим арифметикам — письменной и устной — заработал четвероклассник Нечаев добросовестные пятерки.

Через день после экзаменов собрался бывший четвертый «А» на выпускной утренник. Попили чаю со сладкими булочками, попросились с Верой Николаевной и даже загрузили на несколько минут, но потом повеселели снова и разбежались по домам.

И вот тогда-то наконец полностью Толик осознал, что пришли летние каникулы. И ощутил великое чувство освобождения.

Но скоро радость поулеглась, стала спокойной и даже скучноватой. Что делать со свалившейся на голову громадной свободой? Назарьян тут же укатил в лагерь, Юрка Сотин через несколько дней отправился в деревню Падерино к дедушке. Шумова

мать не выпускала из дома, потому что он схватил переэкзаменовку по русскому. Другие одноклассники тоже бесследно растворились среди нахлынувшего лета. Да они уже и не были одноклассниками: в сентябре пойдут в разные школы — семилетки и десятилетки. В доме, где жил с прошлой осени Толик, друзей-ровесников не водилось. На двух этажах четырехквартирного дома обитали несколько семей, но все бездетные (если не считать грудных и трехлетних младенцев). Неинтересные были соседи. Мама с ними перезнакомилась, а Толик не очень-то и старался.

В том квартале, где стоял этот дом, подходящих по возрасту мальчишек тоже не оказалось.

Несколько раз Толик бегал на Туринку и купался там с полужакобыми ребятами в теплой желтоватой воде (мама, конечно, вздыхала, но отпускала). Но компания была так себе. В ней, чтобы казаться своим, надо было лихо дымить бычками и в каждую фразу вставлять слова, которые у Толика застревали в горле. И Толик «откололся»...

Он склеил газетного змея и запустил с крыши сарая, но тут подкатила стремительная трескучая гроза, Толик заторопился, нечаянно оборвал нитку, и змей канул в гущу тополей.

Грозы — это единственное, что отравляет человеку летнюю пору. Опасливое их ожидание, страх, что появятся в небе сизые зловещие облака, постоянно сидели на дне сознания у Толика. Такую неуходящую тревогу ощущали, наверно, в старину жители степных селений, которым всегда угрожали кочевые орды...

Но нынешний июнь оказался спокойным: кроме грозы, погубившей змея, была только еще одна, да и та слабенькая...

После змея Толик начал мастерить модель подводной лодки, но летние улицы с горячим солнечным теплом и буйными травами манили к себе, хотя, казалось бы, что там делать одному?

И Толик стал бродить без всякой цели.

Скоро он понял, что не такое уж это скучное занятие. Если никуда не торопиться, все разглядываешь как следует, получается множество открытий.

Раньше Толик проскакивал по улицам, почти не глядя по сторонам. А теперь увидел, что у каждого дома свое лицо. Потрескавшаяся от старости резьба наличников была затейливой и очень разной. Деревянные накладные узоры на воротах похожи были то на солнышко из сказок, то на украшения древних теремов. Кружевные дымники над крышами, маленькие жестяные шатры над водосточными трубами, башенки над столбами ворот казались волшебным городком, выросшим над зеленым палисадником, над лопухами, заборами и прогретыми досками тротуаров. В этом городке могли жить и домовые, и гномы, и крылатые человечки, которых на ходу придумал Толик (к вечеру че-

ловечки превращались в летучих мышей и, кувыркаясь, носились в теплых сумерках)...

Странно, что в прошлые годы Толик не замечал этой старины и сказочности. Может быть, мал был еще? Или нужны были именно такие вот медленные, беззаботные, полные тихого солнца дни, чтобы внимательней взглянуть на свой город?

Оказывается, Толик и не знал Новотуринска. (Это одно название, что «Ново...», а на самом деле древность.) Столько открылось незнакомых улиц и переулков даже совсем недалеко от дома! Но особенно хорошо было бродить рядом с Ямской улицей, по старой слободке, которая называлась Затуринка.

Раньше в Затуринке жили ямщики, торговцы конной сбруей и лодочные мастера (говорят, в прежние времена Туринка была полноводнее, по ней сплавляли лес и даже ходил пароходик заводчика Крутиса). Здесь было много запутанных переулков со старыми березами и елями, с похожими на терема воротами, горбатыми мостиками через поросшие одуванчиками канавы и рублеными колодцами. Вдруг выгянет из-за выступа забора ступенчатое крыльцо с потемневшей от дождей и времени дверью, с ручкой старинного звонка, с кручеными железными столбиками и кованым узором навеса (а на ступеньках уывается худой черный котенок с хитрыми зелеными глазами). Или смотришь — из-за угла высовывается облупленный кирпичный бок полуразрушенной часоуенки с поржавелой витой решеткой на черном окне...

Или вдруг откроется среди полуповаленных заборов тесный проход, и непонятно, куда приведет он: или в чертополохово-репейные заросли, где с голыми руками и ногами не проредешься, или на незнакомую какую-нибудь улочку.

Лишь бы не в тот квартал на Ямской, где живет Курганов.

Проходить рядом с домом Арсения Викторовича Толик опасался: вдруг они повстречаются? Скажет Арсений Викторович: «Что же ты столько времени не появлялся?» Стыд какой... Не объяснишь ведь, что и хотел бы зайти, да теперь неудобно. Хотя и жаль, конечно: были почти друзья и как-то непонятно раззнакомились... Ту последнюю встречу вспоминать неприятно, только все равно жаль...

Может, Арсений Викторович зайдет к маме по какому-нибудь делу? Как зимой. Тогда можно было бы завести разговор, объяснить, что вот, мол, не было времени... Может, попросить маму нарочно подстроить такую встречу? Но пока маме некогда — с утра до вечера на работе, потому что вторая машинистка в отпуске...

Утром Толик подпоясывал широким ремнем новые черные трусы, которые мама сшила из блестящего и твердого, как колленкор, сатина, цеплял к ремню фляжку, совал под майку пло-

ский сверток с куском хлеба («сухой паек»), надевал на руку старенький компас (на всякий случай) и отправлялся в экспедицию — открывать незнакомые улицы. Как раньше моряки открывали острова.

На улицах (как и на островах) обитали, конечно, местные жители. Они то и дело встречались Толику даже в самых глухих, полных тишины и стрекота кузнечиков переулках. Обычно они без всякого интереса глядели на незнакомомго белобрысого пацана в сшитых на вырост трусах, полинялой футболке, пыльной пилотке и старом командирском ремне. Но среди жителей имелись и мальчишки. А среди них могли встретиться такие, которые назывались неприятным словом «шпана». И поэтому в первые свои походы Толик брал на поводке Султана.

Однако с Султаном было не очень-то удобно: через забор не перелезешь, по кустам он пробираться не хочет. Надо ему то к столбику, то знакомиться со встречной моськой (которая от страха без памяти). И Толик стал ходить один. Во-первых, путешественник должен уметь рисковать. Во-вторых, нехороших встреч не случалось, и Толик осмелел...

Улицы слободки чаще всего приводили на берега Туринки или ее притока — ручья, который назывался Черная речка. (Потом Толик вырос, поездил по свету и убедился, что почти в каждой местности есть своя Черная речка.) А два переулка упирались в забор старого сада, который другим краем выходил на Ямскую. Однажды Толик рядом с этим забором, на краю высокого тротуара, присел, чтобы пожевать «сухой паек» и глотнуть из фляжки. Тут доски под ним часто затолкались, и он услышал твердый деревянный топот.

Прямо на Толика мчался взъерошенный курчавый мальчишка.

Галстук синей матроски отчаянно колотился у мальчишки на груди. Лямки коротеньких парусиновых штанов съехали с плеч. Тюбетейка пружинисто подскакивала на коричневых кудряшках. Толик хотел вскочить, но в трех шагах от него тюбетейка сорвалась с головы бегуна, и тот затормозил. Выхватил тюбетейку из лебеды, сжал в кулаке и глянул на Толика.

Большие мальчишкины глаза сидели широко от переносицы и были зеленовато-желтого цвета. В них мелькали и настоящий испуг, и веселье. Часто дыша, мальчик сказал:

— За мной гонятся. Не выдавай меня, ладно?

Он упал рядом с Толиком в жесткую траву «пастушья сумка» и пополз, извиваясь, под мостки тротуара. Толик растерянно следил, как исчезают под досками тонкие ноги в коричневых чулках и новых твердых ботинках.

Ботинки дернулись и пропали, и почти сразу опять разлетелся по улице частый топот. Это, разумеется, была погоня. Четверо мальчишек. Толик принял равнодушный вид.

Конечно, Толик не знал, игра тут или ссора всерьез и кто прав, а кто виноват. Но кое-какие жизненные правила за одиннадцать лет он усвоил крепко, и одно такое правило говорило: помогать следует тому, кто слабее. Впрочем, теперь помогать было не надо. Сиди и делай вид, что ты ни при чем.

Мальчишки остановились. Двое по бокам у Толика, один за спиной, а один встал прямо перед ним.

Толик быстро глянул назад, направо и налево. А потом опять на того, кто впереди. В нем Толик угадал главного. Нет, мальчишка не был похож на шпану. Стройный такой мальчик, немного выше и старше Толика. Аккуратная ковбойка, брюки хотя и помятые, но со следами стрелок от утюга. Гладкие светлые волосы по-взрослому зачесаны назад. И лицо такое... Эльза Георгиевна сказала бы: «Удивительно интеллигентное». Однако обратился он к Толику довольно жестко:

— Эй, ты! Здесь никто не пробежал?

— Что?

Мальчик со сдержанным нетерпением повторил:

— Тебя спрашивают: здесь никто не пробежал?

— Кто?

— Ты что, издеваешься? — сказал мальчик.

— Я не издеваюсь. Я не понимаю, что вам надо, — объяснил

Толик с жалобной ноткой. Притворялся он лишь наполовину, потому что и в самом деле побаивался. Садняще заболел рубчик под коленом.

— Третий раз спрашиваю: ты никого здесь не видел?

— Никого, — сказал Толик и сразу понял, как он сглупил.

Надо было сказать, что видел. Что курчавый мальчишка пробежал вон туда, в переулок. Пусть мчатся по ложному следу.

Но было поздно.

— Врет, — подал голос тот, кто стоял сзади (Толик быстро оглянулся). Это был рыхлый парнишка с лицом, похожим на круглую булку, в мешковатых штанах и босой. — Шурка нигде не мог пробежать, кроме как тута.

— Ясно, врет, — печально подтвердил тот, что слева, — мальчишка с тонкой шеей, толстым носом и оттопыренной нижней губой. За ремешком у него торчала красивая отполированная рогатка.

— Врешь, — спокойно сказал Толику главный.

— Не вру я... Чего вы все на одного?

— Ты встань, когда с командиром разговариваешь, — сказал четвертый мальчик. Мягко так сказал, будто посоветовал по-хорошему. Он и сам казался хорошим, самым добрым из всех. Был он, видимо, одноклассником Толика. Славный такой, с каштановым

чубчиком и длинными, как у девчонки, ресницами. Смотрел совсем не сердито. Но Толик, несмотря на это, огрызнулся:

— Какой командир? Может, он вам командир, а я-то при чем? — И... все-таки встал. Потому что понял: не встанешь сам — «помогут». — Что вам от меня надо? Я сидел, вас не трогал...

Командир терпеливо разъяснил:

— Нам надо узнать про мальчика в белых штанах и синей матроске. Куда он побежал или где спрятался?

— А! — Толик будто лишь сейчас сообразил. — Он вон туда пробежал!

Это получилось так ненатурально, что засмеялись все сразу. А командир кивнул:

— Ясно. Сообщник... Ну-ка, к стенке его...

Толика ухватили за локти, в секунду оттащили от тротуара и плотно придвинули к забору.

— Ну чего... — сказал Толик.

— Пленник, молчать! — перебил командир. — Будешь отвечать, когда спросят.

Толик понимал, что это пока игра. Но именно пока. Но... не такой уж он трус! И не убьют же, в конце концов... И, глядя поверх голов, Толик с печальной гордостью произнес:

— Не буду я отвечать.

— Будешь... — просопел круглолицый, стискивая Толькин локоть. А командир коротко спросил:

— Где беглец?

— Не знаю.

— Лучше скажи сразу, — посоветовал мальчик с девчоночьими ресницами. Он аккуратно придерживал Толика за плечо.

— Сейчас заговорит, — скучным голосом пообещал мальчишка с оттопыренной губой. Вынул из-за пояса, аккуратно разматал и зарядил чем-то рогатку. Далеко вытянул шею из воротника рыжего свитера и прицелился. Прямо Толику в лоб.

— Неужели в человека будешь стрелять? — спросил Толик не столько со страхом, сколько с удивлением. Рогатка щелкнула, доска над головой отозвалась резким стуком, на волосы посыпались мелкие крошки. Видимо, пулей служил сухой глиняный шарик.

Найти Бумпо из романа «Зверобой», когда ирокезы метали в него томагавки, не закрывал глаза. Но у Толика такой выдержки не было. Он зажмурился и со слезинкой проговорил:

— Дурак, выбьешь глаз — отвечать будешь.

— Он не выбьет, — негромко успокоил мальчик с ресницами. — Он снайпер.

— Витя, помолчи, — попросил командир. А над самой голо-

вой у Толика опять свистнул и рассыпался глиняный шарик. Толик дернулся и услышал слова командира:

— Мишка, хватит. Это храбрый пленник, он так просто не заговорит. Надо устроить другое испытание.

«Какое еще?» — тоскливо подумал Толик. Стрелок Мишка сматывал рогатку. У командира было задумчиво-деловитое лицо: наверно, он придумывал способ развязать пленнику язык.

«Может, рвануться и удрать? — суетливо думал Толик. — Не успею, догонят... Может, зареветь? Тогда, наверно, отпустят. Нет, реветь еще рано... Эх, Султана бы сюда... Вот влип-то. А им сплошная радость: поймали «языка». Наверно, все-таки отлупят... Фляжку бы не отобрали... А если все-таки зареветь?»

В общем, совсем не героические прыгали мысли. Но одной не мелькнуло ни разу: сказать, где беглец, и тем спастись. Это было так невозможно, что бедный Толик даже и забыл про курчавого Шурку. И удивился, когда услышал тонкий голос:

— Подождите! Я здесь!

Показались из-под мостков блестящие ботинки и перемазанные сухой землей чулки. Беглец по-рачьи выбрался на траву, вскочил. Отряхнул штаны и матроску, посадил на пружинистые кудряшки тюбетейку и опустил руки по швам.

— Вот я. А его не трогайте. Олег, он несколько не виноват!

— Та-ак, ясно, — сказал командир Олег и прошелся по измятому Шурке взглядом. От ботинок до тюбетейки.

— А я тоже не виноват, — поспешно сказал Шурка. — Я по правилам убежал. Рафик и Люся в одну сторону, я в другую...

— Убегал-то ты по правилам, — усмехнулся Олег и аккуратно поправил волосы. — А потом пошел на измену.

— Я?! — Шурка стиснул опущенные кулачки и побледнел так, что почернели его крупные веснушки: две на носу и одна на подбородке.

— Ты, — вздохнул Олег. — Потому что впутал постороннего в наши дела. Воспользовался помощью врага.

— Какой же я враг! — отчаянно проговорил Толик (его все еще прижимали к забору). — Я вам что плохого сделал?

— А почему не сказал, где он прячется? — пропыхтел круглолицый мальчишка и кивнул на Шурку.

— А ты бы сказал, если тебя просят: «Не выдавай»?

— Пленник прав, — решил командир Олег. — Он не обязан нам помогать, он ведь не наш союзник. И ведет он себя смело...

— Тогда я пойду? — обрадовался Толик.

— Не так скоро... Может быть, ты чей-то разведчик! Ты ведь не с нашей улицы. Может, еще где-нибудь такой же отряд, как у нас, есть и вы решили наши тайны выведать...

— И, может, Шурка их уже разболтал ему, — сказал Мишка.

— Я?! — Глаза у Шурки влажно заблестели.

— Ничего он не говорил, — заступился Толик.

— Я ни словечка! — клятвенно добавил Шурка.

— С тобой разберемся потом, ты куда не денешься, — небрежно решил Олег. — А пленника придется допросить в штабе.

— Пошли! — обрадовался круглолицый и потянул Толика за локоть. Толик уперся:

— Куда еще? Чего пристали?

Витя ласково махнул ресницами и успокоил:

— Да не бойся, мы же играем.

— Ага, «играем»! Из рогатки...

— Мишка больше не будет, — успокоил Олег. — И вообще ничего плохого не будет, если станешь говорить правду.

— Ага! Я — правду, а вы опять скажете, что вру!

— Разберемся, — пообещал Олег. — Ну? Пойдешь или тащить?

— А куда?

— Недалеко, в этом квартале, — успокоил Витя.

— Пойду, — вздохнул Толик. Сопротивляться было глупо. К тому же, кроме страха, сидело в Толике любопытство: что за отряд, что за игра? И ребята были, кажется, ничего. Ну, Мишка и этот вот, сопящий, так себе, а Олег и Витя — совсем неплохие. Да и Шурка. Честный такой: вылез и заступился...

— Даешь слово, что не убежишь? — спросил Олег.

Это понравилось Толику. Он кивнул.

— Пускай ремень снимет, — потребовал Мишка.

— Зачем? — Толик вцепился в пряжку.

— Потому что с арестантов всегда ремни снимают.

— Не бойся, это ведь не насовсем, — объяснил Витя.

— Все равно не сниму. Это... отцовский.

Ремень был в доме у Нечаевых давным-давно, мама в прежние годы подпоясывала им телогрейку, когда ездила копать картошку или разгружать уголь, если посылали от редакции. Откуда ремень взялся, мама и Варя не помнили. Но Толику нравилось думать, что в давние, может, еще довоенные времена этот широкий кожаный пояс со звездной пряжкой носил отец.

И сейчас у Толика закипели в душе злые слезы, и он понял, что будет биться до конца. И даже страх пропал.

Но биться не пришлось. Олег серьезно спросил:

— А отец кто?

— Он политрук был. Он под Севастополем...

— Ладно, пошли, — сказал Олег. — Ремень не трогать.

Толика привели в длинный заросший двор на Уфимской улице. Во дворе стоял дом с верандой. В дальнем конце поднимался из релейников приземистый сарай. К боковой стене сарая был пристроен самодельный навес. Раму из жердей и палок накры-

вали старые половики, рваная плащ-палатка и куски толя. Боковым и задним краями эта крыша прилегала к забору и сараю, а свободным углом опиралась на кривой шест. Когда Толик задел шест плечом, весь балдахин качнулся и сверху что-то посыпалось.

— Поосторожнее, — сказал Олег.

На бревенчатой стене сарая висели под навесом разрисованные картонные щиты и деревянные мечи. На утоптанной траве стоял дощатый ящик с круглым клеймом «Коровье масло». Вокруг него — ящики поменьше и перевернутые ведра.

Толику велели остановиться под кромкой навеса.

Витя объяснил чуточку виновато:

— Посторонним вход в штаб запрещен.

Грузный круглолицый парнишка (его, как выяснилось, звали Семен) остался снаружи — то ли просто как часовой штаба, то ли конвоир пленника. Олег, Мишка и Витя сели вокруг «стола», а Шурка поодаль, в уголке. Он тихонько вздыхал. Олег вытащил из-под ящика тетрадку, ручку и непроливашку...

В эту минуту с забора ловко упали в заросли и оказались под навесом еще двое: высокая смуглая девчонка с короткими волосами и гибкий мальчик ростом с Толика. Им шумно обрадовались, но Олег сразу восстановил порядок:

— Тихо! Люська, садись и пиши. — Он уступил девочке место. Она ткнула пером в непроливашку.

— Чего писать?

— Пиши: «Пятнадцатое июня. В отряде была игра в часовых и разведчиков. Часовые были Олег Наклонов, Семен Кудымов, Витя Ярцев и Мишка Гельман. Разведчики были Люся Кудымова, Шурка Ревский и Рафик Габдурахманов...»

Светловолосый, синеглазый Рафик весело сообщил:

— А вы нас не поймали!

— Не до того было... Люсь, пиши: «Разведчики разбежались, а часовые...»

— Подожди, я не успеваю...

Пока Олег диктовал, Толик разглядывал щиты. Они были из тонкого картона — видимо, не для боя, а так, для красоты. На каждом акварельными красками нарисована какая-нибудь картинка или знак. «Наверно, гербы, как у рыцарей, — догадался Толик. — У каждого свой».

Рафик глянул на Толика — будто выстрелил синими огоньками:

— Это кто? Новичок?

— Это пленник... — сказал Олег. — Люська, пиши дальше: «Разведчик Ревский нарушил правила и впутал в наши дела постороннего, который, наверно, вражеский лазутчик...»

— Не впутывал я! — подал голос Шурка.

— Не лазутчик я, — сказал Толик.

— Пленник, тихо. Сейчас допросим, все скажешь... Люсь, пиши прямо здесь же: «Протокол допроса...»

— Шас... П-р... После «рэ» надо «о» или «а» писать?

— «О», — сказал Толик и не удержался, хихикнул.

— Пленный, ну-ка без глупого смеха, — одернул Олег. — Встань смирно и отвечай: имя и фамилия?

Толик не то чтобы вытянулся в струнку, но встал попрямее и опустил руки. Почему-то была капелька удовольствия в том, чтобы подчиняться симпатичному и строгому Олегу.

Но что отвечать на вопросы? Все как есть?

— Имя и фамилия! — повторил Олег.

У игры свои правила. Раз Толик пленный, он должен и скрывать правду, и водить противника за нос.

— Липкин, — брякнул Толик. — Гришка. То есть Григорий.

— Школа и класс?

— Десятая. Четвертый «Б»... То есть уже пятый. Теперь в другую школу пойду...

Это было правдоподобно. Тем более что в их десятой школе, в четвертом «Б», и в самом деле учился Гришка Липкин.

— Так, хорошо, — кивнул Олег. — Место жительства?

Но Люся вдруг положила ручку.

— Олег! Он врет! Я с Липкиным, с Гришкой, из десятой школы, в лагере была! В прошлом году! Он маленький и черный!

— Ага, и я был, — сказал за спиной у Толика Семен.

Ох и вляпался Толик! Теперь не будет ему пощады.

— Я это... вырос уже, — пробормотал он, и все засмеялись.

Рафик обрадовался, будто приятеля встретил:

— Конечно, он разведчик! Он не с нашей улицы, и снаряжение у него разведчицкое! Фляжка и компас!

«Все...» — подумал Толик. И опять заболел и зачесался под коленом рубчик от полосного железа. Толик согнулся, чтобы почесать, и снова задел плечом шаткую подпорку навеса.

...Потом Толик вспоминал эти секунды с удовольствием. С гордостью за свою находчивость и быстроту! Как он собрал в пружину все свои небогатые силы, повернулся, дернул за рубаху грузного Кудымова и отправил его на тех, кто сидел у ящика! И рванул в сторону шест!

Уже у калитки Толик на миг оглянулся. Тряпье рухнувшего навеса ходило ходуном, из-под него неслись гневные вопли.

ЭПИГРАФ

Выскочив со двора, Толик решил было, что он спасся. Но те ребята оказались не дураки — в калитку не кинулись, а махнули через забор, и Толик еле успел проскочить мимо Рафика и Миш-

ки. Теперь шла погоня. Бежали за Толиком все, даже Шурка грохал ботинками, не отставая.

Если семеро гонятся за одним, тому ой как плохо. Среди нескольких все равно окажется кто-нибудь быстрее, чем беглец. И пойдет обходить с фланга, наперехват.

Сейчас таким перехватчиком оказался Мишка Гельман. Да и Олег от Мишки почти не отставал. Они выскочили на дорогу и отрезали Толику путь влево. Словно знали, что ему туда и надо: к дому, на свою Запольную!

Теперь ничего не оставалось, как мчаться вдоль забора, по недавнему Шуркиному пути. И деваться некуда, не залезешь ведь, как Шурка, под тротуар...

Толик чувствовал, что все равно поймают. Потому что ноги уже ослабели, сердце колотится не в груди, а где-то в горле и не дает дышать. Да еще ремень сползает и тяжелая фляжка с невыпитой водой молотит по бедру. А в сандалии набились колючие крошки...

Догонят... Может, лучше сдаться сразу, не мучиться? А что дальше? За обман да за разваленный штаб компания, конечно, разозлилась не на шутку, тут уж не игрой пахнет...

Олег и Мишка обогнали, встали на пути. Вот и все... Толик прижался лопатками к забору. Отбиваться руками и ногами или со спокойной гордостью покориться судьбе?

А до чего же обидно! Так лихо удрал, а теперь выходит — зря. Ох и будет ему сейчас!.. Толик вдавился в забор.

Что это?

Судьба изредка бывает милостива к беглецам. Широкая доска за спиной подалась внутрь. Ура!.. Толик развернулся, даванул плечом доску из последних сил и провалился в открывшуюся щель. Кувыркнулся в чертополохе, вскочил, подхватил пилотку. Повисшая на гвозде доска захлопнула в заборе лазейку — прямо перед весело-изумленными глазами Рафика.

Толик промчался через садовые джунгли, умоляя судьбу об одном: чтобы калитка, ведущая на Ямскую, не была заперта. И ему повезло опять — калитка распахнулась от удара ладонями.

Теперь можно было не так спешить. Пока вся погоня соберется вместе, пока они посоветуются, он уже ой-ей-ей где будет!.. Толик перешел на утомленную рысь. До родных мест еще далеко, надо беречь силы. Он уже миновал садовый забор и был на перекрестке. Он совсем успокоился, и...

Прямо на него выскочили Олег, Мишка и Витя!

Значит, они не побежали через сад, а кинулись в обход! Перехитрили!..

Толик рванул назад. Ему вдруг стало страшно так, будто все по правде. Будто если попадется, то ему настоящий плен и расстрел!

Был теперь только один путь, одно спасенье. Еще немного... Вот...

Он грудью грянулся о калитку у знакомых ворот...

На крыльце Толик слегка отдышался, оглянулся. Те, кто догонял его, заглядывали теперь во двор, но здесь была для них чужая территория, незнакомая и, может, опасная. Толик выдернул из-под ремня майку, вытер подолом лицо и постучал в дверь.

Курганов был дома — опять везенье! Он не удивился, увидев Толика. Просто обрадовался:

— Ох какой гость хороший! Молодец, что пришел, входи...

Был Курганов какой-то помолодевший, веселый. В очень белой рубашке с подвернутыми рукавами. Он взял Толика за плечи, ввел в комнату.

— Очень, очень я рад... А почему ты взмокший? Бежал, что ли? И вид у тебя такой... военно-полевой. Ты откуда?

— Я... так. Мы с ребятами в войну играли, — приврал Толик. — А потом я вот... решил зайти.

— Замечательно решил... — Курганов поспешно убрал со стола газеты, задвинул стулья. — Вот сейчас мы и чаек сразу сообразим. После жарких боев чаек полезен. А? Ты не спешишь?

— Да нет... — пробормотал Толик, представив, как топчутся у ворот преследователи.

— Прекрасно... А то мы так давно не виделись. Я... признаться, я думал: уже не обиделся ли ты? В последний раз я, кажется, был как-то не так... не очень гостеприимен... Да?

— Нет, что вы! Это я сам... Ну, сам такой лентяй, никак не собрался зайти. Да еще мама болела, да экзамены потом... — Толик согнулся и стал чесать под коленом рубчик.

— А с мамой что? — встревожился Курганов.

— Сейчас уже все в порядке!

Комната Курганова тоже казалась веселой и (если можно так сказать про комнату) помолодевшей. Наверно, потому, что впервые Толик видел ее днем. Солнце рвалось в окна. Марлевая занавеска парусом надувалась у открытой форточки. Шелестела на краю стола открытая книга. Шкуры на полу не было, пахло вымытыми половицами.

Хронометр стоял на подоконнике. Желтые винты, ручки и кольца разбрасывали лучистые блики. Стучал хронометр все так же — словно ронял на стекло медные дробинки. И в дробинках этих, казалось, тоже вспыхивают солнечные звездочки...

Карта на стене, рисунок с Нептуном, некрашенные доски полок — все было светлым, все отражало радостные лучи. Лишь черный камин выглядел сумрачно, он был не нужен лету. Толик пожалел камин и приласкал его глазами: не грусти. Глаза про-

шлись по чугунным завиткам от пола до узорчатого карниза, скользнули выше... И оттуда, со стены, глянул на Толика Крузенштерн.

Тот самый Крузенштерн с его, Толькиного, портрета.

— Ой, — шепотом сказал Толик. — Значит, повесили портрет...

— А как же! Сразу и повесил, как ты ушел тогда. Замечательный рисунок. И стихи прекрасные...

Толик застеснялся, подошел к камину, уперся ладонями в холодный чугун. Из каминной пасти дохнуло по ногам неприятным холодком. Толик зябко переступил и, задрвав подбородок, уставился на рисунок. Перечитал свои строчки.

Нет, стихи сейчас не казались ему хорошими. Так себе... И рисунок был не такой уж удачный. И Крузенштерн смотрел с него не в синюю даль океана, а прямо на Толика. Укоризненно смотрел: «Что же ты не приходишь столько времени?»

Чтобы оправдаться перед Крузенштерном и Кургановым, а заодно и перед собой немножко, Толик сказал:

— Я заходил в весенние каникулы, а у вас закрыто было... А потом я подумал: приду, а вы, наверно, работаете...

— Сейчас не работаю, отпуск...

— Да я не про эту работу. Я думал, что книгу пишете, — вздохнул Толик.

Арсений Викторович подошел к Толику со спины, положил ему на плечи свои ручки.

— Видишь ли, с книгой я тоже... кажется, все.

Толик крутнулся у него под ладонями.

— Кончили? Правда?

Голубые глазки Курганова смущенно радовались. Он потрогал рубец у краешка рта, словно хотел придержать неловкую улыбку.

— Видишь ли... самому не верится. Столько лет. А теперь страшно даже... Но делать нечего — кончил.

— А когда напечатают?

— Ну... что ты, дорогой мой. До этого еще... Я и не показывал никому пока. Главное, что дописал... Пойдем-ка за стол.

В углу на табурете уже булькал новый электрочайник. Толик запоздало сдернул пилотку, снял ремень с фляжкой, положил на подоконник рядом с хронометром. Незаметно подмигнул хронометру. Придвинулся с табуреткой к столу.

— Вприкуску будешь?

— Ага... спасибо, вприкуску... Арсений Викторович, а чем кончается повесть?

— Ну, как тебе сказать... Кончается тем же днем, что и начинается. Крузенштерн уже в годах. Размышляет... Может, это и не

очень интересно, не приключения, но, как бы это сказать... необходимо для смыслового завершения...

— Почему не интересно? Там все интересно!

— Да? Тогда... может быть, прочитать последнюю главку, а? Ты пей, а я прочитаю... если хочешь, разумеется. А?

— Ну, конечно же! — Толик зажал в зубах алмазно-твердый осколок рафинада, поставил на край стола локти, взял в ладони теплую кружку и прижался к ней щекой.

Арсений Викторович, оглядываясь, вытянул с полки папку.

...Читал Курганов минут десять. Толик слушал с ощущением, словно ничего не кончалось. Словно лишь вчера они сидели у горящего камина, а потом неожиданно наступило летнее утро и за ним очень быстро — день. А повесть будто и не прерывалась...

— Ну вот так, значит... — Курганов закрыл папку и глянул на Толика нерешительно и выжидательно.

— Хорошо, — сказал Толик, застеснявшись этого взгляда. — Правда, Арсений Викторович, хорошо. Немного печально, но, наверно, так и надо, да?

— По-моему, да. Значит, ты это почувствовал?

— Ага... Эпиплоги всегда немного грустные, — со знанием дела заметил Толик. — Это ведь эпилог?

— Видишь ли... это не совсем эпилог. Он будет дальше, отдельно. А это просто конец последней главы.

— А-а... — Толик почувствовал, будто его слегка обманули. Вернее, он сам сглупил. Арсений Викторович поспешно сказал:

— Впрочем, наверно, ты прав, это эпилог. А дальше — как бы отдельный еще рассказ, окончательное послесловие.

— А там про что? Можно почитать?

Курганов улыбнулся:

— Можно. Только это ведь самый конец. Может, уж лучше все по порядку, а? Своими глазами. Если, конечно, интересно...

— Ой, правда? — Толик даже чай расплескал. — А вы дадите? Все, что написали?

— Я вот что подумал... Может быть, твоя мама согласится перепечатать рукопись? Почерк у меня разборчивый... Мама бы перепечатала, а ты бы прочитал заодно. По печатному-то легче. И впечатление более правильное... А?

— Ну конечно! — Толик вскочил. — Она согласится!

— Вот и хорошо. Ты спроси, а я...

— Да чего спрашивать! — Толик испугался, что Арсений Викторович передумает. — Я и так знаю! Мама недавно говорила, что хорошо бы дополнительную работу найти, а то денег совсем нет... Ой... Нет, она вам, наверно, и бесплатно...

— Ну-ну, это уж ты не туда поехал, — засмеялся Арсений Вик-

торович. — Ни к чему такое дело. Главное — чтобы не очень долго. Хочется до осени показать свое творение знающим людям, а в издательстве не возьмут, если не на машинке...

— Я прямо сейчас могу отнести, — нетерпеливо сказал Толик.

— Да? А... — Курганов нерешительно замолчал.

— Думаете, я потеряю? Вы не бойтесь, ничего не случится!

— Я не боюсь. В крайнем случае у меня черновики есть...

Курганов посмотрел вдруг серьезно и ласково, сказал тихо:

— Ничего плохого не случится. Ты мне всегда приносишь удачу...

Толик зачесал ногой ногу и засопел. Но Курганов и сам смутился:

— Да, тут еще такое дело... Там сразу на первом листе... Ты знаешь, что такое эпиграф?

— Это... ну, такие строчки в начале книжки, да? Из какого-нибудь другого рассказа или стихов...

— Вот-вот... Ну, и так уж получилось у меня... Видишь ли, ты мой первый читатель. И стихи у тебя очень подходящие. В общем, я, как говорится, взял на себя смелость... сделал их эпиграфом к повести. Если ты не возражаешь.

— Ой... — У Толика щекам стало горячо от радости и благодарности. — Но ведь это еще не такие... не настоящие стихи.

— Как тебе сказать... Они хорошие. Для моей повести — очень хорошие. Самые подходящие. Я так и подписал: «Четвероклассник Толик Нечаев, первый читатель этой повести». Можно?

— Конечно... Только я ведь уже в пятый перешел.

— Это неважно. Когда писал стихи — был четвероклассник. Будешь потом расти, а в стихах останется твое детство... А?

— Ладно, — прошептал Толик. — Но я боюсь немного...

— Чего?

— Вдруг мама не разрешит. Скажет: куда тебе в настоящую книжку... Скажет: не заслужил еще.

Курганов медленно проговорил:

— Во-первых, ты очень заслужил...

Толик нерешительно поднял глаза:

— Чем?

Курганов будто не услышал. Сказал:

— А во-вторых, маму мы уговорим.

Толик совсем не боялся засады. Ему казалось, что он пробьется у Курганова чуть ли не полдня. Кто же станет караулить его столько времени?..

Попался он, когда миновал сад и перекресток.

Мишка, Рафик и Люська прыгнули из-за пустого киоска. Семен выбрался из раскопавшейся бочки, что валялась у изгороди (бочка при этом развалилась). Олег и Витя подскочили сзади.

Обступили плотно.

Толик притиснул к животу тяжелую папку.

— Ребята, вы что! Я сейчас не играю!

— Мы тоже не играем, — разъярил Олег. — Мы в самом деле берем тебя в плен.

— Но я сейчас не могу! У меня важное дело!

— Ай-яй-яй, — медовым голосом сказала длинноногая Люська, и глаза ее были безжалостны. — А нам-то что? Тащите его, робингуды.

Семен влажными ладонями ухватил Толика за локти.

— Но я же правда не могу! Мне домой надо! Вот видите — папка? В ней важные документы, у меня мама машинистка!

— Вот и посмотрим, что это за документы! — обрадовался Рафик. Синие глаза его засияли лучистым любопытством.

— Там, наверно, тайные планы против нас, — выдохнул Семен.

Они не понимали! Им нужны были тайны, охота за шпионами, чтобы жизнь была интересной! А ему как быть? Если отберут или растреплют рукопись, растеряют листы, что он скажет Арсению Викторовичу?

«Ты мне всегда приносишь удачу...» Принес удачу!

— Вы какие-то совсем глупые, — с тихим отчаянием проговорил Толик. — Сейчас ну несколько не до игры. Если с папкой что-то случится, знаете что будет? И мне, и вам...

— Ох как страшно, — хихикнула Люська.

Но Олег сказал:

— Нам твоя папка не нужна, если в ней ничего про нас нет. Ты сам нам нужен.

— Да зачем?!

— Как зачем? Протокол-то еще не дописан, — вредным голосом напомнила Люська.

— Мы так и не выяснили, кто ты такой, — махнув ресницами, разъярил Витя.

— Ну, Толька я! Нечаев Анатолий! На Запольной живу!

— А зачем говорил, что Липкин? — сказал Семен. — Липкина-то мы знаем.

— Я думал, что игра такая: раз попался в плен, надо обхитрить... А теперь же не игра!

— А зачем по нашим улицам ходил, если ты с Запольной? — вмешался Рафик. — И все высматривал.

— Да не высматривал я! Просто гулял!

— Подозрительно это, — решил Олег. — Надо все выяснить до конца и записать. Пойдешь добровольно?

Толик решил на крайний шаг:

— Знаете что? Я папку отнесу и приду! Сам приду, честное слово! Честное пионерское! Вот, за звезду держись! — Он вырвал

у Семена локоть и взялся за звездочку на пилотке. И подумал: будь что будет, лишь бы с рукописью не случилось беды.

Но Олег сказал:

— Не выйдет. Ты уже давал слово и нарушил. Сказал, что не убежишь, а сам драпанул.

— Да еще штаб развалил! — весело добавил Рафик.

Толик искренне возмутился. Так, что даже бояться забыл:

— Вы что врете! Я слово дал, что не убегу, пока вы меня по улице ведете! А больше никакого слова не было!

— Выкрутился, — сказал Олег. — А сейчас опять слово дашь и снова потом причину выдумашешь уважительную.

— Как наш Шурка! — вспомнил Мишка. — Сперва пообещает, а потом: «Мама не пустила. Разве можно не слушаться маму?»

«Шурка-то ваш лучше вас всех», — подумал Толик, вспомнив честные глаза курчавого мальчишки. И сказал насупленно:

— Он тоже ни в чем не виноват. А вы все на него.

— Виноват или нет, мы сами разберемся, без посторонних, — сказала Люся.

— Конечно, — подтвердил Олег. — Хотя... почему без посторонних? Вместе с ним и разберемся. — Он кивнул на Толика. — Пускай доказывает, что наш милый Шурочка ни в чем не виноват.

— Как? — удивился Толик.

— Он за тебя заступился, когда мы тебя поймали? Заступился. Вот теперь ты заступайся, раз он тебе так нравится.

Толик хотел спросить: откуда они взяли, что совсем незнакомый Шурка ему нравится? Но спросил вместо этого:

— Да как заступаться-то?

— Очень просто. Докажи, что ты не разведчик и он тебе ничего про нас не рассказывал.

— Опять вы одно и то же... — безнадежно проговорил Толик. — Как еще доказывать? Головой о забор, что ли, стукаться?

— Стукаться не надо, — спокойно растолковал Олег, а остальные внимательно слушали командира. — Приходи сегодня в штаб, когда мы с Шуркой будем разбираться. Там все и объяснишь подробно... И никакого слова от тебя не надо. Придешь — хорошо. Не придешь — значит, будет Шурка изменник, а ты трус.

— Во сколько приходиться-то? — сердито спросил Толик.

КЛЯТВА ШУРКИ РЕВСКОГО

Выхода не было.

То, что Олег и вся компания могут посчитать его трусом, Толика не очень волновало. Хуже, что и сам про себя он будет ду-

мать так же, если не выполнит обещания. А от себя не спрячешься.

А если пойдет, какие еще испытания устроит пленнику компания, которая называет себя «отряд» и «робингуды»?

Может, взять Султана? Но сразу скажут: испугался один-то идти...

А может, ничего страшного не будет? Вроде бы неплохие пацаны. Конечно, гонялись, в плен брали, допрашивали, но это потому, что он не из их компании.

В том-то и дело, что не из их...

Интересно бродить по незнакомым переулкам и делать открытия, но все один да один... Толик теперь чувствовал, как наскучался он за две недели каникул без друзей-приятелей.

Но откуда он взял, что отряд Олега захочет принять к себе мальчишку с дальней улицы? Пока они его чуть ли не шпионом считают. Допрос готовят... Ну и пусть!

Робость и гордость перепутались в Толькиных чувствах. И жутковато было, и любопытно. От всех переживаний рубчик под коленкой чесался почти непрерывно. Толик с нетерпением ждал вечера. Олег сказал: «В восемь часов...»

В семь пришла мама.

Вопреки ожиданиям Толика, мама не высказала восторга, когда узнала о рукописи Курганова. Даже известие, что Арсений Викторович сделал стихи Толика эпиграфом, ее не тронуло. Мама сухо спросила, с каких пор Толик стал решать за нее вопросы насчет работы.

Толик упал духом:

— Я думал, ты захочешь. Ты же раньше всегда ему помогала... Он книжку написал, а ты...

— Я, конечно, напечатаю. Но не нравится мне твоя излишняя самостоятельность. Лучше бы ты тратил ее на домашние дела. Пол не метен, посуда не мыта, а я и так кручусь...

— Ма-а, я все сделаю!

— Сделашь ты... За собой-то последить не можешь. Посмотри на себя: исцарапанный, перемазанный, на майке дыра...

— Ма-а, я зашью!

— Воображаю... И еще имей в виду: будешь мне раскладывать копирку. Сколько экземпляров просил Арсений Викторович?

— Д... три. А ты сегодня начнешь печатать?

— Может быть, мне бросить все дела? У меня в машбюро полно работы, сегодня приду после десяти...

Ну, что же, это было даже хорошо. Не придется объяснять, куда это он вечером «смазал пятки».

...И вот опять Уфимская улица и зеленый двор, где стоит большой дом с застекленной верандой.

Никто не встретил Толика, никто не окликнул, когда он шел через двор. Лишь воробьи шастали в рябинах... Вот и закуток между забором и сараем...

Штабной навес оказался построен заново. И вся компания была здесь. Кроме Шурки...

Невысокое уже солнце светило через забор, и тень от навеса лежала на траве. Толик молча встал на границе этой тени.

— А, пришел все-таки, — добродушно сказал Мишка-стрелок. — А мы думали...

— Ничего мы не думали! — жизнерадостно возразил Рафик. — Я говорил, что придет.

— Я тоже говорил, — серьезно подтвердил Витя. — Почему не прийти, если человек не боится?

До этой минуты ощущал Толик под сердцем замирение, а в желудке холодок. А сейчас отпустило.

— Я же обещал, что приду.

— Ну, ладно, — снисходительно отозвался Олег. — Ты все-таки давай расскажи, что за человек и откуда... Ты садись.

Толик присел на ящик.

— Ну... я с Запольной человек, — начал он и сам улыбнулся такому началу. И ребята улыбнулись. Люся спросила:

— Протокол-то писать?

— Не надо, пусть так рассказывает, — решил Олег. — Ты что в наших краях делал, если сам с Запольной?

И Толик рассказал, как делал для себя открытия.

— Ха! Какие тут открытия, каждый закоулок давно обшарен, все давным-давно знакомо, — сказал Семен.

— Это для вас знакомо... Вот когда Крузенштерн приплывал на дальние острова, их жителям тоже все было знакомо, а для него-то было неизведанное.

— Кто приплывал? — удивился Рафик.

— Крузенштерн, — сказал Олег. — Знаменитый русский мореплаватель. — И обратился к Толику: — А ты что про него знаешь?

— У меня книжка есть... — Про повесть Курганова Толик не сказал. Иначе получилось бы, что болтает о чужих делах.

Но ребята и без того вспомнили о кургановской папке.

— А что это за бумаги ты тогда тащил? — подозрительно спросил Мишка.

— Секретные документы? — подскочил Рафик.

— Да это работа мамина, для перепечатки... Ну неужели вы по правде думаете, что это про ваш отряд сведения?

Конечно, никто так не думал, и все опять рассмеялись.

— И Шурку вашего я ни про что не расспрашивал, — добавил Толик. — Я и не знал про вас тогда...

— Это понятно, — покладисто сказал Олег. И строго прищурился: — Но с Шуркой мы все равно должны разобраться до конца. Хватит с ним возиться.

— А его опять нет! — вмешалась Люся. — Было ему сказано: к восьми, а он...

— Еще, наверно, нет восьми, — заметил Толик. — Я раньше, чем надо, пришел...

— А вон и Шурик, — сказал Витя.

Шурка вбежал под навес и сразу встал по стойке смирно — запыхавшийся и привычно виноватый.

— Явился красавчик, — усмехнулся Олег.

— Я не опоздал, — быстро сказал Шурка.

Олег усмехнулся снова:

— Раз в жизни... Завтра по такому случаю снег пойдет. — Он утомленно обвел глазами ребят: — Ну, вот что, робингуды. Пора с Шуркой решать окончательно. Возимся, возимся...

— Я же не выдавал никаких тайн... — полупешотом проговорил Шурка. Задергал на груди галстук матроски и тут же испуганно опустил руки.

— Он не выдавал, — подтвердил Толик и подумал: «Сейчас скажут, чтобы не совался...» Но Олег сказал другое:

— Не в тайнах дело. И не в сегодняшнем случае, а вообще... Ты, Шурик, нестойкий человек.

— Почему? Я стойкий... — совсем шепотом отозвался Шурка.

Все, кроме Толика, засмеялись. Но негромко и без веселья. Люся сказала:

— Твои грехи записывать, дак никакой тетрадки не хватит.

«А зачем их записывать?» — подумал Толик. И Шурка еле слышно спросил:

— А зачем записывать?

— Затем, что без этого их не сосчитать, — весело хмыкнул Рафик. А Семен посопел и утрюмо напомнил:

— Вчера, когда мы на Черной речке футбол гоняли, ты посреди игры домой смотался.

Шурка, не глядя на него, сказал:

— Сами же говорили, что от меня никакой пользы...

— Все равно команду в игре не бросают, — проговорил Витя и вздохнул, словно жалея Шурку.

— А если я маме обещал, что к шести часам домой приду...

— Ну и сидел бы с мамой на печке, — зевнув, заметил Мишка.

— А если я обещал, а потом не выполнил, тоже получится, что нестойкий...

— Если обещал, надо выполнять, — рассудил Олег. — Да

только, прежде чем обещаешь, думать надо. Зачем было говорить, что придешь к шести?

— Иначе меня совсем бы не пустили... — Шурка нагнул голову так низко, что тюбетейка едва не сорвалась с пружинистых кудряшек. Он схватился за нее и опять встал прямо.

— «Не пустили бы»... Вот она, твоя стойкость, — печально подвел итог Олег. — Нет, ребята, по-моему, хватит. Однажды он так подведет, что всю жизнь беду не расхлебаем...

У Шурки шевельнулись губы:

— Не подведу я...

— Выгнать, да и фиг с ним, — скучно проговорил Мишка.

— А кто фотографировать будет? — напомнил Витя.

— Да он и с фотографированьем со своим всегда волюнку тянет, — заметила Люся.

— Зато карточки хорошие, — возразил Витя.

Олег сказал:

— Карточки и правда хорошие, но это не причина, чтобы оставаться в отряде, если человек ненадежный... Ты, Шурка, может, для обыкновенной жизни еще кое-как годишься, но для робингудовской — никак... Я предлагаю Шурку Ревского из отряда «Красные робингуды» исключить.

Шурка вздрогнул так, что тюбетейка над кудряшками подскочила. Он замигал, спросил тоненько и удивленно:

— А я... тогда куда денусь?

Все смотрели мимо Шурки. Олег уже другим голосом проговорил:

— Вот и я думаю: куда ты денешься?

Витя помахал ресницами и нерешительно предложил:

— Может быть, еще одно последнее предупреждение?

Мишка Гельман коротко засмеялся и сплюнул.

— Сколько их было, последних-то, — сказал Олег. — Тут надо другое... Если уж оставлять, пускай даст страшную клятву.

Шурка с готовностью предложил:

— Я могу кровью подписать.

Мишка опять засмеялся. Семен обстоятельно разъяснил:

— Нельзя. Будешь палец колоть — в штаны напустишь.

— Семен! — строго сказала Люся.

— Нет, надо другую клятву, — решил Олег. — Если уж оставлять его, пускай пройдет испытание огнем и водой. И если такую клятву нарушит, не будет ему прощения... Шурка, ты согласен?

Шурка быстро закивал и наконец уронил тюбетейку.

Семен притащил от колонки ведро с водой. Мишка на лужайке перед навесом развел маленький костер из щепок и газет. Витя и Люся прикатили от поленницы два бревнышка и на них

положили концами длинную доску. Получился гибкий мостик. С одной стороны, в метре от мостика, потрескивало пламя, с другой стояло ведро. От забора к навесу протянули веревку. Через нее перекинули шпагат и подвесили на нем кирпич. Другой конец шпагата привязали внизу к доске...

Все делалось слаженно, и Толику ясно стало, что эта операция придумана заранее. Для Шуркиного перевоспитания. Толик совсем убедился в этом, когда Олег достал из кармана листок:

— Вот тут клятва написана...

Один Шурка ни о чем не догадывался. Покорный и счастливый, что все-таки не исключили, он молча следил за приготовлениями, которые Толику казались жутковатыми.

Толик испытывал замирение, словно у него на глазах готовилась казнь. Но возмущаться и вмешиваться ему в голову не приходило. В этом дворе действовали свои законы. В непреклонности робингудов было что-то привлекательное. Толик чувствовал, что если и его заставят пройти испытание огнем и водой, он не сможет протестовать. Подчинится с ощущением сладковатой покорности, под которой шевелится теплый червячок любопытства.

Из дома принесли темную косынку, завязали Шурке глаза. Поставили его на середине тонкой доски — доска пружинисто прогнулась и задрожала под легоньким Шуркой. Кирпич висел прямо над его головой, почти касался тюбетейки.

Мишка подбросил в костер щепок, пламя взметнулось. Видно, Шурке припекло ноги, он быстро затоптался, доска закачалась. Привязанный к ней шпагат задергал кирпич — тот слегка тукнул Шурку по макушке. Все засмеялись, но Олег строго сказал:

— Тихо!.. Будешь приплясывать и дрожать от страха — получишь камнем по башке. Или свалишься — не в огонь, так в воду. Стой смирно и повторяй слова клятвы. Если дрогнешь — значит, у тебя в характере нечестность. И клятва будет недействительна.

Шурка прижал к бокам согнутые локти, вцепился в лямки штанов и замер, как парашютист перед прыжком.

Все встали в шеренгу (лишь Толик чуть в стороне). Олег резко заговорил:

— Клятва... «Я, Александр Ревский...» Повторяй!

Шурка сипловато и торопливо повторил. И повторял дальше:

— «Клянусь огнем, водой и небесными камнями... что никогда не подведу отряд «Красные робингуды»... Не выдам тайны, не испугаюсь опасности, не нарушу обещания... А если изменю этой клятве, пускай меня сожжет огонь... поглотит вода... раздавит камнепад...»

Шурка повторил последние слова и нерешительно спросил:

— Все?

— Все, — слегка разочарованно сказал Олег. Он мигнул Мишке, и тот с размаху вылил в костер воду.

Взлетел шипящий столб пара и пепла — будто джинн вырвался из кувшина. Шурка вздрогнул, кирпич опять клоннул его углом в тюбетейку. Шурка присел, но с доски не соскочил.

— Ладно, — вздохнул Олег. — Кажется, выдержал...

Косынку сняли. Шурка счастливо размазывал по щекам попавшие на лицо брызги и чешуйки пепла.

Олег посмотрел на Толика, словно говорил: «Вот такая у нас жизнь». И спросил:

— Ну, что? Хочешь в наш отряд?

Толик торопливо кивнул.

Семен сказал недовольно:

— Пускай тогда такую же клятву даст.

— Ему-то зачем? — добродушно отозвался Олег. — Видно ведь и так, что человек надежный.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

С этого дня время полетело неудержимо и весело.

Утром Толик спешил в отряд «Красные робингуды».

Отряд назывался так не оттого, что в нем занимались стрельбой из луков.

— Просто потому, что мы за справедливость, — объяснил Олег. — Робин Гуд всегда за справедливость сражался. А почему «красные», и так ясно. Не разбойники же мы, а пионеры.

Название придумал Олег. Он почти все придумывал сам, потому что был командир. Толику он казался похожим на Тимура. Только Тимур — это все-таки из книжки и кино, а Олег — вот он, рядышком. И, может, не такой уж он героический и безупречный, но дела затевал всегда увлекательные и командовал справедливо.

Дисциплина у «Красных робингудов» была твердая и одинаковая для всех. Подчиняться ей было интересно. И Толик без обиды отсидел на «гауптвахте» час ареста за то, что однажды опоздал в штаб к назначенному сроку. Гауптвахта помещалась недалеко от штаба, у забора. Это была очищенная от лопухов и огороженная кольщиками с бечевой площадка. Крошечная. Посреди нее стоял чурбак для арестанта. Справедливый Олег сам один раз сел на него за вспыльчивость: не сдержавшись, он хлопнул по шее бестолкового Шурку, когда тот два раза подряд закинул в чужой двор мячик.

Треснув расстроенного Шурку, Олег вздохнул, сказал ему «извини» и объявил, что садится на полчаса.

Арестованные не очень скучали: им разрешалось разговаривать с остальными робингудами. Но это если простой арест. А если строгий, приходилось молчать и стоять у забора «пятки вместе, носки врозь, руки по швам». Но строгий арест случился только один раз, да и то для Шурки. Шурка обещал сделать снимки для отрядного дневника, но вовремя не напечатал, потому что, балда такая, разлил дома проявитель на бархатное покрывало, которым вздумал зашторивать окно. Конечно, ему влетело от матери, какие уж тут фотографии...

Толику было жаль Шурку, но Олег сказал, что робингуд Ревский виноват сам: нельзя всю жизнь быть растяпой.

Шурка на командира не обиделся. Он считал Олега самым справедливым человеком. Потому что Олег научил Шурку ездить на велосипеде, стрелять из рогатки, сдерживать слезы при ушибах и ссадинах и не очень бояться драки с одинаковым по силе противником. А перед теми, кто сильнее — в школе и на улице, — Олег за Шурку заступался и взамен не требовал никаких услуг. «Только чтобы ты не был такой размазней».

Но Шурка все-таки оставался размазней, хотя и симпатичной. На всех он смотрел своими ясными зеленовато-желтыми глазами честно и бесхитростно. Со всеми был откровенным. Его спросят: «Шурка, зачем ты таскаешь летом тяжеленные ботинки?» А он: «Мама босиком не разрешает, а от сандалий, она говорит, развивается плоскостопие. А ботинки приучают к дисциплине, потому что их надо чистить и аккуратно шнуровать». Или еще: «Шурка, спорим, что испугаешься пойти по жерди от забора до крыши». А он: «Нет, я пойду, если надо, но я обязательно сваляюсь, я еще не выработал иммунитет против боязни высоты». Вот такие фразы он иногда произносил. Видимо, научился у папы. Шуркин папа был адвокат. Чтобы защищать в суде преступников, надо уметь говорить умные и хитрые речи.

Толик один раз спросил у мамы: зачем адвокаты защищают преступников, если те все равно виноваты? Мама сказала, что не все, кого судят, преступники — случается, что человека обвинили напрасно. А бывает, что вина есть, но не такая большая, как сперва кажется. Вот адвокат и помогает разобраться.

Толику иногда казалось, что Шуркина вина во всяких происшествиях не такая большая, как говорит Олег. Но стать Шуркиным адвокатом Толик не решался. Во-первых, Олегу виднее, они с Шуркой по соседству с младенчества живут. Во-вторых, в отряде «Красные робингуды» слова командира не обсуждались. Не принято было. Вся компания Олега слушалась, потому что уважала.

Компания была все та же, с которой Толик познакомился в первый день. Кроме Олега и Шурки — Мишка Гельман, Рафик Габдурахманов, Витя Ярцев да Люся и Семен Кудымовы.

Семена все звали полным именем, вид у него был солидный, но характер такой: что скажешь, то и сделает, а сам не догадается. Люся гораздо живее брата была и любила повредничать.

У Рафика было полное имя Рафаэль. Не татарское, а скорее итальянское. Но он был «чистокровный» татарин, он сам так сказал однажды, когда объяснял, почему светловолосый и с синими глазами.

— Мои родители не из здешних татар, они до войны сюда из Казани приехали, а там много таких, светлых.

Родителей Рафика Толик несколько раз видел. Они были пожилые, морщинистые, всегда ходили вместе и ласково здоровались с ребятами. Неважно говорили по-русски. А у Рафика лишь иногда проскакивал татарский акцент — при сильном волнении.

Жили Габдурахмановы в приземистом домишке на той же Уфимской улице. Толик однажды зашел к Рафику и буквально глаза вытарачил: всюду на стенах были разноцветные рисунки. Многобашенные дворцы и терема, гномы в пестрых колпаках, всадники в старинных одеждах и диковинные звери.

— Сам рисовал?

Рафик кивнул смущенно, без привычного озорства.

— Наверно, тебя не зря Рафаэлем назвали, — сказал Толик, вода глазами по картинкам. — Был такой знаменитый художник.

— Знаю... Я читал. Только меня не из-за этого, а просто так...

Рафик много читал. И в школе был почти отличником, это Витя Ярцев сказал, он учился с Рафиком в одном классе.

А сам Витя был «окончательный троечник», хотя по виду очень напоминал отличника: вежливый такой и аккуратный. «Ему силы воли не хватает, — сказал как-то Олег. — А так он хороший человек, только чересчур добрый...»

Зато у Мишки Гельмана воля была что надо. Он даже и Олегу-то не слишком подчинялся. Не то чтобы спорил, а просто пожимет плечами, оттопырит губу и делает по-своему. Не всегда, конечно, а если в чем-то крепко не согласен. Впрочем, с Олегом они не ссорились. Потом уже Толик почувствовал, что Олег словно побаивается скучновато-независимого Мишки и поэтому не командует им, как остальными...

В общем, непохожие друг на друга были люди робингуды, но компания составила дружная. И Толик недолго чувствовал себя новичком.

Дела у робингудов каждый день случались разные. Но всегда интересные. Например, собрали коллекцию минералов и устроили в штабе выставку. Гор и месторождений поблизости не было, но в пяти кварталах от Уфимской, на окраине Новотуринска, прокладывали рельсовую ветку и навезли туда кучи камней и щебенки. Лазишь по этим грудам — и будто ты среди настоящих скал и осыпей. Можно набрать осколков разного гранита с

искорками слюды, кварца, похожего на мутный хрусталь, разноцветных полевых шпатов, серых камушков с вкраплениями медного колчедана. И еще всяких пород, названий которых не знаешь (Олег потом определит)...

Были, конечно, и всякие игры: в лапту, в штандер, в разведчиков, в «попа-гоняла».

Один раз отряд организовал настоящую тимуровскую работу. Соседской старушке привезли дрова, и «Красные робингуды» лихо перетаскали их во двор и сложили в сарае. Потому что Олег решил: «Хватит прыгать и бездельничать, надо людям показать, что от нас и польза есть». Правда, тайного дела, как у Тимура, не получилось, бабка находилась тут же и руководила укладкой, а потом одарила работников карамельками. Но Олег сказал:

— Главное не тайна, а результат... Пошли купаться!

Купались на Военке. Так называлось место на Черной речке. В недавние годы войны неподалеку стоял учебный полк, и бойцы построили на речке плотину, получился пруд. На плоской травянистой площадке у берега полк иногда разворачивал громадные брезентовые палатки для летней бани. От тех времен и осталось у пруда название. Сейчас в нем купались мальчишки с окрестных улиц. На береговой площадке хорошо было гонять мячик. Иногда, правда, мяч (особенно если бил по нему Шурка) летел в воду или в теток, полоскавших на мостках белье. Тетки громко, но не очень сердито кричали на ребят и с размаху лупили по воде мокрыми рубашками и полотенцами...

В бесконечно длинном солнечном июле случались и дождливые дни. Тогда робингуды собирались на пустой застекленной веранде Олега дома. Играли в лото, в домино, а то и в подкидного. Или рассказывали всякие истории. А бывало такое настроение, что пели под шорох дождя песни: «Прощай, любимый город», «В атаку стальными рядами», «Варяга» и печальную песню о пограничнике, который погиб, когда один отбивался от врагов... Собственно говоря, пел один Витька, а остальные просто подтягивали. Голос у Витьки был такой чистый и звонкий, что иногда просто в глазах щипало. Особенно если запоем: «Вот и пришлось на рассвете ему голову честно сложить...»

Иногда приходила молчаливая Олегова мама в длинном халате. Улыбалась ребятам, ставила на табурет чайник, блюдце с сахаром и тарелку с сухками или бутербродами.

В середине дня подкатывала к воротам забрызганная голубая «эмка» — это приезжал на обед старший Наклонов. Он был начальником какого-то треста.

У всех, кроме Мишки Гельмана, были отцы. Толика это удивляло. В классе, где учился Толик, больше чем у половины ребят отцы не вернулись с войны. А здесь, у робингудов, только и слышишь: «отец велел», «папа обещал купить», «это папин фонарик

был, он мне его насовсем отдал»... Толик не завидовал. Радоваться надо, что робингудам так в жизни повезло. Но иногда скреб его по душе горький коготок.

Война есть война, от отца осталась только довоенная фотография да воспоминания о скрипучей португее и шероховатой гимнастерке со звездочкой на рукаве. Но, может быть... может быть, мама и Дмитрий Иванович наконец по-настоящему полюбят друг друга и решат пожениться? Раньше Толика царапала мысль: а не будет ли это изменой отцу? Потом он решил, что не будет. Измена — это если бросают живого. Вот как, например, на той квартире, где они с мамой жили раньше, к соседке тете Клаве вернулся из госпиталя одноногий муж, а она ему: «Куда ты мне такой? У меня другой есть, с руками-ногами...» Если бы отец вернулся хоть какой, хоть совсем искалеченный, для Толика, для мамы, для Вари было бы такое счастье... Но что теперь делать, раз его нет? А Дмитрий Иванович хороший человек. Если бы они с отцом воевали в одном полку, то могли бы стать боевыми друзьями...

Или если бы мама познакомилась получше с Арсением Викторовичем... Но нет, он старый, мама за него не пойдет...

Несколько раз Толик забегал к Арсению Викторовичу. Тот радовался, угощал чаем. Однажды Толик пришел, когда Курганов регулировал хронометр. Отверточкой поворачивал медные цилиндрики на балансире. Он доверил Толику поддержать в ладонях тикающий механизм. Сердце хронометра стучало доверчиво и ласково, даже с каким-то мурлыканьем. С такой доверчивостью сидит на руках у знакомого человека соскучившийся котенок.

Толик улыбнулся про себя и не стал пока рассказывать, как сам ставил точное время и запускал хронометр. Нет, он не боялся, что Курганов рассердится или обидится. Просто хронометр и Толик словно договорились сейчас: пусть у них двоих будет своя тайна...

Курганов спросил:

— Ну а как там... мое творение? Печатается?

— Конечно! Уже больше половины готово!

Мама теперь была в отпуске, поэтому печатала рукопись Курганова каждый день. Утром, прежде чем умчаться к робингудам, Толик прокладывал копиркой чистые листы. Три листа, а между ними две копки — и так двадцать раз. И, возвращаясь вечером домой — набегавшийся, накупавшийся, обжаренный ивильским солнцем, с гудящими ногами и привычно ноющими царапинами, Толик знал, что его сегодня ждет еще одна радость: двадцать новых страниц с рассказом о плавании «Надежды».

И, бухнувшись в постель, он читал о приключениях на Нукагиве, о гневных стычках Крузенштерна и Резанова, о страшном тайфуне у берегов Японии, когда матрос Курганов спас двух товарищей, о неудачных переговорах Резанова с японскими чиновниками, о встрече моряков с жителями Сахалина...

Мама печатала иногда и по вечерам. Ей тоже нравилась повесть Курганова, и она говорила, что работает с удовольствием.

Машинка у мамы была старая. Даже старинная. Называлась «Ундервудь». Мама купила ее перед войной в комиссионном магазине. На машинке были клавиши с буквами, каких теперь и не встретишь. Например, «и» в виде палочки с точкой и «ять», которая похожа на твердый знак, но читается как «е».

От старости звук у клавиш сделался дребезжащий. Когда мама торопилась, машинка словно захлебывалась, и в звонком стрекоте пробивалось какое-то бульканье. Этот голос машинки был знаком Толику с младенчества. Она казалась ему живой. Ну, скажем, такой же, как Султан. Или... как хронометр.

Конечно, Толик любил машинку. И умел печатать на ней, хотя гораздо медленнее, чем мама, и с ошибками.

А один раз Толик даже отремонтировал машинку. Снизу к ней была привинчена плоская деревянная подставка (наверно, чтобы механизм не рассыпался от древности), и вот случилось, что один винт выкрутился и потерялся. Толик нашел в своих запасах новый болтик и туго ввинтил его в гнездо.

При этом он заметил интересную вещь: подставка, оказывается, не из сплошной доски, а из двух тонких, как фанера, досочек с прокладками из реек по краям. С края подставка рассохлась. Толик подковырнул ногтем и вытянул боковую рейку. Открылась темная щель: подставка была пустая. Можно засунуть, например, тетрадку или тонкую пачку бумаги. Тайник!

Толик сперва хотел сказать про тайник маме, а потом раздумал. Решил, что спрячет туда запас копирки. Однажды копка у мамы кончится (такое порой случалось), тогда Толик откроет свою тайну. Мама удивится и обрадуется.

Но в эти июльские дни копки хватало. И случилось так, что удивилась мама по другому поводу. И не обрадовалась, а устроила Толику нахлобучку.

Он прибежал в середине дня, чтобы перекусить. С ходу чмокнул маму в щеку и спросил, нет ли молока, потому что пить и есть хочется одинаково. И наткнулся на нехорошее молчание.

— Ну чего? — сказал он. — Я же все сделал, что ты велела. Копирку разложил, воды принес два ведра. Эльзе Георгиевне за хлебом сбегал...

Глядя поверх Толика, мама проговорила:

— Иду я сегодня с рынка и встречаю Арсения Викторовича. «Здрате». — «Здрате». — «Как дела?» — «Прекрасно, скоро за-

кончу печатать...» — «Ах, как замечательно! Пусть тогда Толик первый экземпляр сразу принесет, а второй — когда прочитает...» — «Хорошо. А тре...» — И тут я прикусила язык. Анатолий, сколько экземпляров просил сделать Арсений Викторович?

Толик немойкой пяткой зачесал рубчик под коленом.

— Ну... это...

— То есть третий экземпляр ты решил «заказать» для себя?

— А чего такого... — пробормотал Толик, заполыхав ушами. — Жалко, что ли?

— Объяснять еще надо, «чего такого»? Во-первых, ты мне бессовестно наврал! Во-вторых, я столько лишней бумаги перевела! А в-третьих, ты без разрешения автора хотел присвоить экземпляр произведения!

— Я же не без разрешения! — отчаянно сказал Толик. — Я бы потом спросил! А если нельзя, отдал бы ему все три!

— Это ты сейчас так говоришь.

— Нет! Честное робингудовское!

— Это что еще за новая клятва?

— Ну... это наша, у ребят. Ну, честное пионерское!

— Спрашивать надо было раньше, а не после времени.

— Я думал, что можно и потом...

— Он «думал», — уже не так строго проговорила мама. — Я вот тоже думаю: вспать тебе, как я давно собираюсь, или засадить на неделю дома, чтобы поумнел?

— Ма-а... Лучше уж вспать, — весело сказал Толик, поскольку гроза явно рассеялась. — А сидеть дома — это же с ума сойти! Каникулы такие короткие!

— Ты у меня когда-нибудь в самом деле дотанцуешься... Что-бы сегодня же все рассказал Арсению Викторовичу, ясно?

— Так точно, товарищ командир! — Толик стукнул упругими пятками о половицы и задрал подбородок.

— Иди мыть руки, грязнуля...

К Курганову Толик зашел сразу после обеда, чтобы добросовестно покаяться. Но Арсения Викторовича дома не оказалось. Толик решил, что для очистки совести сделал пока все, что нужно, и помчался к Олегу. Там сперва ремонтировали покосившийся штабной навес, а потом до вечера играли в лунки.

Толику везло. Мячик то и дело вкатывался в его лунку. Толик его ловко хватал и, когда кидал, ни разу не промахнулся. Поэтому он то и дело оказывался то «царем», то «судьей», то в суровой должности «палача». А среди тех, кого за промахи «казнят» мячом, он не оказался ни разу.

Но когда играли последний кон, везение кончилось. «Царем»

стал Олег, «судьей» Мишка Гельман, а в «палачи» неожиданно попал Шурка. Он сразу принял грозный вид.

Олег сел на «трон» — ящик из-под масла. Мишке косынкой завязал глаза, он уселся на землю ко всем спиной.

Проигравшие по очереди подходили к «царю».

— Какое наказание справедливый судья назначит этому преступнику? — вопрошал Олег.

Мишка, никого не видя, наобум определял число горячих. От трех до десяти, как придет в голову.

— Наше царское величество утверждает приговор, — каждый раз говорил Олег. Только Люсе, которой досталось от судьи «десятка», он милостиво сократил число мячиков наполовину.

Толику выпало семь горячих. Он поежился. Мячик был тяжелый и твердый — для игры в теннис. Как всадят таким между лопаток — в глазах разноцветные зайчики... Ну да ладно, Шурка сильно кидать не будет, он бросает из-за плеча, как девочка...

Толик первым пошел к забору, встал носом к доскам. Сказал Шурке со вздохом:

— Давай скорее, что ли...

А Шурка, видать, старательно целился, время тянул. У Толика даже позвонки зачесались.

Мячик свистнул и гулко стукнул о доску у плеча. Промач!

Ага, Шурка! Держись теперь...

Если «палач» мазал, он менялся местами с «осужденным».

Шурка, путаясь ботинками в лебедь, пошел к забору. Уперся в доски растопыренными ладонями. Замер...

Целился в Шурку было удобно: белые лямки перекрещивались точно в середине его голубой спины, пониже матросского воротника. Толик поднял мячик и прищурил левый глаз.

Шурка, видно, ощутил спиною этот миг. Тоненькая шея его задервенела, пальцы зацарапали доски. Ох, Шурка ты Шурка...

Стесняясь самого себя, Толик вздохнул и сильно пустил мячик в кружок от сучка в полметре над Шуркиной головой. Забор ухнул, Шурка удивленно оглянулся. Все радостно завопили: «Мазила!»

Мишка потерял ладони. По правилам теперь Толик опять вставал к забору, нелутового «палача» Шурку прогоняли «в отставку», а дело брал в свои руки «судья». Толик пошевелил плечами: уж Мишка-то не промажет.

И Мишка не промахнулся ни разу. Когда Толик шел домой, спина у него все еще ныла и стонала.

Вдруг догнал Толика Шурка. Молча затопал рядом.

— Ты чего? — удивился Толик.

— Так... — сказал он.

Шурка шел, нагибался, отдирав на ходу от чулок репьи и, за-

махиваясь по-девчоночьи, кидал их в сидевших у калиток ленивых кошек. Те презрительно шурились.

Шурка бросил последний репей и неожиданно сказал:

— А я в тебя нарочно не попал... Не веришь?

Толик удивился, но сразу поверил. И спросил неловко:

— А зачем?..

— Так... А ты в меня тоже нарочно промазал, да?

— С чего ты взял? — буркнул Толик.

— Я знаю.

— Глупые мы с тобой, — сердито сказал Толик.

Шурка мотнул курчавой головой, подхватил тюбетейку.

— Нет. Я не думаю, что мы такие уж глупые.

Они молча прошли еще с полквартиры. Был совсем вечер.

— Мне пора, мама будет волноваться, — сказал Шурка.

— Ага. Беги...

— Спокойной ночи, Толик...

И Шурка побежал, стуча ботинками и держась за тюбетейку.

А Толик шел и думал, что день сегодня был хороший.

На этом радости дня не кончились. Дома оказалось, что приехала на каникулы Варя. Толик завершал и повис у нее на шее.

— Голову отломишь! — закричала Варя. — Пусти, чертушка!..

Толька, я кому говорю!

Кое-как она освободилась. Проворчала, оглаживая косы:

— Маленький, что ли? Вон какой вымахал... Мама, а правда, смотри, как он вырос. Длинноногий какой и тощий...

— Тощий, потому что носится целыми днями. С такой жизни можно совсем скелетом стать.

— Не! — сказал Толик. — У меня замечательная жизнь!

ЕСТЬ ОСТРОВ НА ТОМ ОКЕАНЕ...

Скоро Толик убедился, что и в замечательной жизни без тревог не обойтись. Бывают, конечно, совсем беззаботные дни, но потом все равно что-нибудь случится... Все оставалось по-прежнему, только глаза у мамы были теперь невеселые.

Нет, мама не сердилась на Толика, не срывала на нем досаду, как бывало при мелких неприятностях. Наоборот, ласковая была. Но какая-то слишком рассеянная. Даже не спросила ни разу, сказал ли Толик Арсению Викторовичу о фокусе с третьим экземпляром (а он, кстати, все еще не сказал).

Толик всегда чуял, если маме плохо. И сейчас он смотрел на нее с беспокойством, но спросить, что случилось, не решался. Во-первых, мама обязательно скажет: все в порядке, не выдумывай.

вай. Во-вторых, Толик чувствовал, что расспросы ее еще больше расстроят, а беде не помогут. Но все-таки, что за беда?

Толик решил взяться за Варю. Ей-то все известно. Недаром они с мамой опять, как весной, шепчутся, будто подружки.

Варя сперва уперлась: ничего не знаю, отвяжись. Но тут уж он впился в нее мертвой хваткой. Варя повздыхала, поглядывалась, взяла с Толика страшную клятву молчать и рассказала.

Мама ходила такая расстроенная из-за Дмитрия Ивановича. У того нашлись жена и дочка. На Украине. Как нашлись? А вот так. Он думал, что они убиты в Киеве при бомбежке, но они уцелели. Выжили и потом, когда в Киеве были немцы. А в начале сорок пятого, после запроса о Дмитрии Ивановиче, получили извещение, что он пропал без вести... Теперь вот они отыскились и он отыскался. Скоро поедет в Киев.

Конечно, тут радоваться надо. И, конечно, мама радуется, что такое у Дмитрия Ивановича счастье. Но...

— В общем, все так в жизни запутано, — вздохнула Варя. — И радость, и печаль... Ты ведь большой уж, понимаешь.

Толик был, конечно, большой, но сейчас приткнулся к Варе, как маленький, чувствуя и грусть, и облегчение оттого, что кончилась неизвестность. Жаль, разумеется, что Дмитрий Иванович не будет с ними, но раз уж так вышло, то пусть... Проживут они и втроем: Толик, мама и Варя.

Он прилег Варе на плечо, посчитал на ее подбородке редкие и светлые, как у мамы, веснушки. Сказал шепотом:

— Варь, а ты папу хорошо помнишь?

— Конечно. Я же тебе рассказывала...

— Ага... Варь, а вдруг на него похоронка тоже ошибочная?

Варя молча погладила его по голове. Толик и сам понимал, что на чудо надежды нет. Красноармейцы писали, что политрук Нечаев погиб у них на глазах: мина разорвалась точно в том месте, где за полсекунды до этого видели политрука...

— Варь, а Дмитрий Иванович насовсем уедет?

— Наверно...

— Ну ладно... Ты попроси маму, чтобы так не горевала, нельзя же из-за этого всю жизнь себя изводить.

— Всю жизнь она не будет, — серьезно пообещала Варя.

И правда, через пару дней мама была уже почти такой, как прежде. Вечером она устроила Толику нагоняй за то, что лезет в постель с немывтыми ногами, а утром — еще один: за то, что положил между листами копирку не той стороной:

— Разиня! Я могла испортить два десятка страниц!.. Кстати, ты сказал Арсению Викторовичу про третий экземпляр?

— Я заходил, а его дома нет...

— Целыми днями нет дома? Ох, займись я тобой...

Толик порадовался маминому бодрому настроению и под-

мигнул Варю. А она ему. Тогда Толик отозвал Варю в коридор и веселым шепотом предложил:

— Знаешь что? Женилась бы ты скорее. То есть это, выходила бы замуж. Вот и будет мужчина в доме.

— Долго думал? — спросила Варя.

— Ага. Вчера целый вечер.

— Хорошо. Иди-ка сюда... — Варя сняла с гвоздя самодельную мухобойку из деревяшки и подошвы. Толик захохотал и ускакал во двор. Там его нашел Витя Ярцев, который появился со срочным известием.

Известие было такое: к Рафику из Казани приехал дядюшка, привез в подарок масляные краски, во-от такую коробку. Рафик на радостях пообещал всем нарисовать новые рыцарские гербы. Старые совсем пооблиняли, а у Толика и вообще никакого нет.

— Олег велел, чтобы ты придумал скорее, какой тебе надо...

Толик давно уже придумал, но стеснялся спросить Олега, можно ли сделать себе щит с эмблемой.

Щиты с гербами были у всех, кроме Толика. У Олега — скрещенные факел и меч на темно-синем фоне. У Мишки Гельмана — оранжевый щит, а на нем черно-белая мишень с перекрестьем. У Семена — крепостная башня на клетчатом фоне — что-то шахматное, хотя насчет шахмат он был ни в зуб ногой. У Вити — луна и солнце на черно-синем щите. Рафик нарисовал себе почему-то гибкого олененка из цветного мультипликационного фильма «Бэмби». Олененок, выгнувшись, летел над пушистыми деревьями. Это был совсем не грозный герб, но самый красивый. У Люси на черном щите желтела комета с хвостом, похожим на растрепанную косу.

Даже у Шурки был щит — с голубыми и темно-синими полосками наискосок и желтыми буквами А. Р. — Александр Ревский. Шурка хотел что-нибудь боевое, но Олег не разрешил:

— Хватит пока и этого. Ты хотя и Александр, но Ревский, а не Невский...

Толик придумал себе, конечно, щит с якорем. А с чем же еще? Щит — синий, как море, якорь желтый, как начищенная корабельная медь, а в нем — черная буква Т. Она так хорошо вписывается в якорное тело с перекладиной.

— А теперь нарисуй звездочку, — попросил Рафика Толик и ткнул в верхний угол щита. — Красной краской. Маленькую...

Он надулся, ожидая, что Рафик спросит: зачем?

Но Рафик молча нарисовал. Маленькую и темно-красную. Как та суконная звездочка на шерстяном рукаве гимнастерки...

Олег сказал:

— Ты не забудь себе и меч сделать. Скоро начнем тренировки по фехтованию. Я книжку достал, там всякие приемы описаны...

— Я уже сделал, — признался Толик.

Новый герб прибили рядом с остальными. Олег похлопал по картону, потом по спине Толика:

— Твой щит на воротах Цареграда...

— Он всего «Вещего Олега» знает наизусть, — гордясь командиром, сказал Шурка. — И вообще все стихи Пушкина.

— Болтун ты, Шурка, — снисходительно отозвался Олег. — Кто же всего Пушкина может выучить?.. Я, конечно, знаю кое-что, но не так уж много. И вообще я больше люблю Лермонтова. Я его «Воздушный корабль» буду на концерте читать.

Оказалось, что, пока Толик выяснял семейные дела, робингуды затеяли новое дело. Решили дать концерт для окрестных жителей. Олег напомнил, что надо не только свистать по улицам, но и о пользе людей думать.

В саду, где ребята много раз играли в партизан и в пряталки, была концертная площадка. В давние годы здесь выступал оркестр, а во время войны сад заглох, и теперь до него еще ни у кого не доходили руки. Часть эстрады и многие скамейки растащили на дрова, но настил сцены чудом сохранился и даже не очень прогнил. Олег сказал, что для робингудовского концерта сгодится, артисты легкие. Главное не сцена, а репертуар.

— Что? — удивился непонятному слову Семен.

— Номера всякие... У тебя ведь есть баян?

— Он умеет на баяне только «Раскинулось море широко» играть, — сказала Люся.

— Ну и сойдет. А Витька споет.

— Лучше уж я без баяна спою, — скромно сказал Витя. — А то он как загудит, я и собьюсь.

— Ладно, Семен отдельно выступит, и ты отдельно... А еще надо пьесу поставить, я в «Затейнике» поищу...

«Затейник» — это журнал, где печатаются всякие игры, стихи, описания танцев и пьесы для школьных спектаклей. У Олега была целая пачка «Затейников». Но подходящей пьесы там не нашлось. Попадались то слишком скучные, без приключений, то длинные и такие, где требовалось много девочек. А у робингудов — одна Люся.

— Ладно, что-нибудь придумаем, — пообещал Олег.

Через два дня собрались на веранде, и Олег вытащил из кармана мятую тетрадку.

— Вот... я сейчас прочитаю. В общем, это пьеса...

Толик впервые увидел, что Олег смущается и, кажется, даже побаивается. Витя сказал Толику уважительным шепотом:

— Это он сам сочинил.

Пьеса называлась «Случай на границе» и была про то, как находчивые мальчишки из пограничного поселка отправились в лес и наткнулись на диверсанта. Пока двое ребят хитростями удерживали нарушителя на месте, третий помчался на заставу. Но опытный шпион догадался о ловушке, и ребятам пришлось вступить в схватку. Пограничники — офицер и солдат — подоспели в последний момент, когда повсюду кипел бой.

Пьеса всем понравилась. Правда, Толику показалось, что где-то он уже читал или слышал по радио что-то похожее. Но что поделаешь, про шпионов полным-полно всяких книжек, спектаклей и кино. Поневоле получаются совпадения. И Олег же не списывал откуда-то, а сочинил своими словами.

Когда стихли похвалы, Олег, розовый от писательского счастья, стал распределять роли. Шпионом он назначил Семена, в ребячью компанию — Рафика, Витю и Толика. Солдатом-пограничником сделал Мишку, а командиром, разумеется, себя. Для этой роли у Олега и костюм подходящий, оказывается, был: гимнастерка, галифе и фуражка. Военную форму ему сшили весной для участия в школьном празднике «День Победы».

Люся и Шурке ролей не досталось, но Олег сказал, что у Люси и так много забот: объявлять все номера концерта и заведовать театральным имуществом. А Шурке придется отвечать за звуковое оформление. Во время схватки со шпионом он должен уронить груды ящиков — это будет изображать разрыв гранаты. А в самом конце спектакля Шурка включит патефон с пластинкой «Торжественный марш»...

— Если не уронит ящики на патефон или не сядет на пластинку, — заметил Мишка. Олег его одернул и сообщил, что на Шурку он надеется: робингуд Ревский за последнее время заметно подтянулся...

Репетировать начали тут же, на веранде. Слова запомнили быстро, их не так уж много было. Главное — не в словах, а в той сцене, когда мальчишки дерутся со шпионом, выхватывают у него пистолет, а он швыряет в них гранату. Нужно было отработать все приемы.

Отрабатывали два часа подряд. Мама Олега выглядывала из-за двери и покачивала головой. Люся держала наготове медную крышку от самовара: чтобы прикладывать к шишкам и синякам. Дважды она мазала йодом на актерах нешуточные ссадины... Шурка изображал гранатные взрывы — вдохновенно швырял на пол фанерный лист.

Рафик наконец сказал:

— Ты поосторожней с фанерой-то. Мне на ней афишу рисовать.

Афишу Рафик лихо намалевал масляными красками: белой, красной и синей. Она сообщала, что 20 июля 1948 года в саду на Ямской улице тимуровский отряд «Красные робингуды» даст для местных жителей пионерский концерт.

Лучше всего на афише получился клоун: с белой смеющейся рожей, с красными волосами, в клетчатых штанах и громадных ботинках. В программе концерта никакого клоуна не было, и Шурка робко заметил, что получается обман. Олег возразил:

— Клоун просто означает, что концерт будет веселый.

И все согласились.

Но, по правде говоря, веселья в концерте не ожидалось. Схватка со шпионом — дело опасное, что же тут смешного? Ос- тальные номера тоже серьезные. Музыка «Раскинулось море широко», Витькины песни про пограничника и крейсер «Варяг», стихи про юного героя Ваню Андрианова, которые взялась прочитать Люся. Шурка тоже вызвался читать героические стихи — про Севастопольский камень. И, надо сказать, читал неплохо. Может, слишком тонким голосом, но с выражением.

Но лучше всех декламировал, конечно, Олег:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Олег читал эти стихи каждый раз в конце репетиции. Робингуды рассаживались по углам пустой веранды, Олег выходил на середину, секунды две стоял молча, потом откидывал волосы, смотрел поверх голов и говорил первую строчку негромко, задумчиво, будто сам с собой разговаривал. Потом голос его звучал крепче, но оставался печальным.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Стихи были длинные, но каждый раз слушали их внимательно, не дышали громко и не ворочались. Лишь однажды Мишка Гельман отсидел ногу и шумно зашевелился. Люся на него цыкнула. Олег оборвал чтение. Толик сказал:

— Ну, тихо вы. Дайте дослушать.

Мишка огрызнулся, потирая колено:

— Чего про него десять раз слушать? Все равно он был враг.
 — Кто? — удивился Семен.
 — «Кто!» Наполеон!
 — Разве это про Наполеона стихи? — не поверил Семен. — Ты чего врешь-то?
 Мишка, услышав такое невежество, невоспитанно плюнул.
 — Это же все равно будто сказка, — заступилась за стихи Люся. — Про волшебный корабль.
 — А Наполеон тогда уже и не враг был, — сказал Олег. — Он пленный был. Пленные врагами не бывают.
 — Ага, «не бывают!» Он Москву сжег, — сказал Мишка. — Может, вы и с Гитлером целоваться стали бы, если война кончилась?
 — Дурак ты! — сказала Люся.
 Шурка повозил ботинками по полу и неуверенно проговорил:
 — Наполеон все-таки не Гитлер. Он, конечно, враг был, но все-таки не такой. Он благородный был...
 — Сам ты благородный, — хмыкнул Мишка. — Попал бы ты к нему в лапы...
 — Ну и попал бы, — отозвался Шурка. — Тогда пленных не пытали и не расстреливали, потому что война была по правилам.
 — Тоже расстреливали, я книжку читал, — сказал Витя. — Но все-таки не так сильно. Тогда фашистов не было.
 Рафик вставил свое слово:
 — Если бы Наполеон был совсем уж враг, тогда про него стихи не печатали бы...
 — Да тут дело не в Наполеоне, — сказал Толик.
 — А в чем? — оживился Олег. Ему нужна была поддержка.
 Толик засмутился и вздохнул:
 — Я не знаю, как объяснить словами... При чем тут Наполеон? Это стихи про одинокое настроение, когда человека все бросили. Потому что остров такой...
 — Какой? — спросил Рафик.
 — Это же остров Святой Елены. Он вообще печальный... На нем наш моряк, лейтенант Головачев, тоже погиб. Там его могила...
 — Разве наши на том острове воевали? — удивился Мишка.
 — Да не воевали... Это давно было, когда Крузенштерн плавал.
 — А почему он погиб? — спросил Шурка. — Дикари убили?
 — Да не было там дикарей, что ты!.. Он сам застрелился...
 — Почему? — У Шурки жалобно приоткрылся рот.
 — Я еще не знаю точно, я не дочитал. Но, по-моему, тоже от этого... от одиночества.
 — А какая это книжка? — спросил Олег. — Дашь почитать?

Толик устоял перед соблазном: не стал рассказывать о Курганове и его повести. Не знал, имеет ли право. Он только объяснил, что мама перепечатывает для редакции одну рукопись и дает ему почитать. Когда он все прочитает — пожалуйста, расскажет подробно. А пока... если, конечно, они хотят... он может прочитать свои стихи про плавание, про Крузенштерна.

Как это у него вырвалось? Отчего? Может, оттого, что вспомнились вечера у камина, тиканье хронометра, карта на стене и ощущение, будто совсем рядом, за окнами, море? Сейчас тоже был хороший вечер и рядом сидели друзья, и Толику захотелось разделить с ними настроение морской таинственности...

Но дело, наверно, не только в этом. Хотелось еще... нет, не похвастаться, а просто показать, что он не хуже других. Олег пьесу написал, а он, Толик, вот... тоже умеет...

А может, просто бес под язык толкнул. Так или иначе, слова сорвались, не поймашь. Конечно, у Толика тут же запылали уши, да было поздно.

— Давай, выходи на середину, — велел Олег.

— Да нет, я здесь...

— Выходи, выходи. Чтобы как следует.

Ох, зачем он сболтнул? Хоть бы провалиться сквозь веранду. Толик жалобно сказал:

— Но они ведь не как у Лермонтова. Они... самодельные.

— Давай, давай, — сказал Олег.

Толик вышел, помигал, чтобы не так шипало в глазах от смущения, покашлял... ну и ничего, прочитал. Внятно и без торопливости. Потому что, раз уж напросился, куда деваться?

Ребята помолчали, посмотрели друг на друга, и Люся неожиданно захлопала. Тогда и другие хлопнули. И у Толика опять затеплели уши, а Олег сказал:

— Мы и не знали, что ты поэт.

— Да никакой я не поэт! Это я случайно сочинил.

— И больше никогда ничего не писал? — удивился Олег.

— Никогда! — Про стихи о месяце Толик опасливо умолчал.

У Олега мелькнуло на лице то ли облегчение, то ли удовольствия. Но тут же опять он стал командиром:

— Эти стихи ты обязательно прочитаешь на концерте.

— Я?! — ужаснулся Толик.

— Конечно. Чего им пропадать?

— Но... это же не Лермонтов, — опять жалобно сказал Толик. — Как это будет? По сравнению с ним...

— Зато это твои собственные стихи. У нас так и называется — самодеятельность... В общем, это тебе боевое задание.

Толик успокоился. Если задание — никуда не денешься. Олег — командир, а Толик — рядовой робингуд.

— И еще задание, — сказал Олег. — Попроси маму напечатать для концерта пригласительные билеты. Сто штук.

Мама сказала, что напечатать билеты Толик мог бы и сам: не маленький, знает, как управляться с машинкой.

— Да-а... А сколько я провожусь!

Мама смилостивилась и напечатала. И оставила два билета — себе и Варе:

— Посмотрим, что вы за артисты.

У Толика от волнения засосало в животе, как в начале первого экзамена. И привычно зачесался рубчик под коленом...

В день концерта мама выгладила Толику галстук и белую рубашку и достала из шкафа полузабытый вельветовый костюм. Лишь тогда Толик понял, что он и правда вырос за эту половину лета. Жилет еле прикрывал пряжку на поясе, а чтобы застегнуть под коленками манжеты штанов, пришлось изо всех сил натягивать их вниз. И тем не менее, глянувши в зеркало, Толик остался доволен. Он, как и раньше, показался себе похожим на юного капитана из жюль-верновской книжки. Тем более что волосы отросли, а лицо покрылось крепким, как густой чай, загаром.

От Дика Сэнда и Жюля Верна мысли скользнули к другим парусам, к Крузенштерну, к острову Святой Елены. К печальным стихам о воздушном корабле... К своим стихам.

Правильно ли, что он согласился их прочитать? Задание заданием, но можно было и упереться. Наверно, Олег не стал бы приказывать по всей строгости... И зачем Олег вообще такое задание дал? О концерте заботился? Или...

Впервые у Толика мелькнуло недоброе подозрение о командире робингулов. Олег пьесу сочинил, значит, считает себя немножко писателем. Его за такой талант стали еще больше уважать. И вдруг появляется еще один «писатель». Вроде как соперник... И не нарочно ли Олег Наклонов Толика с его самодельными стихами выставляет рядом с собой? То есть с Лермонтовым, с «Воздушным кораблем»? Может, думает: «Пусть все увидят, что у Толика Нечаева стихи — просто детский лепет...»

Но... разве Олег такой? Разве он когда-нибудь кого-нибудь подводил? И Толик разозлился на себя. Особенно когда вспомнил ясное лицо Олега и то, как он красиво подымает голову и откидывает волосы, начиная читать «Воздушный корабль»...

...Он так и читал на концерте. И когда кончил, ему здорово хлопали. Шум стоял по всему саду, потому что на прогневших скамейках перед эстрадой и прямо на лужайках собралось не меньше ста человек. Это и понятно: билеты робингуды побросали

в домашние почтовые ящики на всех ближних улицах. Толик в глубине души это легкомыслие не одобрял. Он побаивался, что могут прийти и такие зрители, которые будут не смотреть и слушать, а свистеть и кукарекать, издеваться над артистами. Особенно если появятся пацаны с Ишимской во главе с известным второгодником и шпаной по кличке Баня... Однако Баня с компанией не явился, а пришли нормальные ребята из ближних кварталов. А еще — домохозяйки с мелюзгой-дошколятами. Было несколько тетенок, похожих на инспекторш гороно, и два солдата-отпускника. И родственники артистов. В том числе и мама с Варей...

И вот теперь все хлопали Олегу за то, как он здорово прочитал печальные и смелые стихи...

А потом читал Толик.

Он понимал, что его стихам большого успеха ждать нечего, и словно отвечал урок: раз вызвали, надо рассказывать. Правда, когда Толик начал четвертый куплет (он сочинил его позже и на портрете не писал), голос вдруг зазвенел. И увидел Толик острые скалы в сумрачном море, и почему-то представилось, как у стоящих на несопойном, взволнованном рейде кораблей качаются под реями скрипучие фонари...

Теперь Земля уже почти что вся открыта.

Остались тайны только в синей глубине.

Они — как старый клад, на острове зарытый.

Но, может быть, одна откроется и мне...

Толику тоже хлопали хорошо. Однако он чувствовал: эти аплодисменты не за стихи, а просто за выступление, за старание. Из вежливости. На маму и на Варю он не смотрел. И еще раз порадовался, что нет здесь Курганова.

Мама перед концертом спросила:

— А разве Арсения Викторовича ты не пригласил?

Она и накануне напоминала: надо позвать. Но Толика холодом продирало по позвоночнику от одной мысли об этом. И тут уже дело не в простой стеснительности. Арсений Викторович мог обидеться: сперва Толик подарил стихи ему, Курганову, а теперь читает всем, направо-налево. Стихи эти стали частичкой книги, а книга-то не Толика, она Арсения Викторовича. Спросить разрешения? Но получится, будто просишь назад подарок.

На мамин вопрос Толик с перепугу ответил отчаянным и потому правдоподобным враньем:

— Ма-а! Я к нему десять раз заходил, а его все дома нету и нету!

После чтения стихов, криво кивнув публике, Толик бежал с подмостков и укрылся в кустах позади эстрады. Там готовился к пьесе участник спектакля. Олег натягивал офицерское обмундирование. Он сказал снисходительно:

— Ничего выступил. Вполне...

Толик не ответил. Он сел в траву и мысленно дал себе честное пионерское, честное robinдудовское, честное морское и всякое-всякое честное слово никогда больше не писать стихов. Что-бы не страдать потом... А если стихи придумаются сами собой, никогда никому их не рассказывать.

А эпиграф к «Островам в океане» пускай остается, раз Курганову именно такие стихи нужны — от мальчишки, который мечтает о дальних морях, не от поэта.

Как хорошо, что Курганова не было на концерте!

«Но ведь все-таки тебе хотелось выступить! Что ты вертишься?» — мстительно укорила Толика совесть. И он покраснел.

Впрочем, для переживаний времени не было. Начался спектакль. Он прошел с неожиданным и громовым успехом, который затмил прежние номера, в том числе и стихи об острове Святой Елены. Заключительная схватка со шпионом потрясла зрителей своим драматизмом. Диверсант отбивался как зверь, пистолет его грохнул охотничьим капсюлем, будто настоящий маузер. А когда пришло время взрываться гранате, Шурка за сценой не прозевал и лихо обрушил гору пустых ящиков и ржавых ведер...

После концерта Шурка, посасывая палец (придавило ведром), снял артистов своим «Фотокором». И сам сфотографировался вместе со всеми: протянул от спуска нитку и дернул.

— Можно было бы сегодня сделать карточки, да нет проявителя, — пожаловался он.

Люся выдала ему пять рублей из собранных за концерт денег.

...Из-за этих денег у Толика с мамой вышел разговор.

— Концерт хороший, — сказала мама, — все мне там понравилось. Кроме одного. Зачем эта девочка (Люся, кажется?) сидела у входа и собирала с тех, кто пришел, по двадцать копеек? Двугривенный, конечно, не деньги, но как-то некрасиво...

По совести говоря, Толику и самому это не нравилось. Но маме Толик сказал то, что говорил ребятам Олег:

— Мы же трудились? Трудились. Значит, заработали. Эти деньги не на глупости пойдут, а для отряда. На проявитель для Шурки, на подготовку к походу.

— К какому еще походу? — сразу заволновалась мама.

— Да к небольшому, недалеко. На один день...

САМОЛЕТ БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Туча была не просто черная, а с жутковатым булатным отливом. Она обложила горизонт с флангов и сейчас неторопливо — очень неторопливо, но уверенно — подтягивалась к середине беспомощно-голубого неба.

Перед тучей кудрявились несколько светло-серых облачных обрывков. Они быстро меняли форму. От этого тяжесть и непроглядность тучи казалась еще беспощадней.

На фоне тьмы, обступившей края земли, любая травинка, любая головка цветка была видна очень ярко и отчетливо. И кусты у горизонта. И аэродромный домик на дальнем краю поля, и указатель ветра, похожий на полосатый повисший сачок. И два самолетика в траве, издали похожие на присевших кузнечиков. Все это виделось, как сквозь особое, хрустально-чистое стекло. Необычно ярко белели стволы березок на дальней опушке.

В застывшей четкости, в неподвижности воздуха, травы и листьев тоже была угроза.

Солнце уже ушло за тучу, но духота не стала меньше. От дюралевого листов самолета несло металлическим теплом.

Собственно, это был не самолет, а лишь каркас фюзеляжа — без крыльев и наполовину без обшивки. Оставшиеся кое-где листы шетинились рваными краями. В них светились пунктирные швы дырочек от выпавших заклепок. Кое-где заклепки сохранились; когда лист задевали, они звонко дребезжали в гнездах — напоминали, что сделаны из металла. Все в самолете было из металла.

«Неужели они этого не понимают?» — с тоскливой досадой думал Толик о ребятах.

Он сидел ниже всех, в траве, рядом с уцелевшим самолетным колесом (оно было похоже на резиновый бублик). Сквозь дюралевого ребра он видел над собой robinдудов, рассевшихся кто где, и край тучи, которая медленно заглывает голубизну.

— Толик, иди сюда, — сказал сверху Шурка. — Здесь в носу будто шалаш, а там тебя зальет, когда дождь начнется.

— По-моему, лучше пойти домой, — отозвался Толик. Он говорил спокойно, почти лениво, но страх звенел, дрожал в нем частыми струнками. — Если быстро, мы еще успели бы.

— Чего смеяться-то, — отозвался Олег. — И полпути не пробежим, гроза догонит.

— Ну, до навесов на лесопилке успели бы, — возразил Толик.

— А какая разница? — беззаботно сказал Рафик и попрыгал на пружинистом шпангоуте. — Навесы тоже дырявые.

— Они хотя бы деревянные! — вырвалось у Толика.

— Ну и что? — лениво спросил глупый Семен.

— А то, что дерево молнии не притягивает, а здесь для них все равно что магнит! — опять не выдержал Толик.

Мишка Гельман, который сидел выше всех, ядовито хмыкнул и засвистел. А Олег снисходительно сказал Толику:

— Да брось ты. Смотри, даже Шурка не боится.

«Они и правда не боятся, — с досадливой завистью подумал Толик. — Но они же просто не понимают...»

...А начиналось путешествие хорошо. Вышли рано-рано, тени от заборов были длинные, и в этих тенях висели на травинках шарики росы (Шуркины ботинки от нее заблестели как лаковые). Было прохладно, пахло тополями, и ноги сами шагали по упругим тротуарам окраины. В поход, в поход!

Одно огорчало Толика: не взял он Султана. Не догадался. А теперь увидел, что с Люсей и Семеном отправилась их рыжая собачонка Пальма, и его грызла совесть перед Султаном.

Но зато в самом начале пути Толик сделал открытие. Там, где строили рельсовую ветку, в грудах камней и щебенки Толик разглядел золотистые кристаллы. Они были впаяны в большие куски грязно-серой породы. Не то пирит, не то колчедан.

— Смотрите!

Командир Наклонов похвалил Толика. И сказал всем:

— Поздравляю, ребята. Найдена новая порода.

Правда, он тут же насупил лоб и неуверенно добавил:

— Хотя нет. У нас уже есть такие образцы.

— Таких нету! — заспорила Люся. — Там зернышки мелкие, а здесь — как самородки.

— Да, — великодушно кивнул Олег. — Это новая разновидность. Молодец, робингуд Нечаев. Зоркий глаз.

Нести в рюкзаке камень с золотистыми кристаллами Олег доверил робингуду Ревскому.

Путь лежал вдоль новой насыпи, потом через дуг, мимо МТС с красной башенкой водокачки, затем через березовую рощу. На опушке сделали привал для завтрака.

Расстелили на траве клеенку, выложили на нее всякую снедь.

Чего здесь только не оказалось! Огурцы, вареные яйца, банка с тушенкой, бутерброды со всякой всячиной, печенье, конфеты. Даже свежие помидоры. У Толика запасы были скромные. Мама дала бутерброды с маргарином, пересыпанные сахарным песком, пару огурцов и несколько крупных картофелин. «Вы ведь обязательно будете печь картошку на привале...»

Но Олег сказал, что с картошкой возиться некогда. Маршрут длинный, на долгие привалы и костры времени нет. И он, красиво размахиваясь, запустил картофелины за березы. А бутерброды Толика отдал Пальме. Сказал между прочим:

— Чего маргарин глотать, когда и так всего хватает.

Толика ощутимо царапнула совесть. Мама старалась, собирала ему походный паек, а теперь — картошка в кусты, бутерброды собаке. А кто виноват, что дома с едой совсем не густо? До зарплаты еще неделя, а денег почти не осталось.

Но Олег не виноват, он не знал... В конце концов, собаку тоже надо кормить, и уж лучше отдать ей маргарин, чем тушенку.

У тушенки был такой запах, что слюны просто пузырились во рту. Люся накладывала ее на ломти белой булки, покрытые сло-

ем желтоватого свежего масла. Толик вздохнул и вцепился в кусок зубами. Голод не тетка... И вдруг он услышал:

— Я не буду...

Это Рафик сказал.

— Почему? — удивилась Люся.

— Да не хочу я. Давай без мяса.

Мишка Гельман хмыкнул:

— Тушенка-то свиная. Магомет не велит свинину трескать.

Толик впервые увидел, как Рафик недобро сузил глаза.

— Я с Магометом про это не разговаривал. И ты вообще... Не говори, про что не понимаешь.

— А я понимаю, — крупно жуя, сказал Мишка. — С религиозными заблуждениями надо бороться.

— Сам ты заблуждение! Магомет и рисовать не разрешал — ни людей, ни зверей. А я, что ли, не рисую? Мне мать с отцом никогда не запрещают. А свинину они не едят, и я не буду. Поэтому что такой обычай! И все.

Витя, сердито махая ресницами на Гельмана, сказал:

— Твоя бабушка ведь тоже не ест свинину. И по субботам дома ничего не делает, говорит, что в этот день Бог работать не велит. А над ней разве кто-нибудь смеется?

— Это же бабушка, а не я, — огрызнулся Мишка.

Толик хмуро бросил:

— Вот ее и воспитывай.

Он был чертовски раздосадован. На себя. Почему он не отстоял свой хлеб с маргарином и картошку? Поссориться боялся? А Рафик вот не испугался — не дал в обиду ни себя, ни родителей, ни обычай. Ну, пускай это заблуждение, что нельзя есть свинину, а все равно твердость у Рафика правильная...

Олег молча жевал, почему-то не вмешивался в спор.

Толик сказал ему:

— Зря ты мою картошку покидал. У нас дома продуктов и без того кот наплакал, у мамы зарплата не директорская. — Он встал и пошел искать в траве картофелины.

Олег догнал его через пять шагов.

— Толик, извини, я не подумал.

Олег один умел так извиняться: честно и без смущения. И человеку становилось приятно, будто ему сделали подарок.

Хотя Олег и говорил, что на долгие привалы нет времени, у озера застряли на два часа.

Озеро было небольшое, неглубокое и чистое. На восточном берегу стоял дом отдыха Рыбкоопа, а с другой стороны подступал молодой лесок. На этом, диком, берегу был пляж с мелким прогретым песком. Когда бултыхаешься в озере, а потом валя-

ешься на песке, кажется, что время замерло — так же, как замерли желтые кучевые облака в безмятежной высоте...

Наконец Олег скомандовал:

— Подъем.

Все поднялись. Кроме Мишки. Он только потянулся.

— Гельман... — сдержанно сказал Олег.

— А, успеется, — зевнул Мишка. — Пока Шурка со своими пуговицами справится, полчаса пройдет.

Шурка всегда после купанья одевался дольше всех. Особенно много возни было у него с бумазейным лифчиком, к которому прицеплялись резинки для чулок. Застегивался лифчик на спине, и Шурка сопел, закидывая назад руки и пытаясь дотянуться до пуговиц. Иногда ему помогали, но Олег не одобрял этого. Говорил, что Ревскому надо приучиться жить без нянек. А Мишка добавлял, что пора уже расстаться с детсадовской сбруей. Толику эти дразнилки не нравились. Когда были помладше, все такую сбрую носили, чего смеяться-то? Шурка не виноват, что дома его до сих пор считают за маленького.

Толик подошел к Шурке сзади.

— Давай застегну.

Пуговицы были большие и твердые, костяные. Толик поморщился от болезненной догадки:

— Ой, Шурка, они же тебе спину под рюкзаком дают!

— Да ничего... — сказал терпеливый Шурка и вздохнул.

— Как ничего? Ну-ка, покажи... — Толик задрал на Шурке майку. На острых позвонках кожа была натерта до кровавых точек. Между лопатками — ссадина. Когда купались, никто этого не заметил, а вблизи сразу видно.

— Сними ты эту лишнюю амуницию, — жалостливо сказал Толик. — Зачем ты в ней жарись?

— Я сниму. Я просто не догадался.

Толик повернулся к Наклонову:

— Олег, давай Шуркины вещи раскидаем по всем рюкзакам.

Он спину натер.

— Отставить, — возразил Олег. — Он клятву давал не стоять. Он сам свой рюкзак собирал, пусть несет.

— Не сам он, ему дома натолкали...

— Будет в другой раз умнее. Научится маме доказывать.

— У него же камень еще! — вспомнил Толик.

— Да ничего, я донесу, — с храброй покорностью сказал Шурка. — Теперь легче.

Ботинки он надел на босу ногу, и от этого они стали казаться еще больше и тяжелее. И чаще цеплялись за траву и корни.

Путь вел теперь через вырубку, потом через поле с овсом и через лесок, за которым лежал учебный аэродром. А от него шла к городу дорога — прямая и потому не длинная.

Но до аэродрома еще надо было дошагать. Жарко стало, донимали оводы. И в каждой жилке гудела усталость. Будто и не отдыхали недавно, и не купались. Наконец вошли в лесок, в тень.

Тропинка привела к заросшему оврагу, через него был перекинут ствол ели — голый и скользкий. Ствол ощетинился метровыми сучьями (тоже голыми). Сучья только и выручали при переправе. Но Шурку они не спасли. Когда ботинки сорвались, ухватиться за сук «этот бестолковый Ревский» не успел.

Люся, которая шла за Шуркой и несла под мышкой Пальму, тонко завопила.

Шурка не долетел до дна. Лямкой рюкзака он зацепился за короткий горизонтальный сук и повис, как парашютист. Качался, поджимал над зарослями тощие белые ноги и попискивал.

Хватаясь друг за друга, за сучья, за Шуркин рюкзак и за самого Шурку, его вытащили. Лишь панамка, которую Шурке дали в поход вместо тюбетейки, канула в заросшую глубину. Люська охала и хныкала. Пальма тявкала. Олег сказал:

— С этим человеком не заскучаешь.

Но, видимо, он и сам был испуган.

Остальные молчали. Шурка виновато мигал. На ноге его была длинная царапина.

Царапину промокнули подорожником, а Толик сказал:

— Шурка, давай твой рюкзак. И бери мой, он легче. — И добавил, вызываясь глянув на Олега: — Каждый имеет право выбирать рюкзак, какой хочет. Нет, что ли?

Олег пожал плечами. И Шурка подчинился Толику.

Но тащил Шуркин рюкзак Толик недолго. Скоро вышли из леса, прошагали метров сто по кустам и лужайкам и на краю аэродрома наткнулись на разбитый самолет без крыльев. Все забили про усталость. Побросали рюкзаки и полезли на решетчатый фюзеляж.

Это были останки двухместного самолета. Наверно, учебного. Два сиденья друг за другом, перед каждым — приборная доска с круглыми дырами от снятых циферблатов. Семен сказал, что это «По-2». Мишка сказал, что Семен дурак: «По-2» — биплан, а у этого была одна пара крыльев, вон видны остатки. Спросили Олега. Олег ответил, что неважно, какой это был раньше самолет, а теперь он будет десантный. Себя Олег назначил главным пилотом, Мишку — стрелком-радистом, а остальных (в том числе и Пальму) — десанниками. Велел прыгать в траву — будто с парашютами — и брать с бою ближние кусты.

...Поиграли в десантников. Люська кому понарошке, а кому всерьез перевазала раны (Рафик порезал руку о край обшивки). Потом Шурка вытащил из рюкзака аппарат и штатив и всех сфо-

тографировал на самолете. Нитки не нашлось, и сам он на этот снимок не попал. Чтобы Шурке не было обидно, Толик сказал:

— Теперь ты лезь на самолет, а я сниму.

И вот тогда, глядя поверх фотоаппарата на самолет и ребят, он вдруг почувствовал, что солнечный свет стал немного другим, тревожным. И увидел над горизонтом тучу.

Толик шелкнул спуском аппарата и сказал небрежно:

— Нам бы поторопиться. Вроде гроза подходит.

Все отнеслись к его известию легкомысленно. Семен заявил, что это вовсе не гроза, а просто темная тучка. Мишка добавил, что она пройдет стороной. А Рафик обрадовался:

— Пускай гроза! Мы здесь отсидимся! — Он полез в нос самолета. На капоте обшивки сохранилась почти полностью, и там в самом деле можно было кое-как спрятаться от дождя.

А от молний?

Но не мог же Толик признаться, что с младенческих лет не переносит грозу. Что готов залезть в любую нору от трескучих электрических вспышек.

Сейчас он пересиливал себя, сколько мог. Даже играл вместе со всеми, когда Олег сказал, что теперь самолет — тяжелый бомбардировщик и летит бомбить вражескую эскадру.

Побомбили и расселись на фюзеляже кто где. Просто так. Болтали, будто и не было близко никакой тучи, в которой тысяча молний, и в каждой по миллиону вольт...

Толик наконец снова напомнил, что пора домой. Можно еще успеть! И Олег Толику ответил:

— Да брось ты. Смотри, даже Шурка не боится.

— А я, что ли, боюсь? — жалобно сказал Толик. — Просто я дома обещал, что к шести часам обязательно вернусь. А здесь до темноты можно застрять.

— Не надо было обещать, — холодно возразил Олег. — Может, нам из-за твоего обещания теперь галопом до города мчаться?

— А может, из-за твоей лени до ночи тут сидеть? — огрызнулся Толик.

Это уже очень напоминало ссору. Но Олег ответил спокойно:

— Кто хочет, пусть идет. Силой никого не держат. Дорога известная. Верно, ребята?

Дорога в самом деле была знакомая: мимо лесопилки, потом вдоль насыпи, а там и улицы. Толик встал. Теперь он почти верил, что мама и правда ждет его к шести. Кажется, был утром такой разговор. А раз так, идти просто необходимо.

Глядя в сторону, Толик проговорил сердито:

— Если бы вас ждали дома, вы бы тоже...

— Да ты не стесняйся, — сказал Олег. — У нас же полная доб-

ровольность. Каждый идет, куда хочет, каждый несет рюкзак, какой хочет...

Вспомнил! Ну и ладно...

— Шурка, может, пойдешь со мной?

— Нет, что ты. Я с ребятами, — испуганно откликнулся Шурка.

— Ну, тогда я твой рюкзак возьму. А завтра принесу. Хорошо?

— Нет, я сам, — так же испуганно сказал Шурка.

— Он сам, — сказал Олег.

А гроза надвигалась, торопила. Молния беззвучно зажглась в глубине тучи.

Толик, не глядя на ребят, бросил на плечо свой рюкзачок.

— Я пошел... Потому что я обещал...

— Не заблудись, — с ехидной лаской пожелала ему Люська. Пальма у нее на руках вдруг тонко тьякнула...

Гроза догнала его за лесопилкой. Пригибаясь под упругими струями, Толик бросился к домику, что стоял рядом с насыпью. Заколотил в дверь, она отошла от толчков. Толик боязливо, но быстро шагнул через порог. Он попал в полутемную комнату с большой печью и непокрытым столом. Высокая неприветливая тетка — то ли стрелочница, то ли сторожиха — молча глянула на мокрого мальчишку.

— Здравствуйте... — жалобно выдохнул Толик. — Я посижу здесь, пока гроза, ладно?

Тетка опять ничего не сказала и ушла за грязную цветастую занавеску. Толик присел на табурет у двери, рядом с кадушкой, от которой пахло кислой капустой.

За окнами грохотало и вспыхивало — иногда очень сильно (Толик вздрагивал). Но тугое гуденье ливня смягчало грозовые взрывы. Стены и крыша, а за ними плотная завеса дождя — это все-таки защита. Толик передохнул, обнял себя за мокрые плечи. И впервые подумал: «А как же — там?»

Каково теперь в просвистанном бурею решетчатом фюзеляже за несколькими дрожащими листьями дюрала?

«Сами виноваты», — сказал себе Толик, но легче не стало.

От порога дуло. Толик поджал ноги в раскисших сандалиях, поставил пятки на перекладину табурета. И подумал, что в самолете дует ой-ей-ей насколько сильнее. Тетка вышла из-за ситцевой шторки, глянула на Толика, будто все про него знала, и сердито скрылась опять. Запах кислой капусты смешивался с запахом гнилой тряпки, что лежала на полу у двери. От этого запаха было муторно и тоскливо.

Гроза шумела недолго. Минут через двадцать в ней послыша-

лось утомление, и почти сразу ливень ослабел, будто в небе наполовину прикрутили краны. Грохотало часто, но уже без вспышек и в отдалении. Дождь стал мелким. И вдруг на залитом окне зажглись солнечные искры.

Неужели кончается? А казалось, что мрак, молнии и ливень — на долгие часы.

Толик приоткрыл дверь. Еще сеял похожий на пыль дождик, но край уходящей тучи горел расплавленной медью. Толик зажмурился и оглянулся. Тетка стояла посреди сумрачной комнаты.

— Я пойду. До свиданья...

Толик думал, что хмурая женщина отмолчится и сейчас. Но она сказала неожиданно звучно:

— Иди, иди. За всю жизнь не отсидишься.

И опять показалось Толику, что она знает, как он ушел с самолета...

Толик забрался на скользкую насыпь и пошел по мокрым шпалам к городу. На рельсах сияли солнечные зайчики. Трава и кусты сверкали. Воздух был такой, что зажмуриваясь от счастья и дыши изо всех сил. Но у Толика к небу и горлу словно прилипла кислая гниль из той грязной комнаты. Это был запах трусливого убежища и вины...

Когда Толик вернулся домой, мама сказала:

— Слава Богу! Такая гроза... Вы под нее не попали?

Толик был уже сухой.

— Я переждал... мы переждали, — хмуро проговорил он. Запах гнили никак не отвязывался. Толик поморщился и глотнул молока из литровой банки, что стояла на подоконнике.

— Не хватай еду влопыхах. Мой руки и садись за стол. Я котлеты приготовила.

— А откуда мясо? Ты деньги получила? — без особого интереса спросил Толик (думалось совсем о другом).

— Заходил Арсений Викторович, взял то, что я успела напечатать, и сразу расплатился.

— Ты все три экземпляра отдала? Я же не дочитал.

Мама сделалась строгой.

— Отдала два. Но не потому, что ты не дочитал, а потому, что насчет третьего объясняйся сам. Стыдно, что ты до сих пор этого не сделал.

— Я много раз ходил, а его все дома нет...

— По-моему, не *его* дома нет, а совести у тебя нет. Заварил кашу, а расхлебать боишься. Нельзя быть трусом.

БРИГ «МАРИЯ» УХОДИТ

Нельзя быть трусом. Толик это понимал. Но, конечно, мысли его были не о рукописи Курганова. С рукописью — ничего страшного. Отнесет он Арсению Викторовичу третий экземпляр, объяснит, как это получилось, — вот и все. Курганов поймет.

А как быть с тем, что он, Толик, ушел с самолета?

Сейчас он уже сто раз пожалел, что не остался с ребятами. Ничего бы не случилось. А если и случилось бы... Все равно, наверно, лучше, чем вот так маяться!

Как теперь посмотрят робингуды, когда он придет в штаб? Да и не придет он. Зачем? Олег все равно не простит...

Мама с Варей куда-то ушли, Толик бухнулся на кровать и разглядывал потолок. Гроза не изменила погоду, было опять душно, в комнате с ноющим звоном летала липкая тяжелая муха.

И мысли были тоскливые, как этот звон, липкие и противные, как эта муха.

...Олег не простит. Он никому ничего не прощает. Потому что справедливость для него сильнее жалости. Вот и Шурке не хотел помочь... «А разве это правильно? — подумал Толик. — Ведь Шурка совсем вымотался! Это уже не справедливость, а издевательство... А еще командир!»

Но тут же Толик одернул себя: «Ну и что? Пускай Олег такой и сякой, а ты... А ты все равно трус!»

Он как бы разделился на двух Толиков. Один хмуро и безжалостно рассуждал про вину другого, а тот, другой, почти не оправдывался, лишь иногда слабо огрызнулся.

Беспощадный к себе Толик заставил себя встать. Подмел и без того чистый пол, притащил с колонки почти полное ведро, покормил остатками супа Султана, аккуратно расставил на этажерке книги.

Потом он увидел рядом с машинкой новые листы с повестью Курганова — мама сегодня напечатала. Увидел и... не сразу решился их взять. Испытал боязливую неуверенность, даже стыд: словно после трусливого ухода с самолета он потерял право читать книгу о хороших и смелых людях.

Но все-таки взял. Положил листы перед собой на подушку.

«...Федор Иванович Шемелин был тяжело и привычно озабочен. Разгрузка затягивалась. Не было уже и речи о том, чтобы выгрузить шесть тысяч пудов злополучного железа, которое лежало в трюмах на месте балласта. Но необходимо было свезти на берег сарачинскую крупу, привезенную из Японии, а также и соль, которую упрямые в дипломатии, но любезные при прощании японцы преподнесли в виде подарка всем офицерам и мат-

росам. Надо отдать справедливость господину капитану Крузенштерну: это по его убедительному слову все господа офицеры и все служители «Надежды» порешили не продавать соль для своей выгоды, а передать ее на склады Петропавловска для общей пользы.

Но забота господина Крузенштерна о Компании на сих границах и кончилась. Отдав распоряжение начать разгрузку, матросов на оное предприятие посылал без охоты, говоря, что опасается, как бы не занесли они на берег оспу, от которой может случиться среди местных жителей великий мор, как то было уже в 1767 году.

В словах господина капитана можно было найти известную справедливость, ежели бы осторожность его не казалась чрезмерною.

Заболевший на «Надежде» солдат давно поправился, койка его, бельё, платье и все вещи брошены в море, койки служителей, да и весь корабль, окурены солеными кислотами. Доктор господин Эспенберг твердо уверял, что опасности уже нет. Однако капитан в ответ на замечание Шемелина, что опять страдают интересы Компании, сказал, обращаясь не столько к нему, сколько к окружающим господам офицерам:

— Пришла же охота господину камергеру набирать телохранителей столь поспешно, что не поинтересовался, была ли у каждого из них прежде оспа. Знал же, что угроза сей болезни в японских и китайских водах весьма велика...

Господин капитан-лейтенант Ратманов, офицер хотя и заслуженный, но на всякие непристойные шутки способный, тут же высказался о Николае Петровиче Резанове, что якобы страх того перед бунтом на борту «Надежды» сильнее был, нежели оспа, и чума, и холера, взятые в совокупности. Господин же лейтенант Головачев, человек совестливый, тихо сказал:

— Право же, Макар Иванович, вы опять за свое... Скоро он оставит нас, к чему вспоминать прошлое...

Господин Крузенштерн с равнодушным лицом стоял у фальшборта и в разговор более не вступал.

Шемелин пожал плечами и съехал на берег, от которого «Надежда», стоя на якоре, была в близости.

В том, что г-н Крузенштерн не имеет желания предпринимать ни малейших подвигов в пользу Компании, Шемелин убеждался все более. «И не последняя тому причина — ссора его с Начальником», — думал Федор Иванович.

По справедливости говоря, и господин Резанов не раз подавал поводы для взаимных обид. Однако же не его, купца Федора Шемелина, дело судить прямого начальника своего. Тем более что за главное дело экспедиции — интерес Российско-Американской компании — радеет Николай Петрович всей душой.

А господин Крузенштерн последнее время не стесняется даже и открыто говорить о Компании обидные слова. Недавно, увидав на пристани промышленников с компанейского брига «Мария», капитан «Надежды» сказал господам Ромбергу и Ратманову:

— Когда мы слышали в Петербурге о богатствах Компании и благородных ее устремлениях, мыслимо ли было предположить, что увидим здесь сие убожество и небрежение начальства к простым ее служителям?

Лейтенант Ромберг, человек воспитанный и малословный, на речь эту лишь развел руками, а Ратманов громко сообщил, что от здешних комиссионеров иного и не ждал, поскольку известно, что «каков поп, таков и приход». Тут же раздался смех среди матросов. Они хотя и стояли в стороне и к разговору командиров касательства не имели, но острый на слух и на язык квартирмейстер Курганов сказал товарищам что-то о приказчиках здешних явно непристойное.

Промышленные же с «Марии» и правда были частью больны цингой и язвами, а частью грязны и в одних лохмотьях. Но отнести это следовало не Компании, а собственной их нерадивости, а также небрежению со стороны лейтенанта Машкина, коему поручено было всех этих людей отправить на своем бриге в Америку еще осенью. Убоясь несильной течи в трюме и осенних непогод, Машкин зазимовал в Петропавловске, чем причинил Компании великие убытки...

Слыша обидные слова капитана, главный комиссионер Компании Федор Иванович Шемелин осмелился вступить в спор:

— Как можете вы, Иван Федорович, судить о деле всей Компании по виду нескольких несчастных, которые и промыслом-то заняты не были, а волею случая провели здесь зиму в безделии?

Г-н Крузенштерн ответил, что судит не только по сей встрече и что рассмотрелся он уже на компанейские порядки достаточно, а слышал от верных людей и того более. Несчастные промышленники, коих приказчики кормят вонючей солониной и сухарями с плесенью, настрадавшись и ожесточившись здесь без меры, столь же бесчеловечно будут мучить потом невинных туземцев. И есть тому тоже немалые доказательства.

Шемелин сказал почтительно, однако же с долею досады:

— Странно, господин капитан, слышать такое от человека, которому Компания доверила командование кораблями и свои интересы. Всем ведомо, что вы сами были среди первых, кто замыслил эту экспедицию.

— Думая о плавании, я не ждал, что главная цель его будет одна лишь выгода акционеров Компании, — резко ответил Крузенштерн. — Кроме того, компанейские интересы теперь всецело в руках господина Резанова, поскольку угодно ему было объ-

явить себя начальником экспедиции, а мне оставить лишь управление парусами.

— Однако же Николай Петрович отправляются в Америку, и мне ли напоминать вам, что ваш долг закончить предприятие с наилучшей пользой для Компании, у которой вы на службе.

Светлые глаза Крузенштерна под глубокой треуголкой нехорошо блеснули.

— Господин главный комиссионер! Офицеру Российского флота действительно нет нужды выслушивать от купцов напоминания о долге. Смее заверить вас, что я не оставляю экспедицию, как это делает господин Резанов, измыслив для сего пустые причины.

Шемелин сказал, что оговаривать решения его превосходительства Николая Петровича, который поставлен над ними государем императором, возможным не считает. К тому же господин Резанов, как известно, не отдыхать едет, а в нелегкое плавание отправляется для обследования компанейских поселений.

Крузенштерн помолчал и сказал мягко:

— Федор Иванович, мы с вами на одном корабле немало общей каши съели, и я вижу давно, что человек вы умный, просвещенный и обязанности свои исправляете отменно. Жаль только, что ваши должности понуждают вас не видеть ничего далее сугубых выгод компанейских... Но посудите сами, может ли моряк, впервые пошедший кругом Земли, интересы плаванья ограничить пользой торговой компании? Новые открытия в науках и описания неизвестных земель — не в пример ли важнее для отечества?

— Так и я, Иван Федорович, пекусь о том же, — нашелся Шемелин. — Коль скорее закончим выгрузку, больше времени останется для плаванья около Сахалина.

Крузенштерн добродушно, однако с некоторой неохотой, посмеялся и сказал, что ранее, чем прибудет из Нижнекамчатска губернатор генерал Кошелев, отправляться все равно нельзя, поскольку у капитана с губернатором важные дела.

Это был еще один шаг против Резанова. Тот инструкцией своею торопил капитана «Надежды» с отходом к Сахалину, а Крузенштерн тянул, ожидая встречи с губернатором. Он надеялся, что Кошелев во всем разберется справедливо и доложит в Петербург: Резанов не пожелал идти в Америку на «Надежде» без всякого к тому повода со стороны корабельных офицеров. Без такого свидетельства возвращение в Россию могло быть просто опасным.

...Про все это думал Шемелин в то теплое и пасмурное утро на пристани, глядя, как подходит очередной баркас с «Надежды». Здесь нашел Ивана Федоровича солдат и сообщил, что его превосходительство требует господина Шемелина к себе.

Как и в прошлый приход на Камчатку, Резанов квартировал в доме коменданта порта. Шемелина он встретил в приземистом зале с тесаными столбиками-колоннами, которые придавали деревянному помещению некоторую европейскую торжественность.

Шемелин поклонился. Резанов встал из-за широкого, крытого зеленым сукном с кистями стола. Он был в мундире и при шпаге.

— Господин Шемелин, — проговорил Резанов с неожиданной ноткой волнения. — Как вам уже известно, дальнейшее пребывание мое на корабле «Надежда» в обществе господина Крузенштерна и других господ офицеров, ему подчиненных, счел я для себя несообразным и посему хотел отказаться от дальнейшего плаванья, закончив свою миссию обозрением Камчатской области. Но счастливый случай, доставивший в Петропавловск бриг «Марию», дает мне возможность до конца выполнить высочайшее предначертание и посетить наши американские владения. Вам же надлежит после плаванья «Надежды» к Сахалину отправиться с господином Крузенштерном в Кантон с компанейскими мехами, где и произвести коммерцию со всевозможной для Компании выгодой...

Шемелин почтительно молчал, но в молчании пряталось удивление. Зачем его превосходительство повторяет то, что всем уже известно, да еще с такой торжественностью?

Резанов же плавно протянул к столу руку и открыл окованную серебром шкатулку, в которой держал свои важные бумаги.

— Господин Шемелин... — Голос его сделался ласковее, но торжественность не пропала. — Судьба велит нам расстаться после того, как мы столько были вместе среди трудов и опасностей. Но, прежде чем это случится, я хочу изъявить вам сердечную признательность за поведение ваше и службу и возложить на вас отличие, которое вы заслужили...

После того вынул он из шкатулки золотую медаль, тяжело повисшую на голубой кавалерской ленте ордена Святого Андрея. Однако же на смущенного Шемелина не надел, а положил на край стола. А из шкатулки достал шелестящий лист и начал читать, сам увлекаясь все более высотой слога и важностью минут:

— Его императорское величество, обращая высокомонаршее внимание к трудам, на пользу отечества подъятым, высочайше уполномочить меня соизволили отличать наградами тех, коих заслуги окажутся оных достойными.

И так далее. Он долго читал, а Шемелин слушал без радости и даже со страхом. Что и говорить, награда высокая, но разве один он ее достоин? Какие бы раздоры ни случались у посланника с моряками, но без умелых офицеров и матросов никакого

плавания, никаких открытий и заслуг не было бы вообще. А господа ученые! Разве мало сделали они для пользы науки российской в этой экспедиции? Господин же Резанов наградою отмечает одного главного приказчика, явно показать желая, что у иных участников экспедиции заслуг не видит и не признает.

Конечно, на то воля Начальника. Однако же его превосходительство отбудет скоро к островам американским, а ему, Федору Шемелину, с Крузенштерном и другими моряками плыть вместе до самой России. Как посмотрят спутники на эту медаль?

— Ваше превосходительство... — осторожно начал Шемелин. — Мне и слов не найти, чтобы в полной мере выразить чувствительную благодарность за ваши милости. Потому что одним только вашим милостям я и обязан столь высокою наградою. Ежели взглянуть беспристрастно, то все, что я делал до сих пор, были только самые обыкновенные труды, кои я и без всякой награды исполнять был обязан. Посему, не заслужа, стыжусь принять и носить сие отличие. Не лучше бы, ваше превосходительство, получить мне его, когда экспедиция благополучно положит якори в Кронштадтской гавани? И за особое счастье почел бы я тогда получить награду эту из собственных рук вашего превосходительства. Пока же предприятие сие не закончено...

Говорить Шемелин умел, в жизни немало пришлось иметь дел с высокоучеными господами, да и книг умных прочел он множество. Сейчас, однако, понял, что речь свою затянул чрезмерно.

Резанов смотрел на него с изумлением, с досадою, а потом и с гневом. Лицо посланника пошло малиновыми пятнами.

— Что это говорите вы, сударь! — наконец закричал он. — Предприятие не закончено! Что это значит? Хотите ли вы сказать, как некоторые, что я экспедицию оставляю раньше срока и тем долг свой исполняю недостаточно? Не предписано ли мне государем императором выбирать средства к наилучшему завершению дел по своему усмотрению?! От многих людей здесь мог я ожидать неповиновения и непочтения, но от вас... Любой на вашем месте счастлив был бы такой наградою! Скажите, сударь, что стало причиною такой неблагодарности и грубости вашей?!

Он долго кричал еще, гневно топоча тонкими шелковыми ногами и теребя красные обшлага мундира. Паричок сбился. В глазах блестели капельки слез.

Навернулись слезы и у Шемелина. Он понял, что далеко зашел в своей шепетильности. Единного слова Резанова достаточно, чтобы обрушить на главного комиссионера Компании великие немилости и несчастья. Но пуше страха была обида. Может, подвиги он и не совершал, но не служил ли разве всей душою Компании? Не был ли Резанову надежным помощником?

Теперь одна осталась надежда, что при своем переменчивом нраве Резанов гнев изольет быстро и успокоится.

Когда его превосходительство, часто дыша и утирая лицо, замолчал, Шемелин сказал тихо, но с достаточной твердостью:

— Воля ваша, Николай Петрович, как в милости, так и в немилости. Простите, если огорчил вас. Но одно скажу еще: в преданности моей и усердии вам сомневаться не должно.

Резанов скомкал и затолкал за обшлаг кружевной платочек, постоял, наклоня голову, потом поднял лицо и... улыбнулся. И, шмыгнув носом, будто дитя виноватое, сказал негромко:

— Прости и ты меня, Федор Иванович. — Шагнул, встал на цыпочки, поцеловал его, большого и бородатого, в щеку. — Столько досад со мною приключилось, что иногда себя не помню и забываю, кто мне истинный друг...

Шемелин стоял смущенный и растроганный.

Резанов отошел опять на шаг и проговорил потверже, но и здесь не без ласковости:

— Пусть будет по-вашему, Федор Иванович, оставим до Петербурга, хотя не находил я никаких препятствий, чтобы здесь оказать вам справедливость. Вы, господин Шемелин, человек редкий...

Утром 24 июня 1805 года офицеры «Надежды» беседовали на шканцах и смотрели, как вытягивается к выходу из гавани бриг «Мария». Матросы компанейского судна, вразнобой махая веслами, завозили на сотню сажен якорь-верп и бултыхали его со шлюпки. На бриге скрипел на всю гавань шпиль — мотал якорный канат, и судно ползло по серой с проблесками солнечной ряби воде.

— Что ни говорите, господа, а камергер Резанов — человек храбрости небывалой, — заметил Ратманов. — Иначе как решился бы он идти в плавание на судне с такой командою? — И Макар Иванович кивнул на шлюпку. — Ну да от нас, конечно, хоть куда сбежишь...

— Напрасно смеетесь, Макар Иванович, — сказал Крузенштерн. — Здешние жители не виноваты, что среди них недостает искусных моряков. Дело в будущем поправимое, если возьмутся за него умелые люди.

Ратманов хотел возразить, что коли и смеется, то не над командою брига... Но в тот момент с левого борта подошел комендантский баркас и на палубу поднялся гарнизонный офицер.

— Господин капитан! Господа! Поручено мне комендантом сообщить, что его превосходительство Николай Петрович сегодня отбывают. Комендант просит всех пожаловать к обеду, проводить его превосходительство...

Офицеры смотрели на Крузенштерна. Он сказал:

— Я уже имел честь обговорить с господином Резановым все, что касается дальнейшего нашего плавания, и не смею более отнимать его время. Что же касается обеда, то как раз в этот час

должно мне быть на корабле по крайней служебной надобности. Принесите господину коменданту мои извинения.

— А... другие господа офицеры? — спросил простодушный пехотный поручик.

— Что до господ офицеров, то сие на их усмотрение.

Офицеры один за другим сослались на неотложные дела. Только лейтенант Головачев молчал. И все в конце концов взглянули на него. Он покраснел и голосом, в котором чуть ли не слезинки перезванивались, но твердо проговорил:

— Ежели господин капитан не укажет мне на твердую необходимость быть по службе на корабле, я не вижу причины не поехать проводить Николая Петровича Резанова.

Всем стало жаль его. Мичман Беллинсгаузен даже закашлялся от неловкости, а Ратманов сказал с непривычной мягкостью:

— Да и мы не видим причины. Что вы, в самом деле, Петр Трофимыч? Езжайте, коли есть желание...

В этой мягкости, однако, опять почудилась Головачеву усмешка, и он, резко отвернувшись, сказал посланцу коменданта:

— Едем, господин поручик.

Головачев ехал на берег с грустью. И с досадою на весь белый свет: на офицеров — товарищей своих по кораблю, на себя (непонятно отчего) и даже на Николая Петровича. Но сильнее досады была затаенная надежда на чудо.

Умом Головачев понимал, что мысли его — вроде тех сказок, которыми утешал он себя в детские годы, в бытность в корпусе, когда подкрадывалась нестерпимая тоска по дому или закипали слезы обиды на бойких и насмешливых товарищей по роте. Ночью, утыкаясь мокрым лицом в казенную подушку, мечтал тогда Петя, что однажды посетит их Морской шляхетный корпус матушка-императрица Екатерина Великая. И, проходя перед линией выстроившихся во фронт воспитанников, заметит небольшого роста, но на диво подтянутого и ясного лицом кадета из младших классов.

— Как твое имя? — ласково спросит государыня.

— Головачев Петр, ваше императорское величество!

— Молодец... А скажи-ка, голубчик, — обратится государыня к директору корпуса Голенищеву-Кутузову. — Каковы успехи Головачева Петра? Радеет ли?

Кутузов — вице-президент адмиралтейств-коллегии и прочая, и прочая, — бывающий в своем корпусе не многим чаще самой императрицы, растерянно смотрит на инспектора классов Николая Гаврилыча Курганова. Тот поспешно делает шаг вперед:

— Успехи отменные, ваше императорское величество! В изу-

чении всех наук показал изрядные способности и прилежание. Поведения также весьма похвального.

— Отрадно сие... Однако же... — Матушка-императрица глядит в лицо замершему от сладкого страха кадету Головачеву. — При таком расположении и душа должна радоваться. Отчего же глаза у тебя, Петя, невеселые?.. Далеко ли твои родители?

— Так точно, ваше императорское величество, — сипловатым от набезжавших слез голосом говорит он. — В Калужской губернии. Батюшка в отставке уже... Я полгода не видел его и маменьку...

Голенищев-Кутузов бледнеет при столь неприличном и дерзком многословии кадета, но государыня кладет Пете на голову мягкую ладонь и кивает ласково. А затем строго спрашивает директора:

— Не чинит ли кто Петру Головачеву обид?

Его высокопревосходительство лепечет, что «никак нет, даже и невозможно сие», но от матушки-императрицы скрыть ничего нельзя, каждого она видит до самой души, и побледневшие Филипп Кушелев и Евлампий Левенгарц, кои вчера отобрали посланные из дому сласти да еще смеялись обидно и обзывали неженкой, опускают в великом смущении головы. Да и братья (старший — Андрей и двоюродный — Петр Головачев-первый), вспомнив, как не хотели заступиться за Петю, чтобы не ссориться с товарищами, теперь белы от страха.

И говорит великая государыня директору:

— С обидчиками учинить разбирательство, и всех, кто виновен, наказывать примерно...

Тогда Петя вытягивает шею, глядит на матушку-государыню во все глаза и говорит умоляюще:

— Простите их, ваше императорское величество! Вы же такая добрая! А они ведь не со злости, они просто по неразумению. Я им дурного не хочу, только пусть больше не пристают!

— Ну, коли так... — улыбается государыня. А на тех глядит строго: — Но смотрите у меня...

А потом говорит она директору корпуса:

— Ведомо ли тебе, генерал, что есть у меня мысль устроить в Ораниенбауме отдельный класс для особо прилежных и к навигаторскому и военному на море делу способных мальчиков? С тем чтобы из них выходили скорее других славные офицеры для моих кораблей? Вот и решила я, что Петр Головачев будет там среди первых воспитанников. А чтобы беспокойство о родителях не мешало его учению, надлежит им переехать в Санкт-Петербург, для чего жалую я отцу Петра Головачева добавочный пенсион и в столице каменный дом со службами...

...Ох, сказки, сказки. Хоть и понимал всю их несбыточность, а на какое-то время утешали.

Но стоит ли сейчас утешаться пустыми мечтаниями? Не дитя же. Двадцать пять лет прожил и повидал немало. Пороху успел понюхать в девяносто восьмом году, когда наши корабли вместе с англичанами блокировали берег Голландии. В штормах бывал и ураганах, причем в таких, когда многие не робкого десятка люди прощались с жизнью, а он страха не показывал. И теперь вот обошел полсвета и дело свое исправлял не хуже других, капитан Крузенштерн подтвердит это может по совести.

Хотя и молод лейтенант Головачев, но позавидовать его морскому умению могут старые служаки, которые за всю жизнь не видели ничего, кроме Кронштадта, Ревеля и ближних балтийских берегов. Пора бы лейтенанту и внутри себя обрести твердость. Но до сих пор, когда он в тесной каюте своей не спит после вахты и вспоминает все твердосердечие людей друг к другу, все неясности в жизни и обиды, приходит жалость к себе. И, как в детстве, хочется, чтобы случилось чудо.

Вот и сейчас, под равномерное повизгивание уключин, под ровное покачивание зыби, накатывают мысли о невозможном.

...Резанов улыбнется навстречу ласковой своей улыбкой:

— Петр Трофимович, голубчик, после всего, что проплыли мы вместе, зачем же расставаться? Отчего не отправиться вам со мною на Кадьяк и далее к американским берегам, а господин Крузенштерн пусть возьмет вместо вас господина Давыдова или господина Хвостова, коих назначил я вначале своими попутчиками. Тоже офицеры, и тоже моряки отменные... Ваше же возвращение в Санкт-Петербург хотя и задержится, но зато польза от совместного нашего вояжа в Америку будет немалая...

Нет, несбыточно это.

А почему несбыточно?

Да потому, что ежели бы хотел того Резанов, то высказал бы такое предложение сразу, как решил плыть на «Марии».

Но, может, сперва недосуг было думать о Головачеве, а сейчас вспомнил? Можно ли помыслить, что совсем не помнит Николай Петрович того доброго, что было между ними в плавании после Нукагивы?

Отчего так тянуло Головачева к Резанову? Может быть, кто-то незнакомый с ними обоими подумает впоследствии, что лестно было молодому лейтенанту дружеское знакомство с близким царю вельможею? Или, чего доброго, придет мысль, что боялся Головачев быть замешанным среди других офицеров в дерзком неповиновении посланнику? Но все, кто знает второго лейтенанта «Надежды», не могут, не покрывив душой, обвинить его в трусости или подобострастии начальству. Известно на корабле и в Петропавловске, что в прошлом пребывании на Камчатке, когда Резанов обвинял Крузенштерна в бунте, объявил его лишенным капитанской должности и предлагал всем по очереди офи-

церам принять начальствование над кораблем, Головачев ответил, как и прочие:

— Ваше превосходительство, кроме господина Крузенштерна, никого представить капитаном на «Надежде» невозможно. В нем одном офицеры и служители видят командира. Не мне судить о его вине перед вами, он капитан мой, и принять ваше предложение для чести офицера флота было бы немыслимо.

Не разгневался тогда Резанов, не кричал, как на других, не укорял, а только сказал печально:

— Ну, что же, Петр Трофимович, мне ведомо, что вы всегда поступаете по совести.

И кто знает, может быть, и эта беседа, а не только уговоры губернатора Кошелева повернули Резанова к миру с Крузенштерном. Непрочным, правда, оказался мир, хватило его лишь на плавание в Японию. Сейчас Резанов ушел с «Надежды» окончательно. И забыл лейтенанта, который душевно сочувствовал ему в тяжелые месяцы.

Почему сочувствовал? Потому что казалось ему, Петру Головачеву, что чем-то похожи они с Резановым мыслями и характерами. Похожи, несмотря на разницу в годах и званиях. Чудилось Головачеву, что угадал он в Резанове незащищенную душу, понял его одиночество и тоску по искреннему другу.

А где взять такого друга на маленьком корабле посреди громадного и неведомого океана? Офицеры были врагами, в свите оказались люди пустые и к душевным терзаниям начальника своего равнодушные. Только Шемелин оставался надежен, но в своем звании приказчика был Федор Иванович скорее на положении слуги, нежели товарища. Вот и потянулся Резанов к Головачеву, видя в нем одном сердечного собеседника и понимающего человека.

А потом, обретя силу и уверенность, утвердивши свое звание Начальника, забыл о том, кто не побоялся пойти против товарищей ради его, Резанова, защиты.

Но забыл ли? А может быть, сегодня все-таки скажет: «Господин Головачев, зачем же расставаться нам?»

Резанов ничего не сказал. Ничего, что изменило бы судьбу лейтенанта Головачева. Он улыбался ласково, подержал Петра Трофимовича за руки, говоря, что трогательно рад его приезду и дружеской верности. Но... вот и все. После Резанов не выделял уже Головачева из числа провожающих.

С частью из них Резанов чувствительно обнялся и расцеловался на берегу, другие же поехали провожать его на «Марию», которая стояла уже за пределами гавани, в губе. День был тихий и нежаркий, с влажностью в воздухе и горами облаков, из-за ко-

торых солнце опускало на зеленоватую воду косые столбы лучей. Со шляпки поднялись все на палубу «Марии», где его претворительству рапортовал по форме командир брига лейтенант Машкин — человек малообразованный, со злым землистым лицом, известный тем, что недавно люто наказал своего матроса кошками и того в беспамятстве свезли на берег. Резанов, однако, кивнул ему с любезностью, а затем опять пошли объятия и поцелуи с провожающими.

— Прощайте, прощайте, друзья мои, — говорил Резанов. Голос его дрожал, и все ощущали искреннюю горечь. У Шемелина в бороде запуталась искристая капелька, остальные тоже вытирали слезы. — Коли судьба разрешит, свидимся в Санкт-Петербурге по окончании всех путешествий наших. Ежели кто не вернется, на то воля Божия. Будем же помнить друг друга до конца дней. Прощайте...

Через день Шемелин записал в своем журнале:

«Прощайте», — твердил он и тогда, когда мы, оставя уже его, были на шлюпе и находились на довольной от судна отдаленности, — отголосок поразительный для сердец, любящих сего Начальника. С полудня в 5 часов 14 числа «Мария», пользуясь попутным ветром, подняла якоря и скоро скрылась из глаз наших».

Головачев растроган был при прощании не менее остальных. Он уже не мечтал о чуде и обиды на Резанова не чувствовал. Все заснонила горечь расставания.

Но когда шляпка подходила к «Надежде», новая, непохожая на прежнюю печаль тоска сдавила Головачеву грудь.

Это был первый приступ той скручивающей душу тоски, которая потом не раз черной гостьей приходила к Головачеву...

Тоскливо снова сделалось и Толику. До слез.

Подошел Султан, ткнул Толика носом под локоть: ты чего?

А чего он, в самом деле?

Будто наяву, Толик видит невысокую корму с решетчатыми окнами и надписью «Мария», человека на этой корме. Человек поднял треугольную шляпу и повторяет с горечью: «Прощайте, прощайте...» И печальное эхо разносится над водой. И здесь, сейчас, отдается в комнате. В ушах у Толика отзывается.

Это слово не Резанов говорит друзьям. И не Головачев ему отвечает. Это, видимо, Толик прощается с робингудами.

Он, Толик, тоже оставил экспедицию на полпути...

«Ну, что я такого сделал?! Никаких важных дел там не было, никто из-за моего ухода не пострадал! И я же не начальник был... Я объяснил, что домой надо, и они сказали: «Иди...»

«И ты пошел, потому что боялся. И все это видели».

«Если бы сказали: «Не ходи», я бы остался».

«А они не сказали, хотели испытать тебя. И поняли, что ты трус».

«...А может, все-таки не поняли?» — с горькой надеждой подумал Толик.

ВЫСТРЕЛ

Около восьми часов пришли мама и Варя. Веселые. Похвалили Толика за порядок в комнате, а на хмурый вид его не обратили внимания. Были они заняты разговором о каком-то своем деле. Что за дело — Толика сейчас не интересовало. Его грызли все те же мысли: о робингудах и о своем дезертирстве.

Грызли и тогда, когда все уже легли спать.

Шторки были задернуты, но светлая июльская ночь сочилась в щели и сквозь тонкую ткань. Мама и Варя тихо дышали во сне, а Толику думалось, думалось... Наконец, чтобы уйти от своих мыслей, Толик опять взялся за «Острова в океане». Сделал из одеяла шатер и включил фонарик.

...И ушел Толик от своей печали и тревог в другое время, к печалям и тревогам других людей, которые жили давным-давно. Но оттого, что людей этих нет уже на свете, их тревоги не казались маленькими и далекими.

Толик прочитал о плавании Крузенштерна вдоль берегов Сахалина и о том, как ошибся капитан «Надежды», решив, что Сахалин — полуостров. О том, как вернулись моряки на Камчатку, исправили корабль, выгрузили наконец злополучное полосное железо и получили долгожданное письмо с родины. Как Крузенштерн вздохнул с облегчением, узнав, что жалобы Резанова и обвинения в бунте действия в Петербурге не возымели и можно со спокойной душой плыть в Китай, а затем и домой.

Настроение у моряков было радостное. У всех, кроме лейтенанта Головачева. Лейтенант чувствовал себя нездоровым, и на душе лежала тяжесть. Службу Головачев нес исправно, но в свободные часы был один в своей каюте или рассеянно бродил по кораблю, избегая разговоров.

Однажды, когда шли уже вблизи китайских берегов, зашел Головачев в кают-компанию, где астроном Горнер на столе раскладывал широкие листы — наброски будущих карт. Оглянувшись на Головачева, Горнер ласково сказал:

— Вот и ваше имя на карте, Петр Трофимович. Мыс Головачева на Сахалине. Не правда ли, сие греет душу?

— Теперь, как бы рано ни кончилась моя жизнь, какой-то след на белом свете я оставлю, — серьезно ответил Головачев.

— Зачем же вам думать об окончании жизни? Она у вас еще впереди!

Лейтенант покачал головой.

Горнер участливо сказал:

— Петр Трофимович, с некоторых пор замечаю я, да и не только я, вашу странную задумчивость. Неужели причина ее те давние прискорбные события, о которых пора забыть?

— Может быть, и пора, да ведь не получается, — тихо сказал Головачев. — Как забыть, если вижу каждый день людей, которые считают меня отступником чести?

— Помилуйте, кто же так считает? — воскликнул Горнер. — Господа офицеры искренне озабочены вашим печальным состоянием.

— Так ли? — усмехнулся Головачев. — А не вернее ли думать, что озабочены они другим? Не исключено, что при возвращении нашем будет разбор того случая в Нукагиве, и господа офицеры опасаются, что я покажу против них.

— Кто же так думает?.. Да и какой может быть разбор, когда государь уже прислал господину Крузенштерну высочайшие рескрипты с наградами? Случай тот давно предан забвению, а о вас товарищи никогда не могли помышлять ничего худого. А если уж вы так мучаетесь, не проще ли все выяснить в честном разговоре с господином Крузенштерном?

Головачев недовольно пожал плечом, отчего эполет его приподнялся, как крылышко. В разговоре с капитаном не было надобности, потому что такая беседа уже состоялась два дня назад.

— Петр Трофимович, — напрямик сказал тогда Крузенштерн. — Я догадываюсь о причинах вашего расстроенного состояния. Вам кажется, что несогласие с товарищами в том деле вызывает к вам скрытую нелюбовь и неуважение офицеров. Ну, честное же слово, это не так. Защищая господина Резанова, вы были искренни, и одно это уже оправдывает вас...

— Я не ишу оправданий, господин капитан, — сухо отозвался Головачев, но в сухости этой отчетливо проступила жалоба.

— Петр Трофимыч... Все считают вас прекрасным моряком и достойным товарищем. И, право же, не стоит больше об этом...

— Вы правы, об *этом* не стоит, — отозвался Головачев. Но о другой причине своего удрученного состояния он говорить и вовсе не мог. Причина эта — предательство Резанова.

Много раз приказывал себе Головачев не думать о Резанове. Но мыслям не прикажешь. Обида не исчезала. Тоска приходила все чаще. «Отчего так устроена жизнь, — думал он, — что люди не могут положиться друг на друга и не ведают ни привязанностей, ни благодарности?»

«...В китайский порт Макао «Надежда» пришла 20 ноября 1805 года. Встали на рейде гавани Тейпу. Ждали теперь «Неву».

Лисянск должен был вернуться от берегов Америки с грузом. Предстояло заняться торговыми делами, дабы исполнены были планы Российско-Американской компании.

Но не все верили, что «Нева» придет. Капитан-лейтенант Крузенштерн не верил. Капитан-лейтенант Ратманов не верил. И другие офицеры не верили. Конечно, они не сомневались в своем товарище Юрии Лисянском, но думали, что Резанов, повстречавши «Неву» в американских гаванях, оставит корабль там для своих нужд. А посему склонялись многие к плану, чтобы, подождав еще немного, отправляться к родным берегам, по которым все стосковались без меры.

Но главный комиссионер Компании Шемелин не мог допустить мысли, что экспедиция вернется, не совершив торгового оборота. Ради чего стоило тогда идти кругом света, подвергать корабли, людей и компанейское имущество всяким опасностям?

Шемелин упорно спорил с офицерами и старался не пропускать ни одного разговора, где можно было бы доказать, что «Неву» следует ждать хоть год, хоть два.

Один разговор такой был утром на палубе «Надежды», когда матросы занимались уборкою, а офицеры вышли из кают, чтобы хоть немного глотнуть свежего воздуха.

Но не было свежести. С утра над желтой водой гавани Тейпу, над бамбуковыми парусами джонков, над береговыми крепостями, над изогнутыми по краям крышами Макао растекалась липкая духота. С запахом гнили от воды и чадом береговых таверен.

Ратманов, дергая расстегнутый воротник мундира, помянул всех чертей (морских и сухопутных). Затем, обращаясь к офицерам и более всего к капитану, сказал:

— У господ купцов одни прибыли на уме. А мы здесь варимся жаживо.

Шемелин, оказавшийся тут же, вздохнул вроде бы спокойно, однако со спрятанной большой тревогой:

— Опять вы, Макар Иванович, купцов поносите. А о чем же купцам думать, как не о прибылях? Что здесь худого?

— Худое то, что ради выгоды вашей множество народу страдает. В Америке — промышленные люди в бедности мрут, а здесь — мы от жары подышаем и ждем неизвестно чего...

— Подождем еще две недели, как уговаривались, — покладисто сказал Крузенштерн. — Ежели и тогда не будет «Невы», подыдем якоря. На «Надежде» товару почти нет, нечего и начинать торговлю.

— Да не будет «Невы», не пустит ее Резанов! — с досадою воскликнул Макар Иванович. — Хотите пари? Любые тысячи готов заложить, да и голову свою заодно!

Осторожно смеясь, Шемелин сказал:

— Вы, Макар Иванович, столь великим закладом всех уверить хотите, что «Нева» не придет. Но как вам о сем знать с точностью? А вдруг случится не по-вашему? И большие деньги, да и голова, есть вещи немаловажные, зачем же рисковать... Вот ежели бы пари заключить поменьше да попроще, на то я пошел бы с охотою.

— На какое же? — усмехнулся Ратманов.

— Давайте так. Если придет «Нева», ставите вы дюжину бутылок мадеры, дабы поздравить господина Лисянского с благополучным прибытием. Ну а не придет — тем же расплачиваюсь я.

— Охотно! А кто еще спорит со мною? — с хмурым каким-то азартом отозвался Ратманов.

Крузенштерн, странно глянув на приказчика, вдруг сказал:

— Я согласен с господином Шемелиным, что «Нева» должна вот-вот быть в Макао. Ставлю на том лисицу. Согласны, Макар Иванович?

Другие офицеры, увлекшись, тоже заключили пари — кто за приход «Невы», кто против. С Ратмановым, с Шемелиным и друг с другом.

— Ну а вы, Петр Трофимыч? — оборотился Ратманов к лейтенанту Головачеву.

— Уверен, что «Нева» будет, — негромко отозвался Головачев. — Господин Резанов не тот человек, чтобы ради личных удобств задержать корабль и навредить многим людям...

— Ну, каков господин Резанов, нам ведомо... — начал Макар Иванович, но под взглядом Крузенштерна сменил тон. — Ну, так заключаем пари с вами? Что ставите?

— Что угодно, — равнодушно сказал Головачев. — Хоть все меха, что купил на Камчатке.

— Проиграть не боитесь?

— Ежели и проиграю, что за беда? В том ли богатство?

Поспорили каждый на шитую из куниц парку и на десяток лисиц.

Шемелин был доволен. Ему казалось, что пари между офицерами заставит их не так настаивать на скором отходе.

...«Нева» пришла в ночь на 3 декабря, через неделю после спора на палубе «Надежды».

Ратманов подошел к Шемелину, поздравил с прибытием долгожданного корабля и подал письмо, которое привезла с подхитившей «Невы» лодка португальских купцов. Письмо было от приказчика Коробицына, ходившего в Америку с Лисянским. Шемелин прочитал его на юте при свете гакабортного фонаря.

Из письма ясно стало, что «Нева» в Америке даже и не встречалась с Резановым.

Не скрывая торжества, Шемелин сказал Ратманову:

— Если бы мы не дождались «Неву» несколько дней и ушли бы в Россию, то, признайтесь, Макар Иванович, не послужили бы уверения ваши к великому вреду интересам Компании?

Потом Шемелин записал в своем «Журнале» со смесью удовольствия и досады: «От сих слов хотя заря румяная и показалась на щеках его, но он скоро отверг от себя всякую стыдливость и закрыл громким хохотом с непристойной бранью: «Черт ее знал (то есть «Неву»)!» Я так думал!»

Оставим на совести приказчика Шемелина эту сцену. Трудно поверить, что при свете желтого фонаря он смог различить на щеках Макара Ивановича «румяную зарю», если бы такая и появилась. И едва ли Ратманов мог страдать оттого, что едва не причинил убытков комиссионерам, которых терпеть не мог.

— Что касаето вашей Компании, то я о ее интересах при споре и не помышлял, — сказал он Шемелину.

— Что вы помышляли, а что нет, Макар Иванович, теперь неважно... Чьи ж пари?

— Ваши, ваши! Завтра же расплачусь.

И Ратманов заплатил всем свой проигрыш немедленно, только Шемелина просил подождать, поскольку за мадерой надо было ехать на берег. Отдавая кунью парку и десять лисиц-огневок Головачеву, он хмуро сказал:

— Шемелин вне себя от счастья... Дело в том, что Лисянскому просто повезло: не встретил он Резанова. А то, без сомненья, зимовала бы «Нева» на Кадьяке...

Головачев спорить не стал. Выигранные меха ногой отодвинул в угол каюты. Лег на койку. При упоминании о Резанове опять пришла глухая тоска и не отпускала до утра. А утром сделалась тяжелее прежней — липкая, как желтая духота над гаванью Тейпу. Тоска и обида: не на Резанова уже, а скорее на всю жизнь, в которой есть место измене и равнодушию.

Оставаться на корабле было выше сил. Головачев рад был случая съехать с другими офицерами на берег. Под предлогом нездоровья отказался он обедать вместе со всеми в богатой португальской таверне и незаметно оставил шумную компанию. Пока шли в таверне разговоры и обмен новостями, пока спорил Шемелин с Крузенштерном и Лисянским о торговых делах, Головачев один бродил по городу.

Полдня ходил он без цели среди больших зданий португальской колониальной постройки и среди кривых лачуг, по набережной и рынку с дымом жаровен и криками торговцев. На диковинки и редкости, что продавались в лавках, смотрел без прежнего интереса, на богатство — без зависти, на нищенство — без сочувствия. Лишь в те минуты, когда видел голых, копошащихся среди мусора и мух ребятишек, просыпалась колющая душу жалость. С детства не выносил, когда страдают маленькие.

В корпусе несколько раз шел под розги, взявши на себя вину младших кадетов...

Сейчас дал несколько монет согнувшимся до земли родителям голодных детишек и ушел поскорее из нищего квартала. Бежал со стыдом. Какой монетою откупишься от страданий человеческих?

Любил о сем предмете говорить и Резанов, когда беседовали они вдвоем. Сеговал Николай Петрович на жестокосердие людское, от которого много на свете боли и несправедливостей. Верил тогда ему Головачев... А сейчас? Сделает ли Резанов что доброе для облегчения жизни промышленных людей и жителей островов американских, как обещал? Или правду говорил Ратманов, что печется его превосходительство лишь о прибылях, потому что сам вложил свои капиталы в дела Компании?

Верилось, что сделает. Николай Петрович — человек добрый и честный. Но... вспоминалось и другое. Как не отпустил Резанов на родину японских рыбаков, принесенных бурей к берегам Камчатки. Не отпустил, несмотря на просьбу Крузенштерна. Объявил, что якобы сделать сего без дозволения государя императора не может... Рыбаки, обманувши сторожей, без пищи и воды, на утлой байдаре уплыли с Камчатки. По слухам, они благополучно добрались до родины, Господь был к ним милостив... Но почему не мог быть милостив Резанов? Срывал на бедняках досаду за свое неудачное посольство в Нагасаки?

Ну, в конце концов, что Резанову какие-то незнакомые японцы? Не ощутил он сердцем их несчастий и тоски по дому... Но как он мог бросить Петра Головачева? Оставил, будто случайно надоевшего попутчика... И обиды этой не изжить, потому что нет ничего больнее предательства...

В лавчонке под бамбуковым навесом сидел старый китаец, крутил в руках кусок желтого дерева и кривой нож. Сыпалась из-под ножа мелкая, как пыль, стружка. Полки были уставлены деревянными драконами, фигурками неведомых зверей, куклами, идолами всяких размеров и бюстами-портретами, что в отличие от идолов и зверей вид имели человеческий и живой.

Два английских матроса вертели в руках бюст и сдержанно гоготали. Были, видимо, довольны сходством. Сходство с одним из матросов и вправду было явное...

Неясная еще мысль мелькнула у Головачева. Постоял он, криво усмехнулся, спросил у резчика по-английски:

— А меня сделать можешь?

Китаец заулыбался беззубо, закивал, выдернул из-под себя лист картона, макнул в пузырек с тушью бамбуковую палочку. Пристально и твердо, несмотря на улыбку, глянул на офицера глазами-шелками и фантастически быстро набросал на шероховатом листе его черты — анфас и в профиль.

Головачев, узнавши себя как в зеркале, поразился сходству. Испугался даже. И сразу подумал: «Значит, судьба».

Пришептывая, на ломаном английском языке китаец сказал, что господин может прийти вечером, заказ будет готов. Головачев кинул ему в задаток португальский пиастр и до вечера бродил среди разноязычного многолюдья или сидел на берегу, где от воды пахло гнилью и человеческим потом. Зашел в таверну, выпил кислого теплого вина, хотя раньше не пил даже в праздники за обеденным столом.

Ближе к сумеркам пришел он в лавку китайца. Бюст был готов, и Головачев опять вздрогнул, уловивши живое сходство.

«Меня не будет, а он останется... Ну, что же, так и надо. Пусть помнит...»

На этом Толик уснул.

Проснулся он поздно. Тупо болела голова, скребло горло. Но Толик жаловаться не стал и поднялся сразу. Аккуратно застелил постель и стал делать все, что велят мама и Варя: сходил за водой и за хлебом, помыл после завтрака тарелки, помог Варе выжать и развесить на дворе выстиранное белье... Хмурой покорностью он как бы казнил себя за вчерашнее.

Мама печатала. Перед обедом она закончила предпоследнюю главу и сказала, чтобы Толик проложил копиркой новые листы. Последнюю порцию. А сама пошла к знакомой машинистке — просить свежую ленту к своему «Ундервуду».

Варя окликнула Толика из кухни:

— Ты не забыл, что хотел сходить на рынок за картошкой?

— Ужасно хотел. Аж вспотел весь, — буркнул Толик. Но сложил в пачку готовую к работе бумагу и пошел.

Когда он вернулся, дома не было ни мамы, ни Вари.

Толик снова сел читать. Царапанье в горле прошло, голова тоже почти не болела, лишь кружилась немного.

Глава называлась «Выстрел».

Толик прочитал полстраницы и услышал, что в наружную дверь стучат. Так размеренно и аккуратно стучал лишь Витя Ярцев — когда приходил с поручением от Олега. У Толика замерло и часто застреляло сердце. Он выскочил в коридор.

— Здравствуй, — привычно сказал Витя. И сбился. Виногато махнул ресницами и стал смотреть в пол. Он держал сломанный пополам деревянный меч и разорванный до половины картонный щит. Его, Толика, меч. Его щит.

— Вот, — проговорил Витя. — Олег велел отдать... Потому что мы так решили.

— Что решили? — тихо спросил Толик. Хотя все, конечно, понял. Ох как тошно ему сейчас было...

Витя поднял наконец глаза. И сказал тверже:

— Потому что мы тебя исключаем. Раз ты бросил нас в опасный момент.

Толик молчал. Стоял прямо и спокойно. Этим внешним спокойствием, этим молчанием он только и мог защитить себя от стыда и горя. Хоть чуть-чуть защитить.

— Ну... вот. Все, — опять виновато сказал Витя. И положил картон и обломки к Толькиным сандалиям. — Я пошел...

— Хорошо, — отозвался Толик.

— А может... ты что-то сказать хочешь?

— Нет. Зачем?

Это было для Вити уже непонятно. Кажется, он ждал, что станет Толик оправдываться. Не дождался. Повторил растерянно:

— Тогда я пошел.

— Иди.

Витя неловко двинулся по коридору. Толику очень захотелось заплакать. Он даже подумал, как придет в комнату и уткнется носом в подушку... Но сейчас плакать было еще нельзя. И он смотрел в спину робингуду Ярцеву и вдруг вспомнил, как шли они друг за другом по сучковатому стволу.

— Подожди, — сказал он, и Витя быстро обернулся.

— Что?

— Скажи... вашему командиру... — Толик переглотнул. —

Он, конечно, смелый и вообще... И все вы тоже. Но если человек тяжесть несет, ему надо помогать, чтобы не сорвался.

— Ты не сорвался, а просто сбежал, — тихо возразил Витя.

— Я не про себя, а про Шурку.

Нет, он не стал плакать, когда вернулся в комнату. Сделалось немного легче от того, что он сумел в чем-то упрекнуть робингудов. Он, Толик, плохой, но и они тоже виноваты... Это было хотя и чахленькое, но все-таки утешение...

Сломанный меч Толик отправил в печку: все равно не почишь, да и зачем он теперь? Хотел сунуть туда же и порванный щит. Не нужна ему теперь эта рыцарская эмблема.

Но в последний момент он передумал.

Увидел в углу щита звездочку и передумал.

Такая звездочка... Как на рукаве гимнастерки... Если сжечь, значит, он, Толик, совсем уже никто? Хуже всех?

Он всхлипнул наконец и начал с сумрачным упорством искать по ящикам конторский клей. Нашел пузырек. Склеил щит по разрыву, придавил к полу, подождал, когда высохнет. Потом, стискивая зубы, прибил щит к сыпучей штукатурке над своей кроватью. Назло робингудам. Назло себе. Назло слезам.

Затем он снова потянулся к листам с главой «Выстрел».

«...Корабль мягко качало. В ящике стола, царапая дерево, ездил туда-сюда пистолет со свинченным курком. Курок испортился еще на Камчатке, когда были на охоте. Давно следовало отдать в починку слесарю Звягину или заняться самому, да все недоставало времени.

Головачев уже который день подряд писал письма. Родным, капитану и даже государю. Чтобы объяснить, почему же такое случилось с ним, с лейтенантом Петром Головачевым... Вначале слова находились с трудом, а потом словно что-то открылось в душе, и фраза за фразой потекли на бумагу.

Качка не мешала привычной руке. Трудно было только попадать пером в горлышко пузырька с чернилами, а затем перо быстро бежало по бумаге, выводя слова боли и упреков.

В самом деле! Разве не виноват капитан, что затевал ссоры с Резановым? Не будь тех ссор, не ожесточилась бы душа Резанова, не покинул бы он «Надежду», не оставил бы Головачева.

А офицеры? Разве за добрыми словами не прятали они затаенной злости? А господа ученые? Разве на пути в Зондском архипелаге не ощутил однажды Головачев в своей тарелке едкой горечи, какая бывает в отравленной еде? Кто, кроме доктора Эспенберга, мог подсыпать порошок? Сумасшедшая мысль? Как знать...

Отрывочные воспоминания о случайных словах и непонятных взглядах, о подозрительных фразах теперь складывались в ясную картину. Он, Головачев, был лишний на корабле, его ненавидели и боялись. И дружбы с Резановым простить не могли.

Что же, господа, вы увидите, как поступает в таких случаях человек чести. Пусть будет вам это и упреком и возмездием. И ему тоже.

Испытывая облегчение, будто кончил тяжелую работу, Головачев надписал конверты, перевязал и положил в ящик с пистолетом. Затем вышел на палубу.

Здесь он увидел Шемелина.

— Слава Богу, я все теперь кончил, — сказал он, улыбаясь.

— Что же такое вы кончили? — спросил Шемелин. — Конечно, писали что-нибудь?

— Да, писал. Но теперь уже устал и больше писать не буду... — Головачев опять улыбнулся.

— Как же не будете? — засмеялся Шемелин. — Вот почти перед глазами нашими лежит остров Святой Елены. Там вы, без сомнения, найдете новые предметы, достойные вашего пера.

— Может быть, и так, — вздохнул лейтенант и отошел.

Шемелин смотрел вслед ему с беспокойством. Он помнил вечер, когда корабль находился против мыса Доброй Надежды. Тогда Головачев передал Федору Ивановичу пакет с бумагами и

просил сохранить до Кронштадта. Сказал, что здоровье его расстроено и мало надежды вернуться домой.

Шемелин упрекнул его за столь печальные фантазии, но Головачев ответил, что передал пакет лишь на всякий случай.

— А бюст свой мне отдали тоже на всякий случай? Кстати, что за странная приписка на пакете? «Бюст мой старшему по чину принадлежит». Кому же это?

— А вы не догадались?

— Уж коли вы, не дай Бог, в самом деле умерли бы, то кому же его отдать, как не вашим родителям?

Головачев покачал головой. Шемелин высказал еще несколько догадок, затем недоуменно развел руками.

— Он — для Николая Петровича Резанова, — тихо сказал Головачев.

Шемелин изумился:

— Да ему-то на что? Неужели думаете вы, что записаны в вельможеские друзья?

— Не думаю, — усмехнулся Головачев. — Но он поймет.

Николай Петрович Резанов не узнал об этом разговоре и не получил бюста. Зимой 1807 года, после плаваний и приключений в Русской Америке и Калифорнии, он возвращался в Санкт-Петербург через Сибирь, простудился и умер. Могила его в Красноярске. Далеко-далеко от другой русской могилы, что затерялась на острове Святой Елены.

...Остров встал из моря суровым нагромождением утесов, и среди этих громадных и сумрачных скал городок Сент-Джеймс, лежащий в узкой долине, казался милым и уютным.

Увидев его, Головачев ощутил спокойствие и даже беззаботность. Словно маленький кадет, которому судьба подарила лишний день каникул. Как будто сперва решено было ехать из родного дома в корпус сегодня и вдруг перенесли отъезд на завтра. Вещи уложены, забот никаких, а впереди еще целый день. Можно не спеша побродить по любимым местам, осмотреть все с ласковой грустью, посидеть в гостинной, где громко тикают на камине старые часы с бронзовыми завитушками. Полистать в отцовском кабинете тяжелые, похрустывающие от старости книги...

Так и сейчас.

Съехав на берег, ходил Головачев по тихим улицам один и со спутниками: с офицерами, с Шемелиным, с доктором Эспенбергом (забывши недавнюю ссору с ним и упреки в попытке отравления). Был спокойно-весел. С улыбкой рассказал Федору Ивановичу, как видел в окне одного дома молодую мать, кото-

рая забавно играла с девочкой-малюткой. Признался, что детей он очень любит. В доме у майора Сайла, где Крузенштерн снял квартиру и офицеры были в гостях, Головачев, как мальчик, возился с хозяйскими ребятишками, бегал с ними по комнатам, играл в прятки. Особенно много веселился он с пятилетней девочкой Джесси: вертел ее на руках, болтал с ней, угощал конфетами...

Следующим утром, в последнем письме, написал он, что именно эта девочка подарила ему еще день жизни...

Когда ясное небо уже было испещрено звездами и теплый ветер мягко трогал деревья, Головачев вернулся на «Надежду». По-прежнему спокойный и ласковый со всеми. С ночи заступил он на вахту и был на ней до восьми утра.

Утром седьмого мая, когда многие уже поднялись на палубу, а Крузенштерн съехал на берег, Головачев весело разговаривал со всеми, кого видел, шутил с Шемелиным, подталкивая его под бока.

— Да полно вам, — добродушно ворчал Федор Иванович. — Идите играйте вон с молодыми.

Головачев смеялся.

В восемь часов он прошел к себе в каюту.

День каникул был окончен, ночь тоже прошла, наступило утро прощания. И тяжелая тоска разом упала на Головачева. Как в давние времена при прощании кадета Пети с домом.

...Остались считанные минуты. Лошади уже поданы к крыльцу, и, чтобы сократить неизбежную и давящую до слез печаль, Петя начинает торопить время. Пусть уж скорее все кончится. И тоска эта кончится... Он уныло топчется на крыльце, пока дворня укладывает в бричку баулы. Брат, которому надоела деревня и который рвется в корпус к товарищам, устроился уже в коляске. Пора и ему, Пете. Скорее уж — проглотить комок слез — и в путь...

Он вынул из ящика пистолет.

Тяжелый кремневый пистолет был заряжен еще со времен Камчатки. Так и не выстрелил, когда отвалился курок. Но сейчас курок был не нужен. Фитиль надежнее, не случится осечки.

...«Не надо!» — отчаянно подумал Толик.

Он знал, что *это* случится. Случилось сто сорок два года назад. Но все-таки надеялся на чудо.

«Не надо...»

«Не надо!» — мысленно крикнул себе Головачев.

Тот маленький Петя крикнул на крыльце: «Не хочу уезжать!» Он качнулся назад, к двери.

Вбежать в родные комнаты, остаться в них навсегда! Все-

питься в столбики перил на лестнице, в шкаф, в кровать. Стиснуть закаменевшие пальцы, чтобы не оторвали, не увели!..

Но все равно уведут. Уговорят, заставят. Скажут: «Надо». Никуда не спрячешься, никуда не уйдешь от этого железного «надо». Он, задержав всхлипы, последний раз обнимает маменьку и отца, на секунду утыкается лицом в грудь старой няньке и деревянным шагом идет к бричке...

Непослушными пальцами Головачев оторвал от платка полосу и скрутил в жгут. Выбил из кремня искру. Фитиль затлел. Головачев помахал им в воздухе. Появилось странное ощущение: будто не он все это делает, а кто-то другой. Он же смотрит на этого другого и снисходительно усмехается.

С этой усмешкою Головачев сел на стул между койкой и комодом. Голова гудела от торопливо выпитой бутылки ликера.

Головачев уперся правым локтем в комод, а ствол поднес к губам.левой рукой придвинул фитиль к затравке...

...Толик будто ощутил на губах вкус холодного, пахнувшего пороховым нагаром железа (так пахли стволы у охотничьего ружья Дмитрия Ивановича).

«Не надо! Не...»

Толик полчаса лежал ничком, и в ушах звенело от тишины, как от прогремевшего выстрела.

Потом он сказал лейтенанту Головачеву:

«Зачем ты это сделал?»

Головачев ответить не мог.

«Запутался, да? — зло спросил Толик. — Значит, если человек запутался, сразу пулю себе в глотку?»

Молчал лейтенант, похороненный с воинскими почестями на острове Святой Елены. Не было его. И не было тех, кто его знал и мог хоть что-то объяснить.

Что поймет посетитель старого островного кладбища, когда прочитает надпись на камне?

Изнемогъ подь горестной своей судьбою

**Петръ Головачевъ, второй лейтенантъ
русскаго фрегата Надежды.**

Маяя 7-го дня 1806 года. Возраста 26-ти лѣтъ.

Да почіеть прахъ его в мирѣ и тишинѣ

«Ну а я-то при чем?!» — крикнул себе Толик. Но едкое чувство виноватости не прошло.

«Я тоже запутался, — понял Толик. — Этим мы похожи...»

Подошел Султан, вопросительно махнул хвостом.

— Нет, — сказал Толик, — не бойся. Я стреляться не буду.

Черта с два...

Но что же все-таки делать? Как снять с души эту ржавую корку вины? С кем посоветоваться?

«С Кургановым, — подумал Толик. — Отнесу ему повесть и заодно все расскажу. Он поймет...»

Стало легче. Толик встал. Поднял с пола молоток и еще раз ударил по гвоздям, которые держали на стене щит с эмблемой. Так ударил, что вдавил картон в штукатурку.

Потом он взял Султана и пошел с ним купаться. Не на Военку, а к другой запруде, у моста. Здесь он повстречал вернувшегося в город Назарьяна. Они долго бултыхались в теплой мутноватой воде.

ФЕНИКС

Вернулся Толик поздно. Получил за это от мамы легкую нахлобучку, подурачился с Варей и почувствовал, что все в жизни встает на свои места. Не такая уж она плохая, жизнь-то...

Но когда он лег, опять подкрались беспокойные мысли. Они бояться подползать, пока человек движется, занимается делами. А как ляжет — опутывают клейкой паутиной...

И пускай бы тревожные, но отчетливые, такие, чтобы можно было разобраться. А то ведь путаница. Про грозу и самолет, про пистолет без курка, про порванный картон с эмблемой. Про Головачева, про Шуркин рюкзак. И весь этот клубок ворочается, как в густом киселе, в ощущении вины и смутного страха.

Сон иногда накрывал Толика, но и во сне было не легче. Толик видел, как вдоль строя английских солдат, опустивших к земле штывки, движется черный бархатный балдахин. Позади идут офицеры «Надежды», держа под мышками треуголки. Лысый, с белыми бакенбардами доктор Эспенберг тихо говорит Крузенштерну:

— Иван Федорович, вы же ни в чем не виноваты. Он был болен, вот и написал такое письмо. И не вам одному... Можно скорбеть о гибели, но обвинять себя нет никакой причины...

Крузенштерн молчит. Он знает, что причина есть, хотя еще и не разобрался в ней. И оттого, что не разобрался, особенно тяжело. Тот же клубок мыслей, что и у Толика.

Крузенштерн оборачивается к Толику:

— Ладно, я виноват. Но он-то зачем так? Тоже бросил экспедицию. Резанов бросил, он бросил...

Толик сжимается — сейчас Крузенштерн скажет: «И ты!»

Но Иван Федорович ничего не говорит больше, берет его за

руку и ведет обратно. Они поднимаются на палубу «Надежды». Паруса неподвижно и туго надуты, хотя корабль стоит у пристани... Но он недолго стоит. Крузенштерн кладет руку на штурвал, и «Надежда» начинает скользить в вечерней тишине.

Она не над водой скользит, а над булыжными мостовыми. Вдоль старых домов, где зажигаются желтые окошки. И Толик видит, что это не Сент-Джеймс, а Новотуринск. Знакомые улицы — Ямская, Уфимская, Запольная. Только желтые акации выросли в громадные деревья. Мачты и реи цепляются за ветки с перистыми листьями и стручками. Подсохшие стручки лопаются, семена-горошины сыплются дождем и стучат по твердым выпуклым парусам.

...Это мамина машинка стучит. Маме надо как можно скорее допечатать последние листы «Островов в океане».

Мама печатала и утром. Сквозь сон Толик услышал рассыпчатый треск «Ундервуда».

Просыпаться окончательно и вставать не хотелось. Опять скребло в горле, и тупая боль вдавливала голову в подушку. Толик в полудреме томился страхом, что его сейчас заставят подняться и пошлют за водой, или в магазин, или на рынок. Нет, не подняли, не послали. Хорошо-то как...

Лишь в десятом часу, закончив печатать, мама сказала:

— Вставай, все равно уже не спишь. Мы с Варей уходим, у нас масса дел... Картошка на сковородке, молоко в кухне на подоконнике...

— Угу...

— Поешь, а потом разбери и разложи по экземплярам последние листы, я все напечатала.

— Ага...

— Не «угу» и не «ага», а вставай... Отнесешь работу Арсению Викторовичу. Не тяни, он просил поскорее...

Мама с Варей ушли. Толик побрякал умывальником, смочил глаза и нос. Поковырял вилкой жареную картошку. Есть не хотелось, под желудком тяжелым комком шевелилась тошнота.

Толик побрел к столу с машинкой. Здесь лежали последние страницы повести, штук тридцать. Толик брал сложенные вместе три листа, прочитывал верхнюю страницу, убирал копирку и раскладывал листы по трем папкам.

Он зачитался и забыл про боль в горле и тошноту.

...«Надежда» вернулась в Кронштадт, где уже стояла прошедшая двумя неделями раньше «Нева»... Пробежали годы... Вышли книги о первом плавании россиян вокруг земного шара. Вышел

знаменитый «Атлас Южного моря», составленный Крузенштерном. Другие русские капитаны уже не единожды совершали кругосветные плавания. Однако первые — всегда первые, им особая слава и честь. Эта слава до конца дней будет с Крузенштерном.

Но слава — она как блеск парадных эполет, более заметна другим, чем самому. А для самого человека важнее славы память.

В памяти же, кроме побед и подвигов, — горькие ошибки и утраты. Есть ошибки, в которых никто не усмотрит вину капитана. Но не будет и оправдания, потому что он не может оправдать себя сам. Да и надо ли оправдываться? Что было, то было. Он не привык прятаться ни от опасностей, ни от чужих упреков, ни от собственной совести.

А в памяти — острова. Тенериф и Святая Екатерина, Нукаги-ва и легендарный, так и не найденный (но столько раз словно виденный наяву) Огиава-потто... Гавайи, Япония, Курилы, Сахалин... И остров Святой Елены, где на маленьком кладбище камень с непривычными для местных жителей русскими буквами. Самая горькая память, самый тяжелый упрек.

Ну а разве он, капитан Крузенштерн, мог знать, что все так кончится? Разве не пытался утешить и успокоить второго лейтенанта «Надежды»?

«Вы все-таки оправдываетесь, господин капитан-лейтенант... господин контр-адмирал! Зачем?»

«Я не оправдываюсь. Я просто до сих пор не могу понять причину...»

Острова — как люди. Люди — как острова. Мало увидеть остров в океане и обозначить его координаты. Надо знать, что в его глубине. Надо изучать долго и старательно. Лишь тогда можно сказать: открыл.

А всегда ли есть на это время? Мир велик, путь далек, и ветер гонит корабли мимо новых островов. Зачем? Так ли уж важно обойти вокруг света? Не важнее ли один-единственный остров изучить до конца? А то получится, как с Сахалином: до сих пор в глубине души гложет сомнение — есть там песчаный перешеек или нет его?

Это потом узнают в точности другие капитаны. А он? Ему уже не водить корабли. Седает голова, болят глаза, тяжкими переборами заходится иногда сердце... Особенно как сегодня... О чем печалиться, разве мало плавал? Но порою приходит тоска по туго надутым парусам — белым с голубыми отблесками от синевы южного моря и неба. И по штормовому свисту в такелаже.

И, несмотря на все горечи и ошибки, вновь зовут к себе дальние острова — те, что встают из-за горизонта острыми утесами, вырастают на глазах и плывут, плывут навстречу...

Нет, все это позади. Другие теперь заботы. И другой у него «корабль» — вот этот корпус, где полтысячи мальчишек гото-

вятся стать новой славой Российского флота. Каждый из них — словно остров неразгаданный. Не пройти бы мимо, не просмот- реть, не ошибиться. Чтобы не случилось беды... И чтобы не бо- лела потом душа, как болит сегодня из-за Егора Алабышева, ко- торый получил нынче первый горький урок несправедливости и боли.

Малыш... Как он сказал о Фогте: «Да! Вызову».

«Дуэлями фогтов не уничтожишь, Егорушка. Их много... Они крепко напустили себе в штаны два года назад, когда мятежные офицеры вывели на Сенатскую площадь свои полки и гвардей- ский флотский экипаж, но быстро эти фогты осмелели опять. Повстанцами — храбрыми и чистыми душою людьми — будет потом гордиться Россия, однако они не добились пользы. Кто же добьется? И что надо делать?.. Я не знаю. Может быть, Егор Ала- бышев будет знать, когда вырастет? Или не он, а только внуки его?»

В одном я уверен: вырастет Егор Алабышев смелым и честным человеком. И добрым. Никогда никого не предаст. Будет опорой многим людям и защитником своей стране. Для того я здесь. И на то положу свои силы.

Расти, мальчик. У тебя свои острова...»

Толик закончил главу — это были страницы, которые в июне читал ему Курганов. Но это был еще не конец. На следующем листе увидел Толик слово «Эпилог».

Толик прочитал начало эпилога, удивляясь, что речь идет со- всем о других временах и людях. Нетерпеливо отложил прочи- танный лист, снял со второго экземпляра копирку... и обомлел.

Бумага была чистой. Зато изнанка отложенного листа черне- ла отпечатанными строчками! Перевернутыми, как в зеркале... Значит, вчера он разложил копирку не той стороной! О, идиот!

Так уже случилось однажды, но тогда мама это быстро заме- тила. А сегодня торопилась, и вот...

Ох, что будет! Во-первых, от мамы влетит (и правильно, так ему и надо!). Во-вторых, мама сказала, что придет только вече- ром; когда же Арсений Викторович получит конец повести? Ведь копирка-то у всех листов перевернута, до самого конца!

Сколько их до конца-то?.. Ой, полтора десятка! Для мамы — почти три часа работы...

Вот уж правда: если пошли несчастья, то одно за другим.

Но ведь он же вчера решил не поддаваться. И шит прибил к стене с такой силой... Пятнадцать страниц перепечатать — это, конечно, нелегкая работа. Он не умеет быстро, как мама. Но... ведь впереди целый день. Лишь бы успеть до маминого прихода и не наделать ошибок...

Нет, он стучал на машинке не так уж медленно. Каждая буква отдавалась в голове болезненным толчком, а в горле словно за- сел шероховатый кубик (сколько ни глотай — не исчезает), и все же Толик печатал с увлечением: он одновременно и дочитывал повесть. Он специально не разрешил себе читать в обгон перепе- чатанных строчек, чтобы не терять потом интереса. И пальцы, торопясь за словами, метались по трескучим кнопкам все быст- рее...

К пяти часам он кончил. Посидел, опустив руки.

Исправил карандашом на последней странице ошибки...

Перечитал последние строчки. Было грустно, потому что ко- нец повести оказался суровым. Но в суровости была гордость — оттого, что есть сильные и бесстрашные люди... И в печали у То- лика не было тоски, а было упрямство.

Он опять постарался проглотить деревянный кубик. Толчком поднялся со стула. Готовые листы разложил по трем папкам. А испорченные... Улыбнувшись, он отодвинул в подставке «Ун- дервуда» тугую планку, согнул листы пополам и сунул в щель. Когда-нибудь он достанет их и покажет маме: «Смотри, что по- лучилось. И допечатал я «Острова в океане» сам...»

Сейчас надо отнести конец повести Арсению Викторовичу. Но сначала — полежать. Недолго, минут пятнадцать. Чтобы ноги стали не такие вялые, а в голове так не стреляло. А то при- кроешь глаза, и по векам скачут черные мячики и лопаются с оранжевыми вспышками. Словно круглые орудийные бомбы на севастопольских бастионах, только беззвучно, как в немом кино...

Пришла мама, тронула Толькин лоб, ахнула.

— Я сейчас, — пробормотал он. — Я быстро встану...

— Варя, дай градусник!

Ничего страшного не случилось. Ни дифтерита, ни воспалие- ния, ни тифа, ни даже кори... Температура держалась два дня, а потом болезнь пропала, словно и не было ее.

Ольга Сергеевна, знакомый врач из детской поликлиники, приходила дважды. Во второй раз она сказала:

— Перекупался, перегрелся. Такое с мальчишками бывает. А возможно, еще и перенервничал из-за чего-то. Было?

— Кажется, не было, — с сомнением отозвалась мама. И по- смотрела на Толика. Он молчал.

Когда Ольга Сергеевна ушла, Толик сказал:

— Ой, а повесть-то надо отнести Арсению Викторовичу!

— Здравствуй! Я еще вчера отнесла.

— Три экземпляра?

— Как ты надоел мне с этим третьим экземпляром! Я тебе сказала: разбирайся с ним сам. Вот поправишься — и неси.

— Я уже поправился!

Но мама на всякий случай еще два дня держала его дома.

Нет, не считал Толик большим грехом, что вместо двух экземпляров повести получилось три. И когда шел к Арсению Викторовичу, успокаивал себя: «Что тут плохого? Я же отдам и все объясню...» Но объяснить-то придется про обман. А даже самый маленький обман — все равно свинство. Все равно за него стыдно. Особенно сейчас, когда всякую свою вину Толик почему-то связывает с тем случаем. С проклятым самолетом без крыльев... Будто все, что он, Толик, делает плохого, валится в одну большую черную копилку. И даже то, что никогда не делал. То, что было давным-давно... Думаешь о «Надежде» и острове Святой Елены, а в какие-то шелки лезут мысли о самолете...

И Толик даже не удивился, когда встретил на своем пути, в квартале от дома Курганова, робингудов. Это было как бы продолжение его мыслей.

Робингуды шли шеренгой. По всей ширине крепкого доша-того тротуара. У Толика на секунду радостно затеплело сердце. Будто ничего не случилось! Будто он спешит к своим робингудам и повстречал их так удачно, и все сейчас будет хорошо.

Но тут же увидел он прищуренные глаза Наклонова, ухмылки Мишки и Семена, ехидное лицо Люськи. И Рафика, глядевшего с каким-то охотничьим любопытством (или показалось?).

Витька смотрел виновато и напряженно. А Шурка — тот вообще не глядел на Толика: потупился и водил ботинком по доскам, когда вся шеренга остановилась.

Толик тоже остановился. Не пробиваться же через робингудовский строй! Это будет уже драка. А обходить их по канаве с застоявшейся зеленой жижей или лезть голыми ногами в чертополох у забора — противно и унизительно.

Олег сказал холодно и лениво:

— А, Липкин...

— Почему Липкин? — хмуро спросил Толик.

— А кто же ты? Когда мы тебя первый раз поймали, ты что сказал с перепугу? «Я Липкин...» И сейчас такой же, опять с папчочкой идешь.

— А вы опять думаете, что в ней секретные сведения про вас, — не удержался Толик, хотя и понимал: дразнить бывших друзей опасно.

— Нет, не думаем, — сказал Наклонов. — Из тебя даже и шпион не получится. Для этого тоже смелость нужна...

— А из тебя она вся вытекла, когда ты трусы замочил в самолете, — закончил Семен и гоготнул.

У Толика в глаза зашипало от стыда и бессильной злости. Но он постарался остаться спокойным. Это все, что он сейчас мог.

— Зато вы храбрые, — сказал Толик. — Шестеро на одного.

— На тебя, что ли? — искренне удивился Олег. — Кому ты нужен? Пожалуйста, гражданин Липкин, идите своей дорогой. — Он сделал плавный жест, и шеренга расступилась. Встали в два ряда по краям тротуара.

И Толик, закусив губу и глядя перед собой, прошел сквозь строй.

Он был уже в пяти шагах от робингудов, когда услышал тонкий Шуркин голос:

— Толик, а ты разве не к нам шел?

— Цыц! — тут же сказала Шурке Люська. Но Толик уже обернулся. Со смесью обиды, стыда и... надежды.

— Я?.. К вам?

Олег с коротким зевком проговорил:

— Вообще-то, если ты придешь, мы можем рассмотреть твой вопрос.

— Ага... — ухмыльнулся Мишка Гельман. — Только пускай клятву даст больше не дрейфить и не подводить. Как Шурка...

— Клятву? Это, что ли, с кирпичом над макушкой? — понимая, что все кончено, сказал Толик. — Много хотите. Я к вам в рабы не записывался.

— Ну и гарцуй отсюда, — подвел итог Олег.

Толик сделал равнодушно-презрительное лицо и пошел, не оглядываясь. И прижимал к боку изо всех сил папку.

Сзади вдруг по-разбойничьи свистнули (видимо, Семен: он только и умел одно делать хорошо — свистеть вот так). Толик вздрогнул в душе, но не оглянулся, не ускорил шага.

Арсений Викторович долго не открывал. Постучав третий раз, Толик с огорчением решил, что Курганова нет дома. И лишь тогда услышал за дверью шаркающие шаги.

Курганов показался Толику больным. Был он в свитере и шлепанцах из обрезанных валенок. С помятым лицом и сумрачно-рассеянными глазами.

— А, Толик Нечаев... — сказал Курганов странно, с медленным вздохом. — Заходи. Я недавно про тебя думал.

Толик встревожился. Сперва решил даже, что Курганов опять выпил. Но нет, запаха не ощущалось никак.

Настроение Курганова было непонятное, и Толик не решился сразу говорить о третьем экземпляре. Он оставил его в руках — незаметно сунул за кадушку в дверей. И сразу подумал, что это глупо: Арсений Викторович мог заметить папку, еще когда отпирает дверь. Теперь спросит: «Что ты мне принес?»

Нет, ничего он не спросил. Кивнул на табурет:

— Садись... — И сам тяжело сел на заскрипевшую кровать.

В непонятно-беспокойном молчании Толик оглядывал комнату. Все было как раньше: солнечно, просторно. Смотрел со стены Крузенштерн, привычно стучал хронометр. И все же чувствовалось что-то неуютное. Толик скоро понял что! Пахло остывшими углями и золой. И точно — в камине чернели головешки и светлел серый пепел. Из-под пепла блестело стеклянное донышко. Наверно, Курганов не спал ночь, сидел у огня. Может, не давали покоя всякие мысли? О дочери Лене вспоминал, которая не пишет? Или разные тяжелые случаи из своей жизни? Толик догадывался, что случаев таких было немало.

Словно услышав мысли Толика, Курганов сказал глуховато:

— Ты на меня не обращай внимания, сегодня я такой... невыспавшийся и хворый. Видно, стариковская бессонница...

— Я понимаю, — кивнул Толик. Догадка его оказалась правильной, и от этого тревога за Курганова сделалась меньше.

— Что ты понимаешь? — ласково и грустно улыбнулся Курганов.

— Ну, когда не спится и мысли разные... Как колючая проволока в голове.

— Господи, а у тебя-то с чего? — тихо сказал Арсений Викторович.

— А из-за всего... Это трудно... Я не знаю, как сказать.

— А ты скажи, как получится. Как думаешь...

— Но... я думаю совсем глупо, — жалобно усмехнулся Толик. Курганов молчал.

— Ну, совсем глупо, — прошептал Толик. — Мне такое кажется... Будто я виноват, что Головачев застрелился.

Курганов мигнул. Нахмурился. Потискал подбородок.

— Это не глупо. Так бывает... Может быть, ты и в самом деле в чем-то виноват?

— Ну... в чем-то, наверно... — насупленно признался Толик (раз уж пришло время признаваться!). — А Головачев-то при чем?

— Кто знает... Может быть, твоя вина похожа на его вину?

— На его вину? А разве он виноват?

— А разве нет? Ты подумай. И про него, и... про себя.

— Я и так все время думаю, — пробормотал Толик. — Я запутался. Можно, я расскажу?

Курганов кивнул. И Толик рассказал все, что с ним случилось в походе и потом. Иногда он просто давился от стыда и замолкал. Курганов не торопил. И было слышно, как тикает хронометр. От его уверенного стука делалось легче, и Толик продолжал. И проговорил в конце концов:

— Ну вот, видите... до чего я докатился...

Курганов опять потискал желтыми пальцами подбородок.

— Не буду я тебя успокаивать. Ты виноват, сам это знаешь... Но ты скорее перед собой виноват, чем перед ребятами.

— Почему?

— Потому что робингуды твои тебя не удерживали. Никто ведь не говорил: «Оставайся, нам с тобой будет лучше». Верно?

— Олег сказал: «Кто хочет, пусть идет...»

— Ты и ушел...

Толик выдавил, запинаясь от беспощадности к себе:

— Да... Но я же не потому, что он сказал... Я... потому, что я струсил.

Курганов обошел Толика, встал сзади. Большую ладонь положил ему на темя.

— Не только поэтому... Потому, что ты был один.

— Один? — Толик удивленно шевельнулся.

— Конечно. Между ребятами и тобой трещина прошла... Как у Головачева между ним и другими моряками. Видишь, он тоже... ушел. Ты — домой, а он — насовсем.

— Но он же не из-за трусости. Из-за обиды. Вообще... из-за горя своего.

— А другим он своей смертью сколько горя принес! Товарищам своим, родителям, братьям... Ты спрашивал: в чем его вина? Вот в этом. В том, что он сделал *непоправимое*... Ты, Толик, запомни одно: самая страшная беда, когда человек делает *непоправимое*. Такое, что уже не исправишь. Этого надо бояться больше всего... Понял?

Толик не знал, понял ли. Насчет непоправимого, кажется, понял. А насчет Головачева и себя?.. Что у них одинакового? Что сделал он такого, чего совсем нельзя исправить? Может, Курганов считает, что он, Толик, законченный трус и дезертир?

Толик так и спросил горьким и стыдливым полупшепотом:

— Значит, я... совсем?

Рука Курганова дернулась, он отозвался почти испуганно:

— Да что ты, малыш! У тебя все поправимо.

— Как поправимо? — вздохнул Толик. — Мне к робингудам теперь все равно дороги нет...

— Я не про это. Я про характер. Ты, по-моему, трусить больше никогда не будешь, у тебя теперь зарубка на характере.

— Я не знаю, — опять вздохнул Толик.

— А я знаю, — возразил Курганов и отошел к столу... — Я в тебя, Толик, верю. Недаром ты такие славные стихи написал... Я вот оставил тебе на память...

С верхней полки он взял листок, протянул Толику. Толик встал с табурета. Лист был началом повести — первая страница первого экземпляра.

— А... как же вы без него? Разве вам не надо?

— Мне уже ничего не надо, — глухо сказал Курганов и отвернулся к окну. — Сжег я все к чертям...

— Зачем?! — выдохнул Толик.

Спина Курганова сердито дернулась под обвисшим свитером.

— Потому что прочел перепечатанное свежими глазами. И понял: все чушь и мура... Кроме твоих стихов... Ну и вот...

Толик посмотрел на камин. На пепел и угли.

— Оба экземпляра сожгли? — шепотом спросил он.

— Да! И черновик! — раздраженно ответил Курганов. — Что-бы больше не мучиться... Зачем оно, беспомощное бумагомарание? Бред!

— Не бред! Это хорошая повесть!

— Чушь...

— Нет, хорошая. Зачем вы...

Курганов сел к столу, охватил голову растопыренными ладонями. Тихо сказал:

— Хорошая, плохая... Теперь, слава Богу, никто решать не будет. Нету «Островов в океане».

Толик смотрел сумрачно и строго.

— Вы теперь сами жалеете, что сожгли...

— Да, — неожиданно обмякнув, согласился Курганов. — Жалею. Столько лет потратил. Смысл в этом видел... И вот — ударило в башку. Тоже, безумный гений нашелся! Николай Васильевич Гоголь... Но все равно правильно. Она бы меня не отпустила, эта писанина, измучила бы до смерти. А я уже не могу...

— А без нее... можете? — спросил Толик негромко, но жестко.

Курганов посмотрел на него исподлобья. Блестящие голубые глазки его тонули в морщинистых впадинах. Он сказал с беззащитностью:

— Ты меня будто добить хочешь. Толик, ты зачем так?

— А вы зачем *так*? Сами говорите, что нельзя делать неправимое! А что сделали? Все равно что в себя выстрелили!.. Как бы вы жили, если б не остался третий экземпляр?

Курганов некрасиво приоткрыл рот и, грудью ложась на стол, весь потянулся к Толику. Молча. А в глазах — тоска и просьба о чуде. Обжегшись этим взглядом, ужаснувшись — «Что же я его мучаю?!» — Толик метнулся в сени и ворвался в комнату с папкой. Курганов потянул к ней похожие на грабли пальцы, и лицо его умоляло: только не обмани... Но Толик отшатнулся.

— Нет! Сначала дайте честное слово, самое страшное... что не сожжете больше. Покляннитесь чем-нибудь...

Курганов с облегчением уронил на стол руки.

— Чем хочешь.

— Жизнью своей, — жалобно попросил Толик.

Курганов сказал, слабо улыбаясь:

— Толик... мне моя жизнь — что! Я *твоей* клянусь, если веришь: *никогда не сожгу*.

Толик положил папку на край стола. Курганов дотянулся, оборвал тесемки, стал лихорадочно перекидывать листы. Уронил их, медленно вздохнул, уперся в стол руками. Согнувшись, смотрел на Толика. Лицо Арсения Викторовича, пожалуй, не было счастливым. Оно было серьезно-торжественным.

— Феникс... — проговорил он.

— Что? — растерянно пробормотал Толик.

— Птица Феникс. Она сгорает, а потом возрождается из пепла. Живая. Слышал такую легенду?

— Не... — сказал Толик. — Арсений Викторович, вы теперь берегите повесть. Единственный экземпляр ведь.

— Обещаю... А правду я говорил: Толик Нечаев приносит мне счастье... — Наверно, хотел Курганов улыбнуться, но лицо скомкалось, он закрыл его ладонями и быстро сел.

Толик впервые увидел, как плачет взрослый мужчина.

— Я пойду, — тихонько сказал он.

Третья часть ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Т. О. Л. И. К.

Пруд был крошечный, размером с отрядную спальню. По краям он зарос камышом и осокой. Чтобы попасть к воде, нужно было пробраться по тропинке в зарослях и по шатким мосткам.

Толик пробрался. Поставил на доски тяжелый акваскоп (мостки вздрогнули). Встал на четвереньки, заглянул в воду. Здесь было неглубоко, но на поверхности дрожала солнечная рябь и прятала под собой дно с нехитрым подводным миром. Без аппарата не разглядишь, что там делается...

Толик опустил с мостков узкий дощатый ящик с застекленным доньшком. Упругая сила воды толкнула самодельный прибор назад, вверх, но Толик придержал его. Заглянул внутрь.

Стеклянное дно акваскопа зеленовато мерцало, будто квадратный экранчик. Стала видна путаница мертвых, полузатянутых илом водорослей, блеснул рубчатый краешек пивной пробки, выбрался из-под нее подводный жук неизвестной Толику породы и тут же закопался в ил. Толик его понял: если увидишь, что нависла над тобой стеклянная крыша, а сквозь нее смотрит громадная рожа, — еще не так закопаешься...

Несколько пузырьков поднялись со дна и прилипли к стеклу. «Капли воздуха, — подумал Толик. — У нас, на земле, бывают капли воды, а там, в глубине, — воздушные капли».

Внутри одного такого шарика суетливо перебирала волосяными ножками какая-то букашка.

«Тоже живет, — без усмешки подумал Толик. — Наверно, удивляется: куда я попала?.. Не бойся, ничего с тобой не будет».

Нахально проплыла под акваскопом жирная пиявка. Такая неприятная, что у Толика зачесался под коленом рубчик. Потом... Потом Толику повезло! Появились две сверкающие рыбешки длиной в мизинец. Остановились, изумленные. Взглянули на Толика булавочными глазками и — раз! — стрельнули в сторону...

Толик дышал затаенно, как разведчик на границе незнакомо-го мира...

Сделать акваскоп надоумил Толика Арсений Викторович.

Перед лагерем Толик зашел к нему попроситься. Курганов его встретил весело, хотя веселость была немного нервной.

— Едешь? Хорошо... А я тоже еду, в Среднекамск. Там областное издательство, там покажу повесть. А что? Пора уже! Что скажут, пусть... Будь что будет... Впрочем, я надеюсь. Да, на лучшее надеюсь. Потому что без этого как? А?

— Да все будет хорошо, — сказал Толик бодро и слегка покровительственно. Потому что в самом деле был уверен.

— Да? Мне бы такую уверенность...

— Вы не бойтесь. Повесть-то хорошая получилась!

— Ох, не знаю... Видишь ли, мне кажется, ты меня просто захваливаешь. Ты мне ни про один недостаток не сказал, а так не бывает, чтобы рукопись без недостатков.

Толик лихорадочно стал думать: какой бы найти недостаток?

— Мне, пожалуй, там одно немножко непонятно, — сказал он. — Эпизод. Он как-то не очень связан с Крузенштерном...

— Да? Жаль, что непонятно. Значит, я намудрил... Я что пытался показать? Во-первых, как Крузенштерн воспитал будущих моряков. Хотелось мне соединить начало и конец...

— Ну, это-то понятно, — вставил Толик.

— Вот... А еще такая мысль. Хотелось сказать, что люди должны не только жить как следует, но и умирать не попустому, не зря. А то обидно, если как Головачев...

— Я, в общем-то, так и понял, — поспешил успокоить Курганова Толик. И не выдержал, спросил: — Еще одно немного не ясно — был все-таки Крузенштерн виноват или нет?

— В гибели Головачева?.. Это нерешенный вопрос. Ни для меня, ни для тебя. Ни для самого Крузенштерна... С одной стороны, в чем он виноват? Не он предал Головачева. Не он ему душу разбередил... К тому же Головачев был явно болен, утомлен... Ты имей в виду, что плавание было тяжелое, у многих здоровье расшаталось. Хладнокровнейший надворный советник Фосс, например, начал страдать нервными припадками. Любимец всей команды Иван Курганов, весельчак и заводила, перед островом Святой Елены слег с непонятной болезнью: жаловался на слабость, на тоску, плакал даже. Это я к тому говорю, что нервы у многих были измотаны. А у Головачева — тем более. Вот он и сорвался... При чем здесь Крузенштерн? Кто посмел бы его обвинить?.. Другое дело, когда он сам себя...

— Что сам себя? — тихо переспросил Толик.

— Сам он, конечно, казнил себя в душе. Так и жил с этой виной. Только другим не показывал. Это нельзя.

— Почему нельзя?

— Как бы тебе объяснить... Одно дело, когда человек виноват перед людьми, другое — когда перед собой. У Крузенштерна

была именно *вина перед собой*. Не та, за которую могут наказать, но такая, что грызет душу... Но, Толик, ведь, наверно, каждый человек в чем-то виноват, без ошибок никто не проживет. Надо помнить про свою вину, чтобы не повторить. Но надо и уметь держать ее за горло, иначе пропадешь.

— Почему? — спросил Толик. Ему было зябко и неуютно.

— Ты посуди, что было бы, если бы Крузенштерн только терзался? Не воспитал бы он тысяч моряков, не составил бы знаменитого «Атласа», не написал бы своих книг. Не помог бы новым кругосветным экспедициям... Не боролся бы с тупыми адмиралами, с офицерами-держимордами, с чиновниками. Представляешь, Крузенштерн бы изводил себя и жил с опущенной головой, а они бы радовались и делали что хотели...

— Но он все равно себя изводил. Когда один оставался.

— Что ж, наверно... Я ведь про это написал.

— Я потому и говорю.

— Были, конечно, горькие мысли. Корил себя, что недосмотрел, не успел, не разобрался... А потом, может, и оправдывал себя: «Как в чужую душу заглянешь?» В самом деле — как? Вроде бы вот он, человек, рядом, а что у него в мыслях?... Это, знаешь, как поверхность воды. Рябит, блестит, а что там чуть поглубже — не разглядишь без акваскопа...

— Без чего?

— Без акваскопа... — Арсений Викторович улыбнулся. Кажется, обрадовался, что может изменить разговор. — Вспомнил один самодельный прибор, я им в мальчишечьи годы развлекался. Вычитал про него в тогдашнем детском журнале — не то в «Светлячке», не то еще в каком-то... Это простая штука, легко сделать. Тебе интересно?

— Конечно. Я, может быть, в лагере сделаю...

Курганов на листке за минуту набросал чертеж.

— А что это ты так неожиданно в лагерь собрался? Вроде бы речи не было...

— Маминой знакомой сыну путевку дали, а у него что-то с анализами не получилось. Вот маме и сказали, чтобы я ехал.

— Рад?

— Ага... — не очень уверенно сказал Толик.

Еще ни разу в жизни он не покидал надолго свой дом. Ездил к Варе в Среднекамск, но всего на несколько дней и с мамой. В больнице лежал со скарлатиной, но это в двух кварталах от дома, и мама приходила под окно палаты чуть не каждый день... Хочется ли ему в лагерь? Если верить «Пионерской зорьке» и «Пионерской правде», лагерь — это сплошные походы, палатки, костры и приключения. А знакомые ребята рассказывали всякое. В том числе и такое, что вожатые бывают разные, некоторые не пускают купаться, орут на ребят, могут и подзатыльник дать.

А еще Толик знал, что иногда в отряде находят тихого, слабого мальчишку и начинают его «доводить». Кличка у такого — Лагерный придурок, хотя он вовсе не глупый, а просто боится дать сдачи.

А если и с ним, с Толиком, случится такое?

Ну уж дудки! Если он один раз испугался, теперь, что ли, до старости жить зажмуришься?

Нет, лагерь — это все-таки хорошо. Толик чувствовал, что после разрыва с робингудами в жизни его — какой-то перелом. И впереди ждет его что-то новое. Что именно, пока не понять, но такое, чего еще не было... Может быть, лагерь — начало этого нового?

Да, надо ехать. От жизни не спрячешься. Да и вообще все одно к одному сложилось: мама сказала, что ей и Варе дозарезу нужно дней на десять в Среднекамск. По важным делам, насчет Вариной работы. Варю после института зовут в лабораторию при Сельмаше, надо все заранее прикинуть, посмотреть...

— У тебя же отпуск кончается, — напомнил Толик.

— Редактор разрешил дополнительный, я много работала сверхурочно.

Толик намекнул, что он тоже не прочь съездить в Среднекамск. Но оказалось, что, во-первых, не найти столько денег на билеты, а во-вторых — где жить? Маму Варя устроит в общежитии, а с Толиком на этот раз фокус не пройдет: новая строгая комендантша не пустит его в комнату к девушкам...

— И вообще пора тебе привыкать к самостоятельности.

Толик храбро ответил:

— Я разве против?

Если бы он знал...

Если бы он знал, что в том же лагере «Рассвет» окажутся на третьей смене сразу три робингуда: сам Олег Наклонов, Семен Кудымов и Шурка Ревский.

Ну, Шурку можно не считать, от него никакого вреда. Но Олег и Семен... Особенно Олег!

Олега здесь знали все, он в «Рассвет» каждый год приезжал. Лагерь-то папиного треста. И, конечно, сразу Олег оказался в совете дружины. А самая большая беда, что в одном отряде с Толиком, во втором. И Семен тоже (а Шурка в третьем, но все равно ходил за Олегом по пятам).

В первый день, увидев Толика, Олег лишь усмехнулся. Не подошел, ничего не сказал, будто незнакомы. Толик даже слегка успокоился: может, и дальше так будет?

Назавтра Олег и Семен тоже не обращали на Толика Нечаева никакого внимания (а Шурка, встретившись, неловко сказал

«здравствуй»). Но к концу дня Толик заметил, что мальчишки от него отворачиваются. Те, кто утром еще вели себя как друзья-приятели. И прошелестело гнусное слово «дезертир»...

А на третий день случилось то, чего Толик боялся больше всего.

Отряд собрался в палате, чтобы выбрать редколлегию стенгазеты. Вожатый Геннадий Павлович (он был студент пединститута и проходил сейчас практику) командирским голосом установил тишину:

— Погадели — и молчок! Все! Передохнули и задумались... А теперь — какие будут предложения?

И встал Олег.

— Я, — сказал он, — предложил бы Толю Нечаева. Он пишет стихи и вообще... Но я боюсь, что меня не поддержат. У Нечаева нет авторитета: про него известны не очень красивые дела.

— Он чё, в настель прудит? — спросил туповатый, похожий на Семена Юрка Махнев. Гыкнул и примолк под взглядом Геннадия Павловича.

А Олег разяснил:

— Нет, гораздо хуже. Раз уж начался разговор, я скажу. Нечаев бросил товарищей и сбежал в трудный момент.

«Вот и все», — подумал Толик. И не шевельнулся. Лишь сильнее вцепился в спинку кровати, на которой сидел.

Никто не зашумел: что за момент, кого Нечаев бросил? Видимо, все уже про все знали. Кроме Геннадия Павловича.

— Когда это случилось? — спросил он очень спокойно.

— Это не здесь, не в лагере. Мы с ребятами были в походе, и нас гроза настигла. Мы спрятались в старом самолете на краю аэродрома, а Нечаев бежал.

Да, Олег умел говорить коротко и четко.

Но в этой четкости была неправда!

— Врешь! Гроза была еще далеко, и я все время говорил, что надо идти домой! Самолет из металла, в нем опасно!

— Так бы и сознался сразу, что струсил. А то «меня мамочка ждет», — противно сказал Семен.

— Потому что она правда ждала!

— А на фронте ты бы тоже к маме убежал? — спросил Олег.

— На фронте не убежал бы, — ответил Толик ровным от неавности голосом. Неужели еще недавно Олег ему казался благородным и справедливым?

— Геннадий Павлович, а правда, что вы на фронте были? — спросила веснушчатая Лариска Скворцова.

Молодой, скуластый, темноволосый Геннадий Павлович сказал неохотно:

— Ну, был... Я недолго был, успел в Германии повоевать в сорок пятом... При чем тут это?

Вертлявый Жорка Линютин (он все время липнул к Олегу) тонким голосом разяснил:

— Как это «при чем»? Вы скажите: разве на фронте прощали, если человек убегает в трудный момент?

— Фронт — дело суровое, я вам такого не пожелаю... Я не понимаю, от какого трудного момента убежал Нечаев?

— Ну, гроза же была! Он сам говорит — опасность! — воскликнул Олег.

Геннадий Павлович прямо глянул на Олега:

— Ну а зачем она, такая опасность? Кстати, командиров, которые людей под опасность зря подставляют, на фронте по головке не гладили.

Олег порозовел. Проговорил сквозь зубы:

— Это не зря. Это было испытание.

— А матери Нечаева за что такое испытание? Сын обещал вернуться, на улице гроза, а его нет... Вы вообще когда-нибудь о матерях думаете?

Примолкли. А у Толика даже перехватило горло — от благодарности к вожатому, от мысли о маме. Оттого, что сейчас Наклонов потерпел наконец поражение. И Толик добавил Олегу от себя:

— Ты не за то придираешься, что я ушел с самолета! Ты злишься, что я с тобой спорить начал! Что Шурке помог!

Эта догадка раньше была неясной и лишь сейчас превратилась в четкую мысль. Толик бросил ее в Олега как гранату.

— Врешь ты! — крикнул раскрасневшийся Олег. — Больно ты мне нужен! И Шурке!

— А тогда чего тебе надо? Ну ушел я с самолета, что случилось? Вам-то хуже не стало!

Олег воткнул в него злорадный взгляд:

— Нам-то хуже не стало. Хуже тебе. Ты — дезертир!

Толик сжался. И запах гнилого тряпья опять появился во рту.

— При чем тут дезертир, если ему домой надо было? — сказала веснушчатая Лариска, глядя на Толика с жалобным сочувствием. И остальные смотрели: кто с любопытством, кто вроде бы тоже с жалостью, кто с ехидством.

Толика поднял с кровати толчок злости. Злости на себя, на Олега, на тех, кто слушает и ухмыляется. И на тех, кто смотрит жалостно. Бывают минуты, когда ничего не страшно. Можно тогда и в любую драку кинуться, и сказать все без утайки.

— Да, меня мама ждала, это правда! Но то, что я струсил, тоже правда! Я боялся грозы! Я знаю, что виноват! Но Наклонову-то что теперь от меня надо?

Кажется, все растерялись. Олег мигал удивленно и даже боязливо. Толик сказал звенящим голосом:

— Я ведь не перед тобой виноват, Наклонов, а перед собой.

А на тебя мне теперь наплевать, раз ты меня так... тоже бросил! Я знаю, чего ты хочешь!

— Чего? — шурия злые глаза, спросил Олег.

— Чтобы я все время ходил виноватый! А ты будешь командовать всеми!.. И над такими, как Шурка, издеваться... И надо мной, да?! Хочешь меня лагерным придурком сделать?

Никогда не знаешь, где скажешь не то слово. Только что слушали Толика в тишине, а тут вдруг засмеялись, задвигались. Олег по-клоунски развел руками: видите, мол, какой он?

И Толик не выдержал, выскочил из палаты, из дощатой гулкой дачки второго отряда...

Нет, его не «доводили» открыто. И в редколлегию выбрали (он там дважды раскрашивал заголовки стенгазеты), и даже назначили ассистентом к дружинному знамени. Но если, скажем, дежурит Толик по палате и требует, чтобы все заправили койки и подобрали мусор, никто не спорит, старательно кивают, а потом разбегаются — а постели мятые и на полу бумажки, сосновые шишки и грязь с подошв.

Или заходит Толик в палату перед мертвым часом, а на кровати стоит Жорка Линютин и с дурацким видом декламирует:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
И от него я убегаю
Бегом, бегом, бегом, бегом...

Можно сказать, что стихи глупые, как сам Жорка. Но тогда получится, что принял Толик их на свой счет! И все загопочут открыто (а пока хихикают в подушки). Можно сказать, что Жорка гад и все гады (пусть кидаются на Толика, он сейчас готов хоть с тысячей сцепиться). Но... все уже притихли и старательно сопят. А Наклонов заботливо говорит:

— Ложись и ты, Толя. Пионеры должны соблюдать режим.

Толик, сцепив зубы, шагает к кровати, но лечь сразу нельзя. Он знает, что под простыней могут быть замаскированы колючие шишки или сапожные щетки, а то и прикрытое целлофаном блюдо с водой. И тогда Наклонов скажет:

— Чьи это опять шуточки? Чтобы такого больше не было, а то вызову на совет дружины.

Или собирается тайная компания, чтобы пробраться в соседний лагерь у деревни Падерино и стащить у них мачтовый флаг, и Толик просит записать в «разведгруппу» и его. Все отводят глаза, а Семен Кудымов говорит, сопя и хмыкая:

— Тебя возьмем, а ты вдруг к маме сбежишь...

К маме он не сбежит. До города всего двадцать километров, и

дорога известна, но мама в Среднекамске. Это — во-первых. А во-вторых... Получится, что он опять струсил?

К тому же не все было плохо. По вечерам на площадке за лагерем раскладывали костер, и тогда ребята словно забывали про дневную вражду и обиды (по крайней мере, Толик забывал). Пели песни про «Варяга», про «дальнюю сторожку на краю пути», про пограничника (ту, что Витька Ярцев любил)... А по утрам Толику нравилось шагать рядом со знаменосцем на линейку. Нравилось, хотя горнист Нинка Сухотина (влюбленная в Наклонова — это все знали), топая позади, назло дудела свой марш Толику прямо в ухо...

И ходить в бор за черникой ему нравилось.

И не все ребята были плохие. Например, с Валеркой Рюхиным у Толика вполне приятельские сложились отношения. И с веснушчатой Лариской, которую тоже выбрали в редколлегию...

Но все же компания Наклонова была в отряде главная. Да, пожалуй, и во всем лагере — маленьком, состоящем всего-то из трех отрядов. И Валерка Рюхин с этой компанией не спорил, обрадовался, когда его записали в команду «охотников за флагом».

А Геннадия Павловича перевели из вожатых в начальники лагеря, потому что прежняя начальница по какой-то причине уехала в город.

Именно к Геннадию Павловичу поволокла Толика новая вожатая Марина, когда случилась та история с малышом Вовкой. Скверная история, что и говорить...

Восьмилетний Вовка (из третьего отряда) притащил Толику железный прут и, невинно лупая глазами, сказал:

— Вот, ребята велели тебе отдать. Поскорее.

— Зачем?

— Чтобы ты громоотвод сделал. Потому что скоро гроза будет, а кровати железные. Ребята говорят, что...

Ну и не выдержал Толик. Вовка даже на ногах не устоял. И все это на глазах у Марины. Та — в рев и крик пуше Вовки...

Геннадий Павлович шевельнул острыми скулами.

— Я думал, ты честный парень, а ты... За что ты его? Он же кроха... Знаешь, что за это бывает?

Толик не опустил мокрых глаз.

— Знаю! Хоть что! Выгоняйте к чертям!.. Надоело... — И подумал: «Поживу один, пока мама не вернется, не пропаду».

— Что тебе надоело? — уже спокойнее спросил Геннадий Павлович.

— Все! Вы тут все заодно...

— Расскажи, что случилось.

— Не буду!

Рассказала Марина — то, что видела и слышала. Геннадий Павлович потемнел лицом. Велел позвать Олега.

— Думаешь, это Нечаев ударил Вовку? Это ты его с ног сбил... Подставил под удар, а сам в кусты.

Олег встал навтыжку. Даже побледнел (или показалось?).

— Геннадий Павлович, извините. Но мы же не хотели, честное пионерское. Это просто шутка была. А Нечаев тоже... Ничего не понял — и руками...

— Почему вы в отряде так относитесь к Нечаеву?

«Сейчас отопрется, гад, — подумал Толик. — Начнет: мы к нему нормально относимся, он сам...»

Наклонов встал еще прямее.

— Я понимаю, что это не по-товарищески, Геннадий Павлович. Мы исправим. Надо Нечаева больше в общественные дела втягивать, чтобы он не оставался в стороне... Вот скоро концерт будет, мы его попросим свои стихи почитать. Хорошо, Толя?

Толик не смог даже разозлиться. Какое-то утомление на него навалилось, на все стало наплевать. Пожалуй, одно чувство у него и осталось: жалость к маленькому Вовке. Может, попросить прощения? Не мог Толик, не умел, как Наклонов, извиняться с ясными глазами. Стыдно...

Он молча ушел из комнаты начальника лагеря. И с того момента стал жить один.

Нет, он не прятался, маршировал со всеми на линейках, ходил на костры и в лес, но был теперь поодаль от остальных и первый ни с кем не заговаривал. А при удобном случае уходил на луга за лагерем.

Лежишь в траве, а облака над тобой плывут, плывут. Как паруса, «когда Земля еще вся тайнами дышала»...

Может быть, надолго Толика и не хватило бы для такой жизни, но через два-три дня увидел он на мусорной куче за мастерской ровный кусок стекла размером с тетрадку. Аккуратный такой (наверно, вырезали для форточки, да ошиблись размером и выкинули). И вспомнил Толик про акваскоп Курганова. Даже рисунок его отыскал в глубоченных карманах широких хлопчатобумажных брюк, которые мама купила Толику перед лагерем для защиты от комаров-людоедов. Потом нашел он за мастерской и подходящую доску. Попросил у завхоза ножовку, распилил доску на четыре части и сколотил квадратную трубу — кожух акваскопа.

Швы кожуха Толик замазал смолой, которую собрал на стволах сосен. Стекло тоже прилепил смолой и укрепил по краям гвоздиками. При первых испытаниях вода просачивалась между стеклом и досками. Тогда Толик сбегал на задворки местной МТС, нашел там рваную автомобильную камеру, вырезал из нее

кольцо и натянул тугую резину на стык прозрачного экрана и кожуха. И теперь — воды ни капли.

На маленьком, укрытом за старыми деревьями пруду всегда было безлюдно. Купаться и рыбачить ходили на озеро с чистым песчаным дном. А здесь что? Осока, тина да головастики. И никто не мешал Толику заниматься исследованием глубины.

Глубина была так себе, да и акваскопа хватало всего на полметра. И подводный мир, прямо скажем, был небогат. Но все равно! Когда на стеклянном экране появлялись водоросли, когда срывались с них вверх цепочки пузырьков, проплывали мальки и личинки, Толик задерживал дыхание. Стекло акваскопа было как окошко в «Наутилусе». Или в подводной лодке «Пионер» из книжки «Тайна двух океанов»...

Может, со временем Толик окажется у настоящего иллюминатора в настоящей подводной лодке, которая пойдет на изучение глубин. Потому что если где-то на планете Земля остались тайны, то это прежде всего на дне океанов... И «Пионер» с Толиком до этих тайн доберется... Нет, лучше не «Пионер», а «Крузенштерн». Иван Федорович Крузенштерн ведь тоже изучал океанские глубины. Он опускал в море разные приборы с палубы корабля, потому что подводных лодок тогда еще не строили... А теперь наверняка построят! Специальные научные, глубоководные. Длинные, серебристые, похожие на стремительных акул. Рыбы про такую лодку, наверно, и будут думать, что акула... Но ведь тогда они будут пугаться!

...А если сделать не лодку, а небольшой аппарат, замаскированный под обычную рыбу? Можно управлять им по радио (говорят, ученые уже придумали способ, чтобы управлять по радио разными машинами). В такой аппарат легко вставить кинокамеру... А можно, наверно, и так сделать, чтобы прибор передавал все, что видит, сразу на корабль. Тоже по радиоволнам. Толик читал в «Пионерской правде», что уже изобретены радиоприемники с экранами, на них можно будет видеть дикторов, которые читают последние известия. И даже кино смотреть! Не выходя из дома!.. Если придумали такое для сухопутной жизни, для подводной разведки тоже можно приспособить.

Толик уже ясно представлял себе чудесный подводный аппарат. Плывет такая серебристая рыба, шевелит рулями-плавниками и усиками антенн, поблескивает глазами-объективами. Еле слышно шуршат внутри шестеренки моторов. Мигает лампочка радиосигналов... Рыба осторожно огибает обросшую подводным кустарником скалу, «обнюхивает» крупную раковину (нет ли жемчужины), заглядывает в иллюминатор давно потонувшего парусника... Потом радиолампочка вспыхивает ярче, рыба устремляется вверх, к зеленоватому пятну солнца, пробивает волнистую поверхность, взлетает над фальшбортом белого корабля

с большими буквами названия — «Крузенштерн». И прыгает — мокрая, ловкая, послушная — в ладони Анатолию Нечаеву, своему изобретателю.

Толик поправляет антенны, меняет аккумуляторы, протирает объективы... И опять плывет в глубине открыватель подводных миров — Тайный Океанский Лазутчик Имени Крузенштерна.

«Лазутчик» — слово не очень удачное. Лучше бы — «разведчик» или «исследователь». Но хочется, чтобы начиналось с «Л». Тогда первые буквы всех слов сливаются в имя — Т. О. Л. И. К.

Скажете, что хвастовство, да? Но ведь многие изобретения носят имена тех, кто их сделал. А здесь даже и не его имя, а Крузенштерна. А «ТОЛИК» получилось почти случайно...

Толик пристроил акваскоп поудобнее и радостно замер: прямо в середине экрана остановился крошечный, как пятак, карасик — уставился на Толика веселым глазом... Но в этот миг запрыгали, захлюпали по воде от твердого топота доски. Вода из щелей длинными языками выплеснулась Толику на брюки.

Толик судорожно толкнул акваскоп на глубину — он забурлил, заглатывая воду. Рывком Толик отправил его под мостик (знал, что сейчас тяжелый деревянный кожух нехотя всплывет и притаится под досками). Потом оглянулся.

Можно было и не пугаться, опасности не было.

А был Шурка Ревский...

ВОЛЧЬЯ ЯМА

Конечно, Шурка из наклоновской компании, даже вроде адьютанта у Олега, но все равно он не такой, чтобы подлости делать. Когда он встречал Толика на лагерных дорожках, то бормотал «здравствуй» и смотрел виновато своими широко рассажеными желто-зелеными (такими Шуркиными) глазами.

Он и сейчас так смотрел. И нетерпеливо переступал на досках кое-как зашнурованными, надетыми на босу ногу ботинками. А на икрах и коленях — тонкие порезы. Видно, не зная тропинки, продирался сюда напрямиком через осоку.

Быстро, но очень серьезно Шурка произнес:

— Толик, нам надо поговорить.

— Ну... говори, — небрежно сказал Толик. Не показывая же Шурке, что встревожился. Он усмехнулся с сочувствием: — Исцарапался-то как...

— Толик, это пустяки. Тебе гораздо больше достанется, если ты меня не станешь слушать.

— Я слушаю, — опять усмехнулся Толик, и холодным червячком шевельнулся в нем страх: Шурка зря не прибежал бы.

— Толик, тебе готовят ловушку.

— Кто? Наклонов, что ли? Подумаешь... Он мне и раньше каждый день их подстраивал. Он же у нас самый остроумный...

— Да нет! Они настоящую ловушку готовят! Он, и Семен, и Жорка, и еще несколько человек.

— И Валерка Рюхин? — тихо спросил Толик.

— Да... — понимающе сказал Шурка.

— Ну и пусть...

— Они хотят заманить тебя в волчью яму.

— Многого хотят. Я им не слепой теленок... А что за яма?

— Она в лесу. Тайная. И такое устройство из волейбольных сеток. Ты идешь, ступаешь туда, и — трах! — сразу как в большой авоське. И висишь в ней над ямой на перекладине.

— Они что, на тебе испытывали? — догадался Толик.

— Да... Это очень неудобно так висеть, весь запутанный. А с тобой что хотят, то и делают.

— Ничего не сделают. Я не дурак, чтобы на их приманки клевать.

— Но если бы ты не знал про яму, ты бы клюнул.

— Фиг!

— Нет, клюнул бы, — вздохнул Шурка. — Они подложат письмо: «Приходи после отбоя в лес, к двойной березе у родника. Есть важный разговор. Докажи, что ты не трус, и приходи...»

— Нашли дурака...

— Я думаю, ты пошел бы... — тихо сказал Шурка.

Толик помолчал. С какой стати он должен врать Шурке, который с кровью на ногах примчался предостеречь его?

— Шурка... Я пошел бы.

— Вот. А там западня.

— Ну а потом что? Оставили бы висеть до утра?

— Нет! Потом самое главное. Олег скажет: «Раз ты не испугался и пришел, мы принимаем тебя снова в «Красные робингуды».

— Больно надо!

— Тебе не надо, а они хотят... Он Жорку и других тоже в отряд записал.

— А я-то ему зачем снова?

— Ни за чем... Но он скажет, чтобы ты клятву дал.

— Какую?

— Такую же... как я тогда. Что больше не изменишь отряду.

Толик сцепил зубы. «Больше не изменишь...»

— А если не дам клятву?

— А им этого и надо. Обрежут веревку — и ты в яму.

— Ну и глупо, — искренне сказал Толик. — Если разобьюсь, они же отвечать будут.

— Не разобьешься, там неглубоко. Но там... Они коровьи лепешки навалили. Полным-полно...

Толик передернул плечами:

— Сволочи...

Шурка прошептал, не поднимая головы:

— А если дашь... клятву... все равно обрежут веревку. Они так договорились.

Толик молчал с полминуты. Потом почти простонал:

— Шурка, ну скажи: что я им сделал?

— Они говорят, что ты любимчик Геннадия Павловича. Подлиза.

— Я?!

— Они так говорят... И это будет месть.

— А тебе?

Шурка опять поднял глаза. Честные и печальные:

— Что?

— Тебе ведь тоже будет месть. — От жалости к Шурке и от благодарности у Толика сладко заныло в груди. — Шурик... Если Олег узнает, он же тебя... Ты же тогда клятву давал, тебя не простят.

Шурка сказал со спокойным вздохом:

— Конечно, он узнает... Я про клятву целую ночь думал. Нарушать нельзя, а с тобой... тоже так нельзя. Как же быть?

— Шурик... А если бы ты Олегу прямо сказал: «Не делайте ловушку, я всем расскажу!» Он бы не стал. И тебе не пришлось бы клятву ломать.

— Я думал. Ничего не вышло бы.

— Почему?

— Они этот план отменили бы, разумеется. И придумали бы другой, без меня. И тогда было бы совсем плохо. Пускай уж лучше мне попадет.

«А ведь здорово попадет», — со страхом за робингуда Ревско-го подумал Толик. И даже с нежностью к этому растяпистому, но бесстрашному Шурке. И сказал, поддавшись этой нежности:

— Шурка, я до самой смерти не забуду, как ты из-за меня на такую опасность...

Шурка ответил виновато и прямо:

— Толик, я, наверно, не из-за тебя. Я из-за Олега.

— Как... из-за Олега? — остывая, пробормотал Толик.

— Потому что я не хочу, чтобы он так делал. Он всегда честный был, а сейчас не понимает... Он потом поймет...

Уже досадуя на себя за расслабленность, за признание в благодарности, Толик сказал жестко:

— Это ты не понимаешь. Он всегда был такой.

— Нет! Я лучше знаю!

— Я тоже знаю. Насмотрелся... Не командир, а... — И Толик выпалил словечко, какие раньше употреблял крайне редко.

У Шурки заалели уши (да и у самого Толика горели тоже). Шурка произнес, глядя Толику в глаза:

— Ты не смей так говорить.

— Это почему «не смей»?

— Потому что он мой друг, вот почему...

«Не друг, а рабовладелец», — едва не ответил Толик. Но спохватился: зачем? От этих слов Шурка Олега не разлюбит.

— Друг так друг, — устало сказал Толик. — Его счастье... И твоя беда... Ладно, Шурка, спасибо тебе. Но ты не бойся, Олег про наш разговор не узнает.

— Почему?

— Если они подбросят письмо, думаешь, я не пойду в лес? Чтобы опять говорили, что трус?

— Но там же яма!

— А наплевать.

Конечно, Толик не собирался попадать в ловушку. Он придумает свою хитрость. Ответный боевой прием!

Разговор с Шуркой случился под вечер, после полдника, и до самого отбоя Толик размышлял: как же обмануть Олега и компанию? Как выйти победителем и отомстить?

Можно стащить на кухне похожий на саблю нож-хлебрез и на клочки распластать сетку, когда окажешься в западне. Но... ведь ямы-то все равно тогда не избежать.

А может, подобраться осторожно, ухватить Олега и самого его толкнуть в западню? И потом по веревке — жжик ножом! Пусть летит... в то, что приготовил. А самому — бежать! Но... выходит, опять бежать! К тому же ясно, что Олеговы союзники Толика все равно догонят: одному от многих не уйти.

Или сделать проще? Подойти к Олегу сейчас: «Я про вашу подлость уже знаю! По-честному-то не можете, да? Только целой кучей и в темноте храбрые!»

Но ведь отпорутся. И, главное, догадуются про Шурку!

Олег все продумал и рассчитал. Даже то, что не пойдет Толик жаловаться вожатой и начальнику. Не захочет быть ябедой, да и рассказывать, как вляпался в зловонную яму, разве охота? Гордость дороже... Но одного Наклонов не учел! Того, что он, Толик, узнал про яму заранее (спасибо Шурке!). И это преимущество надо использовать!

Но как? Просто голова трещит.

...А может, не будет письма?

После побудки, прыгая в широкие брюки, Толик ощутил в кармане бумагу. Достал сложенный треугольником лист. В письме — все то, что говорил Шурка.

Ну что ж...

Он пойдет! Пускай даже ничего не придумает, все равно пойдет! Там, на месте, видно будет, что делать. Может, достаточно окажется слов: «Эх вы, а еще робингуды!» А может, одному придется кинуться в отчаянный бой (при мысли об этом холодно, но не страшно)... А если окажется все-таки в ловушке — стиснет зубы и будет молчать. Ни на один вопрос не ответит, не застонет даже. Пускай хоть в болоте топят, хоть огнем жгут, хоть щипцами за язык тянут!

Вот тогда они затанцуют! «Что с тобой? Ну, скажи хоть полслова! Ребята, а может, он... может, у него разрыв сердца? Толик! Нечаев! Ну, ты чего? Мы же пошутили!»

Они еще не знают, что такое стальное молчание...

Приняв гордое решение, Толик почувствовал себя сильнее. Скорей бы ночь!

Но день только начинался. И не простой день, а родительский. На свидание с ребятами спешили из города матери и отцы. А также братья, сестры и прочие родственники, хотя они вовсе и не родители. Кого-то привез служебный автобус, кто-то добрался на попутной машине. Несколько старших братьев прикатили на велосипедах. Папу и маму Наклоновых доставила голубая «эмка».

Толику ждать было некого, и он слонялся по лагерю в томительном ожидании вечера.

Потом пришла простая и удачная мысль: пока все (в том числе и наклоновская компания) лопают родительские гостинцы, можно пробраться к двойной березе, разведать: готова ли ловушка, какие к ней подступы? А может, и диверсию устроить! Сетку, если она там, стащить и утопить в пруду!

Толик, оглянувшись, нырнул в репейники, отодвинул в заборе доску, протиснулся... И оказался сразу в другом мире — без резинолового гвалта, воспитательских окриков, распорядка и постоянного ожидания новых коварств от Наклонова и его дружков.

За лагерем начинался некошенный луг. Было позднее августовское утро, жаркое и тихое. Бабочки неслышно махали крыльями над розовым иван-чаем. В этом солнечном безмолвии Толику стало хорошо и спокойно. Даже волчья яма казалась теперь чепухой. Дурацкая затея. Как Наклонов этого сам не понимает? И страха у Толика нет, лишь досада берет, когда он думает о ло-

вушке. Но думать о ней Толик устал. И на разведку идти не хотелось.

Толик свернул на тропинку, что вела к шоссе (оно проходило в километре от лагеря). Вот так идти бы да идти: по тропинкам среди высокой, до плеча, травы; по обочине тракта, обсаженного вековыми березами (их, говорят, посадили еще ссыльные декабристы); по шпалам узкоколейки через торфяник (шпалы теплые, на них выступает смола и щекочущие липнет к босым ступням); по светлым березнякам, по высокому бору среди золотистых сосен и дремучих папоротников... Чтобы никто не встречался, не мешал, не распрашивал...

Нет, не получится. Вот кто-то уже идет навстречу. Женщина какая-то. Может, свернуть в траву? Не хочется прятаться, будто виноватому... А все-таки кто это? Хорошо, если посторонняя. А если кто-то из лагеря, сразу придерется: «Почему ушел с территории?..» Нет, все работники лагеря сейчас на месте, родителей встречают. А это незнакомая тетенька. Но... нет, кажется, все-таки знакомая. Удивительно знакомая!

Не может быть...

— Ма-ма-а!

Она прижала Толика к ситцевой кофточке, пропахшей травой и дорожной пылью.

— Толька!.. Ты почему здесь, не в лагере?

— Так... — пробормотал он, скользя губами по ситцу. — Гуляю...

— Тебе попадет.

— Не... Я же недалеко. А ты... значит, уже приехала?

— Я там быстро управилась. Варя осталась, а я назад...

Толик счастливо потерся носом о мамин рукав.

Мама смеялась:

— Я тебя не узнала. Сперва решила, что мальчик из деревни.

Смотрю... пастушок какой-то шагает...

Толик был босиком, мятые штаны подвернуты до шиколоток, рубашка поверх ремня. И волосы отросли (в лагере сначала ворчали: почему нестриженный приехал, потом отступились).

— Я тебя издалека тоже не узнал. А потом... как-то под сердцем екнуло... Ты на чем приехала?

— На попутной машине, в кузове. Очень быстро... А ты здесь как живешь?

«Хорошо», — чуть не сказал Толик машинально. Однако помолчал секунду и вздохнул:

— Живу по-всякому...

— Что-то случилось? — моментально встревожилась мама.

— Да не случилось. Просто... Ну, не бывает же так, чтобы все хорошо в жизни... — Врать не хотелось, жаловаться — тоже.

— Это верно. Не бывает. — Мама странно опечалилась.

Тогда встревожился Толик:

— А дома все в порядке?

— Дома все...

— Эльза Георгиевна Султана не заморила, пока ты ездила?

— Что ты! Они живут душа в душу... Ну, что мы стоим? Пойдем, покажешь, как тут у вас...

Они зашагали к лагерному забору. Медленно, потому что тропинка была узкая, трава цеплялась за мамино платье и за Толькины брюки. К тому же мама не торопилась, Толик тем более.

— Я пирожков тебе привезла. — Мама качнула авоськой с промасленным свертком.

— Ага... спасибо.

— Вас хорошо кормят?

— Нормально... Только часто вермишель дают, лучше бы картошки побольше...

— А с ребятами как? Подружился?

— Ма-а, — сказал Толик. — Значит, дома все в порядке?

— Что? Дома?... Дома-то все в порядке, Толик... — Мама взяла его за плечо, и он остановился, проколотый тревогой, как ледяной иглой. Сжался. Не знал еще, что за беда, но приготовился принять ее, как брошенную на плечи тяжесть. — Печальная весть, Толик. Арсений Викторович. Вчера похоронили.

Вот так... Вот какие волчьи ямы роет людям судьба. Это не ловушка Олега Наклонова. Ответную хитрость здесь не придумашь. Ничем не сможешь, ничего не сделаешь. Ни-че-го.

— А почему он умер? — спросил Толик насупленно. — Из-за бронхита?

— Видимо, разрыв сердца. Ночью. Утром соседка зашла, а он лежит, словно спит.

— Но ведь... — начал Толик, думая сказать, что на сердце Курганов никогда не жаловался. И замолчал, разом осознав бесполезность слов. Ничего не изменишь, сколько ни говори. Бессмысленно все. Пусто... Эта пустота начала расти — с такой стремительностью, что в ней уже недоставало воздуха, и пришлось хватануть его остатки широко раскрывшимся ртом.

— Толик... Ты не плачь, не надо.

Что? Он не думает плакать. Только непонятно... Так не бывает! Если закрыть глаза, без всякого усилия можно представить и лицо, и голос, и руки Курганова. Как он касается ладонью

Толькиных волос. Вот будто прямо сейчас. А на самом деле этого нет. Совсем нет. Ничего... Пустота...

И Толик понял, что в эту пустоту уходит от него не один Курганов. Уходит все, что было с ним, — паруса, острова... И люди, которые шли под парусами к этим островам. Рассыпается, исчезает синий мир дальних морей и суровых судеб...

Неужели насовсем?

— Мама, но книжку-то его напечатают? Он успел отвезти ее?... Мама...

— Не знаю, напечатают ли... Ее не приняли.

— Откуда ты знаешь?

— От Арсения Викторовича и знаю. Из Среднекамска мы ехали в одном вагоне... Будто нарочно судьба так устроила, чтобы он успел рассказать...

— А что он рассказал?

— Сначала ему повезло. Обычно рукописи лежат в издательстве подолгу: пока их прочитают, пока ответят автору... А тут у них что-то с планом случилось, нужно было срочно вставить в него какую-нибудь повесть. Вот один редактор и взялся прочитать за двое суток: вдруг, мол, откроется неизвестный талант...

— Ну а разве не талант?!

— Видишь ли... Арсению Викторовичу не сказали, что повесть плохо написана. Сказали, что не о том...

— О чем «не о том»?

— Сказали: «Вы все вывертываете наизнанку. Знаменитого Резанова превратили в отрицательного героя. Вместо того чтобы писать о героизме русских моряков, копаются в нетипичных случайностях, выискиваете мелкие недостатки и нацеливаете на них читателя...» Это, мол, очернительство действительности.

Что-то знакомое почудилось Толику в таких словах.

— Так про Зошенко говорили, да? Похоже...

Мама удивилась:

— А ты откуда про это знаешь?

— Сама же зимой объясняла.

— А, верно... Не знаю, похоже здесь или нет. Но вот так получилось...

— Но он же написал про то, что было! Все правильно! И про подвиги у него есть!

— Толик, — осторожно сказала мама. — Не я же вернула Арсению Викторовичу рукопись.

Толик обмяк. Проговорил тихо:

— Значит, он расстроился. И от этого — сердце...

— Не знаю... В вагоне он не казался очень расстроенным. Скорее сердитый был. И решительный. Говорил, что в Среднекамском издательстве сидят невежды и он поедет в Ленинград. Отдаст рукопись какому-то профессору для отзыва. Только, го-

ворит, надо перепечатать заново, а то единственный экземпляр, да и тот из-под копирки... Я дала ему новый номер телефона в нашем машбюро, у нас его сменили недавно... А через день соседка и позвонила по этому номеру, нашла его в блокноте на столе. Больше-то некому было звонить...

«Почему ты мне сразу не сообщила?» — хотел спросить Толик и опять почувствовал бесполезность слов.

Мама что-то говорила: может быть, как раз объясняла, почему не приехала к Толику сразу. Он не слышал, на уши давил тяжкий гул «Студебекеров» — они вереницей шли за березами. Лишь тут сообразил Толик, что он и мама идут не к лагерю, а в другую сторону и оказались уже рядом с трактором.

— Куда это ты? Пойдем в лагерь, мама. Надо кладовщицу разыскать, а то уедет в город, выходной ведь...

— Зачем тебе кладовщица?

— Чемодан-то мой на складе. В палате не разрешают держать.

— Постой... Ты что, собрался уезжать?

— А... как еще? — Толик смотрел недоуменно. Неужели можно ему оставаться в лагере, когда так все поломалось, перевернулось? Это было бы... ну, все равно, словно он предал Арсения Викторовича.

Мама не стала уговаривать. Только сказала растерянно:

— А я тебе ножик привезла складной. Помнишь, ты просил купить? Думала, здесь пригодится...

Толик взял ножик на ладонь — тяжелый, с никелированной рукояткой, похожий на рыбку.

— Спасибо. Он везде пригодится... Мама, тебе надо зайти к Геннадии Павловичу, заявление написать, что забираешь меня.

— И тебе не жаль уезжать?

Толику на минуту стало жаль. Война с Наклоновым и вообще все плохое показалось сейчас неважным. А хорошее вспомнилось. Но он решительно помотал головой. И вдруг спохватился:

— Я только одно дело не успел... Но это недолго.

Малыша Вовку он разыскал сразу. Тот сидел на лавочке у дачи третьего отряда. Разговаривал с худым веселым человеком. Они оба смеялись. Левой рукой мужчина обнимал Вовку за острые загорелые плечи. Правый рукав был засунут в карман пиджака.

С полминуты стоял Толик в трех шагах. Наконец позвал:

— Вов... Можно тебя на минутку?

Мужчина отпустил Вовку. Тот нехотя и удивленно подошел.

— Ты на меня не злись, — тихо попросил Толик. — Ладно?

Вовка непонимающе молчал.

— Ну... за то, что я тогда... тебя... Я не нарочно, — выдавил Толик.

Вовка замигал и вдруг улыбнулся:

— Да ладно... Я уж забыл.

Толик проговорил торопливо:

— Я сейчас уеду. Может, мы никогда и не встретимся больше, а ты будешь про меня думать, что я... такой вот...

— Не, я не буду...

Толик вложил ему в ладонь ножик, мамин подарок. И побежал к калитке.

ЧАСЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ!

Еще с улицы, сквозь окно, Толик увидел, что в комнате Курганова кто-то есть. Двери оказались не заперты. Толик вошел робко, но не постучавшись. Стучать в дверь дома, где не стало хозяина, было как-то... нет, не страшно, но неловко, будто шуметь во время похорон.

Комната была залита солнцем. Но свет казался неуютным, жестким — наверно, потому, что не было на окнах привычных марлевых занавесок. Кровать стояла голая, даже без матраца. Голыми были и книжные полки, со стены исчезла карта. Лишь портрет Крузенштерна, забытый всеми, висел над камином.

У камина возились с большим чемоданом женщина и мужчина. Женщина была крупная, с большой светлой прической и пухлыми локтями, которые нетерпеливо двигались. Мужчина — невысокий, лысоватый, в потертом кителе железнодорожника с новыми серебряными погонами.

— Здравствуйте, — сказал Толик тихонько.

Они, кажется, не расслышали... Но нет, женщина оглянулась, а мужчина поднял голову. Они посмотрели на Толика без удивления, и женщина ответила:

— Здравствуй.

А мужчина кивнул.

Сейчас спросят: «Ты зачем пришел, мальчик?»

А зачем он пришел? Толик и себе-то не мог объяснить, почему, едва приехав из лагеря, поспешил сюда. Даже маме ничего не сказал, сразу заторопился. Кого хотел увидеть, что узнать? Ведь Арсения Викторовича все равно уже нет...

— Тебе что, мальчик? — спросила женщина. У нее было круглое лицо — усталое и помятое. Это и понятно: горе никому красоты не прибавляет. В глазах ее угадывалось еле уловимое сходство с Кургановым, и Толик понял, что это его дочь, Елена Арсеньевна.

А мужчина, видимо, ее муж.

Он тоже вопросительно смотрел на Толика.

А что мог Толик объяснить? Колбочие крошки уже заскребли горло. И, глядя на Крузенштерна, он шепотом произнес:

— Можно, я возьму портрет? Вам он, наверно, не нужен...

Дочь Курганова и ее муж не ответили. Наверно, не поняли.

И Толик, насупившись, объяснил:

— Это я подарил Арсению Викторовичу на день рождения...

Елена Арсеньевна встряхнулась:

— Ох... ты проходи, мальчик... Ты что, был знаком с Арсением Викторовичем?

Толик кивнул. Сделал шаг от порога, не спуская глаз с портрета. Муж Елены Арсеньевны торопливо поднялся на цыпочки, отколунил от стены кнопки, подал портрет Толику. У мужчины были светлые, как голубоватое стекло, глаза под выгоревшими бровями. Он смотрел с непонятной виноватостью.

— Вот... Давай свернем в трубку. А потом в газету. Лена, есть у нас газеты?

— Я все бумаги сожгла.

— Ничего, я так донесу, — прошептал Толик.

Ему вдруг захотелось, чтобы Елена Арсеньевна или этот мужчина спросили: откуда Толик знает Арсения Викторовича, часто ли они встречались, о чем говорили?.. Может, он даже не сдержался бы и заплакал (и растаяли бы в горле сухие комки). Но Елена Арсеньевна опять повернулась к чемодану, а муж подошел к ней. Что-то сказал на ухо. Она двинула плечом...

Ну, вот и все. Надо было уходить. И Толик, прощаясь, еще раз обвел глазами комнату. Зря. Не надо было смотреть на эту сиротскую пустоту, высвеченную беспощадным солнцем. Надо было запомнить комнату прежней — где все на месте и нет жутковатой, непривычной приглушенности.

Да, вот в чем дело! Запустение — не потому, что исчезли многие вещи. А потому, что *молчит хронометр*.

Глаза Толика метнулись по углам и полкам, по подоконникам. И у левого окошка, на табурете, он увидел знакомый ящик с латунными ручками.

Толик шагнул к хронометру. Секундная стрелка не двигалась — как в то февральское утро, когда он опоздал...

Толик опустился перед табуретом на колени. Открыл ящик. Глотком загнал поглубже слезы и сказал тихо, но решительно:

— Так нельзя.

— Что? — откликнулся муж Елены Арсеньевны.

— Это морской хронометр. Простые часы останавливают, если человек умер, а морские нельзя никогда.

— Но мы и не останавливали, — мягко возразил железнодорожник. — Они, видимо, сами...

Да, конечно. На указателе завода стрелка показывала сорок

восемь часов. Как в тот раз... Арсения Викторовича не было уже больше суток, а хронометр все стучал, стучал. Пока полностью не раскрутилась пружина.

— До часов ли тут было... — сказала Елена Арсеньевна.

Муж ее негромко объяснил:

— Я хотел завести, да не знаю как... Вертел, скважину искал, а она закрыта... Крутил, щелкал — стоят.

— Зря щелкали, — сумрачно ответил Толик. Он вспомнил разговор с Арсением Викторовичем. Перед лагерем. Когда все-таки признался, что сам однажды пустил хронометр.

Арсений Викторович не рассердился. Только покачал головой и с полминуты молча смотрел на Толика. Затем сказал:

— Я же говорил: ты везучий человек. Рука у тебя легкая...

Ведь цепь-то могла слететь.

Толик не понял.

— Когда пружина расслаблена полностью, а на валике еще остался виток цепи, он может соскочить от толчка, потому что не натянут. Начинаешь заводить — и все запутывается. Тогда уж без генеральной починки не обойтись.

— Значит, я все-таки аккуратно нес хронометр, хотя и быстро, — улыбнулся Толик. — И я же потом вынимал механизм-то. Видел, что цепочка на месте...

А сейчас?

Толик решительно отвинтил стекло. Уже без страха, не то что в прошлый раз, взял механизм в левую ладонь... Слава Богу, серебряная цепочка была на валике. Лишь чуть съехала, оставив на латуни темный пунктирный след. Толик сжал зубы и точным нажимом ногтя подвинул ее на место. Затем повернул ключ на один оборот — пока лишь для того, чтобы цепь натянулась...

Толкнул балансир.

«Динь-так, динь-так» — проснулся механизм, и Толик ощутил короткий толчок радости. словно он возвратил капельку жизни не только хронометру, но и его хозяину.

«Динь-так, динь-так...»

Когда секундная стрелка встала на числе 60, он придержал балансир. Спросил, не оглядываясь:

— Сейчас сколько времени?

— Скоро два...

Это хорошо, это удачно... Хотя странно: неужели только середина дня? Казалось, несколько суток прошло, как уехали из лагеря... Они с мамой шли по тракту, голосовали попутным грузовикам. Наконец один остановился. В кузове были пустые ящики, они все время наезжали на Толика и маму, потому что сильно трясло. Он отпихивал ящики ногами... Ехали, казалось, долго-долго... Потом очень долго шли по городу к дому... Султан за-

прыгал от радости вокруг Толика, а он потрепал его по ушам и сказал: «Да подожди ты, глупый...»

— Скоро два, — ответил Толику муж Елены Арсеньевны.

— Мне надо точно, — резковато сказал Толик.

— Без семи минут.

Толик подошел к репродуктору, щелкнул по краю.

И пробилась в заглохшую комнату неожиданная музыка. Беззаботная такая, из фильма «Первая перчатка». Елена Арсеньевна подняла от чемодана голову.

— Это ненадолго, — сказал Толик. — Это надо.

Она пожала плечами. Муж ее в углу у двери укладывал в обширную авоську свертки. Он глянул на Толика быстро и, кажется, с удивлением. Но тут же опять занялся авоськой.

Толик ждал. Минуты еле ползли.

Музыка была сама по себе, а молчание — само по себе. Это молчание давило. Чтобы разбить его, Толик спросил:

— А рукопись Арсения Викторовича теперь у вас?

Дочь Курганова по-прежнему колдовала над чемоданом. Пухлые локти ее на миг остановились — и опять... Но через несколько секунд Елена Арсеньевна спросила нехотя:

— Какая рукопись?

— Повесть, которую он написал. «Острова в океане». Она не потерялась? — Толик спросил это уже с тревогой.

Муж Елены Арсеньевны распрямился и смотрел на нее из своего угла. Она ответила, не разгибаясь:

— Впервые слышу.

— Арсений Викторович ее столько лет писал!

Елена Арсеньевна сказала со сдержанной досадой — видимо, прежде всего не чужому мальчишке, а мужу:

— Отец всю жизнь что-то писал. И ничего, кроме неприятностей, от этого не было... Здесь у него всякие бумаги хранились, но старые, в беспорядке. Обрывки разные и письма. Я сожгла. А рукопись... не знаю.

«Надо же ее найти!» — хотел сказать Толик. Но не посмел. Ощутил натянутыми нервами недовольство, раздражение женщины. Какое-то внутреннее сопротивление разговору. Почему? Не успел задуматься, из репродуктора донеслось:

— Товарищи, проверьте часы...

На этот раз Толику не представились солдаты в шеренгах и шагающий офицер. Сухое «тик-так» было просто щелчками в пустоте. Но пустил хронометр Толик точно. Крутнул при третьем сигнале ящик, увидел, как шевельнулась стрелка, и распрямился.

И заметил, что муж Елены Арсеньевны стоит рядом. Наклонившись, смотрит на ожившие часы. Он был невысокий, и серебряный погон оказался прямо у лица Толика. И на погоне, по-

выше капитанских звездочек, Толик разглядел плоский латунный паровозик. Аккуратный такой, каждое колесико видно.

...А в хронометре колесики — динь-так, динь-так...

Глядя на паровозик, Толик сказал:

— Когда повезете хронометр, не снимайте со стопора, качки в поезде не бывает... А заводить надо каждое утро в восемь часов.

— Не получится, наверно, каждое утро, — сказал муж Елены Арсеньевны. — Я на транспорте работаю, все время в поездках. Лена... Она тоже занятой человек.

— Но иначе нельзя! — Толик требовательно вскинул глаза. — Ход собьется. А если хронометр совсем остановится, может упасть цепь. Тогда совсем...

Железнодорожник смотрел пристально и непонятно. Толик отвел глаза. Стал глядеть на циферблат... «Динь-так, динь-так» — стрелка обежала полкруга.

Толик прошептал:

— Здесь пружина ослаблена. Я мог бы подтянуть, я знаю как... Но тогда надо снова ход регулировать...

Муж Елены Сергеевны спросил негромко:

— Тебя зовут-то как?

— Толик... Анатолий.

— Вы что, друзья были с Арсением Викторовичем?

«Да!» — хотел резко и гордо ответить Толик. Но сумел лишь кивнуть. Еле-еле... И бывает же так не вовремя — упала на стекло футляра капля, растеклась прозрачной пленкой.

— Вот ты и заводи часы каждое утро, — услышал он. Вскинул лицо — так, что брызги с ресниц.

Невысокий человек в потертом кителе сказал отчетливо и громко, словно уже не одному Толику:

— У нас дорога дальняя. Мы хронометр целым не доведем. А ты все про него знаешь: как заводить, как беречь. Вот и береги. Это *твое* наследство, Толик.

До той минуты Толик не думал, что хронометр может стать *его*. Просто в голову не приходило. Но сейчас он не удивился. Решение было самым правильным. Справедливым. Наверно, и сам Арсений Викторович решил бы так же.

...Портрет Крузенштерна Толик свернул вчетверо и засунул под рубашку. А хронометр до самого дома нес, держа футляр перед грудью. Нес, как полную кастрюлю, когда нельзя выплеснуть ни капли. Еле слышное «динь-так» доносилось из-за толстого стекла.

Небольшой, похожий на Вовку из третьего отряда мальчик доверчиво подошел сбоку. Глянул сквозь стекло. Удивился:

— Ой... Я думал, там кто-то живой, как в аквариуме...

— Он и так живой, — строго сказал Толик.

Мальчик не обидел хронометр недоверием. Понимающе кивнул и несколько шагов шел рядом, поглядывая на удивительные часы. Потом убежал, стуча босыми пятками по тротуару.

ПРОЩАНИЕ

Толик не пошел на кладбище. Не потому, что оно было далеко за городом, и не потому, что боялся не найти могилу Курганова. Мог бы с мамой сходить. Мог бы сам расспросить и отыскать. Но душа его сопротивлялась мысли о смерти. Он помнил Арсения Викторовича живым и не хотел представлять, что теперь он, неподвижный, закрытый глухой деревянной крышкой, лежит под глиняной толщей.

Все равно то, что зарыли в землю, было уже не Арсением Викторовичем. А настоящий Курганов снова в памяти Толика шелестел исчерканными листами и читал свою повесть хрипловатым от смущения голосом. И трещали в камине дрова. И стучал хронометр...

Он и сейчас стучал размеренно и неутомимо, словно доказывая, что смерти нет, пока его механизм работает, как сердце.

Но все-таки прогнать мысль, что Арсений Викторович умер, было невозможно. И порой подкатывала такая печаль, словно Толик остался один на свете и ничего хорошего никогда уже не увидит. Он пугался этой печали, встряхивался. Что это такое, в конце концов! Не все же потеряно в жизни. Вот он, Толик Нечаев, живой-здоровый, солнце светит, мама рядом, Назарьян и Юрка Сотин забегают каждый день, зовут купаться. А главное — то, что есть мечта, радость для будущей жизни: Тайный Океанский Лазутчик Имени Крузенштерна.

Стоило вспомнить о приборе по имени «ТОЛИК», и тоска отступала. Но не совсем. Такое настроение, когда особой горечи нет, но не хочется ни смеяться, ни играть, бывало у Толика подолгу. И однажды вечером взяла мама Толика за плечи и усадила с собой рядом на кровати. Тихо спросила:

— Все печалишься об Арсении Викторовиче?

— Нет... — сказал Толик.

— Но я же вижу.

— Нет, — шепотом повторил Толик. — Я не только о нем. Иногда я про него и не думаю, а все равно как-то... Ну, я не знаю.

Мама погладила его по голове и придвинула к себе поближе. Словно защитить хотела от неведомого.

— Ма-а... я вот еще про что часто думаю. Неужели его повесть совсем никогда не напечатают?

Мама вздохнула:

— Никто даже не знает, где рукопись...

— А может, он ее спрятал?

— Где? И зачем?..

«...А если опять сжег? — подумал Толик. — Нет! Он же поглялся...»

— А если она в издательстве осталась? У того редактора?

— Едва ли. Если рукопись не приняли, какой смысл держать ее в редакции? По-моему, он вез ее с собой. Недаром же просил перепечатать.

— Значит, никакой надежды...

— Может быть, и есть надежда. Но слабая... Чтобы добывать книжки, надо рукопись искать, потом хлопотать, ходить по редакторам... Мы-то что здесь можем сделать? У нас никаких прав. Этим должны заниматься родственники. Дочь его...

Толик вспомнил Елену Арсеньевну и понял, что она искать и хлопотать не станет.

— Она будто боится чего-то...

— Это немудрено... У отца было столько неприятностей. Ты ведь, наверно, догадываешься.

Толик даже не догадывался, а просто-напросто знал. Кое-что сам сообразил, кое-что проскользнуло в словах Курганова, да и в маминых разговорах еще раньше были намеки. С Кургановым случилось то же, что, например, с мужем Эльзы Георгиевны или с отцом Валерки Шумилова — Толькиного соседа по прежней квартире. Кто-то шепнул кому-то, что человек ведет неправильные разговоры, а может, и просто вредитель. Перед войной время было суровое, всюду чудились вредители. И оказался Курганов на Севере вовсе не по своей воле и ни в какой не в экспедиции. Ему повезло — не то что отцу Валерки или мужу Эльзы Георгиевны: наверно, в конце концов разобрались, что никакой Курганов не враг народа. Выпустили. Но след-то за человеком все равно тянется, слухи всякие... Понятно, что дочь боялась: не случилось бы чего-нибудь опять.

— Ну а сейчас-то чего бояться? — хмуро спросил Толик.

— Мало ли... Я думаю, она могла рукопись просто-напросто сжечь. Вместе с другими бумагами Арсения Викторовича.

— Зачем?

— Может быть, подумала: вдруг там что-нибудь не то написано? Кто-нибудь прочитает, будут и у нее, у дочери Курганова, неприятности!

— У него все хорошо написано, — упрямо сказал Толик.

— Это кому как покажется... Видишь, и редактор ему говорил: «Не на том внимание заостряете...»

— Потому что дурак он, редактор, — сумрачно подвел итог

Толик. И приготовился услышать, что о взрослых незнакомых людях судить он не имеет права. Но мама только заметила:

— Не обязательно дурак. Скорее просто хочет жить спокойно... Как и дочка Арсения Викторовича.

— Но она же родная дочь!.. Отец столько над повестью работал!

— Знаешь, Толик, — сказала мама задумчиво, — я подозреваю, что дочь и не догадывалась о работе Арсения Викторовича. Или не принимала ее всерьез. Скорее всего, посмотрела мельком рукопись и решила: ненужная писанина какая-то, ну ее в печку от греха подальше.

«Наверно, так и было», — понял Толик. И вырвалось у него горько и для себя самого неожиданно:

— Значит, зря жил человек.

— Ну что ты, — осторожно сказала мама и опять придвинула Толика поближе. — Ну, почему же зря? Он много работал. Столько хорошего сделал в жизни...

— А главное дело все равно пропало.

— Нет... — Мама подумала и заговорила тихо, но решительно: — Не пропало и главное. Ты же прочитал его повесть. Это тебе в жизни пригодится. А значит, и другим людям, если будет им от твоей жизни польза. Конечно, жаль, что книгу Арсения Викторовича не напечатали, но след она все же оставила... А может быть, ты вырастешь и сам напишешь повесть про эту экспедицию, а? И посвятишь ее памяти Арсения Викторовича Курганова! А в предисловии расскажешь, что это был за человек. Вот и не забудется его имя.

Толику не хотелось спорить. Но он знал, что писателем не станет. Потому что он уже выбрал дело на всю жизнь... Но вообще-то мама правильно говорит. Если бы не Курганов, не додумался бы Толик до прибора — разведчика подводных тайн. Но он додумался и обязательно построит его. Тайный Океанский Лазутчик Имени... Имени Курганова, вот что! Крузенштерн и так знаменитый. А имя Курганова для морского аппарата — в самый раз. Когда конструктор Нечаева будут спрашивать, откуда оно, это имя, он расскажет про Арсения Викторовича. И тогда в самом деле получится, что все было не зря! Разве не так?

«Динь-так, динь-так, динь-так» — размеренно говорил хронометр.

И все же Толика точила совесть, что он никак не попросился с Арсением Викторовичем. Он по-прежнему не хотел ехать на кладбище, но чувствовал: надо что-то сделать, чтобы легче стало на душе. И чтобы Арсений Викторович, когда Толик будет представлять его живым, на него не обижался.

С этой мыслью Толик проснулся рано утром двадцатого августа. В шестом часу. Он пытался вспомнить недавний сон: будто повесть Курганова напечатали и тот принес книжку в подарок Толику — веселый, молодой (каким Толик наяву и не видел его) и в старинном зеленом мундире. Быстро пожал Толькину руку, растрепал, смеясь, его волосы. «Маме привет передавай. А мне пора...» И как-то получилось, что они уже не в комнате, а на крыльце. Подошел грузовик с открытым задним бортом, Курганов легко прыгнул в кузов, и оказалось, что это не кузов, а корма парусного корабля, который отодвигается, уходит в голубоватосерый туман.

— Арсений Викторович, куда вы?! — закричал Толик. — Мама скоро придет, подождите!

— Мне пора!

— Куда вы?!

— На остров! Меня ждут все наши! Они сейчас все там: и Крузенштерн, и Головачев, и Резанов! И прадедушка Иван Курганов! Мы теперь больше не ссоримся...

— А вы еще приплывете?

Но туман укрыл корабль и Курганова, а из голубых клубов на траву прыгнул Шурка Ревский.

— Тютбейку мою не видел? Опять улетела, такая неприятность...

...Но все это вспоминалось Толику слабее и слабее, сон уплывал, оставляя ощущение ласковой грусти.

Мама спала, отвернувшись к стене и укутавшись, видны были только завитки волос на затылке. На них искрился ранний утренний лучик. Толик встал, прихватил со стула одежду и на цыпочках вышел из комнаты. На лестнице натянул штаны и майку и босиком выскочил на крыльцо.

Солнце только что встало и глядело из-за ближнего забора, будто веселый глаз в растопыренных золотых ресницах. Утренняя зябкость ухватила Толика в колчужие, с мурашками, ладони. Но он не стал ежиться от холода и щуриться на веселое солнце тоже не стал. Настроение у Толика было сразу и задумчивое, и решительное. Он вышел со двора на пустую улицу, прошагал до перекрестка и там на мокрой искрящейся лужайке нарвал мелких городских ромашек и пунцового клевера. Перевязал маленький букет травяным жгутиком. Сунул цветы под майку и побежал. Через двадцать минут он был на Ямской.

Прохожих не встречалось, некого было стесняться. И Толик в этой утренней солнечной пустоте подошел к дому номер четырнадцать, к тому краю, где смотрели на улицу два окна бывшей комнаты Курганова. В окнах отражалась улица, и что там сейчас за стеклами, не было видно. Да Толик и не стал заглядывать. Он быстро осмотрелся еще раз и встал коленями в траву у кирпич-

ного фундамента. Трава уже высохла от росы. Из нее прыгнул кузнечик и затрещал где-то в стороне. Толик пошарил по фундаменту глазами и почти сразу нашел подходящее место — выемку от выпавшего кирпича.

Тогда Толик медленно вынул букетик, расправил лепестки ромашек и положил цветы в углубление.

Вот так он и попрощался с Арсением Викторовичем. Но скорее даже не с ним, а с частью собственной жизни. С теми вечерами, когда под стук хронометра Курганов читал свою рукопись. Таких вечеров в жизни Толика выпало всего два, но теперь казалось, что было их гораздо больше. Он прощался с синей картой на стене, с рисунком, где Нептун встречает на экваторе русских моряков; с разговорами о дальних островах.

Толик встал. Погладил кирпичную кладку. Тряхнул головой и пошел не оглядываясь...

— Где это ты гуляешь ни свет ни заря? — встретила его мама.

В первую секунду решил Толик соврать, что бегал на двор по самому обычному делу. Но тут же понял: мама ждет его давно. Она уже оделась, причесалась, заправила постели — свою и его. Он засопел, запереступал пыльными ногами, затеребил на животе майку. И вдруг сказал, глядя в пол:

— Ма-а... я прощался.

Странно, что мама почти не удивилась. Спросила негромко:

— С кем, Толик?

Присела на табурет у двери, взяла Толика за локти. Ждала.

— Ну... — сказал он. — Я на Ямскую ходил, где Арсений Викторович... — И тут у него вырвалось то, что чувствовал: — Ма-а... Как-то странно все кажется. Будто скоро уеду насовсем отсюда...

Мама вздрогнула. Потом пальцем приподняла его подбородок.

— Ты уже знаешь?

— Что? — удивился и немного испугался Толик.

— Что мы уедем.

— Мы? Я... не знаю! Куда?

— Уедем, — сказала мама. Притянула Толика, прижалась к его плечу теплой щекой. — Там нам всем будет лучше... Варя наша выходит замуж, мы поедem к ней...

Толик с полминуты молчал, переваривая новости. Он чувствовал, что шумно удивляться не стоит, не к месту это. И сказал наконец тихонько:

— Ай да Варюха. Послушалась меня, значит...

Вот что он узнал. Варя давно дружила со студентом Юрой, они на одном курсе. И наконец решили пожениться. Когда Толик был в лагере, мама не просто так ездила в Среднекамск, а чтобы

с этим Юрой познакомиться и с его отцом. И очень Юра ей понравился...

— Ну, Варюха наша плохого не выберет, — вставил Толик.

— Да... Варя с Юрой после института останутся работать в Среднекамске, это уже решено, а жить будут в Юрином доме. То есть в доме его родителей. У них свой, большой. И нас туда очень зовут.

Толик беспокойно шевельнулся. Он был не малый ребенок и за свои годы успел послушаться житейских историй. И подумал, что Юра, наверно, и в самом деле неплохой, но как его родители уживутся с мамой и с ним, с Толиком? Сперва-то зовут, а потом как не сойдутся характерами... Всякое ведь бывает, скажут: вьехали тут не на свою жилплощадь...

Мама опять взяла Толика за подбородок, улыбнулась:

— У тебя, как всегда, мысли на носу напечатаны. Ты, наверно, думаешь, что если у человека свой дом, то он обязательно какой-нибудь толстый хозяин, с коровой и огородом... А у них дом еще от бабушки, он был известным врачом. И Юрин папа врач. Хирург Гаймуратов, о нем даже в газетах писали.

— А они что, нерусские?

— Н-не знаю... Почему ты решил?

— Ну, фамилия...

— Может быть, кто-то из бабушек-бабушек был татарин или башкир. По Юре и по отцу незаметно, отец на Чехова похож... А, собственно, какая разница?

— Да никакой, — вздохнул Толик. — Просто вспомнил. — Он вспомнил Рафика Габдурахманова, синеглазого робингуда, веселого художника. И грусть по отряду опять, несмотря ни на что, царапнула его. Но он прогнал эту грусть, только подумал: хорошо, если бы Юра оказался похожим на Рафика...

— Что ты вспомнил? — спросила мама.

— Да так... А мать у Юры кто?

— Мамы у него нет...

«Вот оно что», — подумал Толик и высказал еще одно опасение:

— А если они это... начнут из тебя домохозяйку делать? Или у Варьки ребенок родится, а тебя нянчить заставят...

Мама засмеялась:

— Разве ты меня дашь в обиду?.. И домохозяйкой я не сделаюсь, я уже узнавала о работе, там машинистки везде нужны.

— Все без меня решили, — ворчливо сказал Толик.

Мама ответила серьезно:

— Ничего пока не решили. Давай думать вместе... А Среднекамск — город хороший, в пять раз больше нашего.

— Подумаешь...

— Река громадная, пароходы...

- Да?!
- А ты не знал? Ты же ездил...
- Я забыл, — смутился Толик. — Я зимой ездил, подо льдом реку не видно...
- А у Андрея Владиславовича, у Юриного папы, такая библиотека! Весь дом в книгах. И Жюль Верн есть...
- Толик вздохнул:
- Ладно. Считается, что я тоже решил ехать. Недаром я чувствовал... Ой!
- Что?
- А Султан?
- Султан, услышав про себя, выбрался из-под стола, замахал хвостом. Толик обнял пса за шею.
- Как мы его оставим?
- Да никак, — сказала мама. — Куда же мы без него...

ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Часть вещей решили оставить пока на хранение Эльзе Георгиевне, кое-что из мебели раздали соседям с первого этажа. За громоздким имуществом потом придут Варя и Юра. Мама же и Толик должны спешить: скоро сентябрь, Толика надо в школу записать...

— Поедем налегке, — сказала мама.

Сказать-то легко.

Ужас как обрастает вещами человек!

Прошлой осенью, когда переезжали в эту комнату, Толик устроил генеральную чистку. А теперь опять вон сколько добра накопилось. И для этого добра мама дала всего-навсего маленький чемодан, с которым он ездил в лагерь.

— Как я сюда все запихаю?

— Все и не надо, возьми только самое необходимое. Всякого барахла в Среднекамске насобираешь снова.

Но он и берет лишь самое необходимое.

Кольцевые подшипники для самоката отдал Назарьяну, незаконченную подводную лодку из соснового полена — Юрке Сотину. Раздал и многое другое: мотки цветной проволоки, всякие инструменты и наковальню из куска рельса, старую велосипедную динамку, руль от «эмки», самодельный проекционный фонарь из ящика от посылки... Даже снарядную гильзу, которую зимой у Васьки Шумова выменял на трубку от противогаса, отдал прежнему хозяину просто так.

Но заслуженную фляжку не оставишь! И конструктор, который мама купила два года назад на толкучке (старый, еще доверенный, без многих деталей, но все равно замечательный)! И фо-

нарик, и коробку с диафильмами, и магнит от разобранного репродуктора... А еще надо краски положить и альбом для рисования, в нем больше половины листов чистые... А что такое в него засунуто? Ой, это же сложенный вчетверо портрет Крузенштерна!

Толик присел на пол у чемодана, развернул портрет на коленях, задумался. Но долго сидеть было некогда. Он опять сложил портрет и заметил, что из альбома торчит угол фотоснимка.

Это была карточка, которую Шурка дал Толику через день после концерта. Накануне похода.

Вот они стоят, «красные робингуды», в то время, когда все еще было хорошо.

Кажется, это было давным-давно... И лучше бы совсем не было! Толик взялся за края снимка, чтобы разодрать его пополам, и еще пополам, и потом на мелкие кусочки. На клочки все, что связано с робингудами!

Но пальцы остановились, не порвали карточку. Потому что понял Толик: он хочет забыть не одних робингудов, но и свою трусость в самолете. А это была бы уже новая трусость. Нельзя забывать то, в чем виноват, нечестно это. Забудешь, а потом где-нибудь опять сдашь страху...

А еще стало жаль того солнечного дня, когда читал Толик с расшатанной дощатой сцены свои стихи, а потом стоял с ребятами вот так, в обнимку, и радовался своей хорошей жизни и друзьям. Где-то в самой глубине души проснулась догадка, что через годы он будет смотреть на этот снимок уже иначе: без большой обиды и, может быть, с грустной улыбкой...

Да и сейчас, по правде говоря, особой обиды не было. Если подумать всерьез, разве робингуды враги? Что они плохого Толику сделали? Мишка Гельман, например? Или Рафик, или Люська? А Витя? Ну принес тогда порванный герб да сломанный меч, так ведь не сам же хотел этого, поручили.

А Шурка, тот вообще... Вот о ком всегда будет жалеть Толик. Грустно, что не получилась у них дружба. Но все равно хорошо, что Шурка есть на свете...

Но Олегу и Семену Толик никогда ничего не простит... Хотя наплевать на Семена, он тюфяк и делает все, что велит Наклонов. А Олег — тот и в самом деле враг. Лагерные дни и «волчьему яму» Толик не забудет.

Одно плохо: уедет Толик и не скажет Олегу Наклонову последнего решительного слова.

Мама попросила:

— Толик, принеси воды. Хоть полведра, надо чайник вскипятить.

Полведра — это же цыплячья доза. Через час опять бежать за

два квартала на колонку... Толик налил ведро до верха и поволок перед собой, вцепившись в тонкую дужку двумя руками.

...Ух и помотали ему руки эти ведра, пока он жил здесь, на Запальной. На пальцах от железной дужки — затвердевшие мозоли. А из плечевых суставов, наверно, все жилы вытянуты. Может, в Среднекамске колонка поближе от дома? А вдруг там прямо в доме водопровод есть? Вот красота-то была бы!..

Ноги стучались о ведро, вода плескалась на штанины, они противно мокли и делались жесткими. Руки вот-вот, казалось, отвалятся. Толик поставил ведро, выпрямился и тихонько застал от облегчения.

И увидел Шурку Ревского.

Тот шел по другой стороне улицы, задумчиво балансировал на крайней доске тротуара и Толика не замечал... Знакомый такой Шурка в своей вечной тюбетейке, дрожащей на кудряшках...

И Толик сказал:

— Шурик...

Тот остановился, крутнулся на пятке, взмахнув руками. Прыгнул с тротуара и зашагал к Толику через пыльную дорогу.

— Разве вы уже приехали? — неловко спросил Толик.

Шурка смотрел Толику в лицо своими серьезными, широко сидящими глазами. Кивнул:

— Конечно, приехали, раз я здесь.

— А что ты тут делаешь? На нашей улице...

Мелькнула мысль: уж не его ли искал Шурка? Но робингуд Ревский спокойно объяснил:

— Я записку относил папиной знакомой, она здесь живет.

— А я уезжаю... Завтра днем, в Среднекамск. Насовсем.

Шурка подумал. Сказал с прежней сдержанностью:

— Ты что-то все время уезжаешь. То из лагеря, то из города.

— Из лагеря, потому что так получилось... У меня, Шурик, один знакомый умер. Очень хороший...

— Да? — быстро сказал Шурка и опустил глаза.

— Да, — сказал Толик. И стал смотреть на свое отражение в ведре. Лицо в темном круге воды колебалось и морщилось, словно тот отраженный Толик собирался заплакать.

— А мы думали... — начал Шурка.

— Что? — вскинул голову Толик.

— Что ты испугался ямы. — Шурик опять глянул ему в лицо.

— Я?! — взвинулся Толик. — Да я же... Да мне наплевать тогда было на яму и на всех робингудов!

Шурка сказал виновато:

— Мы же не знали, что у тебя такая причина.

— «Не знали...» — хмыкнул Толик. И хотел сказать, что ему совершенно все равно, что думают про него Наклонов, Семен и прочие подлые заговорщики. Нужны они ему, как колючка в

пятке... Но вдруг он сообразил: — Шурка... А кто это «мы»? Олег-то как догадался, что я знаю про яму?

— Я рассказал. — Шурка задергал на матроске галстучек, слегка поблелел, но глаз не опустил. — Я рассказал Олегу, когда ты уехал, что рассказал тебе тогда вечером про яму.

— «Рассказал, рассказал, рассказал...» — повторил Толик насмешливо и сердито, но сразу пожалел несчастного, не умеющего врать Ревского. — Эх ты, Шурка-Шурка. Они же тебя... со всем, наверно, затюкали.

— Нет, — вздохнул он. — Мне ничего не было. Олег только сказал: «Видно, тебя не перевоспитаешь». Меня, значит.

— Лучше бы он сам перевоспитался... — Толик зло прищурился, представив красивое лицо Наклонова.

— Ему не надо, — быстро сказал Шурка.

— Надо. Потому что он гад.

— Нет! — Шурка стиснул кулачки, и Толик опять пожалел его. Но злость была сильнее жалости.

— Он гад, твой Олег, ты сам знаешь. Потому что такие подлые капканы придумывают только гады и предатели.

— Нет! Он так придумал, потому что ты... он думал, что ты изменник и трус.

— Он сам трус! Хотел, чтобы все на одного в темноте! Попробовал бы один на один!

Шурик мигнул удивленно, спросил с ноткой сомнения:

— С тобой?

— Не с тобой же... — усмехнулся Толик. Теперь-то он знал, как поступить. — Слушай, Шурка! Если он не совсем уж полный трус, пусть завтра приходит к Черной речке, на поляну!

Шурка все понял сразу.

— Он же сильнее тебя.

— Там посмотрим, — бесстрашно сказал Толик. И в самом деле он сейчас не боялся. — Ну, так что? Передашь ему?

Шурик задумчиво согласился:

— Хорошо, я передам ему... А потом вы, может, помиритесь?

— Нет.

— Ну... ладно. — Шурка опять задергал галстучек. — А во сколько приходите?

— В семь утра.

— Рано как...

— Зато никто не помешает, — усмехнулся Толик. И хотел добавить, что настоящие дуэли тоже устраивались на рассвете, чтобы не было посторонних. Но не решился. Не к месту это было. Он только строго сказал: — И пускай все честно будет, один на один.

— Я скажу, и он придет, — очень твердо пообещал Шурик. — И все будет честно.

Говорить больше было нечего. Толик взялся за дужку ведра. Шурка вдруг предложил:

— Давай я тебе помогу.

Толик, не разгибаясь, прошелся по нему взглядом — по ногам-прутикам, по рукам-лучинкам, по шее-трубочке. Весь он, Шурка, — глаза да кудряшки. И сказал Толик:

— Сломаешься еще.

Получилось зло и глупо, сам почувал.

Толик рывком поднял ведро и понес его в одной руке, отчаянно изогнувшись и страдая. Тяжесть выворачивала руку из плеча, пальцы резало с такой беспощадностью, что выть хотелось, а еще сильнее мучила неловкость: зачем так отшил невиноватого Шурку?

А Шурка шел рядом. Словно хотел сказать что-то и не решался.

И, стыдясь своей вины, Толик сказал еще сердитее:

— Чего мне помогать, барин я, что ли? Помогай своему Олегу.

Шурка ответил не сразу. Но через несколько шагов он проговорил тихо:

— Наверно, хорошо, что ты уезжаешь.

— Почему? — растерялся Толик (а рука болела до одури).

Шурка сказал устало:

— Не могу я разрываться между вами...

Повернулся он и зашагал обратно не оглядываясь. «Туп-так, туп-так» — стучали подошвы его ботинок. Толик растерянно поставил — почти уронил — ведро. Доска спружинила, вода расплескалась.

Толик вышел из дому в половине седьмого (мама спала, умявшись накануне со сборами в дорогу). Солнце встало недавно и еще не грело. Босые ноги скользили по мокрой от росы траве. Несколько раз Толик вздрогнул. Может, не от одной лишь утренней зябкости?

Нет, он ничуть не боялся!

Но и бодрости Толик не чувствовал. Было ощущение, что он идет делать неприятную, но неизбежную работу. Никуда не денешься. Без этого боя не освободишься от ощущения вечной виноватости. Всю жизнь будешь вспоминать усмешку Наклонова, который остался победителем. Который считает тебя законченным трусом и беглецом.

И будешь ежиться от такого воспоминания, как сейчас ежишься от холода.

«Ну а дракой что решишь?» — спросил себя Толик, словно это не он, а кто-то взрослый. Вспомнил, как надворный советник Фосс на палубе «Надежды» объяснял графу Толстому: по-

единки ничего не решают — одного противника увозят на кладбище или в лазарет, а другого в крепость.

«Но здесь-то не будет ни кладбища, ни крепости, — усмехнулся Толик. — И даже лазарета не будет».

Да, поединок ожидается как раз такой, о каком с насмешкой писал Шемелин: наставят, мол, друг другу синяков и на том разойдутся. Оба живы-здоровы и скоро помирятся...

Но Толик-то с Наклоновым не помирится! Им не договориться друг с другом! Да и времени не будет на это.

Нет, дуэль не такое уж бессмысленное дело. Иногда это просто последний выход. Решающий бой. Пушкин что, глупее других был? А ведь взял пистолеты и поехал драться на Черную речку.

Тоже на Черную речку...

А где еще была Черная речка? Под Севастополем! Толик читал в прошлом году про Нахимова, про Первую Севастопольскую оборону. У русских на Черной речке было последнее полевое сражение с англичанами и французами. Неудачное сражение...

Черные речки не принесли счастья ни Пушкину, ни севастопольцам. На что же надеяться Толику?

Да нет, он не верит в приметы и предчувствия, но Олег-то старше и крепче. Это же не на пистолетах бой, где не важно, какие мускулы. В драке сила нужна. И умение! А какое у Толика умение? Ну, дрался пару раз в классе, да и то растаскивали в самом начале...

«Боишься, что ли?»

«Нет, все равно не боюсь...»

Уж если ямы в лагере он не боялся и готов был идти ночью, теперь тем более не страшно... В конце концов, не важно, кто из противников пострадает больше. Главное, чтобы не сдать, не прятаться от боя. В дуэли с Пушкиным разве Дантес победитель? А севастопольцев разве можно назвать побежденными?

Так что шагай, Толик, на свою Черную речку, обратного пути нет.

«Но я и не хочу обратно!»

Конечно, Олегу легче. Не только в силе дело, а в том, что кругом будут стоять его друзья. Он ведь наверняка приведет с собой робингулов. Будут сочувствовать, подбадривать, радоваться его ловкости. А кто поддержит Толика? Может быть, Шурка, да и тот тайком...

Ну и пусть! В новой жизни, которая начнется завтра, у Толика будут и хорошие дни, и крепкие друзья. А сейчас он выстоит в одиночку. Другого выхода нет, и потому на душе у него почти спокойно. И сердце стучит ровно, как хронометр: «День-так, день-так...»

«Не опоздать бы, а то опять скажут: испугался». Толик зашагал быстрее. Конечно, они все уже там. Ждут... Ну и пусть их

много, а он один! Пусть смотрят! В драку все равно вмешиваться не станут.

Робингуды могли скрутить Толика, когда брали в плен как шпиона, могли устроить ночную засаду в лагере — это, мол, специальная операция, вроде игры, а не нападение с кулаками. Но наброситься толпой на человека, который пришел для честного поединка, — значит нарушить все человеческие законы.

Толик спустился по крутому склону к берегу Черной речки на поляну. Здесь были Витя, Рафик, Люся.

— Здравствуй, — сказал Витя. — Олег и Шурка сейчас придут.

Люся на Толика не взглянула, плела что-то из длинных травинков. Рафик смотрел с веселым любопытством и посвистывал.

Молчать было неприятно, и Толик спросил с насмешливым равнодушием:

— А Гельмана и Семена не будет, что ли? Проспали?

— Семен проспал, — с зевком ответила Люся.

Витя сказал:

— А Гельмана мы исключили. Он, пока Олег в лагере был, со шпаной связался.

Толик не удивился. Подумал: «А Олег, наверно, рад, Мишки-то он опасался...» И усмехнулся:

— Очень уж легко вы всех исключаете.

— Не легко, — серьезно объяснил Витя. — Мы его предупредили... Зато у нас теперь есть новички.

— Ой, вон они идут! — обрадовался Рафик.

Толик решил, что идут новички. Но по тропинке спускались Олег и Шурка. Шурка двигался впереди. Ноги у него скользили по глиняным крошкам, и он хватался за верхушки бурьяна. Он был без привычной матроски, в майке. И не в ботинках, а в сандалиях на босу ногу, к тому же незастегнутых. Пряжки на сандалиях болтались и тихо позванивали, словно крошечные шпоры.

Олег обогнал Шурку, остановился перед Толиком. Он был, как и Толик, босиком, в рубашке навыпуск, непричесанный. Словно снисходительно решил не отличаться сегодня от противника.

Улыбнулся. Спросил:

— Значит, решил драться?

Толик понял, что не чувствует ни капли злости. То, что было в лагере, казалось, связано с каким-то другим Наклоновым, а теперь Толик видел прежнего Олега, товарища по летним играм.

— Ну? — сказал Олег. Глаза его смотрели почти ласково.

— Решил, — сказал Толик. — Что же мне еще делать?

— Ну, подеремся, а потом что?

— Потом — все. Я сегодня уеду. Насовсем, — ответил Толик

и заставил себя вспомнить лагерь. Когда уже ночь и за окнами чернота и ты давишь в подушку слезинки — и от тоски по дому, и от обиды: оттого, что завтра проснешься и кругом народ, а ты все равно один.

— Я все же не понимаю: зачем тебе эта драка? — снисходительно проговорил Олег.

— А зачем была ловушка в лагере? — ошетинился Толик.

— Чтобы проучить тебя, — доброжелательно сказал Олег.

— За что?

— За боязливость.

— А ты смелый? Вот и проучи сейчас.

— Что ж, придется... — Олег оглядел ребят, словно говоря: я не хотел, он сам просит. И пружинисто встал в боксерскую стойку. Ловко так, красиво.

У Толика противно заныло в животе. «Ты, что ли, правда совсем трус?» — спросил он себя. И, чтобы успокоиться, вспомнил: «А хронометр-то идет...» Это теперь не очень помогло. Но все же Толик поднял к груди кулаки. Встать в настоящую боевую стойку он постеснялся. Мышцы обмякли. Толик понял, что всерьез ударить Олега он просто не в состоянии.

Олег умело выбросил руку, Толик не успел уклониться. Попало по скуле, в глазу вспыхнуло. Толик удивленно опустил руки.

Олег улыбался. Видимо, решил, что вот и все, кончен бой.

Да?

Злость не злость, гордость не гордость, но какая-то пружина сработала. Пальцы сжались, и Толик махнул кулаком снизу вверх. Сильно! Костяшки прошли по верхней губе и носу Наклонова. Голова у него откачнулась, руки вскинулись.

— Ой-я... — сказал Рафик с веселым испугом.

Олег быстро отошел на два шага, поднял к лицу ладони и замер. Прошло несколько секунд. Все молчали. Толик ждал, часто дыша. Олег стоял, не опуская рук. Толик наконец шагнул к нему. Тогда Витя Ярцев звонко сказал:

— Перестань! Видишь, у него кровь!

Из-под пальцев Олега вылезла на подбородок алая струйка. Толик опустил кулаки.

К Олегу быстро подошла Люся.

— Ну-ка, покажи. Сильно он тебя?

Олег послушно развел в стороны ладони и запрокинул лицо. Люся стала вытирать у него кровь под носом сорванным лопухом. Подскочил Витя, дал платок. Аккуратный он, Витя Ярцев.

— Кровь так кровь, — устало сказал Толик. — Разбитых носов не видели?

Ему никто не ответил. Лишь Рафик глянул быстро и будто понимающе.

Толик не чувствовал победной радости.

— Все, что ли? — спросил он мумро.

— А тебе чего, еще надо? — сердито откликнулась Люся. Олег с запрокинутой головой сопел распухающим носом.

— Тогда я пошел, — сказал Толик. Радости не было по-прежнему. Но все же дело свое он сделал, как хотел. Даже лучше, чем хотел.

И теперь он уходил. Навсегда... Правда навсегда?

Толик оглянулся. Все робингуды смотрели ему вслед. Даже Олег смотрел. Впереди всех стоял Шурка. Тонкий, обиженный какой-то. Замерший и немигающий.

— Шурка, — вдруг сказал Толик. — Можно, я тебе письмо напишу из Среднекамска?

Шурка мигнул. И лицо его ожило от сумятицы мыслей — словно заметались по нему зайчики и тени от частой листвы. Но почти сразу взгляд Ревского отвердел. И сказал Шурка:

— Вот еще!

«Ну что ж, прощай», — подумал Толик. И снова пошел от ребят. По берегу Черной речки.

Но почти сразу он услышал топот. Шурка обогнал Толика, потеряв в траве незастегнутые сандалии. И остановился перед ним — босой, растрепанный, решительный.

— Стой! Теперь ты будешь драться со мной!

Вот уж чего Толик не ожидал!

— Шурка, ты что? Зачем?

— А зачем ты его так?! До крови! — Шурка задранным подбородком показал за спину Толика, на Олега. В глазах робингуда Ревского дрожали огоньки ясного гнева.

Подожли с двух сторон Витя и Рафик. Витя сказал:

— Шурка, не надо.

— Надо! Зачем он его так?!

— Но мы же честно дрались, — сказал Толик.

— А я тоже честно! Я тебе за него отомщу! — Шурка сжал губы и выставил кулачки.

По-взрослому спокойно и ласково Толик проговорил:

— Не надо, Шурик. Пусти. Некогда мне...

Или от ровных этих слов, или сам собой Шуркин запал угас, ушел, как уходит в землю электрический заряд. Рот приоткрылся, кулачки дрогнули. Но все еще упрямо Шурка возразил:

— Ты врешь, что некогда. Ты сам говорил, что поезд уходит днем.

— Не в этом дело... — Толик взял его за плечи и тихонько отодвинул с тропинки. — Скоро восемь, Шурик. Мне пора завести хронометр.

Эпилог

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ АЛАВЫШЕВ

Вот окончание повести Арсения Викторовича Курганова. Оно сохранилось на листах, которые Толик Нечаев спрятал в подставку пишущей машинки.

«Конец 1854 года в Крыму был необычным: пришла зима — не южная, а настоящая, российская. В середине декабря выпал снег, по ночам даже потрескивали морозцы.

Севастопольцы были рады зиме. Холод хотя бы на время скрывал непролазную грязь на бастионах и в траншеях, снег прикрывал тоскливую неуютность растерзанной земли, трупы лошадей, разбитые орудия и ящики, чугунную скорлупу разорвавшихся бомб и камни с засохшими на них кровавыми сгустками. Словно природа, всей душой противясь человеческому безумию, старалась укрыть от глаз военный мусор — следы затяжной осады...

Армия осаждавших отчаянно страдала от холодов. Температурные зуавы и brave шотландские стрелки, лихие гренадеры маршала Сент-Арно и розовошекие «томми» лорда Раглана коченели в траншеях и маялись от болезней в палатках и дощатых бараках. На русских бастионах появлялось все больше перебежчиков из лагеря интервентов.

...На третий бастион, именуемый англичанами «Большой Редан», перешел пожилой британский сержант. Сидя на перевернутом лафете, окруженный матросами, он что-то говорил, разводя красными от холода руками. Поворачивал то к одному, то к другому морщинистое, недоуменно-горькое лицо. В светло-голубых глазах англичанина была жалобная просьба понять и оправдать.

Матросы не понимали ни слова и сочувственно кивали, поговаривая: «Оно конечно... Видать, натерпелся... Ихнему брату нынче непривычно...»

— Ваше благородие, о чем он бормочет-то? — спросил скуластый прокопченный комендор у подошедшего офицера.

Молоденький румяный лейтенант — в ладном мундире, шегольской флотской фуражке и безукоризненных перчатках, но в мятой солдатской шинели внакидку — с полминуты слушал сержанта, потом охотно разяснил:

— Да все о том же... Раньше, мол, не такая была война, когда генерал Каткерт в Индии водил их к славным победам... А здесь, мол, офицеры совсем заморили работой, а после работы обогреться негде и горячей еды нет; поваров не оставляют, провизию выдают натурой, а варить не на чем, дров нет...

— Одно слово — не Индия, — заметил комендор.

Сержант вдруг суетливо расстегнул и стащил с себя красный мундир, сорвал с него эполеты, размахнулся, чтобы бросить, но рука остановилась. Он сжал эполеты в кулаке и заплакал.

— Ишь ты, — запереговаривались матросы. — Несладко, видать, расставаться с эполетами...

— Служил, служил, а теперь что?

— Это понимать надо: совесть-то небось тоже есть.

— Присягу давал ихней королеве, а теперь как? Не ваш и не наш...

Молодой матрос — рыжий, с густыми веснушками, проступающими сквозь копоть, с замызганной повязкой под измочаленной бескозыркой — сказал с жалостливым удивлением:

— Как же это он, братцы, своих-то бросил? По мне, чем такое дело, лучше уж сразу смерть.

— А ты ее не кличь, — усмехнулся скуластый комендор. — Она тебя и так зацепит, коли Бог не уберезет. Вон летает...

Над головами и правда посвистывали штуцерные пули. А одна влетела в амбразуру, зацепила выпуклый обод на стволе карронады и с воем распорола подол шинели у молчаливого низкорослого матроса. Тот лениво выругался: пришивай теперь.

Лейтенант сказал, кивнув на англичанина:

— Он ведь не смерти испугался. Раньше-то воевал, не боялся; смотрите, и награды у него... А здесь неведомо что: холод, да грязь, да работы невпроворот. Не война — каторга.

— У нас вроде тоже не царство небесное на земле, — сказал веснушчатый.

— Да мы-то знаем, за что терпим, — возразил лейтенант. — За свою землю бьемся. А они?

— А и то верно, — согласился матрос. — Их сюда не звали.

На английской батарее ухнуло орудие. Нарастающий свист заставил всех примолкнуть. Но сигнальщик лениво крикнул:

— Перелетит, не наша!..

Бомба лопнула далеко за бастионом, среди домиков Корабельной слободы.

— Без толку рушат город, ироды, — ругнулся скуластый комендор.

Англичанин бросил эполеты и мелко дрожал. Из круга матросов послышалось:

— Надевай мундир-то, совсем закоченеешь... Дайте ему, братцы, шинель, что от Матвея Горушкина осталась...

Шинель упала на колени перебежчику.

— Надевай, вояка... А может, как раз он бомбу-то и пустил, что Матвей положила, а, братцы?... Ваше благородие, вы его спросите: он не из батарейных?

— Да ну его к черту... — Лейтенант поправил на плечах ши-

нель, из-под лацкана которой блеснул новенький «Владимир» четвертой степени. — Пойду я, счастливо оставаться, братцы.

— С Богом, Петр Иванович. Счастливо и вам, — заговорили матросы. — Не забывайте бастион, ваше благородие, заходите... А как доставите памятник, не сомневайтесь — разом все сделаем...

Лейтенант миновал горжу бастиона и через несколько минут шел уже по улицам Корабельной слободы. Ближе к бастиону многие дома были разрушены и обгорели, в крышах чернели провалы, но очень скоро лейтенант оказался среди переулков, где жизнь текла как в довоенные времена, хотя и здесь заметны были следы обстрела. Шагая по тропинкам и скользким каменным лестницам, лейтенант не первый раз подивился, как приспособляются мирные люди жить под боком у смерти. Каждый день падают сюда ядра и бомбы!..

Утреннее солнце — невысокое, желтое — тоже напоминало ядро, летело среди быстрых косматых облаков. Снег то покрывался тенью, то нестерпимо искрился.

Лейтенант не спешил, он был сегодня свободен от службы и шел не на батарею, а на свою квартиру. Точнее же, на корабль, где обитали офицеры и матросы флотского батальона. А на третий бастион приходил он, чтобы повидаться с сослуживцами старшего брата, погибшего пятого октября, при первой бомбардировке Севастополя. Повидаться и поговорить о деле. Давние друзья брата, с которыми служил он когда-то на пароходе «Владимир», заказали в память Евгения чугунную плиту и крест. Задача теперь уложить плиту и поставить крест на могиле. Командиры и матросы бастиона охотно взялись помочь, но дело было непростое, требовалась для него темнота. Днем-то на снегу каждый человек — будто муха на фарфоровой тарелке. А могила — за бруствером, на открытой площадке перед бастионом.

Хотя, если по правде говорить, какая там могила? Одно обозначение... Что могло остаться от человека, который был рядом с пороховым погребом, когда в погреб этот врезалось раскаленное английское ядро? Взрыв видели и слышали на всех бастионах...

Мысли о брате полны были горечи, но горечи уже привычной. За два с половиной месяца ощущение непоправимой беды притупилось, да и жизнерадостный нрав лейтенанта брал свое. К тому же мысль, что в любой день и час он может разделить судьбу брата, приносила Петру вместе со страхом и какое-то утешение...

День был хорош, и лейтенант отвлекся от размышлений о смерти. Снег поскрипывал, напоминая зиму в родной Смоленщине. Кругом все казалось отгороженным от войны, хотя анг-

лийские пушки ухали регулярно и перелетевшая оборонительную линию бомба звонко лопнула где-то на краю слободы.

Жители не обращали внимания на нечастые выстрелы. Бойкие матроски, перекликаясь, несли на коромыслах ведра и поглядывали на молодого офицера. Проворный старик тащил вверх по улице вязанку дров на непривычном для здешних мест устройстве — наспех сколоченных санях. И неподалеку слышался веселый гвалт ребятишек.

Лейтенант вышел на пустырь, где сходились, как на площади, несколько улочек. И здесь увидел он картину, которую нашел презабавной. Толпа мальчишек построила из снега укрепление, и сейчас разгорелся бой. Одни обороняли бастион, другие храбро шли на приступ. Круглые поленья, торчавшие из амбразур, стрелять, конечно, не могли, но снежные гранаты и ядра тучами летели из-за высоких стен. Они лихо разрывались, ударяясь о мятые капелюхи и старые матросские фуражки, наползавшие на красные оттопыренные уши атакующих.

Совсем еще недавнее детство закипело в двадцатидвухлетнем лейтенанте, и он едва удержался, чтобы не кинуться на помощь осаждавшим. Не кинулся, правда, но хохотал как сумасшедший, видя, что атака захлебнулась под встречными залпами. И громко подавал отступившим мальчишкам советы-команды. Так увлекся, что не заметил подошедшего и ставшего рядом пожилого капитан-лейтенанта в новой флотской шинели.

А когда заметил, покраснел до слез, перебил крик ненатуральным кашлем, а потом сказал, стараясь быть непринужденным:

— Право же, так наскучаешься на позиции, что везде готов искать развлечений... Не правда ли, уморительный вид сражения?

Капитан-лейтенант кивнул, добродушно улыбаясь.

Обрадованный, что не увидел насмешки, лейтенант продолжал:

— Если только дело дойдет до рукопашной, домой очень много вернется раненых, с синяками... Не научить ли их правильной осаде? Преинтересно будет посмотреть, как они начнут производить работы под кучею ядер из укрепления...

— Согласен, что преинтересно, — вздохнул капитан-лейтенант. — И пригласить бы сюда господ политиков, чтобы убедиться в преимуществах такой войны перед той, которую мы ведем по их милости.

— Боюсь, что господа политики не усмотрят выгоды в снежных ядрах перед чугунами, — уже без смеха возразил лейтенант. — Снежком пороховой погреб не взорвешь.

— Увы, — согласился капитан-лейтенант.

Офицеры встретились глазами, и младший вспомнил, что следует представиться.

— Флота лейтенант Лесли Петр Иванович. Флотский батальон по обслуживанию четвертой дистанции.

— Флота капитан-лейтенант Алабышев Егор Афанасьевич... Позвольте, уж не брат ли вы Евгения Ивановича Лесли?

— Точно так... Вы знали брата?

— Не был знаком, к моему огорчению. Но слышал о нем от моряков немало. О его храбрости и неунывающем духе.

Лесли смутился, будто похвалили не покойного брата, а его самого. А капитан-лейтенант Алабышев сказал просто и строго:

— Думаю, что именно таким людям, как ваш брат, обязан Севастополь тем, что выстоял в первые дни осады... Жаль, что многих уже нет.

— А вы, видимо, не так давно в Севастополе? — догадался Лесли, поглядывая на новую шинель Алабышева.

— Вторую неделю. До сего времени я и не бывал на Черном море, служил на Балтике. Потом несколько лет был в отставке... С началом кампании подал прошение о новом зачислении, но чиновники наши в штабах... Короче, лишь в ноябре опять надел форму.

Капитан-лейтенанту было под сорок, и по возрасту вроде бы полагалось перешагнуть уже первый штаб-офицерский чин. «Видимо, отставка помешала», — подумал Лесли. Алабышев понравился лейтенанту. Имя Егор Афанасьевич, вздернутый нос, рыжеватые волосы производили в первую минуту впечатление простоватости. Но военная жизнь обостряет зрение даже у самых молодых, и Лесли наметанным глазом разглядел в пожилом капитан-лейтенанте человека спокойной храбрости и немалого ума. А внешность что? Незнакомым людям и Павел Степанович Нахимов кажется порою мешковатым и недалеким. Лесли сказал с еле заметным превосходством бастионного ветерана, но и с искренним желанием уберечь Алабышева:

— Если позволите совет, шинель вам лучше сменить. Наша черная форма для английских штуцерников — преудобнейшая цель.

— Знаю, — улыбнулся Алабышев. — Не обзавелся еще солдатской... Да сейчас что серое, что черное — одинаково на таком снегу. А кроме того, у нас не в пример спокойнее, чем на вашей четвертой дистанции. Я ведь с шестого бастиона. А сейчас ходил на Малахов, где есть, оказывается, мой знакомый офицер. Вместе оканчивали корпус, еще при Иване Федоровиче Крузенштерне.

Лесли, для которого Крузенштерн был почти такой же историей, как Петр Великий, вежливо наклонил голову. И в эту голову, в висок пониже фуражки, впелся крепкий снежок. Лейте-

нант по-ребячьи взвизгнул, запрыгал, наклонясь и вытряхивая из-за ворота снежные крошки. Потом закричал мальчишкам:

— Сорванцы! Мало нам разве французов да англичан? Еще и от вас подарочки!

Из толпы осаждавших бесстрашно откликнулся один — тонкошей, белоголовый, без шапки, в порыжелом и рваном матросском бушлате до пят:

— Это не мы, дяденька! Это с баксиона!

«Дяденьки» отошли подальше, посмеялись, скрутили по папиресе — бумага нашлась в карманах у Лесли, а табак Алабышев предложил из своей табакерки.

Табакерка заинтересовала Лесли — круглая, плоская, из желтого, словно кость, дерева, с узорчатой готической буквой В на крышке. Алабышев улыбнулся:

— Я купил ее в Фальмуте семнадцать лет назад, когда шел в кругосветное плавание на корвете «Николае». Продавал ее в своей лавчонке старый англичанин, отставной матрос. Веселый и полупьяный. Он, кстати, убеждал меня, что эта штучка вырезана из обгорелого шпангоута фрегата «Баунти», знаменитого в прошлом своим мятежом. Будто бы сам он вывез ее с острова Питкерна, где живут внуки мятежников... История эта, скорее всего, плод его фантазии. Но мне табакерка дорога как память о плавании и тех годах...

Они докурили и распрощались, подавши друг другу руки, причем Лесли ухитрился на утопанном снегу щелкнуть каблуками. Далее каждый пошел своей дорогой.

Вскоре лейтенант Лесли отправил с очередной почтой письмо старшей сестре Надежде, и в письме этом описывал прошедший день. В том числе визит на третий бастион, пленного сержанта, снежную погоду и ребячью игру в Корабельной слободе. Лишь о встрече с Алабышевым не упомянул, потому что не видел в ней примечательного. Да и фамилию пожилого капитан-лейтенанта он, по правде говоря, почти сразу забыл.

...Алабышев же, простившись с лейтенантом, зашагал в центр города, поскольку среди офицеров появились слухи, что вновь стала принимать посетителей Морская библиотека, закрывшаяся в начале осады. День, свободный от дежурства на бастионе, было бы чудесно провести среди книг. Тем более что еще в Петербурге Алабышев слышал, будто вышла недавно в свет книга профессора Веселаго «Очерк истории Морского кадетского корпуса». В ней, без сомнения, найдутся страницы и об Иване Федоровиче...

Слух о библиотеке, однако, оказался неверным, и Алабышев с минуту досадливо рассматривал запертые двери. Затем полез в

карман за табакеркой, чтобы хоть чем-то утешить себя... Но табакерки не было.

Это огорчило Егора Афанасьевича гораздо сильнее, чем закрытая библиотека. Табакерку он любил. Талисманом ее он не считал, потому что в приметы не верил, но, как одинокие и уже немолодые люди, он крепко привязывался к старым вещам, заменяя, быть может, этой привязанностью недостаток друзей и родных... Было ясно, что табакерку обронил он, когда курил с молодым лейтенантом.

Чертыхнувшись, но нимало не колеблясь, Алабышев пустился в обратный путь. А путь был неблизкий — вдоль почти всей Южной бухты, мимо батарей Сталя и Перекомского, затем по переулкам и каменным трапам Корабельной слободы, где почему-то все в гору да в гору... Впрочем, скоро при быстрой ходьбе Егору Афанасьевичу достаточно успокоился и даже стал посмеиваться над собой, поминая Тараса Бульбу, спешащего за оброненной люлькой.

В отличие от Тараса, Егору Афанасьевичу вражеская опасность не грозила. Господа англичане и французы мерзли в траншеях и о штурме не помышляли. Только лихие мальчишки атаковали игрушечную крепость. «Они, скорее всего, и подобрали табакерку, — подумал Егор Афанасьевич. — Расспрошу...»

Мысли перешли от табакерки к плаванию, в начале которого она была куплена. Плавание оказалось длинным, интересным, не без приключений, но книгу о нем мичман Алабышев (произведенный к концу путешествия в лейтенанты) писать не стал. К тому времени сочинений о таких путешествиях накопилось немало: по проложенному Крузенштерном и Лисянским пути русские корабли шли теперь ежегодно.

О другой книге были мысли, появилась дерзкая мечта: собрать воедино истории о всех русских мореходах — знаменитых и не очень знаменитых, рассказать и о подвигах простых матросов (без которых, как и без капитанов, не было бы славных для России открытий) и написать такое сочинение, возможно, не в одной, а в двух или трех частях.

Помня себя мальчиком-кадетом, «мышонком», понимал Алабышев, что немалая польза была бы от такой книги для тех, кто растет и учится. И мысли о важной работе грели душу.

Замах, конечно, большой, но разве без замаха и смелости исполнишь многотрудное дело? Шестнадцатилетний мичман Веревкин, наверно, тоже сомневался и страх испытывал, когда около ста лет назад взялся за свое «Сказание о мореплавании», где излагал историю морских путешествий во всем свете и от самой древности. Правда, он не столько сам писал, сколько перелгал с французского и английского. Но тогда и времена были не те, многому еще приходилось учиться у иностранцев...

Мичмана Веревкина подтолкнул к большому труду Алексей Иванович Нагаев, первый русский картограф, будущий знаменитый адмирал. Егора Алабышева побудили к мыслям о книге беседы с Крузенштерном, сочинения его и постоянный пример адмирала-труженика, хотя сам Иван Федорович о том, конечно, не догадывался...

Корпус окончил Алабышев в числе лучших, офицером был знающим, с товарищами ладил, хотя они порой и посмеивались, что многие часы проводит он в каюте, обложившись книгами и в книжные же лавки спешит прежде всего в любом порту. Алабышев отшучивался без обиды, потому что характер имел ровный.

И всех знавших его характер несказанно удивила хлесткая пощечина, которую Егор Афанасьевич Алабышев, неделю назад произведенный в капитан-лейтенанты, влепил другому капитан-лейтенанту, барону фон Розену, в кают-компании линейного корабля «Великий князь Михаил». А влепил, помня, как полчаса назад плюгавый барон расчетливо тыкал в окровавленные губы старому матросу свой аристократический, украшенный фамильным перстнем кулак.

Может, до пощечины бы и не дошло, но в ответ на жесткие слова Алабышева, что матрос этот воевал еще под Навариным, когда барон сосал титьку у сытой наемной кормилицы с остзейского хутора, фон Розен изумленно открыл глаза. Он, не желая ссориться, разяснил «Жоржу», что свинья останется свиньей, несмотря на возраст, и свинство из русского матроса иначе как кулаком не вышибешь. Ну и схлопотал...

Случилось это на Кронштадтском рейде в 1846 году, через месяц после горькой вести о кончине адмирала Крузенштерна.

...Какие все-таки разные люди рождаются в одних и тех же местах! Крузенштерн, как и все эти розены и фогты, был уроженцем Эстляндии, но ни разу не мелькнуло в нем даже капельки остзейского чванства и холодности. Выше всех почитал и ценил он русского матроса.

...Фон Розен пискнул, ухватившись за щеку, и что-то пролепетал о секундантах. Однако дуэли не произошло. Назавтра барон отговорился неожиданной болезнью и скрылся в кронштадтском госпитале, а вскоре подал в отставку. Но то же пришлось сделать и Алабышеву, потому что командир «Михаила» капитан первого ранга Нефедьев по-отечески предупредил Егора Афанасьевича: близкие ко двору фон Розены начинают хлопотать о расследовании, где речь пойдет не столько о пощечине, сколько о причинах ее: вольнодумстве новоиспеченного капитан-лейтенанта, идущем от множества книг (в том числе, видимо, и запретных).

При внешней ровности характера Алабышев не лишен был внутренней запальчивости и рапорт об отставке написал без за-

держки. Казалось в первый момент, что и без особого сожаления. Вскоре, однако, начались черные дни, полные горечи об оставленной службе, с которой была связана вся жизнь. Горечь оказалась такой, что несколько раз сама собой возникала мысль о пистолете. Но, слава Богу, возникала и уходила. Воспоминание о судьбе второго лейтенанта «Надежды», про которого не раз говорили между собой взрослеющие гардемарины, словно предупреждало: «А что дальше-то?»

«У Головачева не было того, что пересилило бы горести его и обиду на предательство, — подумал наконец Алабышев. — Не было дела, которое казалось в жизни важнее всего. Не было *своей книги*».

А у Егора Алабышева была...

К тому же он помнил слова Крузенштерна: «Если уж отдавать жизнь, так за большое дело, за отечество. За людей, которых защищаешь. Обещай это...»

Защищать штатскому человеку было вроде бы некого, но и мысли о пистолете больше не приходили.

Вскоре отставной капитан-лейтенант оказался в родной деревне. Мечты о патриархальной жизни, коими сначала тешил себя, быстро развеялись. Дочка соседа, с которой возник было чувствительный роман, кончат дело свадьбой не захотела, трезво рассудив, что у владельи зачуханной Вартеньевки — ни капиталов, ни выдающейся внешности. Оставшееся от родителей именице стремительно разорялось. Была еще возможность сохранить хоть какие-то средства: один из соседей искренне сочувствовал Алабышеву и предлагал за Вартеньевку приличную цену. Алабышев отказался.

Он не считал себя вольнодумцем, но мысль, что придется торговать людьми, с которыми в детстве бегал по окрестным лесам и строил из плотов парусный корабль, была тошнотворна. Чем он тогда оказался бы лучше фон Розена?

И Егор Афанасьевич окончательно уронил себя в глазах местного дворянства: отпустил последние десять семей Вартеньевки на волю и сдал им землю в почти безденежную, чисто символическую аренду (за которую так ничего никогда и не получил).

Затем Алабышев уехал в Москву, где поступил к некоему графу Бессонову заведовать его богатейшей библиотекой. Это были два года спокойной жизни. Тосковал, правда, по морю, но работа над рукописью о плаваниях смягчала тоску. Но граф умер, а наследники библиотеку продали по частям. И Егор Афанасьевич, зажегшись новой мыслью, решил ехать через всю страну на Камчатку, ибо знал, что Российско-Американской компании всегда нужны люди, понимающие в морском деле.

Судьба, однако, распорядилась, что неожиданная встреча в

пути послужила началом нового романа — увы, тоже неудачного. Следствием же было то, что Алабышев на несколько лет застрял на Урале и служил под Екатеринбургом на Каменском пушечном заводе. Он ведал испытаниями орудий, которые завод поставлял флоту. Служба шла отменно, и предвиделось повышение. Но в местных библиотеках, хотя и недурных, не было материалов, нужных для его морского сочинения, и рукопись пылилась, не доведенная и до половины.

И море было далеко...

Здесь, на заводе, и застало Алабышева известие о Синопском сражении. Стало ясно, что наступают новые времена и развитие большой кампании с участием флота неизбежно. А значит, и офицеры понадобятся.

Алабышев кинулся в столицу...

На пустыре, где стоял ребячий бастион, прежнего шума уже не было: видно, противники заключили перемирие. И народу стало теперь меньше. Несколько мальчишек, подпрыгивая, поправляли гребень снежной стены. Среди них Алабышев увидел белоголового мальчика без шапки — того, что недавно перекликался с Лесли. Рядом с мальчиком стояла тощая девочка того же роста, она держала за руку закутанного в платок карапуза.

Девочка тонким и вредным голосом повторяла:

— Ох, Васька, ты только приди, только приди домой, маменька тебя взгреет, ух и взгреет хворостиной маменька тебя, Васька, ты только приди...

Мальчик подсакивал, стараясь дотянуться до гребня. И отвечал при каждом прыжке:

— Ну и приду!.. Ну и врешь!.. Это тебя взгреет!.. А не меня!..

Прыгая, он поскользнулся, встал на четвереньки и встретился глазами с Алабышевым.

— Эй, дружок, подойди-ка, — сказал Егор Афанасьевич.

Мальчик безбоязненно подошел. Следом двинулась сестренка, увлекая за руку падающего карапуза.

— Я табакерку тут обронил. Не находили?

— Находили! — обрадовался мальчик. — Ее Петька Бощман подобрал, он там, в баксионе... Говорит, их высокоблагородие придут если, я с них двугривенный спрошу за находку!

— Ну, пойдем в ваш «баксион»... А ты что же без шапки-то?

— У него шапку маменька спрятала, чтобы из дому не бежал, — ехидно сообщила девочка. — А он все равно, неслух...

— И врешь! Шапка сама потерялась. А мамка говорит: сиди дома, если потерялась! А матросы разве сидят, когда война?

— Но матросы-то все в шапках, по форме, — усмехнулся Алабышев. — А у тебя голова с холоду отсохнет.

— Не отсохнет! Если сильно холодно, я вот так! — Мальчик накинул на свои вихры широкий ворот рваного бушлата. Но тут же сбросил его, завертел круглой головой на тоненькой шее. И Алабышеву, не чуждому литературных сравнений, пришла мысль о выросшем на мусорной куче одуванчике.

— Ну, идем. Будет твоему Петьке двугривенный, а тебе полтинник на шапку... Вот, держи.

Но мальчик спрятал руки за спину.

— Не... Мамка не велит брать у незнакомых. Мы не бедные.

— Ну... а разве мы незнакомые? Ты — Васька. Я — Егор Афанасьевич. Вот и познакомились. Бери, не бойся...

Васька нерешительно протянул покрасневшую ладошку. Глянул на сестру:

— Дашка, ты гляди не соври, что я просил. Их высокоблагородие сами дали... Благодарствую, Егор Афанасьич...

Дашка завистливо сопела.

Васька повел Алабышева в ребячий бастион. Внутри укрепления можно было попасть лишь через узкий проход, прорезанный в толще тыльной стены — горжи. Ребятишки проскользнули легко, а капитан-лейтенант еле протиснулся. И остановился у входа.

Здесь копошились со снежными «кирпичами» несколько мальчишек лет от семи и до двенадцати.

— Вот он, Петька-то... — начал Васька и примолк, подняв лицо и приоткрыв рот. И остальные ребята замерли — с тем же тревожным ожиданием, что и Васька. И Алабышев уловил далекий еще, но нарастающий, нарастающий свист.

Он усилился, этот свист, свинтился в голову, в душу, вырос до нестерпимого визга и оборвал себя тугим, встряхнувшим снежный бастион ударом.

Пущенная с английской батареи граната шипела и вертелась в облаке пара посреди квадратной игрушечной крепости. Черный, небольшой — дюймов пять в поперечнике — шар с дымящимся хвостиком фитиля.

Только граната и была в движении, остальное все застыло. Ребятишки оцепенело смотрели на вертящуюся смерть. Тренированный мозг испытателя орудий стремительно подсчитал оставшуюся длину фитиля и время горения. Можно толкнуть к проходу девочку и мальша. А остальные?

Взрыв, замкнутый плотной снеговой кладкой укрепления, сплющит, скомкает, искорежит мальчишек.

Если в отчаянном броске ухватить снаряд и кинуть через стену, он ахнет, не перелетев, и свистящий веер осколков врубится во все живое...

Всадить фитильную трубку в снег? Но огонь в ней уже глупо...

...И все это думал капитан-лейтенант Алабышев, падая, падая, падая грудью на шипящий снаряд, и падение было медленным, как во сне. Словно воздух стал густым киселем и его приходилось расталкивать тяжестью тела. А упасть надо было быстро, сильно, чтобы ударом поглубже загнать гранату в талую снежную кашу...

«Не написал я книгу, Иван Федорович...»

Тугой черный взрыв швырнул тело Алабышева вверх на сажень и перебросил к стене. Стена посыпалась и завалила капитан-лейтенанта целиком.

Мальчишки запоздало валились в снег, не понимая еще, живы ли. Одна Дашка осталась неподвижной и прижимала к животу закутанного малыша. Платок с нее слетел.

Васька пришел в себя первым. Он встал на четвереньки, вытряхнул из волос снежные крошки и увидел неподалеку ноги в сапогах со сбитыми каблуками. Сапоги торчали из-под снега.

— Егор Афанасьич, — шепотом сказал Васька. — Дяденька...

Ему показалось, что сапог шевельнулся, но это просто осел под мертвой ногой комок снега.

Флота капитан-лейтенант Егор Афанасьевич Алабышев приехал в Севастополь, чтобы защищать этот русский город от нашествия.

Он не успел принять участия ни в одном сражении и не убил ни одного врага.

Он сделал не в пример больше: отнял у этой войны, у смерти десять ребятишек. Тех, кому еще жить да жить».

Книга вторая

ГРАНАТА

Остров капитана Гая

Первая часть
ДЛИННЫЙ ДЕНЬ У МОРЯ

ПУЛЕМЕТЧИК

Солнце пылало. Оно обрушивало на развалины и плоские курганы лавину сухого жара. Словно кто-то сыпал с громадного, как Сахара, противня потоки горячего песка. Его тугие бесшумные струи прижимали Гаю к земле.

Гай сумел упасть удачно: голова оказалась в тени высокого камня с козырьком (может быть, карнизом древнего дома). Но тело осталось в полной власти солнца. И солнце (ага, попался!) навалилось на распластанного среди колючей травы мальчишку.

Но что оно могло сделать с Гаем? Сотый раз прожарить насквозь? Добавить еще один слой к матово-кофейному загару? И Гай снисходительно, даже с удовольствием принимал на себя сквозь пыльную сетчатую майку лучи безоблачного августовского полдня. К тому же он знал: стоит шевельнуться, приподняться, и прокаленная кожа ощутит движение воздуха, в котором всегда есть прохлада близкого моря.

Но шевелиться было нельзя. И Гай ощущал, что тело его растворяется в солнечном жаре. Это было приятно и в то же время опасно: наваливалась дремливая беззаботность. И негромкий стук пулемета казался таким же мирным, как кузнечики, как шорох волн под обрывами...

Гай видел рыжий от ржавчины пулеметный ствол в щели между серыми глыбами — то ли остатками старинной башни, то ли развалинами бетонного дота. Ствол неумоимо дергался в такт частым выстрелам. Гай подумал, что если это пулемет с диском, то диск для таких очередей должен быть размером с парковое колесо смеха. А если система с лентой, то лента — как эскалатор на Ленинских горах. Но сейчас боезапас противника зависел не от дисков и лент, а от воздуха в легких. Легкие у засевшего в камнях пулеметчика были, видимо, прекрасные, и он сыпал в горячую полуденную тишину бесконечную скороговорку:

— Та-та-та-та-та-та-та-та-та...

Нет, не совсем бесконечную. Порой скороговорка сбивалась на редкие «тых, тых, тых», похожие на выхлопы глохнущего мотора. Иногда наступала тишина. Однако стоило кому-то из атакующих поднять голову, как пулемет взрывался новой очередью...

Обойти его с тыла казалось невозможным. За пулеметным гнездом поднималась двухметровая стена — видимо, остатки цитадели или казармы древнего Херсонеса. С флангов мешали минные ловушки. Три человека уже зацепили проволоку и выбыли из строя под злорадное звяканье консервных банок с насыпанной в них галькой. И под радостные вопли «убитых» солдат противника, которые теперь следили за боем с ближнего бугра. Эти наблюдатели не дадут схитрить и обмануть военную судьбу, если зацепишь мину-жестянку или откроешься перед пулеметом.

Да никто и не пытался хитрить. И Гай не станет. В здешней компании это не принято. Вот в Среднекамске, если игра в войну, только и слышишь: «Куда лезешь, я тебя уже убил!..» — «А вы вообще не по правилам, с той стороны договорились не нападать!..» — «Кто не по правилам? Вы сами хлыздите!»

Здесь такого нет. Может, в этих краях у ребят другие характеры, а может, просто удачная подобралась компания.

Гай познакомился со здешними мальчишками через неделю после приезда.

...В первый выходной, когда Толику не надо было идти в лабораторию, они отправились в Херсонес. Бродили среди серых стен и башен, среди засыпанных и заросших древних кварталов, среди колонн разрушенных храмов, по желтым скалистым обрывам и каменистым пляжам, где волны перекачивали крупную гальку.

Толик то хватал Гая за рубашку, когда он пытался нырнуть в черный лаз подземелья или вскарабкаться по отвесу башни, то поторапливал, если он замирал надолго над притаившимся крабом или плоским камнем с полустертыми непонятными буквами.

...Где-то в этих местах двадцать пять лет назад тяжелая мина разнесла в пыль, перемешала с землей и горячей щебенкой старшего политрука Сергея Васильевича Нечаева, который был отцом Толика. И дедом Гая. И в самые озорные минуты веселость Гая была словно припорошена пепельной пылью.

А Толик, видимо, не замечал этого.

Впрочем, печали Гай не чувствовал. И стесненности в душе, какая возникает на кладбище или просто при мысли о смерти, тоже не было. Было другое чувство, хорошее. Тайная ласковость к этой земле.

Удивительная была земля — с загадками, кладами, легендами. С теплыми камнями старинных стен, с запахом спелых трав и моря... И оттого, что частью здешней кремнистой почвы, травы и песка стал когда-то его дед, Гай ощутил эту землю своей.

Вдохнул воздух Херсонеса и с облегчением понял, что он не гость.

А до той минуты чувствовал себя приезжим.

Севастополь ошеломил Гая блеском нестерпимо синей воды, режущей глаза белизной домов и корабельных рубок, буйной зеленью незнакомых деревьев, излишне ярким своим сверканием. Гай ходил по улицам с Толиком и один, смотрел во все глаза, удивлялся и радовался, но робел в душе. Подавив робость, он лихо взбегал по каменным трапам к памятникам, с размаха запрыгивал верхом на горячие от солнца пушки старых бастионов, храбро гладил местных лохматых псов и лихо подскакивал под разлапистыми ветками, срывая на бегу каштаны.

Так в фойе кинотеатра притворяется независимым и беззаботным пацан, проскользнувший без билета.

Казалось бы, откуда у Гая эта неуверенность? Ведь приезжего люда в городе было, пожалуй, не меньше, чем коренных жителей. К тому же Гай ничем не отличался от местных мальчишек. За два летних месяца он дома успел загореть получше многих южан, а волосы выцвели до лыняной белизны. С пирсов и камней нырял он не хуже здешних ребят (а плавать в соленой воде было не в пример легче, чем в речной). Однако в глубине души у Гая гнездились боязливое отчуждение: город был не его.

И лишь в Херсонесе Гай вздохнул, словно сбросил тесную, не свою, надетую по ошибке куртку. Или словно из дальней поездки вернулся к себе, на знакомую улицу. Хотя родную улицу Гая ничто здесь не напоминало. Была солнечная тишина древних берегов и необъятность увиденного с обрывов моря...

На следующее утро Гай отпросился у Толика сюда один. Покаялся, что не будет «соваться куда не надо», а искупается только один раз, и обязательно рядом со взрослыми («или нет, два, но недолго, ладно?»).

В середине дня он, порядком уставший от лазанья по развалинам и орудийным гнездам, от солнца и купанья, сидел у воды. Надевал на травинку дырявые камешки, которые считаются амулетами. И здесь подошли к нему трое мальчишек.

— Здравствуй. Пойдешь с нами? Не хватает человека.

В Среднекамске так не познакомились. Привыкший к обычаям Старореченской улицы и ее окрестностей, Гай прикинул (на всякий случай) путь к отступлению. Сдержанно ошетинился:

— Куда еще идти?

Все трое глянули удивленно. Старший — ровесник Гая, высокий шуплый парнишка со спокойными глазами — объяснил:

— В футбол играть... Ты не бойся, это недалеко.

— А кто боится? — напружиненно сказал Гай.

Лопоухий пацаненок — самый маленький и похожий на ушастого воробья (если бывают такие) — посмотрел на Гаю и на товарищей, смешно пожал плечами. А третий — пухлогубый, в новенькой синей испанке с белым кантом — проговорил виновато:

— Ну, если не можешь, не надо... Как хочешь.

— Мы же только спросили, — добавил старший, пройдясь по Гаю снисходительным взглядом.

Эта снисходительность обидно царапнула Гаю. Но, когда ребята пошли от него, Гаю вдруг вспомнился речной обрыв, большой тополь и мальчишка в ковбойке (тогда еще незнакомый). Да, что-то одинаковое было в интонациях у здешних мальчишек и у Юрки. И Гаю ощутил быстрое раскаяние и едкую досаду на себя.

Окутанные ленивым зноем скалы и развалины сразу наскучили. И даже искупаться нельзя — два раза уже залезил в море.

Гаю догнал ребят среди колонн разрушенной базилики.

— А где играть-то? Камни кругом...

Но среди засыпанных тысячелетней землей и поросших пыльной зеленью кварталов лежали широкие лужайки. На одной — вогнутой — ребята и гоняли мяч. Конечно, здесь был не стадион и даже не дворовая площадка. Камни подворачивались под ноги, шипастые головки здешнего чертополоха без снисхождения лупили по коленям, но игра шла на полном накале: мяч — такой же коричневый и поцарапанный, как игроки, — бомбой летал над колючками и сурепкой.

При счете восемнадцать — двадцать два команды обессиленно полегли. Игореша — пухлогубый пацан в испанке, — поставившая, сходил домой на недалекую улицу Древнюю и принес бидон квасу. Похожий на копченую скумбрию Славка выпросил у студентов-археологов, что работали неподалеку, батон и несколько помидоров. Сжевали, запили, и Артур (тот, что первый заговорил с Гаем) предложил:

— Купаться!

Гаю с грустью сказал, что пора домой.

— А завтра приедешь? — спросил Игореша.

— Ага.

...Компания была большая, человек пятнадцать. И, кстати, не все местные. Славка, например, был сыном ленинградского профессора, приехавшего со студентами на раскопки. Близнецы Денис и Вадька — москвичи, жившие здесь летом у бабушки. Да и среди севавтопольских ребят не все были с ближних улиц. Кое-кто, подобно Гаю, бродил по Херсонесскому заповеднику и познакомился с компанией случайно.

Конечно, здесь не было крепких дружеских связей. Так, ни точки приятельских отношений, вроде тех, что возникают в ко-

роткой лагерной жизни или в дачном поселке, где съехались незнакомые люди. Но все равно было хорошо. Была вольница. Этой вольнице повезло — не оказалось там ни одного нытика, завистника или такого, кто хотел сделаться атаманом. И жила она без обмана в играх, без больших обид и без ссор. Силой своей никто не хвастался, маленьких из игры не прогоняли.

Если совсем без командира было нельзя, выбирали Артура. Он спокойный и справедливый и знает здесь все закоулки. Но и он не был постоянным вожакom. Наверно, и не хотел.

Иногда кто-то из ребят на день-два пропадал, порой появлялись новые. Никто не знакомился специально. И Гаю до сих пор у кого-то не помнил, а у кого-то путал имена. Многие были похожи друг на друга, как похожи люди на фотонегативах — все темнолицые и с очень светлыми волосами. Почти у всех (кроме жгучего брюнета Славки и рыжего кудлатого Руслана) волосы выцвели, тело — под многослойным загаром. Загар этот уже не блестел, а был словно припудрен. Проведешь по ноге помусоленным пальцем — она блестит, как протертая от пыли скрипка. А высохнет — и опять на ней тонкая пыльца. Это мельчайшие чешуйки кожи шелушатся от жгучего ультрафиолета... И только следы от ссадин и заросших порезов долго розовеют, не загорают. А царапин всяких ой-ей-ей сколько, если вот так, по-пластунски, пробираться в камнях и колючках.

... — Миш... — прошелестел сзади жаркий шепот. — Ми-ша...

Пятиклассник Гаюмуратов не любил свое имя. Оно казалось ему неуклюжим, как толстолапые медведята, что рядами сидят на полках «Детского мира». Даже буквы этого имени представлялись Мишке выложенными из коричневых плюшевых колбас — вроде тех, которыми перекрывают проходы в театрах и музеях...

В школе судьба подарила Мишке новое имя. Она, эта судьба, выступила в лице драчливого и жуликоватого Витьки Дуняева, который в первом классе всех и сразу оделил прозвищами. Мишке Гаюмуратову досталась обидная кличка Гаюморит. Не только из-за фамилии, а еще и потому, что дедушка — известный врач. Но это слово оказалось длинным и для многих первоклассников непонятным. Скоро оно сократилось до короткого и более приличного — Гаюма. После зимних каникул грозного Дуняева перевели в другую школу, и некому стало следить за строгим соблюдением прозвищ. Многие из них забылись (как забылся вскоре и сам Дуняев), а Мишка Гаюма быстро превратился в Гаю.

Гаю — это хорошо. Некоторые даже думали, что он — Гаю Муратов. Короткое имя было словно клич лихих конников. Неда-

ром дедушка говорил, что один из давних его предков воевал в армии Шамиля. Вроде бы закончил этот предок в Петербурге кадетский корпус, был послан на Кавказ, а там перешел на сторону ополченников, которых считал борцами за вольность. Когда Шамиль сдался, бывшего прапорщика Гаймуратова взяли в плен и хотели казнить, но царь вроде бы помиловал: не то за храбрость, не то за княжеский титул. Пленного отправили на поселение в Вятскую губернию, где он женился на дочке местного лекаря и дал нескольким поколениям русских медиков свою фамилию.

Бабушка — мамина мама — иногда поддразнивала деда:

— Как же, Андрей Владиславович, этот князь мог жениться на русской? Он был мусульманин, а она христианка! Это запрешалось.

— Н-ну, не знаю, — защищался дедушка. — Наверно, принял христианство.

— Вот тебе и раз! Воевал за ислам, под знаменем пророка Шамиля, а потом — в христианине?

— Я думаю, он воевал не столько за ислам, сколько за свои понятия свободы, — не сдавался дед. И добавлял с лукавством: — К тому же, любезная Людмила Трофимовна, любовь бывает сильнее всяких религий. Мир знает тому немало примеров. А?

Впрочем, рассказывая семейную легенду, дед и сам посмеивался. И добавлял:

— Больше никого из кавказцев у нас в роду не было. Но иногда чувствуется в крови что-то такое: хочется схватить шашку, и на коня...

Мама считала, что «такое» есть в крови и у Мишки. Иначе в кого он? Папа — сосредоточенный, весь в своих научных делах, спокойный и в очень толстых очках — в молодости его даже на фронт из-за близорукости не пустили. Мама — тоже с ровным характером и бывшая отличница... Когда мама пудрила Мишкины синяки или разглядывала его дневник, она качала головой и говорила со вздохами:

— Черкес ты непутевый у меня, Мишка...

Мама одна умела говорить «Мишка» так, что имя не казалось неуклюжим. Она мягко растягивала слог «ми», а тяжелый плюшевый звук «ш» почти исчезал в мамином вздохе. Но и мама иногда называла сына школьно-уличным именем: «Опять за стол с немытыми руками? Ох, Гай, получишь ты у меня трепку!»

Никакой трепки от мамы он никогда не получал. Разве что хлопнет она его по затылку, заросшему светлыми, совсем не черкесскими волосами, так это со смехом...

А иногда мама называла его Гаем и по-другому, ласково: «Ох, Гай ты мой Гай, в кого у тебя глазички такие?» («Какие?» — бурчал Гай. Мама смеялась: «Как купорос») Или строго: «Гай, где тебя черти носили до темноты?»

Струйка теплого воздуха шевельнула на затылке волосы, а показалось — будто мамина ладонь. «Ох, Гай, где ты у меня, а?»

А он здесь. Далеко-далеко от родного Среднекамска. Лежит, прижатый к твердой кремнистой земле потоками сухого зноя и бесконечными «та-та-та» засевшего в камнях пулеметчика.

— Ми-шка.

...Он постеснялся здесь назвать себя Гаем. А на «Мишку» до сих пор отзывается с замедлением — с непривычки и от внутреннего упрямства.

— Миш... — его дернули за ступню. Гай оглянулся. Сзади — взмокший, в сдвинутой на затылок испанке — лежал Игореша. — Артур сказал, чтобы ты закидал пулемет гранатами.

— Да у меня всего одна! — Гай сжимал в правой ладони бу-мажный, перевязанный нитками пакет с сухой землей. Такие гранаты они понаделали с утра. Теперь их осталось совсем мало.

— У меня есть две... Но мне их не добросить, — самокритично выдохнул Игореша.

— Давай...

Одну Игорешину гранату он взял в левую руку, вместе с рейкой, изображавшей автомат. Вторую с натугой запихал в задний карман на шортах. Карман, и без того уже надорванный, затрепал. Гай мужественно чертыхнулся. Затем толчком ввинтил себя в ломкие заросли подсохшей травы (похожей на полынь, но с другим запахом) и прополз до края каменистой открытой площадки на пологом склоне.

До пулемета было теперь метров десять.

Отсюда Гай разглядел, что пулеметное гнездо — вовсе не остатки дота и не древние развалины. Это просто два больших камня, приваленные плоскими верхушками друг к другу. Между ними темнела треугольная щель. Из нее и торчал тонкий ствол с наконечником, похожим на ржавую воронку.

Воронка все так же неутомимо дергалась. Частое «та-та-та» стало теперь отчетливой и громче. И, кажется, злее. И Гай вдруг ощутил сильное раздражение против упрямого пулеметчика: засел там в тени, а ты тут жарься и царапайся из-за него! И вообще...

Что «вообще», Гай объяснить не смог бы, но все вокруг делалось жестче и серьезнее. Будто хищная воронка ствола могла и в самом деле ожечь Гая хлесткой болью.

Гай приподнялся на левом локте и швырнул гранату. Она полетела по крутой дуге. Земля посыпалась из порванной бумаги и оставила в воздухе пыльный след. Пакет лопнул от удара на

внешнем скате камня в полутора метрах от амбразуры. Пулеметчик, видимо, даже не заметил «взрыва». Гай с горькой злостью на себя понял, что, будь граната настоящей, ни осколки, ни взрывная волна не зацепили бы пулемет.

Гай часто и сердито подышал, заставил себя успокоиться и хладнокровно бросил вторую гранату. Хладнокровие не помогло. Тугой бумажный кулек упал далеко в стороне от амбразуры и безобидно застрял среди мелких камней.

Все, конечно, видели, какая он размазня!

«Та-та-та-та-та...» — злорадно выводил неуязвимый пулеметчик. Гай встал на колени и дернул из кармана последнюю гранату. Дернул яростно — карман опять затрещал, бумага лопнула. Понимая, что все уже зря, что разорванный пакет не долетит, Гай не сдержал гневной обиды на себя и на весь белый свет — метнул гранату просто так, не целясь. Будто врагов впереди было множество. Пыльная начинка рассыпалась в воздухе, дражный пустой кулек обессиленно спланировал, не пролетев полпути. А Гай упал ничком. От беспомощной злости и стыда.

— Миш, ну ты чего? — зашелестел позади Игорешин полусшепот. — Мишка, давай...

Что «давай»? Будто глупый Игорешка не знает, что гранат больше нет... Или...

— Миша, ты ближе всех.

Вот, значит, что! Ясно, чего ждут от Гая все, кто залег среди колючек и ракушечника. Пять скачков вверх по наклонной каменной площадке и — грудью на ствол!

Про это столько раз читали. В кино видели...

Это просто и быстро. Давай, Гай!

Ну, что же ты, Гай...

Потом он не раз будет ломать голову: почему не бросился? Просто потрошить себя станет, чтобы докопаться до самой начальной причины. Может, показалось, что это не игра, а все по правде? Может, Гай просто и понятно испугался? Но если и так, то это лишь на дольку секунды. А лежал он сколько?

Лежал, пока не увидел, как со стены позади пулеметного гнезда прыгнули Артур и Славка. Значит, все же пробрались через мины, зашли с тыла!

Они скакнули с двухметровой высоты на камни и легли на них плашмя. Славка махнул белой веревкой, набросил на торчащий ствол петлю и вместе с Артуром сильно дернул аркан. Трехногий голенастый пулемет с тонким стволом и прижавевшим сверху диском вылетел из амбразуры. Конец ствола обломился.

Пулемет запрыгал вниз по склону и опрокинулся, нелепо задрал треногу. Он был похож на дохлого великанского кузнечика.

Все-все теперь мчались вверх с победными криками.

И Гай бежал. Правда, чуть позади остальных.

Кто-то лягнул пулемет, и он опять покатился, подпрыгивая. Гай перескочил через него. Казалось бы, надо остановиться и разглядеть. Не каждый день видишь пулеметы, хотя и ржавые. Но инерция толкнула Гая вперед. Да и... не только инерция. Еще и стыдливое опасение — словно старый пулемет мог усмехнуться: «Сперва испугался, а теперь любопытствуешь?»

Вся компания — и атакующие, и «убитые» из обеих армий — запаленно дыша, встали перед амбразурой. Гай увидел несколько ребят и девочку — такую же загорелую, как мальчишки, курносую, с прямыми желто-белыми волосами до плеч. Девочка-то явно была не из воюющих. На плече она держала брезентовую мужскую куртку, в руке — пустую сумку из клеенки. Видимо, подошла из любопытства.

Впрочем, Гай подумал о ней лишь мельком, потому что Игореша удивленным шепотом спросил:

— Ты почему не побежал на пулемет? Раз гранат не осталось, надо было вперед...

Шепот был громкий, и на Гая сразу глянули несколько человек. Гай проклял в душе Игорешу и сказал с явной интонацией старожила среднекавказской окраины:

— Чё зря выхваляться-то? Если бы по правде герои...

Тут сунулся «ушастый воробышек» Вовка:

— А по правде пошел бы?

— А ты? — огрызнулся Гай.

— Ой, я нет, наверно... — вздохнул простодушный Воробышек, и Гаю стало полегче. Тем более что на него уже и не смотрели. Смотрели на каменное укрытие пулеметчика.

Славка сказал в треугольную амбразуру:

— Эй, ты чего? Вылазь, сдавайся.

В гнезде было тихо.

— Ну, хватит уж, — сказал Артур. Без победного хвастовства и даже чуть виновато. — Все равно ты один остался и без пулемета. Все равно наша победа.

Незнакомый Гаю пулеметчик вылез на свет.

Он появился не из амбразуры, а из щели у стены. И поднялся, расставив перемазанные сухой землей ноги.

Гай сразу подумал, что мальчишка похож на свой пулемет. Костлявый, ломкий в суставах, с пятнами ржавчины на порванных шортах и на серой от пыли майке. Он был весь припорошен этой пылью. А в растрепанных волосах застряли комки земли и раковина улитки.

Гай ощутил стыдливую хмурую враждебность к мальчишке — такую же, как к его пулемету.

Казалось бы, чего злиться? Пулеметчик был младше Гая года на два. Беззащитный, пленный... Но нет, он не казался беззащитным. Он глянул на всех из-под пыльных ресниц, и во взгляде его был чистый синева-стальной блеск. Тонко и непримиримо пулеметчик сказал:

— А почему ваша победа?

Все молчали, смотрели на гранату.

Граната висела на груди у пулеметчика. Она была не старая, не ржавая — не то что пулемет. Лаково-черная «лимонка» с медной трубкой запала и блестящим проволочным кольцом. Она цеплялась рычажком за вырез ворота и сильно оттягивала майку.

— А почему ваша победа?! — Пулеметчик вскочил на верхушки двух камней над амбразурой. Секунды три он смотрел сверху — на одинаково удивленных противников и союзников. Потом втянул сквозь сжатые зубы воздух и рванул у лимонки кольцо. И взметнул гранату над головой. Упала тишина, и Гай услышал в этой тишине звонкое шипенье. А потом — чей-то неразборчивый тонкий вскрик. Не страх, а похожая на сильный холод тоска приморозила Гая к месту. И он смотрел на зажатое в грязных пальцах мальчишки овальное ядро лимонки неотрывно. И копошилась под тоской пустая, ненужная мысль, что квадратика, на которые разделен корпус гранаты, похожи на шоколадные дольки. На одном квадратике горела солнечная искра.

А шипенье стало тише, и пулеметчик опустил руку.

— Ну? — сказал он.

— Тьфу, дурак, — выдохнул Артур. — Я уж подумал: настоящая...

— Я тоже, — часто дыша, признался Игореша. — Как заору. А упасть не догадался.

«Я ведь тоже решил, что настоящая», — понял Гай. И разозлился на пулеметчика еще больше.

— Чего зря падать-то, — усмехнулся кудлатый Руслан. — У такой разлет осколков двести метров... Сержик, покажи.

Но пулеметчик Сержик, упрямо блестя взглядом, ответил:

— Вашей победы — нету! Теперь все убиты.

— И ты, — сказал воробышек Вовка.

— И я, и вы. Все равно вашей победы нет.

— Ну нет, нет, — нетерпеливо согласился Артур. — Ничья. Прыгай сюда. Покажи игрушку-то...

И мальчишка прыгнул с камней. Рукою с гранатой вытер под носом, размазав по щекам пыль, улыбнулся. И стал не пулеметчик, а просто поцарапанный и усталый Сержик.

— Ох и перемазался. Просто чучело, — сказала девочка.

Артур взял гранату:

— Как зашипит... Будто по правде запал горит... Где раздобыл такую? Или сам сделал?

— Не... — Сержик вытряхивал из волос землю. — Это Андрей, наш сосед. Он ее нашел, вычистил, а потом запал приладил... Там пружинка тонкая — как дернешь кольцо, она дребезжит, будто огонь шипит... Андрей, когда в армию пошел этой весной, мне на память оставил. А бабушка спрятала. Говорит: что за игрушка, страсть такая!

— Ну и правильно говорит, — негромко, но безбоязненно заметила девочка. — Все мальчишки безголовые...

— Андрей же пустую нашел, он понимает... А бабушка ее — за сундук. Я сегодня все равно отыскал...

Граната пошла по рукам. Каждый качал ее, тяжелую, рубчатую, в ладони, выдергивал кольцо, и жидкая пружинка в медной трубке запала отзывалась тревожным шелестом.

Гай тоже подержал и дернул (и это, надо сказать, было приятно: в руке ощутилась грозная сила). Но он без задержки передал гранату Руслану. А сам отошел.

Стыдливая досада на себя не оставляла Гая. И усиливала раздражение против пулеметчика. Конечно, Гай и виду не показывал. Не то что от ребят, он и от себя-то был бы рад спрятать все эти едкие перепутанные чувства. Но от себя ничего не спрячешь.

Гай делал вид, что озабочен полуотворненным карманом, и со скрытой ревностью поглядывал со стороны, как толкнутся ребята вокруг Сержика. Видно, они считали бывшего пулеметчика героем.

А что он, в самом деле герой, что ли? Прыгнул, дернул кольцо... Попробовал бы так по правде...

Но почему-то пулеметчика никто не спросил, как Вовка спросил Гая: «А по правде пошел бы?» Видно, поверили, что Сержик и в самом деле смог бы.

«Просто дело в том, что граната как настоящая, — подумал Гай. — Увидели ее, вот и показалось, что он сам такой же... настоящий. А если бы бумажная, фиг бы кто поверил...» Но вспомнил Гай взгляд пулеметчика и понял, что все не так просто.

И все же он повторил про себя хмуро: «Потому что граната настоящая...»

Гранату все еще разглядывали. Потом Сержик засмеялся, что-то сказал и, будто объясняя, дернул опять кольцо и кинул гранату. Кинул ее очень умело. Лимонка — тяжелая, а силенок-то у него... Граната упала недалеко, за кубическим пористым камнем на границе голой площадки. Пистолетно шелкнула по обломку ракушечника и тяжело покатила сквозь стебли сурепки вниз по склону. Путь ее был замечен по быстрому шевелению мелких желтых цветов на верхушках травы. Потом шевеление затихло.

Все побежали вниз. И Гай пошел торопливо. Лишь у кубического камня (наверно, цоколя старинной колонны) чуть притормозил, толкнул ступней в сторону широкую черепичную плитку.

Искали гранату долго. Вырвали всю траву, осмотрели места широко вокруг. Она как сквозь землю провалилась. То есть могла, конечно, и провалиться, здесь хватало древних колодцев и подземелий. Но поблизости ни одной отдушины или шели не нашли. Просто фокус какой-то. Не превратилась же «лимонка» в один из камней-кругляков, что валялись в траве!

Пулеметчик сник, все его жалели. Даже виноватыми себя чувствовали. А кого винить-то? Сам кидал.

Нет, но куда она могла деваться?

Простодушный воробышек Вовка даже сказал:

— Может, кто прихватил, а? Лучше признавайтесь.

Все невесело рассмеялись: если бы кто-то и пошел на такое свинство, куда бы спрятал свою добычу? Любой карман оттопырится, любая майка отвиснет.

Ушастый Воробышек неосторожно посмотрел на сумку и брезентовую куртку девочки. Девочка легко уронила куртку, а сумкой деловито хлопнула Вовку по пыльной спине. И вздохнула:

— Дурак...

А Вадья — один из близнецов — ехидно спросил:

— Ну что, Вова? Есть там граната?

Все опять виновато посмеялись. Пулеметчик Сержик вдруг вскинул голову и решительно сказал:

— Ну ее, ребята. Пропала так пропала. Пошли купаться.

Все повеселели. Только Артур проговорил с недоумением:

— Но все-таки где она?..

— Что теперь, бригаду с раскопок звать? — недовольно бросил Славка.

Сержик махнул рукой:

— Может, потом еще поищем... А может, и не надо. Мне из-за нее от бабки два раза уже ой как влетало! — Он смешно дернул лопатками — показал, что влетало крепко и что сейчас он не так уж настроен потерей. — Пошли на пляж под колокол!

Он первый запрыгал к обрыву, и все за ним.

Только девочка осталась на месте. И Гай.

Артур вернулся:

— А вы чего?

— Мне в ларек надо, — сказала девочка.

— А ты, Мишка? Не будешь купаться, что ли?

— Я думаю...

— А чего думать? Окунемся — и обедать!

— Я не об этом думаю...

Он думал: «Сказать или не сказать?»

— Да пошли! — дернул его за руку Артур.

Толик, зная, что Гай теперь не один, больше не требовал никаких обещаний. Гай каждый день купался, сколько хотел.

В жару даже самая теплая вода кажется прохладной. Гай с разбега бултыхнулся в глубину. Йодисто-соленая, шиплющая накаленную кожу свежест смысла с Гая тревогу и сомнения. Гай открыл глаза. Увидел в просвеченной солнцем зелени стайку метнувшихся ставридок, бесцветное пятно медузы и коричнево-золотистые гибкие тела приятелей. Выгнулся и рванулся вверх...

И все же легкий осадок на душе остался. Когда ребята одевались, Гай сидел и молчал.

— Пойдем к нам, — предложили близнецы. — Бабушка блинчики с вареньем обещала сделать. Поедим — и в кино.

— Не, у меня дела...

Впервые за эти дни Гай хотел быть один.

СОМНЕНИЯ

Компания разбрелась — до завтра. Гай остался на берегу.

Он посидел минут десять, пересыпая камешки. В мокрой разноцветной гальке, в обкатанных осколках черепицы, сахарного мрамора и бутылочных стекол встречались белые кусочки костей. Чьих? Греческих, скифских, русских, немецких? Море все смешало в полосе прибоя... Гай уже не первый раз подумал, что, может быть, скользнул между пальцев гладкий осколочек бабушкиной кости. Но подумал без страха и грусти, а лишь с оттенком привычного уважения. И снова стал думать о другом.

Вернее, ни о чем он не думал. Сидел, слушая шорох воды, и машинально отрывал от своих облупленных ушей пластинки кожи. Уши от солнца шелушились все лето, ничего с этим нельзя было поделать...

Наконец он встряхнулся: надо одеваться. Правый карман сзади на шортах был оторван почти наполовину. Гай задумчиво оторвал его совсем. На выгоревшей материи остался ярко-синий квадрат. Гай усмехнулся и оторвал левый карман — для симметрии. Получилось ничего, даже красиво. А карманов хватит и боковых. Что в них, в карманах-то? Мягкий забытый платок, ключ, несколько пятак да бумажный рубль — Толик дал на обед.

По зигзагам бетонной лесенки Гай поднялся на обрыв недалеко от морского колокола, колокол был подвешен меж столбов, похожих на квадратные башни. Говорят, еще недавно в колоколе висел могучий чугунный «язык» и от него шел к недалекому белому домику трос. Во время штормов и туманов колокол тревожно гудел, предупреждал моряков о близких скалах. Но теперь

другие сигналы, современные, а он так, пенсионер. Одна работа — побренчать для туристов, когда бросят камешком.

Гай миновал разрушенный желтый собор. Мальчишки рассказывали, что в первый час войны на купол собора упала немецкая парашютная мина — одна из тех, которыми фашисты пытались загородить выход из Северной бухты (фиг им, не вышло!).

Если бы не честное слово «не соваться», Гай давно бы побывал внутри, несмотря на грозные надписи «Опасно для жизни!». А сейчас приходится лишь разглядывать через проломы тускло-золотистую мозаику в полумраке таинственных развалин.

Гай прошел мимо переднего знака Лукулльского маячного створа. Знак был похож на вздыбившийся у обрыва рельсовый путь с черно-белыми шпалами. Гай привычно взбежал глазами по лесенке шпал. Красный фонарь створа светил, несмотря на яркое солнце.

Солнце все погружало в дрему. Сонным был храм, замерли острые кипарисы, заколдованными войнами казались пыльно-белые колонны на древней площади Херсонеса. Не шевелилась сероватая сладко-пахучая трава. Дремали даже сизые катера на гладкой воде Карантинной бухты. И старушка в дверях будки у главного входа в Херсонес дремала, не взглянула на мальчишку.

Гай дождался автобуса — «пятерки» — и доехал до проспекта Гагарина. Там пересел на троллейбус и скоро вышел у кинотеатра «Мир». Напротив стояло кафе-стекляшка с названием «Тюльпан».

Гай был голодный. Но в кафе солнце жарило даже сквозь зашторенные стекла, и от пластиковых столов пахло кислой капустой. При мысли о горячем супе замутило. Гай взял шницель с макаронами, но и его сжевал лишь наполовину. Запил теплым компотом. Столовой еды больше не хотелось, но в желудке все равно сосало от голода. И даже голова слегка кружилась.

Гай пошел к троллейбусной остановке. Троллейбус как раз подкатил и зашипел дверьми. Если побежать, можно успеть. Гай не побежал. Зато другие спешили. Его обогнала женщина с полными сумками. Из сумки выскочили на асфальт два алых мячика.

— Тетенька, помидоры потеряли! — лениво крикнул Гай.

Та, не оглянувшись, втиснулась в троллейбус, он уехал.

Гай подобрал помидоры. Если судьба что-то подбрасывает, зачем отказываться?

Гай ополоснул помидоры в мойке газировочного автомата, вернул в «Тюльпан», обмакнул их в солонку и вышел опять.

Помидоры были спелые и прохладные. Откусывая от каждого по очереди, Гай перешел горячий от солнца проспект и нырнул в тень на улице Гавена. Он решил вернуться в Херсонес пешком.

Улица вывела его к школе, стоявшей на бугре. Школа была безлюдна. Но через две недели здесь все будет по-другому... А Гай будет дома, далеко-далеко отсюда. Это, конечно, хорошо, но ребятам, что учатся в этой вот школе, рядом с морем, рядом с древним таинственным городом, Гай от души позавидовал.

От школы тропинки вели через пологую ложбину: одни к плоскому берегу Песочной бухты, другие — снова вверх, к остаткам крепостной стены и на мыс, к развалинам сторожевой башни. Развалины торчали над обрывом, как двойной зуб исполинского чудища.

Гай оттер с ладоней о майку помидорный сок и вприпрыжку припустил через ложбину к башне. Напрямик, без тропинок. Через солнечное, полное тишины и кузнечиков безлюдье.

Плети ползучих трав хватили за шиколотки, но не сильно, шутя. Подсохшие листья и колючки царапались, но не больно, а так, для порядка. Солнце горячими ладонями весело подталкивало Гая в спину и затылок. Он без отдышки взбежал к башне. Вот что значит два случайных прохладных помидора!

У башни Гай остановился. Море под обрывом слегка опускалось и подымалось. Со звоном, но почти без пены вода накатывалась на камни. Потом она отступала, и тогда из маленьких гротов и расселин вырывались минутные водопады. Вдали море было ровно-синее, а под обрывом — разноцветное. Сквозь пологую, почти незаметную зыбь солнце высвечивало дно, как сквозь бутылочное стекло. Видны были зеленовато-желтые плиты песчаника со змеистыми проблесками от ряби и быстрыми тенями от рыбешек, красно-бурые мохнатые водоросли и черно-изумрудные провалы глубин. В глубинах качались размытые пятна медуз...

С моря тянул неторопливый ветерок. Из-под обрыва, как медленные вздохи, долетала прохлада. Кружили чайки.

Гай прислонился к неровным камням башни и глянул на горизонт. Синева моря отделялась от выцветшей безоблачной голубизны четкой, как фиолетовая струна, чертой. У этой черты маячили полупрозрачные силуэты сторожевиков. Их мог разглядеть каждый, у кого хорошее зрение.

Но Гай видел то, чего не увидят другие. Над струной горизонта вставал похожий на сизое плоское облако остров. Если приглядеться, можно было разглядеть сквозь дымку желтоватые обрывы и такие же, под цвет скал, башни и зубчатые стены. Кубики домов, пальмы, длинные лестницы на откосах. Шпили и флюгера. Синюю цепочку лесистых гор позади крепости и домов...

Остров приближался, наплывал. Послушная командам Гая шлюпка с дружными гребцами шла к острову под равномерный весельный скрип. И вот захрустел под тяжелым килем песок.

— Подождите меня здесь, — сказал Гай матросам.

— Да, капитан. Есть, капитан...

Капитаны бывают не только взрослые. Был, например, пятнадцатилетний капитан. Почему не быть такому, которому двенадцать? В своей сказке ты сам хозяин.

Гай придумал эту сказку-игру не здесь и не сейчас. Об острове, где всюду тайны, где в любом переулке можно наткнуться на приключение и где, если повезет, встретишь самых понимающих и надежных друзей, он мечтал лет с девяти. Иногда забывал, а иногда сказка захватывала все мысли. Даже снилась.

Гай стеснялся своей игры. Правда, однажды, этой весной, он рассказал об острове Юрке Веденееву. Тот слушал внимательно и без всякой насмешки. Но и без большого интереса. Видимо, считал, что от придуманных приключений жизнь интереснее не делается. А друзей на острове искать ни к чему, если есть рядом Гай, а у Гая есть рядом он, Юрка. Плохо, что ли?

Это было совсем не плохо, Юрка — человек что надо. Он доказал это еще зимой, когда в Парке судостроителей им повстречался полузабытый Дуняев с друзьями. Дуняев узнал Гая:

— Гайморит! Какая встреча! Старый друг!..

Гай себя трусом не считал, но сейчас сразу понял, на чьей стороне перевес, и, хотя было противно, слабо улыбнулся. Будто не обижается и все это так, шутка.

— Ты куда, Гайморит?! Давай поговорим! — За рукав схватил. — Ты чего такой невежливый?

— Ну чё... — сказал Гай, а Юрка повел себя как надо. И дружки даже не посмели вмешаться, когда, скуля и держась за глаз, Дуняев пошел прочь. Гай запоздало лягнул на прощанье одного из робких дуняевских спутников. А Юрке сказал:

— Знаешь, я как-то растерялся... — Иногда лучший способ избавиться от неловкости — это сразу признаться.

— Бывает, — рассеянно кивнул Веденеев. Будто ничего не случилось. Он был понимающий человек. Гай заметил это еще при первом знакомстве, в сентябре...

Но про остров Юрка не понял, и Гай об этом больше с ним не говорил. В конце концов, с Юркой и без всяких сказок было хорошо...

...Но порой сказка так тянет к себе, забирает в плен.

...Гребцы остаются в лодке, а Гай идет по тропинке к бугристой крепостной стене. Он ясно видит и камни, из которых сложена цитадель, и даже крапинки слюды в камнях — они поблескивают под вечерним солнцем, которое светит в спину. И неровную глинистую тропинку видит...

Стена как бы разрезана щелью. В щели — узкая лестница. Она стиснута высокими гранитными постройками без окон. Ступени — крутые и стертые, того и гляди ногу свихнешь. Когда

Гай начинает уже уставать, слева он замечает в стене сводчатую нишу и дверь из тяжелых досок. Дверь приоткрыта.

Гай входит в извилистый прохладный коридор. Пусто. В полумраке горят над головой фонари — то ли со свечами, то ли с газом. Коридор тянется, тянется и приводит Гая в комнату с полукруглым окном. Солнце наклонными широкими лучами упирается в полки с кожаными старинными книгами. Блестит бронзовое кольцо на громадном глобусе. Рядом с глобусом, на низком дубовом столе, лежат свитки и желтые разлохмаченные листы.

Гай чувствует, что на много шагов вокруг нет сейчас ни одного человека — ни в комнатах, ни в коридорах. А еще он знает, что в каждой книге, в каждой свитке со старыми морскими картами — какая-то загадка. Выбериай, Гай. Любую...

Он тянет со стола свиток.

Свиток тяжелый! Почему?

Гай тянет сильнее. Бумажная труба раскручивается. К ногам Гая падает черная круглая граната.

Гай вздрогнул. Такого еще не было в сказке... Но и гранаты в его жизни до нынешнего дня не было! А сейчас она о себе напомнила. Гай повел плечами — стесненно, стыдливо и... нетерпеливо. Остров исчез. Быстро, уже без остановок, Гай добрался до бугра с пулеметным гнездом.

Похожий на дохлого кузнечика пулемет по-прежнему валялся среди камней. Гай глянул на него искоса. Прошел выше, к кулическому камню.

Оглянулся. Поодаль бродили одинокие туристы, но близко не было ни души.

Гай ощутил толчки сердца, сел на корточки, отодвинул от камня кусок черепицы. В открывшуюся щель упал прямой луч. Яма под камнем была неглубокая, с полметра. Луч загорелся колючим огоньком на черной грани гранаты.

Когда пулеметчик бросил гранату, Гай стоял в стороне. Он видел то, чего не заметили остальные. Граната, упав за камень, выбила из земли серый, похожий на черепашку гольш. Он и покатился сквозь траву, обманув мальчишек. А «лимонка» рикошетом ушла в норку под большим камнем — словно решила перехитрить хозяина.

«Стойте, она там!» — хотел крикнуть Гай, когда все бежали вниз. Но ребята промчались очень быстро. Ладно, пусть поищут, а он потом хитро посмеется и скажет. И Гай пошел следом. На пути попала широкая черепичная плитка. Прямо под ногу. И Гай, еще не думая (или почти не думая), пяткой отшвырнул ее

к камню. Он виноват разве, что плитка так ловко, будто нарочно, прикрыла узкую черную нору?

Сначала, когда искали, Гай все ждал момента, чтобы сказать: «Прошлапили гранату? Эх вы! Да она совсем в другом месте!» Ждал, ждал... Сказать лучше всего было, когда пулеметчик совсем сникнет и, может быть, даже пустит слезинку. Гай сразу пожалел бы его.

Но пулеметчик сперва запечалился, а после махнул рукой: «Ну ее, ребята. Пропала так пропала...»

Едкая досада снова укусила Гаю.

«Ну ее? Тогда ищи сам, если захочешь...»

Он понимал, что искать гранату выше по склону никому не придет в голову. «Не будешь в другой раз хвастаться и строить из себя героя», — добавил он, старательно ожесточаясь в душе.

И если так получилось, пускай лежит граната в тайнике под камнем, никому не известная. И, значит... уже ничья.

А что, разве зря все так вышло? И камень-кругляш, и незаметная норка, и то, что Гай лишь один все это видел? И кусок черепицы под ногой... Будто сама судьба хотела...

По дороге в кафе Гай вдруг встревожился: а если под камнем глубокое подземелье? Но теперь оказалось — просто выемка. То ли какой-то зверек вырыл, то ли дождевая вода размыла рыхлую землю... Гай вынул гранату. Покачал ее в руках — увесистую, рубчатую. В ней, хотя и в пустой, чудилась боевая мощь. Как в тяжелом пистолете «макарове», который однажды показал ребятам отец Витьки Лаврентьева, офицер. Дал Гаю, Витьке и Юрке подержать и разрешил даже по разику шелкнуть курком...

«С такой-то можно себя хоть кем вообразить», — опять шевельнулась мысль. Но додумывать ее Гай не стал. Потому что пришлось бы представить и то, как среди врагов ты рвешь кольцо и... и тогда опять как перед пулеметом...

И все же Гай дернул кольцо. Но уже с другой мыслью — с той, что шевелилась позади обиды на пулеметчика. С мыслью, как здорово будет притащить эту штуку в класс. «Гай, ух ты! Гай, она раньше была настоящая? Дай подержать! Гай, где взял?» — «Нашел там, у моря. В тех краях этого добра хватает, война ведь была...» — «Гай, давай меняться!» — «Нет, я же ее не себе... Я Веденееву привез...» И, тая от собственной щедрости, он скажет: «Юрка, держи, это тебе...»

Гай дослушал, как шипит в запальной трубке чуткая пружинка, и встал на место чеку с кольцом... и услышал шаги! Дернулся, уронил гранату, обморочно съезился.

Шаги были легкие. Несомненно, кто-то из мальчишек вышел из-за каменной стенки.

Не сразу и через силу Гай повернул голову.

В траве шел серый тощий кот.

— У, бандюга... — чуть не со слезами сказал Гай. Кинул в кота улиточной ракушкой. Тот не ускорила шага, только презрительно дернул поцарапанным ухом. Это презренье Гай полностью отнес к себе. Облегчения он не чувствовал. Стыд, хлынувший на Гаю, был тяжелым, вязким и липким, словно сверху опрокинули цистерну холодной смолы.

Такой стыд Гай до этого испытал, пожалуй, лишь однажды. Два года назад он пробрался в кабинет деда и в толстых медицинских книгах разглядывал картинки — те, что совершенно не для детского глаза. Гай понимал, что, скорее всего, помрет на месте, если его увидят за таким занятием. Но какое-то особое, «замирательное» любопытство было сильнее запрета и страха. К тому же Гай знал, что дома он один.

Он увлекся настолько, что не услышал, как вернулась бабушка. И обмер, когда она вошла в кабинет.

Бабушка не сказала ни слова. Взяла у Гаю книгу и поставила на полку. Потом ухватила его за ухо и повела в другую комнату. Обмякший от позора и ужаса, Гай не пикнул и не оказал сопротивления. Он был готов к самой жуткой каре. Но бабушка оставила его одного и молча прикрыла дверь.

До вечера Гай тяжело томился в ожидании последствий. Но ничего не происходило. Только мама спросила, почему Гай такой присмиривший. Не заболел ли?

После ужина Гай носил на кухню чашки и не смотрел на бабушку, которая хлопотала у раковины. Бабушка вдруг сказала, будто продолжая разговор:

— Самое скверное даже не то, что ты совал нос, куда не следует. Любопытство можно, в конце концов, понять. Но ты *обещал* дедушке не трогать без спроса его книги. Значит, тебе нельзя верить?

Гай сопел, снова увязая в стыде, как в жидком студне.

— Иди сюда...

Он, волоча ноги, подошел (ох как было тошно). Бабушка вытерла белую, без цветочков и полосок, чашку — любимую пиалу деда.

— Смотри, — она поднесла чашку к виноватому носу Гаю. — Совесть у человека должна быть такой же, без пятнышек. Иначе будешь всю жизнь маяться, как сегодня. Понял?

Гай, краснея, но с облегчением выдохнул, что понял. И с той поры обещаний старался не нарушать. А то себе дороже.

...Но сейчас-то он никакого обещания не давал! И никому ничего не врал! Если бы спросили: не знаешь, где граната? — сказал бы сразу. А так что? Обязан он, что ли, докладывать?

Драный серый кот опять прошел в пяти шагах и глянул ехидно: «А чего же ты так обмер?»

«Потому что ребята могли подумать, что я нарочно сташил», — сказал Гай. Себе, конечно, а не коту.

«А ты не сташил?»

«Я?! — старательно возмутился Гай. Он уложил гранату в нору. — Вот! Пусть ее ищет, кто хочет! Пожалуйста!.. Смотрите, я даже черепицу выкинул, пускай будет все как само собой случилось, я здесь вообще ни при чем... Пусть граната лежит хоть сколько... хоть целую неделю. А если не найдут и забудут, тогда... ну, тогда не все ли равно: здесь она останется, никому не нужная, или окажется... у того, кто про нее знает? Все будет законно...»

Гай выпрямился, шуганул кота и побежал к обрыву.

КАРЕТТА

Ему опять хотелось искупаться. Избавиться от жары, смыть усталость и... ну, и мысли всякие тоже пускай смоются.

Но когда Гай спустился с обрыва, сонливое утомление окутало его neodолимо. Гай только сбросил кеды и сел на ячеистый желтый камень. Небольшие волны перекачивали гальку, подбились, заливали ступни. Гай привычно брал мокрые камешки, перебрасывал лениво, сыпал на колени... Потом глянул на горизонт и опять попытался представить остров.

Не получилось.

Остров появлялся лишь в такие минуты, когда не было на душе тревоги. А сейчас Гая все еще точило сомнение. Насчет гранаты. Уже не сильно точило, но полного покоя не было.

Опять закружилась голова. Наверно, от ровного набега воды... Гай встал, встряхнулся. Скользя по камням, вошел в воду по колени. Плеснул в лицо полную пригоршню, фыркнул, выпрямился и... Что случилось?!

Он никогда не испытывал такой боли!

Ядовитая игла вошла в середину ступни, прошла Гая до затылка! Боль скрутила Гая, швырнула на берег, скрючила на гальке. Все стало едко-желтым — небо, море, камни, мысли...

Хотя нет, мыслей не было. Только нестерпимая игла в ступне и ощущение яда в каждой клеточке тела! Гай заорал бы во всю силу, но горло перехватило, воздух стал твердым, Гай корчился и выгибался, не понимая, почему еще не умер.

И никого не было рядом. Лишь в полусотне метров бултыхались несколько ныряльщиков с масками. Никто, конечно, не смотрел на скрюченного, задыхающегося мальчишку...

...Потом в боли появились как бы окошечки. Короткие послабления. В один из таких моментов Гай сел. Вытаращив глаза,

стиснув ступню, он дышал разинутым ртом и с ужасом ждал, что игла вгонит в него новую порцию яда...

— Ты что?

В размытом желтом пространстве (которое тоже было болью) возникла девочка. Кажется, та самая, что была с мальчишками на бутре. Не все ли равно? Ой!.. Ну когда кончится эта мука?!!

— Ну-ка, дай... — Она оторвала от ступни его руки. Взяла ее в свои ладони. Холодные. — Ну-ка, ляг...

Он откинулся на гальку.

Руки, маленькие, мягкие и решительные, сдавили ступню раз, другой. Сильнее. Словно выдавливали иглу. Прошлись быстрыми пальцами от шиколотки до колена. Опять сжали ступню упругим кольцом. Прохладные ладони будто втягивали боль в себя, яд нехотя уходил из Гая. К небу, к морю медленно возвращались голубые тона. Гай со стоном приподнялся на локте. Боль все еще была отчаянная, но уже из тех болей, которые можно кое-как терпеть. И к тому же она все смягчалась.

— Лежи, лежи, — сказала девочка. — Ты, наверно, на дракончика наступил.

— На кого? — спросил Гай со всхлипом.

— На рыбу такую, ядовитую. Не знаешь разве?

— Я не здешний...

— А... Ну, лежи. Ты не сильно наступил, это ничего.

Гай опять упал на спину. Ладони девочки снова прошлись по ноге, убирая еще один слой боли. И Гай, который всегда смертельно боялся щекотки, сейчас лишь благодарно улыбнулся.

Девочка опять сказала, глядя на свои руки:

— Ты не сильно наступил... У дракончика в плавнике такой шип ядовитый. Если глубоко воткнется, тогда всякое бывает. Даже больница... А у тебя поболит и пройдет...

Болело уже совсем обыкновенно. Гай сел. Девочка подняла лицо. Оно было загорелое. Нос вздернутый и веселый, глаза серые и серьезные. Она смотрела сквозь длинные пряди волос. Потом, кажется, смутилась. Опять взялась за его ногу. И маленькие решительные ладони приказали боли стать еще мягче и глуше.

Гай мигнул мокрыми ресницами и спросил вполне серьезно:

— Ты колдунья?

Она сказала без улыбки:

— Я внучка колдуна. Он вон там... — и кивнула на море.

Метрах в двухстах от берега стояли вежи рыбацких сетей. Маячило несколько лодок. Стрекотал мотобот.

— Значит, твой дедушка — рыбак?

— Да, он в бригаде. Ставриду ловят... Был механик на траулере, а как на пенсии оказался, пошел в артель. Чего, говорит,

дома сидеть. В море, говорит, и помру... — Девочка вздохнула и поправила волосы.

— Ты же сказала, что он колдун, — слабо улыбнулся Гай. — Колдуны не умирают.

— Так это он сам говорит... Но он еще крепкий.

— А почему колдун?

— Потому что все про море знает. Про ветры, про рыб... И меня маленько научил разбираться.

— Ничего себе «маленько», — опять улыбнулся Гай. — Нога уже почти не болит... То есть болит, но так... по-человечески.

— И еще поболит. Но не сильно. А завтра совсем пройдет... Если будет больно ходить, ты не бойся, все равно ступай. Дедушка говорит, это полезно... Ты далеко живешь?

— Ох, далеко, — огорчился Гай. — На ГРЭС.

— У-у...

— А ты здесь?

— Нет, я в городе... Я дедушке поесть приносила, а потом он попросил за папиросами сбежать.

— Разве колдуны курят? — опять улыбнулся Гай.

— Да. «Беломор»... А еще велел робу домой отнести, зашить. — Девочка шевельнула на песке брезентовую куртку.

— Тебе, наверно, домой надо, — виновато сказал Гай. — А ты со мной возишься...

— Я не тороплюсь. Когда сможешь, вместе пойдем. Я тебя до Графской пристани провожу.

— Да ну... — с неуверенной бодростью отозвался Гай. — Я сам дойду. — Он поднялся. — Вот, уже можно ступать. Ой...

— Нам все равно по пути до Графской, — сказала девочка.

— Тогда ладно.

Гай не ощущал скованности, какая бывала раньше при знакомстве с девчонками. С этой девочкой ему было хорошо и спокойно. Ну, почти как с Галкой. Только сестра старше Гая на шесть лет, а эта — ровесница. Одного с Гаем роста, тоненькая, в бело-синем выгоревшем платьице, с облупленными мальчишечьими коленками и в старых полукедах... Она заметила скользкий взгляд Гая, а Гай понял это и смутился. Но смущение было легкое, даже приятное.

И Гай опустил глаза, поспеел и спросил:

— Тебя как зовут?

— Ася.

Гай вздохнул удивленно — так подходило ей имя. Почему-то представился тростник с белым волокном головок и спокойный посвист ветра в стеблях.

— А меня... Мишка... — Он поморщился от досады на себя и сказал решительно: — А чаще меня зовут Гай. Из-за фамилии.

Ася кивнула без улыбки:

— Гай — это хорошо. Похоже на Гайдара, да?

— Ну... не знаю... — Сравнить себя с Гайдаром было бы большим нахальством. Но стало все-таки приятно.

— Тебе у Гайдара какая книжка больше нравится? — спросила Ася.

— Не знаю... — Гай никогда об этом не думал и теперь старался сообразить. — Может быть, «Школа»...

— А мне «Судьба барабанщика»... Книжка и кино. Ты смотри этот фильм?

Гай кивнул. Ася наконец улыбнулась. Неожиданно.

— Я когда в первом классе была, думала, что байдарка называется «гайдарка». Лодка для пионерских походов. Пела: «На гайдарке, на гайдарке по реке наш путь далек...»

Гай обрадованно сказал:

— А я раньше думал, что «пирог» от слова «пирог». Потому что бабушка такие острые пирожки стряпает, как лодочки... Смотри, Ася, я уже ступаю.

Они ехали в город в полупустой «пятерке», что ходит от Херсонеса до площади Нахимова. Автобус неторопливо подвигал на подъемах. Гай держал на коленях твердую брезентовую куртку. От нее пахло рыбой и табаком.

— Ты откуда приехал? — спросила Ася.

— Из Среднекамска. Слышала?

— Конечно, слышала... Далеко-то как.

— Всего три часа на самолете.

— Я на самолете только в Москву летала. Один раз... У меня там тетя. А у тебя здесь кто?

— У меня?.. Мы так приехали, ни к кому. С Толиком...

— С братом?

— Ага... То есть это мой дядя, но он все равно что брат. Я его раньше «дядя Толя» звал, а потом он сказал: «Какой я тебе «дядя»! Не старь меня перед девушками».

— Значит, молодой еще...

— Он с виду будто студент. А вообще-то уже тридцать лет... Ты думаешь, он отдохнуть сюда приехал? Он подводный аппарат испытывает. Такого робота-разведчика... Ася, этот аппарат может и рыбные косяки в море искать! Толик рассказывал...

— Рассказывал? — слегка удивилась Ася. — Значит, это не секретный аппарат?

— Ну... не знаю. По-моему, нет. С чего ты взяла?

— Я «Судьбу барабанщика» вспомнила. Там мальчик Славка отца-инженера спросил про новое изобретение. Отец стал объяснять, а Славка как закричит: «Ты же мне про сепаратор рассказываешь, который у бабки в деревне!» Помнишь?

— Ага... — соврал Гай. — Но Толик не про сепаратор... Он сперва сказал: «Представь, что океаны — это космос. Так вот, наша штука — это то же, что спутник в космосе».

Ася осторожно возразила:

— Спутники в космосе всего десять лет летают. А в морях подводные лодки уже давным-давно. И аппараты всякие...

— Я Толику так же сказал. А он говорит: «У нас совсем другое дело. Системы не те, и задачи другие». И объяснял про всякую автоматику. Я тогда вроде бы все понял, а сейчас в голове перепуталось... У них теперь в лаборатории последняя подготовка, Толик там с утра до вечера. А я, видишь, гуляю... — Гай виновато посопел: — На дракончиков наступаю... — Нога ныла ровной несильной болью.

Ася сказала с шутливой назидательностью:

— Маленьких мальчиков нельзя оставлять без присмотра.

— Ага, — подыграл ей Гай. — Но выхода не было. Отец с зимы в Алжире, там химический завод строят, он специалист. Маму к себе в отпуск вызвал, а про меня сказали, что нельзя. Галка, это сестра моя, в студенческом отряде, они Ташкент восстанавливают. А бабушке наконец-то путевку дали в Ессентуки... А с бабушкой ни мама, ни бабушка меня ни за что на свете оставить не решились бы. Говорят: все равно что двух младенцев со спичками дома запереть... А тут как раз Толик приехал. Он вообще-то в Москве живет...

— Повезло тебе, да?

— Ага... Мама говорит: «Толик, спаси, а?» Он спрашивает: «А ты не боишься этого пирата со мной отпускать?» Это меня то есть... А она: «Боюсь, конечно. Но все-таки ты серьезный человек, кандидат наук...» Ну вот, приехали, а здесь все не так, как думали: Толик по уши в работе, а я шастаю... Мне-то даже лучше, только он переживает...

— Тебе у нас нравится?

— Еще бы, — вздохнул Гай. — Первые дни я как-то ошалел. От моря, от всего... А сейчас будто давным-давно здесь живу... У меня дедушка почти севастополец.

Это вырвалось у Гая неожиданно, хвастаться дедом он не собирался, просто захотелось показать, что он, Гай, здесь не совсем чужой.

— Он что, раньше в этих местах жил? — спросила Ася.

— Он не жил... Он здесь воевал и погиб... Это не тот дед, который в Среднекамске, а мамин отец. И Толика...

Автобус потряхивало. Ася сбоку молча смотрела на Гая. Волосы ее качались над плечами. Гай сказал тихо:

— Он в этих местах погиб, у Херсонеса. От мины...

Дед — политрук Нечаев — всегда казался Гаю похожим на командира с известного фотоснимка «Комбат». Как он с писто-

летом поднимается из окопа и зовет бойцов в атаку. Но сейчас дед представился другим. Лежащим в земле. Вроде каменного великана, вросшего в глубинные толщи херсонесских берегов, спаявшегося с глыбами древней разрушенной цитадели. И с бетонными блоками дотов и орудийных гнезд. Он — сама эта земля. Громадный, просто километровый, лежит он, сложив на груди каменные руки... И... сверху через черную нору скатывается ему на руку тяжелая «лимонка».

«Что это?» — спрашивает дед, не поднимая бетонных век.

«Это... так. Дедушка, это случайно. Я потом уберу...»

«Уберешь? Куда? И зачем?..»

«Ну... это вроде трофея...»

«А! Значит, ты добыл его в бою?..»

Что за подлая штука — непрошенные мысли! Гай с досадой трахнул пяткой о стойку сиденья. И выгнулся, охнул: ядовитая игла прошла от ступни до колена.

— Что? — испугалась Ася. — Опять?

— Да нет, я сам, нечаянно... — Боль милостиво отступила. Гай вытер лоб.

— Все-таки ты молодец, — сказала Ася. — Другие знаешь как орут от дракончика. А ты и не пикнул. Там, на берегу...

— Думаешь, почему не пикнул? — усмехнулся Гай. — Дух перехватило. А то знаешь как орал бы...

— Другие все равно орут, хоть и перехватывают...

Они сошли на площади Нахимова.

— Ну, как? Ступаешь?

— Нормально, — прихрамывая, сказал Гай. — Плохо только, что рано приехали. Мы с Толиком должны в полвосьмого на причале встретиться, а еще шесть.

— Ничего, подождем...

Не торопясь, дошагали они до пристани. Ниже колоннады и лестницы, на дощатом широком настиле, толпились экскурсанты, и морской патруль вежливо требовал у растерянного дядьки вынуть из аппарата пленку: незачем снимать на рейде то, что не положено, город военный. Синели в бухтах боевые корабли, сновали катера. От них разбегались волны и звонко хлюпали под досками.

Рядом с начищенными медными кнехтами сидели мальчишки-краболовы. Спускали на шнурах круглые сетки с наживкой и ждали, когда простодушные крабы сами заберутся в ловушку.

— Не люблю, когда крабов ловят, — сказала Ася. — Жалко их...

Гай кивнул:

— Если рыбу, это понятно. А их-то зачем?

— Их тоже едят... А еще чучела делают или сувениры —

клешни на цепочке. Все равно жалко. Они пользу приносят, дно очищают... Гай, ты был в нашем аквариуме?

— Нет... В Панораме был, в Музее флота, на Малаховом кургане. А в аквариум пошли с Толиком, да там очередища...

— А хочешь?

— Сейчас? Билеты не купим.

— Если шагать можешь, пойдем...

Очередь была в самом деле большущая. И у кассы, и у входа. Но Ася решительно подвела Гая к дверям и что-то шепнула конролерше — дородной загорелой тете. Та заулыбалась и кивнула.

Внутри обняла Гая благостная прохлада с резкими морскими запахами. В застекленных шкафах он увидел чучела рыб, кораллы, раковины. Со стен скалились чучела акул. Гай вздохнул и стал оглядываться. Но Ася сказала:

— Да здесь все мертвое. Пойдем...

В следующем зале морской запах был еще сильнее. В круглом бассейне ходили осетры и похожие на куски черной клеенки морские коты. Из «клеенки» торчали острые, как шипы, хвосты, и у Гая опять сильно кольнуло ступню...

Стены состояли из громадных аквариумов, просвеченных солнцем. Ася и Гай медленно пошли вдоль стекол. За стеклами проплывали стаи серебряных и разноцветных рыб — узких и круглых, больших и мелких; юрких, как пацаны, и солидных, как пенсионеры. Пронесли морские ласточки, важно глянул на Гая пестрый морской петух... Шелестели среди водорослей пузырьчатые струйки воздуха, ходили по камням замшелые старые крабы.

— А вот дракончик, — сказала Ася.

Гай увидел невзрачную рыбку с коротким, словно подрубленным хвостом.

— Да ну его, — поморщился он.

— Все-таки запомни. Знать-то надо... Ой, Гай, иди сюда, смотри.

Сверху в пустой, без рыб, аквариум тихо вплыла исполинская ластоногая черепаха. Больше метра в поперечнике.

— Средиземноморская, — прошептала Ася.

Черепаха глянула на Гая печальными, совершенно человеческими глазами. Ему даже неловко сделалось: он на воле, а она здесь. Наверно, грустит по Средиземному морю.

— Я читал, что такие черепахи очень умные.

— Конечно, умные... Этой больше ста лет... Знаешь, как такую породу зовут? Каретта.

— Карета?

— Да, только с двумя «т»... На ней и правда можно кататься,

как на карете, на облучке. Я видела в кино, как ребята катаются. Эти черепахи добрые, они даже моряков спасают, если корабль потонет...

Гай сказал со вздохом:

— Ты меня сегодня тоже спасла, как каретта...

Ася рассмеялась так звонко, что на нее оглянулись, а черепаха обиженно отвернулась.

— Каретта «Скорой помощи», — сказала Ася.

— Ага, — засмеялся и Гай.

В половине восьмого Толика на пристани не оказалось. Это не встревожило Гая. Утром Толик сказал: «Если меня не будет, значит, я уехал раньше. Добирайся один, а я за это время ужин приготовлю... В четверть девятого дома будь как штык».

Что же, Гай так и будет, успеет. Вот и катер подошел...

При прощании с Асей возникла грустная заминка.

— До свиданья, — сказала Ася.

— Пока... — вздохнул Гай. Что еще сказать? Он набрался смелости и спросил: — А завтра дедушке обед понесешь?

— Не знаю... Мне завтра с утра на рынок надо...

— Мы утром с Толиком тоже на рынок заходим иногда, — неловко сказал Гай.

— Вы каким катером приезжаете?

Гай повеселел:

— Обычно в восемь сорок пять.

Ася укладывала в сумку дедушкину куртку. Не разгибаясь, быстро глянула на Гая. Сказала серьезно:

— Я запомню.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ «ЛЕТАЮЩИХ «П»

Катера ходили на Инкерман по-разному. Одни резво бежали сразу до мыса Голландия, где стоит большущее здание морского училища. Другие не спеша чертили бухту зигзагами — на Северную сторону, потом на Аполлоновку, затем опять на Северную...

«Румб» оказался таким вот неторопливым. Гай сидел на корме, на стопке твердых спасательных нагрудников, и нетерпеливо поколачивал по ним ногой. Правой, конечно. Левая все еще ныла.

Солнце уже потускнело и сваливалось к горизонту. Загорались перистые облака. Небо стало желтовато-серым, вода — перламутровой, по ней бежали золотистые зигзаги. От этих зигзагов на черных корпусках и белых рубках теплоходов, что всюду стояли на якорях, змеились длинные отсветы. На палубе синего крейсера выстраивалась команда.

Все это было интересно и красиво, но Гая уже всерьез грызла тревога, что он опоздает. И тогда...

Хотя что будет тогда? Толик его сроду не ругал. Они оба уважали равноправие. Конечно, Толик мог что-нибудь не разрешить (например, лезть в старую минную галерею у Четвертого бастиона или нырять с камней в незнакомом месте за Хрустальным мысом), но это было не обидно. Толик всегда объяснял, почему нельзя. Слегка насмешливо, но терпеливо. Лишь один раз рассердился. Выдал Гаю напрямик:

— Ты говоришь «хочется». Мало ли кому что хочется! Мне сегодня, например, хотелось засесть с приятелями на весь вечер в «Волне». Там знаешь какие чебуреки! А я с вашим сиятельством гуляю, достопримечательности показываю.

Да, это было один раз, в самом начале. С той поры Гай вел себя умнее. Понял, какой груз взвалил на себя молодой дядюшка, согласившись взять с собой беспокойного племянника.

Было даже удивительно, что так легко согласился.

Конечно, они с Толиком и раньше неплохо знали друг друга. Толик приезжал в Среднекамск часто. А в прошлом году Гай с мамой жил у него целый месяц в Москве. Но именно поэтому Толик не мог не знать, что племянничек его (или брат, если хотите) не из породы тихих мальчиков.

Гай вспомнил разговор Толика и мамы незадолго до отъезда. Он слышал его сквозь приоткрытую дверь. Толик смеялся:

— Да ладно, Варь, управлюсь. Надо привыкать. Глядишь, когда-нибудь своих заведу.

Мама, кажется, сказала, что пора бы. А Толик вздохнул:

— Все на свете повторяется. Опять старшая сестра, которой некогда, опять мама, которой надо ехать, а мальчишку некуда девать... Помнишь, это было в сорок восьмом году, в Новотуринске? Меня тогда в лагерь спланили...

— Сейчас путевку не достать, — сказала мама. — Да и попробуй уговорить этого паршивца поехать в лагерь. Для него режим и дисциплина страшней всех казней... Ты тоже был обормот, но как-то рассудительнее.

— Всякое бывало, — усмехнулся Толик. — А Мишка-то чем плох? Он же добрый, только поскакать любит... Знаешь, есть такое слово, не очень современное, но для Мишки подходящее: «постреленок».

Мама, помолчав, сказала:

— Вполне современное. И подходящее, конечно. Хотя, видишь ли, Толик, он постреленок, но... не так все это просто. Вот идем мы, например, по улице, он пустую консервную банку гонит по асфальту, гремит. «Перестань сейчас же», — говорю. «Ага, мама...» И еще пуше. И вдруг — тихо. Смотрю — стоит. «Что с тобой?» А он банку ногой чуть-чуть пошевеливает, и от нее —

зайчик на заборе. От золотистого доньшка. «Смотри, — говорит, — будто невидимка мне желтой ладошкой машет...» И потом целых полчаса ходил тихий...

Гай не помнил случая с банкой. Но, с другой стороны, что особенного? Сказки и в самом деле иногда придумываются на ходу. Так придумался однажды и остров.

...На острове, у самых стен старой крепости, — желтые широкие пляжи. На песке лениво и безбоязненно греются каретты. Смотрят карими понимающими глазами на загорелых пацанов, когда те прибегают на пляж из соседней школы. На острове круглый год — лето. Мальчишки не в серой суконной форме, а в разноцветных рубашках, сшитых из шелковых сигнальных флагов, которые подарили им отцы — капитаны и смотрители маяков.

Ребята бросают на песок сумки и прыгают на добрых послушных черепах. Те берут их по песку и мелководью. Брызги и смех...

Но бывает, что мальчишки не тревожат каретт. Это если у тех вылупляются из зарытых в песок яиц детеныши — юркие твердые черепашата. «Пострелята». Они роют в песке норы, забираются на камни, с веселым стуком падают друг на друга, а потом вереницей бегут к морю...

Веселая черепашня ребятяна... Только... что-то немного не так. Слово тень пробежала по золотистым пескам. Может, оттого, что панцири черепаших пацанят напомнили Гаю половинки гранат-лимонок? Но при чем здесь это?

Гай сердито встал. Игла опять ощутимо кольнула ступню, но он не сел, подошел к борту. Грудью лег на планшир...

Если сравнивать совесть с фаянсовой чашкой, то она никогда не была у Гая как после бабушкиного мытья. Случались на ней пятнышки и крошки, похожие на прилипшие чайники. Были и трещинки — их не смоешь, сколько ни оттирай. Например, тот случай с Дуняевым или история с дедушкиными книгами. Или с сигаретами в четвертом классе... Ну да ладно. Трещинки эти иногда шипало, или почесывались они, как зарастающие царапины, вот и все. А теперь на дне белой чашки каталась черная дробина. И у дробины, если приглядеться, была форма рубчатой гранаты.

«Но я же не взял! Я ее до последнего дня, до самого отъезда трогать не буду, вот!.. Ну... может быть, я ее совсем не возьму! Пускай так и лежит, наплевать...»

Дробина перестала кататься. То ли исчезла совсем, то ли притаилась. Гай прислушался к себе, словно качнул чашку: не покажется ли железное зернышко снова?

Вроде бы не катается, но...

Но сразу забылось все. Гай поднял глаза и то, что он увидел, было чудесно и неправдоподобно. Почти как его остров.

Катер отошел от причала Голландии и развернулся левым бортом к Инкерману. И на фоне оранжевых, освещенных последними лучами обрывов перед Гаем возник парусник.

Парусов не было, но тем не менее любой мог понять, что это именно парусник. Корабль из книг о кругосветных путешествиях. Мачты его, пересеченные строгими горизонталями реев, и паутина тросов создавали волнующий рисунок, знакомый по картинкам из Станюковича и Жюль Верна. До сих пор Гай смутно чувствовал, что в здешней чудесной морской жизни чего-то все-таки не хватает, и теперь понял: не хватало вот такого корабля. И сейчас он возник — вздымал свои мачты над притихшими от зависти сухогрузами, танкерами и лесовозами.

Корабль стоял носом к морю. К плавучей бочке тянулись из клюзов провисшие швартовы. Белый корпус делался все ближе, Гай прочитал на борту черное название:

КРУЗЕНШТЕРН

Про такой парусник Гай и не слышал. Знал, что есть «Седов», «Товариш», немагнитная шхуна «Заря». Слышал, что в фильме «Алые паруса» недавно снималась трехмачтовая «Альфа». А оказывается, еще и вон какой есть на свете!

Гай ехидно сказал себе: «А воображал, будто в морских делах разбираешься...»

Катер шел недалеко от борта с крупным пунктиром иллюминаторов. Корпус «Крузенштерна» был громаден — не меньше, чем у лайнера «Россия», который Гай недавно видел у пассажирского причала рядом с Графской пристанью. А мачты вообще уходили в поднебесье.

Катер прошел. «Крузенштерн» стал удаляться, словно тихо скользил в сторону открытого моря. Теперь он четко чернел на красно-лимонном закате во всей красе своих мачт и снастей.

Гай вздохнул — со смесью радости, зависти и тоски.

— Что? Хорош? — услышал он мужской голос.

Рядом оказался пожилой моряк в мятой торгфлотовской фуражке и кофейной куртке с черными погончиками штурмана.

— Откуда такой? — выдохнул Гай.

— С Балтики. Рейс делает с курсантами.

— Счастливые, — сказал Гай.

— Это правильно, — согласился штурман. — Не каждому повезет, чтоб на паруснике. Да еще на четырехмачтовом барке... Знаешь, что такое барк?

— Ага. Я в судомодельном занимался...

Моряк искоса глянул на Гая:

— А сейчас? Значит, уже не занимаешься?

— Руководитель уволился.

— Бывает... — Штурман придвинулся к Гаю. — А я курсантом

на «Товарище» ходил. Не на нынешнем, а на довоенном. Очень он похож был на «Крузенштерна»... Ну, правда, этот из другого семейства. Слышал про «Летающих «П»?

— Не...

— Были такие... В Германии, у судовладельца Фридриха Лаэша. Все они назывались на букву П. В начале века много их было. Возили через океаны шерсть, руду, уголь...

— А «летающие», потому что быстрые?

— Именно.

— Клиперы?

— Нет. Большинство их построили уже после клиперов. Это были последние океанские парусники, стальные виндjamмеры — выжиматели ветра. Этот вот назывался «Падуя». Спустили его на воду сорок лет назад, даже раньше. В двадцать шестом, на верфи в Бремерхафене. А в сорок шестом году, когда мы с союзниками делили трофейный флот, «Падуя» перешла к нам. И стала «Крузенштерном»... Про такого капитана слышал?

Гай не то чтобы обиделся, но счел нужным сказать:

— Что я, совсем дремучий, что ли?

Моряк посмеялся. Гай объяснил:

— Я книжку «Водители фрегат» читал. Там про Крузенштерна и Лисянского целая повесть... А этот «Крузенштерн» быстрее клиперов ходит?

— Рекорды клиперов никакие большие парусники перекрыть не могли. Но виндjamмеры ходили почти так же, а груза брали гораздо больше. И обходили мыс Горн при любых ветрах. Их иногда так и звали — «капгорнеры».

«Летающие «П», «виндjamмеры», «капгорнеры» — это как из какой-то морской баллады. И рассказывает о них настоящий моряк, такой, что сам под парусами ходил! Это уже само по себе как приключение. Гай млея от ощущения небывалого подарка судьбы. Чтобы не угас разговор, он торопливо спросил:

— А много еще на свете «Летающих «П»?

— Да нет, дружок. Это последний.

— Жалко...

— Да... Десять лет назад погиб его брат «Памир», учебное судно Западной Германии. Опрокинулся во время урагана...

Гай вопросительно вскинул глаза.

— Говорят, капитан распорядился взять в трюмы сыпучий груз, — сказал моряк. — А переборки убрали, чтобы выгадать объем. Ну а при крене груз вроде бы сместился к борту... Но надо сказать, что в эту версию не все верят. Трудно представить, чтобы опытные моряки сделали такой просчет...

— А тогда... почему?

— Возможно, необычная, непредвиденно большая волна. Такие иногда возникают в океане, явление это еще не изучено...

— А люди спаслись?

— Всего семь человек.

Гай оглянулся на «Крузенштерн». Барк был уже далеко, но виделся четко. Стройный, гордый, он казался в то же время и печальным. Черный на закате... Может, в этот вечерний час он грустил о погибших братьях? Невесело быть последним...

Но вдруг на корме «Крузенштерна» белой звездочкой мигнул огонь. Яркий, неунывающий. Живем, мол...

«МЕСЯЦ ЗВОНКИЙ И РОГАТЫЙ...»

Все было не так просто, как думалось Гаю. Инженер-конструктор Анатолий Нечаев решил взять с собой племянника не сразу. Были всякие сомнения. Но понимал Толик, что сестре Варваре очень надо повидаться с мужем, который застрял на строительстве где-то в африканских песках. Бывает в жизни, когда человеку что-то очень надо. Иначе бы Варя и не решилась отпустить своего Мишку с братом за три тыщи верст от дома.

Позволить, чтобы Мишкина бабушка — и его, Толика, мама — отказалась от санатория, он тоже не мог. Мама много лет маялась с печенью, да и вообще здоровье было неважное. Возраст-то уже за шестьдесят...

«Вот видишь, никуда не денешься», — сказал себе Толик, чтобы убедить себя окончательно. Потому что с точки зрения здравого смысла человека это была явная авантюра: тащить с собой непоседливого мальчишку, когда едешь работать.

Но помимо всяких объективных причин для этой «авантюры» была еще одна причина — лично его, Толика.

Как многие взрослые люди, запоздавшие с устройством семейной жизни, он с глубоко спрятанной завистливой ласковостью смотрел на чужих детей. Особенно на мальчишек. Потому что в каждом мужчине живет мечта: чтобы у него был сын. Может быть, мечта эта не всегда и осознанная, дремлющая под пластами повседневных забот и жизненных сложностей, но она есть, она теплится и порой обжигает душу вспыхнувшим ревнивым огоньком — при виде растрепанной голосистой вольницы, гоняющей мяч на пустыре, или отчаянных велосипедистов, обогнавших тебя по поребрику тротуара (один на седле, другой на багажнике — ноги вразлет, зацепил, обормот, пыльным кедом по брючине), или при встрече с деловитым семилетним музыкантом, который несет по улице большущий, с себя ростом, футляр...

Сыновья — надежда, радость и гордость мужчин. Мечта о сыне — голос природы. И пока нет своего, смотришь на чужих пацанов с тайным вздохом нерастратченного отцовского чувства.

А Мишка-то не был чужим. Сын любимой сестры. И мудрено ли, что привязанность Толика к «белобрысому черкесу» была хотя и сдержанной, но прочной. Гораздо прочнее, чем можно было заметить со стороны. Правда, самому ему эта привязанность казалась не отцовской, а скорее как к младшему братишке. Но это, наверно, потому, что и себя-то инженер Нечаев не всегда ощущал взрослым.

В прошлом году, когда Варя с сыном гостила у брата, Толик с удовольствием возил Мишку по Москве, лазил с ним по крутым склонам Ленинских гор, по заросшим оврагам в Коломенском и купался на пляже в Химках. Мишка был непоседлив, неутомим, изредка капризничал, но, в общем-то, они жили душа в душу. И, видимо, поэтому Варя сейчас решилась без особых страхов отправить Мишку с Толиком.

Конечно, не предполагалось, что Гай будет болтаться один, пока Толик занят в лаборатории. Зимой Толик познакомился с молодым штурманом Васей Калюжным. Вася в то время только что списался с гидрографического судна «Шокальский» и поступил преподавателем в детскую морскую флотилию. Такой невыгодный для зарплаты и биографии шаг он сделал ради того, чтобы каждый день быть вместе с молодой супругой, ибо праздновал медовый месяц. У молодых были две комнаты в трехкомнатной квартире плюс кладовка-боковушка. Толик созвонился с Васей, и счастливый штурман охотно согласился пустить на месяц в боковушку Толика и Гаю. Мало того, они договорились, что, когда Толик будет занят, Гай сможет с пользой проводить время с ребятами во флотилии. А со стороны Васиной супруги ожидался кой-какой «женский присмотр» за Гаем.

Увы, все складывалось настолько удачно, что на самом деле и быть не могло. Пока Толик и Гай готовились к путешествию, пока добирались до Севастополя с трехдневной остановкой в Москве, у супругов Калюжных произошла стремительная, но не редкая в наши дни драма. Недовольная тем, что муж теперь не ходит в выгодные заграничные рейсы, Васина жена вывезла на грузовике вещи и уехала с ними к маме. Было неясно, куда она денет мебель и телевизор в тесном мамином домишке, но скоро выяснилось, что у «мамы» черные усы, погоны старшего лейтенанта и должность начальника вещевого склада.

Штурман Калюжный с горя тут же уволился из флотилии и ушел третьим помощником на траулере, промышлявшем у кавказских берегов. А Толику оставил ключ и записку:

«Анатолий!

Такова жизнь, счастье недолговечно. Комнаты в твоём распоряжении. С этой стервой, если придет выскрести последнее имущество, обходишь в соответствии с обстановкой, но лучше всего

гони в шею. Одежала, подушки и простыни — внутри дивана. Соседка — Агния Леонтьевна — покажет, где посуда, и сообщит подробности. Она (соседка) мрачна снаружи, но добра душой.

Привет тебе и племяннику, будь здоров. Не женись.

Базиль».

Толик беспомощно выругал несчастного Базиля и его супругу, выслушал о деталях супружеской драмы от Агнии Леонтьевны — высокой полной теткой с суровым лицом и печальным голосом — и задумался. Но думай не думай, а не отправлять же Мишку обратно. Так и стали жить. Самостоятельно.

Конечно, Толик за Гая тревожился. С неугомонным мальчишкой случиться может всякое: тут море, скалы, пещеры и все такое. Слышал Толик и рассказы, как ребята нет-нет, да и откопают что-нибудь взрывчатое... Но, с другой стороны, Гай поклялся в ненужные места не соваться и непонятные штуки в руки не брать. А Толик знал, что, если Гай обещает, верить можно... И в конце концов, живут же нормальной вольной жизнью здешние пацаны.

Кроме того, у Толика была в душе необъяснимая теплая уверенность, что этот город ни ему, ни Гаю никакой беды не принесет. С первого приезда сюда, еще в шестидесятом году, Толика не оставляло чувство, что здесь люди по-особому добрые, море — самое теплое, улицы — ласковее и красивее, чем в других городах. Может быть, потому, что за этот город дрался и погиб здесь отец? Погиб — и своей жизнью, своей кровью защитил от будущих бед сына и внука...

Севастополь был для Толика городом удач. Всякая работа шла здесь у него «со знаком плюс». И сейчас аппарат оказался готов к спуску раньше, чем можно было ожидать.

...Это, конечно, великая удача, что упрямый Тасманов согласился наконец на изменения в схеме. Толик мог бы, как руководитель проектной группы, настоять на этом и вопреки Тасманову, но тогда возникла бы в группе та напряженная разобщенность, которая вызывает суеверное предчувствие неудачи. А сейчас у всех на душе праздник и ощущение каникул. Праздник — потому что вся логика, все расчеты, вся интуиция говорят, что испытания пройдут удачно. А каникулы — потому что все готово и остается ждать, когда начальство даст капитану «Стрельца» добро на выход. Едва ли даст раньше десятого сентября — срока, назначенного в соответствии с графиком.

Теперь пара дней отладки, последнее «ныряние» в бассейне, и пойдут дни относительно свободные и беззаботные. Толик еще вчера пообещал Гаю, что теперь они чаще будут вдвоем.

— Потому что выкинули этот ваш блок ДЗД? — спросил Гай.
— Угу...

— А что это такое? Объяснил бы хоть...

— Дополнительная защита двигателя. Идея ненаглядного Гришеньки Тасманова. Нужна как рыбе зонтик... Нет, в самом деле! Это все равно что в подводной лодке укутывать моторы в полиэтилен, а экипаж одевать на всякий случай в водолазные скафандры...

Гай вспомнил этот разговор, когда от причала ГРЭС карабкался по тропинкам к верхним улицам поселка. Уже сгущались сумерки. Вода в бухте была еще светлая (и силуэт «Крузенштерна», видимый с высоты, четко рисовался на ней), но кусты, в которых петляли тропинки, окутались мохнатой темнотой. Гай продирался по ним наугад. Любая тропинка приведет к верхней улице. А там еще немного по лестнице, и дом — вот он.

Этот двухэтажный белый дом был уже привычный, почти свой. И одно было плохо: далеко от города. И высоко. Вечером приезжаешь с гудящими ногами, с пустым желудком, а тут еще восхождение...

Ну, ничего. Вот уже и улица, и двор в акациях... Почему-то света нет в окне на втором этаже. А! Толик, наверно, на кухне...

Гай поднялся по кряхтящим ступенькам и оказался в коридорчике, где пахло керосином и копченой рыбой. Дернул дверь своей комнаты. Заперта! Он сунулся на кухню:

— Агния Леонтьевна! А где Толик?

— Не приходил еще, Мишенька... Ты голодный небось? Хочешь, супчику налью?

— Не... спасибо...

С упавшим сердцем Гай шагнул назад. Постоял. Нашарил в кармане ключ, отпер дверь. Нащупал выключатель.

Голая лампочка загорелась ярко, но сиротливо. Почти пустая побеленная комната (диван, раскладушка, табурет вместо стола) впервые показала Гаю неудобную.

Гай потерянно сел на застеленный одеялом диван. Потом лег — затылком на валик...

День побежал в памяти, как запущенная с конца в начало кинолента: тропинки, катер, «Крузенштерн», каретка, Ася, дракончик, нора под камнем, купанье, пулеметчик... А перед этим — утро на причале. Толик:

— Если меня не будет, добирайся один. Значит, я уже дома, ужин готовлю...

Раньше Толик никогда не опаздывал. От Гая требовал точности, но и сам — если скажет, можно не сомневаться. А сейчас что? Беда какая-то?

Гай сказал себе, что никакой беды, конечно, нет. Толик застрял в лаборатории, споря с Тасмановым. Или просто опоздал к катеру на несколько минут. Приедет на следующем. Но это Гай умом понимал. А беспокойство никуда не девалось. Такое, что даже тоска брала.

Гай лежал, слушая, не простучат ли на улице шаги по ракушечной плитке. Иногда стучали, но не его, не Толика. Да и бессмысленно было ждать сейчас. Катера ходят через сорок минут.

«А если и тогда его не будет?» — заранее ужаснулся Гай.

Так или иначе, эти тоскливые минуты надо было пережить. Гай велел себе не раскисать и потянулся рукой назад, за изголовье. Там лежала на полу стопа книжек и журналов.

Под руку попало несколько «Огоньков», прошлогодние, за разные месяцы. Гай полистал... Повесть о шпионах (без начала, без конца — неинтересно). Мягкая посадка автоматической станции на Луну. Встреча Л. И. Брежнева с Иосипом Броз Тито... Рассказ о ташкентском землетрясении...

Как там, в Ташкенте, Галка?

И как дела дома?

Мама должна в эти дни уже вернуться...

Гай зажмурился и представил свой дом на Старореченской улице. Родной, привычный, с запахом вымытых половиц, с поскрипыванием тяжелых дверей. Будто прошелся по всем комнатам, полным книг и позванивания старых, еще прабабушкиных люстр... Но легче от этого не стало. Наоборот, почувствовал Гай, как далеко он от дома и какой он одинокий. И какой усталый до чертиков и голодный. И нога, оказывается, все еще болит...

И за что на него все это свалилось?

А может, есть за что? Может, так ему и надо? Судьба?... Однако Гай прогнал эту мысль. В конце концов, если он заслужил наказание, то мало, что ли, дракончика?.. И вообще это чушь. Никакой судьбы не бывает.

«А там, когда граната закатилась, говорил: судьба...»

«Ну, закатилась, и черт с ней. Я про нее уже и не думаю...»

Гай сбросил на пол журналы и снова пошарил за изголовьем. Под руку попала толстая книга в мягкой обложке. Оказалось — «Морской астрономический ежегодник» на 1965 год. Гай обиженно вздохнул и все же открыл книгу. На середине.

Цифры, цифры. Скуднейшие столбики чисел. Из слов — только названия месяцев, дней недели и небесных тел. Да еще какая-то «точка Овна»... Рядом с именами планет — особые значки. Потому что для каждой планеты астрономы придумали эмблему. Но и эти эмблемы были сухими, как математические знаки.

Лишь один значок — у Луны — нарушал неумолимую строгость. В страну сплошных цифр забрела еле заметная сказка. Это был крошечный полумесяц с глазом, носом и улыбающимся

ртом. Вроде тех картонажных серебряных месяцев, что вешают на елки.

Гай вспомнил запах елки, который смешивается с запахом печи, истопленной березовыми дровами, лиловый вечер за розными стеклами, позванивание шариков, ощущение спокойного праздника и уюта в старом, но крепком доме, где ничего плохого не может случиться, потому что каждому здесь хорошо и вся семья вместе... И маленький месяц подмигнул Гаю. Дружески так подмигнул, как прибежавший с улицы Юрка...

Гаю стало капельку легче. Однако тревога не уходила, притаилась рядышком. Гай сквозь дремоту продолжал слушать шаги на улице... И вздрогнул, испуганно сел: за стенкой, у Агнии Леонтьевны, пискнуло радио — девять часов.

Да что же это такое? Куда Толик провалился?

Может, пойти на причал, подождать там? Все же не так одиноко... Но при мысли о крутых тропинках беспомощно заболело все тело... Или позвонить с ближнего автомата в лабораторию? Телефонистки на заводском коммутаторе не очень-то охотно соединяют, но можно попробовать... Двушку надо...

Гай привстал, шаря по карманам... и внизу хлопнула дверь.

И шаги на ступенях!

И веселый голос его:

— Добрый вечер, Агния Леонтьевна! А этот пират уже дома?

Гай бухнулся навзничь и сделал вид, что внимательно читает «Ежегодник».

— Привет, Майк!

Он никогда не называл его Гаем. Говорил «Мишка», просто «Миш», а чаще полушутливо: «Майкл», «Мишель», «Майк»...

— Привет, — гробовым голосом сказал Гай.

— А чего валяешься? Меланхолия?

Он еще спрашивает!

Гай перевернул страницу. Толик постоял посреди комнаты. Проворчал, явно пряча за недовольством виноватость:

— Не ужинал, конечно... Мог бы и стготовить что-нибудь. Яичницу соорудить — дело нехитрое. Не маленький...

Это было уже слишком.

— Я приготовил бы яичницу, — стеклянным голосом сказал Гай из-за книги. — Если бы ты не провалился куда-то!

— Ох ты, господи! — Толик сел на табурет. — Мишель! Ну что такого случилось?

— Сам обещал, а сам... Если обещал, надо по-честному, а не врать... — Гай поперхнулся. Во-первых, ему что-то шепнуло, что про честность сегодня особенно-то не надо. Во-вторых, он прилагал старания, чтобы не разреветься.

— Ну, опоздал на катер. Обстоятельства всякие... Бывает же! — сказал Толик.

Гай старательно перевернул лист.

— Миш...

— Сам только и знаешь: «Я за тебя беспокоюсь, я за тебя волнуюсь...» — выдохнул Гай. — Думаешь, ты один умеешь беспокоиться?

— Ну, всего-то несчастных сорок минут...

— Почти час! А если бы я на столько опоздал?

— Ладно, — вздохнул Толик. — Ты уж меня прости...

А он и так простил! Сразу же! Внутри у Гая булькало ликование, что все в порядке и вот он, Толик! Прямо хоть на шею ему кидайся! Но Гай не кидался и даже не смотрел. Словно рядом с ним уселся на диван другой мальчишка — с упрямой обидой и зажатыми слезами.

— Хлеба-то мы не купили, — деловито размышлял вслух Толик. — Ладно, зайдем у доброй тетюшки Агаши. И что-нибудь наскребем в холодильнике...

Гай безмолвствовал. Толик шагнул к нему:

— Что читаешь? — Глянул на обложку. — Батюшки, да что ты здесь нашел?

Гай слегка потеснил с дивана своего насуспенного двойника. Хотя и сухогато, но ответил:

— Нашел...

— Что?

— Вот... — Он показал на месяц. — Кругом математика, а он как с елки...

— А ведь правда! — Толик нагнулся, разглядывая месяц-малютку. И вдруг сказал доверительно (видимо, подлизываясь): — А он для меня старый знакомый. Тоже с елкой это связано... Я про него стихи сочинил, когда был такой, как ты.

— Ну? — с мурой требовательностью сказал Гай.

— Что?

— Какие стихи-то?

Толик смущенно покряхтел.

— Такие вот...

Месяц звонкий и рогатый
С неба звезды сгреб лопатой.
Новый год, Новый год,
Нынче все наоборот...

«Наоборот» — это потому, что перед Новым годом всякие чудеса случаются... Ну как?

— Ничего, — сказал Гай. — Только похоже на другое:

Рыжий, рыжий, конопатый,
Убил дедушку лопатой...

Толик захохотал, схватил Гая за плечи.

— Ну, критик!.. За такую непочтительность к талантливому дядюшке — наряд на кухню!.. Пошли готовить глазунью.

Но Гай выскользнул из его ладоней. Пальцами притянул к носу рукав Толика.

— Та-ак... «Красная Москва», да? У нашей Галки такие же духи.

— Ну... и что? Не выдумывай давай.

— У меня, между прочим, нос как у охотничьей собаки...

— А у нас в лаборатории, между прочим, такими духами старушка машинистка Наталья Петровна себя опрыскивает. А я рядом с ней сидел, письмом диктовал гидрографам...

— А помада на щеке у тебя тоже от нее?

Толик хлопнул себя рядом с ухом, словно убивал комара.

— Я пошутил, — деревянным голосом сообщил Гай. — Нету помады.

— Знаешь ли, дорогой... — Толик встал. — Я не думал, что ты такой провокатор.

— Еще и обзывается, — буркнул Гай, чувствуя, что перегнул.

Толик стал перебирать на подоконнике тарелки. Гай сказал ему в спину:

— А стихи сочинять — это хорошо. Вот когда если гуляешь с кем-нибудь по парку или вообще... Девушкам нравится, когда им стихи читают.

— Ты-то откуда это знаешь? — осведомился Толик.

— Из книжек.

— Я стихи не сочиняю... Я в жизни всего два стихотворения написал. Про месяц да еще про Крузенштерна...

— Про кого? — Гай спустил с дивана ноги.

— Про Крузенштерна. Тоже в давнем розовом детстве... Я бы и не вспомнил, если бы не ты...

— А я-то при чем? Ты про Крузенштерна вспомнил, потому что корабль увидал...

— Какой еще корабль?

— Ой, будто ты не видел! Четырехмачтовый барк «Крузенштерн» стоит на бочке у Голландии. Такая громадина!

— Честное слово, не видел! Я внутри, в салоне, ехал, задумался... Возьми в холодильнике помидоры, помой на кухне.

Гай взял и помыл. Вернулся и сообщил:

— Я сегодня, между прочим, тоже познакомился с девч... с девочкой одной. — Он хотел сказать «с девчонкой», потому что термин «девочка» среди среднекамских друзей-приятелей счи-

тался излишне благопристойным и сентиментальным. Но слово «девчонка» Асе совершенно не подходило.

— Вот видишь! — обрадовался Толик. — А я, по-твоему, не имею права на личную жизнь?

— Имеешь, имеешь, — хмыкнул Гай. — Только не надо опаздывать. И не надо голову терять. А то даже океанский парусник на рейде не заметил! Куда уж дальше...

Толик разрезал на сковороде помидоры, вытер полотенцем нож и миролюбиво попросил:

— Чадо мое, хватит меня пилить. Лучше расскажи, что делал днем.

— Я сегодня на дракончика наступил. Наверно, помер бы, если бы не та... девочка. Она меня спасла.

Толик со звяканьем бросил нож:

— На кого наступил? Где?.. Какой ногой?

Гай дурашливо дрыгнул незашнурованным кедом, сбросил его. Качнул ступней (уже не болела). Толик стремительно присел, взял его за шиколотку.

— А-а-а! — Гай отлетел, спиной шмякнулся на диван.

— Что?! Так болит?!

— Да не болит! Я же щекотки боюсь!

— Дубина! — в сердцах сказал Толик.

— Тебя бы так за ногу...

— Когда девочка бралась, ты так же орал?

— Она лечила, а ты хватаешь.

— Сам хуже девочки. Цаца капризная, — буркнул Толик.

Рядом с Гаем опять уселся упрямый и обиженный мальчишка. Даже не рядом, а внутри Гая. Гай взял «Ежегодник».

Толик один поджарил яичницу и сказал из кухни:

— Иди лопать.

Гай лежал.

Толик подошел:

— Мишка, ты чего?

А чего он? Гай и сам не знал. В глазах и в горле словно жгучая соль. Он быстро лег на бок — лицом к диванной спинке.

— Ну, Майк, — осторожно сказал Толик. — Миш...

Гай подтянул к животу колени и прерывисто сопел. Толик сел рядом. Спутанные волосы Гая пахли водорослями. А сам он был пыльный, исцарапанный и несчастный.

Коротко вздохнув от виноватости и жалости, от резкого толчка нежности, Толик сказал:

— Гай...

Тот полежал тихо секунды три, рывком обернулся, метнулся к Толику. Облапил его, прижался лицом к рубашке.

Толик молча гладил его вихры...

Через полминуты Гай прошептал:

— А стихи прочитаешь?

— Какие?

— Про Крузенштерна.

— Может, сперва поедим все-таки?

— Ага...

— Иди умойся. Дитя портовых улиц...

ПРОПАВШАЯ РУКОПИСЬ

Они молча поужинали. Толик отскреб сковородку, а Гай вымыл тарелки. Из кухни в комнату Гай вернулся первым. Пришел на диван. Пришел и Толик, стал возиться в углу над чемоданом: выбирал себе чистую рубашку.

Гай смотрел на Толика и думал, что он совсем не похож на ученого. Похож на Галкиных однокурсников: по-мальчишечьи курносый, с короткой ершистой прической. Щуплый такой...

Щуплый-то щуплый, а дубовый стул крутит за переднюю ножку одной рукой. А если они с Гаем борются — кто чью ладонь прижмет к столу, — Гай давит на левую руку Толика двумя да еще пюзом помогает, и никакого проку: Толик шевельнет рукой — и Гай весь припечатан к столешнице. А поглядишь — у Толика и мускулов-то вроде бы нет...

Мама сказала перед отъездом: «Толька, от тебя одни глаза остались. Вы там постарайтесь отдохнуть, ешьте как следует, фрукты покупайте...» — «Обязательно», — сказал Толик.

Первые вечера он приходил из лаборатории просто черный. Что-то не ладилось с этим ДЗД, какие-то неясности возникали в плане испытаний.

— Ты же говорил, что все отлажено, все в порядке, — сказал однажды Гай.

— Это у нас отлажено. А там... — Толик возвел глаза к потолку.

— В Москве? — понял Гай.

— Не все зависит от Москвы...

— А от кого?

Толик посмотрел на него без улыбки.

— От Байконура.

Гай вытаращил глаза.

— Да? Ай, да ты смеешься...

— Отнюдь... — вздохнул Толик.

— А... при чем тут ваши аппараты?

— Все связано. Это раньше мы были сами по себе, а теперь комплексная программа исследований.

— Секретная? — прошептал Гай.

— Не секретная... Но и не такая, чтобы идти на площадь,

вставить у памятника Нахимову и громко вещать всем туристам...

— Я и не собираюсь, — обиделся Гай.

— Вот и молодец, — серьезно сказал Толик.

...В последние три дня он повеселел: дела наладились. Но все равно забот полно — руководитель конструкторско-исследовательской группы, или как там еще... В общем, командир, хотя и моложе всех. «Ох, несладко ему приходится. А тут еще я...» — не первый уже раз подумал Гай. И вздохнул:

— Ладно уж, не читай.

— Что «не читай»?

— Стихи. Которые обещал...

Толик отложил рубаху, сел рядом с Гаем.

— Я ведь понимаю, — сказал Гай. — Ты со мной и так замутился.

Толик притянул его к себе. Гай потерялся облупленным ухом о майку Толика.

— Ладно уж, слушай, — сказал Толик. — Это было, когда мы с мамой жили в Новотуринске. Я тогда такой, как ты, был... Нет, поменьше, в четвертом классе... Под Новый год мама подарила мне книжку «Русские кругосветные мореплаватели». Там как раз все с Крузенштерна начинается. Я, конечно, зачитался... И вот в те же дни познакомился я с одним человеком. По фамилии Курганов... Пожилой он был, одинокий и, видимо, неудачливый в жизни. Но было у него дело, которое помогало ему жить: он писал повесть про Крузенштерна... Помню, он в новогоднюю ночь мне отрывки из этой повести читал; так получилось, что мы вместе сорок восьмой год встречали... Мы с ним, с Арсением Викторовичем, даже подружились, хотя я мальчишка был, а ему пятьдесят стукнуло... Вот как раз к его дню рождения я стихи и написал. В подарок. Неумелые стихи, конечно...

Толик повозился, покашлял и с таким выражением, что, мол, куда деваться-то, начал:

Когда Земля еще вся тайнами дышала
И было много неизведанной земли,
Два русских корабля вокруг земного шара
Сквозь бури и шторма на поиски пошли.

Далеких островов вдали вздымались скалы,
И тайною была морская глубина,
И Крузенштерн стоял отважно у штурвала,
И билась о корабль могучая волна...

И буду я всегда завидовать, наверно,
Тем морякам, которые ушли в далекий путь.
На карте начерчу дорогу Крузенштерна
И, может, поплыву по ней когда-нибудь...

— А говорил «неумелые», — сказал Гай. — Нормальные стихи, как у поэта. Хорошие... А говорил «не помню»...

— Начал читать и вспомнил... А вот еще:

Теперь Земля уже почти что вся открыта,
Остались тайны только в синей глубине.
Они — как старый клад, на острове зарытый,
Но, может быть, одна откроется и мне.

Но это я уже потом сочинил, эти строчки в эпиграф не вошли.

— Куда не вошли?

— В эпиграф... Ну, это такое как бы вступление маленькое к книге или рассказу...

— Да знаю я, что такое эпиграф! А к какой книге-то?!

— Я разве не сказал? Курганов стихи эти взял для своей повести «Острова в океане».

— И, значит, их в ней напечатали?!

— Да нет, ничего не напечатали... Курганов неожиданно умер, а рукопись пропала. У него был всего один экземпляр, после смерти его не нашли... У меня только эпилог остался. Тут так получилось: мама перепечатывала Курганову рукопись, а я копиру раскладывал и на последних страницах перепутал, не той стороной положил. Мама этого не заметила, а я начал потом разбирать готовые экземпляры и ахнул: первый-то отпечатан, и не только с лицевой стороны, но и сзади, по-зеркальному, второй — одна «зеркалка», а третий лист вовсе пустой... Ну и с перепугу сел перепечатывать сам. Умел немного... Напечатал заново, а те листы, с первой отпечаткой, сунул в подставку машинки, там вроде тайника было... А потом и эти страницы пропали вместе с машинкой.

— Почему?

— Мама ничего про тайник не знала, это мой секрет был... Когда приехали в Среднекамск, маме купили новую машинку, а эту она отдала ребятам в школьный музей. Мальчишки ходили по домам, выпрашивали разные предметы старого быта, а машинка-то была просто древняя, «Ундервуд». Мама и пожертвовала... Я понять не мог, как она решилась на такое. «Ундервуд» этот у нас был с довоенных времен, мама его так любила...

— И все-таки отдала!

— Я уж после догадался: потому и отдала, что любила. Машинка-то сломанная была, рассыпалась. Вроде бы бесполезная вещь, место занимает, а выбросить жалко... И, видно, стеснялась мама этой привязанности. И подумала: в музее машинку сберегут, там она даже в почете будет... В общем, пришел я с уроков и вижу — машинки нет. Я в крик: что ты наделала!

— А вернуть нельзя было?

— Я ходил по школам, спрашивал, да не очень-то с мальчиш-

кой разговаривали... К тому же, я думаю, те пацаны могли машинку в музей и не отдать. Может, она им так понравилась, что решили оставить себе. Там кое-какие клавиши еще работали, для игры годилась...

«Вот уж свинство-то!» — едва не сказал Гай, но вспомнил нору под камнем в Херсонесе и сердито засопел. И спросил:

— Если повесть с копиркой перепечатывали, почему у Курганова один экземпляр оказался? Остальные-то где?

— Это особая история... Курганов сжег два экземпляра. Прочитал после перепечатки, расстроился: показалось, что повесть никуда не годится. А нервы у него были, видимо, так себе. Вот и бросил в камин все: черновики и два отпечатанных экземпляра... А третий был у меня. Я, по правде говоря, хотел его замылить, Курганов о нем не знал...

От того, что и Толик в детстве мог что-нибудь «замылить», Гай почувствовал облегчение. Толик сказал:

— Мама про это узнала, мне, естественно, влетело... Но потом оказалось, что все к лучшему. Отдал я третий экземпляр, Курганов ожил...

— Но все равно потом и третий пропал, — вздохнул Гай.

— Да, но все-таки с Кургановым повесть была до конца. Ему было легче... Хотя в одном издательстве рукопись уже тогда раскритиковали и отказались печатать.

— Почему? Разве она плохая была?

— Да нет... Скорее непривычная. Не столько описание подвигов и открытый, сколько разбор всякого... ну, характеров, отношений. С Крузенштерном плыл посланником в Японию Николай Петрович Резанов, человек с капризным характером, вельможа. Они часто ссорились. Резанов даже обвинил Крузенштерна в бунте. Почти все офицеры поддерживали своего капитана, а молодой лейтенант Головачев встал на сторону Резанова...

— Почему?

— Ну, это надо всю повесть пересказывать.

— Толик... еще ведь и одиннадцати нет.

— Да я и до утра не кончу, если про все...

— Ну, ты хотя бы коротко... Толик, ведь человек-то писал, старался, а книга пропала. Пускай хоть кто-то про нее будет знать! Пока только вы с бабой Людой эту повесть знаете, а теперь и я буду. Получится, будто еще читатель прибавился.

— Уговаривать ты умеешь... — Толик опять притянул Гая к себе. — Ну, слушай...

Гаю было ясно, что рассказал Толик не все. Только основные эпизоды. Но и этого хватило, чтобы задуматься. Особенно о горькой судьбе Головачева, которого бросил и забыл Резанов.

— Зря он застрелился...

— Это мы понимаем. А он не понимал. Думал, что единственный выход, — сказал Толик.

— И никто не остановил...

— Не успели... Об этом и речь... Конечно, в повести хватало и приключений, и бурь, но главная мысль, по-моему, о человеческой вине.

— Как это?

— Вот так... Часто люди виноваты в несчастьях других людей. Не по закону виноваты, а перед своей совестью. И никуда от этого не денешься. И рад бы исправить вину, да поздно.

— И что тогда делать? — испуганно спросил Гай.

— Жить... Это, собственно, и была повесть о жизни и смерти. О том, что жить надо по-человечески, если даже тяжело. А если умирать, то и тогда думать о других... Мне кажется, Курганов хотел сказать, что Головачев умер просто ради смерти, а капитан Алабышев — ради жизни.

— Алабышев?

— Ох, я же эпилог-то еще не рассказал!.. Помнишь, в самом начале я говорил о кадетике Егоре Алабышеве? В эпилоге он — капитан-лейтенант. Крымская война, он приехал в Севастополь...

«Совпадения какие, — подумал Гай. — Алабышев был здесь, «Крузенштерн» здесь, мы здесь...» И Толик понял его:

— Все в жизни переплетается... Я, когда читал про Алабышева, думал, что он похож на отца. То есть отец на него. Так казалось. Я ведь отца почти не помнил...

Гай виновато подумал, что, размышляя о совпадениях, забыл о дедушке.

— А разве Алабышев тоже погиб?.. Ах да, ты же сказал...

— Он погиб не на бастионе, а на улице, спасал ребятишек. Они играли в снежной крепости, Алабышев случайно там оказался, а в крепость влетела английская бомба. Точнее, артиллерийская граната, деваться некуда. Алабышев на гранату — грудью...

«Да что же это такое, — подумал Гай, — целый день про одно и то же, как нарочно!»

— А почему — граната? — сумрачно спросил он.

— Так небольшие круглые снаряды назывались. С запальными трубками...

Продолговато-круглый рубчатый снаряд с медной трубкой запала Гай словно ощутил в своей ладони. И сказал ему мысленно: «Чтоб ты провалился к чертовой бабушке! Знал бы, как не связывался...» Но вспомнилась не только граната. Еще и ее хозяин — пулеметчик. Он — упрямый и жестко-неустранимый — соединился в мыслях Гая с капитан-лейтенантом Алабышевым,

хотя, казалось бы, ничего похожего не было. Нет, было... Бесстрашие.

И с горьким откровением, со злостью на себя Гай сказал:

— А я сегодня струсил. Вот.

— Да ну... — осторожно проговорил Толик. Видно, почувствовал, как задервенело плечо Гая.

— Да! Вот так, — выговорил Гай. Хотелось очистить душу. — Мы играли в войну, а там, в камнях, залег пулеметчик. Я гранатами промазал. Все думали, что я сам кинусь на пулемет... а я не пошел. Надо бросаться вперед, а я лежу...

Толик помолчал. И медленно произнес:

— Наверно, ты не струсил, Гай. Ты задумался. Для всех была игра, а ты стал думать: а что, если бы это всерьез? Так?

— Ты откуда знаешь?!

— Знаю. Не с тобой одним это бывало.

— Нет, я не думал, что это всерьез, — вздохнул Гай. Но теперь он, кажется, понимал, что его остановило перед пулеметным гнездом. «Если бы кинулся — значит, будто обещание дал: когда по правде такое случится, сделаю так же», — подумал Гай. И вспомнил — но ведь сколько раз в войну играли: «Тах-тах, ты убит! Ура, в атаку!.. Ты убит, я убит, все убиты!»

«Тогда просто не думал про такое, — сказал он себе. — А в этот раз пришло в голову...»

Почему пришло? Может, потому, что видел обкатанные морем осколки костей? Может, потому, что в глубине души все время он помнил о дедушке — даже тогда, когда казалось, что забыл?

— Я не знаю, смог бы на самом деле или нет, — хмуро сказал Гай. — Наверно, ни за что на свете не смог бы...

Толик негромко и словно нехотя проговорил:

— Этого никто не знает до решительного момента.

Решительные моменты в жизни будут, Гай это понимал.

Он еще не знал, кем станет. Может, вовсе и не моряком, хотя при виде кораблей и флотской формы сердце стучало от волнения. Думая о своем острове, Гай представлял себя капитаном. Но можно быть и просто путешественником. Можно археологом: раскапывать города вроде Херсонеса. Можно пограничником...

Осенью учительница литературы задала пятиклассникам сочинение: «Почему я хочу быть космонавтом?» Гай написал, что не хочет. Во-первых, берут в космонавты очень немногих; во-вторых, на Земле куча интересных дел (и под водой тоже, как у Толика); в-третьих, все пишут, что хотят быть космонавтами, потому что так полагается писать, а на самом деле еще и не думали, кем станут. Это «в-третьих» особенно раздосадовало Аллу

Григорьевну. Была вызвана мама. Вместо мамы пришел папа. Спокойный тихий папа, глядя сквозь толстенные очки, вежливо спросил Аллу Григорьевну, действительно ли она уверена, что каждый мальчик должен идти в космонавты? Алла Григорьевна сказала, что пойдет не каждый, но мечтать об этом обязан всякий советский школьник. Папа поинтересовался, сильно ли наступил на горло своей мечте сын Аллы Григорьевны, когда пошел в медицинский институт — приобретать профессию зубного врача. Алла Григорьевна спросила, на что папа намекает. Папа ответил, что намекает на следующее обстоятельство: нельзя ставить человеку двойку за то, что он честно излагает свои мысли.

Алла Григорьевна сказала, что пусть папа тогда сам учит своего сына. Но она не уверена, что при таких взглядах папы из пятиклассника Гаймуратова выйдет толк. Неизвестно, кем он станет.

Тут Гая дернуло за язык:

— Да уж не зубным врачом.

За это ему попало от Аллы Григорьевны и от папы, который велел перед Аллой Григорьевной извиниться. Потом ему (и папе заодно) попало дома от мамы, от бабушки и даже от деда.

— Я хотя и не зубной, но тоже врач, — сказал дед. — Неужели медики — столь презренная профессия?

Гай так совсем не считал. Он высказался в учительской просто назло Аллушке... Но, с другой стороны, он и в самом деле не мог представить себя зубным врачом. Так же, как, скажем, бухгалтером или директором магазина. Он твердо знал, что его жизнь будет связана с путешествиями, открытиями, испытаниями и приключениями. Для этого совсем не обязательно быть мореплавателем или космонавтом. Вон Толик инженер, а разве жизнь его не приключения? Все время изобретает, ищет, в моря ходит... Или папа. Уж вроде бы совсем «кабинетный» человек (подойдешь к нему, а он, сидя за столом, обнимет тебя одной рукой, а другой все пишет, пишет свои формулы и конспекты), а ухитрился в Африке оказаться. Или дед. Таким врачом и Гай не отказался бы стать! В тридцатых годах хирург Гаймуратов прыгал с парашютом на зимовки к заболевшим полярникам. А в сорок первом, когда немцы пытались ворваться в село, где был полевой госпиталь, дед прямо из окна операционной палил из пистолета (хотя и говорит, что ни в одного немца не попал и вообще стрелял по-боевому единственный раз за всю войну)...

Да, Гай не знал еще, кем станет, но то, что в жизни будут решительные моменты, он чувствовал.

А если и такой — самый решительный, — как сегодня? Только уже не в игре? Тогда что? Опять Гай прижмется к земле?

Гай сердито вздохнул, потому что ответа на вопрос не было. Вместо ответа лезли в голову всякие хмурые мысли. О том, что

много в жизни у людей суровости и опасностей. Да к тому же и несправедливости! Как с Кургановым!

— Все-таки обидно...

— Что? — отозвался Толик.

— Курганов... Жил, книгу писал, а потом — ничего...

— Я об этом тоже думал... Я даже хотел назвать его именем свой первый аппарат, чтобы память о нем сохранилась. Об Арсении Викторовиче...

— Назвал?

— Не все так просто, как в детстве кажется...

— Не разрешили? — понял Гай.

— Но все-таки ту малютку группа и все испытатели называли «Толиком». Неофициально...

— А при чем Курганов?! — Гай даже возмутился.

— «Тайный Океанский Лазутчик Имени Курганова». Это я, еще когда маленький был, придумал...

— Все равно это не то, — непримиримо сказал Гай. — Все равно обидно.

— Что поделаешь...

— Толик, а Курганов моряк был?

— Совсе нет. Типографский техник и немного журналист.

Потом в конторе работал... Но, знаешь, Гай, он был моряк в душе. Когда я к нему приходил, казалось, будто в каюту к старому капитану попадаю... Я его комнату хорошо помню. Дома, когда хронометр стучит, закрою глаза и будто опять у Арсения Викторовича...

— А что за хронометр?

— Курганова. Он у меня остался, вроде как наследство.

— А почему я не видел?

— Когда вы с мамой приезжали, я его как раз отдавал в институт, для ремонта и проверки. Старенький уже... Но сейчас ничего, тикает исправно.

— Это морской хронометр?

— Да, корабельный. Его Курганову один капитан подарил. Старый морской волк, он в юности даже на клиперах ходил... Знаешь, что такое клипера?

— Здравствуйте, я ваша тетья, — обиделся Гай. — Я и про виндjamмеры знаю. «Крузенштерн» был виндjamмером. Он из серии «Летающие «П». Был такой судовладелец, у него все названия...

— Да известно мне про «Летающие «П», — сказал Толик. — Тоже не лыком шит. Про все рекорды «Падуи» слышал: от Гамбурга до Талькауно в Чили, вокруг мыса Горн за восемьдесят дней. От Гамбурга же до Австралии, до Порт-Линкольна, — шестьдесят семь суток. Похлеще некоторых клиперов...

— А ты откуда это знаешь? — ревниво спросил Гай.

— Читал... Я вообще старался про все читать, что с именем

Крузенштерна связано. Этим меня Курганов на всю жизнь заразил... А кроме того, мне штурман Морозов про «Летающие «П» рассказывал. Мы с ним в шестьдесят первом году познакомились. Он одно время на «Крузенштерне» служил...

— А сейчас он тоже там?

— Сейчас нет.

— А другие знакомые у тебя там есть?

— Н-нет... А что?

Гай посмотрел на Толика: «Ты еще спрашиваешь!»

— А вдруг все-таки есть, а? Мы бы подъехали к борту, ты бы спросил...

Желание оказаться на палубе «Крузенштерна» сотрясло Гая, как короткий озноб.

— Ну, ты придумал... — неуверенно сказал Толик. И в этой неуверенности Гай увидел зацепку.

— Толик! Ну, не съедят же! А вдруг пустят?!

— Вообще-то, — вздохнул Толик, — у меня были другие планы. Я думал, мы с тобой завтра полазим по пещерному городу в Инкермане, крепость Каламиту осмотрим...

— Значит, ты завтра свободен?! — возликовал Гай.

— Да. Но...

— То-лик... — шепотом сказал Гай. Отодвинулся и глянул из угла дивана умоляюще-восторженными глазами.

— Моя мама, — сказал Толик, — в подобных случаях говорит: «Мелкий авантюрист и вымогатель...»

— Ура! — Гай подскочил, будто в диване сорвались все пружины. — Завтра утром, да?!

— За что мне такое несчастье... — печально отозвался Толик.

— Ура!! Толик! Я за это... Я буду самый-самый-са...

— Брысь в постель. А то завтра тебя не поднимешь.

Демонстрируя сверхпослушание, Гай стремительно скинул шорты и майку и влетел на раскладушку. Вытянулся под простыней и затих. Потом одним глазом глянул на Толика.

— Что? — сказал Толик.

— А ты завтра совсем-совсем не занят?

— По крайней мере, до вечера.

— Ой... а вечером опять пропадешь?

— Слушай, ты что за хвост! Как трехлетнее дитя...

— Да ничуть. Просто интересно. На свидание пойдешь?

— Не ваше дело, сударь!

— Ну и пожалуйста... А ее как зовут?

— Стукну!

— Странное какое имя. Она иностранка?

Толик со зверским лицом стал подниматься с дивана.

— Сплю, — хихикнул Гай и натянул на голову простыню.

Вторая часть

ПОД МАЧТАМИ «КРУЗЕНШТЕРНА»

ВСТРЕЧИ НА ПАЛУБЕ

Решили ехать в город, до Графской пристани, а там действовать по обстоятельствам. Вдруг встретятся курсанты или кто-то из экипажа «Крузенштерна»! Тогда можно будет завязать беседу и напроситься в гости. А есть и крайний вариант: зайти в диспетчерскую порта и выяснить, не пойдет ли к паруснику какой-нибудь служебный катер.

Но когда спустились от дома на причал ГРЭС, Толик придержал Гаю за плечо.

— А ну, испытаем судьбу... — И громко сказал: — Дед! Напротив Голландии парусник стоит, знаешь? Подбрось, а?

В десятке метров от пирса, на ялике с растопыренными по бортам удилицами, сидел старичок с серебристой щетинкой на подбородке и в соломенной шляпе без доньшка. Он отвечал Толику с ленивым непониманием, явно притворялся глуховатым. Но, услышав, что платой за рейс будет трешка, проявил полную и даже несколько суетливую готовность...

Через две минуты ялик с Гаем и Толиком уже тутукал движком посреди бухты. Гай перегнулся через борт и, подпернув обшлаг новенькой желтой футболки, бултыхал в воде ладонью. В зеленой глубине колыхались медузы. Утреннее солнце старательно грело Гаю спину. Вода казалась почти гладкой, но незаметная глазу, очень пологая зыбь медленно приподнимала и опускала ялик. И внутри у Гаю что-то приподнималось и опускалось.

Но это не от качки, конечно! От собственного волнения, от какой-то праздничной тревоги.

Гай не выдержал:

— Толик... А если не пустят?

— Весьма возможно. Если бы я один был, другое дело. А так скажут: куда с таким обормотом?

— Почему это я обормот?! Я — вот... — Гай пошевелил плечами в футболке. Он считал, что новой майки вполне достаточно для парадного вида. По крайней мере, в данном случае.

— А космы-то... Целыми днями шландаешь, в парикмахерскую зайти не можешь... И уши все облезлые, кожа висит. Что за привычка: с собственных ушей шкуру драить...

— Ты ко мне придираешься, потому что сам боишься, что не пустят на «Крузенштерн», — пронизательно сказал Гай.

— Боюсь. Потому что втравил ты меня в авантюру. Думаешь, на кораблях жалуют незваных гостей?

— А ты придумай что-нибудь...

Толик хмыкнул.

Утро было безоблачное. Рубки высоких теплоходов сияли такой белизной, что синева неба сгущалась вокруг них фиолетовым контуром. И даже старый тускло-сизый крейсер, ждущий ремонта, сегодня чисто и молодо голубел под солнцем.

«Крузенштерн» издали казался небольшим, как модель в музее. И приближался сперва медленно, незаметно. А потом вдруг стал расти, расти, взметнул опутанные такелажом мачты в бесконечную высоту и навис над Гаем громадой белого борта.

По борту косо опускался к воде трап — лесенка с леерным ограждением и площадкой внизу. Но, видимо, рассчитан был трап на катера с высокими палубами или просто приподнят. Когда ялик подошел, площадка оказалась на уровне груди у вставшего Толика. Толик прочно положил на нее ладони.

Недавно признавшись Гаю в робости, Толик теперь вел себя уверенно. Вполне по-флотски. Гаю понравилось.

Вскинув лицо, Толик решительно крикнул:

— На «Крузенштерне»!

Высоко вверху перегнулся через планшир смуглый мужчина в белой рубашке с погончиками.

— Слушаю вас!

— Я инженер Нечаев с морзавода, — заявил Толик. — Разрешите на борт? Есть дело!

В словах Толика была лишь капля правды. К морзаводу он имел самое-самое маленькое отношение. Но Гай не осудил дядюшку за хитрость.

— Прошу! — сказал наверху моряк. И оглянулся: — Ребята, приспустите трап!

— Не надо! — Толик легко метнулся на площадку, ухватил за руки Гаю и дернул его к себе из качнувшегося ялика. Гай, разумеется, зацепился коленом и зашипел.

Деду Толик сказал быстро и вполголоса:

— Все, папаша, спасибо. Теперь давай от трапа подальше...

Борт был ой-ей-ей какой высоты, и Гаю казалось, что поднимаются они по дрожашему трапу страшно долго. Цепляясь за канат-поручень, Гай шагал за Толиком. Он прихрамывал, но про боль в колене уже не думал. Он был торжественно-счастлив.

До сих пор Гай (сейчас-то он понимал это) жил здесь в ожидании необыкновенного случая. Все время шевелилось едва заметное предчувствие, что эти мелькающие приморские дни —

предисловие к какому-то главному событию. К волшебному и загадочному, похожему на сказку об острове.

И вот сейчас *она* наступило. Наверно, и вправду сказка. И уж по крайней мере — *приключение*. Ну, в самом деле: не из обычных же дней, не из простой жизни пятиклассника Гаймуратова такое сверкающее утро, синева бухты и белый корабль-великан!

Гай чувствовал, что эти мгновения у него уже никто не отберет. Пускай хоть что будет потом! Пускай хоть через пять минут скажут: выметайтесь с судна!.. Впрочем, куда выметаться-то? Умница Толик — спровадил яличника!

Они шагнули на палубу. Смуглый моряк сказал с какой-то полувоенной вежливостью:

— Вахтенный штурман Радченко. Слушаю вас...

У штурмана была повязка — синяя с белой полосой.

Гай поймал себя на том, что ему хочется подтянуть шорты и опустить по швам руки. Он так и сделал.

— Инженер Нечаев... — опять сказал Толик. — Я здесь в командировке. Узнав, что на рейде стоит барк «Крузенштерн», взял на себя смелость приехать, чтобы повидаться с давним знакомым — третьим помощником Морозовым...

Гаю вспомнился Станюкович — в его рассказах офицеры корветов и клиперов объяснялись с такой же суховатой, но безукоризненной учтивостью. И правильно. Здесь тоже парусник...

Но штурман Радченко не выдержал стиля беседы:

— Да как же так?! Третий помощник — я! А Морозова у нас нет!

— Но...

— А до меня был Бурцев! Он сейчас второй!

— Какая досада, — произнес Толик без всякой досады. — В шестьдесят первом году, после капремонта...

— А, так это было вон когда! — Радченко виновато заулыбался. — Я-то здесь всего год. Я познакомлю вас с первым помощником, он у нас давно. Вы подождите...

Штурман ушел. Толик подмигнул Гаю. Тот рассеянно улыбнулся и посмотрел вокруг и вверх с ощущением чудес и простора.

Казалось, он не просто на палубе, а в каком-то корабельном городе. На площади, где белые дома с чисто-синими стеклами и медью иллюминаторов, вышки с локаторами и прожекторами, перекинутые в воздухе мостики со спасательными кругами на поручнях. А еще — громадные, повисшие на изогнутых балках шлюпки, наклонные грузовые стрелы, какие-то белые бочки, кольца толстенных тросов... Но «площадь», выложенная чистыми желтыми досками, не казалась загроможденной. Она была просторна, и десятки людей на ней были словно редкие прохожие.

Курсанты в робах с форменными флотскими воротниками и матросы без всякой формы возились с бухтой троса, красили

борт у спущенного на палубу баркаса, сновали туда-сюда. Два растрепанных бородатых человека, не похожие ни на курсантов, ни на матросов, пронесли странное зеркало — обтянутый фольгой громадный щит в прямоугольной раме... В общем, корабль-город жил своей, непонятной для посторонних жизнью...

А над этой жизнью, над простором корабельной площади возносился окутанный переплетением тросов, лестниц, тонких концов с блоками и украшенных какими-то мохнатыми муфтами канатов мачтовый лес.

Мачт было всего четыре, но Гай все равно ощущал себя в лесу. Густота снастей создавала впечатление чащи. Сбегавшийся к верхушкам такелаж делал мачты похожими на острые, чудовищной высоты ели. Двадцатипятиметровая парашютная вышка в парке Среднекамска была малюткой по сравнению с ними. Чайка, севшая на клотик, с палубы казалась тополиной пушинкой.

Но эта громадность была не страшной. В ней чудился радостный размах — под стать синим ветрам и солнечным океанам. И Гай прерывисто, толчками, вздохнул, вбирая в себя эту высоту, этот простор, это счастливое великанское чудо.

— ...Первый помощник капитана Ауниньш.

Гай вздрогнул и опять опустил руки по швам.

У подошедшего высокого моряка было твердое лицо с чуть раздвоенным подбородком и очень светлые глаза.

— Чем могу служить? — спросил он. Его едва заметный прибалтийский акцент понравился Гаю. Так же, как нравилось тут все остальное.

— Инженер Нечаев, — уже третий раз сказал Толик и покоился на Гая. — А это мой племянник... М... Михаил.

Ауниньш наклонил гладко причесанную голову, сказал Гаю:

— Станислав Янович... — И снова вопросительно взглянул на Толика. Тот вздохнул:

— Ваш коллега уже сообщил мне, что штурман Морозов на «Крузенштерне» больше не служит...

— Да. Он ушел два года назад.

— Понятно. Я познакомился с ним гораздо раньше...

— Значит, вы уже не первый раз у нас на барке? — осведомился Станислав Янович.

— Первый. С Морозовым мы встречались на «Сатурне», он был туда на время откомандирован... Проект «Дина». Слышали?

— О, — сказал первый помощник и глянул внимательно.

— Да... — кивнул Толик, и Гай почувал, что он слегка расслабился. — Это было славное время.

— Значит, вы тоже гидрограф? — спросил Ауниньш. Как-то незаметно получилось, что они уже не стояли, а втроем неторопливо шли вдоль борта.

— Я не гидрограф... Точнее — не совсем гидрограф. Я был в группе технического обеспечения.

Ауниньш глянул так, словно снова хотел сказать «о». Но сказал другое:

— А мы вот превратились в плавучую школу. К Министерству рыбного хозяйства приписаны.

— Жалеете? — с пониманием спросил Толик.

— Дело нужное. Но трудно перестраиваться, привык под синим флагом... — И он объяснил уже специально для Гая: — До недавнего времени мы были гидрографическим судном военно-морского флота. У гидрографов флаг синий. Только в углу на нем — военно-морской флажок.

— Почти как флаг вспомогательных судов, — слегка гордясь своим знанием, сказал Гай.

— Так. Но на нашем флаге еще белый круг с маяком.

— Я знаю. В Южной бухте много таких...

— Да... А теперь у нас в каждом рейсе больше полутора сотен практикантов. Масса хлопот...

— Можно представить, — посочувствовал Толик.

— Да... Но не это самое опасное. Вы, наверно, слышали уже: нас взяли на бордаж две киностудии, «Ленфильм» и «Молдовафильм». Кому-то пришла фантазия снимать на учебном судне художественную кинокартину. Можете полюбоваться.

Навстречу шли три густобородатых матроса в широченных штанах, атласных блузах и шапочках с помпонами. Они серьезно приложили к шапочкам пальцы.

— Самые бестолковые курсанты — ангелы по сравнению с ними, — отчетливо сказал Станислав Янович. — Где кино — там порядка нет вообще. Эти понятия несовместимы.

Толик сочувственно кивнул. И спросил:

— А что за фильм-то?

— «Корабли в Лиссе». По Александру Грину.

— Да? Ну и... как у них получается?

— Я не знаток, — ответил Ауниньш, тоном давая понять, что не одобряет легкомысленного интереса инженера Нечаева. — Не могу судить... Но, по-моему, слишком много пустой экзотики.

Толик, видимо, не удержался:

— Наверно, вы не любите Грина?

Станислав Янович сбоку медленно посмотрел на Толика:

— Как ни странно, я люблю Грина... Хотя есть мнение, что латыши — люди излишне хладнокровные и не склонные к романтике... Но я считаю, что Грина облепили розовыми слюнями: ах, мечты, порывы души к несбывшемуся, ах, зов блистающего мира... А потом — кафе «Алые паруса», косметический набор «Ассоль» и на том же уровне — пошлые статейки о «кудеснике из Зурбагана».

— Но есть и другое. Например, у вас на Балтике — траулер «Зурбаган». Название гриновского города на борту судна — чем плохо?

— Так. Это хорошо. Но это не кино, а флот... Кино с флотом надо держать подальше друг от друга. Для обоюдной пользы... Кстати, поэтому я не одобряю вашего товарища, Морозова, если правда то, что про него говорят.

— А что говорят?

— Будто бы он ушел консультантом на Ялтинскую киностудию. Там строят шхуну для «Острова сокровищ», искали специлиста для проводки бегучего такелажа. Морозов якобы согласился.

Толик помолчал. Потом сказал с коротким смешком:

— Станислав Янович, не хочу дальнейшее знакомство омрачать хитростью. Во-первых, Морозов не товарищ мой, а почти случайный знакомый. Во-вторых, я знал, что он уже не на «Крузенштерне». Я просто придумал повод, чтобы попасть на судно. Мой племянник так страстно мечтал об этом, что я не устоял.

Они оба глянули на Гая, и он засопел, опустив голову. И мысленно сказал Толику: «Вот попрут сейчас, будешь знать».

Ауниньш помолчал и суховаато улыбнулся:

— Я подозревал что-то похожее. В командировку не ездят с племянниками...

— Нет, здесь я не хитрил... — Толик был, видимо, уязвлен. — Я и правда приехал по делу. А Михаила пришлось взять с собой по семейным обстоятельствам. Днем я на работе, а он свищет по окрестностям. К счастью, сегодня я оказался свободен... Мы просим извинить за вторжение.

— Ага, — сказал Гай и постарался глянуть на первого помощника ясно и доверчиво. Тот усмехнулся:

— Причина, я думаю, все равно уважительная... Но я, к сожалению, должен оставить вас: дела... Я дам практиканта потолковее, он будет для вас экскурсоводом. Только... — Ауниньш посмотрел на Гая.

— Я понял, — кивнул Толик. — Не спущу глаз.

Ауниньш окликнул пробежавшего паренька в форме и попросил показать экскурсантам судно. Слово «экскурсанта» досадливо царапнуло Гая, но он тут же забыл об этом.

Курсант Лебедев, угловатый, с пушком на губе, на ходу сбивчиво начал лекцию. Сообщил, что «Крузенштерн» неправильно называть кораблем и надо говорить «барк» или «судно», потому что кораблями именуют лишь суда с парусным вооружением фрегатов, то есть с реями на всех мачтах, а здесь бизань — «сухая», с гафелями и гиком... Потом он перепутал год постройки и парусность, и Толик опасно глянул на Гая: не вмешивайся.

А Гай и не вмешивался. И почти не слушал уже известные

сведения. Корабельная сказка опять взяла его в плен. Так, что Гай казался себе легким, будто чайка. Весело кружилась голова.

— ...Лебедев! — гаркнули из темного дверного проема рубки. — Тебя где носит? Сейчас консультация по прокладке!

— А мне первый велел гостей водить!

— Вот пускай тебе первый и ставит зачет!

Лебедев беспомощно глянул на Толика.

— А вы идите, — улыбнулся Толик. — Про барк я кое-что знаю, мы тут сами... ориентируемся.

Лебедев с облегчением исчез.

— Хватит голову задирать, — сказал Толик Гаю. — Позвонки свихнешь. Смотри лучше, какой табор...

На кормовой палубе, у подножия необъятной бизань-мачты и у громадного двойного штурвала, расположились разноцветные матросы — вроде тех, что недавно повстречались у борта. Живописная компания беседовала, закусывала и, судя по смеху, травила анекдоты. Среди пиратов (а это были явно пираты, не просто моряки) сновали озабоченные люди в обычной одежде. Сняли несколько матовых зеркал (одно такое Гай недавно уже видел). Возвышался помост на колесах, на нем — тренога с камерой. С помоста прыгнул тощий лысый дядька в мятых шортах и распахнутой рубашке. Закричал тонко:

— Александр Яковлевич, я так не могу! Через час начало, а троих еще нет! Это не работа, это моя родная мама не скажет, что это такое!

— Это кино! — отвечивал курчавый невысокий парень. Он поддернул парусиновые брюки, ловко завязал узлом на животе расстегнутую ковбойку и с удовольствием зашлепал босыми ногами по теплой палубе.

— Александр Яковлевич! — кинулась ему вслед квадратная, увешанная фотоаппаратами девица с мужской прической.

Тот, не оглядываясь, помахал рукой:

— Сейчас, сейчас! Берегите творческий запал для съемки! — И помчался куда-то. Проскочил мимо Гая и Толика.

Толик сжал Гаю плечо.

— Постой-ка, Майк... — и смотрел вслед курчавому Александру Яковлевичу непонятно.

— Что? — недовольно сказал Гай. Он не хотел отвлекаться.

— Сейчас... подожди.

Толик оставил Гая и шагнул к девице с аппаратами.

— Простите. Этот кудрявый молодой человек... он кто?

— Этот кудрявый молодой человек — второй режиссер, — сумрачно сказала она. — Общий мучитель. Скоро я его убью.

— Не раньше, чем скажете его фамилию, — попросил Толик.

Девица-фотограф возвела на Толика волоокие, не подходящие ее мужскому лицу глаза.

— О Боже. Есть люди, которые не знают Ревского?

— Мерси, — задумчиво сказал Толик. Вернулся к Гаю. Таинственный Ревский уже стремительно шагнул обратно и размахивал над рыжеватой шевелюрой мятыми листьями. Радостно голосил:

— Если кто-то скажет, что такого эпизода нет в сценарии, я этого человека...

Он промчался мимо Толика и Гая, скользнув по ним веселым, но нелюбопытным взглядом. И вдруг замедлил шаги, встал. Обернулся. Глянул странно: и пристально, и нерешительно.

— Шурка... — негромко сказал Толик.

Тот мигнул, наклонил голову («Похож на Пушкина», — мельком подумал Гай).

— Толик... Нечаев?

С точки зрения Гая, они повели себя непонятно. Сперва шагнули друг к другу, будто обняться хотели. Не обнялись, но крепко взяли друг друга за локти. Потом словно застеснялись, расцепили руки. Подумав, обменялись медленным рукопожатием.

Толик стоял к Гаю спиной, лица не было видно. А Ревский улыбался — не сильно, а словно о чем-то спрашивал. Потом он сказал:

— Вот черт... Все какие-то затертые фразы вертятся. «Гора с горой не сходятся, а человек...»

— Или «как тесен мир», — со смехом вставил Толик.

— Да, неисповедимы пути морские... Ты теперь здесь живешь, в Севастополе?

— Мы в командировке... — Толик оглянулся и притянул к себе Гая.

— Сын? — спросил Ревский.

— Племянник. Михаил...

Гай негромко, но внятно сказал:

— Если еще раз обзовешь Михаилом, я прыгну за борт.

Толик растрепал ему волосы.

— Уличная братия кличет его Гаем. Потому как потомок князей Гаймуратовых.

Ревский сдвинул босые пятки и протянул руку:

— Рад познакомиться, князь. Позвольте представиться. Александр Ревский, давний знакомый вашего дядюшки. Я сказал бы... — Ревский запнулся, и Гай почувал, что он прячет за улыбкой какую-то виноватость. — Я сказал бы, друг детства... если бы не боялся, что...

— А ты не бойся, — тихо произнес Толик. — Хватит тебе бояться.

ПИТОМЕЦ ФЛИВУСТЬЕРОВ

Ревский, сложив рупором ладони, крикнул киношной братии, чтобы ни одна живая душа (если хочет и впредь оставаться живой) не звала и не искала его в течение получаса.

Затем он увлек Толика и Гая на другой конец судна, к фок-мачте. Здесь они в тени этой мачты в относительной тишине и безлюдье продолжили разговор. Потрепав Гая по плечу, Ревский спросил Толика:

— Своих-то нет еще?

— Женильба — как лотерея, — вздохнул Толик. — Раз попробовал — обжегся.

— Извини...

— Да что ты, дело житейское.

— А у меня семейство в Ленинграде. Два пацана, близнецы-первоклассники.

— Такие же кучерявые?

— Нет, в жену. Белобрысые...

— А ты и сам еще как пацан, — сказал Толик чуть дурашливо и ласково. — Все такой же, лишь в параметрах увеличился.

— Да и тебе не дашь тридцати... Тридцать ведь, да? В сорок восьмом тебе шел двенадцатый?

— Угу... Шурка, вот посмотри: ведь ничего особенного вроде и не было тогда. Ну, бегали, играли. Ну, ссорились. А потом в жизни столько всего случилось серьезного, важного. Но вот запомнилось — лето сорок восьмого...

— Толик, — тихо и серьезно сказал Ревский. — Ты, по-моему, не прав. Особенное было. Я не из тех, что смотрит на детство со снисходительной улыбкой.

— Да и я не смотрю. Наоборот... Почти двадцать лет прошло, а нет-нет, да и цапапнет душу: как расстались тогда...

— Ты, Толик, хорошо расстался. Правильно. Это я был такой... максималист.

— Да нет, ты был тоже прав.

— Наверно. С тогдашних позиций... Толик, а я ведь прибежал к поезду... Ну, когда ты уезжал...

— Да? — быстро спросил Толик. — И что, опоздал?

— Нет, я тебя видел... Я за киоском на перроне прятался.

— И не подошел... Почему, Шурик?

— Все потому же. Думал, если подойду, значит, изменю ему.

— Да-а... Ну а он-то где сейчас?

— А ты не слыхал? Товарищ Наклонов стали писателем. Сперва даже поэтом. Вышла не то в Среднекамске, не то в Свердловске книжечка его стихов. «Первоцвет» называется... Он факультет журналистики окончил, потом с геологами ходил, жил

на Сахалине. Очерки печатал. В каком-то областном журнале была его повесть про рыбаков. Говорят, новую книжку готовит.

Толик осторожно сказал:

— Что-то не слышу в твоих словах прежнего обожания...

— Ты не думай, мы не ссорились... Он был, конечно, деспот, но я ему за многое благодарен. Все-таки именно он научил меня быть мальчишкой... Ну а стали постарше и как-то разошлись потихоньку. У каждого оказалось свое.

— Встречаетесь?

— А как же! И весьма по-дружески. Он мне свой «Первоцвет» подарил... Последний раз два года назад виделись, в Одессе. Я был там в командировке, а он на Одесскую студию сценарий привез.

— Хороший?

— Н-ну... Кстати, в кино есть свои парадоксы. Хорошие сценарии, бывает, лежат, а те, что так себе, глядишь — уже в работе.

— У него в работе?

— Нет пока. Но приняли...

Толик сказал с ехидцей:

— А то, что вы сейчас снимаете, значит, тоже «так себе»?

— А вот и нет! — Ревский вдохновенно взьерошил шевелюру. — Это будет блеск! Но каких трудов стоило пробить!.. Знаешь, о чем?

— Говорят, по рассказу Грина. «Корабли в Лиссе»?

— От рассказа только название. А вообще это фильм о юности Грина. Но со вставными сюжетами из его книг... Грин как бы сливается иногда с героями своих рассказов. Например, с капитаном корсарского фрегата. То есть сначала он просто молодой матрос на этом корабле, но капитан — такой замшелый морской волк — умирает, а этого парня экипаж выбирает командиром... Сегодня как раз снимаем похороны капитана.

— И можно посмотреть? — вернулся Гай.

— О чем разговор!

— Экзюпери сказал: «Все мы родом из детства», — вздохнул Толик. — Помнишь свой «Фотокор» на треноге?

— Он говорит «помнишь!» Эта штука и сейчас у меня в сохранности! Реликвия...

— А у меня снимок сохранился. Ты после концерта в саду всех нас шелкнул. Помнишь?

...Это было, конечно, прекрасно. Встреча двух друзей, воспоминания давних лет и так далее. Но это касалось Толика и его друга. А Гаю так и переминаться с ноги на ногу рядышком?

Заметив, что Гай потихоньку «линяет» в сторону, Толик рассеянно показал ему кулак. Гай жестами дал понять, что будет образцом благоразумия.

С минуту Гай ходил вокруг фок-мачты, потом вверх по трапу скользнул на бак. То есть на носовую палубу.

Широкая треугольная палуба светилась желтизной и дышала запахом чистого дерева. Гай постоял на носу, полюбовался громадным стволом бушприта с тросами и сетью, восхищенно подышал у сияющего колокола с надписью «Радуја» и подавил в себе преступное желание шелкнуть по медному краю ногтем. Потом оглянулся и радостно охнул: увидел пятиметровый адмиралтейский якорь. Видимо, запасной. Он был закреплен на палубе.

Гай присел рядом с якорем на корточках. Стал гладить теплое от солнца тело якоря, как добродушного дремлющего великана. За этим занятием застал Гая пожилой усатый моряк (наверно, боцман). Он посмотрел на Гая молча, но так внимательно, что тот без звука и почти на цыпочках поспешил с бака.

Толик и Ревский продолжали свои «а помнишь».

— Кудымовы куда-то уехали, ничего о них не знаю, — рассказывал Ревский. — Витек стал военным, капитан сейчас, а Рафик — он почти мой коллега, тоже в кино.

— Режиссер? — удивился Толик по поводу какого-то Рафика.

— Художник-мультипликатор.

— А, ну он к тому и шел! А Мишка Гельман где? Не знаешь?

— Мишка в шестнадцать лет сел за банальное дело — групповое ограбление киоска. Через год выпустили по амнистии. Он взялся за ум, окончил физкультурный техникум, работал учителем в интернате, женился, мотоцикл купил. А потом сел снова.

— За что? Опять за то же?

— Нет. Он ударил на уроке мальчика. Да не рассчитал, видать, тот головой о батарею. Травма... Ну и пошел Миша в знакомые места...

— За это стоит, — сказал Толик.

— А мальчик? — спросил Гай.

— Что? — глянул на него Ревский.

— Его вылечили?

— Да, конечно...

Гай снова осторожно отошел. Шажок, еще шажок... Вот и поручни. А рядом — могучие тросы вант... Про такие моменты в жизни Гая мама говорила: «Ему бес пятки щекочет». Гай оглянулся, взялся за трос. Встал на нижний прут поручней. На верхний... На перекладину вант. Еще на одну. Тросы и ступеньки еле ощутили дрогнули под легоньким Гаем...

Как бы ни щеколат пятки бес, а у Гая хватило ума не увлекаться. Поднялся на десяток ступенек — и стоп. И так вон какая высота! От воды до палубы метров пять, да от нее еще столько же. Как на крыше трехэтажного дома.

Севастополь раскинулся по обрывистым слоисто-желтым бе-

регам, по высоким склонам. Белые дома, спуски, лестницы, пыльная зелень пустырей, меловые срезы скал, путаница старых кварталов на откосах. Груды деревьев — как выплеснувшаяся через гребни домов малахитовая пена...

Городу тесно на холмах и берегах, он сбегает к бухте переплетением эстакад. И здесь — будто продолжение улиц: теплоходы, танкеры, крейсера с их многоэтажными рубками-домами, с башнями, мачтами и праздничным трепетаньем флагов.

А за кораблями, за белым нагромождением береговых зданий, за плоским Константиновским мысом с его старинной крепостью — бескрайность открытого моря. И там, приподнявшись над горизонтом, опять туманно обрисовывался остров.

Гай вздохнул, крепче взялся за ванты. Они еле заметно дрожали. А точнее — неслышно гудели, отзывались то ли на внутреннюю жизнь населенного сотнями людей гиганта-барка, то ли на касание соленого ветерка, что летел с открытого моря.

Это был совсем легкий, «шелковый» ветер, но он обмахивал свежестью лицо, шевелил волосы, и Гай не чувствовал жары, хотя солнце крепко припекало плечи и темя.

Ветер шел с моря, рябь на воде бежала оттуда же, и казалось, что «Крузенштерн» движется к выходу из бухты. Остров плавно вырастал над горизонтом. Чайки восторженно орала, приветствуя капитана Гая...

У совершенно счастливых минут есть одно плохое свойство — они коротки. Гай услышал на палубе стук официальных шагов.

Он увидел под собой аккуратный пробор первого помощника и его черные погончики с квадратными вензелями.

Станислав Янович сказал Ревскому:

— Александр Яковлевич. Ваши коллеги сейчас, забыв о природной интеллигентности, разнесут ют, спардек и шканцы. Они ведут себя возбужденно и все требуют вас.

— О Боже! Ну почему все я да я? Там есть Карбенев!

— Режиссер-постановщик сказал, что занят творческим процессом, а за оргвопросы отвечаете вы.

— А вы скажите ему...

— Нет, это уж вы скажите ему все, что считаете нужным, — перебил Ауниньш учтиво, но, кажется, с легким злорадством.

— Девятнадцать лет не виделся с человеком! — рыдающе произнес Ревский. — И поговорить не дают, изуверы!

Толик попытался «смягчить напряженность»:

— Представляете, какая неожиданность, Станислав Янович! Случайно оказался на судне и вдруг встретил друга детства...

— Поздравляю вас, — Ауниньш наклонил голову с пробо-

ром. — Если только это не новый повод для пребывания на борту...

Он, кажется, хотел придать словам оттенок шутки. Но Толик глянул на него в упор и спросил тонко и задиристо:

— Следует ли думать, что я здесь кому-то помешал?

— Ни в малейшей степени. Но вы обещали присматривать за племянником.

Ауниньш ни разу не посмотрел вверх, но Гай ощутил, что первый помощник видит его как облупленного. Будто на темени Станислава Яновича третий глаз.

Гай пристыженно полез вниз. Толик проследил за ним обещающим взглядом. Ауниньш, так и не взглянув на Гая, сказал:

— Впрочем, гости не знают судовых правил. Но вы-то, Александр Яковлевич, могли объяснить мальчику...

— Я и объяснил, — невозмутимо сообщил Ревский. — Велел соблюдать осторожность. Это я послал мальчика на ванты: тренировка для съемки.

Гай, который переминался в стороне, приоткрыл рот.

Ауниньш не сдержал удивления:

— Он что, уже ваш артист? Так быстро?

— Товарищ первый помощник, — назидательно проговорил Ревский. — Вы привыкли считать деятелей кино неорганизованными людьми, и в этом суждении есть доля горькой правды. Но иногда мы действуем оперативно.

— А вы уверены, что съемка ребенка на вантах находится в соответствии с техникой безопасности?

Ревский сказал печально:

— Станислав Янович. Кино ни с чем не находится в соответствии. Даже с самим собой. Оно как религия, искать в нем логику бессмысленно. Можно только или отрицать его, или верить в него со всем пылом преданной души.

— Я не склонен к религиозному экстазу, — сумрачно возразил Ауниньш. — У меня масса земных проблем. Кстати, вынужден вас опечалить. С берега сообщили, что днем катера не будет, только после двадцати часов. Так что готовьтесь кормить правоверных служителей киноискусства здесь... Гости наши тоже оказались неожиданными пленниками.

Гай тихо возликовал. А Ревский взвыл:

— О боги! Чем кормить-то?! Это диверсия!..

— Ну, только не с моей стороны, — усмехнулся Ауниньш. — Я попрошу изыскать возможности на камбузе... Но остатки курьезного рациона — это не меню ресторана «Приморский».

— Мы всегда обедаем в «Волне», — вздохнул Ревский. — Но я прощаю вам неосведомленность. И неверие в магическую власть кинематографа. Несмотря на ваш унылый педантизм, в вас все же мелькает порой нечто человеческое.

— Я тронут. — Ауниньш кивнул и зашагал прочь. И лишь тогда глянул на отскочившего с пути Гая. В лице у первого помощника появилось что-то необычное. И он украдкой (совсем непохоже на себя и очень похоже на Толика) показал Гаю кулак.

Гай мигнул и... среагировал: сделал дурашливо-послушное лицо и встал по стойке смирно.

Толик ничего этого не заметил. Виновато посмотрев на Ревского, он сказал Гаю злым полупшепотом:

— Башка дырявая. Из-за тебя Шурику... Александру Яковлевичу пришлось врать.

— А я не врал! — живо отозвался Ревский. — Я его в самом деле возьму в работу.

— Ой! Как?! — подскочил Гай.

— Ты что? Вправду? — не поверил Толик.

— Есть идея! Славка Карбенов завоюет от радости! Понимаете, мы ломали головы: что-то не получается с пиратским экипажем, пресный он какой-то. Чего-то человеческого нет. Не серьезно, а будто оперетта... А тут пацан в экипаже! Юнга, воспитанник. Представляете, какая деталь, а?

— Но для съемок-то время надо, — попытался возражать Толик. — Не говоря уж о таланте...

— Какое время? Один-два эпизода! Сейчас и начнем! А талант — что? В этом возрасте все талантливы, вспомни, как в Новотуринске шпионскую пьесу ставили!.. Гай, ты не бойся, будешь сам собой, вот и все!

Режиссер-постановщик «Славка» Карбенов оказался молодым высоким мужчиной со впалыми щеками и скорбным взглядом. Он выслушал идею Ревского и без восторга произнес:

— Хуже не будет. Давай...

Затем он поставил Гая между колен и толково разъяснил, что он, Гай, вместе со взрослыми флибустьерами будет стоять в шепренге, мимо которой понесут умершего капитана. Юнга этого капитана не то чтобы любил, но крепко уважал и теперь, конечно, печалится.

— Ты только не пытайся что-то нарочно изображать, притворяться, — наставлял Карбенов. — Представь, что это по правде. Ну и... в общем, смотри сам.

Потом он сказал Ревскому:

— Ты давай преобрази его слегка. В одиннадцать начнем...

В тени кормовой рубки стояли фанерные сундуки с трафаретными названиями «Молдова-фильм» (без мягкого знака). На сундуках ворохами лежали разноцветные плащи, кружевные ру-

бахи и драные тельняшки. Среди этого хозяйства сердито хлопотала симпатичная темноволосая девушка. Увидев ее, Ревский присмирел.

— Настенька, тут такое дело. Надо этого отрока превратить в пиратского юнгу... А?

— А где вы раньше были, Александр Яковлевич? Откуда мальчик? Я знала, что на него нужен костюм? Как на охоту ехать, так собак... — Настенька замолчала, зацепившись глазами за обаятельную улыбку Толика.

— Мадемуазель, — бархатисто сказал Толик. — Позвольте представиться. Анатолий Нечаев, инженер-конструктор, давний друг вашего беспутого второго режиссера и дядюшка этого юнги. Не гневайтесь за нарушение графика. Здесь стихийные обстоятельства, форс-мажор, как говорят моряки...

Настенька хмыкнула, пряча улыбку, и скрылась в рубке.

— Волшебник, — шепотом сказал Ревский. — Иди в помрежи, а? По линии укрощения строптивых костюмерш...

Настя появилась опять, и не одна, а с пухлой белокурой тенью. За ними шагнул старый толстый дядька с седой шевелюрой. Он, словно быстрыми пальцами, ощупал Гаю веселыми голубыми глазами. Так, что захотелось хихикнуть, будто от щекотки.

— Прекрасно!.. — пророкотал дядька. — Шурик, это вы должны пиратское дитя?.. Хорош. Настенька, добудь юному джентльмену какое-нибудь рубище с матросского плеча. Питомцу флибустьеров совсем не обязательно выглядеть инфантом.

— Игорь Васильич, это годится? — Настя извлекла из тряпичных ворохов драную легкую фуфайку крупной вязки. Фуфайка была похожа на тельняшку, только полосы — шириной в ладонь. Гаю велели надеть ее на голое тело, чтобы не просвечивала современная майка. «Рубище» повисло на нем крупными складками.

— Вполне, — сказал Игорь Васильевич.

— А штаны не слишком современные? — подала голос Настя.

— Сойдут, — решил Игорь Васильевич. — Все равно их почти не видать. А голые ноги и ободранные колени суть признаки мальчишек всех времен и народов... Меня смущают только кеды. Они явно несовместимы с парусной эпохой...

— А можно босиком! — Гай раздернул шнурки и дрыгнул ногами, кеды разлетелись по палубе. Гай трепетал от счастливого возбуждения и полон был желанием делать все как можно лучше.

— Гм... — Игорь Васильевич огорченно взялся за мясистый подбородок. — Вы, сударь мой, как все нынешние дети, мало ходите босиком. Ваши нежные ступни весьма контрастируют...

— Покрасим, Игорь Васильич, — деловито сказала белокурая тетенька по имени Рая. — Крем номер пять, средний загар...

Гай опасно хихикнул, заранее боясь щекочущих пальцев.

— Нет, нужны башмаки, — сказал Ревский. — Иначе ступеньки на вантах будут ноги резать.

— Как на вантах? — заволновался Толик. — Шурка, ты что, по правде решил его на верхотуру загонять?

— Не бойся. Есть идея, потом объясню...

— Мы в самом деле попали в плен к пиратам, — печально сказал Толик. — Живыми не выпустят... Еще немного, и ты, Шурик, заставишь сниматься и меня.

— А что? Вполне подходящий типаж. Молодой матрос, попавший в пираты из интеллигентов. Волею обстоятельств...

— Сам ты пират из интеллигентов! Джек-потрошитель с дипломом!

— Да ты подожди! Я серьезно! Мужиков-то в массовке не хватает! Двое заболели, один где-то загулял. Пиратская шеренга как картечью повыбита... Давай, Толик!

— Толик, давай! — подскочил Гай.

— Да идите вы! Какой я артист!

— Не артист, а статист, — разъяснил режиссер Ревский. — Мы тебя вместе с Гаем в ведомость запишем. Гонорар получишь. Лишний он тебе, что ли?

— Толик, давай, а? — попросил Гай. — А то я один боюсь.

— Надо же! Он боится.

Ревский сдвинул брови, сморщил веснушчатую переносицу и с кавказским акцентом закричал на Толика:

— Ты, дорогой, сюда зачем приехал, а?! Катера до вечера не будет, ты здесь что делать будешь? Просто так будешь, да?! Кушать захочешь, думаешь, тебя тут даром кормить будут, да?! Ты спроси, кино когда кого кормило даром, а?

— Грубый шантаж, — сказал Толик. — Экономический нажим и выкручивание рук... Но чтобы никакого грима. Не терплю косметики.

— Только припудрим, — сказала тетя Рая.

Гаю тоже припудрили лоб и нос.

— Чтобы не бликовали, — объяснила тетя Рая. Гай дурашливо морщился и смотрел на Толика.

Толик был теперь в узких серых штанах, в сапогах с отворотами и белой рубашке с кружевами. Талию обматывала пунцовая шаль с бахромой. Поверх рубашки — замшевая безрукавка.

Освободившись от гримерши тети Раи, Гай восхищенно обошел вокруг Толика.

— Ух ты-ы... Ходи так всегда! Это тебе к лицу! «Причина», из-за которой ты вчера застрял в городе, будет без ума.

Толик ухватил хохочущего Гаю за полосатый подол и вяпал

ему ладонью по синему квадрату на месте оторванного кармана. Гай вырвался, отскочил, загремев твердыми башмаками с медными пряжками (эти маленькие, но вполне пиратские туфли отыскала для него Настя). Толик прыгнул следом.

— Стоп! Сохраняйте энергию для съемки! — цыкнул на них Ревский. — Толик, дай гляну на тебя... Тебе для полноты облика нужно оружие. Скажем, пистоль за пояс.

— А мне? — подскочил Гай.

— А вам, князь, ни к чему. Это выглядело бы опереточно. К тому же у вас нет паспорта... Толик, у тебя есть какой-нибудь документ?.. Прекрасно. Пошли!

В тени бизань-мачты на кованом (явно пиратском) сундуке прочно сидел круглолицый парень в плоском беретике и брезентовой куртке (в такую-то жару!). У парня были озабоченные глаза.

— Это Костя, — сказал Ревский. — Толик, дай этому человеку паспорт, и тогда он выдаст тебе кремневую пушку или какой-нибудь «смит-вессон». Но без документа к нему не подходи.

Костя нехотя поднялся с горбатой крышки. И сказал не Ревскому и не Толику, а почему-то Гаю:

— Если всем давать без документов, я бы уже заработал себе приговоров в общей сумме на девяносто девять лет, как в Америке...

Он взял у Толика паспорт и поднял тяжелую крышку.

Батюшки, чего только не было в сундуке! Кинжалы, шпаги с витыми рукоятками, короткие римские мечи, длинные пистолеты с узорными замками, мушкеты с гранеными стволами...

Костя дал Толику двухствольный пистолет с медными завитушками и большим курком-собачкой. У Гая, конечно, руки сами умоляюще потянулись к этой штуке. Костя глянул на Гая и вдруг протянул ему длинный матово-серебристый револьвер.

— На, пощелкай. «Кольт», сорок четвертый калибр. Одна тысяча восемьсот девяностый год... Только в людей не целясь, не полагайся.

— Кому-то, значит, можно и без документа, — поддел Костю Ревский.

— Пацаны — они люди аккуратные, Александр Яковлевич. Я с ними хлопот никогда не имел. А ваш Витя Храпченко вчера толедский кинжал семнадцатого века за борт булькнул. Теперь пускай расплачивается, вещь уникальная...

«Кольт» был увесистый и прохладный. Курок у него взводился с упругой легкостью, барабан при этом поворачивался. Гай шелкал курком, пока Толик не сказал шепотом, что надо иметь совесть. Гай со вздохом протянул револьвер Косте:

— Спасибо.

Костя подмигнул Гаю. На Костином брезентовом рукаве ше-

велилась нашивка — синий квадрат с черным шариком посередине и язычком пламени над ним. Гай тронул нашивку мизинцем:

— Это что означает?

— Означает, что я оружейник и пиротехник на «Ленфильме». Видишь, бомба с горящим фитилем. Точнее, старинная граната...

Как одно слово может все изменить!

Воспоминание о гранате, спрятанной в норе под камнем, сделало радостное утро тусклым и неуютным. Гай отошел и зябко обхватил себя за плечи (левое плечо торчало из прорехи).

«Ну, чего ты!» — сердито и жалобно сказал себе Гай. Однако черная дробина уже забегала по белому фаянсовому дну. Видимо, она-то и шепнула Гаю:

«Сам знаешь чего...»

«Но я же не взял эту проклятую гранату!»

«А хотел...»

«Но я же не взял!»

«А спрятал...»

«Ну, я достану и отдам! — отчаянно поклялся Гай. — Завтра же! Скажу, что нашел, и отдам! — Ему страшно стало, что это утро со всеми радостями и чудесами пропадет совсем! И чтобы умиловить судьбу и убедить совесть, он добавил с сердитой плаксивостью: — Мне вчера за это и так досталось».

«Не выкручивайся, — пробурчала совесть, но уже без прежней непримиримости. — На дракончика ты наступил случайно, с гранатой это никак не связано...»

«Нет, связано, — возразил Гай. — Если бы не граната, я бы в тот раз не вернулся в Херсонес. И не наступил бы...»

«Не выкручивайся, тебе говорят».

«Но я же сказал, что отдам!»

«Смотри...» — Совесть неохотно припрятала дробину в каком-то незаметном уголке, и Гай с облегчением вздохнул. Но прежняя искристая радость к нему уже не вернулась. Он словно избавился от опасности, но опасность эта была еще недалеко...

Ревский хлопнул его по голому плечу:

— Что, князь, невесел, что призадумался? Илиходишь в образ?

Гай осторожно пожал плечом.

КАК ХОРОНЯТ КАПИТАНОВ

Хотя Станислав Янович Ауниньш и утверждал, что кино и порядок несовместимы, в одиннадцать все было готово для съемки. Часть палубы между первой и второй грот-мачтами покраси-

ли водным раствором охры, чтобы не бликовала (как Гаев нос!). Расставили матовые зеркала. Гай изумился: неужели без них мало света? Оказалось, что для цветной пленки — и с зеркалами мало. Включили еще и кинопроекторы.

Курсанты пропустили с нижних реев оба грота, и парусина повисла красивыми фестонами, как на старинных фрегатах.

Карбениев и темный, как мулат, оператор в полосатых плавках и белой кепочке устроились на высокой площадке у камеры. На мостик взбежал тонкий паренек в белой рубашке с распахнутым воротом, встал у поручней, на которых висел круг с надписью «FELIZATA». Сейчас «Крузенштерн» изображал пиратскую «Фелицату», а паренек был главный герой — юный Александр Грин.

У мачты, взявшись за толстенный канат, остановился старик в берете с помпоном и в полосатой, как у Гая, фуфайке. Ревский на ходу шепнул Гаю и Толику, что это знаменитый Симонов, который еще до войны играл Петра Первого в известном фильме. А здесь он играет старого боцмана. У знаменитого артиста было хмурое складчатое лицо. Может, он «вживался в образ»?

А Гай в грустную роль вжиться не мог. Прежней радостной прыгучести в нем не было, но ощущение праздника вернулось. И с веселым любопытством он вертел головой.

Ревский выстроил экипаж «Фелицаты» между мачтами, лицом к борту. Пираты были всякие — молодые и старые, бритые и бородатые, франтоватые и в лохмотьях. В треуголках, беретах, косынках. С пистолетами за широкими поясами. В тельняшках и безрукавках. Но больше всего — в атласных широких голландках с большими воротниками и галстуками, как у детских матросок.

Толик оказался рядом с лысым чернобородым дядькой в дражном камзоле. На глазу у дядьки чернела повязка.

— Я вместе с Толиком, — быстро сказал Гай.

Ревский кивнул. И торопливо предупредил:

— В камеру только не зыркай, смотри на процессию...

Он вскочил на помост к Карбениеву и оператору. И сразу откуда-то сверху громкий голос динамика властно произнес:

— Эпизод «Похороны капитана». Все готовы? Внимание... Дубль первый. Мотор!

Упруго и очень громко ударили из динамика печальные аккорды. Толик положил Гаю руку на плечо. Гай быстро сделал грустное лицо и задервенел. Но музыка тут же выключилась.

— Сто-оп! — сердито завопил динамик. — Какого черта? Локатор в кадре торчит! Замотайте его хотя бы!

Девица-фотограф полезла по скобам к площадке судового локатора, начала обвешивать поручни золотистой фольгой.

Одноглазый пират сказал:

— Так и будем маяться. Не могли с деревянной баркентиной договориться, вроде «Альфы». Здесь не парусник, а «Титаник».

Гай понимал, что локатор на пиратском судне — штука лишняя. Но все равно было досадно, что на «Крузенштерне» кому-то что-то не нравится. Он даже подумал: не сказать ли что-нибудь одноглазому? Но опять прозвучала команда: «Мотор!»

И снова — музыка.

Нет, это был не похоронный марш. Это было вступление к песне, и вот сама песня тяжело растеклась над палубой, над бухтой. Все пространство заполнили сумрачные мужские голоса:

Опускается ночь — все чернее и злей, —
Но звезду в тучах выбрал секстан.
После жизни на твердой и грешной земле
Нас не может пугать океан.

Гай опять застыл, помня, что надо быть печальным. Песня неожиданно надавила на нервы, сердце толкнулось невпопад.

Не ворчи, океан, ты не так уж суров,
Для вражды нам причин не найти.
Милосердный Владыкой морей и ветров
Да хранит нас на зыбком пути...

Шестеро матросов «Фелицаты» — в одинаковых алых блузах и с непокрытыми головами — вышли из-за кормовой рубки. На плечах они держали носилки из шлюпочных весел. Длинный серый тюк на них вызвал у Гая толчок суеверной тревоги. Особенно торчащие, туго обтянутые парусиной ступни. Гай понимал, что там чучело, но легче от этого не было.

Моряки шли медленно и мерно, лишь один споткнулся о протянутый на палубных досках трос — и носилки косо качнулись.

...Тот светло-коричневый, как мебель, длинный гроб совсем не похож был на эти носилки с парусиновым коконом. Но качнулся он в точности так же, когда солдаты споткнулись в воротах. Мертво и беспомощно качнулся... Это было год назад, когда хоронили отставного летчика, жившего в соседнем доме. Сосед был старый, летать кончил еще в тридцатых годах, во время войны служил в каком-то штабе, а потом вернулся в родной Среднекамск. Он был дедушкин товарищ.

У дедушки в те дни тяжело разболелась нога, и он с трудом стоял на тротуаре, опираясь на палку и на плечо Гая. Когда отрывал оркестр и печальная вереница автобусов скрылась за углом, дедушка тихо выдохнул над Гаем:

— Все... Отвоевался наш капитан.

Рука деда больно давила плечо. Гай хмуро спросил:

— Почему капитан? Он же полковник.

— Он для нас был капитан. Когда мы мальчишками морские

бои на пруду устраивали. И потом... Капитан, Мишенька, это такое звание... Иногда главное полковника и генерала...

Гай плохо знал соседа и не чувствовал большой печали. Он тревожился за дела.

— Дедушка, пойдем, тебе вредно стоять...

Потом ногу деду вылечили. Сейчас он ходит бодро, хотя ему семьдесят пять... «Но ведь уже семьдесят пять, — вдруг подумалось Гаю. — И если...»

(А матросы все шли, шли — почему-то очень долго, и Гай уже не разбирает слов песни.)

...Если только ничего не случится с ним, с Гаем, тогда... не очень уж много времени пройдет, и ему придется провожать дедушку... как того капитана...

А потом... Гай в семье самый маленький. Все, кого он любит, старше его. Значит, и они... тоже? И папа, и мама?

Но тогда зачем на свете все хорошее? Зачем солнце, море?..

В Гае не было страха за себя. Но печаль будущих расставаний поднялась к его сердцу, как холодная вода. Печаль и жалость к людям, которым судьба предназначила уйти с земли раньше его...

От тебя, океан, мы не прячем лица,
Подымай хоть какую волну.
Но того, кто тебя не пройдет до конца,
Без упрека прими в глубину...

«Ну, что ты! — перепуганно сказал себе Гай, стараясь унять дрожь подбородка. — Перестань, дурак!»

Что же это будет сейчас! Скандал какой, съемка сорвется! Но не было сил сдержаться, и Гай, мотнув головой, уткнул лицо в локоть Толику.

Он всхлипывал, чудовищно стыдясь этих слез и ожидая, что музыку оборвет гневный радиоголос: «Что там случилось с мальчишкой? Уберите его!» Но песня все звучала в своем рокошущем ритме раскатистой волны. А еще Гай слышал тихие слова. Даже не слышал, а будто чувствовал их сквозь прочную и теплую ладонь Толика, которая прижималась к дрожащему плечу: «Гай... Успокойся, Гай. Ну, перестань, малыш. Не горюй, я с тобой...»

Песня стихла, и голос прозвучал, но совсем не сердито:

— Отлично, ребята! Через десять минут повторим, а пока — все как надо!

Пиратская шеренга распалась, все запереговаривались. Гай стыдливо глянул из-под мокрых ресниц. Но никто на него не смотрел. Лишь Толик сказал вполголоса:

— Ты что расстроился? Представилось, что все всерьез?

Гай не знал, как объяснить, и только дернул плечом.

Подошел Ревский.

— Молодчина, Гай. Врубился. Так и держись.

Это было уже чересчур. Гай оцетинился, готовый сказать, что никуда он не «врубался» и кино здесь ни при чем! Надо вырезать эти кадры из ленты!.. Но он увидел зеленовато-желтые глаза Ревского. Понимающие были глаза и говорили совсем не то, что слова. Гай засопел и уперся взглядом в свои башмаки.

Сняли еще два дубля, и больше Гай, конечно, не плакал. Только с боязливой хмуростью следил исполдобья, как шагают матросы с носилками. Толик, тревожась за него, сказал шепотом:

— Ничего, Гай. Все хорошо...

А что хорошего?

Но настоящей печали теперь не было. Уже пришла успокоительная мысль, что дедушка еще крепок, а здоровые люди живут иногда и до ста пятидесяти лет. И вообще, если что-то когда-то будет в жизни грустное, то очень не скоро... А в парусину зашит легкий пустотелый манекен. Кино — это ведь игра. И Гай теперь старательно играл опечаленного пиратского юнгу.

Играл, видимо, неплохо, потому что Ревский в перерыве снова сказал, что Гай молодец. Серьезно так сказал. И Гай наконец нерешительно улыбнулся.

После съемок обедали. Операторы, режиссеры, помрежи, осветители и гримеры вперемешку с актерами расположились группами кто где (лишь бы тень была). Толика и Гаю Ревский позвал в компанию, где оказались знакомые: художник-постановщик Игорь Васильевич, оружейник Костя и одноглазый пират, что стоял во время съемок рядом с Толиком.

Гай поглядывал смущенно и виновато. Стыд за неожиданные слезы все еще сидел в нем. Но, впрочем, в стыде этом не было тяжести, потому что в слезах не было вины. Гай хотел только, чтобы никто не вспоминал про это и не расспрашивал.

Никто ничего и не сказал. Многие, наверно, и не заметили того случая. Другие, возможно, решили, что так и полагалось. А если кто-то о чем-то догадался, то, спасибо ему, не подал вида.

Изнемогшая от жары тетя Рая принесла бачок с курсантским рассольником, но на нее замахали руками: никому не хотелось горячего. Появились откуда-то помидоры, булки, вываленная в укрепе вареная картошка, копченая скумбрия, бутерброды и бутылки с минеральной водой (Гай взял одну и вздрогнул от удовольствия: какая холодная; где, интересно, хранили?).

Рыбьего хвоста, картофелины и двух помидоров Гаю хватило, чтобы осоловеть от сытости. Но тут Костя выкатил на брезент арбуз. И показал Гаю нож с зеркальным волнистым лезвием:

— «Человека-амфибию» смотрел? Это нож Ихтиандра.

— Ух ты-ы... — Гай понял, что чудеса продолжаются и день по-прежнему хорош.

После арбуза Гай в поисках заведения, именуемого флотским термином «галльон», заблудился внутри «Крузенштерна» среди коридоров и трапов. Повстречались два курсанта, узнали, что Гай из киногруппы, а не просто так болтается по судну, и со смесью покровительства и уважения показали все, что нужно. Устроили Гаю экскурсию по длинным кубрикам с двухъярусными койками и подвесными столами, заглянули с ним в кают-компанию и на камбуз и даже, испросивши разрешения у механика, стаскали Гаю в «машину». Здесь, среди гладкой блестящей меди, изогнутых труб и запахов смазки, тоже было интересно. Только о парусах уже ничего не напоминало. И Гай наконец с удовольствием выбрался к солнцу, под гигантские мачты.

Перепуганный и злой Толик ухватил его за шиворот:

— Где тебя носило?

Гай, вертя шеей, объяснил. Толик дал ему легкого леща, велел быть рядом и спросил подошедшего Ревского, нельзя ли вставить в фильм сцену, где беспутного юнгу дерут линьками.

Ревский улыбнулся Гаю и сказал, что, к сожалению, нельзя: не позволяет лимит пленки. Юнгу еще придется снимать на вантах, под распущенными парусами, когда он кричит матросам долгожданную весть: «Остров! Вижу остров!» Это будет во какой финал фильма! С Карбеным уже договорились.

Слово «остров» отозвалось в Гае сладким и тревожным эхом. И он не подскочил, не завопил от радости, а спросил тихо:

— Сегодня?

— Ну, что ты, дорогой, где сегодня? Это надо снимать на ходу, в плавании. Дня через три...

— Шурик, ты спятил? — возмутился Толик. — Я, между прочим, в этом городе на работе!

Но Ревский сказал, что снимать будет не Толика. Его роль уже сыграна и, безусловно, войдет в историю мирового кино. А Гаю на сутки придется выйти с киногруппой в море. Ничего с ним, с Гаем, не случится, смотреть будут в десять глаз. А Толик пускай спокойно сидит в лаборатории и конструирует свои хитрые аппараты во славу отечественной науки...

— Ага, буду я сидеть спокойно, когда он шастает по вантам!

— Разве лучше, когда князь Гаймуратов один шастает по окрестностям? — ехидно спросил Ревский. Толик вздохнул.

При мысли о плавании под парусами радость Гаю стала настолько громадной, что даже как-то придавила. Он отошел к фальшборту и сел в узкой тени. И с полчаса был такой — съжившийся и присмиривший. Боялся: не захочет ли судьба уравновесить его счастье каким-нибудь печальным случаем? Потому что в жизни всегда все перемешано, а сегодня что-то слишком

много навалилось на Гаю одних только счастливых неожиданно-стей.

Хотя нет, не только. Мысли его о горьких расставаниях и слезы — это, может быть, и есть та черная гирька, чтобы уравнять на весах радость и печаль? А воспоминание о гранате!

«Ну, чего ты? Чего ты опять?» — сказал себе Гай.

Все-таки радостей было не в пример больше. Гай привалился к фальшборту, вытянул на горячее солнце ноги и закрыл глаза. Кричали чайки...

В четыре часа опять началась съемка. Но уже без Гаю, без шеренги пиратов. Снимали только тех шестерых. Как они подходят к борту и зашитый в парусину капитан с привязанным к ногам ядром скользит с носилок, чтобы скрыться в пучине.

На самом деле в пучине он не скрывался. Внизу у борта стояла шлюпка с курсантами, они ловили манекен. Сцену снимали трижды, и всякий раз из шлюпки долетали сердитые вопли: чувело было увесистым, ядро, хотя и деревянное, — крепким.

Теперь Гай смотрел на похоронный обряд спокойно. Прежняя печаль еле заметным осадком еще лежала на душе, но грустных мыслей не было. И Гай наконец разобрал последние строки песни:

После тысячи миль в ураганах и тьме
На рассвете взойдут острова.
Беззаботен и смел там мальчишечий смех,
Там по плечи густая трава.

Мы останемся жить навсегда-навсегда
В этой лучшей из найденных стран.
А пока среди туч нам сияет звезда —
Та, которую выбрал секстан.

«Опять про острова», — подумал Гай. В этих совпадениях с его собственной сказкой чудилась счастливая примета...

Пираты сдавали Косте оружие. Гаю довелось подержать две кривые сабли и пощелкать курками трех пистолетов. Девица-фотограф по имени Иза (то есть Изольда) сняла его одним из многочисленных аппаратов, когда он стоял с саблей под мышкой и «кольтами» навскидку. Обещала карточку.

Подошел одноглазый пират. Оказалось, что это и есть Витя Храпченко, утопивший толедский кинжал. Витя отщипил бороду, сдвинул на лоб повязку и сказал, что кинжал вот он. Витя его не топил, а только сделал вид. По просьбе курсантов. Они надеялись, что начальство разрешит понырять за пропажей, но

старпом даже думать об этом запретил: глубина-то больше пятнадцати метров. Костя сказал, что за такие шуточки Вите следует «выставить глаз всерьез». Витя заржал...

День, словно спохватившись, что был длиннее всяких пределов, поспешно сменился вечером. Солнце светилось красной медью и быстро съезжало к сизой облачной полоске над морем у Константиновского равелина. С топотом выбегали и выстраивались курсанты. Когда солнце совсем утонуло в дымке, на военных кораблях негромко и слегка печально заиграли трубаچی — сигнал «спуск флага». Красный флаг «Крузенштерна», хотя и без сигнала, тоже пополз с кормового флажштока. Гай торопливо встал прямо. Конечно, он стоял в стороне от курсантского строя, но флаг «Крузенштерна» был теперь немного и его флаг.

Гая окликнула Настя. Велела сдавать казенное имущество: башмаки и фуфайку. Гай с сожалением переоделся. А катер все не приходил. Небо стало совсем ночным. Круглая луна, которая недавно была почти незаметной и розовой от смущения, засияла, как прожектор. Палуба отливала желтым светом, рубки волшебнo белели. От мачт и снастей падали четкие тени.

Гай вдохнул освеживший воздух с запахом моря и корабля, с лунным светом, и на миг показалось, что все ему снится. Он подошел к Толику и Ревскому, которые беседовали у фальшборта. Толик молча притянул Гая к себе. Ревский сказал:

— Накладок сегодня кошмарное количество. Но с Гаем получилось здорово. Лучшие кадры.

Гай съезжил плечи.

— Не надо эти кадры. Выключите их из картины...

— Да ты что! Зачем?

— Ну... — Гай ощутил, как опять царапнулись в горле слезинки. — Потому что это не так...

— Что не так, Гай? — осторожно спросил Ревский.

— Потому что... нечестно. Я не про этого капитана думал...

— Я понял, — мягко проговорил Ревский. — Конечно, ты думал не про эту куклу на носилках. Про что-то свое... Но ведь горе-то не бывает нечестным. Люди будут смотреть этот фильм, и, может, каждый вспомнит какую-то свою печаль. На то, брат ты мой, искусство и существует. Согласен?

— Не знаю, — вздохнул Гай.

Толик сказал:

— У меня, по правде говоря, тогда тоже в горле заскребло.

Гай поднял глаза: правда?

— Вспомнил, как в детстве про лейтенанта Головачева читал, — задумчиво объяснил Толик. — Как его хоронили на острове Святой Елены. А потом про Курганова...

— Ты о чем это? — спросил Шурик.

— А помнишь ту папку, с которой вы меня поймали? Ну, в первый день знакомства... Я тащил рукопись для перепечатки...

Толик стал рассказывать Ревскому то, что Гай уже знал (знал, а все равно интересно слушать). Гай стоял рядом, и ему было хорошо, только слегка покачивало на гудящих от усталости ногах. Вдруг заныл в ступне вчерашний ядовитый укол. Гай сбросил незашнурованный кед и поставил ногу на теплую черную тень на досках палубы. Боль угасла.

— ...Такие вот совпадения: и тогда Крузенштерн, и сейчас. И снова встреча... — сказал Толик.

— Это хорошо, что снова, — тихо отозвался Ревский. — Это даже представить невозможно, как здорово... А то ведь...

— Да... А знаешь, Шурик, эта рукопись была для меня тогда не просто повесть. Она... ну, как бы часть жизни. Я все, что читал в ней, на себя прикидывал. И она помогла мне в те дни... Ну, после той истории, когда я сбежал от вас в походе... Как вспомню этот случай, тошно становится. До сих пор...

Шурик спрятал серьезность под шутивным полувопросом:

— Наверно, сейчас инженер-конструктор Нечаев уже не боится гроз...

Гай почувствовал невидимую в тени улыбку Толика.

— Да и ты, Шурка, не тот. Внешне все такой же, а характер... Посмотрел я, как ты тут командуешь, подумал: «Где тот мальчик в матроске?»

— В нашем деле иначе нельзя, пропадешь... Но мальчик во мне, внутри, — без улыбки сказал Ревский. — Я с ним иногда советуюсь, если трудно.

Подошел Женя Корнилов — тот паренек, что играл Грина.

— Почему это катера до сих пор нет? Потонул?

— Не ворчи, старик, — сказал Ревский. — Я заметил, что ты сегодня вообще не в ударе. Крупные планы придется переснимать. Не оставишь свою меланхолию — разжалуем в юнги. А в новые капитаны выберем вот его, — он хлопнул Гая по спине.

Женя ответил как-то излишне серьезно:

— Не выйдет. Его время еще не пришло. Сперва пришлось бы похоронить меня, а до этого далеко... Вон катер стучит...

До причала ГРЭС было ближе, чем до города, но ведь не станешь просить, чтобы ради двух пассажиров катер делал крюк почти в три мили.

Пришлось ехать с киногруппой до Графской пристани, а от туда уже рейсовым инкерманским катером домой.

Толик и Гай сидели на корме. Гай почти спал, прислонившись к твердой спинке скамьи. Но когда опять проходили мимо «Крузенштерна», он подскочил и шагнул к борту.

Парусник, черный на фоне лунного неба, казался безлюдным и таинственным. Луна без остановки прокатилась через его четыре мачты и густой такелаж. Это был как бы еще один кадр в бесконечном фильме сегодняшнего дня. Гай вздохнул устало и благодарно.

Толик встал рядом.

— Все хорошо, Гай, да?

Гай кивнул. Толик сказал неуверенно:

— Немного обидно только, что не повидал я нынче одного человека... Ну, он знает, что сегодня я мог и не прийти.

— А эту... человека как зовут? — сонно пошутил Гай.

Толик молча взъерошил ему затылок.

— Зато ты с Шуриком своим повстречался, — сказал Гай.

— Это самое главное. Подарок судьбы... Мы и знали-то друг друга с ним недолго, одно лето, а вот осталось это на всю жизнь... А расстались тогда мы по-обидному, чуть до драки дело не дошло.

— Из-за чего?

— Не умели до конца стать друзьями. Третий мешал...

— Не умели, а говоришь «друг детства»...

— Сейчас-то ясно, что друг. И знаешь — будто камень у меня с души...

— По-моему, и у него, — сказал Гай.

— Наверно... Некоторые считают, что в детстве все будто игрушки. Беды, мол, ненастоящие, обиды пустяковые. И вообще будто детство — время несерьезное. Ты этим дуракам не верь.

Гай пожал плечами. Верить дуракам он не собирался. Как он мог считать несерьезной всю свою жизнь?

ПЕСТРЫЕ ДНИ

Следующие сутки показались Гаю длинными, как целое лето.

Утром Толик сказал:

— Мишель! Я сдаю тебя на поруки режиссеру Ревскому. Мы договорились вчера. Днем у меня совещание с моряками, а вечером...

— Личная жизнь.

— Именно. Я иду в театр и вернусь только ночью. Чтобы ты не изводился и не дрожал от страха в одиночестве, переночуешь у Шурика в гостинице.

Ликуя в душе, Гай все же яростно возмутился:

— Кто дрожит от страха в одиночестве? Да я за тебя боюсь, когда ты где-то болтаешься допоздна!

— За меня?! А что может случиться со мной?

— А со мной? Ты за меня все время трясешься, а я за тебя не должен?

— Ну... — сказал Толик потише. — Я уже большой мальчик.

— Думаешь, с большими никогда ничего не случается?

— Со мной ничего не случится, — пообещал Толик. — А ты на судне не болтайся в неположенных местах и старайся не мозолить глаза Станиславу Яновичу.

— Хм... — сказал Гай.

День Гай провел чудесно. Сначала он помогал чистить тонкие трехгранные шпаги оружейнику Косте и между делом шелкал курками мушкетов и пистолетов всех систем. Потом смотрел, как снимается эпизод «Спор о капитане». Дело в том, что на «Фелицате» после смерти старого капитана команда разделилась на две враждебные группы. Одна — со штурманом Дженнером, другая — с лейтенантом Реджем. Шел отчаянный спор: кого ставить новым капитаном. Казалось, дело вот-вот дойдет до ножей и пистолетов (они уже поблескивали в руках матросов). Но Женька (тот, что юный Грин и он же юнга Аян) бросил свой пистолет на палубу и заговорил — о том, что корабль один, путь в океане длинный, и если люди всерьез хотят бросить неверное и бесчестное пиратское ремесло и отыскать дальний желанный остров, надо не волками смотреть друг на друга, а помнить о морском товариществе. Иначе — лучше уж сразу спуститься в трюм и пробить в днище дыры.

В трюм никто не пошел, а смелого Аяна обе группы выбрали капитаном.

...Потом фотокорреспондент «Ленфильма» Иза попросила Гая помочь ей отпечатать снимки. Печатали в железной кладовке, где у стен лежали спасательные жилеты. Там стояла жара от горячего глянцевателя и от солнца, которое снаружи разогрело стену рубки. Но снимки были интересные — с разными сценами из фильма, с «Крузенштерном» на якоре, с картинками из корабельной жизни. Гай увидел и себя. Сначала — как он развлекается пистолетами, а затем — в шеренге с матросами, рядом с Толиком (слава Богу, еще до той минуты со слезами). А потом — на палубе, с громадным ломтем арбуза у рта. Иза сказала, что подберет Гаю на память целую пачку карточек. Благодарный Гай старался вовсю — выхватывал из воды мокрые фотографии и лихо накатывал их на горячую жезть глянцевателя. А Иза мурлыкала:

Вне цивилизации,
Вне культурных зон
Без жены, без рации
Жил-был Робинзон.
Не имея сведений
О людских делах,
Проживал безбедно он,
Но однажды — ах!..

Напевала Иза только этот куплет. Проявит снимок, со словом «ах» кинет его в фиксаж и начинает песенку снова. Гай наконец собрался спросить: что же случилось с простодушным Робинзоном? Но открылась дверь, и под негодующие Изины вопли о засвеченной бумаге Ревский сказал:

— Мон шер принц! Адмиральская гичка у трапа. Окажите честь своим участием в общем скромном обеде... Изольдушка, ты едешь с нами? Оревуар... — И нагнулся, уклоняясь от пушениго в него резинового валика.

Ну, это было зрелище! Чтобы не тратить время на переодевание, актеры поехали обедать прямо в пиратских костюмах. Бородатые, в косынках, в пестрых фуфайках и блузах. Да и те, кто сегодня в съемках не участвовал, выглядели не менее живописно. Гай шел между братьями Карповыми — Володей и Сашей. Оба еще совсем молодые, как Толик, но для съемок отрастили волосы до плеч и густые бороды — настоящие, не то что у Вити Храпченко. Карповы шли в мятых белых шортах и расписных рубахах, завязанных узлами на животе. Когда шагали от Графской пристани к ресторану-веранде «Волна» на Приморском бульваре, прохожие открывали рты, и Гай мучительно досадовал, что не попросил у Насти свою полосатую фуфайку.

Две седые интеллигентные старушки печально посмотрели на братьев Карповых, и одна внятно сказала:

— До чего дошло. Священнослужители, а одеты как дети малые. Срам...

— Вас приняли за дьяконов, — хихикнул Гай.

— Старая женщина недалеко от истины, — солидно сказал Володя. — Мы почти что священнослужители. Жрецы искусства...

Второй «жрец» довольно погладил бороду.

После обеда Гай притерся к группе курсантов, которая на баке занималась с морскими инструментами. Сперва скромно стоял поодаль, но ему подмигнули, и он осмелел. Здесь Гай увидел наяву, что такое секстан, о котором он раньше читал в книжках и слышал во вчерашней песне. Молодой штурман-преподаватель и курсант Алик дали Гаю заглянуть в окуляр секстана, посмотреть на солнце. Сквозь коричневый фильтр солнце казалось вишневым шаром. Вдруг оно раскололось вдоль, и одна половинка поползла вниз: это Гай двинул рычаг с зеркалом — алидаду...

Потом Гай увидел капитана. Первый раз. Коренастый мужчина с седыми висками и коричневым лицом, в кремовой тужурке с орденскими планками, в тяжелой фуражке с золотыми листьями на козырьке прошел вдоль борта и спустился по трапу на катер. Проходя, он задержал взгляд на Гае, и тому захотелось, как вчера перед вахтенным штурманом, встать по стойке смирно.

Затем Гай встретил Станислава Яновича — когда с курсантами Аликом и Фелей ходил в учебную рубку, чтобы посмотреть морские карты. Весело поздоровался.

— Осваиваешься? — спросил первый помощник.

— Так точно... Но, куда нельзя, я уже не суюсь, — с насмешливой скромностью сообщил Гай.

— Зато суешься, куда только можно. Так? — усмехнулся Станислав Янович.

...Вечером поужинали в «Волне» и пошли купаться на городской пляж — здесь же, на набережной. Были уже сумерки, стало прохладно, и вода оказалась гораздо теплее воздуха. Когда раздеваешься — забько, а нырнешь — как в теплое молоко...

В гостинице Гая устроили на выпрошенной у горничных раскладушке, в номере, где жили Ревский и оператор по имени Сергей. Гай уснул стремительно, спал без всяких снов и утром поднялся только после ощутимых толчков Ревского.

К причалу они с Ревским пришли, когда вся группа была уже там. Ждали катер, который, естественно, запаздывал. Карбенов ходил к диспетчеру и ругался. Иза тренькала на гитаре. Гай опять хотел спросить о судьбе Робинзона, но почуял чей-то взгляд. Затылком ощутил. Обернулся.

Шагах в пяти от него, прислонившись к трубчатому поручню пирса, стояла девочка. У Гая затеплели уши — от радости, смущения и виноватости. Это была Ася.

Гай быстро подошел и потупился.

— Здравствуй...

Она тоже сказала «здравствуй». Тихонько.

— Ты здесь... чего? — ошипнув от неловкости, глупо спросил Гай. — Так просто?

— Так просто. А ты позавчера... не поехал в город?

Гай со всей полнотой ощутил, какая он свинья. Ни позавчера, ни вчера, ни сегодня, закрученный корабельной радостной жизнью, он не вспомнил об Асе. То есть воспоминания мелькали, только без всякой связи с их разговором: «Вы каким катером приезжаете?» — «Обычно в восемь сорок пять...»

А разве это не договоренность о встрече была? Ася, конечно, и позавчера, и вчера приходила на пристань. А он...

— От меня ничего не зависело, — беспомощно пробормотал Гай. — Потому что так получилось. Я на «Крузенштерне»...

— Где?

Она совсем не сердилась. Только радовалась, что встретила его, и немного смущалась. Гай приободрился. Отодрал от ослепленного уха лоскут кожи и объяснил, хмуро усмехаясь:

— В артисты записали. Вон к ним...

Он рассказал все, что случилось за эти два дня. И все в рассказе было правдой, только невольно получалось, что он, Гай, и рад был бы оказаться на берегу в нужное время, да не было никакой возможности. Впрочем, сейчас Гай верил в это сам.

— Ты счастливый, — вздохнула Ася. — Я всю жизнь у моря живу, а на паруснике никогда не была.

Гай решительно взял ее за руку и повел к Ревскому.

— Александр Яковлевич, это Ася.

— Вижу, — вздохнул Ревский, — что не Петя и не Гриша. Здравствуйте, мадемуазель...

Ася стояла перед ним тоненькая, прямая и серьезная.

Гай смотрел Ревскому в глаза.

— Я понял, — печально сказал Ревский. — Если я отвечу «нет», то что? Ты заявишь мне, что в таком случае и ты остаешься на берегу. Так?

— Ага! — весело согласился Гай.

— А я до четырнадцати ноль-ноль отвечаю за тебя головой и, естественно, оставить не могу. Пользуясь этим обстоятельством, ты меня вынуждаешь идти на уступки и зарабатывать себе новые неприятности. Это недостойный прием. Единственно, что тебя оправдывает, это некоторое благородство цели...

— Значит, можно?! — возликовал Гай.

— Но мадемуазель Ася должна иметь в виду, что обратный катер будет лишь в обед.

— Это ничего, — сказала Ася.

Когда шли на катере к барку, Гай успел рассказать Асе про «Летающих «П», а затем о мореплавателе Крузенштерне, о рукописи Курганова и о капитан-лейтенанте Алабышеве. Наверно, не очень толково он рассказывал, сбивчиво, но Ася не перебивала. Гаю нравилось, как она слушает, и вообще он был счастлив, что случилась такая встреча и что они вместе едут на «Крузенштерн». С запоздалым испугом он думал, что могли ведь и не встретиться. Но испуг быстро проходил, и оставалось только радостное возбуждение. И он говорил, говорил — бестолково, но весело.

А Ревский, сидевший неподалеку, вдруг сказал:

— Прямо роман.

— Это вы о чем? — подозрительно спросил Гай.

— Это я о пропавшей рукописи. Вчера, когда Толик рассказывал, я как-то не особенно вник. А сейчас...

Полдня промелькнули в пестроте, солнце, суете съемок и путешествии по громадному барку. Гай смело «совался, куда только можно», и таскал за собой Асю. И везде их встречали по-хорошему. И он почти не выпускал Асину руку...

В половине второго киношно-пиратская компания погрузилась на катер и отправилась обедать. На пирсе Гай увидел Толика.

— Толик, это Ася... Ну, как погулял?

Толик шелкнул его по носу.

Подошел Ревский.

— Толик! Такое дело. Хочешь выступить в роли миротворца крупного масштаба?

— С Гаем поспорились? — испугался Толик.

— Бог с тобой! Дело в другом. Ты заметил, наверно, что наши отношения с моряками несколько шероховаты. А?

— Еще бы...

— Вообще-то моряков понять можно. График, рейсы, курсанты, а тут еще на их головы свалилось кино...

— Шурик, я-то при чем?

— Выступи перед курсантами с лекцией, а? Мы проведем это как мероприятие, организованное киногруппой. Умаслим Ауниньша, отвечающего за воспитательную работу...

— Шурик, ты рехнулся?

— Да нет, ты меня послушай...

— Вы — артисты. Почему вам самим не выступить?

— Да мы уже всем там глаза намозолили. А твоя лекция...

— О, Аллах! Какая моя лекция?

— О Крузенштерне, о той рукописи. Понимаешь, это связано с названием судна, с историей. Это для курсантов было бы самое подходящее... Толик! Две студии — «Молдова» и «Ленфильм» — поставят тебе на своей территории гипсовые бюсты.

— Иди ты...

— Мраморные... Бронзовые, черт побери!

— Шурик, ты за эти годы поглупел. Я тебе кто? Лектор общества «Знание»? Я понятия не имею, как выступают перед людьми!

Ревский наклонил набок курчавую голову.

— Он «не имеет»... На всяких симпозиумах выступать может, на конгрессе в Монако (знаю, знаю!) сумел. А здесь, видите ли...

— Там я о деле говорил. О своей работе. К тому же у меня текст был читанный-перечитанный и многократно утвержденный, если хочешь знать. Я готовился месяц!

— Здесь тоже подготовишься. У тебя целых два дня.

ЛЕКЦИЯ ПОД ГРОТ-МАРСЕЛЕМ

Вечер был темный, теплый и тихий. На барке, посреди бухты, слышно было, как трещат на берегу цикады.

На нижнем марса-рее второй грот-мачты распустили парус. Два прожектора уперлись в него широкими лучами. Марсель

сделался похож на громадный киноэкран и отразил на палубу мягкий свет.

Между грот-мачтами, на верхней палубе, которую здесь называли спардеком, собралось человек сто пятьдесят. В основном курсанты, но были и актеры, и матросы, и штурманы. Большинство сели прямо на доски, кое-кто устроился на планшире ограждения, а иные — даже на спасательных шлюпках.

Ася и Гай примостились на поручнях, где начинался ходовой мостик. Рядом уселись Иза и Ревский. Толик вышел к нактоузу главного компаса. Перед этим он сказал Ревскому:

— Ну, Шурочка, втравил в историю... Я тебе припомню.

— Держитесь, юноша, — отвечивал Ревский. — Вспомните концерт в саду на Ямской. Там было страшнее.

— А что за концерт? — сунулся Гай.

— Будущий исследователь океанов читал там свои стихи.

— Про Крузенштерна?

— А! Ты знаешь... Ну вот, будем считать, что сейчас продолжение той же программы. — Шурик говорил шутливо, но, кажется, тоже волновался.

Выступление начал не Толик, а Станислав Янович:

— Товарищи, я хочу представить нашего гостя. Это инженер-конструктор Анатолий Сергеевич Нечаев. Кандидат технических наук. Специалист по аппаратам для глубоководных исследований. Он здесь, в этом городе, в связи с испытаниями новой техники... Анатолий Сергеевич — руководитель группы, которая ведет испытания. Как мне объясняли... — Ауниныш глянул на Толика, — в научном мире такое явление — почти уникальное. Это все равно что вы видели бы перед собой тридцатилетнего адмирала... — Он заметил движение Толика и торопливо сказал: — Но речь не об этом. О своей работе Анатолий Сергеевич расскажет в другой раз. Сегодня мы попросили товарища Нечаева рассказать о Крузенштерне. О знаменитом адмирале, чье имя носит наше учебно-парусное судно. Анатолий Сергеевич с детства интересовался биографией мореплавателя и знает много интересного... — Толик опять сделал нетерпеливое движение, и Ауниныш быстро закончил: — Впрочем, слово нашему гостю!

Все зааплодировали, и Толик, съезжив плечи, дождался, когда стихнут хлопки. Потом кашлянул и сказал негромко:

— Тут определенная путаница...

— Погромче, пожалуйста! — сразу крикнули с дальней шлюпки.

Толик оглядел всех, кто сидел близко и поодаль. И вдруг заговорил уже иначе — звучно и слегка сердито:

— Видимо, придется начать с разбора путаницы!.. Станислав Янович сравнил меня с адмиралом. Это не так. Если сравнивать научные чины с военными, должность моя не больше, чем капи-

танская. И далеко не первого ранга... Впрочем, Иван Федорович Крузенштерн, когда совершал кругосветное плавание, тоже был не адмиралом, а капитан-лейтенантом... Нет, я это не для сравнения говорю, а так, для связи, что ли. Чтобы перейти к Крузенштерну...

Но тут опять недоразумение. Получилось, что я вроде бы какой-то исследователь биографии мореплавателя. Ничего подобного. Конечно, я интересовался, читал, но многого не знаю до сих пор... Вот, например, известно, что Крузенштерн, когда его назначили начальником экспедиции, вовсе этому не радовался. Потому что недавно женился и жена ждала ребенка. Про это во многих книжках написано. А дальше о его семейных делах — никаких сведений... Неожиданно наткнулся я у Жюль Верна: он в своем трехтомном труде «Открытие земли» описывает плавание Отто Коцебу на шлюпе «Предприятие» и сообщает, что с ним шел старший сын Крузенштерна. Откопал я эту книгу (она почти полтора века назад выпущена), в ней список участников экспедиции, но никакого Крузенштерна в списке нет. Есть Головин — видимо, сын другого знаменитого капитана. Скорее всего, Жюль Верн перепутал...

Да, но, кажется, я начал не с того. Начать, пожалуй, надо с города. С Севастополя... У меня с Севастополем связано в жизни очень многое. В августе сорок второго здесь погиб мой отец, ротный политрук Нечаев. Приморская армия тогда из последних сил отбивалась от немцев на Херсонесском полуострове. Рота должна была идти в контратаку, в это время в одном взводе убило командира. Говорят, командир роты попросил политрука заменить взводного. Ну, отец побежал к тому взводу через открытую площадку, а ему под ноги — мина... Вот такая история. Обычная для той войны и для Севастопольской обороны...

Толик замолчал, было слышно, как дышат люди, жужжат прожекторы и стучит движок рейсового катера. Толик сказал:

— Конечно, отец мог погибнуть и в другом месте, война есть война. Но такая уж судьба. А потом пришлось приехать сюда мне... Но меня привязала к Севастополю не только память об отце и работа. Еще и Крузенштерн, хотя он никогда не бывал здесь. То есть не сам Крузенштерн, а повесть о нем... В общем, так. В сорок восьмом году в городке Новотуринске жил-был человек...

И дальше Толик стал рассказывать то, что Гай уже знал: о Курганове, о Российско-Американской компании, о Крузенштерне и Резанове. О Головачеве. Об истории с машинкой. Гай слушал уже не очень внимательно. То есть слушал, но и кругом смотрел — вбирал в себя этот вечер: смутно-черные громады мачт, уходящие к звездам; огоньки на берегах; светящиеся складки грот-марселя; доносящееся с мыса Голландия швирканье ци-

кад, ровные шумы рейда, запах морской соли и палубных досок. Дыхание Аси... И голос Толика был частью этого всего.

Гай встрянулся и стал слушать внимательней, когда из заднего ряда сидящих поднялся высокий курсант.

— Скажите, — ломким и дерзким голосом начал он, — а зачем все это надо было писать? Про историю с Головачевым, про ссоры? Какое это имеет значение?

— Значение — для кого? — напряженно спросил Толик.

— Вообще! Для всех нас! Мы знаем, что Крузенштерн и Ли-сянский обошли вокруг света, первые из русских. Это важно. А не все ли равно, что там у них было, какие подробности жизни?

Гай опять услышал в тишине жужжанье прожекторов.

Толик отчетливо и неторопливо сказал:

— Иногда бывает невозможно на один короткий вопрос дать столь же лаконичный и однозначный ответ...

— Ага! Одному дураку иногда сто мудрецов не ответят! — донесся со шлюпки веселый, совсем мальчишечий голос.

— Нет, — сказал Толик, — я не хотел никого обидеть. Вопрос действительно сложный... Зачем об этом писать?.. Зачем нам вообще детали прошлой жизни? Сразу и не скажешь. Ну, наверно, для того, чтобы знать всю правду. Чтобы знать не только *что* было, но и *как* было. Какой ценой, какими путями... Наверно, для того, чтобы ошибок не повторять... Вот про последнюю войну сколько книг написано? Наверно, тысячи. Вся ли правда в этих книгах? Я помню, мы еще студентами об этом спорили. Одни кричат: «Зачем писать об ошибках? Главное, что победили, до рейхстага дошли, этим все сказано!» А другие: «А сколько времени шли! А сколько миллионов полегло! Почему сперва «шли» до Москвы, а потом уже обратно? А если снова начнется, опять, что ли, так же будем?! Кто виноват?..» Вот и здесь, в Севастополе... Тут про каждого человека, который дрался, можно, наверно, книгу писать. Каждый был героем. Но разве не лучше было бы, если бы этих героев больше осталось в живых? Когда фашисты прижали их к Херсонесским обрывам, сколько погибло потому, что не продуман был план эвакуации?.. Не кашляйте, Станислав Янович, это грустные факты, но это факты, и ребята должны их тоже знать...

— Я кашляю не из-за грустных фактов и считаю, что вы все говорите правильно, — отозвался первый помощник. — Но меня беспокоит курсант Коровин, который вон там, сзади, тянет руку. Курсант Коровин имеет привычку задавать вопросы с единственной целью — поставить говорящего в тупик и развлечь слушателей.

— Ничего, пусть спрашивает! — запальчиво разрешил Толик.

— Я никого не хочу развлекать, — сообщил Коровин унылым

баском. — У меня серьезный вопрос. О Головачеве. Чего его дернуло стреляться-то? Наверно, у него любимой девушки не было...

По слушателям побежали смешки. Но Коровин повысил голос:

— Чего сразу «ха-ха»? Ждала бы любовь его на берегу, он бы прежде всего про нее думал, а не хватался бы за пистолет. Ну, подумаешь, с офицерами у него нелады пошли! Ну, Резанов его забыл! А больше, что ли, никого у него на свете не было?

Смешки опять пробежали и сразу угасти. Толик сказал:

— Смешного ничего нет. Курсант Коровин прав...

— У него опыт! — выкрикнул кто-то, и послышалась короткая возня. Зашикали.

— Ну и хорошо, что опыт, — усмехнулся Толик. — А была ли у лейтенанта Головачева любимая девушка, я не знаю. И, наверно, никто на свете сейчас не знает... Но если даже не было девушки, были родители, братья. Они — тоже любимые люди, родные. И думать о них Головачев был обязан... Видимо, у Головачева беда вытеснила из души все остальное — в этом его вина... Но Арсений Викторович Курганов писал свою повесть не для того, чтобы на ком-то поставить штамп: «Виноват». Он, по-моему, просто хотел разобраться и понять...

— Значит, он и Резанова не обвинял? — послышался вопрос.

— Он вовсе не показывал его злодеем... Наверно, если бы Резанов предвидел гибель Головачева, он бы ужаснулся. Наверно, сделал бы все, чтобы его спасти...

Поднялся кто-то из артистов (Гай не знал его имени).

— Анатолий Сергеевич! А вы уверены, что лейтенант Головачев покончил с собой, потому что его бросил Резанов?

Толик помолчал.

— Я-то уверен, — сказал он медленно. — Когда я читал повесть, я был в этом убежден... Другое дело, что я не смог пере-сказать вам ее убедительно. Это моя вина, а не Курганова.

— Ну, допустим, это было написано убедительно, — возразил актер. — Но *так ли* это было на самом деле? Может быть, это лишь точка зрения автора?

— Ну... возможно... — Толик, кажется, пожал плечами. — Тут уж, видимо, законы искусства действуют, вы в них больше разбираетесь... Например, историки говорят, что Сальери вовсе не травил Моцарта. Но Пушкин написал, и миллионы людей это приняли за истину...

— А какое право он имел зря на человека писать? — раздался звонкий голос.

— Это уж вы Пушкина спросите, — ответил Толик довольно резко. Потом объяснил помягче, словно извиняясь: — Он же не сам все это придумал, отталкивался от какой-то версии, легенды... Пушкину главное было показать, что зависть и злодейство

с гением несовместны... Так, кажется, эту трагедию объясняют?.. А Курганов, по-моему, хотел в случае с Резановым и Головачевым показать, как губительно равнодушие. И как равнодушные переходят в измену... И должен сказать, что линия отношений Головачева и Резанова, как она была описана у Курганова, кажется мне убедительной с исторической точки зрения. Например, эпизод с бюстом строго документален. Головачев действительно заказал свой бюст у резчика-китайца и завещал этот деревянный портрет Резанову. «Бюст мой старшему по чину принадлежит». Тут и прощание, и упрек, и намек на то, что он, Головачев, именно Резанова, а не Крузенштерна считал начальником экспедиции и потому теперь пьет свою горькую чашу... Конечно, с этой версией можно спорить. Но она, по крайней мере, больше подтверждена свидетелями, чем история Сальери и Моцарта у Пушкина...

— Но Курганов — это все-таки не Пушкин, — сказали из толпы. Без насмешки, даже сочувственно.

— Разумеется, — согласился Толик. — И вообще, я сейчас не могу судить, какой был литературный талант у Арсения Викторовича. Я был мальчишкой. Но тогда повесть меня захватила. И это несмотря на то, что не так уж много в ней было приключений... Я, можно сказать, жил внутри этой повести, в ее мире. И она меня в трудные минуты многому учила... Вот, кстати, еще один ответ на вопрос «зачем все это писать». Связь с людьми ощущается — с теми, кто жил раньше. Начинаешь понимать, что твоя жизнь — это частичка общей жизни — тех, кто был до тебя, и тех, кто будет после... Конечно, это я *сейчас* так связно излагаю. А может, и бессвязно... А тогда не излагал, а просто чувствовал. И жил этим.

«У него тоже был свой остров», — подумал Гай.

— ...Гай, а куда потом девался бюст Головачева? — прошептала Ася.

— Не знаю. Толик не говорил.

А Толик в это время продолжал:

— Сейчас можно только гадать, что было бы с повестью Курганова, если бы ее напечатали. Может быть, она осталась бы незамеченной, так с тысячами книг бывает... Но я думаю, что кто-нибудь эту книгу все равно прочитал бы. И уверен, что хоть кого-то она научила бы чему-то хорошему, как меня... Но этого не случилось. От повести остался только эпилог...

— Вы же сказали, что он пропал вместе с машинкой! — раздался знакомый мальчишечий голос.

— Пропал... Но ведь я сам перепечатывал его, а потом, после смерти Курганова, много раз перечитывал. Я помнил его почти слово в слово. И когда машинка исчезла, я сел и записал его в тетрадку... Я и сейчас его помню почти наизусть.

— Прочитайте! — сказали сразу несколько голосов

— Хорошо. Если есть у вас терпение на полчаса, я прочитаю... Повесть «Острова в океане» читали всего три человека: моя мама, я и редактор в издательстве — тот, который ее забрал. Мне его не хочется принимать в расчет... Вчера мой племянник — вы его многие тут знаете — мне сказал: «Ты мне расскажи эту историю, и получится, что появился еще один читатель...» Судьба была несправедлива к Арсению Викторовичу Курганову. Я хочу хоть на самую малость исправить эту несправедливость. Пусть у автора «Островов» появится полторы сотни читателей. Ну, не читателей, а слушателей, и не всей повести, а только эпилога, но все-таки... Тем более что действие эпилога происходит как раз здесь, в Севастополе...

Толик помолчал секунды три и заговорил ровно и ясно, будто читая по бумаге:

— «Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Крыму был необычным...»

Когда шли на катере к городу, Ревский сказал:

— Толик, исправь еще одну несправедливость судьбы.

— Ну? — подозрительно отозвался Толик.

— Еще не поздно. Плюнь на свои подводные дела и иди в артисты. Так держать внимание аудитории может лишь истинный талант.

— Надо поразмыслить... Нет, у вас зарплата маленькая. А я, чего доброго, жениться надумаю...

— К тому идет, — подал голос Гай.

— Что — зарплата! Звание заслуженного получишь — прибавят. Зато — искусство.

— Нет уж... Мне хватит сегодняшнего выступления.

— Какой талант гибнет, — скорбно сказал Ревский.

— Пускай за меня Гай отдувается перед киношной музой...

Кстати, когда съемка? Ему двадцать восьмого домой...

— Скоро, скоро съемка.

Они сидели в тесном кормовом салоне катера: Ревский рядом с Толиком, а Гай и Ася — напротив. Желтый свет плафона и равномерный стук движка нагоняли дремоту. Но Гай встряхнулся, чтобы упрекнуть Толика:

— А мне ничего не говорил, что помнишь наизусть эпилог.

— Конечно. Ты бы тут же и начал: рассказывай, мол...

— Анатолий Сергеевич, — вдруг спросила Ася, — а что стало с бюстом Головачева? Не знаете?

— Не знаю. К Резанову он явно не попал... Скорее всего, передили родственникам.

— Родственники — они ведь тоже моряки были!

— Братя — да... А что?

— Я подумала... Может, они этот бюст с собой на кораблях возили и в Севастополь завезли?... У одной нашей знакомой есть деревянный бюст офицера. Старый такой...

Гая словно током прошило:

— Правда?!

— Ну-ну, — сказал Толик. — Сейчас нашему Гаю взбредет масса фантазий... А впрочем... Ася, а что это за знакомая?

— Старая уже, баба Ксана ее зовут. Она всю жизнь в Севастополе прожила, и бюст этот у нее, кажется, еще до войны был... Но я точно не знаю. Мы с дедушкой к ним как-то заходили, он дяде Алеше помогал мотор чинить, а я так... Ну и увидела в комнате у бабы Ксаны...

— А ты можешь узнать все точно? — дернулся Гай.

— Я попробую... А если хочешь, вместе ходим.

— Завтра!.. А может, сегодня не поздно?

— Дитя спятило, — сказал Толик. — Двенадцатый час ночи...

Кстати, Ася, тебе не влетит за позднее возвращение?

— Мне-то? — тихонько засмеялась Ася. — Не от кого. Мама в Симферополе, дедушка с Котькой спят, я им сказала, что поздно вернусь... Да за меня вообще никогда не волнуются, говорят, что самостоятельная.

— Мне бы такое демократичное детство, — заметил Ревский.

— Но самостоятельного товарища мы все же проводим до дома, — решил Толик.

— Да не надо, мне совсем недалеко. На троллейбусе до рынка, а там по лестнице — и дом почти рядом.

— Вот и поглядим, где живешь, — бодро сказал Гай.

— Вам же еще на ГРЭС ехать... И зачем вы в такую даль забрались?

— Так получилось, — виновато сказал Толик. Он вроде бы робел перед этой девочкой. — Сперва — обстоятельства, потом не до того было, чтобы квартиру менять.

Ася посмотрела на Гая, на Толика.

— Знаете что? У нас соседка комнату приезжим сдает. Катерина Степановна. Гай, помнишь, та контролерша, что нас в аквариум пустила? У нее всем нравится... Спросить? Она и постирать, и приготовить может, если надо...

Гай обрадованно поглядел на Толика.

Но Ася вдруг огорчилась:

— Хотя у вас там бесплатно, а она по рублю с человека берет...

— Да Бог с ними, с рублями, — торопливо сказал Толик. — Зато на катерах не мотаться. Мне эти челночные рейсы уже во как поперек горла... А это, значит, недалеко от центра?

— Конечно. Артиллерийская слободка...

Третья часть

Артиллерийская слободка

Севастопольцы

Ночью стало прохладно. Гай, спавший у открытого окна, кутался в простыню с головой. Проснулся он рано. Утро было серенькое, пахло дождем. Гай босиком вышел на влажное дощатое крыльцо. Воздух во дворе, сплошь укрытом сырими виноградными листьями, казался зеленоватым. Гай с удовольствием потянулся и вздохнул. Он понял, как утомила его многодневная жара и какая это хорошая штука — дождик.

Двор был полон нехитрой дождевой музыкой. Капли рассыпчато щелкали в листьях и шуршали в них. Где-то звучало равномерное жестяное «дон-дон-дон». А время от времени: «бом-дзинь-зинь-зинннь...» — это с большого виноградного листа срывалась на перевернутое корыто накопившаяся вода...

Из раскрытого окна кухни долетало звяканье ложки о стакан — тоже вплеталось в мелодию дождя.

Потом в окно выглянула хозяйка:

— Мишенька! Встал уже?... Я вам чайник горячий в телогрейку заверну, оставлю на табурете. А заварка на столе.

— Ага! Спасибо, Катерина Степановна...

Они приехали сюда вчера. На эту старую одноэтажную улицу Гусева, в дом, словно наспех составленный из больших белых кубов, крытых оранжевыми лотками черепицы. В заросшем дворе висел на каменной побеленной стенке эмалированный ручной мойник, а в фанерном курятнике обитало семейство хохлаток с мирным, приветливым петухом.

Катерина Степановна оказалась доброй, хотя и немного шумной теткой. Сказала, что с постояльцев она будет брать по рублю за сутки («как везде») и что днем «живите как знаете, а уж вечером буду кормить вас сама, а то оба вон до чего тощие, шпангоуты сквозь обшивку торчат». Сравнив ребра со шпангоутами, Катерина Степановна выдала свою принадлежность к флоту. Оказалось, что в прежние годы, «пока не знала, с какой стороны сердце», ходила она судовым поваром на сейнерах. А теперь у нее уже младшая дочь замужем, внук есть, да и с хозяйством полно забот — вот и осела Катерина Степановна на берегу.

— От мужика какая польза? С утра до вечера в своих мастер-

ских. А как придет, все одно: пузо в потолок да разговоры про иностранную политику да про космос...

Потом она по-свойски отругала Толика за то, что «запустил ребенка», в тазу с горячей водой вымыла Гаю голову с пропыленными и слипшимися от соли волосами, забрала в стирку белье и дала новым жильцам две тарелки вареников с творогом.

Толик сказал, сглотив последний вареник:

— Об одном жалею: что не поселились здесь сразу.

— Ага, — согласился Гай. Но тут же сообразил: тогда не ходил бы он на катере по всей Северной бухте, не увидел бы вблизи столько разных кораблей. И, скорее всего, не попал на «Крузенштерн». Все это Гай изложил Толику и добавил: — И ты со своим Шуриком не встретился бы.

— Значит, все к лучшему, — заключил Толик. — Не будем роптать на судьбу.

После завтрака Толик сказал:

— Надолго не исчезай. Я наведаюсь в лабораторию и скоро вернусь. Поедем на Северную...

Гай кивнул и снова выскочил во двор. Забрался на шаткий курятник (хохлатки заволновались). Лег животом на плоский верх каменного забора, глянул в Асин двор. Ася стояла уже у калитки. Держала за руку братишку: четырехлетнего смиренного Костика, которого надо было отвести в детский сад.

Гай тихонько свистнул и помахал рукой. Ася улыбнулась:

— Ну что, идем?

И они пошли по низким белым улицам, мимо крытых черепицей, беспорядочно слепленных домиков и каменных изгородей с тесными калитками, по стертým ракушечным лесенкам, кремнистым тропинкам и площадкам, где среди голой земли островками возвышались густые кусты с пушистыми бордовыми шариками и высокая трава с желтыми соцветиями. У калиток распускали перья растения, похожие на маленькие пальмы. Над заборами, на крышах сараев горбились темные перевернутые лодки. С веселым повизгиванием крутились на шестах деревянные вертушки...

Дождик уже кончился, проглядывало солнце, мокрые камни быстро высыхали. Пахло теплой травой и морем...

Костик, знавший дорогу, резво шагал впереди. Ася и Гай — бок о бок. Гай вертел головой.

— Пошли, пошли, — сказала Ася. — А то Котыка в садик опоздает.

Гай сказал:

— Ну почему ты не хочешь пойти со мной к этой бабе Ксане?

— Я же тебе объяснила: она при знакомых стесняется разго-

варивать. Память слабая у нее, вот она и боится, что будет повторять то, что много раз говорила. Понимаешь, ей кажется, будто про нее подумают: «Совсем старая, ум потеряла...»

— А с чего ты взяла, что мне она все расскажет?

— Вот увидишь.

— Лучше бы все-таки с тобой, — вздохнул Гай.

Ася покачала головой:

— И кто это придумал, что мальчишки смелее девочек?

— Смелее, — вдруг обернулся Костик. — У нас в садике, когда уколы, девочки все визжат. А мальчишки — нет.

— А у нас в классе наоборот, — сказала Ася.

По каменному спуску они вышли на улочку с солидным названием 8 Марта. У двухоконного маленького дома, перед которым дремали в палисаднике рыжие георгины, Ася сказала:

— Здесь. — И толкнула зеленую калитку.

По двору — от сарайчика к дому — неспешно шла старуха.

Гай раньше думал, что такие старухи бывают лишь на картинках и в кино. Высокая, сутулая, с жилистыми руками и худым коричневым лицом. С отполированными ладонями узловатым посохом.

— Баба Ксана, здрасте! До вас мальчик пришел! — громко сообщила Ася. Подтолкнула Гаю: — Иди... — И закрыла за ним калитку. Вот и все. Не убежать же...

Старуха глянула на Гаю темно-синими глазами, утонувшими в тени глубоких впадин.

— Здрасте... — потерянно выдохнул Гай.

Баба Ксана вдруг заулыбалась, показав редкие желтые зубы. И стала словно меньше ростом.

— Здравствуй. Ты до Сергийки? Та он же уехал в Феодосию с мамой. Теперь он к самой школе только и вернется...

— Нет, я к вам, — все еще робея, сказал Гай.

— Ох ты, лышенько, — встревожилась старуха. — А я и не чуяла, что с утра будут гости... Та заходи же, дитятко, шо у тебе за дило до старой бабки? — Она говорила с мягкой примесью украинского языка и одесского акцента. Этот ласковый говор Гай слышал уже на рынке у пожилых теток.

Бодро стукая посохом и улыбочиво оглядываясь, баба Ксана пошла к двери. Там пропустила Гаю перед собой.

Они оказались в кухне с побеленной плитой, со связками лука и трав на стенах, с грудой помидоров на подоконнике. Баба Ксана села у непокрытого стола, оперлась о посох.

— Сидай, дитятко. Та говори, я послушаю...

Гай присел на высокий табурет. Подумал: с чего бы начать? Не придумал, решительно качнул ногой и выдал напрямик:

— А правда, что у вас есть деревянный бюст?

Баба Ксана смотрела с лаской и непониманием. Гаю вдруг

показалось, что она может не знать такого слова — «бюст». Вдруг здесь это как-то по-другому называется?

— Ну, вроде портрета такого, из дерева.

Баба Ксана покивала:

— Я чую... Та я же говорила вашей вожатой и хлопчикам тем говорила: не могу я его в музей... Вот уж помру, тогда ладно. А пока я живая, он уж со мной...

— Да я не для музея! — испуганно сказал Гай. — Что вы! Я просто узнать... Я даже не из здешней школы.

Баба Ксана молча улыбалась. Будто опять не понимала.

— Это старинная история, — начал объяснять Гай без уверенности, что баба Ксана уловит суть. — Давным-давно один офицер плавал вокруг света и заказал себе такой бюст... такой портрет за границей. Ему китаец его вырезал. А потом этот бюст неизвестно куда девался... Вот я и подумал, что вдруг...

Он увидел, что баба Ксана мелко смеется и покачивает головой:

— Та ни, дитятко... Его не китаец зрбыл, а Маркуша Вайнштейн. Хлопчик такой жил тут. С Гришенькой моим были дружки... Гришенька-то постарше был, а тот зовсім неввыльчкий, а все вместе они с Гришею... Рисовал карандашиком да красками. Похоже так: море, да берег, да хаты наши. А еще ножиком резал с дерева игрушки всякие да куколок... А потом говорит: «Тетечка Ксана, я кусок дерева нашел, теперь такого героя зрбюлю...»

Она замолчала, передохнула.

— Какого героя? — шепотом спросил Гай.

— А пойдём, покажу...

Баба Ксана тяжело встала. Следом за ней Гай вошел в тесную, с двумя оконцами белую комнату. Мельком увидел на стенах блеклые фотографии под стеклами. На узкой черной кровати спала серо-полосатая кошка.

С комода, уставленного коробочками, аптечными пузырьками и узкими стеклянными вазами с пучками ковыля, баба Ксана взяла небольшой, высотой сантиметров пятнадцать, бюст.

Это было уверенно вырезанное изображение молодого офицера в мундире с маленькими эполетами. Офицер слегка насупленно смотрел из-под сведенных бровей. У него были твердые скулы, крупный нос, широкие губы — пухлые, но сжатые упрямо. Что-то знакомое почудилось Гаю. Попробовал вспомнить, не смог...

Дерево оказалось серо-коричневым, старым, кое-где в трещинках. А одна трещина была большая, шла через грудь от нижнего среза до ворота. Местами бюст покрывали похожие на лишай темные пятна. Левое плечо с эполетом почернело. Гай понял, что когда-то оно обуглилось, а потом его оттирали, но полностью отчистить не смогли.

— Посмотри, посмотри, — вздохнула баба Ксана.

Гай осторожно покачал увесистый бюст в ладонях, глядясь в строгое лицо. Потом поставил на край комода. Но продолжал смотреть...

— А ты сядь, — сказала баба Ксана. — Сядь, я тебя инжиром угощу. Вот я зараз...

Она ушла. Гай оглянулся, стульев не было. Он осторожно сел на край кровати под черным одеялом. Погладил кошку. Она, не просыпаясь, муркнула.

Баба Ксана вернулась без посоха — в одной руке табурет, в другой тарелка с какими-то лиловыми не то ягодами, не то лепешками, обсыпанными крупной. Поставила тарелку на табурет.

— Кушай, дитятко...

— Это что? — неуверенно сказал Гай.

— Та инжир же. Разве не пробовал?

— Не... У нас не растет. — Гай сунул мягкую инжирину в рот.

Она была сладкой, как мармелад, зернышки похрустывали. Гай жевал, но по-прежнему смотрел на бюст. — Баба Ксана, а он кто?

Она села на другом конце кровати.

— Не помню, дитятко... Севастопольский он... Маркуша говорил, что герой. Еще с той обороны, при адмирале Нахимове... Маркуша его с картинки делал, положит картинку на лавочку, а сам сидит рядом и быстро так ножиком... А после и говорит Гришеньке моему... «Я, — говорит, — не с портрета, а с тебя, Гриша, его делать буду, вы похожие, а у тебя лицо даже лучше, живое оно...» Я побачила, а он и правда похож...

Гай увидел, что баба Ксана тихонько раскачивается и на него не глядит, смотрит лишь на бюст. О Гае она словно забыла.

— А как ночью забомбили, да как потом сказали, что германцы на нас идут, Сашко, старший мой, сразу ушел. Иванко, брат мой, сразу ушел... А Гришеньку сперва не брали, годков было мало, только школу кончил. Я говорю: ну и добре. Отца-то давно не было, еще в тридцать пятом помер. Гришеньке говорю: хоть ты с нами будешь... А он все одно: пойду и я... Ну и пейшов с комсомольцами, як вороги до городу подступили...

Баба Ксана говорила все тише, и украинские слова мешались с русскими все чаще.

— Любушка, жинка Сашкова, с внучком моим Олесем уихалы на Большую землю, на «Ташкенте» их увезли прямо с-под огня. У меня полгоря с плеч... Маркуша с мамой своей уихав. Мама его все боялась, что нимцы прийдут, они евреев-то всех под корень губыли... А Маркуша не хотел, говорил: воевать пойду... А куда же воевать, он Гришеньки на три года младше был... Ну, уихалы, та и сгинули. Пароход их разбомбили... От Сашка одно письмо было с-под Одессы, а потом сюда же он вернулся с Приморской

армией, повидались еще, а потом его у Фиолента убило... А где Гришенька мий косточки сложив, ништо мене не оповидае...

Гай положил на край тарелки надкушенную лепешку инжира и не дышал. Тихое горе расхотилось от бабы Ксаны, как круги по темной воде...

— А як нимцы ворвались да стали наших хватать, на мене хто-то и донес, шо активистка... А яка я активистка була? Щели рыла, молоко носыла у госпиталь, робыла, шо могла, як уси люди... Ну, взяли мене, и в лагерь. Надывылась горюшка... В Унгарии була, в Романештии була та в самой Германии лютой... А потом пришли наши, да такое щастье — серед командиров один севастопольский, с Иванком, братом моим, до войны работал. «Оксана Ондриевна, да то ж вы!» И сразу мене дорогу домой схлопоталы, спасибо добрым людям...

Гай понимал, что баба Ксана в мыслях сейчас далеко-далеко, в другом времени. Она все качалась тихонько, глядела то ли на бюст, то ли на что-то давнее, Гаю неведомое...

— А дома что? Камни одни, полхаты погорело... Стали строить... Иван вернулся, хоть без ноги, да с руками, все же работник... Любушка с Олесем вернулись. Да она скоро подорвалась на снаряде, когда развалины разбирали на Корабельной... Олесь тогда остался такой, як Сергийко сейчас. Сергийко-то сынок его, правнучек мой... Олесь хоть и малый был, а помощник. Мы с ним камни до хаты на тачке возили. Подберем, где получше да поближе, и возем... Мне тогда уже шестой десяток шел, да и хворающая была после плену, да все ж не такая... Я бы и зараз робыла еще, у меня бабка до восьми десятков сама воду из крыницы носила, а мене того меньше. Та согнула мене война раньше сроку... А хату все ж достроила... Один раз камни подбирала неподалеку, где Вайншейнов двор был, гляжу, а он лежит под черепицей... — Баба Ксана неожиданно быстро поднялась, шагнула к комоду. Коричневую, перевитую шнурами вен руку положила рядом с бюстом на вязаную салфетку. Пальцем коснулась обугленного эполета. — Пролежал столько, ничего. Земля у нас сухая... Увидала я, да и себя не помню от слез... Карточек-то Гришиных не осталось, все сгорели, а тут он будто сам на меня глянул... Ой, лышенько, не дождалась я тебя, ридный мий...

Баба Ксана вдруг глянула на Гая синими влажными глазами из коричневых впадин. Сказала тихо, но ясно:

— Не дам я его никому. Шо мне все говорят: герой, герой? Он мне Гришенька мой... Глазыньки его на эту головку глядели, рученьки его ее трогали... — Темные пальцы бабы Ксаны дрожали и суетливо гладили обожженное плечо и деревянные пряди прически. Голос ее угасал, переходил в бормотанье: — Не помню я ничого, сожгли память вороги лютые. Гришеньку помню...

Ой, лышенько, як же на свете жить можно после того... Ой, лышенько, не приведи Господи людям такого... Рученьки его головку эту трогали... Гришеньки... его...

Она замолчала, глядя мимо Гая.

— Я пойду... — шепотом сказал он и встал.

Сказать «до свиданья» или «спасибо» не решился.

Когда Гай вернулся, Аси дома еще не было: наверно, пошла на рынок. Пришел Толик. И отправились они вдвоем на песчаный пляж Учкеевку, где давно собирались побывать.

Сначала — катером на Северную сторону, потом автобусом до «Каткиной версты» — каменного столба, что поставлен в давние времена в память побывавшей в Крыму Екатерины Второй. Затем — пешком, к распахнувшемуся за посадками кипарисов морю.

Пока ехали, Гай молчал. Ответит одним словом на какой-нибудь вопрос Толика, и опять будто на замок заперся.

— Да что с тобой? — не выдержал Толик. — С Асей, что ли, поссорились?

— Ну вот еще... Просто думаю.

И когда шли от остановки до Учкеевских обрывов, Гай сумрачно рассказал про бабу Ксану. Про бюст с обгорелым плечом.

— Да... — проговорил Толик. — Вот тебе и бюст лейтенанта Головачева...

Гай глянул удивленно и досадливо: при чем тут Головачев?

Толик вдруг сказал:

— Я знаю, про что ты подумал. Головачев, мол, это прежнее время, о нем печалиться нечего, а здесь живая баба Ксана горюет... Да только горе — это все равно горе. Если матери Головачева бюст отдали, думаешь, ей легче было, чем бабе Ксане?

Гай от неловкости, что Толик угадал его мысли, буркнул:

— Гриша на войне погиб. А Головачеву кто велел стреляться?

— Трудно сказать. Может быть, честь велела, а может быть, тоски не выдержал... Война — это ведь не только когда бомбы кругом. Иногда человек так воюет, что другим и незаметно. Бывает, что сам с собой...

«Бывает...» — вздохнул про себя Гай.

Толик вдруг спросил:

— А ты не сказал, что дедушка под Севастополем погиб?

Гай помотал головой. Толик все-таки чего-то не понимал. Он не видел бабы Ксаны... Дедушка погиб, это верно. Однако Гай дедушку не знал и горя, по правде говоря, не чувствовал. Гордость была, это да. Но ни разу не схватывало горло так, как при расказе бабы Ксаны... «Рученьки его головку эту трогали...» Если бы Гай там начал говорить про дедушку, получилось бы, что он

хочет как-то и себя причислить к севастопольцам. В разговоре с мальчишками или с Асей это еще можно, а с бабой Ксаной... Да она в те минуты и не услышала бы Гая.

От утреннего дождика не осталось и воспоминания. Опять небо стало высоким, и желтые облака не закрывали солнца. Ровный ветер с моря умирал жару и гнал на пески ровные валы с шипучими гребешками. Гай сперва робел перед большими волнами, но быстро освоился. Дождавшись самого высокого — «девятого» — вала, нырнул под гребень, «съезжал» на животе по водяному склону или мчался на верхушке волны к пляжу. Раза два его, зазевавшегося, волны сшибали у берега с ног, катили по песку и галечнику, который обдирал на ребрах кожу. Но царапины не огорчали Гаю. Все равно волны были друзьями. И солнце заглядало на мокрых ресницах салюты радужных звезд...

А то, что было утром, спряталось на доньшке памяти...

На обратном пути Толик сказал, что пусть Гай топает домой и до вечера ведет самостоятельную жизнь. А он, Толик, сегодня вернется к девяти часам.

— Ну и гуляй, — хмыкнул Гай. И добавил: — Хоть бы познакомил.

Толик важно сказал, что всему свое время.

Гай пришел к Асе. Она, конечно, захотела узнать про разговор с бабой Ксаной. Гай неохотно рассказал. И нахмурился:

— Ты сама-то разве про это не знала?

— Вообще-то знала. Кое-что. Но не точно. Мы ведь не так уж хорошо знакомы... А еще я подумала...

— Что?

— Ну... пускай ты от бабы Ксаны сам все узнаешь. Это ведь лучше, чем от меня.

— Она не помнит, что за герой это... А может, ты знаешь?

Ася качнула головой.

— Но ты же сразу знала, что никакой это не Головачев!

Ася порозовела и кивнула.

— А чего тогда было сочинять... — неловко сказал Гай.

Ася быстро глянула на него светлыми глазами и опять потупилась. Проговорила тихо, но твердо:

— Я, конечно, виновата. Я хотела, чтобы ты поближе пере-ехал. Теперь сердись, если хочешь.

Гай почувствовал, как теплеют уши.

— Чё мне сердиться-то... Пойдем погуляем.

— Куда? — шепотом спросила она.

— Ну, так просто... Здесь такие улицы...

Они долго бродили по запутанным переулкам, лестницам-трапам и крошечным площадям. В просветах между каменными заборами или над черепицей крыш, за узкими темными тополями открывался то городской холм с многоэтажными домами и сверкающим крестом над полуразрушенным куполом Владимирского собора, то бухты с толчеей кораблей, то далекие развалины Херсонеса на фоне темного, слегка взъерошенного моря. Было солнечно и пусто. Артиллерийская слободка лежала на хребте и склонах длинного холма — как старинный остров среди большого города. Ветер, летевший над крышами, словно только что касался парусов нахимовских линейных кораблей.

...И Гаю стало казаться, что он попал на свой придуманный остров — туда, где много негромких праздников и где в каждом закоулке прячутся начала таинственных историй.

Особенно понравился Гаю узкий переулок, наклонно бегущий с улицы Гусева на улицу Киянченко. Даже не переулок, а метровой ширины проход между высоченным, сложенным из серого камня забором и такой же бугристой стеной дома. В стене на высоте второго этажа виднелось единственное окошко. Посреди прохода тянулся каменистый желоб водостока. Гулко отдавались шаги.

«И правда, будто в крепости на острове», — подумал Гай...

Настоящей крепости здесь не было, но небольшая старинная башня все-таки нашлась — на углу Шестой Бастионной и Катерной. Приземистая, из нетесаных камней, с узкими бойницами.

— Это что? — удивился и обрадовался Гай.

— Здесь был Шестой бастион. В Первую оборону... А дальше, где лестница к рынку, сохранилась стена Седьмого бастиона... А вон там была батарея Шемякина, только от нее ничего не осталось...

— Ты все здесь знаешь, — с завистью сказал Гай.

— У меня же мама экскурсоводом работает, в туристическом бюро. Я сколько раз с ней на экскурсиях была, многое прямо наизусть выучила... Но я не только потому, что мама. Самой интересно. — И она взглянула, словно спросила: «А тебе?»

«Еще бы!» — посмотрел на нее Гай.

— А если хочешь, я маму попрошу, она тебя хоть в какую экскурсию возьмет, по всему Крыму.

— Хорошо бы, — вздохнул Гай. — Только мне нельзя уезжать. Каждый день может случиться, что на съемки позовут.

— Ну, тогда... если хочешь, я сама покажу, что знаю. Здесь, в городе...

— В городе — это самое главное, — сказал Гай.

...Бродили они до заката.

ВЕЧЕРНЯЯ ВСТРЕЧА

Дома Катерина Степановна покормила Гая ужином и поворчала, что «братец твой — старший, но непутевый — ходит где-то голодный».

В девять часов Толик не пришел.

Гай понимал, что «дело житейское» и причин для беспокойства нет. Но затосковал. И еще через двадцать минут со смесью тревоги и привычной злости на Толика пошел его встречать.

Переулком Гай вышел на Шестую Бастионную. Фонарей на улице не было, окошки светились неярко. За шторами мерцали телевизоры. Чужой уют еще сильнее растревлял одиночество и тревогу Гая. Неумолчно и с какой-то скрытой угрозой сверлили сумрак трели цикад.

Никого не встретив, Гай дотопал до Крепостного переулка, что у бастионной стены. Встал на верхней площадке лестницы.

Он видел с высоты холма город и рейд. На улицах и кораблях переливалась электрическая россыпь. Мигали огоньки на сигнальных буях, вспыхивал на чем-то мостике прожектор. Змеились отражения. Алой звездочкой горел выше других огней первый маяк Инкерманского створа.

Шепталась пирамидальные тополя. С Приморского бульвара доносилась музыка духового оркестра. Гай подумал, как все было бы прекрасно, если бы рядом сейчас стоял Толик.

Прошло минут десять. Несколько прохожих поднялись по лестнице, не обратив внимания на мальчишку, съевшегося на бетонном парапете под неяркой лампочкой.

Потом что-то беспокойно и радостно толкнулось в Гае. Словно сработал чуткий локатор. Гай еще вроде бы никого не видел и не слышал, но соскочил с парапета, всмотрелся в темную глубину, куда убегала лестница.

На нижней площадке возникли две фигуры. Мужчина и женщина. Они торопливо шагали вверх и о чем-то весело и сбивчиво говорили. Мужчина был, несомненно, Толик.

Гай сжал губы и опять уселся на бетонном уступе.

— О! — сказал Толик. — Это ты? Ты тут... чего?

— Любуюсь ночным городом, — официально ответил Гай, надавив на слово «ночным».

— Меня, что ли, ждешь?

— А кого?! — взвинулся Гай. — Может, адмирала Крузенштерна?! — И подумал: «Не зареветь бы...»

— Я же говорил: попадет мне, — сказал Толик спутнице.

Она коротко и как-то бархатисто рассмеялась. Гай покосился. Девушка была рослая, плотная, с тяжелой черной косой. При свете лампочки Гаю показалось, что у нее очень красный большой рот и похожие на сливы глаза.

— Гай, познакомься, — сказал Толик. — Это Алина. Для полноты информации — Алина Михаевна.

— Очень приятно, — с предельной ядовитостью отозвался Гай. Он смотрел на Инкерманский маяк.

— Гай, будь к ней снисходителен — это как-никак твоя будущая тетья.

Гай резко обернулся.

— Алина — моя невеста, — церемонно сказал Толик. — И, без сомнения, станет моей женой.

Гай, не вставая с парапета, поклонился:

— Очень рад.

Эти два слова можно было перевести длинной фразой, смысл которой сводился к тому, что тетюшка нужна Гаю, как дельфину брюки, и что забывать из-за будущей родственницы — даже невесты — других родственников (не будущих, а настоящих) — потрясающее свинство, и что Толик поступает так не первый раз и поэтому Гай забывать свои обиды легко и скоро не собирается.

— Толик, — глубоким грудным голосом произнесла Алина. — Мальчик думает, что ты задержался из-за меня.

— Придется перейти на язык документов, — со вздохом произнес Толик и протянул Гаю бумажку. Это были два билета в кино.

— Ну и что? — сумрачно спросил Гай.

— Доказательство. Видишь, контроль не оторван? Мы собиравались чинно-благородно в кинотеатр «Приморский» на семь часов. В девять я был бы дома перед вашими строгими очами. Но экстремальные обстоятельства помешали и тому и другому. То есть кино и своевременному возвращению...

— На него хулиганы напали, — сказала Алина.

Толик взял Гая за плечо:

— Пойдем.

Когда прошли шагов двадцать, Гай неловко спросил:

— Правда, что ли?

— Что?

— Ну... хулиганы...

Толик неловко хихикнул.

— Главное, день еще белый, солнце не зашло, а они подходят на бульваре, два пижона. Обычный диалог: «Дай закурить». — «Не курю». — «Жалко, да?» — «Гуляйте, мальчики...» — «Ах, мы мальчики, а ты — дядя?» — И ручкой на дядю...

— Ну и что? — нервно спросил Гай.

— Ну, что... Я одного посадил на время под акацию, а другому стал разъяснять, что он не прав, он обмяк как-то сразу... Я думал, слегка постукаю их по очереди, с педагогической целью, и отпущу. Но не тут-то было. Алина Михаевна проявила излишнюю инициативу. Куда-то кинулась, тут же явилась с

морским патрулем, а те милиционера кликнули... Ну и пришлось «Лимонадного Джо» поменять на визит в отделение... Интересно, что сперва чуть-чуть сам не оказался виноватым: побил, мол, мирных прохожих. Хорошо, умный капитан подошел, разобрался... У одного свинчатку из кармана выудили...

— Даже не верится, — вздохнул Гай.

— Что? То, что свинчатку нашли?

— Вообще... Что в таком городе такие гады...

— Всякое бывает... Хотя они, кажется, ялтинские... А этот «Лимонадный Джо» для меня какой-то заколдованный. В Москве, помню, купил билеты — и срочно в институт вызвали. Был в Ленинграде, увидел афишу, побежал в кассу — ногу подвернул, вместо кино в травмпункт попал... Тьфу... А так хотелось посмотреть, говорят, веселая штука.

— Мура, — сказал Гай. — Все думают, что это про правдашних ковбоев, а это чушь. Одно издевательство...

— Это же комедия!

— Не комедия, а чепуха. Я смотрел и плевался...

— А где ты сумел? Дети до шестнадцати не допускаются!

— Ох уж! Где не допускаются, а у нас в ДК судостроителей — пожалуйста... Толик...

— Что?

— А они тебя... ничего?

— Да ну... хлипкие личности, — бодро сказал Толик.

— Все-таки двое...

— Я так перепугалась, — сказала Алина.

— Ну и я тоже, — засмеялся Толик. — В том-то и дело. Мне с перепугу как раз все и удается в самом лучшем виде... Я и диссертацию раньше срока защитил тоже с перепугу. Потому что прихожу однажды к шефу, а он говорит...

— Да знаю, знаю, — сказал Гай. — Я эту историю четыре раза слышал.

— Ох уж, четыре...

— Да. Один раз ты папе рассказывал, два раза мне и маме и один раз кому-то по телефону...

— Вот такой у меня братец-племянничек, — сказал Толик.

— Хороший, — отозвалась Алина и наклонилась к Гаю (он учуял запах «Красной Москвы»). — А Толик в самом деле все делает с перепугу. Он в любви мне так признался. Со страху...

— Да, — вздохнул Толик. — Было...

— Как это? — недовольно спросил Гай.

Алина бархатисто смеялась в темноте, платье ее шуршало.

— А вот так... Идем мы по Синопскому спуску, он молчит, я спрашиваю: «Толик, о чем ты думаешь?» А он... я в точности запомнила: «О принципе прямого преобразования направленного

электромагнитного излучения в акустическую волну». Я чуть на ступени не села.

— Это единственно реальная возможность прямой связи космоса с глубиной, — доверительно объяснил Толик Гаю. — Женщинам этого не понять... хотя Алина и работает в пресс-бюро при лаборатории.

— Не перебивай, — сказала Алина. — Я ему и говорю: «Ты не мог найти для девушки более подходящих слов?» А он: «Я это... мог бы... Будь моей женой...»

— А вы? — холодно спросил Гай.

— А что я? — засмеялась Алина. — Сразу и согласилась. Потому что я эгоистка. Люблю счастливых людей, у их счастья можно греться, как у печки.

— Разве Толик такой уж счастливый?

— Конечно, — серьезно ответила Алина. — Он счастливый в самом главном, он свое дело нашел. И удач у него в этом деле — выше головы.

— Тьфу-тьфу-тьфу... — суеверно плюнул Толик.

— Ничего не «тьфу»... Про него за границей пишут. В сорок лет он станет академиком, а я толстой и важной супругой академика... Разве плохо?

— Не знаю, — сказал Гай и повернулся к Толику. — Лишь бы ты сам не сделался толстым и важным.

— Ни за что на свете... Гай, давай проводим Алину, а потом уж домой...

— А где живет... Алина Михайловна?

— Недалеко, за площадью Коммунаров... Только не Михайловна, а Михаевна.

— У меня папа был молдаванин, — сказала она.

— Михайл... так румынского короля звали, — брякнул Гай.

Алина засмеялась:

— В отцовском селе чуть не каждого второго так зовут. Это все равно что русское имя Михаил. Как у тебя.

Гай поморщился. Толик быстро объяснил:

— Князь Гаймуратов свое имя терпеть не могут-с.

— Хватит обзывать-то, — сказал Гай.

— Виноват-с... Кстати, сегодня получил от твоей мамы письмо. Одно на двоих. Пишет, что съездила прекрасно, соскучилась по ненаглядному Гаю и ждет не дождется, когда он явится домой... Еще пишет, что Галина уже отстроила пол-Ташкента и приедет в сентябре...

— Получил и молчит! — возмутился Гай. — Что еще пишет?

— Сообщает, что некий Юра Веденеев извлекся по Гаю, все спрашивает, когда приедет.

Гай вздохнул радостно и виновато.

— Соскучился? — ласково спросила Алина. — Хочется домой-то?

— Хочется... и уезжать не хочется.

— Душа пополам. Диалектика жизни, — заметил Толик. — Ничего, тебе осталась еще неделя. Догуляешь — и к родным пенатам...

— Толик, а от Ревского ничего не слышно? Вдруг не успею отснять?

— Он обещал завтра со мной связаться. Успеешь, выход назначен, кажется, через два дня.

— Ура...

— А завтра у меня свободный день и у Алины отгул. Может, втроем закатимся куда-нибудь, а?

— А вот и нет, — сказал Гай.

— Что так?

— У тебя своя личная жизнь, у меня своя. Завтра мы с Асей пойдем по городу. По всей линии Обороны...

ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

Гай натянул прохладную чистую рубашку — васильковую с латуными пуговками. Со дна чемодана вытащил новенькие, ни разу не надетые шорты «военно-полевого» цвета. Закинул под кровать пыльные растоптанные кеды и застегнул блестящие пряжки скрипучих лаковых сандалий. С удовольствием потоптался.

— Расчеши космы, — предложил Толик, — и будешь совсем лондонский денди на берегах Тавриды.

Гай, сопя от натуги, расчесал.

— Я буду дома от четырех до шести, — сказал Толик. — Попробуй возникнуть в этом промежутке. Возможно, поступит информация от Шурика...

— Есть, товарищ главный конструктор Атлантиды!

— Сгинь...

Ася ждала Гая у калитки. Тоже принаряженная, серьезная, в белом платице с якорями и синей лентой на волосах. Помахивала голубой пластмассовой сумкой — на ней тоже якорь.

— Ну? Топаем? — излишне бодро спросил Гай.

— Пошли... — Ася нерешительно посмотрела на его сандалии. — Ноги не натрешь ремешками? Дорога будет длинная.

— Все нормально... — Гай упруго попрыгал.

По улице Генерала Петрова они бодро дошагали до гостиницы «Севастополь» и сели на троллейбус.

— Поедем на Корабельную, — сказала Ася. — Начинать надо

с Первого бастиона, по порядку. А потом все ближе и ближе к дому, до Седьмого. К дому идти всегда легче...

Но сразу к Первому бастиону они не попали. Вышли на улице Розы Люксембург, и Ася потащила Гая на горку у железнодорожной насыпи. Горка была как игрушечный городок, с белыми домиками, лестницами, закоулками и двориками на крутых склонах. Похоже на Артиллерийскую слободку, только все уменьшено и словно собрано в горсть. Как на сцене для приключенческой сказки.

Ася сказала, что это знаменитая Аполлоновка.

Аполлоновка была горячее от солнца.

Ася и Гай через заросли дрока спустились к старым каменным аркам.

— Это бывший водопровод, — объяснила Ася. — Его еще адмирал Ушаков строил...

Под аркой они прошли на берег Аполлоновой бухты. На громадных бетонных блоках, в беспорядке сваленных на берегу, загорали мальчишки. И прыгали с этих кубических глыб в очень синюю воду. Гай им позавидовал, и Ася тут же сказала:

— Давай искупаемся. А то нам шагать и шагать, а моря на пути уже не будет.

Они нашли на теплом бетоне свободное местечко. Мальчишка лет десяти — конопатый и с ободренным подбородком — сказал:

— Чего пришли? Это наших аполлоновских пацанов камни...

Гаю стало неудобно. Он знал ревнивую непримиримость мальчишеских компаний к чужакам. Но Ася ответила, не повышая голоса:

— Сиди, аполлоновский. А то и на носу царапины будут.

И никто больше не придирался...

Они ныряли и плавали минут пятнадцать. Потом Ася сбегала куда-то, чтобы выжать купальник, вернулась уже одетая и сказала между прочим:

— А вон в том домике родился Папанин. Помнишь, который на Северном полюсе?

Гай, конечно, помнил. Недавно читал в «Пионере» о высадке папанинской четверки на полюс — как раз отмечалось тридцатилетие этой экспедиции. Но он не знал, что Папанин родился в Севастополе. Гаю казалось, что полярный исследователь должен быть уроженцем каких-то северных мест.

...После купанья жизнь стала еще лучезарнее, хотя дорога была совсем не ровная. Спустились по откосу широкого, заросшего, как сад, оврага и поднялись по другому склону. Гай часто дышал. Ася сказала, что они пересекли Ушакову балку.

Через несколько минут они оказались на обрыве — над небольшой, полной кораблей и катеров бухтой.

— Это Килен-бухта. А вот памятник.

Над обрывом Гай увидел гранитную открытую беседку и серый, грубо отесанный камень с надписью:

1-й бастионъ

— Вот отсюда и начиналась линия Первой обороны, — объяснила Ася. — Когда французы и англичане подошли, бастионов и батарей почти не было, адмирал Корнилов весь город поднял на строительство. Даже арестантов освободил... Ну, пошли.

Гаю эта дорога запомнилась как солнечная круговерть улиц с белыми домами, спусков, тропок и заваленных ползучими кустами каменных изгородей. И заросших высокой жесткой травой балок-оврагов. В этой траве прятались сложенные из пористого камня стенки с нагретыми солнцем чугунными плитами. На плитах — выпуклые буквы с названиями и номерами батарей.

Было жарко, и хотелось пить. Гай и Ася пили у водонапорных колонок, дурачась и осыпая брызгами друг друга.

Они постояли у глыбы-памятника Второму бастиону и зашагали к Малахову кургану.

На перекрестке Второй Бастионной и какого-то переулка, на заросшей колючками и сурепкой площадке, гоняла красно-синий мяч ребячья компания. Мальчишка лет семи стоял в стороне, плаксиво вытирал подолом полосатой майки нос и косился на игроков. Потом глянул сырыми глазами на Асю и Гаю.

— Ты чего? — спросила Ася.

— А чего они... — буркнул мальчишка.

— Не берут играть?

Он засопел.

— Пошли. — Ася взяла его за руку. Гай — что делать — двинулся следом. Сунул руки в карманы и постарался придать лицу решительное выражение.

Игра остановилась. Ася сказала длинному голубоглазому мальчишке, который был, кажется, главным:

— Вы чего маленького не берете?

Тихо сказала, спокойно.

Мальчишка удивленно возвел выгоревшие брови:

— Тебе-то что?

— Мне-то ничего. А ему плохо.

Подошли другие ребята. Крепыш с бинтами на обеих коленках объяснил:

— Он пищит и под ногами путается.

— Вы поставьте его на край и пасуйте иногда, вот и не будет

путаться, — разъяснила Ася. — А если прогонять, он когда играть научится?

Длинный поглядел на Асю, на Гаю, сказал пацаненку:

— Иди на тот край. И пинай, когда мячик подадут, а сам не лезь.

Малыш ускакал.

Ребята, оглядываясь на Асю, снова начали игру.

— Ну, ты даешь... — с тихим восхищением сказал Гай.

— Что?

— Ну... ты просто как хозяйка. Везде. Хозяйка Севастополя.

— Смеешься, да?

— Я правду говорю. Все тебя слушаются. Такая решительная.

— Вовсе я не решительная, а трусиха... Я тебе признаться хочу...

— В чем? — встревожился и смутился Гай.

— Ох... не обижайся, ладно? Я тебя нарочно одного к бабе Ксане отправила. Потому что я боюсь ее слушать. Просто реветь хочется.

— Это я понимаю, — сказал Гай.

На Малаховом кургане Гай уже бывал. Но сейчас они поднялись не по главной лестнице, а боковой тропинкой. И вышли прямо к оборонительной башне, где над черной чашей факела металось пламя вечного огня — оранжевое, яркое, несмотря на солнце.

Вокруг площади перед башней толпились зрители, а на открытом пространстве выстроились артековцы. Гай и Ася ввинтились между взрослыми и просочились вперед.

Перед пионерским строем стоял и говорил что-то седой моряк в белом кителе со множеством сияющих медалей. Когда Гай и Ася оказались близко, он уже кончил речь. Девочка в синей пилотке и громадных, как аэростаты, бантах повязала моряку пионерский галстук. Уверенно и красиво застучали барабаны, мелодично запела фанфара (сразу ясно, что трубач знает свое дело — не какой-нибудь неумелый школьный дударь, выбранный в горнисты за хорошие отметки). Счастливики-артековцы вскинули в салюте руки. И Гай пожалел, что не надел пионерский галстук, — тогда бы он тоже имел право салютовать барабанщикам, знамени, что алело на правом фланге строя, и этому моряку, который наверняка воевал в здешних местах (может быть, рядом с дедушкой?).

Артековцы четким строем ушли с площади по главной аллее. А Гай и Ася мимо развалин памятника адмиралу Корнилову, который разбили немцы, мимо старинных пушек батареи Жерве спустились по склону Докового оврага.

И опять — кружение солнца на белых улочках, сухой шелест акаций, блеск твердых кремнистых тропинок, тишина, которую разгоняют иногда мальчишки на звонких велосипедах...

Неужели здесь когда-то гремели взрывы?

— Вон там недавно саперы два снаряда выкопали, — сказала Ася. — Невзорвавшиеся. Прямо из-под дома. Хорошо, что успели. Бывает, что не успевают...

От солнца и усталости у Гая немного кружилась голова. К тому же Ася оказалась права: ремешок сандалии натирал ногу — левую, когда-то уколотую дракончиком... И все же Гай был рад, в глубине души жила догадка: стертая нога заживет, усталость улетучится, а этот солнечный день останется в памяти навсегда. Может быть, потом, через годы, среди синих зимних сумерек вспомнится все: и теплые камни бастионов, и блестящие в белой пыли, и седой моряк перед артековцами, и спокойная девочка с якорями на платье...

Когда от обелиска на месте Третьего бастиона они запутанными переулками спустились к Лабораторной балке, Ася сказала:

— Вот это все и есть Корабельная сторона. Здесь самые отчаянные бои были в Первую оборону...

— А во Вторую?

— Тоже, — вздохнула Ася.

Гай понимал, что между Первой и Второй оборонами лежал почти век. Но все равно эти времена в голове смешивались, и казалось, что Севастополь сражался непрерывно много-много лет подряд. Что рядом с нахимовскими матросами дрались на Малаховом кургане морские пехотинцы, пришедшие сюда с эсминцев и крейсеров, и вместе с усатыми солдатами старинных полков — Якутского и Тобольского, Минского и Модлинского, Одесского и Тарутинского и многих-многих других — бросались в атаку на врага красноармейцы и командиры в белых от солнца и пота гимнастерках и пилотках — бойцы Приморской армии, в которой воевал и политрук Нечаев...

Гай уже не раз — с Толиком и один — побывал в Музее флота, на Сапун-горе, в Панораме, слышал много рассказов о боях и подвигах севастопольцев. Да и раньше читал об этом — «Севастопольского мальчика» Станюковича, «Морскую душу» Соболева и даже «Севастопольские рассказы» Толстого (у дедушки была такая большая плоская книга с похожими на фотоснимки иллюстрациями). Но никогда Гай не мог (да, по правде говоря, и не пытался) разобраться в том, что по-научному называется «обилием информации». Имена адмиралов и командиров, названия люнетов и редутов, подвиг Тридцатой батареи в сорок втором году и Балаклавское сражение в прошлом веке вспоми-

нались вперемешку. Наверно, так все бывает перемешано в дыму, грохоте и сумятице большого боя...

Когда Ася предложила пойти по линии Первой обороны, Гай подумал, что теперь в его знаниях появится хоть какой-то порядок. И правда, номера бастионов, наименования батарей, названия бухт и балок нанизывались, словно бусины, на одну нитку...

На улицах по-прежнему лежала солнечная тишина, и все сражения казались бесконечно давними и далекими. Так, наверно, и должно быть. Затем и защищают в боях люди свои города, чтобы потом был вот такой тихий, безоблачный и неколебимый мир. Чтобы мальчик и девочка могли беззаботно идти по старым бастионам, а на заросшем сурепкой перекрестке мальчишки весело гоняли красно-синий мяч...

— Ася... А ведь где-то в этих местах был снежный бастион, да? Ну, в котором погиб Алабышев.

— Да. Скорее всего, вон там, — Ася махнула легкой пластмассовой сумкой с якорем, — где ребята в мячик играли.

— Я про них и подумал... И вспомнил...

Но, подумав о снежном бастионе, о мальчишках в нем, Гай, конечно, вспомнил и гранату, которую закрыл собой Алабышев. И другую гранату... И других мальчишек — в Херсонесе, — к которым так и не собрался в эти дни. И опять покатила у него внутри черная дробинка.

— Ах ты черт... — в сердцах сказал Гай.

— Что? Трет ногу? — встревожилась Ася. (Они уже остана- вливались из-за этого, и Ася положила Гаю в носок прохладный мягкий листик.)

— Да нет... Просто вспомнил. Надо, в конце концов, съездить в Херсонес, того пацана разыскать. Который был пулеметчик с гранатой...

Они спустились по каменному трапу среди заросших двори- ков на склоне Лабораторной балки. Ася удивленно остановилась.

— Сержика разыскать?

— Ну да...

— А зачем в Херсонес-то ехать?

— Ребят спросить, я же его не знаю... Ой, а ты знаешь?!

Ася помолчала, что-то соображая. Тихонько засмеялась:

— Ты бы сразу меня спросил. Это же внук бабы Ксаны. То есть правнук, сын ее внука, дяди Алеши.

— Вот это да... — выдохнул Гай.

— Разве ты не знал?... Ну да, ты не спрашивал, я не говорила... А разве ты его у бабы Ксаны не встретил?

— Не... Она сказала, что какой-то Сергийко уехал в Феодосию. Только к школе вернется.

— Он и есть.

— Здесь просто чудеса какие-то, в этом городе. Сплошные совпадения...

— Да какие совпадения? Просто он в тот день за мной в Херсонес увязался. А там я к дедушке пошла, а он с вами остался играть, вот и все...

Сперва Гай обрадовался. Но тут же расстроился:

— Значит, я его не увижу. Я двадцать восьмого домой улечу.

— Жалко... — вздохнула Ася. Непонятно было, что «жалко».

Что улетит или что не увидится с Сержиком?

— Еще бы, — сказал Гай. Тоже непонятно.

— А какое у тебя к нему дело? Может, я помогу?

— Помоги... Помнишь, он тогда гранату потерял? Я знаю, где она... Ну, потом сообразил. Завалилась она там в одно место. Я достану, а ты ему отдашь.

— Еще чего. Я ее тут же в море выкину.

— С ума сошла?

— Это вы, мальчишки, все с ума посходили. Нашли себе игрушки...

— Она же ненастоящая!

— Баба Ксана от этой «ненастоящей» себе нервы извела... А знаешь сколько было случаев? Сперва — ненастоящая, а потом и настоящую откопают...

— Ася...

— Выкину, — сказала она. И Гай подумал, что даже с самыми хорошими девочками можно разговаривать не о всех делах.

— Получается что? — озабоченно сказал Гай. — Он не знает, где она лежит, а я знаю. Выходит, я будто ее сташил...

Ася быстро глянула на него, и Гай почувствовал, что краснеет.

— Не ты же ее туда спрятал, — сказала Ася.

— Все равно... Эх, жалко, что его нет. — Гаю теперь хотелось увести разговор от гранаты. — Мне еще и поговорить с ним надо. Про бюст... Ты вот не знаешь, что это за герой, а он, наверно, знает... А вдруг это капитан-лейтенант Алабышев, а?

Такая догадка лишь сейчас мелькнула у Гая и в первую секунду показалась невероятной. Но ведь в этом городе, где столько удивительных совпадений и встреч, все возможно.

— Наверно, и дядя Алеша знает, — рассудила Ася. — Ох, я забыла: он же в рейсе... Гай...

— Что?

— Гай... — тихо сказала Ася и махнула сумкой по головкам чертополоха. — А может, тебе не улетать двадцать восьмого?

— А... как?

— Ну, поживи здесь еще... Сержика дождешься. И вообще... У нас в сентябре знаешь как хорошо.

— А школа? — озадаченно спросил Гай.

— Поучился бы в нашей... Кто отдыхает здесь осенью с ребя-

тами, часто устраивают их в здешние школы... Я могу с нашей Мариной Викторовной поговорить, она знаешь какая хорошая...

— Ха! А Толик? С ним кто поговорит? Он со мной тут и так замаялся, — самокритично высказался Гай. — И билет на самолет уже давно взят. Билет в кассе менять — думаешь, это легко? Там не протолкнешься...

— А зато... — начала Ася и замолчала.

— Что?

— Ну... когда еще потом приедешь-то...

«Это верно», — подумал Гай. И тоскливое предчувствие скорого расставания с морем, с Севастополем, со всей этой полной удивительных событий жизнью уже не первый раз толкнуло его.

Домой, конечно, хотелось (особенно когда о маме думал; и Юрка вот, мама пишет, все спрашивает: когда Гай приедет?). Но он все равно скоро приедет! И будет дома всегда. На долгие годы. А здесь — словно что-то не закончено. Словно все еще не случилось главного события. Словно ступил на неведомый остров, успел полюбить его, а узнать до конца не успел...

Если бы еще десяток дней такой жизни, а? Неожиданный подарок, прибавление к той короткой неделе каникул, которая здесь осталась Гаю! Он бы со всеми ребятами еще раз встретился, облазил бы напоследок все полюбившиеся места, искупался на всех пляжах, обошел берега над всеми бухтами... И с Пулемтиком бы решил дело как надо. И... вот и Ася хочет, чтобы он остался...

Конечно, потом все равно придет день расставания, но будет уже легче. Потому что он, Гай, все успеет.

Гай понимал, что в чем-то он обманывает себя. Проще и легче, наверно, не будет. Но, по крайней мере, печаль прощания отодвинулась бы еще на какие-то дни. И дни эти были бы, наверно, тоже радостные и разноцветные...

— Толик не разрешит, — грустно сказал Гай.

— Попроси изо всех сил.

— А школа... У меня и формы-то нет. Только лыжный костюм на всякий случай, если холод...

— А это чем не форма? — Ася прошла по Гаю глазами. — У нас многие мальчишки так всю первую четверть ходят, до самых холодов.

— Ну да? — Сентябрь в понятии Гая был прочно увязан с плотным серым сукном школьной униформы, без которой и не думай явиться на уроки, пусть хоть какая жара на улице.

— Здесь же юг, — сказала Ася.

— А учебники? Где я возьму?

— Что нам, моих не хватит?

«А зачем тебе надо, чтобы я задержался?» — подумал Гай. Но понял, что спросить это не решится ни за что в жизни.

— Ох... я попробую с Толиком поговорить, — сказал Гай.

— Конечно! Попробуй...

— А Пулеметчик... Сержик этот в твоей школе учится?

— Да. Он в пятый перешел.

— Ну? Я думал, он меньше. На вид такой... октябренок.

Они пересекли Лабораторную балку, и Ася объяснила, что от линии Обороны отклонились. Зато поднимутся на Зеленую гору, с которой виден весь город.

И они стали подниматься. Ноги у Гая ныли и гудели, и он думал, что Ася — просто железный человек. Иногда хотелось плюнуть на гордость и сказать: «Слушай, давай посидим, а?»

Зато с горы Гай увидел Севастополь во всем его праздничном сверкании. А за ним — громадное пространство моря. Там уверенно двигались корабли.

Радостно и беспокойно толкнулось сердце: не хочу уезжать!

Если бы Гаю предложили остаться здесь навсегда, он бы не согласился. Даже если бы вместе со всеми здесь жить — с мамой и отцом, с Галкой, дедушкой и бабушкой — все равно не захотел бы. Он любил Среднекамск и свой дом. Там была вся его жизнь. А здесь — праздник, хотя и не лишенный печалей.

Не может вся жизнь быть праздником. Но так хочется, чтобы его было больше...

Сошли по тропинке к зеленому «Т-34» на каменном постаменте — памятнику героям-танкистам. Постояли у него. Потом по извилистой лестнице, сквозь рощу дубов и акаций, мимо белой школы спустились к вокзалу. Ася предупредила:

— Скоро последний подъем... Я тебя замучила?

— Ты не девочка, а какой-то... землепроходец, — сказал Гай. Но он уже не чувствовал прежней усталости. Ноги, правда, гудели, как и раньше, но пришло какое-то пружинистое веселье. Немного нервное, с примесью тревоги: «А что скажет Толик?»

Поднимались опять среди старых, увитых виноградом дворишков, где орали петухи и ходили деловитые кошки. Одна такая улочка-тропинка-лесенка называлась Лагерный переулочек. Интересно, когда и какой лагерь здесь был? На этом месте, где только и гляди чтобы не загреметь под откос...

Поднялись к Четвертому бастиону с его черными пушками и брустверами из корзин и мешков (мешки и корзины были отлиты из бетона, но очень походили на настоящие). Потом прошли мимо Панорамы. Здесь толпились экскурсии, к дверям тянулась бесконечная очередь. Гай посмотрел на нее снисходительно: ему не надо стоять, он был здесь дважды.

В парке у Панорамы стояла парашютная вышка, вверх колыхался шелковый купол.

— Прыгнешь? — спросила Ася.

— А пустят?... У нас в Среднекамске тоже есть такая, там ребята не пускают... Но у нас там инструктор знакомый, он пацанов, которых знает, пускал, я четыре раза прыгал... Первый раз жуть такая, второй раз еще страшнее, а потом ничего... — Гай говорил весело и беззаботно, потому что все было полной правдой. — А здесь ребята пускают?

— Нет, — вздохнула Ася. — Я хотела, сказали: маленькая.

Они пообедали в полупустом кафе на Историческом бульваре. Взяли по полтарелки теплой окрошки и по блинчику с мясом. Пока шли, Гаю казалось, что он голодный, но сейчас аппетит вдруг пропал. Наверно, от растущего беспокойства: «Что же все-таки скажет Толик?»

Теплый ветер колыхал парусиновый навес, по пластмассовым столам прыгали воробьи. Ноги у Гая отдохнули, даже натертая пятка не болела. Но росло тревожное нетерпение.

Когда они мимо памятника Тотлебену спустились с бульвара на площадь Ушакова, куранты на башне Матросского клуба пробили три часа. Торжественные колокола сыграли «Легендарный Севастополь». Гай сказал:

— Ася, на Пятом бастионе я уже был. Это ведь на кладбище Коммунаров, где могила лейтенанта Шмидта, да?... А мимо Шестого и Седьмого и так каждый день ходим...

— Устал? — спросила она спокойно и ничуть не обидно.

— Нет... Не в этом дело. Скоро Толик придет домой. Я хочу, чтобы уж сразу разговор...

Четырех еще не было, но Толик оказался дома. Гладил белые брюки: брызгал на них, раздувая щеки, и лихо водил шипучим утюгом. Весело глянул на Гая.

Гай сел у стола, положил подбородок на локти.

— Толик...

— А?... Пфу... Что, дитя мое?

— Толик... Хочешь увидеть необыкновенное? Самое-самое.

— Что... пфу... именно?

— самого образцового на свете пятиклассника... то есть шестиклассника. самого-самого послушного, дисциплинированного и всякого-всякого... Хочешь, я таким сделаюсь?

— В обмен на что? — проницательно спросил Толик.

— Ох... — тихонько простонал Гай.

— Что «ох»? Какая идея возникла в твоей кудлатой голо-

ве?.. — Толик выключил утюг, пальчиками поднял брюки и полюбовался. — Ну? Слушаю вас, сударь...

— Ага, «слушаю»... А потом скажешь «нет».

— Скорее всего.

— Ты только не говори сразу «нет», а? Ты сперва послушай, потом... ну, потом отругай меня. И скажи «ладно»... А?

— Выкладывай... — Толик уже слегка встревожился.

— Ох... — опять сказал Гай. Зажмурился и выпалил: — Не отправляй меня двадцать восьмого! Можно, я еще немножко здесь поживу?

Толик молчал. Гай приоткрыл один глаз. Толик смотрел, словно говорил: «Лю-бо-пытно... Что еще придумаешь?»

— Ну, вот... — уныло произнес Гай. Открыл второй глаз и стал безнадежно смотреть на Толика. Тот в самом деле сказал:

— Лю-бо-пытно... Давно придумал?

— Сегодня, — скорбно отозвался Гай. И вдруг в молчании Толика ощутил нерешительность. И капелька надежды сверкнула, как дождинка на солнышке... — Толик... Я тебе, конечно, надоед, я понимаю. Но вот если бы ты согласился... не надолго ведь, еще деньков на десять, а? Я бы тогда...

— Школу прогуливать? — хмыкнул Толик.

— Нет! — Гай подскочил. — Ни за что на свете! Ася договорится со своей классной! Толик... я бы одни пятерки здесь...

Надежда уже не искоркой сверкала, а горела ярким фонариком. Гай даже позволил себе слегка дурашливый тон:

— Я бы стал образцом успеваемости... и этой... кротости.

— Неужели не соскучился по дому?

— Ох, соскучился. Иногда даже... хоть пешком беги. Но все равно! Толик, мне здесь надо еще! У меня причины.

— Кое о каких догадываюсь...

— Ты думаешь, я из-за Аси? — в упор спросил Гай. — Ну и... Но не только. Много всего... Одного мальчишку надо встретить, внука бабы Ксаны. Он лишь к первому сентября придет.

— А он-то тебе зачем?

— Наверно, он про бюст знает... Ну, кто там изображен.

— Но ведь ясно же, что не Головачев.

— А может... вдруг Алабышев?

— Ну и фантазия у ребенка, — сказал в пространство Толик.

— А что! Бывают же всякие совпадения, сам говорил. Ты вот, например, здесь своего Шурика встретил. Разве не чудо?

Толик усмехнулся и медленно проговорил:

— Да, встретил... Шурика и благодари.

— За что?! — подскочил Гай.

— У них, видите ли, выход в море на съемку задерживается до начала сентября... «Ах, как мы без Гая? Ах, уже со сценаристом

согласовали этот эпизод! Не губите гениальный финал фильма...» Даже билет сам переоформить обещает...

Встав на голову, Гай зацепил ногами стол и сшиб утюг.

— Это и есть образец кротости, — печально сказал Толик. И огрел Гая глаженными брюками.

К Асе Гай прибежал только около семи часов.

— Ты где пропадал?

— С Толиком на почтамт ходили, Среднекамск по срочному тарифу вызывали... Ох, Аська, досталось нам от мамы!

— Значит, остаешься? — расцвела она.

— Ты думаешь, это легко было?.. А мама потом даже всхлипать начала по телефону. Я уж совсем решил, что ладно, поеду домой. А потом вспомнил: фильм-то...

— А что — фильм?

Гай поведал про удачу с задержкой киносъемки.

— Теперь, даже если в школу не возьмут, все равно придется остаться.

— Возьмут, не радуйся...

Марина Викторовна жила в двухэтажном доме на углу Бакинской, Ася и Гай нашли ее во дворе. Асина «классная» развешивала выстиранное белье. Была она молодая, коротко стриженная и в своем спортивном костюме походила на учительницу физкультуры, а не истории. Асе она обрадовалась, а заодно и Гаю. Они помогли ей повесить на веревке тяжелую клетчатую скатерть.

Насчет занятий в школе Марина Викторовна сказала, что пусть старший брат Миши Гаймуратова напишет заявление. А когда Миша будет уезжать, ему заверят дневник с оценками, вот и все. И улыбнулась:

— Надеюсь, оценки будут приличные.

Гай сказал, что он тоже надеется. И спросил:

— А правда, что можно без формы, вот так?

— Ну, совсем «так», наверно, не стоит. Галстук надо бы надеть. Пионер ведь? Вот... И, конечно, подстричься. У нашего директора отношение к прическам строгое.

— Ой, а стричься как раз нельзя, — встревожился Гай. — Режиссер не велел. Я им там с волосами нужен.

— Да? Ну, решим как-нибудь и этот вопрос... Пойдемте ко мне ужинать, а? Я сегодня одна, муж на репетиции в оркестре, Витька у мамы... Блинчиков с медом хотите? Вижу, что хотите, пошли, пошли. Только жарить будем вместе.

Толик предупредил Гая, что вернется поздно и что «пусть впечатлительный ребенок не изводится, а спокойно дрыхнет».

— На здоровье, — согласился счастливый Гай. — Гуляй хоть до утра. Только не связывайся больше с хулиганами.

— Это пусть они со мной не связываются...

— Привет Алине Михаевне, — сказал Гай и слегка покривил душой: — Она мне *очень* понравилась.

На самом деле он не знал, понравилась ли ему невеста Толика. Что тут скажешь, если и разглядеть-то не сумел как следует? Впрочем, Толику виднее...

Вечером Гай не тревожился, но и не спал. Дождался, когда Толик вернулся.

— Что не спишь?

— Думаю, — сказал Гай.

— О чем, не секрет?

— Так, обо всем... Толик, а почему ты считаешь, что это не может быть бюст Алабышева?

— А почему — его? Во-первых, в Севастополе были тысячи героев...

— Ну а вдруг *все-таки*?

— ...А во-вторых, Алабышев, скорее всего, вымышленный герой. Курганов его просто придумал.

— Значит, ничего не было? — огорчился Гай.

— Чего «не было»?

— Ну... как он ребят спас...

Толик сел на край скрипучей раскладушки Гая.

— Такое-то как раз было. И люди вроде Алабышева были. На гранаты кидались, ребяташек прикрывали и товарищей своих... Я когда в первом классе учился, в соседней школе был случай. На уроке военного дела граната оказалась не учебная, а боевая. И военрук, фронтовик-инвалид, тоже грудью на нее... Ребята кругом были...

Гаю стало зябко, и он сказал с непонятной виноватостью:

— Это, наверно, не всякий может. Только герой...

— Наверно, — сказал Толик.

— Даже представить нельзя, что человек думает, когда вот так... последние секунды...

— Этого никто не знает, — сумрачно сказал Толик. — С кем такое случается, тот потом не расскажет... И вообще, спал бы ты. Что за мысли на ночь...

— Это потому, что мы сегодня с Асей были где снежный бастион стоял...

— Нагулялся за день-то? Небось ноги отваливаются?

— Ага... Даже пятку натер. Вот... — Гай выставил из-под простыни ногу.

— Ну-ка покажи. Может, пластырем залепить? Дай гляну...

— Ай! — Гай спрятал ногу. — Шекотно же будет!

— Какая зануда, — сказал Толик.

ВЕТЕР

Ася дала Гаю потрепанный, но прочный портфель. А про учебники снова сказала: «Хватит нам с тобой моих». Гай купил в «Детском мире» у рынка десяток тетрадей и дневник. Погладил старенький пионерский галстук (он его прихватил в поездку на всякий случай). На этом и кончилась подготовка к школе.

В классе Гая встретили без особого любопытства, но по-хорошему. Председатель совета отряда Костик Блинов сказал:

— Жалко, что ты к нам ненадолго. В классе у женской половины перевес, нас затюкали совсем...

Девчонки с радостными воплями погнались за Костилом по партам и слегка поколотили в углу. Двое мальчишек выхватили из сумок пистолеты-брызгалки и атаковали девчонок с тыла.

— И в этом сумасшедшем доме я староста, — сказала Гаю Ася. — Ну-ка, тихо вы...

Ощущение веселья не покидало Гая с первого школьного часа. Во всем было такое беззаботно-праздничное настроение, что школа даже казалась ненастоящей. Мельтешило солнце, врываясь в распахнутые окна сквозь листву каштанов; задиристо трезвонил колокольчик, вызывая всех на перемену; уроки казались короткими, а перемены с бегом во дворе, с переброской мячами, с лазаньем по каштанам — длиннее уроков. Радостная пестрота была в смехе и перекличке, в топоте по аллеям и коридорным половицам, в мелькании разноцветных рубашек... Кое-кто из мальчишек пришел и в форме, но форма эта оказалась совсем непохожей на суконные серые костюмы, к которым привык в Среднекамске Гай. Она лишь добавила зеленовато-голубые блики в красочную круговерть первого школьного дня...

В этой круговерти Гай не сразу вспомнил о Пулеметчике. И лишь после четвертого урока прошелся у дверей пятого «Б». Потом заглянул в класс.

Он увидел и узнал Сержика, но не сразу. Пятиклассник Снежко мало походил на Пулеметчика в Херсонесе. И не в том дело, что оказался Сержик аккуратно подстрижен и не было на нем пыли и ржавчины. Главное, что не было кинжальной остроты, которая больше всего запомнилась Гаю.

Но смелость в этом мальчишке ощущалась по-прежнему. Этакая веселая независимость. Он стоял в кругу ребят и что-то рассказывал им и молодой учительнице (волосы ее сияли в потоке солнца). Сине-зеленый форменный пиджачок был надет на

Сержике, как гусарский ментик: левый рукав — на руке, правое плечо — внакидку. Правой ладонью Сержик чертил в воздухе какие-то знаки. И смеялся. И ребята смеялись, и учительница.

На миг Сержик встретился глазами с Гаем. Не узнал, конечно. А Гай почему-то испугался. Будто его поймали на подглядывании. Быстро шагнул от порога. Но издалека он успел заметить в открытую дверь, как все вдруг расхохотались, а учительница — высокая, гибкая — взъерошила Сержику волосы, схватила его под мышки и сильно закружила по воздуху. Сержик тоже хохотал, стриг воздух похожими на коричневые карандаши ногами, а слетевший с плеча пиджачок развеялся над ним, как флаг...

Было понятно, что Сержика Снежко здесь любят за ясность характера, за веселость и смелость, хотя ростом он, кажется, меньше всех в классе — щуплый, тонко-угловатый, похожий на трехклассника... И Гай не решился подойти. Показалось, что пятиклассники глянут ревниво и недовольно: «Что тебе надо от нашего Сержика?»

Можно было, конечно, забежать после школы к Сержику домой. Но тогда могло случиться, что Ася захотела бы пойти с Гаем. А ему надо было поговорить с Пулеметчиком один на один...

«Успеет, — успокоил себя Гай. — Не последний же день». Он хитрил с собой. Во-первых, не хотелось терять оставшуюся капельку надежды, что бюст как-то связан с повестью Курганова (а то, что надежда рассыплется при разговоре, Гай отчетливо понимал). Во-вторых, будущий разговор о гранате тоже беспокоил. Казалось бы, чего тревожиться? Сержик обрадуется, еще спасибо скажет... Но когда Гай думал об этом, опять начинала кататься в душе черная дробинка. «Ладно, завтра», — сказал себе Гай.

Но завтра оказалось, что у шестиклассников пять уроков, а у пятого «Б» всего три и Сержик Снежко ушел из школы рано.

А третьего числа было воскресенье. И Гай — с Толиком, Алиной и Ревским — поехал в Ялту. На «Комете» с подводными крыльями.

Поездка Гаю не понравилась. «Комета» ехала по морю, как автобус, это быстро надоело. Ялта с курортной суетой и переполненными пляжами показалась утомительной и скучной. Стоило ли уезжать из прекрасного Севастополя ради бесцельного болтания по забитым людьми улицам, кафе и магазинам?

Хотели сходить в дом Чехова, но он оказался закрыт.

Толик, Алина и Ревский болтали о своих делах, вспоминали детство, а Гай томился. Нет, он не вредничал и не ворчал, но в нем нарастало раздражение...

В Севастополь Гай вернулся, будто домой из дальней поездки. По-родному светились окна Артиллерийской слободки. Радостно трещали цикады...

При прощании Ревский сказал:

— Приношу свои извинения за беспокойство, князь, но завтра вам надлежит быть на судне. Долг зовет вас под флаги «Фелицаты». В два часа жду на причале...

И опять не оказалось времени для Сержика.

На «Крузенштерне» Гая встретили шумными приветствиями, хлопаньем по плечу и упреками, что «забыл своих коллег по пиратскому ремеслу». Гай весело отбивался: я, мол, не только пират, но и ученик, сейчас даже для джентльменов удачи обязательное восьмилетнее образование...

Прикинули, на каких вантах и на какой высоте будет стоять Гай во время съемки. Карбенов решил, что оператора придется «выносить» за борт — на специальной стреле. Игорь Васильевич сказал, что для финальных кадров драная полосатая фуфайка Гая не годится. Финал — праздничный: «Фелицата» подходит к заветному острову, поэтому вся команда принаряжена. Значит, и юнге оставаться оборванцем негоже.

Костюмерша Настя сняла с Гая мерку и уже через час прикинула на него сметанную блузу из алого атласа. Широкую, легкую, с летучим квадратным воротником, похожим на белый с голубыми полосками флаг.

— Но стричься — ни-ни, — сказал Игорь Васильевич. — Волосы должны живописно разлетаться на ветру.

— Пускай разлетаются, — вздохнул Гай. — Хотя сегодня дежурные уже два раза придирались.

— Терпи, — сказал Ревский. — Не так уж долго тебе осталось подрывать основы педагогики. Съемка через четыре дня...

— Ура! — подскочил Гай.

— Если не испортится погода, — вставил «пират» Витя Храпченко. — Чегой-то задувает, братцы. А?

И правда, с моря дул не ветерок — ветер. Когда шли на «Крузенштерн», портовый катер ошутимо болтало, и он не сразу ошвартовался у трапа. А на обратном пути встречная волна «дала прикурить», как выразился Витя Храпченко. Катер то зарывался по палубу, то взлетал носом на гребни. Брызги летели над палубой и рубкой от форштевня до кормы. Все укрылись внизу, но Гай все время высовывался из маленького люка впереди рубки по пояс, а то и по колени. Несмотря на ветер, небо оставалось ясным, и крылья взлетающей пены были просвечены янтарными и оранжевыми вспышками...

Чем ближе к городу, тем сильнее делались волны. Оглядываясь, Гай видел сверху, за мокрыми стеклами рубки, молодое скуластое лицо капитана. Скулы были напряжены. Но Гай не ощущал никакой тревоги. Только восторг.

Наконец качнуло так, что он не удержался и загремел вниз, обдав ногу на окованной ступеньке трапа.

— Сударь, вы доигрались, — сказал Ревский.

— Пфе... — ответил Гай и опять рванулся наверх.

— Куда ты! И так мокрый насквозь! — Ревский схватил его за щиколотку. Гай заорал, испугавшись щекотки. Ревский с перепугу отпустил его. Гай высунулся, подставил под брызги руки, мокрой ладонью стер с ноги кровь и вцепился в комингс люка — навстречу летел такой пенный гребень! Хлестко ударило в лицо, солью заполнило рот. Гай отплевывался и хохотал.

Его стянули вниз, капитан спохватился и велел задраить люк. Гай смеялся и отлеплял от живота мокрую рубашку.

— Передай Толику, что я просил его применить к тебе педагогические санкции, — сказал Ревский. — Искренне сочувствую дядюшке такого племянника.

Гай весело сопел...

Утром ветер продувал город насквозь и устраивал на улицах кутерьму. Летели с платанов и акаций листья. Сыпались на головы прохожих и лопались спелые каштаны. Словно узкие марсели клиперов, надувались натянутые поперек улиц лозунги: «Севастопольцы! Городу нужны ваши руки, ваши сердца, ваши улыбки!», «Город и флот! Пятидесятилетию Октября — наш ударный труд!» Лозунги были написаны голубыми буквами на серой, как суровая парусина, материи.

На улице и площадке перед школой кружилась разноцветная метель. Это носилась по асфальту пестрая октябрятская малышня в трепещущих рубашках, летели с голов белые, голубые и алые испанки, реяли галстуки. У кого-то вырвалась и, как перепуганная курица, умчалась по воздуху тетрадь... И все это вперемешку с летящими листьями и проблесками солнца. Солнце среди рваных и очень быстрых облаков — серых и белых — словно махало желтыми крыльями...

Было похоже, что ветер растрепал и школьный распорядок. По крайней мере, Гай и Ася услышали от дежурной учительницы, что сегодня и завтра шестиклассники будут учиться со второй смены. «Из-за сложностей с расписанием».

— Ну и ладно, — обрадовалась Ася. — У нас с мамой дел всяких по хозяйству... Надо комнату белить. Сейчас и займемся.

— Может, помочь? — нерешительно предложил Гай.

— Ну да! Тебя там и не хватало...

— Тогда скажи Толику, что я погуляю до школы. В Музей флота еще раз схожу...

— Только не суйся к воде.

— Я что, из ума выжил?

Даже вот здесь, у школы, был слышен штормовой прибой.

...Но все же он сунулся к воде. Обошел Артиллерийскую бухту и через Хрустальный мыс, по слоистым уступам песчаника, мимо строящегося наверху похожего на корабль здания спустился к наветренным скалам.

Ух, что тут делалось! Гай, наверно, два часа смотрел, как вздымается море у желтых обвалившихся глыб, как встают многоэтажные стены из пены и брызг. Когда стены падали, видно было зеленовато-сизое пространство, по которому шли от горизонта неторопливые валы с белыми гребнями, и Константиновский мыс, где прибой штормовал старинную крепость. А потом опять вырастали пенные взрывы... Редкие травинки прижимались к камням.

Гай наконец продрог от ветра и брызг. Но пока он шагал к Музею флота, взмахи солнечных крыльев согрели его, а ветер высушил рубашку и волосы.

«Ну и пусть шторм! — весело думал Гай. — Ну и пусть задержится съемка! Куда спешить-то?»

Потом он долго и неторопливо ходил по прохладным залам музея с моделями фрегатов и крейсеров, с портретами адмиралов и картинами сражений. Наконец он в витрине с оружием последней войны, среди касок, автоматов с круглыми магазинами и пулеметных лент увидел несколько гранат-лимонок.

И тревожно насупился.

И со злостью на себя подумал, что хватит уже тянуть резину и себе самому портить настроение. Все так хорошо в жизни, и лишь чертова граната — как болячка на душе.

«А сегодня Сержика опять не встречу, — с досадой понял Гай. — Из-за этой дурацкой второй смены...»

Когда Гай вернулся к школе, уже тренькал колокольчик. Дежурная учительница — худая, остроносая и, видимо, всем недовольная, кричала с порога, чтобы торопились, а не плелись.

Заторопился и Гай. Но учительница ухватила его за рукав:

— А для тебя школьные порядки не существуют?

— А... чего? — растерялся Гай.

— А «того». Космы твои! Не знаешь распоряжения?

— Дак я же с киносъемки! Спросите хоть кого! Я...

— А мне хоть из-за границы! Здесь школа, а не кино!

— Но как же сниматься-то? Да все уже в школе знают.

— А я не знаю! Фамилия? Класс?

— Пожалуйста! Гаймуратов, шестой «А»... Ну, я же...

— Он еще и «пожалуйста»! Марш в парикмахерскую, а потом пойдешь к директору! Вместе с родителями.

— Да где я их возьму вам, родителей? — не выдержал Гай.

— Ты мне еще погуби! — Она уже не слушала, держала за воротник какого-то несчастного второклассника.

Гай вытянул шею, надеясь разглядеть в вестибюле знакомых ребят или Марину Викторовну.

— Ты еще здесь?

— Ну и на здоровье! — сказал Гай. Ушел и сел на скамейку против школьного крыльца. По темени стукнул его колючий каштан. Это рассмешило Гая, и он подумал, что злиться не стоит.

Все равно все было хорошо: и город, и «Крузенштерн», и школа. И не станет белый свет хуже от того, что встретишься одна... такая вот... Ей же потом Марина Викторовна нахлобучку даст за бестолковость, когда узнает про этот случай...

Гай решил дожидаться перемены. Может быть, тогда он сумеет проскочить в школу или через ребят передаст Марине Викторовне «СОС». Он сидел, потирая вчерашнюю «штормовую» ссадину и шурясь на проблески солнца. Школьная дверь скрипуче запела, приоткрылась, выпустила на ступени стайку мальчишек. И среди них был Сержик.

Гай заволновался, будто должно было случиться что-то важное.

А что? Ну, пойдет сейчас пятиклассник Снежко с приятелями от школы, ребята один за другим начнут отставать, сворачивать к своим улицам, подъездам и калиткам. Наконец Сержик окажется один, и Гай окликнет его...

Сержик остался один даже раньше, чем рассчитывал Гай. Мальчишки дошли вместе до угла и весело разбежались кто куда. Сержик зашагал сам по себе. Но не домой. Он свернул к Артиллерийской бухте и двинулся по набережной.

Даже здесь, в бухте, защищенной от моря высоким Хрустальным мысом, волны разгулялись вовсю. Пена и брызги летели на ракушечные плиты. Сержик то подходил к самому краю, то отскакивал, увидев крупный гребень. И, кажется, смеялся. Его растегнутый пиджачок трепыхался на ветру, а волосы вставали торчком.

Гай шел шагах в двадцати.

Теперь никто не мешал окликнуть Сержика, но Гай ощущал боязливую неуверенность. Робость перед шуплым независимым мальчишкой. И злился на себя.

Бухта кончилась, мыс перестал прикрывать набережную от идущих с моря волн. Пришлось подняться на бульвар. Там прошагали они еще минут пять. Потом, пройдя мимо театра, Сержик остановился у каменной балюстрады, рядом с лестницей. Лестница вела на площадку, что лежала между высокой набережной и морем. Даже не площадку, а площадь — широкую, выложенную плитами.

По плитам скакала мокрая веселая малышня. Пятеро маль-

чишек — по виду первоклассники. Они побросали у гранитного отвеса набережной ранцы и обувь и дразнили штормовой прибой. В секунды затишья подбирались к самому краю площадки и ждали, когда с гулким ударом встанут над плитами многометровые водяные взрывы. И прибой вставал. Великанские гребни замирали на секунду и рушились на площадку могучей тяжестью зеленой воды, сокрушительным градом брызг. Мальчишки радостно верещали и удирали из-под водопадов. А вода, грянувшись на плиты, бурлила и устремлялась назад к морю. Заливала бесшабашным пацанятам ноги по колени, старалась утянуть мальчишек с собой...

«А ведь и утянет!» — вдруг понял Гай. Потому что увидел, как один из ребят еле устоял в бурлящем потоке, а второй сел на корточках, цепляясь за шель между плитами, — вода накрыла его по плечи.

Пойти да разогнать, что ли?

Сержик в этот миг что-то звонко, но неразборчиво крикнул. Его не услышали. Трое мальчишек вели вымокшего приятеля подальше от волн, к стене. Он вздрагивал и что-то весело говорил... Сержик вдруг метнулся вниз по лестнице! Потом по плитам. Куда? И Гай увидел, что пятый мальчишка в беде.

На площадке был желоб водостока. Сперва почти незаметный, он ближе к морю углублялся, а у самого края нырял под плиту. За эту плиту сейчас и цеплялся светлоголовый пацаненок. Шумная вода утянула его под каменный козырек почти по грудь. И затягивала дальше. Мальчишка беспомощно дергался. Застрыл.

Новый удар прибоя потрянул берег, и опять обрушились каскады, бурлящая вода накрыла мальчишку до ушей. Но, кажется, он засел в желобе прочно, и это на сей раз спасло его.

А в следующую секунду его спас Сержик Снежко. Пулеметчик.

Он ухватил мальчишку за плечи, оттащил вверх по желобу, рывком поставил на ноги. Прибой снова обрушился и раскатился по площадке. Сержик прижал мальчишку к себе. Вода закрутила у их ног шумные водовороты и сошла. Сержик оторвал от себя перепуганного малыша, дал ему подзатыльник и отвесил пинка — такого, что от мокрых штанов разлетелись брызги.

...И все это случилось быстро. И все это Гай видел, когда отчаянно мчался сперва вдоль балюстрады, потом по ступеням. А когда прыгнул на плиты, помощь его была не нужна.

Сержик посмотрел на Гая, улыбнулся и сказал виновато:

— Я его не сильно. Просто чтоб в себя пришел...

— Это что вы здесь делаете, а? Кто разрешил?! — Грозный голос донесся с лестницы, и Гай увидел молодого милиционера. Тот скачками спускался по ступеням. Его белая рубашка была обтянута ветром, ремешок фуражки охватывал подбородок.

— Что за игра?! Жить надоело?!

Мальши подхватили свои ранцы, носки и сандаlette и дунули вдоль гранитного отвеса к другой лестнице.

— А ну, стойте!

Ага, такие дурни они, что ли? Спасенный из водостока пацаненок улепетывал впереди всех.

Старшина милиции подступил к Сержику и Гаю:

— Ну, они-то несмышлениши! А вы? Мозги имеются? Или баловство дороже головы?

Вода шипучим языком издалека подползла к их ногам. Милиционер переступил начищенными ботинками. Сделал вдох, чтобы продолжить воспитательную речь. Гай сказал, кивнув на Сержика:

— Он человека спас, а вы кричите.

— Разговорчики... Кто кого спас?

— Вот он... Вон оттуда вытащил маленького. Его чуть в море не стащило...

— Сперва лезете черту в зубы, а потом спасаете, — буркнул милиционер. — Кто вас сюда звал?

— Он что, баловался? — обиженно сказал Гай. Подбородком показал на промокшие вельветовые полуботинки Сержика. — Кто же обутый нарочно по воде бегаёт?

Старшина недоверчиво глянул на Сержика и расстегнул сумку. Достал блокнот.

— А тех оборотов как зовут? Вот сообщим родителям, чтобы взгрели...

— Я откуда знаю? — усмехнулся Сержик.

— Понятно. Сам помирай, а товарища не выдавай... А если товарищи голову сломят по своей дурости?

Сержик бесстрашно пожал плечами.

— Уже не сломят, удрали... Если бы я знал, я, конечно, все равно не сказал бы. Но я правда не знаю.

— Какой герой! Отведу в отделение, там все скажешь.

— Что, по-вашему, мы должны всех мальчишек в городе знать? — огрызнулся Гай. Он хотел часть милицейского гнева отвести на себя.

Но гнева уже не было. Старшина проворчал:

— Вам игрушки, а за вас отвечай потом!

— А зачем вам за нас отвечать? — спросил Сержик.

— А затем, что я на посту.

Сержик поднял глаза — насмешливые и дерзкие:

— Правда? А почему вы тогда не здесь, а все около нашей школы ходите? Особенно когда учительница физкультуры во дворе урок ведет? Все ребята заметили...

Старшина помигал и спросил казенным голосом:

— Фамилия?

— Учительницы?

— Твоя.

— Снежко Сергей, пятый «Б», сорок четвертая школа.

— Гаймуратов Михаил, — сказал Гай с веселым страхом. —

Шестой «А».

Старшина записал. Сержик объяснил ему:

— За то, что мы какого-то первоклассника из водослива вытащили, нам двойки за поведение не поставят.

— Это он вытащил, — сказал Гай.

— То, что вытащил, дело особое. А вот то, что грубишь старшему, который к тому же при исполнении, доложу вашему директору.

— А как я грубил, тоже доложите? — поинтересовался Сержик.

Старшина спрятал блокнот и вздохнул:

— Не буду я докладывать. Я тебе просто уши накручу.

— А вот это нельзя, — серьезно сказал Сержик. — Вам от начальства попадет. За нарушение закона. «При исполнении».

— Начальство не поверит. Я у него на хорошем счету.

— А я свидетель, — сказал Гай.

— А ты помолчи, лохматый. А то накручу обоим. Будет два пострадавших и ни одного свидетеля. Тогда доказывайте.

Сержик отпрыгнул, как кузнечик. Засмеялся:

— Двоих еще поймать надо.

— Катитесь отсюда, — печально сказал милиционер.

Сержик и Гай пошли вверх по лестнице.

— Стойте! — окликнул милиционер. Они оглянулись. Старшина деловито спросил: — В порядке уточнения. У той учительницы физкультуры как имя-отчество?

— Нина Андреевна, — вежливо разъяснил Сержик. — Очень хорошая... учительница. Но она замужем, товарищ старшина.

Милиционер поправил фуражку и быстрыми шагами двинулся к лестнице. Сержик подхватил у балюстрады свой портфель, и они с Гаем помчались по аллее. Оглядываясь и хохоча...

«ПУСТЬ ЛЕЖИТ...»

Бежали, пока не запыхались. Потом сели на скамейку позади длинного пластмассового киоска. Киоск заслонил их от ветра, в окруженном кустами закутке было тепло и тихо.

Гай спросил (просто так, чтобы затеять разговор):

— А этот старшина правда пасется у школы?

— Я его три раза видел. И ребята говорят... — Сержик сбросил раскисшие башмаки и, кряхтя, стягивал тугие мокрые голь-

фы. Словно кожу сдирали: гольфы были одного цвета с загорелыми ногами Пулеметчика.

— А что, если он накапает на нас в школе? — сказал Гай и сразу испугался: вдруг Сержик решит, что он боится?

— Не накапает... — выдохнул Сержик, выкручивая гольфы. — Что он, совсем глупый? Ему же и попадет, что не был на посту.

Гай торопливо объяснил:

— Мне-то все равно, я скоро уеду. А вот тебе...

Сержик удивленно глянул на Гая. Видно, подумал: что за странный мальчишка? Зачем увязался следом? Чего хочет?

Гай опустил глаза.

— Ты меня, наверно, забыл. Мы один раз вместе играли. Когда ты был пулеметчик...

Сержик мигнул... Улыбнулся... Вспомнил:

— А, ты на пулемет с гранатами лез! А потом пропал куда-то. А тут эти с арканом... Я тогда так разозлился!

«Я помню», — подумал Гай.

— Так обидно стало, — вздохнул Пулеметчик. — Если бы гранатами закидали, тогда еще понятно. А то веревка... Хорошо, что у меня была граната. — Он с веселым недоумением взглянул на Гая. — Куда она потом подевалась? Пропала, будто по правде взорвалась — на мелкие пылинки...

Гай тихо сказал:

— Если бы по правде, тогда никого бы из нас не было.

— Ну да... — Сержик понимающе кивнул. — Знаешь, я как-то даже испугался. На одну секунду...

— Чего... испугался? — осторожно спросил Гай.

— Ну... — Сержик смотрел доверчиво. Может, видел в Гае товарища по суровой игре, который его поймет. Может, вообще был у Сержика Снежка такой вот открытый характер. — Я так разозлился, что взяли хитростью... Показалось, будто в самом деле на войне. Ка-ак дерну кольцо... А потом уж смотрю — это же наши ребята кругом.

«Значит, если бы не ребята, а враги, ты бы и правда дернул? Настоящую?» — едва не спросил Гай. Но не решился.

Да и чего было спрашивать? Он вспомнил тот кинжальный взгляд Пулеметчика. А сегодня! Риск там, у водостока, был, может, и не смертельный, но и не шуточный.

Сержик тоже вспомнил спасенного малыша и его друзей.

— До чего бестолковые... Сушись теперь из-за них. Если с мокрыми ногами приду, бабка сразу в оборот возьмет.

— За что? Ты же человека спас!.. Ты объясни!

— Ага, будет она слушать! Сразу за шиворот, и получ-чай,

милый внучек... — Сержик хлопнул мокрыми гольфами по скамейке и засмеялся: — Знаешь, какая решительная бабушка...

— Баба Ксана? Я думал, она прабабушка.

Сержик очень удивился:

— Ты ее знаешь?

— Я... — смешался Гай. — Случайно. То есть не случайно, но... В общем, я когда с ней познакомился, я не знал, что ты ее внук... или правнук. Мне уж потом Ася Новицкая сказала.

Сержик молчал и смотрел вопросительно. Гай объяснил:

— Про бабу Ксану мне тоже Ася сказала. Потому что мы про бюст заговорили. Ну, про тот деревянный портрет офицера, что у нее стоит. Знаешь?

— Знаю, конечно... — Сержик по-прежнему смотрел недоуменно. И, кажется, слегка насторожился. Может, решил, как и баба Ксана, что речь пойдет о музее? — А чего он тебе, этот бюст?..

— Да он как раз не «этот», — вздохнул Гай. — Я думал, что он с «Надежды», которой Крузенштерн командовал... Это давняя история, про одного лейтенанта и его бюст... Я подумал: а вдруг это тот самый? А баба Ксана говорит, что нет. Что это какой-то севастопольский герой... И что его друг ее сына вырезал...

— Ну да, — сказал Сержик, словно спрашивал: «Что здесь удивительного?»

— А кто этот офицер? Не знаешь?

— Знаю, конечно. Лев Толстой.

Гай изумленно заморгал. Сержик засмеялся:

— Это не тогда Лев Толстой, когда он с бородой, старый, а раньше. Когда он здесь на бастионах воевал. Ты, что ли, не слышал про это?

Гай, конечно, слышал и читал. И памятник Толстому видел на Четвертом бастионе — черный камень с белым барельефом. И сейчас понял, что барельеф и бюст похожи. И еще вспомнил портрет молодого Толстого в книге «Севастопольские рассказы». Можно было бы сразу догадаться...

«Или что? Ты все-таки надеялся, что это по правде Алабышев?» — с хмурым ехидством спросил себя Гай.

Сержик сказал, словно извиняясь:

— Вообще-то сходство там, наверно, не очень хорошее. Не художник ведь делал.

— Нет, хорошее. Теперь я понял, — вздохнул Гай. — Просто до этого я о другом думал... А баба Ксана почему не знает, что это Лев Толстой?

— Ей говорили, да она не помнит. Старая ведь уже... А потом и говорить не стали. Пусть думает, что Гриша...

«Конечно, пусть...» — мысленно согласился Гай. И сказал:

— А она мне совсем не показалась злой... баба Ксана... Наоборот...

Сержик тихо улыбнулся:

— А она и есть наоборот. Просто она притворяется сердитой. Чтобы судьбу обмануть.

— Зачем?

Сержик опять глянул доверчиво.

— Ну, понимаешь, она же суеверная. Потому что возраст... Ей кажется, будто за ней кто-то невидимый следит, навредить хочет. И если она кого-то сильно полюбит, этот невидимка может тому человеку зло сделать... Или совсем погубить, как Гришу.

— Кто? Бог, что ли? — смущенно спросил Гай.

— Да нет. Она говорит, что Бог-то как раз добрый... Пока церковь на Большой Морской работала, она туда каждую неделю ходила. А сейчас в другую ходит, на кладбище... Но она говорит, что Бог не может каждого от злой судьбы защитить, людей-то вон сколько... Вот она и притворяется, чтобы горе отвести. Чуть что — сразу меня веником или рушником: «Ах ты, злодий, я ж тебя зaráз!» — Сержик засмеялся, но сразу замолчал и вдруг сказал полупшепотом: — А если думает, что сплю, сядет рядом и волосы мои трогает. Шепчет что-то... Мне тогда ее жалко...

Гай робко кивнул: «Понимаю...»

Сержик негромко проговорил:

— Что прабабушка, что бабушка, не все ли равно? Отец ее мамой зовет, хотя на самом деле внук. Она его вырастила...

— Ага, она говорила...

Разговор угас на печальной ноте, и Сержик, видимо, ощутил неловкость. Встряхнулся, сказал весело:

— А иногда она и в самом деле так рассердится, что ой-ей! Тогда из-за гранаты на меня вон как напустилась: «Чтоб тебя с этой страхилатиной поганой дома не было!» Я и пошел куда глаза глядят... Аську встретил — и с ней в Херсонес: она к деду, а я так... А там Руслан, мы с ним раньше вместе учились...

— Рыжий такой?

— Да... Говорит: «Играть с нами будешь? Иди в засаду». Граната сперва в сумке у Аски была, потом я ее с собой в укрытие взял, незаметно... А потом она — фью! — бабе Ксане на радость... И куда провалилась? — Сержик забавно развел руками.

Вот и настал наконец этот момент. Гай коротко вздохнул и сказал решительно:

— Я знаю, где твоя граната.

Сержик удивился. Так же, как в тот раз, когда услышал о «прабабушке». Смешно замигал, рот округлил.

— Ее не там искали, — сказал Гай. — Она попала под большой камень, там такая яма, вроде норы... Выше по склону...

— А сейчас она где?

— Наверно, и сейчас там. Куда она денется? — хмуро сказал Гай. — Там незаметно...

— А почему ты не достал?

— Ну а куда я с ней?.. Я ее не сразу нашел, ребят уже не было... А больше я туда не ездил, закрутился...

Сержик рассеянно кивнул.

Гай виновато проговорил:

— Я тебя потом искал, чтобы сказать. А ты уехал.

Сержик ничего не ответил. В его молчании Гаю почудилось недоброе. Гай предложил торопливо:

— Давай съездим, я покажу, где она... Или сам привезу, если хочешь.

Сержик с сопением натягивал подсохшие гольфы. И вдруг сказал:

— Да ну ее... Пусть лежит.

— Как? — удивился и не поверил Гай.

— Да ну ее... Это сперва с ней интересно, а потом не знаешь, что делать.

— Как что... Играть, — неуверенно сказал Гай.

Сержик мотнул головой.

— С ней трудно играется. Она почти настоящая. У всех оружие деревянное, а она такая... все только на нее и смотрят. Получается, будто ты сильнее всех, если такая граната...

Он сказал то, что Гай чувствовал еще в Херсонесе. Но Гай тогда и подумать не мог, что у Пулеметчика такие же мысли.

Сержик нехотя объяснил:

— Если настоящая война, там все настоящее. А если игра, все должно быть игрушечное, а то нечестно...

— Значит, тебе ее совсем не надо? — недоверчиво спросил Гай.

— Пусть лежит... Бабе Ксане спокойнее... А если хочешь, бери ее себе!

— Нет! — быстро сказал Гай.

Сержик не удивился.

— Ну, нет так нет. — И повторил: — Пусть лежит...

— Но ты же говорил, что это подарок, — напомнил Гай.

— Ну и что? Это такой подарок... просто довесок. Андрей мне вообще-то самострел подарил с резиной, а про нее сказал: «Ладно, забирай и ее заодно, если надо...»

Сержик обулся, встал, весело потопал.

— Сырые еще. Ладно, сойдет...

«Вот и все», — сказал себе Гай. Глупая история с гранатой кончилась.

Но облегчения Гай не почувствовал. Черная дробина по-прежнему шевелилась в нем. И Гай знал почему.

Этому городу, морю, «Крузенштерну» — всему, что было во-

круг, — нужен был другой Гай. Острову капитана Гая нужен был другой Гай. И самому Гаю нужен был другой Гай. Честный до конца.

А если есть в душе хоть капля обмана, так и будешь смотреть на всех с тайной опаской, со скрытой виноватостью. И остров будет исчезать или тонуть за горизонтом раньше, чем к нему подплывешь.

«Но не все ли теперь равно? Ведь главное-то я сказал!» — огрызнулся на себя Гай.

— Ты где живешь? — спросил Сержик.

— Рядом с Асей...

— Я и не знал. Тогда пошли? Нам по пути.

— Мне в школу надо...

Гай скомканно рассказал о стычке с учительницей, а заодно и почему нельзя стричься, и откуда он приехал; и что сейчас надо попасть в школу, потому что Ася, наверно, беспокоится: куда он девался? И два ее учебника у него в портфеле...

— Вот это да... — выдохнул Сержик. — Значит, мы тебя в кино увидим?

— Ну... наверно. Если получится.

— Жалко, — вдруг сказал он.

— Что жалко? — испуганно спросил Гай.

— Да я не про кино. Жалко, что скоро уедешь. — Сержик посмотрел на Гая ясно и улыбочиво.

И тогда, словно шагая с высокого берега, Гай сказал:

— Сержик, ты меня прости...

Глаза у Сержика сделались большими от изумления.

— Я наврал, что случайно нашел гранату, — выдавил Гай, глядя в землю. — Я сразу видел, куда она упала... Я думал: никто не знает, ну и я... в общем, думал: возьму себе потом...

Гай понимал, какой он сейчас жалкий, растрепанный, красный, несмотря на загар. Чувствовал себя пришибленным и маленьким перед пятиклассником Сержилом, который ему чуть выше плеча, но у которого бесстрашная и чистая душа.

Ох как тошно... И все-таки вместе с этой мукой он испытывал облегчение. Словно разбил стекло в душевной комнате.

Гай заставил себя поднять глаза. Сержик смотрел растерянно. Так, словно это он, а не Гай виноват. И сказал скомканно:

— Да чего... Да это хоть с кем бывает. Я один раз тоже, когда моторчик у Андрея увидел... А после... — Он тряхнул головой, сделался спокойнее и строже. Утешил Гая: — Не надо про нее... Ты же не взял.

Щеки у Гая все еще горели. Но вздохнул он так, словно вынырнул из глубины. Прошептал:

— Не взял, конечно... Это я сперва...

Сержик вдруг обрадованно взметнул ресницы:

— Послушай! Но раз тебе ее надо, то возьми! Все равно она там без дела валяется.

— Да нет же! Я тогда... ну, просто дурак был. Не надо мне ее сейчас.

Сейчас ему надо было другое: чтобы Сержик не затаил обиды.

Однако Сержик теперь смотрел непонятно. И оказал нехотя:

— Не надо так не надо... Я пойду тогда... А ты тоже иди, второй урок уже, наверно, кончается.

Отчуждение прошло между ними, как тень пасмурного облака.

— Ага... Пока... — потерянно отозвался Гай.

И они разошлись.

Гай медленно шел к школе и нес в себе ощущение потери, нес свою печаль. И все-таки он ни о чем не жалел. Он знал, что похожая на крошечную гранату дробина больше не станет его тревожить.

И еще одно грело Гая. Легонько грело, как солнечный зайчик. Воспоминание, как он мчался на помощь Сержику к водостоку. Гай не успел, но это не его вина. Он ни одного мига не сдерживал себя, рвался изо всех сил. И если бы смыло Сержика или того пацаненка, он, Гай, ни секунды не думая, ринулся бы в прибой. Он знал это тогда и помнил теперь. И шаги его понемногу делались крепче...

— Эй!

Гай не оглянулся. Мало ли кого окликают на улице.

Сзади нарастал частый топот.

— Подожди! Миша!.. Гаймуратов!

Сержик догонял его, трепеща своим летучим пиджачком.

Откуда он знает имя? Ах да! Из разговора с милиционером...

Сержик остановился, часто дыша.

— Я... забыл спросить... У тебя сколько уроков?

— Да кто их знает! — поспешно сказал Гай. — Такое бестолковое расписание...

— А ты... может, придешь к нам вечером, а?

— Я? Ладно!.. Если хочешь.

Ветер все шумел, гнал по стенам, по асфальту летучие солнечные лоскутья. Веселый такой ветер. Просто смеяться хотелось.

Сержик пнул подкатившийся под ногу каштан, и они с Гаем смотрели, как колючий шарик прыгает по тротуару.

Потом Сержик посмотрел на Гая:

— Та история... про лейтенанта и про бюст... Я так ничего и не понял. Расскажешь?

ОСТРОВ

Голос Карбенева:

— Внимание — камера!

Голос Ревского:

— Гай... давай!

Гай взлетает на планшир, прыгает на первую ступеньку вант. И пошел наверх! Легкий, радостный, дождавшийся своего часа...

Гай босиком. В башмаках с пряжками оказалось тяжело и неловко. А широкие планки вовсе и не режут ноги. Правда, пришлось утром подставить гримерше тете Рае свои ступни для крема номер пять, но, взвизгивая и обмирая от щекотки, Гай выдержал эту пытку. Ради искусства...

На двенадцатой ступеньке Гай останавливается. Ветер дует ему в затылок и правую щеку, треплет и пугает волосы, полощет алую голландку, закидывает на голову белый воротник.

Паруса — над Гаем и вокруг него. Всюду. Громадные. Золотисто-белые на солнце и голубые в тени. Туго и круто выгнутые, они кажутся твердыми, как фарфор: шелкни пальцем — и зазвенят.

Судно идет с креном на левый борт. Сзади и сбоку его пытаются догнать зеленовато-синие волны, кое-где на них вспыхивает пена. Волны не очень большие, стальную четырехмачтовую громаду им не раскочерить. Но, рассекая воду, гулкий стометровый корпус виндjamмера ровно вздрагивает и ошутимо звенит. Басовито-струнным гудением отзывается такелаж. Плетеная сталь вантовых тросов дрожит, как натянутые мышцы, и это напряженно-радостное дрожание передается Гаю...

С борта вынесена ажурная стрела крана с площадкой для оператора. У камеры сам Карбнев. Темно-синий выпуклый объектив издали нацелен на Гаю.

— Гай — давай!

Держась за трос одной рукой, Гай вытягивается вперед (ух и ветер!). В синеве и солнце встают далекие желтые берега. На них — блестящие белых домов.

— Остров!

Гай оборачивается. Ветер откидывает назад волосы, хлопает воротником. И Гай кричит опять — тем, кто на палубе:

— Вижу остров!

...В море они ушли накануне, под вечер. Когда махина «Крузенштерна», постукивая машиной, выбралась за бонь, солнце уже скатывалось к горизонту. Слева тянулся изрезанный бухтами Каркинитский берег. Издалека его желто-полосатые обрывы казались невысокими. Оранжевыми маячками вспыхивали от закатных лучей стекла. Медленно двигались красные огоньки

Лукулльского створа. Если свернуть на них, когда они окажутся друг над другом, выйдешь прямо к центру Херсонеса... Но «Крузенштерн», конечно, никуда не сворачивал, шел в открытое море.

Закат разукрасил море разноцветными зигзагами. Носились темные чайки. Наступал «режим» — короткое время ясных сумерек, в которых операторы снимают ночные сцены. Зашипели, засияли голубым светом юпитеры. Началась съемка сцены «Рассказ Битт-Боя». Лоцман Битт-Бой по прозвищу Приносящий Счастье рассказывал морякам о далеком счастливом острове. Он взялся привести «Фелицату» к этому острову. И никто не знал — какой ценой! Никто пока не ведал, что Битт-Бой смертельно болен и самому ему на этом острове не жить...

В толпе матросов, окружавших Битт-Боя, снялся и Гай...

Когда почти стемнело, «Крузенштерн» ошвартовался у пяти-мильной бочки — громадной плавучей цистерны, поставленной на мертвый якорь в пяти милях от Херсонесского мыса. Курсанты шепотом поговаривали, что капитан нервничал: боялся, что в темноте бочку не отыщут и придется всю ночь лежать в дрейфе. Ну, ничего, нашли. Стали. «Крузенштерн» засветил якорные огни.

Молодой месяц (звонкий и рогатый) повис над морем и отражился неяркой желтой цепочкой. Далекий Севастополь сквозь дымку светил переливчатыми огоньками — уличными, корабельными, маячными. Они дрожали на горизонте, как блестящие, как светлая пыль. А в южной части темного моря разгоралась, затухала и вспыхивала опять электрическая звезда Херсонесского маяка.

Включили магнитофон. Знакомая песня — «Опускается ночь все чернее и злей, но звезду в тучах выбрал секстан» — разнеслась из динамика над тихим морем. Хорошая песня, сурово-печальная и смелая. Гай ее запомнит навсегда. Но сейчас ночь была совсем не зловещая, звезды светили ясно и по-доброму. И, наверно, поэтому песня угадала, словно кто-то плавно повернул до нуля регулятор громкости.

Большая компания молодых актеров и курсантов собралась на корме. Светил фонарь. Иза взяла гитару. Кто-то попросил:

— Давай «Апрельскую»...

Иза тронула струны и запела задумчиво и чисто:

...А по Москве горят костры —
Сжигают старый мусор.
И дым плывет по пустырям
Такой же, как в лесу...
Я дом ищу, где он живет —
Мальчишка темно-русый.
Он не пришел — и я ношу
Тревогу на весу...

Песня была, наверно, хорошая, мотив красивый. Но Гай слушал с досадой: тут ночь в почти открытом море, палуба, дальний маяк, огни проходящего теплохода — и вдруг поют совсем не о том. Костры какие-то, улицы сухопутные, свидания...

А гитара неторопливо пересыпала звонкие аккорды, Иза пела:

Скатилось солнце за дома,
Поднялся месяц светлый —
Глядит на улицы с высот
Светло и озорно.
И вот мальчишка тот идет —
Спокоен он и весел,
Как будто в душу не ронял
Тревожное зерно.

Месяц и сейчас был такой — светлый и немного озорной. И это примирило Гая с песней. Слова про «тревожное зерно» напомнили ему о черной дробинке, но в напоминании не было упрека: Гай с облегчением еще раз подумал, что развязался с этой историей навсегда.

А последний куплет был совсем хороший.

И будет песенка его —
Как огонек в ладонях:
Про корабли, про острова,
Про синий блеск морей...
И летний запах костровой
По переулкам гонит
Врасплох застигнувший Москву
Безоблачный апрель...

Гай понял, что, когда он услышит эту песню снова, будет думать не о Москве, не об апреле и кострах, а вспомнит эту ночь и палубу «Крузенштерна». И мальчишка с огоньком в ладонях, с песенкой о синем блеске морей и островах показался ему похожим не то на Сержика, не то на Юрку Веденева, хотя Юрка и Сержик друг на друга несколько не были похожи... А слово «костровой» послышалось Гаю как «островой», хотя такого прилагательного в русском языке, кажется, нет.

...С этими мыслями Гай и пошел спать в курсантский кубрик — там нашли для него свободную койку.

Утро было без единого облачка. У курсантов начались учения. Боцмана кричали в мегафоны раскатистые команды. Ребята умело разбегались по вантам и реям. Гай, заломив назад голову, завороченно следил, как распускаются и обвисают тяжелы-

ми складками паруса... Но складки были неподвижны. Карбеньев и Ревский нервничали. Однако второй штурман Бурцев сказал:
— Спокойствие, товарищи, к полудню задует. У нас все по графику.

В самом деле — после одиннадцати часов море взерошилось, потянул ветер. И не с норд-веста, как ждали, а с зюйд-веста. Лучшего и желать было невозможно. Именно при этом ветре «Крузенштерн» мог идти курсом крутой бакштаг, лучшим для такого парусника, и так, чтобы и солнце оказалось с нужной стороны.

— Брасы и шкоты на левую! Отдать носовой!..

— Гай — давай!

Он снова пружинисто взлетает по вантам. В кино эпизод займет несколько секунд, но надо, чтобы эти секунды запомнились зрителям надолго. Чтобы на экране было все как можно лучше: и высвеченные солнцем ярусы парусины, и мальчишка с разметавшимися на ветру волосами. И радость этого мальчишки, первым заметившего долгожданную землю.

И Гай опять, вцепившись правой рукой в гудящий трос, левую выкидывает вперед:

— Остров! Вижу остров!

Он кричит это друзьям-морякам, себе, небу, морю, желтым берегам, которые вырастают из синевы, распахиваются, как крылья. Городу кричит, который встает над берегами!

Это и есть его остров! Не надо его придумывать! Оказалось, что он — на самом деле. Такой, о котором Гай мечтал: со скалистыми обрывами, старыми крепостями, запутанными улицами и лестницами, со старинными пушками на бастионах. С тайнами оборонительных башен и подземелий. С суровыми легендами о героях...

Он, этот остров, складывался в сознании Гая, как складывается постепенно из рассыпанных кубиков целая картина. И теперь — вот он, весь! И крик Гая — не для кино. Это его настоящая радость, его открытие:

— Остров! Вижу остров!

Берега все круче, город все ближе — сверкающий, радостный...

Нет, не только радостный. Справа тянется берег, где перемешаны с камнями и землей кровь и кости. Впереди, на дальнем склоне, различимы хатки и заборы Артиллерийской слободки, и в одном из домов живет баба Ксана, не дождавшаяся с войны сыновей... Сколько их было — тех, кто здесь полег... Сколько сейчас горя у тех, кто не дождался...

Но город все равно встает светлый, веселый, уверенный в своем праве на радость. И как стальное подтверждение этого пра-

ва — синеют в глубине Большой бухты эсминцы и крейсера с их ступенчатыми башнями, стволами и решетчатыми парусами локаторов...

Парусник мчится к входу на Северный рейд, и Гай летит над морем. Навстречу городу, навстречу своему Острову.

Навстречу друзьям.

...Они нырнули со скользких, обросших зеленью свай в Арт-бухте. Разом, втроем. Гай вынырнул первым. Почти сразу за ним — Ася. И лишь через полминуты — Сержик. Он помахал рукой с добычей — большой раковиной-рапаной.

На берегу Сержик ловко подрезал ножичком спайки моллюска, ударил зажатой в ладонях раковиной о колено и вытряхнул мякоть. Выдул из ракушки капли. Прижал к уху:

— Шумит?.. Шумит. Бери, Гай.

Потом нашли еще несколько рапан — в основном Сержик, но и Гай нащупал на дне одну, маленькую. Но та, первая, от Сержика, — дороже всех.

...Когда проводили Сержика до калитки и шли по улице Киянченко, Гай снова приложил большую раковину к уху. И вдруг спросил Асю:

— Ты тогда, в Херсонесе, когда я на дракончика наступил, случайно меня увидела?

Ася помолчала. Сказала шепотом:

— Нет.

Гай больше ничего спросить не посмел.

Ася проговорила с запинкой:

— Я еще там... наверху... Вижу: ты немножко не такой, как все... Мне интересно стало...

— Почему «не такой»?

— Ну, все бегают, гранату ищут, а ты стоишь задумчивый...

Гай стиснул раковину двумя ладонями. Сказал сипло:

— Ася... Я не задумчивый, а скотина был. Я с самого начала знал, где лежит граната. И молчал.

— Ну и правильно молчал.

— Нет, я не потому, что правильно. Я... в общем, я Сержику уже сказал про это... Я думал тогда: раз никто не знает, я ее потом... ну, забрал себе и все...

Он искоса глянул на Асю. Она шла, опустив голову.

— Я свинья, верно? — тихо сказал Гай.

— Не... — вздохнула Ася. — Вы, мальчишки, просто иногда какие-то глупые. Все запутаете и сами мучаетесь. И уж потом только: трах, трах!..

— Что «трах»? — удивился Гай.

— Ну, как тот Сережка... Из книжки «Судьба барабанщика».

— А... при чем тут я-то? — испуганно изумился Гай. — Я же в шпионов не стрелял.

— Все равно... Ты мне сразу показался на него похожим.

— На Барабанщика? Ну, ты даешь...

Негромко, но строго Ася сказала:

— Ты меня спросил, я ответила. Честно. Не смейся...

— Я смеюсь, что ли... — пробормотал он.

— ...А потом я иду по берегу, вижу — ты сидишь, за ногу держишься...

— Ага, «сидишь», — усмехнулся Гай. — Катался и корчился... Если бы не ты, наверно, помер бы.

— Ну уж... — усмехнулась Ася.

Гай сказал:

— Так я и не собрался в Херсонес. А сейчас той компании, наверно, уже нет. Кто разъехался, кому просто некогда — уроки... Хотя бы Артура встретить.

...С Артуром он так и не встретился. Зато однажды они увидели «ушастого воробышка» Вовку.

Гай, Сержик и Ася шли по Матросскому бульвару. За памятником Казарскому — каменной пирамидой с бронзовым древнегреческим кораблем — аллея вела к фонтану. На краю круглого бассейна и сидел Вовка. Он смотрел на каменного мальчишку в бескозырке. Мальчишка стоял на валуне посреди бассейна и, наклонившись, собирался пустить в воду модель крейсера.

— Вовчик! — обрадовался Гай.

Воробышек не удивился. Коричневыми круглыми глазами глянул на всех троих по очереди. Спросил:

— Как вы думаете, они кусачие? — И показал на воду. Среди плоских плавучих листьев видны были золотисто-красные рыбки. Даже не рыбки — рыбы. Они двигались медленно и уверенно.

— С чего им кусаться? Не пираньи ведь какие-нибудь, — сказал Сержик. — А тебе-то что?

Вовка кивнул на каменного мальчишка:

— Мне к нему надо.

— Зачем? — удивился Гай.

Вовка подумал и показал маленький пластмассовый компас.

— Хочу ему вот это... на руку...

— Зачем? — удивился теперь Сержик.

Вовка насупился. Спрятал компас в кулаке.

Гай стряхнул сандалеты.

— Садись.

Воробышек молча и благодарно уселся ему на закорки. И Гай понес его к центру бассейна. Мысль о том, что рыбы могут противно ткнуть губастыми мордами в ноги, заставляла поеживаться. Но все-таки Гай решительно шагал, раздвигая коленями ливня. Потому что ушастому воробышку Вовке, видимо, очень нуж-

но было подарить каменному мальчишке свой компас. Может быть, Вовка знал, что этот мальчик — заколдованный и по ночам оживает и пускает свой кораблик в бассейн. Может, это был Вовкин друг. Может — житель какой-то сказочной страны или Вовкиного острова. Потому что очень даже возможно, что у Вовки тоже есть свой остров.

...Наверно, у всякого человека есть *Остров*. У каждого свой. У одного настоящий, у другого придуманный, но все равно он есть. У кого-то — целый город, а у кого-то — просто уголок в душе или лужайка в городском сквере за непролазными кустами акации. Или прочитанная в детстве книжка. Или сказка, которую сочинил сам...

Остров — это место, где человек может быть радостен и тревожен, счастлив и несчастен, но даже в тревогах и печали на Острове все честно и ясно. И самому хочется быть чистым душой, чтобы Остров, который ты открыл, принял тебя...

И у Аси есть Остров... Может быть, это книжка «Судьба барабанщика»?

И у Сержика есть... Какой? Гай не знает. На чужой Остров не высадишься непрошеным гостем. И не всякого позовешь на свой. А может быть, и не надо? Вот шагают рядом Ася и Сержик и не знают, что они — жители *Острова капитана Гая*. Ну и пусть не знают. Главное, что они есть.

И, может, для Юрки Веденеева Гай — тоже островитянин. Может быть, речной обрыв с кривым тополем и подвешенным к нему канатом с обручем — это берег Острова, лежащего в дальнем море? Там, на обрыве, Гай и познакомился с Юркой. Юрка ложился грудью внутри обруча, отталкивался и летел по широкой дуге в пустоте, над рекой, которая глубоко внизу кружила желтую воду. Летел, пока сила тяжести не приносила его назад на кромку берега... Гай вышел из-за другого тополя и смотрел с завистью и удовольствием на отчаянного мальчишку в разодранной на боку ковбойке. А тот, растрепанный и веселый, приземлился рядом и не оттолкнул Гая взглядом, не надулся, не сказал «чё зыришь?». Улыбнулся, как знакомому:

— Хочешь полетать?

И Гай выдохнул испуганно и благодарно:

— Хочу...

...Юрке Гай все-таки расскажет про свой Остров. Не так, как в прошлый раз — стесняясь и глупо хихикая, а серьезно и подробно. Про нынешний Остров расскажет, про все, что здесь было. Про то, как перемешиваются иногда жизнь и сказка, радость и печаль, прошлое и теперешнее время. Про синие от моря и горячие от солнца дни. И, может быть, Юрка почувствует все это. Даже обязательно почувствует. И они словно возьмутся за руки и вместе прыгнут на твердый песок из подошедшей к Острову шлюпки...

— Вижу Остров!

Потом Гай будет кричать это с тысяч экранов...

Когда-нибудь зимой в Среднекамске появятся разноцветные афиши — «Корабли в Лиссе». И мальчишки в классе будут хлопать Гая по плечу, пряча зависть за насмешливым одобрением, а девчонки переглядываться и тарашить на него глаза. И Алла Григорьевна, учительница по литературе, проговорит медовым голосом (она умеет так, если хочет): «Я думаю, Гаймуратов расскажет нам на классном часе об участии в съемках этого замечательного фильма...» И Гай, наверно, расскажет. О «Крузенштерне», об артистах, об оружейнике Косте. Но расскажет, конечно, не как об Острове. О нем — только Юрке. В хорошую минуту...

Барк вышел на Инкерманский створ и убрал паруса. Начал вдвигаться, стуча машиной, в бухту. Казалось, весь город смотрит, как движется мимо высоких берегов, белых зданий, маяков и старых фортов виндjamмер с поднебесными мачтами.

Через полчаса «Крузенштерн» встал у бочки против Голландии. Еще не закончили швартовку, как подлетел к борту взмыленный катерок под гидрографическим флагом. С него что-то решительно прокричали в рупор. И понеслось по палубам:

— Гай!.. За Гаем приехали!.. Мишу Гаймуратова к трапу!

На борт поднялся незнакомый парень в морской куртке без нашивок. Гай подбежал — весь в тревоге: что случилось?

— Письмо тебе от Нечаева. Собирайся.

Гай развернул сложенный вчетверо листок.

«Гай! Переменились планы. Завтра выходим на испытания. Это неожиданно и срочно. Тебе — сегодня вечером на самолет, иначе нельзя. Гай, торопись...»

Он не удивился. В глубине души он даже предчувствовал что-то такое... На Острове не живут долго. К нему долго плывут, а когда он открыт — сказка быстро катится к концу.

Потом будешь вспоминать Остров всю жизнь, будешь снова стремиться к нему и, может быть, приплывешь еще не раз. Но это если и будет — потом. С радостью, но без прежнего счастья открытия. Грустная эта догадка тоже шевельнулась у Гая.

«А может, и хорошо, что так сразу, без лишней печали», — мелькнула мысль. И все же Гай растерянно оглянулся на Ревского.

Тот взял письмо.

— Я поеду... — прошептал Гай.

— Да... Нет, подожди! — И Ревский сказал посланцу Толика: — Всего две минуты, прошу вас...

Он отошел, и скоро из динамика разнесся его голос:

— Съёмочной группе собраться на спардеке! Михаилу Гаймуратову — на спардек!

...Еще не переодевшихся после съёмок артистов Ревский выстроил в шеренгу. Не всех, конечно, а тех, кто оказался поближе. Тех, с кем Гай был уже хорошо знаком. Здесь же оказались Иза, оружейник Костя, Настя и тетя Рая. И сам Карбеньев.

— Друзья, — сказал Ревский. — Сегодня Гай улетает домой, так повернулась судьба. Слава Богу, мы успели снять все, что хотели... Гай нас не забудет, мы его тоже...

— Гип-гип-ура! — гаркнул Витя Храпченко, оттянув на подбородке искусственную бороду.

— ...Гип-гип-ура! Гип-гип-ура! Ура! Ура! — дружно, вполне по-матросски грянула пестрая шеренга. И Ревский повел Гаю вдоль строя, и каждый пожимал Гаю руку, и у него перехватило горло и намокли глаза.

Когда подошли к Насте, Гай шепотом сказал:

— Ох, надо ведь сдать... — Он потянул через голову алую блузу.

— Оставь, — сказала Настя. — Как-нибудь спишем. Пускай будет на память.

Иза дала Гаю сверток с фотоснимками и так хлопнула по плечу, что в ушах словно струны отозвались! «А по Москве горят костры...» — почему-то вспомнил Гай и слабо улыбнулся...

Уже у трапа Гая остановил Ауниньш. Протянул папку.

— Здесь вымпел и снимки «Крузенштерна». От команды... Может, когда-нибудь придешь на «Крузенштерн» капитаном. А? — Он строго пожал Гаю руку, а потом по-мальчишески подмигнул.

Катер помчался не к Графской пристани, а свернул в Южную бухту. Она, как улица домами, была с обеих сторон заставлена судами всех размеров, типов и расцветок. Проскочив у кормы с названием «Стрелец» и синим флагом гидрографов, катер закачался у белого борта.

На палубе Гая встретил Толик. Слегка насупленный, весь в своих заботах, для которых Гай был только помехой. Однако улыбнулся:

— Какой ты живописный... Ну вот, Майк, так получилось, мы сами не ждали... Знаешь, каких трудов стоило сменить опять твой билет! Пришлось просить броню в горкоме...

Гай сумрачно сказал:

— Если самолет вечером, чё уж так горячку-то гнать...

— Вылет в двадцать ноль-ноль, за час надо быть на регистрации, два часа ехать до аэропорта. Билет на автобус еле-еле дос-

тал, везде очереди. Автобус отходит без десяти пять. Сейчас пойдем собираться... А ночью будешь уже дома. Я и маме позвонил, чтобы встретила.

А ведь правда — совсем скоро он будет дома!

И Гай коротко и шумно вздохнул — от радости. Он понял, как отчаянно соскучился по маме, по деду, по бабушке, по Галке (и по отцу, конечно, тоже, но до него так просто не долетишь). И просто по дому соскучился, по своей улице, где сейчас пахнет палым тополиным листом. По своей школе с ее веселой толкотней, с запахом мокрых от дождя курток в раздевалке, с окликами: «Гай, привет! Гай, тебя Веденеев ищет!» По сентябрьскому ветру с реки, по сизым облакам над заречными горизонтами, по ярким гроздьям рябин в скверах и палисадниках...

По Юрке...

Они поднялись по головокружительной лестнице, ведущей от пирса к площади Ушакова. Толик все поглядывал на Гаю к наконец спросил:

— Ты так и будешь ходить? В этой романтической хламиде?

— А что? — огрызнулся Гай. Он по-прежнему был в алой матросской блузе, а его рубашка вместе с полотенцем, зубной пастой и прочим имуществом лежала в портфеле. В Асином портфеле, с которым Гай ходил в школу и с которым вчера отправился на «Крузенштерн». Там же лежали и подаренные фотоснимки.

— Да ничего, — сдержанно сказал Толик. — Просто привлекаешь внимание...

— Жалко, что ли?

— Не жалко... Гай, ты будто считаешь, что это я виноват, что у нас завтра срочный выход...

— Не считаю. Даже хорошо, что так получилось.

— Вот и я думаю, что хорошо.

— Но я не успел, — сказал Гай.

— Что? Сняться?

— Нет... Вообще... Толик, отпусти меня на два часа! К четырем я буду дома как штык! Честное слово!

Он теперь понимал, *чего* ему не хватило. Попрошиться с Херсонесом! Ведь именно с тех мест началась его любовь к этой земле, к этому городу. Будто именно там он впервые высадился на Остров.

— Толик, я съезжу в Херсонес... А?

— Ох, не нравится мне это, — честно сказал Толик.

— Я знаю. Ты будешь смотреть на часы и нервничать. Будешь думать: не случилось ли чего в последний момент. Да?

— Видишь, ты понимаешь...

— Но ты ведь тоже *понимаешь*. Мне правда надо. Чтобы последний раз... Когда я еще здесь окажусь?

Гай все больше чувствовал, как отчаянно ему это *надо*. Чтобы потом не тосковать, не чувствовать себя так, словно кого-то за был или обидел.

Гай хотел даже сказать: «Ты же знаешь, *там* дедушка». Но это было бы нечестно. Во-первых, не только в дедушке дело. Во-вторых, вообще нельзя об этом, когда что-то просишь.

Но Толик понял и так.

— Я поехал бы с тобой, но у меня прорва дел, — неуверенно сказал он.

— Не надо. Один-то я — бегом!.. Толик, я там никуда не по-лезу. И даже купаться не буду...

— Давай. Но смотри...

Гай дернул с себя алую голландку, выхватил из портфеля и натянул рубашку. Портфель и блузу сунул в руки Толику.

— Я — точно к четырем!

ГРАНАТА

Гай рассчитал, что для Херсонеса у него не меньше часа. Он попрощался со здешними местами без суеты. От остатков башни на мысу у Песочной бухты он прошел через весь заповедник — то галечными пляжами и обрывами, то среди развалин.

Ветер стих, день стоял нежаркий, но солнечный, летали бабочки. Было пустынно. Никого из ребят Гай, конечно, не встретил и, по правде говоря, не жалел об этом: что, кроме грусти, принес бы короткий разговор перед расставанием?

Гай гладил пористые камни крепостных стен, теплый мрамор колонн. Сунул в нагрудный карман желтое созвездие сурепки и пыльно-синий цветок цикория — чтобы засушить потом в книжке. У одинокой колонны среди низкорослого терновника Гай стоял минуты три — смотрел, как бегают вверх-вниз по отвесному мрамору ящерка-геккон, и не первый раз удивлялся: как она держится на гладкой вертикали?

У полукруглого гнезда берегового орудия Гай стоял дольше. Винтовые штыри, на которых когда-то крепился орудийный станок, ржаво темнели на бетонном дне. Из трещин росла трава. Гай подумал, что в сорок втором году это гнездо на скальной круче (из которого торчал тогда длинный ствол корабельной пушки) видел, наверно, не раз политрук Нечаев.

В гнезде на темном бетоне стенки темнели ровные крупные буквы: «Прощай, дружище Севастополь! Мы дети «Потемкина», внуки Петра. Ревком «Краб». Это написали коричневой масляной краской студенты-археологи еще в позапрошлом году (Слав-

ка, сын профессора, тогда тоже был с ними). Гай видел надпись не первый раз. Раньше он всегда испытывал досаду: мало ли кто чей внук, зачем краской-то ляпать там, где люди воевали? И Севастополь никакой не «дружище», он просто *Севастополь*. Чего его по плечу похлопывать?.. Но сейчас Гаю почудилась в словах на бетоне ласковая грусть прощания...

Гай дошагал до западного мыса Карантинной бухты, прошел по ее обрывистому берегу и вернулся к колоколу. Гладким камешком бросил в зелено-черный узорчатый обод. Побитый осколками колокол прощально погудел...

Гай вздохнул и спустился на пляж, где когда-то наступил на дракончика и познакомился с Асей. Мелкая волна с шорохом накатывалась на гальку, оставляя пузырчатую пену. Гай вобрал в себя запах влажных скал и водорослей, сел на корточки, поперепытал из ладони в ладонь мокрые камешки и осторожно положил всю горсть...

Потом он скинул сандалеты. Скользя по камням и усмехаясь собственной робости (а вдруг опять дракончик?), он по щиколотку вошел в воду. Он обещал не купаться, но вот так-то можно попрощаться с морем...

Вода плавно подкатила, поднялась до колен и, отступая, потянула Гаю за собой. Не уезжай, мол, останься.

«Нельзя», — вздохнул Гай. Вышел на берег. Надел сандалеты на мокрые ступни. Поднялся по бетонной лестнице на обрыв. И... сделал то, чего не хотел. О чем старался даже не думать. Пошел на бугор у серой разваленной стенки, встал на колени у кубического камня, сунул руку в темную щель...

Граната была, конечно, там. Тяжелая, рубчатая, прохладная, она легла в ладонь так ловко, будто все дни ждала Гаю.

Он достал ее. Была граната все такая же — новенькая, черно-блестящая, словно только что с военного склада. Гай дернул кольцо, послушал шипящее дребезжание пружинки. Поставил чеку на место, покачал гранату — словно побаюкал.

И понял, что положить ее обратно — ну просто выше сил.

Во-первых, словно сама граната просила: «Не надо! Не хочешь туда, в темноту!» Во-вторых, Гай почувствовал, какая она уверенно-грозная, хотя и без начинки. Увесистая, почти настоящая, она вливалась в ладонь ощущение боевой мощи. Была она... да, красивая! В смертельном оружии тоже есть своя красота.

Юрка ошалел бы от такого подарка...

Сержик прав, играть «лимонкой» не станешь. Но показать в классе... Все ребята губы развесили бы... А потом, когда она Юрке надоеет, самое правильное дело — отдать ее в школьный музей. Положили бы под стекло, табличку бы сделали: «Дар ученика

6-го кл. «А» Михаила Гаймуратова». То есть «Михаила Гаймуратова и Юрия Веденева»...

«Нет уж, — сказал себе Гай. — Ведь решили: пусть лежит...»

Но Сержик сказал еще: «Если хочешь — бери...» Он же сам это предложил!

«И я же не для себя. Я для Юрки...»

Совість шепнула Гаю, что если для Юрки — это немного и для себя.

«Ну и что? Я же не без спросу! Сейчас зайду к Сержику и скажу: «Можно, я возьму, как ты говорил? Я ее подарить хочу... А если нельзя — вот она, делай с ней что хочешь...»

Гай понимал, что это беспроегрышный вариант. Конечно, Сержик скажет: «Бери». Будет, пожалуй, немного неловко, но зато — честно. И никакие шипки совести Гаю тревожить не станут. Фиг ей. Он все сделает открыто, без капельки обмана!

И было непонятно, почему шевельнулось в душе сомнение. Словно шепоток на ухо: «Ох, Гай, не надо...» И почему он, выпрямляясь, оглянулся с опаской?

Наверно, это была просто память о прежней стыдливой боязни — той, что жила в Гае, пока он не признался Сержику.

А теперь-то что?

...Гай понимал — такую игрушку в автобусе открыто не повезешь. Среди камней он подобрал обрывок старой газеты, завернул «лимонку» в желтую ломкую бумагу.

Потом посмотрел на море. Оно было ясным и чисто-синим. И все вокруг было спокойно-ласковым. Ни в чем Гай не уловил упрека. И черная дробина, которой боялся Гай, не шевелилась в душе. Гай с облегчением расправил плечи. Торопливо пошел к главным воротам...

Чтобы заскочить к Сержику по пути, Гай вышел из автобуса на улице Галины Петровой. Переулки и дворики Артиллерийской слободки террасами громоздились на склоне холма. Гай тропинками и лесенками взбежал к Восьмому Марта.

И сразу увидел бабу Ксану.

Она шла, огибая растущие посреди каменистой дороги кусты с бордовыми головками. Высокая, сутулая, с длинным своим по-сохом. Смотрела прямо перед собой.

— Здрассте, баба Ксана... — Гай на всякий случай спрятал за спину завернутую «лимонку».

Баба Ксана глянула из коричневых впадин синими глазами.

— Здравствуй, дитятко. К Сергийке бежишь?

— Ага! Он дома?

— Та ни... Они с школою на Максимову дачу поехали, до вечера...

— До свиданья... — растерянно сказал Гай. И подумал: «Ох ты черт...» Но под огорчением шевельнулась тайная радость. Оттого, что не надо объяснять Сержику, что взял гранату... Потом он про все напишет. Даже так напишет: «Если хочешь, я пришлю ее обратно». И в самом деле пришлет, если Сержик ее потребует...

А сейчас если не взять, то куда ее девать? Не отдавать же бабе Ксане!

Гай посмотрел Сержиковой прабабушке вслед. Она шла вниз по улице, все такая же сгорбленная, неторопливая, строгая. Даже сейчас Гай слышал, как постукивает посох: туп-туп-туп... Он вдруг подумал, что, скорее всего, видит бабу Ксану последний раз в жизни. Неизвестно, когда он придет сюда снова. Придет, конечно, только едва ли прабабушка Пулеметчика и тогда будет живая. Сколько ей осталось на этом свете с ее горем, с ее хитро спрятанной любовью к Сержику?..

Гай неожиданно почувствовал те же слезы, что на палубе при сцене «Похороны капитана». Мигая и переглатывая, он смотрел бабе Ксане вслед, пока она не скрылась за угловым домом...

Гай встряхнулся. Надо было спешить. Даже бежать.

Он выскочил на улицу Киянченко, а затем свернул к улице Гусева, в проход с плоским желобом водостока — такой узкий, что разведи руки, и упруешься в каменные стены.

Навстречу спускался Толик.

Гай удивленно затормозил.

— Вот это да! Ты здесь... что?

Толик тоже остановился. Шагах в пяти.

— Гуляю. Волнуюсь, тебя поджидаячи. Так и знал, что ты здесь пойдешь, эта щель полюбила твоей романтической натуре... — Толик усмехнулся. Гаю показалось, что он сердится.

— Я же не опоздал.

— Да нет, все в порядке... — Толик взглянул на часы. — Это я так, нервы... Что это у тебя?

Гай откинул ненужную теперь бумагу, подбросил гранату:

— Вот...

Солнце светило Гаю в спину. Он увидел, как стремительно окаменело лицо Толика. Испугался:

— Да что ты! Она же...

— Не трогай и не шевелись! Замри!

Толик замер и сам — словно боялся, что неосторожным движением погубит Гаю, даст ему смертельный толчок.

— Да что ты! — с виноватым смехом сказал Гай. — Она пустая — вот! — Он поднял «лимонку» за кольцо, чека вырвалась из трубки, граната упала Гаю в ладонь. Он бросил ее Толику: — На, смотри!

И все это было в одну секунду. А в следующую секунду Гай

увидел, как освещенный желтым солнцем Толик ловит «лимонку», прижимает ее к животу, складывается пополам и падает в желоб водостока. И словно вжимается в бетон...

— ...Толик, ну сделай со мной что-нибудь, — всхлипывая, попросил Гай.

Они шли, забыв про время, по пустым улицам слободки неизвестно куда. И Толик молчал или неразборчиво говорил «отстань». Гранату он держал перед собой, крутил иногда трубку за пала, трогал колечко. Пожимал плечами.

— Толик...

— Что тебе?

— Отлупи меня, а? — с отчаянием сказал Гай. — Хоть ремнем, хоть чем... Я даже не пикну. Меня никогда дома не лупили, а ты изо всех сил, ладно?

— Зачем?

— Ну... тебе легче будет.

— Дурак, — устало сказал Толик. — Оно и видно, что не лупили.

Гай брел за Толиком чуть в стороне и позади. Смотрел на его худую спину под желтой тенниской, на острые локти, на поросшую короткими волосками шею... Снова и снова вспоминал, как освещенный солнцем Толик в тесной щели прохода сгибается, валится, резко вытягивается в плоской бетонной канаве, закрывая собой «лимонку». И снова содрогался, представляя, что пережил Толик за эти секунды... Гай заплакал в голос:

— Я же тебе крикнул, что она пустая!

— Еще и ревет... Он «крикнул». Будто я что-то слышал в такой момент... Поймал, а она шипит... Вот так! — Толик дернул кольцо и поднес «лимонку» к уху. Казалось, с каким-то болезненным удовольствием.

— Ну а зачем под себя-то?! — захлебываясь слезами, крикнул Гай. — Кидал бы назад!

— Да? Там сзади, на улице, бабка и пацанята с трехколесным великом... А впереди ваше сиятельство. И ведь выбрал же место, с-стервец. Как труба...

— Ну, откуда я знал, что ты подумаешь?.. Это же игрушка!

— Это — *игрушка*? — Толик повернул к Гаю такое лицо, что разом застыли слезы. Гай прошептал беспомощно:

— Я же крикнул... пустая...

— Сам ты... башка пустая, — вдруг вздохнул Толик. — Иди сюда! — Он выдернул из брючного кармана платок, начал сердито вытирать Гаю лицо.

Гай безнадежно сказал в платок:

— Теперь ты будешь меня ненавидеть всю жизнь.

— Больше мне делать нечего, — огрызнулся Толик. И Гай понял, что ненавидеть Толик не будет. Но и... вообще ничего не будет. Граната все-таки взорвалась, только бесшумно. Толика не убила, но убила его дружбу с Гаем. Развела взрывом в черную пыль все хорошее, что случилось в жизни Гаю здесь, в Севастополе.

Отомстила.

И такая тоска взяла Гаю, что все в нем выключилось. Не осталось ни капельки сил. Он сел, где стоял, — на плоскую глыбу ракушечника в пыльной траве у тротуара. Уткнулся лбом в колени. Умереть бы...

— ...Ну-ка встань! — вдруг крикнул Толик. Прежним голосом, тем, который был у него раньше, до гранаты. Он дернул Гаю за воротник. — Ты мальчишка или нервная барышня? — яростно сказал Толик. Но злость была не на него, не на Гаю! Гай уловил это каждым нервом. Злость была, чтобы встряхнуть Гаю. А может быть, и самого Толика. Гай вскочил. Украдкой, но уже с надеждой глянул Толику в лицо. Опустил голову и шепотом повторил все то же:

— Кричал ведь — пустая... — И опять всхлипнул.

Толик хлопнул его пальцами по затылку.

— Голова пустая...

— Ага... — выдохнул Гай.

— Где ты взял эту штуку?

Не скрывая ничего, Гай выложил историю с гранатой. От начала до конца. Будто наружу себя вывернул. Толик слушал и порой называл Гаю то бестолочью, то олухом.

Они вышли на Катерную и теперь неторопливо шагали вниз. Толик завернул гранату в платок — попадались прохожие. Гай заметил, что кое-кто с удивлением поглядывает на его зареванное лицо, но ему было все равно. Один раз у Гаю мелькнула мысль: а не опоздают ли на самолет? Но и это было не важно. Главное, что Толик делался такой, как раньше.

Когда Гай кончил рассказ (и по инерции еще раз всхлипнул), Толик сказал:

— Фокусник... Надавать бы тебе за такие дела...

— Да я же и говорю! — радостно вскинулся Гай.

— Сегодня уже некогда. Приеду в Среднекамск — займусь.

— Ладно... Толик, а чего мы все идем да идем... Нет, это хо-рошо, что идем, но мы не опоздаем в аэропорт?

— Думаешь, я такой глупый? Я нарочно сказал, что отлет в восемь. На всякий случай. А на самом деле в девять пятнадцать. И автобус не в пять, а в шесть.

— Хитрый... — слабо улыбнулся Гай.

Катерная, сделав плавный поворот, кончилась на восточном берегу Карантинной бухты. Дорога шла над обрывом. Внизу тя-

нулся узкий пляж — маленький, известный лишь местным жителям.

Толик и Гай спустились на песок по головоломной тропинке. Поодаль купались мальчишки, а вблизи никого не было. Толик развернул гранату, сильно размахнулся и швырнул ее в море. Прежде чем плеснуть в тихой воде, «лимонка» черным зернышком зависла на миг в воздухе — словно точку поставила. Точку на всей этой истории.

Гай с облегчением вздохнул.

— Иди умойся, — сказал Толик. — Или лучше окунись. Не купался ведь сегодня? Вот и давай на прощанье.

Гай обрадованно и суетливо разделся. Окунуться напоследок в море — это было счастье, хотя и с оттенком грусти. Но главное счастье (тоже с привкусом печали) — было в прощении, полученном от Толика.

Гай с разбега врезался в глубину, выдохнул воздух и завис в невесомости. Он старался навсегда впитать в себя бархатисто-прохладное прикосновение морской воды, ее вкус, ее ласковую плотность... Потом он вынырнул, проплыл метров десять вразмашку, лег на спину, увидел над собой маленькое желтое облако, прошитое реактивным следом, вспомнил, что скоро будет там, в небе, на такой же высоте... Резко повернулся и поплыл к берегу.

Накинув рубашку, Гай быстро выжал плавки. Толик усмехнулся:

— Ох и обугленный ты. Я лишь сейчас заметил, по сравнению с... нормальным цветом кожи. Раньше еще лапы были светлые, а теперь и они загорели...

— Лапы крашенные, — хмуро объяснил Гай. — Все еще не отмылись...

— В аэропорту костюм надень. В Среднекамске всего семь градусов. Мама пальто к самолету принесет.

— Ага... Толик...

— Что?

— Толик... ты меня совсем простил?

— Совсем, — серьезно сказал Толик. — Хватит уж об этом.

— Да, «хватит»... Ты все еще вон какой...

— Какой, интересно?

— Ну... молчаливый.

— Здрате! Веселиться прикажешь? После всего... И не вздумай никому рассказывать... про все про это.

— Что я, дурак, что ли? То есть дурак, конечно, но не такой уж...

— Это я не хочу выглядеть дураком.

— А ты-то при чем? — изумился Гай. — Ты же, наоборот... это... — Он оробел, но все же выговорил: — Подвиг совершил.

— Че-во? — сказал Толик.

Гай струхнул еще больше. Но пролепетал:

— А что ли, нет? Ты же не знал... что не по правде...

— Я сейчас, кажется, в самом деле дам тебе по шее.

— Ну, дай, — покорно вздохнул Гай. — А все равно...

— Пошли наверх!

Они молча поднялись по тропинке. С обрыва Гай еще раз глянул на море, на развалины Херсонесского храма на другом берегу. Воздух принимал уже неуловимо золотистый вечерний оттенок. А может, это золотились волосы непросохших ресниц. Гай видел все словно сквозь искристую дымку: сквозь виноватость, и прощение, и неуверенность в этом прощении, и сквозь надежду, что все случившееся — не так уж страшно. Море все-таки осталось его морем. Берег — его берегом. И Остров — остался...

— Пошли, — повторил Толик.

Они зашагали по обрыву, потом по Катерной, и Гай наконец набрался смелости:

— Я все же не понимаю... Почему ты говоришь, что ты дурак? Ты же не знал...

— Воображаю, как это выглядело со стороны.

Гай вспомнил, что выглядело это страшно. И сказать не посмел. Сказал другое:

— Зато ты единственный...

— Что — единственный?

— Ну... ты только не сердись... Помнишь, ты говорил?

— Не помню... Про что?

— Когда такое... Никто не знает, что человек думает в последние секунды... Ты теперь знаешь.

Гай даже зажмурился, ожидая чего угодно. Однако не жалел о своих словах. Не сказать этого он почему-то не мог.

Толик не ответил. Гай покосился на него. Толик растерянно улыбался. Потом сказал удивленно:

— А я ни о чем не думал.

Гай опасно и недоверчиво молчал.

— Нет, думал... — тихо проговорил Толик. — Вспомнил... Думал, скорей бы... Да, а потом еще: что же с этим дураком, с Гаем, теперь будет? В самом деле...

Гай втянул голову.

— Но никакая «вся жизнь» перед глазами не проносилась, — словно неторопливо размышляя вслух, сообщил Толик. — Вот еще что. Подумал: Тасманов же не знает, куда я положил коричневую папку с последней документацией... А! Потом вот что: черт, как обидно — перед самыми испытаниями...

— А говоришь «ни о чем», — вздохнул Гай.

— Хм... А в самом деле, как много, оказывается, можно подумать... за такое время.

...Тех секунд — с тишиной и растерянностью — было две или три. А потом Гай со слезами тряс Толика за плечо, тянул за рубашку, и тот медленно, с непонимающим лицом встал на колени. Потом вскочил...

Лучше не вспоминать...

А как — не вспоминать?

Толик сказал, будто сам себе:

— Потом еще мысль: значит, судьба...

— Почему? — прошептал Гай.

— «Почему»... Отец — здесь — про Алабышева сколько раз читал и думал... Все одно к одному... И забыл, дурак, простую истину: история повторяется дважды — сперва как трагедия, потом как фарс. Как пародия то есть...

— Что? — робко переспросил Гай.

— Это еще Маркс сказал...

— Не про тебя ведь он сказал, — буркнул Гай.

— Нет, но это, видимо, общая формула. Применима и к государствам, и к отдельным людям... Вообще-то он это про Наполеонов сказал. Один был великий, а другой пыжился и подражал ему. И кличка была Маленький. Хотя ростом он удался не в пример первому Бонапарту... Кстати, это он послал армию под Севастополь.

Гай с минуту шел молча, сердито размышлял о «великом» и «маленьком» Наполеонах. О битве под Бородино и о севастопольских бастионах. Наконец сумрачно возразил:

— Великого мы прогнали с треском. А Маленький-то... все-таки французы взяли тогда Малахов курган...

— Мало ли что... Наполеон Первый тоже сперва Москву взял. Важны не отдельные военные эпизоды, а вообще... Ты что, с Марксом решил поспорить?

— Не с ним, а с тобой... Ты же все сделал правильно, ты не знал... Зато теперь знаешь.

— Ты очень понятно изъясняешься: «Не знал, знаешь...»

Тихо, но упрямо Гай сказал:

— Ты знаешь, что можешь такое... если надо...

Толик посмотрел удивленно. Потом усмехнулся:

— Вряд ли... Наверно, каждый раз человек это решает заново... И послушай, дорогой, хватит об этом, а? Если без конца переживать, рехнуться можно. А у меня завтра дел — во! — Он ладно провел над макушкой.

— Ладно, — неуверенно сказал Гай.

— И не терзайся, как старый грешник пред вратами ада. Мы оба хороши... Если хочешь знать, я тебе даже благодарен.

Это была, кажется, неправда. Но Гай обрадовался такой неправде — понял, что Толик опять прощает и жалеет его.

— Почему благодарен?

— Раз ты мне такое устроил... Я будто смерть обманул. Значит, буду теперь жить до ста лет.

— Да? — повеселел Гай.

— Да.

— Ну, смотри!

— Ну, смотрю...

ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ

Через четыре часа Гай сидел в ровно гудящем самолете. В темном иллюминаторе слабо светился серебристый край крыла. По нему равномерно пролетали отблески рубиновых сигнальных вспышек. Рядом с Гаем посапывал сосед — лысоватый добродушный инженер, которого Толик попросил в аэропорту «присмотреть за братцем». Ровно светились плафоны, бесшумно и с улыбкой двигалась между креслами стюардесса... Раньше, когда приходилось лететь, у Гая порой вертелась боязливая мысль: «Не случилось бы чего с самолетом...» Но сейчас было так уютно, что Гай чувствовал себя полностью спокойным и беззаботным.

Как всегда бывает в середине дороги, мысли ходили туда-сюда. То к дому, куда Гай мчался со скоростью звука, то назад — к Севастополю и «Крузенштерну». О доме думалось, конечно, с радостью, о Севастополе — с грустью. Радость была спокойная, потому что дом — это то, чего у Гая впереди будет много. Это — надолго. Печаль тоже была спокойная, потому что Гай знал: все, что было хорошего, с ним останется навсегда. Жить на Острове постоянно нельзя, но вспоминать его можно все время. И как вспомнишь — он словно опять рядом. А грустно — потому что все-таки не совсем рядом. Не перегнешься через каменный забор, не крикнешь в полуоткрытую дверь дома: «Ася!..»

...Асю перед отъездом он так и не увидел. Когда они с Толиком пришли домой, оказалось, что Ася отправилась за братишкой в детский сад. А ждаты уже было нельзя. Времени оставалось, только чтобы подхватить чемодан — и на автостанцию.

«А может, и к лучшему», — опять подумал Толик со смесью горечи и облегчения. Он боялся прощания. Догадывался, что оба станут неловко молчать или говорить неважные, ничего не значащие слова. «Может, и к лучшему...»

— Я ей все объясню, — пообещал Толик. — А ты потом напишешь.

— Ага.

На автостанции случилась неприятность. Толик растерянно зашарил по карманам:

— Черт... Этого еще не хватало...

— Что?

— Билеты... — Толик, роняя пятаки, расческу, записную книжку, вывернул карманы.

— Потерял? — испугался Гай.

Толик сердито сопел.

— У тебя дурацкая привычка таскать деньги и документы в карманах штанов, — в сердцах сказал Гай.

— В зубах мне их носить, если я без пиджака?.. Стой здесь.

Толик исчез и появился лишь через десять минут.

— Пошли! Я изловил такси.

— Ура! Это даже лучше!

— Для чего лучше? Для моего бюджета?.. И где я эти билеты посеял, дьявол их разнеси...

— Наверно, там, на улице. Когда платок доставал, — неловко сказал Гай. Он вспомнил, что в тот момент вроде бы вылетели у Толика из кармана какие-то кусочки бумаги или картона. Но тогда до бумажек ли было Гаю!

— Теперь обратно придется пилить на электричке... — проворчал Толик. — Пошли.

— А у тебя что, был и обратный билет на автобус?

— Пошли, пошли...

На полпути к Симферополю спустило колесо (бывает же так — все одно к одному!). И водитель с Толиком, наверно, целый час возились с запаской. В аэропорт они успели «под самую завязку».

Попрошались коротко:

— Привет там всем дома...

— Ага. А ты — Алине привет.

— Ладно. Спасибо.

— Ни пуха ни пера на испытаниях...

— К черту! — И они обнялись.

Защипало в глазах, но Гай храбро улыбнулся. И уже в тамбуре, ведущем на поле, оглянулся еще раз. Увидел Толика в свете желтого плафона. Толик смотрел серьезно. Встал на цыпочки и помаhal рукой над головами...

В теплом покое, почти в полудреме, Гай думал, как самолет сядет в среднекамском аэропорту Крылово. Гай побежит навстречу маме, а она, смеясь и целуя его, станет натягивать на него пальто: «Стой, егоза, не крутись. Здесь тебе не Крым». И как он завтра наверняка проспит и в школу не пойдет, тем более что все равно суббота, а начинать все на свете, в том числе и учебу, лучше с понедельника. Но к Юрке он побежит сразу после уроков и узнает у него все новости о школе, о ребятах, о самом Юрке — как он жил тут без Гая целую вечность. И сам расскажет Юрке все-все...

Это «все» ровно побежало перед глазами Гая: «Крузенштерн», съемки, Артиллерийская слободка, Ася, Сержик, баба Ксана, Херсонес, ребята, граната...

Нет, о гранате, наверно, не надо. Канула она в море — и точка. Есть и без нее о чем рассказать. Например, о рукописи Курганова, об Алабышеве, о лекции Толика на вечерней палубе...

Гай, тихо улыбаясь, стал думать о Толике.

«Наверно, сейчас дремлет в электричке... Или нет, не дремлет. Думает про завтра, про отплытие...»

Гай не мог, конечно, знать, что в электричку Толик не попал.

На вокзал Толик приехал, билет купил, но до поезда оставалось полчаса. Толик пошел по вокзальной площадке: надеялся купить какой-нибудь журнал, почитать в дороге.

Киоски ярко светились, но все уже были закрыты. Не очень огорчившись, Толик пошел обратно — в проходе между тыльной стороной стоявших в ряд киосков и временным забором, который огораживал не то стройку, не то какую-то ремонтную площадку. Над забором горела в черном небе лампочка.

Толик услышал сзади торопливые шаги, но оглянулся не сразу. Потому что впереди увидел шуплую фигуру в длинном клетчатом пиджаке. Тип в пиджаке ухмылялся. Толик встал спиной к шаткому забору и лишь тогда посмотрел налево. Оттуда подходил смазливый чернявый парень.

«Как в том проходе, — вспомнилось Толику. — Ни туда, ни сюда...»

Он сказал с улыбкой:

— Знакомые все лица. Опять хотите прикурить?

— Да не... — гнусаво ответил белообрый тип в пиджаке. — Мы же знаем, что не куришь. Поговорить решили. Должок у тебя...

Пробуя левой ступней асфальт — хорошо ли для толчка? — Толик спросил:

— И не лень было следить за мной?

— Да что ты, дядя. Случайная встреча...

— И что теперь «дядя» вам должен? «Кошелек или жизнь»?

— Видели мы твой кошелек в...

— А это видели? — быстро спросил Толик и поднял левую руку, держа пальцы шепоткой — словно хотел что-то посолить в воздухе. У клетчатого типа приоткрылся рот и машинально вскинулась для защиты ладонь. Толик ухватил его за рукав, дернул на себя, ударил гада головой под грудь и кинул его, согнувшегося, через плечо.

Кинул так, чтобы длинное обмякшее тело ударило сзади другого противника.

Наверно, тот все же успел отскочить. А Толика стукнула в щиколотку какая-то деревянная боль. «Неужели вывихнул? Ах ты, черт...» Теперь оставалось развернуться и встретить смазливую сопляка прямым ударом в зубы. Придется мальчику походить к дантисту. Ну, сам винов...

Что-то колючее, длинное вошло Толику под левую лопатку, и боль была такая, что не осталось мыслей. Толик хрипло вскрикнул, рванулся вперед и снял себя с этой боли, как с гвоздя. Хватанул ртом воздух. «Достали все же, сволочи! Ну, погодите...» Он стал поворачиваться для удара. Боль мягко угасала, но не было зато и прежней пружинистой силы. Руки противно ослабели, и Толик с беспомощной злостью подумал, что, кажется, уже не свалит чернявого одним ударом... Самому бы устоять... Ах как глупо... Перед самым выходом в море. Теперь, чего доброго, еще в больницу засунут, перевязки всякие...

Хорошо, что Гай улетел...

Странно, что асфальт мягкий, как губчатая резина: падаешь, а не больно. Будто во сне... Надо все-таки встать. Люди увидят, решат черт знает что...

Но лежать было хорошо. Шевельнешься — и колючая боль, а если не двигаться — обволакивает мягкое спокойствие. И Толик понял, что надо подождать несколько минут, набраться сил.

Лампочку он не видел — она или погасла, или горела с другой стороны. Те двое куда-то исчезли. Но Толик о них уже не думал. Сверху в просвет между киосками и забором смотрел тонкий месяц.

«Ты меня не бросай, — сказал ему Толик. И не удержался, ласково поддразнил: — Месяц тонкий и рогатый с неба звезды сгреб лопатой... Куда ты девался, а?.. Месяц звонкий и рогатый... Месяц...»

Ничего этого Гай знать не мог, и никаких предчувствий у него не было. Спокойный и счастливый летел он домой.

...Известие о Толике придет в Среднекамск лишь через четыре дня. Это потрясение, первое в жизни настоящее горе надолго обесцветит для Гая все, что есть вокруг, приглушит до хрипа и шепота все в мире звуки, а все мысли сведет к горькому вопросу: «Как же так: был — и нет? Почему? Откуда на свете *такое?*» Этот его вопрос навсегда свяжется в сознании с почерневшим сухим лицом бабушки — мамы Толика...

Дни пройдут, мама и бабушка вернутся *оттуда*, с похорон, и мама положит ему руку на лоб, а он тихо скажет, лишь бы что-то сказать:

- Вы быстро приехали...
- У нас были обратные билеты.

И тогда болью и страхом — сильнее всех других горьких мыслей — прошьет его мысль: «А у Толика тоже был *обратный билет!*»

Он был! Но Толик выронил его вместе с другими, когда доставал платок.

А доставал платок он, чтобы вытереть Гаю лицо и потом вернуть гранату.

Значит — все из-за гранаты!

Если бы билет остался, Толик поехал бы обратно на автобусе, не оказался бы на вокзале. Не встретился бы с *теми*.

...Какой прок, что их поймали и, скорее всего, расстреляют? Что с того, что друзья Толика написали куда-то письмо, чтобы новое гидрографическое судно назвали «Анатолий Нечаев»? Смертью бандитов не оживишь Толика. Имя не заменит живого человека, хоть весь флот назови этим именем! Гаю нужен живой Толик — который смеется, опаздывает со свиданий, рассказывает про Крузенштерна, дурачится, дразнит Гаю за облупленные уши и рычит «брысь», когда тот надоедает... Толика не будет...

И все из-за гранаты... Из-за того, что он, Гай, взял гранату из тайника!

Днем и ночью, даже во сне, Гай будет вести этот бесконечный, отчаянный и безнадежный спор с собой:

«Но я же не знал, что так случится!!»

«А кому легче оттого, что не знал? Все равно это из-за гранаты».

«Но я же не знал...»

«А зачем ты ее взял? Ведь понимал же, что обман...»

«Не обман!! Сержик сам говорил: хочешь — бери себе!»

«Обман был раньше. Тогда, когда все искали, а ты молчал. С этого все и пошло...»

«Но я же не взял тогда! Я же признался! Я — честно...»

«Значит, не всякую беду можно исправить признанием... Ты не взял *тогда*, но она лежала, ждала своей поры. И отомстила».

«За что?! — в отчаянии будет кричать он себе. — За такой пустяк?! И кому отомстила?! Толик-то при чем?!»

«А она не думает. Она — граната...»

И когда уже не будет сил, когда сердце станет останавливаться от тоскливой вины, придет спасительная мысль:

«А откуда ты взял, что был обратный билет? Ты спросил, а Толик в ответ: поехали, поехали...»

«Но он же говорил: *теперь* обратно придется ехать на электричке...»

«Может, потому, что сперва хотел вернуться в Севастополь на такси, а денег не осталось — истратили на дорогу вперед...»

Может быть, и так... Но утешение будет приходиться ненадолго. И ощущение неискупимой вины снова станет наваливаться глухой черной тяжестью. Такой вины, которая не менее страшна, чем само ощущение потери.

Через месяц Гай уже не станет спорить сам с собой. Зачем? Все сказано много раз. Не станет мучить себя вопросами: был ли билет? Ответить на вопрос мог бы один Толик. Но он не ответит — и вину с Гая не снимет никто.

Гай будет ходить в школу, учить уроки, получать отметки. Будет даже смотреть иногда телевизор, отвечать на мамины вопросы. Порой будет даже улыбаться. И всем, даже маме, станет казаться, что он понемногу успокоился и живет нормально.

И никто не узнает, как гонит от себя Гай память об августовских и сентябрьских днях. Память о всем, что раньше было для него Островом. Потому что горе и вина закрыли к Острову дорогу.

И так будет до того дня, когда Юрка (именно Юрка, а не кто-то другой) приведет его к себе домой и скажет угрюмо и жестко:

— Гай, ты так свихнешься. Или умрешь... Гай! Ты что?

— А что я? Я...

Слезы рванутся безудержно. Слезы — невыносимые, изматывающие душу, тяжкие, как рвота. До судорог в горле, до крика. И в этом крике прорвутся слова о Толике, о гранате, о билете... И Юрка захлопнет дверь и яростно, словно удерживая Гая от броска в пропасть, прижмет к себе.

— Гай... Гай!! Ну при чем здесь ты?! При чем здесь мы?! Не мы же придумали на свете гранаты!

Гай стихнет, вздрагивая. Юрка скажет:

— Так нельзя. Ты живи.

Гай то ли вздрогнет опять, то ли кивнет...

— Ты живи, — снова скажет Юрка. — Дерись.

— С кем?

— Вообще... дерись.

И Гай станет драться. Всю жизнь. За себя и за других. Драться с человеческими бедами и со своей виной — не зная до конца, была ли она. Драться за право изредка возвращаться на свой Остров.

Такой Остров есть у каждого, и потерять его — подобно смерти. Остров называется Детство.

Книга третья

НАСЛЕДНИКИ

Путь в архипелаге

Первая часть

КАССЕТА

УТРО ВОСЬМИКЛАСНИКА ПЕТРОВА

Егор Петров, дома именуемый Гориком, в классе — Гошкой или Петенькой, а в компании Больничного сада наделенный кличкой Кошак, поднялся на второй этаж и сел на подоконник. В коридоре было тихо. Шли уроки.

Напротив окна белела дверь с табличкой: «2 кл. Б». За дверью слышались бубнящие голоса, они иногда прерывались гневными возгласами и резкими шелчками — очевидно, указкой по столу. Очередной возглас прозвучал громче остальных, а через три секунды дверь с маху открылась и вылетел тощий рыжеватый второклассник, направленный наружу, видимо, умелой и решительной рукой.

Глаза встрепанного мальчишки влажно и сердито блестели. Сделав по инерции несколько шагов, он остановился и скачком вернулся к двери. В сердцах стукнул по ней пяткой. И лишь тогда глянул на Егора — с вызовом, не стесняясь злых слезинок. Видимо, это был характер. Егор даже ощутил к нему что-то вроде легкого интереса и сочувствия. Снисходительно сказал:

— Закурить есть?

Второклассник прошелся по Егору ощетиленными глазами.

— Ты что, офонарел? Большой, а дурак.

Кажется, это был не просто характер, а дважды характер. Но именно поэтому Егор потерял к нему интерес и сочувствие.

— Брысь.

— Сам брысь, — огрызнулся пацаненок и пошел в конец коридора, к туалету — ненадежному, но привычному приюту всех «классных изгнанников».

Стукнутая мальчишкиной пяткой, дверь захлопнулась, но от удара тут же отошла. Из-за нее неслось:

— Хватит подсказывать и шушукаться!.. Хва-тит! Или кто-то хочет следом за Стрельцовым? Продолжаем! Кто ответит, почему поэт... Ямщиков, перестань клевать носом! Стукнешься им о парту, опять кровь пойдет и кто-то окажется виноват!.. Кто скажет, почему поэт называет в своих стихах осень золотой?..

Егор косо зевнул и стал смотреть сквозь стекло. Поэты называют осень золотой от безделья или от своей поэтической приду-

ри. А на самом деле осенние листья просто корчатся и сыплются на слякотный асфальт серыми комками. Вот как сейчас с тополей. И на душе соответственно...

Жить бывает хорошо, если впереди светит что-то приятное. А что в ближайшие сутки могло светить Егору Петрову? Горик? Гошке-Петеньке? Кошаку?

Компания в «таверне» соберется не раньше понедельника. Курбаши исчез на несколько дней, сказал: «по служебной надобности». Подвал запер, под замком укрепил написанную Валетом табличку: «Аварийное помещение. Вход воспрещен. Штраф 15 руб. Администрация ЖКО». Ключ забрал с собой. Недовольным объяснил: «Во избежание непредвиденных осложнений с общественностью. Все. Захлопнули ротки, джигиты».

Оно конечно, культурный человек скучать и в одиночестве не должен. Одних только книг цивилизованное человечество накопило столько, что на тысячу жизней хватит. Родители Егора накопили их тоже немало. И, были времена, Горика не могли от книжек за уши оттянуть. Но тот наивный период культурного развития кончился, когда созрела ясная мысль: все герои книг — и придуманные, и те, кто был на самом деле, — к нему, к Егору Петрову, никакого отношения не имеют. Найдет Д'Артаньян королевские подвески или они останутся у миледи — не один ли фиг? Отыщет капитан Григорьев экспедицию капитана Татаринова или та навечно сгинет в неизвестности — что изменится в жизни Гошки-Петеньки, Кошака?.. Нельзя сказать, что мысль была приятная. Сначала она даже как-то обескуражила, потому что любить книжки Горик привык. Но какой смысл тратить время и нервы на чтение рассказов о чужих делах, если твои собственные от этого никак не меняются? Презирать книги Егор не стал, он сохранил к ним что-то вроде снисходительной почтительности, но вкус к чтению потерял.

Некоторое время, правда, держался еще интерес к детективам. Но, во-первых, все истории про преступников и следователей были похожи, а во-вторых, скоро Егору стало ясно, что он сочувствует не тем, кто ищет, а тем, кого ищут. А это было грустно — те, вторые, в книжках всегда попадались.

От книг мысли Егора перескочили на кино. С кино — проще. Тебе показывают — ты смотри. Надоело смотреть — закрой глаза и думай о своем... Но сейчас в кинотеатрах будто спятили: в «Луче» — индийская тягомотина «Любовь и закон», в других — «День любви», «Люби, люби, но головы не теряй», «О странностях любви», «И жизнь, и слезы, и любовь», «Еще раз про любовь», «Жених и невеста»...

В программе ТВ тоже сплошная мура...

И остается после школы одно: валяться кверху пузом на тахте («Горик, зачем ты лежишь в школьной форме, надень спортивный костюмчик») и шелкать кнопками «Плэйера».

Мысли о «Плэйере», конечно, греют душу. Ничего не скажешь, папочка не поспешил, отвалил валюту за карманный стереомаг знаменитой фирмы «Сони». Вся машинка — величиной с портсигар. Два выносных динамика — каждый размером со спичечный коробок. А еще — гибкая дужка с крошечными наушниками. Кнопки, микролампочки сигналов, сетчатые головки микрофонов по углам серебристого футляра (они похожи на выпуклые глаза большой мухи). Не магнитофон, а прибор с корабля космических пришельцев. В «таверне» как увидели — губы развесили. Даже Курбаши не скрыл почтения к заграничной вещице. Уважительно покачал «Плэйер» на ладони, а остальным сказал:

— Никому не лапать, пальчики отдавлю.

Потом обратился к Егору:

— Ай, Кошачок, наградил тебя родитель, хороший человек. С чего это он?

— Говорит, к четырнадцатилетию...

— Мы же твои именины вроде бы летом отмечали.

— Его тогда не было. А сейчас вернулся из Австрии, там японской техники навалом. Вот и привез...

— Давние грехи замаливает, что ли? — хмыкнул Валет.

Егор промолчал. Охота вспоминать? Курбаши — он понимающий мужик — посмотрел на Валета: язычок, мол... Валет усох. Но тут же, чтобы показать независимость, заметил небрежно:

— А почему эта фиговина именуется «Плэйером»? «Плэйер» — это ведь игрушка только для прокручивания. А здесь и микрофоны для записи...

— Кто их, японцев, знает... — хмыкнул Егор. — Им виднее. Видишь, написано...

Под значком фирмы «Сони» чернела аккуратная надпись: «PLAYER».

— Все у них не как у людей, — зевнул Копчик, но глаза у него были завидующие. Егор тонко улыбнулся.

— Да, умеют сволочи делать вещи на загнивающем Западе, — вздохнул Курбаши. — А точнее, на Востоке... — Надел мини-телефоны, послушал. — Ай какое звучание. Рохат-лукум...

Звучание и правда было прекрасное. Особенно с наушниками. Закроешь глаза — и будто оркестр живой вот тут, в твоей комнате... Но беда в том, что это интересно лишь поначалу. И если ты не один. А когда слушаешь просто так, сам с собой, интереса хватает на двадцать минут. Потому что, если говорить совсем-совсем честно, Егор в этой музыке ни бум-бум. Все эти «Стайеры», «Чингисханы», «Бони-М», «Черные лимузины», «Кенгуру», от

которых компания балдеет, жмурится, причмокивает и подергивается, кажутся Кошаку одинаковым дребезжанием, монотонным буханьем и воплями на иностранных языках (холера их знает, о чем поют!). Но ведь никому не скажешь такое! И Кошак жмурится, подергивается и двигает локтями так же, как остальные. Это ничего, даже весело. Одно слово — ритм. И, может быть, Егор со временем разберется, вникнет поглубже в музыкальное искусство. А пока главное — не выглядеть дураком среди знатоков.

Знатоки эти душу готовы продать за новые записи. Копчик раздобыл у кого-то на стороне японскую кассету с «Викингами» и принес свою расхлябанную «Весну». Перепиши, говорит, с «Плэйера» на мой ящик.

— Со стерео на моно? — хмыкнул Егор.

— Ну, хоть что-то, да получится. Постарайся.

Копчик смотрел просительно, даже подхалимски.

Егор поставил условие:

— Мотор дашь погонять? У тебя, говорят, новый...

— На воскресенье бери хоть на целый день. А до выходного — забито.

Мысли о мопедке немного развеяли скуку. Мотор на весь день — совсем неплохо. Но это лишь через три дня. А до того что? Эх, были бы свои колеса с движком...

— Даже пятиклассники по улицам гоняют — и то ничего! А мне нельзя почему-то! — не раз скандалил дома Егор.

— Пусть гоняют, если у них матери такие! А я не могу своими руками сына отправить в могилу! Ты у нас с отцом один!

— Я виноват, что ли, что один? — вскипел однажды Егор. — Думать надо было!

Мать, к его удивлению, не стала кричать, ронять слезы и упрекать в хамстве и неблагодарности. Наоборот, как-то странно успокоилась и объяснила, что, когда рожала его, Егора, врачи с ней и с ним намаялись и несколько лет подряд утверждали, что второго ребенка нельзя, несмотря на то что отцу хотелось. А теперь, на старости лет, что об этом говорить.

Егор буркнул, что никакой «старости лет» нет, просто хлопот не хочется.

— А тебе хлопот хочется? С малышом нянчиться стал бы?

— А у меня таланту нет, — огрызнулся Егор, потому что вспомнил недавний разговор с режиссером Александревским.

Было это прошлой осенью. Режиссер с помощницами пришел в школу. Здесь ничего удивительного — школа-то вся из себя передовая, показательная и самая-самая. То и дело всякие «встречи с интересными людьми». Но режиссер пришел не выступать, а искать исполнителя для своего кино. Мальчишку-се-

миклассника. И его помощницы тут же «кинули глаз» на Гошку Петрова: «Ах, какой мальчик! Мальчик, хочешь сниматься?»

А чего? Если глянуть со стороны, для кино он в самый раз. Красавец не красавец, но недаром «Петенька». Локоны и улыбка — со знаком качества, это видно всем.

Неделю Егор торчал на студии, даже с уроков отпускали. И все шло хорошо. Перед камерой он не терялся, двигался бойко, фразы говорил выразительно. И лишь когда стали репетировать сцену с велосипедом, Александревский начал морщиться. В этой сцене главный герой притаскивает братишку-третьеклассника, который загребел с велосипеда, погнул руль, повыбивал спицы из колеса. И вот покореженный велосипед (причем чужой, не братьев) — в одном конце комнаты, ревуший сопливый пацан с ободренным локтем и шишкой на лбу — в другом, а Егор должен метаться между ними — и ругаться, и брата жалеть...

Что-то режиссеру не нравилось: все «стоп» да «стоп»! Все у Егора не так! А при чем здесь он, если этот хлипкий и вареный «братец» сам ничего не может, даже слов не помнит как следует. Егор Александревскому так и сказал. А тот вдруг спросил:

— Слушай, неужели тебе его ничуть не жаль?

Егор удивился. Александревский пожал плечами и объявил перерыв до завтра. А назавтра — все то же, «братец» вздрагивал, лопотал что-то невнятное. И в антракте Егор с досады дал ему леща. Легонько так, тот лишь заморгал. Но Александревский, оказавшийся рядом, вдруг сказал незнакомым голосом:

— Вот что, молодой человек, гуляй-ка домой.

— Почему? — изумился (и обиделся, и разозлился) Егор.

— Потому. Ты никогда не сможешь быть братом.

— Но это же...

— Все. Гуляй, — со вздохом повторил режиссер. — Единственное дитя...

Мама хотела пойти на студию, жаловаться на Александревского. Егор заорал, чтобы не смела. Отец сказал:

— А ты что думала? Что он в народных артисты выбьется? Пускай о нормальной профессии думает.

«Таверна» добродушно побалагурила по поводу провалившейся кинокарьеры Кошака, и дело вскоре забылось.

А сейчас вот здесь, на подоконнике, почему-то вспомнилось. Видимо, от нечего делать. Когда сидишь так, не зная куда себя девать, в голову лезет чепуха. Все больше невеселая.

Егор глянул на часы. С начала урока прошло тридцать минут. Значит, еще пятнадцать, а потом перемена, а потом еще целый урок. Потому что физра в расписании сдвоенная. И он пожалел: зачем старался, чтобы поперли с физкультуры?

Добился он этого просто. Сперва физрукша Валентина Николаевна с мужским прозвищем Коленвал велела всем, «кто явился на урок опять без формы, сидеть у стенки и не возникать». («А потом я напишу докладную директору».) Егор сел с послушным видом. А во время разминки, когда народ бегал по кругу, сунул ступню под ноги грузной Вальке Титаренко. Титаниха на пузе поехала по половицам, как мешок с колбасой, и, конечно, завывала. Светка Бутакова запылала своим активистским гневом:

— Ох и скотина ты, Петенька!

Егор потребовал объяснений: в чем он виноват и почему она, комсомольско-пионерская и прочая командирша, позволяет себе так обзывать представителя несоюзной молодежи? Вот если бы не она, а он такое слово на уроке сказал, что бы тут началось, а?

Девчонки поднимали Титаниху и жалели. Парни сдержанно гоготали. Подошла Коленвал и велела Петрову убираться вон.

— А потом я напишу докладную директору!

— Про что? Про то, что эта балерина под ноги не смотрит?

— Иди, иди! Являются не готовые к уроку, да еще другим гадости делают.

Егор оглянулся в дверях:

— А чего «не готовые»-то? Если костюмов нигде не продают!

— Уж тебе-то папаша мог бы достать!

Егор, у которого было четыре тренировочных костюма, в том числе финский и японский, сказал:

— Папаша мог бы, конечно, но не будет. Надо, чтобы они были в наших советских магазинах.

— Нет, вы посмотрите! Ему уже советские порядки не нравятся! — завопила вслед физрукша.

Егор мысленно прикинул разговор с директоршей, если Коленвалиха не поленился накатать донос. «Клавдия Геннадьевна, я понимаю, что учителя тоже люди, что устают и так далее. Но нельзя же так сразу нападать, и без доказательств. Да еще намеки на отца. Он что, воровать должен?» — «Ну-ну, Петров, успокойся. Ты ведь тоже не сахар. Умный мальчик, а способы для самоутверждения порой выбираешь совсем не те. Давай договоримся, что...» Ох и скучища, граждане!

...Да, лучше бы уж сидеть на физкультуре. Можно потрепать с «бесформенными» соседями, бросить пару реплик насчет грации Вальки Титаренко или тюфяка Маклевского, который висит на турнике, как обморочный пингвин... Можно просто смотреть, как вертятся и гнутся на кольцах и брусьях девчонки в своих цветных купальниках. Особенно гибкая и смуглая Бутакова. Нельзя сказать, что это зрелище как-то щекочет нервы Егору, но все же оно приятнее, чем серые тополя и слякотный двор.

Дверь во второй «Б» прикрыли, разговоры про золотую осень стали неслышны, а та осень, что за окном, все сыпала и сыпала грязные комки листьев. Через двор к школе шел милиционер, вел за плечо съезженного пацана — тот семенил и прижимал к животу ладони: то ли ему хотелось в туалет, то ли съезжали штаны.

Егор Петров перестал смотреть на двор и глянул вдоль коридора. Из-за поворота возникло понурое существо, жалось к стене. В существе Егор узнал четвероклассника Пулю. Пуля, несмотря на боевое прозвище, был боязливой неприкаянной личностью, которую недавно пригрозил в «таверне» Валет.

Судя по всему, Пулю выставили с урока, и теперь он, отчаянно боясь встретить завуча, пробирался в спасительный туалет, чтобы сидеть там, в кабинке с задвижкой, до звонка.

Егор, тут же ощутивший себя Кошаком, хмыкнул, мягко потянулся, шелкнул языком. Пуля дернулся и обмер на месте. Егор, в точности как Валет, затуманил взгляд, шевельнул пальцем и потратил два слова:

— Пуля — иди...

Пуля, бедственно улыбаясь, засеменил к Егору. Разумеется, он считал безумием со стороны Кошака так нагло сидеть на подоконнике, когда полагается быть на уроке или, по крайней мере, подальше от всех глаз. И больше всего Пуле хотелось сгнать в милый сердцу санузел. Но не подчиниться кому-то старшему из «таверны» было для него тоже немислимо.

Понимая Пулины терзания и чувствуя от этого удовольствие, Кошак опять потянулся и спросил:

— Пуля — пулей из класса?

— А чё... Я тетрадку забыл, а она...

— Закурить есть? — перебил Егор.

— Ну чё... откуда?

Показывая, как не хочется ему делать лишних движений и как он раздосадован, что делать их приходится, Егор сполз с подоконника. Нагнулся, задрал у Пули штанину, выдернул из-под резинки носка мягкую пачку «Примы» с единственной сигаретой.

— Ну чё, последняя, — виновато хныкнул Пуля и пожегся от подзатыльника. Хлопок, впрочем, был несильный. Скорее ритуальный. Пуля заслуживал наказания за вранье, но понять его тоже было можно: кому охота отдавать последнюю.

Егор вынул сигарету, затолкал пустую пачку за батарею и пошел к туалету. Пуля, обрадованный, что расплата за обман оказалась пустяковой и что движутся они к убежищу, почтительно торопился сбоку. Осмелел и спросил:

— Оставишь маленько подымять?

Егор не ответил. Оставит ли он пару затяжек для несчастного Пули, будет зависеть от настроения.

В туалете пахло застарелым дымом и хлоркой. Было пусто. «Где же тот вредный второклассник? Наверно, слинял на третий этаж», — мельком подумал Егор. На приступке за батареей нащупал коробок, оставленный здесь для общего пользования, чиркнул, задымил. Забрался на подоконник под открытой форточкой.

Радости от сигареты не получилось. Дым показался горьким. Егор подавил кашель, сплюнул. Закружилась голова. Егор упрямо затынулся еще раз. Потом глянул на Пулю. Тот смотрел жалобно и вопросительно: ты меня не забыл? Егор скомкал сигарету, бросил в форточку. С удовольствием понаблюдая за Пулиным разочарованием и назидательно сказал:

— И так дохлый. Смотри, совсем скорчишься от никотина. И куда Валет смотрит...

Сам Егор курил от случая к случаю: ради компании или так, со скуки. Именно поэтому, а совсем не по бедности при себе сигарет не носил. Оно и спокойнее. А то мать найдет, опять стоны будут...

Загремел звонок, просторный туалет начал стремительно заполняться гадающей толпой. Пулю задвинули в угол. Егора вежливо попросили «прибрать ходули», а то хитрый какой: персональное купе сделал из окна. Егор встал на подоконнике, прислонился к боковой стенке оконной ниши. Дым уже висел слоистыми пластами. Пласты колыхались от коловращения плеч и голов. Обрывки разговоров, легкая ругачка и смех смешивались и тоже как бы повисали волнующимися и рвущимися слоями.

Было тесно и суетливо. Но тем не менее присутствовал и некоторый порядок. Зря никого не толкали, малышня снисходительно пропускали без очереди к кабинкам и другим необходимым местам. Те, у кого был сигаретный запас, не проявляли скарденности. Возможно, откололся бычок и неприкаянному Пуле — от какого-нибудь великодушного шестиклассника. Большие-то младший возраст куревом не балуют. Из педагогических соображений.

В углу у раковины стояли парни из десятого. Один — высокий, тонкий, с темными усиками, в форме изящной, будто фрячная пара, — поигрывал красной зажигалкой с золотой надписью «Marlboro». Аристократический запах «Золотого руна» расходился от этой компании, дразня тех, кто сосал «Примы» и «Родопи».

Заметил Егор и несколько одноклассников, они прибежали сюда в тренировочных костюмах. Трикотажная материя впитает сигаретный дух, и, когда ребята придут на второй час физры, Коленвал, как всегда, подымет крик: «Насквозь прокурились! Дышать нечем! Напишу докладную!» Причем виноватыми будут и те, кто сроду куревом не баловался. Вот, например, как Ямщиков...

Венька Ямщиков по прозвищу Редактор пришел не один.

Он вел пацаненка лет восьми — коренастенького, с растрепанной круглой головой. Пацаненок запрокидывал лицо и прижимал к носу пальцы. Из-под пальцев ползли на подбородок алые струйки.

— Ну-ка, ребята... — озабоченно сказал Ямщиков, и народ раздвинулся, пропустил его к раковине. Несколько голосов спросили, что случилось и «кто его так».

— Да ну... — с досадой отвечал Венька. — У других нос как нос, а его чуть щелкнешь — и побежало... Носился и сам не знает, где стукнулся. Я иду, смотрю, а у него капает...

Венька растопыренной ладонью вымыл мальчишке лицо, царапал мокрыми пальцами по бедру в поисках кармана с платком, но на тренировочных штанах карманов не было. Десятиклассник с зажигалкой протянул свой платок — большой и очень белый. Венька кивнул, вытер пацаненку физиономию, что-то сказал. Тот, послушный и бледный, встал у стены, закинул голову, а платок прижал к носу. Видно, кровь еще не унялась.

Егор, глядя, как Редактор смывает кровь с мальчишкиных щек и подбородка, шевельнул плечами. Из-за брезгливости. Но вместе с брезгливостью ощутил Егор и непонятную досаду: опять почему-то вспомнился Александревский. «Ты никогда не сможешь быть братом...»

Мальчишка с разбитым носом был Венькин брат — второклассник Иван Ямщиков. Ванька...

— Парни, атас... — негромко сказали у двери. Окурки полетели в писсуары. Гул утих. Кажется, даже дым перестал колыхаться. И возник молодой учитель физики Мстислав Георгиевич. Высокий, с широкими плечами борца, но с тонким лицом, с черной волнистой шевелюрой и гибкими узкими руками музыканта. Работал он в школе первый год, был любимцем старшеклассниц и носил прозвище Поп-физик (из-за того, что читал популярные лекции по современной физике в школьном лектории).

— Мужественные люди, — сказал Поп-физик от порога. — Как вы здесь живете без респираторов? Прошу выходить по одному. Советую сдавать табачное зелье добровольно, не вынуждая меня прибегать к обследованию карманов.

Обитатели дымного приюта потянулись к выходу. Большинство было уже «без улик», задержки у дверей не происходило.

Скоро в туалете осталась мелкота, свободная от подозрений, Венька с братом, трое десятиклассников и Егор. Он опять удобно сел на подоконнике. Поп-физик шагнул к окну.

— Ну, что касается Петрова, то он, разумеется, успел освободиться от компрометирующих предметов. Не так ли?

— Естественно, — отозвался Егор. — Я здесь давно.

Поп-физик обернулся к десятиклассникам. Высокий парень,

улыбаясь, убрал красную зажигалку «Мальборо» в нагрудный карман, а пачку с сигаретами «Золотое руно» держал в ладони.

— Костецкий, — сказал Мстислав Георгиевич. — Вы не станете отрицать, что вам известны «Правила для учащихся»? Равно как и решение директора об усилении борьбы с курением в стенах вверенной ей школы?

— Разумеется, — отозвался Костецкий. — Клавдия Геннадьевна любезно проинформировала нас об этой новой акции.

— В таком случае вы меня крайне обяжете, если передадите мне свои сигареты.

— Охотно! — Костецкий с полупоклоном вручил пачку Поп-физику. Тот посмотрел на двух других десятиклассников. — У них нет, Мстислав Георгиевич... — Костецкий улыбался той же светской улыбкой, что и Поп-физик. — Я их сегодня угощал... Но вы не огорчайтесь, пачка почти полная. При некоторой экономии вам хватит до зарплаты. А если нет — можно провести еще несколько туалетных обысков.

Улыбка Поп-физика закаменела. Он сжал пачку в кулаке, шагнул к ближней кабинке и рванул на себя дверцу. Из-за нее, пискнув от ужаса, выкатился под ноги Мстиславу Георгиевичу несчастный Пуля. Подхватил штаны — и к двери. Растерянно глянув вслед беглецу, Поп-физик швырнул пачку и рванул рычаг.

Костецкий, переждав громкое бурление, заметил:

— А вот это нерационально: смывать в канализацию материальную ценность...

Поп-физик снова обрел невозмутимость, но уже не улыбался.

— Меня, Костецкий, более волнуют моральные ценности. Даже столь сомнительные, как ваш нравственный облик. А впрочем, я предвижу, что здесь педагогика бессильна...

— Ваша педагогика? — сказал Костецкий.

— Мировая... Поздно уже. Начинать следует вот с таких... — Он неожиданно повернулся к братьям Ямщиковым и сменил тон: — Надо же, как надымился! Аж белый весь!

Ваня Ямщиков больше не прикладывал платок к носу, но все же еще стоял с запрокинутым лицом, упирался затылком в стену. Кровь уже не шла, следы ее Венька стер влажным платком, но лицо братишки по-прежнему было бледным.

Мстислав Георгиевич шагнул к Ване. Венька в ту минуту стоял от брата в двух шагах. Всех восьмиклассников Поп-физик уже более или менее знал и понимал, конечно, что у Веньки Редактора ничего общего с курильщиками быть не может. И, не взглянув на него, Мстислав Георгиевич резко нагнулся над Ваней. Взял его за подбородок.

— Еле стоишь! Эх ведь насосался дряни! Еще есть? — Он длинные свои пальцы ловко сунул в карман Ваниных брюк.

Ваня дернулся, затылком крепко цапнул по стене, и в тот же миг Венька врезался между Поп-физиком и братишкой.

— Вы что! У него кровь, а вы!.. — Голос Веньки был не голос, а сплошной яростный звон. Лицо побелело — сильнее, чем у брата. Мстислава Георгиевича отшатнуло.

— Да ты что... Ямщиков!.. Я...

— У него кровь, а вы... — опять сказал Венька, часто дыша. Он заслонил Ваню. Егор успел заметить, что у того в ноздре опять набухла красная капля. Заметил, видно, это и Поп-физик. Сказал, пряча смущение:

— Что, по-твоему, это я ему нос разбил?

— А нечего в чужие карманы лазить, — тонко отчеканил Редактор. — У себя шарьте, а у него права не имеете.

— Ну, ты... — Мстислав Георгиевич шевельнул желваками. — Соображаешь, с кем говоришь? И что говоришь...

— Между прочим, он за брата заступается, — неожиданно сказал с подоконника Егор.

Мстислав Георгиевич оглянулся:

— Ну и что? Значит, можно позволять хамство?

— А обшаривать малышей — это, конечно, не хамство, — заметил в пространство Костецкий.

Поп-физик повернулся к нему:

— А вас с какой стороны это задевает?

— Просто фиксирую обстоятельство. — Костецкий опять тонко улыбнулся. — Мировая педагогика дала сбой. Перед лицом двух братьев.

Кто-то из малышей осторожно хихикнул. Поп-физик медленно спросил:

— Знаете, Костецкий, о чем я мечтаю?

— Разумеется, знаю. О светлом июньском дне, когда мы встретимся на выпускном экзамене. Вот тогда-то...

— Нет, о более позднем дне, — перебил Поп-физик. — Когда вы с аттестатом и, возможно, даже с медалью покинете родную школу и мы сможем встретиться где-нибудь... так сказать, на равных. Тогда я смогу без особого риска для своей должности дать вам оплеуху. В крайнем случае поплачусь пятнадцать суток. Удовольствие стоит того...

Стало очень тихо. Костецкий опустил голову, сбил с рукава чешуйку пепла и сказал совсем негромко:

— Вы ждете от меня примитивного ответа. В том смысле, что неизвестно еще, кто кого, не правда ли?.. Нет, оставим это для другого раза. Как и дискуссию о нравственном облике. Дело-то не во мне. Дело в таких, как он... — Костецкий кивнул на Ваню. — Им, беднягам, сколько еще страдать из-за вашей «педагогики»...

Он обошел Поп-физика и с приятелями двинулся к двери.

— Платок... — сказал Венька. Костецкий махнул рукой.

Грянул звонок. Поп-физик вздрогнул, деловито посмотрел на часы и, не глядя по сторонам, тоже быстро вышел.

Умчалась мелкота. Венька еще раз вытер Ване нос, взял его за плечо и повел к двери. Не оглянувшись на Егора.

То, что Редактор даже не посмотрел на него, Егора неожиданно раздосадовало. Как-никак он, Гошка Петров, за Веньку только что заступился. Пусть случайно, мельком, но все-таки. А тот ни ухом, ни глазом не повел... Мимолетное сочувствие к братьям Ямщиковым разом угасло, и Егор в опустевшем туалете начал думать о Редакторе с привычной ленивой неприязнью.

Венька Ямщиков был из тех беспомощных шизиков, которые всегда скребут на свой хребет. Классная Роза обозвала его однажды на собрании донкихотом, но это по глупости. Дон Кихот был все-таки в доспехах, с мечом и копьём. Где-то наполучает шишек, а где-то и другим их наставит. К тому же в те давние времена простительно было верить во всякие принципы и сра-ведливость. А сейчас, когда всем ясно, *что* надо писать в сочинениях и *как* надо жить на самом деле, Венькины поступки даже смеха не вызывали. Только недоумение.

Прошлой весной, например, когда Копчик со своими корешами (не из «таверны») вышел на небольшой промысел у цирковых касс и начал трясти мошну двум послушным первоклассникам, Венька Ямщиков встрял между ними. Ну, если бы еще драться начал (сдуру-то можно и так) или грозить чем-нибудь, а то глянул вот такими глазищами и тонким голоском спрашивает:

— Ребята! Да вы что, разве вы не люди?

Это Копчик потом в «таверне» рассказывал: «Ну, мы его пнули два раза, потом ушли. Я малость перетрухнул: думаю, вдруг чокнутый, опасный какой-нибудь... Кошак, вы его там в школе врачу не показывали?»

Насчет врача один раз и Розушка высказалась, не стерпела:

— Тебе, Ямщиков, честное слово, лечиться надо! Ну нельзя же быть таким... вне времени и пространства!

Это прошлой зимой было, когда Венька на классном часе поднял крик, что в школе нарушаются законы: мол, совсем недавно заведующий облоно говорил по телевизору, что нельзя собирать с ребят деньги на ремонт школ, а здесь опять — сдавайте по три рубля!

Роза Анатольевна в сердцах выдала фразу, что говорить-то легко, а пусть этот заведующий лучше денег даст.

— А он сказал, что полтора миллиона отпущено!

— Да? — взвилась Классная Роза. — А рабочие тоже отпущене-

ны? Пусть он за эти полтора миллиона маляров наймет! По наличному-то расчету! Спроси вот его отца, во что он, этот ремонт, обходится! — Она кивнула на Егора.

Отец Егора Виктор Романович Петров был начальником экспериментального цеха на «Электроне» и теперь этот цех расширял и перестраивал. И заодно помогал школе в ремонтных делах.

Егор сказал назло Розушке:

— Ну, он не вашими трешками с малярами расплачивается...

— А все-таки интересно, куда эти полтора миллиона деваются... — начал Венька, но Классная Роза хлопнула журналом о стол.

— Хватит! Надоели твои трехрублевые принципы! Не хочь — не сдавай!

— И не буду, — сказал Венька. И не сдал. Один из всех. Розушка только зубами скрежетнула.

А было время, когда она Ямщикова привечала. Считала «среди тех, на кого я могу положиться». В четвертом классе, в пятом, даже в шестом. До случая с газетой, когда Редактор получил свое прозвище.

В начале февраля, на классном часе, Светка Бутакова подняла вопрос: что это за коллектив, если нет своей боевой пионерской стенгазеты? Ну и проголосовали, чтобы выпускать. И Ямщикова выбрали редактором. Он тогда еще такой был: хоть куда выбирай — не сумеет отказаться. Надо сказать, Венька и не пробовал отказываться. Лишь попросил:

— Только заметки пишите.

Все радостно заорали, что, конечно, будут писать.

Неделю Венька ходил, выпрашивал материалы для газеты. На него, понятно, смотрели как на психа. Только Бутакова написала про то, что третья четверть — самая решающая, да Юрка Громов — про свою черепаху по имени Луноход.

Газета вышла. На обычную стенгазету она была не похожа. Напоминала страницу из настоящего, в типографии отпечатанного яркого еженедельника. Заголовок «Наши новости» (с большой двойной буквой Н) Венька сделал черной тушью, заметки отступал на машинке (и где только взял?). В первом материале, напечатанном одними заглавными буквами, редактор Ямщиков обращался к читателям и сообщал, что это их газета и пусть пишут в нее про все интересное и важное, а не такую тягомотину, как Бутакова. Так и было отпечатано: ТЯГОМОТИНУ.

Заметка о черепахе Луноходе была помещена под рубрикой «Кошкин дом», и читателям предлагалось рассказывать о всех своих любимых домашних животных. Была высказана интересная мысль, что по всем этим кошкам, болонкам, догам, канарейкам, хомьякам и черепахам можно судить о характере их хозяев.

Маленький верткий Юрка Громов подлетел к Веньке:

— Значит, я — как черепаха?!

— Ты — как космонавт, — утешил Венька. — Ведь она — Луноход...

Статью Бутаковой Ямщиков тоже поместил, но мало того что обругал в начале, он к ней и послесловие написал: надо бы старосте класса не твердить общие слова, от которых ко сну тянет, а делами помогать успеваемости. Почему, например, Бутакова не вступилась за Громова? И дальше шла заметка под броским черным заголовком: «За что двойка?»

Громов опоздал на геометрию после физкультуры, потому что у него кто-то спрятал в раздевалке ботинок. Пока нашел на шкафу, пока шнурки распутал... Влетел в класс, а математичка Лизавета Яковлевна — в крик: «Я сколько раз говорила, что пора прекратить ваше разгильдяйство? Садись, «два» за этот урок!»

Вот Венька и спрашивал: за что «два»? За ботинки, за шнурки? И если бы даже Громов опоздал по своей вине, это же не значит, что он теорему не выучил!

Были еще заметки под рубрикой «Чудеса со всего света» — Венька насобирал их из разных газет, но пересказал своими словами. В отдельном столбце — поздравления всем, кто родился на этой неделе (редактор выражал надежду, что именинники станут активными корреспондентами газеты «НН»). Еще какая-то мелочь была и даже фотография с субботника по расчистке снега. Но говорили все главным образом про заметку о двойке. И ждали: чем кончится?

Кончилось, конечно, криком на классном часе. Бутакова рвала и требовала, чтобы ее переизбрали из классных старост. Роза Анатольевна настаивала, чтобы Ямщиков все обдумал и сам — сам! — снял газету. Да, она оформлена неплохо, есть интересные задумки, но Ямщиков должен понять, что бывает критика, а бывает критиканство — пустое и безответственное. Да! Елизавета Яковлевна учит школьников математике тридцать лет, и вдруг какой-то шестиклассник указывает ей, когда и как оценивать знания!..

— Не знания, — сказал Венька.

Когда Классная Роза волновалась или утверждала какие-то истины, то крепко нажимала на букву «и». Получалось «йи».

— Ка-кое ты ймеешь пра-во су-дить? Елизавета Яковлевна — один из лучших педагогов. Ее уважают все учителя йи ученики.

Ямщиков сказал, что пускай тогда извинится перед Громовым и зачеркнет двойку. Если хочет, чтобы и дальше ее уважали все.

— Ты соображаешь, чего требуешь?!

— Справедливости, — сказал Венька.

В классе захихикали.

— А кто ты такой, чтобы ее требовать? Чтобы критиковать?

У тебя откуда такое право? Ты его заслужил? Ты сначала посмотри на себя! Лучше бы от троек ййзбавился да прическу привел в порядок!

Троек у Веньки было всего ничего, и на прическу его Розушка раньше внимания не обращала. Венька с первого класса был такой: светлые волосы торчали сосульками во все стороны, сколько ни приглаживай. Может, из-за этих сосуллек тонкошей и круглоголовый Венька выглядел особенно нескладным и беззащитным. Егору он казался особенно нескладным на Кролика из фильма про Винни-Пуха. Только Кролик — маленький, а Венька — довольно длинный и без очков (хотя большие круглые очки были бы очень подходящими для его редакторской физиономии).

Венька спросил:

— А если тройки, если прическа не гладкая — критиковать никого нельзя?

— По крайней мере, надо знать рамки! На взрослых замахиваться вам рано.

— Вы же сами говорили про самостоятельность и принципиальность, — негромко сказал Венька.

— Ну... и в чем ты видишь противоречие?

— Несправедливая же двойка...

— Йин-те-ресно... Сам Громов помалкивает, значит, несправедливости не усматривает. А ты, видите ли...

— Громов просто не знает, что делать. А я редактор...

— Дорогой мой! Даже взрослым редакторам указывают их место, если они позволяют себе лишнее и переходят границы дозволенного. А ты... Запомни: чтобы кого-то критиковать, надо самому быть образцом. Понял?

Ямщиков сказал неожиданно кротко:

— Я понял вашу мысль.

— Вот и хорошо... Значит, снимешь газету?

— Я-то что? Меня класс выбирал, пускай и решают все.

Девчонки, жалевшие Бутакову, завопили, чтобы снять. Парни заорали: оставить. Не столько ради Ямщикова, сколько назло Розушке и девчонкам.

Роза Анатольевна нашла мудрый выход:

— Ладно. Пусть сегодня висит, а потом уберем. А то, не дай Бог, увидит Елизавета Яковлевна... А ты, Ямщиков, когда говоришь: «Я — редактор», не забывай, что газета — лицо класса. Значит, должна освещать все, что положено. Скоро День Советской Армии, а у тебя об этом ни строчки.

— Он же еще через неделю, — возразил Венька.

— А ты что? Через неделю еще хочешь газету выпустить?

— А как же, — сказал Венька.

...Второй номер «Наших новостей» вышел через три дня. Опять была в нем всякая мелочь, репортаж про сбор металлолома, рассказ о пуделе Нинки Ордынской, а нижнюю часть листа

занимала «Сказка о границе и пограничнике». В ней повествовалось, как молодой пограничник стоял на посту и увидел нарушителя, который лез через контрольную полосу. Схватился было пограничник за автомат, но вдруг подумал: «А имею ли я право? Ведь нарушитель — пожилой человек, солидный». Он вспомнил, как его всегда учили, что нельзя критиковать старших и вмешиваться в их дела. Еще когда он был совсем маленький и ехал с бабушкой в трамвае, заметил он, как жулик залез в сумку к тетеньке. Он (будущий пограничник) закричал: «Держите вора!» И получил шлепков от бабушки, которая сказала: «Он взрослый дяденька, а ты сопляк. Какое ты имеешь право так плохо его называть?» Потом этот мальчик учился в школе и заступился за другого мальчика, которому учительница ни за что вляпала «пару». И мальчика поставили в угол: «Прежде чем критиковать, посмотри на себя...» И теперь пограничник размышлял: «Конечно, нарушитель не прав, что лезет через границу. Но сам-то я хорош ли? Вчера старшина дал мне два наряда за плохо почищенные сапоги. Кроме того, я неважно подтягиваюсь на турнике и один раз даже чуть не ушел в самоволку на свидание. Не перейду ли я границу дозволенного, если сейчас скамандую: «Стой, руки вверх?» И пока он так думал, нарушитель углубился в чашу...

Максим Шитиков — самый хладнокровный человек в классе, — прочитавши «Сказку», пророчески сказал:

— Ну все, Редактор. Хана тебе...

Классная Роза на сей раз была печально-сдержанна.

— Ну что же. До чего договорился Ямщиков, ясно всем. Советского учителя он уже сравнивает с жуликом в трамвае и даже со шпионом.

— Я?! — изумился Венька. — Да при чем тут...

— Нет уж, теперь помолчи... А ты подумал, как твоя «Сказка» выглядит в газете перед Днем Советской Армии? Какие там можно усмотреть намеки?

— Да это же не праздничный номер! К празднику я еще...

Роза Анатольевна долго смотрела на Ямщикова. Как на безнадёжного больного. Потом сообщила:

— «Еще» можешь выпускать дома, если у тебя такой журналистский зуд. А я не хочу йиз-за тебя получать выговоры.

И полетел Венечка из редакторов. Но Редактором остался до нынешней поры.

В седьмом классе он стал посдержанней. Осторожнее как-то. Правда, случалось и тогда, что высказывался на собраниях и лез в споры (как, например, с «трехрублевой историей»), но не так часто. Или понял, что всерьез все равно никто его не слушает (погогочут, и дело с концом), или просто налюбовшись поумнел. Однако вот сегодня ума не проявил, сцепился с Поп-физионом, хотя

знает, что заступиться некому. Мстислав тут же накапает Розе, а у той один разговор: «Ии после этого ты собираешься в девятый класс?» А Венька-то как раз собирается...

...Егор вдруг понял, что почему-то слишком долго думает о Ямщикове. С чего вдруг? Что ему Редактор? Живут они каждый по-своему, как бы в разных пространствах, и друг для друга — что есть, что нет...

Была от этих мыслей одна только польза: время прошло незаметно, второй урок подходил к концу. Егор прыгнул с подоконника. Что-то круглое, твердое попало ему под башмак. Егор пнул. Отлетел, завертелся у плинтуса аптечный пузырек с натянутой соской. Это была примитивная брызгалка — кто-то из малышей потерял. Егор хмыкнул, поднял. Игрушка, конечно, не для восьмиклассников, но со скуки чего не сделаешь (а скука-то опять ох какая).

Егор стержнем шариковой ручки проковырял в соске дырку пошире — чтобы не брызги летели, а била струйка. Наполнил пузырек под краном. Поставил брызгалку во внутренний карман пиджака. Зевнул и пошел на первый этаж в спортивную раздевалку. Дверь в спортзал была открыта, оттуда доносилось: «...а потом я напишу докладную директору...»

Ох, Господи, тоска, да и только.

Егор забрал свою сумку и опять отправился на второй этаж, к литкабинету: третьим уроком была литература. Характеристика образа Чацкого и чтение наизусть его монолога. «Карету мне, карету!...» Катился бы куда подальше на своей карете, не пудрил людям мозги. Но Классная Роза будет закатывать глаза: «Постарайтесь проникнуться глубиной трагедии этого умного, но ненужного дворянскому обществу человека, понять йискренний гражданский пафос Грибоедова, с которым он... Громов! У тебя есть совесть? Что вы там выясняете с Суходольской?»

Интересно, как это можно «проникнуться глубиной»? Литератор... «Йискренний пафос». А сама в это время небось думает: успеет ли после урока в ЦУМ, в очередь за эфэргэвскими сапожками... Ох, скука-а...

Рассыпчато грянул звонок. Разверзлись двери. Егор отошел к стенке, чтобы не завертело потоком. Он оказался у того же окна, где сидел час назад. Напротив второго «Б». Первый поток схлынул, второклассники выходили довольно спокойно. Им-то спешить некуда, все уроки сидят в одном классе, завтракают тоже там — еду им, как в ресторан, приносят дежурные...

Среди второклассников Егор увидел недавнего знакомого.

Изгнанника. Даже фамилия вспомнилась: «...кто-то хочет вслед за Стрельцовым?». И разговор: «Брысь!» — «Сам брысь!» Ах ты, инфузория...

Видимо, огорчения Стрельцова кончились, был он сейчас беззаботен и спокоен. Весело потянулся, глянул по сторонам. Увидел Егора. Егор зевнул:

— Иди-ка сюда, мой хороший...

Второклассник Стрельцов безбоязненно подошел.

— Ты что же... — Егор придал голосу отеческую строгость. — Помнишь, как ты со мной разговаривал? Разве можно грубить старшим, а?

Стрельцов, кажется, перетрухнул. Замигал. И, как всегда, при виде чужой робости и покорности на душу Егору (Кошаку!) упала теплая капля удовольствия.

— Нехорошо, — вздохнул Егор. — Такой маленький, а уже... И с урока выгнали... Придется наказать. Ну-ка нагни головку.

Двумя пальцами он уперся в лохматое темя Стрельцова, голова у того послушно опустилась. Егор увидел беззащитную пацанью шейку с желобком, покрытым пушистыми волосками, усмехнулся, достал брызгалку, направил в этот желобок тонкую крученую струйку... и обмер от тугого удара под дых! Полетел на пол, трахнулся плечом о батарею. Этот малявка Стрельцов коротко и сильно врезал ему головой!

Брызгалка отлетела. Несколько секунд Егор бестолково сидел на полу и слышал тонкие крики, топот, чей-то свист. Потом слегка отпустило, он вскочил. Мальчишек-второклассников было уже много, они стояли полуколячом, и лица их были злые и бесстрашные. Происходило небывалое. Соплякам было наплевать, что перед ними восьмиклассник Петров, Кошак, с которым считают за разумное не связываться и большие парни. Точнее, второклассники этого просто не знали. Они, видимо, знали другое — простой закон «не трогай наших».

Егор мгновенно осознал свой позор и бессилие. Сто мышат загрызут любого кота, особенно если мышата пылают праведным гневом. Эти пылали. И что-то орали («Тебя трогали, да?! Чего лезешь, жердина! Щас еще получишь!»), надвигались. Егор понял, что сейчас случится: один или двое бросятся ему под ноги, он потеряет равновесие, остальные навалятся сверху. Возмездие свершится на виду у всех. И потом что? Ловить каждого мышонка в отдельности? Караулить и лупить? А они снова вместе... Звать на помощь «таверну»: помогите, второклассники бьют? А сейчас как быть? Они же вот-вот... А он и дыхнуть толком не может...

Избавление появилось из дверей второго «Б» — их высокая красивая учительница с утомленным, но решительным лицом.

— Что опять за гвалт? Что происходит?

И Егор, давась яростью и болью (и чувствуя унижение и ненависть себя за это), закричал:

— Вы! Распустили тут своих!.. Бандитов! Пройти нельзя!

Второклассники заорали в ответ. Их наставница не возмутилась криком Егора, цыкнула на своих:

— Ти-хо! Что за свалку затеяли? Это опять Стрельцов?!

— Чего опять я?! — взъелся Стрельцов. А Ванька Ямщиков, уже не бледный, а красный от злости, ткнул пальцем в Егора:

— Он сам! Кто его трогал?!

— Ти-хо! Кто сам? Матери Стрельцова я буду звонить на работу!

— Но, Анастасия Леонидовна! Ребята же не виноваты, вы просто не знаете!.. — это ввинтился в общий шум новый голос. Отвратительно знакомый голос старшего Ямщикова. Значит, Редактор прибежал навесить ненаглядного Ванечку. Неужели он все видел? Видел, гад...

— Петров, ну ты чего? Ведь ты же правда сам полез! Вот... — Он подобрал у плинтуса брызгалку, поднял на ладони. Его глаза жаждали справедливости, и была в них дурацкая надежда, что Гошка-Петенька сам восстановит истину.

— С-скотина, — выдохнул Егор.

Венькины глаза сузились. Все-таки это был уже не тот Ямщиков, что в прежние годы.

— Вяпался, а теперь бочку катишь на маленьких?

На лице учительницы сменилось выражение. Брови сломались, поползли вверх.

— Ах, это Петро-ов! Тот самый... Наверно, думаешь, что, если папа занимает посты, тебе можно все.

Егор на нее не смотрел. Смотрел на Веньку. Тот не опускал глаз. Улыбался.

— Ну ладно, редакторская крыса, — отчетливо сказал Егор, и боль под ребрами убавилась. — Быть тебе живым-здоровым сегодня только до последнего звонка. Попомни, детка...

Повернулся Егор и пошел. Вернее, не Егор уже, не Гошка-Петенька, а только взвинченный, напружиненный Кошак. Тот, что не прощает обид. Жизнь обрела смысл. Были теперь планы и цель. Наплевать на уроки, Роза покричит и умолкнет. Главное сейчас — застать дома Копчика (хорошо, что он со второй смены).

К счастью, гардеробная была не заперта. Кошак прорвался мимо вопящей технички Шуры, которая знала одну задачу: никогда не пускать к вешалкам до конца уроков. Рванул с крюка куртку. Выскочил на улицу, забыв сменить кроссовки на сапоги...

ЭВАКУАТОР

По дороге от вокзала Михаил держал Мартышонка за руку. А Димка шел сам по себе, рядом. Когда миновали вокзальную площадь и вышли на улицу Кирова, Мартышонок бежал. Сделал он это с умом, четко, ничего не скажешь. До последнего момента притворялся он раскисшим, послушным и будто даже заболевшим, потом потерся щекой о рукав шинели, поднял на Михаила печальную обезьянью мордашку и тихо попросил:

— Дядя Миша, купите мороженку, а?

Михаил (раззява, шляпа, глупее последнего салаги) размяк от неожиданной этой доверчивости и ласки, шагнул к киоску, ослабил пальцы... Мартышонок выдернул руку, сиганул через газон к отходившему от остановки автобусу. И все. Привет...

И как назло — ни одной машины, чтобы остановить, выдохнуть водителю: «Друг, выручай», догнать автобус на маршруте... Да и на каком маршруте? Даже номер не успел заметить. И растворился в городе с миллионом жителей Антон Мартюшов, тысяча девятьсот семьдесят второго года рождения, учетно-статистическая карточка четыре тысячи триста один, ученик четвертого класса «В» школы номер тридцать три, четыре побега из дома, участие в краже, курит, знаком со спиртными напитками, направляется после очередного побега по месту жительства.

В первый миг Михаил машинально вцепился в Димкино плечо — чтобы и этот не сбежал! Потом беспомощно плюнул. Представил в полном объеме все хлопоты и последствия. Сразу же заболела спина. И он сделал самое нелепое, что можно было сделать в таком положении. Оттолкнул Димку.

— Беги и ты... Свиньи вы все-таки...

Димка покачнулся, отступил на шаг. Круглое неумытое лицо его было по-настоящему испуганным.

— Михаил Юрьевич, а что теперь вам будет?

— А черт его знает, — искренне сказал Михаил. — Скорее всего, попрут со службы, причин уже хватает...

Он вдруг почувствовал такую усталость, что вполне серьезно захотелось лечь в бурю, увядшую траву газона, подложить под щеку фуражку и натянуть на голову шинель... Погонят — ну и плевать. Сам уже не раз думал о рапорте: «Докладываю, что, убедившись в полной бесперспективности такого рода деятельности и не считая себя...» Ну и тэ дэ... Но в любом случае сперва надо найти Мартышонка. А где? Как?

— Что будет мне, — сказал Михаил заморгавшему Димке, — это, в конце концов, не ваше цыплячье дело. А вот что будет с ним? Опять пойдет по подвалам и подворотням? Сгинет ведь в конце концов!

Он говорил, даже кричал, так, будто от Димки что-то зависело. А тот вдруг сказал, бледнея и запинаясь:

— Михаил Юрьевич... Я знаю, где он будет прятаться.

— Что?!

Димка быстро кивнул и опять поднял глаза. Симпатичный такой пацаненок, замурзанный, но на лице еще нет печати бродяжничества и детприемниковской жизни.

— Только вы меня в интернат не сдавайте, ладно?

— Ты что, меня купить хочешь, что ли? — сумрачно сказал Михаил.

— Но вы же обещали!

— Вот именно. Еще в Среднекамске договорились: не в интернат, а к матери. Что ты снова трепыхаешься?

Димкины глаза вдруг налились слезами — будто жидкие стеклышки в них вставили.

— А вы... ей тоже скажите... Чтобы в интернат больше не отдавала, хорошо?.. А то я все равно опять убегу! Хоть куда!

Михаил сдержанно проговорил:

— Ты мне что-то про Мартышонка сказать хотел... Или наврал?

Димка мазнул по глазам пыльным рукавом куртки.

— Поедемте...

Сеял серый дождик, шинель постепенно набухла. Они ждали автобус довольно долго. Потом долго ехали. После этого Димка вел Михаила по улицам с облупленными старинными особняками и кривыми домишками. По пустырям с ломким, сухим бурьяном.

Пролезли в щель забора (Михаил еле протиснулся, цепляясь пуговицами и сумкой). Забор огораживал фундамент снесенного дома. Густо стоял увядший репейник — жесткий и прочный.

— Он, наверно, там, в бункере, — прошептал Димка уже без прежней уверенности.

— Где?

— Ну, так называется...

Продрались сквозь заросли. Димка показал гнилую деревянную крышку люка. Видимо, вход в погреб. Заметно было, что крышку недавно поднимали. Михаил поднял ее опять, отбросил. Пахло земляным воздухом, холодной гнилью. Фонарик у Михаила всегда был при себе. Михаил осветил в квадратную черноту.

— Антошка... Мартюшов...

Никто не ответил, конечно, а Димка за спиной робко сказал:

— Спускаться надо... Там закоулки всякие.

Михаил и сам понимал, что надо спускаться. А лестницы не было... Нет, была! Фонарик осветил ее внизу. Хлипкая, косо

сбитая из брусьев лесенка валялась на полу. Может, кто-то убрал ее нарочно? Чтобы отрезать путь погоне?

Михаил взял в зубы кольцо фонарика, спустил в люк ноги, потом повис на руках. Прыгнул. Охнул от боли в спине. Протянул вверх ладони, сказал Димке «давай», принял его на руки.

Посветил вокруг. В длинном «бункере» были заметны следы обитания: стол из бочки и досок, драная тахта, полуразобранный мопед... На столе как-то насмешливо выделялась среди убогости изящная стеклянная пепельница с раздавленным окурком.

Дальний угол отгорожен был развалившимся шкафом и грудой фанерных ящиков. Кто-то еле слышно трепыхнулся в этом укрытии.

— Мартышонок, — негромко позвал Михаил. — Вылазь давай, хватит уж... Ну?

Существо за ящиками будто умерло. Тихо чертыхаясь и постанывая (спина болела все сильнее), Михаил отшвырнул пару ящиков, перелез через остальные.

Мартышонок скорчился в земляном углу, закрылся локтем от света фонарика.

— Тошка... Ну ты чего, глупый? — сказал Михаил, давя в себе жалость и раздражение. — Ладно, вставай. Пошли...

Мартышонок, не открывая лица, вдруг заколотил твердыми каблуками по гнилым половицам.

— Не пойду! Гнида! Мент паршивый! Уходи, гадина!

— А ну встань! — рявкнул Михаил. — Иди сюда!

— Сам иди в... — и маленький Мартышонок увесисто выдал Михаилу, куда тот должен идти. — Не подходи, убью! Кусать буду!!

— Ну-ка, поддержи... — Михаил отдал фонарик испуганно дышавшему Димке. Шагнул к Тошке, поднял его за шиворот. Мартышонок пискнул, обвис, как тряпичная кукла. Михаил расстегнул на нем куртку, задрал на животе длинный свитер, рывком выдернул из петель Тошкин ремешок. Отодвинул Мартышонка к стене.

— Расстегни штаны.

Рожица Мартышонка собралась в горсть и будто совсем исчезла, остались только два блестящих испуганных глаза и черный округлившийся рот. И, не закрывая рта, одним горловым дыханием, Тошка сипло сказал:

— Не надо... Я больше не буду. — Он съежился, держась за живот. — Дядя Миша, не надо... Не буду...

— Михаил Юрьевич, не надо, — плачуще сказал Димка.

Ненавидя себя, и всю свою жизнь, и этого скорченного Мартышонка, и давясь от жалости к нему, и презирая себя за все, что происходит, Михаил выговорил:

— Дур-рак. Что ты не будешь? Бегать не будешь? Это уж точ-

но... Расстегивай и срезай пуговицы... — Он отыскал в кармане и бросил Мартышонку складной ножик. — Ну! Живо!

Потом он взял у Димки фонарик и светил Мартышонку, пока тот суетливо отпиливал тупым лезвием пуговики на брючной застежке. И, когда дело было сделано, угрюмо произнес:

— Теперь бегай. В расстегнутых портках далеко не удерешь... Да пуговицы-то положи в карман, пришьешь потом, чучело...

Мартышонок то ли посапывал, то ли всхлипывал тихонько. Михаилу было тошно. «Пуговичный» способ он использовал первый раз. Раньше ругался и спорил, когда слышал о таких случаях от других эвакуаторов. А ему говорили, что поживешь, мол, поработаешь, и романтические твои перышки пообмакиваются в грязь и полиняют. Романтических перышек никогда у Михаила не было, знал, на что идет, с самого начала. И умел с пацанами как-то ладить, даже с самыми отпетыми. А сегодня — вот...

То, что он сделал с Мартышонком, делать было нельзя. И не делать нельзя, потому что, оказавшись наверху, Мартышонок рванет снова. И даже не погонишься за ним: боль в позвоночнике такая, что ступать-то приходится со скрежетом зубным.

— Дима, поставь лестницу.

Димка поставил. Потом поднял с пола вязаную шапку Мартышонка, протянул ему.

— Сука, — тихо сказал Мартышонок. — Предатель...

Морщась, Михаил велел:

— Без разговоров. Марш наверх оба...

Теперь Мартышонок шел впереди. Прижимал руки к животу и время от времени крутил поясницей, чтобы задержать сползавшие штаны. Михаил молчал, переглатывая боль, старался держать спину прямо и осторожно. Слегка опирался на Димкино плечо. Димка, глядя в затылок Мартышонку, тихо проговорил:

— А он сказал, что я предатель... Ну и пусть.

Михаил не ответил.

— А если бы я не показал, с ним еще хуже было бы, — жалобно объяснил Димка. — Он бы тогда со шпаной... Там, в бункере, знаете... какое бывает...

— Знаю... — вздохнул Михаил.

— А если бы я не показал... тогда я для вас был бы предатель...

— Ты все правильно сделал, Дим... Ты откуда знаешь про этот бункер?

— От ребят. Мы с мамой раньше здесь недалеко жили... А мы к маме *сейчас* пойдем?

История Димки Еремина была проста и по сравнению с другими не очень драматична. По крайней мере, пока. Мать с отцом развелись, отец уехал якобы в Среднекамск, мать через год вышла замуж, а Димку, чтобы не мозолил глаза новому супругу, определила в интернат. Уговорами и обещаниями всяких благ и наград. Димка был домашний мальчик, не ездивший до той поры даже в пионерский лагерь. Интернатские нравы его ужаснули. Несколько раз он сбежал домой, умолял мать забрать его. Та, видимо, ласками, просьбами потерпеть, а то и криком водворяла его обратно. Димка не выдержал и в середине октября махнул к отцу. В Среднекамске, по известному Димке адресу, отца не оказалось. И наивное дитя отправилось в ближайшее отделение милиции, чтобы узнать: по какому адресу живет его папа, гражданин такой-то... Там Димку и взяли.

Детприемник, видимо, показался Димке похожим на интернат, но еще тоскливее и страшнее. Димка провел здесь пять дней. И был все время съезженный, затюканный другими, молчаливый и с мокрыми глазами. Даже на вопросы добрейшей Агафьи Антоновны почти не отвечал. Только к Михаилу, когда тот появлялся, сразу льнул: видно, чуял в нем настоящего защитника. И все твердил: не в интернат, а к маме...

И сейчас, на углу Ленинградской и бульвара Красногвардейцев, он испуганно дернулся:

— А мы куда? К маме — в ту сторону! — На его лице блестела дождевая морось.

— Сначала с Мартышонком решим, — терпеливо сказал Михаил.

Матери Мартышонка дома не оказалось. Пожилая растрепанная соседка запричитала над Тошкой и выразила полную готовность принять его на свое попечение, пока мать не вернется. Вернуться та должна была к вечеру, и не откуда-нибудь, а из Среднекамска, в который отправилась за сыном, ибо знала по опыту, что искать его следует там. Михаил проклял бестолковость своего начальства, которое не учло возможность такого варианта, поблагодарил соседку, но оставить Мартышонка отказался. По инструкции полагалось беглого несовершеннолетнего сдать с рук на руки «родителям или заменяющим их лицам».

В тех случаях, когда родителей или «заменяющих лиц» на месте не оказывалось, инструкция теряла свою четкость. Вроде бы полагалось «при отсутствии других возможностей и в порядке исключения» передать беглеца школе. Но начальством такой вариант не одобрялся, это во-первых. А во-вторых, школы обычно ссылались на свои инструкции (или, наоборот, на отсутствие таковых), и все зависело от того, кто окажется упрямец: сотрудник милиции или директор школы.

Сейчас, однако, «отсутствие других возможностей» было явным, и Михаил сказал Мартышонку:

— Делать нечего, пошли к любимым наставникам.

В школе все пошло по знакомому сценарию. Оказалось, конечно, что директрисы «сегодня не будет, она на семинаре». Отыскали завуча первой смены. Та воззрилась на Мартышонка, будто на разносчика сибирской язвы, и сказала давно знакомую Михаилу фразу — первую, необдуманную и потому самую искреннюю:

— А зачем он нам нужен?

И Михаил, привыкший к таким беседам, особенно в интернатах, ответил тоже привычно (за что не раз на него писали жалобы):

— Он вам, разумеется, не нужен. Как и вы ему. Но он же не виноват, что судьба дала ему вас в наставники.

— А мы чем виноваты? — сразу взелась завуч. Была она еще молодая, но уже замотанная и злая.

— Тем, что пошли в педвуз, — вздохнул Михаил.

— Рассуждать все хороши! Вас бы на наше место!

— А вас на мое. Вот я бы посмотрел, — невозмутимо сказал Михаил. И, чувствуя, как от него пахнет мокрым казенным сукном и раскисшими сапогами, сел к столу. Достал из сумки заранее заполненную бумагу — «Акт о передаче несовершеннолетнего...».

— Простите, ваша фамилия?

— Это еще зачем? — вскинулась завуч.

— Положено. Кому я передаю мальчика...

— Да никого я не приму! С какой стати? Чтобы он опять терроризировал всю школу?

Мартышонку, который терроризировал всю школу, тихо повозился на стуле в углу директорского кабинета.

— Тогда что вы предлагаете? — невыразительным голосом спросил Михаил.

— Да ничего! Почему вы его нам-то привели?

— А куда? К себе домой?

— К нему домой! У него, в конце концов, мать есть!

— Есть. Но она сейчас в отъезде и вернется вечером. Это во-первых. Да и в бега он ударился на этот раз не от матери, а из школы, с продленки. От воспитательницы Маргариты Витальевны Бабкиной. Логично было бы ей и получить мальчика обратно.

— Бабкина будет на работе после часу!

— Вот видите. Куда же я его деду, кроме вас?

— Да куда хотите. В спецшколу!

Михаил скучно и подробно разъяснил:

— Чтобы отправить ребенка в спецшколу, нужно постановление комиссии, нужна путевка. Вы это знаете не хуже меня. Я таких вопросов не решаю. Я — эвакуатор. Точнее — дежурный по режиму детского приемника-распределителя, так сейчас эта должность называется. Но старое название — «эвакуатор» — ближе к сути... Моя задача — доставить несовершеннолетнего и оформить соответствующие документы. Первое я сделал. Второе должен сделать вместе с вами... А вы даже назвать себя не хотите.

— Я все равно ничего не буду подписывать! Я просто не имею права, на это директор есть!

— Директора как раз нет. В этом случае завуч его замещает.

— Кто вам сказал?!

Михаил медленно посмотрел на нее, пожал плечами, подвинул к себе акт и нацелился ручкой в графу «Примечания».

— Что вы собираетесь писать? — нервно спросила завуч.

— Отношение. Об отказе должностного лица принять ребенка в подведомственное ему учреждение. Вы подпишете, что отказались, и будем считать...

— Я же сказала: ничего не подпишу!

— Вот тут вы ошибаетесь, — веско произнес Михаил. — Одно из двух подписать придется: или прием, или отказ. Вы говорите с сотрудником органов внутренних дел. Я действую по инструкции, так что попрошу и вас...

Он увидел, что завуч не только злится, но и напугана.

— Но я же правда не могу! Товарищ... э... милиционер. У вас инструкция, а мне... Клавдия Геннадьевна мне голову оторвет, если я без нее...

— Видите ли... э... так и не знаю вашего имени-отчества...

— Тамара Павловна! — тоном проклятия сообщила она.

— Благодарю вас... — Спина у Михаила почти перестала болеть, и он чувствовал себя гораздо лучше. — Видите ли, Тамара Павловна, судьба вашей головы, при всей ее важности, за пределами интересов МВД. Это сфера Минпроса. Меня же (уж простите великодушно) больше беспокоит моя голова. Именно на нее посыплются громы и молнии, если я...

— Давайте так, — перебила его Тамара Павловна. — Подписывать акты я действительно не уполномочена. Я завучем первый год и в этом не разбираюсь... Я заберу у вас этого...

— Э... Мартюшова, — сказал Михаил.

— Да. Отправлю его пока на уроки, потом сдам на продленку, Бабкина сообщит матери... А Клавдия Геннадьевна обещала сегодня все же заскочить в школу. К двум часам...

— Это что, я полдня должен ждать ее?

— Но у вас же есть второй... подопечный. Пока отведете его... — Она увидела, что Михаил заколебался, и добавила решительно: — Это все, что я могу предложить.

Ни правила, ни здравый смысл принимать предложение завуча не позволяли. А что, если эта Клавдия Геннадьевна окажется дамой юридически подкованной, учует зыбкость инструкции и усмотрит в действиях эвакуатора больше нахальства, чем законности? Или еще хуже — Мартышонок рванет до ее прихода?.. Но, с другой стороны, куда он рванет, если почти спит на стуле? Тряская ночь в вагоне и недавние приключения измотали его. Да и куртку запрут в раздевалке.

— Тошка, иди сюда, — сказал Михаил.

Мартышонок встряхнулся, помигал, послушно подошел. Штаны уже не съезжали: пуговиц, конечно, не было, но ремешок Михаил, когда вошли в школу, отдал. Мартышонок потупился, переступил.

— Тошка, будь человеком, а? — тихо попросил Михаил. Это можно было понимать по-всякому: и «будь человеком вообще», и «будь человеком, не драпай, по крайней мере пока не подписан акт». Мартышонок посопел и вдруг полусшепотом отозвался:

— Дядя Миша, вы на меня не злитесь, ладно?

— Тошка, за что? — не сказал, а охнул Михаил.

— Ну... как я ругался в бункере.

— Да ладно... Ты тоже не сердись. За пуговицы...

Михаил виновато вздохнул ему голову. Виновато — потому что еще несколько секунд назад думал о дурацких бумагах, а не о самом Мартышонке. Он посмотрел на Тамару Павловну.

— Вы его сначала не на уроки, а в буфет отведите, он с вечера не ел...

Мартышонок расслабленно вздыхал. Нет, сегодня он не сбегит, подумал Михаил. И еще несколько дней. И, может, месяц. Но в конце концов убежит опять. Потому что ничего его не держит дома, в заплеванной комнате, где всегда полно чужих мужиков, и в этой показательной школе, где он прыщ, болячка и несчастье педагогов. Что ему делать в школе, если, дотянув до четвертого класса, он читает по складам и просто-напросто не в силах сладить с учебниками? А воздухом бродячей жизни, прокуренного «бункера», гулких ночных электричек, компаний с жоками-уголовниками и детприемников он пропитан уже насквозь. Только там он чувствует себя своим... И где найти для Мартышонка школу, дом? Михаил не знал. И не знал тех, кто знает. Тысячи толстых книг, написанные педагогами за многие века, в случае с Мартышонком годились только для... Впрочем, ладно... Михаил встал.

— К двум часам я вернусь... Со вторым подопечным, надеюсь, не будет хлопот: я веду его не в школу, а к маме. — Он сказал это не столько для Тамары Павловны, сколько для Димки, который томился на стуле в ожидании своей судьбы.

Димкина мать была бухгалтершей в каком-то управлении «Облстройремпром и т. д.». Ее вызвали в пыльный, пахнувший старым картоном вестибюль. Лет тридцати пяти, в меру крашенная, в меру интеллигентная и достаточно встревоженная историей с сыном, Димкина мама коротко попрочитала над ним («Что же ты надумал это, а? Глупый ты мой! Сколько людей на ноги поднял...»). Потом, сдержанно всхлипывая, поблагодарила Михаила, расписалась, где надо. Вопросительно глянула мокрыми глазами:

— А... что еще?

— Еще вот что... Дима, посиди там в уголке, я скажу маме, что обещал... Софья Аркадьевна, послушайте внимательно и постарайтесь поверить мне. Дима не сможет жить в интернате. Есть ребята, которые просто не могут без матери, без дома, он такой... Знаете, я с пацанами имею дело каждый день, разбираться кое в чем научился... Пожалейте парня. Иначе он будет убежать снова и снова, пока не кончится это бедой...

— Господи, да я же понимаю!.. Я думала...

— Простите, — перебил Михаил. — Я вмешиваюсь в личную жизнь, но работа такая. Постарайтесь доказать вашему мужу, что...

— Ой, да что вы! И доказывать не надо! Он сам говорил: зачем в интернат, втроем проживем! Это я сама думала, как лучше. А Димочка... Дима, ты же сам согласился!.. Говорили, интернат самый лучший, с художественным уклоном.

— Какой бы интернат ни был, уклон один — сиротский, — сумрачно сказал Михаил. — Не все привыкают...

— Ой, да пусть! Пусть в старую школу идет. Я ведь не знала... — Она жалобно улыбнулась. — Думала, чтобы всем хорошо было. Квартира-то однокомнатная. Маленький появится — тогда как?.. Да ладно, шкафом отгородимся! Лишь бы всем хорошо...

...Димка догнал Михаила на улице. Выдохнул со счастливой слезинкой:

— Михаил Юрьевич... Можно, я вам письмо напишу?

— Напиши, Дим, если захочешь... — Михаил подержал его за плечо. — Ну, будь здоров. Живи...

Димка не напишет письмо. Пишут несчастливые: из спецшкол, спецучилищ, колоний. Пишут в тоскливом желании хоть капельки тепла, в надежде на ответное человеческое слово. А зачем станет человек писать, если у него все благополучно? Пускай это благополучие в закутке за шкафом, в тесной комнате, где неутомимо орет новорожденный брат или сестра, где нелюбимый отчим, где сердится заматанная работой, стирками, бессонницей, возней с младенцем мать. Все равно — дом. Все равно — мама...

В два часа директорша в школе не появилась. Не оказалось и Тамары Павловны. Чертыхаясь, Михаил пошел искать ее по этажам. На него, конечно, оглядывались. А Михаил вдруг с испугом понял, что не помнит завуча в лицо. Вернее, все встречные учительницы были одинаковыми. С одинаковым выражением раздраженной бдительности, утомления и печального сознания, что до конца дней осуждены нести свой школьный крест. «Да что они, маски надели, что ли?!» — яростно думал Михаил, хотя понимал, что виноват сам: внимательней надо быть. И нельзя было так глупо доверяться этой Тамаре Павловне.

Раза три Михаилу казалось, что он встретил ее. Но, натолкнувшись на удивленно-неузнающий взгляд, Михаил не решался заговорить. Наконец молоденькая жоатая сообщила, что Тамару Павловну срочно (конечно же — срочно!) вызвали в районо.

К счастью, он отыскал воспитательницу с продленки. Маргарита Витальевна Бабкина оказалась не такой, как Михаил ожидал. Это была негромкая, непохожая на учительниц в коридорах женщина. Она, вздыхая, сказала, что Антошка после обеда совсем раскис и теперь спит на диване в игровой комнате («Набегался глупыш. Горе с ними и вам, и нам, верно?»). К матери она отведет его сама. Пуговицы пришила... Михаил покраснел, но от сердца отлегло.

У школьной бетонной изгороди его догнал тощенький длинношей парнишка с виновато-упрямыми глазами. Класа из восьмого.

— Товарищ старший сержант, простите... Вы в какую сторону идете?

Михаил не удивился, на улице бывает всякое.

— На главпочтамт. А что?

— Можно, я пойду рядом с вами до троллейбусной остановки?

— Ну... как говорится, сочту за честь. А в чем дело?

— Да... пасутся тут эти... Счеты им свести охота... — Он мотнул вязаной шапчонкой в сторону.

У мокрых тополей топтались четверо. С отсутствующим видом. И кто они такие, и зачем топчутся, Михаил опытным взглядом определил в один миг.

— Может, вы думаете, что я трус? — вдруг сказал мальчишка тонко и с вызовом. — Если бы они как люди, если бы один на один... А то... будто волки, стаей.

— А давай-ка разберемся с этими «волками», — предложил Михаил.

Парнишка усмехнулся:

— Как вы разберетесь? Они скажут: стоим, никого не трогаем, ничего не знаем. Как вы докажете?

Он был прав, и Михаил вздохнул:

— Ладно, пойдем.

Целый квартал «волчья» четверка шла за Михаилом и его спутником. Потом один — симпатичный такой, золотисто-кудлатый — что-то сказал, другие тихонько загоготали, и все свернули в переулок.

Михаил спросил:

— Из-за чего они к тебе пристают?

Парнишка нехотя сказал:

— Один там отыграться хочет. Сегодня с чего-то полез к малышам в школе, а я там рядом оказался. Ну, заспорили...

— Сегодня ты от них уйдешь, а завтра как? — сказал Михаил. — Ты тогда... как-то в классе подымай вопрос, что ли... — Он понимал, что, скорее всего, говорит беспомощную глупость.

— Ага... — отозвался мальчишка. — Все, конечно, возмутятся и дружно подымутся. Против Кошака... Ой, вон троллейбус идет! Спасибо, я побежал...

На почтамте Михаил наменял пятнадцатиков и пошел в будку междугородного телефона. Хоть здесь повезло: очереди нет и автомат исправный. Михаил набрал среднекамский номер.

— Это НИИХим? Будьте добры Варвару Сергеевну...

Он представил, как мать — маленькая, быстрая, седая, в купе своем халатике — спешит к телефону в закутке лаборатории. «Миша, это ты? Ты откуда? Как ты себя чувствуешь?»

«Это я... Я паршиво себя чувствую, мама... Да нет, при чем тут спина. Пусть бы она горела адским пламенем, каждый позвонки! Только бы знать, что делать. Как им всем помочь — и Мартышонку, и Вовке Сапогову, которого я на той неделе рыдающего сдал в спецшколу, и Волчку, которого отвез туда же (и он не плакал, весело гримасничал, а глаза были как у собаки с камнем на шее). Как уберечь от волчьей жестокости парнишку с беспомощно-дерзким взглядом, который заступился за малышей? Как вытравить эту жестокость из тех четверых и еще из тысяч таких же?.. Mamochka, что могу сделать я, эвакуатор детского приемника-распределителя, заматанный командировками, оглушенный сотнями историй о раздавленных ребячьих судьбах?.. Я понимаю, что ты вне себя от тревоги за меня. Помню, как ты однажды сказала: «Хорошо, что тебе не дают пистолета...» Нет, мама, не бойся, я не лейтенант Головачев... Но скажи, откуда это ползучее гадство, это сиротство при живых матерях, эти серые чиновничьи рожи, это «зачем он нам нужен»?..»

— Что? Сейчас подойдет? Спасибо, подожду, конечно...

«Мама, ты считаешь, что я сам виноват? Не надо было соваться в эту работу?.. Я знаю, ты до сих пор думаешь, что это во мне

детство взыграло, этакая горько-романтическая идея: мстить всякой нечисти за брата... Все было гораздо сложнее. Я спасал Остров. Потерять его — значит потерять себя, тут и пистолета не надо...»

— Мама? Да, я... Все в порядке, мама. Просто застрял здесь до завтра. Из-за бумаг. Ты же знаешь этих волокитчиков... Ну что спина, спина как у юного мустанга... У отца была? На той неделе выпишут? Ну вот, а ты боялась!.. Нет, не в гостинице. Наверно, я к Александру Яковлевичу попрошусь, где-нибудь приткнет на раскладушке... Господи, ну к Ревскому же. Разве ты его не помнишь?.. Целый год уже здесь, зам главного режиссера на студии. Передам, конечно... Ма-а, письма нет? Ну, это само собой, это от пацанов... От Юрки? Отлично. А... Да ничего я специально не жду, мам... Да ничего я не вбил в голову... Что? Я же говорю, здоров, как лошадь. Ну, правда же, мама...

ПЛАНЕТА НАХОДКА

Прошлой осенью на школьном дворе, желтом от солнца и листьев, старшеклассники гоняли по блестящим лужам большой глобус. Как футбольный мяч. Во время субботника они нашли этот ободранный шар без подставки в сарае со списанным имуществом и теперь вот развлекались. С глобуса летели мокрые лоскутки бумаги с напечатанными городами, реками и островами. Под бумагой голубела голая пластмасса... Кто-то поддал твердый шар так, что он улетел за площадку. И попал в руки первокласснику — тот стоял у тополя и без улыбки смотрел на игру.

— Ну ты, существо, пинай скорее, — сказали ему. Но первоклассник смотрел из-за глобуса испуганными глазами и не двигался. К нему подошли, один хлопнул по глобусу.

— Ну-ка, давай, чего впепился...

Первоклассник прижал большущий шар к забрызганной курточке. Сказал тихо и очень старательно:

— Ребята... Товарищи. Можно, я вам свой мяч принесу? Он совсем новенький. Насовсем принесу... А это же...

Ему хотелось объяснить, что пинать такую замечательную вещь... нет, даже не вещь, а... ну, это же все равно что беспомощного щенка ногами лупить. Потому что глобус — он тоже как бы живой. Смотрите, сколько на нем всего — вся Земля...

Но ничего такого первоклассник Ваня Ямшиков не сказал. Слов таких у него не нашлось. Просто он очень жалел глобус. И не хотел расставаться с прилетевшим в руки сокровищем. Он только еще раз пообещал новый мячик и смотрел умоляюще.

Разгоряченным футболистам было не до переживаний ма-

лявки. Один уже решительно взялся за шар. Но высокий гибкий старшекласник (тот, что потом дал в туалете платок) вдруг усмехнулся:

— Стоп, джентльмены. Нам с этим шариком — на полчаса эмоций, а человек... Смотрите, у него в глазах идея светится.

Неизвестно, что светилось в глазах у Вани, но ребята, посмеиваясь, отошли. И Ваня притащил глобус в дом.

Венька задумчиво сказал:

— Вещь, конечно, хорошая, только что с ней делать? Вон, половина всех Европ и Америк облезла.

— Можно самим нарисовать.

— Вообще-то можно... Загрунтовать пентафталем, а потом расписать маслом! — зажегся Венька. — Не обязательно в точности, а как старинный глобус! На них ведь тоже много было не точно, зато интересно: корабли, чудовища...

Ваня радостно затанцевал:

— Мне тоже дашь порисовать, вместе будем!

Бумагу, что висела ключьями, отодрали. В мастерской у отца отыскали банку с голубой пентафталеовой эмалью, но ее хватило только на половину шара. Второе полушарие Венька покрыл черным нитролаком. Границу сделал точно по экватору.

Ваня смотрел на это дело без одобрения.

— Как по черному-то рисовать? Ни земли, ни океанов черных не бывает.

— Зато космос бывает. Одну половину сделаем земную, а другую — небесную. Как на звездном глобусе. Хорошо я придумал?

— Н-не знаю, — усомнился Ваня. — Как это... Останется всего пол-Земли, что ли? А какую половину тогда рисовать? Нашу или американскую?

— А ни ту ни другую! Мы всякие материки и острова придумаем сами! Давай, Ванька! Будто незнакомая планета! А?

— Н-не знаю... — Фантазии до младшего брата доходили медленнее, чем разгорались в Веньке. Ваня любил ко всем делам подходить вдумчиво. — Пускай незнакомая планета, ладно... Только все равно ведь половина.

— Но это на глобусе половина! А считаться будет, что целая! Зато со своим небом! Свой собственный космос... Мы там разных созвездий напридумываем!

— И путешествовать можно будет по ним? На звездолете!

— Я об этом и говорю!

К вечеру грунтовка высохла, отец дал кисточки и тюбики с масляными красками (он их покупал весной, чтобы расписать декорации в детском саду, который тогда заканчивал Ваня).

— А вместо разбавителя можно керосин взять.

Мама сказала, что теперь хоть из дома беги. Но не убежала, только форточки открыла.

Расписывали планету дней десять. Среди голубого океана

появились Большой материк со Скалистым берегом, Малый материк с Оранжевыми песками, Поясом Пальмовых лесов и Тигриной пустошью, два архипелага — Полярный и Ласковый. И всякие острова, заливы, моря и горные хребты.

А на черной половине загорелись ярко-желтые звезды разных размеров. Их соединяли между собой голубоватые линии рисунков — контуры созвездий. Придумывали созвездия втроем: Венька, Ваня и отец. И появились на звездном полушарии Штурвал, Сивка-Бурка, Фрегат, Мушкетеры, Рыба-пила, Улыбка акулы, Чудовище Хох (его Венька и Ваня сочинили, когда поздно вечером болтали, лежа в постелях). А еще Венька придумал систему созвездий Ро — Робин Гуд, Робинзон, Роберт Грант (это который сын капитана Гранта).

Придумывать названия — это было такое увлекательное занятие, что и мама иногда давала советы. По ее просьбе в космосе появилась Черная дыра, куда провалилась новая шапка (Ваня потерял ее на экскурсии в лесу), Туманность невуученных уроков, созвездие Авоська, чтобы братья не забывали ходить за хлебом и картошкой.

Один раз никак не могли придумать имя внутреннему морю, что на Малом материке по соседству с Оранжевыми песками. Наконец папа сказал:

— А давайте украдем какое-нибудь название у Луны. Например, море Кризисов.

— Финансовых... — вставила мама. Потому что отец накануне уговорил ее наконец, что надо купить в «Электротоварах» деревоотделочный станок. За сто шестьдесят рублей. И теперь мама то и дело намекала на денежные затруднения.

Зато станочек был что надо! И токарный, и сверлильный, и строгальный! И дисковая пила на нем! Отец просто светился весь, Венька с Ваней тоже радовались. Маме отец сказал:

— Наконец стеллажи новые поставлю и братьям-разбойникам двухэтажную кровать сооружу — как в кубрике. Сколько жилплощади выгадаем, а!.. И для этой матушки-планеты подставку сделаю, будет как в музее.

И сделал! Даже с кольцами — экватором и меридианом.

Поставили глобус у окна, рядом с книжными полками: верти, разглядывай, зарисовывай дальше и придумывай разные истории про удивительную планету Находка.

Это название пришло в голову Веньке. Ваня сперва заспорил: не бывает таких планет.

— Но она же к тебе правда как находка попала!

— Ну и что? Это все-таки не кошелек, а планета!

— А при чем тут кошелек! Находкой на Дальнем Востоке целый порт называется! Сейчас атлас принесу...

Ваня посмотрел в атлас и — куда деваться-то — согласился. А потом название стало нравиться. Другого и не надо...

Ваня пришел домой после четвертого урока. Про неприятность с носом он уже забыл, настроение было прекрасное.

Мама на обед еще не приходила. Отец в отпуске, но дома его тоже не оказалось — наверно, в мастерской. Венька в школе — у них пять уроков да еще лекция. Ваня разделся-разулся, крутнул между делом Находку, брякнулся на коленки и вытянул из-под двухэтажной кровати фанерный лист со своей «шиштемой».

По-правильному это сооружение называлось «система», но два года назад Ваня малость шепелявил. Отмахиваясь от любопытных, говорил: «Шиштемую штрою». Так и повелось.

Строить «шиштемую» Ваня начал, когда ему в руки попал моторчик от электроконструктора. Шестилетний Ванюшка с восторгом убедился, что, если моторчик соединить с батарейкой, получается восхитительное жужжание и верчение. А если к моторчику приделать шестеренку от будильника, а к ней что-нибудь еще...

И Ваня вдохновенно конструировал. Через неделю на фанерном листе, прикрепленные пластилином, вертелись уже несколько моторчиков. От них тянулись провода, резиновые шкивы, цепочки. Крутились катушки от ниток и зубчатые колесики, звенели рычажки и болты. Мигали лампочки.

Отец посмотрел на это дело, осторожно поскреб подбородок.

— Оно, конечно, здорово... Только какая задача у всей этой штуки, для чего она?

— Ну, такая шиштема. Когда все двигается...

— Да, но... Как-то если без конкретного применения, то...

— Па-а... — Венька осторожно отвел отца за рукав. — Ну, ему просто интересно, когда все это будто оживает. Друг за друга цепляется, связывается одно с другим... Он вроде как стихи сочиняет, только не из слов, а из всяких железок...

Венька разгадал брата. Ваня в своей «шиштемее» был не столько техником, сколько поэтом. И творил железно-электрическую поэму уже третий год. Иногда, правда, забывал о ней на недели и даже на месяцы, но потом разворачивал с новой страстью. Поэмой «шиштема» разрасталась далеко за границы фанерной площадки. Тогда на подоконнике вертелись жестяные пропеллеры, на полке дрыгал ручками-ножками сделанный из конструктора человечек, на столе подпрыгивали среди пружинок раскрашенные теннисные шарики. Мигало, звенело и жужжало по всем углам.

Батарейного питания давно не хватало, отец помог приспособить старый трансформатор от детской железной дороги...

Когда появилась планета Находка, решили, что «шиштема» там будет энергетической станцией (вот и цель для нее нашлась!). И заводом будет, и космодромом заодно. Ничего, что она не на шаре, а на полу. Считается, что все равно на планете.

Энергии Находке требовалось много, населения там хватало. На материках и больших островах разрастались города, в горах строились посадочные площадки для космических кораблей...

По дороге из школы Ваня подобрал интересную железячку: колесико с рычажком и зубчиками. Крутнешь — рычажок подскакивает. Можно приспособить, чтобы он стучал по кнопке у красной лампочки номер семь, тогда она будет сигнализировать, как маяк на космодроме... Но надо на рычаг добавить тяжести — гайку или грузило пристроить... Ваня пошел советоваться с отцом.

Мастерская отца находилась в сарайчике, во дворе. Такие сарайчики-кладовки были у всех двенадцати семей, что жили в старом деревянном доме на улице Гоголя. Но кладовка Ямшиковых была особенная: отец утеплит ее, провел свет и радио, поставил верстак, наковальню, развесил по стенам инструменты. Притащил старый диван. Хочешь — работай, хочешь — отдыхай.

Но отдыхал отец редко. Все время что-нибудь мастерил. На заводе он был наладчиком прессового оборудования, готовил штампы для всяких сложных деталей, а дома он — и столяр, и резчик, и электрик, и токарь, и художник: стены в ребячьей комнате разрисовал всякими лесными чудесами, кораблями в синем море и старинными самолетами среди белых облаков. Хорошо, что места много, — стены высокие, не как в новых домах...

Сейчас в мастерской гудел станок: отец вытачивал из круглых чурок большущие шахматы. Сделать их попросила молоденькая заведующая соседним детским клубом. Готовые короли, ферзи и пешки стояли вдоль стены, на узкой полке, — пока все одинаковые, деревянно-белые.

Несмотря на шум станка, отец сразу учуял Ваню присутствие. Выключил мотор.

— Здравствуй, Иван Аркадьич. Отучились?

— Ага. А Венька еще в школе, у них писатель выступает.

— Везет людям. Я, сколько живу на свете, ни одного писателя наяву не видел.

У отца в темных волосах и на небритом подбородке светилась древесная пыль.

— Вот опять тебе от мамы попадет, что не побрился утром и сразу к станку, — заметил Ваня.

— А я до обеда еще побреюсь, мама сегодня позже придет... Что это у тебя за штука?

— Стукалка с колесом...

За несколько минут они подобрали и насадили на «стукалку» латунную муфточку. Ваня сказал, что теперь рычажок брякает как надо, — хоть на машинке им печатай.

— Папа, а ты починил машинку? Нам надо газету делать!

— Починить-то починил, только вы не колотите по ней, как по наковальне. Она уже вся рассыпается, лет-то ей, наверно, не меньше ста... Иди поешь, там на плите суп и котлеты.

— Я Веника подожду...

Веньке не удалось перехитрить Кошака и компанию. Непонятно каким образом, но они его опередили. Встретили на пустыре позади цирка.

Цирк был новый, необычный. Над куполом поднимались решетчатые полукруглые фермы, получался как бы еще один купол — очень высокий и кружевной. Говорили, что цирков с такой конструкцией всего два на свете: второй где-то в Бразилии. Не всем эта иноземная архитектура была по душе, «Вечерка» обручала архитекторов: мол, не вяжется такое сооружение со старым городским центром... Но Веньке цирк нравился. Будто опустился на площадь среди привычных тополей, старинных особняков и деревянных кварталов корабль звездных пришельцев.

Сейчас изогнутые конструкции сквозного купола казались черными, над ними летели серые тучки, а в разрывах светилось веселое желтое небо. Но полюбоваться Венька не успел. Из репейных зарослей вышли Кошак, Копчик и еще двое — незнакомые и одинаково невзрачные, с гаденькими глазами. И как разнюхали, что у Веньки здесь любимая тропинка? Или выследили?

Тоскливо стало Веньке. И не так страшно, как унижительно: оттого, что глупо попался и что ничего теперь не сделать.

Кошак вытаращил дурацки-невинные глаза и заулыбался.

— Товарищ Редактор! Здравствуй! А где же дядя милиционер?

Венька молчал.

Не склонный к юмору Копчик выдал:

— Подцепил прохожего мента и думал, что мы такие глупые.

— Чего надо? — безнадежно сказал Венька.

— Себя спросил бы, чего надо, когда выступал в школе, — уже без улыбки отозвался Кошак и сплюнул. — Я тебе обещал.

— До чего храбрые четверо на одного, — сказал Венька и подумал: «Хоть бы уж скорее начинали, сволочи».

— Завтра пойдешь, скажешь той дуре у второклассников, что выступал не по делу и все наврал, — лениво распорядился Кошак. — Тогда сильно бить не будем, а так, для назидания.

— Че-го? — искренне изумился Венька.

— Непонятливый, — проговорил Копчик и съезил смуглую мордочку. — Я еще тогда, у кассы, это заметил.

— Шкура ты, — сказал Венька, чтобы не тянуть волынку. Копчик рванулся и ткнул его костлявым кулаком в зубы. Венька в ответ неумело замахал руками, потому что опыта в драках не было. Двое схватили его за локти, Копчик еще раз ударил в

лицо. Венька успел мотнуть головой, попало скользком по щеке. Он попытался трахнуть Копчика ногой, тот отскочил, Венька отчаянно дернулся, освободил руки, но ему сделали подножку. И когда он оказался ничком в жухлой траве, несколько раз всадили ботинком под ребра. Венька всхлипнул и вскочил.

И опять оказался один против четырех. И они ухмылялись. А лилово-серые облака и желтое небо над ажурным куполом были такие красивые, что Веньку поразило это дикое несоответствие: эта вот красота, а под ней Кошак со своими подонками. И страха не осталось уже совсем. Он прикинул расстояние до Кошака. А Кошак улыбался. И вдруг перестал улыбаться, сказал:

— Ладно, стоп. Копчик, стоп, я говорю... Беги, Редактор, пока мы хорошие.

Венька сплюнул кровь с разбитой губы.

— Сам беги, скотина.

К нему прыгнули, развернули, дали такого пинка, что он врезался головой в упругие сухие репейники. А когда вскочил, враги уже уходили. Венька беспомощно швырнул им вслед комок глины, не добросил... и вдруг ослабел. От вновь навалившегося страха и от радости, что все уже кончилось. Ему было противно чувствовать эту радость, но что поделаешь...

Венька подобрал сумку, умылся у колонки на краю пустыря и пришел домой с раздутой губой и темным пятном на скуле.

И, разумеется, именно в этот момент пришла на обед мама. И, разумеется, ахнула:

— Кто тебя так?

Отец подошел, Ваня тоже. Ему бы, олуху, помалкивать, а он сразу:

— Это Кошак! Он сегодня на нашего Стрелка полез, а тот ему головой под дых, а мы добавили... А он из-за этого на Веника! Я Стрелку скажу, мы завтра Кошаку еще дадим...

— А Кошак опять подкараулит Веньку, — сердито сказала мама. — Так и будут побоища каждый день? Кто это такой — Кошак?

— Да Гошка Петров из их класса!

— Сын Петрова, что ли? — удивился отец. — Ай да наследничек. Он что... способен на такое?

— Кошак на все способен, — устало объяснил Венька. Теперь уже было все равно. — А не он, так его дружки.

— Подожди-ка... — начал отец, но мама перебила:

— Вот такие-то сыночки и творят, что хотят. Сегодня как раз родительское собрание, вот я там все и выложу, пусть школа принимает меры...

Венька поморщился. Отец сказал:

— Ну а в какое положение ты нашего-то парня поставишь? Будут говорить: нажаловался, мамаша пришла заступаться...

— Тогда иди ты, заступись, — неласково сказала мама. — Ты часто на родительские собрания ходишь?

— Да подожди ты, я ведь не об этом... У ребят в коллективе свои законы, а ты...

— Не знаю я таких законов! Чтобы всякая шпана людям походу не давала... Все равно я скажу.

— Да не надо, мам... — опять поморщился Венька.

— Что значит — не надо? Родители не должны за сына заступаться? Вырастешь — ты будешь заступаться за нас, если придется. А пока — мы за тебя. И нечего тут стесняться, глупо это...

— Да я не про то, — вздохнул Венька. — Просто бесполезно...

— Это почему же?

— Ну, скажет Роза Кошаку: «Петров, неужели ты не понимаешь, что это идет вразрез с нашими нравственными принципами? Я вынуждена сообщить директору»... А у директорши сто хлопот. Она сейчас очередную борьбу с курением и с сережками у девочек ведет...

— И что, значит, не может на одного хулигана повлиять?

— Повлияет. Вызовет и мило побеседует.

— Почему это «мило»?

— А как еще? Это на другого могут орать: «Характеристика!.. В девятый не сунешься!» А у Петеньки папа — шеф, папа — шишка. Да Петенька и сам не дурак, выкрутится... И будет с Копчиком и другими дружками ржать потом...

— Вот чего я не пойму, — сказал отец. — У него дружки. А за тебя-то в классе некому заступиться, что ли? Ведь если видят, что такое подлое дело...

— Ох, папа, — усмехнулся Венька.

— Что «ох, папа»?

— Ну ты в самом деле... Кто будет с Кошаком связываться? «Подлое дело»... Личное дело, скажут, обыкновенное.

— Не верю я... Что тогда у вас за ребята?

— Нормальные ребята. Как везде. Современные...

— А если нормальные... Вот я помню, когда учился, тоже всякое бывало. И шпана привязывалась. Но мы как-то держались друг за дружку. Пускай не весь класс разом, но компании товарищеские подымались, если что... Был такой Федька Романчик, местный атаман, так мы ему даже ультиматум отправили: если, мол, еще к кому-то полезешь, гляди... Помню, в нашем штабе на сеновале это послание на машинке печатали.

— На какой машинке? На нашей? — ввинтился Ваня. Голову сунул отцу под мышку, завертел шей. Отец взъерошил ему макушку.

— Ну, на какой же еще...

— Разве она тогда уже была?

— Я же тысячу раз про это рассказывал... Ты меня, Иван, с

мысли не сбивай. Я про ультиматум Федьке Романчику говорю. Он тогда ничего, присмирел, зауважал...

— Штаб, ультиматум... — тихо сказал Венька. — Это какие годы-то были, папа... Вы тогда еще в тимуровцев играли.

— А сейчас как играют? — Отец отставил от себя Ваню.

— По-всякому... Кто на скрипке, кто в хоккей, кто в карты... А кто в активиста на собрании. А вообще-то играть сейчас не модно. Лучше шмотками хвастаться и кайф ловить...

— А девочки с шестого класса губы красят, — вставила мама. — У нас на работе Анна Михайловна рассказывает: замучилась со своей Татьяной...

— Подождите-ка, товарищи, — насупил отец. — Я, конечно, человек отсталый, современных сложностей педагогики не понимаю. И передачи для родителей почти не смотрю... Но, помоему, ребята — всегда ребята. И тимуровцев недавно по телевизору показывали. Сбор их какой-то.

— Па-а, эти тимуровцы с Кошаком драться не станут, — улыбнулся Венька. — Их ведь за это на слет в Артек не пошлют.

— А мы будем драться, — опять встрял Ваня. — Мы всегда все за одного в классе, даже за девочек. Настюшка ругается, а мы все равно...

— Что за Настюшка! — сказала мама. — Анастасия Леонидовна...

— У вас еще примитивно-первобытный коллективизм, — вздохнул Венька. — Вот подрастете, поймете житейские мудрости...

— Мы и тогда будем.

— Ну и ладно, — согласился Венька. — Значит, вы уже новое поколение...

— Что-то не нравятся мне твои рассуждения, Вениамин Аркадьич, — сказал отец. — Давно это у тебя?

— Да уж порядком... Наверно, еще с той далекой поры, когда из редакторов поперли...

— Не уходить надо было, не хлопать гордо дверью, а спорить и доказывать...

— Спорил и доказывал...

— Значит, мало.

— Папа, ты в «Клубе путешественников» каменных идолов на острове Пасхи видел?.. Вот выйди на берег и попробуй им что-то доказать. Они смотрят и улыбаются...

— Да что же, у вас в классе одни каменные идола? Что-то, братец, ты совсем... А может, ты сам окаменел малость?

— Может... — кивнул Венька. — Но газетой ты меня не упрекай. Если бы хоть один за меня тогда встал... А то все хихикали да смотрели, как мы с Классной Розой копыа ломаем...

— Вень, а мы хотели сегодня нашу газету выпустить, — напомнил Ваня. — А то давно уже не было свежего номера...

— Вы как ни рассуждайте, а на собрании я вопрос подниму, — решительно сообщила мама. Венька пожал плечами. Ваня опять дернул его за рубашу:

— Давай газету...

— Вечером, — сказал Венька. — Мне сейчас надо сочинение писать. «Сравнительная характеристика Молчалина и Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума».

— Трудно, наверно, — посочувствовал Ваня.

— Не трудно, а нудно. Все разжевано: что писать и какими словами.

— Еще мы в свое время про это писали, — сказал отец. — Видишь, Веник, ничего в жизни не меняется. А ты говоришь...

— Меняется, пап... Молчалиных стало больше.

— Тогда и напиши про это.

— Ну и напишу. Только ведь опять все хихикать будут...

Газета внешне была похожа на ту, что пробовал выпускать Венька в классе, «Наши новости». Даже сдвоенная буква Н такая же. Только «Новости Находки» печатали информацию со всех материков и островов Венькиной и Ваниной планеты. Репортажи с футбольных матчей между гномами Голубой пещеры (которые во время игры путались в бородах) и школьниками города Нью-Крокодайл с острова Каменных Шаров. Историю открытия подземных поселений неизвестной цивилизации. Рассказ о том, как ввели самоуправление в школе отсталого племени дайбери на острове Сердитых Кошек: завуч школы, награжденная за многолетнюю работу пальмовой ветвью для отмахивания от ядовитых розовых девятикрылов, провела специальное собрание. Она сообщила, что теперь сами ученики будут решать, кого из провинившихся школьников педагогический совет должен съедать накануне праздника, посвященного местному божееству, покровителю знаний Бак-Луше...

Была еще в газете всякая информация из дальнего космоса (и из ближнего тоже), рассказы в картинках и просто рассказы, Ванины четверостишия о щенке и кораблике. Была повесть с продолжением о приключениях находкинского школьника по прозвищу Ноль-с-Плюсом (не из племени дайбери, а из цивилизованного города Норд-Булькало), попавшего на странную планету Земля и оказавшегося там в местной школе...

Номеров «НН» было больше тридцати. Венька стал выпускать их прошлой осенью, сразу, как появилась планета Находка. Раз в школе редакторская работа не пошла — пускай хоть здесь... По крайней мере, никто не мешает. Отдавшись журналистскому

горению, Венька целыми вечерами стучал на дребезжащем «Ундервуде», расклеивал заметки и рассказы, тушью и акварелью разрисовывал заголовки, выписывал рубрики. А Ваня преданно помогал: и сочинять, и рисовать...

Но этой осенью газету застопорило. То ли домашних заданий у Веньки стало много, то ли пыл угас. Ваню это беспокоило.

— Вень, дописал сочинение? Ну, давай газету делать...

— Включил бы лучше свою «шиштем»...

— Ну, Вень... Мы с лета не выпускали.

— Материала все равно нету...

— Сразу и придумаем! — Ваня поволок Веньку за рукав, усадил на нижнюю койку. Венька по инерции дурашливо завалился навзничь. Так и остался.

— У меня ничего не придумывается. Я на сочинении выдохся.

— А ты напрягись, чтобы это... вдохновение...

— Ну да! Оно только у писателей бывает, и то не всегда. У нас сегодня писатель выступал, он про это как раз говорил.

— Ну и пусть выступал, — не поддался Венька. — Он для нашей газеты все равно ничего не сочинит. Надо самим.

— Вот и давай.

— Сначала ты давай!.. Помнишь, ты про пустой город на острове Дзынь-Кап рассказывать начинал? Он почему пустой?

— Ну... — Венька наморщил лоб. — Его жители дзынькапских джунглей построили... А потом...

— Какие жители? Остров же необитаемый!

— Нет, в джунглях есть там одно племя. Очень тихое и миролюбивое. Они расчищают поляны, разводят на них розовую капусту (прыгающие такие кочаны) и там живут... А однажды к ним забрел охотник из города Сан-Бубенец...

— Забрел на остров?

— Ну, потерпел крушение и выплыл, не придирайся... Он там стал жить и рассказывать дзынькапцам про разные страны и большие города. Им завидно стало, и они тоже решили построить город... Выбрали каменное плато, где джунглей поменьше, налепили из глины кирпичей, обожгли их на кострах и давай строить большие дома, дворец, башни, стены — все как охотник рассказывал. Народу много было, люди они трудолюбивые, за три месяца управились... Днем работали, а ночевать уходили в свою деревню. А в последний день так умаялись, что остались ночевать в новых домах... Вот утром, раньше всех, одна девочка проснулась, вышла на балкон и видит: сколько домов кругом, этажи громоздятся, крыши, арки всякие, колокольни... И утреннее солнце это все освещает. В общем, красота удивительная. И тихо. Она и говорит: «Ох...» А со всех сторон ей в ответ: «Ох... ох... ох...» Она перепугалась, кинулась к взрослым, говорит:

«Там злой дух завелся...» Взрослые вышли, поглядели, говорят: «Ах!» А отовсюду: «Ах... ах... ах...»

— Это эхо было?

— Конечно. Только дзынькапцы были еще нецивилизованные, суеверные. Ну и перепугались злых духов. У них там еще жрец был, страху нагнал: «Духи, — говорит, — не хотят, чтобы мы меняли образ жизни, велют вернуться в джунгли...» Жрецы, они всегда ведь против нового... Дзынькапцы и ушли из города. Навсегда... А охотника отправили с острова на пальмовом плоту, его потом пароход подобрал...

— И никого в том городе не осталось?

— Никого, конечно... Хотя нет. Осталось Эхо. Но оно ведь не может без людей. Вот и молчит. Все надеется, что придет кто-нибудь, ждет. Чтобы ожить и отозваться...

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мать Егора предпочитала беседовать со школьным начальством один на один и родительские собрания не посещала. Поэтому Егор узнал о возможных неприятностях лишь на следующее утро. Классная Роза сообщила ему со смесью укоризны и сдержанного негодования:

— С причинами твоего вчерашнего прогула, Петров, я разберусь сама. Чуть позже. Но что касается твоей чудовищной выходки по отношению к Ямщикову, то здесь я бессильна. Его мать вчера сделала заявление при всех, и этот факт известен Клавдии Геннадьевне. Тебе придется объясниться с ней.

Егор глянул недоуменно и оскорбленно: что, мол, еще за новые напасти на меня? С уроков ушел, потому что голова разболелась. А что касается Редактора, то... Но Роза Анатольевна произнесла фразу о потере элементарных человеческих принципов у нынешнего поколения и заспешила в учительскую.

Венька Редактор ходил с болячкой на припухшей губе. Егор поглядывал на него с усмешкой: вот так, дорогой, получил, чего добивался. Редактор не отводил взгляда, но смотрел как бы сквозь Егора. Давал понять, что Кошак для него — пустое место. Недостойное никаких чувств и мыслей. Это, по правде говоря, раздражало Егора. «А я тебя, крысу бумажную, еще пожалел».

Даже себе не хотел Егор признаться, что дело было не в жалости, а в страхе. Когда сбитый с ног Редактор опять вскочил, отплеывая кровь, Егор интуитивно осознал, что предприятие безнадёжное. Ощущения победы не будет. Такое ощущение бывает, когда кто-то делается испуганным и покорным. А этот идиотски упрямый хилак, видимо, готов помереть за свою гордость. Ответчай еще за него... А самое главное, что пришлось бы увидеть:

есть люди, умеющие не сдаваться до конца. Не то что некоторые...

Эту боязливую догадку Егор давил в себе, но она шевелилась, подлая. И до конца уроков Егор жил со стыдливим ощущением, что кто-то узнал про него очень тайное.

После пятого урока Бутакова закричала про какое-то литературное собрание, но Егор махнул к раздевалке. Однако дверь ее оказалась на замке, а техничка тетя Шура заявила, что до конца шестого урока открывать не велено. Егор заорал, что одежда — его личная собственность и никто не имеет права прятать ее под замок. Подошла дежурная учительница.

— Ох, это опять Петров за права человека воюет...

— У нас пять уроков по расписанию! А всякие лекции — это не учебная программа, я там сидеть не обязан!

— А что ты возмущаешься? Это ваша Роза Анатольевна распорядилась, а не я. С ней и выясняй.

Егор завелся и ринулся в литературный кабинет, чтобы с порога нарушить чинность мероприятия. Пусть немедленно открывают раздевалку! То кричат о самоуправлении и добровольности, а то шмотки под замок...

Дверь в кабинет была распахнута. Егор увидел, что народу — битком: восьмой «А» и восьмой «Б» сели вместе. Сидели тихо, слушали внимательно. Егор сразу сориентировался: крик его сейчас не поддержат, сочувствия не будет. Он вошел, сдергивая дыша. Подвинул на скамье у крайнего стола грузного Артема Карасева.

Классная Роза вешала, стоя у стола:

— ...для тех, кто не был на вчерашней встрече... Олег Валентинович пришел к писательской профессии не гладким путем. После окончания факультета журналистики он работал в разных газетах, жил на Севере, был геологом, рыбаком, строителем. Изъездил всю нашу страну, встречался со множеством интересных людей. Все это дало ему возможность создать книги, которые пользуются заслуженным успехом у читателей. В последнем номере журнала «Объ» вы можете прочитать его повесть о нелегкой работе сотрудников уголовного розыска. А в книжных магазинах недавно появилась книжка «Тайный звон металла». Это увлекательные очерки об истории Нижнеокского металлургического завода — старейшего предприятия нашего города. Кто еще не купил, советую поторопиться. Мы потом устроим обсуждение этой книги. Я думаю, всем нам интересна история нашего города, йи книга «Тайный звон металла»...

— «Тайны звонкого металла»... — с улыбкой сказал Олег Валентинович, стоявший рядом с Классной Розой.

— Ох, простите... Если я волнуюсь, то всегда...

— Ну что вы, что вы. Волноваться следует мне. Перед такой вззаскательной аудиторией...

Впрочем, никакого волнения в нем не замечалось. Он поглядывал на сплоснутых за столами восьмиклассников с доброжелательной уверенностью.

Сквозь большие модные очки. Это был рослый мужчина с пепельно-серой (может быть, седоватой) шевелюрой, с широкими плечами и выпуклым животиком под свитером домашней вязки. Его маленькая борода-лопатка торчала вперед с интеллигентной решительностью.

— Кто такой? — спросил Егор у сытно дышавшего Карасева.

— Писатель какой-то. Вчера еще выступал, да не кончил. Сегодня опять приперся.

— Какой писатель?

— А фиг его... Про Робинзона вчера рассказывал...

— Про какого Робинзона? Зачем?

— Ну, я-то чё?... Про какого-то Робинзона Крузена...

Егор отвернулся. Карась был настолько туп, что не имело смысла его даже презирать.

Роза Анатольевна между тем еще раз выговорила «прости-те» — и с облегчением устремила взгляд в задние ряды:

— Чья там рука?... Что тебе, Симакова?

Томная Симакова поднялась, качая запрещенными сержками.

— Олег Валентинович, вот вы сказали, что переехали в наш город... А я думала, что все писатели живут в Москве.

— Симакова... — на всякий случай осудила ее Классная Роза.

Олег Валентинович весело покивал:

— Да, это распространенное мнение. Но совершенно-совершенно несостоятельное. Я мог бы назвать много известных имен — тех литераторов, кто не стремится к столичному бытию и обитает в самых разных уголках страны... У меня все объясняется просто: я ведь родом из здешних мест, из Новотуринска, а к старости тянет обычно в родные края...

— Вам ли говорить о старости, — вставила Роза Анатольевна.

— Ну, все-таки... Правда, в самом Новотуринске литератору трудно, небольшой городок, а здесь — все, что нужно: известное в России издательство, киностудия, журнал... А главное — темы, темы! Нижнеокский завод дал мне массу материала. Да и встретили меня там прекрасно. Создали, как говорится, все условия для творческой работы, дали прекрасную квартиру... Вы люди уже взрослые и понимаете, что писательское вдохновение весьма прочно переплетено с житейскими проблемами. Тем более что для писателя квартира — это не только жилье, а прежде всего — рабочее место. Как цех для токаря или сталевара...

— А у вас большая семья? — пискнула с места похожая на пятиклассницу Любка Оршанская.

— Оршанская... Ох уж эти девочки. Их всегда волнуют подробности личной жизни знаменитостей.

— Да пожалуйста! Знаменитостью я себя не считаю, тайн из семейной жизни не делаю... Нас трое: жена — сотрудница научной библиотеки на Нижнеокском заводе и сын — ваш ровесник.

— Наверно, тоже будущий литератор? — Классная Роза выдавила любезно-доверительную улыбку. — Так сказать, наследник литературной славы...

— Н-не знаю, — помолчав, сказал Олег Валентинович. Серьезно так сказал. — Наследник, разумеется. Но славы или чего другого, трудно пока говорить... Существует мнение, что дети наследуют у отцов славу и подвиги. А ведь они все наследуют — ошибки и слабости тоже... Поэтому надо стараться жить так, чтобы ошибок было меньше. Хотя бы ради детей... Об этом, кстати, я пытался сказать и в повести «Паруса «Надежды». В той, о которой мы говорили вчера...

— Да-да! — обрадовалась Роза Анатольевна. — Вы обещали почитать отрывки. Мы поэтому и собрались в таком вот... обилии.

Егор вспомнил замок на раздевалке и готов был уже встать и разъяснить причины «обилия». Тем более что самоуверенная бородака неизвестного литературного светила Егора весьма раздражала. Но оба класса заинтересованно притихли, и, пока Егор вычислял, стоит ли переть на скандал, момент оказался упущен. Олег Валентинович поднес к очкам большие листы:

— Я прочту вам начало. Буду очень благодарен, если вы потом нелицеприятно выскажете свое мнение. Уверю вас, комплименты мне не нужны, нужна истина. Очень хочется знать, удались ли хоть в какой-то степени детали и дух той эпохи...

Возможно, Олегу Валентиновичу удались дух и детали эпохи. Но эпоха эта ни в малейшей степени Егора не интересовала. Не интересовали его и дела директора Морского кадетского корпуса, пожилого адмирала Крузенштерна («Робинзон Крузен! О, Карась-рыба!»). И пока этот адмирал неторопливо шествовал по коридору вверенного ему учебного заведения, Егор начал потихоньку размышлять о том о сем. В частности, действительно ли Роза накапала директорше о вчерашнем деле с Редактором. Ничего, конечно, за это не будет, но сама возможность нудной беседы в директорском кабинете не радовала. Тем более что все было напрасно: Редактор оказался прочнее, чем думалось.

Занятый раздраженно-кислыми мыслями, Егор встряхнулся, когда назвали его имя. Что такое?

Нет, не о нем это. Писатель читал о каком-то кадетике, которого тоже звали Егором... Не сумел другого имени отыскать для своего сопливого героя? Впрочем, наплевать... Но отвлечься Егор уже не мог. Фразы, произносимые выразительно и отчетливо, лезли в уши. И Егор уяснил, что его тезке, жившему в прошлом веке, грозила беда. Этому воспитаннику резервной роты за какую-то провинность велено было явиться в специальную комнату, где его ожидали розги. Ибо в те времена воспитательная работа не сводилась к разговорам в директорском кабинете.

Егор сидел неподвижно и равнодушно, однако в душе съезился. Не от жалости к чихлому кадету, а от воспоминаний...

У кадета, кажется, все уладилось: адмирал пообещал заступничество. Но чувство незащитности и ожидание чего-то скверного не оставило Егора. И он даже не удивился, когда в открытой двери показался Мстислав Георгиевич — Поп-физик — и злорадно сказал в пространство:

— Прошу прощения у собравшихся, но восьмиклассника Егора Петрова требуют к директору!

...Предчувствие не обмануло. В кабинете Клавдии Геннадьевны, сбоку от ее стола, сидел милиционер в погонах старшего сержанта. Худой, светло-русый, с темным, будто припорошенным коричневой пылью лицом, с резко-синими глазами.

Тот самый мент, вчерашний попутчик Редактора! Значит, не случайный попутчик-то... Влип, Кошачок.

А впрочем, что ему сделают? И пусть сперва докажут!..

Егор подобрался и равнодушно отвел взгляд.

Улыбнулся.

— Здравствуйте, Клавдия Геннадьевна. Физик сказал, что вызывали...

С директором Клавдией Геннадьевной Михаил решил дело моментально. Она подписала акт, сказала, что Мартышонек сегодня пришел в школу вовремя и сейчас на продленке, посочувствовала Михаилу по поводу его «каторжной» работы и со вздохом высказалась в адрес завуча Тамары Павловны и других своих заместителей, которые боятся всего на свете: детей, лишних трудностей, а пуще всего — ответственности. А какой смысл бояться поставить подпись на бумаге, если все равно каждый день ходишь, как по краешку обрыва? Того и гляди что-то случится — не сейчас, так через час. Своей доверительностью она давала понять: «Я вижу в вас коллегу и союзника».

Лицо у директрисы было пухловатое, с какими-то домашними морщинками, вздохи тоже не строгие, не кабинетные. Глаза, правда, с «беспокойной», но что поделаешь — должность такая.

Михаил, который с утра готов был к тому, что ему вернут акт и скажут: «Подписывайте у матери», сейчас обмяк и слушал Клавдию Геннадьевну с удовольствием и даже сочувствием.

После короткого стука шагнул в кабинет высокий парень лет двадцати пяти — тонкий, с римским носом и негодованием в очах.

— Клавдия Геннадьевна! Мне все-таки хотелось бы выяснить нелепейшую ситуацию, в которой я оказался!

— Мстислав Георгиевич, голубчик! Выясним, я же сказала. Но не сию минуту, видите, у меня товарищ из милиции. И тоже с «ситуацией». Давайте после шестого урока... А пока, очень вас прошу, загляните в литературный кабинет, вызовите ко мне Егора Петрова. Там встреча с писателем... Валя отпросилась на полчаса, а самой мне лишний раз на третий этаж...

Мстислав Георгиевич покинул кабинет с видом оскорбленного кавалергарда.

— Вот вам нынешние педагогические кадры, — сообщила Клавдия Геннадьевна. — Первый год работы, юноша полон энтузиазма, стремится к контакту с учениками, причем без всякого панибратства, на творческой, как говорится, основе. Не терпит разгильдяйства, ревностный сторонник твердых правил и дисциплины. Казалось бы, чего еще желать? А получается Бог знает что... Вместе со старшеклассниками уговаривал меня отпустить их в поход с ночевкой. Уговорили, хотя для меня это лишние страхи и нервы. А вчера выяснилось, что ребята отказались идти с ним. Из-за стычки с курильщиками в туалете. Начал рьяно наводить порядок, не учел самолюбия наших великовозрастных интеллектуалов. И вот результат... Причем отказались-то даже не те, с кем был конфликт... А он счел, что я тайно поддерживаю это дело, чтобы похода не было... Честное слово, сам еще как дитя, трудный подросток. Хоть маму вызывай.

— Может быть, стоит? — улыбнулся Михаил. И подумал, что пора прощаться. — Клавдия Геннадьевна, у меня еще просьба. Можно отметить у вас командировку? Чтобы не ходить в управление, не козырять здешнему начальству...

— Разумеется... Ох, но печать-то в сейфе, а ключ секретарша унесла. Я отпустила ее на полчаса в магазин, дела житейские... Вы можете подождать немного?

— Если я вам не мешаю...

В кабинете было уютно, до поезда оставалось больше двух часов, болтаться по сылякотным улицам не хотелось.

Клавдия Геннадьевна сказала, что ничуть он не помешает и, может быть, ему будет даже интересно. Сейчас явится еще одно трудное дитя. Весьма своеобразная личность.

Личность явилась. И Михаил тут же угадал в ней одного из вчерашних «караульчиков», хотя накануне видел его издалека. Симпатичный оказался парнишка. С небрежной прической пшенично-золотистого отлива, в меру курносый, с одинокими веснушками на подбородке и правой щеке (словно кто-то бросил в лицо горсточку желтой шелухи, да промахнулся, зацепил краем). С большим пухлогубым ртом, который наверняка растягивается в замечательную улыбку. Глянешь и подумаешь — вот ясная душа... Только очень внимательный взгляд мог различить серую пыльцу под глазами — след курения — да недобрые точки в зрачках.

Рот мальчишки растянулся полумесяцем:

— Здравствуйте, Клавдия Геннадьевна. Физик сказал, что вызывали.

— Не физик, а Мстислав Георгиевич. Что за манеры, Егор!

— Ах да, извините...

Он держался свободно. Однако в первый миг, когда они с Михаилом встретились глазами, живые брови Егора Петрова беспокойно шевельнулись, губы напряглись. Дрогнул мальчик.

— Петров, — официально сказала Клавдия Геннадьевна. — Меня интересует вчерашняя безобразная история. За что вы избили Ямщикова?

Егор придал зеленоватым глазам выражение полной невинности.

— Кто «мы»? Он подрался с Копчиком, а при чем тут я?

— Что за Копчик?

— Ну, Копчик и Копчик... Кажется, Вовкой зовут. Я толком и не знаю. Мы повстречались случайно, а потом...

— Вы же специально у школы караулили, — сказал Михаил.

— Если стояли, значит, караулили? Копчик какого-то девятиклассника ждал, а потом говорит: «А, вон ваш Редактор ковыляет, надо мне с ним разобраться». Я говорю: «Охота тебе...»

Михаил видел, что мальчишка врет с дерзким расчетом: чем нахальней — тем правдоподобней.

— ...А потом мы пошли к цирку, узнать насчет билетов на «Звезды на льду». А Ямщиков откуда-то прямо на нас выскочил. Они с Копчиком и сцепились, у них какие-то давние счеты. Я и не подходил...

— Егор, не лги. Утром ты обещал расправиться с Ямщиковым, когда тот вступился за второклассников.

— А чего он не разобрался, а суется! Ему везде за справедливость бороться надо!.. Я сгоряча и сказал: «Обожди, ты от меня получишь». Так можно каждого в бандиты записать, если к словам придираешься...

— Егор, — значительно сказала Клавдия Геннадьевна, — мо-

жет быть, не следует выкручиваться? Хотя бы сейчас... — И она перевела выразительный взгляд на Михаила.

— Клавдия Геннадьевна, — улыбнулся Михаил. — Мне не хотелось бы играть роль пугала. Пусть Егор Петров знает, что я здесь по другому делу, хотя и шел вчера вместе с Ямщиковым до троллейбуса... Может быть, как раз в этом случае Петров будет искреннее. — И усмехнулся про себя: «Не будет. Не таков...»

В глазах Егора мелькнуло облегчение.

— А чего мне выкручиваться, если я его не трогал?

— Но ты стоял тут же, когда твои дружки били Ямщикова. И не вступился за товарища по классу, — сказала директорша.

— Клавдия Геннадьевна, — произнес Петров уже совсем уверенно, даже со скрытой усмешкой. — Товарищ по классу — это не всегда товарищ. А с Копчиком у Ямщикова свои дела. Они и выясняли. Я-то при чем?

— А двое других помогали Копчику, не так ли? — сказал Михаил.

— Когда они полезли, я и вмешался! Сказал: «А ну, кончайте!» Можете спросить Ямщикова! Он, конечно, меня терпеть не может, но врать не будет. Он же принципиальный.

— Ну что же, и спросим, если понадобится... — пообещала директорша, и Михаил уловил в ее тоне слабинку. — И думаю, что тебе будет трудно доказать, что твоя роль была столь благородна...

Егор Петров обрел уверенность на сто процентов.

— А почему я должен доказывать? Кто обвиняет, тот пусть и доказывает! Это называется «презумпция невинности». В программе «Человек и закон» говорили. А то на любого человека можно что угодно наговорить, а он доказывай, что не верблюд...

Клавдия Геннадьевна посмотрела на Михаила: вот, видали молодца!

— Юридически подкованный субъект, — сказал Михаил. Он приглядывался к мальчишке все с большим интересом. Даже с некоторым одобрением. Тот явно пережимал директоршу в полемике. Но вспомнил Михаил беззащитного Ямщикова и представил, какво ему пришлось одному против четырех. И ожесточился: — Знаете, Клавдия Геннадьевна, вы зря тратите время на дискуссию. В словесных поединках такие всегда выкручиваются.

Петров сжал губы в длинную прямую черту и равнодушно глянул на Михаила сильно позеленевшими глазами:

— Какие «такие»... гражданин старший сержант?

— Егор!

— Ничего, Клавдия Геннадьевна, я не обидчивый... Какие «такие»? Владеющие речью, знающие о презумпции невинности. С интеллектом телевизионных знатоков и душами шкурников.

«Эк ведь меня... — подумал Михаил. — С чего это?»

Егор, глядя выше головы Михаила, сказал с ленцой:

— Что-то я не пойму. «Субъект, шкурник». Это ведь уже оскорбление.

— Оскорбление — это когда незаслуженно, — сказал Михаил и ощутил зыбкость своей позиции.

— А я чем заслужил? — глаза Егора блеснули почти настоящей обидой. — Вы что обо мне знаете? Или уже следствие провели?

— Е-гор, — сказала Клавдия Геннадьевна.

— А что Егор? Милиции все можно, да? Она «при исполнении», она всегда права! И пожаловаться некому.

— Ну, почему же? — скучно возразил Михаил. — Жалуются сплошь и рядом. И с успехом. Напиши жалобу и ты.

— На деревню дяде милиционеру?

Михаил вынул записную книжку, ручку и при общем молчании писал целую минуту. Все данные и адрес. Вырвал листок.

— Прошу. Пиши заявление. А я потом приеду специально, принесу свои извинения... Если не сумею доказать, что ты хорошо знаком с Копчиком и обдуманно караулил Ямщикова.

Егор бумажку взял. Прочитал и (вот стервец!) аккуратно спрятал в нагрудный карман. Потом сказал со смесью обиды инисходительности:

— Ну ладно. Ну, даже если я подговорил Копчика разбить губу Ямщикову, в тюрьму вы меня не посадите. А такие выражения использовать все равно не имеете права.

— Петров! — Клавдия Геннадьевна заговорила с хорошо рассчитанной железной интонацией. — Я сейчас тоже употреблю выражение. Я считаю твою вчерашнюю выходку свинством, а сегодняшнее поведение наглостью. Если на основании этого ты сделаешь вывод, что я назвала тебя наглецом и свиньей, — дело твое. Можешь писать в районо, адрес возьми у секретаря... А я со своей стороны обо всем происшедшем немедленно позвоню отцу. Ступай.

— До свиданья, — сказал Егор и пошел к двери. А от порога сообщил: — Звонить лучше матери. Отец все равно на объекте.

— Вот такой фрукт... — Клавдия Геннадьевна виновато посмотрела на Михаила, когда дверь закрылась.

— Любопытный образец... — Михаил все еще испытывал что-то вроде досадливого сочувствия к Петрову.

Клавдия Геннадьевна шумно вздохнула, покрутила телефонный диск.

— Алло... Добрый день, Алина Михаевна... Да, я. Вы меня уже по голосу узнаете... Спасибо, как обычно, в трудах... К сожалению, да... Грустно говорить об этом, но приходится. Пока точ-

но не знаю, но известно одно: с какими-то ребятами подкараулил своего одноклассника, и они его слегка поколотили... Нет, Алина Михаевна, к сожалению, он инициатор... Тот мальчик тоже не прост, но не из тех, кто отстаивает интересы кулаками... Ну, как он объясняет? Вы же знаете, говорить Егор умеет, аргументы найдет всегда, в уме ему не откажешь. И тем не менее... Вот именно. Важно, чтобы он осознал. Вот-вот, об этом я и хочу попросить... Мы — разумеется, но и вы со своей стороны... Да, спасибо... Конечно, конечно, созвонимся. Всего доброго.

Она подняла на Михаила виноватые глаза:

— Вот так и приходится... А что я могу сделать? От его отца зависит ремонт школы и масса всего другого... Неужели я совсем беспомощно разговаривала? Вы так на меня смотрите...

— Простите... — Михаил передохнул, чтобы прогнать ощущение жутковатой пустоты — такое, как перед распахнувшимся парашютным люком за секунду до прыжка. Это чувство у него возникало при любых резких неожиданностях. — Я услышал имя. Алина Михаевна?

— Да. Немного необычное...

— И знакомое... — Михаил сморщил лоб и прикусил губу. Клавдия Геннадьевна смотрела вопросительно. «Нет, стоп», — сказал себе Михаил. — Что-то вертится в голове, — неуклюже соврал он. — С чем-то связано... Этот Егор Петров... он не мог раньше иметь дела с нашим ведомством?

— Да, возможно... Кажется, года четыре назад он не поладил с отцом и удрал из дома. Характер-то видите какой... По-моему, вернули с милицией. Но это давний случай. Вообще-то у них нормальные отношения, прекрасная семья и...

— Простите, а они... из здешних мест? Коренные?

— Право, не знаю. Я ведь в этой школе всего третий год... А в чем дело? Вас что-то встревожило?

— Да ничего особенного... Одна зацепка в мозгах... связанная уже не с Егором, а с совершенно другими людьми. Возможно, я и ошибаюсь... — опять неловко вывернулся Михаил. И тут же непоследовательно спросил: — А Егору-то сколько лет сейчас?

— Ну... четырнадцать, естественно. Восьмой класс...

— Да, разумеется... А родился он здесь?... Видите ли, мне интересно знать, не жил ли кто-нибудь из Петровых на юге.

Пряча в глазах искорки любопытства, Клавдия Геннадьевна поднялась.

— Это нетрудно узнать. В личном деле наверняка есть копия свидетельства о рождении.

Она вышла и через две минуты принесла тонкий листок.

— Да, вы правы... Родился первого июня шестьдесят восьмого года, место рождения — Севастополь...

ВИЗИТЫ

Из директорского кабинета Егор ушел с ощущением победы. Не потому, что выкрутился и осадил этого сержанта (личность, видимо, все-таки случайную), а потому, что почуял под конец разговора: нет у директорши доказательств, а главное — нет желания эти доказательства добывать и «двигать дело».

Слушать писателя Егор больше не пошел, сумка была при нем, раздевалку уже открыли, и через полчаса он оказался дома.

Едва успела мать скормить ему обед, как позвонил некий Гриб, человек не из «таверны», но знакомый Курбаши и к компании Больничного сада благоволивший.

— Кошачок! По агентурным данным ЦРУ, ты располагаешь кассетой с «Викингами». А?

Егор сказал, что кассета Копчика и Копчик не велел давать ее ни одному смертному. А связываться с Копчиком ему неохота: у того не характер, а одна истерика.

— И не давай, и не связывайся! Мне только послушать хотя бы начало! Чтобы знать, стоит ли игра свечек! Из твоих рук, а? Кошачок, за мной не пропадет!

Егор с полминуты поломался, чтобы набить цену, потом прихватил «Плэйер» и спустился во двор, к заброшенной песочнице, у которой был «сходняк» местного молодого населения.

Гриб — прыщавый тип семнадцати лет и непонятных занятий — стянул громадную грузинскую кепку и почтительно водрузил на нечесаную башку дужку с наушниками. Зажмурился. Они сели рядом, Егор не выпускал «Плэйер» из ладоней. Больше никого кругом не было. Гриб сидел и вникал. Егор ежился и скучал: было пасмурно и зябко. Прошло минут семь. Егор глянул в конец двора, окруженного П-образным двенадцатиэтажным корпусом. Глянул и машинально даванул кнопку «стоп» и клавишу перемотки.

Гриб обиженно заморгал.

— Ты чего? Там самый кайф...

— Вырубись, Гриб. Кажись, шах и мат...

От уличной арки по дорожке среди жухлых газонов и унылых кустиков шел недавний знакомый — старший сержант.

Тошновато стало Егору. Что же это, просчитался он? Ничего не кончилось? Ох, прижали, кажется, хвост Кошачку...

Егор спрятал магнитофон и наушники за пазуху.

Милиционер подошел. Сапоги по склизкому асфальту хлоп-щелк, хлоп-щелк. А на коричневом лице улыбка: белые зубы в щели потрескавшихся губ. И в глазах синий насмешливый блеск.

— Вот, опять пришлось встретиться, — вздохнул старший сержант.

— Вижу, — хмуро усмехнулся Егор (в груди неприятно холодело). — А говорили: по другому делу...

— Обстоятельства меняются, Егор... Мама дома?

Егор встал.

— Не вижу смысла скрывать. От милиции не спрячешься.

Мама дома.

— Проводишь?

— Куда деваться... Руки за спину не надо?

— Сойдет и так.

Они пошли, Гриб смотрел вслед. Милиционер вдруг спросил:

— Егор, а ты правда обиделся тогда в кабинете?

— Это нужно для разговора с мамой?

— Нет. Это нужно мне...

— Тогда — да.

— Это хорошо, — непонятно сказал старший сержант.

А куда подошли к подъезду, поинтересовался:

— Ты решил, что я из-за Ямщикова пришел?

А зачем он пришел? Может, что в «таверне»? Может, насчет мопеда раскопали, который увел у кого-то Валет с мышатами? А при чем тут он, Кошак? Или станут помогать насчет бизнеса Курбаши с пластинками?..

Хуже всего, когда не знаешь...

— Я думаю, вы пришли агитировать меня в отряд «Юный дзержинец», — собрав остатки храбрости, съязвил Егор.

— Я совсем по другому делу...

— У вас все время «другое дело», «другой вопрос», но все почему-то вокруг меня.

— А тебе страшно, что ли?

— Разве заметно?

— Представь себе.

— Ошибочное впечатление. Я... как это? Ин-диф-фе-рентен...

Поднялись на седьмой этаж. Егор открыл дверь своим ключом и в прихожей громко сказал:

— Мама, к нам тут представитель органов охраны общественного порядка... Я не звал, он сам.

Мать вышла, шурша халатом, округлила глаза. Егор скинул башмаки и, не снимая куртки, ушел в комнату. Слышал за собой обрывки разговора. Речь милиционера звучала приглушенно, а слова матери Егор различал ясно.

«...что-то натворил?.. Да-да, я понимаю, разговор необходим... Конечно, лучше без него. Там, в комнате... Ну и что же, что сапоги? А вот вы наденьте сверху эти лапти, я их специально для таких случаев плела, меня одна знакомая научила...»

Сейчас они войдут. «Горик, иди пока к себе, нам надо поговорить...»

О чем?

О чем же, черт возьми?!

Егор выложил «Плэйер» на подоконник за шелковую портьеру и нажал кнопку записи.

Следующие два дня Михаил прожил в таком сумбуре мыслей, в такой путанице чувств, что порой заходило сердце — как в стремительно теряющем высоту самолете. Было у него и ощущение потери, и обида, и надежда, что потеря — не окончательная, и, несмотря ни на что, вспышки радости, которую тут же гасили трезвые и горькие мысли...

Мама сказала наконец:

— Миша, да что с тобой? Ну, напиши ей сам или позвони, в конце концов. Нельзя же так изводить себя.

Михаил сказал сперва правду: что изводится совсем по другой причине. А потом соврал, что расстроился из-за статьи в «Среднекамском комсомольце». Статью в редакции и в самом деле изуродовали. Во-первых, придумали слюнявый заголовок: «Где ты, Антошкина мама?» Во-вторых, многое сократили, и получилась просто подборка случаев о брошенных матерями трехлетних и четырехлетних пацанятах, которые мыкаются по детприемникам вместе с правонарушителями школьного возраста. И получилось, будто Михаил в своей статье пытается убедить читателей, что во всем виноваты одни легкомысленные и бессердечные мамы. А рассуждения о том, откуда такие мамы берутся, оказались убраны.

Михаил долго лаялся по телефону с редактором отдела школьной жизни Васей Коротким. Вася отругивался. Ссылался на объективные причины и указания свыше. Потом, чтобы умалить скандального автора, сообщил: на прежнюю его корреспонденцию о хамстве и рукоприкладстве воспитателей в Новотуринском интернате пришел из тамошнего горно ответ о принятых мерах. Михаил знал цену таким ответам. Подробно и с удовольствием он объяснил товарищу Короткому, как тому следует использовать эту бумагу. Рывкнул, что все равно будет добиваться судебного дела в Новотуринске, и трахнул трубку на аппарат. С такой силой, что из своей половины дома примчалась старшая сестра Галина: ей показалось, будто выбили стекло.

Но и этот шумный разговор, и другие дела отвлекли Михаила ненадолго. Точнее, совсем не отвлекли, потому что, чем бы он ни занимался, с кем бы ни говорил, стучала в глубине сознания мысль: «Егор... Егор... Егор...»

Субботу Михаил провел дома, а в воскресенье пошел в приемник, хотя дежурства у него не было.

В приемнике стояла тишь да гладь: малышню увели на прогулку, старших — на экскурсию в музей природы. Дежурила вос-

питательница Агафья Антоновна, которую и сотрудники, и ребята звали Агашей (не в упор, конечно, а за глаза). Была она добрейшая женщина и страдала лишь двумя недостатками: излишним любопытством и способностью открыто пускать слезы, когда из приемника увозили в детдома оставшихся без родителей малышей. Впрочем, и то и другое ей прощали...

Агаша дала Михаилу несколько писем, и он сел с ними в дежурке. В эту минуту заглянул сюда Старик — начальник детского приемника-распределителя подполковник Рыкалов. Несмотря на выходной, он оказался на службе. Михаил встал.

— Здравствуйте, Иннокентий Львович.

Глядя мимо Михаила, Старик сообщил:

— Товарищ старший сержант. От воспитателя Ситниковой поступил устный рапорт, что вы на той неделе после отбоя в спальне старших воспитанников не требовали от них спать, а рассказывали какую-то историю.

Михаил, нарушив субординацию, сказал, что шла бы она, воспитательница Ситникова, куда подальше. Например, венками торговать на рынке. Разве лучше будет, если пацаны станут бузить в темноте или играть при фонариках самодельными картами?

— Так-то оно так, — уныло произнес Иннокентий Львович. — Но режим есть режим, и я обещал объявить вам замечание.

— Есть получить замечание... Только можно завтра?

— Что завтра? — слегка опешил товарищ подполковник.

— Замечание завтра. Нынче я здесь все равно неофициально.

А завтра можно сразу выговор, заодно уж. Потому что вечером я буду рассказывать ребятам «Трудно быть богом», роман братьев Стругацких. Давно обещал.

— Каким еще богом? Это что, религиозная пропаганда?

— Да что вы! Совсем наоборот, атеистическая.

— Ну, завтра так завтра, — неожиданно согласился Иннокентий Львович. — Слышь, а чего ты двое суток в командировке болтался? За сутки можно было сделать все в лучшем виде...

Михаил хотел доложить о бюрократах от педагогики, но опять колыхнулось под сердцем: «Егор...» И он сумрачно сказал:

— Можете считать, что застрял по личному делу.

Старик покачал головой и пошел к двери, сутулясь и поглаживая аккуратно, словно уставом подтвержденную лысину. На пороге вдруг оглянулся:

— Тезку своего, Мишку Узелка, помнишь? Опять привезли, слинял из детдома, чертенюк. Все равно, говорит, к отцу убегу...

— А знает, где отец-то?

— Знает. Говорит: пусть. Буду, говорит, с ним в бараке на стройке...

Михаил взялся за письма.

...Боже мой, как же изголодались эти неприкаянные, ошетиленные, никому не верящие Узелки, Мартышонки, Колянчики, Петьки Подсолнухи, Кочаны, Томки-растратчицы, если после одного разговора в казенной спальне или гулком ночном вагоне пишут и пишут хмурому парню в милицейском затертом пиджаке. Тому, кого, казалось бы, ненавидеть должны. Конвоиру...

«Я же ничего им такого не говорил. Я же в себе-то разобраться не могу...»

«Здравствуйте, Михаил Юрьевич. С приветом к Вам Зойка. Помните? Я теперь в спецучилище в далеком сибирском городе Коржанске. Училище хорошее, я получаю специальность, а с учебой пока средне, но тоже ничего. Помните тогда наш разговор в вагоне, он мне запал в душу, особенно про то, что нельзя делать свое счастье на чужом горе. Я теперь часто про это думаю, и как мама тогда вся переживала. И как Вы сказали, что если человек хоть немножко еще человек, то все еще может быть хорошее. Я спросила, а как я буду жить, если буду все время думать, что так сильно виновата, а Вы сказали...»

«Что я ей тогда сказал? То, что когда-то говорил мне Юрка?»

«Здравствуйте, дядя Миша! Когда меня привезли в спецшколу, то не сразу поставили в отряд, а через две недели, и тогда пошел мой срок. Но потом случилось одно дело, и я попал в больницу, состояние было тяжелое, даже маму вызывали, но теперь уже нормально. Я маме говорил про вас, а она говорит, что если бы я повстречался с вами раньше, то было бы все на свете лучше. Но я думаю, что все равно хорошо, что повстречался, и если вы в нашем городе будете, приходите ко мне в спецшколу, ладно? Дядя Миша, я еще хочу спросить, как вы думаете, будет атомная война или нет? Больше писать пока нечего. До свиданья. Женька».

«Не будет войны, Женька. Наверно, все-таки не будет... Но и пока не будет еще очень долго...»

«Здравствуй, Михаил! У меня теперь другой адрес, после училища я работаю в СМУ-14 и живу в общежитии. Здоровье теперь самое то. А как твой позвоночник? И сделали ли операцию отцу?.. Михаил, все теперь у меня нормально, но надо посоветоваться об одном деле. Можно, я как-нибудь приеду?»

«Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Поздравляем вас со скорым наступающим праздником Октября. Это пишут Юрка Зайцев и Серега Бабилов, который Самовар. Нас, после как вы говорили с начальством, определили в одну группу, спасибо вам за это...»

А это еще что такое? Надо же, из университета! Они что, домашнего адреса не знают?

«Уважаемый Михаил Юрьевич! Я надеюсь, что Вы не оставили намерение восстановиться на четвертом курсе со второго се-

местра этого учебного года. Буду рад помочь Вам и прошу в связи с этим зайти в деканат филологического факультета в удобное для Вас время, но желательно до праздника.

Проректор по заочному обучению профессор В. С. Платонов».

Увы, придется, видимо, огорчить милейшего Валентина Степановича: насчет зимнего семестра и восстановления вообще пока ничего не ясно. Программы по литературе и педагогике, которые три с половиной года прилежно штудировал сержант-заочник, не дали ответа на главный вопрос: как сделать, чтобы не нужны стали детприемники и должность эвакуатора.

Не волнуйся, дорогой, тебя попрут с этой должности гораздо раньше, чем ее упразднят. Старик-то тебя терпит, а зам по воспитательной части товарищ майор Курляндцев давно уже зубы точит. Анархист, мол. Поменьше бы, говорит, статейки писал да в душах копался, побольше бы думал о плановых мероприятиях и отчетности... А вытурить тебя, Мишенька, из органов — раз плюнуть. После первой же медкомиссии. И куда пойдешь (хотя и сочинял в уме рапорта)? Думаешь, в редакции или в школе нужны недоучившиеся филологи? И думаешь, они хоть кому-то нужны? А доучившиеся?.. Ох, насколько же проще было в воздушно-десантных войсках. В той самой армии, которой почему-то так боятся многие нынешние мальчишки. Ясно было, отточенно, честно и прочно. Несмотря на то что до конца так и не избавился от страха, который останавливал дыхание перед каждым прыжком. Да наплевать на этот страх! Прыгал-то не меньше и не хуже других. И никто не виноват, что в том последнем прыжке захлестнуло стропы...

— ...Миша! Ты слышишь?

— А?.. Что, Агафья Антоновна?

— Мальчик тебя спрашивает. Там, у входа...

— Какой мальчик? Разве уже вернулись?

— Да не наш! — Агаша даже посапывала от любопытства. — Станный такой, приличный по внешности. Сперва адрес твой домашний просил, а я говорю: «Да он сам здесь». А он и говорит: «Скажите старшему сержанту Гаймуратову, что его ищет брат...»

ВЕЧЕРНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

К стеклам липли снаружи мокрые сумерки, старый вагон трясся, словно хотел стряхнуть их. Дребезжали тусклые плафоны. В соседних вагонах работало отопление, там народу было много, а здесь никого. Но если притерпеться — не так уж холод-

но. И, главное, никто не мешает разговаривать. Михаил так и сказал Егору. Егор не спорил. Хотя всем своим видом показывал: о чем разговаривать, он понятия не имеет. Все уже сказано.

Они сели на противоположные скамьи, но не друг против друга, а по диагонали: Егор — у окна, лицом по движению поезда. Михаил — на краю, у прохода.

Наконец Егор сказал, водя пальцами по стеклу:

— Хоть убей, не понимаю, зачем тебя понесло провожать меня в такую даль.

— Чисто эгоистические соображения: если буду знать, что ты домой добрался нормально, спокойнее спать стану...

— А что со мной может случиться? — сказал Егор с легкой ноткой презрения к трусости Михаила.

— Да ничего. Я же говорю: просто мне спокойнее...

— Ну-ну, — сказал Егор и зевнул. Потом съязвил: — Ты, наверно, забыл, что я не беглец из интерната, а ты не конвоир.

— Какой же я конвоир? Наоборот... Видишь, даже в штатское оделся. — Михаил изо всех сил старался держаться ровного и мягкого тона. Потому что все еще надеялся: вдруг повернется разговор иначе? Вдруг откроется в этом мальчишке что-то знакомое, родное? Но губы Егора Петрова, которые умели расплзаться в такой милый улыбочивый полумесяц, теперь были вытянуты в прямую черту.

...Эти прямые губы и абсолютно спокойные глаза сперва казались Михаилу ненастоящими. Маской. Оно и понятно, говорил себе Михаил. В четырнадцать лет кому хочется показывать волнение? А в этом случае особенно. После такого знакомства в кабинете директора! Вот и смотрит братишка независимо и вроде бы безучастно. А в душе небось клубок сомнений, вопросов, тревог и... может быть, и радости? Ведь свой же, в конце концов! Примчался же, черт возьми, из другого города!

...В первый миг, увидев Егора, Михаил качнулся к нему, взял за плечи.

— Ты... Егор... — Он чуть не сказал «Егорушка». — Надо же... Значит, она все сказала?

— Кто? — Егор медленно посмотрел из-под низко надвинутой вязаной шапки с этой вездесущей идиотской надписью «ADIDAS».

— Ну... мама твоя. Алина Михаевна...

— А... — Он улыбнулся тогда первый и последний раз. — Нет, она ничего не говорила. Это дело техники...

И он вытащил из-под куртки серебристый «Плэйер».

— Д-да... — озадаченно сказал Михаил. Ох как нехорошо это все его цапнуло. Он не удержался: — Ты, я вижу, тертый мужик... — И спохватился: «Ох, дубина, зачем так?»

— Жизнь такая, — разяснил Егор. — К тому же век электроники...

— Что и говорить, — улыбнулся Михаил (и со страхом поймал себя, что улыбка получилась чуть ли не заискивающая). — Ты современный юноша...

— Хочешь послушать? — спросил «современный юноша», никак не отозвавшись на улыбку. И вынул дужку с мини-наушниками.

— Подожди. — Михаил оглянулся на изнемогшую от любопытства Агашу, на чуткого дежурного у входа. — Пойдем отсюда...

За низким зарешеченным окном был виден сквер с ярко-желтыми березами. День был не холодный и к тому же сделался разноцветный — пробилось солнце.

В сквере они сели на усыпанную листьями скамейку.

— Хочешь послушать? — опять сказал Егор, и Михаил с удовольствием отметил, что брат говорит ему «ты».

— Послушать?.. Да я и так помню разговор... Ловко ты сработал с этой машинкой. Оперативник, да и только...

Егор пренебрежительно спросил:

— Видимо, с милицейской точки зрения это комплимент?

— Ну что ты ерничаешь, Егор... — осторожно проговорил Михаил (а сердце перестукивало, щеки теплели от тревожной радости). — Ну, давай, я послушаю.

— Я не оперативник. Просто машинка была под рукой, вот и нажал кнопку... На.

Михаил снял фуражку, надел крошечные холодные наушники. В них что-то шелухнулось, и сразу возникло ощущение пространства — с шорохом шагов, шелестом портьеры. Да, техника. Действительно стерео. Если закрыть глаза — полное впечатление, что находишься в комнате и два человека говорят в разных углах.

Свой голос Михаилу показался чужим, так всегда бывает, если слышишь себя в записи. Но Алину он представил как живую.

«Я вас слушаю... Он что-то натворил?»

«Алина Михаевна, вы меня, конечно, не узнаете. А я вас сразу узнал. В шестьдесят седьмом году в Севастополе, помните?.. Меня тогда звали Гай...»

Молчание... Молчание, молчание. Но не глухое. Тончайшие ферромагнитные чешуйки отпечатали еле слышное дыхание двух людей. И как шевельнулся под Михаилом стул.

«Да... — наконец сказала Алина. — Действительно, вас не узнать...»

И снова молчание. Полное холодными вопросами: «Ну, и что же вам надо от меня? Вы понимаете, что я не жду от вашего ви-

зита ничего, кроме осложнений? Вы понимаете, что у меня нет желания вспоминать и вас, и тот шестьдесят седьмой год?»

Он это понимал. И спросил сразу — будто головой в парашютный люк:

«Алина Михаевна, Егор — сын Толика?»

И моментально:

«С чего вы взяли?.. Господи, с чего вы это взяли?!»

«Мы же не дети, Алина Михаевна... День рождения — первое июня... Кто еще мог быть его отцом?»

«Вы... Простите, но вы как-то очень уж примитивно рассуждаете».

Он, кажется, позволил себе улыбнуться. Чуть-чуть.

«Алина Михаевна, это не я такой примитивный. Это законы природы...»

Снова тревожная тишина. И вдруг резкий вопрос: «Ну, и что вы хотите?»

«Что... Вы и сами понимаете. Знать хотелось бы...»

«Но вы и так уже знаете... — Михаил вспомнил, как она стала покусывать пухлые губы. — Вы, простите, высчитали... И разыскали... Видимо, это ваша специальность...»

«Я понимаю, что мой приход вас не радует... Но меня-то понять вы можете? Если это так, то Егор — мой двоюродный брат».

«И что из того? Вы узнали о нем случайно. И двоюродный — не родной...»

«Он — сын Толика. А Толик для меня...» — Ох как не вовремя, как по-дурачки у взрослого мужика что-то по-детски сорвалось в горле... Она сказала помягче:

«Как все это неожиданно... И долго вы нас искали?»

«Боже мой, да совсем я вас не искал! Был в школе по служебным делам, директор говорила с вами по телефону, я услышал ваше имя, вспомнил...»

«Значит, нелепая случайность».

«Нет... — Михаил слегка ожесточился. Особенно на слово «нелепая». — Думаю, так или иначе наши пути пересеклись бы. Все-таки в одном краю живем. Вы и с Толиком-то познакомились именно поэтому, он мне рассказывал. Вы с ним разговорились, когда он узнал, что ваш брат живет недалеко от Среднекамска...»

«У брата почти такая же судьба, он погиб в катастрофе...»

«Простите, я не знал...»

«Не в том дело. Если бы не этот разговор в школе...»

«Но он случился».

«К сожалению...»

«Все-таки... — Михаил вспомнил, как с резиновой натугой произнес это «все-таки». — Что же здесь плохого? Чем я могу повредить вам и Егору?»

«Извините, я не помню вашего... настоящего имени...»

«Михаил».

«Михаил... и?...»

«Михаил Юрьевич, если угодно».

Она скользнула тогда по нему глазами.

«Я понимаю, — сказал Михаил. — Такому имени более соответствовал бы изящный мундир поручика Тенгинского полка, а не потертый пиджак милицейского сержанта... Но дело не во мне...»

Вздых.

«Дело именно в вас... Вы сотрудник милиции и должны знать юридические нормы. Законы... Тайна усыновления охраняется законом. Кто ее нарушит...»

«Я не нарушу. Не за тем пришел. Не бойтесь». — Это в нем уже закипела досада.

«Вы должны меня понять, Михаил Юрьевич... Моя... мое знакомство с Анатолием было... оно коротким было. Почти что случайным. А Виктора... моего нынешнего мужа я знала еще задолго до того. Хорошо знала... когда он вернулся из плавания, то ни в чем не упрекал меня. Мы поженились, будто ничего не было, он любил меня. Даже его родители не догадывались, что Егор не его сын. И сам Виктор ни разу... ни намеком, ни словечком про это не напомнил. Ни мне, ни себе. А вы хотите сейчас...»

«Ничего я не хочу, Алина Михаевна... Но как бы вы поступили на моем месте, если бы узнали... про такое...»

«Ох, не знаю... Михаил Юрьевич. Я женщина, и вот на меня вы свалили... все это. Сразу, неожиданно».

«Простите... Но была еще женщина, мать Толика. Я думаю, она прожила бы гораздо больше, если бы знала, что у Толика остался сын, ее внук».

«Может быть... Честно говоря, я не думала об этом...»

«Верю», — вздохнул он.

«Да. Вы можете осуждать меня, но прежде всего я думала о своей семье. Так устроены женщины».

«Не все...»

«Можете осуждать меня», — опять сказала она.

«Алина Михаевна... Разве я пришел, чтобы осуждать?»

«Не знаю, зачем вы пришли... Если Егор обо всем узнает, неизвестно, чем это кончится. Переходный возраст, с ним и так нелегко... Давайте говорить откровенно...»

«Давайте», — уже безнадежно согласился Михаил.

«Наверно, я скажу вам жестокую вещь, но, когда женщина защищает свое... свое гнездо, она способна на все. Ведь Анатолий погиб из-за вас. Неужели вы хотите сделать несчастным и его сына, разрушить семью, где он вырос?»

Сейчас, в сквере, Михаила опять придавило тоскливым гру-

зом давней вины. И через много-много тягостных секунд он услышал свой осевший голос:

«Откуда вы это знаете? Что из-за меня...»

«А разве не так? Если бы вас там не было, если бы он не возился с вами, не поехал бы вас провожать...»

Михаил вспомнил, как обмяк с горестным, стыдливым облегчением. Конечно, она ничего не могла знать о гранате. Но облегчение было обманчивым, секундным. Словно расталкивая обвалившиеся на него мешки с сыпучим грузом, Михаил тогда поднялся со стула.

«Я мог бы в свою очередь упрекнуть вас: если бы вы в тот раз на бульваре не кинулись за милицией, не было бы всей этой истории. Но какой смысл обвинять друг друга?.. Я мог бы при желании доказать вам, что мы оба здесь вообще ни при чем и что бандиты выслеживали Толика специально, старательно... Только вас это, конечно, не интересует».

Еле слышно вздохнуло кресло — это поднялась мать Егора.

«По правде говоря, меня интересует, могу ли я жить спокойно?»

«Можете... — медленно сказал Михаил. — Даю вам слово, что Егор от меня ничего не узнает... Могу даже расписку дать».

«Ну при чем тут расписка? Я рада, что вы меня понимаете...»

«Как много раз тут говорилось слово «понимаете», — печально подумал Михаил. — А где оно, понимание? — Он опять услышал свой голос: — Пойду я... Еще раз прошу извинить... Вначале у меня была мысль: можно ведь ничего и не говорить Егору, мы могли бы просто... ну, общаться, что ли. Как друзья... Да какая уж тут дружба, вы будете на меня смотреть как на вечную опасность...»

«Вот видите. Вы же сами судите трезво... И, кстати, зачем вам, взрослому человеку, это... общение с мальчиком?»

«С братом... Я вам объяснил. Извините, если непонятно... Брат есть брат, тем более что...» — Михаил запнулся.

«Что?» — нетерпеливо сказала она.

«Егору с братом, наверно, все-таки лучше иметь дело, чем с работниками милиции... Я имею в виду не себя... вообще...»

«Он что-то натворил?» — опять быстро спросила Алина Михаевна.

«Натворил?.. По-моему, пока ничего, кроме того, что вы слышали от директора... По крайней мере, я не знаю... Он достаточно умный парень и не будет шутить с законами открыто. Но в конце концов может и не рассчитывать. Сам не влипнет, так дружки втянут».

«Но позвольте... какие дружки? Вы что хотите сказать?»

«Увы, то, что сказал».

«Но... что вы в нем такого увидели? Он не ангел, конечно, но и... Он вполне нормальный мальчик».

«Вполне нормальные не караулят четвером одного».

«Но они же мальчишки! Мало ли что бывает...»

«У мальчишек разве не должно быть совести?» — спросил Михаил. Опять в наушниках возникла шуршащая тишина. И наконец Алина Михаевна произнесла:

«Знаете... молодой человек, на свете все так сложно. Сейчас и взрослые порой готовы съесть четвером одного...»

«Боюсь, что эту мысль Егор усвоил уже достаточно крепко...»

Он тогда шагнул в прихожую, ощутив глубокое отвращение к дальнейшему разговору. Слышно было, как шлепнулись на паркет сброшенные с сапог «лапти». Глухо (видимо, уже далеко от микрофонов) мать Егора сказала:

«Я не хотела вас обидеть. Я... обдумую ваши замечания...»

Кажется, Михаил буркнул в ответ «обдумайте» и затем «до свидания». Но это на пленке уже не записалось. Отпечатался только звук закрывшейся двери. А потом — долгая тишина. Пустая и горько-недоуменная — как то ощущение потери, с которым уходил Михаил из этого дома...

Вдруг ударили по ушам дребезжащие аккорды, и какой-то кретин завыл на тарзаньем языке: «Бы-улы-улы-а, а, а, а-ха-ха...» Видно, Егор проник в комнату и остановил запись...

Михаил, глядя в сторону, отдал Егору наушники.

— Видишь, — сказал Егор с безмятежной улыбкой. — Никакого разглашения тайны. Я все узнал сам.

«И приехал, — подумал Михаил, отгоняя сомнения и досаду. — Приехал же! Какой бы он ни был, как бы ни ершился и ни вредничал, все равно он — здесь. Примчался...»

— Ты не все узнал, — осторожно сказал Михаил. Он остановил в себе желание взять Егора за плечо и придвинуть к себе. — Про отца-то ничего не знаешь... Про того...

— Вот и расскажи, — отозвался Егор непонятным тоном. — Надеюсь, он не был летчик-испытатель?

— Нет... С чего ты взял? И что плохого, если летчик?

— Ничего, кроме вранья. Почему-то сыновьям всегда пудрят мозги. Папа где-нибудь в бегах или в отсидке, а мама историю вяжет: «Он испытывал истребители и героически погиб...»

— Что за чушь ты несешь! Даже из записи ясно, что ничего похожего...

— Да я не про этот случай, а вообще, — буркнул Егор.

— А я «про этот»... Он испытывал не истребители, а подводные аппараты особого назначения, — тяжело сказал Михаил. — Он был их конструктором... погиб он не при испытаниях, а при

стычке с двумя бандитами. В Симферополе... Проводил меня на самолет в аэропорту, сам поехал на вокзал, чтобы электричкой вернуться в Севастополь... А они его, видимо, выслеживали...

Егор не спросил, что за бандиты и зачем выслеживали. Шевельнул ботинком листья и сказал:

— А, правильно. Мать же говорила... Поэтому она и считает, что ты виноват?

— С ее точки зрения, видимо, так, — сумрачно произнес Михаил. — А что она еще говорила?

— Ты разве не всю запись прослушал?

— А... Постой! Ты что же, сам-то с матерью про это не разговаривал?

— Зачем?

— Значит... сразу взял, да и сюда приехал?

— Как видишь, не сразу. Воскресенья дождался.

Старательно уходя от его нагло-равнодушного тона, Михаил спросил со сдержанной заботой:

— А меня сразу отыскал?

— Естественно. По той бумажке.

— Слушай, Егор... А дома-то у тебя знают, где ты?

— До вечера не хватятся, а к десяти я приеду. Отсюда в пять часов электричка идет.

— Как в пять?... А... но это же через два часа!

— Ну и что? До вокзала рукой подать.

— А разве ты... — Михаил совершенно по-дурацки растерялся. — Я думал... Ну, давай хоть на полчаса забегим ко мне!

— Зачем?

— Как зачем? Вообще... С мамой познакомлю. Она же... тетка твоя, сестра отца. Ты не представляешь, как она...

— А зачем? — третий раз спросил Егор и поднял глаза. Спокойные такие глаза. Симпатичный такой паренек Егор Петров.

— Тогда для чего ты приехал? — тихо сказал Михаил.

— Я-то? Уточнить.

— Что именно?

— Как что... Правда ли, что мой папочка — не совсем папочка... Вернее — совсем не папочка.

— И... все?

— А что еще?

— Да-а... — сказал Михаил. И ощутил ту же потерянность, как в конце беседы с Алиной.

Егор снисходительно вздохнул:

— Давай уточним и другое. Ты чего хотел? Младшего родственника, которого надо спасти от плохих компаний? Растить из него достойного строителя БАМа и члена оперотряда?

— Дурак ты, — безнадежно сказал Михаил.

— Ну конечно. Все, кто не приемлет милицейскую мораль, — дураки, — четко произнес Егор.

— А у тебя какая мораль?

— Заканчивай мысль. Скажи, что у меня никакой морали.

— Егор, зачем мы так? — Михаил проговорил это с ощущением, что стучится в дверь, хотя знает, что в запертой комнате никого нет. — Встретились, и будто враги...

— Почему враги? Я к тебе ничего не имею. — Егор встал. — Пойду. Надо еще перекусить до отъезда. Тут какое-то кафе недалеко, с самообслуживанием.

— Постой! — Михаил схватился за соломинку. — Я тебя провожу до вокзала. — И подумал: «Сейчас скажет — зачем?»

Но Егор только молча прошелся глазами по его шинели.

— Ты сиди и обедай, а я заскочу домой, переоденусь, — предложил Михаил. — Это всего полчаса. Надеюсь, не исчезнешь?

— Я не клиент вашего детприемника. Не исчезну.

Интересно, что Егор не возражал, когда Михаил купил билет и сказал, что они поедут вместе. Только пожал плечами:

— Туда и обратно — потеряешь полсуток. Неужели охота?

И вот теперь они сидели в пустом вагоне. И несмотря на все недавние разговоры, Михаил опять думал, что, может быть, не все еще потеряно. Может, приоткроется что-то в этом мальчишке. Если зацепить какую-то струнку, найти нужные слова... Но слов не находилось, и Михаил спросил:

— Пообедал-то нормально?

— Сэнк ю, май сэджант. В соответствии с режимом.

— Скотина ты все-таки, — вздохнул Михаил (вот тебе и «нужные слова»).

— Еще раз благодарю... А почему ты заявил матери, что я обязательно попаду в милицию?

Это был не тот разговор, но хоть какая-то зацепка.

— Объяснить подробно?

— Лучше коротко. Но понятно.

— Постараюсь... Тебе наплевать на людей. Судя по всему — на всех наплевать, кроме своих дружков. А может, и на них...

— Может быть, — вставил Егор.

— Значит, тебе наплевать на законы, по которым люди живут, общаются между собой... Наверно, я коряво выражаюсь...

— Ничего, я улавливаю.

— Ну вот. А раз тебе на них наплевать, ты в любой момент можешь их нарушить.

— Не такой уж я дурак.

— Конечно. Ты знаешь, что нарушать закон — себе дороже. Остап Бендер тоже читал Уголовный кодекс... Но тебя держит в

рамках не совесть, не боязнь кого-то обидеть, а один страх. Точнее, благоразумие (это не так обидно)... Когда этот... это благоразумие однажды не сработает, когда тебе покажется, что можно действовать безнаказанно, ты и загремишь... На этом все гремят. Не только прирожденные преступники, а вообще эгоисты.

— Так... — Егор сел поудобнее. — Теперь развей мысль, что я эгоист.

— Ты что, сам этого не знал?

— Знал, знал... Ну, давай дальше: как «гремят» эгоисты.

— Такие, как ты? Или вообще?

— Вообще. В мировом масштабе.

— Очень просто! — Михаил почувствовал, что заводится, но подумал: плевать. — Ощущения эгоиста какие? «Я — пуп Земли. Остальные — это мое окружение. Питательная среда, из которой я, чтобы благополучно существовать, должен тянуть соки». И тянет. Жулик тянет из карманов, грабитель «трясет» сберкассы... А есть не жулики и не грабители. Вроде бы... Они благопристойны и даже занимают посты. Но главное для них — не работать, а хапать. Причем часто работают неплохо — чтобы лучше хапать. Чтобы *иметь*... И вот отсюда — приписки к планам, фальшивые премии, махинации с квартирами, машины без очереди...

— Как я понимаю, ты имеешь в виду папочку?

— Твоего? — искренне удивился Михаил. — Вовсе нет. Я даже толком не знаю, кто он... Тебе видней.

— Угу... Ну а дальше?

— Что? А!.. Дальше — одинаково. Рано или поздно — свидание со следователем. И полная душевная трагедия. Даже если не гремят за проволоку, а просто летят с поста. Потому что без высокой должности и без возможности копить дальше не видят смысла жизни.

— Это ты мне обещаешь такое будущее?

— А почему бы и нет... Мальчик с «Плэйером».

— Ну-ну, поговори теперь о вещизме, — сказал Егор. — О том, что джинсы и магнитофоны — это плохо и что нечего гордиться иностранными наклейками на заднице, это, мол, не орден. И что заграничные штаны такие сопляки, как я, покупают на папины деньги, а не на заработанные. Или химичат на барахолке. А гордиться надо честно заработанным, тогда ощутишь полное счастье. Ага?

— Подкованный товарищ, — скучным голосом вставил Михаил.

— ...И скажи еще, что вообще не в вещах счастье, а в творческом труде на благо человечества. И что вещи — это тьфу, а есть вечные ценности. Например, музыка Моцарта, поэзия Пушкина, красота родных просторов и ощущение этого... своей нужно-

сти людям. Это наша Классная Роза вещает на собраниях постоянно. А потом мамы из родительского комитета скидываются для нее по праздникам то на импортную кофточку, то на...

— Не знаю насчет вашей Розы, — устало перебил Михаил. — И насчет твоей нужности людям... Это у кого как получится. Но Пушкин-то действительно есть, от этого никуда не денешься.

— А зачем он нужен? Чтобы цитировать «Я помню чудное мгновенье»? И ахать: какая бессмертная поэзия? А меня вот не трогает это «мгновенье». Сто раз читал — и ничего не шлохнулось. Ну, я понимаю, я не дорос...

— Да ты не до Пушкина не дорос, а вообще до человека... Чтобы эти стихи понимать, надо кого-то любить. По-настоящему.

— Я еще не созрел, — ядовито сказал Егор. — Мама от меня все еще журналы папашины прячет, где девицы в мини-купальниках...

— Я не про то. Я вообще про любовь к человеку. Не обязательно к прекрасной незнакомке. К матери, к другу, к брату...

— Мне одна знаменитость сказала, что я никогда не смогу быть братом. Так что тебе рассчитывать не на что...

Михаил сказал, помолчал:

— И подумал сейчас Егор Петров: «Теперь этот тип гордо ответит — а я и не рассчитываю...» Нет, Егорушка, я рассчитывал. Ошибся. Извини... Любви не научишь.

— Это верно, — откликнулся Егор. — Особенно когда учителей полным-полно, а любить... Кого любить-то? И за что?

— Трудный вопрос... А тебя за что любить?

Егор искренне удивился:

— Меня? А я и... не претендую.

— И без того хорошо, да?

— Мне?.. Не знаю, — честно сказал Егор. Потому что рассуждал скорее сам с собой, чем с этим новоявленным братцем-сержантом. — Мне не хорошо и не плохо. Так...

— Вот это уже странно... Плохо ему или хорошо, человек должен знать, — смягчая тон, сказал Михаил.

— А я, представь, не знаю.

— Что так? Раннее разочарование? «Уж не жду от жизни ничего я»?

«А чего я жду, чего хочу?» — подумал Егор и глянул на влажное стекло, за которым совсем потемнело. Он провел по стеклу пальцем, оно скрипнуло.

Правда, чего? Каких радостей в жизни он хочет? Сидеть в компании и балдеть? Но, когда не стало Камы и Шкипа, это потеряло прежний смысл. Из радости превратилось в привычку.

Счастьем тут и не пахнет. А что — счастье? Чтобы появился мопед или даже мотоцикл? Но, честно говоря, Кошаку хватает и чужих. Свой-то надоест через неделю, да и возни с ним полно, а к технике нет у Егора Петрова никакого тяготения... Так в чем же радость? Чтобы увидеть, как кто-то боится тебя и делается униженно-покорным? Но это же на несколько минут...

Егор честно перебрал в голове все свои желания, даже самые тайные. Но их исполнение доставило бы лишь короткое удовольствие — как порция мороженого в жаркий день. А какой большой радости он хочет?

Закатиться в какое-нибудь дальнее путешествие, чтобы видеть всякие чудеса?

Егор вдруг вспомнил, как во время плавания по Волге он увидел среди солнечной шири, под очень синим небом и белыми облаками, полузатопленную колокольню. Она подымалась над плесами сказочно и таинственно. Было в этом что-то от прочитанных в раннем детстве волшебных историй — словно обещание загадок и радостных приключений. И Егор повернулся к матери, чтобы сказать: «Смотри, будто парус над океаном, да?»

Но мать говорила с рыхлой крашеной дамой в атласных штанах и отмахнулась: «Не перебивай, Горик, потом...»

И парус увял, а Горик смутно ощутил, догадался в душе, что сказки, красота, открытия — все, что видишь в дальней дороге, — хороши тогда, когда можешь этим поделиться с другими.

А с кем он мог бы отправиться в дорогу теперь? С Копчиком или Валетом? С Курбаши? Или с этим вот худым, нудно липнущим к нему двоюродным братцем? Воспитатель с сержантскими лычками! Видели мы таких...

Хмурое отвращение к этому совершенно чужому человеку, который лезет в душу, тряхнуло Егора, как крупный озноб.

— Тебе что от меня надо-то? — спросил он в упор.

— Да уже ничего, — устало сказал Михаил и отвернулся. — Ничего... Доеду сейчас до Подлунной, там сяду на обратный поезд... В заколоченный дом не достучишься.

— Давно бы так, — буркнул Егор и подумал: «А мне-то сколько еще пилить до дома...»

Зачем его понесло в Среднекамск? Что хотел узнать, в чем убедиться? И так все было ясно. Сорвался куда-то, идиот...

Нет, в самом деле — зачем? Любопытство? Запоздалое злорадство в адрес отца и матери? Или... надежда на что-то необыкновенное? На что? Может, надеялся, что в слове «погиб» какая-то неясность и настоящий отец жив? Но если и так, что в жизни изменилось бы? Да и не надеялся он на это, не думал даже... И уж меньше всего хотел заполучить в брата такого вот... казенного правдолюбца.

«А я ведь и не узнал ничего толком, — запоздало спохватился

Егор. Но сейчас расспрашивать Михаила было нелепо. — Да и не все ли равно. Пусть...» Последняя мысль была похожа на усталый зевок. Но, несмотря на утомление, злость на Михаила не прошла. А тот вдруг сказал:

— Последний вопрос: я, очевидно, не должен больше напоминать о себе? В родственники не гожусь?

Что-то все же удержало Егора от прямого «да». Он ответил вопросом на вопрос:

— А я тебе разве гожусь? Эгоист, кандидат в тюрьму...

— Егор...

— Да отвяжись ты! — прорвало Егора. — На кой черт ты появился? Не было тебя, и пусть не будет!.. Ну, чего ты на меня так смотришь?!

— Прощаюсь...

На секунду Егор опешил. Потом разозлился еще больше:

— Даже так? Будто с покойником?

— Да я не с тобой прощаюсь, — выдохнул Михаил. — С тобой-то все ясно...

— Ну, с тобой тоже. Терпеть не могу таких.

— «Терпеть не могу»... А кого ты можешь терпеть? Хоть кого-то на свете любишь?

— Никого, — отрезал Егор. — А таких, как ты, тем более... Хоть ты в болоте тони, пальцем бы не пошевелинул.

— Охотно верю.

— Верить или нет, это твое дело, — со злой тоской и совершенно искренне сказал Егор. — А я правду говорю. Понимаешь, мне *все равно*.

Михаил встал, одернул куртку. Явно хотел уйти подальше от Егора. В этот момент ржаво заверещала и отодвинулась тамбурная дверь. В ней показалась необъятная, набитая зелеными и светлыми бутылками авоська.

Ее, прогибаясь от тяжести, вволок в проход между скамьями парень лет восемнадцати — невысокий, в модной бежевой курточке, смуглый, с тонкими усиками. Чем-то похожий на Валета, но повыше. Следом за парнем возникла щетинистая личность в мятой ушанке и замызганном стройбатовском бушлате без погон. Личность обвела медвежьими глазками вагон, остановила их на Михаиле и выговорила:

— Во...

— Погодь, Фатер, — сказал парень, с хрустальным звоном опуская груженую сетку на дрожащий пол. Егор механически отметил, что «фатер» — по-немецки, кажется, «отец», только произносить надо тверже: «Фатэр». Но едва ли мятая личность была отцом парня — ей, несмотря на щетину, немногим за тридцать.

— Чего годить? Во... — Фатер, не спуская глаз с Михаила, шагнул к нему через авоську. — Слышь, кореш, ты докуль едешь?

— А тебе что? — неласково сказал Михаил.

— Ну, ты чё? Я же по-людски к тебе...

— До Подлунной он едет, — подал голос Егор. Не ради этого дядьки, похожего на беглого ээка, а чтобы напомнить Михаилу: не забудь, где хотел сойти.

— В самый тык! — обрадовался Фатер. — Слышь, корешок, нам до Подлунки никак нельзя, обстоятельства, значит... Дай трояк, а стеклотару гребни с собой. В Подлунке-то прямо у станции магазин, там Муська. Знаешь? Она тебе за этот груз полным счетом деньгу отвалит, к битым горлам не прискребется, скажешь: от Фатера. Тут на семь рэ, не мене...

— Отвали, приятель, — рассеянно сказал Михаил.

— Ну, ты чё? Не мужик, да? Без понятия? У меня в хате дружки чахнут без опохмелки, эту муку ты понять можешь?

Михаил молча отошел, сел подальше — за тремя скамейками, с другой стороны прохода. Спиной ко всем.

Парень, прогнувшись, поднял авоську, водрузил ее на край скамьи, где сидел Егор. Мест ему мало, что ли? Вон сколько скамей... Чтобы он не уселся по соседству, Егор демонстративно повернулся боком, прислонился к стенке у окна, а на сиденье рядом с собой поставил ногу — занято, мол.

Парень шевельнул усиками, улыбнулся и уселся там, где недавно сидел Михаил. Потом подвинулся, давая место Фатеру.

«На теплое тянет», — подумал Егор и закрыл глаза. Было холодно в вагоне, но здесь, в углу, нахохлившись и сунув ладони в рукава, он пригрелся. Колесный стук и дребезжанье стали ровнее, уютнее как-то. В них вплеталось бормотанье. И не сразу Егор понял, что это спорят полусшепотом Фатер и его спутник.

Егор поднял веки.

Фатер хотел встать, парень деревянно улыбался и придерживал его за рукав.

— Фатер, кончай, с грузом ноги не сделаем...

Тот тихо матерился, дышал сквозь зубы:

— Пусти... Фатера он, па-адлюка, не знает...

На Егора лишь сейчас тяжело пахнуло водочным духом. Губы Фатера втянулись внутрь, глазки белели.

Егору стало жутковато. Фатер выговорил тяжело:

— Пусти, Федюня... дружок... Фатера не знает, гад... Я... — Он вдруг поднялся пружинисто и мягко. Правую ладонь опустил в карман, левой властно отодвинул все улыбающегося Федюню, трезво и бесшумно шагнул в проход. Егор шевельнулся. Федюня быстро нагнулся к нему, выбросил вперед руку. Из кулака беззвучно скользнуло светлое лезвие ножа-кнопочника. Егор услышал полусшепот:

— Тихо, детка, не чирикай...

— Не чирикаю. Мне до лампочки, — улыбнулся Егор. С по-

ниманием. И с облегчением: его это дело не касалось. Федюня был ничего, даже симпатичный, и действовал разумно. Фатер был, конечно, подонок, но что Егору до него и до Михаила, к которому Фатер мягко шел с рукой в кармане.

Михаил ничего, разумеется, не слышал за грохотом электрички. Фатер шел. Любопытно, что он задумал? Егор смотрел. Туда смотрел, на Фатера и Михаила, а не на нож. Ножа он вовсе не боялся и почти забыл о нем, лишь краем глаза, подсознательно, отмечал у своего живота светлое дрожащее лезвие.

Рука Фатера выскользнула из кармана, блеснул на пальцах металл...

— Счас... — машинально шепнул Егор. Федюня не выдержал, быстро глянул назад. Кулак Егора ударил Федюню по руке выше ножа. Нога Егора стремительно распрямилась, ботинок врезался в бутылки.

ВЕЧЕРНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Продолжение

Дальнейшее произошло молниеносно, и Егор не уловил подробностей. В кино такие дела нарочно показывают замедленно: плавный прыжок, неторопливый замах, перехват, растянутый на долгие секунды взлет человеческого тела... А здесь Фатер и Михаил на миг словно слиплись в тесном объятии, затем — хриплый вскрик, и вот уже Фатер скорчится на коленях, тыкается башкой в тряский пол вагона, а Михаил рвет у него кастет с выкрученной до шеи руки...

— Пусти... сволочь!.. Федюня-а!

Но юный спутник Фатера, забыв о Егоре, забыв про нож в кулаке (или, наоборот, все мгновенно рассчитав), прыгнул через скамью, метнулся в тамбур и... черт его знает, куда сгинул: то ли спасся в других вагонах, то ли сумел раздвинуть наружную автоматическую дверь и выскочил. Поезд в ту минуту замедлял ход, за окнами тихо ехали желтые размытые фонари.

Михаил рывком выволок Фатера на площадку, дождался, когда шипящая дверь разойдется, и пинком выкинул его на платформу безлюдного разъезда.

Сунул в карман трофейный кастет, как-то дурашливо, по-мальчишески отряхнул ладони и оглянулся на Егора (тот и сам не заметил, как выскочил в тамбур).

— Вот так, — вздохнул Михаил. И они вернулись в вагон. Михаил ногой задвинул под скамейку сетку с побитыми бутылками и шапку Фатера. Боковой карман куртки у него тяжело отвисал.

— Покажи игрушку-то, — небрежно сказал Егор. Михаил протянул ему тяжелую никелированную штуку с шипами и отверстиями для пальцев. Предупредил немного виновато:

— Не совсем. Нельзя...

— Больно надо, — хмыкнул Егор, хотя в «таверне» такая вещь, конечно, произвела бы впечатление. Он примерил кастет на пальцы (оказался велик), покачал на ладони.

— Да, припечатал бы он тебе...

— И не говори... — согласился Михаил.

— А у того фраера кнопчик был. Он мне его в пузо...

— Постой... — Глаза у Михаила по-детски распахнулись. — Так ведь он же тебя мог...

— Ну да. Я потому и не чирикал. А ногой в стеклотару...

Михаил помолчал. Потом выдохнул:

— Спасибо, Егорушка... — Он качнул рукой, словно хотел взять Егора за плечо и не решился. На это движение и на «Егорушку» Кошак опять ошетинился. Внутренне. «Думает, что теперь можно в душу лезть?» Эту ошетиженность Михаил, видимо, сразу почувствовал. Они помолчали. Наконец Михаил неловко сказал: — Кастет, однако, давай. Штука уголовная, надо сдать... Жаль, не было времени заняться этим Фатером подробнее...

Они сели на старые места — опять наискосок друг от друга. Егор ежился от холода.

— Может, пойдём в другой вагон? — предложил Михаил.

— Неохота... Ты иди, если мерзнешь.

Михаил насупился. Помолчал минуты две.

— Егор...

— Ну?

— Если бы не ты, я бы, наверно, не успел...

«Не наверно, а точно не успел бы», — подумал Егор.

— В общем, спасибо тебе, — тихо сказал Михаил.

— На здоровье...

Егор почувствовал, что Михаил тоже слегка ошетинился. Давно бы так! А то подезжает то с одной, то с другой стороны.

— Это все тем более ценно, — внятно произнес Михаил, — что недавно было сделано декларативное заявление: «Хоть в боте тони, пальцем не пошевелишь»...

«Не купишь», — устало подумал Егор. И разъяснил, водя пальцем по влажному стеклу:

— А я правду говорил. Честно...

— А чего ж тогда вмешался? Рисковал ведь.

— Не знаю... — откровенно сказал Егор. — Не могу сообразить. — Он спокойно, холодно и без уверток попытался понять: как же это произошло? — Правда... Сидел, смотрел: кто кого? А потом нога сама...

Он еще раз прокрутил в голове все, что случилось. И сказал, не тая недоумения:

— Да, не знаю... Может быть, потому, что ты все-таки брат?

Он увидел, как метнулись в глазах у Михаила радостные огоньки. И отодвинулся в самый угол, отвернулся. Словно опустился перед собой еще одну прочную заслонку. Михаил с благодарностями больше не полез и спросил с насмешливой ноткой:

— А какая такая знаменитость пророчила тебе, что ты не сумеешь быть братом?

— Режиссер один. В кино меня пробовал на чувствительную роль... Александревский.

Михаил подался вперед.

— Как ты сказал?

— Александревский. А что?

— На вашей студии? На местной?

— Ну, не на Мосфильме же.

— Слушай... а может, Александр Ревский?

— Что? — Егор наморщил лоб. — Ну... может быть. Я на слух воспринимал... А какая разница?

— Есть разница... Вернее, совпадение. Александр Яковлевич, бывший Шурка, друг... Анатолия Нечаева.

Егор уловил, что Михаил едва не сказал «твоего отца». Не сказал, сдержался почему-то. Ну и ладно. Егор пожал плечами: друг так друг. Не все ли равно?

— Они в детстве жили в Новотуринске, — объяснил Михаил. — Потом разъехались. А в шестьдесят седьмом году встретились на «Крузенштерне», парусник такой. Ревский был там в бригаде, которая кино снимала, он тогда на Ленфильме работал.

«Он надеется, что сейчас я начну расспрашивать: какое кино?» — подумал Егор. В нем росла досада, что невольно признал родство с Михаилом. И, скривив губы, он лениво спросил:

— Если был на Ленфильме, чего его к нам-то принесло?

— Здесь возможностей больше, самостоятельности. Здесь он зам главного режиссера. И с жильем сразу устроилось, и творческого простору больше...

— Во-во!.. Всем нужен творческий простор. На лишних квадратных метрах. А потом вещизм ругают и говорят о вечных ценностях, о вдохновении...

— Ты же не знаешь этого человека!

— А я не про него, а вообще... Недавно у нас в школе тоже один такой выступал. Как раз когда меня директорша к себе вызвала и случилась наша приятная встреча... Тоже рассуждал, что таланту нужна широкая жилплощадь.

— Ну и что? В чем-то он прав... А кто такой?

— Не знаю фамилии, на начало я опоздал, а с конца ушел. Писатель какой-то... Кстати, тоже о Крузенштерне рассказывал.

Не о корабле, а о самом... Один кретин у нас сказал: «Робинзон Крузен...» — Егор хмуро хихикнул, чтобы заглушить воспоминание о теске-кадетике.

— Жаль, что не знаешь фамилию...

— Какая разница?

— Любопытно. Тут еще одно совпадение. У... твоего отца, у Анатолия, с Крузенштерном очень многое было связано... — Михаил быстро глянул Егору в лицо: может быть, мол, хоть это тебя заинтересует?

— Что... связано? — нехотя сказал Егор.

— Целая история... В детстве он познакомился с одним человеком, тот писал повесть о Крузенштерне. Они ее вместе читали, обсуждали... А потом этот человек умер, а рукопись пропала... Остался у Толика лишь эпилог, да и тот затерялся. Но Толик его помнил наизусть. За две недели до гибели он читал его курсантам на «Крузенштерне».

Михаил вспомнил тот вечер, притихшую толпу слушателей на спардеке, спущенный с рея и высвеченный прожекторами грот-марсель. Голос Толика... А в паузах — цвирканье дальних цикад. И близкое дыхание Аси. И огни рейда, и корабельные запахи, и ощущение города, дремлющего на притихших берегах бухты. И вообще все, что называлось для Гая одним словом — Остров.

Он подумал, как много это значит в жизни для него и как мало — совсем ничего! — для сидящего у вагонного окна отчужденного мальчишки. И беспомощно замолчал.

Егор лениво сказал:

— Недавно о Крузенштерне по телику говорили. Вроде скоро какой-то его юбилей будет.

— В будущем году. Сто восемьдесят лет с начала экспедиции Крузенштерна и Лисянского.

— Ну вот... Значит, и тот писатель решил к юбилею свою повесть накатать... Который в школу приходил.

— Но Курганов-то, знакомый Толика, писал не к юбилею. И книга его была не столько о плавании, сколько вообще...

— Как это «вообще»?

— А вот так. О жизни и смерти.

— Про это — любая книга, — сказал Егор, и такое его высказывание понравилось Михаилу. Ниточка беседы вроде бы потянулась, и он объяснил:

— У Курганова — особенно... На корабле «Надежда» погиб молодой лейтенант, Петр Головачев, и Крузенштерна всю жизнь мучило ощущение вины...

— От чего погиб?

— Сложная история...

Егор промолчал, кажется, выжидательно. И Михаил стал рассказывать о спорах Крузенштерна и Резанова и о том, как мучился, оказавшись в одиночестве, второй лейтенант «Надежды». Егор слушал без особого интереса, но и без равнодушных зевков. Потом сказал:

— Из-за этого и застрелился? Вот дурак.

Михаила покорило.

— Дураком легче всего назвать! А если разобраться, смерть его была честнее многих.

— Как это?

— А вот так! Жизнь и смерть для него были вопросами чести... Сейчас об этом и говорить-то считают смешным. Зато сколько людей мрет от страха! Хватают инфаркты, потому что трясутся за свою карьеру, за накопленное барахло.

— Ты повернул на знакомые рельсы, — сказал Егор. — О вещистве ты уже говорил. О вечных ценностях тоже.

— Ну и послушай еще. Они же вечные...

— А вещи для тебя, значит, совсем тьфу?

— Смотря какие... У Курганова был старый корабельный хронометр, потом он к Толику перешел, а от него ко мне. Такую вещь я ни за что не променяю. Ни на твой «Плэйер», ни на «Волгу», ни на все сокровища.

Егор сказал без насмешки:

— Одному сокровища нужны, другому такой вот хронометр. О чем спорить-то? Живи, как тебе надо, а чего других-то воспитывать?

— Но когда одни живут «как им надо», другие от этого гибнут, как Головачев...

— Кто ж ему велел?

— Никто не велел вроде бы. А равнодушием парня сгубили...

— Тебя бы свести с нашим Редактором, — хмыкнул Егор. — Он раньше все на такие споры лез. Про то, как с равнодушия начинается гибель человечества. На классных часах выступал. Потом, правда, поуменел, но не совсем.

— Что за редактор?

— Да Ямщиков! Тот, которого... который с Копчиком подрался.

— «Тот, которого»... Что-то не дает он тебе покоя, а? — Не надо было касаться опасной темы, но Михаил не утерпел.

— Мне? — вроде бы искренне удивился Егор. — Да катись он...

— Однако ведь не покатылся, — опять не выдержал Михаил. — Излупить вы его могли, а заставить побежать не сумели. Скажешь, не угадал?

Он не ожидал, что это так зацепит Егора. Тот плечом оттолкнул...

нулся от вагонной стенки, наклонился к Михаилу, глянул не-примиримо. Сказал с ухмылкой:

— Угадали, товарищ старший сержант. От милиции ничего не скроешь.

— Далась тебе милиция! Чего ты ее так не любишь?

— А за что вас любить?

— А за что ненавидеть? Какие причины? Может, объяснишь?

Егор сел прямо.

— Ладно... Вот скажи, только не отпирайся: вы же военные люди, все равно что в армии!

— Я и не отпираюсь...

— Вот! Тоже погоны носите, оружие...

— Ну, оружия-то у меня как раз нет, не положено. Разве что на стрельбище в руках подержу.

— Все равно! Вы — военные! А кто ваш враг?

— То есть... Ты что, считаешь, что милиция не нужна?

— Ты не вертись, — поморщился Егор. — «То есть»... Ну, ладно, преступников надо ловить, они убегают, сопротивляются. Даже стреляют иногда... А чего вы с пацанами-то воюете? Ну?

— Я воюю с пацанами? — тихо сказал Михаил.

— И ты, и другие... А разве нет? Вы за нами охотитесь как за врагами. Под конвоем возите, за решетку сажаете... А потом еще кричите на всех перекрестках: «У нас все лучшее — детям!»

— А не так? — огрызнулся Михаил. — Тебе, дитя, чего не хватает в жизни?

— А я не про себя, до меня вы еще не добрались. Я про тех, с кем *вы воюете*...

— А мы не... — начал Михаил.

Егор перебил:

— Ну, давай, давай! Скажи: «Мы не с ними воюем, а за них»...

Слышал уже.

Михаил, который хотел сказать именно это, чертыхнулся. Но тут же зло спросил:

— Нет, это ты *скажи*: а что делать, если бегут?

— Нет, это все-таки ты *скажи*: а почему бегут?

— А откуда я знаю?! — рявкнул Михаил. И сразу обмяк. — Сто причин... От бесприютности бегут, от пьяных матерей и отцов, от страха... А кому-то возжа под хвост попала: романтики захотелось... А кто-то от безысходности: дома затюкали, в школе двойками зарос, просвета нет...

— Как ты все хорошо объяснил.

— А я не все... Вот таким, как ты, например, чего дома не сидится? Романтикой ты вроде не страдаешь, дома все о'кей, полная чаша, мама с папой лелеют единственное чадо...

— Что еще? — негромко спросил Егор.

— Все, — устало выдохнул Михаил.

— Выходит, нельзя было съездить с неожиданным братцем познакомиться?

— Да я не об этом. Я про то, как ты в розовом детстве с дет-приемником познакомился. Оттуда и твоя философия про «войну с детьми»...

— Значит, навел уже справки, — глухо сказал Егор.

— Не наводил я справок! Директриса ваша проболталась между делом! Папаша, мол, слегка погладил мальчика против шерстки, а тот сразу в бега...

— Да? — сказал Егор каким-то стеклянным голосом.

— Что «да»?

— Так и сказала? — Егор вымученно улыбался.

— Н-ну... примерно так... А...

Егор упал головой на спинку скамьи и заколотился в злом мальчишечьем плаче.

— А ты!.. — выкрикнул он. — Знаешь, да?.. Он... погладил... Он... Ты знаешь?!

Михаил видал всякое, но сейчас такого не ожидал. Что это было? Запоздало отозвались нервы на опасную схватку с Фатером и Федюней? Или под холодной скукой и безразличием созрела и прорвалась какая-то боль?

Михаил вскочил, нагнулся над Егором — словно хотел заслонить от всех на свете. Со страхом и жалостью вспомнил, как много лет назад сам исходил такими же рвущими душу слезами. В комнате у Юрки, когда вырвалась правда о Толике и гранате...

— Егорушка... Не надо. Ты что... братишка...

— Ты!.. Он погладил!.. Вы там в милиции... умные!.. А ты!.. Что ты... про меня... знаешь?

ЧЕРНЫЙ ФУТЛЯР

В третьем классе Егор Петров писал сочинение на тему «Мой родной город». Вот что он сочинил:

«Я родился в городе-герое Севастополе. Это очень хороший город, потому что он героический и расположен у моря. Но я его не помню, потому что уехал оттуда, когда мне было два года. Я приехал сюда. Этот город стал мой родной. В нем есть цирк, много кинотеатров и много заводов. Мой папа работает на знаменитом заводе «Электрон». Я наш город очень люблю».

Егор написал то, что полагалось. На самом деле город он не любил. Чего его любить-то? Егор поездил с родителями, повидал города получше. Конечно, привлек Егор к городу, считал его своим, но иногда все вокруг казалось надоевшим.

Еще в первом классе, устав от слякотной осени, Егор спросил у матери, зачем не остались они жить у теплого моря.

Мать объяснила, что врачи запретили отцу плавать на кораблях, а на берегу хорошей работы не было. И дядя Сережа, мамин брат, который потом разбился на мотоцикле, предложил им приехать сюда. На флоте отец был специалистом по электронному оборудованию, ходил на больших грузовых судах. На крупном заводе люди с его специальностью были очень нужны. Все получилось хорошо, квартиру дали почти сразу...

— А в Севастополе, что ли, заводов нету?!

— Таких больших нет, — сказала мама. И добавила непонятно: — А главное, там не было перспективы роста.

Гораздо позже Егор кое-что узнал из услышанных краем уха разговоров, а кое о чем догадался. Дело было не во врачах. Дело было в таможене (есть такая контора, ее работники строго проверяют, не везет ли кто из-за границы что-то запретное). Отец за границу плавал часто, ну и, видать, прихватил оттуда что-то сверх дозволенного. А таможенники, конечно, в крик... Егор догадывался, что «крик» был большой, раз пришлось расстаться и с загранрейсами, и с флотской службой вообще. Судя по всему, папочка сумел развязаться с морской жизнью «по собственному желанию», но оставаться там, где знали эту историю, было нельзя. Какие уж там «перспективы роста»!

Впрочем, отец ничего не проиграл. Специалист он был, видимо, с головой, а «Электрон» расширял производство, людей ценили. И пошел Виктор Романович по служебной лестнице довольно бодро. Тем более что прекрасно знал английский язык, а завод активно налаживал контакты с иностранными фирмами. Через семь лет стал товарищ Петров одним из ведущих инженеров.

К тому времени «Электрон» взялся помогать какой-то индийской промышленной компании, и отцу предложили на год поехать в Индию. С женой. Сперва сказали, что и сына можно взять, но потом выяснилось: в школе, где учатся дети советских специалистов, нет начальных классов. И все уперлось в Егора.

Отцу очень хотелось поехать. Маме тоже. И заморские страны повидать хорошо, и вещи оттуда привозят такие, что охнешь. Причем законно, без всяких осложнений... И мать решилась.

Написали в Молдавию бабушке — мамини маме. Уговорили приехать и год пожить с Егором. До той поры Егор видел бабушку только раз, когда ездили к ней в село под Кишиневом. Тогда бабушка работала в сельской школе, а сейчас была на пенсии.

В августе мать с отцом укатили в страну, где слоны и джунгли и где жил когда-то Маугли. А Горик пошел в третий класс.

Учился он без всяких трудов. Что там, в третьем классе, учить-то, если толстые книжки читал еще дошкольником, задач-

ки решал тоже шутя. Правда, из-за корявых букв и помарок в тетрадях случались тройки, но это беда не великая...

Первые дни скучал Горик по маме, даже плакал вечерами, потом привык. Бабушка, хотя и была раньше учительницей начальных классов, воспитанием Горика не донимала. Иногда ворчала, иногда хлопала даже (он с хохотом увертывался), порой грозила написать папе-маме, но, конечно, не писала. И скоро Горик убедился, что можно читать в кровати до полуночи, можно сказать, что придет с улицы к семи часам, а явиться после девяти. Можно утром захныкать, что болит голова, и бабушка скажет: «Ох ты, чадо непутевое, ладно, не ходи на уроки...» Была бабушка суровая с виду — высокая, черноглазая, крючконосая, но решительным характером не отличалась. Наверно, и в школе ученики ее не очень слушались... В общем, Горик Петров почувствовал волю и даже перестал ходить к учительнице английского языка, с которой занимался уже второй год.

Эта вот неприятность с «англичанкой» особенно расстроила маму, когда она весной прилетела проведать Горика. Получился неприятный разговор (Горик даже поревел немного), но исправить ничего уже было нельзя, а долго ссориться мама не хотела, чтобы не возвращаться в Индию с тяжелым чувством. К тому же оценки у Горика были в порядке, а сам он выглядел подросшим, крепким и загорелым, несмотря на холодную погоду. Видимо, потому, что почти каждый день шастал с ребятами во дворе и соседнем парке. Кстати, там, среди уличной вольницы, все реже звучало его прежнее имя Егорушка и Егорка. Все чаще окликали: «Гошка!»

Наверно, и в самом деле подрос. И учительница говорила теперь не «Горик», а «Егор». И писала в дневнике: «Егор! Тебе надо быть собранней!», «Уважаемая Мария Ионовна! Проследите, пожалуйста, чтобы Егор не опаздывал на первый урок».

Но все это были мелочи. Егор Петров оставался благополучным мальчиком из благополучной семьи. И третий класс окончил тоже благополучно (тройки только по музыке и природоведению).

В начале июня завком выдал сыну инженера Петрова путевку в лагерь «Электроник» на три смены. Жизнь в лагере была хорошая, и лето, которое сперва казалось Гошке бесконечным, вдруг промчалось очень лихо. В середине августа вернулись родители, прикатили в «Электроник» за Гошкой. Вот была радость-то! А когда приехали домой, радости еще добавилось. Потому что, оказывается, мама с папой привезли столько всего!

На Гошкиной кровати лежал большущий тигренок с длинной нейлоновой шерстью, пластмассовыми когтями и почти настоящими, просто живыми глазами (куда Гошка идет, туда и тигре-

нок смотрит). А еще лучше была кожаная жилетка и такие же ковбойские штаны с бахромой и два тяжелых «кольта» (по сравнению с ними те алюминиевые револьверы, что в наших магазинах, — просто тьфу!). Длинные, с крутящимися барабанами, с медными узорами на рукоятках, «кольты» грохали специальными патронами так, что вороны тучами подымались с окрестных топей.

...Но в следующие дни радости поубавилось. Отец услышал, как Гошка препирается с бабушкой из-за неубранной постели, и негромко сказал:

— Да, подразвинулся ты, голубчик. Не пришлось бы принимать спецмеры. Имей в виду — я не Мария Ионовна.

Бабушка поджала губы и вышла из комнаты. А родители разыскали Гошкин прошлогодний дневник, прочитали все учительские записи (будто мать их весной не видела!) и устроили Гошке разнос. Вернее, мать, поглядывая на отца, старательно кричала, а отец коротко и сухо сказал, что «дальше так дело не пойдет».

Гошка недоумевал. Третий класс он считал уже древней эпохой. А неубранная постель... Он и раньше, до бабушки, не раз отлынивал от уборки, и никто из этого большого шума не делал.

Отец словно услышал его мысли.

— Что было раньше — это одно. А сейчас ты уже не младенец. Начнется всякий там переходный возраст — тогда что? Нет уж, дорогой. Или сам будь человеком, или я его из тебя выстрогаю... — А матери сказал: — Не хватало еще, чтобы мне о нем письма на работу посылали. Сейчас есть в школах такая мода.

Гошка не понимал, при чем тут письма на работу. И что отцу от него надо. Вообще отец вернулся какой-то не такой. Будто незнакомый. Худой, загорелый, жесткий. Костистый череп совсем облысел, только на висках волосы курчавились седоватыми пучками. Лицо от этого казалось чужим...

Мать потом объяснила Горику, что сейчас решается важный вопрос: назначать ли отца начальником нового важного цеха. И теперь всякая мелочь может оказаться помехой. Если в партком завода кто-то пожалуется, что сын Петрова ведет себя не так...

— В общем, ты понимаешь...

Но Гошка все равно не понимал и разговор этот скоро забыл. Бабушка уехала, оставив на подоконнике медный кувшин с узорами из эмалевых цветочков — тот, что привезли ей в подарок из далекой Индии. С отцом Гошка виделся мало — тот пропадал на заводе.

Но в ту субботу, в начале сентября, когда соседка привела Гошку за ухо, отец оказался дома.

Соседка была толстая и горластая, работала на складе макулатуры и, говорят, спекулировала книжными талонами. Ребята звали ее Туша, а взрослые — Гром-баба. Гошка с приятелями носился по сараям, и нога у него провалилась сквозь чужую крышу дровяника, застряла. Когда он освободился и слез, Туша была тут как тут, караулила у лестницы...

Отец не стал спорить насчет якобы развороченной крыши. Отдал пятерку за ремонт, но на прощание сказал:

— А за уши, гражданочка, хватать чужих детей не советую. На то у них имеются родители... Пугать чьи-то уши с чемоданными ручками не следует, могут быть неприятности.

Туша вдруг бросила деньги на пол и побагровела.

— Неприятностями пугаешь?! Лучше за своим сопляком смотри! Думаешь, большая шишка и все тебе можно? Я знаю, куда идти, у меня брат в райкоме работает!

Она грохнула дверью, не подняв пятерку.

— Дотанцевался, наследничек... — Отец глянул на Гошку светлыми, какими-то стеклянно-бутылочными глазами.

Гошка и правда пританцовывал: мать, задрав на нем штанину, мазала йодом длинные царапины. Он капризно хныкал:

— Хватит, больно же...

— Это — больно? — усмехнулся отец. Мать испуганно глянула на него. Отец сказал ей: — А что ты предлагаешь?.. Теперь эта груда свинины наделает мне столько пакостей, что не расхлебую до конца года... И все из-за этого сопляка, которого распустила без нас твоя мамаша...

— Как ты можешь... — начала мать.

— Мо-гу, — отчетливо сказал отец. — Вели ему сидеть дома. — И он ушел куда-то с черным трубчатым футляром, в котором иногда носил чертежи.

Вернулся он через полчаса. О чем-то говорил сперва с матерью у себя в комнате. Потом позвал Гошку. Тот, насупившись, но без боязни пришел. Горела розовая настольная лампа. Отец сидел у стола, лицо был в тени. Мать стояла у двери.

— Вот, — деревянным каким-то голосом сказала она. — Довел, значит, отца. Говорили тебе... — И боком ушла из комнаты.

И стало тихо.

Гошка еще ничего не понимал, но ощутил обморочную слабость. Отец сказал «подойди», и он сделал два беспомощных шажка. Отец открыл черный футляр и вытянул из него, положил на стол коричневый гладкий прут. Тут Гошка понял, что его ждет, и заревел. Сразу. Сильно. Будто включили в нем громкий магнитофон.

Никогда Гошку раньше не трогали, разве что мать или бабушка шлепнут шутя. А тут... такое... Вообще-то Гошка терпеть не мог просить прощения и каяться, но сейчас было не до само-

любия. И Гошка старательно выт, что не надо, и что он больше не будет, и что «папа, прости...». И при этом ощущал жуткую раздвоенность: будто один Гошка ревет, изнемогает от ужаса, а второй молча стоит в стороне и громадными от изумления глазами (тоже перепуганный, но безголосый) смотрит на происходящее. И все так неправдоподобно, что у этого второго Гошки под тяжкими глыбами стыда и страха шевелится какое-то щекочущее, как спрятанный под майкой кузнечик, любопытство: что же это такое с ним, с *тем* Гошкой, делают?

А отец ничего не делал. Терпеливо ждал, когда Гошка перестанет реветь. Тот, всхлипывая, замолчал, и отец сказал:

— Теперь повтори все ясно. Что ты там гудел сквозь слезы?

— Не буду больше... — уже обрадованно, с надеждой выдохнул Гошка.

— Что не будешь? Безобразничать?

— Ага...

— Это хорошо. Если не будешь, значит, и порка эта останется последней. Но сейчас без нее не обойтись. Это ведь не за то, что ты *будешь*, а за то, что *уже* сделал. Я тебя предупреждал. Когда человек что-то натворил, должен расплачиваться, такой в жизни закон. Понял?

Гошка ничего не понял. Отец говорил ровно, без всякой злости, но при этом зачем-то вытирал очень белым платком вздрагивающий прут. Потом утвердил его в массивном каменном стакане письменного прибора и встал. Шагнул... Зачем это он?.. Не надо... Обмякший от ужаса Гошка слабо затрепыхался, когда отец взял его за плечо.

...Гошка плакал в своей кровати до ночи. Сперва в голос, потом с шумными всхлипами, потом тихо, со щенячьим поскуливанием. Подходила мать, что-то говорила, он бросил в нее, в предательницу, ботинком. И никогда уже не смог простить, что она в тот страшный вечер не вступилась, выдала его отцу.

Утром встал он поздно. Потерянный, растерзанный, опухший. Совсем другой Гошка, не вчерашний. Со страхом и тоскливым недоумением в душе, со злобой и сумрачным стыдом. Долго умывался, словно хотел соскрести с лица припухлость и следы слез... Отца дома не было. Мать что-то виновато сказала про завтрак. Гошка ответил «иди ты» и вышел во двор.

Утро стояло совсем летнее, но это не обрадовало Гошку. Он вдруг подумал, что вчерашний визг его могли слышать во дворе и сейчас, если кто встретится, начнут спрашивать... Гошка торопливо ушел за дом, на глухую лужайку с репейниками и мусором. Иногда здесь жгли костер, и сейчас валялось много щепок и куски черной смолы — их брали на ближайшей стройке для растопки. На одной щепке то замирала, то билась осенняя коричневая бабочка. Крыло ее прилипло к смоляной крошке. Бес-

помощная бабочка рвалась и трепыхалась. Так же, как вчера бился и трепыхался Гошка... Он смотрел на бабочку полминуты, потом наступил на нее.

С той поры Гошка жил с постоянным страхом, со съезженной душой звереныша. Отца старался избегать, на мать иногда слабо огрызался, но, в общем-то, был сумрачно послушен.

Но живой характер сразу не упрячешь в клетку, и домашняя задвленность по-иному оборачивалась в школе. Гошка больше стал носиться по коридорам, чаще лез в потасовки и в шуточных свалках раздавал удары не шутя. Он мог дико хохотать, но почти не улыбался. Естественно, пошли записи в дневник, и, ознакомившись с ними, Виктор Романович выпорол сына вторично.

На этот раз Гошка сопротивлялся с отчаянием смертника. Дико орал, исцарапал отцу руки, ударил его пяткой в подбородок... Ну, и получил за это сильнее, чем в первый раз.

На следующее утро Гошка вырвал глаза у нейлонового тигренка, который был свидетелем его позора и бессилия, закинул на антресоли ранец и бежал из дома куда глаза глядят.

По несчастному совпадению, когда Гошка стоял за городом на обочине тракта и «голосовал» машинам, чтобы везли его за тридевять земель, мимо ехал с дачи некий Пестухов, который у них дома появлялся иногда по-приятельски, но о котором отец с матерью говорили как о вечном недруге и хитром сопернике: «Ты что, хочешь, чтобы этим Пестухов воспользовался?.. Ну, конечно! Пестухову премия, а тебе все шишки!.. Ты думаешь, Пестухов будет молчать? Сразу побежит к директору...»

Гошка не узнал Пестухова в шляпе и темных очках, а тот Гошку узнал. И когда все открылось, было поздно: незнакомый дядька придерживал бьющегося Гошку на заднем сиденье, а Пестухов гнал «жигуленок» к дому Петровых.

Сдали Гошку перепуганной матери. А в обеденный перерыв появился отец.

— Ну что, мерзавец, добился, чего хотел? Теперь весь завод будет знать...

Он снова достал черный футляр и стянул с надсадно орущего Гошки штаны. И так добавил ко вчерашнему, что Гошка на следующий день не пошел в школу...

...Второй побег, уже в декабре, был продуман Гошкой до мелочей. Во-первых, Гошка знал, куда бежать: к бабушке, в Молдавию. Во-вторых, он понимал, что зайцем не доедешь, и хитро раздобыл билет в кассе предварительной продажи: «Тетенька, у меня мама в магазин ушла, меня оставила постоять, а очередь уже подошла. Купите, пожалуйста, билет до Кишинева, малень-

ким не продают. А то очередь пройдет, нам с мамой опять два часа стоять... Мама должна к бабушке ехать, та очень болеет...»

Одет Гошка был прекрасно, смотрел ясными глазами, тенька поверила...

Бежал Гошка из-за скандала с учительницей музыки. Та хлопнула его по губам, когда он болтал на уроке. Гошка отмахнулся и сильно попал ей по руке. «Музыкантша» поволокла его за шиворот в учительскую. Гошка, уже ослепнув от страха, куснул ее за палец. Из учительской позвонили отцу. Он оказался в командировке. Но, раз уж начался разговор, поведали обо всем отцовскому заместителю. Тот обещал передать. Отец должен был вернуться через четыре дня, и Гошка понял, что ждать нельзя.

...Сняли с поезда Гошку за Среднекамском. Видно, передано было по линии сообщение о беглеце. Сперва Гошка кричал, что не имеет права, он едет законно! Почему его хватают, как преступника? Потом каменно замолчал: умрет, но не скажет, кто он и откуда. Но в кармане нашли свидетельство о рождении, которое Гошка взял с собой (не ехать же без документа!).

Сухая неумолимость милиционеров, казенная безысходность приемника-распределителя потрясли его не меньше, чем отцовские «воспитательные меры». В мире, опутанном телефонными проволоками, пронизанном радиоволнами, в мире, который насквозь, будто аквариум, просматривали безучастные твердые люди в ремнях и погонах, скрыться было негде. И когда пожилой молчаливый старшина вез Гошку домой, тот уже не помышлял о бегстве...

Квартира была заперта. Потом оказалось, что вернувшийся отец был на заводе, а мать металась между милицией и вокзалом. Старшина отвел Гошку в школу. Изнеможенный от страха и усталости, Гошка с рыданиями все рассказал Розе Анатольевне.

Роза Анатольевна работала тогда первый год. Она взяла Гошку за руку и повела домой. Родители оказались уже там. У Розы Анатольевны состоялся с ними разговор. Говорили в кухне, и Гошка все слышал через тонкую дверь ванной, где он отмокал от дорожной грязи и оттаивал от казенного неуютя и ощущения заброшенности. Оттаивал от страха. Потому что теперь-то уж, после того как заступилась учительница, кто его тронет?

Роза Анатольевна говорила решительно и горячо:

— Виктор Романович, неужели вы не понимаете? Дети — они в тысячу раз сложнее самой тонкой электроники! Их так легко сломать! Ну, вы же культурный человек!..

Отец терпеливо (и, кажется, с усмешкой) разъяснял:

— Уважаемая Роза Анатольевна, это же слова. Терминология... Что такое культура? Тоненькая позолота, и даже не позолота, а бронзовая пудра, которая облетает с нас при первом крепком дуновении. И мы опять предстаем перед суровой жиз-

нью такими же хвостатыми и волосатыми, как во времена мамонтов...

— Вы отрицаете роль цивилизации?.. Ну, неужели вы не понимаете, что в наше время бить ребенка — это варварство?!

— О, цивилизация, — добродушно засмеялся отец. — Придумать танки, которые давят живых людей, — это не варварство. Придумать бомбу — не варварство. Травить химикатами и дымом всю матушку-природу — тоже не варварство. А вот выдрать мальчишку — не спеша и аккуратно, для его же пользы, как это делалось во все века, — это, видите ли, потрясение основ...

— Да, потрясение! Для него!.. Ну ладно, Виктор Романович — с головой в своей работе, человек техники, ему не до педагогики. Но вы-то, Алина Михаевна!..

— Да я уж и так и этак, — слабо оправдывалась мать. — И тому и другому... Как между двух огней.

— Ну какие тут «огни»! Это люди! Я не понимаю...

Гошка тоже не понимал. Отец — тот раньше никогда особенно им не занимался и до поездки в Индию был все время как-то в стороне, вечно занятый, усталый. Но мать-то любила Горика, тряслась над ним. Только и слышишь: «Горик, надень тапочки, ты простудишься», хотя простудиться в квартире с толстыми коврами нелегко. Наряжала его, как мальчика из модного журнала, покупала, что ни попросит. И вот — отступилась, выдала с головой. Такая решительная, красивая, большая, вдруг съезжилась перед отцом... Лишь потом начал Гошка понимать, что отца она любила не меньше, чем его, и любовь эта была смешана со страхом. Куда она без отца-то? Чтобы чувствовать себя уверенной, счастливой, нужно ей было ощущать рядом сильного человека с прочной судьбой. А то натерпелась в молодости...

Но эта догадка пришла к Гоше годы спустя. А пока он умиротворенно булькался в теплой воде, потому что отец на прощание добродушно сказал Розе Анатольевне:

— Я ведь вашу ранимую женскую душу тоже понимаю. И не волнуйтесь, пожалуйста, не буду я этого лоботряса наказывать за дурацкое путешествие. Он себя и так уже наказал...

А когда Горик в белой индийской маечке с попугаем на груди и в пестрых японских трусиках бесшумно (на всякий случай) пробирался из ванной, чтобы забраться в постель, отец окликнул его из своей комнаты:

— Постой-ка, турист, у нас ведь еще не все дела кончены... Давай уж сразу, чтобы не откладывать неприятные моменты.

Глаза у отца опять были прозрачно-бутылочные, а под лампой чернел на столе круглый футляр.

Гошка прижался к косяку и дико закричал:

— Ты же говорил!.. Ты обещал!..

— Перестань орать-то, — сказал отец. — Что я обещал? Не

драть тебя за побег. А за историю в школе? А за деньги, которые ты у матери украл и на билет высадил? Ты что же, думаешь, это можно так оставить?.. И не скандалил бы зря, не брыкался. Только себе хуже делаешь и мне работы прибавляешь...

«Работы... — отдалось в мозгу у Гошки. — Работы...»

Это — работа?

Виктор Романович открыл футляр и сказал сыну:

— Подойди.

Гошкина душа обессилела от постоянного страха, безысходности и ожидания боли. Он всхлипнул и, глядя в сторону, сделал на ватных ногах шагжок к отцу... И не стал сопротивляться.

Дальше жизнь пошла серая, тускло-ровная. Страх по-прежнему жил в Гошке, но это был уже привычный страх. Как ни опасайся, а жить-то надо. И без грехов не проживешь. Поэтому пришлось Гошке в четвертом классе еще несколько раз вытерпеть «домашнюю педагогику». Правда, теперь это было не так страшно. То ли отец стегал без лишней суровости, то ли Гошка притерпелся. Впрочем, от визга и слез удержаться он все равно не мог. Да и не старался. Криками он заглушал и боль, и стыд за свою капитуляцию. Стыд этот постоянно сидел в Гошке холодным, скользким сгустком. Раньше, когда Гошка еще сопротивлялся отцу, яростно отбивался, орал зло и непримиримо, он был все-таки прежним Гошкой. С какой-то гордостью, с характером. А теперь он с ммурой покорностью шел, «если надо», в комнату к отцу. Какая уж тут гордость? Вместо нее — этот слизкий комок-студень.

Но сколько так может жить человек? Где спасение?

Гошку спасло от вечной презрительной жалости к самому себе одно открытие.

Однажды в школьном коридоре на него налетел шуплый первоклассник. И не убежал. Отскочил и перепуганно заморгал.

— Ты что, ослеп?! — гаркнул Гошка. Малыш ежился и переступал на месте.

— А ну, подойди, — тихо и зловеще приказал Гошка. И тот робкими шагками приблизился. Чужая покорность сладко согрела Гошке душу. Он воровато усмехнулся, помусолил палец и с оттяжкой вляпал малявке по лбу «лещика». У того сверкнули слезинки, но Гошка опять сказал строгим полупшепотом: — Стой смирно. Еще не все... Если что натворил, надо расплачиваться, это закон жизни, голубчик... — И деловито вляпал еще раз. — Теперь можешь идти.

Догадка, что за свое унижение можно расплачиваться унижением других, была сперва смутной, просто инстинкт какой-то зашевелился. Но скоро Гошка понял: так оно и есть в жизни.

Все перед силой ломаются, зато если свою силу чувствуют, не упустят случая отыграться. Все люди такие. Многие даже трусливее Гошки. Он-то сдался после отчаянной борьбы, а другие хвост поджимают сразу — от первого страха, от первой боли. И не только те, кто его слабее. Более рослые мальчишки, бывало, тоже пасовали перед злым Гошкиным натиском. А если порой Гошка и нарывался на отпор, то что же? Пустяковой боли от драки он не боялся, не такое испробовал.

После четвертого класса опять отправили Гошку в «Электроник». Но жизнь в лагере была уже не та. Вернее, Гошка не тот. Воспитательница говорила старшей вожатой:

— А ведь он из хорошей семьи... Откуда в нынешних детях эта немотивированная жестокость?

Она была не совсем права. Гошка бил только тогда, когда ему не подчинялись. Причинять кому-то боль специально он не старался. Интересно было другое: смотреть, как от страха перед этой болью ребята теряли гордость и делались покорными. Конечно, не все, но Гошка умел выбирать.

Покорных он иногда жалел и даже заступался за них. Так пригрел, привязал к себе семилетнего Витьку Лавочкина из октябрятского отряда. Но потом за что-то разозлился на него, в наказание отвел к болотцу на краю лагеря, бросил туда мячик и велел Витьке лезть за ним. В болотце густо жили пиявки.

— Считаю до десяти, — сказал Гошка. Сел на травку и стал медленно считать. И смотрел, как несчастный Лавочкин боится пиявок, но еще больше боится его, Гошки, и топчется по щиколотку в болотной жиже.

Здесь их застал вожатый Вася. Был Вася вожатым первый раз, а вообще-то работал слесарем на «Электроне». Отличался он простодушием и добротой, но сейчас все понял и разозлился:

— Ты что над человеком издеваешься?

Гошка сказал, что он воспитывает в человеке смелость.

— А если он не хочет, чтобы ее в нем так воспитывали?

— Мало ли чего не хочет. Раз он такой, пускай слушается.

— Ага... — понимающе сказал Вася. — Раз он тебя боится, значит, должен от тебя терпеть. Так?

— А нет, что ли? — нахально спросил Гошка.

— Значит, каждый, кто слабее, должен терпеть?

— А нет, что ли?!

— Очень хорошо. Тогда терпи... — Вася взял Гошку за шиворот и растоптанным кедом отвесил ему два пинка.

Но Гошка знал, от кого надо терпеть, а от кого нет. Законы ему были известны. Он кинулся к начальнику лагеря и поднял такой крик, что пришлось звонить отцу. Отец приехал на своих новых «Жигулях». Он сказал, что Гошка правильно возмущает-

ся: нечего позволять, чтобы всякий тебя пинал. Забрал сына домой, а начальнику пообещал поставить вопрос на завкоме.

Вася загремел из вожатых, и ему вlepили выговор по комсомольской линии. Гошке сказал про это отец. Оба были довольны.

А через неделю Виктор Романович всыпал Гошке за самовольную поездку на городской пляж и позднее возвращение: «Ты хочешь, чтобы у матери был инфаркт, турист бестолковый?»

Отсчитав «туристу» обычные десять горячих, он добавил к ним одиннадцатую, самую хлесткую. А взвывшему с новой силой Гошке объяснил, что раз ему теперь одиннадцать лет, значит, доза соответственно увеличивается.

В пятом классе жизнь была такая же, как и в четвертом (если не считать увеличения отцовской «дозы»). Внешне такая же. Но Гошка, разумеется, изменился. Подрос, это само собой. И умнее стал. Знал, где нахальничать, а где лучше виновато улыбнуться и сказать, что обязательно исправится. Тем более что улыбка была обаятельная, взрослые поначалу таяли... Но ребята не таяли. И в кличке Петенька (от фамилии Петров) уже не было прежней веселой ласковости. Скорее намек был: улыбка улыбкой, а клюв твердый... Впрочем, никто еще тогда Петеньку особенно не боялся. Но никто и не любил. Относились осторожно, знали: оби-ды помнит и сам обиженных не жалеет.

Он, пожалуй, вообще никого не жалел. Кого жалеть-то? И разве его, Гошку, жалели? Пожалуй, лишь коричневую бабочку порой вспоминал он с непонятным смущением. Иногда она снилась Гошке: трепетала на ярко-желтой от солнца щепке. «Ты все равно погибнешь, ты прилипла!» — хотел крикнуть ей Гошка, но не мог. И тихо-тихо было. Но тишина эта состояла из шелеста крыльев и тонкого звона, а в звоне звучала отчаянная мольба: «Не надо! Не надо! Не надо!..» И чтобы оборвать эту мольбу, тоскливый этот звон, Гошка наступал на бабочку опять...

Дома, если глянуть со стороны, все было прекрасно. Осенью получили новую квартиру, в том же районе, у парка, только в многоэтажном корпусе. Три большущие комнаты. Отец сделался наконец начальником экспериментального цеха (который даже и не цех, а, можно сказать, завод в заводе). Пестухов стал у него заместителем. Цех расширяли и перестраивали, дел у отца было невпроворот, но ходил он бодрый, стал добродушнее. Прежние методы воспитания, правда, не забывал, но зато перед Новым годом купил Гошке фотоаппарат «Агат». Поскольку он, Гошка, ухитрился закончить вторую четверть лишь с одной тройкой.

Впрочем, это было высшее достижение пятиклассника Петрова за весь год. Вообще-то он учился теперь очень средне. Отец за тройки не ругал, только пренебрежительно морщился. За

двойки пару раз отлупил. Но теперь делал он это совсем буднично, словно выполнял еще одну общественную нагрузку. Скучным голосом спрашивал: «Ты когда поумнеешь-то?» Гошка сошел, вытирая мокрые глаза. И Виктору Романовичу, наверно, казалось, что к очередной «педагогической акции» Гошка относится, как и он, — будто к неприятной, но неизбежной нагрузке. И не знал он, что холодный сгусток унижительного страха и горечи за свою покорность по-прежнему сидит в Гошке: не дает ничему радоваться без оглядки. И учиться по-человечески не дает, улыбаться честно... Одно облегчение бывает — когда увидишь эту покорность у других. Но оно ведь ненадолго...

Мать, конечно, этого тоже не знала. С отцом они жили душа в душу, квартира была прекрасная, инженер Пестухов не сумел обойти инженера Петрова по служебной лестнице, а гараж для «Жигулей» удалось поставить совсем рядом с домом. На фоне этих удач неприятные эпизоды с Гориком казались не столь уж серьезными. Ну, тройки, ну жалуются иногда в школе. С кем из мальчишек такого не бывает? К тому же дома Горик был послушен, только не мог отучиться ходить по квартире без обуви...

Мать покупала Горика модные свитеры и штаны с этикетками, доставала у знакомой работницы книготорга самые редкие книги (которые Гошка теперь почти не смотрел) и говорила: «Горик, надень тапочки, ты простудишься»...

В июне мать увезла Гошку отдохнуть в Гагры. Отец был по уши занят на заводе, а Горик и Алина Михаевна провели у моря пол-года. Возвращаться Гошка не хотел, но что поделаешь... Зато, когда он вернулся, в жизни его появилась «таверна».

КОШАК

Случилось так. На второй день после приезда из Гагр Гошка с матерью ходил по магазинам, потом она пошла в парикмахерскую, а Горика велела отнести домой сумку с покупками. Гошка домой не спешил, разглядывал в киосках журналы и марки. У одного киоска — закрытого и стоявшего на отшибе — к нему подошли два помятых пацана со слюняво-презрительными ртами и табачным запахом, ростом не выше Гошки. Заухмылялись.

Гошка сразу увидел себя как бы их глазами: этакий воспитанный мальчик, который только что шел с мамой, в новой рубашечке «сафари», в заграничных штанишках — белых спереди и зеленых сзади, с локонами, наивно-улыбчивый и робкий.

Один сказал сквозь зубы старую, как галактика, фразу:

— Десять копеек есть?

— А... зачем? — спросил робкий мальчик Горик, старательно лупая глазами.

Второй пацан гоготнул (хотел басом, но сорвался на сипенье):

— Мы это... из общества охраны животных... На сосиски бродячим кошкам собираем.

Смотри-ка! С потугами на остроумие.

— Нет, ребята, — сказал Горик. — Извините, но у меня только рубль.

Они заржали оба:

— Годится и рубль!

— Правда годится? — наивно спросил Горик. — Я не знал...

«Любитель животных» насупился:

— Ты ваньку не валяй, если хочешь остаться красивым.

— Да нет, я же ничего... — Горик поставил сумку и зашарил в кармане. — Я пожалуйста... Вас такой устроит? — Он протянул на ладони металлический рубль и уронил его мальчишкам под ноги. «Любитель животных» быстро нагнулся. Тут Гошка вделал ему коленом по зубам. Так, что сам охнул — ссадил кожу.

Мальчишка взвизгнул, замычал и завалился на бок. А второму Гошка просто-напросто съездил по уху. Тот присел. Потом оба Гошкиных врага, пригибаясь, побежали. То, что случилось, было выше их понимания.

— Стоп! — Это сказал кто-то громко и весело. Рядом оказались двое. Взрослые парни. Один — с желтой кожей, похожий на японца, другой — русый курчавый здоровяк в тесной тенниске и тугих до потрескивания джинсах. Гошка безошибочно почуял, что двое шпанят и эти парни — одна компания. И понял: не убежать. С тяжелой-то сумкой да с разбитым коленом...

Японец был равнодушно-спокоен, здоровяк улыбался, но голубые глаза его не улыбались. Но и злыми не были. Гошке он сказал добродушно:

— Не робей, камрад... — А тем двоим, что замерли в пятнадцати шагах, scomандовал: — А ну, назад, ханурики...

Беглецы побрели обратно. Покорно так, с опущенными головами. «Любитель животных» зажимал пальцами разбитый рот.

Эта чужая покорность опять доставила Гошке удовольствие, хотя сам он был, можно сказать, в плену.

— Что, Копчик, схлопотал от мальчика? — сказал здоровяк. — Сколько я вас учил: не ловитесь на обманчивую внешность...

Гошку осенило. Иногда, в решительные моменты, на него снисходило этакое вдохновение. Он поднял рубль и вложил в ладонь приятелю Копчику. Потом спокойно сказал здоровяку:

— Они сами виноваты. Попросили бы по-человечески, мне не жалко... — Вынул отглаженный платок, протянул Копчику: — Возьми, а то майку закапаешь...

Копчик — смуглый, костлявый, злой — не оценил Гошкино-

го жеста. Платок отшвырнул, процедил сквозь перемазанные кровью пальцы... Впрочем, что процедил, повторять не стоит. Японец беззвучно засмеялся, показав очень крупные зубы. Здоровяк посмотрел на Копчика с жалостью, а у Гошки спросил:

— Ты, видать, не из здешних мест?

— Почему? — Гошка постарался улыбнуться ясно и безбоязненно. — Я вон там живу, на Тургеневской... Это я с мамашей на югах был, загорел не по-здешнему.

— Я тебя, сволочь, разукрашу совсем не по-здешнему, — плююсь, пообещал Копчик. — Попомнишь, фраер...

— Слова-то какие... — сказал здоровяк. — Ты его, Копчик, не разукрасишь. Ты с ним, хороший мой, помирись. Потому что сейчас мальчик пойдет с нами. Надо ему ногу промыть, а то зараза всякая... Ты, Копчик, зубы-то небось от рождения не чистил.

Все посмотрели на Гошкино колено, перемазанное своей и чужой кровью. Молчаливый Японец наконец заговорил:

— Боба, куда? В «таверну», что ли? А конспирация?

— Не бойсь. Я человека вижу с первого раза...

К городскому парку примыкал Больничный сад. Никакой больницы там уже не было, ее давно перенесли, а старый дом разломали. И флигель в углу сада разломали, но не совсем. Остались две стены с пустыми проемами. Внутри развалин все заросло, но у одной стены сохранился крытый наклонный вход в подвал. В подвале и была «таверна» — приют для компании Бобы Шкипа (так звали здоровяка). Что за компания, какие там интересы и дела, Гошка понял сразу. Но ничуть не смутился. Он давно уже сознавал, что жизнь устроена не так, как в стихах «Что такое хорошо, а что такое плохо».

Боба Шкип был полный командир в «таверне». Все ему подчинялись без всяких возражений. Но эта подчиненность никого не унижала и не тяготила: не нравится — мотай из «таверны» (только держи язык за зубами, а то...). Но никто не уходил.

Шкип был справедливый, надежный. И весь «молодняк» в парковой округе знал, что задевать пацанов, знакомых с Бобой, это все равно что колупать мину...

Шкип был добрый. Он любил собак и пиратские песни. Пел эти песни Эдик Лупин, Японец. Кличка у него была Кама — сокрашенная от Камикадзе. Был он молчаливый, весь в себе какой-то, иногда улыбался непонятно, иногда угрюмо глядел под ноги. Но пел всегда хорошо. Гошка не знал, сам придумывает Кама эти песни или где-то берет. По крайней мере, до встречи с Камой он их не слышал. И потом нигде, кроме «таверны», не слышал тоже.

Кама, глядя перед собой, дергал гитарные струны и очень высоким голосом пел про груженные золотом испанские галеоны, про охотников за песчаными караванами, про «Летучего голландца» и про эскадры, плывущие по Млечному Пути. И еще вот эту:

Мы помнить будем путь в архипелаге,
Где каждый остров был для нас загадкой,
Где воздух был от южных ветров сладкий,
А паруса — тяжелыми от влаги.

Мы шли меж островов, таких различных, —
Необитаемых и многолюдных.
То с крепостей встречали нас салютом,
То с диких мысов залпами картечи.

И снова, желтый глаз луны набычив,
Скрывала ночь от нас ближайший остров,
Не веря, что мы можем плыть так просто —
Не жажда ни крови, ни добычи.

Мы шли меж островов и дни, и ночи,
Не ведая, чего желаем сами,
И кажется — тот путь под парусами
Не кончен до сих пор еще, не кончен...

После песни Кама подолгу молчал, и его не трогали.

Говорили про Каму, что он «колется». То, что он иногда глотает украдкой горсти таблеток, Гошка замечал не раз. Но однажды своими глазами увидел и то, как, притулившись в уголке, Кама достал маленький блестящий шприц и воткнул себе иглу у локтевого сгиба. Шкип тоже это увидел и быстро заслонил Каму от остальных. И сказал вполголоса:

— Камикадзе ты и есть... Хоть бы о матери подумал.

Гошка потом хмуро сказал Шкипу:

— Зачем это он? Ты не разрежай...

— Поздно. Да и вообще... каждому свое на этом свете.

Он был философ, Боба Шкип. Иногда впадал в грустно-размягченное состояние и объяснял Гошке, Копчику и другим «мышатам», что все беды на земле из-за разницы между словом и делом. Мол, в одной старинной книге сказано, что раньше всего было слово. От него всякое начало. У всякой вещи, у всякого дела имелось точное название. А потом люди научились трепаться, пудрить себе и друг другу мозги, и слова уже ничего не значат. Самыми красивыми словами каждый умеет прикрывать все, что ему выгодно. Нету соответствия. Отсюда и пошел большой кавардак (Боба выражался несколько иначе).

— Вот возьмите, например, самое главное, — рассуждал Шкип. — То, что, по словам товарища Дарвина, обезьяну в люди

вывело. То есть труд. Сколько про него кричат! Что, мол, все советские люди ударно трудятся на благо светлого будущего. И ведь правда трудятся... чтобы ударно зарабатывать. А если можно заработать совсем не трудясь — вот оно для нынешнего человека и есть светлое будущее, которое начинается сегодня...

Что-то похожее слышал Гошка и раньше, в разговорах отца с матерью. Таким, кто хотел не работать, а зарабатывать, был, например, Пестухов... А сам папочка? Он что, ради светлого будущего химичил с заграничными шмотками и вляпался на таможне? С тех пор помнит о расплате за головоуятие и сына полирует, чтобы наследничек не повторял отцовского ротозейства.

Гошка верил Бобе Шкипу, потому что ничего специально тот не доказывал, говорил спокойно: хочешь — слушай, хочешь — балдей. И еще потому, что Гошку Боба среди других «мышат» отличал и пригривал. Однажды, разомлев от безопасности и благодарности, Гошка присел к Бобе поближе, даже прислонился к плечу. И зажмурился.

— Во ластится, будто кошка, — с непонятной ревностью заметил Валька Валет. — Сейчас замурлыкает.

— Ну и пусть, — отозвался Боба и пятерней провел по Гошкиным локонам. И Гошка, откликаясь на такое великодушие (а также назло Валету), дурашливо произнес:

— Мур-р-р...

Компания засмеялась, Курбаши снисходительно сказал:

— Кошак и есть...

Так и пошло — Кошак. Сперва в «таверне», а потом на улицу просочилось и даже в школу: «Кошак, привет!», «Кошак, тебя там Копчик из девятой школы спрашивает!», «Кошак, мопед надо? Рупь за час!» В школе, правда, прозвище не прижилось, а по подъездам гуляло. Даже мать услышала однажды. Запереживала:

— Горик, что за глупая кличка?

Он сделал невинные глаза.

— Почему глупая? Еще в детсадишке дразнили: «Гошка-кошка, Гошак-кошак».

Он научился выкручиваться. Иногда хитростью брал, а иногда нахальством. Как, например, с бутылкой.

Один раз, чтобы сделать Бобе подарок, Гошка увел из холодильника бутылку марочного портвейна. Думал — не заметят. После отцовских именин там запас еще оставался изрядный. Бутылку — с похвалами в адрес Кошака — усидели в десять минут. «Мышатам» наливали на дно стакана, по «полпальчика», — для экономии, и чтобы не разбаловались, и чтобы не закосели и тем самым не выдали «таверну». У Гошки от глотка затеплело внутри, он размяк и снова чуть не мурлыкал. Но дома его обожгло ужасом. Отец, больше прежнего стекленея глазами, спросил раздельно:

— Где портвейн?

— Чего? — пискнул Гошка.

— Та-ак... Значит, дошел и до этой ступеньки? Где бутылка?

Гошка переглатывал и пятился.

— Что ж, пошли... — сказал отец.

Тогда Гошка завопил. Громко и от ужаса искренне:

— А я брал?! Какая бутылка?! Ты видел, как я брал?! Чуть что — сразу я, да?! Ты видел?! Ты сперва докажи, а потом лупи! Ты сам говорил: не пойман — не вор!

— Когда это я говорил?

— Сколько раз говорил!

Отец неожиданно усмехнулся:

— Ну ладно... Действительно, доказательств нет. Юридически все чисто.

— Да Мехренцевы, наверно, прихватили с собой, — вмешалась мать. — У Андрея это любимая шутка — на посошок бутылку красть...

— Ладно-ладно... — сказал отец. И ушел.

Гошка оттаял от страха, а на следующий день рассказал парням, как вывернулся от папашы. Уже со смехом. Здесь, в «таверне», было хорошо и вчерашнее казалось нестрашным.

«Таверна» — это был уют, безопасность, отгороженность от мира, где одни люди просто сволочи, а другие притворяются хорошими, а на самом деле все одинаковы. Защищенность от этих людей. И от скуки. От всего, что надоело... Но защитить Кошака от неумолимого отца «таверна» не могла. Жить нужно было украдкой, дома про знакомства свои помалкивать. Даже курить приходилось помаленьку и потом следить, чтобы не дохнуть на отца или мать. И каждый вечер к восьми часам Гошка в «таверне», тоскливо вздыхая, натягивал куртку.

— Ты, Кошак, всегда от самого балдежа линияешь, — сказал однажды лениво-изысканный Валет. — Смотри, даже мышки наши не торопятся. А ты чево-то режим соблюдаешь, как юный пионер.

— У него папаша зверь, — участливо разъяснил Боба Шкип.

— Лупит, что ли? — небрежно поинтересовался Валет.

— А целует, что ли? — хмыкнул Гошка. Здесь он почти не стеснялся, в «таверне» все было на откровенности.

— Ай нехорошо, — сказал пэтэушник Гришка Курбатов — рылтый, рыжий, но прозванный Курбаши за фамилию и любовь к Востоку. — Ай несправедливо. Ты, джигит, не давайся.

— Толку-то... — буркнул Гошка.

Валет покачал головой, а его очередной адъютант — мышонки Банчик — понимающе вздохнул.

— Ай неправильно, — опять сказал Курбаши. — Ну ничего. Эти папашы скребут на свой хребет... У нас в восьмом классе был такой Серега Соломин, Дуня его звали, отец его почти что каждый день бегал для перевоспитания. Ну и довоспитывал. Заимел Дуня однажды кнопочник... Папочка за ремень, а Дуня клинок наружу — шелк. «Отойди, — говорит, — я псих. Харакири тебе сделаю, мне за это ничего не будет...» И для пушей выразительности встает в японскую фигуру, в карате она, кажется, «горбатый дракон» называется...

— Если кнопочник, на фига карате? — заметил Валет.

— Это ты рассуждаешь, а Дуниному папе когда было рассуждать? Он туда-сюда, поорал да отступился... Дуня сам рассказывал. Вот так, джигиты...

«Таверна» похихикала над Дуниным папой, а у Гошки захолодело внутри. От давнего стыда за себя. От первого намека на решение.

И в самом деле — сколько можно так жить?

Два дня он ходил отключенный от всего. Думал. То ругал себя дураком, то отчаянно решался. Потом на уроке труда украл длинную, косо заточенную стамеску — резец для токарного станка по дереву.

И стал жить со взведенной в себе пружинной.

Недели две Гошка с замиранием ждал, когда папаша «прискребется». Матери хамил нарочно при отце, две двойки принес подряд — все сходило. Видимо, инженеру Петрову было в тот производственный период не до педагогики. Гошка наконец истомился так, что пошел на чудовишное нахальство: на глазах у отца уронил в коридоре окурки.

— Это... что еще? — тихо сказал отец.

— Окурки, — тихо сказал Гошка.

— Подними...

Гошка поднял с трудом. Наклоняться мешала засунутая за ремень стамеска. Звенели в Гошке тошнотворно-слабенькие, совсем не героические струнки. Но в душе была решимость.

Он протянул окурки на ладони.

— Это что? — опять спросил отец. Нехорошо и в упор. И чуть ли не со злорадством. Так, по крайней мере, Гошке показалось. И это папашино злорадство дало Гошке злой ответный толчок.

— Это «Родопи», с фильтром, — бесстрастно сказал он.

— Идиот! Я спрашиваю, откуда окурки?!

В коридор испуганно выглянула мать.

— Из кармана, — сказал Гошка и поперхнулся.

— Значит, и до курева докатился? Лина, посмотри... И давно начал?

— Не... То есть давно, еще в лагере, в том году, но я поменьше... — Гошка ощутил, как глубоко-глубоко в нем шевельнулась усмешка.

Отец заморгал:

— Ты... что, заболел, может? Такие вещи говоришь!

— А какие? — через силу, но ровно спросил Гошка. — Ты же сам требуешь: всегда только правду...

— Та-ак... Вот какая, значит, правда... Мало, значит, я тебя... Ладно, пошли.

— Витя... Горик... — сказала мать.

— Пошли... — помолчав, сказал Гошка. В груди разрасталась обморочная пустота.

В пасмурной комнате отец включил розовую лампу и достал из-за стола ненавистную черную трубу с крышечкой. И Гошка изумился своему внезапному спокойствию. Тихо и ясно вдруг стало — как на пустой летней улице ранним-ранним утром.

— Ну? — сказал отец.

— Сейчас, — выдохнул Гошка. Медленно поднял на животе свитер. Достал стамеску. И проговорил шепотом: — Не подходи...

Отцовское лицо задвигалось, как резиновое. Пошло складками, сморщилось, перекошилось. И опять стало прежним. Только глаза остекленели сильнее. Отец нелепо хохотнул:

— Ты... сдурел? Кретин...

— Не подходи... — сказал Гошка ясно и отчетливо. — Хватит! — Подумал и добавил: — Она как бритва.

— Да ты!.. Сопляк!! — Отец задергался. — Я тебя... Бандит! На отца?! Да я тебя с твоей железкой!..

— А что ты... меня? — опять осипнув, сказал Гошка. — Скрутишь, да? Ну и что? До смерти не убьешь, отвечать придется. А я тебя все равно... потом... Хоть где... Когда спать будешь... Мне все равно...

— Гад! В колонию хочешь?!

— А мне все равно. — Гошка коротко засмеялся. Потом крикнул с прорвавшейся снова чистотой в голосе: — Мне хуже, чем теперь, не будет! А ты... ты лучше не подходи! Никогда!

Он заставил себя смотреть в глаза отца. Так охотники держат взглядом наступающего зверя. И глаза Виктора Романовича нерешительно помутнели. Но ответил он пренебрежительно:

— Сосунок... Ты читал у Лондона рассказ «Убить человека»? Думаешь, это легко?

— А мне легко?! Терпеть от тебя!.. Ты... А я убивать и не буду! Я твою машину искорежу! Вот! — Радостное вдохновение осенило Гошку. — «Жигуля» твоего зас... Изрублю, издеру! Он же тебе жизни дороже!! Тебя инфаркт хватит! Ну что?.. Я это сделаю! И гараж подожгу, и дом! В колонию меня?! А тебя куда?! С работы, из партии, со всех мест! За такого сына тебя самого в тюрьму! В Севастополе выкрутился, здесь не выйдет!

Отцовское лицо опять резиново съезжилось.

— Ах ты... Лина! Ты послушай, что этот уголовник...

— Сам уголовник! — Гошка заплакал, но без страха, без стыда за эти слезы, а как-то весело и открыто. — Сам ты... фашист! Как ты меня... Хватит! Лучше не суйся! Понял?!

Отец качнулся вперед, но будто на колючки наткнулся.

— Ну, что?! — кипел светлыми слезами Гошка. — Боишься?! На, возьми меня! Попробуй! — Он раскинул руки. Стамеска торчала из правого кулака, будто меч гладиатора.

Отец метнулся к двери, чуть не сбил возникшую на пороге мать, завизжал в прихожей:

— Вырастили бандита!.. Я сейчас в милицию! Позвоню!

— Никуда ты не позвонишь! — орал вслед Гошка. — Самому хуже будет! Ты трус! Только на беззащитных можешь! А я больше не боюсь! Я теперь все, что хочу, буду! Курить буду! Водку пить! Воровать буду! Тебе назло! Буду!.. — Яростная радость освобождения выхлестывала из него этими криками и слезами...

Потом он отдышался, вытер мокрое лицо подолом свитера, всадил сквозь ковер стамеску в твердую паркетину и сел в отцовское кресло. Ошеренно улыбаясь, глядел в открытую дверь, мимо матери. Та все еще испуганно стояла на пороге.

— Витя... Горик, — сказала она. — Да успокойтесь же вы... Горик, надень тапочки, ты простудишься...

...С этого дня началась для Гошки радостная свобода. Отец как бы исчез. Если они и встречались иногда в большой квартире, то не смотрели друг на друга. Уходил отец рано, приходил поздно. Мать была осторожно-молчаливая и смотрела вопросительными-испуганными глазами. Гошка жил как хотел.

Впрочем, ничего страшного он не делал. Если и курил, то по-прежнему немного и не открыто. И, конечно, водку не пил и не воровал. Разве что с уроков линиял чаще да из «таверны» приходил позже. Радость была не в том, чтобы делать что-то запретное. Она была в освобождении, в отсутствии страха. Гошка заново почувствовал, как это хорошо — жить. Он, как в прежние годы, накинулся на книги и даже стал уверенней учиться. То есть двоек у него сделалось даже больше, но зато не в пример больше стало и пятерок. Потому что иногда он плевал на уроки, зато часто, поддавись вдохновению, расщелкивал самые трудные задачки и запросто делал английские переводы. А устные предметы Гошка и не учил — просто все запоминал на уроках.

Успехи шестиклассника Петрова отметила на родительском собрании Классная Роза. И только седой учитель физики Федор Иванович, который с шестого класса всем говорил «вы», сказал однажды Гошке:

— Вы, Петров, бросаете мне свои знания, как кость надоедливому псу...

Гошка дерзко хмыкнул и пожал плечами.

...Потом Гошка узнал, что отец бегал в школу, жаловался на него Классной Розе. До чего, мол, дошло: руку на отца поднял! Зачем Виктор Романович сделал такую глупость? Не побоялся даже вынести «сор из избы»! От великой растерянности, что ли? Или был в этом какой-то хитрый расчет?

Какой там состоялся разговор, Гошка не знал. Мог только догадываться, что Классная Роза с отцом не церемонилась: он, мол, жнет, что посеял. Школа виновата? А когда школа вмешивалась и советовала, вы что отвечали, дорогой Виктор Романович?

Впрочем, теперь Роза Анатольевна была уже не та наивная выпускница пединститута. Речи о достоинстве личности, благородстве и гуманизме произносила по-прежнему, но знала меру. И умела при случае наорать, как полагается, и вытащить за шиворот в коридор того, кто достоинство своей личности понимал неверно. В школе ее уже ценили, считали, что есть опыт.

Видимо, этот опыт и подсказал Розе, что беседовать с Гошкой-Петенькой про его конфликт с отцом пока не следует, надо подождать, посмотреть. И болтать об этом деле в учительской тоже пока не стоит. Виктор Романович Петров — человек известный и полезный, зачем его подводить...

В состоянии «творческого подъема» прожил Гошка до конца учебного года. Потом пришло лето с Сочами и путешествием по Волге. А к осени Гошка ощутил, что прежней радости жизни уже нет. Ну, начало школьных дней, оно никого, конечно, не радует. Но дело не в этом. Как-то все приелось Гошке. Прежние дни чаще стали приходить на память. Воспоминания о своей слабости можно было заглушить лишь одним: доказать себе, что другие еще слабее. И Гошка доказывал. Он умел делать это хитро, без свидетелей.

Осень была серая, как все осени. А тут еще умер Кама...

Он умер в какой-то больнице, где лечат наркоманов. Говорили даже, что не просто умер, а полоснул по венам стеклом.

Компания сидела в «таверне» молчаливо и невесело. Боба Шкип, Курбаши, Валет, длинный глупый Сонечка, Змей, Копчик, его приятель Пудель и несколько «мышат». Гошка-то, конечно, давно уже не был «мышонком». Кошак, он и есть Кошак...

Гитара Камы блестела на стене от яркой лампочки.

— Что, Кошачок, жалко Каму? — спросил Шкип и потянулся.

— Жалко, что петь будет некому, — вздохнул Гошка.

Шкип сказал скучным голосом:

— Как узнаю, кто еще этим делом балуется, таблетками там,

или анашой, или прочей дрянью, убью сразу, чтоб не мучился. Под полный срок пойду, но это сделаю...

«Под срок» Шкип пошел за другое. В ноябре, перед самым уходом в армию. За дело, связанное с товарными вагонами на запасных путях. В вагонах были магнитофоны. Шкип «ходил за магнами» с какими-то большими парнями, к «таверне» эта операция отношения не имела. Шкип ничего о «таверне» следователям не сказал, беда ее обошла. Но без Шкипа и без Камы стало уже не так.

Главным сделался Курбаши. Он был ничего парень, приятель Шкипа, но прежнего уюта и радости в «таверне» сохранить не умел. Вместо гитары теперь базлал и дребезжал кассетник. Нескольким раз случались драки (при Шкипе это было немыслимо). Меньше стало разговоров «про жизнь», больше и злее резались в карты. Гошка, правда, не резался, себе дороже. Однажды он продал Валету полтора червонца, быстро расплатился, но сказал:

— Все, джигиты, Кошак в такие игрушки больше не играет.

Не получилась у него и другая «игра» — та, против которой предупреждал Шкип.

Теперь-то Шкипа не было, и потому длинный Сонечка и Пудель однажды при Гошке и двух «мышатах» достали таблетки и, хихикая, предложили побалдеть. Объяснили, какой прекрасной становится при этом жизнь. У Гошки на душе была пустая скукота, и он (а, черт с ними, один-то раз!) кинул в рот пять «кружочков». А через несколько минут выскочил наружу. В темном углу, среди засохших репейников, его долго выворачивало наизнанку...

А Сонечка и Пудель правда забалдели, тепло размякли. В таком виде их и застали Курбаши и Валет. Они при онемевших от страха «мышатах» обстоятельно, в кровь, избили двух «любителей кайфа». Курбаши очень опасался, что Сонечка и Пудель, «увлекшись этим делом, провалят явку, раньше, чем с помощью Аллаха, откинут копыта». А Валет больше всего боялся, что таблетками начнут баловаться Баньчик, Позвонок, Липа, новоявленный Пуля и другая мелкота. У него к «мышатам» был свой интерес, он хотел «чистоты кадров»...

Про Кошака никто ничего не узнал. А Копчику, у которого, кажется, тоже была «морда в пуху», Курбаши однажды пообещал:

— Ай, ножки поотрываю, Копчик-джан...

Тот заверещал:

— Ты не пугай! Я знаешь какой пуганый! — Он иногда срывался на такие истерики, что лучше плюнуть. Курбаши плюнул.

Гошка, позевывая, смотрел на все это со стороны. Курбаши встретился с ним глазами.

— А ты, Кошачок... Аллах тебя знает. Все по краешку ходишь, на полуотколе. Ай, нехорошо.

— Все хорошо, — дипломатично улыбнулся Гошка. — Просто я Кошак. А кошки всегда гуляют сами по себе.

— Не кошки, а кошки, — подал голос уже успокоившийся Копчик. — Это мультик такой есть.

— В мультике кошка, а у Киплинга в оригинале Кот, — разъярил Гошка.

Копчик, не слыхавший о Киплинге и не знавший, что такое оригинал, поглядел с насмешливой уважительностью:

— Интелгенция...

А на интеллигентную семью Петровых незаметно снизили мир и благоденствие. Как-то между делом Алина Михаевна сказала мужу и сыну:

— Не надоело вам сычами друг на друга глазеть?

Бодро так сказала, полушутя. Отец отмахнулся с деланой сердитостью:

— У меня с третьим блоком такой провал, что я на весь белый свет так смотрю. Не сычом, а тигром лютым.

Гошка, не знающий теперь страха перед отцом, понимал, что в жизни из всего надо получать свой интерес.

— Да отстроишь ты этот блок. И опять премию получишь. Небось немалую, — сказал он небрежно.

Отец глянул искоса:

— А тебе что моя премия? На сигареты не хватает?

— Я, между прочим, давно завязал, хоть у кого спроси, — уверенно соврал Гошка. — А для нормального развития современного подростка нужен мопед. У любого пятиклассника есть, а я...

— Ну уж нет! — взвинулась мать. — Все, что угодно, а мопед — через мой труп! Я не хочу, чтобы Горик, как Сергей...

— А может быть, все-таки... — примирительно начал отец.

— Ни-ка-ких мопедов! Вы смерти моей хотите?

Гошка знал, что в некоторых случаях с матерью спорить — все равно что головой о рельсу.

— Хоть кассетник приличный тогда... — буркнул он.

Алина Михаевна сразу успокоилась:

— Это другое дело... Горик, надень тапочки, ты простудишься.

— Да в тапочках я, в тапочках! — заорал в досаде Гошка. — Не видишь, что ли?!

— Ты что орешь на мать! — закричал в свою очередь отец. Но как-то не по-настоящему.

Эта размолвка не помешала дальнейшему миру. Словно все пришли к молчаливому согласию, что прошлое ворошить ни к

чему, так как Горик поумнел, отец подобрел и, слава Богу, все теперь хорошо. Гошка охотно принял «условия игры». Он понимал: чтобы не было лишних осложнений, Кошаком надо быть в «таверне» и на улице, можно иногда и в школе, а дома следует оставаться Гориком, хотя и ершистым (что вы хотите, переходный возраст).

Время шло. Отец строил цех, получал премии и читал про себя в областной газете. Мать занималась квартирой. Пестухов строил козни и приходил иногда в гости к Петровым. Они с отцом на кухне по-свойски угощались коньячком. На Гошку Пестухов смотрел безразлично-ласково и делал вид, что случая на дороге не помнит. Закусывал и говорил:

— Вы, Алина Михаевна, не просто женщина, а научная фантастика. Вопреки неумолимому течению времени, хорошеете с каждым днем... Ох, Вик-Романыч, уведу я, смотри, у тебя жену, я ведь тебя моложе на целый год. И холостой-разведенный...

Мать розовела.

— Я вам, Андрей Данилович, за такие разговоры не дам больше ни капли. Вам вредно... Горик, а ты не слушай взрослые разговоры, иди надень лучше тапочки...

Конечно, ничего этого Егор не рассказал Михаилу. Он только вскрикивал, не сдерживая плача и не стыдясь:

— Ты знаешь, да?! Что ты про меня знаешь?! Как он меня лупил, как я жить боялся!.. И бежать некуда!.. Из-за твоей милиции... Ты хоть знаешь, что такое беспомощность?! Когда ты как заяц загнанный... Все хорошие, все речи говорят, все воспитывают! А сами!..

Михаил знал, что такие слезы не остановить. Пусть выльются до конца. Он сидел рядом, держал руку на трясущейся спине Егора и терпеливо молчал.

Он многое понял из отчаянных выкриков Егора. И думал, что теперь, пожалуй, можно будет рассказать Егору и о своих слезах — о тех, что много лет назад рванулись однажды у него от безудержного горя и нестерпимой вины. И о том, как беззаботный мальчишка Гай превратился в неулыбчивого подростка с запекшимся рубцом на душе. Как неуходящее сознание этой вины, тоска по Толику и по тому Острову детства, который он потерял, сплелись в клубок и клубок этот не давал дышать...

Правда, тогда он не был один. Ему пытались помочь. Инженер Тасманов прислал письмо — сухое, официальное и с требованием сжечь по прочтении. В письме излагалась выдержка из протокола секретного следствия; из нее делалось ясно, что убийцы Анатолия Нечаева встретили его на вокзале не случайно, а выслеживали давно и планомерно, ибо действовали по заданию

западных служб, заинтересованных в срыве испытаний нового советского аппарата. Спасибо Тасманову. Гай сжег письмо и долго жил с горьким облегчением, с тем чувством, которое испытывают маленькие дети после безутешных слез, когда будто заново смотрят на окружающий мир. И печаль Гая была уже со светлыми проблесками, когда он в разных кинотеатрах и клубах снова и снова смотрел «Корабли в Лиссе».

И лишь через год, когда он сделался взрослее и понятливее, первый раз пришло сомнение: а что, если Тасманов просто-напросто спасал его от отчаяния?

Было письмо и от Аси. Она (и как только сумела) достала заверенную справку, что в первой декаде сентября 1967 года Севастопольский автовокзал не производил продажу обратных билетов для симферопольского маршрута.

Но тогда уже Гай понимал, что дело не в потерянном билете.

Нет, самой лучшей была все-таки помощь Юрки. Его совет: «Гай, дерись!»

Драться надо было со всякими гадами. С такими, какие убили Толика. И вообще со всякой нечистью. Чтобы меньше было слез на душе и чтобы жить без вечного укора. Чтобы не прятать глаза от Аси и Сережки Снежка и свободно ходить по улицам у моря, когда приезжаешь в Севастополь. Чтобы не бояться подойти к могиле, на которой красный от морской ржавчины якорь Холла и поднятый со дна моря обломок мраморной колонны — на нем выбили слова: «Инженер-конструктор Анатолий Сергеевич Нечаев. 15 мая 1937 г. — 9 сентября 1967 г.».

Рассказать Егору, как он, Гай, дрался... Как щуплый интеллигентный мальчик, самый младший в оперотряде, очертя голову кидался на пьяных бандитов и его с трудом успевали выхватить из свалки и заслонить. Как вместо института пошел на завод фрезеровщиком и пробился в аэроклуб, чтобы попасть в ВДВ — десантникам в милицейское училище была самая прямая дорога. Была бы... Если бы не тот последний прыжок и полгода госпиталя...

Он все-таки дрался: с собой, со своей болью, с теми, кто говорил: «Молодой человек, ну какая милиция с вашим-то здоровьем...» Лишь в Москве сухой, изрезанный морщинами, как шрамами, генерал-майор выслушал его историю, не перебивая, и сказал вполголоса: «Ну, давай, сынок...» И подписал направление в школу милицейских сержантов...

А после школы не было уже ни опергруппы, ни патрулей, ничего похожего на бой. Был детский приемник-распределитель, и Михаил, вначале возмущившись таким назначением, не написал потом ни одного рапорта о переводе. Какой смысл был жаловаться на судьбу, когда в первый же день увидел Михаил сотню пацанов, с которыми судьба обошлась не в пример суровой и не-

справедливой. Издевательски... Здесь тоже надо было драться... С кем? Не с этими же ребятами! Значит, с теми, кто их сделал такими? А как?..

Рассказать Егору об отчаянии? О нестерпимом чувстве вины, когда везешь одиннадцатилетнего мальчишку в спецшколу, которая — что бы там ни говорили — тюрьма для детей? О беспомощности, когда не знаешь, как им всем помочь, как защитить? О страхе, когда ловишь себя на невольном озлоблении?

Он ничего о себе рассказать не смог. Потому что Егор, успокаиваясь, снова твердел. Перестал всхлипать, страхнул со спины ладонь Михаила, придвинулся к черному окну.

— Я же ничего такого не знал, — тихо сказал Михаил.

— Ну и ладно, — буркнул Егор.

— Не сердись...

— Да больно мне надо сердиться... Ничего мне не надо...

Они давно уже проехали Подлунную, и город был недалеко. Михаил достал записную книжку и ручку.

— Егор... Я дам тебе свой домашний адрес и телефон. Мало ли что...

— Что «мало ли что»? — не повернувшись, отозвался тот.

— Я понимаю, что такой брат, как я, в твоих глазах не подарок. Но вдруг пригожусь...

— Да не в тебе дело...

— А в ком?

Егор, не стыдясь мокрого лица, глянул прямо на Михаила.

— Ты думаешь, если я вот так раскис... если меня прорвало, значит, я сделался такой, как тебе надо?

— А мне тебя любого надо, — осторожно сказал Михаил.

— Зачем?.. Мать правильно сказала: это же случайная встреча. Нечаянно сошлись, так же и разойдемся.

— Все-таки возьми листок.

Егор пожал плечами и взял.

— А еще... — Михаил говорил с неловкостью, но упрямо. —

Если я вдруг когда-нибудь позвоню, не рычи на меня, пожалуйста. И не разговаривай, как с сотрудником милиции...

И Егор вдруг улыбнулся. Чуть-чуть. Может, просто так, чтобы отвязаться. Но эта короткая улыбка оплатила Михаилу все недавние дни.

Они сошли на перрон. Опять прояснило, было холодно, среди фонарей дрожала зябкая, но яркая звезда. Егор нетерпеливо затоптался. Но Михаил удержал его:

— А насчет случайности нашей встречи ты не прав. Наобо-

рот, удивительно, что не встретились раньше... Когда берут ребят на студию, записывают данные родителей, и странно, что Ревский не обратил внимания на имя: Алина Михаевна...

— Он ничего не записывал, у него помощница была.

— И еще... Ты уж не сердись, но я не раз ворошил в приемнике дела прошлых лет и тоже мог наткнуться на твои анкетные данные...

Егор напрягся, и Михаил торопливо сказал:

— Но главное даже не в этом.

— В чем еще?

— Видишь ли... Ты не подумай, что я в приметы верю или что-то подобное. Просто есть какая-то закономерность. Я до конца не разобрался, но есть...

Егор нетерпеливо молчал.

— Я говорю о Крузенштерне, — с некоторым смущением сказал Михаил. — Будто он до сих пор... ну, что-то решает в нашей жизни, как-то сводит всех нас... Ведь ты из-за встречи с писателем задержался в школе, и поэтому мы встретились у директора. А писатель-то рассказывал о Крузенштерне...

— Он мог рассказывать о чем угодно, — насупленно отозвался Егор.

— Да, пожалуй... Ты сейчас домой?

— Куда же еще...

— А я в кассу за обратным билетом. Пошли.

Они двинулись внутрь вокзала.

— Я все-таки позвоню тебе, когда приеду снова, — с мягким нажимом сказал Михаил. — Надо о многом поговорить. Не бойся, не с воспитательной целью... И хорошо бы посмотреть один фильм...

— Терпеть не могу кино, — сказал Егор.

— Я не про всякое кино... Ладно, пока...

Михаил протянул руку, и Егор вяло дал свою. По ее движению Михаил с досадой ощутил, как Егору хочется скорее уйти.

Михаил не знал, что нетерпеливость Егора вызвана самой прозаической причиной. Какие олухи придумали поезд, который идет почти пять часов, а вагоны без туалетов?

И все же Егор на секунду оглянулся. Потом словно испугался этого и затерялся в толпе.

Вторая часть

ПОРОГ

КИНО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Егор соврал, когда сказал Михаилу, что терпеть не может кино. Смотреть некоторые фильмы он любил. Причем фильмы, казалось бы, для Кошака совершенно не подходящие. «Таверна» полегла бы от смеха, если бы там узнали. Егор стеснялся этой слабости даже перед собой.

Фильмы были слюнявые, он сам это понимал. Часто очень старые и совсем детские. «Старик Хоттабыч», «Кыш и Двапортфеля», «Внимание, черепаха!», «Денискины истории», «Тайна волшебной двери»... Иногда это были сказки, иногда вроде бы «про настоящую жизнь» — все равно на экране происходило то, чего на самом деле не бывает. Там, среди разноцветных домов, по очень зеленой траве, под необычайно синим небом, ходили добрые волшебники и другие неправдоподобные люди: улыбочивые учительницы, трогательно заботливые папы и мамы и ясноглазые мальчики и девочки. С этими мальчиками и девочками происходили смешные и поучительные приключения, которые сами по себе Егора не волновали. Его привлекал воздух и свет этих бесхитростных кинолент, беззаботность, разноцветная праздничность, ясная простота в отношениях между героями.

Когда удавалось выловить в киноафише название такого фильма, Егор воровато усмехался, поднимал воротник, натягивал поглубже шапку и ехал в дальний кинотеатр или клуб. Ехал, хотя знал, что уйдет из кино с ощущением еще одного обмана. Даже с тоской. Возможно, это была печаль по той жизни, когда мир казался действительно разноцветным и добрым.

Печаль о времени, когда был Горнист...

Егорка увидел его, когда впервые приехал в «Электроник».

Горнист будил ребят по утрам. Растрепанный после сна, босой, он выскакивал на влажное от росы крыльцо, торопливо заправлял майку в трусики, весело шурился и вскидывал трубу. На серебряном раструбе загорался мохнатый ступок нестерпимо яркого солнца, стреляющий горячими искрами. Сигнал Горниста был не привычная «побудка», а длинный, переливчатый. Бодрый и в то же время ласковый какой-то. Словно этот трубач — конопатый, большеротый Игорек — подбежал к Егоркиной кровати, смеется и треплет его по плечу...

Бывало, что Егорка просыпался раньше всех в палате, садился на подоконник и ждал, когда Игорек выпрыгнет на крыльцо и заиграет. Так ждал, что внутри замирало. Это были сладкие минуты ожидания сказки и тайного восторга.

Егорка млеет от спрятанной в душе любви к Горнисту и, конечно, мечтал с ним подружиться. Но Игорек был старше, вокруг него всегда кружился рой веселых приятелей. Ладно, пусть. Егорка был счастлив и тем, если трубач Игорек замечал его мимоходом и улыбался на бегу или говорил несколько слов...

Потом Горика Петрова родители увезли из «Электроника», и скоро случилось то, что зачеркнуло прежние радости.

На следующий год «Электроник» был уже не тот. И сигналы горна, записанные на пленку, разлетались из ревуших динамиков. А Игорья не было.

А если бы он и оказался снова, то что?..

Все это случилось давным-давно, в младенческие годы. Однако вспоминалось иногда. Порой вспыхнет солнце на оконном стекле или пряжке у сумки — и словно утренняя мелодия пробьется сквозь серую монотонность дней... Но вспышка, она и есть вспышка. Миг. А потом — тяжесть на душе какая-то. Впрочем, недолго. Так же, как грусть после разноцветной киносказки...

Кино называлось «Девочка и крокодил» и, кажется, рассказывало про забавные поиски сбежавших откуда-то зверей. Хотя, возможно, Егор путал с фильмом «Украли зебру» или «Слон и веревочка». Неважно... Егор в тряске и тесном автобусе поехал на окраину, в Клуб текстильщиков. За стеклами проползал осенний день с голыми и мокрыми тополями. Неопределенный какой-то день: то солнце проглянет, то опять все укроется пепельной пасмурностью. С неба — то морось, то снежинки...

И в жизни, в настроении какая-то неопределенность...

Недавно были осенние каникулы. За ними сразу, контрастом, траурные дни — умер Брежнев. Эти дни скомкали привычный ритм, ощущалась неясная тревога. В разговорах, в вопросах, во взглядах. Даже Курбаши в «таверне» сказал необычно серьезно:

— Вот что, джигиты, вы это... полегче сейчас. Чегой-то дружиннички активность запрявляли.

— А мы чего? — хмыкнул Копчик. — Законов не нарушаем.

— Если сунутся, скажем: «Дайте молодежи культурный клуб, чтобы интеллигентно проводить вечера», — с тонкой своей улыбочкой добавил Валет. — Создадим кружок любителей классической музыки, будем собираться легально...

— Точно... — сумрачно сказал Курбаши.

Неясное беспокойство коснулось и семьи Петровых. Отец позже стал приходиться с завода и однажды сказал матери:

— Зашевелились... Думают, они одни честные работники, а остальные... Их бы в мою шкуру...

— А Пестухов? — привычно обеспокоилась мать.

— А он везде выплывет. Такое... вещество не тонет...

На несколько дней оказалось скомканным школьное расписание. Вот и сегодня вместо шести уроков — четыре. Учителей куда-то там вызвали. Ну и прекрасно. Поэтому и можно ехать не спеша в дальний клуб на старый кинофильм...

Однако оказалось, что сеанс про девочку и крокодила отменен. Вместо него в афише значился двухсерийный американский «Спартак». Егор шепотом выругал киношное начальство от кассира до министра, а потом взял билет. Не ехать же обратно не солоно хлебавши. «Спартак» он раньше не видел. Может, и есть на что посмотреть. Гладиаторы там всякие, рубиться станут... А главное — на экране обязательно будет лето. Зеленое, солнечное. А то холод и серая морось так осточертели...

Фильм Егору не понравился. Красок там хватало, звона мечей тоже, но какое-то надоедливое это все было. Мускулистые герои в шлемах с гребешками были похожи один на другого, перепутывались. И так все долго, затянуто...

Егор начал отвлекаться, рассеянно думать о своем. О поездке в Среднекамск и возвращении с Михаилом... Михаил с той поры знать о себе не давал, хотя обещал позвонить... Егор поймал себя на том, что думает о молчании Михаила с досадой... Что за чушь! Больно ему, Кошаку, это надо!

История Спартак на экране кончилась не так, как в учебнике и книжках. Это на минуту доставило Егору удовольствие. Оказывается, Спартак (по крайней мере, в фильме) был вовсе не такой уж герой, а тоже человек со страхами и слабостями. И в последние минуты не избегнул унижения...

Обратный автобус оказался полупустым. Егор устроился один на задней скамье. Впереди него занимала два сиденья обширная тетушка. Из-за тетушки виднелись две мальчишечьих вязаных шапки. Одна — коричневая, гребешком, другая — синяя, с белым пушистым шариком. Шапки были знакомые, особенно коричневая. А торчащие уши и тонкая шея старшего мальчишки — тем более. А когда Егор услышал голоса, стало совсем ясно, что это Ямщикивы.

Младший Ямщиков звонко и решительно критиковал фильм:

— Откуда они взяли, что он в плен попался? Джованьоли пишет, что он в бою погиб!

«Смотри-ка, мышонок читал Джованьоли!»

Редактор не то согласился, не то заспорил с братом:

— Дело даже не в этом. У Джованьоли ведь тоже не точная история, а роман. Главное, что американцы вообще всего Спар-

така исказили. Показали, будто он всю жизнь был раб в душе и таким остался до смерти. Видать, им это выгодно...

— Потому что они сами за рабство!

— ...Они показывают, будто он был рабом и сыном раба. А это чушь, — негромко, но отчетливо негодовал Редактор. — Он был фракийский воин и попал к римлянам в плен. А потом поднял восстание... Он бы ни за что на свете не дал распять себя!

— Конечно! У него же меч в руках был! А он...

...Меч Спартаку, схваченному после битвы, дали римляне. И молодому воину, другу Спартака, дали. Обступили их плотным кругом. Красс надменно сказал:

— У вас будет последний гладиаторский бой. Один из вас умрет от меча. А победитель будет распят.

И вот друзья кидаются друг на друга. Каждый старается убить товарища, чтобы избавить его от позорной смерти на столбе с перекладиной. Спартак сильнее, он побеждает. И медленно умирает, привязанный к приколоченному на высоте брусу...

— У них же были мечи! — опять стеклянным от обиды голосом сказал Ваня. — Если по правде, они бы на римлян, а не друг на друга кинулись! Они бы сколько еще врагов искрошили!

— По правде так и было, — утешил брата Редактор (а Егор усмехнулся). — Даже еще лучше. Спартак в последней битве дрался двумя мечами. Враги его окружили, а он швырнул в них свой тяжелый щит, подхватил левой рукой второй меч и рубился, пока был жив... Его потом нашли под грудой римлян...

Ваня негромко (почти неразличимо для Егора) сказал:

— Я про это не знал... про два меча. В книжке, по-моему, этого нет.

— Про Спартака ведь не одна книжка. Я читал...

Егор сидел, втянув голову и отвернувшись к окну. Не хотелось, чтобы Ямшиковы узнали его. Но они назад и не смотрели. На остановке у овощного магазина они вышли через переднюю дверь, а Егор выскочил сзади, зацепив заругавшегося пенсионера.

Чтобы огрызнуться, Егор на две секунды задержался и мельком услышал Венкины слова. Тот сказал братишке:

— Беги в булочную и сразу домой. А я капусту куплю...

Но тут же Егор перестал думать и о вредном пенсионере, и о Ямшиковых, потому что увидел Копчика.

Копчик топал вместе с «нетаверновскими» друзьями Чижом и Хныком. Теми самими, с кем ловили Редактора. На ходу Копчик отдирает зубами крышку сигаретной пачки.

Егор почувствовал, как хорошо сейчас, в этой уличной промозглости, подымить, погреть себя уютным табачным огоньком. Но просто так подкатывать к Копчику было неинтересно. Лучше сделать наколочку — выскочить неожиданно. Копчик вздрогнет

и, может быть, даже завизжит, он же истеричный. Правда, потом он занеет: когда Кошак отдаст деньги за кассету? Егор объявил, что потерял ее, и Копчик требовал девятнадцать рэ: девять за саму кассету и червонец за ценную запись. С него, мол, тоже трясут... Ну ничего, три недели терпел, потерпит еще...

Егор знал, что Копчик с друзьями пойдет к своему дому по Калужской. Это была улица с вековыми березами и домами купеческих времен. Некоторые дома стояли разрушенные. Городские власти поступали с ними крайне бестолково: выседают людей из старого особняка, разломают его и оставят в таком виде. Развалины темнеют оконными проемами, зарастают крапивой...

Егор, незамеченный Копчиком и компанией, поспешил вперед и укрылся в разбитом особняке с остатками узорного чугунного крыльца. Притаился у внутренней стены с ключьями обоев — так, чтобы из глубины видеть через пустое окно улицу.

Крыша над головой была пробита. Неожиданно пошел крупный снег. В проломе, на фоне светлого неба, он казался темносерым, а черную землю и серый забор в оконном проеме заштриховывал белыми густыми росчерками. Егор поднял воротник, придвинулся к окну, чтобы не прозевать Копчика.

Но сперва он увидел Редактора, тот поспешно шагал и вертел головой: снег залетал ему за широкий ворот, на голую тощую шею. А руки у Венки были заняты — в одной школьная сумка, в другой авоська с тяжелым вилок.

Егор мельком и привычно позлорадствовал: как Редактору снег-то за шиворот! И услышал топот: Веньку догоняли.

Венька по-петушину оглянулся и сразу встал спиной к толстой березе. Не побежал. Куда убежишь от троих-то, да еще с грузом. Хотя не в грузе дело. Егор понимал, что Редактор не побежал бы и налегке...

Со странным чувством удовольствия (попалась птичка!), любопытства и неловкости Егор опять отодвинулся в глубь разрушенной комнаты — чтобы остаться незамеченным и посмотреть бесплатный спектакль. Ну что, Редактор? Это тебе не про Спартака рассуждать, который с двумя мечами на толпу римлян. Это реальная наша житуха, никакой романтики. Не Красс и не Помпей, а Копчик с двумя друзьями, не слыжавшими ни о Джованьоли, ни о законах рыцарских поединков. Они народ простой...

Копчик вынул изо рта сигарету, притушил о ладонь и спрятал в карман. Сказал почти ласково:

— Ямщик, не гони лошадей...

— Чего опять надо? — отозвался Венька. Безнадежным тоном, но и без заметного страха. Даже с ноткой пренебрежительной скуки. Уловив эту нотку, но еще сдерживаясь, Копчик процедил:

— Так, Ямщик, ничего нового. Давно тебя не били.

— Последний раз аккурат десять дней назад, — хихикнул Чиж.

— Ну, давайте, — тихо сказал Венька и, кажется, прищурился (за снегом не разглядишь толком). И опустил на землю сумку и вилок в сетке.

— Щас махаться опять будет, — сопя, сказал низкорослый, толстый Хнык. — В тот раз по губе мне задел, подлюка. Щас не заденешь...

— Ох и надоели вы мне, гады, — уныло произнес Венька. — Хоть бы понять: чего вам надо-то? Чего вяжетесь?

Чиж опять хихикнул по-своему («х-хых...») и приготовился. Оглянулся на Копчика. Но тот вдруг предложил миролюбиво:

— А ты откупись, Венечка. Недорого возьмем.

— Да? — непонятно сказал Редактор.

— Ага! — обрадовался, даже подскочил Хнык, самый глупый из троих. — По трояку на нос! Всего!

— Много себя ценишь, — холодно сказал ему Копчик. — Хватит и по рублю. Не в деньгах счастье. Не правда ли, Веня?

В голосе Копчика Егор уловил насмешливо-философскую интонацию. Странно знакомую, но Копчику не свойственную. И вдруг понял: таким тоном в давние времена говорил иногда Боба Шкип. И оттого, что Копчик, скотина, пытается подражать Шкипу, Кошака резанула злость. Вот выскочить бы да врезать Копчику по соплям! А потом и двум его холуям. Это хорошо получилось бы, если нахрапом! А может, и Редактор хоть маленько помог бы...

Егор даже улыбнулся, представив такую неправдоподобную вещь. И прикинул в уме: а что было бы потом? Наверно, многое в жизни пошло бы по-другому... По-другому — это как? Куда и зачем? Без «таверны»? И главное, ради кого? Выходит, ради Редактора? Лезет же в голову всякое...

Копчик — он все-таки Копчик. Хотя и противный иногда, но свой. И понятный. Вот и сейчас он ясен Егору, как дважды два. Не так уж важно Копчику раскровянить еще раз Ямщикова. Главное для него, как было и для Кошака, переломить Редактора. Без битья — даже лучше. Пусть покорится страху, пусть послушным станет. Иначе какая-то неуверенность на душе...

И, дая в себе эту неуверенность, Копчик повторил:

— Хватит трояка на всех. Недорого. Выложишь, Ямщикок?..

— Если бы вы знали... — громко выдохнул Венька.

— Если нету, мы подождем, — сунулся Чиж. — Ага, Копчик?

— Если бы вы знали, — устало сказал Редактор, — как вы мне осточертели... Я бы все деньги, какие смог достать, отдал бы, чтобы не видеть никогда вас больше...

Егор не дышал в своем углу, чтобы слышать все. Сквозь летящую сетку снега он смутно видел Веньку с неразличимым лицом

и спины троих. И тихо было так, что слышался шорох снежных мух.

— Так что? — нетерпеливо разбил тишину Чиж. — Нету, что ли?

— Да не в этом дело, — печально сказал Редактор. — Не могу я, Копчик, дать вам по рублю.

— Не ценишь, значит... — Копчик покивал. — А ладно, мы не гордые. По двадцать копеек дашь? И не тронем больше, гад буду, если совру.

Егор совсем замер. Обидно же, если ему, Кошаку, Венька не уступил, а Копчику теперь сдастся! А ведь он может! Потому что здесь и гордость можно сохранить! Отдаст Копчику с друзьями двугривенные и усмехнется: «Все, в расчете! Гуляйте и помните уговор...» Получится, что он не откупился, а вроде бы кинул по обглоданной косточке зубатым псам.

Но нет, Редактор не способен был на уловки с собой.

— Не выйдет, Копчик, — сказал он.

— А может, хоть гривенник? — серьезно спросил Копчик. — Один на троих? А, Веня? Так сказать, символически...

Это было уже совсем интересно. У Егора жилки напряглись от любопытства и невольного сочувствия Редактору.

— Ни копейки я не дам, отвязись, — отозвался тот.

— Даже ни копейки?! — У Копчика проскользнула истерическая нотка. Но он сдержал себя. Кажется, заулыбался. — А может, копейку-то дашь? Ну, одну копейчку? Маленький медячок? А? — Копчик спросил это почти жалобно.

— Ни гроша, — сказал Венька и вздохнул.

— Неужели такой жадный? — Голос Копчика стал зловеще-ласковым. — Всего копейчку. Не дашь — по морде опять набьем. Дашь — больше никогда не трону. Неужели для этого жалко медяка?

— Да не жалко, — убежденно и спокойно, будто они просто так беседуют, разъяснил Венька. — Не жалко мне медяка. Я же говорю, кучу денег не пожалел бы, только чтобы ты отвязался от меня... Прискребашься все время, засады дурацкие устраиваешь. Знаешь, как опротивело!

— Ну, так в чем же дело? — удовлетворенно спросил Копчик.

— А ни в чем, — устало сказал Венька. — Не могу я от тебя откупаться. И бегать не могу. Мне потом противно будет перед самим собой: какого-то Копчика медяками задобрить хотел...

Копчик быстро ударил его по зубам. Венька нагнул голову, вскинул руки и бросился на Копчика. Было видно, что бросился безнадежно — лишь бы не стоять беспомощно, когда бьют.

Его сбили на землю сразу — Хнык ударил сбоку, а Чиж дал подножку. И Егор успел заметить, как Редактор прикрыв голову и как его успели пнуть несколько раз. Но раздался гневный муж-

ской голос, и компания в секунду «дала ноги», исчезла за снегом. Венька вскочил.

Рядом с ним оказались мужчина и женщина, пожилые. Женщина охала и отряхивала Редактора, мужчина что-то спрашивал и кашлял. А Егору на секунду почудилось, что Венька смотрит в оконный проем и видит его, Кошака. Ерунда, конечно...

Егор ощутил вдруг, что мускулы у него натянuty, как для скачка. С чего бы это? Уж не хотел ли он с полминуты назад выскользнуть и вмешаться в драку? Чушь какая...

Он расслабил мышцы, по-кошачьи скользнул за внутреннюю перегородку, прошел несколько разрушенных комнат и оказался на пустыре. Снег валил все гуще (не зима ли наконец пришла?). Егор поверх шапки натянул капюшон. И дворами вышел на большую улицу Первомайскую. Смутно было на душе. Неясно.

Дома постоял перед стеллажом, отыскал «Спартака» Джованьоли, бухнулся на тахту, полистал, усмехаясь. Отбросил книгу.

Вспомнил, как лихо улепетнули Копчик, Хнык и Чиж. Подумал: «Повезло Венечке, что прохожие появились». Потом подумал еще — будто со стороны услышал: «А может, и Копчику повезло...» И уж совсем дурацкая мысль проскочила: «А может, и всем нам...»

Лучше всего было бы пойти в «таверну» и рассказать про этот случай. Как перепуганно Копчик драпал от пары пенсионеров. Приукрасить, конечно. Будет общая ржачка, а Копчик станет лупать глазами: откуда Кошак все знает?

Но вставать было лень. И «ржачки», по правде говоря, не хотелось. Вот если бы, как раньше, был в «таверне» Кама с гитарой...

Мы помнить будем путь в архипелаге,
Где каждый остров был для нас загадкой...

ПОРОГ

С утра болела голова и скребло в горле. Егор сначала не хотел даже идти в школу. Но потом подумал, как мать пристанет к нему с градусником и таблетками: «Глотай, Горик, не капризничай, это от головы, а это от жара...» Хотя знает, что его от любых таблеток с души воротит.

Сонно и тупо, ни о чем связно не думая, отсидел Егор на уроке истории. И продолжал сидеть после звонка. Все с гвалтом и толкотней спешили из кабинета, а Егору лень было вставать. Наконец встал, поволок за ремень к двери грузную сумку...

И в дверях — лицом к лицу — сошелся с Ямщиковым.

Был Редактор бледный, и глаза у него пылали. Именно это

книжное сравнение пришло в гудящую голову Егора, когда наткнулся на Венькин взгляд. Редактор (подумать только!) загорол Кошаку дорогу и тихо, с придыханием выдал:

— Ох и подонок, ты, Петров...

Егор даже забыл про хворь. Замигал. И хотел спросить ехидно, а получилось глупо:

— А... чему обязан?

Часто дыша от ненависти, Редактор объяснил:

— Раньше я думал, что ты просто сволочь. А ты еще и трусливая сволочь...

Врезать Редактору — это было проще всего. Кажется, Венька того и ждал. Сам нарывался. А Егор опять ощутил вялость и тупую боль в голове. Он отвел глаза от Венькиных зрачков, посмотрел ему в лоб и сказал пренебрежительно:

— Люблю узнавать про себя что-то новое. Подробности будут? Насчет трусости.

— Думаешь, я не знаю, что это ты Копчика с его шестерками на меня вчера натравил? А сам — в укрытие? Чтобы характеристику не испортить!

— Я?! — изумился Егор. Помолчал, соображая. И себе уже, а не Веньке сказал: — А... Заметил, значит...

— Да, Кошак. Ты увлекся зрелищем и неосторожно высунул свою трусливую морду.

— Было бы на что смотреть... — хмыкнул Егор, и вдруг стало неловко. Сам этому удивился. И, чтобы задавить глупую стыдливость, обстоятельно разъяснил: — Да, сделалось интересно, как ты начал махать на Копчика. Просто цирк.

— Трое на одного — всегда цирк, — сипло сказал Венька. И Егор ощутил его ненависть, как ощущают кожей холод или жар. «А ведь есть от чего...» — вдруг подумал он. Без сочувствия Редактору, конечно, без смущения уже, а так, аналитически. Себя и Веньку переставил в уме, как шахматные фигуры. Будто его, Кошака, трое прижимают к березе, а Редактор, ухмыляясь, глядит из развалин. Тут, пожалуй, заведешься...

— Ну, и чего ты хочешь? — спросил Егор.

— Хочу выяснить. Ты стопроцентная падаль или что-то от человека осталось?

— Любопытно... — Егору в самом деле стало любопытно. — А как?

— Если ты меня за что-то не терпишь, можешь один на один? Или вы там привыкли только сворой, по-шакальи?

— Стыкнуться, что ли? — удивился Егор.

— Хоть прямо здесь, хоть за гаражами на дворе! Боишься? Конечно, ни Копчика рядом не будет, ни кого другого...

Кошаку не нужен был Копчик, если такое дело. Кошак, даже кислый и вареный, как сейчас, мог срезать Редактора одним

приемом, раскатать в блин, сложить вдвое и вчетверо и законопатить им любую щель. Но... а потом-то что? Венька утрет кровь, залечит ссадины и останется в своей прежней непобедимой ненависти. И все равно будет думать, что Егор — наводчик.

— Измордую я тебя, а какой смысл-то? — спросил Егор.

— Боишься, — искренне сказал Венька. В гневном своем запале он, видимо, ощущал силу совладать с Кошаком.

— Ну, давай... — вздохнул Егор и отступил в кабинет. — Давай уж здесь, пока никого нет. Это быстро... А на дворе холодрыга... — Его передернул озноб.

Венька сжал губы и шагнул следом. Абсолютно бесстрашный, он был сейчас даже симпатичен. Егор сделал еще шаг назад и сел за ближний стол. Подпер щеку.

— Подожди, Редактор. Одно слово... Ты сейчас, возможно, мне даже и навешаешь по ушам. Я сегодня полудохлый, а ты в таком... яростном вдохновении. Как Спартак, который с двумя мечами на римлян... — Он заметил, как у Веньки удивленно обмякли и разомкнулись губы, приподнялись брови. — Я только хочу, чтобы ты знал... Это я честно говорю: Копчика с ребятами я не наводил. Я его сам там подкарауливал, чтобы выпрыгнуть и шмон устроить. А тут тебя черт принес...

— Заврался, Кошачок... — презрительно сказал Венька.

— Да нет же! — Егор сам удивился, как ему хочется, чтобы Редактор поверил. А зачем? Не все ли равно... — А впрочем, твое дело, не верь... — Он вытолкнул себя из-за стола. — Айда к доске, там просторнее... Только потом бочку на меня не кати, не я начал.

— Не бойся, скажу, что я...

Начать они, конечно, не успели. Ворвалась в кабинет орава из восьмого «Б».

— Ну вот... — сказал Егор Веньке.

— Выкрутился, — бросил ему Редактор. Брезгливо, но, кажется, и с тайным облегчением. Оба вышли в коридор. Венька на прощание смерил Егора взглядом — будто плюнул.

— Можно ведь и за гаражами, — сказал Егор. — Только уж на другой перемене, сейчас звонок будет...

— Ага! А ты сбеги с урока и позови свою кодлу!

— Не позову, обойдусь и так... Хотя дурак ты, Редактор. В двадцатом веке живешь, а все в рыцарей играешь...

— А ты в кого?

— А я — в себя... — отозвался Егор. Потер лоб и удивленно сказал: — Вот черт... Мне почему-то хочется тебе доказать, что не звал я вчера Копчика. Глупо, конечно...

— Не глупо, а бесполезно, — глядя в сторону, ответил Вень-

ка. Без прежней злости, утомленно. — Ну ладно, я поверю. А что с того? Все равно ты подонок и я тебя терпеть не могу.

— Закономерно, — усмехнулся Егор. — За что тебе меня любить?

Им бы разойтись, а они шли по коридору как приятели. Со стороны казалось — одноклассники беседуют о привычных делах.

— Я не про «любить», — глядя под ноги, разъяснил Венька. — Я ненавижу... таких, как ты.

— Каких?

— Таких вот... которые не живут, а приспособливаются.

— Я? Приспособляюсь? — по-настоящему удивился Егор.

— А разве нет? Везде. На улице тебя бандюги из «таверны» берегут. А в других случаях важный товарищ Петров за сыночка заступится. Один звонок по телефону — и все в порядке...

— Много ты знаешь, — тяжело сказал Егор.

— А что, не так?

— Ну... пускай так. А тебе завидно?

— Вот еще. Без дружков да без папаша ты чего стоишь-то?

— А ты? — огрызнулся Егор. Без злости, автоматически.

— А при чем тут я? Мне и не надо, чтобы кто-то мне завидовал. И другим я жизнь не отравляю...

— Как знать...

— А вот так и знай! Если я с кем спорю, то честно. На глухих дорожках, да еще с помощниками, никого не караулил.

Егор кивнул:

— Да, в спорах ты сильнее, чем в драках...

— Ну, ты со мной еще не дрался! — опять взвинтился Венька. — Ты все чужими руками.

— Опять ты прав, Ямщиков, — согласился Егор. Даже с каким-то удовольствием. И добавил неожиданно: — В одном только не прав. Но ты не знаешь...

— Чего такого не знаю? — сказал Венька агрессивно.

— Про отца... Не отец он мне.

Венька сбил шаг и удивленно глянул сбоку на Егора.

— Ага, — кивнул Егор. — Он отчим, я недавно узнал. Отец был инженер-подводник, его убили бандиты. Давно...

Венька шевельнул плечом — и удивленно, и смущенно, и не примиримо. И слова его были такие же:

— Ну а... какая разница, в конце концов? Что это меняет?

— Сам пока не пойму...

— Ну а... мне-то что? Зачем ты мне это говоришь?

— Не знаю... — медленно сказал Егор, потому что не знал. — Правда, не знаю... Может, потому, что больше никому?

И быстро пошел вперед, оставив Веньку.

«Может быть, потому, что больше некому»... Зачем он это сказал?

«Не знаю...»

Или правда хотелось рассказать об отце и не знал кому? Не в «таверне» же говорить об этом.

«А почему не в «таверне?»»

Он же столько раз там рассказывал о своих делах. Даже тайнами делился... Видать, не те были тайны. Услышав историю погибшего отца, обитатели «таверны», скорее всего, полезли бы в детали: «А откуда знаешь?.. А ты чё, брата-мента заимел? Ну, даешь, Кошак!.. А тех хануриков взяли? И чего? Вышку дали?.. Конечно, вышку, это ж заранее обдуманная мокруха...»

Нет, не для «таверны» разговор... Ну а Веньке-то все-таки зачем сказал? Что за язык-то дернуло?

Он думал об этом на уроках, а потом — дома, когда бесцельно валялся на тахте или бродил по комнатам (под периодические просьбы надеть тапочки). И фраза эта — «Не знаю... Может быть, больше некому» — повторялась в мыслях и что-то очень напоминала, обретала знакомую интонацию.

И наконец Егор вспомнил: тем же тоном, со спокойным удивлением и холодной честностью, пытаясь понять самого себя, он в вагоне, после стычки с Фатером и Федюней, сказал Михаилу: «Не знаю... Может быть, потому, что ты все-таки брат?»

Ну а сейчас-то что? Редактор-то здесь при чем? И случай совсем не тот... Но от разговора с Венькой мысли уже перешли к Михаилу. Егор подумал, что прошло три недели, а тот о себе не напоминал. А ведь обещал позвонить!

И Егор признался себе, что все это время помнил про обещание Михаила. Со смесью любопытства и тревоги ждал звонка.

«А зачем тебе это надо?» — одернул он себя.

«А мне и не надо! Просто... трепло такое. Говорил «позвоню», а сам...»

И ответом на эту мысль громко запел птичьими трелями новый кнопочный телефон. Длинные, междугородные сигналы!

Отец еще не пришел, мать ушла к знакомым («Горик, салат в холодильнике, котлеты на плите, я буду к девяти. И не ходи бо-сиком...»). Егор выскочил в переднюю и взял трубку.

Звонил, конечно, не Михаил. Спрашивали отца. Кажется, из Москвы. Воинственный женский голос. Егор сумрачно разъяснил, что Виктор Романович Петров так рано с работы не приходит, надо звонить на завод.

— Там его тоже нет на месте!

— Естественно. Он не сидит в кресле, а мотается по объекту. А карманных телефонов еще не придумали.

— Меньше бы мотался, больше было бы проку, — отчетливо

сказали на том конце провода. И Егор представил раздраженную округлую даму.

— Так и передать? — ехидно спросил он.

— Так и передайте.

— Ему захочется узнать: от кого именно?

— А вы не пугайте! Времена не те! — И гудки.

Егор присел на замшевый пуф у телефонного столика. Забыл про скандальную даму и несколько минут думал о своем. Потом, усмехаясь от неловкости перед собой, вызвал 006 — справочное междугородки.

— Код Среднекамска скажите, пожалуйста...

Посидел еще с полминуты. И механически, словно кто-то другой двигает его пальцами, набрал вызов Среднекамска и домашний телефон Михаила — номер он помнил наизусть.

Почему-то бестолково затюкало внутри. Глупо. Во-первых, вообще глупо, а во-вторых, старший сержант Гаймуратов наверняка на дежурстве или в командировке...

— Да, — сказал женский голос. — Я вас слушаю... Алло!

— Это квартира Гаймуратовых? Здравствуйте... А можно Михаила... Юрьевича?

— Миша, тебя... — сказали в далеком незнакомом доме. — Иди скорее, кажется, опять междугородная...

— Слушаю, — глуховато сказал Михаил. — Кто говорит?.. Это Севастополь? Алло!..

— Привет, — выдохнул Егор. — Это не Севастополь. Это я, Егор... Петров.

— А-а... — прозвучало без радости, даже с досадой. И вдруг по-новому: — Кто? Егор?! Ой, ну здравствуй! Молодчина, что позвонил! Ты извини, я сразу не понял. Я тут с Севастополем недавно говорил, и вдруг опять такой же звонок!.. Как дела?

— Дела... Да по-всякому.

— А почему звонишь? Что-то произошло?.. Или так просто?

— Так просто... А что может произойти? — Егор за усмешкой спрятал растерянность. В самом деле, зачем он позвонил? Хотя бы причину заранее придумал, идиот. — Я так... Бумажка с твоим номером под руку попала... а я дома один сижу, делать нечего. С простудой к тому же...

— Сильно простыл?

— Да нет, маленько горло скребет... — «И вообще что-то скребет, — добавил он про себя. — На душе, как говорится...» И вдруг сказал: — Миша... А у тебя фотография есть?

— Чья? Моя?

— Отца... Ну... Нечаева.

— Есть, конечно, Егор! Много!

— Как-то, понимаешь, по-дурацки тогда вышло... Ничего не успел спросить толком. Может, правда надо было зайти к вам.

Егор понимал, что «сдает позиции», но не было в нем обиды на себя и смущения. Только грустно немного было.

Михаил помолчал и сказал с осторожной ласковостью:

— Все поправимо, Егор. Я завтра же вышлю снимок.

Эта ласковость и готовность разом оживили в Егоре прежнюю неприязнь. Он хотел насупленно ответить, что у него не горит, но Михаил заговорил опять:

— А если надо скорее, то позвони Ревскому! У него снимков Толика тоже много. В том числе и детские...

— Это режиссер, что ли? — ошетинился Егор.

— Да. А что?

— А ты не знаешь «что»? Я, по-моему, рассказывал. Как говорят деловые люди, «у нас не сложились отношения».

— Плюнь! Он же не знал, кто ты такой! А когда узнает...

— И что? Изменит мнение о моем моральном облике?

— Егор... Брось ты этот тон, а? Ну, в самом деле...

— Да не в тоне дело... Значит, пришлешь карточку?

— Я же сказал... А про Ревского я вот почему вспомнил. Он бы мог лучше, чем фотографии показать. Я тебе не успел рассказать тогда...

— Кинолентку, что ли? — догадался Егор.

— Когда мы с Толиком были в Севастополе, Ревский нас заманил участвовать в съемках, в массовой. Толик там в одном эпизоде... Сейчас этот фильм редко идет, но в кинохранилище-то он есть, Ревский мог бы...

— А как называется кино?

— «Корабли в Лиссе».

— Может, пойдет на повторных экранах. Тогда и посмотрю.

— Как хочешь... Егор...

— Что?

— А ты никому не говорил... про нашу встречу? И что знаешь про отца?

— Зачем? — сказал Егор прежним тоном, как в Среднекамске.

— Да нет, я так... Может, и к лучшему.

Егора вдруг опять толкнуло:

— Я говорил... одному человеку. Сегодня...

— Кому?

— Да... ты не поверишь. — Егор стесненно хмыкнул. — Веньке Редактору.

— Ко-му?

— Ну, тому самому... с которым мы... Не помнишь, что ли?

— Нет, я помню! Но почему ему-то?.. Или вы что? Вдруг помирились?

— Наоборот... — Егор поймал себя на том, что криво улыба-

ется. — Он меня, понимаешь ли, на поединок вызвал. Пылая благородной ненавистью. А вместо драки вышла беседа... Глупая, правда...

— А из-за чего поединок?

— Да так... мелочи жизни.

— Замахнулся — стукай, — сказал Михаил. — Начал — говори.

— Ну, если интересно тебе...

И Егор, все так же улыбаясь, поведал о своей засаде на Копчика и о стычке Редактора с Копчиком, Чижом и Хныком.

— Д-да... — помолчав, сказал Михаил.

— Что «да»? — напряжнив нервы, спросил Егор.

— Так... — Голос Михаила стал вялым. — А ты, значит, был в роли «американского наблюдателя»?

Егор монотонно поинтересовался:

— А в какой роли ты хотел бы меня видеть?

— Честно говоря, в роли этого Редактора...

— Ну, меня так легко не возьмешь, если даже трое...

— Я не о том. Я подумал, что, будь Редактор на твоём месте, а ты на его, он не наблюдал бы спокойно.

— А что бы сделал?

— Ну, если он такой, как мне кажется...

— А он такой и есть, — жестко вставил Егор.

— ...Тогда он кинулся бы на помощь.

— Что?! Ради *меня*?

— О, Господи ты, Боже мой... — страдальчески отозвался за много километров двоюродный брат. — Ну, как тебе объяснить элементарные истины... Человек не бывает порядочным ради *кого-то*... Он если честный, то сам по себе. И ради себя, в конце концов. Чтобы совесть не грызла. А иначе...

— Если «ради себя», то это уже эгоизм, против которого ты активно борешься, — ядовито заметил Егор.

— Ну и прекрасно, если человек *такой* эгоист! Он на месте сидеть не станет, если видит, как трое бьют одного...

— Даже если его врага?

— Трое нормальных людей не будут бить даже врага. Обезвредить могут, если он правда враг, скрутить... А издеваться — это лишь подонки могут... Кстати, с чего ты вбил себе в башку, что Редактор твой враг?

— Жизнь вбила, — с философской усмешкой ответил Егор. — Развела нас по разные стороны баррикад.

— Ну и дурак, — вздохнул Михаил.

— Ну и сам дурак, — с непонятным облегчением сообщил Егор.

— А ты можешь честно ответить на один вопрос?

Егор подумал и сказал с оттенком печальной гордости:

— Ты мог бы заметить, что я всегда говорю с тобой честно.

— Тогда скажи: там, в развалинах, тебе ни на секунду не хотелось выскочить и вмешаться?

«Нет, конечно!.. Я не знаю...» Он вспомнил мгновение, когда представил, что может сделать такое. Представил или какой-то миг хотел?

Егор опять поежился от неловкости перед собой. Сказал дурашливо и сумрачно:

— Товарищ старший сержант, можно, я не буду отвечать на этот вопрос?

— Можно, — быстро согласился Михаил. — Это уже хорошо.

Тогда Егор почти заорал в трубку:

— Что за подлая привычка у тебя копать в людях! Тошно даже!

Михаил неприятно заржал. Потом сказал:

— А Копчик твой, судя по всему, законченный мерзавец.

— Такой же, как и я, — мстительно сообщил Егор. — Как говорят в свете, «мы люди одного круга».

— Будем надеяться, что не совсем одного...

— Не надейся, — искренне сказал Егор. — Я друзей не продаю...

— Верю. Смотри только, чтобы «друзья» тебя не продали...

— Иди ты знаешь куда!

— Лучше пойду искать фотографию. Завтра pošлю... Ты еще не раздумал? Нужна ли она тебе?

— Ты сам-то не раздумал? Или жалко стало?

— Завтра же... А телефон Ревского дать?

— Обойдусь, — буркнул Егор. — Пока... — И положил трубку.

Весь вечер Егор злился на Михаила и на себя. И вообще на жизнь. Но утром почувствовал, что вчерашний разговор не оставил злого осадка. Вспомнился он даже с каким-то интересом. Будто Егор кого-то переспорил или решил сложную задачу.

Хотя никого не переспорил и ничего не решил.

Венька на Егора не глядел, о драке не напоминал. Видно, запал его угас. Или что-то переменилось. Скоро Егор перестал думать и о Михаиле, и о Веньке и думал только об одном: что ни в коем случае не будет разыскивать Ревского. Этого еще не хватало! Больно нужен ему этот кинодеятель!

И к тому же что Егор скажет, если позвонит?

...Хотя сказать можно. Например, так: «Я не стал бы отрывать вас от творческого процесса, но есть обстоятельства...» Или так: «Это Егор Петров, который не угодил вашим вкусам при кинопробах. Вы тогда уверяли, что я никогда не смогу быть братом. Оказалось, что я все-таки смог...» Егор не без удовольствия вспоминал случаи в электричке. Ведь в самом деле смог...

А может, так: «Не хотел вас тревожить, но мой двоюродный брат, Михаил Гаймуратов... вы ведь его знаете, не так ли? Так вот, он посоветовал...»

Вечером он отыскал в ящике стола старую записную книжку с телефоном киностудии. Там сообщили, что теперь у заместителя главного режиссера Ревского другой номер. По другому номеру Ревского тоже не оказалось, сказали — он дома.

— А домашний телефон можно?.. Да я и не хочу надоедать, он сам просил звонить домой, но я потерял номер! — вдохновенно соврал Егор. — Как?.. Спасибо.

Медленно давя на кнопки, Егор набрал нужные шесть цифр... «Александр Яковлевич? Прошу простить, возможно, мой звонок будет вам неприятен, но...»

— Слушаю! — весело отозвался Ревский. — Алло? Ну, что молчите, кто это? — Помолчал сам и вдруг спросил уже иначе: — Это... Егор?

— Да... — растерянно выдохнул Егор.

— Ну вот и хорошо. Гай мне еще вчера позвонил, что ты меня, наверно, разыщешь...

— Кто позвонил?

— Гай. Миша.

— А-а... — сказал Егор.

— Слушай, Егор! Нам надо обязательно встретиться, слышишь? — Ревский опять заговорил с веселой торопливостью. — Это подумай только, как случается в жизни, а? Слышишь? Только сейчас я никак не могу, тут такое дело, сыновья из армии возвращаются, близнецы. Звон и переполох, на вокзал мчимся с женой... А завтра... давай прямо на студию, а? К шестнадцати ноль-ноль! Устроит тебя? Я встречу у проходной. Придешь?

— Да... — сказал Егор, словно шагая за порог.

СЧЕТ

Паруса надвигались. В них была спокойная упругая радость и в то же время — неотвратимость.

Сначала исполинское четырехмачтовое судно медленно разворачивалось на синем, растянутом от стены до стены экране, обращало на зрителя увенчанный треугольными кливерами бушприт, потом начинало двигаться, неумолимо наращивая скорость. Многоэтажные марсели и брамсели выросли — громадные, как снежные горы, закрывали небо и море. Приближались вплотную, и пространство заполнялось гудением натянутого полотна и струнных тросов, шумом обгоняющего парусник ветра и плеском взрезанной воды...

Это было главным впечатлением от фильма...

Егор смотрел «Корабли в Лиссе» вдвоем с Ревским в маленьком зале киностудии. Ревский «выцарапал» фильм в кинопрокате и «выбил» на полтора часа зал для просмотра.

Экран был небольшой, но Егор сидел от него очень близко, море как бы обнимало Егора с трех сторон.

В целом от кинокартины впечатление осталось скромное. Может, потому, что Егор нервно ждал кадров с Анатолием Нечаевым и за пестрым действием, за главным героем почти не следил. Шестнадцатилетний парнишка, будущий писатель, то превращался в героев своих еще не написанных книг, то попадал во всякие переделки в реальной жизни, но все это Егор воспринимал как вступление к главному. Пока не появился парусник «Фелицата»...

— Вот, сейчас... — прошептал рядом Ревский.

Тяжелые аккорды сотрясали зал и экран. Под глухую печальную песню (слов которой он не разобрал) Егор увидел скорбное шествие. Матросы несли носилки с зашитым в парусину телом капитана. Вдоль притихшего строя морских волков.

— Вот он, Толик, в безрукавке. Видишь?

Егор кивнул. Но не испытал ничего. Не смог он представить, что вот этот худой русский парень в опереточном костюме контрабандиста, с пистолетом за алым кушаком — его отец. Нереально все было. Не увязывалось... С другой стороны, нереальным казалось и то, что этого человека нет на свете. Как же нет? Вот он! Каждый волосок виден, капелька блестит на щеке...

Но разве это отец? Молодой, совершенно незнакомый человек в каком-то чужом, полусказочном мире...

Сумятицу мыслей перебило будто неслышным вскриком — загорелый длинноногий мальчишка в похжей на полосатый мешок фуфайке стоял рядом с этим... с Толиком и вдруг уткнулся ему в грудь лицом. От плача затряслось вылезшее из прорехи плечо.

Потом показали мальчишку очень крупно. На миг оторвал он лицо от рубашки Толика, глянул исподлобья с экрана. Глаза были мокрые, капли оставили на коричневых щеках сырые дорожки.

— Гай... — сказал Ревский.

— Что?

— Гай, говорю... Мишка.

— А-а...

Ничего похожего на Михаила в этом пиратском юнге не было. Разве что в глазах, залитых слезами, такая же резкая синева. Но Гай снова прижался лицом к Толику.

И странно — не было никакой печали у Егора, никакого ощущения тоски или несчастья, но вдруг засел в горле уловатый комок. Егор закашлял и сумрачно спросил:

— Он что это? По правде?

— Что?

— Ну... слезы...

— Дорогой мой, в кино все по правде, по-иному нельзя...

В этих словах почудился Егору отголосок другого разговора: когда Ревский говорил на давней репетиции, что Егор все делает ненатурально. И Егор сразу нервно подтянулся. А Ревский вдруг сказал в торчащий над спинкой стула микрофон:

— Стоп! — И экран погас, и зажегся желтый свет.

— Что? — спросил Егор, пряча глаза. — Конец сеанса?

— А ты хочешь смотреть до конца? Толика больше не будет...

— Ну и что? — взвинченно сказал Егор.

— Да ничего... Я подумал: вдруг тебе неинтересно...

— Интересно, — буркнул Егор. — А... Гай? Будет еще?

— Он — да... Но я хочу еще раз эпизод с Толиком показать, чтобы ты получше запомнил... Коля! Отмотай, голубчик, три минуты и пусти снова!..

И опять была сумрачная песня, носилки, строй моряков. Снова плакал Гай, а молодой моряк с пистолетом так и не увязался в душе Егора со словом «отец»... И с этим недоумением, с досадой и даже виноватостью смотрел Егор «Корабли в Лиссе» дальше. До той минуты, когда синее пространство быстро и неотвратимо заполнили непостижимо громадные паруса.

Это было как глубокий вздох. Или будто в глухой комнате бесшумно высадили окна и вошел влажный летний воздух...

Потом среди парусов показался тот мальчишка — Гай. Уже не в драной фуфайке, а в трепещущей на ветру алой блузе. Он стоял высоко на вантах, тонкий, с разлетающимися волосами, и даже не стоял, а будто летел вместе с парусами и ветром. И кричал встревоженно, отчаянно и радостно:

— Остров! Вижу остров!..

И Егор ощутил, что он сам — этот мальчишка. И высоту почувствовал, и ветер, и счастье открытия. Но это была секунда. А впечатление от надвигающихся парусов осталось надолго.

Когда зажегся свет, они с полминуты сидели молча. Наконец Егор спросил, чтобы разбить неловкость:

— А почему этот фильм сейчас не показывают?

— Изредка идет на всяких заштатных экранах. И по телевизору как-то пускали...

— Я не видел.

Ревский вздохнул и сказал:

— Ну, что там говорить, это не шедевр. Дали вторую категорию, в некоторых газетах обругали. Много, мол, всякой дешевой

символики, ненужной экзотики. Непонятно широкому зрителю...

— Все там понятно. А некоторые места просто здорово сняты, — честно сказал Егор. — Только...

— Что? — насторожился Ревский.

— Да нет, это уже не про кино... Просто как-то не верится, что тот пацан... Гай... это Михаил.

— И про отца не верится. Да? — тихо сказал Ревский. — Это естественно. Трудно так сразу... Но посмотреть, наверно, было надо. Ты сам просил.

— Да. Спасибо. — Егор встал. — Может, потом еще где-нибудь посмотрю, если будет случай.

— Думаю, что будет... — Ревский как-то несолидно поморщился, на носу и подбородке ясно выступили мальчишеские веснушки. — Ты как-нибудь заходи ко мне домой, а? Поговорим спокойно про все... Я понимаю, наше прежнее знакомство было неудачное. Да черт с ним, а? Сейчас-то все по-другому...

«А что по-другому?» — подумал Егор, но стесненно сказал:

— Ладно...

— И фотографии покажу, у меня много. Я когда-то этим делом очень увлекался... А пока вот. Это тебе. — Он протянул конверт от фотобумаги. Егор взял, вынул снимки.

Это были кадры из фильма и моменты съемок. Гай на вантах, портрет смеющегося Толика в пиратской безрукавке. Егор начал всматриваться в его лицо, но вдруг застеснялся и спрятал фотографию под другие. И увидел снимок, непохожий на остальные: бледноватый, маленький, с какими-то пацанами.

Ревский сказал — тоже с непонятным смущением:

— А это... Здесь, конечно, еще труднее представить Толика отцом. Наша детская карточка, я «Фотокором» снимал, самодельным автоспуском... Давай покажу, кто где...

Дома Егор закрылся в своей комнате и разложил снимки на столе. Вот Анатолий Нечаев и Гай в шеренге пиратов (опять колыхнулась в памяти сумрачная мелодия песни). Вот Гай целится из старинных пистолетов, а Толик на заднем плане беседует с Ревским. Снова строй пиратов, а перед строем Ревский и какой-то дядька у кинокамеры... Толик, Гай и... это кто же? Мама такая была тогда? Молодая совсем, в белой шляпе. Они втроем стоят на набережной (похоже, что в Ялте), и Гай устало прислонился к Толику. Прижался даже... И Егор вдруг дернул плечами от досады. От мгновенного укола ревности и от злости на этого разстрепанного тогда пацана, который липнет к Толику...

Он тут же сердито засмеялся над собой: «Ты что, сдурел? Какое тебе дело? И что тебе этот Гай?»

А Гаю было наплевать на мысли Егора! Гай на фоне вздутых парусов, выгнутый, как лук, тонкий, охваченный ветром, выбрасывал вперед руку и кричал, кричал о своем острове...

А инженер Нечаев, беззаботно смеясь, все смотрел и смотрел с большой глянцево-карточкой на Егора, почти в глаза. Но именно почти. Словно в последнюю секунду неуволимо отвел взгляд, не хотел ответить на какой-то вопрос. Решай, мол, сам.

А что решать-то? Егор сжал губы, сложил снимки в пачку. Оставил один — старый, «детский».

Эта фотография притягивала его особо. Потому что, не будь вон того мальчишки в коротких вельветовых штанах и мятой, вылезшей из-под командирского ремня рубашке, не было бы и Егора. Тут уж ничего не поделаешь.

Егор не искал сходства. Не похож он ни на взрослого Анатолия, ни на Толика-мальчишку. Давно известно, что он — «вылитая копия» дяди Сережи, погибшего мамино брата. Да... И не сам по себе одиннадцатилетний Толька Нечаев интересовал Егора, а все, что было вместе с ним. Весь тот летний день, который был на фотокарточке размером девять на двенадцать.

Он, этот день, хорошо отпечатался со стеклянной пластинки старинного «Фотокора». Контактный способ — отличная штука! Пускай снимок бледный, зато виден каждый стебелек травы, каждый «глазок» от сучка на досках садовой эстрады. И звездочка на командирской, старой (сейчас таких уже не носят) пряжке Толика. А на звездочке видны даже... Егор быстро отыскал в ящике лупу... Видны даже крошечные серп и молот с искоркой солнца.

Егор повел выпуклым стеклом по снимку. С напряженным, почти болезненным интересом вглядывался в каждую деталь. В те мелочи, которые *были тогда*.

В лица ребят, которые тоже *были тогда*. Изумительная четкость предметов сделала мир на фотографии реальным. Вот царапина на подбородке у девчонки. Вот репейная головка, пришившая к рубчатой ткани мятых штанов. За ремешком у мальчишки деревянный пистолет с ручкой, обмотанной изолентой, и кончик изоленты отклеился...

Толща из трех с половиной десятков лет растаяла, и Егор вплотную придвинулся к тому давнему новотуринскому лету сорок восьмого года. Словно даже запах травы ощутил. Но ведь это было *тогда*.

А сейчас? Где все это?

И впервые коснулась Егора вечная загадка. Словно темным крылом на него махнули. Как это — *было*, а теперь нет? Куда девается уходящая жизнь? Как это может быть, чтобы вот такого настоящего дня — с травой, солнцем, встрепанными живыми ребятами — не стало?

Что такое время?

А может, убежавшие дни все-таки исчезают не совсем? Может, где-то они есть, сохранились? Может, люди когда-нибудь научатся их возвращать?

А зачем? Наверно, чтобы не делалось так обидно: было, и вдруг — нет...

Семеро мальчишек и длинная девчонка стояли перед полуразрушенной эстрадой в запущенном саду. Веселые, разгоряченные после сыгранной самодельной пьесы про шпионов (Ревский о ней рассказал). Но пьеса эта, игра эта тоже была *тогда*. Сейчас ее нет. И ребят этих нет. Дело даже не в том, что вот этот пацан, Толик, потом погиб. Живые — они тоже не те...

Мальчик с деловито прикушенной губой (дергает нитку автоспуска), с тубетейкой на пружинистых кудряшках, в старомодном матросском костюме с галстучком и длинных чулках — теперь заместитель главного режиссера, автор нескольких фильмов. Он-то, замглавреж, есть, а где вот этот мальчик?

А вот Рафик, Рафаэль. Тоже теперь в кино. Мультяки делает. Говорят, хорошие, лауреатом стал. Ладно. А большеглазый пацаненок в пилотке и ковбойке сохранился в лауреате? Остался?

«А может быть, это неважно? — подумал Егор с новой тревогой. — Может, важно то, что останется *после*?»

После — это когда? Когда в длинной киноленте дней мелькнет черный кадр и дальше кадры пойдут пустые? Без тебя?

«Это для меня пустые и черные. А для других?..»

«А что тебе до других? Ты про это не узнаешь...»

«Обидно... А если ничего не останется, еще обиднее...»

«А что ты хотел оставить? И *для кого*?»

Это уже походило на разговор с Михаилом в поезде. Но Егор прогнал воспоминание об электричке. Он хотел разобраться сам, без Михаила. Разобраться и с загадкой времени, и с мыслью, что его, Егора, тоже когда-нибудь не станет на свете. И с вопросом: где, что и для кого останется от него в бесконечном и необратимом времени?

От Шурика Ревского и от Рафика останутся фильмы. От мальчика Толика остались людям подводные аппараты для изучения морских глубин. А еще... еще он, Егор, остался... Ну и что? Вот подарок человечеству! А что Егор сам оставит после себя?

Мальчишка с красивым командирским лицом, в аккуратном, по росту, военном костюме, оставит свои книги. Потому что он — писатель Олег Наклонов. И, кстати, тоже отец. Он тогда, на выступлении, говорил про сына. Про наследника...

Любопытно, что за сын у этого писателя? Небось образцовое дитя, отличник и ученик музыкальной школы.

Ревский упомянул мельком, что и сам Наклонов был «мальчиком тимуровского плана».

— Только чересчур, — добавил он с холодноватой усмешкой.

— Как это «чересчур»? — спросил тогда Егор.

— Ну... этаким несгибаемый командир. Не лишенный, впрочем, некоторого себялюбия... По крайней мере, дружба Толика с Олегом кончилась дуэлью. Даже с кровью...

— Как это?

Ревский увлеченно, хотя и несколько торопливо (уже заглядывали в дверь и намекали Александру Яковлевичу, что его ждут) рассказал про стычки «робингуда» Нечаева с командиром Наклоновым, про «волчью яму» в лагере и про драку на Черной речке, когда будущий инженер-подводник расквасил будущей литературной знаменитости нос.

— Впрочем, потом они оба вспоминали об этом с юмором. Жаль, что встретиться во взрослой жизни не успели...

— Александр Яковлевич, а... Толик... он что-нибудь рассказывал про Крузенштерна?

— Да! Он им увлекался, он стихи про него написал. И про одну рукопись о нем упоминал, целая история. Он и в Севастополе про нее говорил.

— Наклонов у нас в школе выступал, он книгу про Крузенштерна пишет. Значит, он с той поры этим и заинтересовался?

— Все возможно. Олег был личностью твердой, но и впечатлительной...

Ревского опять поторопили, и он попрощался, снова сказав, чтобы Егор звонил и заходил. Тот спросил напоследок:

— А вы с Наклоновым встречаетесь?

— М-м... да. Изредка. Жизнь суматошная...

— Александр Яковлевич, вы не говорите ему про меня. И вообще никому, ладно?

— Конечно! Это уж, Егор, ты решай сам...

...Егор снова наклонился над фотокарточкой. Командир Наклонов держал руки по швам и смотрел перед собой уверенно и твердо. А Толик улыбался и немного шурился от солнца. И Егор испытал вдруг веселое удовольствие, что невысокий, шуплый Толик разбил нос рослому, сильному на вид Наклонову.

Через несколько дней случилось неожиданное и неприятное. Егор шел в туалет, чтобы подымить на большой перемене, и путь ему заступили два второклассника: Стрельцов и Ванька Ямщиков.

— Кошак, — сказал Стрельцов, наклонил набок голову и глянул нахально. — Чего вам опять надо от его брата? — Он кивнул на Ваню. Тот стоял спокойный, но с напряженными плечами и с кулаками в карманах.

— Не понял. — Егор за лаконизмом скрыл растерянность от

фантастической дерзости малявок. Тех, между прочим, стало больше: бесшумно обступили они восьмиклассника Петрова.

— До чего непонятливый, — задумчиво произнес Стрельцов и сощурился. А Ваня тихо, но зло сказал:

— Вчера ваш Копчик и еще какие-то... опять к Веньке полезли. Что вам надо?

Егор хотел искренне сказать, что лично ему ничего от Редактора не надо. Но малявка Стрельцов качнул голову к другому плечу и вполне серьезно пообещал:

— Кошак, ты доскребешь...

Всему есть предел. Егор смерил расстояние до Стрельцова.

— Ты на что рассчитываешь, крошка? На то, что микроба нельзя расплющить кулаком?

Он, Стрельцов, далеко пойдет — юмор у него, у негодяя:

— От микробов и слоныдохнут. Нас много.

Их и правда стало много. Человек тридцать, и все мальчишки. Из двух классов, что ли, собрались? И молчаливые такие, не по-хорошему сдержанные. Вот опять дурацкое положение!

— Да я-то при чем?! — рявкнул Егор. — Вы что, совсем психи? У Веньки с Копчиком свои дела, мне на них обоих плевать! А Копчика я давным-давно в глаза не видел!

Это была правда. Егор не был в «таверне» больше недели. То опять куда-то Курбаши с ключом исчез, то события всякие: разговор с Михаилом, Ревский, кино. И мысли после этого... А еще причина — тот же Копчик: не хотелось встречаться. Сразу начнет канючить насчет долга, а таких денег пока нет...

— Как увидишь, скажи ему: пускай Веньку больше не трогают, — потребовал Стрельцов, не опуская дерзких глаз.

— А вот ты пойд и скажи. Я вам не нанимался.

— Найти не можем, — объяснил сбоку незнакомый мальчишка с глазами-угольками. — Найдем, ему хуже будет...

— Бедный Копчик, — сказал Егор.

— Бедные будете вы все, если еще Ванькиного брата тронете, — неожиданно взъярился Стрельцов. — Думаешь, не найдем вашу «таверну»? А когда найдем, выжжем, как паяльной лампой! Мой дедушка так в деревне клопов выжигал!

Егор ощутил что-то вроде уважения. Сказал серьезно:

— Это я передам. В целях противопожарной безопасности...

— Тебе письмо, — сказала Алина Михаевна, когда Егор пришел из школы. — Странное, без обратного адреса. А штемпель среднекамский. От кого бы это? — В голосе ее было спрятанное беспокойство.

Конверт лежал на столе в комнате Егора. Понятно, почему письмо шло целую неделю! Михаил не написал индекс и перепу-

тал номер квартиры. А еще милиция!.. Вскрыть конверт Егор не успел, мать снова появилась на пороге. С бумажкой в руке.

— А вот тоже непонятное... Счет за разговор со Среднекамском... Это ты говорил?

— Почему именно я? — растерянно буркнул Егор.

— А кто? Я туда не звонила, папа всегда говорит по служебному... Горик, с кем ты разговаривал в Среднекамске? Скажи маме...

«Все, Кошак, раскалывайся, — сказал себе Егор. — Пора».

— Ну, разговаривал...

— С кем?

Егор сел на тахту и зевнул.

— С братом.

— С кем?.. О Господи...

— С двоюродным братом. С Михаилом Гаймуратовым, — глядя в стену, монотонно произнес Егор.

Мать села на стул. И Егор вспомнил картину, которую видел в «Огоньке», репродукцию. Называется «Похоронка». Там женщина в платке и ватнике так же сидела и держала в опущенной руке белый бумажный квадратик. Правда, мать в атласном халате не похожа была на ту изможденную колхозницу, и не было на стене черного репродуктора, и копилки на столе не было. Но в позе матери была такая же безнадежность... Впрочем, ненадолго!

Алина Михаевна гневно взметнула прическу, лицо покраснело.

— Значит, он, мерзавец, все же наболтал тебе эту чушь!

— Ну зачем так... про чушь-то? — тихо сказал Егор.

— Потому что это самая настоящая и...

— Не надо, мама... И ничего он не наболтал. Ты сама говорила слишком громко.

— А ты подслушивал!

— Вот он подслушивал... — Егор дотянулся до ящика в столе, вытащил «Плэйер».

Алина Михаевна слушала свой диалог с Михаилом всего полминуты, потом сказала с неприятным взвизгом:

— Выключи! Сотри!

— Сотру. Теперь уже все равно... Только при записи я тут целый ансамбль стер, а кассета чужая. Хозяин с меня девятнадцать рублей трясет... Это еще по-божески, потому что знакомый. Ты выдай, ладно? А то я затынул с долгом...

— Еще чего! — Алина Михаевна резко шагнула к двери и обернулась. — Я должна оплачивать твои шпионские фокусы!.. Как ты смел тайком записывать разговор матери?!

— Не матери, а мента. Я думал, он капать на меня пришел.

— Боже, это что еще за выражения?! Где ты нахватался таких бластных словечек?!

— На факультативе по эстетике, — вздохнул Егор. — Девятнадцать рэ за кассету да три пятьдесят за телефон — деньги, что ли? Да еще пятерку бы, а то даже на буфет не осталось.

— На буфет получишь, а про остальные я расскажу отцу, — с необычной решительностью заявила Алина Михаевна.

— Какому... отцу? — вполголоса спросил Егор.

— Да ты что!.. Горик... — Она опять села в похоронной позе. — Что же... значит, наш папа теперь уже не отец тебе?

— Я просто уточнил, — глупо сказал Егор.

— Тому... человеку, Горик, я рассказать уже ничего не могу... Он был... хороший человек. Но тебя еще на свете не было, когда его не стало. А папа... он хоть когда-нибудь дал тебе разве понять, что ты ему не родной? Вспомни! А?

— Да, вспомнить есть что, — резиново улыбнулся Егор.

— Горик... В конце концов, ты же должен понимать. Папе мы обязаны всем. *Всем...*

— *Чем?* — холодно ошетинился Егор.

— Он тебя растил и кормил!

— Рос я сам. А кормил, потому что обязан. Раз усыновил. И еще будет кормить... Пока фамилию не сменю. — Последние слова у Егора выскочили неожиданно.

— Фа... что? Ты сошел с ума! Кто тебе разрешит менять фамилию!

— До паспорта два года. А там — сам себе хозяин.

— И это за все, что он для тебя сделал!

— Что он для меня сделал? — спросил Егор и почувствовал неожиданные, совсем детские слезы.

— Он тебя воспитал.

— Да уж, — сипло отозвался Егор. — Воспитывать он умел... Хоть бы ремнем, как нормальный отец нормального пацана, а то ведь... методика целая. Не лень было за прутьями ходить.

— Ну... он же не со зла. Не потому, что ты... не его. Он боялся, что ты станешь... Господи, кругом только и слышно о трудных подростках, о детской преступности. Отца можно понять, Горик... Ты, может быть, ему еще спасибо скажешь...

— Уже сказал, — горько хмыкнул Егор. Вспомнил стамеску.

— Если бы не папа, еще неизвестно, кем бы ты стал.

— А кем я стал?

Алина Михаевна помолчала и сказала с трагической ноткой:

— Да, надо признать. Ты стал неблагодарной свиньей.

— Вот видишь.

— Бессердечным эгоистом...

— Именно, — кивнул Егор.

— Я давно хотела сказать, давно замечаю... Ты...

— Что?

— Горик, ну как ты можешь?

— Что я *могу*?

— Вообще... С матерью так разговаривать.

Егор подумал.

— Мама, а когда он меня лупил, очень слышно было, как я орал? Через двери... Или ты уходила подальше?

Мать заплакала, и Егора царапнула жалость. Или угрызение какое-то. (Боба Шкип любил говорить: «Иногда совести уже нет, а угрызения ее еще остались».) Это бывало и раньше, если мать начинала ронять слезы.

— Горик, давай договоримся. Не будем ни о чем папе рассказывать, а? У него и так неприятности на работе. Ведь все равно ничего не изменишь.

— А я рассказывать и не собирался...

Он-то не собирался. Но сама Алина Михаевна не выдержала, в тот же вечер обо всем сказала мужу.

— Егор! — крикнул тот из своей комнаты. — Загляни ко мне, дружище!

Егор вошел. Все было как всегда. И розовый, как дамская комбинация, абажур... Только черного футляра не было, Гошка давно его растоптал и выкинул в мусорный контейнер.

— Свет Георгий, — сказал отец. Иногда он так обращался к Егору, потому что официально, по метрике, тот и был Георгием. — Для начала вопрос: не звонила ли мне дней семь-восемь назад из другого города некая дама со скандальным голосом?

— Звонила. Говорит: нет его ни дома, ни на работе...

— Та-ак... — Виктор Романович обернулся к матери (та появилась в дверях). — Значит, укатила в столицу все-таки, стерва. Я же говорил им: нельзя этой бабе доверять. Теперь понятно, почему крик в министерстве...

— А Пестухов что?

— А все то же: «Товарищи дорогие, но я же еще когда предупреждал...» Ну ладно, мы еще посмотрим, в горьком я уже мосты навел... — Он повернулся к Егору. — Ну, так что, юноша?

— Что? — слегка растерялся Егор.

— Мама сказала, что ты проник в нечаянную семейную тайну. Так?

— Выходит, проник... — нехотя сказал Егор.

— Но ты же понимаешь, надеюсь, что это никакой роли не играет? Легкая анкетная деталь, не более. Не правда ли?

— Как это? — Егор старательно смотрел на абажур.

— Я хочу сказать, что на наших отношениях это никогда не сказывалось и не должно сказываться впредь. Не так ли? — Виктор Романович умел авторитетно улаживать производственные конфликты и, судя по всему, полагал, что сейчас дело не сложнее.

Егор неопределенно шевельнул плечом. Виктор Романович бодро произнес:

— Вот и прекрасно! А то мама тут в панику ударилась, будто ты собрался фамилию менять... А?

— Это мама сказала... А я вообще разговора не заводил. Знал и молчал. А она счет за телефон увидела — и в крик...

Виктор Романович повернулся к жене:

— Ну а в чем проблема? Трешки несчастной, что ли, жаль?

Алина Михаевна потерянно сказала:

— Да разве в деньгах дело... Там и письмо, и кассета эта. Все у меня в голове перепуталось.

— Ну, заплатим и за кассету, раз так вышло... — с неожиданной усталостью сказал Виктор Романович. — Не пришлось бы в скором времени по другим счетам платить, покрупнее...

Егор перевел взгляд с абажура на отца. В глазах плавали зеленые пятна, и все же различил Егор, что отец сидит обмякший, утомленный. А потом разглядел и лицо — обрюзгшее, с незнакомыми складками. Впрочем, Виктор Романович тут же подобравшись.

— Ну а что за письмо? Если не секрет.

— Не секрет. Фотокарточка. Что я, не имею права знать, как выглядел... тот отец?

— Имеешь, имеешь. — В голосе Виктора Романовича уже звучала бодрая снисходительность. — Куда деваться, раз уж так получилось. Но вот что, Георгий-свет. Помни, что все-таки ты Петров. Кроме тебя, у нас с мамой детей нет. Единственный наследник. Ведь не кто-нибудь, а мы тебя, так сказать, взлелеяли...

— Лелеяли, так сказать, заботливо, — не сдержался Егор.

Отец помолчал и сказал примирительно:

— Я понимаю. Да ведь без конфликтов нигде не проживешь. Без них, как говорят, развитие останавливается... Ты в прежние годы тоже был не сахар, я помню... — Он нервно усмехнулся. — И я не Макаренко, всякое бывало. Сгоряча-то...

Егор опять стал смотреть на абажур.

— И вот еще что, дружище... — Виктор Романович сел прямо. — Ты пойми. Наша фамилия в городе известная, мы у людей на виду. Надо марку держать. Уяснил?

— Насчет марки? Уяснил, — тихо сказал Егор. — Только насчет «сгоряча» ты не говори. Ты перед *этим* каждый раз руки мыл... Пойду я, уроков много...

ЗАСОВ

Чтобы не оставлять следов на свежем наметенном снегу, Кошак привычно прыгнул от дыры в заборе на кирпичный выступ у входа в погреб. Толкнул дощатую дверь. Промерзшие ступеньки запели под ногами. Был сегодня крепкий холод — видно, пришла наконец настоящая зима.

Внизу, в темноте, Егор стукнул по внутренней двери. Условными ударами: раз-два, раз-два, раз-два-три («Чижик-пыжик, где ты был?»). За дверью было тихо: выжидали. Кошак постучал опять (такое правило). Тогда откинули крюк.

«Таверна» дыхла на Егора привычным теплом, сладковатым запахом заплесневелых углов, обугленного железа печурки. И сигаретным духом. Раньше, при Бобе Шкипе, порядки были нерушимые: курили только в отдушину и дымоход. Сейчас все чаще дымили просто так. Иногда Курбаши говорил: «Эй вы, кто смолит, передвиньтесь к печке, чтоб тянуло... Да не елозьте задницами, а передвиньтесь. А то скоро вознесем от дыма, как монгольфьер...» («Как чё?» — иронично спрашивал Копчик.) Но табачный аромат был уже неистребим. Мать не раз принячивалась к финской курточке Егора, когда он вечером являлся домой. И в глазах Алины Михаевны был безмолвный и тревожный вопрос. Впрочем, она знала, конечно, что Горик насчет курения не безгрешен. Оба, однако, «соблюдали приличия» и молчали...

Сейчас смолит двое: белообрывый безбровый Сыса (тот, что когда-то вместе с Копчиком привязался к Гошке) и «мышонок» Позвонок — тихий пятиклассник с лицом испуганного отличника. Сыса курил нахально, а Позвонок дисциплинированно пускал дым в открытую печурку. Он был счастлив и этим — Валет лишь недавно позволил ему курить.

Сам Валет кейфовал — томно полулежал на клеенчатом диване, притащенном со свалки, и слушал кассетник (не «Плэйер», конечно, а добитую «Весну»). Сдержанное ритмичное «дзымба» напоминало трудягу тепловоз на маневровых путях... Пуля сидел у Валета в ногах и услужливо держал кассетник на коленях.

Еще один «мышонок» — Липа — в углу щепал топориком лунину для растопки. Печку разожгут, когда на дворе совсем стемнеет и можно будет не бояться, что стелющийся дым из спрятанной в кирпичях трубы выдаст здешний приют. А пока нагонял уютное тепло (и сумму на счет местного жэка) электрический рефлектор. Подпольное подключение к щитку здешней котельной было сделано по всем правилам техники и конспирации.

На другом диване — поновее и пошире — перекидывались картами Копчик, длинный Мак (не от шотландского имени, а от прозвища Макарона), сам его сиятельство Курбаши и Баньчик —

подросший и уже милостиво допускаемый к развлечениям старших.

Яркая лампочка под фаянсовым треснувшим колпаком освещала подземную комнату с кирпичными стенами и прогнившими плахами пола. Со стены, с нового плаката, лукаво, умудренно и слегка устало улыбалась Алла Пугачева — она стояла среди круглых коробок с фильмами и путаницы распущенных кинолент.

Другая стена пестрела старинными жестяными знаками страховых обществ и ржавыми объявлениями типа «Не влезай, убьет!», «Посторонним вход воспрещен», «Осторожно, высокое напряжение!» и «Опасная зона». Их отдирали с покосившихся деревянных ворот, заборов, столбов и трансформаторных будок — из любви к искусству. Начало этой коллекции положил, говорят, Кама, притащивший черный жестяной щиток со словами: «Граждане! Сделаем наше кладбище местом достойного поминовения усопших!»

Три таблички украшали обитую жестью дверь в дальнем углу. На первой был череп с молниями, на второй — стеклянной — надпись: «Директор», на третьей — «Осторожно! Злая собака!».

Ни директора, ни собаки за дверью не было, а была пустая комната с кирпичным полом и забитым досками окошком под потолком (в нем осталась отдушина величиной с кулак). Здесь, бывало, хранились добытые у малобдительных владельцев велосипеды. В заиндевевом углу лежала кое-какая еда. Валялись ящики и поленья для печки. Здесь, у отдушины, в прежние времена курили. Сюда же Валет иногда отводил «мышат». Для «воспитательных целей».

По-домашнему тикали ходики с бегающими кошачьими глазками — их тоже в свое время принес откуда-то Кама...

Все здесь было свое, привычное для Кошака. И он был в «таверне» привычным, желанным. Своим.

Курбаши милостиво сделал ему ручкой. Остальные тоже так или иначе изъявили удовольствие. Лишь у Копчика на капризном личике появился нетерпеливый вопрос: «Как насчет долга?» Егор сел к расшатанному круглому столу, деловито выложил три пятерки, трешку и металлический рубль. И японскую кассету. Разговор Михаила с матерью был уже стерт. У Егора была мысль предложить Копчику на выбор — или пусть берет назад чистую кассету из-под «Викингов», или девять рублей за нее. Но в последний момент его словно что-то под руку толкнуло: кассету сунул в карман.

— Вот, Копчик, твои деньжата. Будем в расчете.

— Давно пора, — сказал неблагодарный Копчик. И уперся глазами в нагрудный карман Егора. — А кассета? Она самая?

— Она... — туманно улыбнулся Егор. — Только уже не с «Викингами». Так что тебе она ни к чему.

— А говорил, что посеял, — подозрительно сказал Копчик.

— Долго было объяснять... Пришлось один срочный разговор записать, а чистой пленки не оказалось. Случаются детективные моменты... — Егор говорил лениво и загадочно.

Копчик на детективный крючок не клюнул.

— Таковую запись сгубил. Надо было с тебя три червонца стрясти.

— Можно было и три, — поддразнил Егор. — Дело того стоило. Но теперь поздно... Да ты не вешай нос, Копчик, девятнадцать гульденов тоже деньги. По крайней мере, не придется тебе с Хныком и Чижом копейки у Редактора выпрашивать.

Копчик глянул быстро и со злостью: «Откуда знаешь?» И это «выпрашивать», видно, тоже уловил. До вопросов, однако, не унизились, небрежно разъяснил:

— С твоим Редактором дело другое. Мне там не копейки важны, а принцип.

— Это я понимаю, — примирительно сказал Егор. Привалился к столу. Зевнул. — И все же, Копчик, ты Ямщикова оставь.

Копчик очень удивился:

— С чего это?

— Вот с «того», — вздохнул Егор. — Тебе «принцип», а на меня в школе шишки.

— «Фыфки», — робко пошутил в углу Липа, вспомнивший недавний телефильм про папаненка, не умевшего говорить букву «ш».

— «Хыхки», — поддержал его Позвонок и закашлялся.

— Позвонок, брось курить, — сказал Валет. — Вторую сегодня сосешь.

— Мне маленько осталось.

Валет ласково пообещал:

— Позвонок, накажу. Будет больно.

Тот быстренько сунул окурок в печку. Копчик сказал Егору:

— А ты здесь при чем? У меня к вашему чокнутому Ямщику-ву свой интерес.

— Ты объясни это нашей директорше Клаве. Она-то знает, что в первый раз именно я тебя на Веньку навел.

— Первый раз был у кассы цирка, а не с тобой.

— Этого Клава как раз не знает...

— Вот ты и объясни ей, — злорадно предложил Копчик. — Тебе надо, ты и объясняй. Если так ее боишься.

Егор не боялся. Не в директорше дело. Дело в том, что не должен больше Копчик трогать Ямщикова. Пусть Редактор ходит спокойно. Так хочется Егору. Так ему лучше почему-то. Хотя бы

потому, что не надо отвлекаться на Веньку мыслями, когда думаешь о чем-то серьезном. Например, о парусах...

И вообще, рылом не вышел Копчик, чтобы таких, как Венька, ломать. Уж если даже ему, Кошаку, Редактору не по зубам, то другим и подавно...

Егор удивленно прислушался к себе и понял: сознание, что Венька Редактор ему не по зубам, не вызывает ни озлобления, ни простой досады. В другое время, еще недавно, Кошак спать бы не мог, придумывал бы способы, как сделать этого гада Ямщикова покорным. А сейчас? Что же случилось? Все мысли текут словно на фоне синего экрана, где вырастают многоэтажные, неотвратно наплывающие паруса...

Но ведь в глубине души Егор отступился от Веньки еще до парусов. Даже до телефонного разговора с Михаилом. Почему? Как тут разобраться?

Впрочем, он и не пытался разбираться. Воспоминание о парусах опять стало главным. Они двигались уверенно, словно их нес не корабль, а сама судьба. Или время. То нерушимое, равномерное, безостановочное время, о котором думал Егор, когда смотрел на маленький снимок сорок восьмого года.

И это движение парусов в памяти Егора совершалось под сумрачную мелодию песни, которую в фильме пели матросы. Егор удивился, что вспомнились слова:

Опускается ночь — все чернее и злей,
Но звезду в тучах выбрал секстан...

И еще:

После тысячи миль в ураганах и тьме
На рассвете взойдут острова.
Беззаботен и смел там мальчишечий смех,
Там по плечи густая трава...

И дальше:

Мы помнить будем путь в архипелаге,
Где каждый остров был для нас загадкой...

Стоп... Это уже не из фильма. Это песня Камы. Как две песни сложились в одну? Вроде бы и не похожи... Нет, что-то есть похожее. Настроение? Или то, что там и там — про острова?

Был бы здесь Кама, взял бы гитару... Тогда можно было бы сравнить эти песни.

Но Камы нет. Есть лениво усмехающийся Курбаши, вечно сонный Мак-Макарона, облизывающий пухлые красные губки Валет. И Копчик... Тот уже начал заводиться. Скоро захихочет. Потому что наверняка принял минутную задумчивость и рассеянную улыбку Кошака за ленивое презрение к нему, к Копчику.

А Егор поймал себя на том, что смотрит на всех как-то издалека. Словно прощается... Да ты что, Кошак?! Из-за Копчика, что ли? Неужели все ломать из-за этого кретина?

— Ничего я Клаве объяснять не буду... — Егор мягко потянулся и поудобнее устроился на табурете. Грудью лег на стол. — Я тебе, Копчик дорогой, объясню. Ты своими психологическими экспериментами... Эксперимент — это значит опыт, Копчик... Ты ими всем нам свинью подкладываешь. — Он весело оглядел всех по кругу: — Кстати, интересная информация, джентльмены. И ты, Копчик, послушай... Созрела негоданная сила в лице микромышат нашей образцовой школы. В классе, где Венькин брат учится. Лидер — некий Стрельцов. Грозили нашу резиденцию отыскать и выжечь нас, как клопов... Может, и не выжгут, но хорошую дымовуху эти гаврики пустить могут. Бдите...

— Стрельца я знаю, — подал голос Позвонок. И, польщенный общим вниманием, заторопился: — Он недалеко от нас живет, у него сестра большая уже тетка, начальница в клубе «Искра», я туда раньше ходил... А отец Ваньки Ямщикова им шахматы сделал большущие, вот такие, на своем станке точил. Я у них одного короля стырил, они его чуркой от городков заменили, а Ванькин отец его снова сделал в своей мастерской, на станке...

— Богато живет мужик, — лениво сказал Курбаши. — Мастерскую имеет с техникой...

— Да не... — Позвонок хихикнул. — Это у него сарай. А станок маленький... Я видел, мы почти рядом живем.

— Сарай-то во дворе? — безразлично спросил Копчик. И Егор насторожился.

— Ага. Рядом с нашим забором...

— Кто кому еще дымовуху... — Копчик суетливо подобрался. Глазки сделались как буравчики. — Стружки, они хорошо горят...

— И хозяину штраф от пожарников, а то и срок, — подал реплику сонный Мак. — У Копчика котелок тумкает...

«Только без горячки, — сказал себе Егор. — Только виду не показывай, что тебя это царапает...»

Он сказал с безразличным зевком:

— Совсем ты съехал по фазе, Копчик. Засыплешься ни за что.

— Это как? — Глазки-шурупы ввинтились в Егора.

В самом деле, как? Сунут в шель сарая бумажный пакетик с простой химической смесью. Она известна любому, срабатывает через несколько минут. И никаких следов.

Стараясь не показывать беспокойства, Егор сказал:

— Курбаши, объясни этому болвану. Закон нарушает...

Закон был такой: «таверна» сама по себе ни на какие дела не ходит. Здесь собираются для отдохновения души. У каждого на

стороне могут быть друзья, заботы, всякие «операции», но к «таверне» это прямого отношения иметь не должно. Подвигов своих здесь друг от друга не скрывали (народ надежный), прятали иногда в «директорской» кое-какие вещички — но и только. Никогда Курбаши не звал с собой на «работу» никого из «больничников». И вообще никто друг друга не звал. Разве только если надо заступиться за своего...

Может быть, потому и жила в Больничном саду подвальная «таверна» дольше других «бункеров» и «блиндажей». Она была как мирная гавань для возвращавшихся с промысла флибустьеров.

Но сейчас Курбаши сказал, что закона Копчик не нарушает. Если ему охота сделать иллюминацию — дело его. Он пойдет на это не с «больничниками», а со своими кадрами.

— И Позвонка сминивать не вздумай, — предупредил Валет. — Мальчику ни к чему мелкая уголовщина.

— Обойдусь, — деловито сообщил Копчик. Он опять посверлил Егора ехидными глазками, и Егор понял: угадал гад Копчик его тревогу, его боязнь. И теперь уже не назло Веньке Ямщикову, а назло ему, Кошаку, будет двигать свой пожарный план.

— Ты к Редактору что-то имеешь, а что тебе отец-то его сделал? — тихо спросил Егор. И все удивленно примолкли. Такая «моральная» постановка вопроса была здесь в новинку. Копчик среагировал быстро:

— А, одно семя!

Тогда Егор сказал напрямик, тяжело и с расстановкой:

— Копчик. Не делай этого.

— Ты чё! — Копчик подскочил, будто в зад ему воткнулась диванная пружина. — Такой сделался, да? На своих, падла!

Это он пока только заводился. Однако скоро (Егор это знал) Копчик завершит и кинется, как злая крыса.

Но было уже все равно, и Егор сказал с ленцой:

— Что-то погода меняется. Не знаешь, Копчик?

— Чё?.. — Он малость осел от неожиданности.

— Колено болит, — пояснил Егор. — Всегда ноет к смене погоды. С той поры, как я его о твои зубки починил. Помнишь?

— Ты... ты... — не то запел, не то заплакал Копчик и приготовился прыгнуть.

Егор встал, пяткой отбросил табурет. Курбаши властно сказал:

— Ша, джигиты! Если охота, идите на воздух. Или хотя бы в «директорскую». И чтобы без смертоубийства...

Егор скакнул спиной к двери. Оттуда проговорил:

— Не пойду. Здесь скажу... Ты, Копчик, не сунешься к сараю Ямщиковых. И Веньку больше не тронешь. Усек? А то говорить я с тобой буду... как при первой встрече.

Копчик взвизгнул и рванулся, но Курбаши дернул его за свитер. Кинул на диван. И встал сам.

— Кошак, ты что? Ай, нехорошо. Мы тут, можно сказать, одна семья, а ты...

Егор знал, с какой силой надо грянуться спиной о дверь, чтобы она открылась мгновенно. И сказал в рыжее лицо Курбаши:

— Вот и послушайте меня тихо, по-семейному. Копчик не сунется к Ямщиковым, а ты, Курбаши, за этим проследишь...

— А ну, иди, поговорим, — нехорошо попросил Курбаши.

Егор спиной вышиб дверь, и она тут же захлопнулась. В морозном «предбаннике» — глухой мрак. Где же засов?.. Черт, где засов?! А, вот! Железо лязгнуло. В ту же секунду на дверь надавили изнутри. Фиг вам! Щеколда, на которую Курбаши, уходя, вешал амбарный замок, выдержит долго... А чтобы вы там приутихли — вот! Егор нащупал над головой провисший провод и рванул. За дверью взвыли, и стало тихо. Ищут спички...

Егор выбрался в сад. Было уже совсем темно. Хорошо пахло снегом, он еле мерцал. Набирая снег в ботинки, Егор добрался до кустов у разрушенной стены. Здесь была замаскированная железная труба дымохода. В полуметре от земли.

Егор сказал в пахнущий дымом раструб:

— Эй, Курбаши! Подойди к печке, поговорим... — Он знал, что в подвале голос его звучит гулко и утробно, будто заговорила сама печка.

Было тихо. Егор ждал. Сердце колотилось нестерпимо. Как в давние времена, когда приближалась неотвратимая отцовская расправа. Но сейчас — черта с два! Расправы не будет!

Из трубы наконец донесся голос Курбаши:

— Ну, Кошачок, ты даешь...

— Даю...

— Чего хочешь?

— Того, что сказал. Чтобы Копчик усох и не выступал. А ты за ним последил.

— Иди открой дверь, дурак. Тогда поговорим.

— Я что, шизофреник?

— А разве нет? Ты думаешь, засов тебя спасет навеки?

— На некоторое время, — сказал Егор. И от волнения закашлялся. Прижал к губам горсть снега.

— На маленькое время, Кошачок, — донеслось из трубы. — Ай, на совсем маленькое, дорогой. А как будем разговаривать, когда встретимся? А?

— Вежливо будем. — Егор слегка успокоился. — Ты же меня давно знаешь, Курбаши. Разве я такой безмозглый, как Копчик? Не в засове дело. Есть запоры покрепче...

— На что намекаешь, дорогой?

— А вот слушай, дорогой... И скажи там, чтобы не ломали

дверь, бесполезно... Помнишь, Копчик дал мне кассету с «Викингами» и мы слушали? А потом Копчик слинял, а мы остались, да еще Гриб заглянул. Ты о чем тогда говорил? Говорил ты, Курбаши, как смешно лишился колес один автомобиль в дальнем гараже за кино «Буревестником». И как ловко вы с Грибом катнули эти колеса нужным людям...

— Сволочь, — сказал Курбаши. — Ну, Кошак, какая же ты...

— Ти-хо... Что ты нервничаешь? Ну да, ты догадался, почему стерлись «Викинги». Что-то меня будто в руку тогда толкнуло — на запись нажать. По-научному называется интуиция.

— Га-ад... — дохнуло из трубы.

— Ну, зачем так, Курбаши-джан? — мирно сказал Егор. — Ничего же не случилось. Никто пока запись не слышал...

Теперь Егор почти успокоился. Душа его радовалась спасительной выдумке. Вдохновение не раз выручало Егора в отчаянные моменты, не подвело и сейчас. Как здорово, что он догадался не отдать кассету Копчику, намекнул насчет важной записи! Еще не знал, зачем это надо, а инстинкт сработал...

— Кошак, ты чего хочешь-то? — уже по-иному, покладисто, спросил из глубины Курбаши.

— Я? Да ничего. Только чтобы с Ямшиковыми обходились вежливо. И чтобы... — Егор нервно усмехнулся, — со мной тоже. И тогда запись не услышит ни один смертный.

— О'кей... — после небольшого молчания отозвался Курбаши. — Провод-то подцепи обратно, Кошачок, дышать не видно. И дверь отопри.

— Не-е! Темно там, еще шархнет ток. Технику безопасности надо соблюдать. Сами почините, со свечкой.

— Ну дверь открой.

— Окошечко в «директорской» распечатайте, кто-нибудь из мышат вылезет, отопрет. На десять минут работы. Как раз чтобы мне кассету унести в надежное место...

— Умен, Кошак, — вздохнул в подвале Курбаши.

— Да уж такой...

— С кассетой-то не балуйся. Потом поговорим еще.

— Можно и поговорить. Ну, пока...

Уже через пять минут, по дороге к дому, нервное ощущение победы сменилось у Егора тоской и страхом. Даже отчаянием.

Тоска была по «таверне», потерянной раз и навсегда: куда он теперь один-то денется? Страх — оттого, что расчет на кассету — слабенький, как паутинка. Что, если Курбаши придет в себя и засомневается? Потребуется: «А ну, Кошачок, прокрути запись! Не пудришь ли ты мне извилины?» Тогда как быть?

«Тогда — кранты, — сказал себе Егор. — Хоть из города сматывайся». Потому что он знал: измену не простят.

С чего он так сразу — дверью хлоп, и на засов? Все оставил за

этой дверью, как отрезал! Из-за чего? Из-за злости на Копчика? Из-за этого шизика Редактора? Ох, дурак, дурак, дурак...

Дома он промаялся такими мыслями до полуночи и несколько раз решал: самое дело — вернуться в «таверну» и с небрежным смехом сказать, что история с кассетой — это сплошная хохма. Шуточка. Ну, пускай неудачная. Копчик, скотина, разозлил, вот он, Кошак, и психанул. Всякое бывает. Не станет же Курбаши из-за этого дела Кошака мордовать и гнать из «таверны».

И все же он не пошел. Во-первых, чувствовал: такую шуточку никогда Курбаши не простит. Потому что покусился Кошак на очень серьезную вещь — на его, курбашовское, доверие. В доносчики пригрозил пойти! А этим не грозят даже шуты. А во-вторых, если и примут обратно, не то уже будет отношение к Кошаку. Станет он как разжалованный из полковников в рядовые. А Копчик вознесется. И кстати, тогда уж постарается устроить «иллюминацию» обязательно...

Измотанный сомнениями, Егор наконец уснул, а утром поднялся с тем же страхом, с теми же терзаниями. И сперва не хотел даже в школу идти: нездоровится, мол. Но инстинкт подсказал: раскисать и прятаться нельзя — это еще хуже.

На первый урок Егор все же опоздал и шел к школе, когда совсем рассветало. Утро было ясное, снегу за ночь еще намело, и он сахарно сверкал. Разбрасывал разноцветные искры. И Егор приободрился. Сквозь сомнения и страхи пробилась мысль, которая вчера лишь задавленно копошилась под другими, трусливыми. Даже не мысль, а ощущение: он, Егор, пошел на разрыв с «таверной» не из-за ссоры с Копчиком. И не ради Веньки Ямшикова. То есть не только ради Веньки. Прежде всего — ради себя. Потому что давно уже хотел какого-то взрыва в серой своей и монотонной жизни. Пусть болезненного разлома, пусть отчаянной встряски, лишь бы что-то изменилось...

В конце концов, разве не с этим тайным желанием каких-то перемен поехал он в Среднекамск к Михаилу?

«Не с этим! Ни с каким не с желанием! — рявкнул на себя Егор. И снисходительно, как бы со стороны, сказал себе: — Ну-ну... Егорушка. Не вертись, детка...» И с удивлением понял, что думает уже не о Курбаши, не о «таверне», а так... в себе самом копаются. Ну и дела!..

Уроки прошли быстро, хотя и скучно. Разнообразие внесла лишь стычка Егора с Классной Розой по поводу пропущенного первого урока. «Ты, Петров, по-прежнему полагаешь, что тебе все позволено! Напрасно, голубчик. Не те времена...»

Он не понял, какие «не те времена», и забыл о разговоре. Его занимало другое: в классе не было Ямшикова. Это почему-то слегка встревожило Егора. Он хотел даже заглянуть к второ-

классникам и спросить про Редактора у Ваньки, но... Да не то чтобы он опасался идти к этой нахальной мелкоте, а просто не хотелось. Облепят опять, прицепятся, как пиявки...

Дома снова на Егора навалились сомнения. И опять на минуту подумалось: «Может, вернуться?» Чтобы отвлечься (и заодно чтобы сказать спасибо за присланный снимок, а то как-то неловко), Егор позвонил Михаилу. Но с домашнего телефона женщина ответила, что Михаил Юрьевич в командировке и вернется завтра. Это неожиданно сильно огорчило Егора, и невеселых мыслей стало больше. Хуже всего была неизвестность: как теперь поведет себя Курбаши? Неужели будет тихо сидеть и бояться кошаковской кассеты?... И Егор обрадовался, когда вдруг появился Валет. Хоть что-то прояснится!

Валет и раньше захаживал к Егору. Матери он нравился: изящный, вежливый.

— Валя! Какой ты молодец, что зашел. А то Горик второй день сидит и кукуется... Горик, дай Вале папины тапочки...

В комнате Егора Валет полулежит на тахту и сочувственно глянул на выжидающего Егора.

— Наколочка вышла, Котик. Не записывал ты исповедь нашего храброго шефа.

— Да? — машинально сказал Егор. И, кажется, получилось ничего, спокойно и немного иронично.

— Да, мой хороший. Иначе как бы ты мог через день после того дать послушать «Викингов» Грибу?

Все ухнуло внутри у Егора. Холодно стало. Вот дубина крети-ническая, как же не подумал об этом?! Теперь — хана.

И все же Кошак — он Кошак. В душе паника, а на лице пренебрежительная ухмылка. Повел плечом, достал из ящика «Плэйер», из другого — кассету (приметную, желтую, «Денон»), аккуратно вставил в маг... «Господи, зачем я это делаю? Чтобы оттянуть провал на полминуты? Или на чудо надеюсь? На какое?... Может, мать что-то включит на кухне и пережжет пробки? Или на станции случится авария? Или... что?»

Он даванул кнопку перемотки, словно собираясь пустить пленку с начала. И смотрел на Валета спокойно и улыбочиво. Сейчас, мол, убедись сам. А в мыслях металось отчаянное желание невозможного: «Ну пусть что-нибудь случится! Пусть!»

А что могло случиться? И Егор понял, что остается одно: в последний момент «нечаянно» махнуть рукой и сбить «Плэйер» на пол. Чтобы маг улетел вон туда, к батарее, чтобы грохнулось о чугунные ребра изо всех сил. А то она, японская техника, говорят, такая: ею хоть гвозди забивай, а все равно поет... И к тому же сделать это надо натурально! Чтобы не заметил Валет

умысла... Хотя, конечно, трудно представить, что кто-то будет нарочно расшибать маг фирмы «Сони»...

«Ну, а потом что? Принесут другой кассетник: «Давай, Кошачок, заводи...»

Егор неторопливо размотал провода динамиков. С сомнением взглянул на Валета:

— Или лучше наушники? Чтобы меньше шума. Запись не для всяких ушей... Держи.

Валет наушники не взял.

— Нет, Кошачок, я шефу обещал, что слушать не буду. Кто меньше знает, дольше живет. С вашими делами разбирайтесь сами...

— Как хочешь, — безразлично (очень безразлично!) сказал Егор. И почувствовал, будто с него сваливается подтаявшая ледяная корка. Он убрал магнитофон. Лениво объяснил: — А Грибу я, кстати, давал «Черных мустангов». Ему что «Викинги», что «Мустанги», что «Сказки Венского леса». Сидел, чмокал: «О, кайф...»

Валет вежливо посмеялся. Егор сел рядом, зевнул:

— А с Курбаши мне чего разбираться? Мы друг другу все сказали.

— Он спрашивает: что ты хочешь за кассету? Если она есть...

Егор посмотрел на Валета: что, мол, вы с Курбаши, совсем за идиота меня держите?

— Есть такой мультик: один глупый ежик всем свои колючки раздарил, и его тут же кошка съела. Как мышонка.

— Курбаши не съест, — веско сказал Валет. — Он если обещает, то железно.

— Может быть, — подумав, согласился Егор. — Но какая у меня будет жизнь? Даже эта сопля Копчик станет смотреть на меня, как... на чурку городошную, которой краденого короля заменили. Помнишь, Позвонок рассказывал...

Валет нейтрально пожал плечами: есть, мол, в твоих словах некоторая логика. И сказал, светски меняя тему беседы:

— Кстати, Копчик Позвонка у меня откупил.

— Как это?

— Просто. За трояк. Мне Позвонок ни к чему, не тот кадр. А Копчик на него вид имеет.

— Какой? — с тревогой спросил Егор.

— А черт его знает. Я в чужие дела не суюсь.

Егор нервно предупредил:

— Передай Курбаши: если Копчик что-то все же задумал против Ямшиковых, я устрою радиопередачу для массового слушателя.

— Передам. Такая моя роль — дипкурьер между двумя несговорчивыми державами...

— Горик, иди сюда на минуту! — окликнула из коридора Алина Михаевна. И когда Егор вышел к ней, сказала: — Спроси у Вали, что он хочет. Чай с вареньем или кофе?

— Спрошу, — улыбнулся Егор. Пришел в комнату. Встал у двери. Валет сидел в небрежной позе. С безразличным лицом.

Егор прижал закрывшуюся дверь спиной и тихо сказал:

— Положи кассету на стол, Валет. Быстро. Убью...

Он был слабее высокого ловкого Валета, но сейчас преимущества оказались на его стороне: позиция у двери, ярость и понимание, что надо драться до самого отчаянного конца. Валет улыбнулся, развел руками и выложил кассету из кармана. Встал.

— Не эту, — сквозь зубы произнес Егор. — Ну...

Все так же улыбаясь, Валет вынул другую.

— Брось сюда. Мне в руки, — приказал Кошак. — Не шути, Валетик... — Он поймал кассету и убедился, что она та самая — с неприметным карандашным штрихом на желтой наклейке. Отошел от двери. С облегчением сказал, подражая Курбаши: — Ай, нехорошо, Валет. Ай, неправильно, дорогой...

Улыбка у Валета стала тонкой, как у героев Дюма.

— Ты очень умен, Кошак. Лично мне жаль, что ты с нами поспорился. Тебя будет очень не хватать у нас в «таверне».

— И мне жаль, — почти искренне сказал Егор. — Но я не виноват, вы сами... А может, судьба... Мать хотела чай или кофе приготовить, но, по-моему, ты спешишь, Валет, не правда ли?

— Ты прав. Прощай, Кошачок.

— Адьо, Валет.

Вот так по-джентльменски окончилась их беседа. И Егор остался один. Опять со своими путанными мыслями и сомнениями. Ощущение новой победы было непрочным, а страхи и колебания снова росли. «Может, вернуться? Сказать про все Курбаши?»

«Брось, Кошачок. Ты, как говорится, сжег все корабли...»

Мысли цепляются одна за другую. Проскочившее в них слово «сжег» напомнило о планах Копчика. Зачем он, гад, перекупил Позвонка? Вдруг все-таки решится поджечь мастерскую? Он такой — если шица в извилину въедет, его и Курбаши не остановит.

«Так что же теперь? Может, и правда сжечь корабли? Все до одного? Окончательно?»

Мысль опять вильнула в сторону — оттолкнулась на этот раз от слова «корабли». Четырехмачтовое океанское судно неторопливо развернулось в аквамариновом просторе воды и неба и стало надвигаться на Егора многоэтажными парусами.

Не шуми, океан, ты не так уж суров,
Нам причин для вражды не найти...

...Мы помним этот путь в архипелаге —
Запутанный такой и незнакомый...
Не знали, в чей песок вонзим мы флаги,
Но знали — не найдем дорогу к дому...

Милосердный владыка морей и ветров
Да хранит нас на зыбком пути...

Надо же как перепутались слова разных песен... А кто сохранит на зыбком пути Егора?

«Слушай! Значит, ты просто-напросто трус?»

Но он не боялся теперь ни Курбаши, ни кого другого. То есть боялся, но не так уж... Сильнее был страх вот перед этой неприкаянностью, раздвоенностью. Так и маяться теперь? И тогда, чтобы в самом деле сжечь все корабли, разломать мосты, обрубить канаты и освободить себя от сомнений, Кошак сделал то, что «таверна» не простит уже никогда. Переход на сторону противника не прощают нигде никому.

В старой записной книжке он отыскал телефон Светки Бутаковой (в былые времена Егор иногда развлекался тем, что звонил ей вечером и загадочно молчал в трубку).

— Бутакова? Привет, начальница. Это Петров... — Он представил, как округлились у Светки глаза. — Ну, только не дыши так шумно от изумления. У меня один вопрос.

— Ну... какой вопрос? — наконец отозвалась та. Подозрительно и недовольно.

— Ты не знаешь, почему сегодня не было Ямщикова?

— А... тебе-то что?

— Волнуюсь за члена классного коллектива.

Светка подумала.

— Ты, наверно, опять какую-то пакость ему сделал?

— Дура. Чего бы я тогда тебя спрашивал?

— Ох и хам ты, Петенька... Ничего я не знаю про Ямщикова.

— А где живет, знаешь? Ты же командирша, все адреса должны у тебя быть записаны.

— Знаю, но не скажу.

— Военная тайна, что ли?

— Для тебя — да! А то ты опять со своей бандой к нему привяжешься.

— Извини, Бутакова, но ты снова дура. Если бы я имел к Редактору счет, стал бы я тебе звонить?

Она помолчала опять и соврала:

— Нет у меня адреса.

— Но у меня правда серьезное дело к нему! Не успею — будешь виновата!

Светка нерешительно сказала:

— У меня есть его телефон. Звони и сам договаривайся...

Номер Ямшиковых Егор набрал, победивши стыдлившую нерешительность и разозлившись на себя. Ответил голосок:

— Квартира Ямшиковых.

— Это... Иван?

— Ага... А это кто?

— Это... Егор Петров. Позови Веньку.

После молчания, после сердитого сопения в трубке раздались:

— Чего надо, Кошак?

— Позови, Иван. Дело...

— Он не может говорить. У него ангина...

— Ч-черт... А отец дома?

— Че-го? — удивился Ваня.

— У меня дело не к Веньке, а к вашему отцу. Понял ты?

Ваня подумал, спросил:

— Позвать?

— Нет, постой. Скажи ваш адрес, я приду сам...

ДЕКАВРЬ

Рано утром, еще до школы, позвонил Курбаши.

— Привет, Кошачок... Слушай, как-то не закончился наш разговор, а?

— Разве не закончился? — напряженно сказал Егор.

— Может, сговоримся насчет кассеты? Валету ты ничего толком не ответил... Кошачок, у меня все по-деловому: товар — деньги... А? И не думай плохого, безопасность я тебе гарантирую.

— Ха. Ха. Ха! — сказал Егор.

— Да ты что! Мое слово железное. А цену я дам серьезную. Дело есть дело.

— Я сказал «ха» не насчет безопасности, — разъяснил Егор. — Я подумал: можно бизнес повернуть — пальчики оближешь... Нет, Курбаши, не буду я химичить. Мы с тобой люди благородные. Хочешь уступлю даром? То есть запись даром. А кассету — за девять гильденов, по номиналу, без процентов... Слушай на здоровье.

Курбаши помолчал. Спросил, будто из глухой глубины:

— Копию снял?

— А ты думал! И не одну, а две, — вдохновенно соврал Егор. —

Причем одна уже у родственников в Среднекамске, а вторая... Не съдут ни Томин, ни Знаменский, ни сам Шерлок Холмс.

— Ясененько, — потерянно отозвался Курбаши. И было понятно, что он отчаянно думает.

Егор пошел на крупный риск. Чтобы закрепить позиции:

— Кстати! Валет болтал, будто ты не веришь, что есть запись. Подожди, я маг принесу, через телефон хорошо слышно... А, черт! Уже в школу пора. Ну ничего, подожди, я быстро!

Курбаши ответил, как и рассчитывал Егор:

— Ты что, совсем шизик? Такие речи по телефону!

— Как хочешь...

— Эх, Кошак, Кошак, зря ты это... Ну, взял ты меня на крючок. А зачем? Сам-то как будешь? Пусто тебе будет, Кошачок, нехорошо... Еще в древней Библии сказано: «Если человек одинокий и другого никого нет у него, как ему быть? Когда упадет один и некому поднять его, недоброе это дело и суета сует»... «Экклезиаст» называется эта глава...

В точку ударил, гад. Но не было уже пути назад у Кошака.

— Я думал, ты специалист по Корану, а ты и Библию знаешь.

— Я вообще начитанный, — хмыкнул Курбаши. — Я ведь не в слесаря, а в философы метил. Как и Боба... Не судьба... Я тебе и классику могу процитировать. Хотя бы «Тараса Бульбу». Как там про товарищество сказано. И про предательство...

— А кто тебя предаст?! — возмутился Егор. — Не трогайте Ямшиковых, не лезьте ко мне, и кассеты будут молчать, как камни. Ты, главное, смотри, чтобы Копчик дурака не валял... Я на всякий случай предупредил Ямшиковых, но он же псих...

— В том-то и дело! — У Курбаши прозвучали откровенно боязливые нотки. — Я что и хочу сказать! Я за Копчика не отвечаю, он вроде на откол пошел. На то дело, что на пленке, ему начхать, он на нем не завязан...

— Придется тебе отвечать за Копчика, Курбаши. Ничего не поделаешь, придется. Держи его покрепче, это единственный выход, — злорадно сказал Егор. И положил трубку.

Ангина у Редактора оказалась не такой уж сильной.

Накануне, когда Егор говорил с его отцом, Венька даже не показался. Старший Ямшиков сам открыл дверь и сказал, что Венька лежит с замотанным горлом и, кажется, спит. Но сейчас, утром, Редактор появился в школе. Перед самым звонком. Глянул на Егора, и тот понял, что Веньке все известно.

Венька и не притворялся, не играл в безразличие. После первого урока догнал Егора в коридоре.

— Петров... Слушай, зачем ты это сделал, а?

— Что? А!.. Ты про вчерашнее, что ли?

— А про что еще... — сипловато сказал Венька. Они остановились у окна. Мимо двигался неторопливый, с завихрениями поток старшеклассников, меняющих кабинеты. В потоке стайками плотвы носилась малышня. Венька стоял перед Егором еще более тонкий, чем всегда, бледный. Его цепляли портфелями.

— Я не понимаю, — сказал Егор. — Ты чем опять недоволен?

— Я не говорю, что недоволен... — Венька смотрел то Егору в глаза, то куда-то вбок. — Просто неясно...

— Тебе же отец, наверно, все объяснил.

— Он объяснил, что ты сказал. Но не объяснил зачем.

«Его это и не интересовало», — мысленно ответил Егор. Он помнил, что разговор был простой и короткий. Старший Ямщиков вроде бы и не удивился, что Венькин одноклассник Петров пришел и рассказывает такую вещь: есть, мол, компания, которая придирается к Веньке и в отместку ему надумала пустить «петуха» в мастерскую. Может, и просто треплются, но на всякий случай надо быть начеку. Тем более что некий Позвонков живет неподалеку и по приказу Копчика может сделать всякое.

«Ах, паразиты! — не возмутился, а скорее удивился Аркадий Иванович (а Ваня сидел в уголке и молча, прицельно как-то глядел на Кошака). — Чего им неймется? Пришли бы в мастерскую, я бы им станок показал, делу научил... Ну, спасибо тебе, Егор. Я, конечно, буду смотреть. Хотя, если всерьез пакость задумают, как углядишь?.. Слушай, а Венька мой говорил, что у него с тобой вроде бы нелады? До драки доходило?»

«Было, — хмуро сказал Егор. — Сейчас разговор не о том...»

«Оно верно, сейчас не до детских ссор... А Колька-то Позвонков какой фрукт! Я же его с пеленок знаю, с отцом его в одном цехе работали... Отец потом развелся, уехал, а Николай, значит, и покатылся по наклонной... С матерью, что ли, поговорить, хотя она, конечно, особа излишне шумная...»

И, вспомнив этот разговор, Егор сейчас сказал Веньке:

— Что значит «зачем»? Думаешь, что я какой-то финт хочу скрутить?

Венька мотнул головой (и смешно затряслись сосульки-волосы).

— Нет, я так не думаю. Но согласись, что это неожиданно...

— Для тебя неожиданно, — с усмешкой уточнил Егор.

— Ну да... А у меня такой характер: всегда хочется разобраться. Понять мотивы поступка.

— «Мотивы» самые шкурнические, — слегка разозлился Егор (непонятно только: на Веньку или на себя). — Ты после той истории думаешь, что я... на веки вечные твой враг. Копчик тебя запалит, а ты решишь, что это моя коварная месть. Мне это зачем? Отвечай еще потом.

Венька снова глянул Егору в лицо, быстро облизал пухлые, с трещинками губы. Тихо сказал:

— Нет, я думаю, ты не из-за этого.

— Да ты душекопатель-профессионал, Редактор, — уже крепче разозлился Егор. — Ты что, благородные причины во мне ищешь? Не ищи, я эгоист.

Венька улыбнулся еле-еле, уголком рта.

— Ну... ладно. Все равно спасибо.

— Не надо... Отец твой спасибо уже сказал.

— А я не от него, а от меня... Отец ведь не знал, что ты рискуешь.

Егор скривился:

— А чем я рискую?

— Если в вашей «таверне» узнают...

— А они знают, Венечка... — вздохнул Егор. — Ничего мне не грозит, я не дурак, чтобы головой в капкан, принял меры... Так что не усматривай во мне рыцарства.

— Ну ладно... — опять сказал Венька. И отошел. И оглянулся на миг. Это движение Веньки Редактора — быстрый поворот головы и хитровато-веселый взгляд — толкнули Егора, как резкое напоминание. О чем-то очень знакомом.

О чем?

На уроке литературы начался с пустяка и разгорелся «скандал на эстетическую и философскую тему» (как выразился невозмутимый Максим Шитиков). Классная Роза сказала:

— Мстислав Георгиевич жалуется на нас, друзья. Он распроstrаняет билеты в молодежный театр «Эхо», и оказалось, что в нашем классе на спектакль не хочет идти никто...

— А что, это разве по программе? — спросил глупый Карасев, и Роза поморщилась.

— Это новое, смелое течение в современном театральном искусстве. И мне казалось, что восьмиклассники уже достаточно взрослые, чтобы...

— Настолько новое и настолько смелое, что никто билеты не берет. Как бы чего не вышло, — вдруг подал голос Антон Разумовский по прозвищу Граф. Рослый, толстый, на графа он был похож, как бочка на фарфоровую вазу, занимался штангой. Казалось бы, ему ли судить о театре. Роза так и высказалась:

— Боже мой, Разумовский... Оставь свой тяжелоатлетический юмор. Мы же не о поднятии веса беседуем.

Разумовский не сдался:

— А у этого «Эха» сплошное эханье и оханье... Думают, если Высоцкого поют, так уже смелость и передовые идеи.

— Высоцкий как раз не означает еще передовых идей, — бы-

стро сказала Роза Анатольевна. — Отношение к нему неоднозначно... Однако вы должны быть в курсе современных культурных течений. Надо вторгаться в жизнь и учиться формулировать свое мнение о действительности.

— Ага! — воскликнул маленький Юрка Громов. — Ямщиков тогда сформулировал в сочинении, что много молчаливых развелось. Что ему поставили?

— Ему поставили «три», Громов! Хотя можно было и «два». Не за самостоятельность суждений, а за уход от основной темы...

— Оно так и бывает, — подал голос Шитиков. — Как проявил не ту самостоятельность, не из учебника, так и уход...

— Вы всегда любое дело сводите к пустой болтовне и дутой полемике, — скорбно сказала Классная Роза. — Это понятно. Для йстинного самостоятельного мышления нужен все-таки хоть какой-то йнтеллектуальный уровень. А у вас одни дискотеки в головах, на серьезный спектакль или концерт арканом не затащишь.

— Особенно когда тащат насильно, — выдохнул Разумовский. — Поп-физик говорит: «Таких, как ты, надо за шиворот в цивилизацию тащить». А я говорю: «У меня весовая категория не та». А он говорит: «Дашь дневник...»

— Дневник ты дашь мне, — подытожила Роза Анатольевна. — За «Поп-физика». Совсем охамели... Недаром журналисты в газетах охают: «Что за поколение! Откуда такие нищие духом?»

— Кто-кто? — спросил глупый Карасев.

— Ты, Карась, хотя бы «Тома Сойера» прочитал, — сказала Светка Бутакова. — Даже там про это есть: «Блаженны нищие духом, ибо они...» Помнишь, Том Сойер молитву для школы не мог выучить? Такой же тупой, как некоторые...

— Совершенно верно. — Классная Роза благосклонно взглянула на Бутакову. — Именно в убогом обществе насилия и наживы сильным мира выгодно, чтобы больше людей вырастали нищими духом. То есть с убогим умом, не умеющие самостоятельно мыслить... Потому-то Иисус Христос и обещал таким людям царствие небесное... Это написано еще в Ветхом Завете, в Евангелии...

— Евангелие — это Новый Завет, — вдруг отчетливо сказал Ямщиков. — А у выражения «блаженны нищие духом» там совсем другой смысл. Оно означает: «Счастливы те, кто стал нищим, отказался от богатства и наживы по велению своего духа»...

Классная Роза растерянно мигнула, но отозвалась ехидно:

— Да? Любопытная трактобочка.

— Это он «Мастера и Маргариты» начитался, — произнесла томная Симакова и потрогала сережки. — Там Иисус Христос положительный персонаж.

— В «Мастере» об этом не написано. Лучше почитай статью в двухтомнике «Мифы народов мира». Широкое издание для массового читателя. — В голосе Веньки прозвучала несвойственная ему язвительность. — Тоже помогает от нищеты духа.

— Не знаю, что там в двухтомнике, — сухо сказала Роза Анатольевна, — а твои высказывания, Ямщиков, отдают... Еще в давние времена хитрые йдеологи разных мастей пытались доказать, что...

Она запнулась, подбирая формулировку, а Егора дернуло за язык. Ну совершенно неожиданно!

— Йи ты, Ямщиков, с такими взглядами надеешься попасть в девятый класс? — возгласил он так похоже на Классную Розу, что все грохнуло.

Роза онемела. А когда ржание поутихло, она печально произнесла:

— Докатились. Ямщиков и Петров в одной упряжке. С чего бы это?

— А я тоже люблю библейские тексты. Вы тут на Редактора нажали, я и вспомнил: «Плохо, если человек один. Недоброе это дело и суета сует. Когда упадет, кто поднимет его?» Это из «Экзехезиаста», глава такая...

Бутакова подскочила за столом:

— Петеньке бы эти слова раньше вспомнить, когда он на Ямщикова с дружками своими лез!

— И уж не Петрову быть проповедником евангельского бескорыстия... — добавила Классная Роза.

— С его джинсами и магнитофонами, — заключила Бутакова.

Егор сказал:

— Хочешь, чтобы доказать свое бескорыстие, я расшибу каскетник о твою голову? Он прочен, но твоя активистская башка тверже.

— Аминь, — произнес «граф» Разумовский.

Снова загоготали, и Классная Роза оборвала веселье хлопком по столу. И сообщила, что хулиганские наклонности Петрова известны давно, их терпели до поры, но все кончается. Ибо меняются обстоятельства. «Опять она об этом», — подумал Егор. Далее Роза взволнованно поведала, что неожиданная поддержка Ямщикова Петровым вполне логична.

— Если разобраться, йи тот, йи другой — явления одного йидейного уровня. Две стороны одной медали. Каждый по-своему, но оба противопоставляют себя коллективу и посягают на школьный порядок. Йи я думаю, что комсомольцы класса дадут верную оценку религиозным вылазкам одного и хулиганским угрозам другого. А теперь переходим к уроку.

Дать оценку «вылазкам и угрозам» не удалось. Когда Бутакова после уроков закричала о собрании, Егор напомнил, что он, увы, еще не комсомолец.

— Но ты же член классного коллектива! Ты обязан!

— Чево-чево? — сказал Егор. А Венька достал бумажку и вежливо помахал перед носом у Светки:

— Видишь, написано: «Освобождается от занятий до пятого декабря». Сегодня я в школе добровольно, так что собрание придется отложить... А ты пока возьми двухтомник «Мифы», почитай все-таки. А то неудобно получится. Вдруг автор статьи какой-нибудь знаменитый лауреат, а ты на него...

— Мы не с лауреатом будем спорить, а с твоей пропагандой!

— Бутакова, — тихо сказал Венька и побледнел. — Ты смотрела недавно по телевизору фильм «Большой вальс»?

— Ну... и что?

— Старый фильм, еще до войны шел... И вот тогда моя бабушка (она еще молодая была) одной своей подруге... такой же, как ты... это кино похвалила. В разговоре... И отсидела бабушка три года за пропаганду буржуазного искусства. Сколько ты мне определишь? За то, что сослался на статью в словаре?

Он обошел Бутакову, как тумбочку, а в дверях вдруг опять оглянулся на Егора. Без улыбки, но снова как-то знакомо...

Кого же напомнил ему Венька дважды за этот день? Егор пытался сообразить и не смог. Но это не вызвало раздражения. Осталось чувство, как от ускользающего из памяти хорошего сна.

Дома Егор дождался, когда мать уйдет по своим делам, и позвонил в Среднекамск. Рассчитал: если сегодня утром Михаил вернулся из командировки, должен быть в отгуле. Так и вышло.

— Слушаю... — сказал Михаил. — Это ты, Егор? Я догадался... Ну что, получил снимок?

— Ага. Спасибо...

— Я много не стал посылать. Знал, что Ревский тебя целой пачкой наградит.

— Все ты знаешь наперед, — огрызнулся Егор. — Иногда аж противно... Зачем ты Ревскому позвонил про меня?

— Догадался, что ты все равно к нему пойдешь. Разве хуже вышло?

— Хуже не хуже, а кто тебя просил?

— Ты зачем звонишь-то? Чтобы поругаться?

Егор звонил не за этим. Просто надо же к кому-то прислониться, если прежних друзей не стало. Но он сказал:

— Ну и поругаться. А что?

— Ладно, валяй...

— Не хочется уже, — вздохнул Егор. — Ты подготовился, это неинтересно... Да я и так ругался недавно, надоело...

— С кем, если не секрет?

— С Классной Розой. В богословский спор влез.

— Ого!

— Сам не знаю, чего сунулся...

И Егор, стеснительно хмыкая, выложил суть конфликта.

— Судя по всему, — сказал Михаил, — ваша Роза с шипами...

— Шипы острые, но сама она тупа...

— А Редактор твой — парнишка начитанный.

— С чего это он «мой»?

— Не цепляйся к словам... И, кстати, почему ты полез за него вступаться?

«Сам не понимаю. По глупости», — едва не буркнул Егор. И вместо этого сказал печально:

— Не знаю... Миша. Это не только сегодня. Вообще у меня тут... Ты слушаешь?

Сидя у телефона и глядя на себя в полутемное коридорное зеркало, он рассказал Михаилу все, что случилось за последние дни. обстоятельно, задумчиво даже. Будто сам с собой беседовал. Об одном умолчал: о своей хитрости с кассетой. Потому что слово надо держать. Михаил встревоженно спросил:

— Егор, а ты не боишься, что теперь не дадут проходу?

— Не боюсь. Я знаю, чем их унять.

— Ох, смотри... Ну, ты молодец, конечно.

Никакой он был не молодец, но почувствовал: похвала ему приятна. И вся натура Кошака тут же возмутилась против этого.

— Чего ты меня ублажаешь-то! Дурак я...

Двоюродный брат сразу сменил тон:

— Дурак — это верно. Одна надежда — с возрастом пройдет.

— У тебя вот не прошло, — нахально сказал Егор.

— А я что... я признаю. За последнее время столько глупостей наделал.

— Влюбился, что ли? — осенило Егора.

Михаил помолчал.

— Да как тебе сказать... Влюбился-то давно. Меньше тебя был. И до сих пор расхлебываю... Нестандартная ситуация.

«Завидное постоянство», — чуть не брякнул Егор. Но почуял: не надо. Михаил сказал бодрее:

— Повидаться бы, братец Егорушка, нам. Поговорить...

— А я с тобой по телефону почему-то лучше разговариваю, — признался Егор. — Легче, чем тогда...

— Это бывает. Но не век же нам так... И к тому же счета придут. Как ты дома-то объяснишь?

— А было уже... Отец все знает.

— Ну и... что?

— А ничего такого, — почти весело отозвался Егор. — «Ты, — говорит, — все равно Петров и мой наследник...»

— Может, он в чем-то и прав.

— А по-моему, просто ему не до того. У него на заводе какая-то заваруха, слухи ходят. Мне и Роза уже намекала: обожди, мол, обстоятельства меняются, скоро за папочку не спрячешься.

— А ты прячешься?

— А они сами меня за него прячут! — взорвался Егор. — В гробу я видел такую жизнь!

— Не вулканизируй... Слушай, раз уж Виктор Романович и Алина Михаевна все знают...

— Ну?

— Тогда у меня один вопрос...

— Какой?

— Нет, лучше я приеду на днях, тогда поговорим.

— Специально для этого вопроса приедешь? — почему-то встревожился Егор.

— Не специально. Привезу тут одного...

Несколько дней прошли спокойно и быстро. «Таверна» о себе не напоминала, про собрание в классе тоже забыли, хотя Венька уже не болел и ходил на уроки исправно. Несмотря на отсутствие событий и одиночество, Егор не скучал. Была у него уверенность, что скоро случится что-то интересное и важное. А начало зимы сверкало под солнцем широкими пластами снеговых заносов — такими же чистыми, как паруса «Крузенштерна».

...В пятницу после уроков к Егору подошел в раздевалке смущенный Венька.

— Петров... Там тебя милиционер спрашивает. У выхода... Просил найти и сказать, что ждет...

Егор сразу понял:

— Старший сержант? Который тогда... с тобой был?

— Ну... — На лице у Веньки была непривычная виноватость. И вопрос. Но Егор — куртку на плечи и выскочил из школы.

Михаил стоял не один. К нему притерся пацаненок лет десяти — помятый и словно припорошенный угольной пылью. В длинном пальто и растрепанной ушастой шапке. Лицо мальчишки терялось под бесформенной шапкой, и Егор заметил только похожие на серые блестящие пуговицы глаза. Пацаненок глянул ими на Егора подозрительно и ревниво, но тут же отключился. Покрепче взял Михаила за шинельный рукав.

— Привет, — сказал Егор. — Ты нарочно, что ли, именно Веньку послал искать меня? Больше никого не мог?

— А что? Вижу — знакомый. Вот и попросил... Слушай, давай

сперва отведем домой этого добра молодца, а потом погуляем, поговорим... Это недалеко, на улице Чернышевского.

Они пошли от школы, и мальчишка по-прежнему держал Михаила за руки. Ничего не говорил. Воротник у пальто был широкой, рваный шарф разъезжался, и тонкая грязная шея мальчишки беззащитно торчала из ворота (это напомнило Егору Веньку). Иногда мальчишка странно, крупно переглатывал, и на горле его напрягались и опадали под кожей резиновые жилки.

Заглотишь, неожиданно придумалось у Егора прозвище. Заглотишками пацаны в «Электронике» называли крошечные крючки для рыбешек. Егор никогда рыбалку не любил и на пойманных окунят и пескариков смотрел со смесью отвращения и жалости. Это было в давнем детстве, до случая с бабочкой... Теперь мальчишка, глотающий не то страх, не то слезы, показался Егору такой вот рыбешкой, попавшей на крючок-заглотишь. И поэтому сам — Заглотишь.

Шли быстро. Видно, Михаил торопился кончить командировочное дело со своим подопечным. Заглотишь не отставал, послушно топал подшитыми валенками по спрессованному на тротуаре снегу. В углу рта у него была крупная болячка, и он часто трогал ее кончиком языка.

Улица Чернышевского была рядом с Калужской. Тоже старая, в тополях и березах. Заглотишь жил на первом этаже двухэтажного приземистого дома. В глубине двора. В темных сенях пахло керосином, а в широкой низкой комнате — застарелым табачным чадом и кислятиной. Худая тетка в замызганном халате, но со сверкающими сережками и следами помады на губах, тоненько заподвывала и облапила Заглотища. Он выскользнул, сел у окна. Молча наблюдал, как мать, ставшая послушно-деловитой, кивает и подписывает бумаги. И опять кивает — когда Михаил говорит, что скоро заедет и проверит, в каких условиях живет мальчик.

Егор стоял у дверей и смотрел такими же глазами, какими юный Эдуард из книжки «Принц и нищий» оглядывал убогое жилище Тома Кенти. Даже «таверна» с ее утильной мебелью и кирпичными стенами была несравнима с этой берлогой. Там уют и тепло, а здесь унылая безысходность. Стол, разномастные стулья и даже новый телевизор казались липкими. Отгораживающая угол пятнистая занавесь источала запах прокисшего вишнегрета. За ней кто-то тихо шевельнулся и вздохнул.

— На работу устроились? — бесцветным голосом спросил Михаил.

— А как же, а как же! На складе макулатуры, приемщица я. Добрые люди помогли... А сегодня у меня отгул.

— Отгул или загул?

— А?.. Да вы не беспокойтесь, товарищ милиционер. Теперь будет, как я Валерию Петровичу, участковому нашему, обещала.

Михаил со шелчком закрыл сумку.

— Я наведаюсь сам, помимо участкового... Ну, Витек, я пошел. Оставайся, живи, как договорились. Я потом навещу...

Витек-Заглотыш не двинулся с места, только глотнул.

Егор с облегчением вышел на двор, Михаил за ним. Они были уже за калиткой, когда раздалась всхлипы и топот и Заглотыш догнал их. Вцепился в Михаила, щекой прилепился к рукаву.

— Дядя Миша-а! Не надо!

— Что не надо? Витек! Что с тобой?

— Не надо, не уходите! Я с вами!

— Куда ты со мной-то? Вить... Это же нельзя... А мама?

— С ва-ами! — рыдал Заглотыш и цеплялся. Выскочила мать, ухватила его. Кое-как оторвали Заглотыша от Михаила, увели. Он все вскрикивал: «Не надо! С вами!..»

Когда опять вышли на улицу, Егор неловко спросил:

— И это что, каждый раз так?

Михаил сказал угрюмо:

— Каждый раз по-разному... Но по-хорошему редко...

— Работка у тебя...

— Сволочная.

— А этот... Витек... Он же все равно убежит опять.

— Не копай ты мне душу, Егорушка, — попросил Михаил. — Лучше скажи, у тебя-то как?

— Что именно?

— Ну, хотя бы как у Ревского побывал?

Егор пожал плечом: чего, мол, такого... Но стал рассказывать. И разговорился не хуже, чем по телефону. И про фильм сказал. Признался даже, что не может до конца поверить, будто молодой матрос, мелькнувший на экране, — отец.

— Ну, это понятно, — кивнул Михаил.

— А вообще-то в картине «что-то есть»...

Сперва они ходили по тихим улицам, где временами с отяжелевших веток искрящимися струйками сыпался снег. Потом зашли в кафе «Лира» — погреться и перекусить. Когда опять оказались на улице, Михаил сказал:

— Ну а теперь давай потихоньку к вокзалу. До поезда полтора часа...

— А вопрос? Помнишь, ты говорил по телефону...

До этого он терпеливо, хотя с беспокойством ждал. Но сколько же можно?

— Помню, — кивнул Михаил. И как-то обмяк, будто даже виноватым сделался. — Я вот что думал... раз уж дома у тебя все известно... Может, сказать про тебя и моим? Маме, сестре? Ты пойми, это же для них...

— Ты разве еще не сказал? — стесненно спросил Егор.

— А какое я имею право? Без твоего согласия...

— Теперь-то уж не все ли равно?

— Не все равно, — вздохнул Михаил. — Тут ведь вот что. Хочешь не хочешь, а на тебя кое-что ляжет. Ну, вроде как обязанности какие-то. Заехать иногда, повидаться... И, может, всякие поцелуи-ласки стерпеть, женщины ведь. Даже если тебе это не по душе...

— Да уж стерплю, — слегка дурашливо пообещал Егор. И сказал нерешительно: — Может, мы скоро чаще будем видаться. Я в Среднекамск, наверно, переберусь к осени.

— Как так?

— Там училище есть, речных штурманов и механиков выпускают.

— И ты решил идти в речники? Давно?

— Недавно... Там и для плавания «река—море» готовят, я слышал. И даже просто для морей... В настоящую мореходку мне, наверно, не пробиться с моими-то отметками, а в Среднекамское училище, говорят, легче. После восьмого...

Михаил молчал.

— Не одобряешь, что ли? — разочарованно спросил Егор.

— Не одобряю... Во-первых, это не совсем то училище, каким оно тебе кажется. Скорее обычное ПТУ. И по уровню, и по нравам. И папанам, уехавшим из дома, там ох как нелегко...

— Ничего, меня не съедят... Подумаешь, ПТУ. Везде кричат, что это теперь главное всего, а ты...

— Главнее — это когда человек твердо решил, обдуманно. А ты хочешь как проще... Подожди психовать, послушай... Во-первых, ты лазейку ищешь, чтобы со своими тройками проскользнуть. А во-вторых, стараешься поскорее от жизни с отцом избавиться. Тем более когда узнал такое...

— Все ты понимаешь, — язвительно сказал Егор.

— А что? Не так?

— Так, да не совсем...

— Ну, не совсем... Еще романтика дальних странствий. Но только в училище ты не увидишь тех парусов, что на экране.

Егор чуть не зарычал.

— До чего ты любишь в душу залазить! Так бы и дал по шее.

— Ну дай, — засмеялся Михаил. — А в училище не советую.

— А что советуешь?

— Кончай десятый, ума-разума набирайся, аттестат получай приличный. И, если не передумаешь, поступай в мореходку или высшее морское. Тебе ведь не река нужна, а море. Верно?

— И еще два года тянуть с папой Вик-Романычем?

— И с матерью. С родной. К ней-то ты что имеешь?

Егор молчал. Трудно объяснить, что хочется полного перело-

ма. Раз уж столько в жизни изменилось, пусть меняется до конца. Чтобы все было другое — и город, и люди, и дела...

Михаил осторожно сказал:

— Два года — разве много? Дольше терпел...

— Деваться было некуда.

— Ну... — Михаил быстро глянул на Егора. Проговорил, словно преодолевая последнюю неловкость: — Если что случится, ты же понимаешь: у тебя в Среднекамске тоже есть дом.

Егор качнул головой. То ли кивнул, то ли так просто... Нет, все было неплохо, но только он продрог наконец в своей финской курточке, и поэтому хотелось закурить. И сигареты были. Но при Михаиле Егор не решился...

На следующий день после уроков Егора догнал на улице Венька. Спросил насупленно:

— У тебя неприятности, что ли?

— С чего ты взял?

— А вчера... милиционер... Если думаешь, что из-за меня, то зря. Мы с ним тогда просто случайно вместе шли.

Егор сделал значительное лицо и с полминуты поглядывал на хмуро-виноватого Веньку. Потом как бы спохватился:

— А, милиционер!.. Это мой двоюродный брат.

Венька смешно замигал и даже остановился.

— Ну да, — сказал Егор уже серьезно. — Он в те дни как раз меня разыскивал. И про отца я от него узнал. Про настоящего... Помнишь, я тебе говорил?

— Значит, это правда? — Глаза у Веньки стали сочувствующие.

— Кто же такими вещами шутит, — усмехнулся Егор. И подумал: «Зачем я опять с ним об этом?» Но тут судьба словно решила наградить его за откровенность. Венька, стоявший у дошатаго, со снежным гребешком забора, переступил, отодвинулся, и за ним открылась маленькая белая афиша: «Клуб им. Гагарина. 9 декабря. Худ. фильм «Корабли в Лиссе». Нач. в 17.00».

— Ух ты, — невольно сказал Егор. — Клуб Гагарина, это где?

Венька оглянулся на афишу.

— Это у фабрики «Маяк», недалеко... А что, хорошее кино?

— Кому как... — Егор подавил желание сказать о том, что для него этот фильм. И без того разболтался...

— Я и не слышал о таком, — сказал Венька. — Это по Грину?

— Ага... Паруса, пираты...

— Надо сходить с Ванюшкой. Он такое обожает... А ты пойдешь?

Егор вспомнил, что с собой нет ни копейки. Вчера он сунул в карман рубль, но истратил на буфет и сигареты (нельзя же все

время попрошайничать). Егор плюнул от огорчения. Матери дома не будет до вечера, уехала к знакомым. Занять не у кого. Он разочарованно похлопал по карманам.

— Если хочешь, — сказал Венька, — я куплю билет и тебе. А ты приходи прямо к клубу. Без пятнадцати пять...

Егору отчаянно хотелось еще раз посмотреть «Корабли».

— Можно... — сказал он.

Венька кивнул и, уходя, опять знакомо оглянулся. И тогда, как при неожиданном повороте лучей, все высветилось, вспомнилось и выстроилось в картину.

...Думая о речном училище, Егор не раз вспоминал синий плес с затопленной колокольней. Он увидел его и сейчас. Почти как наяву. Обходя колокольню по широкой дуге, шли над водой накренившиеся пирамиды легких многоярусных парусов. А в широком проеме колокольни, держась одной рукой за выступ, а другой сжимая опущенную серебряную трубу, стоял мальчишка. Горнист Игорек. Тот, кто после сигнала убежал с крыльца и оглядывался на всех весело и доверчиво. Как Венька...

ГЛАЗ ТАЙФУНА

«Немало порошу потрачено было на торжественные салюты по поводу примирения его превосходительства Николая Петровича Резанова с Крузенштерном и его офицерами. Палили в честь посланника, палили в честь моряков и, конечно же, в честь губернатора Камчатки генерала Кошелева, положившего много сил, чтобы восстановить мир и чтобы славные дела — кругосветное плавание россиян и посольство их в Японию — не были неразумно прерваны из-за столкновения человеческих натур».

Палили радостно орудия «Надежды», отвечала им с берега Камчатская крепость.

Немало часов ушло и на веселые застолья в честь того, что прежние раздоры обещано со всех сторон предать забвению. Хлопали пробки, произносились тосты во здравие государя императора, во здравие всех присутствующих и за благополучное окончание всех предприятий и плавания. И опять гулким ревом откликнулись на верхней палубе пушки. Подпрыгивала и звенела на широком столе кают-компании посуда...

Однако чем приветливее были улыбки Резанова, тем сильнее чувствовали офицеры внутреннюю натянутость. Зная характер посланника и помня прежнюю взаимную вражду, могли они разве поверить, что его превосходительство изгнал из души всякую обиду и отныне будет помышлять единственно о пользе общего дела?

Лишь второй лейтенант «Надежды» Петр Трофимович Головачев вначале принял наступившую развязку за искреннее примирение. К такому решению пришел он, видимо, по молодости да еще по горячему желанию общего душевного благополучия и добрых отношений. Однако и Головачев скоро убедился в ошибке. Случилось это, когда его превосходительство, улыбаясь, поднимался по трапу с барказа, а капитан-лейтенант Ратманов сказал вполголоса товарищам:

— Попомните, господа, эта птица еще снесет нам тухлое яичко...

Мрачное свое предсказание Макар Иванович вспомнил через три недели, когда уже далеко осталась Камчатка и корабль приближался к берегам таинственной Японии.

В то утро, 27 сентября по новому стилю (коим всегда пользовался Крузенштерн в путевом журнале), команда, офицеры и пассажиры построились на шканцах. Ибо число это было днем высочайшей коронации его императорского величества. Славную дату следовало отмечать торжественным молебном, но священника на корабле не было, и посланник устроил церемонию по своему разумению. Ознаменовал радостный для всех подданных Российской империи день раздачею наград. Был вынесен поднос с горкой серебряных медалей и для торжественности крытый шелковой золотканой парчю. Она сияла при неярком солнце, проглянувшем сквозь облака после многих бурных и пасмурных дней.

Ставши перед строем и покачиваясь на тонких, в новые ботфорты обутых ногах, его превосходительство сказал речь:

— Россияне! Обошед вселенную, видим мы себя наконец в водах Японских. Любовь к отечеству, искусство, мужество, презрение опасностей, повиновение начальству, взаимное уважение, кротость — вот черты, изображающие российских мореходцев. Вот добродетели, всем россиянам вообще свойственные...

Офицеры прикусили губы. После всего, что было, слова о взаимном уважении, повиновении начальству и кротости звучали, мягко выражаясь, забавно. Даже у некоторых матросов, и прежде всего у «не по чину грамотного» Курганова, под маской благолепного внимания мелькнуло нечто мало соответствующее моменту.

«Зачем он так?» — с досадой подумал о Резанове лейтенант Головачев. В самом деле, для чего Николай Петрович, умевший в долгих, радующих душу и ум беседах находить ясные слова, сейчас говорит казенные витиеватые фразы, половину которых матросы не понимают, а другую половину не берут всерьез? Или не о смысле думает посланник, а только о единой задаче: пока-

зать всем, кто ныне истинный начальник над экспедицией? Но достойно ли это столь просвещенного и доброго человека?

Резанов же вдохновлялся все более. Поднявши в пальцах похожую на новый полтинник медаль, он вещал:

— Зрите здесь изображение великого государя, примите в нем мзду вашу и украсьтесь сим отличием, денными беспредельными трудами и усердием приобретаемым...

Медали были розданы всем рядовым и унтер-офицерским чинам. Числом шестьдесят три. Квартирмейстер Иван Курганов, хотя и настроен был к его превосходительству с некоторой насмешкою, к награде отнесся серьезно. Аккуратно прицепил медаль к зеленому сукну мундира. Сказал товарищам:

— А как же не носить-то? Или не заслужили мы? Полземли обошли, матушки-России больше года не видим... И соленого похлебали. Не то что иные, которые только с берега на корабль, а им уже медаль на пузо.

Он говорил это, косо поглядывая на солдат Камчатского гарнизона. Восемь рослых гренадеров под командою поручика Кошелева, брата губернатора, взял с собой в Японию посланник Резанов. Вроде бы как почетная стража при посольстве, а на самом деле, видно, для пушей своей безопасности: мало ли как сложатся отношения с господами морскими офицерами...

— Они люди казенные, — сказал добродушный десятник Гледианов. — Приказали — поплыли. Награду дали — «Рады стараться!».

— А к тому же будет еще у них всякое, — рассудил бомбардир Никита Жегалин. — Да и мы не ведаем всего, что впереди. Слышали небось, как вчера их благородие Фаддей Фаддеич рассказывали, что в здешних водах бури случаются небывалые. На китайском языке называется «тифон».

— Авось пронесет, — глянув на спокойное небо, заметил Курганов. — До японской гавани Нангазаки, говорят, недалече. Жегалин возразил:

— Якорь не положивши, молебен не твори.

...Ту же мысль высказал и Макар Иванович, когда офицеры шли к праздничному столу. Корабль, покачиваясь на пологой зыби, тихо скользил под теплым ветром, погода в отличие от прежних дней стояла самая приятная, но Ратманов настроен был мрачно. Пообещал лейтенантам Ромбергу и Беллинсгаузену:

— Накаркает он нам беду. Виданное ли дело: похвалиться, не придя в гавань. «Обошед вселенную!.. Видим себя в водах Японских!» Этих вод мы еще хлебнем, попомните мои слова...

Лейтенанты кивали. Оно и правда, только сухопутный человек может искушать судьбу и, нарушая давние обычаи морские, хвалить свое плавание, не достигнув берега...»

Наклонов читал громко, выразительно. Уверенная бородака его при этом шевелилась, очки от энергичного движения бровей шевелились тоже. Наклонов одной рукой удерживал близко от очков листы, а другую, приподнявши сбоку свитер, сунул в брючный карман. Порой он, не отрывая глаз от строчек, прохаживался у стола, и его животик упруго колыхался под свитером.

Иногда же Олег Валентинович на миг опускал листы и взглядывал на слушателей — вопросительно, однако без робости. Скорее испытующе: постигают ли школьники прочитанное?

Они постигали. По крайней мере, сидели тихо. Тем более что никто их сюда не загонял, это было вполне добровольное собрание литературного клуба «Факел».

Объявление об этом новом клубе и о том, что занятия будет вести писатель Наклонов О. В., появилось в школьном вестигбюле неделю назад. Егор как раз читал его и размышлял, когда рядом остановился Венька.

Отношения у Редактора и Егора Петрова были теперь странные. Оба коротко говорили при встречах «привет», иногда обменивались лаконичными, по делу, вопросами и репликами и порой ловили на себе быстрые, как бы исподтишка брошенные взгляды друг друга. Словно каждый приглядывался к другому и чего-то ждал. А чего?.. Смешно даже...

Тем не менее сейчас Венька встал сбоку от Егора, прочитал афишу и вполне безразлично спросил:

— Пойдешь?

— Подумаю... — Егор в самом деле подумал и решился на длинную фразу. — Пожалуй... Он небось опять про Крузенштерна читать будет, а у меня к этой истории свой интерес.

Егору показалось, что Венька спросит: «Какой?» И можно будет сказать: «Одна давняя история, с братом связанная... Кстати, помнишь юнгу на корабле в кино? Это он и есть. А корабль по правде называется не «Фелицата», а «Крузенштерн»...

В тот раз, после фильма, они разошлись, коротко сказав друг другу «пока». Егор не решился спросить, как Венька отнесся к «Кораблям в Лиссе», а сам Ямщиков тоже промолчал. Торопился с братишкой домой. Ну а на другой день тем более — какой разговор? Отдал Егор двадцать копеек за билет — и дело с концом... А если честно признаться, поговорить хотелось.

Может, сейчас?

Но Венька нерешительно промолчал. И тогда задал вопрос Егор. Коротко, небрежно:

— А ты? Пойдешь?

— Не получится. У Ванюшки в классе репетиция, они в канулы пьесу ставят, отрывки из сказок Пушкина. Про работника Балду и про Золотую рыбку. Я им помочь обещал.

— Ничего у них не выйдет, — сказал Егор. — С такой ведьмой, как их горластая Настя, кашу не сварить.

— У них шеф появился. Студентка из пединститута, вроде вожатой, с ней можно... А та, конечно, ведьма. — Венька вдруг заговорил глухо и жестко: — В сентябре Ваньку носом в тетрадь как ткнет: «Смотри внимательно!» У того и побежало — вся тетрадка в крови. Конечно, у него нос слабый, но зачем тыкать-то! Я тогда к Клавдии Геннадьевне ходил, крику было... Сперва, конечно, вышло, что Ванька сам виноват, да и я заодно... Ну, потом и ведьме попало. Она меня теперь не выносит, но вида не подает. Наоборот, улыбается...

Венька закончил такую длинную речь неожиданно. Словно спохватился: чего это, мол, меня понесло? Неловко сказал:

— Пойду я, домой пора...

А Егор еще постоял у афиши. И решил окончательно, что на заседании клуба надо побывать.

Он испытывал интерес не столько к истории Крузенштерна, сколько к самому Наклонову. Наклонов знал отца. Того, Толика... Даже приятелями были, хотя и подрались потом. И в любопытстве Егора было желание проникнуть в те давние времена. В тот заросший сад с разломанной эстрадой. Проникнуть и что-то понять...

Люди из разных классов собрались в «гостиной» — квадратной комнате с двумя рядами узких диванчиков, поставленных полукругом, с уютными шторами и плафонами. Гостиная была гордостью директора. Не каждая школа может позволить себе такую роскошь — комнату для клубных собраний.

На одном конце составленной из диванчиков дуги, у самой двери, примостился незнакомый парнишка. По виду класса из восьмого, но явно не здешний. Стеснительный. У него была стрижка в «кружок», по-казацки, и спрятанные в тени глаза. Темные и какие-то виновато-настороженные. Краем уха Егор услышал, что это сын Наклонова. Тогда понятно, почему такой скованный: неловко среди чужих, да и за отца, наверно, переживает... Хотя чего переживать-то? Читает Наклонов бойко, и все слушают как надо.

«Сумрачное пророчество Макара Ивановича Ратманова стало исполняться на следующий день... С утра, правда, ветер, гуляя от зюйд-оста к зюйд-весту, оставался легким, хотя погода установилась мрачная. В десять часов утра случилась даже радость — увидели наконец берег Японии, а в полдень определили до него расстояние. Мыс, выступающий впереди гористого бе-

рега, был, по всей вероятности, Иза-саки, юго-восточная точка острова Шикоку. «Надежда» находилась от него примерно в тридцати шести милях. Крузенштерн приказал держать к берегу, но вечером до мыса оставалось еще не менее двадцати миль, и тут, в восемь часов пополудни, грянули крепкие шквалы с дождем...

На следующий день шторм то стихал, то разыгрывался, иногда тучи разбегались, но чаще было мрачно и хлестали дожди. Едва позволяла погода, Крузенштерн приказывал держать ближе к берегу, но ветер взъяривался опять, и приходилось отворачивать от опасной суши. Все карты были неточны. Даже известный морякам Ван-Дименов пролив, коим следовало идти в Нагасаки, нанесен был на них приблизительно.

То приближаясь к берегам, то отходя от них, «Надежда» спускалась к зюйду. В ночь на первое октября шторм утих. Пошел ровный ветер с зюйд-оста, на рассвете разошлись тучи. И опять «Надежда» побежала к западу, курсом бакштаг левого галса, когда ветер дует с левого борта и с кормы.

Радость, однако, была недолгой. Макар Иванович сказал:

— Иван Федорович, барометр катится вниз, как пьяный мужик с печи...

Крузенштерн и сам видел, как скользит вниз ртутный столбик, — давление падало. Солнце светило сквозь желтую дымку. Под солнцем темной гористой кромкой виднелся остров Кю-Сю, или Киу-Шиу. Жалея уже, что рискнул подойти к суше столь близко, Иван Федорович скомандовал:

— Круче к ветру! Держать на зюйд по компасу!

Корабль пошел носом к волне, заскрипели бейфуты поворачиваемых реев. Теперь ветер дул в левую скулу судна, сбоку и навстречу — курс бейдевинд. Идти таким курсом паруснику тяжело. К тому же и могучие встречные волны мешали корабельному ходу. Ветер, однако, был еще ровный, потому поставили все нижние паруса, а над ними — марсели. Брамсели поставить было нельзя, потому что еще в начале прежних штормов брамреи были сняты и закреплены на палубе.

В полдень с зюйд-оста пошли темные клочковатые облака, скрыли солнце. Волны стали гороподобными. Все говорило, что с юго-востока надвигается буря. Но справа и сзади все еще виден был в мрачнейшем воздухе берег, и Крузенштерн выгадывал минуты, не давая приказа убрать паруса.

Буря оказалась хитрее. В час пополудни грянула она с неожиданной мощью. «Надежду» положило на правый борт. Новые, недавно замененные на парусах и реях шкоты и брасы полопались один за другим. Освободившаяся от давления ветра парусина отчаянно захлопала в ревущих потоках шквала.

— Ребята! — закричал Крузенштерн с юта. — По мачтам! Надо спасать паруса!

Пена залепила жестяной раструб рупора, хлестко ударила по глазам. Сорвало треуголку. Но матросы уже были на вантах.

Они сделали чудо, спасли все шесть главных парусов «Надежды». Качаясь на мотающихся вокруг мачт, незакрепленных реях, цепляясь за тяжелую, послушную буре, а не людям парусину, они тянули ее, надрываясь, крепили к скользкому рангоуту, усмиряли тугими петлями рифовых узлов...

Это были люди, которых престарелый адмирал Ханыков не хотел пускать в экспедицию, полагая, что русский мужик не способен ходить на кораблях дальше Маркизовой лужи и для кругосветного вояжа надобны англичане. А мужики эти, за год плавания вздохнувшие от казарменной жизни, позабывшие про линьки и зуботычины, коими обильна была кронштадтская жизнь, окрепшие и осмелевшие душами, были теперь лучшие в мире матросы — Крузенштерн верил в то несокрушимо...

Дело казалось невозможным, но паруса были убраны. И все люди — слава Спасителю! — вернулись на палубу. Крузенштерн перекрестился рупором (выпустить его было нельзя — унесет). Нет страшнее муки, когда отвечаешь за многих людей, а помочь им в страшной работе и риске не можешь...

— Макар Иванович! Еще двух человек надобно к штурвалу, не держат...

Кроме Филиппа Харитонов и Нефед Истрекова встали к двойному штурвальному колесу Клим Григорьев да Иван Курганов.

Нефед, отплеываясь от брызг (ох невкусен и неласков батюшка-океан, а еще Тихим прозывается), крикнул Курганову:

— Как же это ты, твое морское величество, попусту языком болтал?! Слово царское не держишь!

— Што?! — не понял Курганов.

— Али забыл? На экваторе, когда царя морского представлял, што обещал? Погоду справную на все плавание!

— Так я же оговорился: коли вельможи не подведут! От их всякая пакость!.. Крути влево, гляди, уваливает.

Они, опытные рулевые, без команд знали свое дело: держать круче к ветру — так, чтобы только-только не заполоскало штормовые стаксели. Эти прочные треугольные паруса, натянутые между мачтами, оставались единственными на «Надежде».

Но в три часа ураган изорвал и стаксели.

— Ставить штормовую бизань! — крикнул Крузенштерн. Но сейчас буря пересилила людей. Хотя кинулись на помощь матросам лейтенанты, дело оказалось безнадежным. Мятущаяся парусина расшвыряла моряков, фал не шел, деревянный блок бизань-шкота свистнул у щеки Головачева, подобно ядру из пушки.

Тем не менее натянувшийся на несколько секунд парус повлиял на движение судна. Оно перешло бушпритом направление

свирепого ветра, и теперь он бил в правую скулу, постепенно разворачивая «Надежду» носом к осту.

Грянула волна, сорвала и унесла запасной грота-рей, закрепленный снаружи правого борта. В шепки разбило на шкафуте ялик. Дрожь удара передалась всему кораблю.

Никто из офицеров не был внизу, все собрались на юте.

— Макар Иванович, как течь в трюме?

— Я посылал узнать! Вопреки ожиданиям, не сильная! Хуже другое: могут не выдержать ванты, и мы останемся без мачт.

— Команде взять топоры!.. Ребята! Ежели мачта упадет, рубить такелаж без промедления!

Матросы на шканцах и шкафуте держались у бортов, цепляясь за торчащие в гнездах кофель-нагели. Над ревушим океаном висела тускло-желтая, полная летящей пены мгла.

...Потом Крузенштерн запишет в путевой журнал: «Сколько я ни слыхивал о тифонах, случающихся у берегов Китайских и Японских, но подобного сему не мог представить. Надобно иметь дар стихотворца, чтобы живо описать ярость оного».

Сейчас даже чудовищный шторм в Скагерраке, в начале плаванья, казался нестрашным — каким-то домашним и уютным. Может быть, потому, что недалеко тогда еще был дом...

Неожиданно вспомнилось (хотя, казалось, до воспоминаний ли?), как появился в ту пору на юте поручик Федор Толстой и тогдашний разговор (а точнее, крик) с графом. Сейчас Крузенштерн думал о гвардейском поручике чуть ли не с сожалением. Бестолков, конечно, его сиятельство, скандален, и немало через то причинилось вреда общему делу. Но, по крайней мере, был он храбр и честен, того не отнять... Где-то он теперь?

...А поручик гардии граф Федор Толстой сейчас был в пути к далекому еще Петербургу. И не ведал, конечно, в какой беде его бывшие товарищи. Как не ведал и того, что на подъезде к столице встретит его фельдъегерь и проводит прямым в Нейшлотскую крепость — за все художества, кои стали известны началству из опередивших графа писем Резанова. Впрочем, год, проведенный под арестом, не лишит поручика ни дворянской чести, ни боевого характера. И все еще будет впереди: дуэли, опять гауптвахта, рассказы в гостиных о заморских приключениях, славные дела на поле Бородинском, новые амурные похождения и дружба с великим поэтом Александром Сергеевичем, коему пока, в эти дни дальнего пути, было всего лишь пять лет...

...Мачты пока держались. Это говорило о прочности корабля. Но ничто не спасет «Надежду», когда она зацепит килем камни у берега. А берег уже чудился в воющей мгле, буря неуклонно двигала корабль к скалистой суше. Лишенный парусов, он был совершенно неуправляем — семечко в кипящем котле тайфуна.

Тайфун достиг чудовищной силы. Барометр упал настолько,

что ртутный столбик вообще стал невидим в стеклянной трубке. Ратманов прокричал Крузенштерну:

— Коли так будет продолжаться до полуночи, окажемся на камнях непременно! Никто и не узнает, где кончилось плавание наше!.. Вот тебе и «обошед вселенную»!..

Вставши близко к Ратманову и отворотив лицо от брызг и ветра, неожиданно и жалобно прокричал Петр Головачев:

— Макар Иванович! Достойное ли это дело — помнить зло в такую минуту?! Может, и правда не переживем ночи! Вы спустились бы в каюту к посланнику и там простили бы с ним друг другу обиды! Как подобает христианам в минуту большой опасности!

Ратманов же не смягчился душою, закричал в ответ:

— Коли его превосходительству отпущение грехов требуется, пускай сам сюда идет! А мне, главному помощнику капитанско-му, в такой час уходить с юта не след!

Час детства нестерпимый даже для самых смелых сердец, ибо ужасен сам ураган, а еще ужаснее покорное этому урагану бездействие. Ничего нельзя было предпринять. Оставалось ждать, что судьба смиловится и переменит ветер.

В таком положении бесполезно мужество, дающее силы решительным поступкам. И остается мужество надежды. Жить «*spe fretus*» — «опираясь на надежду». Крузенштерн эту словно отпечатанную четкими буквами латинскую фразу помнил со времен ревельской школы. Старый учитель латыни, когда у кого-то случались огорчения, повторял эти слова, глядя встрепанную голову неудачника. И объяснял, что всегда в жизни следует надеяться на лучшее, без того не прожить в неласковом мире.

В детстве слова эти не казались важными: мало ли в школе слышишь поучений? Но со временем понял Крузенштерн их смысл. Ибо без надежды — как жить?

Не надежда ли на счастливый исход не раз вела под пули и клинки в абордажных схватках? Знал, конечно, и то, и смерть вероятна, а верилось в удачу... Не надежда ли толкала в опасный вояж из Африки в Индию на старом, готовом каждый день развалиться среди волн английском корабле, который лишь чудом добрался до Калькутты?.. Не надежда ли поддерживала, когда угнетающе долгие годы пылился в министерских кабинетах проект кругосветного плаванья? А в самом этом плаваньи — как без надежды?

Даже мысль появлялась не раз — может быть, и ребячливая, да в ком из нас до смертного часа не живет ребенок? — коли кончится плавание благополучно, вписать в родовой герб Крузенштернов эти два укрепляющие душу слова: *SPE FRETUS*.

И корабль свой назвал «Надеждой» он не без тайного помысла, что имя будет способствовать удаче.

...Крузенштерн редко видел «Надежду» со стороны. Капитан

чаще смотрит на свое судно с мостика, с юта. Но сейчас на миг представил он, как мечется среди водяных гор трехмачтовое, побитое бурей суденышко с обрывками лопнувших брасов на реях, с ключьями контр-бизани — парус этот изодрало ветром, когда он был уже спущен и притянут с гафелем к горизонтальному бревну гика... То с головою уходит в воду, то взлетает на гребень укрепленная под бушпритом носовая фигура — ее вырезал из дуба неизвестный шотландский мастер. Корабль строился в Англии и поначалу был назван «Леандр». Если верить мифам Эллады, юноша с таким именем каждую ночь переплывал Геллеспонт, чтобы увидеть свою возлюбленную Геро — жрицу богини Афродиты. А она зажигала на башне огонь, не дававший ее любимому заблудиться в ночном море...

Деревянный Леандр изображен был подавшимся вперед, со вскинутыми для сильного гребка руками, с отброшенными назад волосами. Когда корабль привели в Кронштадт и назвали «Надеждой», морское ведомство указало, что надобно заменить греческого юношу двуглавым орлом, коего приличествует иметь на носу российскому судну, впервые идущему в столь дальнюю экспедицию, в чужие страны. Дело это, однако, за спешкою не было исполнено, и Крузенштерн о том не жалел. Ему казалось, что Леандр, плывущий на огонь надежды, подтверждает название судна.

«Но судьба древнего Леандра была горька», — мелькнуло у Крузенштерна. Он вспомнил, что однажды огонь на башне погас и юноша погиб в волнах. Не намек ли это на участь корабля?

Нет, хватит примет! Они для слабых духом. Пока что Леандр на носу корабля взлетает над волнами и отчаиваться рано... *Spere fetus!*

Но надежда — союзница того, кто сам не упускает ни одного мига удачи! И когда на минуту стих надрывный вой урагана и только рокот исполинских волн перемалывал тишину, Крузенштерн закричал, дивясь и радуясь нежданно упавшему штилю:

— Ставить штормовую бизань! Живо, братцы!

Этот маленький парус должен был держать «Надежду» носом к ветру. Такое положение замедлило бы дрейф к опасной суше и уберегло бы корабль от многих разрушений волнами.

Русские моряки не знали еще всего коварства здешних тайфунов. Не ведали, что оказались в самой середине бури, в так называемом «глазе урагана». Чудовищные вихри тайфуна движутся по кругу, оставляя в центре небольшой участок — «глаз», или «око», — где ветра нет, лишь толчея непомерных волн. Однако тайфун весь, целиком, сдвигается над океаном. Перемещается и его центр. И краткий штиль настигает мореходов перед переменной сокрушительного ветра...»

Егор не раз видел на журнальных фотографиях такие кольцевые и спиральные циклоны, снятые со спутников. В центре обличных завихрений часто заметен похожий на копейку глазок. Место короткого обманчивого штиля среди ревуших ветров.

И вдруг мелькнула у Егора мысль, что сам он тоже, как суденышко-скорлупка, оказался в таком штилевом глазке. Прежние ветры никуда не гонят его, отошли в сторону. Откуда подует новый ветер — неясно. А пока весь декабрь Егор болтался на «мертвой зыби» — с неясным настроением, со смутными желаниями, без друзей, без цели, без планов. Потому что Среднекамское речное училище — это все-таки минутное вдохновение, не больше. Михаил, кажется, во многом прав...

Впрочем, сравнение нынешней жизни с «глазом тайфуна» было весьма натянутым. Потому что прежний ветер вовсе не был штормовым. Наоборот — ленивое дуновение, ленивое плавание. Куда глаза глядят. Одно лишь похоже — этот «ветерок» не хуже тайфуна мог посадить корабль Егора на камни и раздолбать в щепки. И разрыв с «таверной» не был ли попыткой поставить «штормовую бизань», чтобы встать носом к ветру?

Может быть, не только сочувствие к Редактору толкнуло на это Егора? Может, еще инстинкт вечно настороженного Кошака?

О крахе Курбаши и конце «таверны» Егор узнал от Пуля. Недавно. Увидев Пулю в школьном коридоре, он вдруг решил, что лишняя информация не помешает, и прежним тоном сказал:

— Пуля. Сюда.

Тот подошел, мигая от робости.

— Ну? — усмехнулся Егор. — Как там ваша подземная жизнь?

— А? — сказал Пуля и замигал сильнее.

— Балда! Что нового в «таверне», спрашиваю!

— Я не хожу, — прошептал Пуля и завозил ботинком по полу.

— Не ври, Пуля.

— Не-а... я правда. Никто не ходит. Курбаши ее закрыл.

— Почему?

— Он в армию захотел пойти.

— С чего это? У него же отсрочка, завод такой...

— А он захотел, чтобы в декабре. Сам на комиссию пошел.

— Следы замечает, что ли?

— Я не знаю... Только он не успел. Его в милицию забрали.

Егор присвистнул.

— За что?

— Я не знаю...

— Может, за колеса?

— Ага. Что-то говорили про колеса. Только я не знаю... Валента тоже забрали, а потом отпустили.

— Его-то за что?
— Не знаю... Потом нас тоже в милиции спрашивали, чему он нас учил...

— Валет?

— Ну... Курить или вино пить. И вообще... Я сказал, что не...

— С родителями в милицию вызывали?

— Ага... С отцом.

— Выдрал?

— Еще бы, — по-взрослому вздохнул Пуля. И Егор вдруг понял, что не испытывает ожидаемого удовольствия от покорности Пули и его унижения.

— А Копчик?

— Я не знаю... Он еще раньше с Курбаши поругался. Он теперь с Салтаном ходит, у них какая-то «каптерка». В сарае...

Это известие обеспокоило Егора. Курбаши «загрел», Копчик теперь ему неподвластен. Чего доброго, начнет выступать подлюга. Вместе с Салтаном... Но тревога была мимолетной. Не мог Егор бояться Копчика, гниду такую. Да и Салтан был фигура мелкая, с Курбаши и сравнивать смешно.

Больше тревожило другое. Не потянулась бы ниточка от Курбаши и Валета к нему, к Егору. Хотя какая? Ни в каких «делах» с ними Кошак не участвовал. То, что в «таверне» был своим человеком, само по себе еще не грех. Катался на угнанных мопедах? Но он не обязан знать, что они попали к Валету или Копчику незаконно.

Размышления эти прервал Пуля. Вдруг сказал с пониманием:

— Про тебя не спрашивали, ты не бойся.

— Идиот! Кто боится-то? Иди давай... Да не вздумай с Копчиком связываться, ноги оборву...

— Не, я не буду... — опять вздохнул Пуля.

...Шли дни, монотонные и без всяких важных событий. Никто из прежних обитателей «таверны» Егору не встречался. После школы идти домой не хотелось, и Егор шел посмотреть какой-нибудь старый фильм или просто бродил по улицам. Погода стояла мягкая, снежная. Недалек был Новый год. На центральной площади строили сказочный городок из прессованного снега и фанеры, ставили карусели и горки. Много еще было не готово, но ребятишки из ближних школ и кварталов уже резвились там. Их не прогоняли. Зашел один раз на площадку и Егор. Прокатился на ногах с высокой горки, не упал. Остановился в конце ледяной дорожки довольный собой. Тут ему под ноги, сидя на фанерке, въехал пацан в мятом пальто и растрепанной шапке. Стукнул головой о колени. Егор поднял нахала за шиворот. А тот вылупил глаза-пуговицы, заулыбался и спросил:

— А где дядя Миша?

Это был Заглотыш. Егор выпустил его: все-таки знакомый.

— Ты чего под ноги людям кидаешься?

— Меня занесло... А где дядя Миша?

— У себя в Среднекамске, где еще ему быть?

— Заехать обещал... — сказал Заглотыш. И вдруг обернулся, забыл о Егоре, завопил: — Эй, Мартышонок! Обожди! — И помчался куда-то, махая фанеркой. Вот тебе и «где дядя Миша».

С Михаилом Егор в декабре пару раз беседовал по телефону. Так, почти ни о чем. Просто от одиночества. А один раз Михаил приезжал, и они опять бродили по городу. Потом зашли к Ревскому. Александр Яковлевич был один, чихал, жаловался на грипп и скуку, потому что болеть не привык. Обрадовался гостям, стал их кормить обедом. За столом разговор зашел, конечно, о прежних временах, о Толике, появились фотографии, в том числе и та, детская...

Егор сказал, что Наклонов у них в школе хочет создать литературный клуб.

— Ну, что же, — отозвался Ревский. — Олег всегда был организатором. Такая натура...

Егор знал уже, что маленькому Шурику Ревскому доставалось от сурового командира. Оно и понятно: видно на фотокарточке, какой Шурик был домашний хлюпик... А Наклонов?

Егор всмотрелся в решительное лицо Олега. Может, этому парнишке тоже нравилось, когда ему подчиняются? Может, его, как и Егора, сладко шекотали чужое бессилие и покорность?

А зачем? Почему от этого радость? Природа человеческая такая? Но не у всякого же человека... У того, кто сильный?

Капитан Крузенштерн — человек, про которого написаны книги, человек, чьим именем названо громадное парусное судно, — он был сильный? Видимо, да. Одну слабость в жизни он допустил: заколебался, когда назначили командовать кругосветной экспедицией, не мог оставить молодую жену, ребенка она ждала. Но решился. И ни разу не дрогнул потом... Недавно Егор зашел в районную библиотеку и, поддавшись неожиданному желанию, взял книгу об экспедиции «Надежды» и «Невы». Книжка так себе, сухомытина, но одно в ней запомнилось хорошо. В самом начале путешествия запретил Крузенштерн телесные наказания матросов, всякое унижение людей и грубость.

Значит, для настоящей власти над людьми, для настоящей силы вовсе не надо подавлять других?

«А вообще-то зачем она тебе, власть и сила? — вдруг спросил себя Егор. — Разве ты ее когда-нибудь хотел?» И понял, что запутался. Разозлился: философия дурацкая лезет в голову.

А Ревский и Михаил вспоминали съемки на «Крузенштерне» и какую-то Изу, которая пела песни под гитару. Ревский сказал, что, когда кончился съемочный сезон и «Крузенштерн» с кур-

сантами готовился идти домой, на Балтику, Иза упрашивала капитана зачислить ее матросом. Хотя бы до конца того рейса. Конечно, ее не взяли. Да и режиссер Карбенев не отпустил бы.

— И ее счастье, — заметил Ревский. — А то еще неизвестно, каково бы ей пришлось при том урагане...

— При каком? — спросил Егор. И узнал, что «Крузенштерн» по пути в Ригу, в Северном море, был застигнут жестокой бурей. У него в полосы изорвало все паруса, потому что убрать их не успели. Барк долго несло бортом — как говорят, лагом! — потому что стала машина и судно лишилось управления.

— Ауниньш рассказывал, я с ним встречался потом, — сказал Ревский. — Жуткое было дело... Он мне и киноплёнку прокрутил. Был среди них тогда один матрос, любитель с камерой, он ухитрился заснять... Волны — как египетские пирамиды. В том урагане погибло несколько скандинавских судов...

...И теперь, слушая повесть Наклонова (совсем непохожего на мальчишку Олега), Егор временами представлял в центре тайфуна не маленькую «Надежду», а гигантский «Крузенштерн».

Олег Валентинович все читал:

«Едва поставлена была штормовая бизань, случилось неожиданное. Ветер ударил снова, но не с зюйд-оста, как прежде, а с противоположного румба. Парус на бизань-мачте сработал, как оперение на стрелке флюгера, и растерзанную «Надежду» мигом развернуло носом на норд-вест.

Легший на борт корабль едва не лишился мачт. И все же этот поворот сулил спасение — ветер дул теперь от берега!

Но радость не длилась и полминуты. Новая беда настигла «Надежду». Исполинские волны шли по-прежнему с юго-востока, и, встреченные ураганным ударом с северо-запада, они взъярились, вздыбились еще сильнее. Две стихии сошлись, и на границе их столкновения оказалась деревянная игрушка — хрупкое создание рук человеческих. Сокрушительная волна грянула в корму, прошла через палубу до бака, сорвала целиком левую галерею снаружи капитанской каюты.

Резанов, который стоял в своей каюте, вцепившись в стойку коечного полога, увидел, как вода выбила стекла и мелкие переплеты кормовых окон, смела с полки книги и дневники, стремительно заполнила тесный квадрат каюты, косо и тяжело колыхнулась между переборок. Хлестнуло солью в лицо, залило раструбы ботфортов. Подплыла камергерская шляпа, жалобно, как живая, ткнулась хозяину в живот и утонула. В сей миг уверовал чрезвычайный посланник, что наступил конец плаванию, причем, увы, совсем не тот, какой предписан был высочайшей ин-

струкцией. Измученный Резанов остался почти спокоен, пожалел только, что гибель встретит здесь, а не на палубе...

Но неприятности посланника были сущим пустяком по сравнению с бедами трех матросов. У руля, мертво обнявши обод штурвала, остался лишь Истреков. Харитонова, Григорьева и Курганова оторвало и унесло на шкафут, где ударило о закрепленные на палубе и теперь полуоторванные брам-реи.

Когда Курганов очнулся, он услышал стон. Клима и Филиппа зажало между палубой и приподнявшимся концом рея. Каждую секунду тяжелое бревно могло осесть и раздробить матросам кости. Голова Филиппа была в крови...

Застонав от собственной боли в спине, Иван по вздыбленной скользкой палубе съехал к товарищам, плечом попытался приподнять нок брам-рея. Видать, отчаяние силы дает нечеловеческие — приподнял чуть-чуть. Клим выбрался, его отнесло к фальшборту. Филипп лежал. Сам зажатый теперь между реем и палубой, Иван с дикой силой ногами толкнул Харитонова в плечи. Вышиб из капкана. И вовремя! В ту же секунду врезался на этом месте в дерево окованный сундук, полный ружей, сабель и пистолетов. До той поры он был накрепко принайтовлен к палубе.

Рикошетом сундук ушел к фальшборту, врубился железным углом под планшир и заклинился между орудийным станком и вздыбленной решеткой шкафута. Курганов опять застонал и откинулся. К нему уже тянулись руки.

...В реве потоков, треске рангоута, криках, звоне разбитого стекла корабль вскинул корму, пошел в ложбину меж волнами, почти скрылся среди гребней, потом всплыл опять на склон водяной горы. Даже с марсовых площадок бежала вода...

Но разрушительный удар волны был последней большой бедою этого страшного вечера. Ураган относил «Надежду» от японских берегов и через два часа начал смягчаться. Показалась ртуть в барометре. Ратманов не удержался, крикнул Головачеву:

— Бог милостив, Петр Трофимович! Видно, не пришло еще время для покаяния!

Головачев не ответил. Болела голова. Недавней волной лейтенанта бросило на кофель-планочное ограждение бизань-мачты, он ударился теменем и на миг потерял сознание...

Наклонов читал долго, и, когда кончил, все с облегчением завозились. Потом захлопали. Олег Валентинович замахал над плечом ладонью:

— Нет-нет, только без этого! Я не эстрадное светило... Если понравилось — спасибо.

— Вам спасибо, — кокетливо сказала Симаква.

— В общем, спасибо всем нам, — подвел итог Наклонов. — В следующий раз встретимся после каникул. Поговорим о творческих делах... И давайте так: будете не только вы меня спрашивать, но и я вас. У нас с вами взаимный интерес: я вот возьму, да и сяду за повесть о восьмиклассниках. А?.. Кстати, я давно хотел обратиться к школьной теме, материала тогда не хватало. На собственном сыне далеко не уедешь, он и не очень-то разговорчив. Спросишь: «Денис, что нового в школе?» — а он: «Все нормально»...

Все посмотрели на Дениса Наклонова. Он сидел насупленный: то ли смущался, то ли отцом был недоволен. Потом быстро глянул из-под казацкой стрижки. На миг встретился с Егором глазами. И тогда вдруг чуть улыбнулся...

А Венька все-таки пришел на встречу с Наклоновым. Только с опозданием. Протиснулся в дверь, сел с краешку. Егор заметил его лишь в конце собрания. В коридоре они посмотрели друг на друга, и Егор неловко спросил:

— Ну и как тебе?..

Венька ответил странно:

— Написано, наверно, хорошо, но читать он, по-моему, не умеет.

— Почему? — удивился Егор. — Нормально читает.

— Ну, я не могу объяснить... Но мне кажется, он слишком какой-то уверенный. По-моему, когда человек свою повесть многим людям читает, он волноваться должен. А здесь — будто чужое декламирует...

Словно застеснявшись своей критической речи, Венька недовольно замолчал. Вздохнул:

— Пойду к второклассникам. Они там еще не кончили...

А Егор побрел по улицам. Спешить было некуда. Завтра уже начинались каникулы. Егор думал, чем их занять.

Сегодня утром подошла Бутакова и казенным голосом спросила, не хочет ли Петров принять участие в новогоднем концерте. Он сказал, что хочет. Светка ужасно удивилась. Егор невозмутимо объяснил, что собирается исполнить пляску древних жителей острова Нукагива. Из серии «Танцы народов мира». Он будет плясать в банановой юбочке и с берцовой костью в зубах. Но нужна партнерша: с побрякушками из позвонков и в бикини из кокосового волокна. Как она, Бутакова, на эту роль смотрит?

Светка сказала, конечно, как она смотрит на Петеньку и кто он есть...

Ну а если по правде говорить, что делать на новогоднем вечере? Топтаться под «тяжелый рок»? (Кстати, «легкий рок» бы-

вает? Чем они отличаются?) И с кем там время проводить? Так сложилось, что в классе ни друзей, ни приятелей.

А интересно, Венька пойдет на вечер? Пожалуй, что нет. В этом они, кажется, похожи. Хотя и разные, но «стороны одной медали», как выразилась Классная Роза. Изредка у нее бывают проблески точных мыслей...

Размышления были прерваны крепким толчком. Какой-то пацаненок, вывернув из-за угла и глядя под ноги, всем телом налетел на Егора. Отскочил, поднял лицо. Серые глаза-пуговицы глянули из-под бесформенной клочкастой шапки. Обветренный рот с розовым пятнышком от болячки шевельнулся — то ли в несмелой улыбке, то ли в неразборчивом слове.

НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ

— Ну и манера у тебя встречаться, — сказал Егор. — Всегда головой в пузо... Ты куда это такой?

«Такой» — то есть ободранный и мятый больше, чем всегда. На Заглотыше был засаленный ватник — взрослый, до колен, с подвернутыми рукавами — и дамские сапоги с облезлым мехом по краю. Пуговиц на ватнике не было. Заглотыш запахивал его голыми, без варежек, руками. Внизу ватник разошелся, и Егор увидел полинялые трикотажные штаны. Протертые до марлевой прозрачности. На одном колене висел широкий клоч, в дыру, как в окошко, смотрело колено с коричневой коростой.

Зато вокруг шеи был обмотан новый мохеровый шарф, совершенно нелепый при таком наряде.

Обозрев Заглотыша, Егор повторил серьезнее:

— Куда ты в таком балахоне?

— К тете Лизе, — полувздохом ответил Заглотыш. И как-то ищуще глянул на Егора. И глаза стали прозрачные — не пластмасса, а влажные стеклышки.

У Егора появилось неясное предчувствие хлопот и неприятностей. И чтобы их избежать, он торопливо сказал:

— Ну и топай к своей тете Лизе. И не налетай на людей...

— А ее нет, — тихо сказал Заглотыш. Запахнулся, уткнул подбородок в шарф, постоял секунду и пошел мимо Егора.

— Постой, — сказал Егор. И подумал: «Какого черта мне надо?» — Что-то я не пойму: если ее нет, куда ты идешь?

— Может, домой...

— Как это «может»?

Заглотыш объяснил монотонно:

— Она говорит: «Иди к тете Лизе ночевать, не мешайся». Я пошел. А тети Лизы нет. А она опять говорит: «Иди к тете Лизе, она скоро придет». А ее опять нет... А она говорит...

— Кто говорит? Мать, что ли?

— Ну...

— А почему она тебя из дому отправляет?

— Гуляют... — сказал, уткнувшись в шарф, Заглотыш. — А тетя Лиза не придет, она, наверно, уехала на Калиновку... к своему... Я, наверно, к Мартышонку ночевать пойду. Или к Цапе...

— А домой-то что? Не пустят, что ли, совсем?

— Гуляют же... Ну их...

По логике вещей должен был Егор сказать: «Ну, гуляй и ты. Пока...» И топать своей дорогой. Потому как что ему Заглотыш? Никаких сентиментальных чувств Егор не испытывал. И, в конце концов, что с Заглотышем делается? Не в тундре же, переночует где-нибудь... Так думал Егор и стоял.

Он глянул на себя глазами постороннего. Посторонний иронически улыбался: «Это, кажется, называется «Святочный рассказ». Перед Новым годом или Рождеством путник встречает озябшего малютку, ведет его к себе и делает счастливым...»

Вести это чучело к себе было невыносимо. Мать устроит такой скандал, что хоть сам беги! «У нас что, приют? Это дело милиции возиться со всякой шпаной! Где ты его взял? У него лишай, он обворует квартиру!»

Ну и тем более, значит, делать нечего. Надо идти... Что же ты стоишь, кретин?

Заглотыш тоже стоял. Будто ждал чего-то. Понял, что этот большой мальчишка его теперь не бросит? «А почему не брошу-то? — подумал Егор. — Благородные чувства проснулись, что ли? Чегой-то не похоже... А... оставил бы я его раньше?»

Он уже не раз ловил себя, что разные мысли свои и поступки примеряет как бы на двух Егоров — на Кошака в «таверне» и на того, кто «после»... Егор добросовестно, детально постарался представить, как это было бы не сейчас, а «тогда». И... вот же черт!.. Кажется, не ушел бы и тогда Кошак. Скорее всего, ухватил бы Заглотыша за рукав и, кривясь от злости на себя и от отращения к замызганному «мышонку», отвел в «таверну». Чтобы тот согрелся и поел чего-нибудь... По крайней мере, так сейчас казалась Егору.

Но что об этом думать? Нынче Егору самому ткнуться некуда. Из дома, правда, не гонят, но все равно он один. «Плохо одному, недоброе это дело...» Тоскливо стало Егору. И он вдруг подумал, что именно от такого одиночества и тоски застрелился на корабле «Надежда» лейтенант Головачев, о котором рассказывал Михаил... Рассказывать-то легко.

И все же гораздо более одиноким и неприкаянным, чем Егор, был Заглотыш... Или уже не был? Ведь он теперь стоял рядом с Егором и надеялся... «Spe fretus», — хмуро усмехнулся Егор.

Заглотыш вдруг поднял подбородок, тронул розовое пятнышко языком и спросил:

— А куда пойдем?

— Пойдем!

Егор теперь знал — куда. И злился. На старшего сержанта Гаймуратова. Привез пацана, сунул мамаше, которой тот нужен как футбольному мячу клизма — и привет! А дальше что?

...До Венькиного дома было недалеко. И — вот удача! — дверь открыл сам Венька. Удивился, но меньше, чем Егору думалось. Быстро оглядел Заглотыша, ничего не спросил, сказал сразу:

— Проходите.

— Ямшиков... Слушай, тут дурацкий случай. Совершенно непредвиденный. Мне надо этого... субъекта отвезти в Среднекамск, к брату. А он видишь в чем... Если не оконечет по дороге, то все равно задержат как бродягу. У вас не найдется каких-нибудь старых Ванькиных шмоток? На пару дней.

— Найдется, конечно. — Венька вроде бы совсем уже не удивлялся. — Ну, проходите... А что случилось-то?

Егор очень коротко изложил историю Заглотыша. Лишь об одном не сказал: почему он, Егор, решил везти мальчишку к Михаилу. Решил со смесью ожесточения и надежды.

Несчастный этот Заглотыш при расставании с Михаилом так цеплялся за шинель, так вопил: «Дядя Миша, не надо! Дядя Миша, не уходите!» Значит, привязался к товарищу старшему сержанту. Не к матери рвется, а к нему. Так что же вы, Михаил Юрьевич? Вот и возьмите пацана! Заботьтесь, воспитывайте...

Конечно, Михаил Гаймуратов скажет: «Ах, я не могу взять себе всех! Их вон сколько, несчастных беглецов, трудных и заброшенных». А всех и не надо! Все тяжкие вопросы на Земле один человек никогда не решит. А ты просто возьми вот этого Витька, и одним неприкаянным будет меньше...

«Легко говорить!..»

Говорить и правда легко — рассуждать о долге, бескорыстии и других благородных вещах. А ты докажи на деле. Помнишь, ты сказал, что у меня есть дом в Среднекамске? Так вот, мне не надо, я отказываюсь, пусть вместо меня будет Заглотыш! Ну?..

Егор злорадно представил, как закрутится, заотговаривается Михаил, и... в глубине души отчаянно боялся этого. И надеялся, что такого не случится. Потому что пришлось бы тогда сказать: «Значит, все твои принципы — одни слова? Что же ты их пытаешься вбить в меня?» И хлопнуть дверью... И думалось об этом уже не со злорадством, а с горечью.

И отказавшись от жестокого своего эксперимента он уже не мог. Жутковатый соблазн разом и полностью выяснить, что за

человек Михаил Гаймуратов, был сильнее сомнений... Да и как откажешься? Заглottyша-то куда денешь?

Ничего этого Егор Веньке не сказал. Объяснил коротко:

— Раз домой не пускают, единственный выход — сдать его Михаилу. Он разберется, служба такая...

— Пожалуй... — согласился Венька. — Ну, вы проходите, в конце концов.

— Да зачем? Дай какую-нибудь одежду — и мы на вокзал.

— Куда так сразу-то? — Венька посмотрел на переступающего нелепыми сапогами Заглottyша. — Он же, наверно, лопать хочет... А еще ты, братец-кролик, хочешь в туалет. — Он ловко вытряхнул Заглottyша из ватника и подтолкнул: — Топай вон в ту дверь.

Егор смотрел на Редактора смущенно и с уважением. Вот что значит иметь младшего брата. Сам Егор о таких вещах и не подумал бы... Венька покачал ватник в руке.

— Ну и хламида... Сейчас я с мамой поговорю, может, Ванюшкино старое пальто еще не распорол.

— Она дома? — перепугался Егор. Встретаться с Венькиной матерью он никак не рассчитывал. После всего, что случилось в октябре! Отец — другое дело, он мужик хладнокровный, поговорили по-деловому. А матери в тот раз, к счастью, не было...

Но Венька, не слушая, исчез, и минуты две Егор с появившимся Заглottyшем переминались у вешалки. Потом вышли Венька с матерью. Она была рослая, с крупным лицом и густыми мужскими бровями. Сказала, будто знала Егора Петрова давно:

— А! Здравствуй, здравствуй, Егор... — Глянула на Заглottyша. — А это и есть путешественник? Сейчас посмотрим, что тут можно сделать... Да заходите же в комнату, наконец!

Держалась она добродушно-решительно, не удивлялась, не спрашивала. Значит, Венька успел ей все объяснить. И, видно, была его мама человеком дела.

Они разделись, разулись и в комнате увидели елку. Она подымалась в углу — высокая, под потолок. На стремянке стоял бесенок и надевал на верхнюю ветку золотисто-малиновый шар.

Бесенком был Ваня. В узком черном свитере, в черных колготках и шортиках с разноцветными заплатками. С пришитым длинным хвостом. На конце хвоста — кисточка.

Он обернулся и тоже не удивился. Расплылся в улыбке.

— Привет... — Забавный такой чертенок, светло-русый и круглолицый, с мохнатыми рожками на тонкой дужке от наушников.

Венька сказал:

— Ивану не терпится, вздумал уже сегодня елку ставить. И в костюме вырядился чуть не за неделю до спектакля.

— Это чтобы к роли лучше привыкнуть, — сообщил Ваня.

— Чего привыкать, и так бес натуральный, — сказал Венька.

— Не-а, я очень тихий ребенок.

— Ага, в тихом омуте...

Заглottyш молчал и мигал глазами-пуговицами. То ли подавлен был неясностью своей судьбы, то ли тихо завидовал чужой домашней радости. За окнами был уже лиловый вечер, горела над столом люстра, при ее свете сильно лоснилась затертая школьная курточка Заглottyша, под ней видна была грязная майка.

Венькина мама принесла стопку одежды и оглядела Заглottyша от дырявых носков до нечесаной макушки.

— Чадушко ты ненаглядное. Ты что, котельную чистил или уголь разгружал?.. Егор, как ты повезешь такого чумазого?

Егор только вздохнул. Венькина мама решительно сказала:

— Сейчас колонку зажгу. Отец недавно на кухне ванну оборудовал, благодать теперь...

Егор испугался:

— Мы же не успеем! В шесть двадцать последний поезд!

— Все успеете, еще полпятого, я его за три минуты отскоблю... Веник, надо еще картошки почистить, чтобы на всех хватило. А то чего же они, голодные, в дорогу-то... Егор, а дома у тебя знают про путешествие?

— Естественно, — соврал он как можно беззаботнее. А на самом деле решил, что позвонит домой из Среднекамска. Говорить с матерью сейчас — это будет сплошной крик...

Картошку чистили здесь же, в комнате, потому что на кухне Венькина мама Анна Григорьевна «отскребала» покорного Заглottyша. Сидели на полу. Егор — делать нечего — взялся помогать Веньке. Последний раз до этого он чистил картошку в «Электронике», на привале у костра, и теперь уже через минуту сосал порезанный палец. Венька сказал:

— Вань, спустись, помоги. Успеешь с елкой до Нового года.

Бесенок скакнул со стремянки. Картошку он чистил, как фокусник. Егор сказал, чтобы скрыть стыд за свое неумение:

— До чего неохота почти пять часов трястись в поезде...

— Деньги-то есть на билет? — спросил Венька.

— Пятерка, к счастью, есть, хватит... Только бы поезд не опоздал, а то придется среди ночи бродить. Я ведь даже не знаю толком, где у Михаила дом, искать придется...

— Слушай, а ты говорил, что брат часто в командировках, — напомнил Венька. — Что, если его и сегодня дома нет?

— Ох... — Егор в запальных мыслях о своем эксперименте про такую грустную возможность и не вспомнил.

— Вень, можно я от вас позвоню? Я быстро, это не дороже полтинника, потом отдам...

— Звони, конечно!

Знакомый голос пожилой женщины (наверно, мать Михаила) суховатым ответил, что Михаил Юрьевич на ночном дежурстве

и будет утром. И вдруг совсем иначе, нерешительно и словно ожидая чего-то, женщина спросила:

— А это откуда говорят? Это... кто?

— Я... потом, — растерянно сказал Егор и положил трубку. Беспомощно оглянулся на Веньку. — Вот же невезуха, он дежурит... Не тащиться же к нему в приемник.

— А зачем вам переть в такую даль на ночь глядя? — спросил Венька. — Ехали бы завтра с утра. Витек твой после ванны да после еды знаешь как осоловеет! Его спать потянет.

— Да где ему спать-то!

— С нами. Наверх его положим, а сами внизу, ага, Вань?

— Нам не привыкать, — отозвался Ваня, разматывая с клубня длинную кожуру. — Позвонок три ночи у нас ночевал.

— По... звонок? — изумился Егор.

Венька нехотя объяснил:

— Ну, отец наш с его матерью решил побеседовать... про то дело. На всякий случай. Что, мол, ваш Колька задумал, с кем связался... А она такая, сразу за ремень. Он — драпать. Трое суток у нас и спасался.

— Кошак, а правда, что в «таверну» он больше не ходит? — спросил Ваня.

— Иван... — сказал Венька.

Егор скрутил в себе тошнотворную неловкость и ответил безразлично:

— Не знаю. Я и сам там не был с той поры. Говорят, вообще лавочка прикрылась.

— Вань, иди-ка лучше елку украшать, — сказал Венька.

Тот, покрасневший, сказал, сопя:

— То чисти, то украшай... Сам не знаешь... — И встал.

Венька взял его за хвост и хвостом этим хлопнул по заплатам:

— Сгинь, нечистая сила.

«Нечистая сила» с облегчением показала язык.

— Я уже все игрушки повесил. А лампочки сам вешай. А я буду шиштемю разворачивать. Для лотереи.

Егор, глядя в кастрюлю с картошкой, сказал:

— Ночевка эта... А что... ваша мама скажет?

— То же и скажет. — Венька подхватил кастрюлю и уволок на кухню. Вернулся он с матерью и Заглотышем. Витек был с розовым лицом и мокрыми волосами, в джинсах и клетчатой рубашке. Посмотрел на Егора и виновато улыбнулся. Анна Григорьевна с порога проговорила:

— Правильно надумали, чтобы завтра ехать. А то куда в темень-то? И электрички опаздывают, заносы на дорогах. У нас на работе Анна Михайловна есть, так у нее свекровь три часа в поезде перед самым городом просидела... Скоро наш папа придет, поужинаем не спеша, я к чаю пирог купила в полуфабрикатах.

— А я лотерею сделаю, — опять пообещал Ваня. — Вроде новогоднего спортлото... Ко... Егор! Ты тоже не уходи, мне надо, чтобы побольше участников было, а то неинтересно.

Егору как раз полагалось оставить Заглотыша и распрощаться до завтра. Чего еще тут глаза людям мозолить? Но не хотелось уходить из этой теплой комнаты с большой пахучей елкой, от тихого праздника... Ну, придет он опять в свою большую, тщательно прибранную квартиру. С кем перемолвиться? Кому рассказать о Заглотыше, о своих тревогах? И елки дома нет. Мать считает, что от хвойного мусора, иголки застревают в ковровом ворсе. Правда, она ставит на телевизор сентиментальную елочку из пластмассы, но какой от нее праздник? Елка, которую в прошлом году нарядили в «таверне», и то была не в пример лучше. Мать с отцом ушли встречать Новый год к знакомым, Егор напел, что проведет полночи у хорошего товарища (при его маме и папе) по соседству, а потом ляжет спать. И до утра обитатели «таверны» веселились то у себя в подвале, то на площади у городской елки. Тем более что портвейна был изрядный запасец...

Но сейчас что об этом вспоминать? Предчувствие одиночества опять холодком дохнуло на Егора. Ох, не хочется домой.

Словно обо всем догадавшись, Венька сказал:

— Помоги лампочки повесить. У нас две гирлянды. Папа мигалку сделал...

Распутывали провода и растягивали на елке гирлянды долго. Столько лампочек, от верхушки до пола! Егор сказал про елку:

— Какая громадная...

— Мы ее из пяти штук смонтировали, — объяснил Венька.

Егор исколол в хвое руки, запястья чесались, но это было даже приятно. От новогоднего запаха весело кружилась голова. Он стоял на стремянке и видел, как Ваня и Заглотыш растягивают какие-то проволоки, ставят на полу и подоконниках непонятные железки и колеса. Ваня включил в работу Заглотыша решительно и просто, как давнего приятеля: «Ну-ка, помогай...» Заглотыш помогал послушно и молчаливо.

Пришел отец Ямшиковых. Сказал, что задержался на заводе: с планом, как всегда в конце года, запарка. С Егором поздоровался так, словно тот заходит к ним каждый день. Одобрил елку, поглядел, как Ваня и Заглотыш монтируют решетчатое колесо на подставках, и спросил:

— А кормить работников будут?

— Будут, — сказала Анна Григорьевна. — Иди-ка, помоги мне на кухне.

Видно, там она объяснила мужу все про Заглотыша, потому что, вернувшись, Аркадий Иванович ни о чем не спрашивал. Будто этот пацаненок всегда обитал тут.

Раздвинули, накрыли клеенкой стол. Егор подумал, что пришло окончательное время «намыливаться» домой. Но Анна Григорьевна сказала:

— Его-ор. Что за новости...

Она принесла громадную сковороду с жареной картошкой, тарелку с копчеными селедками. Сели. Картошка была такая, какую жарила когда-то бабушка Мария Ионовна. И селедка аппетитная. Всем понравился ужин, особенно Заглотышу. Он сидел все так же молчаливо, скромно, однако глотал жадно. И на шее опять напрягались и опалили жилки, будто шарики перекачывались...

После ужина Ваня объявил открытие своей лотереи. Зазвякала повсюду, замигала огоньками «шиштема». Зажглась елка, а люстру выключили. Под елкой завертелось решетчатое колесо с колокольчиками. Все по очереди должны были нажимать на рычаг, тогда с колеса падал скрученный в трубку билетик с номером.

Номера — дело случайное, и, наверно, были они лишь для виду. Иначе как объяснить, что каждому достался самый подходящий выигрыш? Отцу — пачка бритвенных лезвий, маме — зеркальце. Веньке — рубиново-прозрачный угольник для черчения... А себе Ваня вручил пистонный пистолет, который палил очередями.

Не забыли и гостей. Заглотыш получил модельку старинного автомобиля и взял ее в ладони, как живого цыпленка. Задышал над ней. А Егору Ваня дал зеркально-зеленый елочный шар. На шаре поблескивали нанесенные стеклянной пудрой редкие звездочки. Скорее всего, этот приз был подобран на скорую руку, но Егор обрадовался шару какой-то чистой, младенческой радостью. Словно перенесся в дошкольное детство, когда елка и все новогодние чудеса волновали его до сладкой дрожи.

Огоньки отражались в шаре, как созвездия. Матовый налет от дыхания Егора лег на зеленое зеркало и тут же исчез.

— Спасибо, Вань... Только как же я его домой-то понесу? Раскаю ведь...

— А я коробку дам, с ватой...

Дома Егор положил шар в раструб медного индийского кувшина, который бабушка не захотела увезти с собой в Молдавию. Кувшин стоял на подоконнике, и когда Егор выключил лампу, в шаре собрался в точку рассеянный свет уличных фонарей.

Егор лег. Рано лег, еще до одиннадцати. Просто ничего не хотелось делать. Лежал и вспоминал, как сверкала елка и как разбаловались Ваня и Заглотыш. Сперва разыгрался один Ваня — ко всем подкрадывался, выскакивал из-за спины и подвывал,

как настоящий бес. Наконец осмелел и Витек: стал подбираться к Ване и дергать за хвост. Они начали носиться по комнате — два чертенка: Ваня надел на Заглотыша дужку с рогами.

Наконец Анна Григорьевна цыкнула и сказала, что «мелким исчадиям ада» пора в постель. Витек пошел сразу и опять держал в ладонях, как цыпленка, автомобильчик. А Ваня заупрямился. С хохотом залез под стол. Венька выволок его.

— Егор, помоги...

Егор ухватил Ваню за ноги. Ноги дрыгались, тонкие щиколотки вертелись в рубчатой чулочной материи, выскальзывали у Егора из ладоней. Тряпичный хвост попал ему под ступню и чуть не оторвался. Непослушного бесенка бухнули на нижнюю койку. Он хотел вскочить, но Венька быстро сказал:

Раз-два-три —
Ванька-встанька, замри.

Ваня застыл в нелепой позе, с обиженной улыбкой. Быстро и умело Венька стянул с братишки «чертячью шкуру», засунул его, будто одеревенелого, под одеяло и тогда разрешил:

— Отомри... Но не дрыгайся, а то опять заморожу.

— У, Венише... Скажи спасибо, что я все свои замиралки израсходовал... — Ваня натянул одеяло до подбородка и показал розовый язык.

Венька сказал Егору:

— У нас игра такая: кто кому сколько «замиралок» проспирит. Иван свои тут же расходует, а я экономлю. Для воспитания.

— Ладно-ладно, припомню, Венечка, — пообещал Ваня. А Егору сказал: — Шарик не забудь.

Подсаженный на «второй этаж» Заглотыш тихо возился там, пристраивал в углу постели автомобильчик.

...Все это Егор вспоминал сейчас и смотрел на искру в шаре. И затем искра выросла и распалась на множество цветных огоньков — стала сниться елка и Ваня с Заглотышем, которые катались на игрушечном автомобиле. После этого снилось что-то непонятное, но хорошее: не то плес, над которым белеет влали колокольня, не то теплое море и берег с крупными цветными гальками, которые маленький Гошка собирает в подол майки...

Потом неизвестно с чего (Егор совсем о ней и не думал) приснилась Бутакова. Странно так: на доске под желто-синим парусом. Даже не на доске, а на лыже, потому что мчалась она не по воде, а среди увешанного блестящими шарами ельника, по сугробам и снежным застругам. Вьюжная пыль разлеталась из-под лыжи крыльями... Светка затормозила перед Егором — парус медленно лег на солнечный снег, на лиловые тени елок.

— Ну, что смотришь? — Светка смеялась, блестя мелкими ровными зубами. Зима была кругом, а она в одном купальнике,

будто не на лыже, а на виндсерфере. Купальник — ярко-алый, с черными косыми полосами через грудь, тот, в котором она всегда на физкультуре...

— Ну, что смотришь? — спросила она опять. — Сам-то небось не умеешь так! Хочешь, научу!

«Застынешь ведь, дура», — хотел сказать Егор, но осип. Подумал: может, дать ей куртку? Но Светка ничуть не мерзла, смеялась. На загорелом ее плече таяли, превращались в капельки снежинки. Егору очень захотелось стереть их, и он снял уже варежку, потянул руку, но вздрогнул и проснулся с частым дыханием...

Тихо было, по-прежнему блестел шар. На кухне горел свет, мать с отцом о чем-то тихо говорили там. Егор на цыпочках сходил в туалет, напился из-под умывального крана очень холодной воды. Снова лег. Появились мысли, что, пожалуй, с Заглотышем — дело пустое и глупое. А впрочем, будь что будет. И, подумав об этом, Егор уснул.

КАНИКУЛЫ НА КОРАВЛЕ «НАДЕЖДА»

Хронометр стоял на старинной, красного дерева тумбочке недалеко от раскрытой двери. Когда замолкали голоса, он тикал особенно звонко — вщелкивал в тишину медные шпильки. Его хорошо было слышно в полутемной прихожей, у изразцовой печки.

В этом углу, у печки с раскрытой дверцей, Егор и Михаил сидели часами. Михаил маялся болями в спине, но нет худа без добра — получил на несколько дней больничный лист. Теперь у него тоже были как бы каникулы, только с «позвоночным уклоном» и ежедневным хождением в поликлинику на электромассаж.

Усаживался Михаил в развалистую, удобную для его спины качалку прошлого века, а Егор устраивался на полу или на дровах. Разжигали печь и говорили. О многом...

О Толике говорили и его аппаратах, о съемках в Севастополе, о Крузенштерне, Резанове и Головачеве, о рукописи Курганова. Несколько вечеров подряд. Переплетение времен и судеб казалось Егору похожим на сюжет многосерийного телефильма.

Один раз Егор спросил:

— А вдруг рукопись когда-нибудь все-таки найдется?

Михаил не стал доказывать, что это фантастика. Он сказал:

— Практически шансов никаких, но я тоже иногда об этом думаю. Даже снилось несколько раз... Будто беру листы, читаю. Все так хорошо, интересно. А проснусь — и сразу забываю...

— А куда могла деваться тетрадь с эпилогом? Та, в которой Толик писал, по памяти?

— Не знаю, не нашли в бумагах у него... Если бы найти, можно было хотя бы этот эпилог напечатать. В каком-нибудь журнале. Как отдельный рассказ. В память о Курганове... И о Толике...

— А если бы нашлась вся рукопись? Можно было бы напечатать?

— Наверно... Только пришлось бы, скорее всего, название изменить. А то есть теперь такой роман Хемингуэя — «Острова в океане». Тоже после смерти автора выпущен...

— Можно было бы назвать «Путь в архипелаге», — вдруг сказал Егор.

Михаил посмотрел удивленно.

— Ну... — Егор почему-то смутился. — Конечно, Крузенштерн плыл не в каком-то одном архипелаге, он по всем океанам... Но если повесть о людях... будто каждый как остров... Тогда ведь путь от острова к острову. От человека к человеку...

Он не стал рассказывать, что все эти дни ненавязчиво, но постоянно звучат в нем, переплетаясь, две мелодии: песня из «Кораблей в Лиссе» и песня Камы. Не решился. Да и не сумел бы.

Но вообще-то они с Михаилом разговаривали вполне откровенно. Не то что во время прошлых встреч. Михаил рассказал и о гранате... О том, как он, двенадцатилетний Гай, в Севастополе бросил, не подумавши, в руки Толику учебную «лимонку» с сорванным кольцом. А тот решил, что граната настоящая, и грохнулся на нее, чтобы спасти Гая. И как потом Гай ревел и просил прощения, а хмурый Толик вытирал ему платком лицо. И, наверно, когда вынимал платок, вытряхнул билеты на симферопольский автобус. И обратный тоже. И поэтому повез Гая в аэропорт на такси, а возвращаться в Севастополь решил на электричке. И на симферопольском вокзале наткнулся на двух бандюг, с которыми сталкивался и раньше... Если бы не было случая с гранатой и если бы Толик не потерял из-за этого обратный билет, он не пошел бы на вокзал, и, возможно, ничего не случилось бы... Впрочем, Гай не знает точно, был ли у Толика этот билет. Кое-кто говорит, что его быть не могло и Толик с самого начала думал ехать назад на поезде. И что бандиты искали инженера Нечаева специально, следили всюду... Но кто теперь может сказать точно?..

Егор долго молчал, ворочая в печке дрова. Потом не вытерпел, спросил:

— И что, все эти годы так и маешься?

— Не маюсь. Живу, — сказал Михаил жестковато. — Но... нет-нет да и опять возьмет за душу.

— Но ведь ясно же, что ты здесь ни при чем! Не было билета, а бандиты все равно были!

— Никому это не ясно, — безнадежно сказал Михаил.

— Граната ничего не решала, — упрямо, хотя и без внутренней уверенности заявил Егор.

— Кто знает, решала или нет... Она все равно была, никуда не денешься. Причем краденая. Как ни крути, а я ведь стащил ее у тех, у севастопольских, ребят, хотя потом и признался. Вот так люди и расплачиваются за один подленький шаг... Судьба.

Егор осторожно сказал:

— Ты был пацан. Ты же не знал... Другие целую жизнь химичат и о совести не думают и вовсе даже не расплачиваются. При чем тут судьба?

Михаил шумно повозился в заскрипевшей качалке.

— Да судьба-то у каждого своя...

Замолчали. Только угли пошелкивали да хронометр: динь-так, динь-так...

В открытую дверь было видно, как в комнате на полу возится со старой железной дорогой (еще Гай играл когда-то) молчаливый, тихо прижившийся здесь Заглотыш...

Пять дней назад, когда они появились в доме, Михаил повел себя непредсказуемо. Радостно вытаращил синие глаза, всплеснул одной рукой (другой держался за спину) и захохотал:

— Вот это парочка! Сочетание! Какими судьбами?

Егор подумал, что запланированный эксперимент летит вверх тормашками. Чтобы спасти положение, он заговорил сердито и с напором, но напор получился беспомощный:

— Вот, получай!.. Привез тогда и думаешь — все? А ему куда?

Он опять... Он матери нужен меньше паршивого котенка. А ты его отцепил от шинели, и нате... Так, да?

Михаил перестал смеяться, но глаза остались веселыми. Главное, что он ничуть не растерялся и не удивился.

— И, значит, ты его обратно? Ай да братец!

— Ты не вертись, — безнадежно сказал Егор. — Ты отвечай за человека до конца. Это тебе не словами других воспитывать.

— По-нитно... Витюха, иди-ка вон туда, раздевайся... Братец Егорушка, ты, значит, мне испытание решил устроить? Усыновляй, мол, парня, если не болтун! Так?

Вот же черт! Он всегда все знает наперед!

— Не так! — раздосадованно рявкнул Егор. — Найди отговорку! Скажи: «Если я буду всех...»

— Ага! А ты скажешь: «Не надо всех, возьми одного...»

— Вот именно! — Егор понял, что сейчас постыдным образом разревется.

Но Михаил сказал уже без намека на смех, тихо и грустновато:

— Насчет одного у меня были другие планы. Есть на приме-

те... Эх, Егор, Егор, а ты думаешь, это легко? У него же мать живая. Никакая комиссия не позволила бы, хоть лоб расшиби...

Егор оглянулся на Заглотыша, тот у вешалки медленно стаскивал с себя Ванино пальтишко.

— А никто про него и не вспомнит. И не спросит.

— А школа? А документы?.. Эх ты, святая простота... Кстати, мать знает, что ты его увез?

— Больно он ей нужен!

— Сегодня не нужен, а завтра крик подымет.

Венькина мама тоже говорила об этом Егору. Но он беззаботно соврал, что у матери Заглотыша был и ей, полупьяной, сообщил об отъезде.

— Надо отправить открытку, — решил Михаил. — Ибо чую, что эта личность осядет здесь на неопределенное время.

Егор шмыгнув носом и агрессивно предупредил:

— Только попробуй сдать в приемник!..

— Дурень, — вздохнул Михаил. И вдруг крикнул: — Мама! Егор приехал!.. — А перепугавшемуся Егору шепотом пообещал: — Не бойся, нежностей не будет. Я уже все рассказал...

Однако нежности были, хотя и недолгие. Сухонькая женщина стремительно вошла в прихожую, секунду молча стояла перед Егором, потом обняла, прижалась к его плечу. Всклинула, расцеловала его в щеки и в лоб. Отодвинулась, глядя влажными солнечными глазами. Сказала несколько раз:

— Господи Боже мой, Господи Боже мой, хоть бы это был не сон... мальчик мой... — И опять прижала его к себе.

Затем почти то же самое повторилось с другой женщиной, молодой еще. Это была сестра Михаила, Галина.

Михаил в это время помогал раздеваться Заглотышу и что-то его тихо спрашивал. Потом громко сообщил:

— Товарищи, это Витя. Он у нас... поживет. Будет спать в боковушке, а мы с Егором в моей комнате.

— Я не буду спать! Я сейчас домой...

— Да? — ехидно сказал Михаил. — Во! — И он показал полную дулю. — Ты приехал на каникулы.

Мать, вопреки ожиданиям, не спорила и не возмущалась, когда Егор позвонил из Среднекамска. Сказала только:

— Мог предупредить хотя бы, не срыватьсь сломя голову... Ну, смотри сам, не маленький уже. Веди себя там по-человечески. И звони почаще... Дай номер телефона... Гаймуратовых...

«И не забывай надевать тапочки», — мелькнуло у Егора, и он впервые за долгое время подумал о матери с оттенком грустной нежности. Наверно, потому, что оказался от нее далеко...

Первые сутки прошли в разговорах с Михаилом, в знакомстве с домом и его жителями. Дом с улицы выглядел старым, осевшим, а внутри оказался просторен и светел. И комнаты высокие. В них потрескивали пересохшие полы, позванивали несове-

менные люстры, блестело синее стекло ручек на оконных рамах. Пахло березовыми дровами. И всюду книги, книги. Потертое золото на кожаных корешках старинных словарей. Фотографии на стенах между высокими шкафами с темной резьбой. Большой, маслом писанный портрет хирурга Гаймуратова, умершего десять лет назад, — он приходился Михаилу дедом. И, значит, Егору — тоже.

Портрет висел в кабинете, где за письменным столом с львиными головами сидел седой грузный человек в очках-линзах. Из-за этих линз глаза его казались необыкновенно большими. Он отодвинул кресло, тяжело поднялся навстречу Егору. Руку дал, сказал без улыбки, но по-доброму:

— Здравствуй, Егор. Вот и прибавилось наше семейство. Бывает и у судьбы справедливость, а?.. Ну, осваивайся. А я тут еще посижу над своей писаниной, хотя и надоело...

— Папа учебник пишет, — объяснил Михаил. — Для химико-технологических вузов.

— Да. Надо успеть, — серьезно сказал Юрий Андреевич.

— Папа, ты опять... — насупился Михаил.

— А я чего? Я к тому, что издательство торопит. Чтобы не нарушить договор...

В столетнем доме на Старореченской улице (которую то грозили снести, то обещали сохранить в заповедной зоне с деревянной архитектурой) жили восемь человек. На одной половине — Михаил с родителями, на другой — его сестра Галина с мужем и дочерьми и брат ее мужа, холостой инженер с судоверфи.

Дочери Галины — Шура и Катюша, веснушчатые девочки девяти и десяти лет — живо заинтересовались Заглотышем. Тот сперва помертвел от робости, потом слегка оттаял. Даже согласился пойти с девочками в ближний кинотеатр на мультяшки. Когда вернулись, Катюша громким шепотом спросила:

— Дядя Миша, а правда Витя всегда будет жить у нас?

Заглотыша, к счастью, рядом не было. Михаил ответил:

— Всегда, наверно, не получится, вы его скоро замучите.

— Не-е... Мы с ним дружить будем.

Потом оказалось, что дружба не получается. Шура и Катюша целые дни свистали на улице — то на площади у городской елки, то на крутом речном берегу, с которого ребята катались на санках и фанерках. А Заглотыш тихо возился с железной дорогой, листал подшивки старого «Огонька» или помогал тете Гале на кухне. Она сказала:

— Мне бы такую девочку. Вместо тех сорвиголов...

Вечером тридцать первого в самой большой комнате, где стояла елка, раздвинули стол — тяжелый, с ножками как у роля. Около одиннадцати Виктор — веснушчатый, как дочери, муж

Галины — сообщил «открытым текстом», что пора проводить уходящий восемьдесят второй. Хлопнула пробка. Ребятишкам дали газировки, а Егору Михаил налил в фужер шампанского, как всем. Переглянулся с матерью: «Ради такого случая можно...»

— Папа, — сказал он. — Давай тост. По старшинству.

Юрий Андреевич поднялся за столом.

— А что придумывать тосты? Год этот, он всякий был. И все-таки для нас счастливый. Сами понимаете... — Он посмотрел на Егора. — Вот и давайте — за судьбу...

Шампанское зашкотало небо, как лимонад, зашипало в носу (совсем не похоже на «таверновский» портвейн). Егор весело «навалился» на горячие пельмени. В это время в прихожей длинно-длинно затрещал телефон. Михаил кинулся из-за стола. И вернулся через пять минут. Улыбчивый.

— По просветленной физиономии Гая можно заключить, что благосклонно звонили с южных берегов, — заметила Галина.

— Галка, — сказал молчаливый брат ее мужа Борис Васильевич. — Была бы ты моей женой, за косы бы драл. Для излечения от болтливости...

Михаил молча поглощал пельмени. И, кажется, забыл про большую спину.

После двенадцати началась веселая суета — все вручали друг другу подарки. Заглотышу досталась коробка с конструктором, а Егору — роскошная авторучка и блокнот в лаковом переплете. На корочке — фото: «Крузенштерн» под всеми парусами. Прямо как в кино. Это уж Михаил, конечно, постарался.

Егор сказал растерянно:

— А мне и подарить нечего. Никому...

— Ты сам подарок, — улыбнулась Варвара Сергеевна, мама Михаила. А Галина добавила без прежней хитроватости, серьезно:

— Вообще-то и ты можешь подарок сделать... Всем.

— Какой? — удивился Егор.

— Потом скажу.

Егора это заинтриговало. Он смотрел нетерпеливо.

— Ладно, пойдем, — позвала Галина.

Они отошли к елке. Ветка с картонным зайцем покалывала Егору щеку. Галина щекочущим шепотом сказала ему в ухо:

— Но если это очень трудно, то не надо, не обещай...

— А что обещать-то?

— Если можешь... брось курить.

Щеки Егора словно продрало теркой. Помолчал он, стыдливо проморгался и буркнул:

— Чё, заметно разве? Я три дня не дымил...

— Милый мой, я же химик. Всякие флюиды чую за версту...

Ты очень привык?

— Да ну... я как когда. Могу целую неделю без этого...
 — Ну, и как насчет подарка? — прошептала она.
 — На всю жизнь? — осторожно спросил Егор.
 — Нет, таких клятв не надо. Хотя бы ровно на год. А?
 Егор подумал, тряхнул головой.
 — А... ладно!
 — Правда?
 Он засмеялся и прижал к груди растопыренную ладонь:
 — Клянусь!
 — Вот спасибо... Только имей в виду, скоро тебе очень захочется закурить. Так всегда бывает.
 — Вот еще!

Курить захотелось через десять минут. Отчаянно. Чтобы задушить клятвопреступное желание, он украдкой допил из фужера шампанское и заел селедкой под майонезом. Борис Васильевич поставил на проигрыватель старинную «Рио-Риту»...

Дрова прогорели, разговор о потерянной рукописи угас. Егор встряхнулся и бросил в печь два березовых полена. В прихожую заглянула Галина.

— Братцы ненаглядные, ужинать пора... А если кто-то будет копать, не получит письмо из Севастополя. Только что соседка принесла, им по ошибке в ящик бросили.

Михаил вскочил, охнул, взялся за спину.

— Давай письмо немедленно.

— Ладно уж...

Михаил разорвал конверт, поднес развернутый лист к открытой печной дверце, стал читать при свете разгоревшейся бересты. Заулыбался. Достал из конверта фотоснимок.

— Вот он, Никитка, гляди...

Рядом с молодой белокурой женщиной в плаще стоял большезлазый, удивленный какой-то мальчик. Без шапки, в расстегнутой курточке, с октябрьской звездочкой на лацкане школьного пиджака. Светленький, коротко остриженный, с оттопыренными ушами. Двумя руками держал опущенный к ногам ранец.

— Хотели его к нам на зимние каникулы привезти, да простыл бедняга. На юге-то... — сказал Михаил.

— А это Ася?

...Егор все уже знал про Асю. Про ее обычную, как у многих, судьбу. Муж Аси был выпускником военно-морского училища, после окончания учебы уехал с женой на Камчатку, а через год Ася вернулась к матери с крошечным сыном. И больше об отце Никитки старалась не говорить. Знал Егор и то, что Михаил не раз бывал в Севастополе и не раз говорил Асе: «Давай поженим-

ся». И та вроде бы не отвечала «нет». А все что-то не клеилось, задерживалось. И в чем загвоздка, Егору было непонятно.

— Да мне и самому непонятно, — сказал как-то Михаил.

Разговор был такой подходящий по настроению, откровенный, и Егор спросил в упор:

— Может, не любит?

— Если бы так просто... Сразу бы тогда и сказала, она девочка решительная.

— А может, потому, что у нее образование, а ты университет не кончил?

— Подумаешь. Через два года кончу, я уже восстанавливаюсь...

— Или с юга ехать к нам не хочет?

— На Камчатку же поехала... Нет, тут другое... Говорит: «Пусть Никитка подрастет, вместе с нами решит». А он при последней встрече и так за мной по пятам бегал: «Дядя Гай, дядя Гай...» Ей уж и Сергей говорил: «Ася, чего ты тянешь жилы и себе, и ему?» Мне то есть... Серега Снежко, наш друг в Севастополе... Я тебе его не показывал?

Охая, Михаил сходил в комнату и вернулся с потертой папкой. Стал перебирать листки, конверты, карточки, достал крупный снимок. У школьного крыльца стояли трое — длинноногий, с побитыми коленками Гай, девочка в школьном платье, тоненькая, с очень светлыми прямыми волосами, и мальчишка с веселыми прищуренными глазами. Он твердо расставил прямые, как карандаши, ноги и держал на одном плече короткий пиджачок.

— Вот это и есть Сержик Снежко. Сейчас врач на рыболовной плавбазе. А это Ася, вот такая она была. Кстати, именно в этой школе сейчас работает, в своей...

— А это кто? — Егор взял из папки другой снимок. На нем был скуластый мальчишка с капризным ежиком волос.

— Юрий... Заместитель директора Южно-Весельского заповедника... Недавно два месяца в больнице отлежал.

— Браконьеры?

— Нет, директор и всякое высокое начальство. Решили в заповеднике дачи разным чинам строить, директор им спину лижет, а Юрка на дыбы... На него — анонимку: расхититель, покровитель браконьеров и взяточник. С большой головы... Довели человека... Но сейчас воюет опять. Хотя мог бы жить спокойно. Вот так, дружище...

— Не надо меня воспитывать, Гай, — сказал Егор. Впервые, как бы между делом и неожиданно легко, назвал он Михаила его давним именем. И тот не удивился.

— Я не воспитываю. Просто злость берет, сам бы этих гадов передавил... Сестрица говорит, что я экстремист.

— Вы пойдете ужинать или нет? — донесся голос сестрицы.

— Да подожди ты!.. А вот, Егор, смотри... Толик рисовал.

Михаил развернул желтый, свернутый вчетверо лист. С шероховатой бумаги смотрел ярко-голубыми глазами худой офицер. В старинном мундире, с якорями на большом стоячем воротнике. Портрет был нарисован цветными карандашами, явно мальчишечьей рукой, но хорошо, похоже на Крузенштерна из книжки.

— Тот самый портрет, для Курганова? А ты и не говорил, что он сохранился!

— Не успел...

— Ты вообще ничего этого мне раньше не показывал, — ревниво сказал Егор и кивнул на папку.

— Не все сразу, Егорушка. Хотел перед твоим отъездом... Ну ладно, раз уж так получилось... Портрет возьмешь с собой. Как-никак, ты наследник...

Егор переглотнул невольное смущение от «наследника».

— И стихи тут... Те, которые Курганов взял для эпиграфа?

— Да. Только здесь они неполные. Толик их потом дописал. Вот... — Михаил развернул небольшой листок.

Егор начал читать напечатанные на машинке строчки:

Когда Земля еще вся тайнами дышала...

Он знал эти стихи и раньше, Михаил написал их ему в подаренный блокнот. Уже при первом чтении строки эти перекликнулись у Егора с песнями: «Мы помнить будем путь в архипелаге...», «На рассвете взойдут острова...», «...Остались тайны только в глубине. Они — как клад, на острове зарытый...»

Последнее четверостишие на старом листке было написано от руки: бледными лиловыми чернилами, стальным пером с «нажимом» (такие теперь только на почте увидишь). Коряво-старательным почерком четвероклассника. И подпись стояла: Т. Нечаев. И дата: 16/VII — 48 г.

— Возьми себе и эту бумагу, — разрешил Михаил. — Это, можно сказать, автограф...

Егор замялся:

— Ты все мне отдаешь... Самому-то что останется?

— Ну, у меня еще много чего! И прежде всего хронометр.

Да, хронометр... Егор не раз подходил к нему, слушал щелканье скрытого маятника, смотрел, как скачет по делениям живая стрелка секундомера. Трогал потертое дерево футляра...

Михаил рассказывал, что не раз хронометр чинили и регулировали. Приведут в порядок, и опять он отмеряет старательно и точно минуты, месяцы, годы. Те, что идут, идут равномерно и неумолимо.

Был хронометр словно посредник между разными временами. Соединял сороковые годы мальчишки Толика Нечаева, шестидесятые — юнги Гая и нынешние... Чьи? Его, Егора?

Однажды поздно вечером украдкой от всех Егор в блокноте с «Крузенштерном» нарисовал что-то вроде схемы. Это был чертеж событий разных лет — от выхода «Надежды» и «Невы» с Кронштадтского рейда до... признаться, до того дня, когда Егор привел домой Михаила и нажал кнопку на «Плэйере»... Всех людей там обозначил Егор именами и звездочками: Крузенштерн, Резанов, Головачев, Толик, Курганов, Гай... Лишь для себя оставил на краю страницы пустое место и мысленно пометил его знаком вопроса: что он, Егор Петров (или Нечаев?), значит в этой странной и долгой истории? В неоконченной... Словно Курганов продолжает писать свою книгу и Егор — один из ее будущих героев.

Имена и разные значки прибавлялись. Вчера Егор, поразмыслив, вписал в схему Ревского и Наклонова. А сейчас подумал, что надо бы сделать еще один значок — Севастопольские бастионы. Ведь хронометр связывает его, Егора, и со временем Крымской войны. Именно там кончается повесть «Острова в океане». И надо вписать этого капитан-лейтенанта... Как его фамилия-то? Ага, Алабышев!

— Гай, а с чего это Курганов сделал у книги такой конец? Про Севастополь?

— Ну, я же говорил. Наверно, хотел показать, что смерть бывает разная...

— Да, но откуда этот Алабышев-то взялся? Он же не плавал с Крузенштерном, там совсем другое время.

— У писателей это, кажется, называется «замкнутая композиция». Когда в начале и в конце книги появляется один и тот же герой, хотя в самой повести его нет.

— А... где он там в начале-то?

— Я разве не рассказывал? У Курганова было вступление. Там Крузенштерн, когда он уже директор Морского корпуса, заступает за маленького кадета резервной роты...

— За Егора?

— Вот именно... А потом, в эпилоге, этот воспитанник Крузенштерна спасает от смерти ребят. Все закономерно...

«Все... кроме одного», — сбивчиво подумал Егор и почему-то смутно, на миг, вспомнил Венюку.

Когда Егор в классе слушал Наклонова, фамилия кадетика скользнула мимо сознания. Но теперь беспокойно, колюче зашевелилась в памяти: «А ведь, кажется, и правда — Алабышев... Разве бывают такие совпадения?.. Если исторические повести, то, наверно, бывают. Писатели разные, а пишут-то про одних и тех же людей. Из одних архивов для себя факты выбирают... Но...»

— Гай! Но ты же говорил, что Алабышева Курганов придумал...

мал! Помнишь, ты сказал: «Это, кажется, единственный вымышленный персонаж в его повести, но тоже очень важный...»?

— Егорушка! Это не я говорил, а Толик. Пятнадцать лет назад, когда пересказывал рукопись... Я-то что могу знать? Я повести в глаза не видел, помню только по его словам... А какая разница, придумал или нет? Разве так важно?

— Сейчас... — пробормотал Егор, морща лоб. В блокнотной схеме он мысленно провел между именами Наклонова и Алабышева прямой пунктир и в середине его вписал жирный вопросительный знак. И когда старательно ставил под знаком точку, она как бы взорвалась тревожным зуммером — это здесь, в прихожей, длинно затрещал телефон.

Михаил, по-прежнему хватаясь за спину, заторопился к аппарату. Потом сказал разочарованно:

— Егор, это тебя...

Звонила мать. Она раздраженно спросила, до какой поры Егор будет болтаться неизвестно где. У отца такие неприятности, а сын веселится в гостях.

— Какие опять неприятности? — тоскливо сказал Егор. Думая о доме не хотелось.

— Большие. Таких еще не было... — Мать, кажется, всхлинула.

— Ну, а я-то при чем? — огрызнулся Егор. — Я чем могу ему помочь?

— Хотя бы тем, что будешь дома и не надо трепать из-за тебя нервы... Завтра с утра выезжай! Слышишь, Горик? — Она всхлинула опять. — Я тебя очень прошу. Завтра с утра...

От телефона Егор отошел с упавшим настроением. Не из-за отцовских неприятностей, конечно. Эти дела были ему до лампочки, можно и не ехать. Мать покричит, поругается и отстанет. Но не завтра, так через пять дней возвращаться все равно придется. Все равно кончатся каникулы, которые провел Егор будто на круизштерновской «Надежде»...

Михаил, узнав, о чем был разговор, осторожно заметил, что надо бы ехать. Михаила можно понять: ему неловко перед матерью Егора. Алина Михаевна небось думает, что он переманивает ее сына к себе из родного дома!

А что делать в том доме, в том городе? Егор прикинул: ждет ли его там хоть что-то хорошее? И понял: одно только греет его — Венька.

У Веньки хорошо. Почти так же, как здесь. Та же доброта уютного, обжитого дома. Можно так же сидеть и говорить не спеша. Можно будет наконец рассказать о Гае и Толике, о фильме. И обо всем, что с этим связано... И повод, чтобы к Ямшиковым зайти, есть: Ванюшкину одежду-то надо отнести. Обещал, что вернет через два дня, а застрял в Среднекамске на неделю.

Заглотыш ходил уже в своей одежде: кое-что Михаил и Галина купили ему в «Детском мире», спортивный костюм для дома взяли у девочек.

Сейчас Заглотыш в этом костюме строил на полу мост из «конструктора» над железной дорогой. Пускал по мосту автомобильчик, подаренный Ваней. Из прихожей было видно в открытую дверь, как он тихо и самозабвенно возится со своей техникой.

— Много ли человеку надо... — сказал Михаил.

— Ну и... как теперь с ним? — нерешительно спросил Егор.

— Пусть живет пока... Если мать не откликнется, поговорю с ближней школой, у меня там директор знакомый. Учебники у девочек возьмем...

— Навязал я тебе камень на шею... Я же не знал про Никитку...

— Да ничего. Может, и к лучшему. А то свел бы его Мартышонок или кто другой в какой-нибудь бункер...

— Куда?

— Ну... в тайную кают-компанию вроде вашей «таверны». А там всякое. Глядишь, и к наркотикам приохотился бы...

— У нас ничего подобного не было! — взвинулся Егор. — Один раз два дурака попробовали, да и то им морды раскровянили и прогнали навсегда.

— А тебе... не предлагали попробовать?

— Предлагали, — сознался Егор. — Я и глотнул. Меня тут же всего наружу вывернуло. Я вообще таблетки не терплю.

Михаил с облегчением сказал:

— Вот и хорошо... Тебя отец спас, Толик...

— Почему?

— Наследственность, наверно. Он тоже никаких пилуль и порошков с детства не переносил. Бабушка рассказывала: как заболел — одно мучение...

— Видишь, где мучение, а где польза, — хмыкнул Егор.

— Ага... А кстати, Курбаши-то ваш все-таки за наркотики загремел. Сам не баловался, а сбытом занимался. Не в «таверне», конечно, он парень мозговитый...

— Откуда ты знаешь? — опешил Егор.

— Знаю... У меня в вашем городе кой-какие знакомства с оперативниками имеются, рассказали... Его дружки аптеку «взяли» с кучей таблеток. «Колеса» они называются по их терминологии. И в «гараж», то есть в специальный тайник, спрятали... Но за тем «гаражом» уже глаз был...

«Вот оно что! — ахнул про себя Егор. — А я-то думал про машину. Теленок...»

— В общем, вовремя ты прекратил отношения с этими джентльменами. Твою репутацию они бы не скрасили...

— Знал — и молчал, — беспомощно упрекнул Михаила Егор:

— Ага. А начни я разговор, ты опять решил бы, что я тебя воспитываю... Хотел перед отъездом рассказать.

Егор помолчал и, меняя разговор, хмуро попросил:

— Я позвоню Ямшикову, можно? Объясню, почему столько времени шмотки не возвращал...

Телефон Ямшиковых не отвечал. Даже гудков не было.

— Подожди немного. Может, просто линия загружена, — сказал Михаил. И вспомнил: — Кстати, наш номер с десятого января изменится. Запиши-ка сразу: пятьдесят семь, ноль два, двенадцать...

Егор вытащил дареную авторучку. Но блокнот был в комнате, а под рукой оказался только листок со стихами. Не отходя от телефона, Егор на обороте старого листа написал цифры. Уж эту бумагу он не потеряет...

Потом он опять позвонил Ямшиковым. Ответил Ваня. Скучным бесцветным голосом:

— Квартира Ямшиковых...

— Иван, это я, Егор.

— Ага...

— А Венька дома?

— Нет, конечно...

— А когда он придет?

Ваня молчал.

— Вань! Он когда придет домой?

— Ты разве ничего не знаешь? — слабо, сквозь электрический шорох, сказал Ваня. — Он в больнице. Его ножом ударили.

— Кто?!

— Копчик...

Третья часть

ДВА МЕЧА

ЗЕЛЕНЬ ШАР

Бывают вялые, тусклые фотографии, на которых даже свежий снег выглядит серым.

Такой вот пепельной фотографией виделось Егору все, что было вокруг. Целый месяц. Тоскливые и бесконечные четыре недели. Хуже всего тогда было чувство непоправимости. Замораживающее, лишшающее сил. И Егору самому казалось странным, что он движется, ест, ходит в школу, порой даже учит уроки. Он опять словно раздвоился — как в тот день, при первом понимании, какую кару ему готовит отец. Один Егор автоматически жил теперь нормальной жизнью, а второй замер в глухом отчаянии. В ощущении своей неискупимой вины.

...Это ощущение пришло не сразу. Первые дни была просто ярость. Беспомощная и неугасающая. Если бы можно было добраться до Копчика, до Хныка, до Чижа, он голыми руками растерзал бы их. С радостными слезами облегчения. Но эти три гада, подонка, фашиста сидели за крепкими решетками. Ждали, сволочи, следствия и суда. А что суд? Ну посадят эту гниду Копчика на несколько лет. А Хныка и Чижа, может, и не посадят — они, мол, ничего не делали, только рядом стояли... Как бы ни случилось, а все трое будут ходить по земле, дышать, жить... А Венька...

Что будет с Венькой, никто не знал. Ни врачи, ни родители, ни Ваня.

...Когда Егор с вокзала прибежал к Ямшиковым, Ваня был дома один. Похудевший, молчаливый. Сумрачно и коротко рассказал, что третьего января Венька шел через пустырь у цирка, спешил на утренник второклассников, которым помогал ставить спектакль. И повстречал тех троих. Известно, что Копчик опять у него требовал деньги, а Венька сказал: «Ну-ка, отойди ты наконец с дороги». И тогда Копчик припадочно заверещал, выхватил похожий на шило самодельный кинжал и ткнул Веньку в сердце. До сердца, к счастью, «пика» не достала, но порвала какой-то сосуд, Венька потерял много крови. А кроме того, он застудил легкие, потому что долго лежал в снегу. Те трое сразу убежали, а увидели Веньку случайные прохожие...

На ослабевшего, обескровленного Веньку навалилось жестокое воспаление легких. Он только два раза приходил в сознание. Сказал про Копчика и спрашивал, не сорвался ли спектакль...

При последних словах Ваня крупно глотнул, загоня внутрь слезы, и стал смотреть за окно. И вот тогда Егор понял, что хочет убить Копчика, Хныка и Чижа...

И потянулись безнадежные, бесцветные часы и дни. Один раз Егор решился и позвонил Ямщиковым. Ваня тихо сказал, что состояние у Веньки прежнее и мама дежурит в больнице. Потом, в первый день после каникул, Егор отыскал Ваню в школе и спросил:

— Вань... ну что?

— Все то же пока, — глядя в сторону, ответил полушепотом Ваня. И вдруг попросил: — Ты меня пока не спрашивай. Если будет что-то новое, я сам скажу...

И вот тогда рухнуло на Егора тяжкое понимание: «Он же считает, что это я виноват!.. Все так считают!»

«А разве не так? Кто первый раз направил на Веньку Копчика?»

«Я — не первый! Сперва они сцепились у цирковой кассы!»

«Там — случайно. А вязаться к Редактору Копчик стал после той драки, которая из-за тебя...»

Мысли эти стали неотступны. Даже во сне.

Впрочем, иногда сны приносили облегчение. Егор видел, что Венька приходит к нему здоровый, улыбающийся и объясняет, что ничего опасного с ним не было и что врачи держали его в больнице из-за глупой предосторожности. И что Егор во всем этом деле вот ни на столечко не виноват, потому что Венька стукнулся не с Копчиком, а с какой-то незнакомой шпаной. И Егор слушал с нарастающим ликованием, и кругом почему-то был незнакомый город — белый и летний. Наверно, Севастополь... А потом Егор просыпался...

В классе о случае с Редактором говорили мало. А при Егоре Петрове замолкали совсем. Смотрели на него серьезно, задумчиво даже как-то, но старались не встречаться глазами. Егор воспринимал это как должное. Все, конечно, понимали, какая доля его вины в несчастье с Ямщиковым. Егор не услышал ни полслова упрека, но все держались подальше... Да не все ли равно? Страшнее того, что сам Егор испытывал и понимал, ничего быть не могло...

Хотя нет, могло. И было. Страх за Веньку. Мысль о том, что Веньки Ямщикова, Редактора, вот-вот совсем не станет на свете. И что никогда нельзя будет с ним ни о чем поговорить и даже просто переглянуться. И никогда Венька не обернется с быстрой улыбкой, как тот горнист на крыльце...

Впрочем, все это — страх, предчувствие неотвратимой беды,

свинцовая вина — перемешивалось в душе Егора. Не разобраться, не освободиться, не вздохнуть...

И ни одному человеку ни о чем не расскажешь. Некому.

Михаилу звонить он боялся. Тот сразу начнет спрашивать: как и что?.. А может, не начнет. Может, наоборот, станет молчать с пониманием и тяжким осуждением. Или спросит в упор: «А как ты будешь жить, если Венька Ямщиков умрет?»

«А я не буду!» — вдруг понял Егор.

В самом деле! Есть способы, когда это быстро и не больно. Еще Боба Шкип рассказывал. И если Веньки не станет, Егор такой способ вспомнит. Обидно, конечно, когда в жизни появилось что-то хорошее: паруса, Михаил, дом в Среднекамске... Обидно, что не будет найдена кургановская рукопись. Но если Венька умрет, остальное все равно не имеет значения. И тогда...

По крайней мере, это будет справедливо. Будет искупление.

Егор думал о таком выходе без страха, почти что с облегчением. Даже с оттенком тайной гордости. И несколько дней жил в состоянии грустной успокоенности.

Потом позвонил Михаил.

Оказалось, что он звонил и раньше, несколько раз, но не мог заставить Егора. А мать про эти звонки ничего не говорила.

— Это и понятно, — вздохнул Михаил. — Ей теперь не до наших с тобой дел, все за отца переживает. У него-то что?

— У кого? — недоуменно сказал Егор.

— У отца... У Виктора Романовича?

— А что у него?

— Ну... неприятности крупные, говорят...

— Понятия не имею... — До отцовских ли неприятностей Егору было?

Михаил не пожалел его, сказал раздраженно:

— Я смотрю, ты и в несчастьях своих ухитряешься оставаться эгоистом.

У Егора не хватило сил разозлиться. Он ответил устало:

— Нет. Эгоисты думают о себе, а я о Веньке.

Тогда Михаил тихо спросил:

— Что?.. Так плохо?

— Я даже не знаю толком... Ванька, брат его, молчит...

Он вспомнил, как все эти дни Ваня при случайных (будто бы случайных!) встречах отводил глаза и пожимал плечами. Или чуть заметно покачивал головой. Он был сейчас подросток, тонкошей, как Венька, бессловесный. И с таким лицом, словно его только что умыли после горького плача.

...Михаил сказал:

— Я не про Веньку. Про него я все знаю. Я про тебя...

— Что?

— Так плохо?

Тогда у Егора вырвалось:

— Да... Да!

— Егорушка... Только не наделай каких-нибудь глупостей.

Всхлипнув, он огрызнулся:

— Каких?

— Ты знаешь каких... Головачев ничего не решил... своим поступком.

— Откуда ты все знаешь? — без досады, просто с отчаянной усталостью сказал Егор.

— Про Головачева? Или... про тебя?

— Про меня...

— Потому что сам пережил такое... Егор, смертью ничего не искупишь, это пустая затея. Что-то исправить можно, только если живешь.

— А если... нельзя?

— Это решить можно только тогда, когда жив и голова в порядке. А помирить надо не так...

— Ну-ну... — В Егоре шевельнулись остатки прежней готовности к спору. — Конечно, лучше как Алабышев.

Михаил не отозвался на его беспомощную иронию. Сказал как про обыкновенное:

— Можно и проще. Как твой дед под Севастополем. Или твой отец... Анатолий Нечаев. Главное, чтобы не сдаваться.

«Значит... и как Венька!» — ахнул про себя Егор. И все вернулось на свои места. И отчаяние, и тоска.

Но Михаил словно протянул ему соломинку:

— В конце концов, почему ты решил, что Ямщиков безнадежен? Врачи же надеются. Я звонил, разговаривал...

— Да?!

...С той минуты он стал жить надеждой. Когда бесполезно мужество поступков, должно оставаться в человеке мужество надежды... Жить *spre fretus*. Опираясь на надежду... Так вроде бы писал в своей повести Наклонов... Или не в своей? Теперь все равно. Теперь ничего не важно, только бы Венька жил. Только бы сопротивлялся гибели.

По ночам, когда стихали на кухне тревожные, негромкие разговоры матери и отца, когда умолкал за окнами город, Егор лежал с открытыми глазами. Смотрел на светлую точку в зеркальном-зеленом шаре. И молился.

Егор никогда не задумывался о Боге и никогда в него не верил. И все его познания о религии сводились к двум фразам из Библии: одну он слышал от Курбаши, а о второй шел спор в классе, когда Венька сцепился с Розой. Но Венька тоже, наверно, не верил в Бога. Ему главное всего была истина. Бог тут был

ни при чем, и он, разумеется, не мог сейчас помочь Веньке, потому что не существовал. И лучшим доказательством, что его нет, было то, что Копчик ранил Веньку. Какое божество это допустило бы? За что?

И Егор молился не Богу, а елочному шару, который по-прежнему лежал в раструбе медного кувшина на подоконнике.

Егор молился без слов. Упершись глазами в блестящую точку, он все усилия души пытался свить в тугую нить и протянуть эту нить между собой и Венькой. Чтобы помочь ему... Может, есть на свете какие-то не открытые еще силовые поля, передача на расстояние энергии и жизненных сил. Пусть эти силы от Егора уйдут к Веньке! Вот через эту звездочку — незримой и сильной радиоволной... Зеленый шар, помоги... Переломи судьбу...

Но зеленый шар оказался более хрупким, чем судьба...

Сперва тот февральский (уже февральский!) день был не самым плохим. На перемене Егор стоял у окна и тупо смотрел на тополя в сером снегу, и вдруг подошла Бутакова. Спросила:

— Ты не знаешь, как состояние у Ямщикова?

Недоуменно и глухо, не оглянувшись, Егор сказал:

— Почему ты у меня спрашиваешь?..

— Ну а у кого еще? Брат его молчит... Я думала, что ты должен знать. Все-таки вы же друзья...

Егор окаменел. Что это? Насмешка? Или она... всерьез?

— Ты не был в больнице? — спросила Светка.

— К нему не пускают, — тихо сказал Егор. Это была правда.

— Ну а... — с мягкой настойчивостью начала Бутакова, и он с усилием проговорил:

— Да отцепись ты.

— Грубиян ты все-таки, Петенька...

И тогда вмешался Юрка Громов. Незаметно оказался рядом. Он сказал Светке высоким, чистым голосом пятиклассника:

— Бутакова, зануда ты окаянная, отвяжись от человека! — И она (странное дело!) послушалась. А маленький Юрка положил Егору ладонь между лопаток и сказал уже тише, ласково так: — Егор, да ты не изводишь. Медицина сейчас знаешь какая. Даже совсем безнадежных оживляют...

Егор не оглянулся на Юрку. Замер, боясь стряхнуть со спины его ладонь. И боясь еще, что Юрка увидит его стремительно намокшие глаза (последнее время слаб он, Егор, стал на это дело). Но Юрка, видимо, все понимал. Постоял еще две секунды, сильнее надавил ладонью — держись, мол, — и отошел.

А Егор остался у окна, и появилась у него догадка, что, может быть, не все его считают виноватым. Что ниточка странной симпатии между ним и Венькой, которая вдруг наметилась в декаб-

ре, не осталась в классе незамеченной. И, может быть, правда кто-то считает, что они подружились. И теперь в молчании ребят — не отчуждение, а сочувствие... А то, что не подходят, — понятно. К Кошаку подходить не привыкли...

Ощущение Юркиной ладони (теплой даже сквозь пиджак и рубашку) было непривычным и словно лечащим. И надежда выросла, появилась в ней даже искорка радости...

А когда Егор пришел домой, он увидел, что шара нет.

Медное горлышко кувшина было пустым, а на ковре Егор заметил блестящую зеленую чешуйку.

Он не хотел поверить. Закричал:

— Мама! Где шар?

Алина Михаевна сказала из кухни:

— Что ты так кричишь? Я вытирала пыль, разбила нечаянно.

— Что ты наделала?!

Алина Михаевна появилась в комнате:

— Что с тобой? Копеечный шарик... Что за истерика?

— Для тебя копейный! Для тебя все копейное, что не на чеки в «Брезке» куплено!!

Мать повысила голос:

— Что ты орешь! — И вдруг сморщила лицо: — Ты... человек без души. Скоро может все на осколки разлететься, а ты... шарик... У отца такое на работе, а тебя будто ничего не касается. Если бы ты знал, в чем его обвиняют... Он такой им цех отгротал, а теперь из него преступника делают!

— За что? — машинально буркнул Егор.

— За все! За то, что хотел, чтобы людям лучше было! За то, что добрый очень! Вот...

«Слабо верится», — подумал Егор.

— Я-то при чем? Я в его печалях не виноват.

— Но тебе на все наплевать!

Это была истинная правда. Разговоры о происках отцовских недругов Егор слышал постоянно, однако никак они его не задевали. И теперь несчастье с зеленым шаром казалось не в пример страшнее всех отцовских бед. Потому что это была примета. Предвестие Венькиной судьбы.

Пытаясь умиловить судьбу, Егор вышарапал из коврового ворса блестящую чешуйку и положил на край медного горлышка. Но легонькое стекло сорвалось и кануло в черноту кувшина. Егор лег на тахту и накрыл голову твердой подушкой.

Он не удивился и даже не испугался, когда раздался телефонный звонок и мать сказала из прихожей.

— Горик, тебя... Какой-то мальчик...

Мальчик, несомненно, был Ваня. И Егор понимал, что он сообщит. Будто во сне пошел к телефону. Сказал обреченно:

— Я слушаю...

Звонил действительно Ваня.

— Егор! Веник спрашивал про того мальчика. Что с ним теперь?

Первой была радостная, как вспышка, мысль: «Значит, неправда! Значит — жив!» Потом страх:

— Спрашивал... когда?

— Сегодня. Мы с мамой у него были.

— Ванька! А он... как?

— Да ничего уже... Врач сказал, что это позади... Ну, опасность всякая. Слабый только, придется еще лежать...

— Ванька, правда?!

— Ну, так врач сказал. Мне и маме...

Господи, неужели это возможно? Неужели конец мукам?

— Ванька, а...

Хотя что спрашивать! Если Венька сам задает вопросы, значит, и правда ожил. Каким-то мальчиком интересуется...

— Вань, а какой мальчик? Про кого он спрашивает?

— Ну, тот, которого ты отвез в Среднекамск...

Надо же! Все эти дни Егор и не думал о Заглотыше. Даже не спросил о нем у Михаила.

— Вань... Ну, ты скажи, что все в порядке! Он живет у моего брата, у Михаила. Нормально...

Если даже это не так, то пусть. Потом Егор разберется. Главное, чтобы Венька нисколько не волновался.

— Вань! А что еще Венька говорил?

— Он много говорил. Про всякое... Ты приходи, я вспомню и расскажу.

— Куда... приходите?

— К нам. Куда еще?

Тогда Егор сказал... точнее, выдал, будто проламываясь сквозь стену:

— Ваня... как мне приходите-то... Я ведь... Ну, я же когда-то... с Копчиком был... тоже.

Ваня сказал сразу и очень серьезно:

— Конечно. Копчик этого и не мог Венику простить.

— Чего?

— Что ты от них ушел... Он тогда ведь не только из-за денег полез. Он сказал: «Мы тебе никогда не забудем, что ты Кошака отколол...» Егор, ты приходи. Недавно папа про тебя вспоминал...

— Как? — выдохнул Егор.

— Говорит: «Предупреждал ведь нас Егор, что за гад этот Копчик, а мы недооценили...» Веник хотел тебе записку написать, а медсестра сказала, что пока вредно... Приходи...

Егор зажмурился и кивнул. Потом сообразил, что Ваня этого не видит, и хрипло сказал в трубку:

— Ага...

Оказалось, что Егор не соврал, когда сказал Ване про Заглотыша. Тот в самом деле по-прежнему обитал у Михаила. Именно он ответил на звонок Егора. Негромким, но уверенным голоском:

— Квартира Гаймуратовых.

— Это ты, За... Витек, это ты?

— Ага.

— А где Михаил?

— Он на медкомиссии.

— А что такое? Опять спина?

— Ну... Он вообще... Он хочет уволняться из милиции и в школу идти работать. Или в газету...

— Вот так финт...

— Он говорит, что так лучше будет.

— Ему виднее... А ты-то как живешь?

— Хорошо.

— В школу ходишь?

— Хожу... У меня две пятерки по труду.

— Герой... Михаилу скажи, что с Венькой Ямшиковым все в порядке.

— Ага... Он уже знает.

— Все он всегда знает! — весело ругнулся Егор.

Появилась в прихожей Алина Михаевна.

— Опять ты по междугородному болтаешь!

— Тебе жалко?

— Между прочим, это денег стоит.

— Обеднеем из-за трех рублей?

— А ты знаешь цену этим рублям? Скоро сядем без гроша, тогда поймешь...

— Витек, пока. Потом перезвоню... — Егор положил трубку. Настроение у него не испортилось. Разговоры матери о грядущих несчастьях он всерьез не принимал.

Но оказалось, что слова Алины Михаевны — не пустые. Отца исключили из партии и сняли с должности. Его обвиняли в том, что при строительстве экспериментального цеха он заполнял какие-то дутые отчеты и сметы, рапортовал о готовности, которой

не было, приписками добывал премии для монтажников и для себя. Разбор тянулся долго и привел к такому вот концу.

Отец после собрания вернулся молчаливый, усохший какой-то, с почерневшим лицом. Алина Михаевна встретила его, вопреки своему характеру, спокойно. Даже мужественно:

— Ну и что? Не трудно в жизни бывает. Переживем. Хорошо, что до суда не дошло.

— Еще не хватало! — вскинулся отец. Он сидел посреди кухни в пальто, с портфелем на коленях. Будто в автобусе. — До суда! Они хотели... А за что? Один я, что ли, такой? У каждого рыло в пуху. Пока меня доить можно было, для всех был хорош! А теперь — кто в кусты, а кто правдолюбца из себя строит. Рады, нашли козла отпущения... А цех-то все равно стоит! Кто его поставил? Пестухов?

— Ты успокойся, — сказала Алина Михаевна. — Хочешь коньяку?

— А?... Хочу.

Егор в тот вечер только что вернулся от Ямшиковых. Со спокойной душой. Потому что Венька прислал ему записку, что чувствует себя нормально, только врачи заставляют лежать и говорят, что после больницы загонят еще в лесную школу долечивать легкие. И жаль, что в больнице опять карантин из-за гриппа и Егора не пустят. Но это ничего. Потом все равно увидятся...

Не было в записке ни слова о Копчике, ни слова о том, что он, Венька, знает о мыслях Егора. Но между строк читалось: «Егор, ты живи и ни о чем таком не думай». И Егор почувствовал себя почти как в тот предновогодний вечер.

Он долго сидел у Ямшиковых, играл с Ваней в шахматы, рассматривал глобус планеты Находки и слушал ее историю... Но, когда вернулась с работы Венькина мама, торопливо поднялся. От виноватости все равно никуда не денешься... И все же ему было хорошо, и домой он пришел почти что с улыбкой.

И тут — отец со своей бедой.

Нет, Егор не чувствовал жалости к отцу. В конце концов, тот сам виноват, что опять вляпался. И тревоги, что «останутся без хлеба», тоже у Егора не было. От голода в нашей стране еще никто не помер, а на шмотки Егору давно уже наплевать.

Но все же он испытывал какую-то неловкость перед отцом. Наверно, как раз из-за того, что не может сочувствовать ему. Он стоял в кухне у дверного косяка и стесненно смотрел, как отец суетливо опрокидывает в себя рюмку за рюмкой. Три подряд. И как потом жадно заедает коньяк цветной капустой.

Вдруг отец отложил вилку и прямо посмотрел на Егора. Тяжким, измученным взглядом. Сказал медленно и отчетливо:

— Ну вот, братец. Теперь можешь менять фамилию. Самое время.

Егор не отвел взгляда. Только подобрался весь. И тихо ответил:

- Нет. Не время.
- Почему же?
- Поздно. Скажут, что дезертир.

ВОСЕМЬ СТРОК

Егор ответил отцу с полным убеждением. В самом деле — поздно. Что скажут в школе, как возликует Классная Роза, если он однажды придет в школу не Петровым, а Нечаевым? «Что, когда папочка стал не нужен, ты решил отмежеваться? Нет, дорогой, фамилию свою можно изменить, а характер ии сущность свою...»

А что она знает о его сущности?

И другие — что знают?

С этими мыслями Егор улегся спать, и вдруг его, уже дремлющего, толкнула новая тревога. Если он оставит прежнюю фамилию, не будет ли это изменой тому отцу? Толику Нечаеву?

Но тревога увязла в навалившемся сне, и Егор лишь успел подумать, что надо бы про все это поговорить с Михаилом.

Спал он хорошо. И видел многомачтовый, мчащийся над сизой выпуклой поверхностью океана парусник. Верхушки мачт разрывали облака, летели у самого зенита.

Проснулся Егор с улыбкой, но сразу ошетинился, когда мать громким шепотом сказала в дверь:

— Горик, опоздаешь в школу.

Да не опоздает он в школу! Потому что на первые два урока вообще не пойдет. Это физкультура, надо на лыжах бегать, а он что, нанимался? У него горло болит... Не надо никакого врача, и ни в какую поликлинику не пойдет, пусть его оставят в покое!.. И ничего ему в школе не будет, не надо паники...

На самом деле первыми уроками будут физика и русский. И Роза, конечно, заведется. Особенно теперь: «Кончилась, Петров, пора, когда тебе многое сходило с рук, сейчас ни за чью спину не спрячешься...» А возможно, и другую пластинку запустит: «Вы слышали, конечно, что готовится новая реформа школы! Имейте в виду, когда ее примут, всякому разгильдяйству придет полный конец...»

Впрочем, такие мысли скользнули и ушли. Егор опять стал думать о недавнем сне. Потянулся, улыбаясь. Хорошо-то как. Судьба смилостивилась, после месяца угрызений и тоскливого страха можно полежать вот так, спокойно.

Алина Михаевна сказала в дверь:

— Но к третьему уроку ты пойдешь?

— Пойду, пойду, — отозвался он с нарочитой сипловатостью.

— Я уйду за продуктами. Завтрак на плите... Папу не тревожь, он спит.

«Пускай спит...» — Егор опять потянулся. Посмотрел в темный потолок, как в небо. Вспомнил мачты в зените.

«И вижу мачты я, летящие в зените...»

«И вижу паруса, белей, чем белый снег...»

Откуда это? Стихи, что ли? Чьи? «Когда Земля еще вся тайнами дышала...» Может быть, эти?

Но в стихах Толика про мачты нет! Значит, Егор сам сочинил? Вот потеха!.. А может, это у него наследственное? От Анатолия Нечаева? Может, в нем, в Егоре, поэт прячется?

Хотя Толик вовсе не был поэтом...

А две строчки — никакие не стихи...

Было слышно, как осторожно закрылась дверь, — мать ушла. И почти сразу закурлыкал телефон. Кому там с утра что-то надо?

Егор сердито протопал в прихожую. В трубке вкрадчиво осведомились:

— Простите, Виктора Романовича можно?

— Он спит! — бухнул Егор. Подумал и спросил: — Что-то срочное?

«А что у него сейчас может быть срочное?»

— Нет-нет, я попозже, извините... — Трубку положили.

Егор вернулся в постель. «Если можно попозже, чего звонит спозаранок, дубина?...»

«Звонит... зенит...» При чем тут зенит? Ах да... «И вижу мачты я, летящие в зените...»

«И колокол над палубой звонит там... звенит там...»

Для кого? Для меня?

«И рында для меня над палубой звенит там...»

Это что же? Значит, поэтическое дело — не такое уж трудное? Вот и четвертая строчка! Будто сама собой сказала:

— И это мой корабль пришел ко мне во сне!

Уходя в школу, Егор заглянул в отцовский кабинет — дверь была приоткрыта. Отец спал на диване одетый, под пледом. Прижился щекой к жесткой, обтянутой рельефной тканью подушке. Была видна его лысина, беспомощно торчали на виске клочки волос. Короткая жалость вдруг толкнула Егора. И тут же — воспоминание: вот подушка, в которую он, Гошка, утыкался лицом, когда отец укладывал его ничком на диван. Вспомнился запах и вкус пыльной материи, которую Гошка попропигивал слезами и слюной, грыз и мусолил в предчувствии нестерпимой боли.

К черту! Он будто захлопнул в себе дверь — и перед жалостью, и перед памятью! И стал повторять строки о парусах.

Эти строки и в школе не отпускали Егора. И потому он остался равнодушным к настороженно-сочувствующим взглядам (знали, наверно, уже про отца; даже Классная Роза не прицепилась из-за прогула, чуткость проявляет). Тишина и отрешенность ограждали Егора от всего на свете. И в этой тишине... ага, в ней словно стучали иногда медные шестеренки хронометра!

— Петров, ты мечтать будешь или решать задачу? У кого еще последняя задача не решена?

«Еще не решена последняя задача... Хронометр мой стучит... как сердце... в тишине...»

Загадка еще не решена...

На перемене подлетел Ваня.

— Принес?

— Что? — растерялся Егор.

— Книгу, «Спартака». Помнишь, я говорил, что Веник его перечитать хочет, а ты сказал, что у тебя есть...

— Ой, Ванька... Какая же я скотина. Вылетело из головы.

— Ну, ничего. Мама ему послезавтра передачу понесет. Не забудь.

— Не забуду. Я ему письмо напишу... А в палату все еще не пускают?

— Ага. Карантин... А Веннику уже ходить разрешили... А ты можешь сегодня к нам прийти? Книгу бы принес и так... Мама спрашивала, чего не заходишь...

«Мама спрашивала»... Они жалеют его или правда не понимают его вины?

И вина эта снова подступила к сердцу. Как холод, когда по поголону дну входишь в непрогретую воду...

Конечно, это было уже не то, что в первые дни. Потому что Венка жив! Но холод еще не раз будет вот так подыматься в груди, никуда не денешься. Теперь Егор это понимал.

— Алло!.. Гай, это ты?

— Я, Егорушка, я...

— А ты чего... кислый такой?

— Да так. Заботы всякие...

— Ася? — прямо спросил Егор.

— Да нет, там все в порядке, — отозвался Михаил, но как-то вяло.

Егору хотелось ясности. И он знал, что излишняя деликат-

ность иногда не на пользу делу. К тому же ощущение собственной вины толкало его мысли в одном направлении.

— Она тянет резину, потому что чувствует себя виноватой. Вот.

— Чего-чего? — сказал Михаил мягко, но зловеще.

— А я не боюсь, не стукнешь... Она думает, что виновата, потому что тогда, первый раз, вышла не за тебя. И теперь мается...

Михаил сказал просто, без досады, только устало:

— Чепуха, никто там не виноват. Или оба одинаково... И вообще не в том дело. У меня другие заботы, здесь.

— Ты правда уволился?

— Увольняюсь.

— Допекли?

— Нет. Просто на старости лет пришел к простому выводу.

— К какому это еще?

— Сколько можно перевоспитывать пацанов? Может, все-таки лучше с самого начала заниматься нормальным воспитанием? Так, чтобы потом переделывать их не надо было.

— В школу пойдешь?

— Может быть... Хотя, по правде говоря, страшно. Дамский коллектив, и в нем все вроде ваших классных роз...

— Если не в школу, то куда?

— В газету зовут. Если на журфак перейду в университете... Буду потрясать основы педагогики публицистической кувалдой.

— Тебе не привыкать.

— Ага... Директриса Зеленолужского детского дома грозилась на меня в суд подать. За «клевету».

— Ну... и что?

— Не успела. Против самой начали следствие. За воровство и рукоприкладство. В местном районо истерика...

— Кстати, о педагогике, — сказал Егор. — Витек-то как?

— Да ничего... существует. Мать в письме попросила, чтобы еще у нас пожил. Ну и живет.

— Нормально?

— Да ничего, — опять сказал Михаил. — Только ворует помаленьку...

— Как? — опешил Егор.

— А ты чего хотел? Он этим с грудного возраста грешил. Думаешь, легко отвыкнуть?.. Ну, да учительница у него понимающая, не чета некоторым. Мало-помалу перевоспитываем с двух сторон...

Егор подавленно молчал.

— Не расстраивайся, — усмехнулся Михаил. — Вообще-то он хороший парнишка. По дому помогает, со мной нянчится, если захандрю. С сестрицей моей Галиной Юрьевной весьма подру-

жился... Кстати, упомянутая Галина Юрьевна с интригующим видом задает тебе вопрос: держишь ли слово?.. Что у вас за тайна?

— А?.. — растерялся Егор. Потом сообразил: — Ой, про это... Да я и забыл. Скажи — держу.

Он и в самом деле не курил с того новогоднего вечера. В Среднекамске держался, а потом и вообще не вспоминал о сигаретах. Беда с Венькой словно отшибла все желания.

— Ч-черт, — с досадой сказал Егор. — Лучше бы она не напоминала. Опять захочется.

— О чем речь-то?

Егор не стал напускать туману, честно сказал, о чем речь.

— И не прикидывайся, будто ничего не знал. Ты всегда все про меня знаешь. Как в досье... — вредным голосом добавил он.

— Ты меня переоцениваешь, все я знать не могу... Так, кое-что. Потому что я за тебя беспокоюсь, балда ты...

— Сам... Значит, и про отца уже знаешь? — морщась, спросил Егор.

— Про... Виктора Романовича? Нет... Что с ним?

Егор сумрачно рассказал. Михаил, кажется, смутился.

— Откуда же я мог это знать... Хотя, честно говоря, ожидать следовало. Ты сам-то разве этого не понимал?

— Может, и понимал... А что я мог сделать?

— Не знаю... Главное, что ты будешь делать теперь.

— Не понял. Ты о чем?

— Я к тому, что труднее жить будет.

— А может, легче? — зло сказал Егор. И, кажется, попал в точку. Впервые переиграл в споре Михаила. Тот отозвался растерянно:

— Да... в чем-то ты прав.

Егор насупленно признался:

— Вчера отец сказал: «Можешь теперь менять фамилию».

— А ты?

Егор сказал и о своем ответе. И о своих сомнениях. И спросил напрямик, что об этом думает Гай.

Но тот ответил, что советы давать легко, а решать такие вопросы человек должен сам. И главное — не рубить сплеча.

— Мудр ты, как сто Сократов, — проворчал Егор. — А толку от твоей мудрости...

— От чужой мудрости всегда толку мало... если своей дефицит.

— Гран мерси за комплимент.

— Не обижайся... Егор, я вот про что. Тебе бы хватит терзаться всякими сомнениями, пора бы дело найти. Ну, посуди сам: чем ты сейчас занят? Нельзя же так... растительно существовать. Смысл-то надо какой-то приобретать в жизни. Ищи давай... самого себя.

— Ай-яй-яй. Сборник проповедей о смысле жизни. Том двадцать второй, глава семьдесят третья...

— Я знаю, что казенно выражаюсь... Но черт возьми, ты же понимаешь, о чем я!

— А я нашел... смысл, интерес и стержень, — вдруг брякнул Егор. Вдохновенно.

— М-м?

— Ага!

— Подробнее можешь?

— Могу... Завтра я иду на занятия литературной студии, руководимой писателем Наклоновым. Во мне прорезался талант.

— Че-во? — откровенно усомнился двоюродный братец.

— А что? Я, по-твоему, совсем бездарен?

— Стихи, что ли, сочинил? А ну, прочитай!

— Фиг! — испуганно сказал Егор. Потом прибодрился: — Вот окрепнет талант, тогда... И заодно проблемы решатся...

— Какие?

— С фамилией. Стану печататься, можно будет двойную фамилию взять. Писателям разрешается. Петров-Нечаев...

Михаил не уловил ни горькой нотки, ни юмора. Ответил серьезно:

— Дитя ты еще...

— Ага... Миш! Капитан-лейтенант Егор Алабышев — правда выдуманный персонаж?

— Егор... В чем дело?

— Какое... дело?

— Ты зачем идешь в литературную студию?

— Надо.

— Егор...

— Пока, — с ноткой веселого злорадства сказал Егор. — Потом позвоню еще. — И положил трубку. Пошел в комнату и достал блокнот с «Крузенштерном» на корочке.

Те мысли, что перебил в Среднекамске телефонный звонок, те, что были забыты после несчастья с Венькой, теперь все чаще всплывали снова. Беспокойные. С предчувствием тайны и боя.

Еще не решена последняя загадка.

Тревожный счет ведет хронометр судовой.

Кремневый пистолет... На старой карте складка

Легла меж островов отчетливой чертой...

Егор торопливо записал придуманные сегодня восемь строк под тем стихотворением: «Когда Земля еще вся тайнами дышала...» Его стихи были как продолжение стихов Толика.

Продолжение, но не конец...

Строчки звучали в сознании Егора под привычный уже мо-

тив — слившихся двух песен: одна из фильма, другая про архипелаг.

Егор перекинул в блокноте лист. На второй странице была схема. Со значками, именами и линиями. Егор взял карандаш.

Бастион. Капитан-лейтенант... От этого значка Егор провел наконец к имени Наклонова резкую черту.

Олег Валентинович! Крузенштерн — это Крузенштерн, лицо историческое. А откуда в вашей повести Егор Алабышев?

**«КОГДА ЗЕМЛЯ ЕЩЕ
ВСЯ ТАЙНАМИ ДЫШАЛА...»**

— Вот так, — скорбно произнесла Алина Михаевна. — Сделали подарочек к Восьмому марта... — Она посмотрела на Егора.

— В чем опять я виноват? — скучным голосом спросил он.

— Телефон отключили!

— Я, что ли, его отключил?

— Из-за твоих разговоров со Среднекамском! Потому что вовремя не оплатили счета!

— Здравствуйте! Я, что ли, должен их оплачивать? Какими шишами?

— А я какими? Нынешними грошами? Ты хоть понимаешь, что скоро есть будет нечего?

Отца перевели в другой цех, на должность рядового инженера. Зарплата, конечно, стала не та. Но и не гроши же! Да и на сберкнижке у матери наверняка имелось кое-что. Но Алина Михаевна жила теперь в постоянном страхе перед нищенством. Говорила об этом каждый день, считала копейки. Егор подозревал, что и телефонные счета она не оплатила из-за непреодолимой боязни лишних трат. Сумма-то была пять или шесть рублей!

Егор сказал, что не разорились бы.

— Тебе легко рассуждать! Ты эти рубли не зарабатываешь и не экономишь!

— Зато ты экономишь! Так, что хоть из дому беги!

Алина Михаевна слезливо закричала о неблагодарности. В это время вернулся с завода отец. Спокойный, неразговорчивый, осунувшийся. Послушал перебранку, сказал, что телефон все равно отобрали бы, потому что номер «выбивал» на АТС завод. Теперь эту телефонную точку отдадут другому начальству.

Мать принялась ругаться пуще прежнего, и получилось, что опять почему-то виноват во всем Егор.

— Оставь ты парня в покое, — сказал отец. И ушел к себе. А через пять минут позвал из кабинета: — Егор, загляни-ка, если время есть.

Егор вошел.

За окнами было еще светло — день прибавился. Лампа не горела. Отец сидел на диване, откинувшись, глядя перед собой. Потом улыбнулся, будто сквозь боль. Но спросил бодро:

— Как дела-то? Давно мы с тобой не беседовали.

— Какие дела? — Егор прислонился к косяку.

— Ну, вообще... жизнь?

— По-всякому...

— За девочками еще не ухаживаешь? — с натужной шутливостью спросил Виктор Романович. Егор видел, как он пытается придумать тему для беседы.

— Обхожусь пока без этого, — сказал Егор и почему-то вспомнил Бутакову. — Наверно, не созрел еще.

— М-да... Прямолинейные вы люди, нынешнее поколение.

— Эпоха... — сказал Егор.

— А... в школе как?

— В школе — как у Гоголя.

— То есть?

— Не знаешь, что ли? «Эх, тройка, птица-тройка...»

— Птица-то птица... На ней нынче далеко не улетишь.

— Это как повезет...

— Везенье везеньем, а еще и работать нужно...

— «Сделать учебу сознательным, внутренне организованным процессом», — кивнул Егор. — Любимая фраза нашей обожаемой Классной Розы.

— Кого-кого?

— Да ты разве не помнишь ее? Правда, позолота с нее уже слезла. Как ты и говорил...

— Постой-ка, о чем это ты?

— Ты объяснял ей, что культура — это слабенький слой позолоты, который быстро облетает... Четыре года назад, когда она приходила... заступаться за меня.

Отец помолчал. За окнами густел вечер. Виктор Романович спросил в полутьме:

— Гошик... А неужели ты больше ничего не помнишь? Кроме... такого.

Он сказал «Гошик», как иногда говорил в давние-давние времена, еще до всего плохого: И сердце у Егора дрогнуло. Это обычные слова — «дрогнуло сердце». Но оно и вправду тюкнуло невпопад, и Егор сам удивился этому. И ответил неловко:

— Ну, почему...

Отец молчал тоскливо и с ожиданием.

— Я помню, как у нас сломалась машина, — сказал Егор. — Не эта, а старая, «Москвич». Я тогда еще в школе не учился... Ты

ее оставил на обочине, и мы пошли пешком. Это где-то за городом было.

— А! Да... Это мы на дачу к Пестухову ездили, — оживился отец. И тут же угас: — Ах ты, Пестухов, Пестухов...

— Я тогда устал, а ты меня на плечи посадил... А мамы с нами не было.

Отец кивнул. Все с той же неловкостью, но стараясь улыбнуться, Егор проговорил:

— Я еще помню, как ты меня несешь и поешь: «С горки на горку я несусь Егорку... Оба мы голодные, дайте хлеба корку»...

В полумраке можно было различить, что отцовское лицо неподвижно, только уголок рта, кажется, дрогнул.

— Да... Егорка... Это верно. Я ведь тебя... — Отец резко замолчал. Будто захлопнулся.

— Что? — подождав, спросил Егор.

— Ч-черт, — тяжело проговорил отец. — Никогда не было времени. Чтобы разобраться... Смешно: даже любить не было времени. А сейчас поздно...

Егор не понимал, почему сейчас что-то поздно. Неужели отец считает, что жизнь у него кончена? Ну, плохо сейчас, исключили, с должности полетел, но, в конце концов, — живой же! И не старый. Все еще можно исправить, наверно...

«Все можно, пока человек жив...» Эта мысль тут же отозвалась радостным сознанием, что жив и другой человек — Венька! Правда, недавно опять сильно подскочила температура, врачи забеспокоились, но обострение миновало. Скоро Веньку выпишут, а потом отправят в лесную школу. Может, даже восьмой класс сумеет закончить, год не потеряет...

Егор сказал отцу грубовато, но по-хорошему:

— Ты уж так-то не раскисай. Бывает хуже, и то все потом поправляется.

— Угу... — отозвался Виктор Романович. — Учту пожелание... Ты куда-то спешишь?

— В школу. На занятия литстудии...

Наклонов руководил и клубом «Факел», и студией. Клуб собирался раз в месяц, туда приходили все, кто хотел. Читали сообщения о всяких литературных датах, спорили о книжках, о новых стихах и рассказах в журналах. На таких заседаниях всегда торчала Классная Роза... А студия — это был узкий круг, люди творческие. Те, кто сами что-то сочиняли. Приходили несколько школьных поэтов, авторы фантастических рассказов. А один семиклассник даже роман принес. Про карибских флибустьеров, незаконченный...

Наклонов со всеми держался просто и по-доброму. Это не

были нарочитые попытки показать: «Видите, какой я доступный и понимающий, веду себя с вами на равных». Он был искренен. Видимо, ему в самом деле было интересно среди школьников. Может, и правда хотел писать повесть о ребятах?

«Вот и писал бы, — иногда сумрачно думал Егор. — Вместо того чтобы...»

Но порой подозрения уходили, таяли. Трудно было поверить, что этот человек с мягкими серыми глазами за стеклами очков, добродушный такой и внимательный, несет в себе обман. Не хотелось этого. Потому что обманом тогда было бы все остальное: уютные вечера в школьной гостиной; смех, когда Наклонов не обидно разбирает чью-то неудачную стихотворную строчку; дружащий от вдохновения голосок семиклассника Пучкина (чуть ли не Пушкин!), когда он читает очередную главу про флибустьеров; теплое ощущение общности, которое постепенно появлялось у двух десятков студийцев...

Взорвать все это? А если догадки Егора — чушь? Ведь доказательства-то пока никаких...

О своей повести «Паруса «Надежды» Олег Валентинович больше не заговаривал. А Егор наводить его на эту тему не решался даже в те минуты, когда обманчивая успокоенность отступала и он чувствовал себя разведчиком. Нельзя спешить. Нельзя подавать вида...

Если бы с кем-то посоветоваться!

Но телефон отключили насовсем, с Михаилом не поговоришь. Егор написал: не может ли Гай приехать? Михаил ответил коротко: возможно, что скоро приедет. Но когда это «скоро»? А объяснять все в письмах — это долго и неубедительно...

Хорошо было бы поговорить обо всем с Венькой. Он человек рассудительный. И понимающий... Но и здесь не повезло. В середине марта Егор на неделю свалился с жестоким весенним гриппом. Именно в эти дни Веньку выписали. К Егору его, конечно, не пустили. Всякий случайный вирус для Веньки мог оказаться страшнее чумы: опять осложнения, больница и неизвестно что. А когда Егор поднялся, Венька был уже в лесной школе. Передал через Ваню записку: привет, мол, у меня все в порядке, поправляйся и ты, спасибо за «Спартак», жаль, что не повидались, но ничего, к Первомаю вернусь... Вот так.

Эх, если бы Венька был в городе, ему самое дело заниматься в студии. С его-то талантами. Не то что Егору, который, кроме восьми строчек, ничего больше не «сотворил». Есть кое-какие наброски, но все ерунда... Венька помог бы разобраться и в Наклонове. В конце концов, именно он, Редактор, заронил в Егора первое зернышко сомнения: «Будто не свою рукопись читает...»

На очередное занятие студия собралась в первый вечер весенних каникул. Сначала снисходительно слушали Пучкина — главу о храбре Бартоломео Алонсо де лас Квадригасе, который, спасаясь от инквизиторов, бежал к флибустьерам и стал заправским пиратом. Потом девятиклассник Скворцов прочитал сказку о кофеварке. Как она возомнила себя атомным реактором, как ей не верили и как она, чтобы доказать окружающим свою правоту, пошла на крайность — взорвалась. А старый (давно ушедший на пенсию) самовар сказал из пыльного угла: «Для кофеварки совсем неплохо. Но для реактора жидковато...» Однако этого кофеварка уже не слышала. А в свой последний миг она была счастлива. Потому что сама поверила в свое атомное могущество...

Про сказку говорили долго. Сперва смеялись, потом стали разбирать всерьез и отметили, что идея совсем не смешная. Человеческая и даже трагическая. Хвалили. И Наклонов похвалил. Сказал, что ощущается влияние Андерсена, но есть интересный современный поворот...

Егора эта сказка почему-то тревожно царапнула. Он стал копаться в себе: почему? Но тут стала читать свое стихотворение Светка Бутакова.

Да, она тоже ходила в студию. И если говорить честно, Егора манила на занятия и эта причина. Никаких глубоких симпатий к Светке он не чувствовал, так, любопытство какое-то. Но все же хотелось доказать ей, что он, Петенька, тоже не лыком шит и кой-чего смыслит в изящной словесности.

Стихи у Светки были бузовые, про весну и ручейки. И про первую проснувшуюся бабочку, которая ей, поэтессе Бутаковой, села на портфель. «Портфель», видимо, был для рифмы, потому что Бутакова ходила с сумкой «Адидас».

Осторожно несу я портфель,
Словно милую детскую зыбку.
Чтобы первый весенний трофей
Принести к себе в дом, как улыбку...

Нинка Рассыпина из восьмого «В» сказала, что стихи хорошие, потому что «передают солнечное настроение».

Егор съезжился. Набычился. Воспоминание о коричневой бабочке, которую он раздавил подошвой, солнечного настроения не принесло. Наоборот. Он разозлился на Бутакову. А еще больше разозлился, когда встал веснушчатый и глупый на вид девятиклассник Скворцов и тоже стал хвалить стихи. И было ясно Егору (и, конечно, не только Егору), что конопатому оратору нравятся не стихи, а сама Бутакова.

И Егор попросил слова. Он сказал, что военное выражение «трофей» не вяжется с весенней темой. Оно здесь «пришей ко-

быле хвост». И что, несмотря на пришитый армейский термин, стихи сентиментальны (ах, «милая детская зыбка!»). И что глупо тащить с улицы бабочку домой, в квартире она подохнет.

— Это же просто образ! — воскликнула Рассыпина. А Светка откнулась носом чуть ли не в колени, и две девчонки, сидевшие рядом, начали ее успокаивать громким шепотом.

Егор сел, задавив в себе легкие намеки на раскаяние.

Наклонов стал смущенно говорить, что в данных стихах есть плюсы и минусы и что нельзя подходить однозначно. В суждениях должна быть диалектика, которая позволяет более объективно анализировать... и так далее. Что-то в его нынешних словах напоминало речи Классной Розы, и Егор отключился...

Мягко горели настенные светильники, но за окнами еще не стемнело. Минуло уже весеннее равноденствие, дни стали длиннее, и закаты подолгу светились над тополями. И сейчас был закат. А в нем над черными крышами и деревьями висел яркий месяц.

...Месяц звонкий и рогатый...

Что-то опять тревожно толкнуло Егора. Предчувствие какое-то. Или напоминание. О парусах? О детской фотографии сорок восьмого года? О схеме в блокноте?

Блокнот лежал на коленях. Егор погладил блестящую корку с «Крузенштерном». Она была почему-то холодная до озноба...

А может, озноб от предчувствия? Или... вот от этих нахальных слов, которые высказал рыжий Светкин адвокат Скворцов:

— ...И вообще я считаю, что критиковать имеет моральное право только тот, кто пишет сам. А от Петрова мы еще ничего не слышали...

— В самом деле... — Олег Валентинович направил на Егора очки. В них отражались тройные светильники. — Нет, я, конечно, не тороплю и не настаиваю, но... помните, мы договаривались, что каждый со временем прочитает что-то свое...

Это правильно, договаривались. И все уже, кажется, читали и обсуждали свои творения, кроме Егора.

Наклонов сказал мягко:

— Может быть, и вы, Петров, чем-то порадуете нас?

Что он так смотрит? И что все так молчат? Ждут?

Что же, он «порадует». Видимо, время.

И, поддавшись стремительному вдохновению, которое не раз помогало ему, Егор встал. Откинул крышку блокнота.

— Ладно!..

Когда Земля еще вся тайнами дышала
И было много неизведанной земли,
Два русских корабля вокруг земного шара
Сквозь бури и шторма на поиски пошли.

Высоких островов вдали вставали скалы,
И тайною была морская глубина.
И Крузенштерн стоял отважно у штурвала,
И билась о корабль могучая волна.

И долго буду я завидовать, наверно,
Тем морякам, которые ушли в далекий путь.
На карте начерчу дорогу Крузенштерна
И, может, поплыву по ней когда-нибудь...

Егор не знал, читает он с выражением или без. Но, видимо, читал неплохо. По крайней мере, стояла тишина. Зябко сводило на щеках кожу, один раз перехватило голос. Но Егор помолчал секунду и продолжал:

Теперь Земля почти что вся уже открыта.
Остались тайны только в синей глубине.
Они — как старый клад, на острове зарытый.
Но, может быть, одна откроется и мне...

И вижу мачты я, летящие в зените,
И вижу паруса, белей, чем белый снег,
И рында для меня над палубой звенит там,
И это мой корабль пришел ко мне во сне.

Еще не решена последняя загадка,
Тревожный счет ведет хронометр судовой.
Кремневый пистолет... На старой карте складка
Легла меж островов отчетливой чертой...

Он прочитал строки, написанные Толиком, и свои как одно стихотворение. Оно и было одним, целым... И, кончив, он поднял наконец глаза от блокнота.

Наклонов был бледен. Он стоял у окна (месяц висел над его плечом). Прошла совершенно безмолвная минута. Олег Валентинович быстро снял, почти сорвал очки, стал протирать их скомканным платком. Не поднимая лица, сказал:

— Да, сюрприз...

— А что, неплохо, — подал голос рыжий Скворцов, решивший быть объективным.

— Да... — Наклонов все тер очки. — А скажите, Петров... вы уверены, что это... ваши стихи?

— Вполне... — У Егора все натянулось внутри. И в ушах звонко застучал хронометр. Тот, кургановский. Толика. Гая...

— А я... можно откровенно?... — Наконец он надел очки. — У меня есть сомнения... Простите, но... может быть, вы где-то слышали или читали такие стихи раньше?

— Где? — тихо, но резко спросил Егор.

— Я... только спрашиваю.

Теперь Олег Валентинович смотрел Егору в лицо. Без уверенности, но и без всякого добродушия. Отражения плафонов казались злыми огоньками. Егор кашлянул, чтобы не осипнуть от волнения. Сказал, аккуратно подбирая слова:

— Вы думаете, что я эти стихи у кого-то украд? Это, кажется, называется «плагиат»?

Очки дрогнули.

— Егор... я не хотел бы таких слов... Я не подозреваю вас в злом умысле... Но эти стихи я знаю много лет.

«Еще бы!» — подумал Егор.

— Да, — кивнул он. — Только не все. Я их дописал.

— Ну... может быть. — Олег Валентинович, кажется, стал спокойнее. — Но все-таки...

Егор перебил с еле заметной насмешкой:

— Вот у вас есть книжка с очерками про нефтяников. Вы ее вместе с другим человеком писали, с Борисовым. Никто же вам не говорит, что это не ваша книжка.

— Да!.. Но и я не говорю, что она *только* моя! К тому же мы с Борисовым работали вместе. А вы... с тем человеком... стихи эти писать вместе не могли. Я это знаю точно... Кстати, интересно: как эти стихи попали к вам? — В голосе Наклонова скользнула просительная нотка.

Егор не сдержался:

— Я понимаю, что вам это *очень* интересно.

— Петров! Как ты разговариваешь! — вмешалась Бутакова.

— Помолчи, Весенний трофей... — Егора хлестнуло неожиданной злостью. Они здесь все заодно!

— А ты... тебе здесь не «таверна»!

Он резко обернулся, чтобы сказать...

— Товарищи! Товарищи... — Наклонов раскинул руки, словно загромождал всех от опасности. — Друзья мои! Что с вами?.. Давайте творческие споры не превращать... в склоку. Любой конфликт можно уладить, если понять друг друга... Егор!

— Что? — он посмотрел в очки.

— Я ведь не хотел вас обидеть. Но мне *действительно* важно знать, где вы взяли эти стихи. У меня с ними... кое-что связано в жизни. Давайте по-мужски: карты на стол. И тогда решим, имеете ли вы право быть соавтором этого человека.

Егор не отвел взгляда, сказал отчетливо:

— Имею. Я дописал стихи своего отца.

Опять стало тихо. Будто крышку захлопнули над ящиком, обитым ватой. Наклонов снова снял очки и начал терзать их платком. Сказал с усилием:

— Извините, это неправда... Я никогда не имел чести лично знать Виктора Романовича Петрова. А стихи эти написал в маль-

численные годы друг моего детства. Он читал их на самодеятельном концерте...

Черт! Черт и черт! Как Егор не сообразил? Не вспомнил про концерт! Помнил только, что стихи — это эпиграф! А ведь Наклонов мог действительно знать их с детства, независимо от рукописи Курганова... Теперь ничего не докажешь!

А что, собственно, Егор хотел доказать? Суетливость и бледность Наклонова — разве улика? Дурак ты, Егор...

Сейчас приходилось воевать уже просто за самолюбие.

— Вы не имели чести знать Виктора Романовича, — с опасным звоном в голосе сказал Егор. — Вы знали моего настоящего отца. Толика Нечаева. Того самого «друга», которому в лагере готовили волчью яму!

Егор вышел из гостиной и крепко закрыл за собой дверь.

Ну и чего он добился, псих несчастный? «Герой»! Щит в стору, два меча в руки — и на врага! И сразу — пузом на копье... Нервы сдали? Или захотелось ошарашить Наклонова? Или... перед Светочкой покрасоваться? У, бестолочь...

Егор ненавидел себя так, что готов был взять свою башку за космы и физиономией проташить по всей решетке городского парка, мимо которого шел.

Б-б-балда... Выложил все карты. Теперь, если Наклонов и правда добыл где-то рукопись Курганова и скатывает с нее свои «Паруса «Надежды», ничего уже не сделаешь. Олег Валентинович — они не дураки-с. Затаятся. Остороженькими станут. А у Егора какие доказательства против него?

Надо было подхихнуть хитро, узнать, где Наклонов взял своего Егора Алабышева. Не могут же два писателя придумать одного и того же героя, чтобы имя, и фамилия, и события одинаковые... Правда, и тогда сразу ничего не докажешь: от Курганова-то никаких бумаг, от Толика — тоже... Но можно было увериться хотя бы для себя. И копать дальше...

Егор замедлил шаги. Куда спешить-то? В дом с вечно рассерженной матерью и похоронно-тихим отцом?.. В газонах под фонарями лежали остатки грязного снега. К вечеру подморозило, Егор поскользнулся на льдистом асфальте. По-дурацки замахал руками. Сердито оглянулся: не видел ли кто его нелепого танца? Прохожих не было. Только месяц висел над улицей. Молодой. С левой стороны. Это, говорят, к неудачам...

Но месяц — «звонкий и рогатый» — смотрел с высоты дружелюбно. Словно что-то понимал и мог посоветовать... Что?

Вот если бы в самом деле с кем-то посоветоваться! С Михаилом... Он, конечно, сперва отругал бы Егора (и правильно), а потом они вдвоем что-нибудь и придумали бы...

Но Михаил как в воду канул. Не появляется и не пишет. Небось в своих проблемах увяз. Поехать к нему? А что! Каникулы же!.. Трешку на билет можно у кого-нибудь занять. У Ревского, например. Но... ехать в Среднекамск без предупреждения, наверно, не стоит. Кто знает, какие там дела у Михаила? Может, Никитка прикатил из Севастополя на каникулы. И вдруг не один, а с Асей? Да еще Заглотыш там (его, Егора, стараниями!). И теперь — здравствуй! — двоюродный братец является.

Есть, конечно, вариант: приехать, поговорить и сразу укатить обратно... Однако сначала все-таки лучше позвонить.

С автомата без денег не позвонишь, но можно от того же Ревского... А еще лучше — от Ямщиковых! Все равно он обещал зайти, принести «Книгу джунглей» Киплинга, чтобы Анна Григорьевна отвезла Венке в лесную школу...

«Книгу джунглей» Егор взял с полки украдкой. А то сразу будет шум: «Это редкое издание, дореволюционное, знаменитого Сытина, кому ты ее хочешь дать?!» Он сунул книгу в пластиковый пакет, присел на тахту, глянул на часы. Половина девятого. Не поздно ли идти к Ямщиковым? И усталость навалилась, голова гудит... Может, опять грипп? Недолеченный. Бывает, говорят, такое. Или это «от нервов»? «Послестрессовое состояние»... Ох, нахватались мы терминов в наш просвещенный век. Дать бы тебе, шиззику, по шее, было бы «состояние».

Зазвякало в прихожей. Егор не шевельнулся. Все равно это не к нему. Некому приходиться к Егору Петрову... Но мать сказала в дверь:

— Горик! К тебе мальчик...

Кого угодно ожидал увидеть Егор, но такого гостя... Это был Денис Наклонов. Без шапки, в расстегнутой курточке, он неловко стоял у порога. Глянул из-под волос.

— Здравствуй... Отец спрашивает, не можешь ли ты приехать к нам. Поговорить хочет о чем-то...

Егор задавил в себе растерянность и смущение. Ответ прозвучал грубовато:

— Когда ехать-то? Сейчас?

— Если можешь... У нас внизу машина.

У подъезда стоял старенький «Москвич». Наклонов сидел за рулем, дверца была приоткрыта. Олег Валентинович сказал:

— Егор, садись рядом. А Денис сзади устроится.

Будто ничего не случилось...

Егор молча сел. Поморщился: пахло бензином. Не то что в отцовских «Жигулях». Впрочем, наплевать...

— Поедем? — спросил Наклонов.

— Как хотите...

Наклонов осторожно вывел машину из-под арки на улицу. И вдруг негромко проговорил:

— Ты меня извини, Егор, я вел себя глупо. Это от растерянности... Такая неожиданность. Я погорячился.

— Ну, уж если кто горячился, так это я, — возразил Егор. С прохладцей, но искренне. И в то же время думал: «Что ему надо? Зачем приехал? Так срочно!» Однако мысли эти с их тревогой и нервностью были сами по себе. Вне настроения Егора. А он чувствовал себя удивительно спокойно, сонливо даже.

— Заедем ко мне домой, поговорим? Согласен?

— Уже едем, — сказал Егор.

Дверь им открыла красивая, похожая на актрису Любовь Орлову женщина в домашнем брючном костюме.

— Иннушка, это Егор, сын моего давнего... приятеля. С детских лет, с Новотуринска... Сделаешь нам чаек с чем-нибудь таким, своим? А мы пока побеседуем. Денис, дай Егору свои тапочки...

«Везде одно и то же», — усмехнулся про себя Егор.

Неловкости он не чувствовал. Но и большого любопытства — тоже. Это было странно. Ведь, можно сказать, очутился он в «логове противника». И, наверно, при некоторой хитрости мог Егор что-то выведать. Откуда эта вялость? Он заставил себя внутренне встряхнуться. Но помогло не очень.

Кабинет Наклонова состоял из книжных стеллажей, громадного, будто для пинг-понга, письменного стола и нескольких кресел, похожих на присевших бегемотов. Стол, как, видимо, и положено у писателей, был завален папками, листами с машинописным текстом. Бронзовая фигурная лампа с желтым абажуром возвышалась, как маяк, над этим бумажным морем. А плоская пишущая машинка была будто островок...

— Егор, садись... Это ничего, что я на «ты»? Мы не официально, не в студии. Угу?

— Угу... — сказал Егор и отдался объятиям кресла-гиппопотама.

Молчаливый Денис устроился в другом кресле, в стороне. Сел и Наклонов. Против Егора.

— Я... для начала вот что хотел спросить... Это правда насчет отца? Ты уж извини, но это так неожиданно...

— Это правда. Я родился уже после его гибели. А мать почти сразу вышла за Петрова. Я узнал об этом недавно.

— Да... история...

— Ничего, — сказал Егор. — Бывают истории запутанней.

— Ты что имеешь в виду?

А он ничего не имел в виду, честное слово! И о рукописи в данный момент не думал. Просто так болтнул, чтобы не молчать.

Наклонов улыбнулся слегка натянуто:

— Я думал, ты про наши детские раздоры. С Толиком... Да, действительно, в последние дни перед его отъездом мы не ладили. Подрались даже на прощанье... И с ямой история имела, как говорится, место. Мальчишки же мы были... Но я не думаю, чтобы Толик навсегда сохранил про меня только злые воспоминания.

— Я тоже не думаю, — вежливо сказал Егор.

— А ты... — Кажется, он хотел спросить: «А ты почему же тогда упрекаешь меня?» Но сказал другое: — Ты сам-то откуда эту историю знаешь?

— От двоюродного брата. Он сын сестры Толика... Отца. Тот ему много про детство рассказывал. А он мне... А еще от Александра Яковлевича, от Ревского.

— А! Так ты и с ним знаком!

— Знаком... Но он больше про «Крузенштерн» любит говорить, про съемки, когда они с отцом последний раз встретились.

— Я понимаю... Да, к слову. О Крузенштерне. И о детстве... Наша дружба с Толиком была, конечно, сложная. Но я думаю, Егор, она все же была. По крайней мере, теперь все вспоминается по-доброму. Обиды уходят, хорошее остается. Детство — оно любое хорошо. Со всем, что в нем было. Это начинаешь понимать только со временем...

— Вы говорили о Крузенштерне, — осторожно напомнил Егор.

— А он — тоже часть детства. Толик нам о нем рассказывал. Или книга у него какая-то была, или сам он про него сочинял... Сидим мы у нас на веранде, а Толик — историю за историей. О разных случаях во время плавания, о Резанове, о Головачеве... Много, конечно, забылось, но ощущение осталось. Понимаете, такое желание тайн и путешествий... И вот, ребята, — он говорил уже теперь Егору и Денису, — когда на старости лет потянуло памятью к детству, сделалось это воспоминание очень важным. А тут еще книги кое-какие попались старинные, статьи, документы в архивах. Ну и появилась мысль о повести... А начало положил, можно сказать, Толик Нечаев... Нет, ну надо же, встреча-то какая! Кто бы мог подумать. Егор, сын Толика...

Он говорил искренне. Он улыбался открыто. И слова, что начало повести положено Толиком, были... ну, честные такие и теплые. И Егор вдруг подумал — успокоенно и облегченно, — что вот и не надо никаких разведок, никаких распутываний.

Все справедливо. Давний житель Новотуринска Арсений Викторович Курганов написал повесть. Она потерялась, но не

совсем. Толик Нечаев пересказал ее кому смог. Один из слушателей запомнил эти детские рассказы и благодаря им сам пишет книгу. Пускай свою, но все равно в ней будет доля труда Курганова и Толика. Ничего не прошло бесследно. И схему в блокноте можно дочертить до конца и стереть вопросительные знаки. А рядом с именем Наклонова нарисовать книжку «Паруса «Надежды» и к ней прочертить от Курганова и Толика две прямые черты.

И все.

Все? А линия Наклонов — Алабышев?

И снова разведчик ожил в Егоре. А ему уже не хотелось этого. Гораздо лучше, если не будет в этой истории никакой драки. Пускай случится наоборот. Пускай он, Егор, приходит в этот дом по-дружески. Много ли у него друзей-то...

— ...Я вот что думаю, — словно откликнулся на эту мысль Наклонов. — Летом, после ваших экзаменов, не махнуть ли нам в Новотуринск? Прямо на нашей колымаге! Втроем! Городок сохранился почти в неприкосновенности. Я поведу вас по старым местам, порассказывал...

Егор и Денис встретились взглядами и быстро опустили глаза. Олег Валентинович продолжал:

— Я понимаю, что в друзья никого не сватают, но, может, у вас с Денисом нашлось бы что-то общее?.. Чем плохо, когда от стариков дружба передается сыновьям по наследству?..

И опять они быстро глянули друг на друга. Лицо Дениса было близко от лампы, и Егор вдруг увидел, что глаза у него совсем не темные. Серые, как у отца. Раньше они казались темными, потому что прятались обычно в тени.

Денис как-то по-детсадовски шмыгнул носом и пробурчал:

— Одно общее у нас уже точно есть: мы оба голодные.

— Иннушка! — обрадованно заголосил Наклонов. — Мы хотим есть и пить!

Мать Дениса заглянула в кабинет.

— Мужчины! У меня все готово. Но куда я здесь поставлю посуду? Может быть, пойдете в столовую?

— Нет, здесь! — весело заупрямился Олег Валентинович. — Здесь уютнее! Денис, освобождай полигон!

Денис начал привычно хватать стопки бумаги и сгружать на пол, к стеллажам. Один раз оглянулся на Егора — быстро и... так похоже на Игорька-горниста. И на Веньку. И тогда Егор, словно шагая в холод, спросил:

— Олег Валентинович, а тот кадет в вашей повести, Егор Алабышев, — он вымышленный герой? Или был на самом деле?

Наклонов следил за Денисом, а сейчас быстро обернулся.

— А почему ты про это спрашиваешь?

— Ну... он Егор, и я Егор. Интересно.

— Ах вот что!.. Не знаю. В списках выпускников Морского корпуса я его не нашел. Есть такие списки в книге профессора Веселаго... Но Толик об этом Егоре рассказывал. И о том, как он был кадетом, и о том, как стал офицером и погиб на Севастопольских бастионах. Я не стал менять имя. Если жил такой человек — хорошо. Если нет, я думаю, Толик бы не обиделся, что я позаимствовал это имя из его рассказов...

Ну теперь — в самом деле все. Егор обмяк в недрах глубокого кресла. Хорошо все-таки, когда подозрения уходят, а загадки объясняются вот так, без боли...

...И дальше в самом деле было хорошо. Пили чай с каким-то необыкновенным, невесомым, как облако, пирогом. Говорили про Новотуринск, про студию, про школу. Денис перестал глядеть исподлобья и со смехом рассказал про недавнее классное собрание, на которое вызвали мать двоюродника Эдуарда Редьковского для объяснения, а оказалось, что это не она, а знатная ткачиха: ее пригласили в соседний класс на торжественную встречу, а она перепутала...

— А наша классная на нее с ходу давай нести: «Я на ваше производство напишу, как вы детей воспитываете!» А потом извинялась, ахала: «Это все опять из-за тебя, Редьковский! Почему ты не сказал, что это не твоя мама?» А он: «Но вы же всегда говорите, что учителю виднее...»

— Мне ты этого не рассказывал, — ревниво заметил Олег Валентинович. И пожаловался Егору: — Обычно из него двух слов подряд не вытянешь, а сегодня разговорился.

Денис сказал, что он развлекает светской беседой гостя.

Потом Наклонов на пари вызвался разгромить Егора и Дениса в сеансе одновременной шахматной игры. И разгромил за пять минут. И с сожалением посмотрел на часы.

— Наверно, Егору пора домой. А то влетит ему и нам.

— Не влетит, но пора...

Наклонов отвел Егора на машине, хотя тот повторил, что здесь и так недалеко. Теперь Денис и Егор сидели сзади, рядом. Молчали, но без натянутости. Когда прощались, Денис протянул руку — пальцы были очень тонкие, но крепкие. Сказал:

— Пока... Заходи.

— Ага. Может быть, загляну...

Наклонов спросил:

— Егор, а ты не знаешь, не осталось в бумагах Толика что-нибудь связанное с Крузенштерном? Вдруг он записывал что-то? Черновики какие-нибудь... Нет?

— Только те стихи. И еще портрет Крузенштерна. Он его рисовал, чтобы подарить... одному человеку.

У Егора не было теперь и тени подозрения, но называть Курганова он все же не стал.

...Уже в постели Егор подумал: как хорошо, что он сегодня не помчался сломя голову в Среднекамск. Трясая бы сейчас в вагоне, один со своими сомнениями и глупыми шпионскими версиями. И неизвестно, чем бы все это кончилось. А теперь действительно есть что рассказать Михаилу...

И надо Михаила еще кое о чем расспросить. И тетю Варю — что она знает о характере брата... Неужели он в детстве так боялся грозы? Может, была еще какая-то причина, из-за которой он ушел от ребят в походе и поссорился с Наклоновым?

Так давно это было... И об этом давнем Егор мог судить только по рассказам людей, которые помнили, конечно, не все... И тем не менее многое он уже знал. Он мысленно приблизил к себе фотографию ребят, снятых у сломанной эстрады в старом саду, превратил ее в киноэкран. И постарался представить лето сорок восьмого года как цветной фильм. Все по порядку... Вот бежит, спасаясь от погоны, Шурка Ревский. Вот попадает в плен к робингодам Толик... Вот игры. Поход. Разбитый самолет... Потом один из мальчишек приносит Толику сломанный меч (знает Егор и про это!). И затем — одиночество. Про это Егор тоже знает... Одно утешение у Толика — рукопись Курганова. Мать печатает — он читает... А потом печатает и сам. Эпилог...

Э-пи-лог.

Что?.. Егор стянул одеяло и сел.

Толик Нечаев мог рассказывать ребятам о кадете Егоре Алабышеве. Но о капитан-лейтенанте Алабышеве рассказывать не мог. Он узнал о его взрослой жизни и гибели уже после ссоры с робингодами!

Егор вдруг вспомнил, как Наклонов быстро снимает и протирает большие блестящие очки...

ПИШУЩАЯ МАШИНКА «УНДЕРВУДЪ»

Егор хотел пойти к Ямшиковым утром. Самое время: Аркадий Иванович и Анна Григорьевна на работе, стесняться некого, а Ванька наверняка в первые дни каникул дрыхнет допоздна. Значит, дома... Но Алина Михаевна плачущим голосом сказала:

— Хотя бы в каникулы ты можешь помочь матери? Сколько я буду крутиться одна, как белка в колесе? За картошкой некому сходить...

Раньше матери помогала живущая неподалеку бабка, крепкая и деловитая. Носила с рынка тяжелые сумки, делала уборку, стиркой занималась. Мать ей сколько-то там платила. Но теперь, когда «скоро останемся без единого гроша», от бабкиных услуг Алина Михаевна отказалась.

Егору не хотелось крика, жалоб и споров. Молча он взял сум-

ку, деньги («сдачу проверь и не потеряй») и пошел на рынок. В квартале от рынка наткнулся Егор на Валета.

В этом году они встретились впервые. Валет вытянул губы дудочкой, приподнял брови и светски сказал:

— О! Какая приятность... Рад вас видеть, сеньор...

— Взаимно... — Егор остановился.

— Как поживаешь, Кошачок? Нигде не болит? Мурлыкаешь?

— А чего нам... Не каплет и не дует.

— И совесть чиста, верно?

Егор прищурил правый глаз и наклонил набок голову.

— Гибкое ты существо, Кошак, — с ноткой зависти сказал

Валет. — Умеешь вовремя уйти в шелку.

Егор прищурил левый глаз и перекинул голову к другому плечу. Спросил:

— В смысле?..

— В смысле что вовремя слинял из «таверны».

— А при чем «таверна»? Курбаши колесики катал на стороне.

— Катал на стороне, а зацепило и нас кой-кого...

— Ну ты, по-моему, вполне на свободе, и вид цветущий.

— Оно так... Но потаскали и меня. Знал бы, что они, гады, мне клеили...

Егор зевнул:

— Догадываюсь, что они тебе клеили.

— Да только фиг им! Доказательств-то фью... А тебя, значит, не трогали совсем?

— С каких бы это шей меня кто-то трогал?

— Ну... я подумал: вдруг узнали про кассету. Лишний козырь против Курбаши.

Егор начал смотреть на Валета долгим насмешливо-сожалевшим взглядом.

— Не было кассеты, — наконец дошло до Валета.

— Ты умный мальчик.

— Я вообще-то с самого начала предполагал. А Курбаши тряся и бледнел: «Есть она, есть, я чувствую...»

— Дотряся он и без кассеты, — вздохнул Егор.

Валет сказал опять:

— А ты гибкое существо.

— Хочешь жить, умей вертеться, — подыграл Егор.

— А жить ты хочешь, — полувопросительно заметил Валет.

Егор моментально подобрался:

— Это как понимать?

— А так, Кошачок. Хочу намекнуть по-дружески. Кто-то оч-чень недоволен горькой судьбой Копчика. Слышал я это сто-роной... Считают, что ты здесь во многом виноват.

— Я?! — рывкнул Егор. — Значит, это я на Веньку с шилом полез?! А сволочь Копчик ни при чем?

Валет улыбнулся с оттенком превосходства:

— Не надо так примитивно... Выражаясь по-научному, ты был источником первоначального конфликта. Сперва стравил Копчика с Редактором, потом на Копчика же накапал Венькиным предкам...

— Это кто же пришел к такому... научному выводу? — ехидно прищурился Егор. Но душа у него заглохла.

— Любой придет, если поразмыслит. И ты сам...

— Я не стравливал Веньку и Копчика... — Егор постарался твердостью тона скрыть внутреннюю беспомощность. — У них было это еще до меня. И на Копчика я не капал. Я хотел уберечь Ямшиковых от поджога, а на Копчика, как такового, мне было начхать. К тому же я его предупредил честно, при всех...

«Чего я оправдываюсь?» — подумал Егор.

Валет примирительно сказал:

— Да мне-то что? Я тебе только намекнул, чтоб ходил с оглядкой, особенно после захода солнца. Если Копчику срок отвалит, Салтан это так не спустит...

Егор знал, что суда еще не было. Тянулось неспешное следствие. Чижа и Хныка выпустили, потому что Венька сам рассказал, что они к нему не лезли. Когда Копчик выхватил «пику», Хнык отскочил и зажмурился, а Чиж чуть ли не пытался схватить Копчика за рукав. Значит, они не «соучастники»... А самого Копчика уже второй раз обследовали в психбольнице. Мамаша его и адвокат пытались доказать, что «у мальчика есть отклонения». Шизик, мол, Копчик и за себя не отвечает... Чего доброго, еще и выкрутятся, гад... Нет, едва ли.

— Кольчугу под камзол советуешь надевать? — спросил Егор у Валета. — Ну ладно, благодарю за информацию.

Егор давно уже заметил, что есть в жизни такой закон — «одно к одному». И он ничуть не удивился, когда пришел с рынка и обнаружил в почтовом ящике записку — рваный клетчатый листок с печатными буквами: «Кошак, шкура продажная, учти, попомнишь Копчика».

«Учти» было написано с мягким знаком после «ч», а «попомнишь» без мягкого знака в конце. И нарисован был жирной шариковой ручкой зловещий кривой финяк.

Егор хмуро посмеялся. Записка наверняка была самодеятельностью «мышат» из компании Салтана. Это не страшно.

Это вообще было не страшно. Если бы знали приятели Копчика и сам царь Салтан, как в январские дни мечтал Егор, чтобы прихватили его в темном углу! Он испуганно дрался бы до последнего дыхания! И пусть измордовали бы до полусмерти! А еще лучше — всадили бы железо, как Веньке! Чтобы лежал он с Венькой в одной больнице и чтобы все поняли, что пострадали они оба от одних врагов. И что нет на Егоре вины...

Не так уж много вероятности, что в такой свалке забьют на смерть. Ну а если и случится, то что ж...

Егор перечитал корявые строчки. Дурачье... Умом он понимал, что опасность есть. В самом деле могут подкараулить, и никакая милиция, которая «меня бережет», здесь не поможет. Она оказывается на месте происшествия уже потом. Как в случае с Венькой... Но страх так и не появился, даже легкого холодка не было. Егор подумал, что при желании не так уж трудно разыскать, кто писал и кто подбросил. Если заняться всерьез. Но сейчас его в сто раз больше тревожила другая загадка: Алабышев — Наклонов. И нужен был Гай...

Днем дома у Ямшиковых никого не оказалось, и Егор пришел второй раз — уже в пятом часу.

Открыл Ваня. Губы у него были перемазаны, он сладко водил по ним языком.

— Варенье лопал, — сказал Егор.

— Ага... Там все равно банка почти пустая, я ее выскреб, чтобы вымыть.

— Видать, не маленькая банка-то...

— Ага, трехлитровая... А у нас еще полная есть. Хочешь варенья с чаем?

Егор сказал, что он вышел из возраста, когда любят варенье с чаем. Чай с вареньем — еще туда-сюда.

— Можно и так, — согласился Ваня. Видно, ему нужен был законный повод, чтобы распечатать новые запасы варенья. Но Егор объяснил, что хочет сначала позвониться до Среднекамска.

— Разрешаешь?

— Чего спрашивать-то, — сказал Ваня.

Егор потянулся к телефону и помянул черта. Он все время забывал сменившийся в январе номер Гаймуратовых. То ли «ноль два — двенадцать», то ли «двенадцать — ноль два»... Он вытащил из кармана листок со стихами Толика, на котором в тот январский вечер записал телефон. Листок в кармане был всегда — это стало для Егора уже привычкой и чем-то вроде доброй приметы.

«Пятьдесят семь — ноль два — двенадцать»...

Ответила Галина. Удивилась:

— А разве вы не встретились? Гай вчера поехал к вам...

— Ко мне?

— Вообще-то по своим делам. Но хотел и тебя увидеть.

«Может, и заходил, да мать не сказала, — подумал Егор. — А может, ее самой дома не было...»

— Я тогда помчусь домой! Может, еще зайдет!

— Едва ли. Он хотел вернуться нынче к вечеру. Наверно, сейчас уже в дороге...

— А что случилось-то? Зачем он поехал? — встревожился Егор. Голос у Галины был расстроенный.

— Неприятности там крупные. Беда с одним мальчиком...

— С Витьком? — испуганно и глупо спросил Егор.

— Да при чем здесь Витек... Вот он, рядом, цветет, как ясный одуванчик... По службе у Гая это.

— Но он же уволился!

— Да, но это старое дело...

— А какое?

— Егор, он сам расскажет. Позвонит...

Егор положил трубку и только тогда сообразил: куда Михаил позвонит-то?

Он расстроено сел возле столика с телефоном. Обшлагом зацепил, смахнул на половик лист с номером. Ваня, который крутился рядом, быстро поднял бумагу, пригляделся к стихам.

— Ой... на нашей машинке напечатано. Да?

— Что?... — Егор думал о своем. Какие там беды у Гая и стоит ли сейчас ехать в Среднекамск?

— Это на нашей машинке напечатано, — повторил Ваня.

— Что напечатано?.. Почему на вашей?

— Ну, сразу же видно! Вот у буквы «фэ» колечко разорвано. А у «рэ» ножка скособочена... Это что за стихи?

Какие порой случаются в жизни повороты! И совпадения!.. А может, не просто совпадения? Может, счастливые находки идут в руки тем, кто ищет? Может, в этом справедливость судьбы?

...Ваня даже оробел от натиска Егора: что за машинка, откуда?

Ну, обыкновенная старая машинка, она у Ямшиковых с незапамятных времен. Папа еще мальчишкой был, когда выменял ее у своего приятеля... Откуда она у приятеля взялась? Надо у папы спросить, Ваня не помнит... Помнит только, что, кажется, этот приятель папин машинку из Среднекамска привез, когда в наш город переехал. Вроде бы на какой-то школьной свалке он ее нашел, сломанную совсем, а потом кто-то помог починить... Ее и теперь чинить приходится все время.

— А где она, Вань?

— Я же говорю! Папа ремонтировать унес, я попросил... Одному знакомому. Тот на все руки мастер, хоть какую технику может наладить... Папа тоже может, но говорит, что тот лучше...

— Черт, не вовремя... Вань, а машинка называется «Ундервуд»? И с твердым знаком на конце?

— Ага...

— И деревянная подставка у нее есть?

— Есть...

— А какая?

— Ну... подставка как подставка. Из доски...

— А не из фанеры?

— Я не помню... Нет, она толстая. И покрашенная.

— Ваня, дело вот в чем... — У Егора от волнения сел голос. — Это может быть не доска, а... как бы плоская фанерная коробка. Пустая внутри. И там тайник... Ты не знаешь?

Ваня помотал головой. И вдруг насунился. Потребовал:

— Ну-ка расскажи.

Рассказ о листах старой рукописи, спрятанных в подставке «Ундервуда», Ваня выслушал, раскрыв перемазанный рот. Впервые коснулась второклассника Ванюшки Ямшикова настоящая тайна. Эхо приключений прозвучало в ушах привычной квартиры...

Сначала Егор поведал эту историю очень коротко, самую суть. Но Ваня утащил его в их с Венькой комнату, усадил на нижнюю койку и начал обстрел вопросами. И глаза у него были умоляющие. И Егор выкладывал ему, Венькиному братишке, все новые и новые подробности. И про Толика Нечаева, и про Гая, и про съемки на «Крузенштерне». Только о подозрениях насчет Наклонова не сказал. Ни к чему это знать девятилетнему пацану. Пусть считает, что Егор просто ищет следы кургановской повести... Скоро Егор уже сам увлекся и рассказывал, не дожидаясь вопросов. А когда он замолкал, слышал частое Ванино дыхание, который, замерев, притерся к нему... А кроме этого дыхания будто слышалось в тишине шелканье хронометра...

— Егор, — наконец шепотом сказал Ваня. — Машинку-то папа сегодня принесет, он обещал. Все узнаем...

— А ты уверен, что машинка — та самая?

Ваня прыгнул, стукнул об пол коленками и локтями, выволок из-под койки пачку плотных листов. Откинул верхний.

— Смотри!

Это была газета «Новости Находки» с текстом, отпечатанным на машинке. И с первого взгляда стало ясно, что шрифт у заметок и у стихов Толика один и тот же. Загнутая ножка буквы «р», порванное очко у «ф». И косо поджатый хвостик у «щ»...

Все это было так очевидно, что не требовало даже долгого разглядывания. И, сравнив буквы, Егор заинтересовался самими газетами. Было чем заинтересоваться! Пестрые, удивительно разноцветные листы, картинки с пейзажами незнакомых планет, столбцы рассказов со словами «продолжение следует»...

— Вань, это что?

Ваня объяснил. Про планету Находку, про игру такую, Егор слышал от него и раньше и глобус не раз крутил, но про газеты не знал. И хотя все мысли были о тайнике в подставке «Ундервуда», Егор не удержался — начал листать номера «НН»...

Да, что и говорить, Венька — талант. И в рисунках талант, и в рассказах своих... Егор зачитался приключениями находкинского школьника Ноль-с-Плюсом на планете Земля. Классной Розе почитать бы! Вот бы укусное лицо сделала: «Ии опять одно и то же! Совершенно не та йидея!»

— Вань, это как же? Так все эти газеты и лежат под кроватью?

— Ага... Новый номер сперва висит, а потом — в пачку. А где еще хранить-то?

— Это все люди должны видеть! Это же интересно!

«И чтобы убедились, какой он на самом деле, Венька Ямщиков! Он действительно — Редактор. Без насмешки...»

Ваня сказал:

— Стрельцов приходил. И еще ребята. Тоже смотрели.

— Да много ли их, ребят-то? Вот если бы в школе повесить!

— Разве можно?

— А что такого? Сделать выставку... А?

Ваня быстро облизал засохшее на губах варенье.

— Это бы здорово...

— А Венька не рассердится? Скажет вдруг: зачем без разрешения...

— Не-е! Он сам жалел, что мало читателей, я знаю... А почему без разрешения? Я ведь тоже... Это наша вместе газета.

Егор подошел к телефону...

— Бутакова? Привет, это Петров... Стоп, не бросай трубку, я по делу... Знаю, что не хочешь со мной разговаривать. И кто я такой, знаю... Подожди, разговор не о твоих поэтических талантах. Не ты одна у нас литературное светило... Да постой ты! Ну хорошо, хорошо, я приношу свои искренние извинения... Ты можешь приехать сейчас к Ямщикову? Нет, он в санатории, зато я здесь. У него. И брат... Приезжай, узнаешь... Не фокусы, а серьезное дело! Ну, можешь ты хоть раз выслушать меня по-человечески, ду... думать надо... Не хотел я сказать «дура», не выдумывай, это у тебя комплекс... Не тайна, а долго объяснять. Приезжай, увидишь здесь такое!.. Давно бы так...

Надо отдать должное Бутаковой. Когда она появилась, о скандале в студии больше не упоминала, газетами восхитилась, идею выставки нашла гениальной. Так и сказала:

— Петенька, ты гений. Даже не ожидала...

Всех газет было слишком много. Втроем они отобрали два десятка самых интересных номеров. Потом Ваня вскипятил чайник и уже без колебаний открыл трехлитровую банку с вареньем.

Светка сказала, что газеты заберет с собой сразу. Пока идут каникулы, она договорится с вожатой, чтобы найти в школе ме-

сто и устроить выставку как полагается. И пусть все видят, какие у людей бывают способности, а то теперь все такие невнимательные друг к другу. Попал человек в беду, поговорили об этом пару дней, а сейчас почти никто не вспоминает. Может быть, эта выставка всколыхнет коллектив.

— Ты только смотри не посеяй газеты по дороге, — прервал Егор активистские речи Бутаковой.

— А ты мог бы помочь мне отнести их!

Егор заколебался и почему-то даже смутился. Но Ваня решительно сказал:

— Газеты нетяжелые. А Егор не может тебя провожать, мы папу ждем, у нас еще одно важное дело.

Когда Бутакова ушла, Егор опять сел на Ванину койку и начал смотреть оставшиеся номера «НН». Ваня позвякал на кухне посудой (видимо, вымыл) и приткнулся рядом. Совсем прильнул. Дышал тихонечко...

«По Веньке скучает», — вдруг понял Егор.

Обычно Егор или сторонился «мышат», или разговаривал с ними тоном насмешливо-жесткого приказа. А если нельзя было сделать ни того, ни другого, он ощущал тягостную скованность. Даже на Заглотыша он смотрел со смесью пренебрежительной жалости и брезгливости и вздохнул с облегчением, когда сплавил его Михаилу и Галине...

А с Ванюшкой было Егору легко. То ли потому, что не похож был младший Ямщиков на обычного «мышонка», то ли потому, что в самом Егоре что-то менялось... «А может, потому, что Венькин брат?» — спросил он себя. И вдруг вспомнил разговор с матерью, что нет у него, у Гошки, младшего брата.

И Ревский вспомнился: «Ты никогда не сможешь быть братом».

Нет, товарищ Ревский, режиссер вы, наверно, неплохой, а пророк так себе...

Кстати, надо позвонить Ревскому. Возможно, Михаил заходил к нему и Александр Яковлевич знает, что там у Гая случилось... Егор осторожно освободил левую руку из-под прижавшегося Ванюшки, взглянул на часы. Ваня быстро сказал:

— Ты не уходи, папа скоро придет.

— Мама придет, наверно, еще скорее, — опасливо заметил Егор.

— Не, она дежурит сегодня... А папа машинку принесет. Сразу все узнаем.

Конечно! И во время возни с газетами, и во время разговора с Бутаковой, и во время размышлений о «мышатах» и братьях прочно сидело в Егоре это главное ожидание: «Машинка. Тай-

ник. Эпилог...» Все делается ясным, все встанет на свои места!.. А Михаил будет просто ошарашен! Забудет о всех своих горестях... Но все же что там у него?

Егор опять шевельнулся. И опять Ваня попросил:

— Не уходи.

Наверно, ему очень не хотелось оставаться одному.

— Вань, я только позвоню...

Но тут затрезвонил колокольчик в коридоре.

— Папа!

Это действительно пришел Аркадий Иванович. Ваня, выгибаясь от тяжести, радостно приволок в комнату брезентовую сумку. Изнутри ее распирала твердые углы.

— Давай! — выдохнул Ваня. Дернул на сумке «молнию». — Берись...

Аркадий Иванович что-то весело рассказывал в коридоре, но Егор и Ваня не слышали... Черт, как цепляются за парусину всякие рукоятки и рычажки... Вот она, машинка! Тусклые золотые буквы на каретке — «Ундервуд», дребезжащие клавиши, желтое лаковое дерево подставки...

Почему лаковое? Ваня же говорил, что краска...

Машинка со звяканьем встала, почти упала на половицы. Ваня смотрел на Егора перепуганными глазами. Потом закричал:

— Па-па!

Аркадий Иванович буквально влетел в комнату.

— Па-па! Где старая подставка?!

— Да ты что? Эта же лучше! Сергей специально сделал, та совсем облезлая была, шепастая...

— Но она... где? — уже шепотом спросил Ваня. Он еще надеялся. А Егор понял сразу, что надежды нет, и обмяк, будто от большой усталости. Горя он даже не чувствовал. Так, безразличие какое-то и скука...

— Она где? — тонко повторил Ваня.

— Да где ж... Выкинул Сергей. На огороде мусор жгли, ну и вот...

— Она точно сгорела? — тихо спросил Егор.

— У меня на глазах... А в чем дело-то?

Ваня вдруг беззвучно заплакал, выдернул подол майки, начал сердито вытирать лицо. Первая в жизни встреча с тайной обернулась обманом.

— Ребята, да что случилось-то? Ваня...

Тот сквозь слезы посмотрел на Егора.

— Ты, Вань, расскажи сам... — хмуро попросил Егор. — А я пойду позвоню. Можно?..

Телефон Ревского долго отзывался равнодушным пиканьем — занято. И Егор был даже рад. Не хотелось возвращаться в комнату, пока у Вани слезы, пока он объясняется с отцом. И Ваньку жалко, и самому неловко — как неудачливому игроку, который раньше срока объявил о своей победе. И вообще... говорить надо будет что-то, объяснять, а к чему теперь слова?

Телефон ответил наконец. Сам Ревский.

— Егор? Вот хорошо... Гай приезжал, искал тебя, ругался: где тебя носит?

— А что с ним?

— Да с ним-то ничего...

— Александр Яковлевич, можно мне зайти к вам? Столько всего, надо посоветоваться. У меня мозги перепутались...

— Приходи обязательно.

— А можно сейчас?

— Давай!

ГОЛОС

— Ну, что там у него случилось-то? — спросил Егор, едва они с Ревским вошли в комнату.

Ревский кутался в пижамную куртку, похожую на обрезанный махровый халат. Он сел на диванчик старинного вида, с гнутой спинкой и завитушками. Кивком показал Егору на кресло.

— Тяжелая история... Осенью Гай привез сюда из приемника одного беглого мальчонку, Димкой звали... Димка этот не жулик, не бродяга, а сбежал, потому что мать спланировала его в интернат... Не рассказывал тебе Гай про это?

Егор нетерпеливо покачал головой. Ревский кивнул:

— Понятно. Случай-то не такой уж трудный на первый взгляд... Гай поговорил с матерью Димки, убедил ее вроде бы, что мальчику в интернате не жизнь. Бывают такие, что не могут без дома, чахнут от тоски. Мать сперва: «Ладно, ладно, я понимаю...» А потом опять его туда же. Ты, мол, Димочка, должен понять: дома братик или сестренка маленькая скоро будет, тесно, трудно... А Димка в интернате совсем извелся, написал Гаю письмо: «Михаил Юрьевич, пожалуйста, ну пожалуйста, приезжайте, поговорите опять с мамой, я так больше не могу...» — Ревский вдруг закашлялся, потом сжал губы. Сказал, глядя мимо Егора: — Я это письмо видел...

— И... что? — шепотом спросил Егор.

— Гай понял, сорвался сюда... А Димки уже нет. Вечером в раздевалке — веревку на крюк и в петлю головой...

Ревский замолчал, забарабанил пальцами по тугому диванному сиденью. В соседней комнате, где обитали его сыновья-студенты, под равномерное уханье музыки пел женский магнитофонный голос:

Нам не вернуться до срока,
В ритме тяжелого рока
Будешь опять одиноко
С тенью судьбы танцевать...

«Чушь какая», — машинально подумал Егор. Тяжело сказал:

— И теперь Гай казнится, что опоздал...

— Он не виноват, что опоздал. Письмо написано в начале марта, а на штампе на конверте — двадцатое число. Гай в момент разобрался, в чем дело. Специалист все-таки.

— А в чем... дело?

— Письма-то ребята для отправки воспитателям сдают. А те, конечно, любопытствуют. Какие-то письма совсем не посылают, если там жалобы, какие-то задерживают: чтобы вскрыть, прочитать, заклеить, отослать, тоже время надо. Ну вот, Димкин воспитатель и проволынил. Может, сперва совсем отправлять не хотел, а потом все же решил. А пока письмо шло...

— А что за воспитатель? — спросил Егор. И почему-то вспомнил Поп-физика. Такой же, наверно...

— Гай говорит, молодой, уверенный. С вузовским значком... Умный, говорит.

— Умный?

— Да... Сказал Гаю: «Вы юридически ко мне не подкопайтесь».

— А Гай что?

— Гай... он и есть Гай. Сказал: «Вы ко мне тоже. Свидетелей нет...»

— И дал по морде?!

— Несколько раз... А потом пришел ко мне, просто черный весь... Я его какими-то каплями отпаивал, жена дала. А он все твердит: «Что же теперь делать?»

— Да ничего ему не будет! — горячо сказал Егор. — Свидетелей же не было! А если бы даже и были... Ну что, тот тип в суд, что ли, пойдет? Да его самого надо... — Он словно споткнулся о взгляд Ревского.

— Егор... Гай разве об этом? Он о мальчике...

Егору захотелось зажмуриться от стыда. Но он только отвернулся. Сказал коряво и с запинкой:

— Теперь... с этим-то что сделаешь... Раз нет его...

Магнитофон пел:

Как по велению рока,
Без остановок и срока
В ритме тяжелого рока
Танец твой не-у-мо-лим...

— Молодежь! — громко сказал Ревский. — Сбавьте вы на полтона ваш рок, ей-богу...

Молодежь сбавила. Ревский откинул голову и, глядя в потолок, проговорил:

— В человеческом мышлении господствует закон оптики...

Егор посмотрел на него с сумрачным вопросом.

— Очень просто, — объяснил Ревский. — Свои мелкие заботы и несчастья кажутся важнее больших, но далеких. Не своих... Муха, которая летает у твоего носа, выглядит крупнее самолета. И так во всем... Человечество давно уже по сути дела живет на сундуке с динамитом и гасит окурки о его щелястую крышку. Но этот факт занимает нас, в общем-то, меньше, чем ежедневные проблемы: скажем, «неуды» в зачетках, как у моих балбесов, или загубленный в Госкино сценарий, как у меня самого... Возможно, такой подход к явлениям бытия и разумен, иначе жизнь была бы невыносима... Но есть в этом что-то подлое...

Егор, не глядя на Ревского, спросил:

— А сколько лет было этому Димке?

— Не знаю... Видишь, даже не знаю, не поинтересовался... Вот мы с тобой пожалеем его, содрогнемся даже, а вскоре перестанем о нем думать — у каждого свои дела.

— Ну так что же, — неловко сказал Егор. — Так у всех...

— Кроме Гаю! Он так не может, у него на каждую человеческую болячку свой нерв. А болячки не лечатся, а нервы горят... Мать и Галка за его позвоночник страдают, но это чушь, с такой спиной до ста лет скрипят. А сердце он сожжет ко всем чертям, жениться не успеет... Кстати, ты знаешь, что ночью он летит в Севастополь?

— Откуда мне знать? Мы же не виделись.

— Он ходил к тебе вчера вечером, когда немного успокоился... Не застал тебя... А сегодня утром он ездил на кладбище. На Димкину могилу.

— В хорошеньком настроении он полетит в Севастополь... — отозвался Егор. — А когда он вернется? Мне его надо до зарезу.

— Через неделю. С первого апреля он должен пойти на работу в газету. По договору... Если, конечно, не будет скандала из-за пощечины.

— Жалко, что мы не увиделись. Черт принес за мной вчера вечером Наклонова...

— А! Так он отыскал тебя?

— А вы откуда знаете? Что он меня искал?

— Вчера около восьми часов он звонил мне. Спросил, не знаю ли я твоего адреса. Объяснил, что ты ему нужен по каким-то делам литературного клуба. Я, признаться, и не подозревал, что ему известно... твоё происхождение... Но он спешил, объясняться было некогда. Адрес я дал.

Егор подумал. Вспомнил. Сопоставил. Медленно сказал:

— Д-да... дипломат. А мне потом говорит: «Ты разве с ним знаком?» С вами то есть.

— Странная история. Если не секрет, зачем ты ему столь срочно понадобился?

— Почуял, что хвост прищемило, — зло сказал Егор.

— Выразительно, но непонятно...

— Я объясню. По порядку, ладно?

Ревский не перебил ни разу.

— ...Я так и сяк вертел в голове эту историю, — закончил Егор. — Ну не мог Толик рассказывать о гибели Алабышева. Верно ведь?

Ревский сидел, откинувшись к спинке дивана и наклонив курчавую голову. Он похож был на Пушкина, который изрядно постарел и сбрил бакенбарды.

— Насколько мне помнится, — медленно сказал Ревский, — Толик совсем ничего не говорил про Алабышева. Я отлично помню то лето и наши разговоры. Толик вообще лишь однажды упомянул о рукописи, когда мы говорили об острове Святой Елены. И никогда он повесть Курганова нам не пересказывал... А про Алабышева я впервые услышал в шестьдесят седьмом году, на «Крузенштерне»...

— Вот видите! Значит, Наклонов мог узнать про него только из рукописи! Правильно?

Все так же медленно и слегка отрешенно Ревский проговорил:

— Детективная история в стивенсоновском духе... и с грустным оттенком.

Егор не стал уточнять, откуда грустный оттенок. Он и сам его ощущал, но не это было главное.

— Александр Яковлевич, как вы думаете? Могла рукопись как-то оказаться у Наклонова?

— Теоретически это не исключено... — Ревский рассеянно прошелся пятерней по шевелюре. — Можно предположить... например, так. Мы той осенью, да и следующим летом, увлекались сбором утиля. По городу ходили старьевщики — агенты «Вторсырья» с тележками, мы им сдавали всякое барахло. И бумагу старую тоже. Не так, как сейчас макулатуру, а вместе с рваными калошами, тряпьем, всякой рухлядью. А взамен получали ко-

пейки или игрушки — пистолетики, свистульки... Ну а утиль-то надо было добывать, вот и бросил Олег наш отряд на поиски. По дворам, по свалкам, по чужим чердакам... Чердаки — это было особенно заманчиво. По вечерам, с фонариками, масса страхов и приключений. И находки самые неожиданные: то лампа старинная, то подшивка «Нивы»... Ну и папки с бумагами всякие... Вечером свалим трофеи у Олега на веранде, а утром разбираем... Не исключено, что копался в добыче он и без нас, заранее. И мог наткнуться на рукопись. Если она как-то попала из комнаты Курганова на чердак...

— А могла попасть?

— Ну, об этом я так же, как и ты, могу лишь догадываться...

Скажем, дочь Курганова не обратила внимания, выкинула с другими бумагами, а соседи убрали наверх. Или еще как-нибудь... К тому же это лишь одна версия. А могло быть иначе. Например, взрослый уже Наклонов обнаружил рукопись в каком-нибудь Новотуринском архиве. В архивах, как и на чердаках, порой попадают самые неожиданные вещи... А как было на самом деле, мы теперь, скорее всего, никогда не узнаем. Да и не это главное.

— Главное — узнать бы: правда ли, что он списал повесть у Курганова? — возбужденно сказал Егор.

И, словно желая погасить его азарт, Александр Яковлевич грустно ответил:

— Главное, что не хочется верить... будто Олег способен на такое.

— «Способен, не способен»... — Егор досадливо съезжился. — Теперь-то все равно ничего не доказать... Ой, Александр Яковлевич! А машинка-то ведь есть! Рукопись-то на ней напечатана! Если она у Наклонова, можно сверить шрифт!

— И что же ты хочешь? «Внедриться» в квартиру Олега Валентиновича, обшарить ящики, найти нужные листы и провести экспертизу?

— Ну а хотя бы! — вскинулся Егор. Но под грустно-внимательным взглядом Ревского его запал почему-то угас.

— Возможно, той рукописи уже и нет, — помолчав, сказал Ревский. — Даже если она была, Наклонов мог ее перепечатать, а оригинал уничтожить. От греха. А если и не уничтожил, то сожжет сейчас или запрячет подальше. Поскольку что-то почуял...

— Александр Яковлевич! Вот вы говорите «не хочется верить». А сами, значит, думаете так... что он может?

Ревский толчком поднялся с дивана и заходил, почти забегал из угла в угол. Остановился. Сказал:

— Никуда не денешься... Судьба, что ли?

— В чем судьба-то? — неловко спросил Егор.

Ревский схватил стул, сел перед Егором.

— В том, что такой разговор. И вообще все это... Я с тобой

говорю сейчас не как с мальчиком-восьмиклассником, а как... ну, как с Толиком, что ли. Ты его сын. Поэтому честно. Мне кажется, что... в какой-то момент Олег это мог.

— В какой момент?

— Ну, не сразу же... Возможно, рукопись попала к нему в робингудовские времена. Он читал, знал, что она связана с Толиком. Была она как память о детстве. Привык к ней, считал, может быть, почти своей... А потом узнал, что Толика нет уже на свете и других экземпляров рукописи тоже нет...

— А откуда он мог узнать, что нет экземпляров?

— Увы, от меня... Осенью шестьдесят седьмого, после гибели Толика, мы встречались с Олегом в Ленинграде, я рассказал все, что случилось. Мы долго тогда говорили. Под настроение я поведал и всю историю кургановской рукописи. Как ее Толик на «Крузенштерне» рассказывал. И про то, как сжег Курганов первые два экземпляра, тоже упомянул...

— Да, — жестко сказал Егор. — Теперь понятно... Автора нет, Толика нет, доказательств нет. А единственный экземпляр — у Наклонова. Ставь свою фамилию и печатай... Странно только, что он не сделал это сразу. После разговора с вами.

— Если считать Олега действительного виноватым, то не странно, Егор. Тогда жива была еще Людмила Трофимовна, мама Толика. И, наверно, редактор был жив, который читал рукопись в издательстве...

— А может быть, и сейчас жив.

— Не знаю... Я ведь только предполагаю все это. Но тридцать пять лет прошло... А скорее всего, есть еще одна причина, по которой Олег не сразу...

— Какая же? — со злой ноткой спросил Егор. Потому что почувал в голосе Ревского сочувствие Наклонову.

— Самая главная... Чтобы решиться на *такое*, надо переступить через себя... Олег, прямо скажем, писатель не блестящий. Книжки у него средненькие. Пишет о том, о другом, хватается за разное, а главной темы, стержня, для себя найти не может. Это уж кому сколько таланта отпущено... А человек он умный и все это понимает. Годы меж тем идут, и ясно уже, что в классики не выбиться... А в то же время все эти годы лежит рядышком готовая рукопись, которая совсем ничья. И, видимо, талантливая. Вот и начинает точить мысль: «Она же все равно пропадет. Не все ли равно, чья там будет фамилия? Главное, чтобы ее прочитали...» Ну, и остается сделать два шага, Егор...

— Какие?

— Первый — переступить через самолюбие. Признать полностью, что сам по себе автор ты неудавшийся и без этой чужой повести имя свое известным не сделаешь... А второй шаг — через совесть. Надо ее как-то успокоить. Убедить, что в поступке

этом ничего особенного нет. Мол, и раньше бывали в литературе заимствования. И еще такая мысль: «Я ведь не все подряд возьму, кое-что изменю...» Возможно, и в самом деле изменил кое-какие страницы...

— Вы все так рассказываете, будто...

— Что?

— Будто все точно знаете.

— Ты, Егор, по-моему, не это хотел сказать.

— Ну... будто с вами самим когда-то такое же было, — сердито бухнул Егор и почувствовал, как горят уши.

Ревский не обиделся, не вспыхнул. Сказал грустно:

— Наверно, у многих такое бывает. Хоть раз в жизни. Только один человек делает шаг, а другой... поболтает ногой в воздухе и поставит обратно. Тут граница хрупкая... Егор, Наклонов человек сложный, но... не подонок же он. Скорее он неудачливый человек, несчастливый... В нем много хорошего. И когда он говорил с тобой о Толике, о том, что во многом благодарен ему, он был наверняка искренен. Детство — это то, что предать труднее всего.

— А яма? В том же самом детстве, — тихо, но упрямо сказал Егор.

— Ну, яма... В мальчишечью пору кто не делает глупостей. Тут и самолюбие, и обида чрезмерная, и недомыслие... У какого мальчишки совесть без пятнышек, а?

Егору захотелось уткнуться носом в колени. «Дофилософствовался, дурак?» — мстительно сказал он себе.

— А к тому же, — продолжал Ревский, — я рассуждаю отвлеченно. Может, никакой истории с рукописью не было. И, честное слово, я буду счастлив, если смогу это узнать.

— Ничего вы не узнаете, — уныло сказал Егор. — И никто не узнает. Последняя надежда была — эпилог в тайнике машинки. Можно было бы сравнить с наклоновским эпилогом и доказать. А теперь что, раз подставка сгорела...

Ревский растопыренной ладонью потер лоб и глаза. Мотнул курчавой головой, словно прогоняя дремоту. Или сомнения?

— Да... Оказывается, ничего в этой жизни не случается зря... Егор, один знаменитый персонаж в одном знаменитом романе сказал: «Рукописи не горят»...

Егор быстро поднял глаза. Ревский встал.

— Это справедливо, по крайней мере, по отношению к вышеупомянутому эпилогу...

— У вас есть копия?! — Егор рванулся из кресла.

— Копии нет. Но когда Толик на «Крузенштерне» читал эпилог наизусть, мы с Изой включили студийный магнитофон... Микрофон был на штанге, в стороне, Толик и не заметил. Но записалось отчетливо.

Ревский шагнул к стеллажу, стал двигать на полке книги, папки, плоские коробки. Егор почувствовал, как слабеет от волнения. Тьфу ты, нервная дама... Он опять сел. С приколотых к стеллажу крупных фотографий на Егора смотрели знакомые и незнакомые артисты и режиссеры. Каждый по-своему: кто насмешливо, кто ободряюще. А за дверью звучало приглушенно:

Что наша жизнь за морока —
В ритме тяжелого рока...

Вот холера! Теперь этот мотив засядет в мозгах! Чтобы перебить его, Егор «включил» в памяти другое:

Мы помнить будем путь в архипелаге...

И еще:

После тысячи миль в ураганах и тьме
На рассвете взойдут острова...

Песня, которую пели на «Крузенштерне». В те дни, когда Анатолий Нечаев читал там последнюю часть кургановской повести.

...Ну что столько времени возится Ревский? Сейчас скажет: «Не знаю, куда подевалась пленка...»

Ревский достал плоскую коробку. Шагнул к двери.

— Юноши! Кончайте ваше «роковое томление», мне нужен магнитофон... Что? Потёрпите. Тащите живо...

Рослые, совершенно одинаковые Илья и Яша принесли тяжелый, как сейф, «Юпитер». Сказали Егору «привет» и удалились, демонстрируя возмущение отцовским произволом.

Ревский поставил на «Юпитер» большую бобину.

— А Гай разве не знает про эту запись? — спохватился Егор. — Он ничего не говорил...

— Гай не знает...

— Почему?

Не оборачиваясь, Ревский объяснил неохотно:

— Сперва я просто боялся об этом говорить, напоминать про все. Гай и так был не в себе. А потом... Знаешь, у каждого бывает что-то очень свое. Вот так и эта пленка для меня. А Гая не хотелось мне лишний раз бередить, да и виделись мы нечасто. Ну, слушай... Егор Нечаев...

Сначала был слабый электрический шелест, потом за этим шелестом возникло ощущение широкого пространства, в котором тихо дышали десятки людей. И наконец негромкий, но отчетливый молодой голос произнес:

— Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Крыму был необычным...

Егор закрыл глаза.

Он слушал и ловил себя на том, что порой не вникает в содержание, а пытается представить, как это было. Ночь над бухтой, курсантов на палубе, трапах, шлюпках. И Толика... который вот он, будто живой, будто сейчас говорит перед притихшими людьми. Руку протяни — и дотронешься до его локтя...

Егор давно уже не думал о Толике как о чужом. Наоборот. Был Толик самый свой, что ли... Но думать о нем как об отце Егор все равно не мог. Он ощущал его скорее как старшего брата. Вроде Гая. Впрочем, так ли это важно? Толик — и все. Иногда казалось, что он жив и где-то неподалеку. Но сейчас горькое сознание, что его нет — хотя голос вот он, звучит рядом, — резануло Егора. Так, что под закрытыми веками шевельнулись едкие песчинки. Егор зажмурился сильнее и заставил себя слушать внимательней.

И, не шевелясь, высидел сорок минут, пока Толик не сказал:

— ...Он не успел принять участия ни в одном сражении и не убил ни одного врага... Он сделал не в пример больше: отнял у этой войны, у смерти десять ребятишек. Тех, кому жить да жить...

Егор сердито проморгался, выпрямился в кресле. И такую повесть Наклонов хочет сделать своей! А человек, который над ней мучился, сгинет в неизвестности? А Толик, что ли, зря страдал за всех, про кого там написано?

...Ревский дождался, когда закончится обратная перемотка, снял бобину, протянул Егору. Тот нерешительно сказал:

— А вы как же? У вас ничего не останется...

— Ну, что поделаешь. Это — твое...

— А куда я с ней с такой?.. Александр Яковлевич, давайте я лучше завтра «Плэйер» принесу, перепишу на кассету. Получится чисто, один к одному!

— Это мысль. Давай... Только лучше послезавтра. Завтрашний день у меня на студии будет подобен аду кромешному.

Егор сразу испугался. А вдруг за два дня с пленкой что-нибудь случится? Как с подставкой от машинки. Ревский понял:

— Никуда она не денется... Я другого боюсь...

— Чего?

— Егор... А что ты собираешься делать дальше?

— Я... не знаю, — честно сказал Егор. — Я не буду торопиться. Надо подумать.

— Вот именно. Подумать тебе надо крепко. Дело-то не простое, тут человеческая судьба. И она в твои руки попадает... Ты это понимаешь?

Егор знал, что глаза у него не совсем просохли, но глянул на Ревского прямо и дерзко:

— Если вы боитесь, можете не давать пленку.

— В том-то и дело, что не могу. Не имею права. Ты — наследник... Я не пленку имею в виду, а все, что было.

— И все-таки вы жалеете, что сказали про запись. Да?

— Егор! Я никогда не жалею о принятых решениях, — резко ответил Александр Яковлевич. Незнакомо. Но тут же перешел на прежний тон: — Однако ты меня пойми. Как бы там ни было, а Олег — друг детства...

— А Толик?

— В том-то и дело... Черт! всю жизнь я мечусь между ними. Даже теперь, когда Толика давно нет. Опять надо делать выбор.

— Разве дело в Толике? — осторожно сказал Егор. — Дело, наверно, в справедливости.

— Да... Но и справедливости мы с тобой хотим разной. Я буду счастлив, если окажется, что Олег не виноват. А ты этим обстоятельством был бы весьма огорчен. Не так ли?

Егор ответил не сразу. Ревский, наверно, и не ждал ответа. Егор наконец сказал:

— У вас с Гаем есть одна одинаковая черта. Дурацкая. Извините.

— Ничего. Какая же?

— Вы любите угадывать мысли других. Будто мозги потрошить. И наперед все предсказываете...

— Да? Не знал такого за Гаем... А что я предсказал?

— Что я буду рад, если Наклонов виноват... А я не буду.

Еще вчера утром Егор мог торжествовать, если бы Наклонова удалось уличить в обмане. А сейчас... После того, как вечером он побывал у Наклоновых дома, после того, как дом этот оказался добрым таким и дружеским... Но объяснять это было долго. Да и зачем вывертывать себя наизнанку? Егор только повторил:

— Не буду. Но я должен узнать...

— Ну что ж...

— Вы думаете, я как охотник? Или мне приключений хочется? А я... Вы же сами сказали, что я... наследник.

— Ладно, Егор, — неловко отозвался Ревский. — Я ведь только вот что говорю: не наделай бы глупостей.

Егор покладисто сказал:

— Я понимаю... Знаете что, с Гаем бы посоветоваться.

— Это мысль. Но, наверно, он уже в аэропорту или по дороге туда... Да и боюсь, что сейчас ему не до того.

— Наоборот. Может быть, это его отвлекло бы... — Егор запнулся. Ревский смотрел с грустной усмешкой.

— Вот видишь. А нас уже отвлекло. Я же говорил... Уже и забыли о Димке.

— Я не забыл, — сказал Егор. И это была правда. Он не забыл, потому что думал о рукописи и лейтенанте Головачеве. — Александр Яковлевич, Димка разве виноват? Ну, что не вытерпел и вот так...

— Что ты, Егор... Как можно обвинить ребенка? Он не выдержал одиночества. Взрослые и те не всегда выдерживают.

— Вот и я говорю. Лейтенант Головачев застрелился тоже из-за этого. Разве он виноват?

— Трудно судить. Что мы знаем о Головачеве? Даже повесть не читали, а слышали в пересказах, в отрывках... А вот мальчика жаль отчаянно.

— И еще Гая, — сказал Егор. — Мы-то этого Димку все-таки не знали, а он знал. Поэтому ему хуже всех.

— Хуже всех Димкиной матери.

— Ну, она-то сама виновата!

— Это и есть самое страшное. Как жить с такой виной?

«А ведь правда! — ахнул про себя Егор. И подумал о Веньке: — А что, если бы... Зеленый шар, спаси и сохрани...»

Вспомнив про Веньку, он тут же вспомнил и Ваню. Как тот всхлипывал и сердито вытирал глаза подолом майки. А потом, когда простились, уже не всхлипывал, только смотрел в пол. А отец виновато говорил, что вот надо же, кто мог подумать про такое дело, и что машинка-то в самом деле из Среднекамска. И смущенно объяснял, от кого и как она попала к Ямщиковым, словно это могло помочь делу. Егор, чтобы хоть как-то загладить тягостную неловкость, сказал, что, скорее всего, в подставке никаких бумаг давно уже не было, нечего и горевать. Ваня понуро молчал.

— Александр Яковлевич, можно я позвоню от вас?!

Ревский кивнул на телефон.

— Алло... Анна Григорьевна? Здравствуйте, это Егор. Извините, что поздно, Иван еще не спит?! Да, на минутку... Вань!.. Слушай, а листы не сгорели! То есть сгорели, да не совсем... А вот так! Завтра приду и объясню. Спи...

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ

ЕГОР АЛАВЫШЕВ

«Не наделай бы глупостей», — сказал в тот вечер Александр Яковлевич. Но было ясно, что смысл у этих слов несколько иной: «Не наделай глупостей, Егор».

Егор был уверен, что не наделает. Он решил действовать не спеша и расчетливо.

Через день он побывал у Ревского и переписал рассказ Толи-

ка с «Юпитера» на «Плэйер». И потом целый вечер слушал голос Толика. И снова как бы видел перед собой просторную палубу и матчы, которые теряются в звездном крымском небе...

Наутро он прихватил «Плэйер» и пошел к Ямщиковым. Ваня встретил его сердито:

— Обещал все рассказать, а сам пропал...

— Не мог я, Вань, раньше, запись надо было сделать...

Узнав подробности, Ваня дуться перестал. Всю кассету прослушал внимательно. А пока он сидел с наушниками, Егор с интересом шелкал на «Ундервуде» — просто так, разные слова: «Крузенштерн... архипелаг... кассета... Среднекамск... Ваня». И почему-то: «Денис»...

Ваня стянул наушники и вздохнул:

— Интересно... Только машинка-то здесь ни при чем. Значит, никакой тайны не было.

— Как это ни при чем? Подумай! Если бы ты про машинку не сказал, я бы о тайнике не вспомнил. И Ревскому ничего не стал бы говорить. А он бы еще сто лет молчал о пленке!.. Нет, Вань, все благодаря машинке случилось. И благодаря тебе.

Ваня скромно расцвел. Погладил обшарпанный «Ундервуд».

— Вот она какая хорошая у нас... Егор! А папа знаешь что говорит? Он говорит: «Если правда эта машинка была бабушки Егора, то надо ее подарить ему». То есть тебе... Он говорит, что это как бы наследство... Правда ведь?

Радости в этих словах Егор не уловил. Расставаться с машинкой Ване явно не хотелось. Он добавил:

— Но надо еще Веника спросить, верно?

Егор засмеялся:

— Никого не надо спрашивать, ты что! Все равно я машинку не возьму, она ведь и ваше наследство тоже. Столько лет у вас! Венька вон какую кучу газет на ней отпечатал!

— Ой, а газеты! — подпрыгнул Ваня. Он был рад изменить разговор. — Ты не знаешь, их еще не повесили?

— Сейчас узнаем.

Егор позвонил Бутаковой, и она обрадовалась и сказала, что у них не класс, а сплошные лодыри: кого ни попросит помочь устроить выставку, всем некогда, у всех какие-то важные дела в каникулы. Один Громов согласился. И пусть Егор тоже обязательно приходит. Сегодня к двенадцати.

С Егором пошел, конечно, и Ваня.

Вчетвером они приклеивали к стене «Новости Находки» на втором этаже, где была пионерская комната. Номер за номером. Сверху прикрепили ватманскую ленту, на которой Бутакова заранее сделала надпись: «Газеты страны Фантазии. Работы ученика 8 «А» класса Вениамина Ямщикова».

Подошла завуч Тамара Павловна.

— Чем это вы заняты, молодые люди?

Бутакова объяснила. Тамара Павловна сказала, что все это странно.

— А кто разрешил их здесь вывешивать?

— Марина разрешила, мы с ней все обсудили, — сказала Светка. Мариной звали старшую вожатую.

— Странно... Такими делами распоряжается не старшая вожатая, а организатор внеклассной работы... А какой это гадостью вы их приклеиваете?

— Это же герметик! — весело объяснил маленький быстроглазый Юрка Громов. — Он него на масляной краске никаких следов! Плюнул, потер, вот и все...

— Вам бы на все только плюнуть и растереть... — Постукивая каблуками, Тамара Павловна принялась ходить от листа к листу. — Странно... Что за содержание...

Егор с Ваниной помощью развешивал последние номера. Он молчал, но уже закипал.

— Все-таки я не понимаю, — раздраженно произнесла Тамара Павловна. — С директором это согласовали?

— Марина говорит, что согласовала...

— Странно... Какие-то планеты. Зачем это? Сплошной отрыв от действительности.

— Не такой уж, видимо, отрыв, если вы испугались, — не выдержал Егор.

— Что? Чего я испугалась? Ты, Петров, отдаешь отчет, что говоришь?

— Отдаю... — Егор приклеил к стене последний угол газеты, отошел и полюбовался. — Конечно, отдаю... в том, что оторванные от действительности сказки Ямщикова не первый раз кого-то вздрагивать заставляют...

— А... Зато ты, я смотрю, вздрагивать не научился! А зря, голубчик! Пора бы уже понять, что теперь иная ситуация...

— «И что твой папа уже не прежний чин и спрятаться за его спину не удастся», — ровным голосом закончил Егор. — Знаю. Слышал уже много раз.

— Но не сделал выводов!

— Сделал... Вывод, что в школе не важно, какой сам человек, а важно, кто его папа...

— Какой человек ты сам, мы обсудим на педсовете, — сообщила Тамара Павловна. — И тогда ты сделаешь выводы, какие нужно... Господи, скоро ли наконец реформа? Может, хоть тогда призовут вас к порядку...

Она ушла не столько возмущенная, сколько угнетенная хамством и неблагодарностью нынешних лоботрясов, которым отдаешь столько сил, а они...

— Ну что ты с ней связался? — упрекнула Светка.

- Неконтролируемые эмоции, — объяснил Егор.
- Не сорвали бы только газеты, — серьезно сказал Громов.
- Мы на переменах будем охранять, — пообещал Ваня. — Пусть только полезут! Хоть из какого класса!
- Да я не про перемены. И не про тех, кто «из класса», — вздохнул Юрик. — Ну, поглядим... Вань, а кто Венька пишет?
- Ну, он пишет... — Ваня заулыбался. — К Первому мая приедет, наверно...
- Ты соскучился?
- Ага, — сказал Ваня. И почему-то взял за рукав Егора.

Нет, Егор не хотел делать глупостей. Он понимал, чего может стоить неосторожный шаг. В тот вечер, когда он делал перепись, Ревский сказал:

— Все о Димке думаю. И о причинах... Страшная штука — необратимые последствия. Из-за того что на несколько суток задержалось письмо — такая беда. Один глупый поступок этого мерзавца воспитателя — и вот...

— Не глупый, а подлый, — возразил Егор. — И не один. Тут много причин...

Однако мысль о необратимых последствиях запала в голову.

...Прежде всего надо убедиться, что эпилог у Курганова и у Наклонова — один и тот же. Как? Напроситься в гости к Олегу Валентиновичу, сказать: «Можно почитать вашу повесть?» Нет... Вроде бы ничего особенного в таком плане не было, обычная разведывательная работа. На войне как на войне. Но что-то удерживало Егора. Был он уверен, что Ревский не одобрит его. И Гай тоже. Ну ладно, с ними можно и поспорить. Но... не одобрил бы, наверно, и Толик. И еще: когда Егор представлял, как приходит к Наклонову, как берет рукопись, он словно наталкивался на вопросительный взгляд Дениса...

Нет, надо, чтобы Наклонов прочитал эпилог сам! Вслух!

Может, на занятиях студии намекнуть Наклонову: интересно, мол, чем кончаются ваши «Паруса «Надежды»? Но сам Егор это делать не должен, будет подозрительно... Эх, до чего же скверно, когда ты один! Не к кому ткнуться за помощью. Ванюшка еще мал. Не Бутакову же посвящать в эти дела...

А может... Юрку?

В самом деле, Громов никогда не смотрел на Егора Петрова косо. А последнее время даже как-то... ну, в общем, оказывался рядом чаще других. Скорее всего, случайно это, но... все же Громов лучше, чем кто-то другой.

С автомата Егор звякнул Бутаковой, узнал номер Юрки, позвонил ему:

— Громов?.. Это Петров. Слушай, Юрка, можно сейчас с то-

бой встретиться? Нет, не просто так, важное дело... К тебе? Ладно, иду. Давай адрес...

У Юрки они не засиделись. В тесной квартирке радостно вопили, носились и дрались брат и сестра Громова двух и трех лет. Егор предложил пройтись.

Они ходили по оттаявшим улицам, и Егор обстоятельно рассказывал о повести Курганова и обо всем, что вокруг нее. Юрка, обычно веселый и насмешливо-разговорчивый, слушал внимательно. Только один раз, в середине истории, он Егора перебил. Тихо и прямо спросил:

— А почему ты это рассказываешь мне?

И так же прямо Егор ответил:

— Мне больше некому, Юрик.

— Тогда ладно, — сказал маленький Громов.

— Поможешь? — спросил Егор, когда кончил рассказ.

— Да.

— Понимаешь, это не игра, не приключение. Это...

— Я понимаю.

Они пошли к Егору, и Юрка прослушал запись. Предложил:

— Надо бы сделать текст на бумаге. Надежнее будет.

— Я сделал...

Два вечера Егор сидел с наушниками, переписывал рассказ Толика в общую тетрадку. Послушает фразу, остановит пленку, запишет и опять... Получилось тридцать страниц.

— Вот... — Он протянул тетрадку. Юрка полистал.

— Это хорошо... Но лучше бы на машинке. На той самой.

Егор подумал, что и правда лучше. Была бы в этом какая-то справедливость: словно сгоревший эпилог возродился из пепла!

И, кроме того, можно сделать две-три копии...

— Юрка, а кто перепечатает? Я в этом деле ни бум-бум...

— Я вообще-то могу. Мама у меня машинистка, я маленько учился... Конечно, на старой машинке многое устроено по-другому, но можно приноровиться.

Оттого что у Громова мать машинистка — так же, как была у Толика, — Юрка стал Егору еще симпатичнее.

Они пошли к Ване и попросили машинку на несколько дней, объяснили зачем. Притащили «Ундервуд» к Егору. Егор диктовал, Юрка стучал по клавишам. Сперва медленно, потом приспособился. Отремонтированная машинка дребезжала, лязгала, но работала.

Печатали до темноты. Заходила Алина Михаевна, интересовалась, чем это мальчики заняты. Егор сообщил, что мальчики готовят реферат по истории.

— Хорошо, хорошо. Только стучите потише, отцу нездоровится. Шум его утомляет.

Но отец громко сказал из своей комнаты, что никто его не

утомляет, пусть люди работают. И машинка застучала снова. Стальные буквы «Ундервуда» опять выдавливали на бумаге рассказ о судьбе капитан-лейтенанта Алабышева.

Печатали и на следующий день. Дело все-таки шло не очень споро. К тому же было первое апреля, кончились каникулы, работать пришлось после школы. Однако и в этот день не управились. Заканчивали второго числа, в субботу...

— Веньку бы сюда, — вздыхал Юрка. — Он-то умеет обращаться с этим экспонатом, вон сколько газет на нем отстучал...

— А какая толпа была у газет! — вспомнил Егор. — И вчера, и сегодня!

И еще вспомнил он, как молчаливой цепочкой стояли у стены мальчишки-второклассники. Охрана...

...А в понедельник газет в коридоре не оказалось. Их перевезли в пионерскую комнату.

— Клавдия Геннадьевна велела, — объяснила вожатая Марина. — Говорит, скоро комиссия из горно, а тут вместо наглядной агитации какая-то научная фантастика... Да ладно, здесь тоже зрителей хватает...

Но очень скоро сняли газеты и в пионерской. Ваня сказал Егору:

— Я к Марине подошел, говорю: «Тогда давайте их обратно». А она: «Подожди, мне некогда». Егор, ты скажи, чтобы отдали.

— Обязательно! Ты не бойся, никуда они не денутся...

Но поговорить с Мариной Егор не сумел. В этот день не нашел ее, а на завтра стало не до того: на четыре часа назначено было занятие литературной студии.

Олег Валентинович пришел бодрый, улыбочивый. Хлопнул на подоконник тяжелый портфель. Поинтересовался, как весна влияет на юные таланты. Есть ли вдохновение? Созданы ли за время каникул произведения, которые обогатят мировую литературу? Или хотя бы такие, о которых можно поговорить здесь, в студии?... Что? Не созданы? Весеннее настроение более способствовало прогулкам и прочим приятным занятиям? Ай-яй-яй, товарищи! Отдых — дело прекрасное, но творчество не терпит праздности. Впрочем, ладно, дело молодое... Но, может быть, хоть кто-то порадует аудиторию свежими строками? А?

Вот он, Олег Валентинович, видит среди старых знакомых новое лицо. Наверно, этот молодой человек тоже решил приобщиться к нелегким литературным трудам? Не хочет ли он взять слово?

Юрка Громов, который сидел в стороне от Егора (нарочно далеко в стороне!), встал и скромно сказал, что он тут случайно. То есть не совсем случайно, только сам он ничего не сочиняет,

таланта нету, а есть у него вопрос. К Олегу Валентиновичу Наклонову. Осенью и зимой на встречах с ребятами Олег Валентинович рассказывал про свою повесть «Паруса «Надежды». И отрывки читал. И вот ему, Громову, интересно, чем эта повесть закончилась. Он, Громов, тоже любит книги про плаванья, поэтому все вспоминает и вспоминает «Паруса «Надежды». Может, Олег Валентинович прочитает конец повести, когда будет общее заседание литературного клуба?

Видимо, Олегу Валентиновичу слова восьмиклассника Громова пришлось по душе.

— Вообще-то... по правде говоря, я мог бы даже и сейчас. Рукопись у меня с собой, я как раз взял ее у машинистки после окончательной перепечатки... Не сочтите, что напрашиваюсь, но все равно, кажется, заниматься больше нечем. А?... С другой стороны, мнение юных талантов мне весьма интересно. И если нет возражений...

Прогулявшие все каникулы «таланты» радостно загалдели, что возражений нет.

— Только потом не отмалчиваться! У кого какие замечания — выкладывать честно... Я вам прочту эпилог повести. Он по сути дела представляет собой почти отдельный рассказ.

Народ завозился, устраиваясь на диванах удобнее. Лишь Егор сидел, замерев. Он не ждал такого поворота! Думал, сегодня Юрка только забросит удочку. Но судьбе, видимо, надоело томить Егора ожиданием, и она открыла шлюзы. События хлынули...

Наклонов достал из портфеля папку, из папки — листы. Близко поднес к очкам и слегка отодвинул. Обвел взглядом два десятка внимательных студийцев. Кивнул и сказал:

— Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Крыму был необычным...

Егор помнил эпилог почти слово в слово. Но все же он бесшумно достал из сумки и положил на колени копию текста. («Ты не ожидал, Егор, таких событий, но эпилог все-таки взял, а? И даже «Плэйер». И даже малютки-динамики... Значит, все-таки что-то предчувствовал?»)

Наклонов не видел бумаг на коленях Егора. Тот расположился во втором ряду, за спинами. Но читал Наклонов словно с тех страниц, которые были перед Егором. В первые две минуты не совпало лишь несколько слов.

Егор поймал на себе быстрый и непонятно смущенный взгляд Громова. Опустил ресницы: вот так, мол, Юрик, сам видишь... Он сидел совершенно спокойный внешне. Но только внешне. Смесь горького торжества и обиды подымалась в Егоре, и голос

Наклонова доносился уже словно сквозь ровный шум. Шум, похожий на гудение ветра в полотне и тросах надвигающегося парусника...

Егор обещал Ревскому не делать глупостей. Он знал об опасности необдуманных шагов. Но все сместилось теперь, и не было времени для расчета. Именно в такие моменты человек отбрасывает щит и сжимает в ладонях два меча. Свой и... чей?

Толика?

Гая?

Курганова?

Неважно. Главное, что два... Егор вдруг заметил, что у него сжаты кулаки.

— «...Они докурили и распрошались, подавши друг другу руки, причем Лесли ухитрился на утоптанном снегу щелкнуть каблуками, — прочитал Наклонов и слегка закашлялся. Закончил с натугой: — Далее каждый пошел своей дорогой...» Извините, друзья, что-то в горле першит. Видно, связки перетрудились...

И тогда Егор встал. И сказал негромко, но ясно:

— А давайте, сейчас почитаю я.

Он как-то сразу успокоился. То есть обида, волнение, страх даже — они остались, но теперь словно были отдельно от Егора. А он, прямой, невозмутимый, смотрел на удивленного Наклонова.

— Вы?.. Ну, извольте. А я передохну. — Наклонов протянул руку с листами, ожидая, что Егор пойдет к столу. Егор сказал:

— Я отсюда... Не надо ваших бумаг, я так.

И, ощутив неожиданный озноб, слегка сбиваясь, но громко, он прочитал в недоуменной, даже боязливой тишине:

— «Вскоре лейтенант Лесли отправил с очередной почтой письмо старшей сестре Надежде и в письме этом описывал прошедший день. В том числе визит на третий бастион, пленного сержанта, снежную погоду и ребячью игру в Корабельной слободе. Лишь о встрече с Алабышевым не упомянул, потому что не видел в ней примечательного...» — Егор поднял от страницы глаза, глянул в блестящие очки Наклонова. — Все правильно? Совпадает?

Серые глаза метнулись за стеклами, остановились и вонзились в глаза Егора. Зрачки в зрачки. И они сразу поняли друг друга — восьмиклассник Егор Петров (Егор Нечаев!) и писатель Олег Валентинович Наклонов. Между ними уже не было секретов. И ясно стало Егору, что сейчас у писателя Наклонова одна отчаянная цель: как-то выиграть время и «сохранить лицо». Так получивший смертельную пробоину корабль стремится к одному: выйти из-под огня и где-нибудь в тихой заводи выкинута на берег, по возможности не спуская флага.

Но, чтобы дойти до тихого места, надо сперва отстреливаться из уцелевших орудий.

Наклонов неприятно сказал:

— Как это понимать? Откуда у вас эта рукопись? — Он увидел в руке Егора листы.

— Издалека, — сказал Егор.

— А не с моего стола? Я не думал, что вы так воспользуетесь моим гостеприимством!

Да, это был коварный удар! Но растерянность Егора длилась не больше двух секунд.

— Вы хотите сказать, что я украл вашу рукопись? Я могу вернуть, пожалуйста. У меня есть копии. И к тому же... — Егора осенило! — ...К тому же напечатаны они на той самой машинке, на которой та... повесть Курганова «Острова в океане». И которую вы так старательно переписали и приклеили новое название...

Рука Наклонова метнулась к очкам, чтобы сорвать их и начать протирать. Пальцы Наклонова проšliсь по лацкану пиджака с редакционным значком местной газеты. Олег Валентинович сказал при общем тяжелом молчании:

— Что это... Петров? Зачем?.. Вы представляете, в чем обвиняете меня?

— В том же, в чем вы обвиняли меня. Дописать стихи отца — это литературное воровство, да? А списать чужую повесть?

Наклонов шагнул к окну, схватил портфель и стал заталкивать в него рукопись. Эти несколько секунд его, видимо, немного успокоили. Он глянул через плечо, сказал небрежно:

— Я вас даже не осуждаю. Вы решили таким образом расквитаться со мной за отца, с которым у меня в детстве были мальчишечьи стычки... Но есть же какие-то пределы...

— Оставим отца, — сказал Егор. К нему опять пришли хладнокровие и ясность. И теперь сразу находились нужные слова. — Отец расквитался с вами сам, на Черной речке... Но Арсений Викторович Курганов расквитаться не может, он умер в сорок восьмом году. Вы на это и надеялись, да?

— Какая чушь!

— Чушь? Тогда продолжим чтение! И сравним!

— Сравним с *чем?* С копией моей рукописи, которую вы как-то раздобыли?

— Егор! — взлетел голосок Юрки Громова. — А кассета!

Голы разом повернулись к Юрке, потом все взгляды опять обратились на Егора и Наклонова.

Егор ощутил, как сердце нехорошо вышло из ритма, притихло, потом толкнулось где-то у горла. Он переглотнул.

— Да... Вам не хочется, чтобы я читал. Тогда пусть почитает он...

— Кто? — испуганно спросил чей-то голос.

— Инженер Анатолий Нечаев. Друг детства Олега Валентиновича Наклонова! — Егор из сумки рывком достал «Плэйер», воткнул штекеры, один динамик бросил на колени сидевшему рядом семикласснику Пучкину, другой поднял к груди.

Голос Толика был негромкий, но в общем безмолвии звучал отчетливо:

— Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года...

Перекрывая этот голос, Егор сказал:

— Шестьдесят седьмой год, палуба парусника «Крузенштерн»! Нечаев читает эпилог повести Курганова «Острова в океане»!..

Наклонов рванул с подоконника портфель.

Подхватил и крепко посадил очки. Крикнул с яростью, с какой-то мальчишечьей обидой:

— Вот оно что! Спектакль затеяли!.. Я-то думал... А вы! Я больше не руководитель студии! — И широкими шагами, почти скачками кинулся за дверь.

И было полминуты тишины, в которой из крымского вечера шестьдесят седьмого года доносился рассказ о суровой зиме на севастопольских бастионах... А потом началось: шум, толпа во круг, возмущенные крики, вопросы.

Что-то гневно верещала Бутакова.

Кто-то тряс Егора за плечо.

Кто-то требовал все объяснить по порядку, а какая-то девчонка слезливо долдонила: «Гнать из студии, вот и все. Гнать из студии, вот и все...»

Юрка Громов звонко кричал:

— Да подождите! Вы же ничего не знаете!

Потом снова стало тихо. Студийцы, окружившие восьмиклассника Петрова, медленно расступились.

— Пусть мне объяснят, что здесь произошло. Ии немедленно!

ОТЦЫ

За окном давно стемнело, но Егору не хотелось включать лампу. Он лежал и смотрел в затянутый пепельным сумраком потолок. И тихо себя ненавидел. Бурная злость уже перекипела, едкая досада рассосалась. Осталась вот эта презрительная спокойная ненависть к идиоту Егору Петрову, который наделал столько глупостей.

Все ходы рассчитывал, планы строил, а что получилось!

И был еще страх — никуда не денешься. Вспоминался визг-

ливо-металлический голос Классной Розы: «Ты знаешь, что Олегу Валентиновичу в учительской стало плохо?! Ему вызвали «Скорую»! Если что-то случится, виноват будешь ты! Именно ты!»

Что за проклятая участь у Егора Петрова? Почему из-за него люди оказываются на границе жизни и смерти? Вдруг у Наклонова в самом деле инфаркт или еще что-нибудь такое?

Разве Егор хотел для Наклонова какой-то беды? Он хотел только, чтобы повесть снова стала повестью Курганова! Но если... если случится с Наклоновым самое страшное, кому какое дело будет до повести? «Мертвые сраму не имут». Кто станет слушать восьмиклассника Петрова? И как он спасется от вечной вины?

«Да не трепыхайся ты, ничего не случится! — крикнул себе Егор. — Мало ли к кому вызывают «Скорую» и дают валерьянку? Смотри, как бы самого не пришлось каплями отпаивать! Псих...»

Ну а если никакой беды с Наклоновым и не будет, чего же добился Егор? Наклонов перепишет эпилог другими словами, и потом крути магнитофон, доказывай! А повесть с названием «Паруса «Надежды» и с фамилией О. Наклонов пойдет в печать...

«Нет, не пойдет, — подумал Егор. — Он же не знает, что у меня только эпилог. Он думает, наверно, что у меня вся повесть. Экземпляр, про который никто раньше не знал... А всю повесть не перепишешь по-своему, таланта не хватит...»

Егор вдруг представил, как Наклонов лежит в своем кабинете на диване, тоже в темноте, и тоже думает о повести: что теперь делать?.. А может быть, не до того ему? И, может быть, он не дома, а в больничной палате, и неслышно суетятся у кровати врачи и сестры, тихо звякают шприцами...

А вдруг уже и не суетятся?..

А в пустой отцовской комнате мается от долгой, неуходящей тревоги Денис Наклонов, глядит на телефон, который может вот-вот взорваться зловещим звонком... Глядит, мучается страхом за отца и ненавидит Егора... Он-то, Денис, ненавидит его справедливо. Потому что — сын.

...А если Олег Валентинович жив-здоров и даже смирился с потерей повести, что дальше? Для читателей-то повесть Курганова тоже потеряна! Наклонов сожжет все экземпляры, чтобы раз и навсегда спасти себя от обвинений...

А как надо было поступить? Подойти и один на один сказать: «Олег Валентинович, верните рукопись»? Ага, так бы он и разбежался возвращать!.. Или дожидаться, когда у Наклонова выйдет книга, и поднять шум? Да, но сколько ждать-то... Да и не думал об этом Егор, кинулся в бой очертя голову...

В доме было тихо. Мать куда-то ушла, отец, наверно, лежал у себя. Он жил теперь неслышно, молчаливо, угасший. Придет с работы и сразу ложится. Мать боялась за него.

...Раздались медленные шаги, открылась дверь. В освещенном прямоугольнике показалась фигура отца. Он держался за косяки. По краям сухой длинной головы, на висках просвечивали клочковатые волосы.

— Егор, ты дома? — Он спросил это вполголоса.

— Дома...

— Что лежишь в темноте?

— Зачем он, свет-то?

— Думаешь?

— Ага...

— Что-нибудь случилось?

— Да так... всякое...

— Неприятности какие-то?

— Ну, какие у меня могут быть неприятности? Мелочи жизни... Суета сует, как сказано в Библии...

— Ну-ну... размышляй. — Отец ушел. И была секунда, когда Егор едва не сказал: «Папа, постой...» Потому что сил нет переваривать в себе все, что случилось. Хоть с кем-то поговорить бы... Может, отец поймет? Ведь сам он, Виктор Романович, вон сколько пережил недавно, должен и чужие несчастья чувствовать...

А должен ли? Может, за своей бедой другие беды ему кажутся пустяками? Закон оптики, перенесенный на мышление...

Ну а сам-то Егор лучше? Когда отец пришел после того собрания, разве пытался Егор сказать ему хоть что-то хорошее? И в мыслях не было. И не могло быть, раз жили они как чужие.

А сейчас можно ли рассказывать отцу про то, что связано с тем, с первым отцом? Лишний раз по нервам бить. Он и так живет, будто не знает, зачем ему жить... Может, правда не знает! Все потерял, что было: высокую должность, громкое имя, партбилет, любимую работу... Пусть хоть что говорят, пусть он химичил, приписывал, о личной выгоде думал, но цех свой все равно любил. Это даже и Егор видел. Может, ничего другого отец и не любил по-настоящему... В том-то и беда.

...Дверь осталась открыта, Егор видел в ней угол зеркала в прихожей и тумбочку с навсегда замолчавшим телефоном.

Если бы работал телефон, первое дело — позвонить Михаилу: «Гай, я такого тут нагородил! Гай, послушай... А может, приедешь? Мне совсем нелегко одному...»

Но сейчас как позвонишь? Опять идти к Ямщиковым? Сколько можно! Еще за прежний разговор деньги не отдал... Кинуться к Ревскому? Но тогда придется все ему рассказать. И скажет Александр Яковлевич: «Мы же говорили о необратимых последствиях, помнишь?» А Егору и так тошно...

Попросить у отца три рубля и пойти на почтаamt? Но туда надо тащиться через полгорода, а тело ноет, как после побоев.

Плохо, когда человек один, недоброе это дело и суета сует... Так, кажется, Курбаши говорил? Где он сейчас, Курбаши?.. Недоброе дело...

Есть еще Юрка Громов. Но чем он поможет, что посоветует? Сегодня шли они домой вместе, и Юрка бесстрашно доказывал Егору, что все равно они правы и завтра на собрании правоту эту с боем отстают. И Егор дурачки так, бодрячески на прощание хлопнул Юрку по плечу: «О'кей. Завтра наша возьмет...»

Это Классная Роза, накричавшись, заявила, что на завтра означает собрание. И пусть все члены студии тоже приходят. И тогда в полной красе предстанет перед всеми личность Егора Петрова, по милости которого студия лишилась руководителя — прекрасного писателя и человека. Пусть Петров, если есть у него хоть капля смелости и порядочности, держит ответ.

Он согласен держать ответ. Он даже попытается что-то доказать. Не Классной Розе, конечно, — это никогда никому еще не удавалось, — а ребятам... Хотя что им Егор Петров со своими доказательствами? Для одних он — Петенька и Кошак. Для других — злодей, лишивший студию руководителя.

И все же о завтрашнем собрании думал Егор с облегчением. Всякий бой, даже безнадежный, лучше тоскливого томления.

Чего угодно ожидал Егор, но чтобы на собрании оказался Денис Наклонов — такого в голову не приходило! А он был здесь. И сидел там же, где и в первый раз, — на крайнем диванчике у двери. Насупленный. С Егором они зацепились взглядами и отвели глаза. С отчуждением и тяжелой стыдливостью...

Собравшиеся в клубной гостиной четко делились на две половины — и по размещению, и по настроению. Два десятка студийцев — от ершистого пятиклассника Борьки Глебова до царственной десятиклассницы Алевины Докуниной — как бы излучали единое энергетическое поле. В нем было сдержанное негодование и болезненный интерес к событиям. А представители восьмого «А» демонстрировали смесь жидкого раздражения и флегмы. Им хотелось домой. Но еще на первом уроке Классная Роза намекнула, что отношение восьмиклассников к собраниям — показатель их общественной активности. Отсутствие этой активности, естественно, будет отражено в характеристиках, а характеристика — первый документ, по которому смотрят: брать человека в девятый класс или рекомендовать ему одно из ближайших ПТУ. И сейчас можно было сразу вычислить, кто из одноклассников Егора стремится в будущем году продолжать образование в родимой школе. Пришло из восьмого «А» чуть больше половины.

Им было почти все равно, что там натворил Кошак и правда ли, будто у писателя Наклонова с Гошкой-Петенькой какие-то счеты. Рукопись какую-то не поделили? Оно любопытно, конеч-

но, однако не настолько, чтобы торчать в школе лишних два часа.

На перемене лишь невозмутимый Максим Шитиков небрежно заинтересовался у Егора:

— Что же это за «дикий ии безнравственный поступок» совершил ты, Петров? Из-за чего намечено сборище?

— Останешься — узнаешь, — буркнул Егор.

— Интригуешь?

— Само собой...

Громова Егор спросил:

— Никому не рассказывал, в чем дело?

— Никто и не спрашивал... Бутакова что-то трепала девчонкам, а со мной не говорила...

«Никто и не спрашивал». Что же, это понятно. Много ли сам Петенька спрашивал, если у кого-то что-то случилось? Восьмой «А» давно уже вырос из наивных рамок пионерско-октябрятского коллективизма. Люди взрослые, каждому свое. Кому-то билеты зубрить для экзаменов, кому-то прошвырнуться по весенним улицам: погодка-то — закачаешься...

Юрка смущенно сказал:

— А Розушка вчера отцу на работу звонила. Причем хитро так: «Ваш Юра еще маленький, доверчивый, как пятиклассник, а этот Петров его втянул в неприятности. Вы повлияйте на Юру...»

— Да, влип ты из-за меня, — виновато отозвался Егор.

— А чего я влип? Батя у меня мужик прямой. Сразу ей врубил: «Его, — говорит, — втянуть нельзя, если сам не захочет, он как Иванушка перед печкой Бабы Яги — руки-ноги растопырит и не лезет. А если втянулся, значит, считает, что справедливо...» Роза, конечно, в крик. И, конечно, про девятый класс. А отец ей: «Вы его шкурничеству раньше срока не учите, его и без вас этому жизнь учить будет. Пусть хотя бы, пока не вырос, человеком поживет...»

Егор подумал, что такие, как Юрка, «человеками» живут до конца.

— Повезло тебе с отцом.

— Да ведь и тебе... повезло, — тихо сказал Громов. — С Нечаевым... — И виновато засопел. Ну, в самом деле как пятиклассник.

Несмотря на эту виноватость и сопение, слова Громова Егору помогли. Тверже его сделали. И собрания ждал он почти спокойно.

Окна гостиной смотрели на запад и на юг. За ними плавился апрельский день. На солнечной стороне пришлось задернуть тонкие, салатного цвета шторы. Воздух стал зеленоватым, лица

травянистыми. А у Классной Розы острое ромбовидное лицо было землисто-болотным, когда она вышла к столу.

Роза Анатольевна сразу взяла быка за рога:

— Пусть Петров выйдет сюда и объяснит свой вчерашний чудовищный поступок.

Егор с радостью и благодарностью ощутил в себе хорошую злость. Ту, которая не дает труситься и сбиваться в словах.

— Если заранее решили, что он чудовищный, чего объяснять?

— Ты иди сюда! Перед всеми! И тогда говори!

— Может, еще скамью поставить? Как в суде? — сказал Егор. — И двоих с пистолетами?

— Это от тебя не уйдет. А пока обойдешься без скамьи.

— Мне здесь удобнее. — В самом деле Егору не хотелось нести к столу «Плэйер» с динамиками, а он мог пригодиться.

— Боишься, — с удовольствием сказала Классная Роза. — Разумеется! Придется смотреть всем в глаза. Своим товарищам...

«Если бы товарищам...»

— Ии вот ему! — Роза Анатольевна выкинула руку в сторону Дениса. — После всего, что ты сделал с его отцом! Как ты будешь смотреть ему в глаза? Ну, посмотри, посмотри!

— И посмотрю! — рявкнул Егор. И встал. И глянул на Дениса прямо и яростно. — Я что, украл у него что-то? Я сказал, что было!

Взгляды сошлись. И стало тихо. Секунды три Денис не отводил сумрачные глаза, потом перевел их на Классную Розу. И тоже встал.

— Ничего Петров у меня и у отца не украл, — сказал он медленно и негромко. — Наоборот, он отца в краже обвиняет... И, наверно, Петров в самом деле считает, что он прав. Тут не кричать надо, а разобраться...

Теперь не только студийцы, но и одноклассники Егора слушали с интересом. («Значит, это сын писателя!»)

— Петров говорит про какую-то старую рукопись... — покусывая губы, продолжал Денис. Он смотрел теперь мимо Классной Розы, на светлую штору. Быстро шевелил пальцами опущенных рук. — Ну, наверно, рукопись когда-то была на свете... И совпадения могли быть. Если два человека пишут на одну тему, они берут материал из одних источников. У отца полно старых книг про Крузенштерна и про Севастополь... И у того человека, который ту рукопись писал, они, наверно, тоже были. Конечно, могут быть совпадения...

— Из слова в слово... — сказал Егор. Он не сел.

— Помолчи, дурак! — взвизгнула Бутакова.

— Сама не визжи! — громко сказал Громов.

Денис посмотрел по очереди на всех троих и опять стал смотреть на штору. И объяснил тем же ровным тоном:

— Бывает, что из слова в слово. Если один источник... Про Севастопольскую оборону есть роман у писателя Сергеева-Ценского, а раньше, до революции еще, вышел роман про то же самое писателя Лавинцева. Там есть страницы, которые тоже совпадают, мне отец вчера показывал. Ну так что же? Сергеев-Ценский украл рукопись, что ли? Они просто одни материалы изучали...

«Вчера показывал», — отметил про себя Егор. С радостью. Значит, сердечный приступ у Наклонова был не такой уж сильный. Стараясь говорить ровно, в тон Денису, Егор заметил:

— Можно изучать материал, который есть на свете. А где Олег Валентинович взял Алабышева?

— Он же объяснил: слышал от Нечаева...

— Не мог он слышать! Я выяснил точно!

Денис опять повернул к нему лицо. Сказал без всякой злости, будто уговаривал:

— Но как можно выяснить точно то, что было тридцать пять лет назад?

— А как могут точь-в-точь написать два одинаковых эпилога двое разных людей? Про человека, которого на свете не было...

Денис глянул спокойно и непримиримо.

— А ты уверен, что все точь-в-точь?

— На, сравни! — Егор выхватил из сумки листы. — Передайте Денису Наклонову.

Услужливо протянулись ладони, бумаги пошли по рукам.

Роза Анатольевна со стуком уперлась в стол деревянными кулачками.

— Мы здесь не за тем, чтобы проводить расследование! Ни кому и в голову не приходит в чем-то подозревать Олега Валентиновича! Замечательного писателя и человека, который отдает столько сил... Кстати, Денис, как он себя сегодня чувствует?

— Спасибо, лучше, — нехотя сказал Денис. — У него такое и раньше бывало, это ничего...

— Передай Олегу Валентиновичу, что мы все... все ему сочувствуем и очень сожалеем... Ии все мы надеемся...

Денис уже сидел, глядя в листы. Он поднял голову.

— Я ему ничего передать не смогу. Он ведь не знает, что я сюда пошел. Я сам...

Роза Анатольевна помолчала и печально кивнула. И обвела собравшихся медленным взглядом.

— Вот видите. Человек лежит... Сын, ваш ровесник, пришел защищать его. А вы... что же вы-то молчите? Почему не спросите Петрова?

Студийная половина ровно загудела. Как угрожающе пере-

гретый трансформатор. Но первым высказался невозмутимый Максим Шитиков:

— А о чем следует спрашивать? О деталях этой детективной истории?

— Нет! — Роза Анатольевна выпрямилась. — Мы здесь не для того. Мы просто должны спросить Петрова: по какому праву он бросил в лицо заслуженному человеку, нашему общему другу, оскорбление и беспочвенное обвинение?

— Беспочвенное? — сказал Егор.

— Ответь: по какому праву?

Она всегда любила повторять эти слова. С четвертого класса. «По какому праву ты считаешь возможным не учить уроки?.. По какому праву ты как бешеный носишься на перемене?» Это воспринималось просто как поговорка. Но сейчас Егор понял: в словах о праве есть конкретный смысл. И не ответить — значит отступить. И он сказал, что чувствовал:

— По праву наследства.

— Что-о?

— Да! Мой отец был другом Курганова, автора этой повести! Он ему помогал. Он даже спас однажды эту повесть! А потом Курганов умер...

— Тогда почему не отец, а ты суешься в это дело?

— А как может отец? Если он тоже умер?

— Что-о? — опять сказала она.

Одноклассники смотрели на Егора изумленно. Ведь никто, кроме Громова, толком ничего не знал. Если раньше и слышали что-то, не принимали всерьез.

— Я говорю про родного отца, про инженера Нечаева. Он погиб в шестьдесят седьмом году. Он был конструктор подводных аппаратов.

— Чуть какая, — убежденно произнесла Роза Анатольевна. — Постыдился бы...

— Чего?

— Ясно чего... Когда нельзя стало прятаться за одного отца, придумал себе другого...

Да, была секунда, когда ему хотелось заорать на нее по-сумасшедшему. Швырнуть в нее чем-нибудь, зареветь в голос. Хлопнуть дверью... Но это как горячая волна — прихлынуло и отошло. И стало зябко и спокойно. Показалось даже, что рядом тикает старый хронометр: держись, мол. И Егор нашел для ответа подходящие слова:

— Отцов, Роза Анатольевна, не придумывают. Они какие есть, такие и есть. Это вы придумали, будто я за отца прячусь. А я хоть раз прятался? Вы сами его боялись... а теперь злорадствуете.

— Ты соображаешь, что мелешь?

— Когда это я за него прятался и когда он за меня заступался? И зачем тогда вы сами приходили заступаться за меня перед ним? В четвертом классе?

— Вижу, что зря приехала! Мало он тебя, негодяя, порол!

Егор совершенно отчетливо ощутил в ладони шероховатость деревянной ручки и тяжесть длинной стамески. Но он словно разжал пальцы. И стамеска будто выскользнула из руки и воткнулась в половицу рядом с ногой. Все было абсолютно бесполезно. Что тут спорить? Егор засмеялся и устало сказал:

— Вам ведь всем здесь наплевать, чья правда. Вам главное, что он — писатель, а я — никто. Значит, я виноват...

— Ты виноват не поэтому, — начала Роза Анатольевна, но приоткрылась дверь. Классная Роза посмотрела на нее с раздражением. Потом пошла — видно, кто-то поманил ее.

Сорок с лишним человек проводили Розу Анатольевну глазами и молча ждали возвращения. И в тишине стали слышны за приоткрытой дверью негромкие слова:

— Чей отец?... Не может быть... Скоропостижно? Ужас какой... Нет, лучше вы сами, я только что... нет...

Егор быстро взглянул на Дениса. Тот сидел с окаменелым лицом. Вошла директорша Клавдия Геннадьевна. Классная Роза пряталась за ней, как виноватая школьница. Тишина стремительно заполнилась тугим звоном. Денис комкал на коленях листы с эпилогом. Но Клавдия Геннадьевна не посмотрела на Дениса. Она сказала, глядя мимо Егора:

— Петров... ты иди сейчас домой, Егор. У вас дома несчастье...

АПРЕЛЬ

Хоронить отца на «престижном» Березовском кладбище не разрешили. Оно считалось закрытым. Исключения делались только для высоких чинов, по особым письмам. Вот если бы инженер Петров успел умереть начальником экспериментального цеха, тогда конечно. А теперь чего же...

В похоронном бюро матери предложили «компромиссный» вариант. Крашенная девица-агентша бодро сказала:

— Если у вас на Березовском найдется родственная могилка, усопшего можно кремировать, а урну захоронить в этой могилке.

«Родственная могилка» была. Дяди Сережи, мамино брата. Мать вздохнула и согласилась. Потому что «открытое» кладбище располагалось Бог знает где, в болотистом лесу.

Егор стоял рядом с матерью и смотрел, как девица бойко давит кнопки калькулятора — подсчитывает погребальные расходы, — и думал, что в этой конторе не чувствуется ничего похо-

ронного. Наоборот, солнечно, цветочки на подоконниках, разговорчивые тетушки за столами. На стене плакат с Аллой Пугачевой и кинолентами, такой же, что висел в «таверне»...

Крематорий тоже не вызвал скорбных ощущений. В зале с яркими светильниками в виде факелов и тяжелыми бронзовыми решетками на дверях пахло чистым холодным камнем, как в вестибюле большого музея. Голоса звучали сдержанно и деловито. Молодая красивая женщина-распорядитель в черном костюме похожа была на экскурсовода.

Егор не испытывал никакого горя. Грустное сожаление, даже сочувствие к отцу, пожалуй, было. Потому что умер Виктор Романович в несчастье, с сознанием потерь и поражения... Впрочем, умер спокойно, без приступов и врачей. Не проснулся утром, вот и все.

Жаль, конечно, было Егору плачущую мать. Но Алина Михайловна плакала не сильно, держалась твердо, и это нравилось Егору.

Людей на похороны собралось немного. Произнесла несколько сухохато-печальных слов женщина-распорядитель. Выступил Пестухов. Сказал, что Виктор Романович был вечным тружеником и что бы там ни говорили, а цех построил он. Жизнь сложна и часто ставит людей в такие обстоятельства, в которых не всегда и не каждый может найти правильный выход. Жертвой таких обстоятельств стал и Виктор Романович. Но эта же самая жизнь в конце концов расставляет все по местам. Со временем воздастся и памяти товарища Петрова. А лучший памятник — это все тот же цех.

Больше никто не говорил, молча прошли по кругу у поста-мента с гробом. У Егора так ни разу и не намокли глаза. И даже когда женщина-распорядитель нажала похожий на автомобильный переключатель скоростей рычаг и гроб с заострившимся профилем отца плавно ушел в гранитный колодец, Егор смотрел спокойно...

Поминок не было. Пестухов отвез Алину Михайловну и Егора домой. Мать принялась разбирать отцовские бумаги, Егор томился. Хотелось уйти куда-нибудь, но оставлять мать одну было неловко. Тогда он сел за билеты для экзаменов по русскому. До них, до экзаменов, не так уж далеко, а Классная Роза постарается свести с Петровым все счета. Грудью встанет на его пути в девятый класс. Ну, поглядим...

На следующее утро Егор с облегчением пошел в школу. В классе посматривали на него с молчаливым сочувствием. Даже Роза. О разборе истории с рукописью никто не напоминал. И Егор подумал, что первый раз отец действительно защитил его по-настоящему. Своей смертью. Это была нехорошая мысль, он понимал, но мыслям-то не прикажешь.

Юрка Громов на первой перемене подошел и просто сказал:

— Егор, может, помочь в чем-то надо? Когда такое случается, всякие дела бывают...

— Да нет, все уже... — вздохнул Егор. — Спасибо... — И вдруг спросил: — У тебя есть велосипед?

— Конечно!

— Дашь прокатиться? Голова такая... хочется, чтобы проветрило на скорости. Чтобы от всего уехать...

— Бери на сколько хочешь... А у тебя разве нет? — удивился Юрка.

— Мать боится... У нее брат разбился на мотоцикле, она колеса видеть не может...

Бутакова издали поглядывала на Егора, словно хотела подойти и что-то сказать, но не решалась. Он не отвечал на ее взгляды. Ее предательство на недавнем собрании высветило Светочкину натуру полностью... Впрочем, какое предательство? Она что, в друзья записывалась к нему? Подумаешь, газеты вместе развешивали... Да и ничего плохого она не говорила на собрании. Один раз только на Юрку вякнула, а так все молчала. Хотя молчание иногда — тоже предательство... Ну а чего Егор хотел от нее? Прирожденная активистская деятельница, вечная адьютантша Классной Розы. Сейчас небось трясется, не повредило бы ей, что связалась с Венькиными газетами...

Одно у Светки хорошее — фамилия. Был такой герой в Первой Севастопольской обороне. Даже два. Егор читал о них недавно в журнале «Вокруг света». Он теперь все внимательно читал, что попадалось о Севастополе. И о Крузенштерне...

Когда Егор подходил к дому, его догнал Михаил.

Ох как Егор обрадовался! Пожалуй, впервые при встрече с Михаилом заулыбался так счастливо и открыто.

— Что же ты... не позвонил даже? — тихо сказал Михаил. — Я от Ревского узнал... о смерти Виктора Романовича.

Егор насупил:

— А Ревский откуда знает? В газете даже объявления не было.

— Знает откуда-то... Егор, это как? Из-за сердца?

Егор кивнул.

— Мать очень убивается?

— Да знаешь, держится...

— Вот такая она, жизнь... — сказал Михаил.

Они шли вдоль дома, по сухому асфальту, и от нагретой бетонной стены ощутимо веяло теплом. Апрель...

— Пошли к нам, — позвал Егор.

— Неудобно.

— Ну, ты что? Так и будешь всю жизнь от матери прятаться? Смешно же...

— Не буду. Но сейчас не время... Давай погуляем.

И пошли они по солнцу. Серые крошки снега еще лежали в тени заборов, а ветерок, шумевший в голых тополях, был совсем теплый. Михаил был без шапки. Егор тоже сунул свою вязаную шапку в карман. Спросил:

— Ты специально ко мне приехал?

— Да... То есть я бы и так приехал, но тут еще совпало: Витька домой привез. Мать потребовала.

— Ну вот... Опять все пойдет у них кувырком...

— Кто знает... Она вдруг начала такие письма слать: «Соскучилась по Витеньке, пусть едет скорее, все будет по-другому...»

— А он?

— В том-то и дело, что он тоже: «К маме хочу...» Может, наладится у них...

— Ох, не верится.

— Ну, поглядим. Захочет обратно — заберу. А спорить, когда мальчишка к матери просится... Особенно после случая с Димкой... Ревский рассказывал?

— Еще бы!.. Как этот тип, которому ты вмазал, поживает?

— Жаловался. Сперва даже судом грозил...

— Какой суд? Ты же его без свидетелей!

— Если бы... Это я Ревскому сказал, чтобы его не расстраивать. А вмазал я тому гаду при ребятах. И очень звонко... Но в суд он не пойдет, я ему пригрозил ответным иском: о нарушении тайны переписки, которое привело к тяжким последствиям...

— А куда же он жалобы писал?

— В приемник, моему прежнему начальству. Но Старик ехидно ответил, что старший сержант Гаймуратов по состоянию здоровья из органов уволен и потому никаких санкций руководство приемника-распределителя применить к нему не может... Тогда он разнюхал, что я устраиваюсь в «Комсомолец», написал в редакцию...

— И что?

— Ничего... Работаю поэтому в многотиражке Среднекамского пароходства. Товарищ Витя Короткий в «Комсомольце» развел руками: «Я всей душой, но понимаешь...» Впрочем, это и к лучшему...

— Почему? — не поверил Егор.

— Правда, к лучшему. Пришлось бы в университете переходить на журфак, а я не хочу.

— По-прежнему в педагоги тянет?

— Ты знаешь, по-прежнему. Или пусть с ребятами работают такие, как тот... битый?

«А он все равно работает», — подумал Егор, но не сказал, чтобы не огорчать Гая. Сказал другое:

— Многотиражка — это ведь все равно газета. Журналистика. Там не потребуется перехода на журнал?

— Там проще. К тому же при пароходстве организуется детская флотилия, что-то вроде клуба юных моряков. Меня берут на полставки инструктором. Вполне педагогическая должность.

— А что ты смыслишь в этих... во флотских делах?

— Ну, все-таки... Читал когда-то, интересовался... — Он усмехнулся. — И в детстве как-никак две недели на «Крузенштерне» провел. Чем не морская практика?

— Да, кстати, о Крузенштерне... — вздохнул Егор. И сказал наконец о главном: — Я тут такого нагородил. Если по шее надаешь, правильно сделаешь...

И, шагая с опущенной головой, пиная на асфальте окурки и щепки, он рассказал все, что было с ним и с Наклоновым...

Михаил слушал и несколько раз даже присвистнул. Сказал наконец:

— Знаешь, у меня такая мысль тоже мелькнула один раз. На счет Наклонова. Зимой, когда ты о его повести упоминал... Но сразу улетучилась как чисто фантастическая... Смотри-ка, жизнь бывает похлеще фантастики. Финал как в романе Дюма...

— Паршивый финал-то, — сказал Егор. — Дурак я.

— Ну, что уж ты так себя казнишь...

— Конечно, дурак. Надо было подождать, когда напечатают, а потом шум поднимать.

Михаил поморщился:

— Знать и специально готовить ловушку? Это вроде той волчьей ямы...

— А теперь повесть вообще пропала. И у нас нет, и он печатать не станет...

— Думаешь, не станет? А вдруг переделает эпилог — и в издательство...

Егор улыбнулся горько, но с победной ноткой:

— Он же не знает, что у меня только эпилог. Он думает, что вся повесть Курганова.

— Дитя ты мое наивное, — грустно сказал Михаил. — Ничего такого он не думает.

— Почему?

— Ну, он же неглупый мужик. Если бы у тебя была вся повесть, шум бы ты поднял гораздо раньше... Он, конечно, догадался, что у тебя только звукозапись с «Крузенштерна» и списанный с нее текст...

— На той же машинке!

— Ну и что? Печать-то свежая... Впрочем, ты прав, на публикацию он не решится, побоится скандала...

— Вот я и говорю: дурак я... Надо сперва думать, а потом уж...

— Милый ты мой... — Гай оперся о плечо Егора (может, опять спина болит?). — На то мы и люди, а не роботы. Сперва шашки наголо и в бой, а потом уже соображать начинаем... Я вот тоже... Мне бы про того «воспитателя» статью в газету, чтобы его к ребятам больше не подпускали. Спокойную такую, деловую. А я — по морде... Хотя, честно говоря, не очень и жалею.

— Но он-то до сих пор там работает, — не выдержал сейчас Егор.

— Нет, в интернате уже не работает. Ребята выжили... А дальше... Ну, поглядим. Я его из виду не выпущу. Беда только, что не один он такой... А у тебя-то в школе как дела? Помимо последнего скандала...

— Ничего. Билеты долблю. Мне теперь, кроме как в девятый, некуда. В первое попавшееся училище я не пойду, а подходящего нету... А уезжать нельзя, мать одна останется... Правда, в мае бабушка из Молдавии хотела приехать, но это ненадолго.

— Если приедет, появишься в Среднекамске. Хоть на пару дней.

Егор кивнул:

— Гай, мне этого пуще всего на свете хочется. Все время зимние каникулы вспоминаю... Иногда знаешь что? Когда тихо в комнате, кажется, будто хронометр стучит. Тот самый...

Михаил оперся на плечо Егора посильнее.

— Вот и ладно. Приедешь — заберешь хронометр с собой.

— Как... с собой? Почему?

— По простой причине, Егорушка. Он твой. По наследству...

— С какой стати-то? — пробормотал Егор. Но от радости затеплели щеки.

— С такой вот стати. Хронометр твоего отца... К тому же именно ты распутал историю рукописи Курганова.

— Ох уж «распутал»!

— Ну, все-таки... Кстати, я, может быть, скоро приеду снова, еще до праздников. Сам тогда и привезу...

На девятый день выдали в крематории урну. Никого из посторонних при этом не было. Егор и Алина Михаевна поехали на Березовское кладбище на такси. Урну везли в хозяйственной сумке, Егор держал ее на коленях.

В деревянном домике на кладбище стали они спрашивать, кто из рабочих должен пойти с ними закопать могилу. Как положено по выписанному наряду. Нужного человека не оказалось, ушел на перерыв. Небритый парень сказал Егору:

— Возьми лопату да сам зарой, чем ждешь. Там и делов-то...

Егор молча взял. И с лопатой на плече, с сумкой в левой руке пошел по аллеям и дорожкам впереди Алины Михаевны.

Было тепло. Между могилами лежал еще кое-где снег, похожий на крупную серую соль, а глинистые холмики уже все были открыты, из них лезли травинки. Желтела мать-и-мачеха. Тихо было, солнечно, только гранитные и чугунные академики и артисты смотрели с постаментов строго и отрешенно...

Могила Сергея Михаевича Садомира, маминого брата, была выложена по краям гранитными брусками. Посреди ее в рыжей глине чернела вертикальная круглая нора. Очень ровная и узкая. Видно, рыли не лопатой, а специальным буром.

Егор открыл сумку, развернул оберточную бумагу. Урна была белая, фаянсовая, буквы написаны серебром. Как на чашке, которую дарят на день рождения...

Егор оглянулся на мать, она тихо, сама того не замечая, плакала. С тяжестью на душе и с желанием, чтобы все скорей кончилось, Егор примерил выпуклую урну к отверстию. Гладкие бока ее оказались одной ширины с круглым каналом. Как у снаряда, сделанного по калибру ствола. Руки уже не проходили.

Егор снова посмотрел на мать.

— Опускай... — шевельнула она губами.

Егор ослабил ладони. Урна выскользнула и пошла вниз, толкая собой воздух, как поршнем. Он с шелестом рванулся из-под этого поршня, бросил Егору в лицо запах глубокой холодной земли.

Егор встал, засыпал круглую нору сухой, рассыпчатой глиной. Заровнял. К серому камню — памятнику Сергею Садомиру — прислонил он латунную табличку с именем Виктора Романовича Петрова. Мать положила два привезенных из крематория венка. Погладила камень, шепотом сказала:

— Идем.

Когда Егор отдал лопату и они шли к воротам, Алина Михаевна вдруг заговорила:

— Папа за несколько дней до смерти оформил завещание...

Машину он оставил тебе. Лично...

— Зачем она мне? — помолчав, спросил Егор.

— Я тоже думаю: зачем? Может быть, продать?

— Можно... По крайней мере, будет на что кормиться, пока школу окончу. Если понемногу, на два года хватит.

Мать быстро посмотрела на него. Егор сказал:

— Летом, наверно, работать пойду, если где возьмут. А в училище или техникум я не собираюсь. Мне нужна десятилетка... Или думаешь, что не проживем? Мне много не надо...

— Ничего я такого не думаю, Бог с тобой... Я с мая на работу выхожу.

— Куда?

— В отдел кадров на «Электрон» устроили... Не думай, что у отца на заводе были только враги.

Егор пожал плечами: он так не думал.

Мать вдруг тихо спросила, глядя перед собой:

— Егор, а ты простил папу?

Он сжался.

— За что?

— Ну... за все. Вы так иногда... немирно жили...

— Теперь-то не все ли равно... — с усилием сказал Егор.

— Может, не все равно... Может, он сейчас нас слышит и ждет... ответа.

Егор вспомнил фаянсовую выпуклую урну и черную нору.

— Не верю я в это...

— Ну и не верь... А вдруг? И это ведь не только ему надо, но и нам. Тебе...

«У меня еще есть время подумать», — мелькнула у Егора мысль. Но мать с каким-то жалобным молчанием ждала, что он скажет. И Егор сказал неловко:

— Чего уж теперь-то... Простил.

Мать быстро закивала и отвернулась.

Недалеко от ворот кладбища стояла розовая, как пряник, нарядная церковь. Не по-кладбищенски радостно сияли кресты. Алина Михаевна остановилась.

— Горик... Я, наверно, зайду... Так, по традиции. А ты домой, ладно? Что тебе здесь со мной? Я скоро...

Он понял, что мать не хочет звать его с собой в церковь. Наверно, будет его стесняться там. А может быть, просто хочет побыть одна... Он сказал спокойно и понимающе:

— Ладно, я на автобус... И в магазин еще зайду за картошкой.

Сумка, в которой везли урну, была большая, килограммов десять войдет... Но когда мать поднялась на крыльцо и ушла в темную полукруглую дверь, за которой искрились свечки, Егор не пошел на автобусную остановку.

Он постоял, хлопая сумкой по колену, и зашагал назад, к только что засыпанной могиле.

Рядом с могилой была скамейка — серая от старости доска. Один конец на столбике, другой на перекладине, прибитой к сосновому стволу. Егор сел, привалился к дереву плечом. Сосна была корабельная, поднебесная. Высоко-высоко ходила под ветром ее верхушка. Внизу ствол казался неподвижным, но Егор ощущал его чуть заметное живое шевеление.

Грело солнце, в кустах галдели воробьи. Сварливо кричала ворона. Сверху иногда сыпались желтые иголки, по веткам ближнего молодого сосняка проскакала белка с глазами-бусинами.

Сейчас на душе у Егора не было тяжести. Он просто сидел и думал. Об отце и о других людях, которых тоже теперь нет. Почему же так — были и нет? И зачем они — были? Чтобы передать другим по наследству все, что сделали, и все, что не сумели?.. Дети наследуют не только славу и подвиги отцов. Ошибки и слабости — тоже...

А должен ли он, Егор, что-то наследовать от инженера Петрова, если тот не родной отец?

«А куда ты денешься?» — спросил себя Егор. В самом деле — от того, что было, никуда не деваться.

«А то как же? — с усмешкой сказал он себе. — В наследство — машину, а все остальное — забыть?»

Да провались она, машина! И если бы можно было забыть всю боль... Но ведь было и другое:

С горки на горку
Я несусь Егорку...

Хоть немного, но было.

Чем же задавил в себе отец вот это хорошее? Страхом за себя? Боялся, что не сделают начальником цеха? Подставят ногу на пути к высокой должности? Или страх был другой: оторвут от любимой работы? Или все вместе? Сейчас уже никак не узнать...

Да, цех он все-таки построил. Но это ли самое главное в жизни?

А что главное?

У Крузенштерна главным были открытия... У Курганова — повесть... У Анатолия Нечаева — хитрые аппараты, чтобы проникать в морскую глубину. У Гая... У Гая, наверно, боль за неприянных, обиженных судьбой пацанов...

Но ведь и Крузенштерн воевал с гадами, которые тиранили в корпусе мальчишек. И Курганов пригнул Толика, у которого не было отца. И Толик возился с Гаем и кинулся грудью на гранату... Учебная? Он же не знал...

А капитан-лейтенант Алабышев кинулся не на учебную... Не было Алабышева? А сколько было таких, как он. *Было*. И ротный политрук Нечаев, дед Гая и Егора, — тоже был. И, может быть, тоже в последний миг закрыл кого-то от осколков.

Тогда, может быть, главное — не плавание, не открытия, не книги, а люди? Те, которые растут? Чтобы у них было меньше боли и одиночества?.. Чтобы не уходили они от нас, как лейтенант Головачев и пятиклассник Димка?

Но ведь без плаваний, без открытий, без книг тоже нельзя. Если без них — то зачем жить?

«Это ты бережешь свои паруса...»

«Ну и берегу! И паруса, и книги...»

Вот дурак, еще прошлой осенью думал, что книги — беспо-

лезны. Потому что они о чужих, не имеющих отношения к нему, к Егору, людях... А люди все имеют отношения друг к другу. Даже те, которые жили в разные века. Вон как в жизни Егора сплелись судьбы Крузенштерна и Толика Нечаева, Головачева и Курганова, Резанова и Алабышева... Не было его? Да нет же, был, раз столько мыслей о нем и столько из-за него событий!

Так что же все-таки в жизни главное? У всех людей? И у него, у Егора? И зачем люди живут? Чтобы каждый делал что-то свое? Оставил след и передал другим наследство? А если человек не оставит следа?.. Если жил просто так и ничего не успел?.. Зачем, например, жил Кама, загубивший себя наркотиками в шестнадцать лет?

Гитарные переборы и высокий голос Камы настолько отчетливо послышались Егору, что он даже оглянулся. Но нет Камы, сколько ни оглядывайся. Только и осталось, что эта песня:

Мы помнить будем путь в архипелаге...

Но ведь песня-то осталась! Это хоть что-то. Она кому-то поможет на свете. Пускай даже одному Егору. Все-таки она цепочка между людьми, все-таки наследство. Маленькое? Значит, надо что-то делать в жизни и за Каму...

А зачем живут такие, как Копчик? Как Курбаши?

«...А ты сам-то, Кошак, зачем жил до недавней поры? Если бы не Венька, если бы не Гай, где бы ты был сейчас? Может, с Копчиком...»

«Но я же не сужу. Я только хочу понять. И про себя тоже...»

«Ты не судишь Копчика? Да ты убить его был готов!»

«Я и себя готов был убить...»

«Ладно, — снисходительно сказал Егору второй Егор, сподришник и собеседник. — Все в прошлом...»

«А что в будущем?»

...А вообще, что такое *будущее*? То, чего еще нет, или оно где-то уже есть? Может, это просто прошлое с обратным знаком? Может, найдут люди способ докопаться до самой большой тайны: что такое время? Чтобы и нынешние дни, и те, которые давно прошли, и те, которые еще только будут, связать воедино? И соединить всех людей... Чтобы Егор мог ворваться в каюту Головачева и выбить из его рук пистолет...

Конечно, это фантастика, но иногда (как сейчас вот!) кажется, что еще немного, и тайна времени раскроется. Словно можно ее постичь без формул и математики, а вот так, напряжением чувств. Вот еще совсем немного... Кажется, это не труднее, чем вспомнить забытое слово. Уже и буквы, из которых оно состоит, известны... Последнее усилие нервов — и буквы эти выстроятся, и слово будет прочтено... Нет, опять рассыпались, прыгают, мельтешат, как воробы...

...Сверху снова упали сухие иголки. Егор запрокинул лицо. Верхушка сосны медленно плавала под облаками. Облака протыкал белый игольчатый след. Там, в десяти километрах от земли, внутри громадной дюралевой сигары лайнера полторы сотни разных пассажиров мчались к своим заботам, к своему счастью и бедам. И, конечно, не знали, что под ними, на далекой земле, на кладбищенской скамейке у сосны, пытается разобраться в смысле жизни восьмиклассник Петров. И о других людях не знали. Даже о тех, кто рядом, в самолете, в большинстве своем не знали тоже.

Печальная мысль о великом разобщении людей затопила на короткое время все другие. В самом деле, люди — острова в океане. Миллиарды островов, громадный архипелаг. А пути меж островов — много ли их? Что на одном острове знают о других? О ближних знают, а о дальних?..

Дальние острова — чужие?

Не потому ли в самолете, летящем на большой высоте, человек с легким сердцем нажимает кнопку бомбосбрасывателя?

Да разве дело в высоте? Ведь бывает и вплотную друг к другу, а в кулаке нож...

А может, загадка времени и загадка разобщенности — одна и та же?

А ключ — где?

...Опять проскочила белка. Черными бусинками глянула удивленно: ты что здесь сидишь так долго?

В самом деле, сиди не сиди, а все тайны жизни тут не раскроешь. Но Егор встал без досады и тревоги. И печаль его была без тяжести, со светлым зайчиком. Словно какую-то ниточку клубка тайн он все-таки ухватил...

За памятниками и соснами, за недалеким дощатым забором проносились грузовики. Там, за тыльным краем кладбища, был Восточный тракт. По нему ходили автобусы до центра. И Егор не пошел к главным воротам, пошел к забору, понимая, что должна быть в нем калитка или щель.

Когда оставалось до забора шагов двадцать — бурая прошлогодняя трава, лужицы и остатки снега в рытвинах, — Егор увидел в ряду крайних могил синий решетчатый обелиск со звездочкой. И с белой, очень яркой на солнце табличкой:

Дима Еремин
16. IV. 1971 — 19. III. 1983

Егор остановился, будто остановилось сердце. Уронил руки. Димкину фамилию он знал от Гая.

...Значит, нашелся все-таки для несчастного Димки уголок

на ближнем кладбище. Спасибо людям хоть на этом. Что здесь помогло? Хлопоты интернатского начальства, слезы матери?.. Димка, Димка, если каждый человек появляется на свете не зря, то зачем жил ты свои одиннадцать лет и одиннадцать месяцев? Может, для того, чтобы твоя судьба стала горьким упреком, предостережением для других?

Станет?

Поблекший жестяной венок с мятой черной лентой был прислонен к обелиску. На ленте меловые буквы: «Дорогому сыночку от ма... ночек, прости ме...»

Егор сдернул шапку и жгутом скрутил ее в кулаках. То, чего не было на похоронах отца, случилось здесь. Тяжелый ком подошел к горлу. Егор быстро оглянулся. Он был один...

...Потом у забора, в лужице среди вялой травы и мусора, Егор набрал в пригоршню ледяной воды, ополоснул лицо. Вытер мятым платком. Постоял. Коричневая бабочка, живая, веселая, закружилась перед ним. Егор уронил платок и следил за ней, пока она не улетела в щель забора. Это было как глубокий вздох. Как прощение...

ДВА МЕЧА

Михаил приехал через неделю и в самом деле привез хронометр. На этот раз он зашел к Егору домой. И с облегчением узнал, что Алины Михаевны нет дома: она ушла на завод что-то уточнять насчет будущей работы.

И все же Михаилу было неудобно. Выпил он чаю с Егором на кухне, а потом сказал:

— Пойдем погуляем. Как-то привычнее на ходу разговаривать.

Разговаривали обо всем понемногу, но, конечно, не обошли в беседе и рукопись. И Наклонова.

— Как он? — спросил Михаил.

— Да ничего. Недавно по телику выступал...

— Да? Небось о новых задачах писателей в свете последних решений?

— Не знаю. Я выключил... От руководства студией он отказался, но объяснил, что не из-за меня, а потому что в какую-то долгую командировку собирается... А про меня сказал, чтобы оставили в покое. Не надо никаких разборов.

— Откуда ты знаешь?

— Бутакова сообщила...

Светка действительно недавно подошла и назидательно произнесла:

— Скажи спасибо Олегу Валентиновичу. Он звонил в школу

и просил, чтобы не устраивали никаких собраний и разбирательств. И что у него нет к тебе претензий.

— Рыло в пуху, вот и нет претензий...

— Ох и наглец же ты, Петров...

Даже не «Петенька», а «Петров».

— Зато ты образец. Гордость всей системы народного просвещения... Свежий бутончик на веточке Классной Розы... Не забудь передать ей эти мои слова.

— Не бойся, не забуду.

— Подумать только, — вздохнул Егор. — Было время, когда я на тебя даже заглядывался маленько...

Она дурашливо закатила глаза.

— С ума сойти! Но, надеюсь, это прошло?

— Без следа.

Егор проводил Михаила на вокзал и там сказал:

— Все хочу спросить... С Асей-то что?

— С Асей все в порядке, — вздохнул Михаил. — Слава Богу, хоть с этим-то все в порядке... Никитка предъявил ультиматум. Или, говорит, вы поженитесь наконец, или я уйду жить на теплоход к дяде Сереже Снежко. Куда теперь нам деваться?

— Ну и... когда?

— Ну и скоро... Не бойся, сообщу.

Возвращаясь домой, Егор с удовольствием думал, как в тишине квартиры звонко тикает хронометр. Наполняет ее живой неутомимой жизнью. И он правда тикал — слышно было даже в прихожей. И Егор весело заспешил в комнату.

Но когда он вошел, увидел, что над хронометром наклонилась мать. Она обернулась:

— Это откуда у тебя?

— Гаймуратов приезжал, привез... — нехотя сказал Егор.

— Что, в подарок?

— Да вроде...

— Что значит «вроде»?

— В общем, мне. Насовсем.

— Но это же очень дорогая вещь. Корабельный хронометр, я знаю...

— Конечно, дорогая, — не удержался Егор. — Это хронометр Анатолия Нечаева.

— Я так и думала, — тихо сказала Алина Михеевна.

— А что такого?

— Да нет, ничего... — Она ушла и уже из другой комнаты громко сообщила: — Егор, я договорилась о продаже машины.

— Ну и прекрасно.

— Нужно твое согласие...

— Сколько угодно. — Он почувствовал в своем тоне лишнюю ошетиненность, сказал помягче: — Чем скорей, тем лучше. А кому?

— Не знаю пока... Андрей Данилович сказал, что нашел покупателя.

— Кто сказал?

— Ну... Пестухов.

— А ему-то что надо?

— Помогает... Он был другом отца.

— Неужели? — не выдержал Егор.

— Да! И не забывай, что теперь это наш единственный друг.

— Ну-ну... — сказал Егор.

Встреча с «единственным другом» произошла через пять дней.

У восьмиклассников в тот день было всего три урока, потому что школа готовилась к демонстрации. Погода стояла совершенно летняя, уже проклевывались почки. Великанский термометр на теневой стороне многоэтажного Института связи показывал двадцать три градуса. И настроение было празднично-каникулярное — послезавтра Первомай.

В таком настроении пришел Егор домой, без куртки и шапки, в расстегнутом пиджаке. Открыл бесшумный замок своим ключом и услышал в комнате голоса.

Алина Михеевна и Пестухов сидели у накрытого стола. Мать что-то с быстрым, нервным смехом говорила Пестухову, а он часто кивал и ладонью мягко похлопывал по ее открытой до локтя руке.

— Здравствуйте, Андрей Данилович, — отчетливо сказал Егор. — Я не помешал?

Пестухов дернулся, убрал руку под скатерть, сел прямо. Заулыбался:

— О, Егор... Викторович. Какой ты рослый стал.

Ничего глупее сказать он не мог.

Мать суетливо спросила:

— Горик, ты откуда? Так незаметно вошел...

— Из школы, вестимо... Замок хорошо смазанный.

Пестухов торопливо распрошался.

Алина Михеевна вошла в комнату к Егору. Он сидел на тахте и слушал, как тикает хронометр.

— Андрей Данилович уже совсем договорился с покупателем, — напряженно сказала мать.

— Андрей Данилович мужик быстрый...

— Горик... Не понимаю, почему он тебе так не нравится.

Не поднимая лица, Егор проговорил:

— Мне не нравится другое...

— И... что именно?

Понимая, что нельзя это говорить, и зная, что все равно молчать не сможет, Егор тяжело сказал:

— Как ты быстро забываешь... Сперва Нечаева, потом...

Мать ударила его по щеке, по другой. И еще... У Егора мотнулась голова, но он не закрылся, продолжал сидеть так же. И лишь когда мать заплакала, медленно встал.

— Вот так. Сразу решили все вопросы...

Мать сквозь слезы выговорила:

— Ты думаешь... мне легко? Ты хоть раз меня спросил?.. А ты понимаешь, что мы совсем одни? Что так, как раньше, мы жить не сможем?

— А ты хочешь жить как раньше? — искренне удивился Егор.

Мать перестала плакать. Несколько секунд они, словно очнувшись, смотрели друг на друга. Егор переступил на ковре.

— Я пойду... Мне к Юрке Громову надо, насчет билетов по русскому...

На самом деле он хотел попросить у Юрки велосипед и погонять по улицам. Просто так, проветрить голову. Или пойти с Юркой в кино, если есть на афишах что-нибудь подходящее. Но когда Егор вышел из-под арки на улицу, он увидел, что ему навстречу шагает по солнечному асфальту Ваня Ямщиков.

Ваня заметил Егора издалека, заулыбался и двинулся вприпрыжку. Он был одет уже по-летнему, в новых зеленых шортах, в рубашке с короткими рукавами — ярко-желтой, вроде одуванчиков, что всю цвели у заборов и фундаментов. Тоненький такой и жизнерадостный... Правда, в улыбке мелькало смущение, а в прыжках была чуть заметная скованность. Егор понял Ванюшку: вспомнил себя такого же, когда согревшимся весенним днем, словно желая поторопить приход настоящего лета, скидываешь осточертевшую шерстяную форму и выскакиваешь на улицу вот такой голорукий, голоногий — первый раз в году, раньше других. И сердце колотится от смеси чувств: радостной легкости, какой-то стыдливой беззащитности и в то же время дружеской доверчивости, с которой отдаешь себя солнцу и долгожданному теплу...

— Лето празднуешь? — сказал Егор. — Молодец. А что от Веньки слышно?

Танцуя рядом с Егором, Ваня сообщил:

— Завтра приезжает. Я к тебе и шел, чтобы сказать.

Егор обрадовался, хотя и так знал почти точно — завтра. Анна Григорьевна уехала за Венькой еще накануне.

— Ты куда идешь? — спросил Ваня.

— Куда глаза глядят.

— Пойдем тогда к нам!

— Зачем?

— Ну... так. «Спартака» тебе отдам, я уже опять перечитал всего.

— Ты хитрый. Ты мне его отдашь, а я с ним таскаюсь потом по городу, да? Нет уж, сам принесешь.

— Ну, ладно... А с тобой можно? «Потаскаться по городу»? — Он глянул хитровато и просительно.

— Пошли, — кивнул Егор. Он был рад. Не хотелось уже ни на велосипед, ни в кино с Юркой. Хорошо было идти просто так, смотреть на зеленые клювы лопнувших кленовых почек, на танцующего то справа, то слева, то впереди Ванюшку. На брата Веньки. И хорошо было помнить, что Венька приезжает завтра...

А как они встретятся, Егор и Венька? Вдруг вместо радости возникнет между ними тяжелая неловкость, когда не знаешь, о чем говорить, как себя вести? В конце концов, откуда Егор взял, что он зачем-то Веньке нужен? С какой стати? Ну несколько писем было между ними, ну книги Егор посылал в больницу. Ну к Ванюшке заходил... Это что, дружба?

Но не хотелось тревоги. Ничего плохого не хотелось. Даже обида на мать растаяла, хотя кожу на щеках до сих пор покалывало от недавних хлестких ударов. Пусть... Зато вон какой день, просто июнь.

Конечно, Егор понимал, что будут еще холода. В мае случается и слякоть, и даже снегопады. Но именно потому день этот с его непрочным теплом, с первой зеленью и жизнерадостным «летним» Ванюшкой был таким хорошим.

Ваня перестал пританцовывать, пошел рядом и серьезно сказал:

— Я читал вчера опять, как Спартак дрался последний раз... Он здорово дрался, только там не написано, что он бросил щит и сражался двумя мечами. Веник говорит, что это в другой книге. Не знаешь в какой?

— Не знаю... Но, наверно, так и было.

— Наверно. Значит, два меча лучше, чем меч и щит, да?

— Смотря какой бой. Бывает, что и лучше... Вань, хочешь в сад имени Пушкина? Там, говорят, игральные автоматы поставили. У меня три пятнадцатика есть...

— Ага! — Ваня подпрыгнул. — И у меня два, вот! — Он вы-

хватил денежки из кармана, подбросил на ладони. — А если не работают автоматы, то мороженое...

Дорога к саду Пушкина вела мимо школы, и в полквартале от школьных ворот встретили они Ванину учительницу.

— Здравсте! — сказал Ваня, хотя, конечно, видел ее совсем недавно, на уроках. И Егор буркнул «здравсте». Один-то он не стал бы с ней здороваться, но раз с Ванюшкой идет...

Она рассеянно кивнула. Но, когда уже разминулись, вдруг окликнула:

— Ямщиков!

Ваня и Егор обернулись. Анастасия Леонидовна шагнула назад и раздраженно сказала:

— А почему ты не на репетиции? Шастаешь по улицам неизвестно с кем, когда весь класс работает. — Она сделала еще шаг к Ване и возвышалась над ним — рослая, красивая, рассерженная.

Ваня поднял лицо. Сказал без боязни:

— А какая репетиция? Вы же сами всех отпустили.

— Я? Отпустила? Я сказала Лене, чтобы она проверила все ваши номера для утренника! Ты хочешь мне наврать, что она вас не оставляла?

— Она оставляла. Только не всех, а у кого стихи и танцы. А я только в хоре...

— А хор не должен, по-твоему, репетировать? Будете голосить на концерте, как мартовские коты? Кто это придумал вас отпустить? Стрельцов? Кто в классе хозяин — я или Стрельцов?

— Стрельцов вовсе ни при чем, — сказал Ваня. — Лена говорила, что хора сегодня не будет, потому что баянист занят.

— Баянист не твоя забота! Надо быть там, где коллектив, а не болтаться!

Ваня чуть заметно пожал плечами, глянул на Егора: что, мол, поделаешь.

— Ну, ладно. Пойду на репетицию.

Независимо-покладистый Ванин тон окончательно взвинтил Анастасию Леонидовну.

— Да? Пойдешь? В таком виде, без формы? Там тебе не парк культуры и не цирк. Там школа! Ясно? Шко-ла!

— Не уроки же... — тихо сказал Ваня.

— Школа — это всегда уроки! Заруби себе на носу!

Егор мгновенно вспомнил, как запрокидывал Ваня лицо с разбитым носом, а Венька смывал кровь. И Егор сказал:

— Чего вы на него кричите? Привыкли?

Она мгновенно перевела свой гнев на Егора:

— А ты!.. Ты!.. Шпана! Ты что суешься? Мало, что один брат из-за тебя в больнице, хочешь довести до беды и второго?! Ямщиков, чтобы я тебя больше не видела с этим!..

У Егора, как от недавних оплеух, заломило щеки. Ваня шаг-

нул назад, взял его за рукав, потом отпустил. Егор, сжимая губы, смотрел Анастасии Леонидовне в лицо. Вся ее красота облетела с лица, как пудра, оно было красно-пятнистым.

— Заполчите. Если ничего не знаете... — глухо сказал Егор.

— Он говорит «заполните»! Учительнице! Это ты у меня за-ткнешься! На подсвете! Загубит одного брата и гуляет с другим, как ни в чем не виноватый! Сидел бы лучше, как мышь!

— А пока я буду сидеть, как мышь, вы будете издеваться над ними. Да?.. Тыкать мордой о парту, орать, гонять, мучить до слез. Вы все... И доводить их, чтобы бегали из дома, да?.. И до могилы, как Димку Еремина... Да?!

Она хлопнула губами. Замигала. Может, что-то слышала раньше о Димке. А может, просто потеряла дар речи. Егор повернулся, чтобы взять Ваню за руку и уйти.

Вани не было...

То ли испугался Ваня Настасьино крика, то ли просто решил, что лучше всего — с глаз долой. Что с него возьмешь, совсем еще малек...

Ладно, если просто испугался... А если подействовали Настасьины слова, что Егор виноват в несчастьях Веньки? И ушел Ваня не со страха, а от неожиданного и тяжелого открытия, что Егор — враг?

Потерянно шагая по улице, убеждал себя Егор, что все это чушь. Не может Ваня так стремительно стать к нему, к Егору, другим. Он ведь и раньше все знал и понимал. Но тоскливая тревога была сильнее логики, и наконец Егор отдался этой тревоге полностью. Безнадежной, изматывающей. И день уже был не день, и солнце — не солнце...

На остановке вскочил Егор на автобус и через пять минут оказался дома. Он машинально, без удивления, отметил, что на лестничной площадке, против лифта, прислонен к стене пыльный велосипед (вот кому-то досталось тащить его на седьмой этаж). Отпер дверь. Мать встретила его в прихожей. Смотрела виновато. Торопливо сказала:

— Горик, к тебе мальчик пришел. У тебя в комнате сидит, ждет. Я дала ему твои тапочки, надень папины.

Егор, не сняв кроссовок, шагнул в комнату.

На тахте сидел, неловко выпрямившись, с толстой папкой на коленях Денис Наклонов.

Денис встал. Глядя мимо Егора, произнес отчетливо:

— Отец велел передать. Вот... — Он протянул папку. — Он говорит: «Раз Петров считает, что это его, то пусть...»

Егор с недоумением и с тяжелой неловкостью — и в то же время с толчком радости принял в ладони увесистую папку из

пыльного шероховатого картона. Что он мог сказать? Можно было ожидать какой угодно развязки у истории с рукописью, но чтобы вот так...

Денис поглядел наконец Егору в лицо. Сказал уже тише, спокойнее:

— Отец говорит, что нашел это давным-давно, когда разбирал какой-то архив в Новотуринске. Он думал, что это просто чьи-то заметки, выдержки из разных журналов. Как документы... Он понятия не имел, что это чья-то законченная книга... Там, кстати, нет нескольких страниц, в начале и в середине...

Беспомощность этого объяснения была так очевидна, что Егор отвел глаза. Денис упрямо проговорил:

— Ты думаешь, в его повести много совпадало с этими бумагами? Только некоторые места... Но он теперь вообще не будет писать про это, он порвал и сжег на даче свою повесть. Говорит: «Не хочу, раз так получилось... А это, — говорит, — отдай...»

«Если совпадали только некоторые места, зачем сжигать свою повесть? Не проще ли переделать?.. — подумал Егор. И еще подумал: — А почему не сжег все? И кургановскую рукопись тоже? Тогда бы — ни следов, ни обвинений...» Однако мысли эти проскочили скомканно, сумбурно — на фоне странной виноватости, которую Егор испытывал перед Денисом.

Но одна мысль повторилась. Четко: «Почему он все-таки вернул рукопись?.. Денис, ты его заставил?»

Он спросил это Дениса Наклонова глазами, и тот понял. Розовели щеки. Сжалась губы. Но взгляда Денис не опустил. Повторил:

— Не думай, будто он списывал. Больно ему надо...

«Я не думаю, Денис. То есть думаю, но этого тебе не скажу никогда. Я тебя понимаю...»

Отцов не выдумывают, они такие, какие есть. Но... если вдруг оказывается, что не такой он, каким был в твоих глазах, наступает, наверно, отчаяние. И тогда — или со слезами, или, наоборот, со стальным упрямством — ты говоришь: «Зачем ты так? Ты же сам учил меня честности...» И, наверно, отец — если он *отец* — понимает, что больше нельзя шагать назад. Сзади — черта. И тогда он готов отдать все на свете, не то что чужую рукопись... В конце концов, что дороже: рукопись или сын?

Но это уже были не мысли, а скорее ощущение, полудогадка.

И еще одно почувствовал Егор. Что не даст Денис отца в обиду, какой бы тот ни был. Будет отстаивать его перед Егором, перед собой и перед самим отцом — Олегом Валентиновичем Наклоновым. И перед всем белым светом.

И это было справедливо.

«Я понимаю», — чуть не сказал Егор. Но не решился. Да и все

ли он понимал?.. А что еще сказать? «Спасибо за рукопись»? Глупо и неловко. А может, подробнее: «Я вижу, как тебе трудно, только пойми и меня, я не мог не ввязаться в это дело, я обязан был, потому что за мной и Курганов, и Толик Нечаев — тоже отец! Это было неизбежно, все вело ко мне. Все линии! У меня даже нарисовано это, хочешь, покажу?»

Но это был бы уже долгий разговор. А с какой стати Денис обязан выслушивать излияния Егора Петрова? Он, Денис Наклонов, сделал все, что был должен. И за себя, и за отца. И теперь с чистой совестью может уйти...

Но ведь надо же что-то сказать!

Может, просто: «Не злись на меня...» Ох ты, чушь какая!..

И в этот миг отчаянно взорвался, заколотился, сбив привычную плавную мелодию, сигнал у входной двери.

Егор прыгнул в прихожую, рванул запор. Встрепанный, в сбившейся рубашке, задохнувшийся, встал на пороге Вани.

— Егор!.. Они там... Наши газеты в макулатуру, в машину... Давай, может, успеем...

Как много может подумать человек за несколько секунд: образовать, вспомнить, прийти в отчаяние, скрутить это отчаяние, прикинуть план действий... И все это, пока мгновенно оглядываешь взмыленного Ванюшку (цел ли?), виновато оборачиваешься к Денису (извини, но видишь — не до беседы!), толкаешь Ваню перед собой и вместе с ним летишь к лифту (дверь после Вани даже еще и не закрылась)...

Вот дубина Егор Петров! Сколько раз собирался потребовать у вожатой «Новости Находки» и отнести Ямщиковым! А потом — то одно, то другое. Конечно, грустные были дела, тяжкие, но Веньке-то от этого будет не легче, когда завтра узнает, что лучшие номера «НН» отправились в утиль... Кто газетел? Ошибка? Или нарочно?.. Могли и нарочно, потому как посмет «йидейно не выдержанные и подрывают педагогические принципы»...

Только бы успеть!

Неделю назад восьмиклассники работали на субботнике, убрали двор, и Егор видел, как ребята из младших классов складывают в углу у школьной мастерской кипы старых газет, бумаги и картона. Получилась целая куча, до крыши мастерской. Потом эта куча лежала и лежала, не было машины... Сегодня тоже субботник — для тех, кто не работал в прошлый раз, не смог или прогулял. И, видимо, как раз пришел грузовик. И, наверно, Ваня как-то заметил свои газеты в куче бумаг... Все это можно уточнить потом. Сейчас главное — не опоздать...

— Постой! — звонко сказал в спину Егору Денис. — Возьми велосипед! На нем быстрее!

Рассуждать некогда, на велике действительно быстрее. Егор поставил ногу на порог лифта — чтобы дверь не закрылась.

— Давайте!

Денис и Ваня воткнули в кабину вскинутый на заднее колесо велосипед. Втиснулся Ваня.

— Я прибегу в школу! — крикнул Денис, и дверь задвинулась с нетерпеливым лязгом.

...Весу в Ванюшке — как в охалке соломы. Если бы не держал Егора за ремень, даже и не почувешь, что он на багажнике. И Егор мчался, давил на педали, срезая углы на перекрестках, пересекая пустыри, где были уже просохшие твердые тропинки.

Один раз Ваня вскрикнул.

— Вань, ты что?!

— Репейником врезало! Ничего, жми!

— Как ты узнал про газеты?!

— Когда Настюшка с тобой заругалась, ко мне Вовка Шарков подбежал! Сказал, что видел! Как в машину кинули!

— И что?!

— Я сразу туда, а там этот... который Физик. И ребята большие! Я говорю: «Отдайте!» А они: «Не мешай, там ничего нет!» Я опять, а они: «Пошел прочь!» Я долго просил, а они...

— И Поп-физик?

— Он: «Отойди, мальчик». Я тогда Вовку за нашими ребятами послал, а сам к тебе!

— Почему ты сразу меня не позвал?! Я же рядом был!

— Я не думал... что они так! Сперва думал — отдадут!..

«Лишь бы не ушла машина...»

...Она еще не ушла. Егор увидел это почти за квартал. Переулок вел к школьному забору, к боковой калитке. Под уклон. За низкой бетонной изгородью виден был стоявший во дворе грузовик. Над бортами поднимались пухлые вороха макулатуры. На них топтались двое мальчишек, ловили пачки, которые им бросали снизу. Но вот перестали ловить. Прыгнули с кузова... Машина гуднула и медленно пошла на асфальтовую дорогу, ведущую к школьным воротам.

— Ванька, с коня!

Егор крикнул это без всякого пижонства, без всякой романтики. Просто короче это было, чем «с велосипеда» и даже «с велика». И Ваня — вот молодец! — без малейшего спора и промедления скатился с багажника. На миг Егор оглянулся, заметил, что Ванюшка поднялся с земли, трет коленки. Ладно, жив...

Нельзя было выпустить машину со двора. На улице — не догнать, не задержать. Егор влетел в боковую калитку и по тропинке среди ломкого прошлогоднего бурьяна, у самой изгороди,

гнал велосипед к распахнутым решетчатым воротам. Наперерез грузовику. А тот уже катил по асфальту бодро, деловито, хотя и не очень быстро.

Не было страха! Хоть под колеса! Хоть на таран!..

Он успел. Звоном и скрежетом отозвался велосипед на мгновенный тормоз. Слева у самого плеча увидел Егор дышащий теплом и бензином, словно вздыбленный, радиатор...

— Ты что, сволочь такая! Себя не жалеешь — меня пожалей! — орал усатый шофер, наполовину высунувшись из кабины. Усы казались очень черными на совершенно белом лице.

Но не было у Егора страха.

— Марш назад! — гаркнул он шоферу. — Куда Венькины газеты повезли! Воры!

Он скинул с плеча ладонь Поп-физика:

— Руки!.. Куда повезли газеты Ямщикова?! Все равно не пушу!

Два незнакомых старшеклассника сдернули Егора с велосипеда, хотели отшвырнуть, но умело и стремительно Егор дал ребром ладони одному по губам, а другого посадил на асфальт ударом под дых...

Вот где случился неравный бой. Думал — будет это с приятелями Копчика и Курбаши, а оказывается вот что!.. Значит, они такие же, раз против Веньки! Две стороны одной медали! Вон и завуч Тамара Павловна бежит сюда, размахивая руками.

— Что происходит?! Да он с ума сошел! Звоните в милицию!

Пусть хоть всю милицию города созовут! Он умрет здесь на дороге!

Егор отскочил назад, встал в воротах. Потянул к себе одну решетчатую створку, другую. Их заело... Не закрыть собой широкий проезд!..

Но со звоном грянулся под колеса машины второй велосипед, и рядом встал Громов. Вцепился в руку Егора.

Счастливым, чуть не со слезами, Егор крикнул:

— Откуда?!

— Ванькины пацаны позвали!

Справа тоже кто-то вцепился в руку Егора — ладонь в ладонь. Егор не видел кто. Потому что с яростным восторгом следил, как между ним и рычащим радиатором встает плечом к плечу десяток маленьких и абсолютно бесстрашных второклассников. Тех, кого не разучили еще быть людьми ни грозная Анастасия Леонидовна, ни здравомыслящие родители, ни вся жизнь...

Шофер уже не кричал. Смотрел молча. Поп-физик что-то лихорадочно говорил Тамаре Павловне. Старшеклассники из бригады Поп-физика растерянно сопели.

Всем им Егор сказал уже не громко, с последней надеждой, с последним убеждением:

— Ну, вы что?! Ну, разве вы не люди хоть немного? Там же газеты Ямщикова! Он их делал целый год!

— Нет там никаких газет! — крикнул Поп-физик. — Что за чушь! Это старая макулатура!

— Газеты тоже старые! Их туда нарочно кинули! — отчаянно сказал Ваня, и еще несколько голосов крикнули: «Мы видели!»

— Да это черт знает что! — проговорил Поп-физик. — Вы в школе или где? Освободите дорогу!

— Еще чего! — рассмеялся Егор. Не было страха.

— А в чем дело-то? — вдруг спросил с подножки шофер. — По какой причине такой базар? — Он уже успокоился.

— Там стенгазеты моего брата! — звонко сказал Ваня. — Они их нарочно в макулатуру!

— Ямщиков! Как ты смеешь! — Тамара Павловна махнула руками, как курица крыльями. — Ты что врешь! Теперь что прикажешь, всю машину разгружать?

— Хоть десять машин, — сказал Егор. Он держал крепкие ладони — Юркину и еще чью-то, но казалось, что это два меча. Один — свой, другой — всех, кто не может быть здесь, но за кого Егор обязан воевать. И знал уже Егор, что, в отличие от Спартака, он победил.

— Товарищ водитель, вы можете ехать, — решительно произнесла Тамара Павловна. — Мальчики отойдут.

— Фиг, — сказал в шеренге второклассников грубиян Стрельцов. А шофер сошел с подножки и стал закуривать. И сообщил:

— Вы уж извините, я пединститут не кончал. Давить детей меня не учили...

Егор увидел, как с дальнего конца двора идут несколько рослых десятиклассников. И среди них Костецкий. По тому, как ловко и без разговоров принялись они за дело, ясно стало: они все знают. Видно, кто-то успел сбежать за ними и все объяснить. Костецкий гибко и красиво взметнул себя в кузов и начал кидать бумажные пачки остальным. Его друзья ловко укладывали их на асфальт.

— Костецкий, это вам так не пройдет, — сказал Поп-физик.

Но больше никто ничего не сказал, и все в тишине смотрели, как работают десятиклассники и растет груды макулатуры на асфальте.

Наконец Костецкий поднял пачку ватманских листов с разлохмаченными краями.

— Ванюшка, эта?

— Да!!

— Держите, хлопцы!

Второклассники поймали пачку в протянутые руки, и Ваня прижал ее к перемазанной ярко-желтой рубашке.

Вот и все. Можно было расцепить руки и уйти с дороги. Можно было даже помочь загрузить снова машину.

Егор отпустил руку Громова и посмотрел наконец направо. Рядом стоял Денис. Серьезный, с привычно насупленным взглядом из-под волос.

Они разжали руки не сразу. Только через долгую-долгую секунду.

Послесловие

ВИЗИТ УЧЕБНОГО КОРАБЛЯ

Среди пасмурных и зябких дней ленинградского мая выдался вдруг один ясный и очень теплый. Такой безоблачный, что Нева из желто-серой превратилась в голубую, будто Черное море. И редактор, выйдя из дома, решил, что пойдет на работу пешком.

Это был пожилой редактор, хотя и ведал журналом, у которого главным читателем была молодежь. Высокий, сухощавый, с внешностью потомственного ленинградского интеллигента. С тем еле заметным следом-тенью на лице, по которому знающие люди определяют человека, перенесшего в детстве блокаду...

Редактор шел через Литейный мост, и солнце грело ему плечи сквозь плащ. И он думал, что внук Сашка был прав, когда скандалил с матерью: не хотел идти в школу в теплой куртке. Правда, это было утром, а сейчас полдень. Редактор всегда начинал работу перед обедом, чтобы закончить поздно вечером...

Выйдя на Литейный проспект, редактор слегка помрачнел. Он представил, что в редакции его наверняка встретит заведующий отделом прозы и скажет что-то скучно-неприятное. Он, этот заведующий, был, без сомнения, прекрасный работник, но повадкою напоминал редактору осторожного пожилого кота. Сходство увеличивали прямые усы на полном лице и некоторое мурлыкание в голосе. Пряча за этим мурлыканием досаду и беспокойство, заведующий и сказал при встрече:

— Евгений Дмитриевич, Ираида Львовна справедливо утверждает, что эту бесхозную рукопись уместить в трех номерах невозможно. Может быть, все-таки поставим вместо нее «Девушку с буровой»? Испытанный автор, актуальная тема... Зачем нам такая-то samotечная повесть сомнительного происхождения?

— Борис Борисович... Мы же все решили на редколлегии.

— Решить-то решили, но как-то все-таки...

Чувствуя неприязнь и зная, что заведующий отделом об этой неприязни догадывается, редактор скрыл ее в полушутливом тоне:

— Но, любезнейший Борис Борисович, вы же ведаете отделом прозы, а не отделом «как-то все-таки...». Будем готовить к печати, как договорились...

— Ну что ж... Тогда я могу так и передать тому... «кадету»?

— Кому?

— Молодому человеку, который осчастливил нас этой архивной находкой. Он звонил сегодня, хочет прийти. Говорит, что в Ленинград попал всего на сутки, зайдет после обеда.

— Вот и хорошо. Попросите его заглянуть ко мне.

В кабинете редактор сел в привычное кресло, с привычным неудовольствием посмотрел на кипу непрочитанных рукописей и привычно прикинул план сегодняшних дел. Их было «от пупа и до маковки», как выражается Сашка. И все же настроение не испортилось.

Комната сегодня казалась на редкость просторной и даже незнакомой — от щедрого солнца. Редактор глянул на май за окном, приласкал глазами стоящую на подоконнике модель двухмачтовой брамсельной шхуны — подарок внука. Улыбнулся и сказал секретарше в открытую дверь:

— Галина Викторовна! После обеда зайдет молодой моряк по фамилии Петров. Умоляю вас, не изображайте Сциллу и Харибду, пустите его сразу ко мне.

Как многие люди, в юности мечтавшие о море, но моряками не ставшие, редактор испытывал слабость к кораблям и к представителям всяких флотских профессий. Слабость эта была почти детская, редактор ее стеснялся, ибо знал: о ней догадываются и над ней подшучивают. Потому он так сурово и обратился к милой Галине Викторовне.

Петров появился в четверть третьего. Был он без фуражки, штатская курточка скрывала морфлотовскую форменку, но сумочные брюки и казенные ботинки выдавали принадлежность Петрова к курсантской братии торговых и рыболовных мореходок.

— Здравствуйте... Борис Борисович сказал, чтобы я к вам зашел...

Курсант Петров явно стеснялся главного редактора. Пригласил пшеничную шевелюру, растянул в полумесяц широкие губы, но глаза были беспокойные. И с надеждой.

Редактор вышел из-за стола, протянул руку.

— Товарищ Петров? Я вас видел мельком прошлый раз в отделе прозы... Садитесь, прошу. — Он показал на кресло. Но курсант Петров сел рядом с креслом на скрипучий канцелярский стул (тот, который обычно служит стремянкой для уборщицы). Поставил у громадных своих ботинок аэрофлотовскую сумку. Теребил ее ремень и смотрел на модель шхуны.

А редактор смотрел на Петрова.

— Какими судьбами в Ленинграде? Или специально к нам?

Петров, сидевший боком, обернулся.

— Нет, мы перегоняли сюда из Гданьска новый парусник. Он будет участвовать в празднике «День города».

— А! Это из серии учебных фрегатов, которые поляки строят по нашему заказу?

Петров кивнул. Редактор сказал с ноткой ревности:

— Если парусник шел к нам, а не в Калининград, не могли разве набрать экипаж из наших, ленинградских ребят?

— Отовсюду брали. Тех, кто уже знаком с парусами.

— Ах да! Вы, кажется, в прошлом году ходили на «Крузенштерне»?

— Да, в регате...

— Ну и как?

Петров опять улыбнулся и стал смотреть на шхуну.

— Ну как... Хорошо. Чего хотел, то и было.

— Я почему спросил... Не все курсанты любят паруса.

— Нет, я хотел... Я потому и в Калининградское поступил, чтобы поближе к «Крузенштерну». Оттуда всегда набирают практикантов на него...

— Ну что же, тогда поговорим о Крузенштерне. Не о барке, а об Иване Федоровиче... Точнее, о повести, которую вы нам предложили.

Курсант Петров неловко зашевелился на скрипучем стуле, выпустил ремень сумки. Глянул с откровенной боязнью.

«На реи он лазит наверняка более смело», — подумал редактор. И ободряюще сказал:

— Надо уточнить некоторые детали... Редакторской доработки повесть почти не требует, но необходимо, чтобы специалисты сделали комментарии. Впрочем, это забота редакции. А поговорить я хочу о вашем предисловии. Есть кое-какие замечания.

Курсант Петров снова завозился на стуле.

— Да, прозаик из меня никакой... Как и поэт, конечно...

— Прозаик из вас... Впрочем, об этом после. Меня пока беспокоит фактическая сторона. Вы подробно описываете начало всей истории с рукописью, а затем — все как-то глухо. Вот... — Редактор притянул к себе раскрытую папку. — «...Потом оказалось, что рукопись все-таки не погибла. Кочуя по чердакам и архивам, попала она в руки одного человека и долго лежала у него никому не известная. А несколько лет назад снова сплелись вокруг нее загадки и разгадки, события и встречи... Нашлась даже древняя машинка. Прозвучал со старой пленки голос инженера Нечаева, который наизусть читал эпилог повести. Августовским вечером в Севастополе, на палубе «Крузенштерна», он рассказал курсантам о гибели капитан-лейтенанта Алабышева, а через не-

сколько дней сам погиб от руки убийц. Судьбу рукописи он так и не узнал... Но время, которое до сих пор стучит в старом корабельном хронометре Арсения Викторовича Курганова, все составляет на свои места. Закончились и приключения потрепанной картонной папки с повестью «Острова в океане». Она попала к автору этих строк. И он — последний в ряду тех, через чьи руки она прошла, — предлагает ее читателям. Пусть ребята и взрослые хотя бы через сорок лет узнают писателя Курганова. И, может быть, его герои — люди давних дней — заставят лишний раз кого-то задуматься: так ли мы живем? И зачем? И не виноваты ли в чьих-то несчастьях? И как быть, если виноваты?

...А кому-то напомнят они, что есть еще на свете паруса и дальние острова в бескрайнем океане.

И пусть читатель не будет на автора в обиде за это название, одинаковое с романом Хемингуэя. Повесть была написана раньше...»

Редактор кончил читать. Курсант Петров смотрел в пол, и щеки у него были темно-розовыми. Он выдавил:

— Ну, я же говорю... Скверно, конечно...

— Да нет, я не упрекаю вас за стиль. Написано несколько патетично, однако в данном случае это уместно... Но почему у вас скоткана в конце история рукописи? У кого рукопись была?

Курсант Петров потер щеки и стал смотреть в окно.

— Не хотелось писать подробнее. Сложно это...

— Но у читателей возникнут вопросы.

Курсант Петров чуть заметно, однако упрямо пожал плечами.

— Ну, тогда вопрос у меня, — сказал редактор. — Деликатный. Если не считаете возможным его касаться, то и не отвечайте. Но... несколько лет назад случай свел меня с одним литератором. Назовем его товарищем Эн... И он говорил мне о повести с похожим сюжетом. Закончит, мол, и предложит нашему журналу. Это... никак не связано?

— Это... наверно, связано, — сказал курсант Петров и посмотрел прямо на редактора. — Но «товарищ Эн» сам вернул мне рукопись... после наших объяснений. Чего же еще...

— Чего же еще... — откликнулся редактор. — Что ж, вам виднее.

— Он вернул рукопись, — насупленно повторил Петров. — К тому же он в детстве с моим отцом играл. Сложно все это... И у него есть сын. Такой же, как я...

— Он... ваш друг?

— Нет... То есть не знаю... — Курсант Петров опять взглянул в лицо редактору. Лицо было располагающим, редактор нравился Петрову. Несмотря на непростые вопросы. — Нельзя сказать, что друг. Мы и видимся редко... Но... что-то есть, наверно. Случалось, выручали друг друга.

— Понятно.

— Но дело даже не в этом. Я не хочу писать о его отце, потому что это... будто стреляешь, когда противник уже сдался.

— Да, пожалуй... Хотя товарищ Эн если и сдался, то лишь в случае с вами. А вообще-то он весьма деятелен и бодр. Набирает силу. Пьеса «Яблони президента» идет в десятках театров.

— Ну и что? — сказал Петров. — Это совсем другое дело. Эту пьесу написал он сам, я знаю точно.

— Да, вы правы, я отвлекся. Просто пьеса мне не понравилась, хотя критики хвалят взмахом.

— Мне она тоже не понравилась, — вздохнул Петров. — Но это уже особая тема...

— Вы правы еще раз. Вернемся к нашей теме... Оставим предисловие как есть, не будем трогать товарища Эн... Поговорим лучше о вас. Ваша специальность — штурман?

— Будущий...

— И, судя по всему, будущий литератор, — без улыбки сказал редактор.

Щеки курсанта Петрова опять зацвели. Он пробормотал:

— Это уж как получится...

— Я прочитал ваши стихи.

— Да?.. — И стало длинному, большому курсанту Петрову совсем неуютно на этом подло скрипящем стуле. — Я даже и не думал, что вы... что сам главный редактор будет... Думал, так просто кто-нибудь поглядит, если будет время...

— Я прочитал, когда просматривал портфель отдела поэзии. Неплохие стихи. Не очень оригинальные, но есть сделанные крепко. Можно было бы даже некоторые напечатать, если бы не такая перегрузка в журнале.

— Да ну их совсем... — сдавленно сказал курсант Петров.

— Дело не в том, что «ну их совсем», а в том, что, по-моему, это для вас просто начальный этап. Вы со временем наверняка перейдете на прозу... Нет пока таких мыслей?

— Вообще-то есть... — Курсант Петров несолидно шмыгнул носом и завозил по полу могучим ботинком.

— Не поделитесь?

— Я... у вас, наверно, и так времени нет...

— Есть, — сказал редактор.

— Ну... Я набрасывал что-то вроде плана повести. Называется «Визит учебного корабля».

— А! Это по впечатлениям недавних плаваний?

— Нет... Тут по всяким другим впечатлениям. — Курсант Петров слегка оживился. — Может, даже немного фантастика. Сначала про одну картину... На выставке.

— Интересно...

— Выставка художников в небольшом городе... Ну, там, как

обычно, портреты передовиков, местные пейзажи, натюрморты... И вдруг — большое полотно. Такое синее с желтым. Море, небо, желтый берег. И городок на берегу — белый, одноэтажный, степной. И так написано, что даже зной чувствуется... А у причала, за домами, — парусник. Ну, паруса, конечно, скатаны на реях, только рангоут и такелаж в небе... И он такой громадный, этот корабль, по сравнению с городком! Даже борта над крышами поднимаются, а весь корпус растянулся на два квартала. И мачты совсем в поднебесье, в четыре раза выше водонапорной башни и колокольни... Это ведь и в самом деле так. Придвиньте «Крузенштерн» к такому городку, сами увидите...

— Придвинул, — серьезно сказал редактор. — Впечатляет.

— Ну вот... А по улице, по кривой такой, среди камней и голыни, бегут к берегу мальчишки... А один мальчишка, это уже не на картине, а в городе, где выставка, сбежал из школы и на эту выставку заглянул. Случайно... Сбежал там из-за всяких причин, не виноват он даже... Ну, и замер перед полотном. И ходит потом каждый день, смотрит... На улице слякоть, осень, а на картине солнце, море и корабль этот... И вот такая тоска у мальчишки, что... ну, как это сказать... она раздвигает границы реального...

— И мальчик оказывается на корабле?

— Не-е... — Петров помотал головой совсем по-детски. — Тут другое. Просто лето приходит удивительно быстро. А может, мальчишке так показалось, потому что все время помнил картину, как бы жил в ней... И тоска у него по парусам. А моря нет рядом, только река. И вот он с друзьями делает корабль: плот связывает, или старую лодку они чинят, я еще не придумал... В общем, это повесть о плавании по реке. Но плавание там — не главное, там много всего... Главное, что они однажды пристают к небольшому поселку, а в нем тоже мальчишка, лет девяти. И для него этот случайный самодельный кораблик — как для того, для главного героя, корабль на картине. Но сейчас-то ведь уже не картина, а по правде. И куда теперь этого мальчишку девать, который на берегу?... Ну, я заговорился.

— Вы рассказываете очень... емко, что ли. И убедительно. А вот эта картина... с кораблем... Вы ее где-то видели?

— Нет... придумал. Но ведь может быть такая?

— Собственно, она уже есть. В вашей повести.

— Да повести-то еще нет, — стесненно усмехнулся Петров.
— А скажите... Вот это плавание на плоту, оно тоже только воображаемое? Или что-то было?

— Плавание было. Не на плоту, на шлюпке... Я девятый и десятый классы заканчивал в Среднекамске, это у реки город. У родственников жил. Ну, и летом отремонтировали дырявую

посудину, поставили прямой парус и отправились. Целый экипаж...

— Значит, есть и герои будущей повести?

— Ну... я не хочу в точности списывать. Но вообще-то есть. Такие пираты собрались: Никитка, Витек, Ванюшка, Генка Стрельцов...

— И вы один ими командовали? Как капитан?

— Нет, были ребята постарше, одноклассники из моей прежней школы: Венька, Юрий... И мой двоюродный брат, взрослый совсем. Тот, у которого я жил. Хорошая компания...

— А... простите, если не секрет, почему вы у брата жили? Вы... без родителей?

— Без отца. А мать вышла снова замуж... Да нет, мы не ссорились, но... В общем, жизнь.

— Егор, — сказал редактор. — Вас ведь Егором зовут? Егор, вот что я хочу сказать. В вашей жизни, наверно, будет много сложностей, трудностей, пертурбаций. Как у всякого. И повесть ваша, возможно, будет писаться с трудом. И покажется не раз, что надо бросить... Обещайте, что не сделаете этого. А?

— Постараюсь, — пробормотал Егор Петров. — Конечно... Хотелось бы.

— А когда закончите, пришлите ее мне... Скажем, через год. Большого срока я вам не даю... А в зачет будущего я обещаю вам вот что: одно ваше стихотворение мы напечатаем. В ближайшем номере.

Егор Петров глянул недоверчиво и радостно. Хотел сдержать улыбку, но губы расплзлись полумесяцем.

— Совсем даже не ожидал...

— Напечатаем. «Балладу о хронометре». Она, кстати, как-то перекликается с повестью Курганова... Вот... — Он вытянул из-под бумаг знакомые Петрову листы. — Я отложил... Только скажите, чем вам не нравится ваша фамилия? Прекрасная, самая русская... И чем лучше псевдоним Нечаев? Или... это как-то связано с тем Нечаевым?

— Связано. Я его сын.

— Бог ты мой. Вот в чем дело-то... Ну, я уже не отваживаюсь на дальнейшие вопросы...

— Рос-то я с отчимом. Потом он тоже умер... Ну а фамилию отца я узнал только в восьмом классе.

— Ясно... Выходит, вам в наследство досталась вся эта история.

— И хронометр Курганова, — улыбнулся Егор.

— Кстати, о наследстве... Нам надо коснуться еще одного вопроса, чисто юридического. Повесть будет считаться вашей публикацией, положен соответствующий гонорар... А не получится

так, что у Курганова отыщутся прямые наследники и предъявят свои права? Тем более что сам он родом из Ленинграда...

— А я уже отыскал наследников, — сказал Егор.

— Ого! Как вам удалось?

— Ну, это рассказывать — еще одна повесть. Многие помогали. В том числе и Денис... Сын товарища Эн. Он сейчас здесь, в Ленинграде. В кораблестроительном. Но в конце концов помог счастливый случай. В письмах моей бабушки, матери Толика... Анатолия Нечаева, нашли бумажку с ленинградским адресом... Тетя Варя, моя тетушка, догадалась, что, наверно, это адрес, по которому бабушка сообщала дочери Курганова о его смерти... Ну и точно. В том же доме на Петроградской стороне и живут.

— И кто же наследники?

— Дочь Курганова умерла два года назад. У нее был сын, офицер. Внук Курганова. Он прошлым летом погиб в Афганистане... Сейчас в той квартире живет его вдова...

— Да... но вдова внука — это, увы, не прямая наследница...

— Но у нее есть сын. Правнук Курганова, пятиклассник... Я вам оставлю их адрес.

Выражение «у него выросли крылья» было вполне применимо к второкурснику Калининградского высшего морского училища Егору Петрову. С этим ощущением радостной невесомости он отмахал своими ботинками расстояние от редакции до одного из дальних кварталов Петроградской стороны. И шел теперь к старому, уцелевшему в войну четырехэтажному дому.

Тротуар вывел к бетонной изгороди школьного двора. Изгородь и сама школа были очень похожи на ту, в которой Егор заканчивал восьмой класс. Что поделаешь, типовая постройка...

Но на школьном дворе не было типовой унылости. Был праздник. Рядом с изгородью репетировали барабанщики: отбивали шаг на месте и ловко лупили палочками по синтетической коже красных лаковых барабанов. Это был тот же марш, который когда-то показывал Егору Никитка, приемный сын Михаила: в школе, где после университета работал Михаил, готовили торжественный сбор, и вот Никитка старался...

Сейчас мальчишки тоже готовились к пионерскому празднику — через несколько дней 19 мая. Над школьным двором, растянутый между столбом спортплощадки и тополем, выгибался, как парус, под теплым ветром широкий кумач:

1987

70 лет Великого Октября

65 лет советской пионерии

Дружина! Крепче шаг на марше!

А потом Егор увидел и настоящие паруса. Почти настоящие. Пунцовые, небесно-синие, пламенно-оранжевые, зеленые, лимонные. Они трепетали над макетом старинного фрегата. Макет был размером с автобус. Корпус фрегата, украшенный узорами, фигурами озорных морских коньков и масляной росписью, стоял на четырех парах велосипедных колес. Десятка полтора мальчишек возились у корабля: подтягивали тросы, накачивали шины, прибавали к корме щит с номером школы.

Это был, без сомнения, тот корабль, о котором в нескольких письмах рассказывал Костик Бессонов.

Значит, и сам Костик должен был находиться где-то здесь.

Егор прошел во двор и спросил у ребят, где Бессонов из пятого «В». Но мальчишки пожали плечами.

— Развѣ он не в экипаже вашего корабля?

Старший паренек, по виду класса из девятого, недовольно сказал:

— Много кто в экипаже. А как работать — не соберешь.

Егор двинулся со двора, и его опять догнала дробь барабанного марша. Сто двадцать шагов в минуту, удар в полсекунды. Ритм корабельного хронометра... И, вспомнив про «Балладу о хронометре», Егор снова ощутил радостную невесомость.

Костик Бессонов оказался дома. Он сам открыл Егору. Узнал, заулыбался:

— Ой... а ничего не писал, что приедешь...

— Так получилось. Мы привели сюда фрегат... Наши ребята сразу уехали в Калининград, а я отпросился на сегодня. Поеду ночью... Мама, наверно, на работе?

— Да... Проходи. У меня котлеты нажарены с картошкой...

Полутемный коридор дохнул на Егора запахом старой коммунальной квартиры. Но просторная комната встретила его солнцем и чистотой. Пахло старым деревом свежеемытого пола, стояло ведро с висевшей на краю тряпкой. Костик радостно сказал:

— Ты садись, я сейчас кончу по хозяйству...

Егор скинул у порога свою казенную обувь («Да зачем ты, — сказал Костик. — Вытер бы, да и ладно...»), прошел, сел на край тахты. Как и в прошлый раз, глянул на Егора с настенной фотографии капитан ВВС Вячеслав Бессонов. Командир вертолета, потерявшего управление после выстрелов с земли и врубившегося в склон горы севернее Герата. У капитана Бессонова были спутаны ветром светлые волосы и смешливо искрились глаза. И уже не первый раз в жизни подумал Егор Петров, как хранят фотографии живые взгляды людей, которых нет на свете...

Звякая ведром, Костик деловито сказал:

— Сейчас я буду тебя кормить.

— Да я пообедал в столовой... Слушай, я мимо вашей школы шел, видел ваш корабль. Ничего себе отгрохали! Ребята с ним возятся, я думал, ты тоже там...

— Да не... — сказал Костик. Он стоял спиной к Егору и выжимал тряпку. Потом пошел к двери. Егор смотрел вслед. Он думал, что имя Костик очень подходит сыну капитана Бессонова. Мальчишка был как сухая коричневая косточка — шуплый, смуглый, с темным ежиком волос. И с родимым пятном на мочке уха, похожим на твердое семечко... Только глаза не были твердыми. И не коричневые они, а желтовато-серые. Порой не по-мальчишечьи серьезные глаза, с тенью недоуменно-печального вопроса. Впрочем, понятно...

Вот этими глазами, уже без улыбки, глянул Костик на Егора, когда вернулся. Босой, в подвернутых трикотажных штанах, в забрызганной майке, с мокрыми руками. Молчаливый.

Глуша в себе невольное беспокойство, Егор сказал:

— А я тебе голландку привез. В которой Гай снимался, помнишь?

Костик быстро кивнул. Помнил, конечно, что Егор обещал прислать алую атласную блузу, которая за двадцать лет не потеряла красоты и блеска и очень годилась для матроса сказочного фрегата. На том корабле, который двинется на стадион впереди праздничной колонны...

В письмах столько было про этот корабль! И как его строили в кружке юных моряков, и как выбирали экипаж. И какие пестрые костюмы нужны для этого экипажа.

Егор достал из сумки газетный сверток (выкатилась заодно и курсантская фуражка). Развернул газету. Розовые отблески разлетелись по обоям, по стеклу фотографии.

— Ух ты, — сказал Костик. Но опять без улыбки. — Спасибо.

Он взял блузу за плечи, прикинул к груди.

— Длинновата, — заметил Егор. — Ну, ничего, мама подошьет.

— Да... Она уже и брюки для нее сшила, белые, тоже с блеском, — вполголоса отозвался Костик. — Давно еще...

— Примерь как следует, Костик.

Он кивнул и так, с опущенной головой, отошел, но не к зеркалу, а к окну. И, увидев замершую спину Костика, Егор быстро встал.

Подошел.

Тихо повернул Костика за плечи. Тот плакал молча, без всхлипов. Капли бежали по щекам, срывались, оставляли на алом атласе влажные длинные следы.

— Что? Не берут в экипаж?

Костик опять кивнул. Точнее, еще ниже наклонилась голова. Егор осторожно повесил блузу на спинку стула, так же осторожно усадил Костика с собой на тахту.

— Расскажи. Может, что-то придумаем.

Сперва он помолчал, конечно, поотворачивался, сердито размазывая кулаком остатки слез. Пробормотал что-то вроде «да ну их всех...». А потом рассказал (правда, тихо и с перерывами). О том, как неделю назад Дора Борисовна сказала, что седьмым уроком будет внеочередной классный час и на него придет уволенный в запас десантник, будет говорить про Афганистан. И одни обрадовались, а другие заныли, что опоздают в музыкальную школу, в кино и по всяким важным делам. Костику тоже не хотелось оставаться. Понятно почему. Но Дора Борисовна сообщила, что, если кто сбежит, «пойдут письма на работу родителям». Костик разозлился было и решил, что «ну и пусть пойдут». Но тут (уже не при Доре Борисовне, а только при ребятах) начал стонать и жаловаться на жизнь некий Глеб Самойлов, любимец Доры. Наверно, чтобы показать, что он вовсе не любимец, он сказал:

— Придумала тоже: на седьмом уроке киснуть из-за какого-то... Они там воюют за орден да за валюту, а ты сиди и слушай.

Он, конечно, не помнил про отца Костика Бессонова. И ссамого Костика, наверно, даже не видел среди других. Но другие-то помнили и видели. И замолчали, и на Костика посмотрели. И тому что оставалось делать? («Ну, правда, Егор, что?») Он сказал Глебу:

— Ох и гад же ты проклятый... Тебя бы самого туда...

Глеб (длинный такой и ехидный) сделал глаза щелочками и спросил:

— Че-го-о?

— А вот «того», — сказал Костик и, хотя вовсе не был драчливым человеком, вмазал сейчас от души Глебу по губам. И раскрасовал.

И был тут сразу крик, растащили их, Дора кинулась звонить матери Костика (это ее любимое дело — звонить родителям), потому что «кто бы какие слова ни говорил, а решать в школе вопросы кулаками никто не имеет права, здесь не Америка».

А Костик, заплакав злыми слезами и почти не помня себя, сказал ей, что, значит, она «сама такая, если заступает за этого гада»...

Короче, много чего было потом, и в конце концов Костика вытурили из корабельного экипажа, потому что «там во главе колонны пойдут самые достойные, а не те, кто позволяет себе ди-

кие выходки». Глебу, конечно, тоже попало за те слова, но емучто что? Он в экипаже все равно не был...

Наум Львович, бывший штурман, а теперь руководитель кружка судомоделистов и юных моряков, которые строили фрегат, трижды ходил к Доре, уговаривал, рассказывал, как работал Костик на строительстве. Но без толку. Дора Борисовна сказала, что у них в классе самоуправление, и раз ребята решили не допускать Бессонова, так и будет. А никакого самоуправления нет, потому что все ребята за Костика, только привыкли голосовать, как велит Дора...

— А мама что же? — поинтересовался Егор.

— А что мама... От нее тоже попало. Говорит: «Может, и правильно дал этому Самойлову, но зачем грубить учительнице...» А еще говорит: «Если будешь хвастаться отцом, сниму портрет, так и знай...» А я когда хвастался?

Они разом посмотрели на фотографию.

Егор тихо спросил:

— А при чем портрет-то?

— Да так... Не знаю... — Костик сосредоточенно выдергивал нитки из продырявленной на колене трикотажной штанины. — Она еще и раньше говорила: «Может, лучше повесить папину фотографию у тебя над столом?» Это там, в другой комнате...

— Почему? — помолчав, спросил Егор.

Костик намотал длинную нитку на палец.

— Ну... наверно, чтобы каждый раз не спрашивали, кто это... Те, кто приходит.

«Значит, есть уже «те, кто приходит», — подумал Егор.

Что ж, матери Костика всего тридцать один год... Тем, кто приходит, конечно, неловко встречать живой, искрящийся взгляд капитана Бессонова...

— А ты что сказал? — нерешительно спросил Егор.

— А я сказал: не дам. Пусть висит.

«Вот так, — подумал Егор. — Ни распутать, ни помочь». Но помочь можно было в другом.

— Давай-ка одевайся. Пойдем.

— Куда?

— В школу... — Егор почувствовал на щеках привычный холодок — тот, который ощущал каждый раз перед тем, как «влезть в очередную историю».

Костик вскинул мокрые глаза:

— Зачем?

— Затем, что рано ты сдался. Драться надо.

— Как? — Он печально улыбнулся.

— А вот так! В конце концов, при чем здесь ваша Дора Бори-

совна? Это пионерский праздник, а не классный час. Все газеты пишут про самостоятельность отрядов...

— Ха, газеты... — сказал Костик. — Что они ей... — Но глаза быстро высохали.

— Одевайся, тебе говорят.

Костик исчез в другой комнате и тут же вернулся в школьной форме.

— Если надо, к директору пойдем, — сказал Егор.

— А он спросит тебя: «Вы кто такой?»

— А я скажу: брат.

— А врать нехорошо, — с дурашливо-нравоучительной ноткой ответил Костик. И улыбнулся.

Улыбнулся — это уже здорово!

Егор деловито объяснил:

— Никакого вранья. Мой отец, Анатолий Нечаев, был таким другом твоего прадедушки, что покрепче всякого родства. Так что на должность двоюродного брата я вполне гожусь...

Костик перестал улыбаться.

— По правде?

— Да.

— Тогда пошли... Пусть ничего не получится, все равно...

Когда шагали к школе, Костик вдруг сказал:

— Я никогда отцом не хвастался... А мама все равно говорит: «Гордиться можно, а хвастаться незачем». Говорит: «Неважно, чей ты сын, а важно, какой ты сам...»

— Все важно. И чей ты сын — тоже. И чей внук и правнук... Костик, а повесть Арсения Викторовича будут печатать в журнале. Сегодня сам главный редактор сказал.

— Правда? — Костик опять заулыбался и даже запрыгал рядом.

— Значит, сейчас ты правнук писателя... Хвастаться не надо, а гордиться можно.

— Егор... — Костик поглядел сбоку смущенно и хитровато. — А твои стихи... может, тоже когда-нибудь напечатают?

— Может быть... — не удержался Егор. — Редактор обещал, что возьмет «Балладу о хронометре». В ближайший номер даже...

— Ой... значит... — Костик прикусил улыбку и сбил шаг.

— Что?

— Да так.

— Ну что все-таки?

Костик шепотом и вроде бы шутя, но смущенно сказал:

— Выходит, я и брат поэта?

— Ну, поэт из меня... как весло из кочерги... А кой-каким

журналистским приемам Гай меня научил. Так что пошли смелее... — Школа была рядом, и Егор взял Костика за руку.

Но в школе никого из нужных людей не оказалось. Ни вожатой, ни директора, ни Доры Борисовны, ни Наума Львовича. И во дворе уже было пусто. Цветные паруса с фрегата были сняты, мачты и реи голо торчали над крышей мастерской.

— Ну и ладно, — вздохнул Костик.

— Да нет, не «ладно», — хмуро возразил Егор.

— Все равно ничего не выйдет... Я ведь не поэтому с тобой пошел...

— А почему же? — недовольно сказал Егор.

— Ну, так... Потому что с тобой...

Они медленно зашагали обратно. Костик озабоченно поглядывал на Егора. Тот сердито насвистывал: «Мы помнить будем путь в архипелаге». Посвистел, сказал:

— Наверно, это и завтра не поздно решить.

— Ты же ночью уезжаешь!

— Ну, застряну на сутки.

— А не влетит?

— Влетит.

— Ой... Не надо, Егор.

— Ты лучше скажи: говорил с мамой насчет Среднекамска? Чтобы приехать летом?

— Говорил, конечно.

— И что?

— Ну, как полагается... «Если не будет троек...» «Если будут деньги...» Да отпустит! Ей же лучше, отдохнет от меня.

— Вот и ладно. Поплывем от Среднекамска аж до Решетникова... Там такие места!

— Ты же писал, что шляпка рассохлась!

— Хлопцы плот вяжут из автомобильных камер. Чуть не сотню их уже набрали...

— Ура... А ты будешь капитаном?

— Адмиралом...

— Егор... А что за «Баллада о хронометре»? Я не читал.

— Ну, ты много чего у меня не читал. Вот приедешь...

— Это о том самом хронометре? О прадедушкином?

— О нем.

— И он все еще тикает?

— Вполне точно тикает. Он и у тебя еще тикать будет.

— Почему... у меня? — Костик опять сбил шаг.

— Потому что приедешь и заберешь. Твое наследство.

— Да ну... — сказал Костик, пряча удивление и нерешительную радость. — Как это...

— Очень просто. Я же говорю — наследство.

— Но он же сейчас твой. Ты же...

— Что?

— Ну... — Костик виновато задышал. — Ты же ведь не помер...

— А это и не надо, — засмеялся Егор. — С хронометром по-другому. Как находится новый наследник — тот сразу ему в руки.

— А тебе... не жалко?

— При чем тут «жалко»? Это закон.

Редактор в это время, окончив ряд срочных дел, взялся за листы с «Балладой». Он знал, что предстоит выдержать бой с экспансивным заведующим отделом поэзии. Тот станет кричать, что «Баллада» растянута, сыра, написана явно ученически и далека от канонов современной поэзии. И будет прав. Действительно, стихи многословны, немало неуклюжих строчек и рифм...

Но чем-то же цепляет «Баллада» сознание и душу! Есть же у этого Егора Петрова какая-то струнка. Вроде бы и рассуждения о природе времени наивны, и слишком длинен стихотворный рассказ, как попал к мальчишке старый корабельный хронометр; и, конечно, вызовут возражение «технические» строки об устройстве механизма с горизонтальным балансиrom.

И вроде бы совсем лишнее воспоминание о Севастополе, где на крутой ракушечной лестнице встречается автору похожий на младшего брата мальчишка...

Не баллада, а целая поэма. Подсократить бы...

Но что сокращать? Все сцеплено, черт возьми. Мальчика не выкинешь. Горизонтальный балансир тоже...

Может, убрать вот эти строки?

Он говорил негромко и доверчиво,
Что жизнь, она, конечно, непроста,
Но в то же время Время бесконечное
Со временем все ставит на места...

Или вот эти?

И вдруг приходит мысль-освобождение,
Счастливая, как бегство из тюрьмы, —
Что нету во Вселенной просто времени.
Что время — в нас. Что время — это мы...

«Жонглирование дилетантскими сентенциями» — примерно так выразится заведующий отделом поэзии.

А все-таки здесь что-то есть...

Нас прихватил норд-вест, и море древнее
Швыряло пену желтую в лицо,
И горизонт за выросшими гребнями
Качался, как карданное кольцо.

Но пусть шторма ревут и не кончаются,
 Пускай швыряют судно вверх и вниз —
 В кольце хронометра, которое качается,
 Горизонтален медный механизм...

Или вот эта мысль — об оси времени, которая проходит через вселенную, через каждого из нас и через старенький, но исправно тикающий хронометр. Ось — прямая, как чистый характер, как честная судьба...

Егор шел рядом с Костиком и думал, сколько всего надо успеть за вечер. Поменять на вокзале билет. Найти Дениса и договориться о ночлеге в общежитии (Костик будет звать к себе, но неудобно перед матерью). Потом — позвонить с автомата в Калининград, заведующему учебной частью Ауниньшу, и объяснить насчет задержки.

Лучше всего рассказать все честно. Может быть, тогда Станислав Янович — строжайший и добрейший одновременно — ответит просто и коротко: «Хорошо, задержитесь на сутки». Но, может, и наоборот: «Никаких задержек, завтра быть в училище».

И тогда курсант Петров (он подумал об этом с холодком) нарушит прямое и категорическое распоряжение. Потому что дисциплина дисциплиной, но есть другие не менее важные и строгие понятия.

«И не выгонят же, в конце концов...»

«А если и выгонят... Человека можно выгнать откуда угодно, только не из Капитанов», — усмехнулся Егор. Мысль была совершенно детская, наивно-тщеславная и далеко не бесспорная, он сам это прекрасно понимал. И все-таки она слегка успокоила курсанта Петрова.

Они дошли до угла, Егор сказал:

— Беги домой, а я на вокзал и по разным делам. Вечером загляну.

— Приходи пораньше! — И Костик убежал, несколько раз оглянувшись.

Редактор почесал тупым концом карандаша подбородок. Он думал, что между этой достаточно неуклюжей, но все-таки нужной журналу «Балладой» и будущей повестью «Визит учебного корабля» есть неуловимая, но прочная связь.

...Поскольку каждого из нас насквозь
 Невидимо пронзает эта ось...

И под стеклом орехового ящика,
 На непреклонной, как судьба, оси
 В неутомимом ритме барабанщика
 Стучит горизонтальный балансир.

И этот стук — сандалий звонких шелканье:
 По трапу из ракушечных камней
 Спешит наверх братишка в алой форменке —
 По времени.
 По вечности.
 Ко мне.

...Костик скрылся за поворотом, а Егор смотрел вслед. Когда расстаешься с тем, за кого отвечаешь, всегда бывает тревога. Даже если нет причин и если расставание — совсем ненадолго. Все равно.

В переулке взвизгнули тормоза, и Егор кинулся за угол. Но это просто резко тормознул у поворота бестолковый «жигуленок».

А Костик бежал к дому. Потом опять оглянулся. Встал. Увидел Егора. И пошел обратно. Пошли они навстречу друг другу.

— Егор... — сказал Костик. — А что мне дома-то? Мама поздно придет... Давай, я лучше с тобой. Ты будешь делать свои дела, а я так... вместе. Можно?

И Егор сказал:

— Идем.

1984—1987 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ. Роман-трилогия

Книга первая. ХРОНОМЕТР (Остров Святой Елены)	5
Книга вторая. ГРАНАТА (Остров капитана Гая)	241
Книга третья. НАСЛЕДНИКИ (Путь в архипелаге)	397

Литературно-художественное издание

Крапивин Владислав Петрович

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

Издано в авторской редакции
Ответственный редактор *В. Мельник*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *В. Фирстов*
Корректор *М. Мазалова*

В оформлении переплета использована иллюстрация художника *В. Савватеева*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 27.02.2007.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. печ. л. 36,96.
Доп. тираж 3000 экз. Заказ 7542.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс: (4822) 44-42-15.
Home page - www.tverpk.ru. Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

